This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4347.4.381

Harvard College
Library

FROM THE FUND BEQUEATHED BY
Archibald Cary Coolidge
Class of 1887
PROFESSOR OF HISTORY
1908–1928
DIRECTOR OF THE UNIVERSITY LIBRARY
1910–1928

Н. К. Михайловскій.

ОТКЛИКИ

Томъ I.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.
1904.

Slav 4347.4.381

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
OCT 1 1946

Coolidge Fund

4374.11
52.4

Оглавленіе.

		стран.
I.	Дюми-терьмо и философія Ѳедора Шперка. — Жюль Леметръ о національномъ французскомъ геніи. — Г. Л. С. объ инородцахъ. — „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію" Н. Бельтова . . .	1 — 33
II.	Изъ исторіи провинціальной печати.—Разсказы г. Марка Криницкаго.	34 — 53
III.	„Хозяинъ и работникъ" гр. Л. Толстого. — Г. Ціонъ и г. министръ финансовъ. — Кн. Цертелевъ о печати .	54 — 73
IV.	Четвертый томъ „Критико-біографическаго словаря" г. Венгерова. — О г. Боборыкинѣ. — Ж. Пелисье о французской литературѣ XIX вѣка	74 — 98
V.	Пьеса Гауптмана „Ганнеле" и газетные толки о ней.— Первый съѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу. — Невѣжество нашего народа. — „Этюды о русской читающей публикѣ" г. Рубакина	99 — 123
VI.	„Молодая поэзія" гг. Перцовыхъ и „Письма о поэзіи" г. Перцова	124 — 138
VII.	„Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи" и „Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія" г. Карѣева. — Гг. Чижъ и Тимирязевъ о высшихъ и низшихъ формахъ въ біологіи. — Приспособленные и неприспособленные	139 — 166
VIII.	Обращеніе г. Розанова къ Л. Толстому — „Русскіе символисты". — Наше общественное мнѣніе. — Гг. Сементковскій и Меньшиковъ по поводу жизни и смерти кн. В. В. Вяземскаго. — „Нужна-ли совѣсть?"	167 — 191
IX.	„Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви". — Мнѣнія г-жъ Назарьевой, Лухмановой, гг. Варламова, Скабичевскаго, Мордовцева, Льдова, Карабчевскаго и др.—„Душевныя свойства женщинъ" г. Каптерева. — М. М. Ковалевскій и К. Каутскій о семьѣ	192 — 230

СТРАН.

X. „Старый домъ“ г. Владиміра Немировича-Данченко. — Письма Бѣлинскаго къ невѣстѣ. — Русское женское взаимно-благотворительное общество. — Къ исихологіи труда . . . . . 231 — 256

XI. А. В. Эвальдъ и Г. З. Елисеевъ. — О г. Туганѣ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ въ исторіи . . . 257 — 281

XII. Еще о г. Туганѣ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ. — „Чумазый“ и „Культурный прогрессъ Россіи“ . 282 — 315

XIII. Г-жа Гиппіусъ и „ступени къ новой красотѣ“ . . . . 316 — 332

XIV. Три случая нападенія на редакторовъ періодическихъ изданій. — Опять г. Туганъ-Барановскій. — Книга г. Антоновича о Дарвинѣ. — Веселенькій пейзажикъ . 333 — 358

XV. Въ послѣдній разъ о г. Туганѣ-Барановскомъ. — О г. К. М-скомъ, г. К. Медвѣдскомъ и политическомъ доносѣ. — О книгѣ Кидда . . . . . 359 — 391

XVI. Продолженіе о Киддѣ. — Г. Антоновичъ и объективность.—О Невскомъ Обществѣ устройства народныхъ развлеченій . . . . . 392 — 412

XVII. Во исполненіе требованія г. Медвѣдскаго я отвѣчаю на всѣ его вопросы по пунктамъ . . . . . 413 — 431

XVIII. Объ Ибсенѣ, статья первая . . . . . 432 — 461

XIX. Объ Ибсенѣ, статья вторая . . . . . 462 — 492

I *).

Дюми-терьмо и философія Ѳедора Шперка. — Жюль Леметръ о національномъ французскомъ геніи. — Г. Л. С. объ инородцахъ. — „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ Н. Бельтова.

Въ комедіи Островскаго «Не сошлись характерами» есть одно загадочное дѣйствующее лицо; собственно не дѣйствующее, потому что оно даже не появляется, а только говоритъ объ немъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ: «у меня знакомый человѣкъ дюми-терьмо дѣлаетъ... Не угодно ли купить, онъ мнѣ дешево отдастъ; широкій такой, добротный». И только...

Я—большой почитатель Островскаго и рѣшительно не могу согласиться съ мнѣніемъ г. Михневича и другихъ просвѣщенныхъ критиковъ, что творецъ «Грозы», «Бѣдной невѣсты», «Своихъ людей» и проч. такъ-таки совершенно устарѣлъ и упраздненъ современными драматургами. Не отрицая многоразличныхъ достоинствъ этихъ современниковъ, я всетаки по старой памяти перечитываю больше Островскаго. Перечитываю, а не смотрю въ театрѣ, потому что изъ нынѣшняго театра онъ, кажется, совсѣмъ изгнанъ, и новыя птицы тамъ новыя пѣсни поютъ. Прекрасныя птицы, прекрасныя пѣсни; я вѣрю... Тѣмъ не менѣе и въ простомъ чтеніи Островскій, какъ магъ и волшебникъ, всегда вызываетъ передо мной цѣлый рядъ живыхъ образовъ, чего я, къ сожалѣнію, не могу сказать обо всѣхъ современныхъ драматургахъ. Я ужъ не говорю о фигурахъ, нарисованныхъ Островскимъ во весь ростъ. Но вотъ даже этотъ не показывающійся на сценѣ «знакомый человѣкъ», который «дюми-терьмо дѣлаетъ»,—широкій, добротный дюми-терьмо,—даже этотъ закулисный человѣкъ встаетъ передо мной живымъ. Ни этого человѣка, ни этой матеріи никто изъ насъ не видалъ, они только въ творческой фантазіи Островскаго мелькали. Но сила ли первоклассного художника тутъ дѣйствуетъ, или сила моего пристрастія къ

---

*) Январь 1895.

любимому писателю, пристрастія, разжигающаго и собственное воображеніе, а мнѣ кажется, что я знаю человѣка, который дюмитерьмо дѣлаетъ; типъ этотъ знаю.

И кажется мнѣ, что къ этому типу принадлежатъ очень многіе современники, въ томъ числѣ г. Ѳедоръ Шперкъ...

Знаете ли вы г. Ѳедора Шперка? Нѣтъ, вы не знаете г. Ѳедора Шперка. Хотя имя его, навѣрное, очень скоро прогремитъ по всему міру, но затѣмъ, по его собственной трогательной просьбѣ, очень тоже скоро покроется «цѣломудріемъ тѣни и истиной тайны», по просту говоря—забудется. Торопитесь-же знакомиться...

Г. Ѳедоръ Шперкъ написалъ и издалъ слѣдующія произведенія: «Система Спинозы», «Метафизика міровыхъ процессовъ» и—«Мысль и рефлексія. Афоризмы». Первому изъ этихъ произведеній онъ назначилъ цѣну въ 20 копѣекъ, второму въ 40, третьему въ 30. По размѣру этихъ произведеній, то есть по затраченной на нихъ бумагѣ, типографской краскѣ и проч.,—это немножко дорого, потому что, напримѣръ, въ «Афоризмахъ» всего 36 страничекъ разгонистой печати и формата, слишкомъ въ половину меньше обыкновеннаго нашего журнальнаго. Но, о матеріалистъ!—«на вѣсъ кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій!» Согласитесь, что получить на нѣсколькихъ страничкахъ ни больше, ни меньше, какъ «Систему Спинозы» за 20 к.,—это почти такъ же дешево, какъ широкій, добротный дюмитерьмо, купленный у знакомаго человѣка. И г. Ѳедоръ Шперкъ самъ понимаетъ, что онъ дешево отдаетъ, дешевле, пожалуй, чѣмъ себѣ стоитъ. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ въ «Афоризмахъ» опредѣляетъ дѣйствительную цѣнность другого своего произведенія—«Метафизика міровыхъ процессовъ»:

«Реформа философіи, произведенная «Метафизикой міровыхъ процессовъ», сосредоточивается въ ея идеѣ сознанія (и воли), *какъ небытія* *). То, что до меня опредѣлялось только общимъ, абстрактнымъ образомъ—*какъ чистая форма*—приведено мною къ *конкретному* опредѣленію—*какъ небытія*. До меня не было именно очевиднымъ, что разъ сознаніе (или воля) опредѣляется *чистой формой*, оно и необходимо должно быть признано *небытіемъ*». (Стр. 22, афоризмъ XLVII).

Понятно, что если исторія философіи отнынѣ раздѣляется на два періода: до Ѳедора Шперка и послѣ Ѳедора Шперка,—то самое скромное, что можетъ сдѣлать Ѳедоръ Шперкъ, это сопоставить себя, по крайней мѣрѣ, съ послѣднимъ моднымъ европейскимъ мыслителемъ. Онъ такъ и поступаетъ. Не входя въ подробности, кратко, лапидарно, онъ объявляетъ: «Актуальное въ Ницше—потенціально

*) Курсивъ въ цитатахъ вездѣ г. Шперка.

во мнѣ; актуальное во мнѣ—потенціально въ Ницше» (Стр. 36, афоризмъ LXV).

Кромѣ, однако, этой разницы между двумя претендентами на послѣднее слово въ философіи, разницы, на которую самъ г. Шперкъ указываетъ, есть еще и другая, объ которой онъ не говоритъ, но для установленія которой даетъ весьма цѣнный матеріалъ. Ницше жаждалъ славы, и не только для себя, ибо и въ принципѣ полагаетъ, что люди должны стремиться «на тысячелѣтіяхъ отпечатать свою руку». Г. Шперкъ не хочетъ тысячелѣтій, уклоняется отъ безсмертія. Онъ говоритъ: «То, что наиболѣе драгоцѣнно человѣку, онъ хранитъ не въ памяти своей, а въ своемъ сердцѣ. Очевидно, и то, что наиболѣе дорого человѣчеству—оно хранитъ не въ памяти, а въ душѣ своей. Сокровенныхъ друзей своихъ оно покрываетъ не блескомъ *холоднаго безсмертія*, а сердечнымъ забвеніемъ, цѣломудрымъ безмолвіемъ *и тѣмъ, что не можетъ быть суетно—тайной*. И если мнѣ только *дано* спросить—о, материнское сердце человѣчества,—и меня, и мою истину покрой забвеніемъ, цѣломудріемъ тѣни и истиной тайны. Не въ памяти, а въ чувствѣ, въ *несознаваемомъ чутьѣ своемъ* удѣли мнѣ *тихое*, удѣли мнѣ *скромное* мѣсто — тамъ близь несравненнаго для меня Гильшера, близь глубокомысленнаго и чистаго друга Suarez».

Это заключительныя строки «Афоризмовъ».

Читатель, можетъ быть, догадывается теперь, почему г. Ѳедоръ Шперкъ напоминаетъ мнѣ того человѣка, который у Островскаго дюми-терьмо дѣлаетъ. Какъ и тотъ, онъ дѣлаетъ что-то «широкое, такое, добротное»—«реформу въ философіи», «истину»; но, какъ и тотъ, онъ окруженъ таинственностью, и если и появляется на сценѣ, то тотчасъ же умоляетъ «материнское сердце человѣчества» освободить его отъ «холоднаго безсмертія», забыть и его, и его реформу философіи, и его истину, удѣлить ему въ безпредѣльной области неизвѣстнаго мѣсто рядомъ съ несравненнымъ Гильшеромъ и глубокомысленнымъ Suarez, которые, надо думать, тоже дюми-терьмо дѣлали.

Не насъ съ вами, читатель, умоляетъ г. Ѳедоръ Шперкъ о забвеніи; не насъ, а «материнское сердце человѣчества». Съ другой стороны, однако, отчего же и намъ ему въ этомъ дѣлѣ не помочь. Какъ съ міру по ниткѣ—голому рубаха, такъ можетъ быть удастся и это устроить: я забуду, вы забудете, онъ, они, онѣ забудутъ, и такимъ способомъ, можетъ быть, наконецъ, и человѣчество согласится выпустить г. Ѳедора Шперка изъ темницы безсмертія на волю забвенія. Это даже чрезвычайно вѣроятный исходъ при нѣкоторомъ усиліи. Забудемъ же дѣленіе исторіи философіи на два періода: до Ѳедора Шперка и послѣ Ѳедора Шперка; покроемъ «цѣломуд-

ріемъ тѣни и истиной тайны» и его реформу философіи, и его истину. Но воспользуемся всетаки случаемъ хоть немножко присмотрѣться къ самому типу и къ характеру изготовляемой имъ матеріи.

Шутка сказать: сдѣлалъ кусокъ дюми-терьмо и такъ дешево его отдаетъ, что даже безсмертія не хочетъ! Нынѣ много такихъ скромныхъ людей развелось и много варьянтовъ ихъ есть (иные и отъ безсмертія не отказываются). Я бы хотѣлъ въ настоящей бесѣдѣ обратить ваше вниманіе на тотъ именно варьянтъ, который, требуя себѣ благодарности отечества или человѣчества (или что то же, великодушно отказываясь отъ нея, какъ г. Шперкъ), вмѣстѣ съ тѣмъ въ мутной водѣ рыбу ловятъ. Это и г. Шперкъ дѣлаетъ.

Все въ тѣхъ же «Афоризмахъ» находимъ слѣдующія глубокія соображенія:

«Мы не думаемъ отрицать, напротивъ, мы будемъ утверждать, что христіанская любовь (категорія Духа), во всестороннемъ осуществленіи своемъ, составляетъ предметъ индивидуальныхъ стремленій и потребностей русскаго народа и смыслъ и цѣль его исторической жизни. *Но неужели не на самоуваженіи личности будетъ построено милосердіе*, неужели мы отвергнемъ западно-европейскій фундаментъ для своего построенія?» И далѣе: «Семитическое сознаніе осуществило въ исторіи категорію Плоти. Римъ, въ своемъ правѣ, выработалъ сознаніе основныхъ элементовъ категоріи Личности; вполнѣ реализована эта категорія западно-европейской цивилизаціей. Осуществленіе закона третьей сферы души человѣческой—категоріи Духа или любви предстоитъ, по всей видимости, *нашему народу*. Естественное слѣдованіе душевныхъ сферъ (первая — категорія Плоти или сфера цѣломудрія, вторая — категорія Личности или сфера самоуваженія, третья — категорія Духа или сфера любви) вполнѣ совпадаетъ съ историческимъ слѣдованіемъ носителей ихъ. Первоначально выступаетъ въ исторіи семитическое племя; вторымъ выдвигается романскій духъ, затѣмъ его дополняющій — германскій; третьимъ, послѣднимъ, выступаетъ славянство».

Это въ «Афоризмахъ» изложено. А затѣмъ въ «Гражданинѣ» г. Ѳедоръ Шперкъ далъ и образчикъ практическаго примѣненія своей философско-исторической схемы. А именно: «Кто знаетъ,— тѣ безобразія, которыя происходятъ на Западѣ и столь краснорѣчиво говорятъ намъ о несомнѣнномъ паденіи личности, о затменіи въ ней чувства уваженія къ себѣ, не суть ли они послѣдствія того, что цивилизація отвергла розгу и съ ней единственное средство возстановленія разрушенной совѣсти человѣка».

Вотъ. Вы видите, что всѣ эти категоріи и сферы европейскаго самоуваженія и русской или вообще славянской любви, — все это

только взбаломученная словесная вода, изъ которой г. Ѳедоръ Шперкъ неожиданно выудилъ рыбу — розгу, повидимому, ничего общаго не имѣющую ни съ самоуваженіемъ, ни съ любовью. Но ловля рыбы въ мутной водѣ—это только метафора, а въ дѣйствительности мы получили образчикъ той матеріи, которую изучить хотимъ. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, въ такомъ именно видѣ представляется тотъ дюми-терьмо, выдѣлкой котораго у Островскаго «знакомый человѣкъ» занимается: совершенно фантастическій переплетъ якобы спеціально русскихъ и якобы спеціально иностранныхъ нитей съ вытканными на немъ вполнѣ произвольными узорами, отвѣчающими, однако, извѣстнымъ современнымъ вкусамъ. Но вкусы бываютъ разные, а потому производители означенной матеріи ткутъ и узоры разные, совсѣмъ даже противоположнаго характера, но одинаково требуютъ себѣ, если не безсмертія, то титула патріотовъ, спасителей отечества, или же—съ другой стороны — защитниковъ тѣхъ или другихъ общечеловѣческихъ началъ...

Въ одной изъ бесѣдъ 1893 г. съ читателями «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось говорить о книгѣ нѣкоего Виктора Гена (De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele). Этотъ долго жившій въ Россіи нѣмецъ, обливъ «русскую расу» всевозможными помоями, выразилъ надежду, что она будетъ совсѣмъ истреблена, а въ ожиданіи этого счастливаго для цивилизаціи момента онъ предлагаетъ всѣхъ русскихъ людей сѣчь розгами и иными способами «физически поступать» съ ними. Генъ самымъ искреннимъ образомъ безъ всякихъ прикрасъ ненавидитъ и презираетъ все русское. Но вотъ люди, объявляющіе себя нарочитыми сынами отечества, держащіе, какъ они искренно думаютъ или лицемѣрно говорятъ, знамя Россіи особенно высоко, направо и налѣво разсыпающіе укоры въ недостаткѣ патріотизма,—они сходятся на этомъ пунктѣ съ злобнымъ ненавистникомъ «русской расы»: физически поступать съ русскимъ человѣкомъ надо. Правда, нѣкоторые (какъ и г. Ѳедоръ Шперкъ) простираютъ розгу далеко за предѣлы Россіи, предлагая и Западной Европѣ вспомнить это «единственное средство возстановленія разрушенной совѣсти человѣка»: дескать, внесли вы во всемірную сокровищницу плоды «категоріи личности и сферы самоуваженія» и теперь пора вамъ пріобщиться къ «категоріи духа и сферы любви», пора вамъ сѣчься. Однако, это только безнадежныя pia desideria, и въ огромномъ большинствѣ случаевъ наши «патріоты своего отечества» (тоже Островскаго словечко!) именно для русскаго народа требуютъ розги, для того самаго избраннаго народа, который призванъ «вверху стоять, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ», который окраситъ будущее человѣчество принципомъ любви...

Надо замѣтить, что современные патріоты своего отечества совершенно напрасно усиливаются установить свое происхожденіе отъ славянофиловъ. Какъ бы ни были эти послѣдніе односторонни и неправо-притязательны, но они съ презрѣніемъ отвернулись бы отъ своихъ самозванныхъ преемниковъ. Напримѣръ, Константинъ Аксаковъ писалъ: «Тѣлесное наказаніе есть возведеніе побоевъ въ законъ, есть узаконеніе грубой силы. Побои, равно какъ и драка, и всякое (прямое) проявленіе грубой силы, могутъ быть признаны въ мірѣ, какъ случайность; такой взглядъ отнимаетъ у нихъ общее значеніе безнравственное, въ томъ смыслѣ, что осуждаетъ ихъ. Но побои, возведенные въ законъ, становятся явленіемъ положительно безнравственнымъ, ибо этотъ взглядъ ихъ оправдываетъ и утверждаетъ... Прибавимъ сюда весьма важное обстоятельство. Именно: древняя Русь не знала тѣлеснаго наказанія. Въ ней грубая сила являлась, какъ случайность, но никогда, какъ законъ. Тѣлесное наказаніе — это подарокъ татарскій» («Русь» 1883, № 5).

Вѣрно ли послѣднее замѣчаніе Аксакова, — я не знаю, да въ данную минуту не это для насъ и интересно. Интересно желаніе одного изъ первоучителей славянофильства смыть съ русскаго имени позорное пятно даже въ глубокой исторической дали. Спрашивается, какъ бы взглянулъ этотъ человѣкъ на нынѣшнихъ сыновъ отечества, столь единомысленныхъ съ злобными ненавистниками Россіи, вродѣ Виктора Гена? Съ точки зрѣнія такого ненавистника понятно желаніе видѣть насъ, русскихъ, даже съ урѣзанными языками или лишенными дара членораздѣльной рѣчи, битыми и всячески униженными. Но какъ связать это желаніе съ разсужденіями на тему о «любви къ отечеству и народной гордости»? Каковы бы ни были грѣхи славянофиловъ, но то своеобразное, мистически величавое освѣщеніе, въ которомъ имъ рисовались далекое прошлое и будущее русскаго народа, обязывало ихъ ко многимъ дѣйствительно возвышеннымъ требованіямъ въ практической программѣ настоящаго. И нынѣшнимъ патріотамъ своего отечества слѣдовало бы прежде всего самымъ рѣзкимъ образомъ отгородить себя отъ славянофиловъ. Это я теперь не о г. Ѳедорѣ Шперкѣ говорю: онъ то себя, пожалуй, и отгораживаетъ. Онъ говоритъ: «Славянофилы наши проглядѣли *общее*, къ чему стремился и что созидалъ Западъ; они уразумѣли только обстановку, только средство и потому-то возненавидѣли его». Затѣмъ онъ прибавляетъ, какъ мы уже видѣли: «*Неужели не на самоуваженіи личности будетъ построено милосердіе*, неужели мы отвергнемъ западно-европейскій фундаментъ для своего построенія?» А еще далѣе онъ, подобно фокуснику, неожиданно выливающему яичницу изъ пустой шляпы, достаетъ изъ

категоріи духа и сферы любви розгу и предлагаетъ ее самоуважающейся личности. У г. Ѳедора Шперка разныя сферы и категоріи въ чехарду играютъ, а потому и его отгораживаніе отъ славянофильства не въ счетъ. Въ большинствѣ случаевъ патріотическіе рыцари розги и кулака позорятъ тѣни славянофиловъ своими претензіями на родство съ ними и своими чадными фиміамами по ихъ адресу. Они опираются при этомъ на славянофильское отношеніе къ Западу и къ иностраннымъ вліяніямъ въ Россіи. Многогрѣшны въ этомъ направленіи славянофилы, но, не смотря на глухіе переулки, въ которые они попадали, они, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ разумѣли свой народъ именно тѣмъ народомъ, который долженъ «жить и жить давать другимъ». Весьма далеки отъ такого отношенія къ иноплеменникамъ современные патріоты своего отечества.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что вся Европа переживаетъ въ своихъ международныхъ дѣлахъ какой-то странный кризисъ. По случаю кончины императора Александра III, европейская печать съ благодарностью поминала тринадцать лѣтъ его царствованія, какъ безъ перерыва мирное время, при чемъ указывалось на рѣшающую роль русской внѣшней политики. Роль эта была тѣмъ труднѣе, что какъ разъ за это время въ семьѣ европейскихъ народовъ накопился давно небывалый запасъ взаимной національной ненависти. Это, конечно, наслѣдіе прошлаго, той жестокой схватки, которая нанесла Франціи незалѣчимую рану, но вмѣстѣ съ тѣмъ это факторъ настоящаго и, можно опасаться, будущаго. Національный принципъ можетъ, смотря по обстоятельствамъ, получить и очень благородную, и очень низменную окраску. Стоитъ только сопоставить моментъ объединенія Италіи, которое было дѣломъ освобожденія, съ моментомъ созданія Германской имперіи, которое было дѣломъ поглощенія и насилія. Этотъ послѣдній, истинно несчастный моментъ исторіи надолго наложилъ свою печать на жизнь европейскихъ народовъ, не только въ видѣ чудовищныхъ военныхъ бюджетовъ, подъ тяжестью которыхъ задыхается цивилизація, но и въ видѣ нѣкотораго внутренняго переворота въ національной психикѣ Европы. До того могло казаться, при томъ людямъ отнюдь не утопическаго склада мысли, что національному вопросу въ острой, кровавой формѣ предстоитъ имѣть лишь освободительный характеръ, какой и имѣли впослѣдствіи герцеговинское возстаніе и русско-турецкая война. Въ старой же Европѣ, казалось, международныя перегородки если не совсѣмъ рухнули, то вотъ-вотъ рухнутъ и останутся лишь междусословныя, которыми и опредѣлится дальнѣйшее теченіе европейской исторіи. Международное единеніе торжествовало, казалось, въ наукѣ, въ промышленности, въ средѣ рабо-

чихъ классовъ и проч. Интересы и идеалы англичанина, француза, итальянца, нѣмца стояли, повидимому, на пути къ тому, чтобы растворіться въ общеевропейскихъ интересахъ и идеалахъ землевладѣльца, капиталиста, рабочаго и т. д. Ужасы франко-прусской войны рѣзко повернули Европу съ этого пути, разбудили готовое задремать сознаніе племенныхъ особенностей въ неприглядной формѣ самомнѣнія, взаимнаго недовѣрія, ревности, ненависти и объединили этими отрицательными чувствами группы населенія, по существу имѣющія мало общаго между собою. Все это, понятно, должно было ярче, чѣмъ гдѣ-нибудь, сказаться во Франціи, и не только по отношенію къ Германіи. Здѣсь дѣло стоитъ просто и ясно, слишкомъ просто и ясно — и въ оффиціальной, и въ, такъ сказать, интимной Франціи. Но зараза распространяется во всѣ стороны. Вспомнимъ ту слѣпую ярость, съ которою, послѣ убійства Карно, французы набрасывались на все итальянское, какъ будто итальянская нація отвѣтственна за убійство и какъ будто въ самой Франціи не было людей, готовыхъ на это кровавое дѣло. Вспомнимъ злорадство, съ которымъ отмѣчалось еврейское происхожденіе Дрейфуса, да и вообще антисемитическое движеніе. Въ этихъ частностяхъ общее сказывается. Само собой складывается то положеніе, котораго искусственными мѣрами всегда добивался Наполеонъ III: общественное вниманіе отвлекается отъ внутреннихъ дѣлъ къ внѣшнимъ и даже внутреннія, домашнія дѣла получаютъ оттѣнокъ какъ бы иностранной политики. Это даже на художественной литературѣ отражается. Послѣ германскаго погрома Франція широко растворила было двери для иностранныхъ вліяній въ литературѣ,—русскихъ, скандинавскихъ, нѣмецкихъ, признавъ, что и въ чуждыхъ ей доселѣ литературахъ, на которыя она привыкла смотрѣть сверху внизъ, даже не зная ихъ, ей есть чему поучиться. Но теперь уже раздаются протестующіе голоса, и между ними есть довольно громкіе. Такъ, напримѣръ, извѣстный критикъ Жюль Леметръ напечаталъ въ послѣдней книжкѣ «Revue des Deux Mondes» за прошлый годъ статью, въ которой выражаетъ опасеніе за будущность національнаго французскаго генія, но и надежду, что онъ скоро воспрянетъ въ своей оригинальности; вмѣстѣ съ тѣмъ Леметръ старается доказать, что вклады иноплеменниковъ во французскую литературу давно ею самою предвосхищены, что Ибсенъ самъ есть какъ бы порожденіе Жоржъ Зандъ и Дюма-сына, Толстой и Достоевскій—Флобера и т. д. Дѣло не въ вѣрности или невѣрности этихъ послѣднихъ разсужденій,—въ частностяхъ тутъ много вздора и прямого незнанія, но въ общемъ, несомнѣнно, Франція дала человѣчеству столько, что кое-что изъ получаемаго ею теперь извнѣ—въ ней же имѣетъ свои корни. Но для насъ теперь любопытна звучащая въ статьѣ Леметра

нота ревности и враждебности по отношенію къ иноплеменникамъ со включеніемъ столь, повидимому, громогласно дружественныхъ, какъ мы, русскіе. Съ этою нотою собственно у Леметра русскіе читатели могли познакомиться изъ изданныхъ зачѣмъ-то въ Одессѣ его статей о «Преступленіи и наказаніи» Достоевскаго и «Грозѣ» Островскаго (№ 4 «Международной библіотеки»), въ каковыхъ статьяхъ онъ, между прочимъ, обнаружилъ совершенное непониманіе перловъ русской литературы. Это не мѣшаетъ ему въ статьѣ «Revue des Deux Mondes» утверждать, что французы—«единственный народъ, склонный предпочитать другихъ себѣ». Казалось бы, о французахъ то ужъ никакъ нельзя сказать это, но такъ всегда говорятъ подобные патріоты своего отечества въ благопріятные для нихъ историческіе моменты. Безмѣрно предаваясь національному самохвальству, они видятъ, однако, въ своемъ родѣ «единственный», непремѣнно единственный народъ, «склонный предпочитать другихъ себѣ», и берутъ на себя обязанность восполнить этотъ недостатокъ уличеніемъ иноплеменниковъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, въ разныхъ козняхъ.

Не будемъ слѣдить за этимъ болѣзненнымъ обостреніемъ національнаго чувства въ другихъ европейскихъ странахъ, хотя на нѣкоторыхъ особенныхъ его формахъ было бы очень любопытно остановиться. Вернемся въ Россію.

Ахъ! намъ такъ знакомо изреченіе Леметра о единственномъ народѣ, и эти ревнивыя и злобныя рѣчи, и это распространеніе пріемовъ внѣшней политики на внутреннія дѣла. «Все французъ гадитъ»,— говорилъ Гоголевскій почтмейстеръ, а самъ почтмейстеръ и Сквозникъ-Дмухановскій, и Тяпкинъ-Ляпкинъ, и Держиморда, и Добчинскій съ Бобчинскимъ превосходны. Выходятъ иногда вещи поистинѣ изумительныя. Напримѣръ, извѣстная часть нашей печати, мнящая себя патріотическою по преимуществу, уже много лѣтъ съ пѣною у рта говоритъ о Финляндіи. $2^1/_2$ милліона населенія этой суровой страны никогда не причиняло Россіи ни малѣйшаго безпокойства, и тѣмъ не менѣе мы придираемся къ каждому, даже совершенно неподходящему случаю, чтобы въ чемъ-то уличить это маленькое, трудолюбивое, хорошо у себя устроившееся населеніе. Если въ Финляндіи кто-нибудь чихнетъ по своему, то въ Москвѣ уже бьютъ въ набатъ, серьезно, повидимому, полагая, что это патріотическій подвигъ, за который надо требовать титула спасителя отечества. Я бы еще понималъ, если бы руководящимъ чувствомъ была при этомъ зависть, потому что намъ, дѣйствительно, есть чему позавидовать въ Финляндіи, хотя бы, напримѣръ, тому, что тамъ меньше нищеты и больше грамотности, чѣмъ у насъ. И это, конечно, не хорошее чувство, но оно всетаки можетъ быть свя-

зано съ любовью къ родинѣ и, при этомъ условіи, требовало бы, по крайней мѣрѣ, заботъ объ умаленіи нищеты и усиленіи грамотности и чувства собственнаго достоинства у себя дома. Но означенная часть нашей печати въ большинствѣ случаевъ считаетъ грамотность дѣломъ вреднымъ и раздѣляетъ мнѣніе г. Ѳедора Шперка о розгѣ, какъ о «единственномъ средствѣ возстановленія разрушенной совѣсти человѣка». Она поэтому вовсе не расположена завидовать Финляндіи. Но точно такъ же не думаетъ она объ томъ, чтобы пріобрѣсти или укрѣпить добрыя отношенія Финляндіи къ Россіи и ко всему русскому. Она, съ своей стороны, дѣлаетъ все, чтобы возбудить въ Финляндіи ненависть къ русскому имени. И, такимъ образомъ, ея претензія не только на монополію патріотизма, но даже на самую простую, естественную любовь къ родинѣ не оправдывается ни съ какой точки зрѣнія.

Я не буду распространяться на эту тему и укажу только, да и то вкратцѣ, на одно изъ послѣдствій такого отношенія къ иноплеменникамъ. Оно порождаетъ противоположную крайность—какую-то странную конфузливость по отношенію къ какимъ бы то ни было русскимъ достоинствамъ, къ самой возможности признанія ихъ («что ужъ! гдѣ ужъ намъ!»), и столь же прямолинейную защиту иноплеменнаго, сколь прямолинейны въ противоположномъ лагерѣ нападки на него. Если тамъ, въ томъ лагерѣ, стремятся зажать всѣмъ ротъ монополіей патріотизма, то здѣсь тоже зажимаютъ всѣмъ ротъ, но монополіей гуманныхъ идей.

Читатель, можетъ быть, помнитъ нѣсколько словъ, сказанныхъ мною въ замѣткахъ о книжкѣ г. Струве совсѣмъ мимоходомъ объ инородцахъ, дурно пишущихъ по-русски, которые, однако, берутся учить русскому языку русскихъ писателей. Эти нѣсколько словъ вызвали слѣдующую отповѣдь г. Л. С. въ декабрьской книжкѣ «Вѣстника Европы». Считаю нужнымъ прибавить, что лишь съ большой неохотой поднимаю перчатку, брошенную мнѣ г-мъ Л. С., такъ какъ бросилъ онъ ее въ «Вѣстникѣ Европы», съ которымъ «Русское Богатство» меньше всего желало бы имѣть въ настоящее время какое бы то ни было столкновеніе. Г. Л. С. пишетъ:

Г. Струве будто бы «инородецъ», и ему не подобаетъ учить русскихъ писателей русскому языку. А между тѣмъ,—говоритъ далѣе г. Н. Михайловскій,—у насъ къ инкрустаціи вопросительныхъ и восклицательныхъ знаковъ въ цитатахъ изъ русскихъ писателей чаще всего прибѣгаютъ «шествующіе по всѣмъ языкамъ инородцы». Эти мнимыя притязанія «инородцевъ», задѣвающихъ г. Михайловскаго своей критикой, кажутся ему неумѣстными, надоѣдливыми и скучными. До сихъ поръ мы думали, что разыскивать «инородцевъ» въ литературѣ и примѣшивать національно-племенные вопросы къ литературнымъ спорамъ свойственно лишь извѣстной части «патріотической» печати: оказывается, однако, что въ этомъ отношеніи даже такой про-

грессистъ, какъ г. Михайловскій, не брезгуетъ полемическими пріемами, составляющими спеціальность худшихъ элементовъ нашей журналистики. Насколько намъ извѣстно, г. Струве такой же «инородецъ», какъ и многіе другіе русскіе люди съ нѣмецкими фамиліями. Мы уже не говоримъ о нелѣпости самой мысли о томъ, что писатели съ не-русскими фамиліями, какъ Даль или Я. Гротъ, не могутъ быть лучшими знатоками русскаго языка, чѣмъ люди чисто русскіе по имени, но «беззаботные» насчетъ россійской грамотности; да и самъ академикъ Востоковъ, несомнѣнный знатокъ русскаго, родился съ инородческимъ именемъ—Остенъ, въ переводѣ съ нѣмецкаго—Востоковъ. Какъ бы ни были мало основательны вопросительные и восклицательные знаки г. Струве, но дѣлаемый по этому поводу г. Михайловскимъ розыскъ объ «инородцахъ» еще менѣе основателенъ и раскрываетъ лишь печальную и не симпатичную черту нашихъ литературныхъ нравовъ или лучше сказать, отсутствіе всякихъ нравовъ.

Г. Струве въ своей книжкѣ замѣтилъ, «что г. Михайловскому всякій націонализмъ былъ всегда совершенно чуждъ». Приведя эти его слова, я прибавилъ, что «всегда готовъ у всякаго инородца поучиться тому, что онъ знаетъ, и почтить въ немъ тѣ достоинства, которыми онъ обладаетъ». Для знакомыхъ съ моей литературной дѣятельностью, полагаю, несомнѣнно, что это не фраза. Но г. Л. С. принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые съ страстнымъ нетерпѣніемъ ждутъ, чтобы кто-нибудь сказалъ слово «инородецъ», дабы немедленно зазвонить въ колокола гуманныхъ идей. Я цѣликомъ выписалъ все замѣчаніе г. Л. С. Въ немъ нѣтъ ничего, кромѣ этой взбаламученной словесной воды, изъ которой авторъ благополучно выуживаетъ нужную ему рыбу—«розыскъ объ инородцахъ». А нужна она ему для того, чтобы рядомъ съ тѣми, кто высоко держитъ «патріотическое» знамя, явиться знаменосцемъ гуманизма...

Г. Л. С. даже «не говоритъ о нелѣпости самой мысли о томъ», что Даль, Гротъ, Востоковъ могутъ знать русскую грамоту лучше, чѣмъ люди съ русскими фамиліями. Онъ «не говоритъ» и, однако, говоритъ. Но и то, и другое совершенно напрасно, ибо упомянутой «нелѣпой мысли» я не высказывалъ и даже вообще *ни единаго слова* не сказалъ о не-русскихъ или русскихъ фамиліяхъ. Г. Л. С. заговорилъ объ этомъ сюжетѣ исключительно для того, чтобы взмутить воду. Г. Л. С. проливаетъ слезы объ упадкѣ или даже объ «*отсутствіи* всякихъ нравовъ» (это ужъ что-то очень сильно) въ нашей литературѣ, ибо, дескать, вотъ и я «разыскиваю инородцевъ въ литературѣ и примѣшиваю національно-племенные вопросы къ литературнымъ спорамъ». Г. Л. С. очень трогательно плачетъ; почти также трогательно, какъ тотъ актеръ, котораго расхваливаетъ Гамлетъ:

Не дивно ли: актеръ, при тѣни страсти,
При вымыслѣ пустомъ, былъ въ состояньи
Своимъ мечтамъ всю душу покорить;

Его лицо отъ силы ихъ блѣднѣетъ,
Въ глазахъ слеза дрожитъ и млѣетъ голосъ,
Въ чертахъ лица отчаянье и ужасъ,
И весь составъ его покоренъ мысли,
И все изъ ничего—изъ-за Гекубы!
Что онъ Гекубѣ, что она ему?

Да, что ему Гекуба? что г. Л. С. литература и ея нравы, когда онъ тутъ же являетъ образчикъ самыхъ низменныхъ литературныхъ нравовъ? «Литературный споръ» у насъ съ г. Струве шелъ объ томъ, должна ли Россія «идти на выучку къ капитализму», и въ этомъ спорѣ, во всей его обширности и со всѣми его развѣтвленіями, я опять-таки *ни единымъ* словомъ не помянулъ объ инородчествѣ г. Струве. Но когда г. Струве поучаетъ меня при помощи вопросительныхъ знаковъ русскому языку, то я именно отказываюсь съ нимъ спорить, ибо «до сихъ поръ онъ былъ больше нѣмецкій писатель, чѣмъ русскій, и въ настоящей своей работѣ употребляетъ иногда нѣмецкія слова, когда ихъ очень легко сказать по-русски (слѣдуютъ примѣры), а по-русски онъ можетъ говорить о «побѣдоносномъ шествіи по всѣмъ языкамъ». Это послѣднее, невозможное по-русски словосочетаніе принадлежитъ не мнѣ, какъ можно думать по ковычкамъ г. Л. С., а г. Струве. И спрашивается, неужели же въ самомъ дѣлѣ можетъ меня учить русскому языку человѣкъ, «шествующій по всѣмъ языкамъ», хотя бы онъ и обладалъ въ другихъ отношеніяхъ всевозможными достоинствами и знаніями? И неужели сказать ему это—значитъ производить розыскъ объ инородцахъ и примѣшивать національно-племенные вопросы къ литературному спору? Но когда труба трубитъ, боевой конь бьетъ копытомъ и ржетъ, и то же самое дѣлаютъ господа вродѣ Л. С., когда услышатъ слово «инородецъ». Имъ кажется, что въ самомъ этомъ словѣ заключается уже обида, тогда какъ оно есть простое обозначеніе факта, ничего дурного въ себѣ не заключающаго. У насъ было одно время въ модѣ выписывать изъ Чехіи и Галиціи учителей древнихъ языковъ. Извѣстно, что одинъ изъ нихъ перевелъ знаменитое изреченіе Сенеки —ars longa vita brevis—такъ: штука длинна, животъ коротокъ. Этотъ учитель могъ быть прекраснымъ во всѣхъ отношеніяхъ человѣкомъ и прекрасно знать латинскій языкъ, но въ учителя русской гимназіи онъ, очевидно, не годился именно въ качествѣ инородца, на что литература уже прямо обязана была обратить вниманіе. Но господа, вродѣ Л. С., могли, конечно, и по этому поводу мутить воду и звонить въ колокола гуманизма, и лить слезы о Гекубѣ...

Но я пойду дальше, оставляя совершенно въ сторонѣ г. Струве и его русскій языкъ. Помните ли вы удивительные стихи Лермонтова:

Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,
Увялъ торжественный вѣнокъ!
Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ—спасенья нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолетъ.
И что за диво?.. Издалека,
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,
На ловлю счастья и чиновъ
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока,
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ
Земли чужой языкъ и нравы:
Не могъ щадить онъ нашей славы,
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
На что онъ руку поднималъ!

Воображаю, какія слезы долженъ проливать по поводу этихъ стиховъ г. Л. С. Это вѣдь явный розыскъ инородцевъ. И такъ удобно по этому случаю говорить или «не говорить» о «нелѣпой мысли», будто только у людей съ не-русскими фамиліями или даже только у завѣдомыхъ инородцевъ «пустое сердце бьется ровно», когда они «не щадятъ нашей славы». Доказательство на лицо: самъ разыскивавшій инородцевъ г. Лермонтовъ былъ убитъ чисто русскимъ человѣкомъ, Мартыновымъ... О, г. Лермонтовъ, какъ низокъ вашъ нравственный уровень въ сравненіи съ тѣмъ, на которомъ высится величавый образъ г. Л. С!.. Я думаю, однако, что въ извѣстной степени г. Лермонтовъ всетаки защитимъ. Ибо вѣдь «нелѣпой мысли» и т. д. онъ и не высказывалъ. Онъ, какъ и изъ всей его поэзіи видно, очень хорошо понималъ, что среди его соотечественниковъ и соплеменниковъ даже слишкомъ много людей съ пустымъ сердцемъ, а среди иноплеменниковъ есть люди и великаго сердца, и великаго ума. Но достовѣрно, что Пушкина убилъ иноплеменникъ другого сорта, что онъ дѣйствительно былъ «издалека, подобно сотнямъ бѣглецовъ, на ловлю счастья и чиновъ заброшенъ къ намъ по волѣ рока», что дѣйствительно, «смѣясь, онъ дерзко презиралъ земли чужой языкъ и нравы». И хотя въ числѣ «свободы, генія и славы палачей», которымъ Лермонтовъ грозилъ, что они не смоютъ всей своей черной кровью «поэта праведную кровь», были коренные русскіе, но иноплеменность убійцы сыграла всетаки свою роль въ этой грустной и гнусной исторіи. Я поэтому не рѣшился бы привлечь Лермонтова къ суду г-на Л. С. по дѣлу о розыскѣ инородцевъ. Не рѣшился бы притянуть и, напримѣръ, историка Соловьева хотя бы за слѣдующія его слова: «Биронъ и Левенвольды, по личнымъ своимъ средствамъ вовсе недостойные занимать высокія мѣста, вмѣстѣ съ толпою иностранцевъ, ими поднятыхъ и имъ подобныхъ, были тѣми паразитами, которые

производили болѣзненное состояніе Россіи въ царствованіе Анны. Биронъ не былъ развращеннымъ чудовищемъ, любившимъ зло для зла; но достаточно было того, что онъ былъ чужой для Россіи, былъ человѣкъ, не умѣрявшій своихъ корыстныхъ стремленій другими высшими; онъ хотѣлъ воспользоваться своимъ случаемъ, своимъ временемъ, фаворомъ, чтобы пожить хорошо на счетъ Россіи».

Читатель понимаетъ, что такихъ страницъ, подлежащихъ суду г. Л. С. за розыскъ объ инородцахъ, я могъ бы привести очень много, при томъ изъ писателей, отнюдь не принадлежащихъ къ числу «патріотовъ своего отечества». Увы! русская исторія представляетъ достаточно матеріаловъ для подобныхъ страницъ. Начиная монголами, инородцы не разъ распоряжались на Руси, при чемъ, «смѣясь, дерзко презирали земли чужой языкъ и нравы», и уже фактъ этого властнаго презрѣнія не могъ не отражаться печальнѣйшими послѣдствіями. Однимъ изъ этихъ послѣдствій является почти презрительное и во всякомъ случаѣ недовѣрчивое отношеніе къ самимъ себѣ, къ своимъ силамъ: «что ужъ! гдѣ ужъ намъ!» Многіе у насъ лишь съ большимъ трудомъ, и то только послѣ аттестаціи, выданной европейцами, признали огромную всемірную цѣнность нѣкоторыхъ нашихъ художниковъ слова. Это отзывается и въ практической области. Мы иной разъ боимся пальцемъ о палецъ ударить хотя бы ради той же литературы, паденіе нравовъ которой готовы оплакивать: «гдѣ ужъ намъ!» Я не хочу этимъ сказать, разумѣется, чтобы мы въ дѣйствительности были вообще превосходны и въ частности никогда не презирали земли чужой языкъ и нравы,— нѣтъ, это очень часто бывало и посейчасъ продолжается,—или что намъ слѣдуетъ замкнуться китайской стѣной отъ иностранныхъ вліяній,—это была бы смерть. Но неужели же такъ трудно разобраться во всемъ этомъ и установить точку зрѣнія, съ которой свое и чужое добро и зло находятъ себѣ надлежащее мѣсто? Дѣло, повидимому, чрезвычайно просто: Востоковъ или Остенъ превосходно изучилъ русскій языкъ, и мы учились по его грамматикѣ; г. Струве очень плохо выражается по-русски, а потому не его дѣло учить насъ русскому языку. Но у насъ этого нельзя даже мимоходомъ сказать безъ риска вызвать странное замѣчаніе о неприличіи розыска инородцевъ. И это будетъ сдѣлано во имя гуманныхъ идей, которыя, однако, тутъ совершенно не при чемъ. Съ другой стороны, нельзя сказать доброе слово о финнахъ, евреяхъ и проч., не рискуя вызвать громы «патріотовъ», тогда какъ опять-таки любовь къ отечеству тутъ рѣшительно не при чемъ. Въ результатѣ идея патріотизма, столько разъ призывавшая людей къ великимъ подвигамъ, это, по выраженію Щедрина, «звено, которое пріобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями

и страдать такими страданіями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ лишь самымъ отдаленнымъ образомъ; эта школа, въ которой человѣкъ развивается къ воспринятію идеи о человѣчествѣ»,—у насъ совершенно опошлилась. Еще немного—и такъ же опошлятся общечеловѣческія, гуманныя идеи... Когда же это кончится? Когда получимъ мы возможность свободно говорить о своемъ и чужомъ свѣтѣ и мракѣ?

Недавно въ «Новомъ Времени» сдѣлано было замѣчаніе, что я слишкомъ избалованъ снисходительностью своихъ читателей, въ разсчетѣ на которую, дескать, позволяю себѣ отрывочную и скачкообразную рѣчь. Я думаю, что этотъ мой недостатокъ слѣдуетъ объяснять другими, менѣе для меня пріятными обстоятельствами, но всетаки не жалуюсь: «читатель-другъ» у меня есть, и я шлю ему мой искреннѣйшій привѣтъ и благодарность. Съ другой стороны, однако, я подвергаюсь время отъ времени цѣлому потоку энергическихъ протестовъ—не печатныхъ и содержащихъ въ себѣ чуть-чуть что не непечатныя выраженія. Въ такомъ именно положеніи нахожусь я теперь. Среди произведеній пера, обращенныхъ ко мнѣ разными марксистами, есть и краткія извѣщенія, что вотъ, дескать, въ такомъ-то городѣ проживаетъ несогласный Петръ Ивановичъ Бобчинскій и требуетъ, чтобы объ этомъ было заявлено въ печати, и непремѣнно «объективно» заявлено,—иначе онъ не согласенъ; есть и цѣлыя диссертаціи, весьма различной цѣнности, авторы которыхъ тоже иногда выражаютъ желаніе, чтобы ихъ взгляды были опубликованы. Выдавая здѣсь общую росписку въ полученіи всего этого, я долженъ сказать, что рѣшительно не могу удовлетворить всѣхъ,—какъ комическихъ Петровъ Ивановичей Бобчинскихъ, такъ и серьезныхъ людей, какъ прибѣгающихъ къ почти непечатному жаргону, такъ и умѣющихъ выражаться прилично. Во-первыхъ, всего этого слишкомъ много; во-вторыхъ, многое здѣсь для печати неудобно; въ-третьихъ, наконецъ, я уже имѣю въ этомъ отношеніи нѣкоторый не очень поощряющій опытъ. Въ прошломъ году я привелъ нѣсколько писемъ въ подлинникѣ (кажется, чего ужъ «объективнѣе»?), но затѣмъ открылось, что мои корреспонденты или писали мнѣ о «не настоящихъ» марксистахъ, или сами были «не настоящіе». А нѣкоторые стали даже выражать неудовольствіе и подозрѣніе, что я намѣренно компрометирую русскихъ марксистовъ, публикуя письма никому неизвѣстныхъ людей; были даже подозрѣнія въ фальсификаціи съ моей стороны. Это ужъ, знаете, черезчуръ, и я рѣшилъ ждать печатнаго исповѣданія вѣры. Таковое скоро явилось въ видѣ книжки г. Струве, на которую

я и поспѣшилъ отозваться. Но теперь оказывается, что и г. Струве не настоящій. Оказывается это изъ только что вышедшей интересной книги г. Н. Бельтова «Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію. Отвѣтъ гг. Михайловскому, Карѣеву и Комп.».

«Комп.» состоитъ изъ гг. Николая—она, Кривенко и В. В. Позволю себѣ выдѣлиться изъ «Комп.» и говорить только о себѣ, ибо не имѣю смѣлости г. Бельтова, пишущаго «мы» отъ лица русскихъ марксистовъ. При томъ же если количественно мнѣ достается, можетъ быть, и не больше другихъ отъ грознаго пера г. Бельтова, то обвиняетъ онъ меня въ преступленіяхъ совершенно исключительныхъ.

Изъ книги г. Бельтова оказывается, что г. Струве «не настоящій», хотя первый выступаетъ съ защитой второго, беретъ его подъ свое покровительство. Все, повидимому, хорошо въ книжкѣ г. Струве, одно не ладно,—зачѣмъ онъ сказалъ: «пойдемъ на выучку къ капитализму». Это онъ «очень неосторожно выразился», говоритъ г. Бельтовъ (стр. 286). Не будь этой неосторожности, все въ книжкѣ г. Струве обстояло бы вполнѣ благополучно. Вотъ г. Бельтовъ гораздо осторожнѣе, до такой степени осторожнѣе, что даже не упоминаетъ о другой неосторожности г. Струве. Вы помните, что г. Струве призналъ философскую необоснованность и фактическую непровѣренность теоріи экономическаго матеріализма. Г. Бельтовъ умалчиваетъ объ этой неосторожности, но, обрушиваясь своимъ страшнымъ гнѣвомъ и ядовитой ироніей на тѣхъ, кто уже раньше говорилъ о «необоснованности и непровѣренности», онъ тѣмъ самымъ свидѣтельствуетъ, что г. Струве, по крайней мѣрѣ на этомъ пунктѣ,—«не настоящій». А вѣдь это пунктъ основной. Найдутся, какъ увидимъ, и другіе.

Книга г. Бельтова имѣетъ полемическій характеръ по преимуществу, а потому надлежитъ прежде всего взглянуть на его полемическіе пріемы.

Г. Бельтовъ человѣкъ талантливый и не лишенный остроумія, но оно, къ сожалѣнію, часто переходитъ у него въ непріятное шутовство. Приведу образчикъ. Выбираю для этого то мѣсто, въ которомъ онъ меня изображаетъ въ особенно комическомъ видѣ, а другихъ въ особенно величественномъ. Приведя мое чисто фактическое указаніе на то, что Марксомъ изслѣдованъ только одинъ историческій періодъ, г. Бельтовъ продолжаетъ:

«Это-то и сердитъ г. Михайловскаго. Подбоченясь, онъ начинаетъ читать нотацію знаменитому мыслителю: «какъ же это ты такъ, братецъ?.. только одинъ періодъ... И при томъ не вполнѣ... Не могу, не могу одобрить... Бралъ бы ты примѣръ съ Дарвина!» На всю эту субъективную рацею бѣдный

авторъ «Капитала» отвѣчаетъ лишь глубокимъ вздохомъ, да печальнымъ признаніемъ: Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben! Г. Михайловскій быстро и грозно поворачивается къ «толпѣ» послѣдователей: въ такомъ случаѣ вы чего же смотрѣли, почему не поддержали старика, отчего не исчерпали всѣхъ періодовъ?—Некогда намъ было, г. субъективный герой, въ поясъ кланяясь и держа шапки на отлетѣ, отвѣчаютъ послѣдователи; другимъ мы были заняты, мы боролись противъ тѣхъ отношеній производства, которыя лежатъ тяжелымъ гнётомъ на современномъ человѣчествѣ. Не взыщи! А между прочимъ, мы кое что всетаки и сдѣлали, и вотъ дайте срокъ,—сдѣлаемъ и еще больше» (216).

Если принять во вниманіе, что ничего подобнаго «субъективной рацеѣ» я не говорилъ, что и сравненіе съ Дарвиномъ принадлежитъ не мнѣ, а я его только комментировалъ, то очевидное и само по себѣ шутовство г. Бельтова получаетъ сугубо дурной оттѣнокъ. А «субъективный герой»,—это, конечно, чрезвычайно ядовито, даже, пожалуй, излишне ядовито по отношенію къ скромному журналисту со стороны одного изъ «мы», которые и т. д. Желаю имъ всякаго успѣха, но не думаю, чтобы шутовской колпакъ ему способствовалъ.

Г. Бельтовъ не только остроуменъ, но и грозенъ, «грозенъ и немилостивъ». Впрочемъ, онъ въ этомъ отношеніи далеко уступаетъ нѣкоторымъ моимъ корреспондентамъ, и мнѣ хочется сказать по этому поводу нѣсколько словъ. Рѣзкость въ полемикѣ—дѣло неизбѣжное, но и тутъ est modus in rebus, или, по-русски сказать, надо же и честь знать. Если полемическая рѣзкость истекаетъ изъ темперамента и сопровождается талантомъ, то и тогда можетъ хватать черезъ край. Примѣръ тѣ же учителя г. Бельтова или ихъ антагонистъ Дюрингъ. Читатель помнитъ, можетъ быть, какъ «обработалъ» Марксъ мимоходомъ въ «Капиталѣ» Герцена. Выходило, что «полу-русскій и вполнѣ «москвичъ» Герценъ ревностно пророчествуетъ обновленіе Европы посредствомъ кнута и насильственнаго смѣшенія европейской крови съ калмыцкой». Здѣсь «кнутъ» и «калмыцкая кровь», не имѣющіе ничего общаго съ идеями Герцена, пущены въ ходъ единственно ради полемической рѣзкости. Къ чести автора надо сказать, что въ послѣдующихъ изданіяхъ «Капитала» эта неприличная выходка выкинута. Но и у него, и у Энгельса, и у Дюринга можно найти вещи въ такомъ же родѣ, или совершенно безплодныя, или даже извращающія предметъ и отталкивающія своею грубостью. Тѣмъ паче негодна рѣзкость полемики, когда она становится дѣломъ подражанія, моды, своего рода приличія. Такъ было у насъ одно, къ счастью, недолгое время въ шестидесятыхъ годахъ, когда полемизирующіе безъ всякаго смысла швыряли другъ въ друга разными «лукошками», «бутербродами», а то и площадной руганью. Нѣмцы

всегда были грубы въ полемикѣ, что еще Берне замѣтилъ. И я боюсь, что, вмѣстѣ съ другими нѣмецкими вліяніями, къ намъ проникнетъ и эта традиціонная нѣмецкая грубость, осолившись еще собственною нашею дикостью, и полемика превратится въ реплику, влагаемую гр. А. Толстымъ въ уста царевнѣ по адресу Потока-богатыря:

Шаромыжникъ, болванъ, неученый холопъ!
Чтобъ тебя въ турій рогъ искривило!
Поросенокъ, теленокъ, свинья, эѳіопъ,
Чортовъ сынъ, неумытое рыло!
Кабы только не этотъ мой дѣвичій стыдъ,
Что иного словца мнѣ сказать не велитъ,
Я тебя, прощалыгу, нахала,
И не такъ бы еще обругала!

Это я только къ слову. Отнюдь не требую бѣлыхъ перчатокъ отъ полемиста и считаю ихъ даже невозможными. Не утверждаю также, чтобы г. Бельтовъ былъ лишенъ «дѣвичьяго стыда». Тѣмъ не менѣе иногда и ему слѣдовало бы нѣсколько больше взвѣшивать свои слова,—въ своихъ же собственныхъ интересахъ и въ интересахъ защищаемаго имъ дѣла.

Г. Бельтовъ утверждаетъ, что въ моихъ «новыхъ словахъ» (объ нихъ потомъ) «русскій умъ и русскій духъ» подлинно «зады твердитъ и лжетъ за двухъ» (225). Сильно сказано! Очень сильно, съ сохраненіемъ, однако, «дѣвичьяго стыда», потому что вѣдь что же дѣлать—подвернулись подъ перо стихи, ну, а изъ пѣсни слова не выкинешь. Можно бы, конечно, сказать, что если г. Бельтовъ не отвѣтственъ за содержаніе цитаты, то отвѣтственъ за ея выборъ, но это ужъ будетъ, пожалуй, тонкость по нашимъ полемическимъ нравамъ. Собственно въ этомъ мѣстѣ ни въ какой лжи г. Бельтовъ меня не уличаетъ, онъ просто такъ, сболтнулъ, чтобы горячѣе вышло, и цитатой, какъ фиговымъ листкомъ, стыдливо прикрылся. А когда онъ дѣйствительно во лжи меня обличаетъ, то дѣлаетъ это въ перчаткахъ.

Въ одной изъ своихъ статей въ «Русской Мысли», я вспоминалъ о своемъ знакомствѣ съ покойнымъ Н. И. Зиберомъ и сообщилъ, между прочимъ, что этотъ почтенный ученый въ разговорахъ о судьбахъ капитализма въ Россіи «употреблялъ всевозможные аргументы, но при малѣйшей опасности укрывался подъ сѣнь непреложнаго и непререкаемаго трехчленнаго діалектическаго развитія». Приведя эти мои слова, г. Бельтовъ пишетъ: «Намъ приходилось не разъ бесѣдовать съ покойнымъ и ни разу не слышали мы отъ него ссылокъ на «діалектическое развитіе». Онъ не разъ самъ говорилъ, что ему совершенно неизвѣстно значеніе Ге-

геля въ развитіи новѣйшей экономіи. Конечно, на мертвыхъ все валить можно, и потому показаніе г. Михайловскаго неопровержимо!» (77—78, примѣчаніе).

Вотъ что значитъ надѣть перчатки для обличенія во лжи,— даже изящно выходитъ! Не такъ, однако, изящно, какъ кажется съ перваго взгляда, потому что перчатки у г. Бельтова грязныя...

«Конечно, на мертвыхъ все валить можно, и потому показаніе г. Михайловскаго неопровержимо»... Я скажу иначе: на мертвыхъ не всегда все валить можно, и показаніе г. Бельтова вполнѣ опровержимо.

Можно ли допустить, чтобы я рѣшился приписать человѣку, столь многимъ, кромѣ насъ съ г. Бельтовымъ, извѣстному, столь сравнительно недавно умершему, мысли, которыхъ онъ не только не имѣлъ, но даже о существованіи которыхъ не зналъ?—Можно, отвѣчаетъ г. Бельтовъ, потому что русскій духъ лжетъ за двухъ. Но г. Бельтовъ любезно сообщаетъ, что и у него «русская душа» (286). И неужели же въ самомъ дѣлѣ таковъ ужасный рокъ, что русскій духъ долженъ лгать за двухъ, потому что кто-нибудь изъ насъ—я или г. Бельтовъ—навѣрное лжетъ за себя и за Зибера. Но пойдемъ далѣе: можно ли допустить, чтобы столь трудолюбивый и вдумчивый ученый, какъ Зиберъ, такъ таки до конца дней своихъ и не догадался о связи «новѣйшей экономіи» съ Гегелемъ? чтобы, даже наталкиваемый на этотъ сюжетъ разговоромъ, онъ имъ не заинтересовался и отдѣлывался отвѣтомъ: «мнѣ совершенно неизвѣстно значеніе Гегеля въ новѣйшей экономіи»? На мертвыхъ все валить можно, поучаетъ насъ г. Бельтовъ. Можно, это мы ясно видимъ, но если ужъ кто хочетъ заниматься этимъ непохвальнымъ дѣломъ, то надо его дѣлать осторожнѣе, чѣмъ г. Бельтовъ.

Въ 1879 г. въ журналѣ «Слово» была напечатана статья Зибера, озаглавленная «Діалектика въ ея примѣненіи къ наукѣ». Статья эта (не оконченная) представляетъ собою пересказъ, даже почти сплошной переводъ книги Энгельса «Herrn Dühring Umwälzung der Wissenschaft». Ну, а переведя эту книгу, остаться въ «совершенной неизвѣстности о значеніи Гегеля въ развитіи новѣйшей экономіи»,—довольно таки мудрено не только для Зибера, а даже и для Потока-богатыря въ вышеприведенной полемической характеристикѣ царевны. Это, я думаю, для самого г. Бельтова понятно. Но на всякій случай приведу всетаки нѣсколько строкъ изъ маленькаго предисловія Зибера: «Книга Энгельса заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ въ виду послѣдовательности и цѣльности проводимыхъ въ ней философскихъ и общественно-экономическихъ понятій, такъ и потому, что для объясненія практическаго прило-

женія метода діалектическихъ противорѣчій она даетъ рядъ новыхъ иллюстрацій и фактическихъ примѣровъ, которые не мало способствуютъ ближайшему ознакомленію съ этимъ столь сильно прославляемымъ и въ то же время столь сильно унижаемымъ способомъ изслѣдованія истины. Можно сказать, повидимому, что въ первый еще разъ съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ такъ называемая діалектика, она является глазамъ читателя въ такомъ реальномъ освѣщеніи».

Итакъ: Зиберу было извѣстно значеніе Гегеля въ развитіи новѣйшей экономіи; Зиберъ былъ очень заинтересованъ «методомъ діалектическихъ противорѣчій». Такова истина, документально засвидѣтельствованная и вполнѣ разрѣшающая пикантный вопросъ о томъ, кто лжетъ за двухъ.

Австралійскіе дикари употребляютъ метательное оружіе, называемое бумерангомъ и устроенное такъ, что, въ случаѣ промаха, оно само возвращается къ бросившему. Бумерангъ г. Бельтова отличается отъ австралійскаго тѣмъ, что не просто возвращается къ бросившему, а поражаетъ его самого. Желая выпутить, г. Бельтовъ самъ наряжается въ шутовской колпакъ; желая обличить во лжи, самъ въ ней обличается. А вдобавокъ, желая защитить покойнаго ученаго, онъ обвиняетъ его въ незнаніи того, что онъ зналъ, и въ отсутствіи интереса къ тому, чѣмъ онъ очень интересовался. Это ужъ совсѣмъ не хорошо.

Я привелъ характерные образчики полемики г. Бельтова и долженъ буду привести ихъ еще нѣсколько. Да не подумаетъ читатель, что я это дѣлаю съ злорадствомъ. Напротивъ, я достаточно обстрѣлянъ, чтобы съ презрительнымъ хладнокровіемъ относиться къ направленной противъ меня брани. Вмѣстѣ съ тѣмъ я такъ люблю русскую литературу, что, ничего не имѣя противъ кувырканій разныхъ злонамѣренныхъ бездарностей, скорблю, когда кувыркаются люди болѣе или менѣе талантливые; наконецъ, какъ видно будетъ ниже, я имѣю спеціальныя причины скорбѣть объ томъ, что г. Бельтовъ систематически подрываетъ довѣріе къ себѣ и къ своимъ показаніямъ. Я боюсь именно, что съ нимъ случится нѣчто вродѣ исторіи того пастуха, который такъ часто шутилъ или лгалъ, крича: «волкъ», что когда волкъ и взаправду явился,—пастуху уже никто не повѣрилъ. Тѣмъ не менѣе я вынужденъ продолжать на эту же тему о полемическихъ или, пожалуй, критическихъ пріемахъ г. Бельтова.

Есть у меня работа о герояхъ и толпѣ, къ сожалѣнію моему, очень разбросанная, такъ какъ я возвращался къ ней неоднократно и съ большими перерывами. Въ воспоминаніяхъ мнѣ случалось говорить о причинахъ, какъ нѣкоторыхъ изъ этихъ пере-

рывовъ, такъ и нѣкоторыхъ изъ возобновленій. Дѣло было такъ. Очень уже давно натолкнутый на означенную тему чисто теоретическимъ ходомъ мысли (слѣды чего имѣются въ самыхъ раннихъ моихъ статьяхъ), я вплотную принялся за ея разработку лишь въ началѣ 80-хъ годовъ, подъ впечатлѣніемъ безобразій и ужасовъ еврейскихъ погромовъ. Самый этотъ поводъ исключалъ возможность постановки вопроса на исключительно «героическую» почву въ общепринятомъ смыслѣ слова, въ смыслѣ чего-то великаго и благодѣтельнаго. Я и оговорилъ, что мой «герой» есть просто вожакъ, увлекающій толпу, можетъ быть, и на великое, а можетъ быть, и на гнусное и глупое дѣло. Это было самымъ точнымъ образомъ установлено въ статьѣ «Герои и толпа», гдѣ я пытался опредѣлить объективныя условія, необходимыя для возникновенія той группы явленій, которая суммируется въ словахъ «Герои и толпа». «Научныя письма» продолжали ту же тему. Въ «Патологической магіи» мнѣ пришлось говорить, между прочимъ, о разныхъ шарлатанахъ, злоупотребляющихъ склонностью «толпы» къ гипнозу. Наконецъ, уже на страницахъ «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось указывать на многостороннее различіе понятій «толпы» и «народа». Что же изъ всего этого сдѣлалъ г. Бельтовъ? Моими героями и толпой онъ занятъ на всемъ протяженіи своей книги, при чемъ, однако, воздерживается и отъ изложенія, и отъ критики теоріи, а только, такъ сказать, щиплетъ ее походя, съ помощью все того же шутовства и той же лжи. Онъ до такой степени не понялъ теоріи или перевралъ ее, что рѣшается написать, напримѣръ, слѣдующія строки:

«Пока существуютъ «герои», воображающіе, что имъ достаточно просвѣтить свои собственныя головы, чтобы повести толпу всюду, куда имъ угодно, чтобы лѣпить изъ нея, какъ изъ глины, все, что имъ вздумается, царство разума остается красивой фразой, благородной мечтой... Субъективная философія кажется намъ вредной потому, что она мѣшаетъ интеллигенціи содѣйствовать развитію самосознанія производителя, противопоставляя толпу героямъ, воображая, что толпа есть не болѣе, какъ совокупность нулей, значеніе которыхъ зависитъ лишь отъ идеаловъ становящагося во главѣ ея героя. Было бы болото, черти будутъ, говоритъ народная пословица. Были бы герои, толпа для нихъ найдется, говорятъ субъективисты, и эти герои, это—мы, это субъективная интеллигенція. На это мы отвѣчаемъ: ваше противопоставленіе героевъ толпѣ есть простое самомнѣніе и потому самообманъ» (234—235).

Но, мой бѣдный г. Бельтовъ, вы вѣдь понимаете вещи совершенно, такъ сказать, наоборотъ. Какъ разъ наоборотъ: была бы толпа, а герои найдутся и поведутъ ее, напримѣръ, «бить жидовъ» или докторовъ. Можетъ быть, конечно, и на что нибудь совсѣмъ другое поведутъ, но это дѣло настолько ненадежное, что, конечно, благомыслящимъ людямъ надлежитъ «содѣйствовать развитію само-

сознанія» въ людяхъ вообще, въ «производителяхъ» въ частности. Вотъ только это слово «производители» не хорошо, — конюшней отдаетъ отъ него. Мы привыкли употреблять въ такихъ случаяхъ слово «народъ», въ смыслѣ трудящейся массы. Но если мы съ вами и сходимся на выводѣ о необходимости «содѣйствовать» и проч., то замѣтьте, что это выводъ вполнѣ субъективный, тогда какъ теорія героевъ и толпы содержитъ въ себѣ и чисто объективное изслѣдованіе законовъ коллективной психологіи. И напрасно вы думаете, что этими пустяками только «россійская соціологія» занимается: европейская литература ими въ настоящую минуту очень интересуется. Я понимаю, что вамъ «некогда», но удосужьтесь всетаки какъ нибудь заглянуть хоть въ три первыя странички статьи «Герои и толпа», это и двухъ минутъ времени не займетъ. Тамъ вы найдете такія строки: «Не въ похвалу или въ поруганіе выбраны нами термины «герой» и «толпа». Если пьянаго звѣря Василія Андреева (зачинщикъ убійства архіерея Амвросія въ 1771 г.) мы называемъ героемъ, на-ряду съ благороднымъ образомъ Бланки Кастильской, то, конечно, читатель не найдетъ у насъ такъ называемаго культа героевъ».

Ну вотъ, а г. Бельтовъ нашелъ... Написано: «пьяный звѣрь», а онъ читаетъ: «субъективная интеллигенція». При такомъ способѣ чтенія можно, конечно, гдѣ угодно и что угодно найти, но всетаки это будетъ только ложь, осложненная вдобавокъ шутовствомъ. Шутовскія комбинаціи словъ вродѣ «субъективный герой», «субъективная интеллигенція» — кажутся г. Бельтову чрезвычайно пронзительными, и онъ назойливо уснащаетъ ими свою рѣчь, хотя такимъ шутовствомъ можно бы было и правду скомпрометировать, и ужъ, конечно, нельзя украсить ложь.

Г. Бельтовъ не разъ возвращается къ той темѣ, что «субъективная интеллигенція» и «субъективные герои» не желаютъ «содѣйствовать самосознанію производителей» и даже препятствуютъ этому благому дѣлу. Но такъ какъ это его фантазія (вѣроятно, объективная), то никакихъ доказательствъ онъ, конечно, не приводитъ. Да и откуда же ихъ ему взять? Однако онъ до такой степени эту свою фантазію ненавидитъ (она бы этого и заслуживала, если бы не была фантазіей), что донимаетъ ее и лирикой, и громами своего гнѣва, и мытьемъ и катаньемъ. Особенно хочется ему компрометировать «новое слово» «субъективной интеллигенціи» предполагаемымъ родствомъ ея съ Бруно Бауеромъ. Онъ то утверждаетъ, что я свое «новое слово» заимствовалъ у Бруно Бауера, то рекомендуетъ мнѣ еще только познакомиться съ Бруно Бауеромъ. На «новое слово», какъ хорошо извѣстно моимъ читателямъ, я никогда не претендовалъ и всегда другимъ рекомендовалъ отказаться

отъ этихъ претензій и стараться говорить лишь вѣрное слово, а тамъ ужъ другіе разберутъ; поэтому ироническія кавычки г. Бельтова не имѣютъ по отношенію ко мнѣ никакого смысла. Что касается героевъ и толпы, то я старался собрать все, что только есть въ литературѣ сколько-нибудь цѣннаго по этому предмету. Но Бруно Бауера дѣйствительно не принялъ во вниманіе и ни мало объ этомъ не жалѣю. Насколько можно судить по цитатамъ г. Бельтова и насколько ему можно вѣрить, Бруно Бауеръ и его послѣдователи противопоставляли «героевъ» въ Карлейлевомъ смыслѣ этого слова—великихъ людей, благодѣтелей человѣчества, полубоговъ—«массѣ» или «большинству» въ смыслѣ историческаго матеріала, чего нибудь стоющаго лишь при условіи полной покорности «героямъ». *Такія* противопоставленія дѣлались весьма часто въ болѣе или менѣе рѣзкой формѣ, и не зачѣмъ обращаться къ разнымъ Опицамъ и Шелигамъ, развивавшимъ этотъ взглядъ въ нѣмецкой литературѣ 40-хъ годовъ, когда существуетъ такая блестящая разработка его въ «культѣ героевъ» Карлейля. Но какъ уже изъ вышеприведенныхъ словъ о «пьяномъ звѣрѣ Василіи Андреевѣ» видно, я совершенно устранилъ точку зрѣнія Карлейля изъ своей работы. Съ другой стороны, я тщательно и неоднократно старался отгородить понятіе «толпы» отъ сопредѣльныхъ понятій. Еще не очень давно, въ «Русскомъ Богатствѣ» (1893, № 4), я писалъ: «Какъ много путаницы въ нашихъ разговорахъ о народничествѣ и о многомъ другомъ происходитъ отъ того, что подъ словомъ «народъ» мы сплошь и рядомъ безразлично разумѣемъ то этнографическую группу, то государственно-національную, то исключительно «мужика», то «чернь», «простонародье», то представителей труда («производителей» г. Бельтова), то *толпу*, которая такъ эффектно «безмолвствуетъ» въ послѣдней строкѣ Пушкинскаго «Бориса Годунова» и съ такою слѣпою яростью рветъ и мечетъ въ холерныхъ, еврейскихъ и т. п. безпорядкахъ... Толпа—не народъ, а самостоятельное общественно-психологическое явленіе, подлежащее спеціальному изученію».

Зачѣмъ же, спрашивается, пристаетъ ко мнѣ г. Бельтовъ съ Бруно Бауеромъ, Шелигомъ, Опицемъ? Да вотъ именно затѣмъ, чтобы смѣшать все въ кучу, сдѣлать изъ «героевъ», «интеллигенціи», «толпы», «производителей», «большинства» и проч. — окрошку, облить ее ядомъ эпитета «субъективный» и приправить пряностями лжи и шутовства. Но зачѣмъ ему самая эта окрошка нужна,—этого я уже рѣшительно не понимаю. Должно быть, для собственнаго употребленія,—такая ужъ ему пища по вкусу.

Есть у меня, кромѣ «Героевъ и толпы», еще другая большая и опять-таки, къ сожалѣнію моему, разбросанная работа. Это—

теорія прогресса. Она тоже не удовлетворяетъ г. Бельтова. Да я и самъ считаю ее неудовлетворительной, отнюдь, однако, не съ той стороны, съ которой къ ней подходитъ мой грозный обличитель. На стр. 61 онъ сѣтуетъ на «злоупотребленіе біологическими аналогіями, которое и до сихъ поръ даетъ себя сильно чувствовать въ западной соціологической, а особенно въ русской quasi-соціологической литературѣ». Слѣдуютъ доказательства и критика, оканчивающаяся ниспроверженіемъ предложенной мною формулы прогресса (66). При этомъ, однако, г. Бельтовъ, кромѣ самой этой формулы, не приводитъ *ни одного слова* ни изъ статьи «Что такое прогрессъ?», ни изъ послѣдующихъ на ту же тему. А обращается онъ къ моимъ воспоминаніямъ и къ полубеллетристическимъ набросками «Въ перемежку» и тамъ находитъ сообщеніе, что нѣкій Бухарцовъ (онъ же Ножинъ) «мечталъ о реформѣ общественныхъ наукъ при помощи естествознанія и выработалъ уже обширный планъ ея». Этотъ же Бухарцовъ-Ножинъ писалъ въ примѣчаніи къ одной своей литературной работѣ: «Обращаю вниманіе читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбріологическая теорія имѣетъ главною своею цѣлью отысканіе законовъ физіологіи общества». А такъ какъ я съ лучшими чувствами вспоминаю даровитаго, хотя и увлекающагося юношу Бухарцова-Ножина и говорю, что много обязанъ ему въ своемъ умственномъ развитіи, то ясно, что я принадлежу къ представителямъ той «русской quasi-соціологической литературы», которая «особенно злоупотребляетъ біологическими аналогіями».

Апеллирую къ читателю, даже вполнѣ ко мнѣ неблагосклонному, но сколько-нибудь знакомому съ моими сочиненіями, хотя бы не со всѣми, а только, напримѣръ, съ одной статьей «Аналогическій методъ въ общественной наукѣ» или «Что такое прогрессъ?» Неправда, что русская литература *особенно* злоупотребляетъ біологическими аналогіями: въ Европѣ, съ легкой руки Спенсера, этого добра несравненно больше, не говоря уже о временахъ комическихъ аналогій Блюнчли съ братіей. И если у насъ дѣло не пошло дальше аналогическихъ упражненій покойнаго Стронина («Исторія и методъ», «Политика, какъ наука»), г. Лиліенфельда («Соціальная наука будущаго»), да нѣсколькихъ журнальныхъ статей, то навѣрно и «моего тутъ капля меду есть». Ибо никто не потратилъ столько усилій на борьбу съ біологическими аналогіями, какъ я. И въ свое время я не мало претерпѣлъ за это отъ «Спенсеровыхъ дѣтей». Буду надѣяться, что и нынѣшняя гроза въ свое время минуетъ...

Читатель, не вы—«читатель другъ», а вы—неблагосклонный читатель, съ перваго раза, можетъ быть, обрадованный книгой

г. Бельтова, какъ вы только что радовались книгѣ г. Струве,— будьте «объективны» и пересмотрите еще разъ съ чисто фактической, только съ фактической стороны приведенные эпизоды съ Зиберомъ, героями и толпой, біологическими аналогіями. Должны же вы будете согласиться, что г. Бельтовъ дѣйствительно понимаетъ вещи какъ разъ «наоборотъ». Но хотя у него и «русская душа», не вѣрьте ему всетаки, что «русскій духъ» такъ таки ужъ всегда и непремѣнно «лжетъ за двухъ»...

До сихъ поръ мы имѣли дѣло только съ полемическими и критическими пріемами г. Бельтова. Разоблаченіе этихъ пріемовъ не доставляетъ никакого удовольствія, но намъ поневолѣ придется и еще встрѣтиться съ ними, а теперь обратимся къ собственнымъ взглядамъ г. Бельтова, къ положительной части его труда.

Г. Бельтовъ желаетъ изложить «монистическій взглядъ на исторію», а монизмъ, говоритъ онъ, возможенъ двоякій: идеализмъ и матеріализмъ. Оба эти ученія, въ качествѣ монистическихъ, противополагаются дуализму, признающему «духъ» и «матерію» отдѣльными, самостоятельными субстанціями. Идеализмъ и матеріализмъ признаютъ лишь одну субстанцію, первый—духъ, второй—матерію. Наиболѣе послѣдовательные и глубокіе мыслители всегда склонялись къ монизму... Въ первой половинѣ нашего столѣтія господствовалъ *идеалистическій* монизмъ; во второй половинѣ его—въ *наукѣ*, которая тѣмъ временемъ совершенно слилась съ *философіей*, восторжествовалъ *матеріалистическій* монизмъ, далеко, впрочемъ, не всегда послѣдовательный и откровенный (2). Г. Бельтовъ предпринялъ показать, что окончательное торжество матеріалистическаго монизма установлено такъ называемой теоріей экономическаго матеріализма въ исторіи, каковая теорія находится, дескать, въ тѣснѣйшей связи съ «обще-философскимъ» матеріализмомъ. Съ этою цѣлью г. Бельтовъ дѣлаетъ экскурсію въ исторію философіи. О степени безпорядочности и неполноты этой экскурсіи можно судить уже по названіямъ главъ, ей посвященныхъ: «Французскій матеріализмъ XVIII вѣка», «Французскіе историки временъ реставраціи», «Утописты», «Идеалистическая нѣмецкая философія», «Современный матеріализмъ». Но экскурсія еще слабѣе, чѣмъ можно бы было думать, судя по этимъ заглавіямъ.

Одинъ изъ центральныхъ пунктовъ ея гласитъ: «Гегель называлъ *метафизической* точку зрѣнія тѣхъ мыслителей,—безразлично идеалистовъ или матеріалистовъ,—которые, не умѣя понять процессъ развитія явленій, поневолѣ представляютъ ихъ себѣ и другимъ, какъ застывшія, безсвязныя, неспособныя перейти одно въ

другое. Этой точкѣ зрѣнія онъ противопоставилъ *діалектику*, которая изучаетъ явленія именно въ ихъ развитіи и, слѣдовательно, въ ихъ взаимной связи» (71).

Г. Бельтовъ считаетъ себя знатокомъ философіи Гегеля *). Я радъ поучиться у него, какъ у всякаго свѣдущаго человѣка, и на первый разъ попросилъ бы указать то мѣсто въ сочиненіяхъ Гегеля, откуда онъ взялъ это будто бы Гегелево опредѣленіе «метафизической точки зрѣнія». Осмѣливаюсь утверждать, что онъ мнѣ его указать не можетъ. Для Гегеля метафизика была ученіемъ о безусловной сущности вещей, лежащей за предѣлами опыта и наблюденія, о сокровенномъ субстратѣ явленій. Правда, онъ слилъ ее съ діалектикой, обработалъ ее діалектическимъ методомъ, т. е. путемъ послѣдовательнаго вскрытія заключающихся въ жизни и мысли, въ бытіи и мышленіи противорѣчій. Это сліяніе метафизики съ діалектикой составляетъ существенную особенность философіи Гегеля, но метафизика и при этомъ остается метафизикой, и Гегель отнюдь не питалъ къ ней того презрѣнія, которое сквозитъ въ приведенномъ г. Бельтовымъ будто бы Гегелевомъ опредѣленіи. Онъ не противополагалъ діалектику метафизикѣ, а, напротивъ, сливалъ ихъ въ одно цѣлое. Свое якобы Гегелево опредѣленіе г. Бельтовъ взялъ не у Гегеля, а у Энгельса (все въ той же полемической противъ Дюринга книгѣ), который совершенно произвольно отдѣлилъ метафизику отъ діалектики признакомъ неподвижности или текучести. Всякая философская система, утверждающая, вмѣстѣ съ г. Бельтовымъ, что «права разума необъятны и неограничены, какъ и его силы» (233), что по этому она открыла безусловную сущность вещей,—будь это матерія или духъ—есть система метафизическая. Додумалась ли она при этомъ до идеи развитія предполагаемой ею сущности вещей или нѣтъ, и если додумалась, то діалектическій ли путь она усвоиваетъ этому развитію или какой иной,—это, конечно, очень важно для опредѣленія ея мѣста въ исторіи философіи, но не измѣняетъ ея метафизическаго характера. Метафизическая печать лежитъ и на выросшей изъ гегельян-

*) Я, конечно, подобной претензіи не имѣю. Но не могу всетаки воздержаться отъ слѣдующаго замѣчанія. Г. Бельтовъ почему-то увѣренъ, что я знакомъ съ Гегелемъ по учебнику уголовнаго права Спасовича и «по Льюису». Приведя мои слова объ «уничтожающемъ презрѣніи и холодной жестокости», съ которыми система Гегеля относится къ личности, онъ замѣчаетъ, что «это вѣрно развѣ только по Льюису» (283). Г. Бельтовъ, повидимому, очень презираетъ этого бѣднаго Льюиса, но если бы онъ освѣжилъ въ своей памяти его «Исторію философіи», то убѣдился бы, что тамъ объ отношеніи философской системы Гегеля къ личности *нѣтъ ни одного слова*. Убѣдиться въ этомъ можетъ каждый, такъ какъ книга Льюиса имѣется въ нѣсколькихъ русскихъ переводахъ.

ства доктринѣ такъ называемаго экономическаго матеріализма, и діалектика отнюдь не стираетъ этой печати. Г. Бельтовъ думаетъ, что утверждать это могутъ лишь «россійскіе соціологи», «субъективисты» и проч. Мнѣ пріятно сослаться на нѣмецкаго писателя, котораго г. Струве въ своей книжкѣ горячо рекомендовалъ. «Труды Зиммеля—писалъ онъ—показываютъ, какъ плодотворно внесеніе въ соціологію *философскаго критицизма и научнаго психологическаго анализа*» (Курсивъ г. Струве. «Критическія замѣтки» и проч., стр. 35). Я не имѣю теперь времени извлечь изъ трудовъ Зиммеля все, заключающееся въ нихъ плодотворное, но нѣсколько строкъ изъ одной его работы приведу:

«Даже то историческое воззрѣніе, которое энергичнѣе всего должно было отбиваться отъ обвиненія въ метафизическихъ предположеніяхъ,—матеріалистическое,—достигаетъ этого лишь посредствомъ самообмана. Истолкованіе историческаго движенія противорѣчіемъ экономическихъ интересовъ есть гипотеза, спускающаяся далеко глубже доступныхъ наблюденію явленій... Предположеніе, что всѣ исторически дѣйствующіе интересы суть только преобразованія или замаскированія матеріальныхъ—никогда не можетъ быть доказано... Но если бы и можно было доказать, что экономическіе интересы суть тайныя или явныя пружины всѣхъ историческихъ дѣйствій, то было бы всетаки чисто метафизическимъ произволомъ останавливаться на этомъ пунктѣ и объявлять его послѣдне достижимымъ и самопонятнымъ... Это догматизмъ, подобный теоретическому матеріализму. Ибо и послѣдній есть метафизика, такъ какъ эмпирически отличныя отъ матеріи явленія онъ чисто гипотетически сводитъ къ ней и затѣмъ объявляетъ матерію послѣднимъ самопонятнымъ принципомъ, тогда какъ она ничуть не менѣе загадочна, чѣмъ другіе абсолюты, которые пробовали класть въ основаніе игры явленій» (Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 85—86).

Именно къ этому мѣсту относится замѣчаніе г. Струве, что Зиммель, при всей плодотворности его трудовъ, «иначе, чѣмъ мы (т. е. чѣмъ г. Струве), понимаетъ метафизичность». Я цитирую Зиммеля собственно въ виду горячей рекомендаціи г. Струве, ради которой, можетъ быть, и г. Бельтовъ воздержится отъ громовъ по адресу Зиммеля. Но я могъ бы привести многихъ первоклассныхъ ученыхъ, тоже „понимающихъ метафизичность иначе, чѣмъ мы“, тоже признающихъ матеріализмъ такою же метафизикою, какъ и идеализмъ, независимо отъ того, осложненъ ли онъ идеей развитія или нѣтъ. Я боюсь, что г. Бельтовъ стоитъ на уже давно пройденной ступени. Боюсь, что онъ ошибается, говоря: «во второй половинѣ нашего вѣка *въ наукѣ*, которая тѣмъ временемъ совершенно

слилась съ *философіей*, восторжествовалъ *матеріалистическій* монизмъ».

Мнѣ какъ то случилось употребить выраженіе: «объ этомъ можно спорить». Эти, казалось бы, столь обыкновенныя слова приводятъ г. Бельтова въ чрезвычайное негодованіе; онъ добрый десятокъ разъ повторяетъ ихъ съ непонятною для меня ядовитостью. Ну, я не буду спорить. Я приведу только мнѣніе такого умнаго, тонкаго, свѣдущаго и добросовѣстнаго критика, какъ Ф. А. Ланге. Собственно вся его книга направлена къ тому, чтобы, признавъ относительныя достоинства матеріализма, какъ философіи, и его услуги наукѣ, показать, что нынѣ наука уже переросла и отвергла его. Но для образчика приведу одну, достаточно выразительную фразу: So sehen wir wie allerdings die gründliche Naturforschung durch ihre eignen Consequenzen über den Materialismus hinausführt. (Geschichte des Materialismus 2 Aufl, II, 167).

Разумѣя монизмъ исключительно въ метафизической формѣ идеализма и матеріализма и ошибочно отождествляя послѣдній съ наукою, г. Бельтовъ, однако, и къ идеализму очень благосклоненъ, главнымъ образомъ, конечно, къ Гегелю. Это понятно, такъ какъ доктрина экономическаго матеріализма изъ Гегеля проистекаетъ. Но изъ этого не слѣдуетъ всетаки, чтобы г. Бельтовъ имѣлъ право написать слѣдующія строки: «До сихъ поръ еще трудно сказать, насколько взгляды нѣмецкихъ идеалистовъ непосредственно повліяли въ указанномъ (эволюціонномъ) направленіи на нѣмецкое естествознаніе, хотя несомнѣнно, что въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка даже натуралисты въ Германіи занимались въ теченіе университетскаго курса философіей» (88). Что вліяніе нѣмецкой идеалистической философіи на всѣ отрасли человѣческаго вѣдѣнія было громадно,—это вѣрно, но было ли оно такъ ужъ вполнѣ благотворно,—объ этомъ, не въ обиду г. Бельтову будь сказано,—можно спорить. Впрочемъ, напримѣръ, Гельмгольцъ, человѣкъ, достаточно, кажется, компетентный, считаетъ это дѣло даже внѣ спора. Онъ говоритъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ Шеллингъ сталъ господствовать надъ наукой на югѣ Германіи, а Гегель на сѣверѣ, началась распря между философіей и естествознаніемъ. Недовольная положеніемъ, указаннымъ ей Кантомъ, философія полагала открыть новые пути, съ цѣлью найти, заранѣе и безъ помощи опыта, путемъ чистаго мышленія, тѣ результаты, къ которымъ, въ концѣ концовъ, должны были бы придти опытныя науки. Философія ни мало не отчаявалась въ возможности включить въ свою область всѣ величайшіе вопросы о небѣ и землѣ, о настоящемъ и будущемъ. Противорѣчіе между этими философскими школами и естествознаніемъ особенно рѣзко выразилось въ крайне не философской страстной полемикѣ

Гегеля и нѣкоторыхъ изъ его учениковъ противъ Ньютона» (Приведено въ «Научномъ Обозрѣніи» 1895, № 1).

Въ виду всего вышесказаннаго читатель понимаетъ, что экскурсія г. Бельтова въ область исторіи философіи не дорого стоитъ. Входить во всѣ подробности ея я, разумѣется, не стану. Но кое что всетаки отмѣчу.

Г. Бельтовъ говоритъ и о французскихъ историкахъ, и о французскихъ «утопистахъ», оцѣнивая тѣхъ и другихъ въ мѣру ихъ пониманія или непониманія экономики, какъ фундамента общественнаго зданія. Страннымъ, однако, образомъ онъ совсѣмъ не упоминаетъ при этомъ о Луи Бланѣ, хотя одного предисловія къ Histoire de dix ans достаточно, чтобы предоставить ему почетное мѣсто въ ряду первоучителей такъ называемаго экономическаго матеріализма. Конечно, тутъ много такого, съ чѣмъ г. Бельтовъ согласиться не можетъ, но и тутъ есть и борьба классовъ, и характеристика ихъ экономическими признаками, и экономика, какъ скрытая пружина политики, вообще многое, что *позже* вошло въ составъ доктрины, такъ горячо защищаемой г. Бельтовымъ. Я потому отмѣчаю этотъ пробѣлъ, что онъ, во-первыхъ, и самъ по себѣ удивителенъ, и намекаетъ на какія-то побочныя цѣли, не имѣющія ничего общаго съ безпристрастіемъ. А во-вторыхъ, идеи Луи Блана имѣли у насъ, въ Россіи, вліяніе еще въ сороковыхъ годахъ («Это цѣлое откровеніе», писалъ Бѣлинскій объ «Histoire de dix ans»). Слѣды этого, равно какъ и другихъ подобныхъ вліяній можно найти и въ позднѣйшей нашей литературѣ, когда объ экономической основѣ общественныхъ явленій писалось очень много и очень опредѣленно. Почему же люди, исходя изъ этого общаго, столь опредѣленнаго положенія, приходятъ къ очень различнымъ, какъ теоретическимъ, такъ и практическимъ, выводамъ? Любопытный вопросъ, для отвѣта на который г. Бельтовъ не даетъ, однако, никакихъ матеріаловъ, да и не задается имъ.

Г. Бельтовъ вообще говоритъ обо многомъ ненужномъ и умалчиваетъ обо многомъ нужномъ. Вотъ, напр., онъ приводитъ слова Георга Бюхнера, свидѣтельствующія о томъ тяжеломъ настроеніи, въ которое впалъ этотъ несчастный юноша, изучая исторію великой французской революціи. При этомъ онъ дѣлаетъ «*Примѣчаніе для г. Михайловскаго* (курсивъ г. Бельтова): это не тотъ Бюхнеръ, который проповѣдывалъ матеріализмъ въ «общефилософскомъ смыслѣ». Это его рано умершій братъ, авторъ знаменитой трагедіи «Смерть Дантона» (162). Надо замѣтить, что приводимыя г. Бельтовымъ слова Бюхнера, хотя и очень трогательны, но заключаютъ въ себѣ мысль, весьма часто и весьма многими выражавшуюся. И если г. Бельтовъ остановился именно на мало извѣстномъ у насъ Бюхнерѣ, то, мнѣ

кажется, главнымъ образомъ для того, чтобы сдѣлать «примѣчаніе для г. Михайловскаго». Я, конечно, очень польщенъ попечительною заботливостью г. Бельтова, изъ всѣхъ своихъ соотечественниковъ избравшаго единственно меня для сообщенія тайны о разницѣ между Георгомъ Бюхнеромъ и Людвигомъ Бюхнеромъ. Но, откровенно то говоря, это вѣдь всетаки только совершенно ненужное шутовство. А между тѣмъ, если ужъ г. Бельтову подвернулся подъ перо Георгъ Бюхнеръ, то остановиться на этой мало извѣстной у насъ фигурѣ стоило бы. И біографія этого юноши, и его скудное по количеству, но достойное вниманія литературное наслѣдство—были бы для насъ очень поучительны въ связи съ тѣмъ кругомъ идей, который занимаетъ г. Бельтова. Впрочемъ, это тема достойна пера болѣе добросовѣстнаго...

Я избавлю себя отъ разбора всего содержанія книги г. Бельтова. Кое-что мы уже видѣли, къ кое-чему можно и въ другой разъ вернуться, кое-что относится спеціально къ «компаніи», которая сама за себя отвѣчаетъ. Наконецъ, мнѣ хочется и доброе слово сказать о книгѣ. Къ сожалѣнію, и для этого надо сдѣлать небольшое недоброе предисловіе.

Нѣкоторыя мои чисто фактическія указанія на разницу между судьбою экономическихъ и историческихъ воззрѣній Маркса г. Бельтовъ передаетъ въ такомъ видѣ: «Что вы лѣзете ко мнѣ съ Дарвиномъ!—кричитъ онъ.—Дарвиномъ увлекались хорошіе господа, его многіе профессора одобряли, а за Марксомъ кто идетъ? Одни рабочіе, да никѣмъ не патентованные приватъ-звонари науки» (217). Ни шутовство, ни лживость этой передачи моихъ словъ не удивляютъ уже, конечно, читателя послѣ всего вышеприведеннаго. Надоѣдаетъ это только немножко. Но дальше идетъ нѣчто интересное. Я говорилъ, между прочимъ: «теоретическая часть «Капитала» очень быстро заняла уже безспорно высокое мѣсто въ общепризнанной наукѣ». Иными словами, кому такія шутовскія слова нравятся: «увлекаются хорошіе господа, многіе профессора одобряютъ», все равно, какъ Дарвина. Но г. Бельтовъ съ этимъ не согласенъ. Онъ утверждаетъ, что среди нѣмецкихъ профессоровъ нѣтъ настоящаго почтенія къ автору «Капитала», «да и не можетъ быть его въ профессорѣ, потому что не сдѣлаютъ въ Германіи профессоромъ человѣка, проникнутаго имъ» (219).

Я такъ напуганъ г. Бельтовымъ, что не смѣю съ нимъ спорить. Можетъ быть, оно такъ и есть въ Германіи. У насъ въ Россіи, кажется, не совсѣмъ такъ. Есть, напр.. у насъ профессоръ Янжулъ, извѣстный своею солидностью, бывшій одно время фабричнымъ инспекторомъ, командированный въ 1893 г. министерствомъ финансовъ въ Америку, словомъ—человѣкъ на виду. Подъ редак-

ціей этого самаго профессора Янжула въ 1892 г. вышла «Книга о книгахъ», представляющая собою указатель чтенія по разнымъ отраслямъ. Въ отдѣлѣ политической экономіи тамъ рекомендуются и «Капиталъ», и «Zur Kritik der politischen Oekonomie», и «Misère de la Philosophie», и сочиненія популяризаторовъ и комментаторовъ Маркса: Кауцкаго, Гросса, Эвелинга, Зибера. Въ сочиненіи «Промысловые синдикаты», изданномъ департаментомъ торговли и мануфактуръ, тотъ же профессоръ Янжулъ называетъ книжку г. Струве «талантливымъ и остроумнымъ очеркомъ, съ главнѣйшими выводами котораго нельзя вполнѣ не согласиться» (стр. 402). (Мимоходомъ сказать, весьма одобрена книжка г. Струве въ 12-й книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за истекшій годъ, въ статьѣ г. Орловскаго). Ну, а въ какой мѣрѣ г. Струве проникнутъ Марксомъ, объ этомъ говорить нечего. Все это, однако, нисколько не мѣшаетъ профессору Янжулу быть профессоромъ. Что изъ этого слѣдуетъ? Отнюдь, я думаю, не то, что свобода университетскаго преподаванія такъ стѣснена въ Германіи, какъ утверждаетъ г. Бельтовъ, а лишь то, что изъ Маркса разные люди могутъ и разное извлекать. Это въ особенности относится къ его исторической теоріи, которой самъ онъ не разработалъ и съ которою у насъ часто знакомятся даже не изъ вторыхъ рукъ. Этимъ именно и объясняется, что «мы, марксисты» оказываются сплошь и рядомъ «не настоящими». Приведенныя мною въ прошломъ году письма свидѣтельствуютъ, что эти «не настоящіе» разныхъ степеней дѣйствительно существуютъ. Вотъ для нихъ-то мнѣ и хочется извлечь нѣчто поучительное изъ книги г. Бельтова.

Прежде всего оказывается, что и г. Струве не настоящій, и не только потому, что неосторожно проговорился насчетъ «выучки» и насчетъ необоснованности и непровѣренности историческаго матеріализма. Вы помните назойливость, съ которою г. Струве твердилъ, что «экономическій матеріализмъ просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину» и что «соціологія можетъ игнорировать личность». Во избѣжаніе недоразумѣній, онъ это «повторялъ», онъ «настаивалъ» на этомъ. Г. Бельтовъ, возражая, правда, не г. Струве, иронически спрашиваетъ: «Что такое общественныя отношенія производства? Это отношенія людей. Какъ же будутъ они развиваться безъ людей? Вѣдь тамъ, гдѣ не было бы людей, не было бы и отношеній производства» (222). И далѣе, уже не въ бровь, а прямо въ глазъ: «Матеріалисты-діалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно идеалистической» (234).

Неосторожность г. Струве: «пойдемъ на выучку къ капитализму»—г. Бельтовъ исправляетъ такъ: «существуетъ капиталистическая проза (въ противоположность поэзіи идеаловъ), а мы спрашиваемъ себя: какъ бороться съ этой прозой, какъ поставить народъ въ положеніе, хоть немного приближающееся къ идеальному?» (262). Съ этой точки зрѣнія, какъ поясняетъ г. Бельтовъ, вовсе не желательны ни «выкуриваніе лишняго мужика изъ деревни на фабрики», ни капитализація промысловъ, ни обезземеленіе крестьянъ. Г. Бельтовъ даже допускаетъ, что «должно стараться мѣшать ихъ обезземеленію» (правда, въ уклончивой формѣ: «*положимъ*, должно стараться» 161). Все это,—и капитализація, и обезземеленіе и проч.—неизбѣжно будетъ развиваться, въ этомъ г. Бельтовъ убѣжденъ, но «настоящимъ» вовсе не полагается принимать въ этомъ процессѣ активное участіе какою бы то ни было помощью ему, какъ и не полагается быть его безучастными созерцателями. Задача ихъ вотъ какая: «Развитіе знанія, развитіе человѣческаго сознанія является величайшей, благороднѣйшей задачей мыслящей личности. Licht, mehr Licht! вотъ что нужно прежде всего» (234). «Развивайте человѣческое сознаніе, сказали мы. Развивайте самосознаніе производителей, прибавляемъ мы теперь» (тамъ же). «Всѣ эти базары для продажи кустарныхъ издѣлій и попытки созданія производительныхъ ассоціацій едва ли облегчили положеніе хотя бы сотни нѣмецкихъ производителей. Но они содѣйствовали пробужденію самосознанія этихъ производителей и тѣмъ принесли имъ большую пользу. Такую же пользу, и уже прямымъ, а не обходнымъ путемъ, принесла просвѣтительная дѣятельность нѣмецкой интеллигенціи: школы, народныя читальни и т. п... Хлопоты г. Кривенки неуклюжи, неловки, безплодны, но если онѣ, не смотря на всѣ эти отрицательныя качества, разбудятъ самосознаніе хоть одного производителя, онѣ окажутся полезными, и тогда выйдетъ, что г. Кривенко жилъ на свѣтѣ не затѣмъ только, чтобы дѣлать логическія ошибки» (278).

Послѣднее, мнѣ кажется, уже слишкомъ любезно. Но ничего, разумѣется, не имѣю противъ этой любезности, и тѣмъ паче противъ просвѣтленія производителей. Думается мнѣ только, что для программы, столь простой и ясной, не зачѣмъ было «подниматься за облака» Гегелевой философіи и «опускаться на дно» окрошки изъ субъективнаго и объективнаго... Страшная мысль: вдругъ да и г. Бельтовъ окажется не настоящимъ!

Однако, и въ этомъ случаѣ, для другихъ не настоящихъ окажется полезнымъ, напримѣръ, напоминаніе объ «антифизикѣ» Даламбера. Этотъ мыслитель «говаривалъ, что онъ, на основаніи самыхъ безспорныхъ физическихъ законовъ, докажетъ неизбѣжность

явленій, совершенно невозможныхъ въ дѣйствительности. Надо только, слѣдя за дѣйствіями каждаго даннаго закона, забыть на время, что существуютъ другіе законы, видоизмѣняющіе его дѣйствіе» (274). Или еще такія слова: «Трудное это дѣло—объяснить весь историческій процессъ, послѣдовательно держась одного принципа. Но что прикажете? Наука вообще дѣло не легкое... Можетъ быть, въ вопросахъ, касающихся идеологій, самые лучшіе знатоки «экономической струны» окажутся подчасъ безсильными, если не будутъ обладать нѣкоторымъ особымъ дарованіемъ, именно художественнымъ чутьемъ... Много, очень много еще темнаго для насъ въ этой области!» (223). Г. Бельтовъ надѣется, конечно, разсѣять эту темноту, но для многихъ не настоящихъ поучительно уже то, что темнота пока еще существуетъ, что разсѣять ее—дѣло не легкое, для выполненія котораго нужно поработать въ разныхъ сферахъ духовной жизни: и художественное чутье не помѣшаетъ, и антифизику Даламбера помнить слѣдуетъ, и даже вырвать у исторіи тайну разницы между двумя Бюхнерами полезно.

Къ сожалѣнію, все это утоплено въ окрошкѣ и компрометировано тѣмъ «русскимъ духомъ», который, однако, повторяю, не непремѣнно «лжетъ за двухъ».

II *).

Изъ исторіи провинціальной печати.—Разсказы г. Марка Криницкаго.

«Кіевское Слово» напечатало слѣдующій циркуляръ одного изъ желѣзнодорожныхъ управленій:

Въ виду того, что въ послѣднее время въ печати стали появляться извѣстія, касающіяся домашней жизни управленія дорогъ, довожу до свѣдѣнія агентовъ ввѣренныхъ дорогъ, что извѣстія для газетъ могутъ сообщаться только лицами, спеціально уполномоченными для этого; агенты-же, сообщающіе свѣдѣнія для газетъ, не имѣя на это права, будутъ немедленно увольняемы отъ службы.

Почти тотчасъ же послѣ изданія циркуляра репортеръ «Кіевскаго Слова» получилъ не менѣе краткое и внушительное письмо:

Согласно подпискѣ, данной мною объ исполненіи циркуляра г. управляющаго дорогъ, честь имѣю покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, хотя я никогда не сообщалъ вамъ никакихъ свѣдѣній, впредь отнюдь не бывать у меня и не кланяться со мною на улицѣ, хотя мы и лично знакомы, такъ какъ это можетъ повредить моей карьерѣ по службѣ.—Подписалъ служащій управленія дорогъ такой-то.

Въ «Уфимскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» (12 октября) была напечатана, за подписью «Прохожаго», замѣтка о неурядицахъ на переправѣ черезъ р. Бѣлую. Уфимскій городской голова, г. Маллѣевъ, обидѣлся и напечалъ въ тѣхъ же «Губернскихъ Вѣдомостяхъ» «письмо къ редактору неоффиціальной части», въ которомъ, между прочимъ, читаемъ:

«Считаю долгомъ напомнить Вамъ, Господинъ Редакторъ, что печатаніе анонимныхъ корреспонденцій, явно заключающихъ въ себѣ инсинуацію, не допускается даже въ частной, уважающей печатное слово, прессѣ, а не только что въ оффиціальной, и такъ какъ «Уфимскія Губернскія Вѣдомости», перемѣнивъ еженедѣльный

---

*) Февраль 1895.

выходъ въ ежедневный, вовсе не утратили своего оффиціальнаго характера, то можно только удивляться, какъ допускается въ такомъ органѣ печатаніе подобныхъ сообщеній. Вѣдь, послѣ этого возможно допустить что угодно писать о всякомъ губернскомъ и даже столичномъ присутственномъ мѣстѣ? Я думаю, Вы, Господинъ Редакторъ, не забыли, что Городская Управа, образованная по закону 11 іюня 1892 года, приравнена къ Губернскому Правленію, Казенной палатѣ и другимъ Присутственнымъ мѣстамъ?—Съ появленіемъ этой корреспонденціи въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, въ публикѣ начали циркулировать слухи о томъ, что ужъ если въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ такъ пишутъ о Городской Управѣ, такъ, значитъ, дѣйствительно что нибудь выдающееся было. Зачѣмъ же допускать бросать незаслуженно грязью въ Правительственное, хотя бы и выборное учрежденіе? Не желая возбуждать преслѣдованія противъ анонимнаго корреспондента, я имѣю честь покорнѣйше просить Васъ огласить его имя и на будущее время такого рода корреспонденцій не допускать».

Такъ относится къ гласности россійскій обыватель, получившій хоть какую нибудь власть, хоть надъ чѣмъ нибудь, хотя бы по «совершенно постороннему вѣдомству»; онъ немедленно начинаетъ воображать себя правительствомъ, и ужъ, конечно, неприкосновеннымъ для печати. Поэтому онъ считаетъ себя вправѣ отдавать разнообразныя распоряженія по дѣламъ печати: дѣлать выговоры, воспрещать и проч. А когда у обывателя нѣтъ и тѣни какой бы то ни было власти, онъ прибѣгаетъ къ другого рода пріемамъ.

По словамъ «Русской Жизни», интересное заявленіе на смоленскомъ губернскомъ земскомъ собраніи сдѣлалъ гл. Н. А. Ковалевъ. Онъ обратился къ собранію съ слѣдующими словами: «Въ виду возбужденія вопроса о популяризаціи дѣятельности благотворительныхъ учрежденій и неполученія многими жителями нашей губерніи мѣстнаго органа печати, благодаря тому, что тамъ иногда помѣщаются непріятныя для нихъ извѣстія, я позволяю себѣ предложить губернскому собранію поручить управѣ выработать такую программу газеты, которая была бы пріятна мѣстному населенію и читалась бы имъ съ удовольствіемъ; только при этихъ условіяхъ и возможна желательная популяризація». Собраніе приняло проектъ г. Ковалева «къ свѣдѣнію».

Провинціальный обозрѣватель «Биржевыхъ Вѣдомостей» приводитъ слѣдующее характерное извѣстіе:

«Въ засѣданіи астраханскаго петровскаго Общества недавно почтили память газеты «Волга», погибшей въ Астрахани въ 60 годахъ въ борьбѣ съ рыбопромышленниками... Совѣтъ Общества постановилъ внести въ общее собраніе предложеніе объ избраніи въ

члены-корреспонденты Общества бывшаго редактора этой газеты, В. А. Бенземана».

По поводу этого извѣстія авторъ провинціальнаго обозрѣнія замѣчаетъ:

«Итакъ, «погибла» въ 60-хъ годахъ, а «почтили» въ половинѣ 90-хъ годовъ. Какъ видитъ читатель, для того, чтобы оцѣнить погибшую, потребовалось не мало времени. Но... всетаки оцѣнили, всетаки почтили и на всю Русь добрымъ словомъ вспомнили».

Далѣе газета напоминаетъ вкратцѣ поучительную исторію названнаго провинціальнаго изданія. Редакторъ его Бенземанъ основалъ газету въ Астрахани для борьбы съ возмутительными злоупотребленіями, которыя допускались астраханскими рыбопромышленниками какъ относительно казны, такъ особенно относительно рабочихъ. Газета съ самаго начала привлекла къ себѣ сочувствіе многихъ: у ней оказалось достаточно подписчиковъ во всемъ нижнемъ Поволжьѣ, около нея сгруппировался кружокъ сотрудниковъ. Но обличенія, которыя позволяла себѣ «Волга», выводили изъ себя рыбопромышленниковъ, которые и рѣшили во что бы то ни стало погубить «смѣльчака» съ его газетой. Они нанесли «Волгѣ» три удара, одинъ за другимъ.

«Первый ударъ былъ вотъ какого сорта. Раннимъ утромъ «смѣльчакъ» получаетъ адресъ отъ городскихъ подписчиковъ «Волги», подписанный болѣе чѣмъ «ста пятьюдесятью» лицами. Въ адресѣ— покорнѣйшая просьба не присылать имъ «Волги», какъ газеты, сдѣлавшейся-де пасквильной. Они, «подписчики», не только читать ее болѣе не желаютъ, но и въ руки брать не хотятъ».

Но редакторъ «Волги» продолжалъ борьбу, и на него обрушился второй ударъ, болѣе рѣшительный.

«У единственнаго тогда въ Астрахани писчебумажнаго торговца Козлова была вдругъ скуплена вся типографская бумага. Мало этого, ему строго-на-строго было запрещено продавать «смѣльчаку» и писчую бумагу. А до желѣзной дороги слишкомъ далеко... транспорты всякіе зимой идутъ долго... Выписать изъ Москвы или Пензы—значитъ ждать полгода, да и денегъ нѣтъ: Козловъ отпускалъ въ кредитъ, а московскіе и пензенскіе фабриканты, конечно, потребуютъ наличныя».

И газета перестала выходить. Однако сочувствіе къ «Волгѣ» было уже настолько сильно, что редакторъ ея получилъ неожиданную поддержку: кружокъ саратовцевъ, сочувствовавшихъ «Волгѣ», собралъ по подпискѣ денегъ, которыя переслалъ издателю «Волги», чтобы тотъ могъ продолжать изданіе газеты.

«А тутъ ему какъ разъ и посчастливилось. У одного изъ астраханскихъ кабатчиковъ оказался небольшой запасъ бумаги для за-

вертыванія бутылокъ... Этотъ запасъ кабатчикъ согласился уступить, и «органъ» астраханскаго Поволжья сталъ опять выходить... На этотъ разъ въ видѣ небольшихъ сѣренькихъ листковъ, составляющихъ теперь историко-библіографическую рѣдкость».

Но враги опять не дремали: они устроили такъ, что издатель «Волги» не могъ достать даже оберточной бумаги. А затѣмъ... поискали и нашли какого-то «доку», который съѣздилъ куда нужно и окончательно «доканалъ» «смѣльчака».

Таковы факты, характеризующіе положеніе нашей провинціальной печати. Ихъ можно было бы привести, конечно, гораздо больше. Въ провинціальныхъ газетахъ сплошь и рядомъ печатаются письма такого-то, имя рекъ, который желаетъ заявить, что не онъ авторъ такой-то статьи, смутившей чье-то спокойствіе въ Царевококшайскѣ или Алатырѣ; или другого имя река, слезно просящаго редакцію печатно удостовѣрить, что онъ никогда не состоялъ ея сотрудникомъ. Бываетъ, что обыватели доходятъ и до кулачной расправы съ представителями мѣстной печати. Не дальше, какъ 27 января нынѣшняго года, въ «Волжскомъ Вѣстникѣ» было напечатано слѣдующее:

«За послѣднее время, въ мѣстныхъ газетахъ появилось нѣсколько замѣтокъ, касающихся нѣкоторыхъ порядковъ и нравовъ торговцевъ москательнаго ряда. Замѣтки эти встревожили весь москательный рядъ и торговцы собрались даже на особаго рода совѣщаніе. Предметомъ этого совѣщанія послужилъ вопросъ, какъ изловить неизвѣстнаго автора появлявшихся въ газетахъ сообщеній, которыя пришлись не по вкусу москательщикамъ.

— Подкараулить надо!!—кричалъ на совѣщаніи одинъ.

— Показать слѣдуетъ ему кулаки наши!!—вторилъ другой.

— Поймать! поймать!!—поддакивалъ третій.

— Обязательно!!!—кричали хоромъ остальные. Послѣ долгихъ дебатовъ, споровъ и криковъ, въ которыхъ главное участіе принималъ торговецъ Алексѣевъ, москательщики рѣшили: поймать репортера, доказать (?) и проучить его какъ слѣдуетъ».

Въ сравненіи съ этими остатками доисторическаго быта вышеприведенные кіевскіе, смоленскіе и астраханскіе пріемы представляютъ собою, конечно, верхъ утонченной деликатности. Но пора бы россійскому обывателю уже и отстать отъ мѣры первобытнаго аршина. Уже слишкомъ 320 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ первый русскій типографщикъ Иванъ Ѳедоровъ бѣжалъ изъ Москвы «презѣльнаго ради озлобленія, часто случающагося намъ». Безъ малаго 200 лѣтъ существуетъ на Руси періодическая печать. Времени этого, казалось бы, слишкомъ достаточно для того, чтобы пріучиться не только не отвѣчать кулакомъ на статью, но и

не требовать непремѣнно «пріятностей» отъ литературы. Г. Ковалевъ желаетъ имѣть въ Смоленскѣ такую газету, самая программа которой исключала бы непріятныя для обывателей извѣстія. Онъ свидѣтельствуетъ, что «многіе жители» Смоленской губерніи не получаютъ мѣстнаго органа печати именно изъ-за этихъ «непріятныхъ извѣстій». Смоленская литература должна, значитъ, состоять исключительно изъ «звуковъ сладкихъ», а «бѣдность и несовершенства нашей жизни» пусть изображаются въ другихъ губерніяхъ... Однако, напримѣръ, не въ Астраханской и не въ Кіевской, потому что и тамъ многіе обыватели желаютъ, «чтобъ всю ночь, весь день ихъ слухъ лелѣя, про любовь имъ сладкій голосъ пѣлъ»; и не только желаютъ этого, но принимаютъ гораздо болѣе энергичныя, чѣмъ въ Смоленскѣ, мѣры противъ непріятныхъ извѣстій. Смоленскіе обыватели прибѣгаютъ, по крайней мѣрѣ, къ принципу конкурренціи и, не мечтая о насильственномъ искорененіи непріятныхъ извѣстій, или оставляя таковыя мечты въ глубинѣ своего сердца, хотятъ завести свою исключительно пріятную газету. Но развивая свой планъ устами г. Ковалева, они впадаютъ, мнѣ кажется, въ нѣкоторое логическое противорѣчіе. Проектъ пріятной газеты мотивируется «вопросомъ о популяризаціи дѣятельности благотворительныхъ учрежденій». Спрашивается, однако, возможно ли при подобной «популяризаціи» обойтись безъ непріятныхъ извѣстій? Если, напримѣръ, смоленскія благотворительныя дамы сложились по ниткѣ, чтобы сшить голому рубашку, то обывателямъ пріятно, конечно, будетъ прочитать въ газетѣ, что среди нихъ есть такія то и такія то великодушныя дамы. Но, съ другой стороны, самое существованіе въ Смоленской губерніи голаго человѣка, ради котораго благотворительницы отняли у себя по ниткѣ, не можетъ же радовать чувствительныя смоленскія сердца. Благотворительность есть вѣдь непремѣнно только оборотная сторона бѣдности и несовершенствъ жизни, и какъ же тутъ избѣжать непріятныхъ извѣстій? А кромѣ того, газета просто пріятная—кому нибудь въ губерніи будетъ всетаки непріятна, а газета пріятная во всѣхъ отношеніяхъ—и совсѣмъ невозможна. Вышеупомянутое кіевское желѣзно-дорожное управленіе считаетъ непріятными для себя такія извѣстія, которыя навѣрное были бы пріятны другимъ обывателямъ уже въ силу того, что истину, хотя бы и горькую, всегда пріятно знать. Кіевское желѣзно-дорожное управленіе насильственно закупориваетъ источникъ истины, вѣрныхъ извѣстій, потому что кому же и давать ихъ, какъ не служащимъ въ управленіи? А если бы тотъ или другой служащій сообщилъ невѣрное извѣстіе, то вѣдь въ распоряженіи управленія есть очень простое средство возстановленія истины,—опроверженіе. Но россійскій обыватель не любитъ этого простого средства. Въ обходъ его

онъ употребляетъ не то что смоленскіе пріемы,—эти пріемы совершенно законны, и любопытна здѣсь только наивная откровенность проекта пріятной газеты,—а и гораздо болѣе дѣйствительные кіевскіе и астраханскіе. Въ особенности замѣчательны послѣдніе. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣятельность астраханскихъ рыбопромышленниковъ, поскольку она шла въ ущербъ, казнѣ съ одной стороны, и рабочимъ— съ другой, никому, кромѣ самихъ рыбопромышленниковъ, пріятности не доставляла; разоблаченіе же этихъ спеціальныхъ пріятностей, столь же несомнѣнно, было господамъ рыбопромышленникамъ непріятно. И вотъ поднимается сложная, упорная и долгая кампанія противъ непріятныхъ извѣстій, которыя, наконецъ, и рублемъ, и дубьемъ благополучно искореняются. В. А. Бенземанъ, можетъ быть, и очень польщенъ почетомъ, оказаннымъ ему Совѣтомъ астраханскаго Петровскаго общества, но дорого яичко въ Христовъ день, и обыватели, воюющіе съ непріятными извѣстіями, это очень хорошо знаютъ. Вѣроятно, многіе изъ рыбопромышленниковъ, доканавшихъ «Волгу», еще живы и, похлопывая себя по карману, только смѣются себѣ въ бороду, слыша о почетѣ, оказанномъ г. Бенземану. Да и для другихъ дѣятелей провинціальной печати этотъ запоздалый почетъ, эта уже, можно сказать, историческая оцѣнка даже вѣдь не столько заслугъ, сколько даромъ потраченной энергіи—плохое утѣшеніе.

В. Г. Короленко напечаталъ недавно въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» очеркъ жизни и дѣятельности одного изъ видныхъ работниковъ провинціальной печати, — покойнаго Гацискаго. По этому поводу ему естественно пришлось припомнить нѣкоторыя черты изъ временъ медоваго мѣсяца провинціальной печати.

«Чѣмъ еще недавно занято было наше общество?—спрашивалъ А. С. Гацискій въ одной изъ своихъ статей («Нижегородскія Губ. Вѣд.» 1862 г., № 28). Только и разговоровъ было, что кто сколько визитовъ сдѣлалъ, да кто сколько полекъ безъ передышки отхваталъ, да о томъ, что въ піесѣ «Полковникъ старыхъ временъ» очень выгодно выказываются формы г-жи N. Нынче же прислушайтесь къ разговорамъ: кто говоритъ о новыхъ судахъ, кто о волостныхъ судахъ, кто о судѣ присяжныхъ».

Или вотъ начало корреспонденціи изъ Балахны въ тѣхъ же «Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ»:

«Впередъ, впередъ нашъ длинный, но узкій городокъ! Пусть въ жизни твоей только одна мѣстность стѣсняетъ ширину твоего населенія, и то потому, что ты прибрежное дѣтище Волги!.. Твое древнее достояніе — солеварни, чуть не допотопнаго устройства,— обряжаются нынѣ въ новыя удобнѣйшія формы... Ихъ пробудила наука, передавшая тебѣ свое знаніе черезъ морского инженера

В. П. Васильева... Ты завелъ у себя библіотеку и только ждешь преобразованія по управленію городскими суммами, чтобы исправить необходимые пути сообщенія... О, много, много талантовъ въ тебѣ, дорогой нашъ городъ!..»

И т. д. «Интересно, между прочимъ, прибавляетъ В. Г. Короленко, что вся эта пылкая тирада—только вступленіе къ рецензіи о любительскомъ спектаклѣ, къ которому авторъ и переходитъ, замѣчая, что послѣ такихъ подвиговъ на пути прогресса городъ имѣетъ право отдохнуть и повеселиться»...

То были времена наивныхъ, подчасъ безтолковыхъ, но почти всегда искреннихъ и безкорыстныхъ «литераторовъ-обывателей», къ которымъ Щедринъ отнесся, можетъ быть, съ чрезмѣрною, если не суровостью, то ворчливостью. Они и непріятныя извѣстія топили въ общемъ пріятно-розовомъ колоритѣ, утѣшавшемъ и прочихъ обывателей или, по крайней мѣрѣ, заставлявшемъ ихъ, скрѣпя сердце, глотать и непріятныя извѣстія. Да, дѣйствительно, на такой то улицѣ города N произошелъ безобразнѣйшій скандалъ, въ такомъ то уѣздѣ открыты чрезвычайныя злоупотребленія и т. д., все это вѣрно, но вѣдь завтра же все это кончится: «впередъ! впередъ! моя Елабуга, мой Миргородъ, мой Галичъ и Солигаличъ!» Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Провинціальная печать выросла, наивный розовый колоритъ вывѣтрился, и нынѣ елабужскій корреспондентъ, можетъ быть, ужъ не такъ увѣренъ, что въ его родномъ городѣ «много, много талантовъ», а нижегородскій лѣтописецъ уже не только объ однихъ новыхъ судахъ разговоры слышитъ, а опять и о визитахъ, и о полькахъ, и о формахъ г-жи N. Какъ бы ни были подчасъ смѣшны первыя попытки провинціальной печати, но она была отраженіемъ обще-обывательскаго настроенія, которое давало ей матеріалы для пріятныхъ извѣстій. Въ общемъ обыватель былъ доволенъ своей литературой. Теперь онъ не доволенъ. Почему? и чего бы онъ отъ нея хотѣлъ?

Замѣтьте, что единомысленные съ г. Ковалевымъ смоляне протестуютъ не противъ невѣрности сообщаемыхъ мѣстною газетою извѣстій, а только противъ ихъ непріятности. Кіевское желѣзнодорожное общество тоже не говоритъ, чтобы «появляющіяся въ послѣднее время въ печати извѣстія, касающіяся домашней жизни управленія», были невѣрны. И астраханскіе рыбопромышленники тоже. Обывателю, значитъ, нужна, по просту говоря, литература лживая, льстивая, угодливая, да, пожалуй, еще веселая, «смѣшная». А между тѣмъ, чего добраго, этотъ самый обыватель много разъ слыхалъ или даже, можетъ быть, самъ говорилъ благосклонныя, если не благоговѣйныя слова о значеніи и назначеніи литературы. Кто же ихъ не знаетъ, этихъ благосклонныхъ и благоговѣй-

ныхъ словъ? Ихъ стыдно повторять, — до такой степени они износились отъ частаго употребленія; стыдно, да и не зачѣмъ, если они все равно какъ горохъ отъ стѣны отскакиваютъ, если кіевскій, смоленскій, астраханскій обыватели, столько разъ ихъ слышавшіе, всетаки не уступаютъ въ своемъ требованіи исключительно пріятныхъ извѣстій. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, и можно говорить только о тѣхъ послѣдствіяхъ, какія будутъ имѣть кіевско-смоленско-уфимско-астраханскіе пріемы воздѣйствія для провинціальной печати.

Послѣдствія эти не трудно предвидѣть. Прошли времена наивно-пламенныхъ балахнинскихъ корреспондентовъ. Есть, конечно, и теперь люди искренніе, даже пламенные, но они уже утратили первобытную наивность, ознакомились со вкусомъ плодовъ древа познанія добра и зла и радуются не такъ много и не такъ часто. Они окажутся, значитъ, болѣе или менѣе не у дѣлъ въ той провинціальной литературѣ, къ которой кіевско-смоленско-астраханскіе пріемы будутъ приложены съ успѣхомъ. Безъ ихъ участія, содѣйствія, воздѣйствія и противодѣйствія будутъ вершиться благотворительныя дѣла въ Смоленскѣ, рыбо-промышленныя въ Астрахани и т. д. Мѣстную жизнь это, конечно, не украситъ, и не только мѣстную, какъ видно хотя бы изъ того, что потерпѣвшій пораженіе г. Бенземанъ являлся защитникомъ интересовъ казны. Не украситъ это, разумѣется, и жизнь самихъ оставшихся не у дѣлъ, вынужденныхъ быть молчаливыми свидѣтелями смоленскаго, астраханскаго, кіевскаго зла и неправды. Но собственно отъ ихъ невольнаго молчанія нива провинціальной литературы количественно, а въ извѣстномъ смыслѣ и качественно, не оскудѣетъ. Нынѣ повсемѣстно развелось много «бойкихъ перьевъ», есть изъ чего выбирать людей покладистыхъ, готовыхъ славословить и веселить, и есть между ними дѣйствительно бойкія перья, способныя «оживлять столбцы». Настрочить чувствительную или же, напротивъ того, суходѣловитую передовицу во славу мѣстныхъ благотворителей ли, кулаковъ ли; пустить ядовитую насмѣшку по адресу оставшихся не у дѣлъ или обвинить ихъ въ неблагонамѣренности; написать веселенькій разсказъ или стишки съ благовременными прозрачными намеками на величіе однихъ и ничтожество другихъ, извѣстныхъ всему городу лицъ,—все это они могутъ. И всему этому будутъ рады обыватели. требующіе пріятныхъ извѣстій. Мѣстная печать найдетъ въ нихъ своихъ меценатовъ, оплачивающихъ славословіе и веселье двусмысленнымъ почетомъ и недвусмысленными подачками, провинціальная литература процвѣтетъ. Все это я говорю, разумѣется, примѣрно, схематически, и отнюдь не думаю, чтобы эволюція въ этомъ направленіи могла совершаться очень быстро. У насъ еще

очень сильно идеальное представленіе объ обязанностяхъ литературы, для очень еще многихъ она есть храмъ правды, не подлежащій оскверненію, и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, астраханско-смоленскіе пріемы могли способствовать обезцвѣченію провинціальной печати, но, говоря вообще, имъ не удалось окрасить ее въ нужный имъ цвѣтъ. Есть, конечно, исключенія. Кажется, года три тому назадъ г. Меньшиковъ разсказалъ въ «Недѣлѣ» любопытные факты относительно нижегородской ярмарочной печати, да и о петербургской вскользь сообщилъ нѣчто, что меня тогда же поразило и что невольно вспоминается теперь.

Вслѣдъ за недавнимъ биржевымъ переполохомъ, вызвавшимъ предостерегающее вмѣшательство министерства финансовъ, обнаружилось, что наши столичные газетчики весьма навострились въ дѣлѣ сниманія пѣнокъ со всего, что допускаетъ эту манипуляцію. Не входя въ подробности относящихся сюда разоблаченій, приведу одинъ только эпизодъ. Г. Житель выступилъ въ «Новомъ Времени» съ обвиненіями «Петербургской Газеты» въ нечистыхъ биржевыхъ дѣлахъ. Два сотрудника «Петербургской Газеты» рипостировали г. Жителю, при чемъ одинъ изъ нихъ писалъ, между прочимъ: «Что мы такое, извѣстно вполнѣ обширному кругу нашихъ читателей». «Да,—отвѣчалъ въ свою очередь г. Житель,—извѣстно по книгѣ «Герои литературнаго шантажа», по двумъ слѣдствіямъ о вымогательствѣ взятокъ съ антрепренеровъ, актрисъ и ихъ поклонниковъ и еще кое о чемъ» («Новое Время», 31 января). Я не справлялся, какъ приняла эти слова «Петербургская Газета», и не знаю книги «Герои литературнаго шантажа», но припоминаю, что въ упомянутыхъ статьяхъ г. Меньшикова въ «Недѣлѣ» весьма опредѣленно говорилось о скандальномъ дѣлѣ какихъ то шестнадцати представителей такъ называемой малой прессы, обличавшихся содержателями загородныхъ увеселительныхъ заведеній въ шантажѣ. Г. Меншиковъ цитировалъ при этомъ весьма бойкія разсужденія «Петербургской Газеты» о томъ, что честность совершенно не нужна журналисту, а нуженъ только талантъ. Теперь г. Житель упоминаетъ о вымогательствахъ взятокъ съ антрепренеровъ, актрисъ и проч. «и еще кое о чемъ» и связываетъ это съ биржевыми эпизодами, тяжело отозвавшимися на карманахъ людей, которые соединяютъ въ себѣ жажду быстрой и легкой наживы съ легковѣріемъ, эксплуатируемымъ небезкорыстными биржевыми хроникерами. Самая возможность публичнаго, громогласнаго обвиненія такого сорта есть уже черта литературныхъ нравовъ, способная привести въ ужасъ не однихъ завзятыхъ идеалистовъ вродѣ, напримѣръ, К. Аксакова, который обращался къ печатному слову съ такимъ неуклюжимъ, но искреннимъ и горячимъ гимномъ:

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя,
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь.

И т. д. «Бойкимъ перьямъ», увѣреннымъ, что журналисту честность не нужна, а нуженъ только талантъ, эти слова должны казаться очень смѣшными, а идеалистъ въ свою очередь съ ужасомъ долженъ думать о томъ, во что можетъ превращаться «чудо изъ божьихъ чудесъ» и «мысли свѣтильникъ и пламя». Но, повторяю, нѣтъ надобности въ такомъ благоговѣйномъ отношеніи къ печатному слову, чтобы придти въ ужасъ отъ увеселительно-шантажно-ажіотажныхъ подвиговъ бойкихъ перьевъ. Даже тотъ самый обыватель, который въ Кіевѣ, Уфѣ, Смоленскѣ, Астрахани властно требуетъ исключительно пріятныхъ извѣстій, можетъ содрогнуться хотя бы только за свой карманъ. Пусть же онъ не ошибается относительно будущаго, къ которому онъ приближается своими настояніями; рано ли, поздно ли извращенная этими настояніями печать и его предастъ и продастъ. И, откровенно говоря, туда ему и дорога, если ужъ на то пошло,—онъ самъ себѣ вырылъ яму. Бѣда, однако, въ томъ, что въ эту же яму провалятся и обыватели ни въ чемъ неповинные. Ихъ много, не считая даже той массы, которая непосредственно терпитъ отъ того, что уфимскій городской голова, астраханскіе рыбопромышленники и проч. очень любятъ пріятныя извѣстія и употребляютъ всѣ возможныя и даже не возможныя для нихъ средства, дабы извѣстія непріятныя въ печать не проникали.

Да, даже невозможныя для нихъ средства, ибо, что бы ни говорилъ г. уфимскій городской голова о равенствѣ городской управы съ губернскимъ правленіемъ и казенной палатой, а ни одному изъ этихъ присутственныхъ мѣстъ не предоставлено право воспрещать печатаніе не нравящихся имъ статей,—для этого есть спеціальныя учрежденія. Г. уфимскій городской голова сыгралъ поэтому комическую роль и получилъ въ тѣхъ же «Уфимскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» вполнѣ заслуженный урокъ, какъ отъ автора возмутившей его замѣтки о переправѣ черезъ р. Бѣлую, такъ и отъ редактора «Вѣдомостей». Первый основательно замѣтилъ г. Маллѣеву, что «дѣятели печатнаго слова призваны не хвалу воздавать только кому бы то ни было» («Уф. Губ. Вѣд.» 29 окт.), но болѣе, надо думать, убѣдительно для г. Маллѣева указаніе г. редактора «Вѣдомостей», что онъ, городской голова, «уже вышелъ изъ границъ», публикуя свои распоряженія по дѣламъ совершенно неподвѣдом-

ственной ему печати. «Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно», прибавляетъ редакторъ. Конечно, но всетаки тутъ есть комическій элементъ сердитаго безсилія, который совершенно отсутствуетъ въ другихъ вышеприведенныхъ эпизодахъ изъ жизни провинціальной печати. Въ Уфѣ смѣшно вышло, но въ другихъ мѣстахъ такъ или иначе удается устроить между жизнью и литературой завѣсу пріятныхъ извѣстій.

Балахнинскій корреспондентъ добраго стараго времени весь сверкалъ радостью по случаю улучшеннаго устройства солеварень, предстоящаго замощенія улицъ («необходимые пути сообщенія»), устройства библіотеки, любительскаго спектакля. Все это, вѣроятно, и теперь есть въ Балахнѣ, и, можетъ быть, даже въ превосходной степени. Но натура человѣческая такъ устроена, что явленія, ставшія привычными, обыденными, перестаютъ радовать, и, не смотря на мостовыя и любительскіе спектакли, въ Балахнѣ теперь можетъ быть не очень весело. Не знаю, гдѣ живетъ герой «Монологовъ» г. Баранова,—въ самой ли Балахнѣ, или въ Балахнинскомъ, или въ какомъ другомъ уѣздѣ, но ему во всякомъ случаѣ навѣрное не весело. Онъ не правъ, конечно, утверждая, что «тамъ въ Питерѣ, у чертей на куличкахъ, все въ розовомъ свѣтѣ представляется: «ростъ провинціи», «широкое поле для дѣятельности», «благія начинанія», «чортъ въ ступѣ, однимъ словомъ». Не въ одномъ Питерѣ, по крайней мѣрѣ, дѣло, когда и въ Кіевѣ, и въ Уфѣ, и въ Смоленскѣ, и въ Астрахани объявляются самозванные командиры печати, воюющіе съ непріятными извѣстіями. Но такому несчастному человѣку, какъ герой «Монологовъ», можно простить и маленькую несправедливость. Мы застаемъ его въ страшную минуту сознанія, что его почти уже безповоротно засосало болото пошлости. Человѣкъ онъ, повидимому, слабый, но не дурной, даже, можетъ быть, очень хорошій, съ чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ, съ запросами недюжиннаго ума. Понятны тѣ вопли отчаянія, которые вырываются изъ его замирающей души,—онъ вѣдь чувствуетъ, какъ она замираетъ; онъ только, простонародно выражаясь, бахвалится, отождествляя свой идеалъ съ рюмкой водки, и самъ себя этимъ отождествленіемъ болѣзненно бередитъ. Отчаяніе есть, конечно, только острый моментъ, и если не разрѣшится пулей или морфіемъ, то обратится въ ровную, длящуюся, неотступную тоску, корень которой заключается въ томъ, что человѣкъ не вѣритъ въ свое дѣло среди «широкаго поля для дѣятельности», «благихъ начинаній» и прочаго, надъ чѣмъ такъ зло смѣется герой «Монологовъ». Мнѣ кажется, такихъ тоскующихъ людей,—не особенно энергичныхъ, но хорошихъ и способныхъ,—нынѣ много и въ Астраханской, и въ Смоленской, и въ Уфимской, и въ Кіевской губерніяхъ.

Другого рода тоску пожелалъ изобразить г. Маркъ Криницкій, авторъ только что появившагося крошечнаго сборника разсказовъ, озаглавленнаго «Въ туманѣ». Въ сборникѣ всего три разсказа и всѣ три достаточно плохи, чтобы быть обойденными молчаніемъ. Но претензіи автора велики, и ради одной изъ нихъ мы остановимся на разсказѣ «На пути къ выздоровленію (изъ исторіи больной души)».

Юный и бѣдный провинціалъ, Поповъ по фамиліи, пріѣзжаетъ въ столицу (Москву, повидимому) и поступаетъ въ университетъ. Онъ полонъ надеждъ, бодрости, жажды знанія. Онъ избралъ математическій факультетъ и усердно занимается. Сидитъ онъ однажды надъ лекціями дифференціальнаго исчисленія и думаетъ: «Какое счастіе заниматься всѣмъ этимъ! Какая разница съ той первобытностью и отсталостью, которая царитъ дома на родинѣ!» Но какъ разъ въ эту минуту ему въ нѣсколько новомъ освѣщеніи вспоминаются «матушка, лежащая въ параличѣ съ искривленнымъ ртомъ, трое дикарей братишекъ, четыре сестры, у которыхъ почему-то глаза вѣчно красны отъ слезъ, и забитый, часто пьяненькій отецъ». «И въ первый разъ со времени моего пребыванія въ столицѣ,— разсказываетъ Поповъ,—что-то безпокойное и жалостливое заныло во мнѣ». Съ этихъ поръ въ душѣ Попова образуется,—если можно такъ выразиться,—трещина, все расширяющаяся и причиняющая ему все большую и большую тоску. Не совсѣмъ ясно почему (онъ и самъ говоритъ, что его «выводы слишкомъ туманны»), но воспоминанія о бѣдности и несовершенствахъ жизни въ родномъ захолустьѣ связываются въ немъ съ скептицизмомъ по отношенію къ наукѣ. Подобно Фаусту, онъ стремится познать все, переходитъ съ одного факультета на другой, но нигдѣ не находитъ удовлетворенія. Наконецъ, подобно Фаусту же, онъ приходитъ къ заключенію, что «необходимо озаботиться просвѣщеніемъ народныхъ массъ и поднятіемъ ихъ матеріальнаго благосостоянія; искорененіе нищеты и невѣжества,—вотъ культурная миссія просвѣщенной столицы!» Разочаровавшись въ наукѣ, которая не открыла ему «смысла жизни», онъ рѣшилъ по просту послужить родному захолустью, «дать ему возможность вздохнуть счастливо и безмятежно». Казалось бы, тутъ и сказкѣ конецъ. Она, дѣйствительно, такъ и кончается, но лишь послѣ новыхъ мытарствъ героя, опредѣляемыхъ встрѣчею съ другою тоскующею душою—Игнатьевымъ, тоже студентомъ.

Съ Игнатьевымъ Поповъ встрѣтился на студенческой вечеринкѣ, гдѣ говорили «о голодовкахъ, объ улучшеніи земли при помощи клевера (?), о земскихъ школахъ, о пьянствѣ» и, кромѣ того, много пили. Пьянъ и даже пьянѣе другихъ былъ и Игнатьевъ.

Но онъ держалъ необычныя рѣчи. Онъ уличалъ своихъ собесѣдниковъ и собутыльниковъ въ томъ, что они лгутъ, собираясь бороться или трудиться на пользу отечества, что они сами не вѣрятъ своимъ словамъ и вовсе не любятъ своего отечества. Онъ, повидимому, правъ относительно той компаніи, въ которой ораторствуетъ. Но и въ его рѣчахъ обнаруживается нѣкоторая любопытная двойственность, которою авторъ, очевидно, очень дорожитъ, какъ тонкою психологическою чертою. Игнатьевъ говоритъ, между прочимъ: «Собрались мы тутъ люди все самые образованные и въ высшей степени мыслящіе; всѣ мы гордимся здравымъ смысломъ и пр., между нами нѣтъ ни одного вѣрующаго въ Бога или вообще метафизика, мы всѣ люди трезвые, отъявленные позитивисты, а не безтолочь какая нибудь! Въ Бога не вѣримъ, загробной жизни не признаемъ, дѣвочекъ (тутъ онъ подмигнулъ своими слезящимися глазами) и водку любимъ и собираемся дѣлать такъ, чтобы наука засіяла на всѣхъ перекресткахъ матушки Россіи и была бы въ ней не жизнь, а разливанное море». Естественно можетъ показаться, что это рѣчь сатирическая, что, ставя за одну скобку атеизмъ, любовь къ «дѣвочкамъ и водкѣ» и уваженіе къ наукѣ, Игнатьевъ относится ко всему этому отрицательно. Но это не такъ. Игнатьевъ дѣйствительно атеистъ, любитъ «дѣвочекъ и водку» и преклоняется передъ наукой. Но, опять же, какъ у Фауста, «двѣ души въ груди его живутъ». Онъ теоретически убѣжденъ въ правильности и цѣльности своего образа мыслей и поведенія, но въ глубинѣ души его живетъ тайный протестъ, подавленное тяготѣніе къ совсѣмъ инымъ взглядамъ и совсѣмъ иной жизни, которое тяготѣніе онъ считаетъ, однако, своею личною слабостью и объясняетъ своею неподготовленностью къ воспринятію истины. Будущія же поколѣнія окончательно въ ней утвердятся, то есть увѣруютъ во всемогущество науки (она, между прочимъ, найдетъ возможность «приготовить «духъ» въ химической ретортѣ»), которая, дескать, упразднитъ, съ одной стороны, всякую вѣру въ Бога, а съ другой—оправдаетъ «любовь къ дѣвочкамъ и водкѣ». Отсюда слѣдуетъ два вывода. Во-первыхъ, Игнатьевъ не можетъ вѣрить искренности тѣхъ своихъ собесѣдниковъ, собутыльниковъ и единомышленниковъ, которые разглагольствуютъ о любви къ отечеству, къ народу и проч., о готовности безкорыстной работы для ихъ пользы и величія,—все это они врутъ, притворяются, ибо любви и безкорыстной работѣ нѣтъ мѣста въ ихъ міроразумѣніи. Можетъ показаться страннымъ, что, напримѣръ, толки «объ улучшеніи земли при помощи клевера» — лживы, а надежда «приготовить духъ въ химической лабораторіи»— искренна. Очень вѣроятно, что это и дѣйствительно просто два вздора, помноженные на одинъ общій вздоръ. Но, можетъ быть, тутъ

есть и нѣкоторый смыслъ съ точки зрѣнія автора. Въ мечтѣ объ «улучшеніи земли при помощи клевера» есть извѣстный этическій элементъ,—забота о чьемъ-то благополучіи,—котораго именно и не допускаетъ Игнатьевъ, тогда какъ «приготовленіе духа въ химической лабораторіи» ожидается, повидимому, исключительно во славу науки. Какъ бы то ни было, а второй выводъ изъ положенія Игнатьева состоитъ въ необходимости извѣстной тоскливой душевной муки. Онъ, подобно поэту г. Минскаго, и слишкомъ поздно, и слишкомъ рано родился. Сердце его лежитъ къ вещамъ, по его мнѣнію, прошедшимъ, отрицаемымъ его собственнымъ разумомъ, а къ велѣніямъ разума, указующимъ будущія вещи,—онъ не приспособился. Отсюда тоска, доводящая Игнатьева до мысли о самоубійствѣ, котораго онъ, впрочемъ, счастливымъ образомъ не приводитъ въ исполненіе. Онъ заражаетъ своей тоской и Попова; тотъ тоже подумываетъ о самоубійствѣ, но ограничивается умопомѣшательствомъ, которое опять-таки счастливымъ образомъ оканчивается выздоровленіемъ. Оба уѣзжаютъ въ свои родныя захолустья и примиряются съ жизнью,—Поповъ въ качествѣ надзирателя мѣстной гимназіи, Игнатьевъ—менѣе опредѣленно, но во всякомъ случаѣ желая «внести съ собою свѣтъ и благополучіе». Такимъ образомъ, оба друга пришли въ концѣ-концовъ къ тому самому рѣшенію, къ которому Поповъ пришелъ еще до встрѣчи съ Игнатьевымъ. Зачѣмъ же, спрашивается, авторъ проволочилъ его черезъ новыя увлеченія наукой и новыя разочарованія въ ней и черезъ рядъ пьяныхъ и грязныхъ похожденій?

Зависитъ это, кажется, отъ того, что г. Криницкій погнался за двумя зайцами, въ результатѣ чего, какъ извѣстно, обыкновенно ни одного не оказывается. Г. Криницкій хочетъ дать, такъ сказать, подножку, во-первыхъ, столичному житью, во-вторыхъ—наукѣ. Онъ разсказываетъ: «Прежде всего мы увлеклись наукой такъ, какъ только можетъ увлекаться своей идеей человѣкъ въ состояніи гипноза или моноидеизма; мы учились почти до полнаго изнеможенія. Какъ пчелы, старались мы схватить самыя разностороннія свѣдѣнія, въ то же время избравши себѣ одну опредѣленную спеціальность, которая становилась для насъ чѣмъ-то въ родѣ idée fixe... Затѣмъ у насъ было болѣзненное стремленіе и къ другого рода палліативнымъ средствамъ. Это были—театръ и пьянство. Посѣщеніе театра у насъ тоже было какое-то болѣзненное и ненормальное. Особенно увлекала насъ опера; это было тоже своего рода пьянство... Пьянство въ буквальномъ значеніи этого слова .. было для многихъ и многихъ изъ насъ одна почти безпрерывная вакхическая оргія. Всѣ приведенные факты однородны между собою по источнику своего происхожденія; всѣ они проистекаютъ отъ незнанія, куда кинуться, что

предпринять, какъ начать жить. Масса сбитаго съ толку различными нелѣпыми или недозрѣлыми теоріями люда мятется, не зная, какъ измыкать по свѣту свою жизненную силу».

Позволительно усомниться въ нарисованной Поповымъ или г. Криницкимъ картинѣ. Казалось бы, заниматься *почти до изнеможенія* наукой и въ то же время участвовать въ *почти непрерывной* вакхической оргіи—немножко мудрено: какъ ни вертись, а въ суткахъ всего только 24 часа. И пусть не ошибается читатель: не разныя группы товарищей Попова занимались однѣ наукой, другія пьянствомъ, третьи театромъ. Онъ о самомъ себѣ говоритъ: «Въ наукѣ, театрѣ и пьянствѣ проявились мое безсиліе и безволіе». Для Попова или г. Криницкаго дѣло не въ точномъ воспроизведеніи его и его товарищей время провожденія, а въ томъ, чтобы лишній разъ связать какою-то якобы логическою нитью науку съ пьянствомъ. Повидимому, исторію его слѣдуетъ понимать много проще, чѣмъ онъ разсказываетъ. Хотя онъ и утверждаетъ, что занимался наукой почти до изнеможенія, углубляясь при томъ въ самыя разнообразныя ея отрасли, но въ своемъ изложеніи онъ вовсе не обнаруживаетъ эрудиціи. Да и тотъ фактъ, что онъ, въ концѣ-концовъ, пристроился къ педагогической дѣятельности—хотя бы и въ качествѣ гимназическаго надзирателя—не свидѣтельствуетъ о разочарованіи въ наукѣ. Онъ, повидимому, просто принадлежитъ къ числу тѣхъ, объ которыхъ въ старину говорилось, что они убоялись премудрости и возвратились вспять. Но онъ считаетъ себя вправѣ мстить наукѣ, при помощи «различныхъ нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теорій», которыми его снабжаетъ Игнатьевъ и суть которыхъ состоитъ въ томъ, что наука будто бы отрицаетъ нравственный элементъ. Достовѣрно, что нѣчто подобное этимъ теоріямъ существуетъ, но не менѣе достовѣрно, что это нѣчто «нелѣпо или недозрѣло», а потому ставить его на счетъ самой наукѣ—отнюдь не полагается.

Кромѣ науки, Поповъ своимъ разсказомъ мститъ еще столицѣ, столичной жизни съ ея сутолокой и будто бы обязательнымъ для всѣхъ и каждаго развратомъ. Онъ противопоставляетъ ей провинціальную идиллію. Когда онъ, оправясь отъ психическаго разстройства, подъѣзжалъ къ родному городу, отецъ говорилъ ему: «Ваничка, глянь-ка-сь, какъ и въ самомъ дѣлѣ хорошо вокругъ! Говорилъ я тебѣ, зачѣмъ уѣзжать... Погляди: вотъ и церковь бѣлѣется Николы Кладбищенскаго... Экая красота! Сколько ни ѣзжу, никакъ не налюбуюся!» Хороши тоже ночи въ томъ городѣ, и Поповъ «чувствовалъ, что здѣсь, среди ночного уединенія, передъ лицомъ вѣчности сердце его бьется нѣжною любовью ко всему живущему». «Передъ лицомъ вѣчности» (которая, надо думать, отвратила свое лицо отъ столицъ) Поповъ и другія вещи видѣлъ въ родномъ го-

родѣ. Тамъ все по старому: «Тѣ же бороды и картузы, тѣ же выворочеиныя скулы и разбитыя физіономіи, попрежнему биткомъ набита шумная «клопарня» (кутузка для пьяныхъ). Куда ни глянешь, все тѣ же заспанные глаза и приторныя улыбки; вездѣ старинная грязь и ветошь. Улицы съ допотопными плетнями и плохенькими строеніями; лишь кое гдѣ стоитъ приличный домишко, да торчитъ новый деревянный заборъ, да и то весь уже изрѣзанный ножами и исписанный всевозможными неприличными словами и ругательствами».

Видите, какъ хорошо, особенно послѣ разочарованія въ наукѣ. Немудрено, что Поповъ «ходитъ радостный и счастливый по знакомымъ переулкамъ, улицамъ и закоулкамъ; всѣ ему рады, и онъ всѣмъ радъ». Но есть вещи и еще пріятнѣе на родинѣ Попова. Вотъ хоть бы его семья. Отецъ у него пьяница и развратникъ; измученная имъ жена, мать Попова, устраиваетъ ему сцены, за которыя онъ ее, наконецъ, возненавидѣлъ и придумалъ слѣдующую чудовищную месть: «Гдѣ то, въ какомъ то вертепѣ онъ успѣлъ заразиться одною очень модною, постыдною болѣзнью; вскорѣ ею заболѣла и матушка. Это была страшная месть! Не было предѣловъ злорадству моего отца,—разсказываетъ Поповъ.—Онъ кричалъ: Ага, шлюха бульварная! умѣешь другихъ пилить! А сама, безстыдница, что дѣлаешь? Меня страмишь?!»

Это продѣлалъ тотъ самый отецъ Попова, который съ умиленіемъ говорилъ о красотѣ церкви Николы Кладбищенскаго. И вы понимаете, какъ пріятно встрѣтить такую фигуру и такія дѣянія послѣ столичнаго разврата и пьянства, осоюженныхъ съ наукой. Тамъ, «предъ лицомъ вѣчности», въ свободной отъ науки атмосферѣ, не любятъ «дѣвочекъ и водки». Тамъ и нашелъ свое успокоеніе, «смыслъ жизни» и примиреніе съ жизнью Поповъ...

Поповъ разсказываетъ много мерзостей про себя и своихъ товарищей, но мерзости эти совершенно блѣднѣютъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ разсказываетъ про своего отца. Почему же столичныя мерзости такъ угнетаютъ его, а провинціальныя, несравненно худшія, не мѣшаютъ ему, «радостному и счастливому, ходить по знакомымъ переулкамъ, улицамъ и закоулкамъ»? Прежде всего потому, что первыя какими то невѣдомыми нитями связаны съ наукой. А затѣмъ есть и еще причина. Поповъ разсказываетъ: «Я видѣлъ, что Игнатьевъ правъ и что также былъ правъ и я, когда не видѣлъ задушевной цѣли ни въ современной наукѣ, ни въ общественной жизни. Я съ особенною ясностью вдругъ уразумѣлъ всю эту безцѣльную и глупую сумятицу, называемую общественною жизнью, гдѣ люди живутъ, не зная, зачѣмъ это дѣлаютъ,

гдѣ они или сознательно отказываются отъ всякихъ прекрасныхъ возвышенныхъ цѣлей, или, если и признаютъ всемогущаго Бога и загробную жизнь, то черезъ пять минутъ всѣми своими поступками доказываютъ обратное».

Поповъ, очевидно, всуе призываетъ имя Божіе, такъ какъ и его отецъ, и тѣ, что пишутъ неприличныя надписи и ругательства на заборѣ, и тѣ, что «выворачиваютъ скулы и избиваютъ физіономіи», не уличаются же имъ въ атеизмѣ. Едва ли можно также сказать, что эти господа «живутъ, зная, зачѣмъ они это дѣлаютъ». Поэтому, устраняя черты, произвольно введенныя Поповымъ, мы убѣждаемся, что Поповъ, кромѣ науки, бѣжалъ еще отъ «безцѣльной и глупой сумятицы, называемой общественною жизнью». Основательно ли онъ усваиваетъ общественную жизнь исключительно столицамъ, — это вопросъ особый; но достовѣрно, что въ томъ углу, гдѣ онъ нашелъ свое успокоеніе, господствуетъ и глупая, и безцѣльная, и во всѣхъ смыслахъ скверная сумятица, отнюдь не заслуживающая названія общественной жизни.

Поповъ утверждаетъ, что онъ и Игнатьевъ учились почти до изнеможенія, углубляясь при томъ въ разнообразнѣйшія отрасли знанія. Наука, однако, едва ли принесла имъ много пользы. Иначе Игнатьевъ не разсчитывалъ бы приготовить «духъ» въ химической лабораторіи, а Поповъ не огорчался бы тѣмъ, что «геометрія не спрашиваетъ, зачѣмъ въ прямоугольномъ треугольникѣ сумма двухъ острыхъ угловъ равна одному прямому». Во всякомъ случаѣ творецъ Игнатьева и Попова, г. Маркъ Криницкій, до такой степени не умѣетъ свести свои концы съ концами и до такой степени слабъ во всѣхъ смыслахъ,— нравоописательномъ, художественномъ, идейномъ, — что поистинѣ удивляться надо смѣлости, съ которою онъ берется ставить и трактовать вопросъ о «нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теоріяхъ» со всѣми ихъ практическими послѣдствіями. Чтобы быть ихъ судьей, надо стоять выше ихъ; а г. Маркъ Криницкій (или его персонажи) самъ является жертвой той своеобразной судьбы нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теорій, которую онѣ испытываютъ у насъ.

Нелѣпыя или недозрѣлыя теоріи, разумѣется, вездѣ существуютъ и вездѣ даютъ себя знать болѣе или менѣе прискорбными послѣдствіями. Но въ ихъ судьбѣ у насъ есть нѣсколько особенныхъ чертъ. Во-первыхъ, ни сами онѣ, ни добросовѣстная ихъ критика не договариваются обыкновенно до конца, вслѣдствіе чего концы ихъ оказываются предоставленными на произволъ разнообразнѣйшихъ единоличныхъ толкованій безъ надлежащаго авторитетнаго руководства. Во-вторыхъ, онѣ охватываютъ у насъ сравнительно

съ Западной Европой (то есть принимая въ соображеніе количественную разницу читателей вообще) очень большую, часто даже прямо большую часть такъ называемой интеллигенціи. Въ-третьихъ, наконецъ, въ нашихъ массовыхъ увлеченіяхъ, какъ этими нелѣпыми и недозрѣлыми теоріями, такъ и здравыми идеями, нѣтъ никакой преемственности; наше такъ называемое образованное общество перескакиваетъ отъ одного увлеченія къ другому съ удивительною легкостью. Та мучительная тоска, которую будто бы испытываетъ герой г. Марка Криницкаго, Поповъ, при надломѣ міроразумѣнія, равно какъ и та, подъ тяжестью которой будто бы изнываетъ другой герой вышеизложеннаго разсказа, Игнатьевъ, вслѣдствіе раздвоенности между разумомъ и чувствомъ,—тоска эта есть у насъ совсѣмъ не заурядное явленіе. Вообще говоря, въ цѣломъ, мы скорѣе подобны легкокрылымъ птичкамъ, беззаботно перепархивающимъ съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево, изъ одной рощи въ другую, равно благодарно оглашая ихъ своими веселыми пѣснями.

Только что вышло новое изданіе «Исторіи цивилизаціи въ Англіи» Бокля (въ старомъ и очень хорошемъ переводѣ Буйницкаго). Этому замѣчательному произведенію въ русскомъ переводѣ тридцать лѣтъ (въ оригиналѣ немногимъ больше, оно появилось въ 1857—1860 г.). Вытерпѣло оно у насъ, кромѣ того, о которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, еще шесть изданій — три въ переводѣ Буйницкаго и три въ переводѣ Бестужева-Рюмина. Оно принадлежитъ къ числу произведеній классическихъ, достоинства и неждостатки которыхъ давно взвѣшены и которыя поэтому не нуждаются въ новыхъ толкованіяхъ и критическомъ пересмотрѣ. Я убѣжденъ, однако, въ противномъ, то есть въ томъ, что для многихъ, если не для большинства, нынѣшнихъ читателей пересмотръ знаменитаго труда Бокля окажется весьма полезнымъ и даже прямо необходимымъ. Я не предполагаю заниматься этимъ дѣломъ сегодня и остановлюсь только на двухъ фразахъ изъ новаго изданія, при томъ фразахъ, принадлежащихъ не самому Боклю.

Авторъ вступительной статьи къ настоящему изданію, г. Е. Соловьевъ, приводитъ слова Уоллеса въ его книгѣ о Россіи: «Мнѣ рѣдко приходится раскрывать номеръ журнала и даже газеты безъ того, чтобы не встрѣтить имени Бокля. Интеллигентная молодежь зачитывается «Исторіей цивилизаціи» и на многія мысли, высказанныя въ ней, смотритъ, какъ на откровеніе». Такъ было въ шестидесятыхъ годахъ, а теперь можно, кажется, предложить премію тому, кто во всѣхъ журналахъ и газетахъ вмѣстѣ най-

детъ имя Бокля хотя бы только десять разъ за цѣлый годъ. Другая фраза, на которую я хотѣлъ бы обратить вниманіе читателя, принадлежитъ мнѣ. Издатель сдѣлалъ мнѣ честь, выбравъ эпиграфомъ для книги Бокля слѣдующія мои слова: «Сопоставленіе Бокля и графа Толстого напрашивается само собой, такъ какъ это прямыя противоположности». Да, это дѣйствительно прямыя противоположности. А между тѣмъ, если хорошенько посчитать, то разстояніе между моментомъ, когда мы перестали находить «откровеніе» у Бокля, и тѣмъ, когда мы начали искать его у гр. Толстого, едва-ли многимъ превосходитъ то время, о которомъ Гамлетъ говоритъ:

И башмаковъ еще не износила,
Въ которыхъ шла въ слезахъ, какъ Ніобея,
За бѣднымъ прахомъ моего отца...
О, Небо! Звѣрь безъ разума, безъ слова,
Грустилъ бы долѣе...

А давно-ли мы износили и тѣ сапоги, въ которыхъ паломниками ходили въ Ясную Поляну и въ Москву, на Дѣвичье Поле? Достовѣрно, во всякомъ случаѣ, что мы ихъ износили и ходимъ опять въ новыхъ; имя гр. Толстого не пестритъ уже до такой степени страницъ нашихъ журналовъ и газетъ, какъ это было еще недавно. Отъ гр. Толстого мы сдѣлали скачекъ въ нѣкоторомъ родѣ назадъ, къ міровоззрѣнію, весьма родственному тому, которое съ такою полнотою и односторонностію выразилось въ знаменитой книгѣ Бокля, хотя уже не въ ней ищемъ и находимъ «откровеніе» и даже, можетъ быть, только по наслышкѣ знаемъ ее. Новое міровоззрѣніе претендуетъ на титулъ «научнаго», «объективнаго», но оно такъ заигрываетъ съ гегельянствомъ, что можно ожидать и новыхъ скачковъ въ самомъ непродолжительномъ времени. А съ другой стороны, герои г. Марка Криницкаго разочаровываются въ «наукѣ» хотя и не во имя гр. Толстого и даже не упоминая этого имени, но въ родственномъ ему направленіи...

Жизнь не стоитъ на мѣстѣ. Она развивается и, развиваясь, задаетъ мысли новые вопросы или требуетъ новаго освѣщенія старыхъ нерѣшенныхъ или ошибочно рѣшенныхъ вопросовъ. Послѣдовательная смѣна міровоззрѣній есть поэтому необходимое явленіе, но въ каждый данный историческій моментъ міровоззрѣніе должно отвѣчать однимъ и тѣмъ же кореннымъ условіямъ: оно должно удовлетворять разумъ и совѣсть, которые вѣдь тоже не неподвижны. Повидимому, однако, единовременное удовлетвореніе этихъ двухъ элементовъ человѣческаго существа представляетъ очень большія трудности. Въ настоящее время надѣлала во французской литера-

турѣ большого шума полемика Брюнетьера, Рише, Бертело и другихъ по вопросу о «разочарованіи въ наукѣ». Я не буду теперь о ней говорить и замѣчу только слѣдующее. Правы или неправы, и въ какой мѣрѣ правы или неправы дѣятели европейской мысли, возлагая на науку свои надежды и разочаровываясь въ нихъ, но въ своихъ разочарованіяхъ они не указъ героямъ г. Марка Криницкаго. Я вѣрю, что они много пьянствовали, но не вѣрю, чтобы они много учились.

III *).

„Хозяинъ и работникъ" гр. Л. Толстого.—Г. Ціонъ и г. министръ финансовъ.—Кн. Цертелевъ о печати.

«Хозяинъ и работникъ», —такъ называется новый разсказъ гр. Л. Н. Толстого. «Хозяинъ», Василій Андреевъ Брехуновъ, купецъ-кулакъ, ѣдетъ покупать за безцѣнокъ рощу у сосѣдняго помѣщика и, по настоянію жены, беретъ съ собой въ проводники «работника» Никиту. Дѣло происходитъ зимой, путники сбиваются съ дороги, ихъ заноситъ снѣгомъ, и, въ концѣ-концовъ, хозяинъ и лошадь замерзаютъ, а работникъ выживаетъ. Онъ умираетъ двадцать лѣтъ спустя, спокойною, тихою смертью у себя дома. Вотъ и вся фабула разсказа. Но этотъ голый фактическій остовъ обряженъ чрезвычайно тонкими подробностями своего рода филигранной работы, даже слишкомъ изобильными, но напоминающими лучшую пору литературной дѣятельности гр. Толстого, когда онъ еще не становился на стезю пророка.

Въ одномъ изъ своихъ севастопольскихъ разсказовъ, гр. Толстой, нарисовавъ нѣсколько сценъ въ моментъ перемирія, задается вопросомъ: «И эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, *вложилъ въ душу каждаго, вмѣстѣ со страхомъ смерти*, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастія не обнимутся, какъ братья?» Нѣтъ, отвѣчаетъ самъ себѣ гр. Толстой: «бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія». Отвѣтъ этотъ пугаетъ автора, какъ «злая истина», какъ «осадокъ вина, которое не надо взбалтывать, чтобы не испортить его». Непосредственно за этимъ раздумьемъ не совсѣмъ ясный оборотъ мысли приводитъ автора къ другому раздумью: «Гдѣ выраженіе зла, ко-

---

*) Мартъ 1895.

тораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны». «Герой же моей повѣсти,—пишетъ гр. Толстой въ заключеніе,—котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда».

Это тоже не совсѣмъ ясно или же не совсѣмъ точно. «Правда», какъ герой повѣсти и при томъ «герой», въ противоположность «злодѣю», требуетъ еще какихъ-то опредѣленій, которыхъ авторъ не далъ. Можно, повидимому, истолковать дѣло такъ, что гр. Толстой выше всего цѣнитъ правдивость, искренность мысли и чувства, что именно поэтому «правда» есть «герой» его произведеній, то «выраженіе добра, которому слѣдуетъ подражать», и тогда «злодѣемъ», «выраженіемъ зла, котораго должно избѣгать», будетъ ложь въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. И дѣйствительно, произведенія лучшей поры гр. Толстого, тѣ, отъ которыхъ онъ нынѣ открещивается, блещутъ правдой и любовью къ правдѣ. Безстрашная и неподкупная искренность самого автора такъ плотно, такъ органически связывается въ нихъ съ явною любовью къ искреннимъ, правдивымъ дѣйствующимъ лицамъ и съ столь же явною нелюбовью или презрѣніемъ ко всякой лжи, театральной приподнятости, лицемѣрію. Все это такъ. Но слишкомъ тонко художественное чутье гр. Толстого, чтобы такъ-таки и раздѣлить человѣчество на правдивыхъ и лживыхъ. Онъ охотно подмѣчаетъ черты фальши у своихъ любимцевъ и минуты искренности у нелюбимыхъ дѣйствующихъ лицъ. Перечитывая нашу цитату изъ «Севастопольскихъ разсказовъ», мы видимъ, что съ какой-то высшей точки зрѣнія герои ихъ «всѣ хороши и всѣ дурны». Въ той же цитатѣ находимъ чрезвычайно характерное для гр. Толстого указаніе на «страхъ смерти», вложенный въ каждаго человѣка вмѣстѣ съ жизнью. И, не отвергая собственнаго показанія гр. Толстого, что «герой» его произведеній есть правда (а слѣдовательно, «злодѣй»—ложь), я думаю, что большій кругъ интересующихъ его и художественно воспроизведенныхъ имъ явленій получитъ объясненіе, если мы признаемъ «героемъ» ихъ жизнь и слѣдовательно «злодѣемъ» смерть. Это можетъ быть весьма недалеко отъ его собственнаго показанія. Въ «Войнѣ и мирѣ» Пьеръ Безуховъ, ранивъ Долохова и полагая, что убилъ его, «вслухъ приговариваетъ непонятныя слова: Глупо... глупо! Смерть... ложь»...

Въ качествѣ художника, гр. Толстой любитъ (или любилъ) жизнь уже просто какъ совокупность и игру красокъ, звуковъ, формъ. Вся эта многошумная, разноголосая и всѣми цвѣтами сверкающая пестрота привлекаетъ его къ себѣ, какъ матеріалъ для удовлетво-

ренія прирожденной потребности творчества. Но, насколько извѣстна біографія гр. Толстого,—а она, благодаря его склонности къ публичной исповѣди, довольно хорошо извѣстна,—онъ, и какъ человѣкъ, до кризиса, объ которомъ онъ самъ разсказалъ, страстно любилъ жизнь и жилъ, такъ сказать, во вся, какъ въ большіе, особенно радостные праздники, звонятъ «во вся». Можно даже думать, что самый кризисъ, какъ это вообще часто бываетъ, былъ у гр. Толстого результатомъ пресыщенія жадно и страстно глотавшейся жизнью. Въ литературной его дѣятельности эта любовь къ жизни выразилась многими и различными чертами. Она именно составляетъ источникъ того уваженія и довѣрія къ «естественности», къ «природѣ», которыя такъ сближаютъ гр. Толстого съ Руссо и его знаменитымъ изреченіемъ: «все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все портится въ рукахъ человѣка». Отсюда же то враждебное чувство, которое гр. Толстой питаетъ къ людямъ, думающимъ управлять «естественнымъ ходомъ вещей»,—ихъ вмѣшательство въ ходъ вещей представляется ему частью комически безсмысленнымъ, частью вреднымъ насиліемъ надъ жизнью. Съ особенною охотою подчеркиваетъ (или подчеркивалъ) онъ при всякомъ удобномъ случаѣ безсиліе разума передъ жизнью,—безсиліе не только измѣнить, направить ее, но даже и понять. Правда, другими сторонами своего существа гр. Толстой былъ самъ влекомъ къ воздѣйствію на жизнь, и отсюда берутъ начало многія его любопытныя самопротиворѣчія, но мы ихъ здѣсь касаться не будемъ. Намъ нужно отмѣтить еще одно проявленіе его любви къ жизни, а именно—его отношеніе къ смерти.

Едва-ли найдется не только въ одной нашей, а и во всемірной литературѣ писатель, который удѣлялъ бы столько вниманія смерти, какъ гр. Толстой. Припомните смерть барыни, мужика и дерева въ разсказѣ «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», рядъ смертей въ военныхъ разсказахъ, смерть старика Болконскаго, Андрея, его жены, Пети Ростова и проч. въ «Войнѣ и мирѣ», смерть лошади въ «Холстомѣрѣ», смерть Анны, Николая Левина въ «Аннѣ Карениной». И дѣло здѣсь не въ количествѣ только. «Гамлетъ» оканчивается смертью короля, королевы, Лаэрта и самого Гамлета, но это только финалъ трагедіи, и мы ничего не узнаемъ объ ихъ предсмертныхъ физическихъ мукахъ и мысляхъ, о смерти, какъ процессѣ. Это просто точка; «они умерли», и трупы ихъ уносятъ со сцены подъ звуки похороннаго марша. Не такъ легко и просто разстается со своими умирающими гр. Толстой. Съ необыкновенною тщательностью записываетъ онъ и ходъ ихъ мыслей, постепенно переходящій въ бредъ, и ощущенія физической боли, и мысли, чувства, слова, поступки окружающихъ. Но не съ холодною точ-

ностью протоколиста вырисовываетъ онъ всѣ эти подробности: онѣ точно сами собою складываются въ атмосферѣ грусти и страха, обдающей самого автора. Смерть, какъ жестокій, неумолимый, страшный врагъ жизни, столько же занимаетъ гр. Толстого, какъ и сама жизнь, и именно въ качествѣ врага послѣдней, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самого гр. Толстого.

Жизнь есть «герой» произведеній Льва Николаевича, и какъ же не «злодѣй» эта смерть, когда она подкашиваетъ такіе едва распустившіеся цвѣтки, какъ жизнерадостный прапорщикъ Алаинъ въ «Набѣгѣ» или Петя Ростовъ, который еще наканунѣ подѣтски лакомился изюмомъ и передъ которымъ лежала такая длинная дорога всяческаго счастья? Какъ же она не злодѣй, когда— «я васъ всѣхъ люблю и никому худого не дѣлала и что вы со мной сдѣлали?» говорило прелестное, жалкое, мертвое лицо глупенькой и добренькой жены князя Андрея Болконскаго? Правда, есть у гр. Толстого изображенія и другого рода смертей, такъ сказать, болѣе законныхъ съ точки зрѣнія автора или, по крайней мѣрѣ, менѣе незаконныхъ. Но, какъ мы уже видѣли въ цитатѣ изъ севастопольскихъ разсказовъ, «въ душу каждаго вложенъ страхъ смерти». И даже когда рѣчь идетъ о другихъ сторонахъ дѣла, этотъ страхъ всетаки остается на первомъ мѣстѣ. По поводу смерти князя Андрея Болконскаго гр. Толстой говоритъ: «Когда человѣкъ видитъ умирающее животное, *ужасъ* охватываетъ его: то, что есть онъ самъ, сущность его, въ его глазахъ очевидно уничтожается— перестаетъ быть. Но когда умирающее есть человѣкъ, и человѣкъ любимый, *кромѣ ужаса передъ уничтоженіемъ жизни*, чувствуется разрывъ и духовная рана». Конечно, каждому изъ читателей приходилось на своемъ вѣку видѣть смерть, если не человѣка, тѣмъ паче любимаго человѣка, то, по крайней мѣрѣ, животнаго, но едва ли многіе согласятся съ гр. Толстымъ относительно порядка своихъ чувствъ по этому поводу: прежде всего ужасъ и иногда только ужасъ, и уже «кромѣ того» разрывъ и душевная рана. Я увѣренъ, что для огромнаго большинства чувства располагаются при видѣ смерти въ обратномъ порядкѣ: душевная рана и уже «кромѣ того», и то далеко не всегда, и ужасъ передъ уничтоженіемъ жизни; сначала скорбь, болѣе или менѣе глубокая, о любимомъ человѣкѣ или простая жалость при видѣ смертельныхъ страданій животнаго, и уже потомъ, можетъ быть, ужасъ мысли о смерти вообще, о неминуемости собственной смерти въ частности. Среди многочисленныхъ картинъ смерти, написанныхъ гр. Толстымъ, найдется не мало подтверждающихъ нашъ взглядъ, но относительно самого творца всѣхъ этихъ мастерскихъ картинъ совершенно правъ авторъ только что вышедшей его біографіи (въ «Біографической библіотекѣ»

Павленкова), г. Е. Соловьевъ, говоря: «Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами... Страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни гр. Толстого». Г. Соловьевъ очень кстати приводитъ при этомъ слова гр. Толстого объ Аміэлѣ: «Впродолженіи всѣхъ 30 лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены къ смерти и *казнь* наша только отсрочена. И отъ этого то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга». Я не знаю книги Аміэля, можетъ быть, она и есть сплошное memento mori, но сочиненія самого гр. Толстого отнюдь не исключительно посвящены «страшнымъ глазамъ смерти». Въ нихъ шумнымъ и сверкающимъ ключомъ бьетъ жизнь, жажда жизни, страстная привязанность къ ней и уже только въ силу этой привязанности—страхъ смерти. Въ этомъ состоитъ необходимая поправка или дополненіе къ вѣрному замѣчанію г. Соловьева. Можетъ показаться, что это дополненіе совершенно не нужное, такъ какъ, дескать, страхъ смерти и привязанность къ жизни—одно и то же: поскольку человѣкъ привязанъ къ жизни, постольку онъ боится смерти. Да, именно поскольку—постольку. И преслѣдующій гр. Толстого ужасъ смерти вполнѣ соотвѣтствуетъ той исключительно жадной и страстной привязанности къ жизни, которая ему свойственна и которая придаетъ многимъ его произведеніямъ такую яркую и жизнерадостную окраску, когда «страшные глаза смерти» временно отвращаются отъ него. Самая мысль о самоубійствѣ, посѣщавшая графа, по его собственному разсказу, была результатомъ, какъ это ни странно можетъ показаться, жажды жизни и страха смерти. Онъ разсказываетъ: «Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самого положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что нибудь и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству». Въ «Войнѣ и мирѣ» Пьера Безухова одно время неотступно преслѣдуетъ «страшная она»—жизнь, отъ которой онъ не знаетъ какъ отдѣлаться. Въ «Смерти Ивана Ильича» героя разсказа подъ конецъ столь же неотступно преслѣдуетъ совсѣмъ, повидимому, другая «страшная она»—смерть. Но обѣ эти страшныя фигуры дополняютъ другъ друга или, вѣрнѣе, относятся другъ къ другу, какъ лицо и изнанка одной и той же ткани: жизнь страшна, но только потому, что неизбѣжно должна кончиться смертью, а сама по себѣ она такъ дорога, что и цѣны

ей нѣтъ. Въ XIII томѣ сочиненій гр. Толстого есть обширное разсужденіе «о жизни», а въ немъ отдѣльная глава посвящена «страху смерти», но собственно все разсужденіе проникнуто страхомъ смерти, хотя гр. Толстой и хочетъ доказать, что смерти бояться нечего, что ея даже просто нѣтъ, что она только призракъ для людей, ведущихъ правильную жизнь. Доказываетъ онъ это длиннымъ рядомъ силлогизмовъ, которые, однако, независимо отъ ихъ дѣйствительной цѣнности, имѣютъ, мнѣ кажется, для самого графа не больше цѣны, чѣмъ силлогизмъ: «Кай—человѣкъ, всѣ люди смертны, потому Кай смертенъ»—для Ивана Ильича. Бѣдный Иванъ Ильичъ хорошо зналъ этотъ силлогизмъ и всетаки, вопреки очевидности, не допускалъ приложенія его къ нему, Ивану Ильичу. Такъ—я боюсь—и гр. Толстой не убѣждается несомнѣнными, повидимому, для него истинами, и «страшные глаза смерти» не перестаютъ его пугать...

Какъ сохранить жизнь безъ отравляющей ее мысли о смерти? Какъ выжечь, уничтожить тотъ страхъ смерти, который—мы видѣли—«вложенъ въ каждаго»? Такова главная задача гр. Толстого за послѣднее время. Если она и прежде занимала его, то теперь онъ на ней, можно сказать, исключительно сосредоточился, и всѣ его писанія суть только радіусы, соединяющіе разныя точки его кругозора съ этимъ центромъ.

Сюда относятся прежде всего его разсужденія о физическомъ трудѣ, объ «упряжкахъ», о чистомъ воздухѣ полей и лѣсовъ и прочія гигіеническія черты его нравственнаго ученія. Но ими обезпечиваются только здоровье и долголѣтіе, смерть только отдаляется, оставаясь по-прежнему страшнымъ неизбѣжнымъ концомъ. Нельзя ли сдѣлать его, по крайней мѣрѣ, не страшнымъ? Для этого есть рецептъ, въ совершенно законченномъ видѣ данный еще буддистами: надо, не отказываясь отъ жизни, сократить до послѣдней возможности ея бюджетъ, дабы, подойдя къ неизбѣжному концу, безъ страха и сожалѣній перейти въ ту область нирваны, которая не есть, собственно говоря, ни жизнь, ни смерть. Но, если такъ, то конецъ, можетъ быть, не только не страшенъ, а и не неизбѣженъ. Я отказываюсь слѣдить за фантастическимъ скачкомъ мысли или столь же фантастическимъ ползкомъ извилистыхъ силлогизмовъ, которымъ гр. Толстой приходитъ къ заключенію, что правильная жизнь гарантируетъ насъ отъ смерти. Я только напомню конецъ «Смерти Ивана Ильича». Этотъ конецъ есть въ художественномъ отношеніи непріятное пятно на разсказѣ,—до такой степени онъ произволенъ, не мотивированъ, лишенъ того яркаго и безпощадно-правдиваго реализма, которымъ справедливо славится гр. Толстой. Иванъ Ильичъ не дѣлалъ чего нибудь особенно худого, но всю жизнь прожилъ вялымъ, плоскимъ эгоистомъ и, заболѣвъ, сталъ му-

читься страхомъ смерти. Но передъ самымъ концомъ, почувствовавъ, что его дѣйствительно жалѣютъ жена и сынъ, самъ проникается къ нимъ жалостью и любовью.

И вдругъ ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, вдругъ все выходитъ съ разу, и съ двухъ сторонъ, и съ десяти сторонъ, со всѣхъ сторонъ. Жалко ихъ, надо сдѣлать, чтобы имъ не больно было. Избавить ихъ и самому избавиться отъ этихъ страданій. «Какъ хорошо и какъ просто», подумалъ онъ. «А боль?» спросилъ онъ себя. «Ее куда?» «Ну-ка, гдѣ ты боль?»

Онъ сталъ прислушиваться.

«Да вотъ она. Ну, что-же? Пускай боль»

«А смерть? Гдѣ она?»

Онъ искалъ своего прежняго привычнаго страха смерти и не находилъ его. Гдѣ она? какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вмѣсто смерти былъ свѣтъ.

— Такъ вотъ что!—вдругъ вслухъ проговорилъ онъ.—Какая радость!

Я думаю, что это восклицаніе «Какая радость!»—на каждаго мало-мальски художественно чуткаго человѣка должно дѣйствовать, какъ непріятный, рѣжущій ухо диссонансъ. И если такой великій художникъ, какъ гр. Толстой, ввелъ этотъ фальшивый аккордъ въ свое произведеніе, то лишь потому, что очень ему ужъ хотѣлось показать, что смерть можетъ быть не страшна, что ея можетъ даже и не быть. Это онъ насъ и себя утѣшаетъ. Спасибо ему, конечно. Спасибо въ особенности за то, что онъ условіемъ отсутствія страха смерти ставитъ не только буддійски-аскетическую практику, а и любовь, и именно дѣйственную любовь, любовь въ формѣ добрыхъ дѣлъ, хотя любовь эта могла бы имѣть и другую, болѣе твердую и менѣе гадательную основу.

Иванъ Ильичъ особенно худого ничего не дѣлалъ, жилъ, что называется, какъ всѣ: ходилъ на службу, игралъ въ карты, ходилъ въ гости и у себя принималъ гостей, имѣлъ жену и сына, съ которыми не худо жилъ. Но только подъ самый конецъ загорѣлась въ немъ искра настоящей любви, почти не успѣвшая выразиться добрымъ дѣломъ. Однако и этого достаточно было, чтобы Иванъ Ильичъ освободился отъ страха смерти и удостоился смерти даже радостной, даже отсутствія смерти. Въ новомъ разсказѣ—«Хозяинъ и работникъ»—гр. Толстой предъявляетъ, повидимому, одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ гораздо большія требованія въ смыслѣ дѣйственной любви.

Я сказалъ выше, что новый разсказъ напоминаетъ лучшую пору литературной дѣятельности гр. Толстого. Въ одной газетѣ сказано было даже, что «разсказъ этотъ даже среди произведеній знаменитаго писателя представляетъ шедевръ». Это немножко через-

чуръ. Тамъ же было сказано, что въ разсказѣ «почти 4 листа». Это невѣрно: въ разсказѣ меньше $2^1/_2$ листовъ, и если онъ кому нибудь при чтеніи показался чуть не вдвое больше, то это указываетъ на одинъ изъ недостатковъ новаго произведенія гр. Толстого,— онъ слишкомъ растянутъ многочисленными и ненужными подробностями. Онъ напоминаетъ лучшую пору автора, но только напоминаетъ. Внутренній интересъ разсказа сосредоточивается въ двухъ послѣднихъ главахъ, которыя я здѣсь и приведу цѣликомъ, тѣмъ болѣе, что и въ художественномъ отношеніи онѣ лучшія. Какъ уже упомянуто, хозяинъ и работникъ отправились зимой по хозяйскимъ, довольно обыкновеннымъ житейскимъ, но все-таки не вполнѣ чистымъ, кулацкимъ дѣламъ. На эти дѣла хозяинъ, сытый, богатый, самодовольный мужикъ—кулакъ, состоящій, между прочимъ, и церковнымъ старостой, захватилъ и церковныхъ денегъ 2300 рублей. Дорогой они запутались и послѣ разныхъ приключеній работникъ сталъ было уже замерзать, безропотно покоряясь высшей волѣ, а себялюбецъ хозяинъ рѣшилъ покинуть его на очевидную погибель, самъ же ускакалъ верхомъ на лошади, куда глаза глядятъ. Но лошадь, покруживъ, привезла его на то мѣсто, гдѣ замерзалъ въ саняхъ работникъ. Чтобы согрѣться, онъ ложится на тѣло работника и такимъ образомъ отогрѣваетъ его. Въ предсмертномъ бреду ему кажется, что

онъ лежитъ на постели и все не можетъ встать, и все ждетъ, и ожиданіе это и жутко, и радостно. И вдругъ радость совершается, приходитъ тотъ, кого онъ ждалъ, и это ужъ не Иванъ Матвѣичъ становой, а кто то другой, но тотъ самый, кого онъ ждетъ. Онъ пришелъ и зоветъ его, и этотъ тотъ, кто зоветъ его,—тотъ самый, который кликнулъ его и велѣлъ ему лечь на Никиту. И Василій Андреичъ радъ, что этотъ кто то пришелъ за нимъ.— Иду! кричитъ онъ радостно. И крикъ этотъ будитъ его...

И онъ просыпается, но просыпается совсѣмъ уже не тѣмъ, какимъ онъ заснулъ. Онъ хочетъ встать и не можетъ; хочетъ двинуть рукой, не можетъ; ногой — тоже не можетъ. Хочетъ повернуть головой — и того не можетъ. И онъ удивляется, но нисколько не огорчается этимъ. Онъ понимаетъ, что это смерть, и нисколько не огорчается и этимъ. Онъ понимаетъ, что Никита лежитъ подъ нимъ, и что онъ угрѣлся и живъ, и ему кажется, что онъ—Никита, а Никита—онъ, и что жизнь его не въ немъ самомъ, а въ Никитѣ. Онъ напрягаетъ слухъ и слышитъ дыханіе, даже слабый храпъ Никиты. — «Живъ Никита, значитъ живъ и я», съ торжествомъ, говоритъ онъ себѣ. И что то совсѣмъ новое, такое, чего онъ не зналъ во всю жизнь свою, сходитъ на него.

И онъ вспоминаетъ про деньги, про лавку, домъ, покупки, продажи и про милліоны Мироновыхъ, и ему трудно понять, зачѣмъ этотъ человѣкъ, котораго звали Василіемъ Брехуновымъ, занимался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ занимался.—«Что-жъ, вѣдь онъ не зналъ, въ чемъ дѣло»,—думалъ онъ про Василія Брехунова. «Не зналъ, такъ теперь знаю. Теперь ужъ безъ ошибки, *теперь знаю.* И опять онъ слышитъ зовъ того, кто ужъ окликалъ.—Иду, иду!—ра-

достно, умиленно говоритъ все существо его. И онъ чувствуетъ, что онъ свободенъ и ничто уже больше не держитъ его.

И больше ужъ ничего не видѣлъ и не чувствовалъ въ этомъ мірѣ Василій Андреичъ.

А Никита померъ только въ нынѣшнемъ году дома, какъ желалъ, подъ святыми и съ зажженной восковой свѣчкой въ рукахъ. Передъ смертью онъ просилъ прощенья у своей старухи и простилъ ее за бондаря, простился и съ малымъ, и съ внучатами, и умеръ, истинно радуясь тому, что избавляетъ своей смертью сына и сноху отъ обузы лишняго хлѣба, и самъ уже по настоящему переходитъ изъ этой наскучившей ему жизни въ ту иную жизнь, которая съ каждымъ годомъ и часомъ становилась ему все понятнѣе и заманчивѣе. Лучше или хуже ему тамъ, гдѣ онъ послѣ этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли онъ, или нашелъ тамъ то самое, что ожидалъ?— мы всѣ скоро узнаемъ.

И такъ, вотъ еще двѣ смерти (не считая лошади) въ богатой коллекціи гр. Толстого. Смерть Василія Андреевича сильно напоминаетъ смерть Юліана Милостиваго въ извѣстной легендѣ Флобера, переведенной Тургеневымъ. Юліанъ тоже ложится на умирающаго, чтобы согрѣть его, и, умирая самъ, тоже чувствуетъ «восторгъ неизъяснимый, нечеловѣческую радость». Въ предсмертномъ бреду его, личность отогрѣваемаго имъ странника тоже сливается съ высшимъ существомъ, которое, правда, не зоветъ его съ собой, а прямо уноситъ съ собою въ небесную даль. Василій Андреевичъ не совершалъ такихъ страшныхъ грѣховъ и злодѣяній, какіе тяготятъ душу Юліана, но за то же Юліанъ искупаетъ грѣхи годами подвига и его конечное самопожертвованіе есть лишь послѣднее звено цѣпи, что придаетъ ему характеръ естественности, по скольку таковой возможенъ въ легендѣ. Василій Андреевичъ крови не проливалъ, какъ Юліанъ, отца съ матерью не убивалъ, но все же онъ былъ грабитель, навѣрное десятки людей пустившій съ сумой по міру для устройства своего благополучія. Пусть все это искупается его послѣдними минутами, но мнѣ кажется, одно изъ двухъ: если Василій Андреевичъ спасъ Никиту безсознательно, нечаянно, надѣясь самъ спастись и отогрѣться около его тѣла,— такъ это не самопожертвованіе, и не велика нравственная цѣнность послѣднихъ минутъ Василія Андреевича; если же онъ дѣйствительно забылъ о себѣ и только о спасеніи Никиты думалъ, то это для него слишкомъ неожиданный, слишкомъ немотивированный поступокъ,—вѣдь онъ только что было предательски бросилъ Никиту на произволъ судьбы, чтобы спастись самому. «Радостную» смерть, которую Юліанъ Милостивый *заслужилъ*, Василій Андреевичъ получилъ гораздо дешевле: почти безсознательнымъ и во всякомъ случаѣ полу-сознательнымъ дѣйствіемъ, въ результатѣ котораго оказалось спасеніе ближняго, тотчасъ послѣ безсердечнаго поступка съ этимъ самымъ ближнимъ. Однако, это, все таки, больше, чѣмъ

предсмертная вспышка любви въ Иванѣ Ильичѣ. Что касается Никиты, то это человѣкъ не мудреный и небезгрѣшный, пьяненькій, но добрый, услужливый, работящій, злу не сопротивляющійся и совершенно довольный своею участію, въ противоположность Василію Андреевичу, которому все больше и больше денегъ надо, а зачѣмъ — неизвѣстно. Никита знаетъ, что, кромѣ «хозяина» разсказа, у него есть еще «Хозяинъ» на небѣ, воля котораго да будетъ. Таковы, значитъ, два пути, ведущіе къ радостной смерти...

Какъ изъ всякаго произведенія гр. Толстого, изъ его новаго разсказа можно сдѣлать нѣсколько выводовъ, кромѣ главнаго, касающагося смерти; между прочимъ, можетъ быть и такой, что работникомъ, батракомъ лучше быть, чѣмъ хозяиномъ. Этотъ выводъ не былъ бы новостью для гр. Толстого. Въ одной изъ его сказокъ («Ильясъ») работникъ и его жена, прежде сами бывшіе хозяевами, расхваливаютъ свое теперешнее житье. Они говорятъ: «50 лѣтъ счастья искали и не нашли, а только вотъ теперь второй годъ, какъ у насъ ничего не осталось и мы въ работникахъ живемъ, мы настоящее счастье нашли и другого намъ никакого не надо... Жили мы изъ заботы въ заботу, изъ грѣха въ грѣхъ и не видали счастливой жизни... Теперь встанемъ мы, поговоримъ всегда по любови въ согласіи, спорить намъ не о чемъ, заботиться не о чемъ,— только намъ и заботы, что хозяину служить».

Я боюсь, что ни хозяева, ни работники не повѣрятъ гр. Толстому.

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во время созрѣлъ,

и, созрѣвши, безболѣзненно, безстрашно и непостыдно сорвался своею естественною тяжестью съ древа жизни, храня въ себѣ зародышъ новой жизни...

Но, пока что, живой о живомъ и думаетъ. Я думаю въ настоящую минуту о г. Ціонѣ.

Выше я цитировалъ только что вышедшую біографію гр. Толстого, написанную г. Е. Соловьевымъ. Я едва успѣлъ заглянуть въ нее и, кромѣ приведеннаго вѣрнаго замѣчанія автора, наткнулся еще на одно заинтересовавшее меня мѣсто, а именно: «Гдѣ же источникъ пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія (гр. Толстого)? Если физіологъ можетъ объяснить источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр., слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко» (стр. 114). Г. Соловьевъ, повидимому, не вездѣ точно указываетъ свои источ-

ники и не всегда отмѣчаетъ свои цитаты общепринятыми знаками. Приведенное мѣсто можетъ, судя по всей страницѣ, принадлежать, какъ самому г. Соловьеву, такъ и г. Ціону, котораго онъ тутъ же, рядомъ цитируетъ. Я не помню, а можетъ быть и совсѣмъ не читалъ статьи г. Ціона, на которую ссылается г. Соловьевъ, а онъ ее не называетъ. Но кто бы изъ нихъ ни говорилъ о параличѣ Гартмана и слѣпотѣ Дюринга, какъ источникѣ ихъ пессимистическаго настроенія, а это двѣ ошибки: одна — грубая, другая — грубѣйшая. Изъ автобіографическаго сообщенія Гартмана (Mein Entwickelungsgang въ Gesammelte Studien und Aufsätze) видно, что *настроеніе* Гартмана отнюдь не пессимистическое въ смыслѣ мрачности и недовольства жизнью. Слѣпота же Дюринга любопытна именно въ томъ отношеніи, что не мѣшаетъ ему быть заклятымъ врагомъ всякаго пессимизма. Очень жаль, если г. Соловьевъ самъ впалъ въ эти странныя ошибки или заимствовалъ ихъ у г. Ціона, не оговоривъ ихъ, но не удивлюсь, если ихъ сдѣлалъ г. Ціонъ, ибо много, слишкомъ много и слишкомъ разнообразныхъ «ошибокъ» значится въ житейскомъ и литературно-научномъ счетѣ этого человѣка.

Редакція «Русскаго Богатства» получила книгу «M. Witte les finances russes d'après des documents officiels et inédits par E. de Cyon», изданную въ Парижѣ. Книга была доставлена при бумагѣ, изъ которой видно, что это сдѣлано «съ разрѣшенія г. министра финансовъ». Читатель, даже не особенно пристально слѣдящій за новостями дня по газетамъ, понимаетъ, конечно, почему мы отмѣчаемъ это послѣднее обстоятельство. Мы только что видѣли въ прошлый разъ цѣлый рядъ случаевъ прямого или косвеннаго насилія обывателей надъ печатью съ цѣлью упраздненія «непріятныхъ» извѣстій. Такъ уже у насъ повелось, что всякій обыватель, имѣющій хоть малѣйшую возможность такъ или иначе повліять на изъятіе непріятныхъ для него фактовъ изъ сферы печатнаго обсужденія, пускаетъ эту возможность въ ходъ. Удивительнымъ образомъ это вполнѣ дикое отношеніе къ печати находитъ иногда себѣ пристанище въ самой печати. Находятся литературные органы, почти истерически вопіющіе о разнузданности нашей литературы, хотя смирнѣе ея нѣтъ въ цѣломъ мірѣ, гдѣ только существуетъ литература, и хотя надъ нею есть бдительное начальство, неукоснительно исполняющее свои обязанности. Это отношеніе къ печатному слову само себя питаетъ и наростаетъ, какъ снѣжная лавина. Чѣмъ дальше, тѣмъ прочнѣе входимъ мы во вкусъ отсутствія свободной критики нашихъ мыслей, словъ, дѣйствій. И если, напримѣръ, какой нибудь Гладстонъ, находясь на вершинѣ власти, пальцемъ не шевельнетъ, чтобы воспрепятствовать распростране-

нію «непріятныхъ» для него извѣстій, то у насъ какой нибудь уфимскій городской голова считаетъ нужнымъ и возможнымъ требовать, чтобы въ мѣстной газетѣ не появлялись извѣстія о непорядкахъ при переправѣ черезъ р. Бѣлую: иначе будутъ потрясены основы. Основы въ городѣ Уфѣ, такимъ способомъ охраняемыя, дѣйствительно не колеблются, но вѣдь и Англія стоитъ, кажется, довольно прочно...

Г. министръ финансовъ не раздѣляетъ взглядовъ уфимскаго городского головы, астраханскихъ рыбопромышленниковъ и проч. на печать. Книга г. Ціона переполнена всякаго рода «непріятностями» какъ по личному адресу министра финансовъ, такъ и относительно труднаго финансоваго положенія нашего отечества. Но г. Витте не только не нашелъ нужнымъ употребить свое вліяніе для воспрепятствованія свободному обращенію книги, но, какъ выражается самъ г. Ціонъ, «принудилъ его пустить книгу въ продажу». Дѣло въ томъ, что, напечатавъ свою книгу, но не выпуская ее изъ типографіи, г. Ціонъ отправилъ нѣсколько экземпляровъ въ Петербургъ, имѣя въ виду какой то темный разсчетъ. Но издающійся въ Петербургѣ «Bulletin russe de statistique financière et de législation» объявилъ, что если книга не выйдетъ къ 1-му марта, то онъ перепечатаетъ ее въ Петербургѣ цѣликомъ, а если выйдетъ, то пріобрѣтетъ 500 экземпляровъ для разсылки своимъ подписчикамъ. Г. Ціонъ выпустилъ книгу... Иного названія, какъ неудавшійся шантажъ, нельзя дать этому эпизоду, совершенно независимо отъ того, какими мотивами руководствовался г. министръ финансовъ, этимъ именно способомъ разоблачая шантажъ, и есть ли какая нибудь доля правды въ «непріятныхъ» сообщеніяхъ г. Ціона (онъ утверждаетъ, что у него есть въ запасѣ сообщенія еще болѣе непріятныя, но онъ почему то откладываетъ ихъ опубликованіе). Не чувствуя себя достаточно компетентнымъ для сужденія о подробностяхъ финансовыхъ соображеній г. Ціона, я остановлю вниманіе читателей только на другихъ двухъ сторонахъ дѣла: на поучительности для обывателей поступка г. министра финансовъ и на личности г. Ціона.

Это старый знакомый, памятный по многимъ скандаламъ, связаннымъ съ его именемъ. Онъ сталъ въ этомъ отношеніи знаменитъ еще двадцать лѣтъ тому назадъ, когда, по настоянію въ особенности Грубера, долженъ былъ выбыть изъ состава профессоровъ медицинской академіи, гдѣ читалъ лекціи физіологіи. Онъ составилъ курсъ физіологіи и, пустивъ его по очень дорогой цѣнѣ (помнится, 5 рублей), сдѣлалъ изъ него налогъ на медицинское образованіе, такъ какъ требовалъ, чтобы студенты его покупали. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ раздражалъ молодежь до нельзя грубымъ и на-

хальнымъ обращеніемъ и довелъ ее до безпорядковъ, а коллегію профессоровъ до того, что, наконецъ, Груберъ объявилъ, что онъ подастъ въ отставку, если не удалится этотъ наглый торговецъ наукой. Выборъ былъ не труденъ, и академія осталась при Груберѣ, но безъ г. Ціона. Въ это же время онъ распускалъ слухъ, что его приглашаютъ на каѳедру физіологіи въ эдинбургскомъ университетѣ. А. Н. Бекетовъ навелъ справки въ эдинбургѣ и напечаталъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» отвѣтъ декана медицинскаго факультета тамошняго университета, Бальфура. Тотъ писалъ, между прочимъ, что эдинбургскій университетъ вообще никогда никого не приглашаетъ на вакантныя каѳедры, а кандидаты должны сами о себѣ заявлять. Что же касается даннаго случая, то Бальфуръ прибавлялъ: «До сихъ поръ я никогда не слыхивалъ имени г. Ціона и полагаю, что оно неизвѣстно никому изъ членовъ совѣта эдинбургскаго университета». Въ своемъ возраженіи, напечатанномъ въ тѣхъ же «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (все это происходило въ 1873—1874 г.), г. Ціонъ вполнѣ обнаружилъ свои блестящіе полемическіе таланты. Онъ не отрицалъ собственно того факта, что говорилъ о предложеніи эдинбургскаго университета, но главное то дѣло не въ этомъ, а въ томъ, во-первыхъ, что его преслѣдуютъ интриги профессоровъ, отказывающихся признавать его научныя заслуги какъ разъ въ то время, когда изъ за него происходятъ студенческіе безпорядки; во-вторыхъ, г. Ціонъ выразилъ «сильное сомнѣніе» въ подлинности письма Бальфура или же въ вѣрности его передачи,—не можетъ, дескать, быть, чтобы въ Эдинбургѣ не знали Ціона! Но, увы! какъ для медицинской академіи не могло быть затрудненія въ выборѣ между Груберомъ и г. Ціономъ, такъ и для публики вообще не могло быть колебаній—кому вѣрить: г. Ціону или А. Н. Бекетову. И г. Ціонъ покинулъ неблагодарную почву науки, съ цѣлью приложить свои способности въ другихъ сферахъ.

Человѣкъ онъ дѣйствительно способный и дѣйствительно преуспѣвалъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, мѣняя ихъ, какъ перчатки, и неизмѣнно отмѣчая скандаломъ свой жизненный путь. Виноваты въ этомъ были, конечно, враги, никогда не умѣвшіе оцѣнить его высокія умственныя и въ особенности нравственныя качества—безкорыстіе, патріотизмъ, опять безкорыстіе и опять патріотизмъ. Вообще онъ можетъ сказать о себѣ подобно Чичикову: «Дальнѣйшее теченіе службы моей совершалъ по разнымъ мѣстамъ... Жизнь мою можно уподобить какъ бы судну среди волнъ... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣетъ передать». Чисто чичиковское безкорыстіе и таковой же патріотизмъ

побудили г. Ціона промѣнять іудейство на православіе, науку на публицистику, публицистику на финансовую практику, Россію на Францію. Но г. Ціонъ не есть всетаки настоящій Чичиковъ, собственно потому, что онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и Хлестаковъ. Оно точно: «чего не потерпѣлъ г. Ціонъ? Какъ барка какая нибудь среди свирѣпыхъ волнъ. Какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испыталъ, какого горя не вкусилъ, а за что? — за то, что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти». Но вмѣстѣ съ тѣмъ «тридцать пять тысячъ курьеровъ» постоянно и по всей Европѣ гоняются за г. Ціономъ съ предложеніемъ, если не «управлять министерствомъ», то устроить франко-русскій союзъ, побороть Бисмарка, назначить или устранить министра въ Россіи, отторгнуть Австрію отъ тройственнаго союза, укрѣпить во Франціи религію и проч., и проч. И все это г. Ціонъ благосклонно исполняетъ; благосклонно и безкорыстно, довольствуясь сознаніемъ, что онъ есть единственная благотворная пружина всего историческаго хода вещей во всей Европѣ и могущественнѣйшая поддержка «основъ». Ахъ, во что бы обратилась Европа безъ г. Ціона! Подумать страшно...

На обложкѣ новой книги г. Ціона напечатанъ списокъ другихъ его произведеній. Тутъ есть «La France et la Russie», и «La Russie barbare!», и «Nihilisme et anarchie» и проч. Но тутъ нѣтъ его знаменитаго курса физіологіи, который онъ столь безкорыстно навязывалъ своимъ слушателямъ, и актовой рѣчи «Сердце и мозгъ», вызвавшей шумный скандалъ въ стѣнахъ и за стѣнами медицинской академіи. Это не удивительно, равно какъ и отсутствіе статей г. Ціона въ «Русскомъ Вѣстникѣ» о разныхъ зловредныхъ русскихъ «измахъ». Это онъ исключительно Россію спасалъ, тогда какъ теперь занятъ спасеніемъ либо одной Франціи, либо Россіи и Франціи вмѣстѣ. Но въ спискѣ нѣтъ и изданной въ 1881 г. брошюры «La guerre à Dieu et la morale laïque. Reponse à M. Paul Bert», тогда какъ она вполнѣ достойна занять въ немъ мѣсто. Въ 1881 г., когда г. Ціонъ редактировалъ газету «Gaulois», Поль Беръ сказалъ публичную рѣчь о религіозномъ образованіи. Г. Ціонъ поспѣшилъ «отвѣтить» Полю Беру, хотя тотъ его ни о чемъ не спрашивалъ и совсѣмъ къ нему не обращался. Но мимо дома г. Ціона проходила толпа народу, и онъ думалъ, что это именно тѣ тридцать пять тысячъ курьеровъ, которые посланы приглашать его спасать Францію, его второе отечество, какъ онъ уже спасалъ свое первое отечество, Россію. Онъ, конечно, откликнулся на зовъ всѣмъ своимъ патріотическимъ сердцемъ, напечатавъ въ своей газетѣ громоносный «отвѣтъ» Полю Беру. Но тридцать пять тысячъ курьеровъ не были этимъ удовлетворены. Они потребовали отдѣльнаго изданія

«отвѣта», при чемъ къ г. Ціону «со всѣхъ концовъ политическаго горизонта были обращены пламенныя поздравленія» (подлинныя слова г. Ціона). Одинъ только Поль Беръ остался непоколебимъ въ своихъ заблужденіяхъ и хоть бы плюнулъ въ сторону г. Ціона, точно тотъ и не «отвѣчалъ» ему; одинъ Поль Беръ, да еще Франція, неблагодарная Франція, тотчасъ вслѣдъ затѣмъ предоставившая этому самому Полю Беру постъ министра народнаго просвѣщенія... Такъ то всегда оканчиваются тріумфы г. Ціона...

Печальные концы, разумѣется, но въ ожиданіи ихъ г. Ціонъ умѣетъ всетаки обнаружить свое безкорыстіе,—въ маленькомъ дѣлѣ маленькое, въ видѣ распродажи нѣсколькихъ сотенъ экземпляровъ дорого стоющаго учебника, въ большомъ—большое, въ видѣ полученія сотенъ тысячъ куртажа за патріотическія финансовыя операціи. Г. Суворинъ пишетъ въ «Новомъ Времени»: «Г. Ціонъ образовалъ въ Парижѣ синдикатъ и совершилъ конверсію съ закладными листами общества взаимнаго кредита. Эта операція дала ему 600 тыс. фр. и мѣсто чиновника министерства финансовъ, который простиралъ свои виды чрезвычайно далеко. Начались переговоры о первой конверсіи, въ которыхъ г. Ціонъ принималъ дѣятельное участіе и успѣлъ получить съ банкировъ 400.000 фр., какъ говорятъ «Московскія Вѣдомости». Тутъ г. Ціонъ долженъ былъ подать въ отставку».

Милліонъ франковъ, не считая жалованья и другихъ доходовъ, деньги не малыя, но за безкорыстіе это не дорого. По крайней мѣрѣ, г. Ціонъ, повидимому, увѣренъ, что его безкорыстіе даже дороже стоитъ. Ибо великіе труды и великіе подвиги совершилъ онъ на благо своего перваго отечества, Россіи, и второго—Франціи. Одно время онъ думалъ облагодѣтельствовать также и Австрію отторженіемъ ея отъ тройственнаго союза и вовлеченіемъ въ союзъ русско-французскій, что, говоритъ онъ, вызвало противъ него цѣлую бурю въ германской журналистикѣ. Онъ писалъ въ 1890 г. въ брошюрѣ «La Russie barbaze!»: «Идея франко-русскаго союза, какъ бы она ни была непріятна для нѣмецкой политики, такъ часто обсуждалась въ послѣднее время, что если ее, наконецъ, не признали, то, по крайней мѣрѣ, нѣсколько привыкли къ ней. Въ одномъ изъ своихъ недавнихъ интервью Бисмаркъ возобновилъ заявленіе, сдѣланное имъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ, что «союзъ этотъ слишкомъ естественъ, чтобы нуждаться въ спеціальныхъ мотивахъ». Нѣтъ, гнѣвъ Германіи вызванъ былъ главнымъ образомъ проектомъ притянуть къ этому союзу Вѣнскій кабинетъ. При одной мысли о томъ, что Австро-Венгрія можетъ отдѣлиться отъ тройственнаго союза, столь пагубнаго для ея интересовъ и столь чреватаго грядущими бурями, нѣкоторые защитники Бисмарковской политики приходятъ

въ ярость... Я былъ въ особенности счастливъ, узнавъ, что въ высокихъ сферахъ Гофбурга отдаютъ справедливость моимъ усиліямъ разсѣять туманъ, нарушившій съ 1879 г. добрыя отношенія между Россіей и Австро-Венгріей къ великому ущербу для обѣихъ странъ. Тамъ (въ высокихъ сферахъ Гофбурга) признали, что, въ сущности, дѣло сводится къ недоразумѣніямъ, а не къ непримиримой противоположности интересовъ. Нашимъ дипломатамъ предстояло воспользоваться этимъ расположеніемъ»... Многоточіе, которымъ оканчивается эта Хлестаковіада, должно свидѣтельствовать, что наши дипломаты не сумѣли воспользоваться патріотическими усиліями г. Ціона, и нынѣ онъ уже не упоминаетъ объ австро-франко-русскомъ союзѣ.

Но за то тѣмъ ярче выступаетъ великая роль г. Ціона въ образованіи франко-русскаго союза. Подготовилъ онъ его вмѣстѣ съ Катковымъ, но ему случалось и одному на собственныхъ плечахъ выносить всю тяжесть предпріятія. «Лѣтъ шесть, семь тому назадъ,—пишетъ онъ,—когда князь Бисмаркъ старался всѣми мѣрами подорвать кредитъ Россіи, я одинъ, за свой собственный счетъ, предпринялъ борьбу съ нимъ. И, благодаря отчасти поддержкѣ французской печати, французская публика предотвратила грозившую Россіи финансовую катастрофу» (M. Witte et les finances russes, XLVII).

Г. Ціонъ былъ агентомъ нашего министерства финансовъ во Франціи, за что и получалъ извѣстное (или неизвѣстное) опредѣленное (или неопредѣленное) вознагражденіе. Былъ агентомъ и получалъ вознагражденіе; пересталъ имъ быть и лишился вознагражденія,—въ этомъ состоитъ ключъ къ уразумѣнію всего столь шумнаго и въ то же время столь простого эпизода. Но г. Ціонъ не хочетъ, конечно, чтобы дѣло казалось столь простымъ: онъ работалъ «изъ чести», въ интересахъ своихъ двухъ отечествъ—Россіи и Франціи. Онъ—двойной, удвоенный патріотъ и, въ качествѣ таковаго, трепещетъ сердцемъ за-разъ за оба отечества. Когда онъ былъ агентомъ, онъ хлопоталъ объ упроченіи французскаго денежнаго рынка за русскими бумагами; когда онъ пересталъ быть агентомъ, онъ старается внушить французскимъ капиталистамъ недовѣріе къ русскимъ бумагамъ. И дѣлаетъ онъ это вполнѣ безкорыстно, какъ и все, что онъ дѣлаетъ. Продолжай онъ оставаться агентомъ, все обстояло бы благополучно, потому что онъ уже сумѣлъ бы устроить, но тридцати пяти тысячъ курьеровъ за нимъ на этотъ разъ не шлютъ, и понятно, что Россіи, а затѣмъ и Франціи грозитъ крахъ. Онъ съ болью въ сердцѣ видитъ это, но не считаетъ себя вправѣ молчать, потому что глубоко презираетъ «патріотическую ложь»—«два слова, пишетъ онъ, соединеніе которыхъ оскорбляетъ и нрав-

ственное чувство и здравый смыслъ, потому что любовь къ отечеству, одно изъ благороднѣйшихъ вдохновеній человѣческой души, не можетъ имѣть ничего общаго съ ложью, которая есть низость» (M. Witte etc. XLV).

Въ упомянутой уже брошюрѣ «La Russie barbare!» восклицательный знакъ стоитъ въ подлинномъ заглавіи. Онъ долженъ знаменовать негодованіе или изумленіе автора передъ распространеннымъ въ Европѣ мнѣніемъ, что Россія есть варварская страна. Да и какъ же она могла быть въ то время варварскою, когда г. Ціонъ—самъ г. Ціонъ!—готовился быть или уже былъ ея финансовымъ агентомъ во Франціи! «Г. Ціонъ агентъ варварской страны»—это сочетаніе словъ въ такой же мѣрѣ противорѣчитъ нравственному чувству и здравому смыслу, какъ «патріотическая ложь». И вотъ что мы, между прочимъ, читаемъ въ «La Russie barbare!» о положеніи русской печати: «Порядокъ, которому подчинена русская печать, есть порядокъ второй Имперіи, значительно смягченный. Я знаю очень хорошихъ республиканцевъ, которые желали бы для Франціи возвращенія къ этому порядку, не опасаясь навлечь на нее названіе варварской страны. Русскіе законы предоставляютъ настоящимъ писателямъ (aux véritables écrivains) полную возможность выражать свои мнѣнія объ общественныхъ дѣлахъ; они свободны критиковать правительственныя мѣропріятія, порицать дѣйствія министровъ, обсуждать проекты законовъ, указывать необходимыя улучшенія, обличать злоупотребленія; однимъ словомъ, исполнять всѣ обязанности журналиста, достойнаго этого имени. Меньшей свободой пользуются тѣ, для кого печать есть просто дѣло коммерціи и эксплуатаціи или орудіе диффамаціи и шантажа, потому что суды обыкновено очень къ нимъ строги». Такъ стояли дѣла у насъ, когда г. Ціонъ былъ русскимъ финансовымъ агентомъ въ Парижѣ. Теперь онъ утверждаетъ, что русская печать не смѣетъ пикнуть о мѣропріятіяхъ министра финансовъ и о правительственныхъ дѣйствіяхъ вообще. Мы имѣетъ, такимъ образомъ, два противоположныя утвержденія, сопоставляя которыя, должны признать, что или прикосновенность и неприкосновенность г. Ціона къ оффиціальнымъ сферамъ въ качествѣ финансоваго агента самымъ рѣзкимъ образомъ вліяетъ на наши внутреннія дѣла; или же одно изъ его утвержденій есть несомнѣнная ложь, хотя, можетъ быть, и «патріотическая», ибо «благороднѣйшее вдохновеніе человѣческой души» никогда не покидаетъ г. Ціона.

Когда г. Ціонъ принужденъ былъ оставить карьеру профессора въ Россіи, а тридцать пять тысячъ курьеровъ изъ Эдинбурга разъѣхались по разнымъ другимъ мѣстамъ, а къ нему не попали, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ науки вообще отставилъ себя; или,—въ

виду его неизмѣннаго великолѣпія, — отъ себя науку отставилъ и отдался публицистикѣ. Его принялъ подъ свое покровительство Катковъ, бывшій его крестнымъ отцомъ при принятіи имъ православія, печатавшій у себя его статьи и, наконецъ, пристроившій его къ министерству финансовъ. Г. Ціонъ называетъ себя теперь ближайшимъ совѣтникомъ Каткова, какъ бы его правою рукою. Это, повидимому, преувеличеніе, столь свойственное г. Ціону вообще. Однако, несомнѣнно всетаки, что г. Ціонъ сумѣлъ угодить знаменитому московскому публицисту, а именно своимъ изъ ряда вонъ выходящимъ талантомъ гиперболы. Катковъ охотно печаталъ статьи г. Ціона, даже не особенно искусно, но за то очень задорно превращавшія мухъ въ слоновъ и спеціально посвященныя розыску враговъ отечества. При этомъ чрезвычайно доставалось нашей литературѣ, будто бы не знающей предѣловъ своей «разнузданности» и занятой исключительно тѣмъ, чтобы, подобно врагу сѣятеля въ извѣстной притчѣ, въ ночной тиши портить плевелами поле пшеницы: гг. Ціонъ и ему подобные сѣютъ пшеницу, а вся прочая литература—плевелы, и надо вырвать уже посѣянныя и не допустить новыхъ. До какихъ предѣловъ можетъ доходить въ этомъ направленіи гипербола, видно изъ новаго произведенія г. Ціона. Болѣе нелѣпыхъ фантазій, выдаваемыхъ, однако, за вполнѣ реальную истину, нельзя себѣ и представить. Г. Ціонъ такое пишетъ, что невольно протираешь себѣ глаза и перечитываешь,—не ошибся-ли. Напримѣръ: «Вытеченіе двадцати пяти лѣтъ я горячо и часто цѣною жестокихъ личныхъ жертвъ (au prix des plus cruels sacrifices personnels) боролся съ революціонными стремленіями въ Россіи, гдѣ бы они ни проявлялись, въ высшихъ ли правительственныхъ сферахъ, или въ нигилистической средѣ; но, признаюсь, я не встрѣчалъ въ этой борьбѣ человѣка, столь опаснаго общественному порядку въ Россіи, какъ г. Витте» (стр. 12—13). И пособниками г. министра финансовъ въ революціонномъ дѣлѣ оказываются редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей», г. Петровскій, и редакторъ «Гражданина», кн. Мещерскій. Могли-ли когда-нибудь эти господа ожидать, чтобы оружіе, столь часто и назойливо пускаемое ими въ ходъ, обратилось противъ нихъ самихъ? А вотъ нашелся же человѣкъ, и ихъ превзошедшій проницательностью и бдительностью своего патріотизма. Въ особенности поучительно это для редакціи московской газеты, въ которой г. Ціонъ получилъ свое публицистическое воспитаніе. Да не подумаетъ читатель, что г. Ціонъ обличаетъ г. министра финансовъ только въ ошибкахъ, могущихъ повлечь за собой роковыя послѣдствія для существующаго строя. Нѣтъ, г. министръ сознательно преслѣдуетъ революціонныя цѣли. Чтобы яснѣе представить дѣло французской публикѣ, для которой

онъ пишетъ, г. Ціонъ сравниваетъ дѣятельность министра финансовъ съ ученіями французскихъ соціалистовъ Жюля Гедда и Лафарга (стр. 153). Но и этого мало. Жюль Геддъ и Лафаргъ полагаютъ, конечно, что осуществленіе ихъ ученій должно повести къ благополучію, а русскій министръ финансовъ «повергаетъ Россію въ строй государственнаго соціализма и крайняго коммунизма (du socialisme d'état et du communisme à outrance!), чтобы бросить ее на путь революціонныхъ приключеній (XVIII). «Государственный соціализмъ есть для г. Витте только рычагъ для дезорганизаціи страны и распространенія всеобщаго недовольства» (154). Есть въ книгѣ г. Ціона вещи и еще почище, которыя даже просто неловко приводить...

Если и есть доля истины въ книгѣ г. Ціона, то она совершенно компрометируется тѣмъ безумно гиперболическимъ враньемъ, образцы котораго мы видѣли. А между тѣмъ, г. Ціонъ есть только зарвавшійся и, такъ сказать, взбунтовавшійся представитель цѣлой литературной клики. Она уже много лѣтъ сѣетъ у насъ самую разнообразную ложь и смуту, руководясь будто бы исключительно пламенною любовью къ отечеству,—этимъ «благороднѣйшимъ вдохновеніемъ человѣческой души». Послѣднее произведеніе г. Ціона такъ естественно примыкающее ко всей его прежней литературной дѣятельности, достаточно, кажется, ясно показываетъ, чего стоятъ эти «благороднѣйшія вдохновенія».

Эпизодъ съ г. Ціономъ, взятый во всей его обширности, до такой степени занимателенъ, что и до сихъ поръ привлекаетъ къ себѣ, въ разныхъ смыслахъ, вниманіе какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ газетахъ. Быть можетъ, въ связи съ нимъ находятся даже нѣкоторыя изъ такихъ статей, въ которыхъ самое имя г. Ціона не поминается. Мнѣ кажется, по крайней мѣрѣ, что въ связь съ нимъ можетъ быть поставлена статья кн. Д. Цертелева въ № 69 (отъ 11 марта) «Московскихъ Вѣдомостей», озаглавленная: «Печать, какъ орудіе прогресса». Статья очень любопытная, хотя и не совсѣмъ ясная. Кн. Цертелевъ начинаетъ такъ:

«Терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ справедливо считается признакомъ цивилизаціи. Было время, когда каждое разногласіе съ господствующею доктриной являлось государственнымъ преступленіемъ; но мало-по-малу во всемъ цивилизованномъ мірѣ утвердилось сознаніе, что преслѣдовать человѣка за убѣжденія не только жестоко и несправедливо, но нелѣпо и безполезно. Чужая душа—потемки и насильственными мѣрами не только нельзя вынудить перемѣны убѣжденій, но даже искренняго ихъ выраженія».

Но затѣмъ, кн. Цертелевъ устанавливаетъ разницу между «свободою внутренняго убѣжденія, научнаго изслѣдованія и обмѣна

мыслей» и «эксплуатаціей пороковъ и слабостей общества». Въ заключеніи читаемъ: «Печать несомнѣнно становится силой, и по мѣрѣ развитія народнаго образованія сила эта должна возрастать. Не пора ли подумать о томъ, чтобы заставить ее дѣйствительно служить на пользу страны, а не для наживы ловкихъ и полуграмотныхъ торговцевъ и не для потѣхи мнимыхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей? Наши законы о печати устарѣли и, ставя иногда совершенно ненужныя стѣсненія и формальности, они въ то же время не гарантируютъ ни общества, ни частныхъ лицъ отъ самыхъ наглыхъ злоупотребленій печатнымъ словомъ... Почему фальсифицировать муку или вино постыдно, а печатать завѣдомую ложь можно? Почему содержатель питейнаго заведенія, уличенный въ злоупотребленіяхъ, лишается права на продолженіе торговли, а редакторъ или издатель, уличенный въ самыхъ возмутительныхъ злоупотребленіяхъ печатнымъ словомъ, можетъ спокойно продолжать свое ремесло и эксплуатировать легковѣрныхъ читателей? Почему то, что въ частномъ кругу называется неприличіемъ, клеветой и сплетней,—въ печати получаетъ громкое названіе обличенія? Только коренная реформа въ области печати можетъ помѣшать ей превратиться окончательно изъ орудія прогресса въ орудіе опошленія и развращенія массъ, существующее эксплуатаціей низменныхъ инстинктовъ толпы».

Къ сожалѣнію, кн. Цертелевъ не опредѣляетъ ближайшимъ образомъ, въ чемъ именно должна состоять желательная съ его точки зрѣнія реформа законовъ о печати. Не совсѣмъ даже ясно, что считаетъ онъ «эксплуатаціей пороковъ и слабостей общества». Правда, онъ говоритъ о лжи, клеветѣ, сплетнѣ, шантажѣ и торгашескомъ духѣ, проникающемъ въ печать, и будь его статья напечатана не въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», мы бы понимали, въ чемъ дѣло. Но московская газета такъ долго служила ареной дѣятельности разныхъ Ціоновъ, а эти Ціоны такъ упорно твердили, что они суть единственные безкорыстные служители правды, а вся остальная литература есть скопище «мошенниковъ пера и разбойниковъ печати»,—что теперь мы недоумѣваемъ.

IV *).

Четвертый томъ „Критико-біографическаго словаря" г. Венгерова.—О г. Боборыкинѣ.—Ж. Пелисье о французской литературѣ XIX вѣка.

Довольно туго подвигается впередъ «Критико-біографическій словарь» г. Венгерова, но всетаки подвигается: на-дняхъ вышелъ четвертый томъ, содержащій, по обыкновенію, и голые фактическіе «матеріалы» справочнаго характера, и, для нѣкоторыхъ, болѣе значительныхъ писателей, болѣе или менѣе обработанныя критико-біографическія статьи. Алфавитная судьба, опредѣляющая составъ каждаго отдѣльнаго тома каждаго словаря, не была на этотъ разъ очень благосклонна къ труду г. Венгерова, но нѣсколько интересныхъ и наводящихъ на размышленіе фигуръ всетаки есть въ четвертомъ томѣ.

Вотъ, напримѣръ, Иванъ Богдановичъ (братъ Ипполита Богдановича, автора «Душеньки», отецъ извѣстнаго военнаго историка), писатель начала нынѣшняго вѣка. Мысли и чувства свои онъ излагалъ въ стихахъ и прозѣ. Главное его произведеніе — книжка «О воспитаніи юношества». По словамъ г. Венгерова, «авторъ самъ проникнутъ истинною гуманностью и такихъ же людей желаетъ выработать изъ «россійскаго благороднаго юношества», онъ ему желаетъ привить самыя высокія представленія о чувствѣ долга, о любви къ ближнему и о человѣческомъ достоинствѣ». И вотъ, этотъ гуманный, мягкій человѣкъ пишетъ «Слово похвальное царю Іоанну Васильевичу IV», въ которомъ «не только нѣтъ *ни единаго слова* (курсивъ г. Венгерова) объ опричинѣ и казняхъ, но нѣтъ даже прозвища «Грозный». Это удивительное явленіе г. Венгеровъ объясняетъ невѣжествомъ. Онъ говоритъ: «Имѣй мы дѣло съ учебникомъ, въ которомъ авторъ волей-неволей долженъ коснуться Грознаго, панегирическій тонъ можно было бы объяснить цензурными условіями. Но «похвальное слово» было добровольнымъ литератур-

---

*) Апрѣль 1895.

нымъ произведеніемъ, никто же Богдановича не заставлялъ прославлять Іоанна, значитъ, просто, оно вылилось отъ полноты его историческаго невѣжества, если можно такъ выразиться. Это невѣжество отнюдь, конечно, нельзя поставить на личный счетъ Богдановича, который, судя по книжкѣ о воспитаніи, былъ человѣкъ достаточно образованный. 10 лѣтъ спустя, т. е. послѣ того, какъ появилась исторія Карамзина, открывшая русскимъ Россію, гуманному Богдановичу уже едва ли пришло бы желаніе писать похвальное слово Іоанну».

Мудрено, мнѣ кажется, согласиться съ мнѣніемъ г. Венгерова, ибо мудрено знать о существованіи Іоанна IV и не знать о его «грозности». Какова бы ни была роль Карамзина въ русской исторіографіи, но хотя бы только «Россійская исторія» кн. Щербатова могла сообщить Богдановичу свѣдѣнія объ опричинѣ, казняхъ и прочихъ чертахъ царствованія «Грознаго». Съ другой стороны, мы знаемъ, что и долго спустя послѣ того, какъ исторія Карамзина «открыла русскимъ Россію», панегирическій тонъ по отношенію къ Ивану IV былъ вовсе не рѣдкостью, да еще у такихъ людей, какъ, напримѣръ, Бѣлинскій, Кавелинъ. У Бѣлинскаго это было дѣломъ вообще свойственнаго ему односторонне страстнаго увлеченія личностью, идеей, историческимъ моментомъ, теоріей,—увлеченія, въ которомъ онъ потомъ такъ горько и такъ часто каялся; у Кавелина, какъ и у многихъ другихъ, — плодомъ предвзятой исторической схемы; у Богдановича — чѣмъ? Слишкомъ мы мало объ немъ знаемъ, и слишкомъ онъ незначительная величина, чтобы стоило доискиваться отвѣта на этотъ вопросъ. Но полагаю, что панегирикъ Грозному Іоанну со стороны гуманнаго Богдановича слѣдуетъ объяснять отнюдь не недостаткомъ знаній, а просто нравственно-политическою невоспитанностью, столь свойственною намъ, русскимъ, вообще. Ею объясняются многія и разныя неожиданности въ нашей жизни.

И, однако, ея всетаки мало для объясненія напечатанной въ четвертомъ томѣ словаря г. Венгерова автобіографической записки нашего знаменитаго синолога, В. П. Васильева. Здѣсь неожиданны не только воззрѣнія, которыя г. Венгеровъ любезно называетъ «оригинальными», но и ходъ мысли, и обороты рѣчи, и этика, и политика, и логика, и грамматика. Каюсь, знаменитая шишка на носу алжирскаго бея не разъ припоминалась мнѣ при чтеніи этой записки. И достопочтенный ученый этому не удивится, потому что и самъ говоритъ по поводу одной своей внезапности: «Васъ это поражаетъ, вы смѣетесь, желаете ощупать мою голову, не безпокойтесь, она крѣпка и цѣла,—но въ ней еще не забыта фантазія оригинальность». Я приведу только одинъ образчикъ неожидан-

ностей г. Васильева Отецъ у него былъ строгій, учителя жестокіе, начальство притѣснительное. Но теперь маститый ученый вспоминаетъ обо всемъ этомъ съ благодарностью: «А отецъ, о, какъ бы я благоговѣлъ передъ нимъ. И знаете ли, въ чемъ я долженъ еще сознаться? Какъ патріотъ, я отъ души ненавижу поляковъ; удивляюсь, зачѣмъ ихъ щадятъ, какъ заклятыхъ враговъ Россіи». Переходъ отъ благоговѣйной памяти объ отцѣ къ безпощадности по отношенію къ полякамъ является вполнѣ неожиданнымъ. Но только что вы успокоились на необходимости истребить поляковъ, какъ г. Васильевъ огорошиваетъ васъ новою неожиданностью: «Но въ то же время я долженъ сознаться, что въ полякахъ встрѣтилъ больше привѣта, чѣмъ въ русскихъ монахахъ». Приведя затѣмъ очень хорошія, но довольно избитыя слова «поляка-профессора» О. М. Ковалевскаго, г. Васильевъ прибавляетъ: «Не послужатъ ли эти слова къ примиренію двухъ націй, отъ согласія которыхъ зависитъ вся судьба славянства?» Вы недоумѣваете: какое же «согласіе», когда «удивляюсь, зачѣмъ щадятъ поляковъ»? Но и на это ваше недоумѣніе г. Васильевъ можетъ отвѣтить: вы хотите пощупать мою голову, не безпокойтесь, она крѣпка и цѣла, *но* въ ней сохранилась «фантазія, оригинальность». Г. Васильевъ пользуется извѣстностью, какъ знатокъ китайскаго языка и Китая вообще, но онъ, по его собственному показанію, «имѣетъ маленькую претензію быть не больше, не меньше какъ только реорганизаторомъ Россіи». «Каюсь, мои мысли, мои взгляды родились въ Китаѣ», говоритъ онъ. И вотъ эти свои китайскіе мысли и взгляды онъ хотѣлъ примѣнить къ русской жизни, «реорганизовать» ее въ этомъ направленіи. Его прекраснѣйшіе совѣты были гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Но не по той причинѣ, что и самому ему приходится предлагать свою голову для ощупыванія. Нѣтъ, «вся бѣда въ томъ, что я былъ оріенталистъ,—говоритъ онъ:—могъ ли я что нибудь придумать для руководства западниковъ; у нихъ такія свѣтлыя головы, что и лбы мѣдные!..»

Переходимъ къ П. Д. Боборыкину, которому въ четвертомъ томѣ критико-біографическаго словаря посвящена самая большая статья. Прежде всего надо отдать справедливость автору статьи, г. Венгерову. Онъ желаетъ быть вполнѣ безпристрастнымъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова, не смѣшивая, какъ это часто дѣлается, безпристрастія съ безстрастіемъ. Одно дѣло — говорить о какомъ нибудь писателѣ или вообще о житейскомъ фактѣ, чуждаясь хвалы и порицанія, и другое дѣло — не закрывать глаза ни на хорошія, ни на дурныя стороны явленія. Первое или есть совершенно недостижимая задача, нѣчто вродѣ квадратуры круга, или свидѣтельствуетъ только объ индифферентизмѣ критика, ни мало не спо-

собствуя уясненію явленія; второе есть необходимое условіе всякой добросовѣстной критической работы. Статья г. Венгерова есть несомнѣнно добросовѣстная критическая работа. Она имѣетъ отчасти полемическій характеръ, такъ какъ и начинается, и продолжается, и кончается горячею защитою плодовитѣйшаго изъ нашихъ романистовъ, а можетъ быть, и изъ писателей вообще, противъ разнообразныхъ нападокъ, которымъ онъ такъ часто подвергается. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Венгеровъ съ величайшею тщательностью различаетъ пшеницу и плевелы на нивѣ литературной дѣятельности г. Боборыкина. Такимъ образомъ, въ статьѣ его можно найти всѣ данныя для окончательнаго и правильнаго сужденія о г. Боборыкинѣ, но, къ сожалѣнію, характеристика, сдѣланная самимъ г. Венгеровымъ, лишена цѣльности,—онъ не свелъ своихъ концовъ съ концами. Попробуемъ сдѣлать это за него.

Г. Венгеровъ начинаетъ съ упрековъ нашей критикѣ за ея недостаточное вниманіе и несправедливость къ П. Д. Боборыкину. Имя этого необыкновенно плодовитаго писателя постоянно мелькаетъ въ рецензіяхъ, критическихъ газетныхъ фельетонахъ и журнальныхъ статьяхъ, но все это больше бѣглыя замѣтки, не исчерпывающія предмета и часто ограничивающіяся простымъ глумленіемъ. Въ «Исторіи новѣйшей литературы» г. Скабичевскаго г. Боборыкину посвящено меньше мѣста, чѣмъ Новодворскому (Осиповичу), и поставленъ онъ въ одну линію съ Евг. Марковымъ, Немировичемъ-Данченкомъ, Терпигоревымъ, Саловымъ, Ахшарумовымъ и Лейкинымъ. Въ нѣмецкой «Geschichte der russischen Literatur» Рейнгольда Боборыкину посвящено нѣсколько строкъ. А между тѣмъ, г. Боборыкинъ написалъ на своемъ вѣку не менѣе 70—80 томовъ, и уже одно это количество должно бы было привлечь къ нему вниманіе критики, не говоря объ томъ, что вѣдь никто же не сомнѣвается въ его талантливости.

Фактически г. Венгеровъ совершенно правъ, и я полагаю даже, что его недоумѣніе передъ несправедливостью критики,—если таковая несправедливость существуетъ—должно получить еще болѣе широкое примѣненіе. Говоря о «Geschichte der russischen Literatur» Рейнгольда, онъ замѣчаетъ, что она «вѣрно отразила настроеніе руководящихъ литературныхъ кружковъ». Г. Венгеровъ хочетъ сказать, что и здѣсь, въ нѣмецкой книгѣ, отразилось вліяніе кружковой несправедливости. Пусть такъ. Но вотъ что любопытно. Изъ библіографическихъ указаніи г. Венгерова видно, что на иностранные языки были переведены изъ сочиненій г. Боборыкина только два, а именно: 1) «Полжизни» въ «Journal de St.-Pétérsbourg» 1870 годахъ, переводъ жены г. Боборыкина и 2) «Жертва вечерняя» на нѣмецкій языкъ въ 1893 г. Это поразительно мало, особенно если принять во вни-

маніе, что, не говоря уже о Толстомъ, Тургеневѣ, Достоевскомъ, гораздо болѣе молодые писатели, какъ, напримѣръ, г. Короленко переводились на иностранные языки гораздо больше. А между тѣмъ, во многихъ европейскихъ центрахъ г. Боборыкинъ, можно сказать, свой человѣкъ, лично знакомъ съ корифеями литературы и неоднократно печаталъ свои статьи о разныхъ явленіяхъ русской жизни во французскихъ, англійскихъ, итальянскихъ журналахъ. Но и эти статьи, не смотря на интересъ къ русской литературѣ, возбужденный въ послѣднее время въ Европѣ, не поминаются въ иностранной литературѣ, точно ихъ и не было, какъ и вообще точно и не было 70—80 томовъ, написанныхъ г. Боборыкинымъ. Такимъ образомъ, нѣтъ надобности кивать на «руководящіе русскіе литературные кружки», чтобы увидѣть, что и Европа несправедлива къ г. Боборыкину.

Но Европа, по крайней мѣрѣ, молчитъ о г. Боборыкинѣ. Несправедливость нашей критики идетъ гораздо дальше: она систематически умаляетъ достоинства этого писателя и часто даже глумится надъ ними. Говорятъ, напримѣръ, о «легковѣсномъ всезнайствѣ» г. Боборыкина; напримѣръ, «рецензенты не упускали случая потрунить надъ тѣмъ, какъ это Петръ Дмитріевичъ даже объ анатоміи и физіологіи не прочь потолковать». Въ дѣйствительности же, «въ полную противоположность установившемуся мнѣнію, Боборыкинъ никогда не говоритъ о томъ, чего не знаетъ основательно». «Этотъ химикъ по долголѣтнимъ спеціальнымъ занятіямъ, медикъ по пройденному полному курсу врачебныхъ наукъ, юристъ по диплому и подготовленію къ магистерскому экзамену, выдающійся знатокъ сценическаго искусства по своимъ занятіямъ теоріей драматургіи, столь же выдающійся знатокъ европейскаго литературнаго и философскаго творчества, наконецъ, этотъ человѣкъ, превосходно знающій семь языковъ, по справедливости долженъ быть причисленъ къ самымъ замѣчательнымъ представителямъ образованія въ Россіи». Во всѣхъ упомянутыхъ отрасляхъ науки г. Боборыкинъ является «во всеоружіи спеціальнаго знанія». «Вотъ почему, при всей смертной охотѣ многочисленныхъ журнальныхъ недруговъ П. Д. уязвить его за то, что въ своемъ «диллетантскомъ всезнайствѣ» онъ не останавливается и передъ философіей, эти уязвленія дальше голословнаго фырканія не шли. А въ средѣ дѣйствительно компетентныхъ судей—въ московскомъ психологическомъ обществѣ П. Д. неоднократно читалъ рефераты», и его тамъ не уличали въ незнакомствѣ съ предметомъ.

Смѣются надъ многописаніемъ г. Боборыкина, но вѣдь это только трудолюбіе, достойное изумленія и хвалы. Смѣются надъ «торопливостью» его творчества, но оно не торопливо, а «тревожно» и свидѣтельствуетъ объ отзывчивости и впечатлительности, качествахъ

гарантирующихъ писателю высокое мѣсто въ литературѣ. Чуть только мелькнетъ какое нибудь новое явленіе въ русской жизни, г. Боборыкинъ уже отзывается на него и запечатлѣваетъ въ образахъ и картинахъ. Это послѣднее обстоятельство внушаетъ г. Венгерову нѣсколько прекрасныхъ словъ о значеніи «вѣчныхъ» темъ въ искусствѣ. Когда намъ говорятъ, что «вѣчныя» темы значительнѣе преходящей злобы дня, то это есть лишь словесное недоразумѣніе, ибо мы по необходимости имѣемъ дѣло съ «временнымъ». Жизни внѣ времени и пространства нѣтъ, и писателю она «можетъ быть извѣстна лишь постолько, поскольку онъ истинный сынъ окружающей его дѣйствительности. Писатель, который садится за свой письменный столъ съ цѣлью изобразить одно «вѣчное», ничего, кромѣ сухихъ и безжизненныхъ абстракцій или мертворожденныхъ символовъ, не произведетъ. Вѣчное получается само собой, если временное изображено художественно, т. е. якро, правдиво и полно... Величайшіе представители всемірной литературы никогда не боялись ни яркомѣстнаго, ни временнаго. Что можетъ быть временнѣе и, такъ сказать, испанистѣе Донъ-Кихота? Кто изъ поэтовъ былъ болѣе сыномъ своего вѣка и даже своихъ *десятилѣтій*, чѣмъ Данте, котораго и понять невозможно безъ подробнѣйшихъ комментарій?.. Гете, котораго мудрено будетъ причислить къ зловредной кликѣ, созданной Бѣлинскимъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, тѣмъ не менѣе, horribile dictu, сказалъ:

Wer für die Besten *seiner* Zeit gelebt,
Der hat gelebt für alle Zeiten.

И вотъ почему мы отзывчивость, стремленіе къ «ловленію момента» не можемъ не поставить въ число самыхъ положительныхъ качествъ творческой натуры П. Д. Боборыкина».

Много еще и горячо говоритъ г. Венгеровъ въ защиту г. Боборыкина и много очень вѣрныхъ мыслей при этомъ высказываетъ. Но... но самъ же онъ предъявляетъ въ своей статьѣ столько *но*, что дѣло уясняется само собой, и обвиняемая въ несправедливости къ г. Боборыкину часть критики и публики получаетъ, мнѣ кажется, полное оправданіе.

Начать съ того *но*, что г. Боборыкинъ написалъ «Доктора Цыбульку», а не «Донъ-Кихота». Г. Венгеровъ, конечно, хорошо понимаетъ эту разницу и прибавляетъ только, что это уже «вопросъ о размѣрахъ таланта, а не о направленіи его». Я не думаю оскорблять г. Боборыкина сравненіемъ размѣровъ его таланта съ размѣрами талантовъ Сервантеса или Данте, но полагаю, что, если творенія послѣднихъ живутъ вѣка, а произведенія г. Боборыкина забываются въ тотъ же годъ, то этого нельзя объяснить только раз-

ницею въ размѣрахъ талантовъ. Сейчасъ г. Венгеровъ самъ сообщитъ намъ нѣкоторыя другія причины различія литературныхъ судебъ г. Боборыкина и Сервантеса или Данте. Сначала провѣримъ кое какія фактическія показанія г. Венгерова.

Вѣрно ли, что достоинства г. Боборыкина такъ-таки совсѣмъ у насъ не признаются? Самъ г. Венгеровъ упоминаетъ о какомъ то торжественномъ обѣдѣ, данномъ г. Боборыкину въ декабрѣ прошлаго года «избраннымъ литературнымъ кружкомъ». Я не имѣлъ чести участвовать въ этомъ обѣдѣ и не знаю, изъ кого состояли избранные и кѣмъ собственно они были избраны. Но есть-же, значитъ, люди, и не отдѣльные экземпляры, а цѣлый кружокъ, да еще избранный, который выражаетъ свое уваженіе къ маститому беллетристу даже спеціальнымъ торжествомъ. Правда, этотъ кружокъ, повидимому, не пользуется большимъ вліяніемъ, потому что не сумѣлъ внушить питаемыя имъ чувства всей литературѣ и обществу. Но изъ этого слѣдуетъ только то, что г. Венгеровъ не правъ, намекая на какую то отрицательную роль литературныхъ «кружковъ» въ не совсѣмъ удачной судьбѣ г. Боборыкина, какъ писателя. Почтенный беллетристъ находится, повидимому, въ добрыхъ отношеніяхъ съ самыми разнообразными литературными кружками, такъ какъ произведенія его печатаются и въ «Вѣстникѣ Европы», и въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», и въ «Недѣлѣ», и въ «Русской Мысли», и въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», и въ «Вопросахъ философіи и психологіи». Но и за всѣмъ тѣмъ въ общемъ литература дѣйствительно относится къ нему не особенно уважительно: часто раздаются по его адресу разнообразныя насмѣшки и рѣдко слышатся въ его защиту сколько нибудь громкіе голоса. Въ этомъ отношеніи г. Венгеровъ совершенно правъ, но приводимый имъ «смѣшливый» глаголъ—«боборыкать» онъ относитъ не туда, куда слѣдуетъ. Изъ изложенія г. Венгерова можно вывести, напримѣръ, заключеніе, что подвергается осмѣянію или же просто отрицается разносторонняя образованность г. Боборыкина. Это невѣрно. Никто, конечно, не согласится съ г. Венгеровымъ, что нашъ талантливый беллетристъ и въ химіи, и во «врачебныхъ наукахъ», и въ юриспруденціи, и въ философіи, и въ исторіи литературы предстоитъ «во всеоружіи спеціальнаго знанія». Что такое значитъ, напримѣръ, «юристъ по диплому и приготовленію къ магистерскому экзамену»? Оставимъ дипломъ въ покоѣ, потому что кто же не знаетъ, какая ему можетъ быть цѣна; а затѣмъ находимъ въ автобіографической запискѣ г. Боборыкина слѣдующія данныя: «*бывалъ* на лекціяхъ государственнаго права А. Д. Градовскаго; долго имѣлъ намѣреніе держать экзаменъ на магистра государственнаго права». До всеоружія спеціальнаго знанія отсюда еще очень далеко. Да и гдѣ же при ны-

нѣшнемъ состояніи науки возможность всеоружія спеціальнаго знанія по всѣмъ перечисленнымъ г. Венгеровымъ отраслямъ?! Можно, однако, и нынѣ обладать достаточно разносторонними знаніями въ размѣрѣ, достаточномъ для той или другой дѣятельности, и, какъ беллетристъ, г. Боборыкинъ таковыми обладаетъ. Онъ принадлежитъ къ числу образованнѣйшихъ нашихъ беллетристовъ, и никто никогда этого не отрицалъ и не смѣялся надъ этимъ. Другое дѣло,—какой толкъ вышелъ изъ занятій г. Боборыкина химіей и государственнымъ правомъ' «врачебными науками» и философіей. На этотъ счетъ г. Венгеровъ выражаетъ вполнѣ опредѣленное *но*: «Мы всего менѣе намѣрены утверждать, что многочисленныя и крайне разнообразныя знанія, пріобрѣтенныя нашимъ романистомъ путемъ настойчиваго самообразованія и долгаго странствованія по аудиторіямъ всѣхъ европейскихъ странъ, привели къ серьезнымъ научнымъ результатамъ. Мы не думаемъ также, чтобы обширное образованіе оказало особенно цѣнную помощь главной жизненной задачѣ нашего автора— его беллетристическому творчеству, скорѣе мы склонны думать, хотя это и отдаетъ нѣсколько варварствомъ, что множество знаній притупили въ П. Д. непосредственность впечатлѣнія».

Мы видѣли, что г. Венгеровъ протестуетъ противъ примѣненія эпитета «торопливый» къ творчеству г. Боборыкина. *Но*, говоря, напримѣръ, о романѣ «Василій Теркинъ», нашъ критикъ замѣчаетъ: «Авторъ очень уже спѣшно обобщилъ одинъ, два факта, которые попали въ кругъ его наблюденій».

Мы видѣли, что г. Венгеровъ обличаетъ нашу критику, а частью и читающую публику въ недостаточномъ вниманіи къ г. Боборыкину и въ несправедливомъ къ нему отношеніи. *Но* самъ же г. Венгеровъ такими яркими штрихами рисуетъ нѣкоторыя особенности литературной дѣятельности г. Боборыкина, что всякій, познакомившійся съ этимъ рисункомъ, на вопросъ о виновности критики непремѣнно отвѣтитъ: нѣтъ, не виновна!

«Блѣденъ, очень блѣденъ писательскій темпераментъ г. Боборыкина. Нѣтъ въ немъ и слѣда колоритности, нѣтъ въ немъ поэзіи, нѣтъ глубины и постоянства настроенія. И *вотъ отчего* почтенный романистъ при всѣхъ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ, при несомнѣнномъ талантѣ и другихъ положительныхъ сторонахъ своего творческаго дарованія, всегда принадлежалъ къ писателямъ, которыхъ охотно читаютъ, когда ихъ произведенія составляютъ послѣднюю литературную новость, но не перечитываютъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ... У Боборыкина совершенно нѣтъ того внутренняго творческаго восторга, того скрытаго паѳоса, присутствіе котораго должно ощущаться въ самыхъ объективныхъ произведеніяхъ. Въ большинствѣ романовъ и повѣстей Боборыкина совершенно не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ, что онъ пишетъ подъ вліяніемъ органической потребности высказаться, подѣлиться тѣми образами и чувствами, которые переполняютъ его творчество и ищутъ выхода... *Удивительно ли*, что и читателя не захватываетъ, что и читатель

равнодушно дочитываетъ нестройные романы Боборыкина, часто состоящіе изъ десятка разрозненныхъ эпизодовъ, несвязанныхъ единствомъ авторскаго настроенія. Чтобы воспламенить читателя, нужно, чтобы и писатель горѣлъ. А горѣнія то именно никогда и нѣтъ у Боборыкина. *Вотъ почему* онъ совершенно лишенъ властности, *вотъ почему* ему не удается распропагандировать что нибудь, сдѣлать популярною какую нибудь изъ своихъ симпатій или хотя бы прочно остановить вниманіе читателя на какомъ нибудь изъ схватываемыхъ его чуткимъ талантомъ явленій». И т. д.

Всѣ эти «вотъ почему» и «удивительно-ли» хорошо говорятъ сами за себя. Но они еще не объясняютъ того веселаго настроенія, въ которое люди такъ часто приходятъ при одномъ имени г. Боборыкина, обогатившаго русскій языкъ «смѣшливымъ», какъ съ негодованіемъ говоритъ г. Венгеровъ, глаголомъ — «боборыкать». За исключеніемъ этого пункта, г. Венгеровъ, собственно говоря, то же слово, что и обвиняемая имъ критика, только иначе молвитъ. Онъ не хочетъ, чтобы творчество г. Боборыкина называлось «торопливымъ», но при случаѣ самъ говоритъ, что маститый романистъ «очень ужъ спѣшно обобщаетъ одинъ, два факта, которые попали въ кругъ его наблюденій». Онъ горячо возстаетъ противъ эпитета «поверхностный» въ примѣненіи къ г. Боборыкину, но вмѣстѣ съ тѣмъ утверждаетъ, что у него «нѣтъ глубины и постоянства настроенія». Торопливый или спѣшный, поверхностный или неглубокій,—это едва ли не blanc bonnet—bonnet blanc. Но это еще не резонъ для насмѣшекъ, по крайней мѣрѣ, для насмѣшекъ въ такомъ количествѣ, какое выпадаетъ на долю г. Боборыкина вплоть до спеціальнаго термина «боборыкать». Но и на этотъ счетъ у самого же г. Венгерова можно найти нѣкоторыя смягчающія вину насмѣшниковъ обстоятельства. Въ 1890 году появилась въ «Русской Мысли» повѣсть г. Боборыкина «Поумнѣлъ». Повѣсть была очень хороша, имѣла большой успѣхъ и «быстро подняла въ обществѣ популярность Боборыкина», насмѣшки затихли, критика стала говорить о г. Боборыкинѣ тепло и серьезно. Такъ разсказываетъ г. Венгеровъ и разсказываетъ совершенно вѣрно; но, продолжаетъ онъ, послѣ этого скоро опять все пошло по старому. «Почтенный романистъ, приближаясь къ 60-й годовщинѣ, опять очутился у разбитаго корыта: опять его волочатъ по фельетонамъ, опять надъ нимъ издѣваются и други, и недруги, опять онъ одинокъ и покинутъ людьми, имѣющими вліяніе и вѣсъ въ литературѣ». Я не знаю, какъ связать это показаніе г. Венгерова съ его же вышеприведеннымъ сообщеніемъ объ «избранномъ литературномъ кружкѣ». Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что нѣтъ же, стало быть, чего нибудь преднамѣреннаго въ отношеніяхъ критики къ г. Боборыкину: написалъ онъ повѣсть дѣйствительно хорошую, и тотчасъ же онъ, по нѣсколько, мнѣ кажется, преувеличенному мнѣнію г. Венгерова, «за-

нялъ мѣсто первенствующаго русскаго беллетриста». Нѣтъ, не первенствующаго, этого съ г. Боборыкинымъ никогда не было и никогда не будетъ, но вѣрно, что повѣсть «Поумнѣлъ» вызвала живой интересъ и серьезное отношеніе критики. Почему? Потому что повѣсть хороша, потому что авторъ самъ вложилъ въ свою работу живой интересъ и серьезное отношеніе къ избранной имъ темѣ. Почему же отношеніе критики потомъ такъ быстро измѣнилось и почтенный романистъ опять остался у разбитаго корыта? Г. Венгеровъ самъ очень хорошо объясняетъ дѣло. Съ тѣхъ поръ г. Боборыкинъ написалъ два большіе романа — «Василій Теркинъ» и «Перевалъ». Я долженъ откровенно признаться, что не могу судить объ этихъ произведеніяхъ, такъ какъ изъ того и изъ другого прочиталъ лишь нѣсколько главъ. Г. Венгеровъ удостовѣряетъ, что они имѣютъ большія достоинства, но и большіе недостатки; и если мы не будемъ очень держаться за bonnet dlanc противъ blanc bonnet, или наоборотъ, то окажется, что оба романа страдаютъ торопливостью и поверхностностью творчества, холодностью настроенія, неясностью задачи, словомъ, обычными недостатками г. Боборыкина, о которыхъ г. Венгеровъ говоритъ: «Петръ Дмитріевичъ, обнявшій, такъ сказать, все, не обнялъ какъ слѣдуетъ ничего». Въ повѣсти «Поумнѣлъ» этихъ недостатковъ не было, а когда г. Боборыкинъ къ нимъ вернулся, то натурально вернулся вмѣстѣ съ тѣмъ и къ разбитому корыту. Но опять-таки это еще не резонъ для насмѣшекъ. Правда, г. Венгеровъ упоминаетъ мелькомъ о «деталяхъ неудачныхъ и смѣшноватыхъ», но не въ нихъ, конечно, все дѣло, потому что неудачныя и смѣшноватыя детали могутъ случайно попадаться и у очень большихъ писателей, серьезныхъ и отнюдь не «боборыкающихъ». Г. Венгеровъ прибавляетъ нѣчто болѣе рѣшающее: «За эти годы Петру Дмитріевичу,—писателю, постоянно отражавшему не эпоху, а прямо сегодняшній день,—пришла поистинѣ несчастная и просто смѣшная въ его устахъ проповѣдь «чистаго искусства».

Да, истинно смѣшна проповѣдь г. Боборыкина, и мы находимся въ самомъ сердцѣ интересующаго г. Венгерова вопроса о причинахъ комическаго ореола, окружающаго имя нашего плодовитѣйшаго романиста. Смѣшны не самыя мысли г. Боборыкина о «чистомъ искусствѣ». Въ этихъ мысляхъ нѣтъ ничего новаго, онѣ высказывались сотни разъ, вызывая сочувствіе однихъ и возраженія другихъ. Споръ о задачахъ искусства ведется у насъ такъ давно, такъ многочасно и многообразно, что право же, наконецъ, до послѣдней степени надоѣлъ читателямъ, да и ведется онъ далеко не съ прежнею страстностью и одушевленіемъ. Нельзя было бы и ожидать, чтобы люди съ одинаковымъ одушевленіемъ столь

продолжительное время топтались на одномъ мѣстѣ, а вѣдь это настоящее топтаніе на мѣстѣ. «Вотъ какъ нужно творить и вотъ какъ критиковать творчество»,—говорятъ одни. «Нѣтъ, не такъ, а вотъ какъ», - возражаютъ другіе. Казалось бы, поговорили и довольно, и если не пришли къ соглашенію, такъ пусть каждый творитъ и критикуетъ по своей программѣ, не ограничиваясь ея предъявленіемъ, а осуществляя ее. Отнюдь не желая вводить читателя еще разъ въ эти дебаты, я долженъ, однако, замѣтить,— и полагаю, всякій безпристрастный человѣкъ со мной согласится,— что сторонники такъ называемаго тенденціознаго искусства послѣдовательнѣе своихъ противниковъ, потому что дѣлаютъ именно то, что говорятъ, даютъ именно то, что обѣщаютъ. Нельзя того же сказать объ адептахъ «чистаго искусства». Будучи горячими его защитниками на словахъ, они на дѣлѣ пишутъ тенденціознѣйшія произведенія. Иногда у нихъ это выходитъ, по крайней мѣрѣ, красиво, какъ у гр. Алексѣя Толстого, иногда грубо лицемѣрно, какъ у Болеслава Маркевича, а у г. Боборыкина—смѣшно. Отъ всего его огромнаго литературнаго багажа не осталось бы камня на камнѣ, если бы къ нему были приложены его собственныя критическія требованія (предполагая, конечно, что они исполнимы вообще). Онъ живетъ исключительно злобой дня и, какъ справедливо говоритъ его горячій, но безпристрастный защитникъ г. Венгеровъ,—«безъ этой замѣчательной, при всемъ отсутствіи глубины, отзывчивости, Боборыкинъ никогда бы не занялъ своего, какъ никакъ, всетаки очень виднаго положенія въ современной русской беллетристикѣ; предоставленный однимъ непосредственнымъ художественнымъ силамъ своимъ, онъ бы затерялся среди второстепенныхъ поставщиковъ беллетристическаго чтенія». Почему же г. Боборыкинъ проповѣдуетъ такую, повидимому, убійственную для него самого теорію? Что его толкаетъ въ эту сторону? Не злостное лицемѣріе, не смѣющее открыто сказать: ote-toi de là que je m'y mette и прикрывающееся чистымъ искусствомъ ради совсѣмъ не чистыхъ цѣлей. Для такого лицемѣрія г. Боборыкинъ слишкомъ честный человѣкъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ на рѣдкость легкомысленный и поверхностный писатель. Эти дѣтскія свойства, въ изумительной неприкосновенности сохраненныя г. Боборыкинымъ до конца шестого десятка лѣтъ своей жизни, вполнѣ объясняютъ тотъ нѣсколько комическій ореолъ, который окружаетъ его имя. И дѣло не въ томъ, что дѣтскія свойства составляютъ уже сами по себѣ комическій контрастъ съ шестидесятилѣтнимъ возрастомъ: смѣшливое настроеніе критики и публики не со вчерашняго дня сопровождаетъ литературную дѣятельность г. Боборыкина. Дѣло въ томъ quasi серьезномъ видѣ, съ которымъ легкомыслитъ почтенный ро-

манистъ и который рѣшительно не позволяетъ принимать его au serieux.

Г. Венгеровъ находитъ проповѣдь такъ называемаго чистаго искусства «смѣшною» въ устахъ Боборыкина. И, конечно, она смѣшна въ его устахъ. Но это не какая-нибудь чисто механическая пристройка ко всему громадному зданію беллетристики г. Боборыкина, рѣзко противорѣчивая ему и своимъ архитектурнымъ стилемъ, и своимъ назначеніемъ. Противорѣчіе между теоріей и практикой въ данномъ случаѣ несомнѣнно, но есть нѣчто и объединяющее ихъ. «Въ большинствѣ романовъ и повѣстей г. Боборыкина,—говоритъ г. Венгеровъ,—не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ». Вотъ. Относясь къ своимъ сюжетамъ чисто формально, маститый беллетристъ можетъ искренно считать себя служителемъ «чистаго искусства», т. е. исключительно художественной формы, которая, говоря спеціально эстетическому чувству, сама по себѣ ничего не предрѣшаетъ относительно содержанія. Такимъ образомъ, собственное свое легкомысленное, поверхностное, не серьезное отношеніе къ дѣлу г. Боборыкинъ возводитъ въ принципъ и дѣлаетъ при этомъ такую серьезную мину, что поневолѣ смѣшно становится. И чѣмъ больше Гельмгольцевъ, Брюкке, Фехнеровъ и т. п. пристегиваетъ онъ къ оправданію своего легкомыслія, тѣмъ яснѣе становится, что и къ этимъ почтеннымъ ученымъ онъ относится необыкновенно легкомысленно и поверхностно. И такъ бываетъ всегда, когда г. Боборыкинъ начинаетъ говорить не только о задачахъ искусства, а и вообще о предметахъ, «наводящихъ на размышленіе». А онъ любитъ таки побесѣдовать и о положительной философіи, и о нигилизмѣ, и о culte du peuple dans la litterature russe и проч. При этомъ смѣшно не то, что «Петръ Дмитріевичъ даже объ анатоміи и физіологіи не прочь потолковать». Что тутъ за *даже*, если человѣкъ дѣйствительно учился анатоміи и физіологіи. Смѣшонъ тотъ дѣланный серьезный тонъ, съ которымъ г. Боборыкинъ говоритъ о вещахъ, дѣйствительно серьезныхъ, безъ всякаго серьезнаго къ нимъ интереса. А онъ и въ романы свои постоянно вводитъ предметы, наводящіе на размышленіе, торопливо хватая ихъ на лету и столь же торопливо облекая ихъ въ художественную форму. Форма эта опять-таки поражаетъ своею несерьезностью и поверхностностью: натолкаетъ человѣкъ образовъ и картинъ, нагромоздитъ ихъ, какъ товаръ въ мебельной лавкѣ Гостинаго двора, и съ протокольною точностью опишетъ шоколаднаго цвѣта пледъ, «извилистый носъ» (я не знаю, какой это извилистый носъ, но онъ часто фигурируетъ у г. Боборыкина), зеленую триповую мебель, «солиднаго рисунка» штаны и проч., и проч.,—и выходитъ «чистое искусство»!

Г. Венгеровъ удивляется и негодуетъ, что у г. Боборыкина, при всѣхъ его положительныхъ качествахъ—талантѣ, образованности, отзывчивости, трудолюбіи,—такъ много враговъ и такъ мало друзей въ литературѣ. Это, мнѣ кажется, требуетъ нѣкоторой, чисто фактической оговорки. Литературныхъ друзей у г. Боборыкина дѣйствительно не много, хотя это не мѣшаетъ ему печататься въ доброй половинѣ всѣхъ существующихъ журналовъ. Но и враговъ у него вовсе ужъ не такъ много, ибо возбуждаемое ими смѣшливое настроеніе, вообще говоря, не имѣетъ злобнаго, прямо враждебнаго характера: просто смѣшно. А почему все это такъ выходитъ, очень хорошо объясняетъ самъ г. Венгеровъ: «Не подай онъ повода сомнѣваться въ серьезности своихъ убѣжденій, у него было бы больше литературныхъ друзей, которые и парализовали бы значеніе самыхъ ожесточенныхъ нападокъ». Строго говоря, у г. Боборыкина даже совсѣмъ нѣтъ ни литературныхъ друзей, ни литературныхъ враговъ, ибо никому такой легкомысленный врагъ не страшенъ и никому такой легкомысленный другъ не дорогъ. Въ этомъ состоитъ глубоко поучительная трагическая сторона исторіи литературной дѣятельности г. Боборыкина, та сторона, которая его—талантливаго, образованнаго, отзывчиваго, трудолюбиваго писателя—фатально приводитъ къ «разбитому корыту».

Недавно вышла переводная. съ французскаго, книжка Ж. Пелисье, озаглавленная: «Французская литература XIX вѣка». Заглавіе это не соотвѣтствуетъ содержанію книжки. Съ одной стороны, въ статьѣ «Шекспировская драма во Франціи», авторъ выходитъ за предѣлы XIX вѣка, а съ другой—въ ней недостаетъ многаго, характернаго для французской литературы истекающаго столѣтія. Это просто сборникъ довольно случайныхъ статей, какъ это уже изъ самихъ ихъ заглавій видно: «Шекспировская драма во Франціи», «Октавъ Фёлье», «Эмиль Зола (по поводу романа «Деньги»)» «Поль Бурже (по поводу книги «Новыя пастели)», «Марсель Прево», «Пессимизмъ въ современной французскій литературѣ». Только эта послѣдняя статья и представляетъ для насъ довольно значительный интересъ, такъ какъ касается цѣлаго теченія, а не случайно выхваченныхъ отдѣльныхъ литературныхъ явленій.

По мнѣнію Пелисье, пессимизмъ составляетъ характернѣйшую черту современной французской жизни и литературы, чего, однако нельзя приписать вліянію извѣстныхъ нѣмецкихъ философскихъ системъ. Во Франціи, по словамъ нашего автора, «очень немногіе читали Шопенгауера въ его сочиненіяхъ, но очень многіе читали его въ своемъ собственномъ мозгу. Пессимизмъ во Франціи не имѣлъ ни основанія, ни школы; онъ былъ самопроизвольнымъ об-

щимъ настроеніемъ ума. Онъ не преподавался, какъ доктрина, но распространялся, какъ дурной воздухъ». Это объясняется отчасти тѣмъ разгромомъ Франціи, подъ впечатлѣніемъ котораго воспиталось дѣйствующее нынѣ поколѣніе. Но этого объясненія недостаточно, потому что Франція успокоилась, зажила нормальною жизнью, а распространеніе пессизма не прекратилось, для чего должны, значитъ, существовать еще какія-то другія причины. Пелисье ищетъ ихъ въ области идей же, а именно въ торжествѣ науки. «Съ тѣхъ поръ, - говоритъ онъ,—какъ нашъ вѣкъ, отстраняя обманчивыя иллюзіи воображенія и чувствительности, отдался наукѣ съ единственною цѣлью познать тайны природы, пріобрѣсти о ней понятія болѣе точныя и полныя,—опытъ привелъ его къ механической теоріи вселенной, сообразно съ которой не только вокругъ насъ, но и въ насъ самихъ не происходитъ никакого явленія, которое бы не было необходимо вызвано предшествующими явленіями... XVII вѣкъ вѣрилъ въ добродѣтель; но для детерминиста добродѣтель является только продуктомъ фактора, надъ которымъ мы не имѣемъ никакой власти. XVIII вѣрилъ въ разумъ; но для детерминиста все одинаково разумно, потому что, такъ какъ все одинаково необходимо, нѣтъ другой причины всего сущаго, какъ сама необходимость. Романтическій XIX вѣкъ вѣрилъ въ любовь; но и онъ заблуждался,—или отдѣляя любовь отъ животнаго чувства и идеализируя ее, или приписывая ей жизненность независимой силы. Что касается послѣдующихъ поколѣній, они вѣрили только въ ощущенія, въ желаніе, въ то, что натуралистическая школа уже называла животнымъ-человѣкомъ. И дѣйствительно, если детерминизмъ уничтожаетъ то, что составляетъ наше превосходство надъ другими животными—познаніе добра и зла,—то что же лучшее могло остаться отъ насъ?» И далѣе: «Если общая послѣдовательность явленій роковымъ образомъ развиваетъ будущее изъ прошедшаго, мы такъ же безсильны измѣнить роковыя формы нашего существа, какъ камень, брошенный въ извѣстномъ направленіи, не способенъ измѣнить данное ему направленіе. И это представленіе о мірѣ, надъ которымъ преобладаютъ слѣпыя силы, о человѣчествѣ, которое дѣйствуетъ въ пустомъ пространствѣ, усилія котораго, труды и сопротивленія не только безсильны измѣнить всемірный ходъ вещей, но еще являются сами по себѣ результатомъ роковой неизбѣжности, тяготѣющей надъ нашими тщетными волненіями,—представленіе это естественно располагаетъ къ пессимизму человѣка, въ которомъ оно уничтожило всякую надежду, всякое достоинство, всякую вѣру, кромѣ угрюмой, подавленной покорности суетѣ земного существованія».

Есть, правда, еще выходъ —эпикурейски отдаться волнѣ насла-

жденій, поскольку каждый ихъ захватить можетъ, но, говоритъ Пелисье, и эпикуреизмъ приводитъ къ пессимизму въ силу пресыщенія. Мы не будемъ, впрочемъ, останавливаться на этой мысли Пелисье, да и изъ его дальнѣйшаго изложенія, вообще говоря, мало оригинальнаго и, кромѣ того, мало опредѣленнаго, какого то расплывающагося, возьмемъ лишь немногое.

Характеризуя современное положеніе, очевидно, уже не одной Франціи, онъ говоритъ: «Нѣтъ дисциплины ума или совѣсти; нѣтъ принципа, который бы не подточила критика; нѣтъ философіи, которая могла бы намъ доставить вѣрное и прочное прибѣжище. Чтобы принять участіе въ интеллигентномъ движеніи вѣка и попытаться найти синтезъ, способный согласовать самыя непримиримыя разнорѣчія въ законахъ (?) и одновременно удовлетворить требованіямъ сердца и разума, каждый изъ насъ самъ долженъ создать себѣ свою мораль, свою философію жизни и міра. Работа эта, тѣмъ болѣе тяжелая, что она на каждомъ шагу обнаруживаетъ наше безсиліе, окончательно расшатываетъ равновѣсіе нашихъ способностей... Когда мозгъ поглощаетъ для своей дѣятельности всѣ жизненные соки, является общая атрофія другихъ органовъ и впослѣдствіи—ослабленіе воли. Но воля не можетъ утратиться, не надломивши самыя пружины жизни. Тотъ, кто теряетъ силу воли, теряетъ въ то же время силу жизни и съ этой минуты дѣлается жертвой пессимизма». «Если бы,—говоритъ далѣе Пелисье, — пессимизмъ состоялъ только въ признаніи зла, послѣдствіемъ его явилась бы вполнѣ здоровая мораль... Быть пессимистомъ—значило бы имѣть идеалъ міра лучшаго, чѣмъ міръ дѣйствительный, лучшаго и болѣе счастливаго человѣчества, и почерпать изъ этого сознанія силу трудиться, сообразно съ его (своими) средствами, надъ воплощеніемъ на землѣ этого идеала. Въ этомъ смыслѣ пессимизмъ, какъ самъ по себѣ, такъ и своимъ нравственнымъ вліяніемъ, стоялъ бы гораздо выше извѣстнаго оптимизма. Изъ всѣхъ заблужденій — самое опасное думать, что прогрессъ идетъ самъ собою, помимо насъ, когда мы остаемся пассивными, или не смотря на насъ, когда наше невѣжество или трусость препятствуютъ ему». Такой оптимизмъ «не только уничтожаетъ присущую нашей природѣ потребность дѣйствовать, но онъ также глубоко безнравственъ тѣмъ, что находя хорошимъ все, что совершается, онъ кончаетъ смѣшеніемъ добра и зла. Какъ не предпочесть такому оптимистическому ханжеству, лишающему насъ воли, ученіе, которое, признавая существованіе зла, внушаетъ намъ вѣру въ возможность побѣды и мужества, необходимое для борьбы? Но у пессимизма нѣтъ ничего общаго съ такимъ ученіемъ».

На этомъ мы и покончимъ свое знакомство со статьей, равно

какъ и со всей книжкой Пелисье. Она представляетъ для насъ интересъ только какъ одно изъ выраженій того недовольства наукой, того разочарованія въ ней, которое на разные лады все чаще даетъ себя знать во Франціи. Еще недавно прошумѣлъ, да и до сихъ поръ еще не совсѣмъ улегся споръ о наукѣ, поднятый Брюнетьеромъ статьей въ «Revue des Deux Mondes». Ему возражалъ Рише въ «Revue scientifique», потомъ Бертело въ «La Revue de Paris», не говоря о множествѣ мелкихъ отзывовъ. Потомъ состоялся въ Парижѣ спеціальный банкетъ, на которомъ разныя звѣзды политическаго, научнаго и литературнаго міра говорили рѣчи въ честь и защиту науки. Тутъ были президентъ палаты депутатовъ Бриссонъ, министръ народнаго просвѣщенія Пуанкаре, Гобле, Буржуа, Лакруа, Пельтанъ, Зола, Бертело, Рише, Перрье, Жане, Бурневилль... Брюнетьеръ, обратившійся въ газетѣ «Figaro» наканунѣ банкета къ его участникамъ съ нѣсколькими ехидными вопросами, можетъ торжествовать: какая понадобилась усиленная защита науки! Неужели же, однако, статья Брюнетьера представляетъ дѣйствительно столь серьезную опасность для репутаціи науки и ея будущности, что противъ нея нужно такое значительное—и въ качественномъ, и въ количественномъ отношеніи—ополченіе? Не значитъ ли это, по русской поговоркѣ, идти на муху съ обухомъ?

Одинъ изъ ораторовъ банкета, Бриссонъ, выразилъ мысль, что слова «банкротство науки» составляютъ политическій лозунгъ, и именно попытку клерикальной реакціи. Но, прибавилъ онъ, мы еще и не такія нападки терпѣли и побѣдоносно справлялись съ ними. Справедливо ли такое презрительное отношеніе къ факту, заставившему взяться за перо высоко стоящихъ людей науки, какъ Бертело или Рише, и произносить пылкія рѣчи вліятельныхъ политическихъ дѣятелей, какъ самъ Бриссонъ, Пуанкаре, Гобле и проч.?

Брюнетьеръ писалъ свою статью какъ бы съ благословенія папы Льва XIII, у котораго онъ только что передъ тѣмъ имѣлъ аудіенцію. Статья такъ и озаглавлена: «Après une visite au Vatican.». Въ статьѣ этой онъ восторженно говоритъ о трехъ великихъ дѣлахъ Льва XIII. Во-первыхъ, папа призналъ согласимость католицизма со всякой фактически существующей формой правленія и рекомендовалъ французскому духовенству примириться съ республикой. Во-вторыхъ, папа призналъ существованіе такъ называемаго соціальнаго вопроса и право и обязанность католической церкви принять участіе въ его рѣшеніи. Въ-третьихъ, папа взялъ на себя иниціативу возсоединенія восточныхъ и протестантскихъ церквей съ римскою. Послѣдній пунктъ едва ли многихъ волнуетъ во

Франціи какъ въ смыслѣ надеждъ, такъ и въ смыслѣ опасеній, да и нѣтъ у него въ ближайшемъ будущемъ благопріятныхъ для папской политики перспективъ. Нельзя того же сказать о первыхъ двухъ пунктахъ. Открытое признаніе республики было безъ сомнѣнія очень благоразумнымъ, чтобы не сказать ловкимъ, шагомъ Льва XIII и должно было значительно успокоить правительство Франціи, устранивъ лишняго, если не врага, то, по крайней мѣрѣ, недоброжелателя въ лицѣ французскаго духовенства. Но это же самое французское правительство и правящіе классы Франціи вообще не могутъ быть очень довольны вмѣшательствомъ папы въ вопросы объ экономическихъ отношеніяхъ. Въ энцикликѣ 15 марта 1891 г. «О положеніи рабочихъ», Левъ XIII, по мнѣнію Брюнетьера, «вспомнилъ, что христіанство было первоначально религіей бѣдныхъ». Насколько позволительно современному католицизму мечтать объ уподобленіи первоначальному христіанству, мы разсуждать не будемъ. Но третья республика слишкомъ не оправдала надеждъ «бѣдныхъ», чтобы не опасаться хотя бы только временнаго отклоненія этихъ надеждъ въ какую нибудь другую сторону, между прочимъ, и въ сторону католицизма. Если католицизмъ и не выполнитъ своихъ обѣщаній, и недовольные третьей республикой разочаруются въ немъ, то сейчасъ эти обѣщанія могутъ всетаки создать затрудненія. Съ этой точки зрѣнія и статья Брюнетьера получаетъ практическій интересъ дня. Но Брюнетьеръ противопоставляетъ католицизмъ не столько свѣтской власти, сколько наукѣ, а потому люди науки сочли своею обязанностью возражать ему статьями и рѣчами. Нельзя, однако, сказать, чтобы они дѣлали это вполнѣ удовлетворительно.

Въ статьѣ «Revue des Deux Mondes» Брюнетьеръ удѣляетъ много мѣста восхваленію личности и дѣятельности Льва XIII, доказательствамъ превосходства католицизма въ сравненіи съ протестантизмомъ, и только примѣрно третья часть статьи занята тѣмъ, что теперь такъ часто поминается подъ именемъ «банкротства науки». Банкротство это сводится къ двумъ пунктамъ: наука обманула возлагавшіяся на нее надежды, во-первыхъ, въ смыслѣ устраненія всякой «тайны» изъ нашихъ понятій, и во-вторыхъ, въ смыслѣ улучшенія взаимныхъ человѣческихъ отношеній. А затѣмъ Брюнетьеръ предлагаетъ нѣкоторое, очень, впрочемъ, неясное, мирное размежеваніе областей науки и католицизма, во всякомъ случаѣ предоставляя послѣднему всю область морали, въ обоснованіи которой наука оказалась, дескать, совершенно безсильной. Въ вышеупомянутыхъ вопросахъ, обращенныхъ въ газетѣ „Figaro“ къ участникамъ банкета, Брюнетьеръ идетъ дальше и обвиняетъ науку уже не въ безсиліи только, а во вредоносности.

«Я предложу, — говоритъ онъ, — устроителямъ банкета только три вопроса. Первый вопросъ я обращаю къ г. Бертело и робко прошу его разъяснить мнѣ, насколько прогрессъ науки увеличилъ за 40—50 послѣднихъ лѣтъ военный бюджетъ во всѣхъ государствахъ. Я не говорю ни о динамитѣ, ни о меленитѣ, ни о другихъ взрывчатыхъ веществахъ; я обращаю пока ваше вниманіе только на милліарды, которыхъ стоитъ намъ прогрессъ науки. Благодаря этому прогрессу, мы не успѣваемъ построить броненосца, какъ принуждены уже сдавать его въ архивъ, потому что новыя изобрѣтенія выставили новый идеалъ боевого судна. То же происходитъ съ ружьями, крѣпостями и другими военными приспособленіями. Кто платитъ милліарды, идущіе на эти научные опыты? Отъ какого плодотворнаго употребленія они отвращаютъ наши деньги? Какимъ еще банкротствомъ угрожаетъ намъ эта страсть къ издержкамъ?» — Второй вопросъ Брюнетьеръ обращаетъ къ Клемансо, имя котораго фигурируетъ между членами комитета, устраивавшаго банкетъ. «Въ то время,—говоритъ Брюнетьеръ, — когда докторъ Клемансо занимался политикой, ему случалось для ознакомленія съ бытомъ избирателей спускаться въ рудники. Свое посѣщеніе угольныхъ копей онъ описывалъ въ такихъ краскахъ, которыя производили глубокое впечатлѣніе на читателей. Я спрашиваю доктора Клемансо, не представляетъ-ли такъ сильно взволновавшее его зрѣлище результата «научнаго прогресса», плодовъ пара и электричества? Не находитъ ли онъ, что платить цѣною сверхъестественнаго труда нашихъ ближнихъ за электрическое освѣщеніе національной академіи — слишкомъ дорого? Я спрашиваю, что сказали бы рудокопы Кармо, если бы ихъ заставить осязать этотъ «прогрессъ науки»? Третій вопросъ я адресую Жоресу. Онъ испытываетъ къ несчастнымъ не жалость, а дѣлающее ему честь состраданіе. Не отвѣтитъ ли онъ намъ, насколько участвовала наука и ея успѣхи въ образованіи того «капитализма», противъ котораго онъ мечетъ свои стрѣлы? Кто создалъ въ предмѣстіяхъ нашихъ городовъ ту бѣдность и нищету рабочаго класса, которыя наполняютъ всѣ сердца ненавистью къ цивилизаціи? Ихъ создалъ «прогрессъ науки». Тотъ же «прогрессъ науки» заставилъ населеніе бѣжать изъ деревень въ города, вырылъ глубокую пропасть между трудомъ и капиталомъ, посѣялъ классовую ненависть».

Повидимому, ни Бертело, ни Клемансо, ни Жоресу не предстояло никакихъ трудностей отвѣтить на эти вопросы: наука не при чемъ въ тѣхъ примѣненіяхъ, которыя дѣлаютъ изъ нея люди и извѣстнымъ образомъ сложившаяся общественная жизнь. Сколько мнѣ извѣстно, однако, если кто нибудь изъ возражавшихъ Брюнетьеру и высказывалъ, можетъ быть, мимоходомъ эту мысль, то

никто изъ нихъ не остановился на ней съ достаточною силою. Они или обходятъ факты, на которые указываетъ Брюнетьеръ въ укоръ наукѣ, или говорятъ: «подождите, наука еще не кончила своего дѣла», или же, наконецъ, просто отмѣчаютъ рядъ благодѣяній науки. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи нѣкоторые изъ нихъ заходятъ гораздо дальше, чѣмъ это дозволяется, казалось бы, слишкомъ очевидными и несомнѣнными фактами. Такъ Бертело (въ «La Revue de Paris») говоритъ о «глубокомъ измѣненіи взаимныхъ отношеній между націями, которыхъ соціологическія науки (les sciences sociologiques) убѣдили, что война столь же вредитъ побѣдителямъ, какъ и побѣжденнымъ, потому что матеріально ослабляетъ тѣхъ и другихъ и поддерживаетъ чувства наслѣдственной ненависти, все болѣе осуждаемыя всеобщею нравственностью (par la moralité générale)». Нѣтъ надобности распространяться о томъ, насколько эта идиллія фантастична и насколько «соціологическимъ наукамъ», да и наукѣ вообще, даже прямо невыгодно объявлять себя исключительно руководящею силою и, слѣдовательно, брать на себя отвѣтственность за положеніе вещей. Совсѣмъ это не лестно для науки, да и съ истиной не сообразно. Мы еще вернемся къ этому, а теперь замѣтимъ только, что гораздо лучше справляются возражающіе Брюнетьеру съ другимъ пунктомъ его обвинительнаго акта. Въ своихъ статьяхъ и рѣчахъ Рише, Бертело и другіе утверждаютъ, что наука никогда не обѣщала изгнать изъ нашего духовнаго обихода «тайну»; напротивъ, наука, изслѣдующая только явленія въ ихъ связи сосуществованія и послѣдовательности, твердо установила невозможность познать сокровенную сущность вещей, которая поэтому навсегда останется «тайной». И дѣйствительно, если именно не обузданные наукою или недостаточно ею обузданные умы разсчитывали, что она объяснитъ все, то сама она такихъ претензій не выражала и ни мало за нихъ не отвѣтственна.

Въ числѣ прочихъ на банкетѣ говорилъ и Эмиль Зола. Начало его рѣчи отличается совсѣмъ не свойственною ему, хотя и вполнѣ ему приличествующею скромностью. На этотъ разъ талантливый романистъ забылъ, что онъ—«анатомъ», представитель «положительнаго научнаго метода», имѣющій право стоять въ этомъ отношеніи рядомъ съ Клодомъ Бернаромъ, призванный, въ качествѣ служителя высшей науки, «экспериментальнаго романа», «управлять жизнью» и проч. Весь этотъ вздоръ Эмиль Зола оставилъ въ покоѣ и выступилъ въ качествѣ «простого писателя», не имѣющаго права говорить «отъ имени науки»; но онъ считаетъ себя обязаннымъ благодарить науку, которая его, какъ и всякаго писателя, надѣлила свободой мыслить и писать, разрушивъ притязанія «вѣры» (la foi). Это характерно для Зола. Изо всѣхъ ораторовъ банкета онъ одинъ

рѣшился употребить этотъ широкій терминъ, желая, вѣроятно, тѣмъ самымъ выразить свое особенное уваженіе къ наукѣ; столь велико это его уваженіе, что онъ, если не фактически,—онъ «простой писатель»,—то логически борется во имя науки не съ какою нибудь миѳологіей, а съ «вѣрой» вообще... Послѣдовательно ли это со стороны человѣка, такъ пламенно вѣрующаго или вѣровавшаго въ «положительный, научный методъ»,– я не берусь судить. Да оно было бы тѣмъ труднѣе, что не очень еще давно Зола почти прямо отрекался отъ «положительнаго, научнаго метода» или, по крайней мѣрѣ, обѣщалъ отречься. Жюлю Гюре, автору извѣстной «Enquête sur l'évolution littéraire», онъ говорилъ о «законности нетерпѣнія» недовольныхъ наукою, о «логичности реакціи» противъ увлеченія ею и о томъ, что реакція эта «можетъ восторжествовать черезъ десять-пятнадцать лѣтъ, если найдется человѣкъ, который сосредоточитъ въ себѣ эту *жалобу вѣка*, эту оттолчку отъ науки». Мало того, Зола прибавлялъ: «если у меня хватитъ времени, я сдѣлаю то, чего они (разочарованные, недовольные) хотятъ». Какую именно задачу бралъ на себя при этомъ Зола, рѣшить довольно трудно. Изъ подробностей его разговора какъ съ Гюре, такъ и съ нѣкоторыми другими «интервьюерами», видно, что «анатомія», «положительный научный методъ», наука вообще, по его мнѣнію, предъявляя горькую истину, не даютъ людямъ «утѣшенія», не удовлетворяютъ свойственнаго человѣку «стремленія къ счастію». Въ соотвѣтственномъ, значитъ, дополненіи или поправкѣ къ «положительному научному методу», Зола и видѣлъ, а можетъ быть, и до сихъ поръ видитъ свою новую задачу. Все это, конечно, такая же «бляга», какъ и предшествовавшая «анатомія» Зола; она свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что этотъ талантливый романистъ, совершенно, однако, не подготовленный къ рѣшенію тѣхъ теоретическихъ вопросовъ, о которыхъ онъ столь развязно разговариваетъ, боится утратить свою популярность и ради сохраненія ея готовъ или, по крайней мѣрѣ, былъ готовъ до возбужденнаго Брюнетьеромъ спора, — перемѣнить фронтъ, благосклонно отвернуться отъ науки въ сторону толпы недовольныхъ и разочарованныхъ. Наука отъ этого, конечно, столь же мало потеряла бы, сколь мало выигрывала отъ смѣшныхъ гимновъ, которые ей пѣлъ Зола. Но эти жадные до популярности люди, эти quasi-вожди, якобы руководящіе, а въ сущности руководимые, интересны, какъ показатели какого нибудь не вполнѣ опредѣленнаго и даже въ большинствѣ случаевъ очень смутнаго, но болѣе или менѣе широко распространеннаго теченія.

Это возвращаетъ насъ къ Пелисье, свидѣтельствующему, какъ мы видѣли, о распространеніи во Франціи пессизма, въ связи съ разочарованіемъ въ наукѣ. Но почему же раскрываемая наукою

истина непремѣнно печальна и нуждается въ поправкѣ «утѣшенія»? Это понятно въ устахъ Зола, сосредоточившаго свое вниманіе почти исключительно на низменныхъ сторонахъ человѣческой природы и художественно воспроизводящаго преимущественно неутѣшительные факты. Но вѣдь не наука же въ самомъ дѣлѣ романы Зола, со всѣми ихъ достоинствами правды, со всею односторонностью этой правды и со всѣми его разглагольствованіями о роковомъ характерѣ, о «детерминизмѣ» изображаемыхъ имъ мерзостей. И собственно ему ничего не стоитъ представить «утѣшеніе»: стоитъ только нарисовать рядъ картинъ и образовъ противоположнаго характера, что возможно сдѣлать вполнѣ правдиво, ибо существуютъ же на свѣтѣ честь и совѣсть, самоотверженіе и любовь, имѣющія, какъ и все на свѣтѣ, тоже свои достаточныя причины существованія, то есть свой детерминизмъ. Едва ли, однако, былъ бы этимъ вполнѣ удовлетворенъ Пелисье (а съ нимъ и многіе другіе), ибо его оскорбляетъ не существованіе зла или, по крайней мѣрѣ, не только оно, а и самый этотъ «детерминизмъ», роковая неизбѣжность какъ зла, такъ и добра. Онъ ничего не имѣетъ противъ самаго рѣзкаго разоблаченія существующаго зла, но подъ условіемъ идеала, ради осуществленія котораго стоитъ и жить, и работать. Такъ необычно понятый пессимизмъ онъ предпочитаетъ оптимизму, увѣреннному, что «прогрессъ идетъ самъ собой», помимо нашего участія и воли. Но, спрашивается, можно ли преслѣдовать осуществленіе какого нибудь идеала, «если общая послѣдовательность явленій роковымъ образомъ развиваетъ будущее изъ прошедшаго»? И тутъ уже, повидимому, ничего не подѣлаешь: наука не можетъ отказаться отъ своего основанія, отъ положенія о необходимой причинной связи явленій, на которомъ она вся зиждется, а мы въ свою очередь не можемъ отказаться отъ науки, ибо это значило бы добровольно ослѣпнуть. Таковъ трагическій кругъ, въ которомъ принуждено вращаться современное человѣчество и изъ котораго, по мнѣнію Пелисье, есть только одинъ выходъ—въ сторону пессимизма, если это можно назвать выходомъ. И по мѣрѣ поступательнаго шествія науки, кругъ этотъ долженъ сжиматься все плотнѣе и плотнѣе: все яснѣе и опредѣленнѣе будетъ становиться тщета нашихъ идеаловъ и надеждъ и необходимость покорности естественному ходу вещей, измѣнить который мы безсильны. Можетъ быть, этотъ естественный ходъ вещей влечетъ насъ къ счастію и свѣту, какого мы теперь даже и представить себѣ не можемъ, — такъ думаютъ оптимисты; можетъ быть, наоборотъ, онъ тянетъ насъ въ какую нибудь бездонную мрачную пропасть, — такъ думаютъ пессимисты. Но уже само по себѣ обидное сознаніе безсилія, сознательное положеніе щепки, влекомой могучимъ и неудержимымъ потокомъ, составляетъ источникъ

пессимизма: опускаются руки, не изъ чего и не зачѣмъ напрягать волю...

Надо замѣтить, что Пелисье, одинаково оскорбляясь и оптимизмомъ, и пессимизмомъ, поскольку они обрекаютъ человѣка на безсиліе и бездѣйствіе, только послѣдній, то есть пессимизмъ, связываетъ съ торжествомъ науки. Это понятно, такъ какъ съ его точки зрѣнія обидною, оскорбительною, печальною является наиболѣе общая, такъ сказать, верховная научная истина, и «утѣшенія» онъ не знаетъ. Его, однако, очевидно знаютъ Бертело, Рише, Эдмонъ Перрье и прочіе представители науки на вышеупомянутомъ банкетѣ. Говорю именно о представителяхъ науки, потому что ихъ мнѣнія въ данномъ случаѣ, конечно, интереснѣе мнѣній людей житейской практики, какъ Бриссонъ или Пуанкаре. При томъ же нѣкоторые изъ нихъ — Бертело, Рише — изложили свои взгляды не только въ банкетныхъ рѣчахъ, а и въ болѣе или менѣе обстоятельныхъ статьяхъ. Въ лицѣ этихъ представителей науки, которые, повидимому, съ точки зрѣнія Пелисье должны бы быть особенно проникнуты мрачнымъ духомъ пессимизма, мы имѣемъ людей, хотя и признающихъ несовершенство жизни въ настоящемъ, но бодро смотрящихъ на будущее, ожидая отъ него всякихъ благъ. И они вовсе не намѣрены сидѣть сложа руки въ ожиданіи этихъ благъ, которыя, дескать, сами собой придутъ. Напротивъ, они работаютъ, борются, призываютъ другихъ къ борьбѣ и работѣ. Значитъ-ли это, однако, что Пелисье такъ-таки совсѣмъ неправъ? Я думаю,—нѣтъ, не значитъ.

Должно признаться, что печатная и устная защита науки противъ Брюнетьера въ общемъ далеко не можетъ быть названа побѣдоносною. Неудовлетворительность ея объясняется частью самою постановкою вопроса на сравнительно узкую почву борьбы науки съ католицизмомъ. На эту тему представители науки высказали много вѣрнаго и цѣннаго. Но въ статьѣ Брюнетьера затронуты нѣкоторые болѣе общіе пункты, въ сущности тѣ самые, которыхъ касается Пелисье, и противникамъ Брюнетьера надлежало или совсѣмъ уклониться отъ ихъ обсужденія, сосредоточившись на своей ближайшей задачѣ, или же отнестись къ нимъ съ гораздо большею обдуманностью, чѣмъ они это сдѣлали.

Наиболѣе общіе тезисы Брюнетьера состоятъ въ томъ, что, во-первыхъ, наука не раскрыла тайны бытія и не можетъ ее раскрыть,— съ этимъ, какъ мы видѣли, представители науки справляются очень просто,—и что, во-вторыхъ, прогрессъ морали въ самомъ широкомъ смыслѣ взаимныхъ между людьми отношеній не шелъ рука объ руку съ прогрессомъ науки, иначе говоря: наука не была и не можетъ быть руководительницей взаимныхъ отношеній между людьми.

Что же возражаютъ на это оппоненты? Они перечисляютъ услуги, оказанныя наукою нашему матеріальному быту, тому усиленію власти человѣка надъ природой, которое составляетъ матеріальную основу культуры. Но вѣдь это вовсе къ дѣлу не идетъ, тѣмъ болѣе, что Брюнетьеръ можетъ задать ехидный вопросъ — не слишкомъ ли большимъ количествомъ труда и жизней оплачивается электрическое освѣщеніе академіи и не утилизируются ли научныя открытія съ цѣлями истребленія и разоренія людей на войнѣ. Далѣе, напримѣръ, Эдмонъ Перрье, обращаясь на банкетѣ къ Бертело, говорилъ: «Справляйтесь, сколько хотите, въ мрачныхъ архивахъ Золотого Тѣльца, вы не найдете тамъ именъ людей науки. Я, впрочемъ, ошибаюсь: вы узнаете тамъ, что однажды нашему великому Пастеру, почти бѣдняку и уже больному, былъ предложенъ милліонъ, если онъ согласится предоставить одному финансовому обществу выгоды одного изъ своихъ благодѣтельныхъ открытій. Онъ отвѣтилъ, какъ нѣкогда вашъ другъ Ренанъ: Pecunia tua tecum sit. Не надо мнѣ вашихъ денегъ! Вотъ каковы моральныя личности, создаваемыя наукой! Да будетъ же она благословенна и почтенна, эта обанкрутившаяся!»—Конечно, можно бы было возразить Эдмону Перрье, конечно, да будетъ наука благословенна и, конечно, она не обанкрутилась. Но утверждать, что въ архивахъ Золотого Тѣльца имена ученыхъ значатся только ради ихъ безкорыстія – значитъ говорить фактическую неправду. Но и принципіально не вѣрно обобщеніе или, точнѣе, намекъ на обобщеніе, заключающійся въ словахъ Перрье. Никто никогда не сомнѣвался въ полной возможности сочетанія высокихъ нравственныхъ качествъ съ блестящими заслугами на научномъ поприщѣ, но они могутъ сочетаться и съ весьма слабыми научными знаніями и даже съ круглымъ невѣжествомъ. Да и почему бы занятія химіей или біологіей могли сами по себѣ и обязательно гарантировать, напримѣръ, безкорыстіе или какое нибудь другое высокое нравственное качество? Ихъ не гарантируютъ и труды, сами по себѣ даже очень цѣнные, въ области общественныхъ наукъ...

Бертело утверждаетъ въ своей банкетной рѣчи: «Наука устанавляетъ единственныя непоколебимыя основанія морали, указывая, какъ эта послѣдняя коренится въ инстинктивныхъ чувствахъ человѣческой природы, опредѣляемыхъ и увеличиваемыхъ непрестаннымъ развитіемъ нашихъ знаній и наслѣдственнымъ развитіемъ нашихъ способностей». Въ виду поразительной сбивчивости и неточности выраженій знаменитаго химика, я считаю нужнымъ привести это мѣсто его рѣчи и въ подлинникѣ: «C'est la science qui établit les seules bases inébranlables de la morale, en constatant comment celle-si est fondée sur les sentiments instinctifs de la na-

ture humaine, précisés par l'évolution incessante de nos connaissances et le développement héréditaire de nos aptitudes». Въ этихъ словахъ заключается, кажется, замѣчательный изгибъ, чтобы не сказать—изворотъ мысли, котораго не знали наши предки и которому несомнѣнно будутъ удивляться наши потомки, но который очень распространенъ въ наше время. Говорю: *кажется*, потому что неясность выраженій Бертело допускаетъ разныя толкованія, но остановиться на этомъ пунктѣ во всякомъ случаѣ стоитъ. Въ новѣйшее время, благодаря вліянію эволюціонной теоріи, съ одной стороны, и интересу къ доисторическому быту и быту современныхъ дикарей, съ другой,—получила особенное развитіе та отрасль науки, которую можно назвать исторіей морали. Это еще не вполнѣ установившаяся, но уже несомнѣнная наука, изслѣдующая причинную связь нравственныхъ идеаловъ и практической морали съ другими общественными и естественными факторами жизни. Это — этика, какъ историко-психологическая наука. Даетъ ли она какое нибудь основаніе этикѣ, какъ руководительницѣ въ морѣ существующаго добра и зла, какъ ученію о должномъ и недолжномъ, нравственно одобрительномъ и неодобрительномъ?—Никакого. Этика, какъ ученіе о должномъ, можетъ пользоваться фактами и выводами этики, какъ историко-психологической науки, но не можетъ на ней основываться. Послѣдняя только и можетъ сказать, что всѣ наши современные идеалы и цѣли дѣятельности, всѣ наши понятія о должномъ, весьма разнорѣчивыя, являются неизбѣжнымъ слѣдствіемъ извѣстнаго ряда или извѣстной группы причинъ, и въ *этомъ* смыслѣ всѣ одинаково законны. Верховный принципъ положительной науки — фактическая необходимость, законосообразность всего существующаго, какъ неизбѣжнаго слѣдствія извѣстныхъ причинъ—вполнѣ удовлетворяетъ нашу потребность познанія, но не можетъ насытить потребность нравственнаго суда. Что же означаютъ слова Бертело: «наука установляетъ единственныя непоколебимыя основанія морали?» Если то, что наука утверждаетъ фактъ всеобщаго и всегдашняго существованія морали, то есть, различенія людьми добра и зла, и изслѣдуетъ причины, слѣдствія и ходъ развитія морали, послѣдовательность измѣненій въ этой области,— то Бертело, конечно, правъ. Но если онъ думаетъ (какъ думаютъ нынѣ многіе), что этимъ дано «непоколебимое основаніе» для нашего руководительства въ дѣлѣ различенія добра и зла, — то онъ жестоко ошибается. Конечно, и здѣсь наука можетъ оказывать огромныя и неоцѣненныя услуги разъясненіемъ причинной связи явленій и вѣроятныхъ слѣдствій нашего поведенія, но не ею опредѣляется нравственная оцѣнка этихъ слѣдствій. Самъ по себѣ верховный принципъ положительной науки въ этомъ отношеніи совер-

шенно безсиленъ и даже обрекаетъ людей, при послѣдовательномъ его проведеніи, на полный нравственно-политическій индифферентизмъ и бездѣятельность; ибо всякая глупость и всякая подлость имѣютъ свои столь же естественныя причины и, слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія, столь же законны, какъ и любое торжество истины и благородства. Поэтому-то, хоть и маленькій, повидимому, человѣкъ Пелисье, а въ его вышеприведенныхъ разсужденіяхъ и жалобахъ есть большая доля правды.

Однако, Бертело, Рише, Перрье исповѣдуютъ полную зависимость морали отъ науки, но это не мѣшаетъ имъ очень ясно различать добро и зло и работать для торжества добра и побѣды надъ зломъ, какъ они то и другое понимаютъ. Они не индифферентисты и не сложа руки сидятъ. Это вѣрно. Но, признаюсь, то необыкновенное довольство существующимъ нынѣ во Франціи порядкомъ, которое сквозитъ въ ихъ рѣчахъ и статьяхъ, и замалчиваніе темныхъ сторонъ, указываемыхъ Брюнетьеромъ,—не свидѣтельствуютъ, мнѣ кажется, объ особенной горячности соціально-политическихъ убѣжденій, за исключеніемъ одного пункта. Это не мѣшаетъ имъ, разумѣется, быть не только крупными вкладчиками въ сокровищницу науки, но и лично прекрасными, гуманными, высоконравственными людьми. Это свидѣтельствуетъ только о томъ, что они, какъ люди науки, какъ спеціалисты, довольны существующимъ и, конечно, имѣютъ для этого достаточное основаніе: французскіе порядки гарантируютъ имъ полную свободу научнаго изслѣдованія. Естественно поэтому, что признакъ возможнаго торжества католицизма, мелькнувшій передъ ними въ статьѣ Брюнетьера, вызвалъ въ нихъ горячій и, можетъ быть, даже слишкомъ горячій протестъ. Въ остальномъ они, по апокалипсическому выраженію, «ни теплы, ни холодны». Но за то же въ этомъ остальномъ они или слабы, или непослѣдовательны. Послѣднее, какъ извѣстно, не всегда худо, и въ рѣчахъ и статьхъ Бертело, Рише и другихъ есть поэтому прекрасныя и высоко поучительныя мѣста.

V *).

Пьеса Гауптмана „Ганнеле“ и газетные толки о ней.—Первый съѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу.—Невѣжество нашего народа.—„Этюды о русской читающей публикѣ“ г. Рубакина.

Въ Петербургѣ существуетъ общество подъ названіемъ «Столичный литературно-артистическій кружокъ». Давно ли оно существуетъ и чѣмъ вообще занимается, я не знаю. Но недавно оно заставило много говорить о себѣ постановкою на сценѣ Панаевскаго театра пьесы Гауптмана «Ганнеле». Пьеса эта вызвала въ петербургской печати рѣзко различные отзывы: одни ее хвалили столь же пылко, какъ другіе бранили. Это уже говоритъ въ пользу пьесы. Какой то умный человѣкъ, если не ошибаюсь, Дидро, говорилъ, что если ваше произведеніе никому не нравится, такъ оно, можетъ быть, и не дурно; если нравится всѣмъ, то оно, навѣрное, плохо, а если очень одобряется одними и очень хулится другими, то, навѣрное, хорошо. Это звучитъ немножко парадоксально, но въ житейской практикѣ часто бываетъ именно такъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, пока успокоившіеся современники, а иногда только потомки, не сойдутся для очень хорошихъ и для очень дурныхъ вещей на окончательномъ, примѣрно, одинаковомъ мнѣніи. Во всякомъ случаѣ, хорошо уже то, что современники безпокоятся, волнуются, ибо даже въ стаканѣ воды буря, какъ ни бываетъ она подчасъ комична, лучше стоячаго болота.

По поводу «Ганнеле» страсти петербургскихъ современниковъ до того разгорѣлись, что, напримѣръ, «Новое Время», запальчиво возражая на запальчивыя рѣчи «Сына Отечества», писало: «Невольно вспомнились стихи Пушкина: «Какой онъ сынъ отечества?» и т. д...» Это, можетъ быть, и справедливо, какъ возданіе по дѣломъ, но свидѣтельствуетъ всетаки о крайней пылкости спора. При нѣ-

---

*) Май 1895.

которомъ хладнокровіи «Новое Время», вмѣсто «и т. д.», могло бы сказать: «онъ просто г. Добродѣевъ»,— и было бы совершенно право.

«Новое Время» взяло подъ особенное свое покровительство пьесу Гауптмана. Къ нему примкнули «Гражданинъ», «Биржевыя Вѣдомости» и др. Они находятъ пьесу прекрасною и какъ художественное произведеніе, и какъ религіозно-нравственное поученіе. Противники рѣзко отрицаютъ ея художественныя достоинства и уличаютъ ее въ кощунствѣ. Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить эти столь рѣзко противоположныя сужденія, надо знать содержаніе пьесы. Тотъ кругъ людей, который называется «Петербургомъ», когда рѣчь идетъ о предметахъ эстетическихъ,—читающій журналы, посѣщающій театры, выставки, концерты,—едва ли не весь пересмотрѣлъ «Ганнеле»: въ дни ея представленій театръ былъ всякій разъ биткомъ набитъ. Но кое кто изъ провинціальныхъ читателей, можетъ быть, и поблагодаритъ меня за краткое изложеніе «Ганнеле», которая и сама по себѣ очень не велика, — въ двухъ дѣйствіяхъ. Надо только замѣтить, что «Ганнеле» произведеніе исключительно сценическое и не только бѣглое изложеніе ея содержанія, но и печатный текстъ не можетъ дать понятія о впечатлѣніи, производимомъ ею на сценѣ.

Дѣйствіе первое. Въ деревенскій пріютъ для бѣдныхъ, въ ненастную зимнюю ночь, собираются мало-по-малу его жалкіе, физически и нравственно грязные обитатели. Они болтаютъ о своихъ дѣлишкахъ, ссорятся... Вдругъ въ комнату входятъ сельскій учитель Готтвальдъ съ Ганнеле — четырнадцатилѣтней дѣвочкой—на рукахъ и лѣсникъ Зейдель.

«Появленіе дѣвочки сразу прекращаетъ ссору между несчастными нищими, и въ душу зрителя проникаетъ сознаніе, что въ этомъ вертепѣ, за стѣнами котораго воетъ непогода, стало тепло, что Господь, другъ всѣхъ обездоленныхъ, уже невидимо присутствуетъ между ними». Этими словами одного изъ сотрудниковъ «Новаго Времени» (г. А. Б. въ № отъ 13 апрѣля) я перебиваю на минуту свое изложеніе, чтобы отмѣтить одну черту благосклонной къ пьесѣ Гауптмана критики, которая (черта) понадобится намъ ниже. Дѣло въ томъ, что появленіе дѣвочки не только не «сразу прекращаетъ», а совсѣмъ не прекращаетъ ссоры между нищими. Ссоры, дѣйствительно, нѣтъ на сценѣ въ этотъ моментъ, но она не прекращается, а продолжается за кулисами, куда еще *до* появленія Ганнеле ссорящіеся Ганке и Гета убѣгаютъ, и гдѣ они, повидимому, дерутся, а на сценѣ остаются вполнѣ ладящіе между собою старикъ Плешке и старуха Тульпе. Когда же Гета и Ганке возвращаются, то присутствіе дѣвочки не мѣшаетъ имъ ругаться, безобразничать и довести, наконецъ, лѣсника Зейделя до угрозы «парою оплеухъ».

Да и потомъ ихъ то и дѣло приходится уговаривать не шумѣть изъ уваженія къ страданіямъ дѣвочки. Со всѣмъ этимъ вполнѣ гармонируетъ ремарка автора: при появленіи Ганнеле «сильные порывы вѣтра потрясаютъ домъ, мерзлый снѣгъ стучитъ объ стекла». Такимъ образомъ, тотъ свѣтлый фонъ, на которомъ г-ну А. Б. рисуется первое появленіе дѣвочки, *фактически* расходится съ ясно выраженными намѣреніями Гауптмана. Забѣгая впередъ, замѣчу, что и вообще пьеса Гауптмана гораздо реалистичнѣе, чѣмъ думаетъ благосклонная къ ней критика...

Нищихъ выпроваживаютъ, у постели Ганнеле одинъ за другимъ являются, кромѣ учителя Готтвальда и лѣсника Зейделя, бургомистръ Бергеръ, докторъ Вахтеръ, сестра милосердія Марта. Изъ бреда или полубреда Ганнеле и разговоровъ окружающихъ выясняется слѣдующее. Ганнеле — сирота; ея мать умерла нѣсколько недѣль тому назадъ; ея настоящій отецъ есть, повидимому, бургомистръ Бергеръ, хотя она объ этомъ не знаетъ; живетъ она у отчима, пьянаго, грубаго каменщика Маттерна, который билъ и вообще тиранилъ ея мать и такъ же бьетъ и тиранитъ ее. Не выдержавъ этихъ мукъ своей матери и своихъ собственныхъ, Ганнеле бросилась въ прудъ, откуда ее вытащилъ лѣсникъ Зейдель, а учитель Готтвальдъ, при помощи своей жены, переодѣлъ ее, обсушилъ и затѣмъ принесъ въ пріютъ для бѣдныхъ. Въ бреду Ганнеле разсказываетъ, что ее звалъ въ воду самъ Господь. Было ли ей такое видѣніе дѣйствительно въ ту минуту, когда она топилась, или оно пришло ей въ голову потомъ,—трудно судить, но изъ дальнѣйшаго видно, что она вообще склонна къ экстазу и галлюцинаціямъ. Въ ея бредѣ интересно отмѣтить еще двѣ маленькія подробности. Во-первыхъ, она вспоминаетъ какого-то «портного», котораго «снесетъ въ горы бурей, если у него не окажется камня въ карманѣ и утюга въ рукахъ». Во-вторыхъ, въ ея помраченномъ сознаніи «милый, добрый господинъ Готтвальдъ» отождествляется съ кѣмъ то недосягаемо священнымъ, и въ то же время она говоритъ, что онъ на ней женится (Готтвальдъ, надъ замѣтить, женатъ).

Какъ только Ганнеле остается одна, ей является призракъ отчима, каменщика Маттерна: грубый, пьяный, онъ ругается, грозится бить и доводитъ Ганнеле до обморока. Затѣмъ является призракъ ея матери; мать разсказываетъ, какъ хорошо ей жить на томъ свѣтѣ и какъ хорошо будетъ скоро и Ганнеле. Между прочимъ, мать «утоляетъ голодъ плодами и мясомъ, а когда пить хочетъ, то пьетъ золотистое вино». Дѣвочкѣ же она обѣщаетъ сверхъ небесныхъ радостей еще отмщеніе на землѣ: «Какъ вѣтеръ мететъ съ горъ снѣжную пыль, такъ и Господь будетъ преслѣдовать твоихъ мучителей». Затѣмъ являются ангелы, въ видѣ «трехъ пре-

красныхъ крылатыхъ юношей съ вѣнками изъ розъ на головѣ». Они въ стихахъ выражаютъ Ганнеле свое сочувствіе къ ея земнымъ страданіямъ и къ предстоящимъ ей небеснымъ радостямъ. Занавѣсъ опускается.

Второе дѣйствіе. «Все осталось попрежнэму, какъ было до появленія ангеловъ. Сестра милосердія сидитъ у постели больной Ганнеле. Она снова зажгла свѣчу. Ганнеле открываетъ глаза. Видѣніе, очевидно, еще не изгладилось у нея изъ головы. На лицѣ ея выраженіе неземного блаженства. Узнавъ сестру, она начинаетъ торопливо говорить ей въ радостномъ возбужденіи». Говоритъ она объ томъ, что сейчасъ видѣла. Но разговоръ перебивается появленіемъ «ангела въ черныхъ одеждахъ, съ черными крыльями», съ мечомъ въ рукѣ. Это—ангелъ смерти. Вмѣстѣ съ тѣмъ сестра милосердія преображается, частью оставаясь сама собой, частью превращаясь въ мать Ганнеле (одежда сестры, но лицо не ея). Дѣвочка не разъ призывала смерть, но теперь на нее находитъ страхъ. Она готова всетаки умереть и только смущается тѣмъ, что она «будетъ лежать въ гробу такая оборванная, вся въ лохмотьяхъ». «Господь одѣнетъ тебя»,—говоритъ призракъ, объединяющій для Ганнеле сестру милосердія и мать. И тотчасъ, по знаку призрака (или полупризрака) «беззвучными шагами, какъ и всѣ послѣдующія видѣнія, появляется маленькая, горбатая фигурка деревенскаго портного; онъ несетъ перекинутое на рукѣ вѣнчальное платье, вуаль, а въ другой рукѣ пару стеклянныхъ туфелекъ; у него ковыляющая, комическая походка». Портной и мать-сестра одѣваютъ Ганнеле въ подвѣнечный нарядъ. При этомъ портной говоритъ ей разныя наивно льстивыя слова: называетъ ее дочерью какого то «его сіятельства господина графа», по заказу котораго сшито платье; говоритъ: «во всей деревнѣ только и рѣчи, что о вашей смерти... Это такое счастливое событіе ваша смерть»; объясняетъ, что принесъ ей «самые крошечные башмаки во всемъ царствѣ», потому что «у принцесы Ганнеле самыя маленькія ножки», а у Гедвиги и у Агнесы, и у Лизы, у Минны, у Марты, у Анны, у Кати, у Греты,—«у нихъ у всѣхъ такія большія ноги». Убранная къ вѣнцу и смерти, Ганнеле ложится въ постель. Издали слышатся звуки похороннаго марша. Ганнеле опять овладѣваетъ страхъ. Она спрашиваетъ: «стало быть, безъ этого нельзя?»—и при видѣ приближающагося ангела смерти молитъ мать-сестру о помощи. Та *не допускаетъ* удара мечомъ, и черный ангелъ исчезаетъ. Входитъ учитель Готтвальдъ съ празднично отдѣтыми школьниками — товарищами Ганнеле. Готтвальдъ торжественъ, грустенъ и говоритъ разныя пріятныя Ганнеле вещи: «она прекрасна... только со смертью расцвѣла ея красота». Сестра-мать прибавляетъ: «Она была кротка, поэтому Богъ и далъ ей та-

кую красоту». Готтвальдъ находитъ у себя въ молитвенникѣ двѣ засохшія фіалки: «это мертвые глазки моей милой Ганнеле», говоритъ онъ. Школьникамъ онъ указываетъ, какая она стала красивая, подчеркиваетъ, что вмѣсто лохмотьевъ на ней теперь шелковая одежда; она ходила босикомъ, а теперь на ней хрустальные башмачки; она питалась холоднымъ картофелемъ, да и то впроголодь, а теперь она «скоро будетъ жить въ золотыхъ чертогахъ и каждый день ѣсть вкусное жареное мясо». Въ заключеніе онъ рекомендуетъ просить прощенія у Ганнеле, если кто изъ нихъ ее чѣмъ нибудь обидѣлъ. Обида съ ихъ стороны оказывается одна: они дразнили ее «принцессой въ лохмотьяхъ», въ чемъ и каются. Входятъ знакомыя Ганнеле женщины въ траурныхъ одеждахъ и говорятъ много лестнаго о ней. Этотъ лестный тонъ поднимается еще выше, когда четыре ангела вносятъ въ комнату стеклянный (или серебряный) гробъ и бережно кладутъ въ него Ганнеле. Общее восторженное удивленіе передъ этимъ выраженіемъ высшаго благоволенія къ бѣдной дѣвочкѣ разрѣшается негодованіемъ противъ отчима, котораго всѣ называютъ мучителемъ и убійцей. Какъ разъ въ эту минуту входитъ пьяный каменщикъ Маттернъ, безсмысленно ругающій и Ганнеле (онъ еще не видитъ ея), и присутствующихъ. «Входитъ человѣкъ лѣтъ 30 въ темной поношенной, длинной одеждѣ. У него длинные черные волосы и блѣдное лицо съ чертами учителя Готтвальда». Это «Странникъ». Онъ уговариваетъ Маттерна образумиться, но достигаетъ этой цѣли только послѣ чудесныхъ явленій (раздается громъ тотчасъ послѣ словъ Маттерна: «разрази меня громъ» и т. д.). Маттернъ, наконецъ, убѣгаетъ съ крикомъ: «только мнѣ и осталось — повѣситься!» Таинственный странникъ пробуждаетъ Ганнеле, потому что она не умерла, а только спитъ. Въ восторгѣ называетъ она его «святымъ» и «возлюбленнымъ», съ восторгомъ слушаетъ его обѣщанія ожидающаго ее счастія. Но тутъ опускается занавѣсъ или темнѣетъ на сценѣ, потомъ опять свѣтлѣетъ и все оказывается въ прежнемъ видѣ: та же убогая комната, та же жалкая постель и на ней та же бѣдная Ганнеле. Около нея докторъ и сестра милосердія. Докторъ объявляетъ, что Ганнеле умерла...

Теперь читателю понятны если не резоны,—какія ужъ тутъ резоны!—то, по крайней мѣрѣ, точки приложенія критическихъ мечей гг. Добродѣевыхъ и прочихъ отечества дѣтей. Во имя «православія» и «гражданскаго долга», они считаютъ долгомъ протестовать противъ кощунства пьесы Гауптмана, противъ присутствія на театральной сценѣ ангеловъ и странника, противъ «жаренаго мяса» и другихъ матеріальныхъ благъ, обѣщанныхъ Ганнеле. Вся глубина глупости этихъ инсинуацій сама собою выступаетъ сейчасъ передъ

нами, и я не вижу никакой надобности заниматься спеціально ея разоблаченіемъ. Изъ возраженій «Новаго Времени» мнѣ кажется наиболѣе удачнымъ замѣчаніе г. Суворина. Онъ спрашиваетъ: почему появленіе на театральной сценѣ чертей возможно, а появленіе свѣтлыхъ элементовъ системы христіанскихъ вѣрованій—кощунственно? и были ли кощунствомъ старыя христіанскія мистеріи?

«Новое Время», какъ уже сказано, взяло пьесу Гауптмана подъ особое свое покровительство. Къ нему, послѣ нѣкотораго колебанія, примкнулъ «Гражданинъ», гдѣ кн. Мещерскій, со словъ людей «авторитетныхъ и вѣрующихъ», объявилъ пьесу вполнѣ нравственною и заслуживающею поощренія. «Биржевыя Вѣдомости» писали: «Пьеса Гауптмана — настоящій гимнъ вѣрѣ. Въ наше тревожное, мало вѣрующее время такія произведенія врядъ ли могутъ быть и поняты въ ихъ чистомъ значеніи проповѣди добра и любви къ ближнему».

Я, ни минуту не колеблясь, скажу, что пьеса Гауптмана есть прекрасное, высоко-художественное произведеніе, дающее и въ другихъ отношеніяхъ хорошую пищу уму и сердцу зрителя; зрителя, а не читателя. Ее надо видѣть на сценѣ, и желательно видѣть въ лучшей обстановкѣ, чѣмъ та, при которой она дается въ Панаевскомъ театрѣ. Второе дѣйствіе производитъ далеко не столь сильное впечатлѣніе, какое, очевидно, могло бы производить. Можетъ быть, это зависитъ отчасти отъ нѣкоторой односторонности таланта (во всякомъ случаѣ недюжиннаго) артистки, исполнявшей заглавную роль, но ужъ навѣрное расхолаживающее, анти-поэтическое впечатлѣніе даютъ эти тяжелыя, грубыя картонныя крылья ангеловъ и другіе аксессуары фантастической части пьесы. Слишкомъ это все скудно, тяжело, грубо и блѣдно въ сравненіи съ замысломъ автора. Признавая, однако, высокія достоинства «Ганнеле», я не могу согласиться съ выраженными до сихъ поръ объ ней мнѣніями благосконной критики. Мнѣ кажется, что она совсѣмъ невѣрно толкуетъ художественный пріемъ Гауптмана, опредѣляющій значеніе всей пьесы.

Одинъ изъ сотрудниковъ «Новаго Времени» (въ № отъ 16 апр.), г. Житель, говоритъ, что «первое представленіе этой пьесы произвело на публику совсѣмъ необыкновенное и смутное впечатлѣніе. Не легко было разобраться въ немъ и понять, что это такое. Одни находили пьесу не эстетичной, другіе—страшной, однихъ она раздражала, другихъ—успокоивала. Едва ли когда нибудь высказывалось столько различныхъ мнѣній, при несомнѣнномъ общемъ возбужденіи и успѣхѣ, шумномъ и тревожномъ, также необыкновенномъ. И довольные, и недовольные не могли устоять противъ власти обаятельнаго впечатлѣнія мистической драмы». «Символическую

и мистическую драму» видитъ въ «Ганнеле» и г. Сигма (въ томъ же №). Онъ нашелъ и объясненіе этому символизму и мистицизму. «Въ біографіи Гауптмана,—говоритъ онъ,—есть одна подробность, которая бросаетъ свѣтъ на происхожденіе драмы: онъ человѣкъ деревни, готовившій себя къ занятію сельскимъ хозяйствомъ. Онъ жилъ съ мужиками и кустарями своей страны. И онъ понялъ жизнь, какъ понимаетъ ее народная масса, ежеминутно соприкасающаяся съ вѣчнымъ и живымъ, ежеминутно видящая ангеловъ, демоновъ и призраковъ».

Не касаясь заключающейся въ этихъ словахъ характеристики жизни народной массы, я думаю, что самъ Гауптманъ былъ бы очень удивленъ такимъ отождествленіемъ его взглядовъ съ тѣмъ, что говорится и дѣлается въ «Ганнеле». Я не знаю біографіи Гауптмана, но можно съ увѣренностью сказать, что авторъ «Ткачей» ни въ какомъ случаѣ не раздѣляетъ такого, напримѣръ, взгляда, что души умершихъ кушаютъ «жареное мясо», пьютъ «золотистое вино» и проч. Но это и не символы. Беру на себя смѣлость утверждать, что въ пьесѣ Гауптмана рѣшительно нѣтъ ни символизма, ни мистицизма, что она можетъ служить образцомъ чистѣйшаго и тончайшаго реализма въ своеобразной формѣ.

Фантастическій и реальный элементы распредѣлены въ «Ганнеле» вполнѣ ясно, отнюдь не вторгаясь одинъ въ область другого и не образуя ни тѣхъ химерическихъ сочетаній правды и вымысла, возможнаго и невозможнаго, которые составляютъ необходимую принадлежность мистицизма, ни тѣхъ внутренно блѣдныхъ, хотя иногда и яркихъ по внѣшности непонятностей, которыми живетъ символизмъ. Въ пьесѣ Гауптмана все жизненно просто, жизненно цѣльно и нѣтъ ничего загадочнаго. Ошибка какъ благосклонной критики, такъ и неистовыхъ хулителей пьесы состоитъ, мнѣ кажется, въ томъ, что они не разграничиваютъ того, что зритель самъ непосредственно видитъ, отъ того, что, по мысли автора, въ дѣйствительности видимо только героинѣ. Относительно перваго дѣйствія на этотъ счетъ нѣтъ никакихъ сомнѣній: призраки отчима и матери суть безспорно призраки, тѣсно связанные исключительно съ личною жизнью несчастной Ганнеле, и авторское міровоззрѣніе тутъ ни при чемъ. Но все второе дѣйствіе, возбуждающее недоразумѣнія и пререканія, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ есть лишь художественное развитіе, такъ сказать, развертываніе данныхъ перваго дѣйствія. Въ этомъ постепенномъ и детальномъ развертываніи и сказывается блестящій талантъ автора и его художественное проникновеніе въ характеръ Ганнеле. Слѣдя за развитіемъ пьесы, приходишь въ изумленіе уже не только передъ неразуміемъ тѣхъ хулителей, которые навязываютъ самому автору наивно-грубыя подроб-

ности, вродѣ жареннаго мяса и золотистаго вина, которыми утоляютъ голодъ и жажду обитатели рая, и т. п.,—а передъ отсутствіемъ въ нихъ всякаго присутствія. Но и символическое значеніе придавать этимъ подробностямъ нельзя, по той простой причинѣ, что все это второе дѣйствіе вплоть до маленькой приставки, круто возвращающей насъ къ началу пьесы,—есть рядъ видѣній Ганнеле, вполнѣ объясняемыхъ всѣмъ ея прошлымъ и, затѣмъ, смертельно болѣзненнымъ состояніемъ.

Отъ людей, очень приближающихся къ правильному, какъ мнѣ кажется, пониманію пьесы, я слышалъ два возраженія. Во-первыхъ, невѣроятно, чтобы бредъ четырнадцатилѣтней, мало видѣвшей, мало знающей жизнь дѣвочки сложился въ такую послѣдовательно законченную и сложную картину. Во-вторыхъ, въ частности невѣроятно, чтобы такая кроткая, добрая дѣвочка бредила самоубійствомъ хотя бы и очень жестокаго мучителя—отчима.—Если бы все это было дѣйствительно невѣроятно, то есть, не вытекало бы изъ основныхъ данныхъ пьесы, то, для людей, признающихъ художественныя достоинства ея вообще, это значило бы, что авторъ сдѣлалъ тотъ или другой частный промахъ, отнюдь не ложащійся пятномъ на самый замыселъ пьесы. Но здѣсь нѣтъ ничего невѣроятнаго, неожиданнаго, произвольнаго. Фантазія автора тѣснѣйшимъ образомъ сливается съ фантазіей измученной и экзальтированной дѣвочки, не подсказывая ей отъ себя ни одной лишней черты.

Припомните въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» гр. Толстого прелестнѣйшія страницы о мстительныхъ мечтахъ разсказчика по адресу гувернера Сенъ-Жерома: онъ мечтаетъ убить ненавистнаго обидчика. Увеличьте затѣмъ напряженность этой мстительной мечты во столько разъ, во сколько обиды и несчастія Ганнеле превосходятъ обиды и несчастія маленькаго героя «Дѣтства и отрочества», прибавьте сюда еще элементъ горячечнаго бреда, и вы изумитесь художественной умѣренности Гауптмана. Замѣтьте, что попытки самоубійства каменщика Маттерна совсѣмъ нѣтъ ни на сценѣ, ни за кулисами. Въ горячечномъ бредѣ Ганнеле, каменщикъ Маттернъ убѣгаетъ съ крикомъ: «мнѣ остается только повѣситься!» Самоубійства дѣвочка *не видитъ*, а вѣдь Маттернъ во всей пьесѣ только ею и видимъ, *зритель видитъ не его, а видѣніе дѣвочки.* Она же находитъ удовлетвореніе не въ самоубійствѣ жестокаго отчима, а въ томъ, что онъ самимъ Богомъ, за нее вступившимся, доведенъ до сознанія своей вины передъ ней, маленькой, жалкой, несчастной дѣвочкой, страданіями заслужившей особенное благоволеніе небесъ. И эта черта вполнѣ подготовлена обѣщаніемъ призрака матери въ первомъ дѣйствіи: «какъ вѣтеръ мететъ съ горъ снѣжную пыль, такъ и Господь будетъ преслѣдовать твоихъ мучителей». Та-

кою же художественною объединенностью отличаются и всѣ другія, даже мельчайшія подробности пьесы, вслѣдствіе чего и общая картина бреда Ганнеле вовсе не страдаетъ чрезмѣрною сложностью, будто бы не позволяющей приписать ее исключительно личному бреду четырнадцатилѣтней дѣвочки. Нѣкоторыхъ смущаетъ въ особенности, повидимому, то обстоятельство, что Ганнеле уже умерла, лежитъ въ гробу, а ея видѣнія продолжаютъ ходить, говорить и проч.; значитъ, это не видѣнія, а или подлинныя живыя существа, какъ ихъ себѣ самъ авторъ представляетъ, или, по крайней мѣрѣ, символы чего то, опять таки самому автору близкаго, дорогого. Но Ганнеле не умерла еще, когда ее кладутъ въ гробъ. Какъ мы видѣли, призракъ матери и вмѣстѣ сестры милосердія не допустилъ ангела смерти нанести дѣвочкѣ ударъ, да и Странникъ говоритъ, что она не умерла, а спитъ, и она дѣйствительно приподнимается по его слову. Но и это все есть лишь продолженіе бреда, и дѣйствительно мертвою мы видимъ ее не въ серебряномъ гробу и не въ объятіяхъ Странника, а на той же убогой постели, на которую ее положилъ учитель Готтвальдъ.

Припомнимъ опять мстительныя мечтанія маленькаго героя «Дѣтства и отрочества». Ихъ художественная прелесть и никѣмъ не оспариваемая психологическая вѣрность помогутъ намъ надлежащимъ образомъ оцѣнить пьесу Гауптмана, которой нечего бояться даже такого сравненія. Вотъ одна изъ картинъ, рисующихся возбужденной фантазіи обиженнаго мальчика:

«Я воображалъ, что я непремѣнно умру, и живо представлялъ себѣ удивленіе St. Jérom'a, находящаго въ чуланѣ вмѣсто меня мое безжизненное тѣло. Вспоминая разсказы Натальи Савишны о томъ, что душа усопшаго до сорока дней не оставляетъ дома, я мысленно послѣ смерти ношусь невидимкой по всѣмъ комнатамъ бабушкина дома и подслушиваю искреннія слезы Любочки, сожалѣнія бабушки и разговоръ папа съ Августомъ Антоновичемъ. «Онъ славный былъ мальчикъ», скажетъ папа со слезами на глазахъ.—«Да, скажетъ St. Jérome,—но большой повѣса».—«Вы бы должны уважать мертвыхъ, скажетъ папа, вы были причиной его смерти, вы запугали его; онъ не могъ перенести униженія, которое вы готовили ему... Вонъ отсюда, злодѣй!» И St. Jérome упадетъ на колѣни, будетъ плакать и просить прощенія. Послѣ сорока дней, душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать, но я чувствую безпокойство и какъ будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобъ я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: «здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?»—«Нѣтъ,

мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу цѣловать твоихъ рукъ».—«Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно», говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше».

Эта картина любопытна для насъ потому, что мальчикъ, какъ и Ганнеле, видитъ себя «безжизненнымъ тѣломъ», однако видящимъ и слышащимъ, что дѣлается кругомъ. А передъ тѣмъ онъ видѣлъ себя гусаромъ, на войнѣ, храбростью своею способствующимъ побѣдѣ. Израненный, онъ падаетъ съ крикомъ «побѣда». Генералъ спрашиваетъ: «гдѣ онъ, нашъ спаситель?» и съ радостными слезами бросается къ нему на шею. Потомъ онъ выздоравливаетъ и съ подвязанной чернымъ платкомъ рукой выходитъ гулять на Тверской бульваръ. Онъ уже генералъ. Его встрѣчаетъ государь и освѣдомляется, кто этотъ израненный молодой генералъ. Ему объясняютъ, что это —«извѣстный герой Николай». Государь подходитъ къ нему, благодаритъ и обѣщаетъ исполнить все, чего онъ попроситъ. Израненный молодой генералъ «почтительно кланяется и, опираясь на саблю, говоритъ: я счастливъ, великій государь, что могъ пролить кровь за свое отечество, и желалъ бы умереть за него; но ежели ты такъ милостивъ, что позволяешь мнѣ просить тебя, прошу тебя объ одномъ—позволь мнѣ уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérom'a». И т. д. Но вдругъ мальчику приходитъ въ голову, что сію минуту въ чуланъ, въ которомъ онъ запертъ, можетъ явиться гувернеръ съ розгами, и онъ «снова видитъ себя не генераломъ, спасающимъ отечество, а самымъ жалкимъ, плачевнымъ созданіемъ».

Теперь представимъ себѣ, что самъ ли гр. Толстой, или кто нибудь другой за него, пожелалъ обработать часть эпизода съ Сенъ Жеромомъ для сцены тѣмъ самымъ пріемомъ, который Гауптманъ употребилъ въ «Ганнеле». Мы имѣли бы въ первомъ дѣйствіи или въ первой картинѣ чуланъ, въ чуланѣ сундукъ, на сундукѣ тоскующаго, раздраженнаго мальчика, мы узнали бы о причинахъ его раздраженія и горя. Затѣмъ, во второмъ дѣйствіи, мы увидѣли бы уже не его самого, а то, что онъ видитъ своимъ умственнымъ взоромъ и что видимо нами только по условному художественному пріему. Передъ нами воочію лежало бы «безжизненное тѣло» мальчика, плакала бы сестра, терпѣлъ бы заслуженное униженіе Сенъ-Жеромъ и т. д. Или же «извѣстный герой Николай» рубилъ бы враговъ на полѣ сраженія, бесѣдовалъ бы съ генераломъ, государемъ и проч. Но вотъ занавѣсъ опускается, и мальчикъ опять только бѣдный, обиженный мальчикъ, а въ дверяхъ стоитъ гувернеръ съ розгой... Совершенно такъ же построена «Ганнеле», съ тою разницею, что у Гауптмана мечта осложнена горячечнымъ бредомъ,

настоящими галлюцинаціями, почему яркость образовъ и картинъ въ его пьесѣ законнѣе, чѣмъ въ предполагаемой передѣлкѣ эпизода изъ «Дѣтства и отрочества». Было бы дико вмѣнять гр. Толстому—въ похвалу ли, или въ порицаніе—все, что видитъ его маленькій герой: сорокадневное порханіе души по комнатамъ, встрѣчу ея съ душою матери, разговоры ихъ о томъ, можно ли на небесахъ щекотать другъ друга и т. д. Точно также дико вмѣнять Гауптману чтобы то ни было изъ видѣній Ганнеле, которыя при томъ же отнюдь не сложнѣе, чѣмъ грезы маленькаго героя графа Толстого. Взятый нами отрывокъ «Дѣтства и отрочества» и «Ганнеле» точно на заказъ написаны на одинъ и тотъ же мотивъ. И мальчикъ гр. Толстого, и дѣвочка Гауптмана чувствуютъ себя глубоко обиженными. До сравнительной цѣнности претерпѣнныхъ ими обидъ намъ дѣла нѣтъ. Съ насъ довольно того, что они переживаютъ рядъ оскорбленій и въ грезахъ своихъ видятъ себя отомщенными и взысканными милостями справедливой судьбы. Изъ жалкаго, униженнаго положенія они подняты на пьедесталъ общаго уваженія. И поразительна у обоихъ авторовъ тонкость изображенія той волны наивной фантазіи, которая и обдаетъ собою грезы ихъ героевъ, и уноситъ ихъ все дальше и дальше отъ печальной дѣйствительности. Оставимъ гр. Толстого, задача котораго была въ приведенномъ эпизодѣ гораздо проще, и сосредоточимся на «Ганнеле».

Ганнеле четырнадцать лѣтъ. Она живетъ впроголодь, ходитъ въ лохмотьяхъ (въ Панаевскомъ театрѣ, къ сожалѣнію, далеко не въ лохмотьяхъ), ее бьютъ, на ея глазахъ били и, кажется, забили ея мать. Вмѣстѣ съ тѣмъ ходятъ слухи о какой-то тайнѣ ея происхожденія. Вѣроятно, въ связи съ этимъ находится данное ей школьниками насмѣшливое прозвище «принцессы въ лохмотьяхъ». Есть, правда, люди, относящіеся къ ней любовно: мать,—но она нѣсколько недѣль тому назадъ умерла; учитель Готтвальдъ, сестра милосердія или діаконисса Марта, съ которою онѣ гдѣ-то поютъ гимны,—но они безсильны оградить ее отъ голода, холода, насмѣшекъ, надругательствъ, побоевъ, хотя вѣроятно не разъ заступались за нее. И вотъ, въ горячечной грезѣ ея положеніе рѣзко измѣняется, изъ послѣднихъ она становится первою. Ея жестокій отчимъ посрамленъ, насмѣшники просятъ у нея прощенія, всѣ любуются ея нарядомъ и красотою, ангелы приносятъ ей великолѣпный гробъ, ей обѣщаютъ вкусную и сытную пищу, всѣ наперерывъ говорятъ ей любезности. Очень любопытенъ въ этомъ отношеніи портной. Уже въ первомъ дѣйствіи въ ея бреду мелькаетъ мѣстный деревенскій портной, очевидно,—физически убогій человѣкъ, потому что завываніе бури наводитъ ее на мысль, что порт-

ного «снесетъ съ горы, если у него не будетъ камня въ карманѣ и утюга въ рукахъ». Во второмъ дѣйствіи случайно скользнувшій въ отуманенномъ сознаніи портной, вмѣстѣ съ усиленіемъ бреда, является ей уже воочію во весь свой маленькій ростъ, съ горбомъ и слабой, ковыляющей походкой. Каковы были ихъ взаимныя съ этимъ портнымъ отношенія въ дѣйствительности—неизвѣстно. Можетъ быть, онъ вмѣстѣ съ другими дразнилъ ее «принцессой въ лохмотьяхъ», тѣмъ болѣе, что лохмотья—это вѣдь по его спеціальности, а она въ свою очередь подсмѣивалась надъ его убожествомъ, благодаря которому онъ долженъ имѣть въ карманахъ или въ рукахъ балластъ—иначе его вѣтромъ снесетъ. Можетъ быть, наоборотъ, они, оба обиженные судьбой, ладили другъ съ другомъ, и она сердилась на тѣхъ, кто смѣялся надъ нимъ, а онъ время отъ времени чинилъ ея лохмотья. Такъ или иначе, образъ убогаго портного врѣзался ей въ память и, въ минуту ея торжества въ бреду, принесъ ей великолѣпный вѣнчально-погребальный нарядъ и наговорилъ ей кучу пріятныхъ для маленькой, глупенькой дѣвочки вещей: и отецъ то у нея сіятельный графъ, и ножки то у нея меньше, чѣмъ у Греты, Мины и какъ ихъ тамъ всѣхъ зовутъ, этихъ ея сверстницъ, насмѣхавшихся надъ «принцессой въ лохмотьяхъ». Характерно и то, что нарядъ портной принесъ вѣнчально-погребальный и въ разговорѣ путаетъ свадьбу со смертью. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и Марта называетъ дѣвочку «Христовой невѣстой», и сама она то говоритъ о предстоящемъ бракѣ съ учителемъ Готтвальдомъ; то видитъ этого самаго Готтвальда въ образѣ Странника. Припомнимъ кстати, что и образы матери и Марты то соединяются въ отуманенномъ сознаніи Ганнеле, то раздвояются; замѣтимъ мимоходомъ, что всѣ видѣнія должны бы быть легче, воздушнѣе, чѣмъ это выходитъ на сценѣ Панаевскаго театра. Въ особенности это относится къ ангеламъ съ ихъ топорными крыльями. Но сліяніе вѣнчанія съ похоронами имѣетъ, можетъ быть, и другое значеніе, кромѣ указанія на смутность сознанія вообще. Ганнеле еще дѣвочка, но, можетъ быть, въ ней уже, хотя и очень слабо и безсознательно, просыпается женщина, и учитель Готтвальдъ для нея не просто добрый учитель и добрый человѣкъ, хоть она этого и сама не понимаетъ. Съ другой стороны, смерть не разъ представлялась ей избавительницей. И вотъ для нея отождествляются смерть и соединеніе съ кѣмъ то похожимъ на Готтвальда. Я думаю, что эта характерная черта очень знакома психіатрамъ въ экзальтированныхъ женскихъ натурахъ.

Не будемъ продолжать этотъ разборъ мелкихъ подробностей бреда Ганнеле. Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ странно въ какой бы то ни было мѣрѣ отождествлять міровоззрѣніе автора

съ міровоззрѣніемъ его несчастной наивной героини. Его отношеніе къ ней исчерпывается тою точкою зрѣнія, что вотъ, дескать, бѣдная дѣвочка «на минуту позабылась въ чарованьи красныхъ вымысловъ», но въ дѣйствительности умерла, какъ жила,—голодная, холодная, одинокая, въ лохмотьяхъ... Ни одна изъ ранъ, нанесенныхъ ей жизнью, не затянулась и не затянется: ни глубокія язвы оскорбленій и насилій, претерпѣнныхъ отъ пьянаго, жестокаго отчима, ни царапины насмѣшекъ Мины, Греты, и не видать ей ни жаренаго мяса, ни золотистаго вина, не слыхать ласковыхъ, добрыхъ словъ. Маленькая приставка ко второму дѣйствію, гдѣ Ганнеле оказывается въ тѣхъ же лохмотьяхъ, на той же жесткой постели, и нѣтъ около нея никого, кромѣ сестры милосердія и доктора, констатирующаго смерть,—разбиваетъ всѣ эти «красные вымыслы». Такъ въ предполагаемой передѣлкѣ «Дѣтства и отрочества» появленіе гувернера съ розгой разогнало бы фантастическіе образы «извѣстнаго героя Николая» и проч. Художественная красота пьесы Гауптмана зависитъ отъ его проникновенія до самыхъ глубинъ наивной души дѣвочки,—не забыто даже соперничество съ Гретой и Миной по части маленькихъ ножекъ, не говоря уже объ обидахъ тяжкихъ. А чувство растроганности, овладѣвающее многими зрителями, должно пріурочиваться не къ области «красныхъ вымысловъ», которые такъ вымыслами и остаются, а къ области «бѣдствій существенныхъ» (по неуклюжему Карамзинскому выраженію), которыя тоже такъ бѣдствіями и остаются. Такова, очевидно, мысль самого Гауптмана. Не радость хотѣлъ онъ намъ возвѣстить, а указать на горе дѣвочки Ганнеле, а вмѣстѣ съ нею и многихъ другихъ дѣвочекъ и мальчиковъ, и юношей, и старцевъ.

Кромѣ «Ганнеле», Петербургъ еще многимъ другимъ въ области искусства и просвѣщенія интересовался въ послѣднее время. Между прочимъ, и «1-ой всероссійской выставкой печатнаго дѣла», и «1-мъ съѣздомъ дѣятелей по печатному дѣлу». Многіе изъ посѣтителей выставки, быть можетъ, впервые знакомящіеся съ производствомъ матеріальной стороны книги, журнала, газеты,—такъ сказать, ихъ тѣла, были, вѣроятно, поражены грандіозностью нашего прогресса въ книгопечатаніи, а слѣдовательно, и въ просвѣщеніи. И въ самомъ дѣлѣ, на выставкѣ есть манекенъ перваго русскаго печатника, Ивана Ѳедорова, въ старинномъ русскомъ платьѣ, и тутъ же огромный, неуклюжій, деревянный печатный станокъ. Представьте же себѣ выставленную типографіей «Нивы» ротаціонную машину, изготовляющую 10.000 экземпляровъ газеты въ часъ, и рядомъ г. Маркса или хоть г. Добродѣева въ изящнѣйшихъ мод-

ныхъ фракахъ, ну, и наборщиковъ,—тѣ, конечно, не во фракахъ. Уже одно это сопоставленіе наводитъ на радостныя и горделивыя мысли. Иванъ Ѳедоровъ, энтузіастъ своего дѣла, не долго практиковалъ въ Россіи. Черезъ какихъ нибудь три-четыре года послѣ открытія въ Москвѣ типографіи (въ 1563 г.), онъ долженъ былъ бѣжать въ Литву, затѣмъ переѣхалъ въ Львовъ, гдѣ и умеръ въ крайней бѣдности. Причины своего бѣгства онъ объяснялъ такъ: «презѣльнаго ради озлобленія, часто случающагося намъ, не отъ самого государя, но отъ многихъ начальникъ, и священноначальникъ и учитель, которые на насъ, зависти ради, многія ереси умышляли, хотячи благое во зло превратити и Божіе дѣло въ конецъ погубити... Сія убо насъ отъ земли и отечества и отъ рода нашего изгна и въ ины страны незнаемы пресели». Какая разница съ нашимъ временемъ, когда г. Марксъ или хоть г. Добродѣевъ не только не обвиняются во «многихъ ересяхъ» и никакого «озлобленія» не терпятъ, но, надо надѣяться, и умрутъ не въ бѣдности. Правда, на могильной плитѣ, придавливающей давно истлѣвшій прахъ Ивана Ѳедорова, имѣется гордая и, вѣроятно, имъ самимъ подсказанная надпись: «друкарь книгъ предъ тымъ невиданныхъ». Ну, а мы видали всякіе виды.

Я, однако, не поведу читателя на выставку печатнаго дѣла, а о нашемъ прогрессѣ въ дѣлѣ книгопечатанія и просвѣщенія буду имѣть случай сказать нѣсколько словъ ниже, по другому поводу. Не буду распространяться и о съѣздѣ дѣятелей по дѣламъ печати. Остановлюсь лишь на той сторонѣ съѣзда, которая имѣетъ отношеніе къ намъ, писателямъ, работникамъ по духовной части книжнаго производства. Собственно литература была очень скудно представлена на съѣздѣ, и это понятно, такъ какъ въ программѣ съѣзда подавляющее мѣсто занимали вопросы матеріальнаго производства. Но одна изъ коммиссій, избранныхъ съѣздомъ, занималась выработкою редакціи измѣненій нѣкоторыхъ статей цензурнаго устава съ цѣлью возбужденія надлежащаго ходатайства. Коммиссія имѣла въ виду не нужды собственно литературы, какъ духовнаго органа, а потому и обсуждала не положеніе печати вообще, а лишь тѣ статьи цензурнаго устава, съ которыми тѣсно связано «усовершенствованіе печатнаго дѣла», а также статьи, касающіяся «цензурныхъ обрядностей». Тѣмъ не менѣе докладъ коммиссіи, выслушанный съѣздомъ въ засѣданіи 13 апрѣля, представляетъ большой интересъ, какъ для литературы, такъ и для той части публики, которая желала бы имѣть вѣрное понятіе о положеніи литературы. Вотъ измѣненія въ цензурномъ уставѣ, которыя коммиссія признала необходимыми:

1) Начало 6 ст. изложить такъ: «Отъ предварительной цензуры

изъяты повсемѣстно (а не только въ столицахъ, какъ говорится въ статьѣ) всѣ оригинальныя и переводныя сочиненія, объемомъ не менѣе десяти печатныхъ листовъ (въ статьѣ говорится: «не менѣе двадцати»), а также всѣ рисунки, политипажи и пр. въ такихъ сочиненіяхъ». Основаніемъ такого измѣненія служитъ широкое распространеніе заведеній печатнаго дѣла во всей Россіи. Объемистыя сочиненія издаются въ настоящее время не только въ Петербургѣ и Москвѣ, но и во многихъ другихъ городахъ.

2) Въ ст. 6-й, къ пункт. 5, который освобождаетъ чертежи, планы и карты отъ предварительной цензуры повсемѣстно, прибавить: «рисунки, воспроизведенные фотомеханическимъ способомъ, и ноты».

3) Ходатайствовать о включеніи въ 10 ст., гдѣ говорится, что отдѣльные цензоры назначены въ городахъ: Ригѣ, Ревелѣ, Юрьевѣ, Митавѣ, Кіевѣ, Вильнѣ, Одессѣ и Казани,—всѣхъ губернскихъ городовъ.

4) Къ статьѣ 41-й, которая возлагаетъ разсматриваніе всякаго рода афишъ и мелкихъ объявленій на мѣстныя полицейскія начальства, сдѣлать добавленіе и изложить ее такъ: «Однажды разрѣшенное объявленіе можетъ быть печатаемо безъ новаго разрѣшенія и отдѣльно, и въ различныхъ изданіяхъ».

5) Ходатайствовать объ отмѣнѣ циркуляровъ главнаго управленія по дѣламъ печати отъ 30 октября 1866 г. за № 1994 (о запрещеніи студентамъ печатать объявленія съ предложеніемъ услугъ по обученію дѣтей) и отъ 23 октября 1889 г. за № 4758 (объ этикетахъ съ польскими надписями),

6) Вмѣсто 48 и 49 ст. (въ послѣдней говорится, что желающій предъявлять на разсмотрѣніе корректуру, вмѣсто рукописи, обязанъ непремѣнно довести о томъ заблаговременно до свѣдѣнія цензуры и получаетъ на то позволительный билетъ) создать одну въ такомъ видѣ: «Рукописи, представляемыя въ цензуру, должны быть чисто и четко переписаны. Вмѣсто рукописи можетъ быть представляема отдѣльными листами корректура».

7) Въ статьѣ 52-й установить для всѣхъ сочиненій одинаково одинъ срокъ—трехлѣтній. Въ настоящее же время позволеніе цензора на напечатаніе рукописи дѣйствительно въ теченіе трехъ лѣтъ только для сочиненій, заключающихъ болѣе трехъ томовъ.

8) Въ статьѣ 54-й сдѣлать добавленіе: «Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ цензурныхъ учрежденій, сличеніе напечатаннаго сочиненія съ цензурованнымъ экземпляромъ и выдачу дозволительныхъ билетовъ на выпускъ книги въ продажу возложить на обязанность лицъ, имѣющихъ надзоръ за типографіями. на тѣхъ же основаніяхъ, какъ дѣйствуютъ цензоры». Въ настоящее время выдача

дозволительнаго билета и сличеніе напечатаннаго сочиненія съ рукописью предоставлено цензурнымъ учрежденіямъ, которыя имѣются только въ немногихъ городахъ. Въ результатѣ такого положенія потеря времени и денегъ на долгія и часто дальнія хлопоты.

9) Въ ст. 55, дозволяющей отпускать изъ типографіи періодическія сочиненія, одобренныя цензурою въ рукописи или корректурѣ, до полученія позволительнаго билета съ строжайшей отвѣтственностью начальства или содержателя типографіи, исключить слова: «составляющія не болѣе одного печатнаго листа и требующія поспѣшной выдачи» и «начальства или».

10) Начало 58 ст. изложить: «Сочиненія, неодобренныя цензурою къ печати, возвращаются представившему ихъ съ надписью, что они не дозволены на основаніи такой-то статьи устава о цензурѣ и печати». Въ настоящее время неодобренныя статьи не возвращаются.

11) Ст. 62 изложить такъ: «Стереотипныя изданія и вновь печатаемыя безъ измѣненій никакой цензурѣ не подлежатъ» (какъ это постановлено въ 270 ст. относительно духовной цензуры). Въ настоящее время печатныя книги, вновь издаваемыя, представляются въ цензуру, какъ и рукописи, для одобренія, хотя бы никакихъ измѣненій при перепечатываніи и не дѣлалось.

12) Ходатайствовать о томъ, чтобы разрѣшенія на выпускъ отдѣльными оттисками статей, печатаемыхъ въ повременныхъ подцензурныхъ изданіяхъ, давались одновременно съ разрѣшеніемъ на печатаніе ихъ въ этихъ изданіяхъ, такъ чтобы печатать отдѣльные выпуски можно было по частямъ, вслѣдъ за выходомъ каждаго отдѣльнаго выпуска повременнаго изданія.

13) Часть текста 644 ст. изложить такъ: «Вообще не дозволяется цензору задерживать рукописи или книги долѣе одного мѣсяца, сочиненія же, представляемыя въ корректурѣ, долѣе трехъ дней каждый листъ, а статьи, назначаемыя» и т. д. Въ настоящее время цензорамъ дозволено задерживать рукописи и книги до трехъ мѣсяцевъ. Срокъ весьма продолжительный и часто совершенно уничтожающій интересъ книги, если она написана на злобу дня.

14) Статью 113, обязывающую цензоровъ руководствоваться особыми наставленіями при цензурованіи статей, касающихся частей: военной, судебной, финансовой и предметовъ вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, отмѣнить, такъ какъ интересы каждаго изъ поименованныхъ въ статьѣ вѣдомствъ достаточно ограждены общими законами и въ частности уставомъ о цензурѣ и печати.

15) Ст. 117 изложить такъ: «Каждый желающій издавать новое повременное изданіе въ видѣ газеты, журнала или сборника

подаетъ прошеніе главному управленію по дѣламъ печати, причемъ отъ издателя зависитъ, издавать ли газету и пр. безъ цензуры или подъ условіемъ цензуры». Послѣднее условіе, касающееся цензуры, коммиссія вставила, руководствуясь ст. 6, дозволяющей печатать сочиненія болѣе 20 печатныхъ листовъ безъ предварительной цензуры. Годовой экземпляръ почти любой газеты или журнала болѣе 20 листовъ.

16) Въ ст. 125 исключить послѣднія строки отъ словъ: «если же». Послѣ словъ «если же» говорится о предъявленіи типографіи до набора повременнаго изданія квитанціи въ пріемѣ залога, обезпечивающаго изданіе.

17) Статьи 126—133 отмѣнить. Въ нихъ говорится о внесеніи въ главное управленіе по дѣламъ печати залога издателями повременныхъ изданій, выходящихъ безъ предварительной цензуры, о размѣрѣ залога, о печатаніи именъ издателей и отвѣтственнаго редактора на каждомъ нумерѣ газеты, объ обязанности редакцій повременныхъ изданій сообщать по требованію министра внутреннихъ дѣлъ званія, имена и фамиліи авторовъ статей и т. п.

18) Къ ст. 158 сдѣлать добавленіе: «Редакторамъ и издателямъ повременныхъ изданій предоставляется открывать свою типографію на общемъ основаніи, но безъ особаго на то разрѣшенія».

19) Къ ст. 168, требующей на каждомъ экземплярѣ, выпускаемомъ въ свѣтъ изъ типографій, литографій и металлографій, обозначенія имени и мѣстожительства производителя,—добавить: «Если же къ этому встрѣчаются затрудненія по условіямъ техники дѣла, то обозначена должна быть только фирма заведенія».

20) Къ ст. 175 сдѣлать добавленіе: «Редакторамъ и издателямъ повременныхъ изданій предоставляется открывать кабинеты для чтенія на общихъ основаніяхъ, но безъ особаго на то разрѣшенія».

21) Къ ст. 193, въ которой говорится о препровожденіи посылокъ «съ иностранными книгами изъ таможенъ въ цензурныя учрежденія», послѣ словъ «съ иностранными книгами» добавить «и клише».

22) Къ ст. 210, которая говоритъ о разсылкѣ спб. комитетомъ каталоговъ разрѣшенныхъ книгъ и списковъ запрещенныхъ, добавить: «каталоги и списки посылаются цензурнымъ комитетамъ и отдѣльнымъ цензорамъ послѣ каждаго засѣданія спб. комитета цензуры иностранной».

23) Къ статьѣ 144, предоставляющей министру внутреннихъ дѣлъ право дѣлать повременнымъ изданіямъ, выходящимъ безъ предварительной цензуры, предостереженія, послѣ словъ «третье предостереженіе» сдѣлать добавленіе: «полученное въ теченіе одного

года». Въ настоящее время на полученныя повременными изданіями предостереженія нѣтъ давности, между тѣмъ эти предостереженія находятся въ тѣсной связи съ матеріальными условіями повременныхъ изданій.

24) Ходатайствовать о томъ, чтобы всѣ цензурныя учрежденія дѣйствовали исключительно на основаніи устава о цензурѣ и печати.

Кромѣ перечисленныхъ измѣненій, коммиссія нашла необходимымъ сдѣлать измѣненія пункт. 3 ст. 8 и ст. 18, находящіяся въ зависимости отъ соотвѣтствующихъ измѣненій пункт. 5 ст. 6 и статьи о представленіи въ цензуру корректуры наравнѣ съ рукописью.

Съѣздъ, разсмотрѣвъ редакціи измѣненій статей цензурнаго устава, одобрилъ всѣ измѣненія, кромѣ редакцій ст. 113 и ст. 117 (см. 14 и 15). Ст. 113 постановлено оставить безъ измѣненія, такъ какъ она касается правилъ, даваемыхъ цензорамъ въ руководство, но признано желательнымъ сдѣлать къ ней добавленіе, чтобы всѣ упомянутые въ статьѣ «особо изданныя постановленія» были публикованы во всеобщее свѣдѣніе. Что же касается ст. 117, то, оставивъ ее безъ измѣненія, признано желательнымъ добавить къ ней лишь одно: прошеніе должно быть подаваемо не министру внутреннихъ дѣлъ, а главному управленію по дѣламъ печати.

Чтобы оцѣнить всю скромность пожеланій съѣзда, достаточно остановиться на пунктѣ 24-мъ: съѣздъ рѣшаетъ *ходатайствовать* о томъ, чтобы цензурныя учрежденія дѣйствовали исключительно на основаніи цензурнаго устава..

При закрытіи съѣзда предсѣдатель, генералъ-лейтенантъ А. А. Савурскій, сообщилъ, что все, сдѣланное съѣздомъ, будетъ приведено въ порядокъ распорядительнымъ комитетомъ. Онъ же предложилъ признать необходимымъ собрать, по прошествіи нѣкотораго времени, второй съѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу, который долженъ принести бо̀льшую пользу, чѣмъ первый...

Есть и еще одно обстоятельство, позволяющее надѣяться, что скромныя ходатайства съѣзда будутъ приняты во вниманіе. Читатель замѣтилъ, можетъ быть, что за послѣднее время позатихли дикіе голоса, варьировавшіе старую пѣсню Фамусова: «ученье— вотъ чума». И даже кн. Мещерскій заговорилъ о пользѣ образованія и необходимости распространенія просвѣщенія. Эти господа думали заявить свою благонамѣренность. Они ошиблись на этомъ пунктѣ, какъ показали отмѣтки Государя на докладахъ астраханскаго и херсонскаго губернаторовъ о недостаткѣ школъ во ввѣрен-

ныхъ имъ губерніяхъ: «Слѣдуетъ придти на помощь населенію въ этомъ насущномъ вопросѣ»; «Обращаю самое серьезное вниманіе министерства народнаго просвѣщенія». Этихъ нѣсколькихъ словъ было, конечно, слишкомъ достаточно, чтобы наши Фамусовы или перемѣнили фронтъ или, по крайней мѣрѣ, замолчали. Нельзя, конечно, поручиться, чтобы они не стали какъ-нибудь втихомолку или окольными путями преслѣдовать свои темныя, истинно темныя цѣли. Нельзя также предвидѣть тѣ пути, которыми пойдетъ у насъ народное и наше собственное просвѣщеніе. Но одно достовѣрно: о съѣдающемъ Россію невѣжествѣ, о необходимости облегчить доступъ знанія и, слѣдовательно, книги въ народную школу и т. п.—можно говорить, не стѣсняясь, что какой-нибудь кн. Мещерскій или другой сынъ отечества начнетъ обличать тебя въ злонамѣренности.

И пора. Давно пора. Жутко становится, когда заглянешь въ глубину народной темноты, не въ какое-нибудь экстренное, тревожное время, въ родѣ холерныхъ безпорядковъ, а въ самое обыкновенное «сегодня, какъ вчера». Такой, напримѣръ, случай.

Осенью минувшаго года, нѣкая Екатерина Клипикова, крестьянка села Александрова Гая, Новоузенскаго уѣзда, возвратившись изъ поѣздки въ Кронштадтъ, стала распространять среди своихъ односельчанъ нелѣпые толки о протоіереѣ Іоаннѣ Сергіевѣ: настоящій о. Іоаннъ, разсказывала эта женщина, скрылся давно и теперешній о. Іоаннъ – уже не о. Іоаннъ, а самъ Христосъ, сошедшій на землю во плоти для наставленія развращеннаго человѣчества. При этомъ Клипикова подтверждала свои слова увѣреніемъ, что «лицо о. Іоанна измѣняется и бываетъ видимо въ трехъ видахъ»; что о. Іоаннъ былъ уже вызываемъ на судъ св. синода и, на запрещеніе именовать себя Спасителемъ, отвѣтилъ: «Они (т. е. приходящіе къ нему), какъ малыя дѣти, именуютъ меня тѣмъ, что я есть; но если они умолкнутъ, то камни возопіютъ» и т. п. О бреднях невѣжественной крестьянки было доведено до свѣдѣнія мѣстнаго преосвященнаго, и еп. Гурій счелъ себя вынужденнымъ отписать обо всемъ этомъ отцу Іоанну. Тотъ отвѣтилъ епископу письмомъ, которое, во избѣжаніе дальнѣшаго соблазна, и просилъ предать гласности. Письмо это и было напечатано въ «Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ». Заявляя, что онъ «ни малѣйшаго повода не подалъ крестьянкѣ Клипиковой къ тому, чтобы она признавала его за Христа», кронштадтскій протоіерей выражаетъ удивленіе «нелѣпости, безсмыслію и грубости означенной женщины. И вотъ я нынѣ же,—пишетъ онъ,—обличаю ее и слушающихъ ее настоящимъ письмомъ въ безумствѣ, нелѣпости и пагубѣ ученія Клипиковой, какъ невѣжественной бродяги, безграмотной и безсмыслен-

ной». Вмѣстѣ съ тѣмъ, губернская администрація и епархіальное начальство приняли слѣдующую мѣру: обществу слободы Александрова Гая предложено избрать изъ среды слобожанъ 10 наиболѣе достойныхъ довѣрія лицъ; ихъ на казенный счетъ командируютъ къ о. Іоанну Сергіеву, чтобы они непосредственно увѣрились въ ложности распространяемыхъ Клипиковою свѣдѣній.

Послѣдняя, совершенно экстренная мѣра, свидѣтельствующая о добромъ желаніи мѣстныхъ властей въ корень подсѣчь нелѣпые слухи, не можетъ, разумѣется, часто практиковаться. Если бы изъ каждаго населеннаго мѣста Россіи по поводу безсмысленныхъ слуховъ наряжать подобныя экспедиціи, то проще бы было на эти деньги покрыть всю Россію сѣтью школъ и путемъ образованія подсѣчь корень нелѣпыхъ слуховъ. Скажутъ, можетъ быть, что данный случай совершенно исключительный, но за это отнюдь нельзя поручиться. Народное образованіе безспорно дѣлаетъ успѣхи, далеко, однако, не въ такой мѣрѣ, въ какой это не только желательно, а и прямо необходимо. Теперь отрицать это ни у кого не повернется языкъ. Казалось бы, изъ обязательныхъ предметовъ народнаго образованія, та совокупность догматовъ, фактовъ и правилъ въ духѣ православія, которая называется Закономъ Божіимъ, наиболѣе обезпечена самою жизнью крестьянина, всею его обстановкою: родины, крестины, свадьбы, похороны, исповѣдь, проповѣди священниковъ, молебны, обыкновенное праздничное посѣщеніе церкви, посты, предписываемые церковью и т. д., все это, казалось бы, должно освоить народъ съ «Закономъ Божіимъ». А между тѣмъ, у всѣхъ еще въ памяти факты поразительнаго невѣжества, опубликованные архіепископомъ херсонскимъ и одесскимъ Никаноромъ незадолго до его смерти. Совершенно такіе же факты находимъ въ статьѣ г. Вахтерова «Воскресныя школы и повторительные классы» (въ сборникѣ «Частный починъ въ дѣлѣ народнаго образованія». М. 1895). Г. Вахтеровъ задавалъ разные вопросы «*взрослымъ*, но только что поступившимъ ученицамъ московскихъ воскресныхъ школъ изъ крестьянокъ, прибывшихъ большею частью изъ деревни въ Москву на заработки», и записывалъ отвѣты. Онъ разсказываетъ: «Заповѣдей не зналъ никто и не слыхали, что онѣ существуютъ. Символа вѣры не зналъ никто, кромѣ одной ученицы, выучившей его уже въ Москвѣ, по пріѣздѣ сюда изъ деревни, но читавшей съ большими ошибками и безъ всякаго пониманія. Изъ молитвъ знали только одну: «Богородицѣ дѣво», но и то обыкновенно на 3-мъ или 4-мъ словѣ останавливались и ничего изъ прочитаннаго не понимали. На вопросъ: кого называютъ Богородицей, отвѣчали либо: «не знаю», «не слыхали», «почему мы можемъ знать», либо: «Богородица—это Достойно», «Богородица—это пресвятая Троица». И

наоборотъ, на вопросъ о пресвятой Троицѣ самыя свѣдующія изъ учениць обыкновенно отвѣчали, что это Божья Матерь, о Богѣ ничего не знали, либо называли Богомъ Николая Чудотворца, Григорія Богослова, Василія Великаго и Животворящій крестъ рядомъ съ Іисусомъ Христомъ; говорили, что боговъ много: по мнѣнію однихъ—больше сотни, по мнѣнію другихъ даже тысячи, а кто выше изъ нихъ—того онѣ не знаютъ». И т. д. На отдѣльные вопросы, касающіеся отношеній къ ближнему, даны были слѣдующіе отвѣты: «когда кто обидитъ тебя, надо его побранить (по мнѣнію однихъ), пожаловаться начальству, въ судъ (по мнѣнію другихъ). Еврею нельзя помогать, его нельзя любить». Повторяю, это сообщеніе совершенно совпадаетъ съ показаніями такого компетентнаго лица, какъ архіепископъ Никаноръ.

Ужасно здѣсь не столько незнаніе, какъ безсмысленное, вполнѣ безсознательное отношеніе къ тому, что пользуется благоговѣніемъ. Что же сказать о предметахъ, не столь благопріятно обставленныхъ? Когда подумаешь о томъ, что мы, люди нѣкотораго достатка и просвѣщенія, разсуждаемъ о Гегелѣ и о другихъ «матеріяхъ важныхъ», поднимаемся въ послѣднюю высь философскихъ обобщеній и отвлеченій, смакуемъ тончайшія художественныя красоты... А впрочемъ, только что вышедшая книга г. Рубакина можетъ насъ на этотъ счетъ успокоить, если это дѣйствительно требуетъ успокоенія и если объ этомъ кто-нибудь въ самомъ дѣлѣ безпокоится: не очень то и мы рвемся въ высь и глубь просвѣщенія, и не очень то способствуютъ такому паренію великолѣпныя ротаціонныя машины.

Упомянутая книга г. Рубакина, «Этюды о русской читающей публикѣ», состоитъ изъ отдѣльныхъ очерковъ, печатавшихся предварительно въ періодическихъ изданіяхъ, частію и въ «Русскомъ Богатствѣ». Быть можетъ поэтому, нѣкоторые изъ фактовъ, приводимыхъ ниже, уже обращали на себя вниманіе читателя, но это не бѣда: они во всякомъ случаѣ стоятъ того, чтобы остановиться на нихъ еще и еще разъ.

Оставимъ въ покоѣ народную литературу и народное просвѣщеніе. Но вотъ издаются у насъ, напримѣръ, такія книги: «Настольная книга холостымъ, съ общепонятными рисунками», «Бездна удовольствій для молодыхъ людей, любящихъ повеселиться», «Весельчакъ съ новымъ шикомъ». Цѣна каждой изъ этихъ книгъ 3 р., значитъ, кто же ихъ покупаетъ? Иной читатель можетъ подумать, что такихъ книгъ нѣтъ, что г. Рубакинъ такъ, примѣрно и нѣсколько каррикатурно сочинилъ эти заглавія. Можетъ быть и такъ, но что подобныя и даже еще превосходнѣйшія книги составляютъ отчасти нашу духовную пищу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

Когда то, давно уже, я съ совершенно спеціальною цѣлью заинтересовался этою отраслью литературы и записалъ себѣ для памяти нѣсколько заглавій и объявленій. Беру изъ этого запаса кое-что на удачу.

Есть книга: «Телескопъ о жизни и смерти», содержащая въ себѣ разныя заманчивыя вещи и, между прочимъ, могущая служить (выписываю съ величайшею точностью): «для вызыванія духовъ, привлеченія къ себѣ любимыхъ особъ, возстановленіе молодости и красоты, усмиреніе дикихъ животныхъ и заговоры на всѣ случаи жизни, посредствомъ котораго вполнѣ доступно разыскивать всѣ пропажи и кражи и узнавать похитителей ихъ. Составлено по подлиннымъ запискамъ и рѣдкой рукописи Брюса археологомъ П. С. Ордынскимъ. Москва, 1885. Ц. 3 р., въ переплетѣ 4 р.» — Есть книга подъ названіемъ: «Убійцы, гризетки, каторжники и бунтовщики или типы трущобъ темнаго и бѣлаго царства. Соч. Топоркова. Въ 2-хъ томахъ, съ 7-ю роскошными политипажами. Москва, 1881. Ц. 3 р., съ перес., въ переплетѣ 4 р.» — Или: «Ночные гуляки и веселыя женщины. Сцены, разсказы, тайны и комедіи изъ міра: актрисъ, пѣвицъ, гувернантокъ, модистокъ, швей, прикащицъ, фигурантокъ, содержанокъ, кокотокъ и проч. Соч. Страуса. Ц. 2 р.».

Этихъ примѣровъ, я полагаю, достаточно. Если подобныя книги печатаютъ даже превосходнѣйшія ротаціонныя машины и если онѣ расходятся по сравнительно дорогой цѣнѣ, то это еще не поводы радоваться успѣхамъ нашего просвѣщенія. Конечно, не все же такую пошлую и возмутительную дребедень мы читаемъ. Есть у насъ книги и лучше, и гораздо лучше, есть и дѣйствительно превосходныя. Но вопросъ въ томъ, много ли мы ихъ покупаемъ и читаемъ. Книга г. Рубакина содержитъ въ себѣ много любопытныхъ въ этомъ отношеніи данныхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ я приведу, не гоняясь за какимъ-нибудь систематическимъ порядкомъ.

По разсчету г. Рубакина, «на каждаго человѣка изъ достаточныхъ классовъ выходитъ ежегодно отъ $3^1/_2$ до 5 экземпляровъ, или меньше чѣмъ 2 названія на 1000 человѣкъ». За 6 лѣтъ (1887 — 1892 гг.) не было случая, чтобы втеченіи года вышло больше 46 книгъ по философіи, больше 467 по историческимъ наукамъ, больше 250 «по наукамъ политико-экономическимъ». Число книгъ по отдѣлу географіи и путешествій падаетъ изъ года въ годъ (144 въ 1888 г. и 95 въ 1893). По политическимъ и общественнымъ вопросамъ въ 1890 г. вышло 15 (*пятнадцать*) названій. Даже беллетристики (кромѣ драматическихъ произведеній) выходитъ ежегодно всего около 500 — 600 названій. Но и эти цифры подлежатъ досадной оговоркѣ. Въ 1893 г. изъ 7782 названій было около 22% книгъ не новыхъ, а вышедшихъ вторымъ и третьимъ

изданіемъ, да кромѣ того изъ періодическихъ изданій было перепечатано 480 названій. По одной беллетристикѣ въ 1892 г. повторныхъ изданій было около 15%. Беллетристика читается, конечно, по преимуществу, и въ этомъ нѣтъ ничего ни удивительнаго, ни прискорбнаго. Но удивительна и прискорбна та пропорція, въ которой распредѣляется интересъ къ беллетристикѣ съ одной стороны и къ научнымъ сочиненіямъ съ другой. Изъ отчетовъ парижскихъ муниципальныхъ библіотекъ видно, что въ 1888—1891 гг. «беллетристическихъ произведеній изъ этихъ библіотекъ было взято почти такой же %, какъ и научныхъ; это отношеніе держится изъ года въ годъ, поражая русскаго изслѣдователя». Еще бы не поражаться, когда, напримѣръ, въ Воронежской библіотекѣ въ 1891 г. было взято беллетристики 35,6%, а научныхъ книгъ 2,3% (остальное падаетъ на журналы и газеты). Въ томъ же году въ Екатеринославской библіотекѣ соотвѣтственныя цифры были 59,1 и 1,6. Въ 1892 г. въ Астраханской библіотекѣ—28,2 и 8,1; въ Херсонской—47,0 и 6,1, и т. д. Въ 1892 г. при 972 человѣкахъ, пользовавшихся Воронежской библіотекой, книги Васильчикова, Гиббона, Гейсера, Геттнера, Гегеля, Забѣлина, Іеринга, Клауса, Кювье, Минье, Рише, Секки, Тэта, Файфа, Фаррара—были взяты по *одному* разу. Это я беру только одинъ изъ примѣровъ, но и онъ можетъ быть еще болѣе выразителенъ, чѣмъ кажется съ перваго взгляда: можетъ быть вѣдь всего какихъ-нибудь 2—3 человѣка заглянули по одному разу во всѣ означенныя книги. Но и въ области беллетристики встрѣчаемъ поразительныя вещи. Въ 1883 г. въ Нижегородской библіотекѣ Эмаръ читался почти въ полтора раза больше Щедрина, Террайль въ 1,34 раза больше Печерскаго, Монтепенъ больше Островскаго, Гоголя, Некрасова, Григоровича, Пушкина, Гончарова, Добролюбова, Рѣшетникова, почти въ 3 раза больше Лермонтова. Въ 1884 г. тамъ же Габоріо читали больше, чѣмъ Аксакова, Поль де-Кока больше, чѣмъ А. Толстого, М. Вовчка, Грибоѣдова, Кольцова, и только одинъ Достоевскій превозмогъ Террайля. Тамъ же въ 1889 г. Гоголя брали 167 разъ, Островскаго 141, а Эмара 295, Монтепена 199 и т. д.

Но оставимъ въ сторонѣ вопросъ о томъ, что у насъ печатается и читается, и хорошо ли, что печатается и читается именно это. Возьмемъ количественную сторону нашего просвѣщенія въ связи съ книгопечатаніемъ. На милліонъ жителей приходится періодическихъ изданій въ Швейцаріи 230, Бельгіи 153, Германіи 129, Франціи 114, Норвегіи 89, Великобританіи 88, Испаніи 68, Италіи 51, Австріи 43, Греціи 36, Сербіи 26, Россіи 9.—По свѣдѣніямъ главнаго управленія по дѣламъ печати, во всей европейской Россіи въ 1883 г. книжныхъ лавокъ, магазиновъ и складовъ было 1377; въ 1884 г.—

1453; въ 1885 г.—1543. Затѣмъ число ихъ начинаетъ падать: въ 1886 г.—1332; въ 1887—1271; дальнѣйшихъ свѣдѣній нѣтъ. Если изъ послѣдней цифры мы вычтемъ число книжныхъ лавокъ и магазиновъ, находящихся въ Петербургской и Московской губерніяхъ, то на всю остальную европейскую Россію ихъ придется 811. Въ томъ числѣ, напримѣръ, на всю Олонецкую губ., «если вѣрить оффиціальнымъ свѣдѣніямъ» (а почему бы имъ не вѣрить?), приходится всего *одна* книжная лавка, на Уфимскую и Оренбургскую по *двѣ*, на всю Симбирскую—4, Калужскую — 6, Псковскую—7 и т. д.—Въ издательской дѣятельности въ 1890 г. принимали участіе лишь 141 городъ (всѣхъ городовъ больше 600), въ 1892 г. — 163, въ 1893 г. — 152 («втеченіе этого года въ одиннадцати городахъ типографіи закрылись или бездѣйствовали»). При этомъ есть и губернскіе города, въ которыхъ не выходитъ втеченіе года ни одного сочиненія, и даже такой губернскій и университетскій городъ, какъ Харьковъ, выпустилъ, напримѣръ, въ 1890 г. меньше ста сочиненій.

Довольно. Я вовсе не думаю исчерпывать весь подходящій матеріалъ, заключающійся въ книжкѣ г. Рубакина. Замѣчу только, что г. Рубакинъ отнюдь не склоненъ смотрѣть на дѣйствительность непремѣнно сквозь темныя очки. Напротивъ. Онъ готовъ подчеркнуть всякій просвѣтъ, хотя бы это былъ всего только «одинъ учитель въ З., имѣющій сочиненія Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Лермонтова, Тургенева, Кольцова, Гаршина, Надсона, Златовратскаго, Успенскаго, Гете, Шекспира, нѣкоторыя сочиненія Шерра и еще кое-какія серьезныя книги» («Этюды», 33). Но какъ ни старается г. Рубакинъ отмѣтить даже самомалѣйшіе лучи свѣта въ мірѣ «русской читающей публики», въ общемъ картина выходитъ не веселая. Приведу эпизодъ, въ которомъ лучъ свѣта хорошо контрастируетъ съ темнымъ фономъ, а именно прекрасныя слова одного изъ корреспондентовъ г. Рубакина, «пожилого рабочаго»: «Какъ жалки эти образованные, которые срываютъ свой вѣнецъ совершенства (sic), промѣнявъ его не на ревностное служеніе, а на низкое и безчестное собирательство,—собирательство грошей для утоленія ненавистной своей алчности. Человѣкъ, достигшій такого совершенства (т. е. образованія), долженъ считать себя какъ бы не принадлежащимъ себѣ, а всей Россіи, потому что когда она дошла до теперешняго процвѣтанія, многихъ жертвъ ей это стоило, много пролилось трудового пота и крови, и не одинъ человѣкъ, а быть можетъ сотни тысячъ людей пали мучениками науки. И тѣ, которые по готовому пути выведенные въ свѣтъ, не трудятся сами для общаго блага отечества, а мирно предаются роскоши и нѣгѣ,—не достойны назваться сынами отечества. Ахъ, сколько такихъ Россія содержитъ

въ сердцѣ своемъ и кормитъ грудью, какъ любимыхъ сыновей, не замѣчая, что дѣти эти разрушаютъ ея здоровье. Бѣдная Россія...» и т. д. («Этюды», 213).

Я назвалъ эти слова прекрасными, и, конечно, они прекрасны. И изъ вполнѣ просвѣщенныхъ людей, не говоря уже о «мирно предающихся роскоши и нѣгѣ», а быть можетъ и изъ тѣхъ, которые живутъ, «погружаясь въ искусства, науки», — немногіе достигаютъ такой ясности сознанія своего долга и такой точной его мотивировки.

VI *)

„Молодая поэзія“ гг. Перцовыхъ и „Письма о поэзіи“ г. Перцова.

Гг. П. и В. Перцовы составили и издали «Сборникъ избранныхъ стихотвореній молодыхъ русскихъ поэтовъ» подъ заглавіемъ «Молодая поэзія». Въ предисловіи они называютъ этотъ сборникъ «первымъ въ своемъ родѣ». Онъ долженъ представить критикѣ и публикѣ матеріалъ «для общаго сужденія о характерѣ, достоинствахъ и недостаткахъ нашей молодой поэзіи, столь мало популярной и въ сущности столь мало извѣстной». Составители хотятъ способствовать «серьезному и безпристрастному» отношенію къ «новой полосѣ русской поэзіи, въ которой, какъ бы то ни было, заключается ея будущее». «Съ этою цѣлью, помимо общей характеристики молодой поэзіи, составители пытались—насколько это дозволяли рамки сборника—охарактеризовать и отдѣльныхъ, болѣе или менѣе выдающихся авторовъ... Въ видахъ болѣе объективнаго освѣщенія, въ сборникъ не включены авторы, лишь условно причисляемые къ разряду «молодыхъ», вслѣдствіе ихъ направленія, поздняго начала литературной дѣятельности и т. п.».

Читатель очень ошибется, если предположитъ, что составители сборника сами дали «общую характеристику молодой поэзіи» и «пытались охарактеризовать отдѣльныхъ авторовъ». Это они просто неловко выразились. Понимать же ихъ надо такъ, что они выбрали произведенія наиболѣе, по ихъ мнѣнію, характерныя, какъ для всей «новой полосы», такъ и для каждаго отдѣльнаго молодого поэта. Это легко понять всякому, кто, заглянувъ въ книжку, увидитъ, что никакихъ характеристикъ, ни общей, ни частныхъ, тамъ нѣтъ. Гораздо труднѣе понять, что разумѣютъ они подъ «молодой поэзіей» и «новой полосой русской поэзіи». Они называютъ свой сборникъ «первымъ въ своемъ родѣ». Чѣмъ же онъ отличается, напримѣръ, отъ сборника «Послѣ Пушкина», изданнаго въ 1890 г. редакціей «Русской Мысли», или отъ сборника г. Бончъ-Бруевича

*) Іюнь 1895.

«Избранныя произведенія русской поэзіи», изданнаго въ 1894 г.? Гг. Медвѣдскій, Мережковскій, Минскій, Надсонъ, К. Р., Фофановъ, Фругъ — представлены и въ сборникѣ «Русской Мысли», и въ сборникѣ гг. Перцовыхъ. Сборникъ г. Бончъ-Бруевича вышелъ значительно позже сборника «Русской Мысли», и потому въ немъ естественно еще больше именъ, фигурирующихъ и въ новѣйшемъ сборникѣ гг. Перцовыхъ, а именно: гг. Бальмонтъ, Будищевъ, Величко, Коринфскій, Ладыженскій, Лебедевъ, Ленцевичъ, Льдовъ, Медвѣдевъ, Мережковскій, Минскій, Надсонъ, К. Р., Ѳедоровъ, Фофановъ, Фругъ. Изъ программы «собранія произведеній русскихъ поэтовъ», издаваемаго подъ редакціей г. Венгерова, видно, что IV томъ его будетъ занятъ «новѣйшими поэтами», въ числѣ которыхъ встрѣчаемъ, между прочимъ, и гг. Бальмонта, Величко, К. Р., Льдова, Мережковскаго, Минскаго, Фофанова, Фруга, затѣмъ еще цѣлый рядъ именъ, въ сборникѣ гг. Перцовыхъ отсутствующихъ, «и мн. др.», и подъ этими «мн. др.» слѣдуетъ можетъ быть разумѣть всѣхъ облюбованныхъ гг. Перцовыми. Правда, IV томъ сборника г. Венгерова еще не вышелъ, и я упоминаю объ немъ только затѣмъ, чтобы отмѣтить опредѣленность программы сборника г. Венгерова, Правда, заглавіе IV тома—«Новѣйшіе поэты»—само по себѣ еще ничего не говоритъ, но содержаніе этого тома опредѣляется хронологически, по крайней мѣрѣ, въ одну сторону, заглавіемъ предъидущаго, третьяго тома: «Сороковые и шестидесятые годы». Сборникъ г. Бончъ-Бруевича начинается Пушкинымъ, содержаніе сборника «Русской Мысли» характеризуется самымъ заглавіемъ: «Послѣ Пушкина». Сборникъ гг. Перцовыхъ называется просто «Молодая поэзія», безъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Но какая то руководящая мысль была у составителей, и притомъ чрезвычайно, повидимому, строгая. «Въ видахъ болѣе объективнаго освѣщенія» гг. Перцовы устранили поэтовъ, «лишь условно причисляемыхъ къ разряду «молодыхъ», вслѣдствіе ихъ направленія, поздняго начала литературной дѣятельности и т. п.». Оговорка эта можетъ, правда, возбудить нѣкоторыя недоумѣнія. Въ самомъ дѣлѣ: кѣмъ причисляются къ разряду молодыхъ устраненные гг. Перцовыми поэты? въ чемъ именно состоитъ то направленіе, «вслѣдствіе» котораго они причисляются къ молодымъ? какія еще «т. п.» условности препятствуютъ нѣкоторымъ поэтамъ занять мѣсто въ сборникѣ «Молодая поэзія»? Но, во всякомъ случаѣ, гг. Перцовы хотятъ руководствоваться «объективнымъ» и «безусловнымъ» мѣриломъ молодости. Они его не указываютъ, но, принимая въ соображеніе оговорку насчетъ направленія и проч., естественно думать, что такимъ объективнымъ и безусловнымъ мѣриломъ является для нихъ возрастъ: коли молодъ и стихи пишетъ, такъ стало быть молодой поэтъ, и — пожа-

луйте въ сборникъ, а ни направленіемъ, ни позднимъ началомъ литературной дѣятельности гг. Перцовыхъ не проведешь! Вотъ эта то чрезвычайная строгость и обдуманность выбора и побудила гг. Перцовыхъ исключить всѣхъ поэтовъ старшаго возраста и ввести нѣкоторыхъ, пропущенныхъ всѣми другими сборниками, руководствующимися разными «условностями» или даже вовсе не гоняющимися за молодостью. Эти, другими пренебреженные, а гг. Перцовыми облюбованные поэты, конечно, особенно характерны для «Молодой поэзіи», и я приведу, для образчика, стихотвореніе одного изъ нихъ, г. Лялечкина.

Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...
Жду я въ полѣ, у рѣки...
Нѣтъ и нѣтъ моей малютки!

Жду... О, Боже, какъ хорошъ
Этотъ кроткій вечеръ лѣта!
Золотится въ полѣ рожь,
Соловей рыдаетъ гдѣ-то.

Жду и хочется рыдать
Самому мнѣ нѣжной пѣсней—
Той, чей взоръ цвѣтка прелестнѣй
Не видать, не видать!

Время мчится... Жду опять...
Солнце медлитъ въ ожиданьи —
Солнце хочетъ на прощанье
Русый локонъ цѣловать.

Ужъ давно погасъ востокъ...
Я томлюсь, я изнываю
И, сорвавши василекъ,
Лепестки перебираю.

«Любитъ?»... «Нѣтъ?»—и лепестки
Шепчутъ: «да!»—а нѣтъ малютки!..
Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...

Читатель не нуждается, конечно, въ помощи критики для оцѣнки оригинальности и художественныхъ красотъ этого стихотворенія. Да вѣдь и не въ красотѣ или оригинальности тутъ дѣло, а въ молодости. Коли молодъ и пишетъ стихи, значитъ — молодой поэтъ... Казалось бы, это такъ «безусловно» истинно, что уже никакихъ недоразумѣній не можетъ вызвать. На дѣлѣ, однако, выходитъ не совсѣмъ такъ. Возрастъ не только г. Лялечкина, а и большинства поэтовъ, представленныхъ въ сборникѣ гг. Перцовыхъ, мнѣ совершенно неизвѣстенъ. Но нѣкоторые изъ нихъ настолько уже успѣли обратить на себя вниманіе, что біографическія о нихъ

свѣдѣнія можно найти въ различныхъ справочныхъ изданіяхъ. И вотъ я вижу, напримѣръ, что допущенный въ составъ «Молодой поэзіи» г. Минскій родился въ 1855 г. Сорокъ лѣтъ ему, значитъ. Такъ ли ужъ это «безусловно» молодой возрастъ? Сорокалѣтній министръ, даже сорокалѣтній генералъ, конечно, молодой министръ, молодой генералъ, но это потому, что министры и генералы fiunt, поднимаются по нѣкоторой іерархической лѣстницѣ, для большинства очень длинной, а вѣдь poetae nascuntur. Сорокалѣтній поэтъ можетъ быть знаменитъ, великъ, геніаленъ; онъ можетъ быть молодъ душой и оставаться такимъ не то что до сорока, а и до восьмидесяти лѣтъ, но назвать его молодымъ поэтомъ «въ объективномъ освѣщеніи» возраста, — не знаю... Если же г. Минскій удовлетворяетъ гг. Перцовыхъ своимъ возрастомъ, то почему нѣтъ въ сборникѣ, напримѣръ, г. Мартова (родился тоже въ 1855 г.), который представленъ и въ сборникѣ «Русской Мысли», и у г. Бончъ-Бруевича, и въ программѣ сборника г. Венгерова?

Составъ «Молодой поэзіи» вызываетъ много такихъ частныхъ недоумѣній и не даетъ никакихъ матеріаловъ для ихъ разрѣшенія. Къ счастію, одинъ изъ гг. Перцовыхъ, а именно г. П. Перцовъ, издалъ еще «Письма о поэзіи», которыя естественно должны разсѣять недоразумѣнія, вызванныя сборникомъ.

Занятная книжечка эти «Письма о поэзіи»: и маленькая (съ небольшимъ три печатныхъ листа малаго формата), и коготокъ у нея тупой. А есть всетаки коготокъ, при томъ, не смотря на тупость, очень задорный, такъ что при чтеніи мнѣ часто припоминались самоувѣренныя слова однофамильца г. Перцова въ «Тяжелыхъ дняхъ» Островскаго: «я выучу! Василискъ Перцовъ выучитъ!» Спѣшу, впрочемъ, прибавить, что никакого сходства между Василискомъ Перцовымъ и г. П. Перцовымъ — нѣтъ, кромѣ одинаковой фамиліи, да вотъ этой твердой рѣшимости «выучить».

Открывается книжечка г. Перцова разсужденіемъ объ «идеализмѣ и реализмѣ» въ примѣненіи къ изящнымъ искусствамъ. Авторъ понимаетъ это дѣло такъ: «Долженъ-ли писатель видѣть цѣль своей работы въ простомъ изображеніи дѣйствительной жизни такъ, какъ она *есть* (въ реализмѣ), или же она, эта жизнь, должна служить для него только матеріаломъ, только пособіемъ (и то не необходимымъ) для достиженія другихъ, болѣе высокихъ цѣлей, — для изображенія того, что *должно быть* (т. е. идеала)?» Это г. Перцовъ называетъ «двумя точными логическими формулами, взаимно исключающими другъ друга».

Строгій человѣкъ г. П. Перцовъ. Въ этомъ отношеніи онъ пожалуй опять напоминаетъ своего однофамильца Василиска, который тоже былъ «человѣкъ души непреклонной». Непреклонная душа

г. Перцова требуетъ безусловныхъ рѣшеній: или — или. Или молодой поэтъ, или не молодой, а побочныя соображенія, въ силу которыхъ тотъ или другой «лишь условно» причисляется къ молодымъ, претятъ непреклонной душѣ. Такъ и тутъ: или жизнь, какъ она есть, и это будетъ реализмъ, или жизнь, какою она должна быть, и это идеализмъ. И ни гроша уступки ни съ той, ни съ другой стороны, ибо вѣдь это взаимно другъ друга исключающія формулы...

Если, однако, непреклонность души г. Перцова не устранила нашихъ недоумѣній насчетъ молодости сорокалѣтнихъ, а можетъ быть и еще болѣе зрѣлыхъ поэтовъ, то и въ настоящемъ случаѣ мы всетаки немножко смущены. Будто ужъ въ самомъ дѣлѣ такъ рѣшительно исключаютъ другъ друга «точныя логическія формулы» г. Перцова? Будто ужъ такъ рѣшительно нельзя, хотя бы даже однимъ и тѣмъ же перомъ, въ одномъ и томъ же произведеніи, изображать и жизнь, какъ она есть, и жизнь, какою она должна быть? Я полагаю, что исторія литературы представляетъ многочисленные примѣры такого сочетанія якобы непримиримыхъ формулъ. Да ихъ, должно быть, и самъ г. Перцовъ знаетъ, хотя, повидимому, онъ обладаетъ очень скромными свѣдѣніями по предмету, о которомъ излагаетъ свои мысли. Скромными свѣдѣніями обладаетъ и можетъ быть по этому самому, а можетъ быть ужъ такъ, по природнымъ своимъ свойствамъ, не совсѣмъ ясно понимаетъ то, чему другихъ учитъ. Вотъ, напримѣръ, его разсужденіе о Достоевскомъ. По мнѣнію г. Перцова, мы совершенно напрасно «восторгаемся *реалистомъ* Достоевскимъ». Ибо: «Кто и гдѣ видѣлъ такого «идіота», какъ князь Мышкинъ, такого геніальнаго убійцу, какъ Раскольниковъ, такое воплощеніе сладострастія, какъ старикъ Карамазовъ? Психіатры говорятъ, что Достоевскій съумѣлъ изобразить медицински-вѣрно многіе припадки сумасшествія. Можетъ быть, но тѣмъ не менѣе *такихъ* сумасшедшихъ, сумасшедшихъ-геніевъ, какъ Раскольниковъ и князь Мышкинъ, психіатры не знаютъ, — ихъ знала только одна болѣзненная фантазія писателя, въ умѣ котораго непостижимымъ образомъ соединились эти двѣ крайности. И когда и гдѣ возможенъ такой ходъ реальной жизни, такое сплетеніе странностей и совпаденій, какъ въ романахъ Достоевскаго, у котораго обыкновенно въ однѣ сутки совершается масса событій? Или мыслимы-ли въ дѣйствительности такіе разговоры, какіе ведутъ между собою братья Иванъ и Алексѣй Карамазовы, отдѣльныя реплики которыхъ занимаютъ десятки страницъ?.. А рѣчи на судѣ въ «Карамазовыхъ»? А «типъ» Ставрогина въ «Бѣсахъ»? — Все это возможно лишь на бумагѣ, въ книгахъ, и все это нужно художнику совсѣмъ не для изображенія «правды жизни», а для другихъ, выс-

шихъ цѣлей. А мы читаемъ все это неправдоподобіе и восторгаемся блестящимъ развитіемъ «реализма» въ русской литературѣ».

Очевидно, «мы» чрезвычайно глупы, но — «Василискъ Перцовъ выучитъ!»

Однако, серьезно-то говоря, надо не скорбѣть о нашей глупости и не расчитывать на выучку г. П. Перцова, а удивляться тому количеству сумбура, которое ему удалось сосредоточить въ столь немногихъ строкахъ. Не знаешь, съ котораго конца и приступиться къ нему. Начать хоть съ того, что г. Перцовъ противопоставилъ одну другой двѣ «формулы»: жизнь, какъ она есть, и жизнь, какою она должна быть, и ничего третьяго искусству не предоставилъ: или — или. Что же такое, напримѣръ, старикъ Карамазовъ? Г. Перцовъ утверждаетъ, что эта ходячая гнусность въ жизни, какъ она есть, не встрѣчается, и значитъ, Достоевскій видѣлъ въ Ѳедорѣ Карамазовѣ свой идеалъ, частицу жизни, какою она должна быть. Такъ-ли, г. Перцовъ? Или ужъ уступочку какую-нибудь сдѣлаете? Но я позволю себѣ, кромѣ того, замѣтить, что г. Перцовъ грубо ошибается, полагая, что такого воплощенія сладострастія, какъ Ѳедоръ Карамазовъ, никто никогда въ дѣйствительной жизни не видалъ. Еслибы г. П. Перцовъ какъ-нибудь выбралъ время, свободное отъ собиранія чужихъ стиховъ и писанія собственныхъ писемъ, да заглянулъ въ какой-нибудь курсъ психіатріи или судебной медицины, то убѣдился бы, что Ѳедоръ Карамазовъ взятъ несомнѣнно изъ жизни, какъ она *есть*, но какою она *не должна быть*. А что касается «сумасшедшихъ-геніевъ», которыхъ будто бы не знаютъ психіатры, то, со времени знаменитаго изреченія—«геній есть неврозъ» и до книги Ломброзо «Геній и помѣшательство», это сближеніе успѣло даже оскомину набить. Казалось бы, одного заглавія книги Ломброзо, имѣющейся и въ русскомъ переводѣ, достаточно, чтобы воздержаться отъ утвержденія, будто «сумасшедшихъ-геніевъ знала только одна болѣзненная фантазія писателя, въ умѣ котораго непостижимымъ образомъ соединились эти двѣ крайности». Но—«Василискъ Перцовъ выучитъ!»

Минуя многія другія подробности въ приведенномъ сумбурѣ о Достоевскомъ, остановлюсь еще только на одной. Надо замѣтить, что г. Перцовъ, какъ мы увидимъ ниже, есть большой поклонникъ и защитникъ «красоты». И вотъ этотъ-то защитникъ красоты полагаетъ, что нѣкоторыя отрицательныя черты произведеній Достоевскаго,—ихъ растянутость, непропорціональность, всѣ эти «реплики въ десятки страницъ» и т. п., хотя и не соотвѣтствуютъ жизни, какъ она есть, но «нужны художнику для высшихъ цѣлей». Это соображеніе поразительно уже потому, что «красота» несомнѣнно оскорбляется этими недостатками, какъ оскорбляется она, напри-

мѣръ, непомѣрно длиннымъ носомъ на красивомъ въ другихъ отношеніяхъ лицѣ, или непропорціональностью частей статуи, или отсутствіемъ перспективы въ картинѣ и т. п. Громадная творческая сила Достоевскаго и обиліе независимаго отъ эстетики интереса въ его произведеніяхъ заслоняютъ отъ насъ эти его недостатки, но они остаются все-таки недостатками, что и самъ г. Перцовъ призналъ бы, еслибы обладалъ хоть искрой художественнаго чутья. Затѣмъ, трудно даже представить себѣ, какимъ образомъ «реплики въ десятки страницъ» и тому подобныя «неправдоподобія» могутъ быть связаны съ «высшими цѣлями», что бы мы подъ этими словами ни разумѣли. Если бы еще г. Перцовъ сказалъ, что неправдоподобія Достоевскаго *не мѣшаютъ* высшимъ цѣлямъ искусства, то это было бы понятно, и мы бы только попросили разъяснить намъ, въ чемъ, по мнѣнію г. Перцова, состоятъ эти высшія цѣли. Но «человѣкъ души непреклонной», утверждаетъ, что неправдоподобія *нужны*...

Въ концѣ своей блистательной диссертаціи объ идеализмѣ и реализмѣ г. П. Перцовъ задаетъ себѣ вопросъ: «развѣ признаніе идеала и служеніе ему заключаетъ въ себѣ что-нибудь противорѣчащее идеямъ реализма, если только понять ихъ въ полномъ, широкомъ смыслѣ?» Ну вотъ, и славу Богу! Значитъ, вся штука въ томъ, чтобы *понять*, и еслибы г. Перцовъ *понялъ* не въ концѣ диссертаціи, а въ началѣ ея, то вся диссертація приняла бы совершенно иной видъ; ибо «двѣ точныя логическія формулы, взаимно исключающія другъ друга», нисколько бы другъ друга не исключали. Но лучше поздно, чѣмъ никогда, и если г. Перцовъ хоть въ концѣ-то диссертаціи понялъ, то —

Чего жъ Перцовъ хочетъ, проситъ?
Чего Перцовъ плачетъ?

«Хочетъ онъ, хочетъ, проситъ онъ, проситъ», чтобы мы отождествили «неправдоподобіе» съ «идеаломъ», то, чего не только нѣтъ, а и не можетъ быть, съ тѣмъ, что должно быть. Онъ полагаетъ, что такой сквернавецъ, какъ Ѳедоръ Карамазовъ, невозможенъ въ жизни, «какъ она есть», и долженъ быть зачисленъ въ жизнь, «какою она должна быть», что реплики въ десятки страницъ, не практикующіяся въ дѣйствительности, знаменуютъ собою нѣчто идеальное, долженствующее быть... Съ другой стороны, однако, я увѣренъ, что г. Перцовъ есть человѣкъ высокой нравственности, и что его идеалъ далекъ отъ такого разслабленнаго и распущеннаго безобразія, какъ Ѳедоръ Карамазовъ. Вѣдь это такая мерзость и такъ реально (реально, г. Перцовъ!) она изображена, что, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, вызывающихъ улыбку, забавныхъ выходокъ въ

монастырѣ, объ ней и вспомнить противно. Не вѣрится мнѣ также, чтобы г. Перцовъ считалъ идеальнымъ отношеніемъ къ собесѣдникамъ — мучить ихъ репликами въ десятки страницъ. А изъ всего этого слѣдуетъ, что, при всей непреклонности своей души, г. Перцовъ не знаетъ, «чего Перцовъ хочетъ, проситъ, чего Перцовъ плачетъ».

Придя къ такому прискорбному заключенію, я уже думалъ совсѣмъ воздержаться отъ дальнѣйшаго чтенія «Писемъ о поэзіи»: хорошенькаго понемножку; но вспомнилъ, что «Письма» должны помочь разъясненію вопроса «о новой полосѣ русской поэзіи», представленной въ сборникѣ «Молодая поэзія». Вспомнилъ и, какъ Шиллеровскій отважный «Водолазъ» въ морскую пучину за золотымъ кубкомъ, такъ и я вновь погрузился въ пучину глубокомыслія г. Перцова. Водолазъ видѣлъ на днѣ морскомъ разные ужасы и ему было что поразсказать занимательнаго. Я же въ своемъ путешествіи не встрѣчалъ ничего, кромѣ глупостей, и потому подѣлюсь съ читателемъ лишь тѣми, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ нашему вопросу.

Прежде всего мы открываемъ еще одинъ «объективный» признакъ принадлежности къ «новой полосѣ русской поэзіи»: въ составъ ея входитъ, повидимому, не вообще молодежь, а именно учащаяся молодежь — гимназисты и студенты. Въ этой средѣ, по наблюденіямъ г. Перцова, идетъ нынѣ «повальное (!) стихописаніе и непрерывная (!!) игра на віолончеляхъ». Почему изъ всѣхъ музыкальныхъ инструментовъ только одна віолончель удостоилась такого вниманія учащейся молодежи, — г. Перцовъ не объясняетъ; изъ дальнѣйшаго изложенія видно, впрочемъ, что онъ это обмолвился или для красоты слога такъ слишкомъ уже опредѣленно выразился. Услышавъ гдѣ то, что такая «повальность и непрерывность» объясняется тѣмъ, что «молодежи дѣлать нечего», г. Перцовъ горячо возстаетъ противъ этого объясненія. Онъ доказываетъ, ссылаясь даже на свой собственный опытъ, что на долю нынѣшнихъ гимназистовъ и студентовъ приходится не меньше, а больше обязательныхъ учебныхъ занятій, чѣмъ въ прежнія времена. И, однако, — говоритъ онъ, — они «тратятъ значительную часть своего сравнительно краткаго досуга на писаніе стиховъ (такъ же, какъ на занятія музыкой, живописью и другими изящными искусствами, которыя нынѣ всѣ воскресли отъ временной летаргіи), а не на естественныя науки, какъ въ 60 гг., не на соціологію и политическую экономію, какъ въ 70-ые, и даже не на прямое продолженіе своихъ обязательныхъ занятій, какъ всего естественнѣе было бы ожидать». Г. Перцовъ очень доволенъ такимъ оборотомъ дѣлъ. Онъ его называетъ «воскресеніемъ художника», торжествомъ красоты, кон-

цомъ «великаго поста искусства» и радуется, что «цѣлая огромная область человѣческаго духа, область свѣтлая и радостная, область вѣрнаго и истиннаго счастья раскрывается передъ современною молодежью».

Не будемъ спорить съ г. Перцовымъ. Допустимъ, что онъ безусловно правъ и на почвѣ «реализма», и на почвѣ «идеализма». Допустимъ, что нынѣшніе гимназисты и студенты въ самомъ дѣлѣ повально стихи пишутъ и непрерывно на віолончеляхъ играютъ, и что это очень хорошо. Съ плодами этой «новой полосы русской поэзіи» этого «воскресенія художника» во всякомъ случаѣ очень интересно познакомиться, и такова, надо думать, задача сборника «Молодая поэзія». Но... но неужели же такой способный человѣкъ, какъ г. Минскій, доживъ до сорока лѣтъ, все еще въ гимназическомъ или студенческомъ мундирѣ ходитъ? Этого вѣдь, кажется, и по закону нельзя. Обращаюсь опять къ справкамъ и нахожу, что г. Минскій кончилъ гимназію въ 1875 г., а университетъ въ 1879. Г. Мережковскій пересталъ быть «учащимся» нѣсколько позже, но всетаки уже десять лѣтъ, какъ разстался съ университетомъ. Надсонъ... ну, этотъ всѣ земные курсы кончилъ. Не поручусь за всѣхъ поэтовъ, произведенія которыхъ вошли въ составъ сборника гг. Перцовыхъ,—можетъ быть между ними есть и гимназисты. Но кое съ кѣмъ изъ нихъ мнѣ случалось встрѣчаться, и если судить даже по одной только наружности, они значительно раньше нынѣшняго, провозглашаемаго г. П. Перцовымъ «воскресенія художника» разстались съ учебными заведеніями. Не удивительно поэтому, что нѣкоторые изъ допущенныхъ въ сборникъ поэтовъ огорчаютъ г. П. Перцова. Огорчаетъ его, напримѣръ, «новый поэтъ» Надсонъ, огорчаетъ «современный поэтъ» г. Минскій, и, очевидно, именно потому, что они не совсѣмъ новы и современны: они, будучи людьми талантливыми, имѣли несчастіе попасть въ ту «полосу», когда «началось сочиненіе и кропаніе «гражданскихъ» стиховъ, стиховъ съ «тенденціей», съ «душкомъ», съ направленіемъ». Теперь все это, по свидѣтельству г. Перцова, кончилось или, по крайней мѣрѣ, начинаетъ кончаться: «за послѣднее время мутная волна тенденціи начинаетъ спадать», — удостовѣряетъ г. Перцовъ, и молодое поколѣніе уже безъ всякой тенденціи повально стихи пишетъ и непрерывно на віолончеляхъ играетъ. Мимоходомъ сказать, віолончель прекрасный инструментъ, однако, играть на немъ непрерывно — должно быть всетаки очень скучно. Но это ужъ не наше дѣло: кто любитъ тыкву, а кто—офицера; г. же Перцовъ, по непреклонности души своей, меньше, какъ на повальность и непрерывность, не согласенъ. Но зачѣмъ же онъ въ такомъ случаѣ потревожилъ для своего сборника прахъ Надсона, не имѣющаго ничего общаго съ

«новой полосой русской поэзіи»? Какіе такіе «объективные» признаки «безусловной» принадлежности г. Минскаго къ этой полосѣ?— Не знаю, читатель. Утѣшаю себя тѣмъ, что и г. Перцовъ не знаетъ.

Въ сборникѣ гг. П. и В. Перцовыхъ, какъ мы видѣли, нѣтъ никакой системы, никакой руководящей мысли. Это не значитъ, однако, что тамъ нѣтъ хорошихъ стихотвореній, которыхъ, пожалуй, и не было бы, еслибы гг. Перцовы руководились какой-нибудь своей системой, поскольку о достоинствахъ ея можно судить на основаніи «Писемъ о поэзіи». Нѣкоторыхъ изъ поэтовъ, допущенныхъ въ сборникѣ, гг. Перцовы совершенно напрасно берутся рекомендовать или пропагандировать, потому что, дескать, «наша молодая поэзія мало популярна и въ сущности мало извѣстна». Стихотворенія Надсона разошлись и продолжаютъ расходиться въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Правда, это исключеніе. Но и гг. Минскій, Мережковскій, Фофановъ, Фругъ, которымъ не посчастливилось затронуть своей поэзіей столько сердецъ, всетаки достаточно извѣстны. Они и въ другихъ сборникахъ фигурируютъ, и собранія своихъ стихотвореній издавали, и въ «Исторіи новѣйшей русской литературы» г. Скабичевскаго значатся. Было бы, поэтому, если не лучше, то оригинальнѣе и цѣлесообразнѣе, еслибы гг. Перцовы ограничились именно неизвѣстными или мало извѣстными поэтами. Не все же одни гг. Лялечкины живутъ въ этой пустынѣ неизвѣстности. Мнѣ хочется привести изъ сборника гг. Перцовыхъ одно хорошенькое стихотвореніе г. В. Гессена, поэта, мнѣ, по крайней мѣрѣ, совершенно неизвѣстнаго. Называется оно «Жизнь»:

Юноша, челнъ снаряжая, пускался въ открытое море...
Тщетно твердятъ старики, возвращаясь изъ странствій далекихъ,
Какъ безпощадно на морѣ свирѣпствуютъ злобныя бури;
Какъ угрожаютъ пловцамъ и подводныя камни, и мели,—
Вѣрой, надеждой и силой блестятъ его смѣлыя очи.
Старцемъ къ желанному берегу онъ, наконецъ, подплываетъ.
Видитъ—и здѣсь собираются юноши смѣлой толпою
Ввѣрить отважно могучему морю безсильные челны.
Тщетно про тайныя мели и скалы, и бури твердитъ онъ—
Вѣрой, надеждой и силой восторженно блещутъ ихъ очи...

Въ книжечкѣ г. П. Перцова содержится, какъ мы видѣли, много глупостей. Но мы многихъ еще не видѣли. То есть я то видѣлъ, но не счелъ нужнымъ все видѣнное рекомендовать читателю, — это было бы долго и, въ концѣ концовъ, скучно. Однако, и въ этой полной чашѣ вздора есть одна мысль, заслуживающая вниманія, независимо, конечно, отъ того употребленія, которое изъ нея

дѣлаетъ г. Перцовъ. Это уже приведенная выше, всколзь брошенная мысль о зависимости характера поэзіи отъ «полосы», въ которую тотъ или другой поэтъ «попадетъ». Не то, чтобы эта мысль блистала оригинальностью, свѣжестью или поражала глубиною, но это всетаки не глупая мысль и на ней стоитъ остановиться. Равнымъ образомъ приведенное стихотвореніе г. Гессена не есть какое-нибудь изъ ряда вонъ выходящее произведеніе, но оно всетаки не дурно. Попробуемъ сопоставить эти двѣ маленькія свѣтленькія точки «Молодой поэзіи» и «Писемъ о поэзіи».

Стихотвореніе г. Гессена излагаетъ въ поэтической формѣ очень простую и общеизвѣстную истину: въ юношахъ «кровь кипитъ и силъ избытокъ», и старцы тщетно стараются залить или хотя бы только ослабить это пламя холодными душами житейскаго опыта; придетъ, однако, пора, когда пламенные юноши сами станутъ убѣленными сѣдинами и отягченными опытомъ старцами и въ свою очередь будутъ тщетно предостерегать вновь народившихся юношей. Все это, конечно, очень просто и общеизвѣстно, но неужели же человѣчество вѣчно обречено вертѣться, какъ бѣлка въ колесѣ, въ этомъ почти чисто физіологическомъ коловращеніи поколѣній? Вѣдь знаетъ же каждый юноша, что онъ состарится, и помнитъ каждый старецъ, что онъ былъ когда то молодъ, и однако сколько житейскихъ драмъ разыгрывается на почвѣ взаимнаго непониманія старцевъ и юношей! Положимъ, что съ юноши нельзя и требовать, чтобы онъ проникся еще неизвѣданнымъ имъ душевнымъ состояніемъ человѣка, прошедшаго черезъ горнило житейскаго опыта. Онъ можетъ лишь теоретически соображать, что и ему предстоитъ состариться и перемѣниться, можетъ довѣрять тому или другому старцу ради его какихъ-нибудь личныхъ качествъ, но съ ясностью представить себѣ, сколько и какихъ перьевъ выщиплетъ изъ его крыльевъ дальнѣйшее теченіе жизни – ему, конечно, трудно. Но старецъ находится въ иномъ положеніи. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait,—гласитъ избитая французская поговорка. Въ ней есть правда, какъ во всякой избитой поговоркѣ, но Лаврецкій въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» внесъ въ нее хорошую поправку, говоря о старикѣ Леммѣ: «быть молодымъ и не умѣть, это сносно, но состариться и не быть въ силахъ,—это тяжело». Тѣмъ хороша эта поправка, что указываетъ на необязательность для старца разочарованія въ юношескихъ мечтахъ,—не онѣ сами по себѣ терпятъ ущербъ, а его, старца, силы ослабѣли; пусть же молодыя силы исполняютъ то, что уже не доступно ему, пусть «играетъ младая жизнь». Вѣдь въ составъ его житейскаго опыта входитъ и то обстоятельство, что и онъ былъ молодъ и что тщетно пугали его старцы, «какъ безпощадно на морѣ свирѣпствуютъ злобныя бури, какъ

угрожаютъ пловцамъ и подводныя камни, и мели». Онъ можетъ, конечно,—мало того,—долженъ предъявить юношамъ результаты своего опыта, но затѣмъ сказать словами Экклезіаста: «да вкушаетъ сердце твое радости во дни юности твоей и ходи по путямъ сердца твоего и по видѣнію очей твоихъ»...

По путямъ сердца твоего и по видѣнію очей твоихъ... Это не значитъ—по указаніямъ модной доктрины, «новаго слова», «послѣдняго слова», «новыхъ вѣяній». Всѣ эти громкія вещи иногда совпадаютъ съ «путями юношескаго сердца» и «видѣніемъ юношескихъ очей», но иногда находятся съ ними въ противорѣчіи. Это зависитъ отъ того, въ какую «полосу попадетъ» юноша. Намъ теперь не время заниматься вопросомъ о томъ, отчего жизнь вообще «полосата» бываетъ и въ какомъ порядкѣ историческія полосы другъ за другомъ слѣдуютъ. Посидимъ ужъ съ г. П. Перцовымъ, хоть оно и не очень весело. Этотъ глубокомысленный человѣкъ знаетъ о существованіи историческихъ полосъ, захватывающихъ и окрашивающихъ собою людей. Онъ полагаетъ, что, напримѣръ, Надсонъ попалъ въ «полосу преобладанія гражданина надъ человѣкомъ», чѣмъ и объясняются для г. Перцова непріятныя для него стороны этого «молодого», однако, поэта, а попади онъ въ другую полосу, скажемъ въ нынѣшнюю, онъ далъ бы свободный полетъ своему таланту и не боялся бы «играть стихомъ отъ скуки» или вообще былъ бы похожъ, напримѣръ, на г. Лялечкина. Не будемъ спорить о томъ, вѣрно ли характеризуетъ г. П. Перцовъ ту полосу, въ которую попалъ Надсонъ, и о томъ, какія вѣроятности и возможности предстояли бы Надсону, еслибы онъ не умеръ такъ рано. Замѣтимъ только, что люди крупные, оригинальные, сильные не всегда и не всякой полосой могутъ быть окрашены, а слабосильное, блѣдное большинство дѣйствительно безъ остатка растворяется въ данной полосѣ. Но вотъ что любопытно и характерно. Не нравящееся г. П. Перцову теченіе есть «полоса»,—нѣчто временное, преходящее, а гг. Лялечкины и всѣ эти повально пишущіе стихи и непрерывно играющіе на віолончеляхъ, это уже не полоса, а конечный пунктъ, достигнутый безсмертный идеалъ, новое и послѣднее слово. Далѣе, въ чемъ же состоитъ это окончательное и притомъ юношамъ приличествующее слово? Весьма характерно, что г. П. Перцовъ находитъ его не у какого-нибудь новаго, молодого поэта, новѣе и моложе Надсона, напримѣръ, хоть бы у г. Лялечкина, а у старца Фета. «Когда, — говоритъ г. Перцовъ, — поэту (Фету) указывали на людскія страданія, требуя его помощи, онъ съ удивительною смѣлостью и ясностью духа умѣлъ не смущаться плоскими упреками (?), понимая, въ чемъ можетъ заключаться истинная, возможная отъ него помощь:

Когда безчинствами обиженный опять,
Въ груди заслышишь зовъ къ рыданью—
Я ради мукъ твоихъ не стану измѣнять
Свободы вѣчному призванью *).
Страдать! Страдаютъ всѣ, страдаетъ темный звѣрь
Безъ упованья, безъ сознанья;
Но передъ нимъ туда на вѣкъ закрыта дверь,
Гдѣ *радость теплится страданья.*
Ожесточенному и черствому душой
Пусть эта радость не знакома,
Зачѣмъ же лиру бьешь ребяческой рукой,
Что не труба она погрома?
Къ чему противиться природѣ и судьбѣ?—
На землю сносятъ эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы къ борьбѣ,
А исцѣленіе отъ муки.

При всемъ вниканіи въ это стихотвореніе и въ частности въ подчеркнутыя г. П. Перцовымъ строки, мнѣ не вполнѣ ясенъ его смыслъ, равно какъ и смыслъ вступленія самого г. Перцова. Поэту «указываютъ на людскія страданія, требуя его помощи» а онъ «не смущается плоскими упреками». Не смущаться плоскими упреками очень похвально, но я не вижу, гдѣ же они въ данномъ случаѣ, эти плоскіе упреки? Повидимому, просьба о помощи въ страданіяхъ—такой квалификаціи вовсе не заслуживаетъ, да вѣдь поэтъ, наконецъ, и обѣщаетъ помощь въ самомъ драгоцѣнномъ видѣ «исцѣленія отъ муки». Правда, хоть «муки» и хорошо риѳмуютъ со «звуками», но рѣдко какую настоящую муку можно дѣйствительно исцѣлить звуками, однако, самъ-то поэтъ всетаки вѣритъ въ исцѣленіе и слѣдовательно въ то, что онъ оказываетъ помощь. Чего же онъ, или за него г. Перцовъ, брыкается? Далѣе, къ кому собственно относятся слова: «къ чему противиться природѣ и судьбѣ?» Къ страдающему-ли, которому рекомендуется вкусить «радость страданія» или страдать безъ радости, или же къ поэту, которому природа и судьба повелѣваютъ издавать звуки и только? Обращаться съ этими вопросами къ г. П. Перцову было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Этотъ глубокомысленный человѣкъ, не понимающій, къ сожалѣнію, «чего Перцовъ хочетъ, проситъ», сочувственно цитируя приведенное стихотвореніе Фета, въ другомъ мѣстѣ столь же сочувственно цитируетъ извѣстное стихотвореніе Лермонтова:

Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ фиміамъ въ часы молитвы.

---

*) Курсивъ во всемъ стихотвореніи принадлежитъ г. Перцову

Твой стихъ, какъ Божій громъ носился надъ толпой *),
И отзвукъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.

Фетъ не хочетъ быть «трубой погрома» (хотя никто его объ этомъ не проситъ), а Лермонтовъ уподобляетъ стихъ поэта «Божьему грому» и «вѣчевому колоколу». А г. П. Перцовъ поочередно рекомендуетъ и то, и другое: вотъ, дескать истинное назначеніе поэзіи. Тѣмъ не менѣе, по общему своему тону г. Перцовъ явно склоняется въ сторону Фета, и его идеалъ «молодой» поэзіи состоитъ въ томъ, что на просьбу страдающаго о помощи поэтъ отвѣчаетъ: я тебѣ сейчасъ дамъ исцѣленіе отъ муки, слушай—

Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...
Жду я въ полѣ, у рѣки...
Нѣтъ и нѣтъ моей малютки!

А если еще при этомъ віолончели будутъ непрерывно играть, то г. П. Перцовъ будетъ уже вполнѣ удовлетворенъ.

Юношѣ, конечно, свойственно поджидать «въ полѣ, у рѣки», а также и въ прочихъ мѣстахъ, «малютку», и дай имъ Богъ счастья и радости, и здоровыхъ, красивыхъ дѣтей, которыя, придя въ возрастъ, тоже будутъ въ свою очередь поджидать въ полѣ, у рѣки, а также и въ прочихъ мѣстахъ. И пусть они идутъ по путямъ сердца своего и по видѣнію очей своихъ, не смущаясь разсказами старцевъ «про тайныя мели и скалы, и бури». Да вѣдь они навѣрное и не послушаются старческихъ предостереженій, какъ и тѣ юноши въ стихотвореніи г. Гессена. Но нуждаются ли въ какихъ нибудь старческихъ предостереженіяхъ юноши, слѣдующіе завѣтамъ Фета? Иначе сказать—юноши ли они, хотя бы имъ было 15—20 лѣтъ? По путямъ ли юношескаго сердца и видѣнія юношескихъ очей идутъ тѣ молодые люди, которые или равнодушно проходятъ мимо страданія, или полагаютъ дать страдающему «исцѣленіе отъ муки», съигравъ ему нѣчто на віолончели или изобразивъ въ риѳмованныхъ строчкахъ свое свиданіе съ «малюткой»? Скажутъ, можетъ быть, какъ и г. П. Перцовъ говоритъ, что поэзія не исчерпывается воспроизведеніемъ маленькихъ личныхъ чувствъ поэта, хотя бы совершенно законныхъ, и что нельзя смотрѣть на поэзію, какъ на «стишки». Г. Перцовъ очень негодуетъ противъ «взгляда на стихи, какъ на стишки», и онъ былъ бы, конечно, вполнѣ правъ, если бы направлялъ свое негодованіе и упреки по надлежащему адресу: не къ намъ, читателямъ, а къ самимъ стихотворцамъ, — зачѣмъ,

*) Курсивъ и тутъ г. Перцова.

молъ, вы смотрите на поэзію, какъ на искусство писать «стишки», да еще очень часто хромоногіе? Но г. П. Перцовъ не можетъ отправить свое негодованіе по надлежащему адресу, ибо онъ радуется *повальному* стихописанію и *непрерывной* игрѣ на віолончеляхъ, то есть *всякому* ритмическому сочетанію звуковъ, совершенно независимо отъ какого бы то ни было содержанія, какой бы то ни было мысли, въ томъ числѣ и мысли объ «исцѣленіи отъ муки». Это послѣднее приплелось сюда совсѣмъ нечаянно, собственно потому, что оно у Фета находится, а у Фета оно находится, повидимому, просто потому, что это подсказали условія ритма и риѳмы. Главное же дѣло въ томъ, что «къ чему противиться природѣ и судьбѣ?» Пусть стихотворецъ пишетъ стихи, віолончелистъ играетъ на віолончели, а страдающій — страдаетъ, и опять-таки, какъ ему положено природой и судьбой, — «безъ упованья, безъ сознанья», или же съ «радостью». Можетъ быть, все это прекрасно, и сама Правда — правда-истина и правда-справедливость — загримировалась въ данномъ случаѣ г. П. Перцовымъ; но я спрашиваю: соотвѣтствуетъ ли эта загримированная правда путямъ юношескаго сердца и видѣнію юношескихъ очей? Не настоящіе ли старцы эти столь мало отзывчивые и столь покорные «природѣ и судьбѣ» юноши? И дѣло очень мало измѣнится, если мы введемъ сюда капризомъ ритма и риѳмы приплетенное «исцѣленіе отъ муки». Былъ такой случай, что Давидъ игрою на гусляхъ, время отъ времени, вносилъ миръ въ поврежденную душу Саула, и нынѣ это средство съ успѣхомъ примѣняется въ больницахъ для душевно-больныхъ, да и мы, здоровые, знаемъ вліяніе музыки, но видѣть въ музыкальности стиха «исцѣленіе отъ муки»,— это, по малой мѣрѣ, не молодо.

Итакъ, хотя г. Гессенъ и правъ, рисуя въ своемъ стихотвореніи вѣковѣчную смѣну юношескихъ порываній и старческихъ предостереженій, но г. П. Перцовъ своимъ намекомъ на значеніе историческихъ «полосъ» вноситъ въ эту картину существенную поправку: бываютъ полосы, когда нормальныя отношенія между юношами и старцами совершенно извращаются, или когда, по крайней мѣрѣ, старцамъ нѣтъ никакой надобности пугать юношей «тайными мелями, скалами, бурями».

VII *)

„Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи“ и „Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія“ г. Карѣева.—Гг. Чижъ и Тимирязевъ о высшихъ и низшихъ формахъ въ біологіи.—Приспособленные и неприспособленные.

Я приводилъ недавно показаніе г. П. Перцова, что наша нынѣшняя молодежь повально стихи пишетъ и непрерывно на віолончеляхъ играетъ, чѣмъ и радуетъ сердце г. Перцова. Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», тоже съ сердечною радостью, была открыта въ молодежи «новая мозговая линія», направленная въ сторону метафизики и мистицизма. Можно услышать и разныя другія трудно совмѣстимыя характеристики настроенія современной молодежи. Говорилось, напримѣръ, о томъ, что нынѣшняя молодежь отрекласъ отъ всяческаго идеализма и обнаруживаетъ исключительную склонность къ «трезвой» практической дѣятельности въ области «малыхъ дѣлъ»; и о томъ, что юныя сердца ищутъ пристани въ туманныхъ сферахъ символизма и декадентства; и о томъ, что молодежь занимаютъ исключительно экономическіе вопросы, притомъ въ очертаніяхъ одной опредѣленной доктрины; и о томъ, что она предается повальному пьянству, картежной игрѣ, веселымъ, а то и просто грязнымъ похожденіямъ; и о томъ, что ею владѣютъ быстро смѣняющіяся идеи гр. Л. Н. Толстого, и т. д., и т. д. Все это заявлялось и заявляется чрезвычайно категорически, одними — съ радостью, другими — съ сокрушеніемъ, третьими — въ видѣ простого результата «ума холодныхъ наблюденій», а иными — съ непостижимо наглымъ задоромъ: дескать, что взяли? молодыя-то силы, надежды Россіи, зерна будущаго, у насъ, съ нами! Я припоминаю необычайно наглое письмо какого то молодого человѣка, полученное старикомъ Шелгуновымъ незадолго до его смерти: «шире дорогу! восьмидесятникъ идетъ!»—писалъ молодой нахалъ. Кто же, однако, этотъ требующій себѣ широкой дороги «восьмидесятникъ» или, какъ

---

*) Сентябрь 1895.

теперь уже, можетъ быть, слѣдуетъ говорить, «девятидесятникъ»? Кто онъ?—віолончелистъ, марксистъ, мистикъ, кутила, толстовецъ, практикъ, декадентъ? Задорный полемическій тонъ, не всегда, разумѣется, достигающій превосходной степени, свойственъ почти всѣмъ, предъявляющимъ свою характеристику съ радостью, но задоръ этотъ имѣетъ какой-то странный, односторонній характеръ. Всѣ эти господа, отправляясь отъ самыхъ разнородныхъ исходныхъ точекъ, шумно торжествуютъ побѣду надъ извѣстнымъ міросозерцаніемъ и настроеніемъ, потерявшими, по ихъ словамъ, всякій кредитъ, но не думаютъ сводить счеты между собою и даже какъ будто не замѣчаютъ другъ друга. Возьмемъ, напримѣръ, того же г. П. Перцова. Онъ свидѣтельствуетъ, что упомянутое міровоззрѣніе и связанное съ нимъ настроеніе препятствовали правильному развитію искусства, даже прямо глушили художественность, но нынѣ оно утратило свою власть надъ нашимъ обществомъ, надъ молодежью въ особенности, и молодежь эта «повально» пишетъ стихи и «непрерывно» играетъ на віолончели. Но другіе наблюдатели, согласно съ г. П. Перцовымъ, утверждая, что «идеалы отцовъ и дѣдовъ потеряли надъ нами силу» (подлинное выраженіе не то г. Дистерло, не то г. Кигна), показываютъ, что мѣсто этихъ идеаловъ заняли не стихи и віолончель, не искусство вообще, а «трезво практическіе» взгляды, или разныя тамъ другія прекрасныя вещи—экономическій матеріализмъ, идеалистическая метафизика, мистицизмъ и проч., а иной разъ и совсѣмъ уже не прекрасныя, вродѣ пьянства, кутежей и т. п. Почему же всѣ эти господа только воюютъ съ идеалами отцовъ, по ихъ словамъ уже потерявшими кредитъ и, слѣдовательно, лежачими, которыхъ бить запрещаютъ и справедливость, и простой разсчетъ, а не опровергаютъ своихъ торжествующихъ современниковъ? И какъ связать столь разнорѣчивыя показанія? Кому вѣрить?

Я не смѣю сомнѣваться въ добросовѣстности г. П. Перцова, но не имѣю основаній вѣрить ему больше, чѣмъ другимъ свидѣтелямъ, показывающимъ относительно современной молодежи совсѣмъ иное и, въ свою очередь, разнорѣчащимъ между собою. Остается предположить, что, если не всѣ они, то значительное большинство ихъ заблуждается bona fide. Г. П. Перцовъ естественно ищетъ пріятнаго для него общества стихотворцевъ и віолончелистовъ и, найдя таковое, обобщаетъ свои наблюденія, придаетъ имъ непомѣрно распространенное толкованіе. Какой-нибудь десятокъ, другой усердныхъ віолончелистовъ и стихотворцевъ, съ которымъ его столкнула благосклонная судьба, заслоняетъ для него всю перспективу. Такой оптическій обманъ тѣмъ естественнѣе, что г. П. Перцову хотѣлось бы вѣрить, что вся перспектива, вплоть до ея предѣльныхъ точекъ, дѣйствительно наполнена стихотворцами и віолонче-

листами. Это, я думаю, и съ другими помянутыми наблюдателями происходитъ. Только въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говоритъ, можетъ быть, не надежда, а страхъ, что извѣстными явленіями, случайно попавшими въ кругъ ихъ наблюденій, напримѣръ, кутежами или картежной игрой, окрашивается жизнь молодежи вообще или, по крайней мѣрѣ, опредѣляется главная струя этой жизни. Такимъ образомъ, все дѣло сводится къ слишкомъ торопливымъ и одностороннимъ обобщеніямъ, побуждающимъ однихъ столь же незаконно радоваться повышенію духовнаго уровня молодежи съ извѣстной, односторонней точки зрѣнія, какъ другихъ — столь же незаконно скорбѣть объ упадкѣ.

Если бы меня спросили о преобладающемъ характерѣ современной молодежи, я уклонился бы отъ отвѣта, ибо не знаю его въ столь общей формѣ. По соображеніямъ частію дедуктивнаго, частію чисто фактическаго характера, о которыхъ теперь говорить не буду, я думаю, что въ общемъ духовный уровень молодежи дѣйствительно понизился сравнительно съ не очень давнимъ временемъ (это, впрочемъ, пришлось бы сказать и обо всемъ обществѣ), но что нѣтъ такого круга идей или такого настроенія, которое можно бы было назвать преобладающимъ въ современной молодежи. За самое послѣднее время, однако, начало, повидимому, довольно рѣзко пробиваться теченіе, свидѣтельствующее, что молодежь сама сознаетъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя свои слабыя стороны и вмѣстѣ съ тѣмъ, не довольствуясь «разсыпанной храминой», въ которой она очутилась, склонна выработать себѣ нѣкоторое болѣе или менѣе общее міросозерцаніе.

Въ прошломъ году въ Москвѣ, при учебномъ отдѣлѣ общества распространенія техническихъ знаній, образовалась «коммиссія по организаціи домашняго чтенія». Ея первый отчетъ, содержавшій въ себѣ планы самообразовательнаго чтенія, имѣлъ огромный успѣхъ. Нѣсколько позже и въ Петербургѣ, при технологическомъ музеѣ, былъ учрежденъ «отдѣлъ для содѣйствія самообразованію», тоже издавшій свои программы. Участвовавшій въ работахъ отдѣла г. Карѣевъ, еще до опубликованія результатовъ этихъ работъ, издалъ «Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи», чрезвычайно быстро потребовавшія второго, а затѣмъ и третьяго, четвертаго, пятаго изданія, и, какъ продолженіе ихъ, «Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія», также очень быстро расхватанныя. Рѣдкій у насъ успѣхъ всѣхъ этихъ изданій кажется мнѣ очень знаменательнымъ. Главная масса ихъ потребителей есть, разумѣется, молодежь; ее, безъ сомнѣнія, имѣли главнымъ образомъ въ виду и составители московскихъ и петербургскихъ программъ, а г. Карѣевъ даже прямо и исключительно къ ней обращается.

«Въ жизни каждаго человѣка, поставленнаго въ благопріятныя условія развитія,—говоритъ, между прочимъ, г. Карѣевъ,—наступаетъ пора, когда передъ пробуждающимися высшими проявленіями сознанія открываются новыя стороны его собственнаго *я* и съ новыхъ же сторонъ открывается передъ нимъ окружающій міръ; когда уму его дѣлается доступно пониманіе тѣхъ идей, которыя были для него раньше простыми словами и, пожалуй, словами съ довольно опредѣленнымъ смысломъ, но со смысломъ чисто внѣшнимъ,—пониманіе того смысла, какой этимъ словомъ дается въ дѣйствительной жизни, и того внутренняго значенія, какое они получаютъ въ высшихъ проявленіяхъ философіи и поэзіи; когда осмысленная и осложненная новыми чертами любознательность превращается въ жажду знанія и чувствуется потребность понять міръ и свое мѣсто въ мірѣ, сущность своего *я*, задачу своей жизни, законъ своего отношенія къ другимъ людямъ, когда начинаетъ сознаваться связь личности съ обществомъ, ея по отношенію къ нему права и обязанности, и когда впервые молодой умъ начинаетъ разбираться въ общественныхъ вопросахъ и теченіяхъ общественной жизни. И вотъ онъ работаетъ и мыслью, и чувствомъ,—и иногда мучительно работаетъ,—чтобы имѣть по возможности цѣльное, полное и стройное міросозерцаніе, мучась малѣйшими противорѣчіями, пробѣлами и несообразностями вездѣ, гдѣ только они для него открываются—и въ мірѣ жизни, и въ мірѣ мысли. Головою философъ, сердцемъ поэтъ—такова въ четырехъ словахъ характеристика каждаго юноши съ такимъ душевнымъ настроеніемъ, какъ нельзя болѣе подходящимъ для того, чтобы увлекаться всѣмъ, что говоритъ за-разъ и головѣ и сердцу, поэзіей возвышенныхъ думъ и философіей художественныхъ произведеній, критическихъ и публицистическихъ статей, научныхъ обобщеній, разъ въ нихъ заключено пониманіе міра и человѣка, и на этой же почвѣ впервые выростаютъ и общественные интересы молодого человѣка. Какъ первая любовь дѣлаетъ его поэтомъ, такъ первое пробужденіе настоящаго самосознанія превращаетъ его въ философа, и такимъ философомъ бываетъ каждый изъ насъ,—кто больше, кто меньше, кто дольше, кто короче,—философомъ-идеалистомъ, способнымъ къ возвышенному настроенію, склоннымъ прикидывать ко всему идейную мѣрку, не постигающимъ объективнаго бытія, къ которому нельзя было бы предъявить требованіе идеала» («Письма», 36).

Этотъ то «благопріятный психологическій моментъ» г. Карѣевъ и желаетъ уловить въ своихъ читателяхъ, справедливо полагая, что, если по какимъ нибудь обстоятельствамъ моментъ этотъ проходитъ, такъ сказать, даромъ, то впослѣдствіи уже трудно наверстывать упущенное: «молодая чуткость, воспріимчивость, напряжен-

ность чувства, молодые порывы проходятъ съ годами безслѣдно, если въ свое время человѣкъ не пріобрѣлъ того, что, благодаря имъ, украшаетъ молодые годы и позволяетъ впослѣдствіи человѣку помянуть ихъ добромъ».

«Головою философъ, сердцемъ поэтъ»... «не постигающій объективнаго бытія, къ которому нельзя бы было предъявить требованіе идеала»... Не всегда, однако, такъ бываетъ и въ числѣ обстоятельствъ, отклоняющихъ молодыхъ людей отъ этой нормы, г. Карѣевъ упоминаетъ «вялость натуры, случайности воспитанія, особенности среды». По той-ли, по другой-ли изъ этихъ причинъ или еще по иной какой-нибудь, г. Карѣевымъ упущенной изъ виду, но наша молодежь послѣдняго времени значительно уклонилась въ разныя стороны отъ нормы. Если, однако, призывы г. Карѣева, равно какъ петербургскія и московскія программы самообразованія имѣютъ такой выдающійся успѣхъ, то надо думать, что молодежь начинаетъ сильно желать пробиться къ свѣту и, въ массѣ, не удовлетворяется тѣми міросозерцаніями и настроеніями, которыя ей навязываются или отъ ея имени предъявляются вышеупомянутыми наблюдателями. Мы имѣемъ здѣсь дѣло уже не съ голословными показаніями г. П. Перцова и т. п., а съ цифрами, выражающими количество заинтересованныхъ брошюрами г. Карѣева и московскими и петербургскими программами самообразованія. Въ добрый часъ! Къ чему бы ни пришла молодежь по предлагаемымъ ей путямъ, но всесторонній пересмотръ и пополненіе своего духовнаго багажа есть уже само по себѣ доброе дѣло, гарантирующее отъ торопливыхъ выводовъ, отъ увлеченій модой, отъ самодовольнаго успокоенія на какомъ-нибудь клочкѣ истины и проч.

Петербургскія и московскія программы самообразованія, какъ извѣстно, во многомъ отличаются другъ отъ друга. Я не намѣренъ ни сравнивать ихъ, ни вообще говорить о нихъ. Меня теперь занимаютъ «Письма» и «Бесѣды» г. Карѣева. Однако и въ нихъ я хотѣлъ-бы коснуться лишь нѣсколькихъ пунктовъ.

Должно пожалѣть, что въ двухъ небольшихъ книжкахъ г. Карѣева, содержащихъ, по задачѣ, цѣлую энциклопедію, различные пункты этой энциклопедіи развиты весьма неравномѣрно и не пропорціонально ихъ относительной важности. Такъ, въ первомъ изъ «Писемъ» авторъ «считаетъ нужнымъ выдвинуть на первый планъ существованіе въ учащейся молодежи стремленія къ самообразованію, стремленія вполнѣ естественнаго, совершенно законнаго и въ высшей степени симпатичнаго, а потому и заслуживающаго сдѣлаться предметомъ самаго серьезнаго вниманія». Это прекрасно. Но едва ли есть какая-нибудь надобность пространно доказывать, что стремленіе къ самообразованію вполнѣ естественно, совершенно

законно и въ высшей степени симпатично. Казалось бы, это само собою разумѣется. А между тѣмъ мы читаемъ у г. Карѣева на стр. 2: «Я только что назвалъ стремленіе къ самообразованію въ учащейся молодежи явленіемъ вполнѣ естественнымъ, совершенно законнымъ и въ высшей степени симпатичнымъ: оно, дѣйствительно, и естественно, и законно, и симпатично». А на стр. 6: «Вотъ въ немногихъ словахъ тѣ соображенія, которыя заставили меня назвать стремленіе извѣстной части молодежи къ самообразованію вполнѣ естественнымъ и совершенно законнымъ. У этого стремленія есть, кромѣ того, двѣ въ высшей степени симпатичныя стороны». И далѣе, на стр. 7: «Симпатичныя стороны стремленія къ самообразованію заключаются въ совершенной безкорыстности этого стремленія и въ его несомнѣнной связи съ высшими потребностями нашей духовной природы. Эти два отличительныя свойства истиннаго стремленія къ самообразованію сообщаютъ признаннымъ нами выше естественности и законности этого стремленія верховную моральную санкцію: оно оказывается не только естественнымъ и законнымъ, но и нравственнымъ».

Такая трата энергіи на отстаиваніе никѣмъ не оспариваемаго положенія, сообщая изложенію нѣсколько водянистый характеръ, вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаетъ у автора время и мѣсто, которыя съ большею пользою могли бы быть отданы выясненію болѣе важныхъ или сложныхъ вопросовъ. Г. Карѣевъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ такъ расточителенъ, что только на 118 страницѣ «Писемъ» позволяетъ себѣ сказать: «Всякій, кто внимательно дочиталъ эту книжку до настоящей страницы, долженъ хорошо понимать, что я порицаю эгоизмъ и соціальный индифферентизмъ». Я думаю, что читатель былъ бы въ большомъ выигрышѣ, если бы могъ догадаться объ этомъ задолго до «внимательнаго чтенія» ста семнадцати страницъ, да читатель, конечно, давно и догадался, такъ что почтенный профессоръ напрасно тратитъ время и бумагу, которыя, повторяю, могли бы быть употреблены на выясненіе менѣе элементарныхъ вещей.

Кромѣ «Писемъ» и «Бесѣдъ», г. Карѣевъ напечаталъ еще статью «Объ отношеніи исторіи къ другимъ наукамъ съ точки зрѣнія интересовъ общаго образованія». Статья эта была прочитана въ Историческомъ Обществѣ и затѣмъ напечатана въ VIII томѣ «Историческаго Обозрѣнія», гдѣ, *въ видѣ приложенія* къ ней, напечатаны труды «Отдѣла для содѣйствія самообразованію въ комитетѣ Педагогическаго музея», то есть петербургскія программы самообразованія. Должно пожалѣть, что ихъ нѣтъ въ отдѣльномъ изданіи и что онѣ пріютились въ мало распространенномъ «Историческомъ Обозрѣніи». Въ этомъ отношеніи московскія программы

поставлены гораздо лучше. Но, кромѣ происходящихъ отсюда невыгодъ для распространенности и общедоступности петербургскихъ программъ, здѣсь страдаетъ, мнѣ кажется, и принципіальная сторона. Естественно, что въ спеціальномъ изданіи, какъ «Историческое Обозрѣніе», составляющее органъ Историческаго Общества, программы самообразованія по всѣмъ отраслямъ знанія могли явиться только въ видѣ приложенія къ реферату г. Карѣева или иной какой-нибудь работѣ, имѣющей непосредственное отношеніе къ исторической наукѣ. Но именно поэтому и не слѣдовало бы, можетъ быть, печатать программы самообразованія въ «Историческомъ Обозрѣніи»: онѣ сами по себѣ представляютъ достаточно важное, значительное дѣло, чтобы явиться самостоятельно, а не въ видѣ пристройки къ другому, хотя бы и очень тоже полезному зданію. По объему своихъ задачъ программы самообразованія представляютъ нѣчто гораздо болѣе широкое, чѣмъ все, что можетъ дать какая бы то ни была спеціальная отрасль знанія, взятая въ отдѣльности, въ томъ числѣ и исторія. И дѣйствительно, въ составленіи петербургскихъ программъ принимали участіе спеціалисты по философіи, физикѣ, химіи и проч. и проч. Почему же всѣ они оказались подъ крыломъ исторіи? Мнѣ кажется, что это дѣло простой случайности, которой можно было и слѣдовало бы избѣжать. Но не такъ, повидимому, смотритъ на дѣло г. Карѣевъ.

«За послѣднее время—говоритъ почтенный профессоръ—мнѣ уже не разъ приходилось высказывать свои мысли объ особомъ значеніи историческаго чтенія въ дѣлѣ общаго образованія, получаемаго путемъ самостоятельнаго ознакомленія съ данными и выводами разныхъ наукъ». При этомъ г. Карѣевъ ссылается на «Письма», «Бесѣды» и еще на нѣкоторыя свои статьи, которыхъ у меня, къ сожалѣнію, нѣтъ подъ руками. Но «Писемъ», «Бесѣдъ» и реферата, прочитаннаго въ Историческомъ Обществѣ и представляющаго какъ бы предисловіе къ петербургскимъ программамъ самообразованія, достаточно, чтобы познакомиться со взглядами г. Карѣева на «особое значеніе» исторіи въ дѣлѣ общаго образованія.

Разумѣется, всякая отрасль знанія имѣетъ свое «особое значеніе», и очень естественно, что историкъ желаетъ выяснить особенности той струи, которую изученіе исторіи должно влить въ общее образованіе. Но г. Карѣевъ имѣетъ въ виду не просто «особое значеніе», а преобладающую, общую руководящую роль исторіи. Онъ говоритъ: «Были годы особеннаго увлеченія естествознаніемъ, наступила полоса политической экономіи и т. д. Я попробую поднять голосъ въ пользу исторіи». «Могу увѣрить, — прибавляетъ г. Карѣевъ,—что сдѣлаю это не въ качествѣ спеціалиста, желаю-

щаго, чтобы его предметъ считался наиболѣе важнымъ, а исходя изъ той общей идеи, которую я составилъ себѣ о стремленіи къ самообразованію на основаніи массы наблюденій, производившихся очень долгое время» («Письма», 157). Послѣдняя оговорка, пожалуй, и лишняя: намъ, собственно, все равно, по какимъ побужденіямъ почтенный историкъ хочетъ предоставить въ общемъ образованіи верховную роль исторіи; для насъ интересны самыя его мысли объ этой верховной роли, какими бы путями онъ ни пришелъ къ нимъ.

Не надо быть спеціалистомъ историкомъ, чтобы признать огромное значеніе исторіи, какъ для общаго образованія, такъ и для любой спеціальной отрасли знанія, хотя бы уже потому, что каждая изъ нихъ имѣетъ свою поучительную исторію, тѣсно связанную съ исторіей вообще. Есть области знанія, истины которыхъ не могутъ быть даже поняты надлежащимъ образомъ безъ знакомства съ соотвѣтственными историческими фактами или съ тѣмъ историческимъ путемъ, которымъ онѣ вырабатывались. Но кромѣ непосредственныхъ, чисто фактическихъ услугъ исторіи всѣмъ отраслямъ знанія и общему образованію, она имѣетъ еще огромное воспитательное значеніе. Изученіе исторіи въ широкомъ смыслѣ этого слова, хотя бы и въ примѣненіи къ какому-нибудь частному вопросу, можетъ застраховать насъ отъ столь обыкновенныхъ открытій давно открытой Америки и внушить намъ истинное понятіе о размѣрѣ нашихъ силъ, большею частію, конечно, очень скромныхъ. Всякій современный карликъ склоненъ забывать, что если передъ нимъ и открываются болѣе или менѣе широкіе горизонты, то только потому, что онъ стоитъ на плечахъ многострадальнаго великана и всѣмъ обязанъ тому великому преемственному труду, который вынесъ длинный рядъ предковъ, спотыкаясь и вновь подымаясь, обливаясь слезами и кровью и радостно привѣтствуя проблески правды. Точнымъ образомъ оцѣнить весь этотъ необозримо длинный и невообразимо трудный путь—невозможно, но даже смутное представленіе о немъ должно способствовать правильной оцѣнкѣ нашихъ силъ и нашихъ дѣлъ. Я не буду, однако, распространяться далѣе о многостороннемъ значенія исторіи: у г. Карѣева все это изложено съ тою, можетъ быть даже слишкомъ многословною обстоятельностью, которая вообще свойственна этому писателю. И тѣмъ не менѣе, я не могу согласиться съ мыслью почтеннаго профессора о верховной роли исторіи, въ родѣ той, которую столь же незаконно играло у насъ когда-то естествознаніе, а затѣмъ политическая экономія.

Надо правду сказать, что, много говоря о безспорно важномъ значеніи изученія исторіи и историческаго чтенія, г. Карѣевъ до-

вольно слабо защищаетъ свой оригинальный тезисъ о верховной руководящей роли исторіи и самаго, какъ онъ выражается, «принципа историзма». Старательно подчеркивая то значеніе, которое въ наше время исторія получила въ гуманитарныхъ наукахъ, въ особенности въ наукѣ права и политической экономіи, г. Карѣевъ приходитъ наконецъ къ заключенію, что и въ естествознаніи, со включеніемъ психологіи, принципъ «историзма» нынѣ торжествуетъ въ видѣ эволюціонной теоріи. Въ самомъ дѣлѣ, исторія возникновенія солнечной системы изъ первобытной туманности, исторія земного шара, исторія развитія органической жизни на землѣ, исторія развитія зародышевой клѣточки, исторія развитія явленій духовной жизни и т. д.,—развѣ все это не торжество «принципа историзма»?, и развѣ не въ правѣ поэтому г. Карѣевъ надѣяться, что его излюбленная наука «исторія» въ непродолжительномъ времени окончательно займетъ центральное мѣсто въ системѣ наукъ, а слѣдовательно и въ общемъ образованіи? Но что такое «исторія» г. Карѣева? «Исторія—говоритъ онъ—есть наука, потому что она есть болѣе или менѣе достовѣрное знаніе явленій, составляющихъ прошлую жизнь человѣчества, добытое путемъ критической провѣрки извѣстій объ этомъ прошломъ, которыя замѣняютъ непосредственное наблюденіе этихъ явленій, и путемъ изслѣдованія самихъ явленій въ нихъ самихъ и въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—знаніе, удовлетворяющее нашъ интересъ къ прошлому родной страны и всего человѣческаго міра и могущее служить моральнымъ и практическимъ потребностямъ жизни» («Письма», 157). Ясно, казалось бы, что это «знаніе явленій, составляющихъ прошлую жизнь человѣчества», есть лишь частность, малая доля знанія, обнимающаго прошлую жизнь мірозданія, земли, организмовъ на землѣ и т. д. И съ этой точки зрѣнія, «исторія» въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, въ какомъ его и г. Карѣевъ понимаетъ, никоимъ образомъ не можетъ стать центральною, руководящею наукой, и самый «принципъ историзма» долженъ утонуть въ общемъ, болѣе широкомъ принципѣ эволюціи. Не «исторія» и не какая-нибудь другая наука можетъ съ этой точки зрѣнія претендовать на верховную руководящую роль, а извѣстная теорія, во всѣхъ областяхъ знанія одинаково обязательная, одинаково властная,—теорія эволюціи.

Возможна, однако, и иная точка зрѣнія. Самая эволюціонная теорія можетъ быть разсматриваема, какъ одно изъ явленій, составляющихъ жизнь человѣчества, какъ одинъ изъ фактовъ исторіи мысли въ XIX столѣтіи. Точно такъ же могутъ быть введены въ составъ «исторіи» всѣ доселѣ добытыя, то есть всѣ извѣстныя намъ истины, равно какъ и всѣ заблужденія, всѣ нравственные и

политическіе идеалы, всѣ понятія о красотѣ и проч., и исторія станетъ дѣйствительно всеобъемлещею, верховною наукою; тѣмъ болѣе, что «по отношенію къ исторіи и современность есть лишь моментъ, имѣющій завтра же сдѣлаться прошедшимъ, т. е. стать предметомъ той же исторіи» («Бесѣды», 117); «въ сущности сегодняшнее настоящее, т. е. то, что мы теперь называемъ современностью, завтра, т. е. въ болѣе или менѣе недалекомъ будущемъ, сдѣлается само прошлымъ, иначе говоря, предметомъ исторіи» (Рефератъ, 9). Въ виду всего этого, г. Карѣевъ позволяетъ себѣ выражаться, напримѣръ, такъ: «къ народу слѣдуетъ относиться этически и научно, а *научно—значитъ исторически*» («Письма», 186), и не одинъ разъ, по разнымъ поводамъ, покрываетъ онъ такимъ образомъ другъ другомъ эпитеты «научный» и «историческій», какъ вполнѣ и исключительно равнозначущіе. Но у него же мы найдемъ и значительныя ограниченія такого расширенія владѣній исторіи. Такъ, на стр. 14 реферата онъ говоритъ: «Въ той исторической послѣдовательности, съ какою наукѣ дѣлались доступными отдѣльныя страны, отдѣльные виды растеній и животныхъ, памятники прошедшей жизни. историческіе факты, нѣтъ никакой логики. и если бы кто-либо сталъ знакомить съ зоологіей не въ порядкѣ естественной классификаціи, а въ томъ порядкѣ, въ какомъ дѣлались извѣстными, подвергались наблюденію, становились предметомъ описанія или изслѣдованія отдѣльные виды царства животныхъ, то въ результатѣ получился бы чисто хаотическій безпорядокъ». Иначе,—прибавляетъ г. Карѣевъ,—обстоитъ дѣло съ науками, «въ коихъ формулируются чистыя теоріи», а сторона описательная и повѣствовательная отступаетъ на второй планъ. Здѣсь, хотя и возможны вліянія разныхъ случайностей, но преобладаетъ все-таки извѣстная послѣдовательность въ постановкѣ и рѣшеніи вопросовъ, зависящая отъ логики внутренняго развитія самой науки. А потому историческое изученіе такого рода наукъ и теорій становится не только возможнымъ, а и необходимымъ. Но и въ этомъ разсужденіи самъ г. Карѣевъ дѣлаетъ значительную брешь. «Давно замѣчено,—говоритъ онъ,—что чѣмъ ближе та или другая наука къ идеалу совершенства, тѣмъ менѣе приходится въ ней говорить объ исторіи отдѣльныхъ вопросовъ. Разъ вопросъ рѣшенъ окончательно и безповоротно, т. е. разъ существуетъ вполнѣ выработанная теорія, исторія вопроса нисколько не уяснитъ дѣла» (рефератъ, 13, а также «Бесѣды», 70).

Я привожу эти слова г. Карѣева не для того, чтобы исчерпать всѣ ограниченія, имъ самимъ полагаемыя для верховной руководящей роли исторіи, а только чтобы показать, что такія ограниченія есть, по собственному признанію почтеннаго профессора. Но

нѣкоторыя его выраженія и самый фактъ появленія петербугскихъ программъ самообразованія въ «Историческомъ Обозрѣніи», въ видѣ приложенія къ реферату объ образовательномъ значеніи исторіи,— могутъ вводить въ заблужденіе.

Озабоченный мыслью выдвинуть на первый планъ значеніе исторіи, г. Карѣевъ то непомѣрно расширяетъ ея компетенцію до того, что, какъ мы видѣли, она сама утопаетъ въ эволюціонной теоріи, то съуживаетъ до предѣловъ даже какъ будто обидныхъ. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: «Народъ—одно для фольклориста, у котораго онъ лишь поетъ, разсказываетъ сказки, задаетъ загадки, исполняетъ разные обряды и т. п., и совсѣмъ другое онъ для экономиста, смотрящаго на то, какъ народъ работаетъ и насколько пользуется онъ матеріальнымъ достаткомъ. Лишь въ исторіи, не очень-то интересующейся подробностями фольклора и заботящейся о разъясненіи не однихъ условій матеріальнаго существованія низшихъ классовъ общества, но о томъ, чтобы узнать, какъ понималъ народъ и оцѣнивалъ свое положеніе, къ чему стремился въ эпохи особаго напряженія своихъ силъ, какъ вліяли на него культурныя и политическія перемѣны, какое отношеніе встрѣчалъ онъ къ себѣ со стороны интеллигенціи, правящихъ классовъ и привительствъ и пр. и пр., лишь въ исторіи, говорю я, разъясняющей все это, народъ является реальною величиною, а не нѣкоторымъ отвлеченіемъ отъ реальнаго народа, разсматриваемымъ съ извѣстной точки зрѣнія» («Письма», 184). Не странно-ли, что писатель, стремящійся такъ или иначе захватить въ вѣдѣніе исторіи все мірозданіе со включеніемъ всего, добытаго человѣкомъ на необозримомъ пути его умственнаго и нравственнаго развитія, выкидываетъ за бортъ своей науки фольклоръ? Развѣ въ томъ, что народъ поетъ, разсказываетъ, загадываетъ и проч., не сказывается, между прочимъ, и то, «какъ понималъ и оцѣнивалъ онъ свое положеніе, къ чему стремился, какъ вліяли на него культурныя и политическія перемѣны» и проч.?

«Историческій матеріалъ», «историческій методъ», «историческая точка зрѣнія», «историческое отношеніе къ міру мысли», наконецъ, даже «историческое отношеніе къ жизни»,—все это довольно безразлично пускается въ ходъ г. Карѣевымъ ad majorem gloriam его излюбленной науки. Послѣднее изъ приведенныхъ выраженій принадлежитъ, впрочемъ, не самому г. Карѣеву, а заимствуется имъ изъ московской программы самообразованія, гдѣ «развитіе въ учащихся историческаго отношенія къ жизни» ставится цѣлью преподаванія исторіи. Признаюсь, ни изъ опредѣленія московской программы, ни изъ коментаріевъ г. Карѣева я не уяснилъ себѣ смысла словъ «историческое отношеиіе къ жизни». Можно только догадываться, что это «историческое отношеніе къ жизни» въ извѣстномъ

смыслѣ противополагается «моральному или политическому воспитанію», которое, дескать, отнюдь не должно быть цѣлью, «хотя бы и второстепенною», преподаванія исторіи. («Письма», 164—165). Есть и еще одинъ пунктъ въ московскихъ программахъ, который г. Карѣевъ подчеркиваетъ съ особенно настойчивымъ сочувствіемъ. А именно: «Что касается вопроса о томъ, какъ слѣдуетъ изучать философскія науки?,—то рѣшеніе его зависитъ отъ того, въ какомъ состояніи находится въ настоящее время каждая изъ философскихъ наукъ. Разсматривая ихъ съ этой точки зрѣнія, мы видимъ 1), что логика и психологія организовались въ отдѣльныя самостоятельныя науки, а потому могутъ быть изучаемы въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся въ настоящее время; 2), что такія науки, какъ этика, метафизика и теорія познанія, представляютъ собою только выраженіе мнѣній того или другого философа, а потому должны изучаться *не иначе*, какъ въ курсѣ исторіи философіи». Приводя эти слова московской программы въ своихъ «Письмахъ», г. Карѣевъ замѣчаетъ, что съ ними «нельзя не согласиться» и что они приложимы «не только къ отвлеченной философіи», а и къ политическимъ, экономическимъ и юридическимъ ученіямъ («Письма, 171, 173). Буквально ту же цитату и съ тѣми же собственными замѣчаніями повторяетъ онъ и въ рефератѣ (13). Тѣ же, наконецъ, мысли излагаетъ онъ и въ «Бесѣдахъ» (70 и слѣд.), уже безъ цитатъ, отъ своего собственнаго лица, отчасти тѣми же словами, но и съ поправками. Во-первыхъ, здѣсь мы уже не встрѣчаемъ метафизики въ числѣ «философскихъ наукъ», а лишь психологію, логику, теорію познанія и этику. Затѣмъ, отграничивая по прежнему психологію и логику съ одной стороны, теорію познанія и этику—съ другой, въ виду большей разработанности двухъ первыхъ наукъ, г. Карѣевъ уже не такъ суровъ по отношенію къ двумъ послѣднимъ. Вмѣсто того, чтобы изучаться *не иначе*, какъ въ курсѣ исторіи философіи, теорія познанія и этика получаютъ нѣкоторыя льготы въ пользу своей самостоятельности. Правда, очень небольшія. А именно, заявивъ, что для ознакомленія съ психологіей и логикой можно обойтись и безъ экскурсій въ ихъ историческое прошлое, г. Карѣевъ говоритъ, что съ вопросами этики и гносеологіи «*гораздо удобнѣе* знакомиться исторически». Это однако, — любезно прибавляетъ онъ,—«не исключаетъ и самостоятельнаго знакомства съ современными гносеологическими и этическими теоріями послѣ того, какъ будетъ подготовлена почва для критическаго отношенія къ этимъ фактамъ путемъ усвоенія данныхъ исторіи философіи».

Послѣ сказаннаго выше о значеніи исторіи читатель не заподозритъ, конечно, меня въ желаніи умалить приличествующую историческому образованію роль. Но въ виду того же выше (правда

очень бѣгло) сказаннаго, я спрашиваю: почему изученіе психологіи возможно исключительно на почвѣ современности, если этика должна быть изучаема — ну, хоть не «не иначе, какъ въ курсѣ исторіи философіи», но все-таки — «исторически?» Потому что психологія есть законченная наука, владѣющая значительнымъ количествомъ непререкаемыхъ, общепризнанныхъ исходныхъ точекъ, фактовъ и выводовъ? Но это невѣрно. Психологія не въ такомъ положеніи находится, какъ, напримѣръ, химія или астрономія или механика, и это самъ г. Карѣевъ знаетъ. Спиритуализмъ, идеализмъ, реализмъ, матеріализмъ, позитивизмъ, критицизмъ доселѣ ожесточенно спорятъ и о самомъ предметѣ психологіи, и о методахъ его изученія, и о мѣстѣ психологіи въ ряду наукъ; физіологическая психологія, можно сказать, только еще расцвѣтаетъ, а изъ глубины сѣдой древности въ то же самое время поднимаются давно забытые психологическіе факты и столь же давно забытыя ихъ толкованія; гипнотизмъ на нашихъ глазахъ внесъ и новую струю въ науку, и новую поддержку невѣжеству; коллективная, массовая психологія еще только начинаетъ разрабатываться, и сама исторія можетъ ждать отъ нея огромныхъ услугъ. Словомъ, все зданіе психологіи еще до такой степени шатко и незаконченно, что къ ней въ большей или меньшей степени приложимы всѣ разсужденія г. Карѣева объ этикѣ. Г. Карѣевъ опасается, что, если люди пустятся въ область этики въ ея современномъ видѣ, или, точнѣе, въ ея современныхъ видахъ, безъ историческаго оснащенія, то можетъ приключиться «чисто догматическое усвоеніе тѣхъ или другихъ взглядовъ, высказывающихся въ текущей литературѣ» («Бесѣды», 70). А съ психологіей въ ея современномъ видѣ, или опять-таки, точнѣе, въ ея современныхъ видахъ, это не можетъ приключиться? Очень даже просто: стоитъ только сдѣлать односторонній выборъ изъ огромной и богатой современной психологической литературы. Г. Карѣевъ скажетъ, можетъ быть, что незачѣмъ дѣлать односторонній подборъ чтенія. Допустимъ, хотя это требовало бы нѣкоторой оговорки. Но дѣло теперь не въ ней, не въ этой возможной оговоркѣ, а въ томъ, что, говоря о нравственныхъ и политическихъ идеяхъ, г. Карѣевъ иногда совершенно упускаетъ изъ виду наличность достаточнаго разнообразія и въ современной, текущей литературѣ. Онъ говоритъ: «Иначе человѣкъ относится къ своимъ идеямъ (рѣчь идетъ объ идеяхъ «моральныхъ и политическихъ»), когда не подозрѣваетъ существованія другихъ идей и думаетъ, что его идеи всегда существовали, т. е. имѣютъ характеръ абсолютный. На самомъ дѣлѣ этого вѣдь нѣтъ, и послѣднее обстоятельство нужно знать и помнить. Для уясненія своей мысли и расширенія своего взгляда на всѣ вопросы міросозерцанія нужно познакомиться съ наибольшимъ количествомъ раз-

ныхъ на нихъ отвѣтовъ, конечно, не для того, чтобы раздѣлять ихъ всѣ (что невозможно и даже немыслимо), а чтобы сравнить ихъ между собою, сдѣлать имъ взаимную провѣрку, имѣть возможность разсматривать вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія и т. д. А кромѣ того, вѣдь и интересъ къ чужому внутреннему міру долженъ влечь человѣка къ тому, чтобы знакомиться съ разрѣшеніемъ вопросовъ мысли и жизни въ разныхъ историческихъ міросозерцаніяхъ». («Письма», 170). Все это прекрасно; спрашивается, однако, развѣ, что касается этики и политики, наличная современная литература представляетъ столь малое «количество разныхъ отвѣтовъ», что за разнообразіемъ надо обращаться непремѣнно къ исторіи? Съ этой точки зрѣнія, въ противность неоднократно повторяемому утвержденію г. Карѣева, именно наименѣе установившіяся отрасли науки наименѣе нуждаются въ помощи историческихъ экскурсій или «историческаго изученія». Чтобы получить *разные* отвѣты на вопросы о химическихъ свойствахъ тѣлъ или о свойствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ небесныхъ свѣтилъ, необходимо обратиться къ исторіи химіи и астрономіи, ибо при нынѣшнемъ состояніи этихъ наукъ разныхъ отвѣтовъ въ нихъ нѣтъ или почти нѣтъ. Наоборотъ, въ области этики и политики мы сейчасъ имѣемъ такую огромную коллекцію самыхъ разнообразныхъ идей, что если дѣло идетъ только о «возможности разсматривать вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія», то, пожалуй, и нѣтъ надобности заглядывать въ исторію.

Повторяю, я отнюдь не думаю отрицать великую образовательную роль исторической науки, но когда г. Карѣевъ желаетъ изъ нея сдѣлать верховную руководительницу всего образованія,—меня беретъ сомнѣніе, я начинаю бояться того, что Ницше называлъ «чрезмѣрностью исторіи», Uebermass der Historie; того размаха научно-исторической метлы, который не знаетъ удержу въ заметаніи всего великаго и низкаго, подлаго и благороднаго въ одну безконечно растущую кучу историческаго сора, гдѣ «нѣсть печаль, ни воздыханіе», гдѣ поэтому все мертво, потому что все равно законно. Я не о прошломъ говорю, по крайней мѣрѣ не о такомъ отдаленномъ прошломъ, цѣпкіе когти котораго уже не царапаютъ насъ изъ своей дали. Но г. Карѣевъ, какъ мы видѣли, объясняетъ, что «по отношенію къ исторіи и современность есть лишь моментъ, имѣющій завтра же сдѣлаться прошедшимъ, т. е. стать предметомъ той же исторіи». Онъ требуетъ «историческаго отношенія *къ жизни*». Отклоняя «моральное и политическое воспитаніе», какъ цѣль преподаванія исторіи, онъ въ тоже время рекомендуетъ изучать этическіе и политическіе вопросы — «исторически»... Слишкомъ много исторіи!, какъ оно, впрочемъ, можетъ быть, и подобаетъ историку.

Съ другой стороны, однако, хотя г. Карѣевъ и историкъ, но всякій знакомый съ его литературной физіономіей и не нуждающійся въ 117 страницахъ внимательнаго чтенія, чтобы на 118-й «хорошо понять», что авторъ, по его нѣсколько наивному выраженію, «порицаетъ эгоизмъ и соціальный индиферентизмъ»,—всякій настолько освѣдомленный читатель скажетъ: тутъ что-нибудь да не такъ! И дѣйствительно, не такъ...

Г. Карѣевъ совсѣмъ ужъ не такъ безпощаденъ въ своемъ «историзмѣ», какъ можно бы было думать, судя по его предположенію сдѣлать изъ своей науки «царицу міра», съ титуломъ эволюціи. Кое-какія ограниченія мы уже видѣли, а кромѣ того г. Карѣевъ то къ своему коренному «принципу историзма» припряжетъ «философскій критицизмъ» («Письма», 175), то пояснитъ, что онъ «отнюдь не желаетъ вытѣснить теоретизмъ историзмомъ» («Бесѣды», 129). А въ одномъ мѣстѣ онъ выражается такъ: «Точка зрѣнія эволюціи есть ученіе объ относительности всего существующаго и объ относительности нашихъ знаній. Среди этого измѣненія, этого движенія, этой относительности остаются незыблемыми, неизмѣненными и безусловными лишь идеалы истины и справедливости, къ коимъ мы стремимся, но знаніемъ коихъ не обладаемъ, лишь вѣря въ то, что есть истина и есть справедливость, и что открытіе ихъ началось съ первыми шагами исторіи и совершалось въ исторической эволюціи міросозерцаній. И наше міросозерцаніе есть продуктъ исторической эволюціи и отличается относительностью знанія, но если оно соотвѣтствуетъ нашему пониманію истины и справедливости, оно получаетъ для насъ силу подлиннаго знанія, удовлетворяющаго нашъ умъ, и вѣры, удовлетворяющей нашу совѣсть. Мы обязаны вѣрить въ истинность и справедливость нашего міросозерцанія». («Письма», 174).

Вотъ, мнѣ кажется, пунктъ, заслуживающій гораздо бо́льшаго вниманія, чѣмъ то, которое ему удѣляетъ г. Карѣевъ. Многократно и многословно излагая, напримѣръ, ту безспорную истину, что стремленіе къ самообразованію «вполнѣ естественно, совершенно законно и въ высшей степени симпатично», г. Карѣевъ не находитъ, къ сожалѣнію, нужнымъ достаточно защитить положеніе гораздо болѣе трудное. Если нѣчто «соотвѣтствуетъ нашему пониманію истины и справедливости», то оно «удовлетворяетъ нашъ умъ и нашу совѣсть». Это безспорно, но за то это едва ли не простая тавтологія, ни мало не убѣдительная и нисколько не интересная. Интересна даже не сама мысль, заключенная въ эту тавтологическую форму, а лишь ея очная ставка съ верховенстомъ «принципа историзма». Г. Карѣевъ не устроилъ этой очной ставки и спокойно поставилъ рядомъ два положенія, на первый, по крайней

мѣрѣ, взглядъ, трудно совмѣстимыя. Все течетъ, все неустанно движется, измѣняется, въ томъ числѣ и людскія понятія объ истинномъ и справедливомъ - что было истиной и справедливостью вчера, то отметается сегодня, и сегодняшнее міросозерцаніе отживетъ завтра; такова историческая или, если угодно, эволюціонная точка зрѣнія. И вдругъ среди этого неустаннаго вѣковѣчнаго движенія оказывается неизмѣнное, незыблемое, безусловное, и мы *обязаны* этому вѣрить... Я не говорю, что мы *не обязаны* вѣрить; я нахожу самое это выраженіе, самое понятіе обязанности вполнѣ неумѣстнымъ въ данномъ случаѣ. Но разъ г. профессоръ говоритъ объ обязанности, я спрашиваю: если мой умъ воспитался исключительно на исторической или эволюціонной точкѣ зрѣнія, утверждающей неустанную смѣну всѣхъ вещей, начиная нашей солнечной системой и цѣлыми мірами и кончая ничтожной клѣткой нашего организма, и всѣхъ понятій объ истинномъ и справедливомъ, какъ бы цѣпко ни держалось за нихъ человѣчество, какими бы потоками слезъ и крови оно изъ за нихъ не обливалось,—кто или что обяжетъ меня признать одинъ моментъ, одну подробность этой необъятной картины движенія—чѣмъ-то незыблемымъ? Во всякомъ случаѣ этого не можетъ сдѣлать «принципъ историзма». И если г. Карѣевъ считаетъ нужнымъ выдѣлить настоящій моментъ съ его злобами дня и установить къ нему особое отношеніе, то оно не можетъ быть «историческимъ», и «принципъ историзма» долженъ лишиться воздвигаемаго ему г. Карѣевымъ всемірнаго трона.

Г. Карѣевъ желаетъ установить «особое отношеніе». Употребляю столь общій терминъ въ виду крайней неясности и неточности выраженій г. Карѣева. Перечтите приведенное мѣсто изъ «Писемъ», и вы рѣшительно не поймете,—во что же мы «обязаны вѣрить»?—въ истинность и справедливость нашего міросозерцанія?, или же мы «не обладаемъ знаніемъ» истины и справедливости, а только еще стремимся къ нимъ и должны вѣрить, что гдѣ-то *есть* таковыя, но открываются онѣ человѣчеству въ исторической постепенности?

Въ брошюрѣ г. Карѣева, какъ и въ другихъ его произведеніяхъ, такъ много хорошаго, хотя и мало оригинальнаго, что я отнюдь не хотѣлъ бы подрывать довѣріе къ ихъ общему просвѣтительному и гуманному духу. Но тѣмъ обиднѣе видѣть такую небрежность и краткость по вопросамъ, болѣе или менѣе сложнымъ, при словоохотливой тщательности по предметамъ, просто даже не стоющимъ разговора. Въ настоящемъ случаѣ дѣло, впрочемъ, не только въ небрежности и краткости, а и въ несчастной мысли предоставить исторіи верховное руководящее значеніе во всей системѣ образо-

ванія. Автора соблазнила, повидимому, та выдающаяся роль, которую играетъ въ современномъ мышленіи эволюціонная теорія, а непосредственный толчокъ онъ получилъ, можетъ быть, отъ одной фразы Паульсена, очевидно вообще на него сильно вліявшаго. Въ предисловіи къ своему «Введенію въ философію», намѣчая «выступающія линіи направленія» въ современной философіи, Паульсенъ, между прочимъ, говоритъ: «Этотъ моментъ стоитъ, наконецъ, въ связи съ одной чертой, которая придаетъ особенный отпечатокъ всей философіи 19-го столѣтія, въ противоположность предшествовавшему періоду: это—*направленіе къ исторіи*. Болѣе ранняя философія покоится на математически-естественно-научномъ созерцаніи дѣйствительности; она — абстрактно-раціоналистическая. Спекулятивная философія исходитъ изъ конструкціи духовно-историческаго міра; она пытается потомъ также и природу конструировать какъ бы исторически, по крайней мѣрѣ въ логически-генетическомъ схематизмѣ. Естественныя науки слѣдуютъ за этимъ теченіемъ и въ космической и біологической теоріяхъ развитія трактуютъ природу дѣйствительно исторически».

Дѣло, однако, въ томъ, что у Паульсена это только одна изъ «выступающихъ линій направленія». Есть и другія, изъ которыхъ для насъ любопытна слѣдующая: современная философія, по мнѣнію Паульсена, «обращается отъ интеллектуалистическаго пониманія къ *волюнтаристическому*. Прежде всего въ психологіи; здѣсь замѣтно, во-первыхъ, вліяніе Шопенгауера и, во-вторыхъ, все увеличивающееся значеніе новаго біологическаго воззрѣнія. Но потомъ это пониманіе проникаетъ также въ метафизику и міросозерцаніе. И здѣсь ему идетъ на встрѣчу Кантовскій поворотъ, который стремится предоставить волѣ ея законное вліяніе на міросозерцаніе».

Г. Карѣевъ принимаетъ въ соображеніе и эту «линію» и охотно употребляетъ слово «волюнтаристическій», но ему не удалось съ достаточною опредѣленностью установить отношеніе этого «волюнтаризма» къ верховному принципу «историзма», и въ дальнѣйшемъ мы уже не будемъ безпокоить его брошюры,—развѣ къ слову придется.

Къ слову придется, впрочемъ, сейчасъ же. Возьмемъ слѣдующія два положенія г. Карѣева. 1) «Эволюція государственности заключалась въ концентраціи властвованія, въ объединеніи мелкихъ политическихъ единицъ въ болѣе крупныя, въ поглощеніи первыхъ вторыми». («Бесѣды», 154). 2) «Исторія, какъ наука, можетъ вскрывать передъ нами всѣ недостатки и печальныя стороны дѣйствительной жизни, но она же свидѣтельствуетъ намъ о томъ, что жизнь улучшается, и показываетъ, какимъ путемъ и въ какомъ направленіи это дѣлается. Юношескій идеализмъ ищетъ себѣ пищи,

и ему должна быть дана эта пища: такою пищею является идея прогресса, міросозерцаніе, построенное на этой идеѣ, подтвержденіе этой идеи исторіей, какъ подтверждаетъ ее съ другой стороны, и уже въ объективномъ пониманіи,—современное эволюціонное естествознаніе». («Письма», 194).

Я привелъ эти два положенія не для того, чтобы продолжать бесѣду о г. Карѣевѣ, а просто, какъ образчикъ той смутной неопредѣленности, которая характеризуетъ въ большинствѣ случаевъ разговоры объ эволюціи, развитіи, прогрессѣ. Въ первомъ случаѣ рѣчь идетъ о рядѣ измѣненій, постепенно развертывающихъ типическія черты даннаго явленія. Это просто констатированіе факта извѣстныхъ измѣненій, безъ всякой ихъ оцѣнки: такъ было или такъ идетъ дѣло теперь,—и только. Во второмъ же случаѣ говорится о какихъ-то «улучшеніяхъ», предполагается или утверждается, что эволюція тяготѣетъ къ нѣкоторому желательному, съ точки зрѣнія говорящаго, концу. Г. Карѣевъ думаетъ, что это предположеніе подтверждается «и въ объективномъ пониманіи — современнымъ эволюціоннымъ естествознаніемъ». Это—очень распространенное мнѣніе, хотя и далеко не всегда ясно формулируемое. Для большинства употребляющихъ слово «эволюція» съ нимъ, болѣе или менѣе отчетливо, болѣе или менѣе смутно, связывается представленіе о тяготѣніи къ чему-то высшему, лучшему, причемъ имѣются обыкновенно въ виду данныя и выводы «современнаго эволюціоннаго естествознанія». Насколько все это основательно?

Эволюціонная теорія была тѣмъ Римомъ, къ которому вели всѣ пути знанія и мысли въ XIX вѣкѣ. Но въ особенности распространенію, популяризаціи и выясненію ея послужили два теченія, очень между собою близкія и часто сливающіяся, но все-таки различимыя. Это—дарвинизмъ и философія Герберта Спенсера.

Ученіе Дарвина утвердило прежде всего положеніе чрезвычайно общаго характера, — измѣняемость органическихъ видовъ, трансформизмъ. Затѣмъ слѣдуетъ выясненіе причинъ и условій измѣняемости и, наконецъ, опредѣленіе направленія, въ которомъ она происходитъ. Въ результатѣ: виды измѣняются подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, борьбы за существованіе, переживанія приспособленныхъ и вымиранія неприспособленныхъ, и жизнь развивается, облекаясь все въ высшія и высшія, совершеннѣйшія формы. Наиболѣе общее положеніе дарвинизма не только остается не поколебленнымъ, но постоянно подтверждаясь новыми фактами и новыми частными истолкованіями старыхъ фактовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ могущественно повліяло на самыя разнообразныя отрасли знанія и способствовало вовлеченію ихъ въ общую струю ученія объ эволюціи. Быть можетъ, слѣдовало бы самое слово «эволюція» замѣ-

нить словомъ «трансформизмъ», ибо послѣднее лучше, прямѣе выражаетъ самую суть дѣла: единство и вѣчность матеріи и силы, при постоянной измѣняемости и преходящести ихъ формъ. Далеко не столь прочно стоятъ другія составныя части дарвинизма. Существуетъ не мало разногласій относительно причинъ и условій трансформизма, а также относительно направленія, въ которомъ измѣняются формы жизни, и разногласія эти, повидимому, все ростутъ, и въ числѣ, и въ своемъ значеніи. Самъ Дарвинъ съ нѣсколько двусмысленнымъ благодушіемъ утверждалъ, что «изъ вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, какое мы можемъ себѣ представить, а именно — возникновеніе высшихъ формъ» («О происхожденіи видовъ»). Но уже у самого основателя теоріи можно было найти матеріалы для скептическихъ вопросовъ: изъ вѣчной ли борьбы и голода и смерти возникаютъ высшія формы жизни?, что такое высшія формы?, въ чемъ состоитъ мѣрило ихъ относительной высоты и совершенства? Двусмысленность мѣрила, или точнѣе мѣрилъ,—ибо ихъ было два,—выставленныхъ самимъ Дарвиномъ, выяснялась все больше. За доказательствами я могъ бы отослать читателя къ своимъ старымъ статьямъ («Теорія Дарвина и общественная наука»); но съ тѣхъ поръ, какъ онѣ были написаны, много воды утекло, и вотъ новый, свѣжій матеріалъ.

«Мы должны — говоритъ г. Чижъ — отказаться отъ неосновательнаго дѣленія животныхъ и растеній на высшія и низшія животныя, высшія и низшія растенія. И въ самомъ дѣлѣ, почему обезьяна выше бациллы, лягушка ниже тигра? Основаніе этого страннаго дѣленія лежало въ степени приближенія видовъ къ человѣку: чѣмъ ближе было животное къ человѣку, тѣмъ оно считалось выше. Но нѣтъ надобности доказывать, насколько это дѣленіе чуждо біологической наукѣ. Мы можемъ говорить о болѣе или менѣе сложныхъ организмахъ, и организація тигра, конечно, сложнѣе организаціи гриба, но это еще не основаніе ставить тигра выше гриба. Идея степени совершенства можетъ имѣть значеніе только по отношенію къ какой-нибудь цѣли: тотъ организмъ выше, который лучше достигаетъ извѣстной цѣли и вѣрнѣе осуществляетъ ее. Съ этой точки зрѣнія вполнѣ понятно раздѣленіе общества на классы и превосходство высшихъ классовъ. Но почему животное выше растенія или млекопитающее выше рыбы?» (W. Tchisch. La loi fondamentale de la vie. Jourieff (Dorpat) 1895, p. 21, 22). Далѣе г. Чижъ беретъ для сравненія волка и проживающихъ въ его тѣлѣ паразитныхъ червей и приходитъ къ заключенію, что послѣдніе отнюдь не ниже волка, а даже выше, потому что онъ, въ виду сложности своей организаціи, менѣе способенъ противостоять

неблагопріятнымъ условіямъ, хуже вооруженъ для борьбы за существованіе, чѣмъ живущіе въ немъ паразиты. Поэтому-то очень легко истребить волковъ и очень трудно справиться съ паразитами. Вообще, чѣмъ сложнѣе строеніе животнаго или растенія, тѣмъ, повидимому (parait-il), менѣе его жизнеспособность и тѣмъ труднѣе для него бороться и приспособляться; поэтому сложный организмъ, несомнѣнно (indubitablement), не выше, а ниже менѣе сложныхъ, которые способны жить въ условіяхъ, смертельныхъ для относительно сложныхъ организмовъ... Только съ этой точки зрѣнія и позволительно раздѣлять животныхъ на высшихъ и низшихъ. Въ сущности же всѣ неисчезающія формы жизни одинаково высоки или одинаково низки».

Въ человѣческомъ обществѣ, поскольку оно раздѣлено на классы, дѣло стоитъ, какъ мы видѣли, иначе: тамъ высшіе классы дѣйствительно выше, потому что они лучше и вѣрнѣе осуществляютъ цѣль... какую? Надо замѣтить, что, въ результатѣ своего трактата (рѣчь въ годовщину основанія Дерптскаго университета), г. Чижъ объясняетъ, что цѣль жизни есть сама жизнь. Такъ вотъ, если мы возьмемъ какое-нибудь рѣзко раздѣленное на классы человѣческое общество, напримѣръ средневѣковое, то увидимъ, что феодальный баронъ, грабившій на большихъ дорогахъ, воевавшій направо и налѣво, дравшійся на турнирахъ и проч., лучше, вѣрнѣе осуществлялъ цѣль жизни, чѣмъ земледѣлецъ, пастухъ или ремесленникъ... Но это мимоходомъ. Вообще же, хотя разсужденіе г. Чижа и можетъ вызвать тѣ или другія возраженія со стороны дарвинистовъ, но оно безспорно вращается въ кругу чисто дарвинистскихъ принциповъ. И что же, значитъ, остается отъ оптимистической мысли учителя о возникновеніи все высшихъ и высшихъ формъ? Или нѣтъ никакого подъема вверхъ на лѣстницѣ, или есть даже быстрый спускъ внизъ... Таковъ одинъ изъ выводовъ «современнаго эволюціоннаго естествознанія».

Менѣе рѣшителенъ г. Тимирязевъ («Историческій методъ въ біологіи ». «Русская Мысль», № 7). Онъ указываетъ, что въ біологіи нѣтъ единаго мѣрила совершенства или высоты организаціи, потому что самое слово «совершенство» имѣетъ рѣзко различное значеніе въ устахъ физіолога и морфолога. Для послѣдняго «совершенство или болѣе высокая организація есть почти синонимъ большей сложности, большей степени дифференцированія. Съ возрастаніемъ числа функцій, съ увеличеніемъ числа органовъ, имъ соотвѣтствующихъ, съ усложненіемъ ихъ строенія, существа восходятъ по ступенямъ морфологической лѣстницы; мы называемъ ихъ высшими, болѣе совершенными въ абсолютномъ смыслѣ, т. е. безъ отношенія къ условіямъ ихъ существованія. Въ иномъ смыслѣ

представляется намъ это понятіе о совершенствѣ съ физіологической точки зрѣнія. Здѣсь мѣрою совершенства является только соотвѣтствіе между организаціей и условіями существованія организма, — соотвѣтствіе, такъ сказать, между цѣлью и средствомъ, безъ отношенія къ абсолютной сложности организаціи. Польза организма или, еще опредѣленнѣе, его *приспособленность* къ жизненной средѣ—вотъ критеріумъ его физіологическаго совершенства. Но само собою понятно, что совершенство *приспособленія* можетъ и не идти рука объ руку съ *усложненіемъ*... Физіологическое совершенство можетъ быть даже несомнѣнною деградаціей, регрессомъ въ смыслѣ морфологическомъ».

Для образца г. Тимирязевъ упоминаетъ о паразитахъ. Это примѣръ очень удобный по своей наглядности и общеизвѣстности. Не мѣшаетъ, однако, замѣтить, что паразитами далеко не исчерпывается область деградаціи, регресса, вырожденія. Случаи эти столь многочисленны, что было даже предложено различать—совершенно независимо отъ разницы между морфологической и физіологической точками зрѣнія—«упрощающую эволюцію» и «совершенствующую эволюцію» (Рей Ланкастеръ. «Вырожденіе. Глава изъ теоріи развитія»). Рей Ланкастеръ замѣчаетъ, что «вырожденіе играетъ важную роль... всюду, гдѣ нашелъ себѣ признаніе великій принципъ эволюціи». И далѣе: «Возможность вырожденія заслуживаетъ быть принятою въ соображеніе и по отношенію къ намъ самимъ, къ бѣлымъ расамъ Европы. Предаваясь тому немыслящему безразсудному оптимизму, который выражается допущеніемъ всеобщаго прогресса, какъ чего то само собою разумѣющагося и неоспоримаго, мы привыкли смотрѣть на себя, какъ на существа, которыя непремѣнно и необходимо всегда шли впередъ, которыя необходимымъ образомъ достигли высшаго и болѣе совершеннаго состоянія сравнительно съ достигнутымъ нашими предками и которыя несомнѣнно предназначены судьбою прогрессировать все далѣе и далѣе. Между тѣмъ, недурно было бы помнить, что и мы также подлежимъ *общимъ законамъ эволюціи*, стало быть, что и мы можемъ не только прогрессировать, но также и *вырождаться*».

И такъ, съ точки зрѣнія Дарвинова ученія, какъ оно постепенно выяснилось, эволюція есть прежде всего только трансформизмъ, измѣненіе формъ жизни. Что же касается направленія, въ которомъ это измѣненіе происходитъ, то это, во-первыхъ, *направленія* (множественное число), а не направленіе, а во-вторыхъ, чтобы расположить организмы по лѣстницѣ (или лѣстницамъ) совершенства, надо еще условиться на счетъ мѣрила совершенства; достовѣрно во всякомъ случаѣ, что самъ эволюціонный принципъ не можетъ указать это мѣрило,—его надо взять откуда-нибудь со

стороны; достовѣрно далѣе, что какое бы мѣрило мы ни выбрали, оно укажетъ намъ возможность движенія и вверхъ по лѣстницѣ совершенства, и внизъ.

Что касается философіи Спенсера, то хотя философія эта слыветъ подъ именемъ эволюціонной по преимуществу, но, строго говоря. принципъ эволюціи занимаетъ въ ней не первое мѣсто. Общая формула всѣхъ процессовъ природы, по Спенсеру, такова: непрерывное перераспредѣленіе матеріи и движенія. Это тотъ же, — только болѣе широко примѣненный,—безразличный трансформизмъ, еще ничего не предрѣшающій относительно направленія измѣненій. Затѣмъ уже Спенсеръ различаетъ процессы эволюціи (интеграція вещества и разсѣяніе движенія) и антагонистичные имъ процессы диссолюціи, разложенія (поглощеніе движенія и дезинтеграція матеріи). Намъ незачѣмъ слѣдить здѣсь за дальнѣйшими разсужденіями Спенсера. Намъ нужно было только напомнить часто самимъ Спенсеромъ забываемыя ограниченія роли эволюціи, какъ онъ ее понимаетъ. Коментируя общія положенія Спенсера, Лестеръ Уордъ говоритъ: «Мы должны освободиться отъ обычнаго понятія, что эволюція необходимо предполагаетъ все высшую и высшую организацію». Что же касается критерія или мѣрила совершенства организаціи, то, какъ извѣстно, Спенсеръ признаетъ таковымъ сложность строенія и связную разнородность частей, то есть то, что г. Тимирязевъ называетъ морфологическимъ совершенствомъ. О тѣхъ недоразумѣніяхъ, въ которыя при этомъ впадаетъ Спенсеръ, я въ свое время говорилъ слишкомъ достаточно.

Въ области человѣческихъ дѣлъ и отношеній роль трансформизма или эволюціи въ болѣе общемъ смыслѣ этого слова принимаетъ на себя «принципъ историзма», которому поэтому и предстоитъ выработать или откуда-нибудь со стороны взять мѣрило совершенства. Найдутся люди,—не г. Карѣевъ, а изъ такъ называемыхъ «объективистовъ», — которые презрительно замѣтятъ, что ни въ какихъ мѣрилахъ нѣтъ надобности. Пусть историкъ просто разскажетъ, какъ совершалось историческое движеніе даннаго общества или эпохи и почему оно совершилась такъ, а не иначе; а та формула прогресса, которую историкъ выведетъ на основаніи своего мѣрила, никакого научнаго значенія имѣть не можетъ, ибо она будетъ говорить не о томъ, какъ шла исторія, а о томъ, какъ она должна бы была идти, чтобы заслужить одобреніе историка, имя рекъ. Дайте намъ объективную теорію, изслѣдующую то, что было, есть и будетъ, какъ необходимый закономѣрный результатъ прошлаго и настоящаго; а какой-то тамъ расцѣнки историческихъ фак-

товъ съ точки зрѣнія вашихъ идеальныхъ представленій о совершенствѣ намъ и даромъ не нужно.

Эти и имъ подобныя величественныя презрительныя рѣчи раздаются очень часто, причемъ говорящіе ихъ иногда указываютъ на историческія теоріи, будто бы удовлетворяющія ихъ требованіямъ, то есть вполнѣ объективныя, изслѣдующія прошедшее, настоящее и будущее исключительно съ точки зрѣнія законосообразности и причинной связи явленій, безъ всякой примѣси «такъ называемыхъ идеаловъ» и своихъ собственныхъ, субъективныхъ мѣрилъ добра и зла. Спору нѣтъ, историкъ долженъ отвѣчать на вопросъ,– какъ дѣйствительно шла исторія и почему она шла такъ, а не иначе, но вѣдь это должны дѣлать и біологи, и, однако, они самымъ ходомъ своихъ изслѣдованій приводятся, какъ мы видѣли, къ вопросу о мѣрилахъ совершенства. Почему же мы лишимъ историка этого права или снимемъ съ него эту обязанность? Спору нѣтъ, историкъ долженъ изслѣдовать то, что было, есть и будетъ, какъ необходимый закономѣрный результатъ прошлаго и настоящаго. Но... но вотъ поучительная страница изъ вышеупомянутаго «Введенія въ философію» Паульсена:

«Идеалъ будущаго всюду служитъ твердой точкой, изъ которой исходитъ толкованіе исторіи. Отсюда опредѣляются точки прошедшаго, имѣющія руководящее значеніе, и черезъ эти точки проводится потомъ та кривая, которая описываетъ историческій ходъ жизни. Поэтому всякое новообразованіе тотчасъ же начинаетъ «переоцѣнку» историческихъ цѣнностей; оно нуждается въ ней для своей философіи исторіи. Припомните возрожденіе, реформацію, французскую революцію, національный союзъ и новую нѣмецкую исторію на прусской почвѣ: каждое новообразованіе, переоцѣнивая историческія цѣнности, увѣряетъ себя въ своей собственной внутренней необходимости... Что представлялось когда-то людямъ великимъ и важнымъ — тезисы Лютера, Лейпцигскій или Седанскій день—то, разсматриваемое съ новой точки зрѣнія, сокращается въ совершенно заурядное будничное событіе. Напротивъ, какое-нибудь событіе, едва замѣченное другими—пріобрѣтаетъ значеніе событія, дѣлающаго эпоху во всемірной исторіи. Старое стремленіе всякой новой партіи создать себѣ свое собственное лѣтосчисленіе, новый календарь снова выступаетъ передъ нами и здѣсь. Насколько нелѣпой кажется новая оцѣнка вѣрующимъ стараго строя, настолько же вѣроятной представляется она своимъ собственнымъ вѣрующимъ: только одному не хотятъ они вѣрить: именно тому, что то, на чемъ покоится ихъ воззрѣніе на вещи, есть *вѣра*, а не *знаніе*. Вѣдь мы же, говорятъ они, совершенно ясно видимъ, что исторія движется въ направленіи къ этой цѣли...—Конечно, вы становитесь у цѣли:

какъ же могло бы теперь не казаться, что и исторія движется по направленію къ вамъ? Но то, что поставило насъ на этотъ пунктъ, есть не наука, а любовь и ненависть, желаніе и отвращеніе,—не разсудокъ, а воля. Кто не раздѣляетъ вашей любви и вашей ненависти, вашихъ надеждъ и идеаловъ, тому вы не сможете доказать истинность вашего воззрѣнія. Вы можете сослаться только на будущее, а въ томъ-то и дѣло, что будущее открыто только вѣрѣ, а не знанію... Построеніе и толкованіе духовно-исторической жизни исходитъ не изъ науки о прошедшемъ, а изъ идеи совершеннаго, которую каждый носитъ въ себѣ» (стр. 326 и слѣд.).

Не говоря о кое-какихъ подробностяхъ этой цитаты, я думаю, что въ общемъ она дѣйствительно очень поучительна. Я понимаю, однако, что голосъ Паульсена не обладаетъ особенною убѣдительностью для тѣхъ именно, для кого приведенныя слова были бы особенно поучительны. Поэтому приведу еще страницу изъ одного сочиненія другого писателя, въ трудахъ котораго столь свѣдущій, добросовѣстный и логически сильный мыслитель, какъ г. П. Струве, видитъ «плодотворное внесеніе въ соціологію философскаго критицизма и научнаго психологическаго анализа».

«Ясно, что понятіе прогресса предполагаетъ конечное состояніе, приближеніе къ которому или большая степень осуществленія котораго придаетъ позднѣйшимъ состояніямъ прогрессивный характеръ. Это конечное состояніе не должно быть, конечно, осуществлено въ доселѣшней исторіи, но оно должно существовать, по крайней мѣрѣ, въ идеалѣ, чтобы направленіе къ нему могло быть признано относительнымъ прогрессомъ. Представляетъ-ли поступательный ходъ причинно связанныхъ событій вмѣстѣ съ тѣмъ и прогрессъ, — это рѣшаетъ идеалъ, цѣнность котораго не вытекаетъ изъ этого ряда событій, а прилагается къ нимъ. Если поэтому мы замѣчаемъ въ исторіи смѣну эпохъ съ болѣе индивидуалистическимъ и болѣе коллективистскимъ характеромъ, то одинъ признаетъ собственно прогрессивными эпохами первыя, среди которыхъ вторыя составляютъ только случайные перерывы и неизбѣжную при всякомъ прогрессѣ реакцію, тогда какъ другой дастъ прямо противоположное толкованіе; ибо соотвѣтственный строй общества представляется ему единственно цѣннымъ, и онъ признаетъ естественный ходъ развитія прогрессомъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой дѣло идетъ въ этомъ направленіи. Поэтому мы видимъ прогрессъ въ исторіи или не видимъ—въ зависимости отъ оцѣнки, субъективность которой не устранима. И если бы даже нашлась единая формула, которая включила бы всѣ различные идеальные масштабы или какъ-нибудь иначе было бы достигнуто объединеніе послѣднихъ, то это, по большей мѣрѣ, только и значило бы, что всѣ видятъ или не видятъ про-

гресса въ исторіи; но этимъ не былъ бы устраненъ тотъ фактъ, что понятіе прогресса извлечено не изъ исторіи и лежитъ въ нашей субъективности» (Georg Simmel. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. S. 92).

Мнѣ уже случалось однажды привести сужденіе Зиммеля объ экономическомъ матеріализмѣ, какъ объ ученіи метафизическомъ. Приводя теперь его мысли о невозможности объективизма въ философіи исторіи, не могу достаточно восхвалить безпристрастіе г. Струве, съ особенною энергіею рекомендующаго «плодотворные труды» Зиммеля... Очевидно, эти господа столь-же внимательно читаютъ то, на что они опираются, какъ и то, что они опровергаютъ...

Прошу читателя обратить вниманіе на то обстоятельство, что и Паульсенъ, и Зиммель говорятъ не о томъ, какъ должно, по ихъ мнѣнію, относиться къ историческимъ фактамъ, а о томъ, какъ всѣ люди въ дѣйствительности къ нимъ относятся; это—не повелительное наклоненіе, а изъявительное, и именно результатъ «плодотворнаго психологическаго анализа», изъ котораго, однако, не трудно сдѣлать практическій выводъ, по крайней мѣрѣ въ отрицательной формѣ: не обманывайте себя и другихъ. Необходимость, психологическая неизбѣжность субъективнаго элемента въ философско-историческихъ изслѣдованіяхъ, разумѣется, не снимаетъ съ насъ обязанности излагать событія въ ихъ причинной связи и не лишаетъ насъ права подъискивать объективныя основанія для оправданія, поддержки и даже выработки нашего идеала. Не могутъ-ли для этой послѣдней цѣли послужить, между прочимъ, и данныя и выводы «современнаго эволюціоннаго естествознанія», хотя бы, напримѣръ, установляемыя біологами мѣрила совершенства организаціи; тѣмъ болѣе, что они вѣдь имѣютъ объективный характеръ.

Посмотримъ, къ чему приведутъ насъ эти мѣрила или критеріи, если мы ихъ приложимъ къ нашимъ человѣческимъ дѣламъ и отношеніямъ. Мы видѣли, что такихъ мѣрилъ или критеріевъ два. Правда, г. Чижъ идетъ въ своемъ скептицизмѣ такъ далеко, что, вывернувъ привычныя понятія на изнанку и объявивъ высшіе организмы низшими, а низшіе—высшими, приходитъ вслѣдъ затѣмъ къ заключенію, что нѣтъ ни высшихъ, ни низшихъ, и всѣ одинаково совершенны или одинаково несовершенны. Но, присматриваясь къ его аргументаціи нѣсколько ближе, мы убѣдимся, что это только діалектическіе фокусы и что г. Чижъ, рѣшительно, повидимому, отвергая тотъ критерій, который г. Тимирязевъ называетъ морфологическимъ, вполнѣ признаетъ мѣрило физіологическое и примѣняетъ его. Г. Чижъ уравниваетъ по степени совершенства, собственно говоря, не всѣ формы жизни, а только «всѣ неугасающія формы»

(qui ne s'éteignent pas). Но современная біологія—и въ этомъ состоитъ одинъ изъ величайшихъ успѣховъ науки — обнимаетъ общими принципами не только живыя, существующія формы, а и совсѣмъ исчезнувшія, и тѣмъ паче исчезающія, представляющія для біолога въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже особливый интересъ. Далѣе, угасаніе есть процессъ медленный, проходящій цѣлый рядъ стадій, начиная съ какихъ-нибудь незначительныхъ признаковъ вырожденія; поэтому указать поворотный пунктъ къ угасанію—совсѣмъ не легко. Введемъ же въ разсужденіе г. Чижа неправильно устраненныя имъ исчезающія формы жизни. Изъ всего разсужденія ясно, что, по мнѣнію г. Чижа, эти формы непремѣнно ниже существующихъ и именно потому ниже, что онѣ не приспособились къ условіямъ существованія, а слѣдовательно, не смотря на всѣ свои извороты, г. Чижъ всетаки мѣряетъ степень совершенства организмовъ тою мѣркою, которую г. Тимирязевъ называетъ физіологическою.

Я позволяю себѣ думать, что термины г. Тимирязева не вполнѣ соотвѣтствуютъ тѣмъ группамъ явленій, которыя они должны характеризовать. Г. Тимирязевъ указываетъ, что паразитирующее животное утрачиваетъ свои органы движенія и чувствъ, соотвѣтственно съ чѣмъ понижается организація и его нервной системы, но для новыхъ упрощенныхъ условій его существованія все это было бы лишнимъ бременемъ; слѣдовательно, его пониженная въ *морфологическомъ* смыслѣ организація является усовершенствованной въ смыслѣ приспособленія: его индивидуальная и видовая жизнь нисколько не страдаютъ. Да, питается и размножается паразитирующее животное даже лучше своихъ не паразитирующихъ родичей, такъ какъ есть паразиты, состоящіе просто изъ наполненнаго яйцами мѣшка, сосущаго корневидными отростками соки изъ хозяина. И всетаки жизнь этихъ паразитовъ настолько оскудѣла, что цѣлые обширные отдѣлы физіологіи не имѣютъ къ нимъ никакого касательства. Едва-ли поэтому справедливо считать возростаніе и уменьшеніе числа функцій организма исключительно морфологическимъ явленіемъ. Но имя вещи не мѣняетъ. Важно только знать, что есть такая точка зрѣнія, съ которой безголовый и безногій паразитъ прогрессируетъ, совершенствуется, по сравненію съ своимъ собственнымъ до-паразитнымъ состояніемъ и съ своими не паразитирующими родичами; и именно потому прогрессируетъ, что вполнѣ приспособился къ даннымъ условіямъ существованія и не тратитъ своихъ силъ на такія ненужныя ему роскоши, какъ голова и ноги, а исключительно питается и производитъ такое же безголовое и безногое потомство. Пусть эта точка зрѣнія называется физіологи-

ческою. Что же будетъ, если мы попробуемъ примѣнить эту точку зрѣнія къ нашимъ, человѣческимъ дѣламъ и отношеніямъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ дать любая житейская или литературная драма Тупые и жестокіе, фигурально выражаясь, — истинно безмозглые палачи, измучившіе въ тюрьмѣ и потомъ сжегшіе на кострѣ геніальнаго, смѣлаго, благороднаго Джіордано Бруно,— выше этой, съ «морфологической» точки зрѣнія, красы и гордости вида homo sapiens: они вполнѣ приспособились къ условіямъ своего существованія вообще, къ современнымъ имъ астрономическимъ, богословскимъ и философскимъ понятіямъ въ частности, и благополучно питались и размножались въ то время, какъ онъ, неприспособленный, изнывалъ въ тюрьмѣ и горѣлъ на кострѣ. Молчалинъ, настолько приспособившійся къ условіямъ своего существованія, что умѣетъ

Угождать всѣмъ людямъ безъ изъятья:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Слугѣ его, который чиститъ платья,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобъ ласкова была,—

Молчалинъ выше неприспособленнаго Чацкаго, который, испытавъ «милліонъ терзаній», удаляется со сцены «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ». Приспособленный Полоній и неприспособленный Гамлетъ... Пушкинъ «съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей» и въ то же время настолько неприспособленный къ условіямъ своего существованія, что «руку далъ клеветникамъ безбожнымъ» и «повѣрилъ словамъ и ласкамъ ложнымъ»: Пушкинъ и превосходно приспособившіеся къ своей атмосферѣ «свободы, генія и славы палачи»... Поразительный процессъ постепеннаго приспособленія къ условіямъ существованія героевъ «Современной идилліи» Щедрина... Нужны-ли еще примѣры? Дѣло, кажется, и безъ нихъ ясно. Несмотря на все разнообразіе положеній, индивидуальныхъ чертъ, обстановки, деталей, большинство житейскихъ и литературныхъ трагедій въ своемъ основаніи въ высшей степени просты и однообразны. Трагическая сторона жизни и ея отраженія въ литературномъ зеркалѣ главнымъ образомъ и состоитъ или въ прямой гибели «морфологически» высокаго, но «физіологически» низменнаго (плохо приспособленнаго къ условіямъ существованія) типа, или въ многоразличныхъ хроническихъ его терзаніяхъ подъ напоромъ приспособленныхъ ничтожествъ. Этихъ-то послѣднихъ мы и должны признать высшими съ «физіологической» точки зрѣнія.

Однако, у этой медали «за приспособленіе», странной медали, выворачивающей всѣ наши привычныя понятія на изнанку, есть

своя изнанка. А впрочемъ, еще вопросъ - привычны-ли намъ тѣ понятія, которымъ она наноситъ такой оскорбительный ущербъ. Въ театрѣ мы презираемъ Полонія, который такъ приспособилъ свое зрѣніе, что готовъ поклясться «святой обѣдней», что облако похоже на верблюда, а пожалуй и на хорька, и на кита; презираемъ Молчалина и сочувствуемъ Чацкому; съ искреннимъ негодованіемъ перечитываемъ сверкающіе местью стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Но это все въ моменты приподнятаго настроенія, а въ обыденной жизни мы готовы выслушивать «практическіе» совѣты Полонія или давать таковые же и удивляться, иногда пожалуй даже негодовать, что такіе способные люди, какъ Чацкій или Пушкинъ, не могутъ приспособиться къ даннымъ условіямъ существованія. Словомъ, въ обыденной жизни медаль «за приспособленіе» въ большомъ ходу, и мы раздаемъ ее иногда массами, когда, вслѣдствіе измѣнившихся условій существованія, толпа выдвигаетъ цѣлые ряды быстро приспособляющихся ренегатовъ, ихъ же девизъ—какъ ни быть, лишь бы жить. Но, какъ уже сказано, у этой медали есть своя оборотная сторона.

Г. Тимирязевъ справедливо замѣчаетъ, что «морфологическое» и «физіологическое» совершенство, теоретически рѣзко различимыя, въ дѣйствительности могутъ и совпадать. Это тогда именно, когда сложность и многосторонность организаціи оказываются, по обстоятельствамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и практически полезными. Это бываетъ. Въ біологической области, съ дарвинистской точки зрѣнія, это должно быть даже общимъ правиломъ, допускающимъ, конечно, исключенія: иначе жизнь давно оскудѣла бы, и мы не знали бы «морфолологически» высшихъ формъ ея. Бываетъ это и въ сферѣ нашихъ общественныхъ отношеній. Неприспособленные въ данное время и въ данномъ мѣстѣ могутъ оказаться до извѣстной степени хозяевами положенія при другихъ условіяхъ, не поступаясь ни головой, ни сердцемъ. «Милліонъ терзаній» ихъ духовныхъ предковъ постепенно пробиваетъ историческую кору, и наступаетъ наконецъ моментъ, когда спросъ на Молчалиныхъ прекращается, а Чацкіе призываются къ дѣятельному участію въ жизни, когда палачи Джіордано Бруно предаются проклятію, а ему самому благодарное потомство воздвигаетъ памятники. Положеніе тѣхъ, кто очень ужъ усовершенствовался «физіологически» въ предшествующемъ періодѣ, тоже можетъ оказаться трагическимъ, и ихъ можно пожалѣть по человѣчеству. Но исторія, какъ и природа, жалости не знаетъ...

Таковы два пути эволюціи. Оба они одинаково возможны, одинаково законны съ точки зрѣнія причинной связи явленій, но признаніе ихъ обоихъ прогрессивными едва-ли для кого-нибудь возможно. Надо выбирать.

VIII *)

Обращеніе г. Розанова къ Л. Толстому—„Русскіе символисты".—Наше общественное мнѣніе. — Гг. Сементковскій и Меньшиковъ по поводу жизни и смерти кн. В. В. Вяземскаго.—„Нужна-ли совѣсть?"

Время какъ время,—не хуже всякаго другого времени. А это ужъ такъ изстари ведется, что люди гдѣ-то позади себя чуть не золотой вѣкъ видятъ или гдѣ-то въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ таковой же провидятъ, а на настоящее время фыркаютъ. Отжившіе и нежившіе этимъ больше занимаются, а люди зрѣлые знаютъ, что всѣ времена въ сущности одинаковы.

Такія рѣчи можно слышать довольно часто. Не мѣшаетъ, однако, и зрѣлымъ людямъ хотя изрѣдка останавливаться на нѣкоторыхъ явленіяхъ современной жизни съ тою именно цѣлью, чтобы подумать, — въ какое время они возможны: «одинаковое»-ли со всѣми другими, прошедшими и будущими временами, или въ какое-нибудь особенное, и если вѣрно послѣднее, то каковы особенности нашего времени.

Вотъ, напримѣръ, г. Розановъ—небезъизвѣстный писатель, печатающійся въ разныхъ петербургскихъ и московскихъ изданіяхъ, въ томъ числѣ и въ спеціально философскомъ журналѣ «Вопросы философіи и психологіи», опубликовалъ въ августовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» статью подъ заглавіемъ: «По поводу одной тревоги гр. Л. Толстого». Долженъ признаться— я не читалъ этой статьи и знаю ее только по цитатамъ г. Буренина въ «Новомъ Времени». Цитатъ этихъ, однако, вполнѣ достаточно, чтобы оцѣнить произведеніе г. Розанова по достоинству. Авторъ обращается къ гр. Толстому, между прочимъ, съ такими увѣщаніями:

«Отчего же *ты* не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь «сопротивляться злу» и—сопротивляешься даже Богу? Ты все умничаешь, выдумываешь, лѣпишь снова человѣка изъ глины, когда его уже слѣпилъ Богъ. Не вспомнишь-ли, какъ «лѣпя» Платона Каратаева и въ немъ (впервые) — «непротивленіе злу», ты,

---

*) Октябрь 1895.

въ концѣ концовъ, заставляешь людей, къ нему привязавшихся, бросить его на дорогѣ, такъ какъ онъ, больной, не можетъ за ними слѣдовать. Я помню, какъ прочелъ это много лѣтъ назадъ, еще будучи мальчикомъ, и тогда же мнѣ показалось это болѣзненнымъ и уродливымъ вывертомъ. Тутъ еще замѣшалась собачка, которая ужасно тебя обличаетъ, лаетъ на тебя изъ всѣхъ силъ: она остается съ умирающимъ Платономъ Каратаевымъ; а люди—*уходятъ*. Какъ ненатурально, какъ гадко! Какъ гадокъ человѣкъ, тобою созданный, сравнительно съ тѣмъ, каковъ онъ есть».

«Все, что ты говоришь и дѣлаешь, не есть-ли «сопротивленіе» не только злу, но, кажется, цѣлому мірозданію, которое вышло бы, тебѣ думается, лучше, будь *ты* призванъ построить для него планъ и дать законы? Развѣ не часть этого мірозданія, не его продолжающееся твореніе—чудесная исторія человѣка на землѣ, и вотъ, ты находишь ее ненужнымъ и глупымъ маскарадомъ, который давно бы пора прервать. «Зачѣмъ люди росли», «жизнь усложнялась», умъ выдумывалъ новое, то и это, отъ Авраама и до тебя?.. Значитъ, были *залоги* (курсивъ г. Розанова) для этого хотя бы и въ грѣхѣ и во всякомъ случаѣ для человѣка непостижимые; были, значитъ, сѣмена въ матери-землѣ, кѣмъ-то для чего-то положенныя, и что же, «не сопротивляясь злу»,—ты хотѣлъ бы разомъ ампутировать этотъ сѣменникъ. Покорись... Но былъ-ли человѣкъ менѣе покорный, чѣмъ ты? Такъ мелочно придирчивый? Такъ все выслѣживающій, такъ все ненавидящій—при устахъ полныхъ всегда любви?» (стр. 176).

Г. Розанова оскорбляютъ какія-то четыре строчки въ разсказѣ «Хозяинъ и работникъ» (какія—не знаю, г. Буренинъ ихъ не приводитъ).

«Выпусти эти строки!», восклицаетъ критикъ «Выпусти ихъ, *воздержись, ограничь* (курсивъ г. Розанова) себя—не въ вегетеріанствѣ желудка, но въ этомъ болѣе благородномъ вегетеріанствѣ сердца, въ образахъ тебя смущающихъ, въ сладостно дразнящихъ мысляхъ, въ тѣлѣ разжигающемъ. И та радость, которой столько лѣтъ не знаешь ты, сладко защемитъ у тебя подъ сердцемъ».

«Ты ищешь веревки, продолжаетъ г. Розановъ, на которой бы удавиться...—Прими въ самой малой частицѣ совѣты мои, и тотъ бѣсъ, который мучитъ тебя и заставляетъ «метать копье» въ невиннаго передъ тобой играющаго, Давида, «чтобъ пригвоздить его къ стѣнѣ», я хочу сказать—въ эту играющую передъ тобой жизнь, говорю: этотъ духъ тебя оставитъ, этотъ бѣсъ не смѣетъ коснуться тебя, и ты узнаешь радость».

«Подумай о несоизмѣримомъ и разсмѣйся малому, чѣмъ ты занятъ; вотъ въ климактерическомъ періодѣ, такъ склонномъ къ за-

болѣванію, едва не заболѣла жена твоя—и, однако, не заболѣла-же, осталась жива, служитъ тебѣ помощницей!..» (Стр. 179). «Но послушай, оставь сарафаны исторіи, которые ты рубишь, какъ твой Никита рубитъ сарафаны жены своей непутящей» (стр. 179). «*Не смѣй осуждать*, не замѣчай, не высматривай, и *даже видя грѣхъ, свои глаза закрой на него*, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко». «*Я осудилъ тебя* послѣднимъ (?), послѣ столькихъ лѣтъ грѣха твоего, *когда уже гробъ не далекъ*, чтобы ты созналъ себя и радостно, а не уныло сошелъ въ него».

Прочитавъ эти строки, изумительныя по наглости и дикой распущенности, какъ въ логическомъ, такъ и въ нравственномъ и въ грамматическомъ отношеніи, я естественно пожелалъ узнать,—кто же это такой г. В. В. Розановъ? и какія такія его права увѣщевать кого-бы то ни было въ столь исключительной формѣ? Правда, я читалъ кое-что изъ произведеній г. Розанова, но во-первыхъ, очень немногое, а во-вторыхъ, и это немногое было совсѣмъ не такого свойства, чтобы оправдать тонъ и содержаніе приведенныхъ увѣщаній. Правда, далѣе, я удостоился однажды чести ни съ того, ни съ сего получить письмо отъ г. Розанова (тоже увѣщательное; если г. Розановъ пожелаетъ, я его напечатаю); но письмо это свидѣтельствуетъ только о томъ, что г. Розановъ вообще считаетъ себя призваннымъ увѣщевать и дѣлаетъ это въ частной перепискѣ хотя и смѣшно, но не до такой всетаки степени дико, какъ въ печатныхъ статьяхъ. Что же такое г. Розановъ? Какое его положеніе въ литературѣ? Для отвѣта на этотъ вопросъ я обратился къ недавно вышедшему «Философскому Ежегоднику» за 1893 г., составленному г. Колубовскимъ. Оказалось, что г. Розановъ перевелъ вмѣстѣ съ г. Первовымъ Метафизику Аристотеля, причемъ «переводъ не всегда свидѣтельствуетъ о вѣрномъ пониманіи текста Аристотеля», и написалъ статьи: «О монархіи» (въ «Русскомъ Обозрѣніи»), «О трехъ принципахъ человѣческой дѣятельности» (тамъ же), «Памяти О. И. Каблица» (тамъ же). «Сумерки просвѣщенія» (въ «Русскомъ Вѣстникѣ»), «Три главные принципа образованія» (въ «Русскомъ Обозр.»). Статьи эти обратили на себя вниманіе нѣкоторыхъ органовъ печати, и большею частію очень благосклонное вниманіе. Правда, по поводу одной изъ нихъ («Сумерки просвѣщенія») былъ «ироническій отзывъ» въ «Русской Мысли», а г. Иловайскій рекомендовалъ автору обратиться къ учебникамъ, но затѣмъ: «Разсужденія г. Розанова пришлись по вкусу М. Южному» (въ «Гражданинѣ»); «Ю. Николаевъ вторитъ разсужденіямъ г. Розанова» (въ «Московск. Вѣдомостяхъ»); по мнѣнію г. Заточника (въ «Гражданинѣ»), «въ языкѣ г. Розанова есть что-то физіологически-чарующее»; «много теоретическаго интереса въ трудѣ г. Розанова нахо-

дитъ В. Чуйко» (въ «Одесскомъ Листкѣ»); по мнѣнію «Странника». «статьи г. Розанова очень любопытны, оригинальны и нерѣдко выражаютъ горькую правду»; наконецъ г. Шперкъ, знаменитый Ѳедоръ Шперкъ уступаетъ г. Розанову часть своей всемірной славы, признавая въ немъ «истиннаго представителя специфически русской философіи».

Конечно, все это только разные Чуйки да Шперки, самыя горячія одобренія которыхъ еще не могутъ предоставить одобряемому особыя права и преимущества. Но изъ приведенныхъ отрывковъ видно всетаки, что г. Розановъ не какой-нибудь случайный первый встрѣчный, мнѣнія и поступки котораго могутъ быть нисколько не характерны для своей среды или для своего времени. Нѣтъ, это человѣкъ, имѣющій свою аудиторію, своихъ почитателей, свой кругъ солидарныхъ людей, что, можетъ быть, и даетъ ему смѣлость говорить съ гр. Толстымъ тономъ знаменитаго архимандрита Фотія. Архимандритъ Фотій, первая четверть нашего истекающаго столѣтія,—вотъ куда надо углубиться, чтобы найти параллель увѣщаніямъ г. Розанова! Но и то надо замѣтить: каковъ-бы ни былъ Фотій, какъ человѣкъ, но онъ былъ духовное лицо и въ этомъ своемъ духовномъ санѣ почерпалъ и сознаніе своей миссіи, и обычное право обращенія на «ты», а г. Розановъ человѣкъ свѣтскій и даже гг. Южные и Николаевы, Чуйки и Шперки понимаютъ, что благодати священства на немъ нѣтъ. Я думаю поэтому, что статья г. Розанова есть явленіе безпримѣрное въ прошломъ и, надо надѣяться, невозможное въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Бывали у насъ въ литературѣ случаи безобразнѣйшей полемики—безобразнѣйшей и по формѣ, и по существу, но ничего подобнаго всетаки не было; ибо ко всѣмъ обычнымъ неприличіямъ всѣхъ сортовъ неприличной полемики здѣсь прибавленъ еще этотъ якобы свыше вдохновенный тонъ. Одно изъ двухъ: или г. Розановъ лицемѣритъ, или онъ кощунствуетъ.

Гнусно прикоснуться ко всѣмъ подробностямъ пустосвятскаго увѣщанія г. Розанова, но остановимся на двухъ-трехъ пунктахъ не съ точки зрѣнія морали и приличія—какая ужъ тутъ мораль, какое приличіе!,—а съ точки зрѣнія самаго простого, азбучнаго здраваго смысла.

«Не смѣй осуждать»! кричитъ г. Розановъ и тутъ же прибавляетъ: «я тебя осудилъ». Правда, г. Розановъ «осудилъ» съ благою цѣлью: чтобы гр. Толстой радостно, а не уныло сошелъ во гробъ. Ну, конечно, какъ гр. Толстому, да и всѣмъ намъ, не обрадоваться, какъ не сказать: «нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ», когда объявился этакій... этакій пророкъ, судія и учитель, какъ г. Розановъ!..

Но г. Розановъ не только пророкъ, судія и учитель. Онъ кромѣ того еще и проницательнѣйшій литературный критикъ. Еще въ дѣтствѣ усмотрѣлъ онъ фальшь въ сценѣ смерти Платона Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ», и дальнѣйшія размышленія все болѣе и болѣе убѣждали его, что великій художникъ согрѣшилъ здѣсь противъ правды. Каратаева, въ числѣ прочихъ плѣнныхъ, ведутъ французы; дорогой онъ заболѣваетъ и не можетъ идти: французы его пристрѣливаютъ и идутъ дальше, подгоняя прочихъ, здоровыхъ плѣнныхъ; надъ трупомъ Каратаева воетъ приласканная имъ собачка. Изъ всего этого г. Розановъ заключаетъ, что гр. Толстой хотѣлъ сопоставить безчувственныхъ людей съ чувствительной собачкой и впалъ при этомъ въ художественную ложь, ибо люди въ дѣйствительности совсѣмъ не такъ дрянны, какими ихъ «лѣпитъ» гр. Толстой. Г. Буренинъ справедливо иронизируетъ по этому поводу: «Дѣло въ томъ, что люди, слѣпленные даже по самымъ совершеннымъ образцамъ, не могли-бы остаться съ больнымъ плѣнникомъ Каратаевымъ, не могли-бы оказать ему помощи, просто потому, что если-бы они сдѣлали попытку остаться, ихъ бы сейчасъ же пристрѣлили французы, какъ пристрѣлили они Каратаева. Собачка же осталась не потому, что Толстой слѣпилъ ее лучше и добрѣе людей, а потому, что она не считалась плѣнницей, ее не конвоировали французскіе солдаты, она была свободна вполнѣ и могла поступить какъ ей угодно».

Такимъ образомъ, г. Розановъ не потрудился даже сколько-нибудь внимательно прочитать то мѣсто произведенія гр. Толстого, на которомъ строитъ свой обвинительный актъ. Я ужъ не говорю о чувствахъ плѣнныхъ товарищей Каратаева: они изображены чертами, очевидно слишкомъ тонкими для пониманія г. Розанова. Но припомнимъ душевное состояніе пристрѣлившихъ Каратаева французовъ: «Они оба были блѣдны, и въ выраженіи ихъ лицъ—одинъ изъ нихъ робко взглянулъ на Пьера *(тоже плѣннаго)*—было что-то похожее на то, что онъ видѣлъ въ молодомъ солдатѣ на казни». А что онъ видѣлъ въ молодомъ солдатѣ (французѣ) на казни?

«Молодой солдатъ съ мертво-блѣднымъ лицомъ, въ киверѣ, свалившемся назадъ, спустивъ ружье, все еще стоялъ противъ ямы на томъ мѣстѣ, съ котораго онъ стрѣлялъ. Онъ, какъ пьяный, шатался, дѣлая то впередъ, то назадъ нѣсколько шаговъ, чтобы поддержать свое падающее тѣло. Старый солдатъ, унтеръ-офицеръ, выбѣжалъ изъ рядовъ и, схвативъ за плечо молодого солдата, втащилъ его въ роту. Толпа русскихъ и французовъ стала расходиться. Всѣ шли молча съ опущенными головами.—Это научитъ ихъ поджигать, сказалъ кто-то изъ французовъ. Пьеръ оглянулся на говорившаго и увидалъ, что это былъ солдатъ, который хотѣлъ утѣшиться чѣмъ-

нибудь въ томъ, что было сдѣлано, но не могъ. Не договоривъ начатаго, онъ махнулъ рукою и пошелъ прочь».

Если это не правдиво, если это клевета, а не любовное, а вмѣстѣ съ тѣмъ художественно тонкое выслѣживаніе лучшихъ сторонъ человѣческой природы даже въ моменты безсмысленной и жестокой бойни,—то, конечно, г. Розановъ есть праведный судія, вдохновенный учитель и глубокомысленный критикъ...

Г. Буренинъ сопоставляетъ завыванія г. Розанова съ якобы поэтическими произведеніями нашихъ декадентовъ и символистовъ и ставитъ ихъ за общую скобку кликушества или юродства. Но кликушество кликушествомъ, и можетъ быть не оно въ данномъ случаѣ особенно характерно. Кликуши бываютъ настоящіе больные, но бываютъ и симулянты, прекрасно себя чувствующіе, отлично устраивающіе свои дѣла и извлекающіе изъ своей симуляціи разныя выгоды. Выгоды очень разнообразныя: иной получаетъ при этомъ свой, по выраженію, кажется, г. Мамина, недурненькій кусочекъ хлѣба съ масломъ, а иной довольствуется болѣе идеальной выгодой. и даже не выгодой въ настоящемъ смыслѣ слова, а удовлетвореніемъ того чувства, которое нѣкогда побудило Герострата сжечь храмъ Діаны. Конечно, оба эти мотива могутъ дѣйствовать и единовременно, въ разныхъ сочетаніяхъ. Я думаю, что если господа, о которыхъ теперь рѣчь идетъ,—кликуши и юродивые, то во всякомъ случаѣ не настоящіе, а симулянты. Думаю далѣе, что г. Розановъ руководится больше аппетитомъ, хотя не прочь и отъ славы, а наши декаденты и символисты преимущественно соревнуютъ Герострату. Предпріятіе ихъ классическаго прототипа для нихъ, конечно, слишкомъ рискованно и отвѣтственно; они даже не рискнутъ нагишомъ на улицу выбѣжать, при всей заманчивой пикантности такого поступка, ибо знаютъ, что за этимъ послѣдуетъ совсѣмъ не символическій полицейскій участокъ, но безнаказанно выкинуть какую-нибудь непристойность они страстно желаютъ, и собственно затѣмъ, чтобы обратить на себя побольше вниманія,—вотъ онъ я! Не то, чтобы они непремѣнно сами по себѣ, по природѣ своей, непристойные люди; нѣтъ, они рады бы были писать стихи не хуже Пушкина и Лермонтова, но какъ-то у нихъ все хуже выходитъ; посредственными-же, хотя-бы и не дурными стихами на себя большого вниманія не обратишь, и вотъ они пишутъ непристойную въ художественномъ смыслѣ чепуху, чепушистость которой кричитъ, вопитъ, такъ что ее нельзя не услышать.

Вотъ четыре первыя стихотворенія изъ только-что вышедшаго сборника «Русскіе символисты»:

I.

Вотъ онъ стоитъ въ блестящемъ ореолѣ,
Въ заученной и неудобной позѣ,
Его рука протянута къ мимозѣ,
У ногъ его цитаты древнихъ схолій.

Оставь, уйдемъ! Нашъ міръ—фатаморгана,
Но правда есть и въ призрачномъ оазѣ:
То міръ земли на высотѣ фантазій,
То братъ Ормуздъ, обнявшій Аримана.

II.

Тѣнь несозданныхъ созданій
Колыхается во снѣ,
Словно лопасти латаній
На эмалевой стѣнѣ

Фіолетовыя руки
На эмалевой стѣнѣ.
Полусонно чертятъ звуки
Въ звонко-звучной тишинѣ.

И прозрачные кіоски
Въ звонко-звучной глубинѣ
Выростаютъ точно блестки
При лазоревой лунѣ.

Всходитъ мѣсяцъ обнаженный
При лазоревой лунѣ;
Звуки рѣютъ полусонно,
Звуки ластятся ко мнѣ.

Тайны созданныхъ созданій
Съ лаской ластятся ко мнѣ,
И трепещетъ тѣнь латаній
На эмалевой стѣнѣ.

III.

О закрой свои блѣдныя ноги.

IV.

Мертвецы, освѣщенные газомъ!
Алая лента на грѣшной невѣстѣ!
О! Мы пойдемъ цѣловаться къ окну!
Видишь, какъ блѣдны лица умершихъ?
Это—больница, гдѣ въ траурѣ дѣти...
Это—на льду олеандры...
Это—обложка романсовъ безъ словъ...
Милая, въ окна не видно луны
Наши души—цвѣтокъ у тебя въ бутоньеркѣ!

Увѣряю читателя, что я не позволилъ себѣ измѣнить хотя бы одно слово или прибавить или убавить хоть одну строчку, выпи-

сывая эти четыре якобы стихотворенія. Одинъ изъ ихъ составителей (потому что они составлены), г. Валерій Брюсовъ, издалъ еще отдѣльную «книгу» стиховъ. Онъ такъ и называетъ ее «книгой», хотя въ ней всего четыре печатныхъ листочка малаго формата. Но малъ золотникъ да дорогъ. Авторъ говоритъ въ предисловіи: «Печатая свою книгу въ наши дни, я не жду ей правильной оцѣнки ни отъ критики, ни отъ публики». Но далѣе оказывается еще великолѣпнѣе. О «нашихъ дняхъ» нечего и говорить: «не современникамъ и даже не человѣчеству завѣщаю я эту книгу, а вѣчности и искусству». И все это вздоръ. Вздоръ самыя стихотворенія, притомъ нисколько не оригинальный вздоръ, потому что всѣ эти «фіолетовыя руки», «звонко-звучныя тишины», «больницы, гдѣ въ траурѣ дѣти» и проч. украдены у французовъ; а нашихъ символистовъ только на то и хватаетъ, чтобы вымучить изъ себя тощую тетрадку подражаній и назвать ее «книгой». Вздоръ и «завѣщаніе этой книги вѣчности и искусству». Вздоръ не только самъ по себѣ, въ качествѣ безсмысленнаго сочетанія словъ, а и по отношенію къ г. Валерію Брюсову: никакого ему дѣла нѣтъ до вѣчности и искусства, и вовсе онъ «наши дни» не презираетъ. Напротивъ, онъ настоящій и любящій сынъ «нашихъ дней», когда можно безнаказанно городить вздоръ и «стоять въ блестящемъ ореолѣ въ заученной и неудобной позѣ»,—вотъ онъ я!

Безнаказанно... А развѣ не наказаніе эти насмѣшливые и вообще неблагопріятные отзывы критики и публики? Нѣтъ, не наказаніе. Для этихъ господъ геростратиковъ наказаніемъ было бы только полное молчаніе, и я очень хорошо понимаю, что доставляю г. Валерію Брюсову удовольствіе повтореніемъ его имени, какъ бы я объ немъ ни судилъ. Ему 21 годъ, какъ онъ самъ любезно сообщаетъ въ томъ же предисловіи къ своей «книгѣ». Передъ нимъ цѣлая перспектива жизни, и можетъ быть когда-нибудь онъ получитъ «просіяніе своего ума», и ему станетъ стыдно своихъ теперешнихъ глупостей. Привѣтствую этотъ моментъ будущаго, но и сейчасъ ничего не имѣю противъ того, чтобы доставить г. Брюсову удовольствіе распространеніемъ, по мѣрѣ моихъ силъ, его славы. Есть явленія, которыя должны развернуть во всю ширь всѣ свои задатки, чтобы ихъ нелѣпость стала для всѣхъ очевидною. Когда г. Мережковскій призывалъ символизмъ на русскую почву, онъ, конечно, соблазнялся «фіолетовыми руками» и «звонко-звучной тишиной», но едва-ли онъ предвидѣлъ всѣ эти «посвященія мнѣ и царицѣ Клеопатрѣ», «завѣщанія вѣчности и искусству» и проч. Не предвидѣлъ вѣроятно и геніальнаго однострочнаго стихотворенія:

О закрой свои блѣдныя ноги.

И надо радоваться, что все это, наконецъ, объявилось. Поэтому—слава г. Валерію Брюсову и всѣмъ, иже съ нимъ! Равнымъ образомъ и г. Розанову слава, потому что онъ воочію показалъ намъ, къ чему ведетъ пустосвятское ханжество и изувѣрство. Но теперь рѣчь о нашихъ декадентахъ и символистахъ. Сами по себѣ они со всѣми своими претензіями такія маленькія, хотя и пыжащіяся фигурки, что и говорить объ нихъ не стоило бы. Но во-первыхъ, отчего же не доставить имъ удовольствіе; тѣмъ болѣе, что «фіолетовыя руки» и «всходитъ мѣсяцъ обнаженный при лазоревой лунѣ»—могутъ всетаки позабавить читателей, или хоть напомнить имъ блаженныя времена дѣтства, когда было такъ смѣшно, что «Ѳекла ѣхала верхомъ въ раскидной каретѣ!» А во-вторыхъ, и въ малой каплѣ воды отражается солнце. Для сужденія объ общемъ характерѣ «нашихъ дней» и декаденты могутъ доставить не безъинтересный матеріалъ.

Что заставляетъ этихъ людей писать якобы стихи, лишенные не только смысла, а даже и музыкальнаго сочетанія звуковъ? Отвѣтъ явствуетъ изъ сопоставленія этихъ якобы стиховъ съ горделивыми «посвященіями» и «завѣщаніями»: жажда славы, желаніе быть на виду, при завѣдомомъ безсиліи достигнуть этого прямыми путями. Если бы г. Валерій Брюсовъ написалъ нѣсколько стихотвореній, подъ которыми не стыдно бы было подписаться кому-нибудь изъ нашихъ великихъ или даже только второстепенныхъ поэтовъ, а затѣмъ наполнялъ свои досуги писаніемъ декадентской чепухи, то мы сказали бы: да, это настоящій поэтъ, который можетъ, но, по какому-то странному капризу, не хочетъ. Теперь же мы должны сказать: вотъ маленькій человѣчекъ, который страстно хочетъ и никакъ не можетъ. Но прославиться можно вѣдь, такъ сказать, и на изнанку. А тутъ какъ разъ изъ Франціи протягиваются готовыя фіолетовыя руки. Отчего же не попробовать загресть жаръ этими чужими, хотя и фіолетовыми руками? Пусть люди смѣются, бранятся,—тѣмъ лучше: «шумимъ, братецъ, шумимъ!» А «наши дни» этому чрезвычайно способствуютъ. Не то, чтобы въ эти сѣрые, тусклые дни требованія логической, нравственной и художественной благопристойности были совсѣмъ забыты, но они какъ-то ослабѣли въ своемъ предупреждающемъ, устрашающемъ и карающемъ значеніи. Въ сущности, тѣ Чуйки и Шперки, которые можетъ быть апплодируютъ и безобразнымъ выходкамъ г. Розанова противъ гр. Толстого и сочувствіе которыхъ во всякомъ случаѣ сыграло свою роль въ этомъ возмутительномъ предпріятіи, весьма немногочисленны. Огромное же большинство читателей отлично понимаетъ цѣну этихъ выходокъ и осуждаетъ ихъ. Но осужденіе это, въ отдѣльныхъ единицахъ достигающее, надо думать, послѣднихъ предѣловъ негодо-

ванія и презрѣнія,—въ массѣ настолько робко и лишено энергіи, что г. Розановъ ни мало его не боится; мало того, онъ бравируетъ своею безобразною распущенностью. Точно также и декаденты. Всѣ понимаютъ, что ихъ стихи безсмысленны, некрасивы и бездарны, а «посвященія» и «завѣщанія» просто глупы, но отдѣльныя мнѣнія этихъ «всѣхъ» не слагаются въ общественное мнѣніе, достаточно сильное, чтобы этимъ господамъ стыдно стало. И имъ любо издѣваться надъ этимъ общественнымъ безсиліемъ,—вотъ онъ я! Въ этомъ-то безсиліи общественнаго мнѣнія и состоитъ, мнѣ кажется, характернѣйшая общая черта нашихъ дней. Люди здороваго ума и чувства есть, и ихъ даже не мало по нашему обиходу, но общества нѣтъ.

Мнѣ могутъ сдѣлать два замѣчанія. Скажутъ: сами же вы напоминаете объ иностранномъ происхожденіи всѣхъ этихъ «несозданныхъ созданій» и прочихъ вздоровъ, полученныхъ нами въ готовомъ видѣ изъ чужихъ «фіолетовыхъ рукъ» и у себя дома вызывающихъ тоже не мало насмѣшекъ и протестовъ. Значитъ, и тамъ, въ Европѣ, общественное мнѣніе столь же безсильно?, значитъ, и тамъ люди есть, общества нѣтъ? Нѣтъ, не значитъ. «Несозданныя созданія» тамъ возможны, возможны пожалуй и изувѣры въ родѣ г. Розанова, но тамъ они имѣютъ подъ собою извѣстную историческую почву, и въ той сложной пестротѣ, которую представляетъ собою европейская жизнь, можно различить не одно, а нѣсколько обществъ и нѣсколько общественныхъ мнѣній, въ сферѣ своего вліянія очень сильныхъ. А затѣмъ, возможны, конечно, отдѣльныя уродства, но за то у всѣхъ французовъ, у всѣхъ нѣмцевъ, у всѣхъ англичанъ, или, по крайней мѣрѣ, у громаднаго, подавляющаго большинства ихъ (примѣрно у «миліона безъ одного») есть извѣстный фондъ идей, неприкосновенный для всѣхъ партій и всѣхъ оттѣнковъ общественнаго мнѣнія. Безспорно, однако, что и западно-европейскія страны могутъ переживать и не разъ переживали такіе историческіе моменты, когда люди есть, а общества нѣтъ.

Другое возможное замѣчаніе состоитъ въ слѣдующемъ. Общественное мнѣніе есть мечъ обоюдоострый. Правда, оно можетъ охранять умственную, нравственную и художественную благопристойность, но оно же часто представляетъ собою тотъ рожонъ, на который натыкаются провозвѣстники новыхъ истинъ и просто люди съ большимъ умомъ и благороднымъ сердцемъ. Общественное мнѣніе отравило Сократа и засадило въ сумасшедшій домъ Чаадаева (по его собственному убѣжденію, это было дѣломъ общественнаго мнѣнія); общественное мнѣніе загубило Парнелля и прикрываетъ покровомъ стыдливости гнуснѣйшій развратъ; опираясь на рутину, оно душитъ всякую оригинальность; на подкладкѣ лицемѣрія или

искренняго тупоумія, оно убиваетъ и калѣчитъ тысячи свободныхъ душъ.

Повѣрили глупцы, другимъ передаютъ;
Старухи въ мигъ тревогу бьютъ—
И вотъ общественное мнѣнье!

Да, избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей... Въ настоящее время въ европейской научной литературѣ довольно дѣятельно разрабатывается вопросъ о «герояхъ и толпѣ», о коллективной или массовой психологіи, причемъ изслѣдователи нерѣдко приходятъ къ выводамъ, въ силу которыхъ надо бы было вывернуть на изнанку нашу поговорку: умъ хорошо, а два лучше,—умъ хорошо, а два хуже, а сотня умовъ еще хуже. Не трудно бы было доказать и чисто фактическую, и теоретическую, принципіальную несостоятельность такого обобщенія. Но что общественное мнѣніе есть обоюдоострый мечъ, это во всякомъ случаѣ достовѣрно, а потому и наше разсужденіе о безсиліи у насъ общественнаго мнѣнія требуетъ нѣкоторой поправки. Можетъ быть и хорошо, что оно безсильно? А можетъ быть, безсильное воздержать г. Розанова или г. Валерія Брюсова, оно сильно на что-нибудь другое?

Въ концѣ апрѣля нынѣшняго года саратовская судебная палата вынесла обвинительный приговоръ инсарскому исправнику Иванову (лишеніе нѣкоторыхъ правъ и тюремное заключеніе на 10 мѣсяцевъ и 20 дней), полицейскому уряднику Кретинину и разсыльному инсарскаго уѣзднаго полицейскаго управленія Панкову (лишеніе нѣкоторыхъ правъ и тюремное заключеніе на 6 мѣсяцевъ). Судились эти люди за варварскія истязанія крестьянъ при взысканіи податей. Много любопытныхъ, хотя и не новыхъ чертъ нашей общественной жизни раскрываетъ этотъ процессъ; я остановлюсь только на одной. Правосудіе сдѣлало свое дѣло, но, какъ пишетъ корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей», изъ показаній одного свидѣтеля, инсарскаго земскаго врача г. Каришнева, «выяснилось интересное отношеніе мѣстнаго общества къ преступленію Иванова и судьбѣ свидѣтеля (онъ теперь служитъ врачомъ въ хвалынскомъ земствѣ)... Вскорѣ послѣ его показанія у слѣдователя (не въ пользу Иванова), къ нему обращались многіе изъ мѣстныхъ жителей съ просьбою смягчить свое первоначальное показаніе, на что свидѣтель отвѣтилъ, что пусть смягчаютъ они его сами (т. е. показаніями противоположнаго характера), а онъ показывалъ по совѣсти и измѣнить показаніе не можетъ. Вскорѣ послѣ этого онъ, безъ всякаго повода съ его стороны, былъ удаленъ инсарскою земскою управою со службы. Между прочимъ, желая подорвать достовѣрность его показанія, про него пустили по городу слухъ, что онъ сошелъ съ ума».

«И вотъ общественное мнѣнье!»

Поразительно не то, что какой-то Ивановъ оказался звѣремъ,—это всегда и вездѣ возможно; не удивительно и то, что Кретининъ и Панковъ безпрекословно исполняли верварскія приказанія,—они люди подначальные. Но истинно поразительно заступничество цѣлаго общества, заступничество, переходящее даже въ месть честному человѣку, по совѣсти содѣйствовавшему цѣлямъ правосудія. И въ роли исполнителя этой мести выступилъ органъ самоуправленія, которому, казалось бы, больше, чѣмъ когда-нибудь, слѣдовало бы стоять нынѣ на высотѣ своего призванія...

Читатель, сколько-нибудь вглядывавшійся въ нашу жизнь, знаетъ, что она очень богата разнообразными варьяціями на тему разсказаннаго эпизода, только не всегда онѣ обнаруживаются: для этого нужны экстренныя обстоятельства, преимущественно судебная гласность. Во всякомъ случаѣ, есть же, значитъ, у насъ общественное мнѣніе. Инсарское общественное мнѣніе оцѣнило высокія качества Иванова и не одобрило поведенія доктора Каришнева, и высказалось въ этомъ смыслѣ; не только высказалось, а и затѣяло цѣлое предпріятіе; если же это предпріятіе въ концѣ концовъ оказалось неудачнымъ, то это уже вина стороннихъ обстоятельствъ. Итакъ, поправка необходима: общественное мнѣніе у насъ есть. Но, страннымъ образомъ, только одна изъ сторонъ этого обоюдоостраго меча рѣжетъ, рубитъ, колетъ, а другая—такъ тупа, заржавлена, бездѣятельна и безсильна, что и меча не напоминаетъ. Да и въ другихъ отношеніяхъ едва-ли приличествуетъ нашему общественному мнѣнію названіе меча. Мечъ, это вѣдь символъ силы губительной и можетъ быть грубой, но открытой и въ этомъ смыслѣ благородной, предпочитающей борьбу грудь съ грудью, съ жаждой побѣды, но и съ рискомъ пораженія. А это—«и пращъ, и стрѣла, и лукавый кинжалъ», и все, что хотите—только не мечъ.

Немудрено, что это общественное мнѣніе презираютъ, что надъ нимъ издѣваются даже въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нему апеллируютъ.

Года три тому назадъ въ Серпуховѣ умеръ нѣкто князь Василій Васильевичъ Вяземскій. Умеръ онъ 80-ти слишкомъ лѣтъ, но при жизни о немъ не было слышно за предѣлами его мѣстожительства. Послѣ же смерти люди, знавшіе князя, гг. Мантейфель, Обнинскій, Корсаковъ разсказали о немъ много чрезвычайно любопытныхъ вещей. Оказалось, что это была личность, въ высокой степени замѣчательная по своимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, равно какъ и по своему оригинальному образу жизни. Онъ жилъ одиноко, въ маленькомъ домикѣ въ лѣсу; питался самою простою пищею, одѣвался больше, чѣмъ просто и бѣдно; всѣ деньги, какія

ему попадались въ руки, раздавалъ нуждающимся, всегда готовъ былъ подать добрый совѣтъ; высказывалъ при случаѣ высоко гуманныя идеи, которымъ и въ жизни слѣдовалъ; любилъ физическій трудъ, но занимался также наукою и высоко цѣнилъ искусство. Во всемъ этомъ было кое-что чудаческое, но вмѣстѣ съ тѣмъ люди, знавшіе его, сообщили объ немъ столько возвышенныхъ чертъ и эпизодовъ, что становились совершенно понятными любовь и уваженіе къ нему мѣстныхъ жителей. Понятно, однако, также, что не всѣ и не за все были благосклонны къ князю, но съ него нечего было взять, и его оставили, наконецъ, въ покоѣ, по выраженію, сообщаемому г. Корсаковымъ, «въ разсужденіи его неуязвимости по отношенію къ гражданскимъ законамъ». О князѣ заговорили въ газетахъ; поговорили и, конечно, скоро замолчали бы, потому что, при всей своей оригинальности и при всѣхъ своихъ достоинствахъ, онъ не оставилъ послѣ себя какого-нибудь такого осязательнаго духовнаго наслѣдства, которое напоминало бы объ немъ потомству. Благодарная или даже благоговѣйная память объ немъ могла бы, конечно, еще долго жить въ средѣ людей, его знавшихъ, но собственно такъ называемая «большая публика», читатели газетъ и журналовъ, съ интересомъ выслушавъ разсказы о князѣ, не имѣла дальнѣйшихъ, хронически дѣйствующихъ поводовъ имъ заниматься. Это не типъ, а единица, и въ общей картинѣ нашего умственнаго броженія занимаетъ совершенно одинокое мѣсто, ибо не было у него подражателей и учениковъ и не оставилъ онъ обществу въ цѣломъ какого-нибудь ученія или другихъ долговѣчныхъ слѣдовъ своей жизни. Однако, прахъ его былъ скоро потревоженъ съ всероссійскими, такъ сказать, цѣлями.

Первымъ выступилъ г. Боборыкинъ. Этотъ плодовитый писатель, съ великою поспѣшностью хватающійся за всякій, хотя бы и чисто случайный и не типическій матеріалъ для беллетристической эксплоатаціи, изобразилъ князя Вяземскаго въ романѣ «Перевалъ» подъ именемъ князя Жеребьева-Зарайскаго. Это, конечно, дѣло вполнѣ невинное. Другой человѣкъ великой поспѣшности, г. Сементковскій, уже много лѣтъ выбивающійся изъ силъ, чтобы предъявить публикѣ что-нибудь свѣжее и оригинальное, поступилъ гораздо хуже. Онъ напечаталъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» статью, въ которой, восхваляя кн. Вяземскаго, сдѣлалъ изъ покойника нѣкоторое стѣнобитное орудіе для разрушенія славы гр. Толстого. Я отнюдь не поклонникъ гр. Толстого въ новѣйшей фазѣ его развитія и въ послѣдній періодъ его славы, но пріемы г. Сементковскаго отнюдь не колеблютъ этой славы и могутъ только,—смотря по темпераменту или настроенію читателя,— или возмутить своею злобностью или насмѣшить своею нелѣпостью. Г. Сементковскій хочетъ доказать «полное совпаденіе

жизни и дѣятельности князя Василія Вяземскаго съ нравственно-философскимъ ученіемъ графа Льва Толстого». Кн. Вяземскій давно практически осуществилъ то, что теперь теоретически проповѣдуетъ гр. Толстой. Послѣдній есть «ученикъ» перваго, «копируетъ» его, «точка въ точку списываетъ». Г. Сементковскій, оскорбленный въ своихъ лучшихъ чувствахъ, негодуетъ, что о князѣ Вяземскомъ заговорили только послѣ его смерти, да и то не надолго, «въ то время, какъ провозвѣстники его идей шумѣли не только на всю Россію, но и на всю Европу». Нелѣпость этихъ ядовитостей очевидна. Во-первыхъ, ни одинъ изъ писавшихъ о кн. Вяземскомъ на основаніи какъ личнаго знакомства съ нимъ, такъ и слуховъ, не сообщаетъ о знакомствѣ его съ гр. Толстымъ. По всей вѣроятности, о самомъ существованіи кн. Вяземскаго гр. Толстой узналъ, какъ и мы съ г. Сементковскимъ, уже по прекращеніи этого существованія, изъ некрологовъ гг. Мантейфеля и Обнинскаго. Во всякомъ случаѣ, г. Сементковскій даже не подумалъ о томъ, чтобы представить хотя какія-нибудь доказательства знакомства графа съ княземъ или его идеями. Далѣе, нынѣ, кажется, достаточно выяснено критикою, что, при всей перемѣнчивости мнѣній гр. Толстого, задатки его теперешней проповѣди находятся уже въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ, — въ «Утрѣ помѣщика», «Казакахъ», педагогическихъ статьяхъ и проч., а эти произведенія написаны раньше, чѣмъ кн. Вяземскій поселился въ лѣсной избушкѣ въ Серпуховскомъ уѣздѣ. Наконецъ, какъ бы ни были сходны нѣкоторыя черты жизни и дѣятельности графа и князя, между ними есть такія рѣзкія и существенныя различія, что о «списываніи точка въ точку» нельзя и подумать.

Если, однако, у графа Толстого есть яростные враги-изувѣры вродѣ г. Розанова, то есть у него и не менѣе пылкіе почитатели и заступники. Сопоставленіе князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ возмутило г. Меньшикова, но, къ сожалѣнію, онъ тоже обнаружилъ чрезмѣрную поспѣшность, и эта чрезмѣрность оказалась горше предъидущей, не говоря уже о невинной торопливости г. Боборыкина.

Казалось бы, вышеприведенныхъ чисто фактическихъ соображеній совершенно достаточно для признанія выводовъ г. Сементковскаго безапелляціонно вздорными. Заинтересованному почему-нибудь всей этой исторіей стоило только отмѣтить ихъ фактическую несообразность. Но именно эта-то сторона дѣла и не обратила на себя вниманія г. Меньшикова. Въ его распоряженіи оказался только одинъ аргументъ: «Кто угодно на свѣтѣ можетъ «списывать точка въ точку», только не Толстой! Съ его-то творческимъ талантомъ — списывать! Съ его оригинальностью въ каждомъ звукѣ — подра-

жать!» («Книжки Недѣли», № 8). Какъ бы, однако, мы ни были увѣрены въ творческой силѣ графа Толстого, мы не можемъ въ данномъ случаѣ на нее ссылаться, потому что поэтическаго таланта графа г. Сементковскій не затрагиваетъ, а что касается творчества въ области идей, то его-то и слѣдуетъ еще доказать или оградить отъ подозрѣній, если ужъ поднимать перчатку, брошенную г. Сементковскимъ. Понятно, что единственный аргументъ г. Меньшикова не могъ удовлетворить его самого. «Въ совпаденіи князя Вяземскаго и графа Толстого,—говоритъ онъ,—я чувствовалъ что-то темное, требующее разъясненія». И иного средства г. Меньшиковъ для разъясненія не нашелъ, какъ настоящее «дознаніе» (такъ статья и озаглавлена: «Дознаніе»): онъ поѣхалъ въ Серпуховскій уѣздъ съ цѣлью на мѣстѣ собрать свѣдѣнія о жизни и дѣятельности князя Вяземскаго. Какъ совершалъ онъ свое «дознаніе» и къ какимъ результатамъ оно его привело, мы сейчасъ увидимъ. Но сначала посмотримъ, какъ онъ себя передъ этимъ дознаніемъ взвинчивалъ,— я не могу придумать другое выраженіе. Г. Меньшиковъ всячески старается увѣрить себя и насъ, что совпаденіе жизни и идей графа Толстого и, насколько онѣ были извѣстны до «дознанія», князя Вяземскаго—дѣйствительно «поразительно». Въ самомъ дѣлѣ, графъ Толстой аристократическаго происхожденія и князь Вяземскій аристократъ по рожденію; одинъ служилъ на Кавказѣ, и другой тоже; одинъ говоритъ, что евангеліе есть великая книга, и другой тоже: одинъ проповѣдуетъ любовь къ ближнему и трудовую жизнь, и другой тоже; одинъ, разочаровавшись въ цивилизаціи, отказался отъ ея призрачныхъ благъ и «опростился», и другой тоже. Все это, по мнѣнію г. Меньшикова, столь поразительно, что становится даже подозрительнымъ: ужъ нѣтъ-ли со стороны писавшихъ о князѣ Вяземскомъ намѣренія выставить конкурента славѣ графа Толстого, нѣтъ-ли комплота, который слагался исподволь и получилъ, наконецъ, полное выраженіе въ статьѣ г. Сементковскаго? И г. Меньшиковъ возревновалъ...

Присмотрѣвшись, однако, къ тѣмъ даннымъ, которыя показались г. Меньшикову столь поразительными, мы едва-ли найдемъ основанія для ревности. Что же дѣлать, если князь Вяземскій былъ дѣйствительно князь Вяземскій, рюриковичъ, аристократъ по рожденію, и если онъ служилъ на Кавказѣ? Притомъ же, этого рода совпаденія слишкомъ обыкновенны и не существенны, и ихъ смѣло можно бы было оставить въ сторонѣ, а не ставить на счетъ предполагаемому комплоту. Проповѣдь величія евангелія и любви къ ближнему,—но неужели это такая рѣдкость, что второй экземпляръ проповѣдника долженъ уже возбуждать сомнѣнія и какъ бы перебивать дорогу остальнымъ? Конечно, сходство между жизнью и

дѣятельностью князя Вяземскаго и графа Толстого не ограничивается такими общими чертами, но почитателю *идей* графа Толстого слѣдовало, казалось бы, только радоваться, что вотъ и еще одинъ человѣкъ пришелъ къ истинѣ. Самъ графъ Толстой, конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ прочиталъ некрологи князя Вяземскаго. Наконецъ, сходство сходствомъ, а есть вѣдь и рѣзкія различія. Напримѣръ, г. Меньшиковъ уловляетъ такое сходство: и графъ, подобно Вяземскому, «занимался разными науками и музыкой». Это вѣрно, но надо же соображать: графъ въ теченіе своей жизни пережилъ такія разнообразныя отношенія къ «разнымъ наукамъ и музыкѣ», о которыхъ у князя и помину нѣтъ; а между тѣмъ, отношенія графа къ наукѣ и искусству представляютъ одинъ изъ характернѣйшихъ для него пунктовъ. Г. Корсаковъ сообщаетъ, что князь «неохотно велъ разговоры на нравственно-соціальныя темы и тѣмъ болѣе избѣгалъ какихъ бы то ни было споровъ», а о какихъ-нибудь попыткахъ пропагандировать свои идеи путемъ печатнаго слова ни одинъ некрологъ даже не заикается. Опять, какая огромная, рѣзкая разница. Тотъ же г. Корсаковъ, проникнутый уваженіемъ къ памяти князя Вяземскаго, сообщаетъ, что если ему случалось разговориться въ интимномъ кружкѣ, то «все высказываемое княземъ не представляло собою чего-либо новаго». Мы знаемъ, что графъ Толстой неустанно сообщаетъ намъ что-нибудь, и по его собственному убѣжденію, и по убѣжденію его почитателей — новое, а подчасъ и дѣйствительно нѣчто дотолѣ неслыханное.

Словомъ, ни въ некрологахъ Вяземскаго, ни въ ядовитостяхъ г. Сементковскаго не было рѣшительно ничего такого, что оправдывало бы ревность г. Меньшикова и предпріятіе «дознанія». Но онъ предпринялъ. Въ Серпуховскомъ уѣздѣ онъ поселился у тамошняго помѣщика А. П. Мантейфеля, того самого, который написалъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» первый некрологъ Вяземскаго (некрологъ былъ подписанъ «А. М—фель», но теперь, въ новой, вызванной «дознаніемъ» статьѣ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», г. Мантейфель подписался полностью). Г. Меньшиковъ разсказываетъ: «Въ теченіе мѣсяца, пользуясь гостепріимствомъ А. П. Мантейфеля, я обошелъ мѣста скитальчества князя на берегахъ Нары и разспросилъ нѣсколько десятковъ «свѣдущихъ людей» — дворянъ, духовныхъ лицъ, крестьянъ, видѣвшихъ воочію «великаго подвижника», ѣздилъ въ Серпуховъ и розыскалъ тамъ нѣсколько лицъ, указанныхъ въ біографіи, писанной г. Корсаковымъ». Результатъ получился уже дѣйствительно поразительный: ни одинъ изъ «свѣдущихъ людей» не сказалъ добраго слова о князѣ Вяземскомъ. Это былъ человѣкъ невѣжественный, жестокій, самодуръ, пьяница, развратникъ, циникъ, сплетникъ; словомъ, нѣтъ грѣха, которымъ бы не былъ грѣшенъ

князь Вяземскій, нѣтъ порока, который не пятналъ бы его, а нѣкоторые «свѣдущіе люди» доводили свою аттестацію до градусовъ «подлеца», «мерзавца», «людоѣда»... Что же это такое? Еще куда бы ни шло, еслибы князь оказался обыкновеннымъ человѣкомъ, подобно всѣмъ намъ, имѣющимъ свои свѣтлыя и темныя стороны, а здѣсь это сплошной мракъ, какое-то адское исчадіе...

Такой удивительный результатъ дознанія обязывалъ, конечно, г. Меньшикова подумать о мотивахъ людей, поднявшихъ людоѣда на незаслуженный пьедесталъ. Убѣжденіе въ существованіи комплота противъ графа Толстого, повидимому, ослабѣло въ г. Меньшиковѣ во время дознанія, но за то явились многія драгоцѣнныя частныя соображенія. Напримѣръ: «*какъ говорятъ*, г. Мантейфель былъ предрасположенъ къ довѣрчивости относительно князя особою причиною: г. Мантейфель хорошій піанистъ, и князь являлся въ деревнѣ не только единственнымъ его слушателемъ, но и страстнымъ поклонникомъ». Далѣе, «необходимо принять въ разсчетъ также укоренившуюся въ нашихъ нравахъ привычку къ офиціальной лжи: человѣка, завѣдомо дурного, если онъ чиновный или титулованный, мы въ юбилейныхъ рѣчахъ, за тостами и въ некрологахъ превозносимъ, какъ «замѣчательнаго», «честнаго, энергическаго дѣятеля», «высокоталантливаго», «заслуженнаго» и т. п. Въ этомъ сказывается византизмъ русской жизни, насквозь пропитанный ложью. Насколько ложь въ нашихъ нравахъ: *мнѣ разсказывали* про одного серпуховскаго помѣщика (восхищающагося безкорыстіемъ князя Вяземскаго): будучи человѣкомъ богатымъ, онъ, покупая что-нибудь въ магазинѣ, нанимая извозчика и т. п., всегда плачется, что раззорился, что у него полный неурожай, и сочиняетъ при этомъ цѣлыя трогательныя исторіи. Ѣдетъ по желѣзной дорогѣ—16-лѣтняго сына выдаетъ за 10-лѣтняго, старается провезти даромъ и т. п.». Наконецъ, и еще одно соображеніе. Злого умысла біографы князя Вяземскаго не имѣли, они исказили его дѣйствительный образъ «подъ гипнозомъ моды», подъ давленіемъ толстовскаго ученія...

Очевидно, г. Меньшиковъ не даромъ съѣздилъ въ Серпуховскій уѣздъ. Онъ собралъ тамъ множество драгоцѣнныхъ свѣдѣній, которыми и поспѣшилъ подѣлиться съ читателями «Недѣли». Что «чиновныхъ и титулованныхъ» часто хвалятъ въ некрологахъ, что называется, зря,—это г. Меньшиковъ, конечно, и до путешествія въ Серпуховъ зналъ. Да если немножко подумать, такъ вѣдь это не имѣетъ никакого отношенія къ данному случаю: чиновнымъ человѣкомъ Вяземскій не былъ (отставной поручикъ или подпоручикъ), а княжескій титулъ, хотя и носилъ, но носилъ до такой степени безъ соотвѣтственнаго блеска, что смѣшно и говорить о

возможности чьего-нибудь ослѣпленія этимъ блескомъ. Что ученіе графа Толстого «въ модѣ» (вѣрнѣе сказать: *было* въ модѣ), это тоже г. Меньшиковъ еще въ Петербургѣ зналъ, но это еще не резонъ превращать въ героя на толстовскій образецъ именно «людоѣда». Но за то г. Меньшиковъ узналъ на мѣстѣ, что г. Мантейфель прекрасный піанистъ и способенъ за похвалу ему, какъ виртуозу, возвеличить завѣдомаго злодѣя. Узналъ еще г. Меньшиковъ и о томъ, какъ «одинъ серпуховскій помѣщикъ» разговариваетъ въ лавкахъ, съ извозчиками, съ кондукторами желѣзныхъ дорогъ... А это, конечно, все очень важно и должно быть доведено до свѣдѣнія читателей «Недѣли»...

Г. Мантейфель возражалъ г. Меньшикову въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» и «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Мнѣ извѣстно только первое изъ этихъ возраженій. Г. Меньшиковъ получилъ отъ «свѣдущихъ людей» прямыя опроверженія некрологовъ Вяземскаго: все это ложь, князь былъ злодѣй, пьяница, насиловалъ 12-лѣтнихъ дѣвочекъ и проч. Г. Мантейфель сообщаетъ теперь, что тѣ же самые «свѣдущіе люди» отрицаютъ показанія г. Меньшикова: онъ все выдумалъ, и никогда они ничего подобнаго ему не говорили. Скучно перебирать отзывы Гаврилы-повара, бабки Анны, помѣщицы N и т. д., но, по словамъ г. Мантейфеля, одни изъ нихъ въ болѣе или менѣе рѣзкихъ выраженіяхъ обличаютъ г. Меньшикова въ неправдѣ, а другіе по такимъ-то и такимъ-то соображеніямъ не заслуживаютъ никакого довѣрія. Тогда г. Меньшиковъ опять напечаталъ въ «Недѣлѣ» статью подъ заглавіемъ «Литературное (?) слѣдствіе», въ которой, на основаніи подлинныхъ документовъ (онъ предлагаетъ желающимъ видѣть ихъ въ редакціи «Недѣли»), опровергаетъ опроверженія г. Мантейфеля и объявляетъ, что послѣднему «нельзя вѣрить ни въ одной буквѣ»... Онъ сообщаетъ, между прочимъ, одну любопытную подробность. О князѣ Вяземскомъ г. Корсаковъ писалъ еще въ 1877 г., и именно въ «Недѣлѣ» же, въ статьѣ «Князь-крестьянинъ», гдѣ Вяземскій назывался княземъ Пряниковымъ. Его образъ жизни описывался тамъ такими же чертами, какъ и въ теперешнихъ некрологахъ,—значитъ, повидимому, было же что-нибудь подобное въ дѣйствительности; но въ той же статьѣ сообщалось о смерти и похоронахъ князя,—за 15 лѣтъ до его дѣйствительной смерти... Мы попадаемъ такимъ образомъ въ какое-то безбрежное море лжи и сплетенъ, въ которомъ не разберешь: кто же лжетъ? и зачѣмъ?

Г. Меньшиковъ называетъ свою вторую статью «Литературное слѣдствіе». Мнѣ кажется, что литературнаго здѣсь очень мало. Г. Меньшиковъ взываетъ къ «общественному мнѣнію». И я готовъ

воззвать къ нему же... Но прежде одна маленькая оговорка. Когда попадаешь въ такую странную и непристойную кашу, какая заварилась на могилѣ князя Вяземскаго, надо принять всѣ предосторожности, чтобы ея брызги не попали какъ-нибудь и въ тебя. «Русскія Вѣдомости» выразили, между прочимъ, предположеніе, что г. Меньшиковъ «заранѣе задался мыслью доказать, что жизнь Вяземскаго не походила на ученіе Л. Н. Толстого» и что «эта предвзятость мысли отразилась на способахъ дознанія». Г. Меньшиковъ во второй своей статьѣ не безъ ироніи отзывается объ этой «неудачной попыткѣ прочесть въ его сердцѣ». Онъ объясняетъ, что если и былъ предубѣжденъ, то въ пользу князя. «*До своего пріѣзда* на мѣсто дознанія—говоритъ онъ—я былъ не оскорбленъ, а восхищенъ типомъ князя-пустынника и именно близостью его къ высокому нравственному ученію Л. Н. Толстого». Свое восхищеніе онъ успѣлъ выразить и печатно, и—продолжаетъ г. Меньшиковъ—«редакція «Посредника» въ Москвѣ можетъ удостовѣрить, что я ѣхалъ къ г. Мантейфелю, между прочимъ, съ порученіемъ отъ нея собрать все, что можно, о князѣ и написать житіе его, какъ великаго праведника-народолюбца для народныхъ изданій».—Прочитавъ эти строки, я испугался. Выше я утверждалъ, что г. Меньшиковъ поѣхалъ въ Серпуховъ для разъясненія недоумѣній, возбужденныхъ въ немъ подозрительнымъ сходствомъ князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ. Оказывается, что я сказалъ неправду или неудачно читалъ въ сердцѣ г. Меньшикова: никакихъ недоумѣній и подозрѣній у него не было, а ѣхалъ онъ съ твердою увѣренностью въ истинности разсказовъ о Вяземскомъ и только на мѣстѣ (да и то, какъ видно, не съ разу) убѣдился въ ихъ лживости. Да, я очевидно написалъ неправду, и г. Меньшиковъ можетъ сослаться, для уличенія меня, на документы, свидѣтелей и прочіе элементы дознанія и слѣдствія... Однако, вѣдь и я собственно не въ сердцѣ г. Меньшикова читалъ, а въ его собственной статьѣ, гдѣ значится буквально слѣдующее: «Въ совпаденіи князя Вяземскаго и графа Толстого я чувствовалъ что-то темное, требующее разъясненія. Я рѣшилъ поѣхать въ Серпуховскій уѣздъ на мѣсто, гдѣ жилъ и дѣйствовалъ князь Вяземскій, и собрать болѣе подробныя свѣдѣнія о немъ». Итакъ, съ какими же чувствами и съ какими цѣлями ѣхалъ г. Меньшиковъ въ Серпуховъ: съ чувствами «восхищенія» передъ совпаденіемъ князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ и съ полною вѣрою въ истинность разсказовъ о князѣ, или же, напротивъ того, онъ чувствовалъ, что тутъ есть «что-то темное» и «требующее разъясненія»?, съ цѣлью произвести «дознаніе», какъ и озаглавлена его первая статья, или же съ цѣлью написать «житіе праведника», какъ онъ объясняетъ во второй статьѣ? Въ сердцѣ г. Меньшикова

читать не берусь, а въ статьяхъ его, какъ читатель видитъ, написано разное...

Г. Меньшиковъ призываетъ общественное мнѣніе... Да существуетъ-ли оно, это общественное мнѣніе, если надъ нимъ можно до такой степени издѣваться?! А вѣдь издѣвается въ нелѣпой исторіи съ княземъ Вяземскимъ не одна которая-нибудь изъ сторонъ, уличающихъ другъ друга во лжи. Мнѣ думается, что покойный князь не былъ ни тѣмъ мрачнымъ злодѣемъ, какимъ его рисуетъ г. Меньшиковъ, ни тѣмъ святымъ, какимъ его изображаютъ некрологи, но были въ немъ нѣкоторыя оригинальныя черты, давшія поводъ къ двухстороннему издѣвательству надъ общественнымъ мнѣніемъ. Рыться во всѣхъ подробностяхъ этихъ возвеличеній и униженій покойника, равно какъ и взаимныхъ уличеній во лжи возвеличивающихъ и унижающихъ, — и противно, и скучно. Но достаточно и того немногаго, что приведено выше. Съ какой, напримѣръ, стати г. Корсаковъ похоронилъ князя за 15 лѣтъ до его смерти? Или, съ какой стати г. Меньшиковъ занимаетъ насъ уѣздными сплетнями о томъ, какъ торгуется, съ лавочниками и извозчиками «одинъ серпуховскій помѣщикъ»? Съ какой стати онъ же съ равною горячностью разсказываетъ о томъ, что онъ ѣхалъ производить «дознаніе», и о томъ, что онъ ѣхалъ писать «житіе»? Зачѣмъ вообще вся эта куча лжи?—потому что лжи тутъ во всякомъ случаѣ не оберешься, это съ яростью доказываютъ обѣ стороны.

«Мало-ли что говорится подъ давленіемъ пустоты и удушливой скуки провинціальнаго прозябанія?» Это слова г. Мантейфеля, цитируемыя г. Меньшиковымъ Я не знаю, откуда именно они взяты и что хочетъ объяснить ими г. Мантейфель. Но въ словахъ этихъ заключается во всякомъ случаѣ доля объясненія всего эпизода. Я воображаю, какъ оживилъ Серпуховскій край г. Меньшиковъ своимъ появленіемъ и разспросами помѣщиковъ, священниковъ, Гаврилы-повара, бабки Анны... Какой роскошный пиръ ума и сердца! Какъ захлебывались всѣ эти скучающіе, мохомъ обросшіе люди, удовлетворяя любознательности слѣдователя-добровольца и сообщая ему все имъ извѣстное и неизвѣстное, о князѣ Вяземскомъ и совсѣмъ не о князѣ Вяземскомъ. Нельзя, однако, ставить все на счетъ именно «провинціальному прозябанію». Вѣдь вотъ и столичный человѣкъ, г. Меньшиковъ, писатель, привыкшій, повидимому, къ обширнымъ горизонтамъ, а посмотрите, съ какою жадною торопливостью записывалъ онъ въ своей памяти все слышанное имъ отъ серпуховскихъ обывателей. Пріѣхалъ собирать свѣдѣнія о князѣ Вяземскомъ, но расходившійся Гаврила-поваръ или бабка Анна разсказали еще объ «одномъ серпуховскомъ помѣщикѣ»: давай и его сюда!..

Пока я писалъ все это, въ печати появился еще одинъ доку-

ментъ по тому же дѣлу. Г. Меньшиковъ ссылался, между прочимъ, на отношеніе къ князю Вяземскому г. Шнейдера. Послѣдній напечаталъ теперь въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» письмо, въ которомъ, изложивъ факты, насколько они его касаются, пишетъ: «Изъ этого фактическаго изложенія видно, что князь Вяземскій никогда не былъ старшимъ сторожемъ въ серпуховской больницѣ и что фразы, приписанной мнѣ о покойномъ: «надо убрать эту тварь, чтобы по свѣту не бродила», я не говорилъ и сказать не могъ. Серпуховскимъ предводителемъ дворянства я никогда не былъ, а былъ предсѣдателемъ земской управы. Все это заставляетъ придти къ заключенію, что г. Меньшиковъ для своего «Дознанія» пользовался свидѣтелями, не заслуживающими довѣрія и сообщавшими ему совершенно невѣрныя данныя».

Этимъ дѣло не кончится. По всей вѣроятности много еще будетъ возраженій, опроверженій и возраженій на возраженія; г. Меньшиковъ вызываетъ даже желающихъ ѣхать съ нимъ вмѣстѣ въ Серпуховъ для вторичнаго «дознанія». Но я уже слѣдить за всѣмъ этимъ не полагаю нужнымъ. Дѣло, кажется, достаточно выяснилось, если, конечно, разумѣть надо «дѣломъ» не личность князя Вяземскаго,— она нисколько не выяснилась, — а характеръ всей этой исторіи, давшій поводъ разгуляться лжи и сплетнѣ въ размѣрахъ, едва-ли возможныхъ въ другое время. И хотя всѣ участники исторіи апеллируютъ къ общественному мнѣнію, но большаго неуваженія къ этой апелляціонной инстанціи трудно себѣ и представить.

Если, однако, у насъ нѣтъ достаточно сложившагося и сильнаго, уважаемаго общественнаго мнѣнія, то за-то какой просторъ предоставляется оригинальности! Да оно и естественно: это вѣдь оборотная сторона той же медали,—не стѣсняемая требованіями общественнаго мнѣнія личная оригинальность проявляется въ полномъ блескѣ. И развѣ въ самомъ дѣлѣ не оригинальна мысль публично обратиться къ гр. Толстому «на ты» съ поученіями и обличеніями à la г. Розановъ?, или идея посвятить свои сочиненія «мнѣ и царицѣ Клеопатрѣ», «вѣчности и искусству»?, или мысль превратить завѣдомаго злодѣя въ святого или, наоборотъ, святого въ злодѣя?, или идея поднять до высоты всероссійскаго интереса разговоры «одного серпуховскаго помѣщика» съ лавочниками и извозчиками? О! оригинальными идеями у насъ теперь хоть прудъ пруди. Идея, по опредѣленію Гейне, есть всякая глупость, которая вамъ придетъ въ голову. Я думаю, что онъ разумѣлъ при этомъ что-нибудь въ родѣ нашихъ теперешнихъ оригинальныхъ идей. Оригинальность есть вѣдь тоже обоюдоострое оружіе. Кн. Вяземскій оригиналенъ въ обо-

ихъ варьянтахъ своего портрета. Оригиналенъ геній, оригиналенъ и идіотъ. Я не хочу этимъ сказать, чтобы нашимъ теперешнимъ оригиналамъ предстоялъ непремѣнно выборъ между геніальностью и идіотизмомъ, но всетаки они, я думаю, въ большинствѣ случаевъ немножко дальше отъ первой, чѣмъ отъ послѣдняго. И сколько оригинальныхъ идей только еще «пришло въ головы» и ждетъ случая для своего выраженія!

«Нужна-ли совѣсть? Вопросъ этотъ, къ сожалѣнію, не настолько безспоренъ, чтобы невозможны были въ немъ разнорѣчія». Такъ начинается статья г. Меньшикова «Совѣсть и знаніе», напечатанная въ іюльской книжкѣ «Русской Мысли». Вотъ какіе глубокіе, коренные вопросы ставитъ и разрѣшаетъ нынѣ печать: нужна-ли совѣсть?! Надо замѣтить, что статья г. Меньшикова полемизируетъ съ одной статьей г. О. Т. В. въ той же «Русской Мысли», а печатая статью г. Меньшикова въ іюлѣ, редакція московскаго журнала сопроводила ее слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Охотно помѣщая, въ виду важности и сложности вопроса, статью г. Меньшикова, мы предоставимъ отвѣтить на нее г. О. Т. В. въ слѣдующей книгѣ нашего журнала». Почтенная редакція исполнила свое обѣщаніе, предоставила отвѣтить г. О. Т. В. въ слѣдующей книжкѣ, и въ результатѣ дебатовъ получился единогласный успокоительный отвѣтъ: совѣсть нужна. Ну, слава Богу! Можно было, однако, заранѣе ожидать, что дебатирующіе придутъ къ соглашенію именно въ томъ смыслѣ, что совѣсть нужна, потому что хотя вопросъ и «важный и сложный», допускающій «разнорѣчія», и сразу, не подумавши, отвѣтить на него трудно, но всетаки едва-ли возможна оригинальность въ его разрѣшеніи. Оригинальна и характерна для нашего времени здѣсь только самая постановка вопроса: нужна-ли совѣсть?

Я, впрочемъ, не на эту оригинальность хотѣлъ обратить ваше вниманіе, а на приводимый г. Меньшиковымъ отрывокъ изъ письма къ нему г. Тверского, автора извѣстныхъ очерковъ американской жизни, печатавшихся въ «Недѣлѣ» и «Вѣстникѣ Европы». Я долженъ признаться, что недостаточно знакомъ съ произведеніями г. Тверского, и потому приведу ихъ общую характеристику словами г. Меньшикова: «Въ этихъ очеркахъ г. Тверской самъ описываетъ, какъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ горячей, но безуспѣшной дѣятельности въ одномъ изъ земствъ, онъ уѣхалъ въ Америку, какъ онъ началъ тамъ съ низшихъ рабочихъ должностей, сдѣлался инженеромъ, строилъ желѣзныя дороги и участвовалъ въ разныхъ предпріятіяхъ, пока не остановился на паровыхъ прачешныхъ въ Калифорніи. Въ результатѣ кипучей дѣятельности—изрядное состояніе, а главное, душевный покой, покой человѣка, постигшаго истинный смыслъ жизни. Смыслъ этотъ—американизмъ, т. е. возможно энергическая

работа съ цѣлью матеріальнаго обогащенія, къ которому будто бы все остальное приложится». Такъ вотъ, этотъ г. Тверской написалъ г. Меньшикову частное письмо, которое, однако, послѣдній считаетъ себя вправѣ опубликовать, во-первыхъ потому, что оно имѣетъ «исключительно общественный интересъ», и во-вторыхъ потому, что «тѣ же идеи проводятся и въ статьяхъ г. Тверского». Во всякомъ случаѣ, письмо напечатано и становится общимъ достояніемъ. Г. Тверской пишетъ: «Энгельгардтъ и его послѣдователи разныхъ типовъ... по моему глубокому убѣжденію, принесли Россіи несравненно болѣе вреда, чѣмъ пользы. Русская интеллигенція и русскій народъ—двѣ несовмѣстимыя вещи, и всякія попытки совмѣстить ихъ, какъ бы честны и искренни онѣ ни были, только мѣшаютъ народу идти по своему собственному пути, единственно возможному и способному вывести его изъ тѣхъ дебрей, въ которыя завели его тысячи лѣтъ рабства и нищеты. Какъ варяго-руссы не съумѣли «устроить русскую землю», такъ и теперешняя интеллигенція не съумѣетъ этого сдѣлать и только задерживаетъ народъ своими неумѣлыми, неудачными поползновеніями. «Хожденіе въ народъ», «служеніе народу», «братство» и все имъ подобное только вредитъ дѣйствительному прогрессу,—пусть самъ народъ добивается этого прогресса, и если мы, интеллигенція, не будемъ у него на пути съ нашими непонятными, ненавистными ему пріемами, онъ скорѣе выбьется изъ тьмы на свѣтъ». Г. Тверской сообщаетъ далѣе, что онъ десять лѣтъ жилъ въ деревнѣ, гдѣ боролся со «всемірнымъ (?) зломъ», что борьба эта оказалась безплодною, несмотря на то, что борецъ былъ молодъ, энергиченъ, богатъ и «пользовался неограниченнымъ вліяніемъ во всемъ уѣздѣ и даже губерніи». «Исковеркавъ и собственную жизнь, и жизнь своей семьи и свой уѣздъ», г. Тверской наконецъ «ушелъ съ родины», ибо ему стало невыносимо «душно». «Думаю,—говоритъ онъ,—что это былъ единственный шагъ, которымъ я дѣйствительно принесъ пользу русскому народу... Мы съ вами—варяго-руссы и чѣмъ скорѣе мы уберемся во свояси, тѣмъ скорѣе славянскій народъ добьется того, что ему нужно. Мы не только не можемъ ему помочь, но и несомнѣнно ему вредимъ всякимъ нашимъ движеніемъ, всякимъ нашимъ словомъ, какъ бы искренно, честно и горячо оно ни было».

Вотъ по истинѣ Гейневская «идея». Я не стану, разумѣется, опровергать ту подробность, что, «уйдя съ родины», г. Тверской сдѣлалъ «единственный шагъ, которымъ дѣйствительно принесъ пользу»... ну, хоть не «русскому народу», это немножко слишкомъ великолѣпно, а—тому «уѣзду», который онъ «исковеркалъ». Не стану говорить о томъ, правильно-ли понимаетъ г. Тверской дѣятельность Энгельгардта, соплетая его имя съ «хожденіемъ въ на-

родъ», «служеніемъ народу», «братствомъ» и т. п. (Энгельгардтъ былъ просто «хозяинъ» съ нѣкоторыми оригинальными пріемами хозяйничанья и нѣкоторыми оригинальными взглядами на русскую жизнь). Интересна общая мысль г. Тверского: интеллигенція, желающая добра народу, должна убираться «во свояси». Замѣтьте, даже не воздерживаться отъ вмѣшательства въ народную жизнь, а просто убираться—куда?, должно быть въ Америку; по крайней мѣрѣ лично г. Тверской тамъ нашелъ свои «свояси», тамъ, въ паровыхъ прачешныхъ въ Калифорніи. Собственно, для заведенія паровыхъ прачешныхъ пожалуй что и не стоило бы ѣхать такъ далеко: онѣ и въ Россіи могли бы быть устроены и приносить доходъ, хотя, можетъ быть, и не такой, какъ въ Америкѣ. Но г. Тверскому стало невыносимо «душно» въ Россіи. Изъ приводимаго г. Меньшиковымъ отрывка не видно подробностей этой духоты, но суть ея очевидно состоитъ въ безплодности или даже вредоносности сожительства «варяго-русской интеллигенціи», и именно лучшей ея части, со «славянскимъ народомъ». Г. Тверской, кажется, серьезно убѣжденъ въ племенномъ отличіи нашей интеллигенціи отъ нашего народа и должно быть очень обрадовался, когда нашелъ наконецъ своихъ единоплеменниковъ въ Америкѣ... Если бы г. Тверской сказалъ, что онъ, раззорившись въ Россіи, уѣхалъ въ Америку поправлять свои дѣла, чего и добился долгимъ и упорнымъ трудомъ,—это было бы просто и понятно. Если бы онъ сослался на духоту вообще, не сообщивъ мотивовъ, то мало-ли что вполнѣ обыкновенное, житейское могло намъ придти въ голову: ну, напримѣръ, климатъ слишкомъ суровъ, не по здоровью. Еслибы онъ, наконецъ, покаялся, что, дескать, «исковеркалъ свой уѣздъ» и стыдно показаться на родину, то и такое покаяніе было бы намъ понятно, и мы даже, можетъ быть, постарались бы утѣшить г. Тверского: что-же, молъ, дѣлать! быль молодцу не укоръ! Но г. Тверской предъявилъ общеобязательную для русской интеллигенціи принципіальную подкладку своего отъѣзда. Представимъ же себѣ, что его желаніе исполнено, и «варяго-руссы» ушли изъ Россіи; бросили насиженныя мѣста, разстались съ своими мечтами, привязанностями, понятіями о долгѣ, обязанностяхъ и ушли за море. Но вѣдь и варяго-руссы бываютъ разные, иныхъ и я съ удовольствіемъ отпустилъ бы въ Калифорнію, да они навѣрное не уйдутъ. Рѣчь очевидно идетъ о варяго-руссахъ, сколько-нибудь подобныхъ г. Тверскому. Вполнѣ уподобиться ему—дѣло мудреное: онъ ухитрялся въ «своемъ уѣздѣ» бороться со «всемірнымъ зломъ», а это не всякому дано, это ужъ величіе. Но я полагаю, что если мы возьмемъ какую-нибудь общедоступную черту не величія, а только порядочности, напримѣръ, чувство собственнаго достоинства и уваженіе къ чужому достоинству,—то г. Твер-

ской всетаки согласится признать обладателей этой черты не совсѣмъ чужими ему людьми. Такъ вотъ и представимъ себѣ, что изъ Россіи ушли всѣ тѣ «варяго-руссы», которые чувствуютъ собственное достоинство и уважаютъ чужое. Какъ процвѣтетъ тогда «славянскій народъ»!

Идея г. Тверского есть вполнѣ современная идея, въ томъ смыслѣ, что никогда ничего подобнаго мы не слыхали и, надо надѣяться, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ не услышимъ. Если мы припомнимъ Чаадаева, который сильнѣе чѣмъ кто-нибудь выразилъ отчаянное сомнѣніе въ самыхъ коренныхъ основахъ русской жизни, то увидимъ, что между нимъ и г. Тверскимъ существуетъ огромная разница, и не въ пользу послѣдняго. Чаадаевъ поголовнаго выселенія честныхъ людей не предлагалъ и на калифорнскихъ паровыхъ прачешныхъ не успокоился бы...

Надо, однако, замѣтить, что идея г. Тверского есть въ нѣкоторомъ родѣ «тѣнь несозданныхъ созданій». Мы узнали объ ней благодаря нескромности г. Меньшикова, а самъ г Тверской можетъ быть и не рѣшился бы ее публиковать, изъ боязни общественнаго мнѣнія. А впрочемъ, г. Меньшиковъ, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что эти же идеи проводятся и въ печатныхъ статьяхъ г. Тверского. Дѣло возможное, если судить по всѣмъ вышеприведеннымъ пестрымъ матеріаламъ для характеристики нашего времени.

IX *)

„Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви".—Мнѣнія г-жъ Назарьевой, Лухмановой, гг. Варламова, Скабичевскато, Мордовцева, Льдова, Карабчевскаго и др.—„Душевныя свойства женщинъ" г. Каптерева.—М. М. Ковалевскій и К. Каутскій о семьѣ.

Въ послѣднее время у насъ входятъ въ моду обращенія къ публикѣ—ко всѣмъ желающимъ или къ особливо свѣдущимъ людямъ—за разрѣшеніемъ того или другого вопроса, предложенія подавать мотивированные голоса на извѣстную тему. Нельзя сказать, чтобы эти опыты голосованія, давно практикующіеся въ западной Европѣ, были до сихъ поръ у насъ очень удачны. То вопросы ставятся настолько глупые, что сами вопрошающіе оказываются сконфуженными; то дождемъ сыплются глупые отвѣты, какъ это было по дѣлу Палемъ для обсужденія котораго газета «Новости» открыла свои столбцы всѣмъ желающимъ высказаться; то, какъ это было съ призывомъ г. Ледерле выразить свое мнѣніе о лучшихъ книгахъ, изъ 2000 вопрошаемыхъ откликнется всего 70 человѣкъ. Это отъ непривычки, конечно, отъ общественной невоспитанности. Это въ особенности относится къ постановкѣ глупыхъ вопросовъ и торопливости глупыхъ отвѣтовъ. Для воздержанія отъ отвѣта на предложенный вопросъ, хотя бы и очень серьезный и важный, могутъ найтись разныя вполнѣ резонныя объясненія, хотя иногда и оно есть простой результатъ непривычки къ участію въ обсужденіи общественныхъ дѣлъ. Но вызывать желающихъ публично высказаться по вопросу о томъ, какъ поступать замужней женщинѣ, у которой въ постели внезапно умеръ любовникъ (такой вопросъ былъ предложенъ); или съ торопливостью сыпать тотъ вздоръ, которымъ добровольцы наводняли «Новости»,—это значитъ совсѣмъ не понимать, что достойно общественнаго вниманія и публичнаго совокупнаго обсуж-

---

*) Ноябрь 1895.

денія и что совершенно не заслуживаетъ быть вынесеннымъ за предѣлы кабинета или будуара.

Сказанное относится, впрочемъ, лишь въ нѣкоторой степени къ тому результату опроса и голосованія, о которомъ я собираюсь говорить. Весной нынѣшняго года вышелъ небольшой сборникъ «Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви», кажется, совсѣмъ не обратившій на себя вниманія печати, хотя онъ наводитъ на размышленія не безъинтересныя. Тутъ собраны мнѣнія 42-хъ представителей (въ томъ числѣ 12 иностранцевъ) науки, литературы, житейской практики и самыхъ разнообразныхъ отраслей искусства. Внѣшностью своею книжка можетъ вызвать у однихъ презрительное отношеніе, у другихъ предвкушеніе веселой пикантности: хорошенькое изданіе необычнаго формата, съ какими-то странно изогнутыми, обнаженными женскими фигурами на оберткѣ. Да, наконецъ, и само заглавіе «Любовь конца вѣка»... Знаемъ, чѣмъ это пахнетъ! — подумаютъ и презирающіе, и предвкушающіе. И тѣ, и другіе ошибутся. Въ книжкѣ совсѣмъ нѣтъ той спеціальной пикантности, которой, пожалуй, и естественно было бы ожидать въ подобномъ изданіи.

Изъ отвѣта Д. Л. Мордовцева видно, что ему были предложены слѣдующіе вопросы: «Вырождается-ли любовь?», «Любовь въ современномъ романѣ», «Замѣчается-ли различіе въ манерѣ изображенія любви новѣйшими беллетристами и писателями старой школы?», «Въ какихъ современныхъ беллетристическихъ произведеніяхъ любовь рисуется наиболѣе ярко и полно?», «Особенности любви русской женщины по современнымъ романамъ», «Вліяніе натуралистической школы на современный русскій романъ (скабрезность сюжета)». Н. П. Карабчевскій отвѣчаетъ на вопросы: «Вырождается-ли любовь?», «Какую роль играетъ любовь въ судебныхъ процессахъ уголовнаго характера?», «Преступная любовь? Мстительная любовь (процессъ Палемъ)?», «Характеристика отношеній мужчинъ къ женщинамъ въ современныхъ процессахъ?» и т. д... Г. Цабелю предложено было объяснить: «Вырождается-ли любовь?», «Любовь въ операхъ старой школы?», «Любовь въ современныхъ операхъ?», «Вліяніе музыки на проявленіе любви?» и т. д. Н. С. Самокишъ приводитъ только два изъ предложенныхъ ему вопросовъ: «Какое мѣсто отведено современными художниками картинамъ мирной семейной жизни?» и «О вліяніи натуралистической живописи на выборъ сюжета?» Проф. Эрлицкій располагаетъ свой отвѣтъ по пунктамъ, судя по которымъ, надо думать, что и ему былъ предложенъ рядъ вопросовъ въ связи съ его спеціальностью. Изъ всего этого видно, что составители сборника отнюдь не за пикантностью веселаго грѣха

гнались, а имѣли въ виду и серьезныя цѣли. Этому нисколько не противорѣчитъ появленіе въ сборникѣ, напримѣръ, и имени г-жи Отеро, вѣроятно смутившее многихъ. Отчего въ самомъ дѣлѣ не выслушать, между прочимъ, мнѣніе и этой дамы, прозванной, если не ошибаюсь, «королевой бриліантовъ» или «бриліантовой дамой»? Дѣло вѣдь идетъ не о лучшихъ книгахъ, какъ въ сборникѣ г. Ледерле, а о предметѣ, въ которомъ «бриліантовая дама» въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, отношеніяхъ навѣрное компетентнѣе многихъ участниковъ сборника. И признаюсь, простодушно откровенный отвѣтъ г-жи Отеро понравился мнѣ больше многихъ глубокомысленныхъ и остроумныхъ страницъ сборника.

Насколько серьезныя цѣли составителей сборника достигнуты,—это другой вопросъ, отвѣчать на который надо, кажется, отрицательно. Оно и понятно: 42 мнѣнія, притомъ такъ распредѣленныя по спеціальностямъ, что, напримѣръ, на вопросы объ отношеніи любви къ преступленію отвѣчаетъ одинъ г. Карабчевскій, о роли любви въ современномъ романѣ только г. Мордовцевъ и г-жа Желиховская, о взаимныхъ отношеніяхъ любви и музыки и о роли любви въ музыкальныхъ произведеніяхъ одинъ г. Цабель и т. д.—изъ этого много не выжмешь. Притомъ же, повидимому, не всѣмъ участникамъ были предложены опредѣленные вопросы, многимъ предлагалось высказаться вообще о «современной любви», «любви конца вѣка». Поэтому нѣкоторые, не стѣсняемые опредѣленными рамками, болѣе или менѣе остроумно поболтали о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, а другіе нѣкоторые, хотя и высказались вѣско, точно и рѣшительно, но собственно не о современной любви, а о любви вообще, о свойствахъ женщины и т. п. Я думаю даже, что составители не имѣли права давать своему сборнику заглавіе «Любовь конца вѣка. Современники о современной любви». Между прочимъ, они и ко мнѣ обратились, но я, по разнымъ соображеніямъ, уклонился, предоставивъ, однако, имъ перепечатать изъ моихъ сочиненій то, что они найдутъ для себя подходящимъ. Они выбрали отрывокъ изъ статьи «Борьба за индивидуальность», трактующій о любви, но написанный довольно давно и вовсе не имѣющій въ виду специфическихъ чертъ любви «конца вѣка». Нѣкоторые изъ участниковъ подъ предлогомъ любви конца вѣка, а иные и безъ всякаго предлога, изложили свое собственное мнѣніе о разныхъ тонкостяхъ любовныхъ отношеній, въ видѣ афоризмовъ. Есть афоризмы любопытные.

Г-жа Назарьева пишетъ: «Любить—прощать; и любящій человѣкъ прощаетъ все, даже измѣну». Г-жа Лухманова: «Любовь забываетъ все, кромѣ измѣны: ее можно простить, но забыть нельзя. Женщина никогда не проститъ мужчинѣ, который проститъ ей

измѣну». Опять г-жа Назарьева: «Можно-ли измѣнить любя? Можно и, пожалуй, должно, особенно въ наше время. Самая здоровая и вкусно приготовленная пища надоѣдаетъ. Маленькій завтракъ въ хорошемъ ресторанѣ, веселый ужинъ за городомъ, и мужъ конца вѣка вполнѣ искренно скажетъ, садясь за домашній обѣдъ: а все-таки дома лучше! Послѣ легкаго флирта, съ послѣдствіями или безъ нихъ, женщина дѣлается нѣжнѣе къ своему мужу... Ѣсть бѣлый хлѣбъ, захочется чернаго». Опять г-жа Лухманова: «Замужняя женщина у своего домашняго очага — то же, что солдатъ на военномъ посту: ея измѣна есть преступленіе».— Чрезвычайно оригинально и, можно сказать, поражаетъ своею неожиданностью мнѣніе г. Далматова. Заявивъ, что «взглядъ на женщину и на любовь конца вѣка нельзя обобщать», онъ считаетъ, однако, нужнымъ и возможнымъ выразиться о русской женщинѣ, если не вполнѣ вразумительно, то очень энергично: «Въ Европѣ можно отыскать устой для женщинъ и создать совмѣстное счастье на почвѣ матеріальныхъ соображеній; но русская женщина денегъ, съ европейской точки зрѣнія, не цѣнитъ и не понимаетъ. Когда на нее находитъ то, что въ народѣ называютъ «дурь», она все бросаетъ, ею перестаютъ руководить общечеловѣческія этическія начала; она становится звѣрообразною, и для нея нѣтъ ничего, чего бы она не перешагнула для удовлетворенія своихъ кровожадныхъ инстинктовъ». Это вѣроятно что-нибудь значитъ, но что именно? Извѣстный итальянскій болтунъ Мантегацца предлагаетъ сопоставить любовь австралійца, овладѣвающаго первой встрѣчной женщиной, оглушивъ ее предварительно ударомъ дубины, съ любовью Гейне, который передъ смертью просилъ снести его въ Лувръ, чтобы онъ могъ еще разъ полюбоваться Венерой Милосской. Изъ этого видно, говоритъ Мантегацца, какъ разнообразна современная любовь. Но изъ этого видно также, какъ много въ сборникѣ «Любовь конца вѣка» пустяковъ, не имѣющихъ вдобавокъ никакого отношенія къ задачѣ сборника.

Помимо частныхъ вопросовъ, обращенныхъ къ спеціалистамъ, составители сборника ставили на голоса главнымъ образомъ одинъ: вырождается-ли или вообще измѣняется-ли любовь? Меланхолическій Поль Бурже и нашъ веселый комикъ г. Варламовъ афористически утверждаютъ неизмѣнность любви. Это чувство «стихійно и, какъ все стихійное, вѣчно и неизмѣнно», по мнѣнію Бурже «истинная любовь не измѣняется отъ начала міра и до конца его», говоритъ г. Варламовъ. Другіе выражаютъ ту же мысль пространнѣе и обстоятельнѣе. Такъ, г. Скабичевскій «отрицаетъ всякую эволюцію любви». «Я признаю, — продолжаетъ онъ, — любовь *силою*, равною теплу, свѣту, электричеству, а развѣ эти

силы прогрессируютъ?.. Любовь въ равной степени присуща всѣмъ сословіямъ, націямъ и вѣкамъ, и, Богъ вѣсть, можетъ быть сцѣпленіе атомовъ въ кристаллѣ есть уже проявленіе любви. И только тогда, когда вы мнѣ скажете, что въ началѣ нынѣшняго столѣтія электричество было совсѣмъ другое, чѣмъ въ концѣ, я готовъ буду бесѣдовать съ вами и объ особенностяхъ любви конца вѣка». Также и г. Мордовцевъ: «Любовь—это міровой законъ, такой же неизмѣнный и непостижимый, какъ законъ мірового тяготѣнія, какъ всѣ неуловимыя, таинственныя силы творческой и постоянно творящей природы. Какимъ же образомъ можетъ вырождаться законъ тяготѣнія, химическій законъ горѣнія, законы тепла, свѣта, мрака, звука!.. Любовь это основной законъ жизни, дыханія всего живущаго, всего животнаго на извѣстномъ намъ клочкѣ вселенной, на земномъ шарѣ», и т. д. Г. Эрлицкій находитъ, что любовь есть «сила природы, дѣйствующая въ объединяющемъ направленіи и составляющая одинъ изъ основныхъ законовъ существованія вселенной». Онъ видитъ проявленія этой силы и во взаимномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ, и въ химическомъ сродствѣ. И любовь въ человѣческомъ обществѣ есть проявленіе «общаго и неизмѣннаго закона природы», а потому и о разницѣ между «современной» и какою-нибудь «древнею» любовью не можетъ быть рѣчи. Можно говорить объ измѣненіи формъ любви и силы ея напряженія, но и то рано, потому что человѣчество еще слишкомъ молодо, и современники совсѣмъ уже не такъ далеко ушли отъ своихъ праотцевъ...

Мнѣ кажется, что изъ всѣхъ до сихъ поръ цитированныхъ участниковъ сборника, г. Эрлицкій наиболѣе приблизился къ рѣшенію заданнаго вопроса. Я не то хочу сказать, что его рѣшеніе правильно; я не думаю, именно, что человѣчество настолько молодо, чтобы въ его исторіи нельзя было замѣтить крупныхъ измѣненій въ формахъ и силы напряженности любви. Но вѣрно то, что, какъ бы глубоко ни искали мы корней любви, — хотя бы во взаимномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ и сродствѣ химическихъ элементовъ,—это не только не рѣшаетъ, а даже не затрагиваетъ вопроса о формахъ и силѣ напряженія современной любви между мужчиной и женщиной. Поэтому всѣ ссылки на неизмѣнность законовъ электричества, свѣта и «мрака», звука и пр. представляютъ собою не отвѣтъ на предложенный вопросъ, а уклоненіе отъ отвѣта. Да и въ другихъ отношеніяхъ ссылка неправильна. Законы, по которымъ дѣйствуютъ физическія силы, разумѣется, неизмѣнны, но и пониманіе ихъ человѣкомъ и ихъ примѣненіе, то есть форма и сила ихъ проявленія, имѣютъ свою длинную исторію, свою «эволюцію». Эта эволюція представится намъ очень наглядно, если

мы сопоставимъ картины ужаса и разрушенія, возникавшія въ умѣ древняго человѣка при видѣ грома и молніи и внушавшія ему мысль о гнѣвѣ Тора или Зевса, и современную телеграфную контору, гдѣ та же сила Тора проявляется совсѣмъ иначе. Такимъ образомъ, если мы даже приравняемъ такую сложную силу, какъ любовь, такой элементарной силѣ, какъ электричество, то придется всетаки признать, что и она способна измѣняться въ своихъ формахъ и напряженности, въ зависимости отъ условій, отъ комбинаціи другихъ силъ, среди которыхъ она дѣйствуетъ.

Нѣкоторые изъ участниковъ сборника хорошо понимаютъ это и потому, или только отмѣтивъ неизмѣнность любви, какъ таковой, или даже совсѣмъ не касаясь этой стороны дѣла, стараются опредѣлить тѣ условія современной жизни, которыя кладутъ на формы и напряженность любви свой отпечатокъ.

Есть, однако, и еще способы, если не уклоненія отъ отвѣта на заданный вопросъ, то запутыванія его посторонними соображеніями. Когда мы говоримъ не о любви къ отечеству, къ человѣчеству, къ дѣтямъ и проч., а просто о любви, безъ дополненій, то всякій понимаетъ, что рѣчь идетъ о половой любви, о спеціальныхъ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами. Но одинъ изъ сотрудниковъ сборника, г. Льдовъ, пожелалъ быть глубже этого. На предложеніе высказать свое мнѣніе о «любви въ концѣ вѣка», онъ отвѣчаетъ прежде всего вопросомъ: «о какой любви вы спрашиваете?» И затѣмъ распространяется: любовь есть чувство благожелательное, альтруистическое, противоположное злобнымъ и эгоистическимъ чувствамъ; поэтому на всѣхъ языкахъ глаголъ «любить» относится ко всѣмъ проявленіямъ привязанности и доброжелательности: говорятъ о любви матери къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ, мужа къ женѣ и проч. — Здѣсь я позволю себѣ прервать глубокомысліе г. Льдова, собственно для одной маленькой поправки на счетъ языка: говорятъ также—я люблю, напримѣръ, раковъ или осетрину, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобы говорящій былъ преисполненъ благожелательныхъ чувствъ къ ракамъ и осетрамъ; говорятъ также, что, напримѣръ, Иванъ Грозный любилъ видѣть кровь и страданія, или что дѣти любятъ мучить животныхъ и т. п.; говорятъ и о «ненавидящей любви» Некрасова. Но дѣло, конечно, не въ филологіи. Г. Льдовъ желаетъ противопоставить «любовь»—«чувственному влеченію, проявленію страсти, по существу своему эгоистической. т. е. діаметрально противоположной истинному чувству любви». Установивъ это различіе, г. Льдовъ приступаетъ къ отвѣту: «Любовь, какъ индивидуальное стремленіе души къ самопожертвованію, къ подвигамъ самоотрѣченія во имя блага ближнихъ, повидимому, становится въ концѣ вѣка довольно

рѣдкимъ явленіемъ, хотя общій уровень массъ въ смыслѣ гуманности повысился. Любовь, неправильно называемая этимъ словомъ, т. е. чувственное влеченіе организма, остается, по существу своему, неизмѣнной, завися только отъ гигіеническихъ условій. Повидимому, и въ этой сферѣ замѣчается нѣкоторый декадансъ, вслѣдствіе обостренія борьбы за существованіе, затрудняющей браки и подготовляющей почву для уродливыхъ проявленій инстинкта». Это во всякомъ случаѣ отвѣтъ, но г. Льдовъ имъ не довольствуется. Онъ прибавляетъ еще нѣсколько соображеній, иллюстрируя ихъ, повидимому, все тѣмъ же дѣломъ г-жи Палемъ: «Убійца выстрѣлила, чтобы умертвить, лишить ближняго жизни, т. е. нанести ему величайшее зло. Очевидно, она его ненавидѣла. Причемъ же тутъ любовь? И можетъ-ли быть названо любовью чувство, побуждающее проявлять величайшую злобу?»

Это послѣднее мнѣніе раздѣляетъ и г-жа Назарьева: «Не любовь-нѣжность, не любовь-страсть, а чисто эгоистическое стремленіе «не мнѣ, такъ никому» — диктуетъ подобные самосуды. Пока любили душой, сердцемъ, тогда умѣли и примиряться, прощать. теперь любятъ физически съ исключительною жаждою обладанія, а потому неудача, отказъ или измѣна, озлобляя, будятъ въ человѣкѣ звѣря». Г. Карабчевскій иронизируетъ по поводу предложеннаго ему вопроса о «мстительной любви»: «Мстительная любовь! Недоставало бы еще сказать «злобная» любовь! Все это безалаберное смѣшеніе понятій и простая неточность выраженій. Попробуйте логически проанализировать любое изъ нихъ и вы увидите, что это только «холодный кипятокъ» и «горячій ледъ». Иронія г. Карабчевскаго, впрочемъ, не совсѣмъ ясна. Едва-ли онъ согласенъ съ г. Льдовымъ и г-жей Назарьевой, такъ какъ тутъ же пишетъ: «Любовь въ чистомъ видѣ чрезвычайно рѣдко является стимуломъ преступленія, а если является, это уже не преступленіе, это любовь». И далѣе: «Разъ «любовь», т. е. вся напряженная неодолимая полнота того чувства, которое мы называемъ этимъ именемъ, — причемъ же тутъ преступность?» Все это немножко загадочно, и я не знаю, какъ поступилъ бы г. Карабчевскій, если бы ему пришлось защищать на судѣ Отелло. Это очень благодарная тема для защитника, и, конечно, г. Карабчевскій сказалъ бы великолѣпную рѣчь о «напряженной и неодолимой полнотѣ чувства» любви Отелло къ Дездемонѣ, чувства, исключающаго преступность. Убійство Дездемоны, — «это не преступленіе, это любовь». Такъ закончилъ бы г. Карабчевскій свою рѣчь при взрывѣ аплодисментовъ публики, которые, конечно, тотчасъ же были бы остановлены предсѣдателемъ, и слово дано было бы прокурору. Я боюсь, что этотъ прокуроръ вздумалъ бы, пожалуй,

«логически проанализировать» фразу: «это не преступленіе, это любовь» — и нашелъ бы, что это просто именно фраза, лишенная всякаго содержанія и логически вполнѣ несостоятельная. Прокуроръ могъ бы идти дальше и, ухватившись за другое положеніе самого г. Карабчевскаго, сказать: Отелло мстилъ за измѣну, а месть и любовь, это «холодный кипятокъ» и «горячій ледъ». Но если бы г. Карабчевскій и побѣдилъ, наконецъ, въ этой чисто словесной прѣ, то самъ необузданный мавръ сказалъ бы въ послѣднемъ монологѣ: «Да, я любилъ, но я преступникъ», — и тутъ же закололъ бы себя, какъ онъ это уже и дѣлаетъ въ послѣдней сценѣ трагедіи Шекспира.

Любопытно, какъ отнеслись бы къ той же исторіи Отелло и Дездемоны г. Льдовъ и г-жа Назарьева. Послѣдняя, какъ мы видѣли, твердо знаетъ, что «пока любили душой, сердцемъ, тогда умѣли и примиряться и прощать, теперь любятъ физически, съ исключительною жаждою обладанія, а потому неудача, отказъ или измѣна, озлобляя, будятъ въ человѣкѣ звѣря». Какъ же, однако, быть съ венеціанскимъ мавромъ? Онъ любилъ Дездемону не только физически,—помните его разсказъ сенаторамъ: «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье къ нимъ». И тѣмъ не менѣе мавръ совершилъ кровавый «самосудъ»; и случилось это не «теперь», а триста лѣтъ тому назадъ... Затрудняюсь за г-жу Назарьеву... Еще затруднительнѣе, мнѣ кажется, положеніе еще болѣе рѣшительнаго г. Льдова: любить, значитъ, желать добра, убить — «нанести величайшее зло»; «и можетъ-ли быть названо любовью чувство, побуждающее проявлять величайшую злобу?» Въ Отелло говорила не любовь, а «чувственное влеченіе организма». Но опять-таки — «она его за муки полюбила, а онъ ее за состраданье къ нимъ». И еще: когда Отелло просилъ сенатъ разрѣшить Дездемонѣ ѣхать съ нимъ въ Кипръ, онъ говорилъ: «Свидѣтель Богъ, молю не для того, чтобъ угодить желаньямъ сладострастнымъ, не для того, чтобъ юной страсти жаръ мнѣ одному дарилъ бы наслажденье, но для того, чтобы ея душа отъ всѣхъ заботъ и мукъ была свободна». Дикій человѣкъ былъ венеціанскій мавръ, дикій, необузданный, нелѣпый, но онъ никогда не лгалъ...

Остается предположить, что тѣ чувства, которыя г-жа Назарьева и г. Льдовъ считаютъ столь различными и непримиримыми (г. Карабчевскій такъ и остается въ словесномъ туманѣ), могутъ сочетаться или переходить одно въ другое, одно другимъ въ большей или меньшей степени осложняться; что вообще любовь, какъ и многое другое въ душѣ человѣческой, есть нѣчто чрезвычайно сложное, не такъ-то легко поддающееся ни афористическому выраженію, ни упрощенному наивному анализу на манеръ г. Льдова.

Итальянскій болтунъ Мантегацца предлагаетъ убѣдиться въ разнообразіи формъ современной любви, сравнивъ австралійца съ Гейне... Австраліецъ, оглушающій дубиной свою избранницу, конечно, нашъ современникъ въ томъ смыслѣ, что тоже живетъ въ концѣ XIX вѣка. Но какой же онъ намъ, собственно говоря, современникъ? Онъ на тысячи лѣтъ старше или, если угодно, моложе насъ: онъ современникъ нашихъ далекихъ предковъ. И, когда рѣчь идетъ о современной любви, то разумѣютъ не дикарей, не первобытныхъ людей въ ихъ «инсулярномъ положеніи», а такъ или иначе вовлеченныхъ въ кругъ международнаго общенія и цивилизаціи. Иначе пришлось бы расширить задачу до непомѣрности и призвать на совѣтъ преимущественно этнографовъ, да еще Пьера Лоти, въ качествѣ знатока по части всякаго рода экзотической любви. Такъ и понимаютъ дѣло участники сборника, кромѣ, разумѣется, тѣхъ, которые «отрицаютъ всякую эволюцію любви» и для которыхъ напоминаніе объ австралійцѣ съ его дубиной очень полезно, но въ качествѣ историческаго, а не современнаго матеріала. Большинство же такъ или иначе старается опредѣлить вліяніе факторовъ современной цивилизаціи на формы и напряженность любви. Мы будемъ говоритъ объ этихъ вліяніяхъ ниже, а теперь отмѣтимъ еще два указанія въ занимающемъ насъ сборникѣ. Разумѣю вклады Эмиля Зола и В. В. Лесевича. Зола ничего не писалъ спеціально для сборника, но одинъ изъ составителей «имѣлъ случай бесѣдовать съ знаменитымъ романистомъ по вопросу о современной любви» и записалъ эту бесѣду. В. В. Лесевичъ тоже ничего не писалъ для сборника, но предоставилъ составителямъ перепечатать отрывокъ изъ его статьи объ одномъ испанскомъ романистѣ. Въ мнѣніи Зола интересно указаніе на патологическія формы любви—садизмъ и пассивизмъ, между которыми, дескать, существуетъ нѣкоторое среднепропорціональное, оно то и есть настоящая, нормальная любовь. Г. Лесевичъ касается только одной стороны или одной формы любви—любви на почвѣ созерцательнаго мистицизма. Къ обоимъ этимъ указаніямъ мы тоже вернемся.

— — —

Какъ-бы мы ни углублялись въ нѣдра кристалла для уразумѣнія взаимныхъ отношеній его атомовъ; какъ бы ни вздымались крылатою мыслью въ междупланетныя пространства; какъ бы вообще ни умствовали,—любовь, о которой идетъ рѣчь въ разбираемомъ сборникѣ, есть во всякомъ случаѣ взаимное или одностороннее тяготѣніе разнополыхъ существъ одного и того же вида. Извѣстное (видовое) сходство при извѣстномъ (половомъ) различіи составляетъ необходимое условіе любви, конечно, условіе элементарное, основное. первичное, рядомъ съ которымъ могутъ существовать, но мо-

гутъ и не существовать вторичныя, гораздо болѣе сложныя и тонкія условія. Ничего подобнаго, насколько это намъ извѣстно, нѣтъ въ другихъ явленіяхъ тяготѣнія, сцѣпленія и проч., Антропоморфически настроенные умы древности искали мужского начала въ солнцѣ, женскаго—въ лунѣ; средневѣковые алхимики награждали мужскими свойствами одни химическіе элементы и женскими—другіе; нѣкоторые «натурфилософы» повторяли эти порожденія антропоморфизма: но все это—«дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», пригодныя развѣ для поэтическихъ сравненій и метафоръ. Корней человѣческой любви мы можемъ искать только въ органическомъ мірѣ, но и то лишь съ момента появленія въ немъ полового диморфизма. Точно также не долженъ насъ смущать глаголъ «любить» въ его общемъ значеніи доброжелательнаго чувства. Любовь къ отечеству, человѣчеству, къ дѣтямъ, къ родителямъ и проч.,—не говоря уже о любви къ истинѣ, къ искусству и т. п.,—хотя и могутъ вступать въ разнообразныя сочетанія съ половой любовью, но по существу не имѣютъ съ нею ничего общаго, именно потому, что въ нихъ нѣтъ перваго и основного условія половой любви.

Поэтому-то, между прочимъ, не идетъ къ дѣлу и находящееся въ сборникѣ мнѣніе г. Карелина, художника. Онъ говоритъ о любви къ «музѣ искусства», совсѣмъ упраздняя для художника любовь къ женщинѣ. Отказываясь отвѣчать на вопросы, относящіеся къ этой любви («пусть они останутся открытыми»), г. Карелинъ, послѣ дифирамба въ честь «музы искусства», пишетъ: «Скажу лишь одно, что если художникъ любитъ свою родную музу, то пусть любитъ только ее одну, любя въ ней безразлично весь міръ добра, человѣчности... Только эта любовь никогда не обманетъ». Обманетъ или не обманетъ, но, не касаясь исключительныхъ натуръ, которыя всегда и во всемъ возможны, какъ исключенія, даже для величайшихъ художниковъ безплотная муза не могла замѣнить женщину, которая и вдохновляла ихъ и оставила по себѣ слѣдъ въ ихъ завѣщанныхъ потомству образахъ. Напомню хоть только Рафаэля въ живописи и Данте въ поэзіи. Спору нѣтъ, подъ вліяніемъ острыхъ болей разочарованія, неудовлетворенности, тупой боли пресыщенія, страстнаго увлеченія музами и другими миѳами и разныхъ житейскихъ обстоятельствъ, люди часто приходятъ къ рѣшенію покончить съ половой любовью и цѣликомъ отдаться иной, «чистой» любви къ какому-нибудь высшему, безплотному началу. Цѣлые историческіе періоды бываютъ окрашены этимъ стремленіемъ. Но результаты этого стремленія бываютъ неожиданны для самихъ стремящихся. На нихъ указываетъ вышеупомянутый маленькій и не ad hoc написанный отрывокъ изъ статьи г. Лесевича. Рѣчь тамъ идетъ о мистикахъ (испанскихъ), стремящихся побо-

роть въ себѣ всякую чувственность и пребывать въ состояніи чистаго экстаза. Половую любовь они искренно и страстно хотятъ побороть, какъ источникъ грѣха, и замѣнить мистическою любовью, но это имъ не удается, и самыя формы ихъ обращенія къ предмету своей любви получаютъ эротическую окраску. Но дѣло не въ однѣхъ формахъ. Говоря о сочиненіяхъ Терезы де Хесусъ, г. Лесевичъ замѣчаетъ: «Въ самомъ мистицизмѣ, особенно въ практикѣ его, скрыты уже зародыши мірскихъ чувствъ, и потому-то такъ немного иногда нужно, чтобы мистическое настроеніе перевернулось вверхъ дномъ, и чтобы одна крайность вытѣснила другую. Мистическое настроеніе у женщинъ, держа ихъ въ состояніи постояннаго возбужденія, ставитъ ихъ безпрестанно въ опасность потери равновѣсія: сегодняшній экстазъ можетъ завтра оказаться обыкновеннѣйшимъ вождѣленіемъ». Психіатрамъ и историкамъ разныхъ мистическихъ сектъ хорошо знакомы эти явленія. Для насъ здѣсь теперь интересенъ фактъ незамѣнимости половой любви: ей нѣтъ эквивалента. Не то, чтобы она была возвышеннѣе или низменнѣе всѣхъ другихъ чувствъ, владѣющихъ человѣческой душой: нѣтъ, она просто не подлежитъ никакому съ ними сравненію, хотя постоянно вступаетъ съ ними либо въ союзъ, либо во враждебное столкновеніе. Ни одно изъ нихъ не взростаетъ на той почвѣ, на которой разыгрываются трагедіи, драмы, комедіи и водевили любви,— на почвѣ полового различія при видовомъ сходствѣ.

Элементарныхъ, первичныхъ анатомическихъ и физіологическихъ сходствъ и различій между мужскимъ и женскимъ поломъ, конечно, недостаточно для объясненія всей сложности явленій любви. Для уразумѣнія ихъ надо принять во вниманіе всѣ такъ называемые вторичные половые признаки, не имѣющіе прямого отношенія къ акту окончательнаго сближенія двухъ разнополыхъ существъ, но тѣмъ не менѣе играющіе болѣе или менѣе значительную роль въ дѣлѣ любви. Область этихъ вторичныхъ половыхъ признаковъ очень обширна и даже въ организмахъ, стоящихъ гораздо ниже человѣка, не ограничивается физикой, а распространяется и на психику. Но мы будемъ говорить только о людяхъ.

Только что появилась книга г. Каптерева—«Душевныя свойства женщинъ», посвященная именно вопросу о вторичныхъ половыхъ признакахъ во всей обширности этого термина, хотя г. Каптеревъ его и не употребляетъ. Это публичныя лекціи, читанныя авторомъ, если не ошибаюсь, въ прошломъ году, съ большимъ и вполнѣ заслуженнымъ успѣхомъ: книга очень интересна и поучительна, что не часто случается съ книгами о женщинахъ. На эту тему въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ писалось и пишется такъ много,

въ стихахъ и прозѣ, въ формѣ философскихъ трактатовъ и эпиграммъ, кропотливыхъ ученыхъ трудовъ и вдохновенной лирики, что, принимаясь за новое произведеніе въ этомъ родѣ, по неволѣ опасаешься натолкнуться на банальность. Въ самомъ дѣлѣ, что можно прибавить къ имѣющейся уже огромной библіотекѣ поэтическихъ хвалебныхъ гимновъ женщинѣ или ругани средневѣковыхъ аскетически настроенныхъ начетчиковъ? Даже приторныя восхваленія такого выдающагося человѣка, какъ Мишле, и злобныя выходки такого крупнаго и оригинальнаго мыслителя, какъ Шопенгауеръ,—развѣ только формою своею могутъ насъ заинтересовать.

Чтобы сказать что-нибудь путное о вторичныхъ половыхъ признакахъ, надо прежде всего оберегать себя (и читателя или слушателя) отъ этихъ банальностей на два фронта; это во-первыхъ, а затѣмъ—держаться по возможности фактической почвы, избѣгая голословныхъ разсужденій о достоинствахъ и недостаткахъ, вообще объ особенностяхъ женщинъ.

Книга г. Каптерева потому именно и вышла интересною и поучительною, что авторъ старался избѣгать этихъ двухъ подводныхъ камней, что ему и удалось вполнѣ относительно перваго изъ нихъ; нельзя, къ сожалѣнію, съ тою же рѣшительностью сказать это о второмъ.

Изложивъ разные взгляды, то поднимающіе женщину много выше мужчины, то опускающіе ее гораздо ниже его, то, наконецъ, устанавливающіе ихъ на одномъ уровнѣ, г. Каптеревъ приходитъ къ тому общему выводу, что разница между полами состоитъ не въ основныхъ психическихъ элементахъ, а въ ихъ сочетаніяхъ, въ силѣ и напряженности разныхъ сторонъ душевной дѣятельности. Въ концѣ концовъ г. Каптеревъ является горячимъ и убѣжденнымъ адвокатомъ женщинъ, въ томъ смыслѣ, что желаетъ расширенія круга ихъ дѣятельности и интересовъ и расчитываетъ на благотворность ихъ участія въ рѣшеніи труднѣйшихъ вопросовъ, волнующихъ современное человѣчество. Но достигаетъ этой позиціи г. Каптеревъ не путемъ исключительнаго восхваленія женскихъ добродѣтелей и высокихъ умственныхъ качествъ. Первое его положеніе состоитъ въ томъ, что въ мужской душѣ нѣтъ ни одного процесса, ни одного факта, «ни высокаго, *ни низкаго*», которые были бы чужды женской душѣ. Такъ, напр., по его мнѣнію, женщины способны, между прочимъ, и на «жестокость, доходящую до свирѣпости», что, повидимому, противорѣчитъ общепринятому взгляду на преобладающія черты женскаго типа. Въ доказательство г. Каптеревъ ссылается на кровавые подвиги женской черни временъ первой французской революціи. Но и независимо отъ такихъ

экстренныхъ случаевъ, нашъ авторъ не считаетъ «кротость» женскимъ свойствомъ. Такимъ образомъ, книга г. Каптерева отнюдь не есть собраніе комплиментовъ и любезностей по адресу женщинъ, и отъ противоположной банальности авторъ не менѣе гарантированъ. Это — серьезная попытка изучить вторичные половые признаки въ психической области, и изучить ихъ на фактической почвѣ. Но, какъ уже сказано, эта послѣдняя сторона дѣла, т. е. фактическая часть, оставляетъ желать многаго.

Г. Каптеревъ ничего не говоритъ о разницѣ въ объемѣ и вѣсѣ мозга, какъ абсолютныхъ, такъ и по отношенію къ объему и вѣсу всего тѣла, о количествѣ и характерѣ мозговыхъ извилинъ у мужчины и женщины. За то онъ приводитъ нѣкоторыя данныя о разницѣ въ остротѣ внѣшнихъ чувствъ—зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія. Но данныя эти настолько скудны и противорѣчивы, что изъ нихъ нельзя вывести что-нибудь опредѣленное, и самъ г. Каптеревъ говоритъ, напримѣръ: «Опытамъ Никольса и Бэйля относительно тонкости обонянія у женщинъ и мужчинъ нельзя придавать рѣшающее значеніе, такъ какъ они не согласны съ опытами Ломброзо, и мы не можемъ быть увѣрены, что завтра же не будутъ произведены новые опыты, которые дадутъ совсѣмъ другой результатъ». Въ такомъ недостаткѣ достовѣрныхъ фактическихъ данныхъ г. Каптеревъ, конечно, не виноватъ: на нѣтъ и суда нѣтъ. Но и вообще фактическая часть въ изслѣдованіи г. Каптерева слаба, и факты играютъ въ немъ большею частью лишь роль иллюстрацій къ положеніямъ, весьма произвольнымъ и чисто, такъ сказать, словеснымъ. Иногда, впрочемъ, словесность эта является и безъ всякихъ иллюстрацій. Напримѣръ, г. Каптеревъ утверждаетъ, что «скрыть отъ женщины свое состояніе, замаскировать его, довольно трудно, особенно же женщина становится всевидящей и всезнающей, когда дѣло касается сердечной стороны, тутъ она по малѣйшему измѣненію лица, голоса, движеній читаетъ, какъ по печатной книгѣ» (стр. 87). На чемъ собственно основано это столь рѣшительное, столь категорическое утвержденіе и какъ согласить съ нимъ безчисленныя женскія жертвы обмана разныхъ ловеласовъ во всѣхъ слояхъ общества? Или: «Женщина трезва и практична, она не будетъ стремительно гнаться за новыми открытіями и новыми изобрѣтеніями прежде, чѣмъ достаточно эксплуатированы сдѣланныя» (124). Почему? Рѣчь идетъ о будущемъ, и кто его знаетъ, какъ оно тамъ будетъ. Но въ настоящемъ мы видимъ, что по крайней мѣрѣ въ отношеніи костюма (заботамъ объ немъ г. Каптеревъ придаетъ большое значеніе въ душевной жизни женщины) наши дамы, а вслѣдъ за ними и ихъ горничныя и кухарки, не обнаруживаютъ ни трезво-

сти, ни практичности, ни упорства передъ новыми открытіями и изобрѣтеніями. Что же касается новыхъ идей, то г. Каптеревъ самъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Является великій проповѣдникъ, великій реформаторъ, человѣкъ, жаждущій обновленія человѣчества, исцѣленія его отъ разнообразныхъ и застарѣлыхъ язвъ, и около него сейчасъ же соберется кучка женщинъ; однѣ изъ нихъ—Маріи—сядутъ у ногъ его и съ безконечною преданностью будутъ внимать ученію великаго учителя; другія—Марѳы—по своему будутъ выражать участіе, стараясь окружить его земнымъ комфортомъ и удобствами. Если великаго учителя за его беззавѣтную любовь ко всему человѣчеству, особенно же ко всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ, жестоковыйные современники распнутъ на крестѣ, побьютъ камнями, женщины первыя придутъ къ дорогой могилѣ поплакать и поскорбѣть о незабвенномъ почившемъ. Является свирѣпый разбойникъ, кровожадный убійца, наводящій ужасъ на цѣлую окрестность, вызывающій проклятія у всѣхъ, кто слышитъ о немъ; словомъ, возстаетъ бичъ людей, и у него не будетъ недостатка въ преданныхъ женщинахъ, которыя полюбятъ его со всѣмъ пыломъ страсти, которыя отдадутъ ему свою душу и тѣло, видя въ немъ какого-то необычайнаго героя» (31—32).

Оба вышеприведенныя положенія — о проницательности женщинъ, въ особенности въ сердечныхъ дѣлахъ, и о ихъ трезвости и практичности—висятъ совершенно на воздухѣ, не поддержанныя ни сверху, путемъ дедукціи, ни снизу—какой-нибудь фактической подкладкой. И вмѣстѣ съ тѣмъ они, по малой мѣрѣ, очень спорны. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда г. Каптеревъ выставляетъ положенія гораздо менѣе спорныя и подкрѣпляетъ ихъ фактическими иллюстраціями, послѣднія часто поражаютъ своею скудостью. Напримѣръ, онъ хочетъ иллюстрировать фактами свое мнѣніе, что потребность любви въ женщинахъ сильнѣе, чѣмъ въ мужчинахъ. Я бы не вполнѣ согласился и съ этимъ мнѣніемъ или принялъ бы его съ значительными оговорками, но во всякомъ случаѣ г. Каптеревъ высказываетъ здѣсь мысль общераспространенную, а потому, пожалуй, и не нуждающуюся въ фактическихъ подтвержденіяхъ. Но онъ счелъ нужнымъ ихъ дать и даетъ вотъ что: «Ковалевская, Башкирцева и многія другія женщины, посвятившія свою жизнь наукѣ, искусству и другимъ высшимъ отраслямъ человѣческой дѣятельности, страдали отъ недостатка любви жестоко, въ любви видѣли высшую цѣль жизни и готовы были промѣнять всѣ свои научные и иные успѣхи на любовь, доступную самой простой женщинѣ. Не то мы видимъ у мужчинъ, отдававшихся наукѣ и искусству. Ихъ жизнь была полна безъ

женской любви, они не мучились, не страдали, не жаловались на свою горькую долю, если въ женской любви имъ отказывала судьба, не высказывали желанія промѣнять науку на женскую любовь» (47). Въ доказательство г. Каптеревъ приводитъ Канта и Спинозу... Ковалевскую часто ставятъ рядомъ съ вѣчно ломающейся, вѣчно рисующейся Башкирцевой, и, признаюсь, мнѣ всегда бываетъ обидно за Ковалевскую. Но составить изъ нихъ двоихъ и изъ Канта со Спинозой кадриль, это уже, мнѣ кажется, чрезмѣрно. Да и что можетъ значить эта кадриль, эти двѣ пары, выхваченныя изъ цѣлаго ряда? Мы очень хорошо знаемъ, что и мужчины, посвятившіе свою жизнь «высшимъ отраслямъ человѣческой дѣятельности», часто ломаютъ всю эту свою дѣятельность и кончаютъ съ самою жизнью изъ за неудовлетворенной или неудачной любви. Канту со Спинозой, какъ ни велики они, можетъ быть противопоставленъ цѣлый Фаустъ. Говорю цѣлый Фаустъ, потому что это хотя и не живой человѣкъ, а литературный типъ, но изъ тѣхъ геніально схваченныхъ типовъ, въ которыхъ сосредоточены черты сотни тысячъ людей. И еслибы его творцу, этому удивительному человѣку, сохранившему способность и жажду любви до глубокой старости, пришлось выбирать между его дѣятельностью и женской любовью, то это была бы, конечно, ужасная для него дилемма, и онъ навѣрное не сохранилъ бы спокойствія Канта и Спинозы.

Я не хочу этимъ опровергать мнѣніе г. Каптерева о большей потребности любви у женщины, — это тема обширная, — а хочу только показать недостаточность его аргументаціи. Да и зачѣмъ мнѣ его опровергать, когда онъ тутъ же, непосредственно послѣ упомянутой кадрили, пишетъ: «въ той мѣрѣ, какъ женщины будутъ болѣе заниматься научными изысканіями и общественною дѣятельностью, въ той мѣрѣ, какъ онѣ больше и больше будутъ переносить центръ своей жизни и дѣятельности изъ своего собственнаго «я» внѣ себя, страстнѣе будутъ отдаваться профессіональнымъ занятіямъ, политической борьбѣ и интригамъ, тѣмъ лучше будутъ сопротивляться инстинктивной потребности любви, тѣмъ легче будутъ обходиться безъ нея и приближаться въ этомъ отношеніи къ мужчинамъ» (48). Это значитъ, что большая потребность любви у женщинъ (если еще таковая существуетъ, что не доказано, хотя и общепризнано) есть не коренная черта женскаго типа, а преходящая, перемѣнная, зависимая отъ воспитанія и историческихъ условій. Слѣдовательно, фактическіе примѣры г. Каптерева надо освѣтить совсѣмъ иначе: те то что Ковалевская (о Башкирцевой не хочу говорить) больше жаждала любви, чѣмъ Кантъ или Спиноза, а она меньше ихъ отдавалась

научной дѣятельности. Я опять-таки не опровергаю теперь основную мысль г. Каптерева, но приведенное соображеніе вызываетъ вопросъ объ относительномъ значеніи природныхъ и историческихъ факторовъ въ образованіи женскаго типа, каковъ онъ сейчасъ.

Но прежде еще нѣсколько словъ объ аргументаціи г. Каптерева.

Г. Каптеревъ полагаетъ, что женщины меньше мужчинъ склонны и способны къ отвлеченному мышленію; что въ женскомъ мышленіи преобладаютъ яркія образныя представленія. Вообще, говоритъ онъ, способность мысленно воспроизводить видѣнное и слышанное у разныхъ людей весьма различна. Одни съ чрезвычайною легкостью представляютъ себѣ образы и картины во всей ихъ яркости формъ и цвѣтовъ, а у другихъ эти представленія выходятъ тусклыми и туманными. «Изслѣдованія показываютъ, что способностью живого, вполнѣ опредѣленнаго, цвѣтного, картиннаго представленія одарены гораздо больше женщины, чѣмъ мужчины. Эта способность не только больше распространена между женщинами, но встрѣчается у нихъ въ болѣе высокой формѣ развитія». Въ подтвержденіе приводится слѣдующее. Гальтонъ пожелалъ узнать, какое представленіе связывается у разныхъ лицъ со словомъ «лодка». Съ этою цѣлью онъ неожиданно спрашивалъ объ этомъ и «*между прочимъ*» получилъ такіе отвѣты. Одинъ мужчина, *привыкшій философствовать*, отвѣтилъ, что слово лодка не вызвало въ немъ никакого опредѣленнаго образа, такъ какъ онъ намѣренно воздерживалъ свой умъ отъ представленія какого-нибудь частнаго вида лодки, ялика, катера, баркаса и т. п... На тотъ же вопросъ молодая дѣвушка отвѣтила, что при словѣ лодка она сейчасъ же представила себѣ большую лодку, отплывающую отъ берега и наполненную кавалерами и дамами; дамы были въ бѣлыхъ и голубыхъ платьяхъ. Приведя эти два, и только эти два примѣра, г. Каптеревъ пишетъ въ подсрочномъ примѣчаніи: «Объ упомянутыхъ изслѣдованіяхъ см. Fransis Galton, Inquiries into human Faculty and its development. London. 1883, p. 83 — 140. Fechner, Elemente der Psychophysik. II, 468—491».

Мнѣ неизвѣстна книга Гальтона, на которую ссылается г. Каптеревъ, но у Фехнера въ указанномъ мѣстѣ нѣтъ ни одного слова о разницѣ между мужчинами и женщинами по отношенію къ яркости или тусклости представленій. Тутъ собраны наблюденія надъ разными лицами, въ числѣ которыхъ упоминается только одна женщина (жена Фехнера), и нѣкоторые осторожные общіе выводы, къ которымъ приходитъ знаменитый психо-физикъ, не имѣютъ никакого отношенія къ вопросу, занимающему г. Капте-

рева. Что касается Гальтона, то у него дѣло поставлено, быть можетъ, иначе; можетъ быть, онъ приводитъ соображенія и наблюденія, способныя убѣдить всякаго скептика (если бы таковой нашелся). Но въ такомъ случаѣ надо удивляться неудачѣ г. Каптерева, извлекшаго изъ книги Гальтона факты болѣе чѣмъ сомнительнаго значенія. Удивительно и количество, и качество этихъ фактовъ: по одному на всю мужскую и на всю женскую половину человѣческаго рода, причемъ изъ мужчинъ взятъ нѣкоторымъ образомъ спеціалистъ по части отвлеченнаго мышленія («привыкшій философствовать»), а изъ женщинъ—«молодая дѣвушка», безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Если бы Гальтонъ обратился съ такимъ же вопросомъ о лодкѣ съ одной стороны къ художнику-живописцу, постоянно имѣющему дѣло съ формами и красками, а съ другой стороны хоть къ той же Ковалевской, привычной къ оперированію надъ безплотными математическими данными, то результатъ навѣрное получился бы обратный и, конечно, столь же мало доказательный.

Я не буду, разумѣется, слѣдить за этимъ пріемомъ аргументаціи по всей книгѣ г. Каптерева. Приведеннаго достаточно, чтобы заключить, что подобные пріемы отнюдь не способствуютъ рѣшенію задачи, взятой на себя нашимъ авторомъ. И дѣйствительно, многія страницы его труда прочтутся съ большимъ интересомъ; но если мы до сихъ поръ не знали женской души, то не узнаемъ ее и изъ книги г. Каптерева, а если кое-что знали, кое объ чемъ догадывались, кое-что смутно представляли себѣ, то книга ничего не прибавила къ этимъ знаніямъ и догадкамъ и не пролила свѣта въ эту смутность. Я не хочу сказать, что книга безполезна. Напротивъ. Не говоря объ отдѣльныхъ поучительныхъ страницахъ, всегда полезно напомнить, что женщина есть такой же человѣкъ, какъ и мужчина, что душѣ ея не чуждо все человѣческое, хотя элементы душевной жизни комбинируются въ ней нѣсколько иначе, въ зависимости отъ естественныхъ и историческихъ условій. Это не ново; однако, многимъ и многимъ не мѣшаетъ это продумать, да г. Каптеревъ и не обѣщалъ намъ никакого новаго слова. Однако, онъ обѣщалъ намъ выяснить ту особенную комбинацію психическихъ элементовъ, которая характеризуетъ женскій типъ въ отличіе отъ мужского, и вотъ этого-то мы не получили. Дѣло опять-таки не непремѣнно въ какомъ-нибудь новомъ словѣ. Не бѣда, что мнѣнія о сравнительно малой способности женщинъ къ отвлеченному мышленію или о сравнительно большей у нихъ потребности любви—не только не новы, а принадлежатъ къ числу ходячихъ и, будучи усилены въ ту или другую сторону, могутъ превратиться въ банальности ругательныя и въ банальности хва-

лебныя. Г. Каптеревъ не впалъ ни въ тѣ, ни въ другія, но мы вправѣ были ожидать отъ него провѣрки этихъ мнѣній и достаточнаго ихъ основанія, а этого нѣтъ. Разсыпанную храмину ходячихъ мнѣній г. Каптеревъ хотѣлъ, повидимому, собрать около двухъ пунктовъ: преобладанія личной жизни въ женщинѣ и преобладанія въ ней же жизни родовой. Эти два пункта не такъ противорѣчать другъ другу, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, но г. Каптереву не удалось ихъ связать, и получилось нѣчто очень неясное, чего мы не будемъ пытаться уяснить.

Г. Каптеревъ справедливо замѣчаетъ, что стремиться къ превращенію женскаго типа въ мужской нѣтъ никакого основанія, потому что женщина не есть лишь вмѣстилище всѣхъ недостатковъ, равно какъ и мужчина не есть сокровищница всѣхъ совершенствъ. Но г. Каптеревъ желаетъ предоставить женщинамъ болѣе широкій кругъ знанія, интересовъ и дѣятельности, чѣмъ тотъ, который находится сейчасъ въ ихъ распоряженіи, и ожидаетъ великихъ результатовъ отъ ихъ активнаго участія въ разрѣшеніи труднѣйшихъ вопросовъ, волнующихъ наше многотрудное время. Онъ намѣчаетъ слѣдующія «основныя направленія культурной дѣятельности женщинъ: 1) борьба противъ односторонностей и неравномѣрности современной культуры, 2) борьба противъ пессимизма и 3) борьба противъ войны». Г. Каптеревъ полагаетъ, что эти три задачи «съ логическою правильностью вытекаютъ изъ природы женскаго психическаго типа», что они «предначертаны женщинамъ ихъ природой». Мотивируя это свое мнѣніе, г. Каптеревъ, въ очень, конечно, общихъ и бѣглыхъ чертахъ, развертываетъ, собственно говоря, всю изнанку современной цивилизаціи. Это очень поучительныя страницы, и пусть читатель познакомится съ ними въ подлинникѣ. Люди правды, люди чести и совѣсти присоединятся, конечно, и къ сдѣланной г. Каптеревымъ характеристикѣ отрицательныхъ сторонъ современной цивилизаціи, и къ его пожеланію, чтобы въ ихъ устраненіи, исправленіи, дальнѣйшемъ движеніи женщины приняли широкое участіе. Это желательно не только въ видахъ ихъ собственнаго достоинства и ихъ собственныхъ интересовъ, и не только во имя справедливости. Женщины, — а это вѣдь, шутка сказать, половина человѣческаго рода, — въ настоящее время, можно сказать, лишь присутствуютъ при томъ, какъ складываются нѣкоторыя стороны жизни: кто знаетъ, какую можетъ быть огромную поправку внесутъ онѣ въ весь нашъ умственный и житейскій обиходъ. И да будутъ онѣ благословенны, если выполнятъ задачи, указываемыя имъ г. Каптеревымъ. Но остается всетаки загадкой, почему спеціально женщины призываются къ борьбѣ противъ односторонностей и не-

равномѣрности современной культуры, противъ пессимизма и противъ войны. Г. Каптеревъ не говоритъ, разумѣется, что эти задачи должны быть предоставлены исключительно женщинамъ, не снимаетъ съ насъ, мужчинъ, этой тяжести и чести, обязанности и права. Но онъ думаетъ, всетаки, что упомянутыя задачи «съ логическою правильностью вытекаютъ изъ природы женскаго психическаго типа», «предначертаны женщинѣ ихъ природой». Это легко сказать, но трудно доказать, и г. Каптеревъ очень рѣшительно, очень увѣренно сказалъ, но совсѣмъ не доказалъ.

«Крайняя спеціализація современной культуры, при недостаткѣ общихъ точекъ зрѣнія, есть результатъ склонности мужского ума къ отвлеченіямъ. Обособляя явленія, мужской умъ окончательно застреваетъ въ нихъ и теряетъ изъ вида цѣлое. Женщина предпочитаетъ широкіе синтезы отвлеченнымъ спеціальностямъ» и т. д. (126).

«Современная культура страдаетъ крайнею неравномѣрностью въ распредѣленіи своихъ благъ; положеніе большинства человѣчества плачевно во всѣхъ отношеніяхъ: умственномъ, нравственномъ и экономическомъ. Такое направленіе культуры несогласно съ женской психикой. Женщина живо симпатизируетъ личности, легко входитъ въ ея положеніе, приспособляется къ ней; она такъ много страдала, вынесла такую тяжелую долю, что всѣ обездоленные и угнетенные близки ея сердцу; ея собственная многовѣковая горькая участь научила ее сочувствовать горю и страданію» и т. д. (124).

Таковы всѣ доводы г. Каптерева. Они очень краснорѣчивы, но совершенно голословны. Безъ всякаго сомнѣнія, есть много, слишкомъ много умовъ, «застревающихъ» въ спеціальностяхъ, но нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно приписывать эту черту мужскому уму, въ противоположность женскому, когда исторія философіи и любой науки перечисляетъ намъ длинный рядъ всеобъемлющихъ мужскихъ умовъ и такъ безъ сравненія мало всеобъемлющихъ женскихъ. Можетъ быть, когда женщины получатъ болѣе сильный интересъ къ знанію и болѣе легкій къ нему доступъ, онѣ явятъ намъ образцы «широкаго синтеза», которые затмятъ все, доселѣ нами видѣнное, но вѣдь нельзя же это съ увѣренностью предсказывать на основаніи доселѣшняго опыта. Пусть не одинъ, а сотня мужчинъ, привыкшихъ философствовать, при словѣ «лодка» не представляютъ себѣ никакого опредѣленнаго образа, а такая же сотня молодыхъ дѣвушекъ моментально нарисуетъ цѣлую картину съ кавалерами и дамами въ голубыхъ и бѣлыхъ платьяхъ, — отъ этого довольно-таки далеко до противоположенія мужскихъ «отвлеченныхъ спеціальностей» женскимъ «широкимъ

синтезамъ»; такъ далеко, что самое это противоположеніе является чистою словесностью. Почему въ самомъ дѣлѣ «широкіе синтезы» противополагаются «склонности къ отвлеченіямъ»? Все это слова, слова и перестановки словъ, которыя можно и совсѣмъ иначе переставить. Или эти разговоры о женскихъ страданіяхъ, воспитавшихъ въ женщинахъ доброжелательныя чувства. Во-первыхъ, слова можно иначе комбинировать и очень краснорѣчиво защищать то положеніе, что страданія озлобляютъ. Во-вторыхъ, если рѣчь идетъ о страданіяхъ, то надо дѣлить людей на страдающихъ и не страдающихъ, а не на мужчинъ и женщинъ; дѣленія эти отнюдь не непремѣнно совпадутъ какъ въ исторіи, такъ и въ настоящій моментъ, если имѣть въ виду не просто женщину, отвлеченную, а женщинъ въ разныхъ классахъ общества.

Это послѣднее обстоятельство г. Каптеревъ совершенно не принимаетъ въ соображеніе. Вездѣ, на всемъ протяженіи своей книги, онъ говоритъ только о мужчинахъ и женщинахъ, стараясь уловить черты изъ сходства и различія, опредѣлить мужской и женскій типы. Между тѣмъ, если мы представимъ себѣ хоть ту же лодку, наполненную кавалерами и дамами въ голубыхъ и бѣлыхъ платьяхъ, то возможно, что эти кавалеры и дамы имѣютъ гораздо болѣе общихъ интересовъ, одинаковыхъ пріемовъ мышленія, однородныхъ чувствъ, чѣмъ тѣ же дамы съ какой-нибудь крестьянской или фабричной работницей. Во всякомъ случаѣ это вопросъ, который не мѣшало по крайней мѣрѣ поставить въ книгѣ о «душевныхъ свойствахъ женщинъ», но для г. Каптерева онъ не существуетъ. Больше вниманія удѣляетъ онъ измѣненіямъ женской психики въ исторіи. Онъ неоднократно упоминаетъ о двухъ совмѣстно дѣйствующихъ причинахъ особенностей женскаго типа: это съ одной стороны физическія, природныя черты, а съ другой — черты историческаго положенія женщинъ. Но, твердо стоя на этомъ общемъ положеніи, г. Каптеревъ лишь изрѣдка и случайно вспоминаетъ объ немъ, когда рѣчь идетъ о частностяхъ и подробностяхъ. Такъ, онъ отмѣчаетъ нѣкоторыя отличія американскихъ женщинъ въ связи съ исторически сложившимися условіями американской жизни. Такъ, онъ ожидаетъ въ будущемъ значительныхъ, неизвѣстныхъ пока измѣненій: «организмъ не гранитная скала,—говоритъ г. Каптеревъ,—онъ измѣняется подъ вліяніемъ окружающей среды и практики тысячелѣтій. Нѣтъ достаточныхъ основаній считать настоящій мужской или женскій типъ неизмѣннымъ вѣчно» (117). Что касается прошедшаго, то и объ немъ г. Каптеревъ говоритъ очень мало, но кое-что для насъ интересное.

Свою единственную нѣсколько систематическую экскурсію въ область историческаго прошлаго г. Каптеревъ начинаетъ очень

издалека. «У самыхъ низшихъ животныхъ,—пишетъ онъ, — полъ отсутствуетъ, и размноженіе происходитъ дѣленіемъ и другими способами. По мѣрѣ развитія животныхъ начинается двуполость, которая бываетъ тѣмъ рѣзче и опредѣленнѣе, чѣмъ выше животное въ зоологической лѣстницѣ. У человѣка половыя особенности выражены наиболѣе, а въ родѣ человѣческомъ всего опредѣленнѣе у наиболѣе культурныхъ націй» (133). Здѣсь я позволю себѣ остановить почтеннаго автора замѣчаніемъ, что такой правильности въ отношеніяхъ между общимъ развитіемъ и усиленіемъ полового диморфизма на зоологической лѣстницѣ нѣтъ. У нѣкоторыхъ червей, очень низко стоящихъ на этой лѣстницѣ, половыя различія настолько велики, что самца и самку одного и того же вида зоологи относили по ошибкѣ къ разнымъ родамъ и даже семействамъ; у нѣкоторыхъ насѣкомыхъ половые признаки выражены гораздо ярче, чѣмъ у многихъ млекопитающихъ, у нѣкоторыхъ четырерукихъ яснѣе, чѣмъ у человѣка. Вообще, едва ли можно уловить въ этомъ отношеніи какую-нибудь правильность; половыя различія появлялись, ослабѣвали, развивались слабо, развивались сильно въ зависимости отъ многихъ, чрезвычайно сложныхъ, развѣтвляющихся и перепутывающихся причинъ, разно вліявшихъ на разныя группы и подгруппы организмовъ. Связывать появленіе и усиленіе вторичныхъ половыхъ признаковъ, то есть половыхъ различій, съ подъемомъ по зоологической лѣстницѣ—мы не имѣемъ никакого права.

Однако, что касается человѣка, г. Каптеревъ фактически несомнѣнно правъ: въ культурныхъ расахъ и націяхъ вторичные половые признаки выражены ярче, чѣмъ въ некультурныхъ. Къ этому слѣдовало бы прибавить: въ болѣе цивилизованныхъ классахъ или болѣе пользующихся плодами цивилизаціи сильнѣе, чѣмъ въ менѣе цивилизованныхъ. Это совершенно вѣрное указаніе г. Каптеревъ подтверждаетъ ссылками на «Физіологію женщины» Мантегацца, книгу Плосса ««Das Wieb in der Natur und Völkerkunde» и убогую брошюрку г. Мниховскаго «Женственность»... Книга Плосса есть безъ сомнѣнія почтенный источникъ, хотя и устарѣлый, у Мантегацца среди его болтовни можно всетаки встрѣтить кое-что путное, но черпать въ брошюркѣ г. Мниховскаго что бы то ни было, по части ли идей или фактовъ,—положительно зазорно. Г. Каптеревъ черпаетъ у г. Мниховскаго слѣдующее: У *женщинъ въ племенахъ съ низкимъ культурнымъ уровнемъ* замѣчаются «сравнительно большой ростъ и массивность тѣла, отсутствіе или недостатокъ мягкости и нѣжности, контуры менѣе округленные, бюстъ менѣе развитой, не представляющій полноты и стройности, большія руки и ноги, мускулатура (по крайней мѣрѣ у мо-

лодыхъ) сильная и крѣпкая, тѣло обыкновенно мѣшковатое, часто угловатое и неуклюжее, голосъ рѣзкій и грубый, очень непріятный для слуха (...), лицо рѣдко бываетъ красивое, большею же частію представляетъ неправильности и непропорціональность частей (...), манеры не отличаются ни мягкостью, ни изяществомъ». Зачѣмъ понадобилась г. Каптереву эта цитата? Г. Мниховскій не этнографъ, не путешественникъ, не историкъ культуры; онъ авторъ брошюры, которую можно бы было озаглавить «Взглядъ и нѣчто» и въ которой нѣтъ ни единаго намека на его компетентность по вопросамъ о «племенахъ съ низкимъ уровнемъ»... Дѣло, однако, въ томъ, что г. Мниховскій вовсе и не говоритъ въ этой цитатѣ о какихъ-нибудь «племенахъ». Въ тѣхъ мѣстахъ цитаты, гдѣ у меня поставлено многоточіе въ скобкахъ, г. Каптеревъ дѣлаетъ пропуски. А именно, напримѣръ, послѣ словъ о грубомъ, непріятномъ голосѣ женщинъ будто бы низшихъ племенъ г. Мниховскій пишетъ: «съ чѣмъ согласится всякій, кому приходилось слышать ссоры торговокъ на базарѣ». Эти слова г. Каптеревъ выкидываетъ. Точно также выкидываетъ онъ слѣдующее замѣчаніе г. Мниховскаго: «Красота у такихъ женщинъ если и бываетъ, то грубая, которую вѣрнѣе было бы назвать миловидностью и которая обусловливается больше здоровьемъ и свѣжестью организма, почему скоро исчезаетъ». Ясно, что г. Мниховскій не низшія «племена» имѣетъ въ виду, а низшіе классы нашего цивилизованнаго общества. Зачѣмъ понадобились г. Каптереву и эта вовсе не авторитетная цитата, и эта странная операція надъ ней,—понять трудно. О некультурныхъ племенахъ написана нынѣ цѣлая огромная библіотека; въ числѣ писавшихъ и пишущихъ есть превосходные наблюдатели-очевидцы, есть трудолюбивые собиратели и группировщики чужихъ наблюденій, есть мыслители, обобщающіе весь этотъ огромный матеріалъ и указывающіе ему мѣсто въ разныхъ отрасляхъ знанія. При чемъ же тутъ г. Мниховскій, да еще фальсифицированный?!

У Плосса и Мантегацца г. Каптеревъ заимствуетъ нѣсколько указаній на сходство мужчинъ и женщинъ у американскихъ индійцевъ, монголовъ и сибирскихъ инородцевъ. Дѣло сводится главнымъ образомъ къ отсутствію бороды или по крайней мѣрѣ очень слабой растительности на лицѣ у мужчинъ этихъ племенъ, да къ нѣкоторому сходству въ одеждѣ. Это не безъинтересно, конечно, но г. Каптеревъ могъ бы и не ограничиваться этими скудными и поверхностными чертами. Въ интересахъ своей темы онъ могъ бы даже у г. Мниховскаго найти такое, напримѣръ, указаніе: «Говоря о половыхъ различіяхъ, Дарвинъ ссылается на одно изъ замѣчаній Фогта, который говоритъ, что различіе между полами, по

отношенію къ черепной полости, увеличивается по мѣрѣ развитія расы; такъ, европейцы превосходятъ своихъ женщинъ гораздо болѣо, чѣмъ негры негритянокъ». Не только свѣта, что въ окошкѣ, а г. Мниховскій въ данномъ случаѣ даже не окошко, а такъ— затянутая паутиной щелка, и г. Каптеревъ безъ большого труда нашелъ бы, если бы захотѣлъ искать, много другихъ иллюстрацій къ своей темѣ. Но дѣйствительно-ли это его тема? Правда, онъ утверждаетъ, что половыя различія увеличиваются у культурныхъ народовъ, но картина этого усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ рисуется ему въ розовомъ освѣщеніи, а тутъ вдругъ какъ будто и обидно выходитъ: если въ цивилизованныхъ племенахъ мужчины «превосходятъ женщинъ гораздо болѣе», чѣмъ въ нецивилизованныхъ, такъ вѣдь это значитъ, что цивилизованная женщина, по крайней мѣрѣ относительно, по сравненію съ мужчиной,— регрессируетъ; черта, отдѣляющая мужчинъ отъ женщинъ, становится дѣйствительно рѣзче, но не въ пользу женщинъ. И еще счастье, замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ Дарвинъ («Происхожденіе человѣка и половой подборъ»), что законъ одинаковой наслѣдственной передачи признаковъ обоимъ поламъ всетаки преобладаетъ: «иначе мужчина вѣроятно превосходилъ бы женщину по умственнымъ дарованіямъ настолько же, насколько павлинъ превосходитъ паву по красотѣ оперенія». Слѣдовательно, мужской и женскій типы не только не одинаковы, но по мѣрѣ цивилизаціи становятся и все менѣе равноцѣнны...

Г. Каптереву предстояло опредѣлить значеніе фактическихъ данныхъ, лежащихъ въ основаніи этого вывода (данныхъ этихъ слѣдуетъ искать, конечно, не у г. Мниховскаго); затѣмъ оцѣнить самый выводъ и либо принять, либо отвергнуть его. Но г. Каптеревъ предпочелъ совсѣмъ обойти этотъ пунктъ и въ увеличеніи различій между мужчинами и женщинами увидѣлъ лишь нѣкоторый благодѣтельный историческій процессъ, все полнѣе развертывающій «природные» задатки, лежащіе въ основѣ обоихъ типовъ. Удивительное, однако, дѣло: мы привыкли думать—и, конечно, съ полнымъ основаніемъ, — что некультурныя племена ближе къ природѣ, чѣмъ мы, что природные инстинкты и вообще свойства въ нихъ выражены яснѣе, чѣмъ въ людяхъ цивилизованныхъ, окружившихъ себя цѣлою сѣтью хорошихъ и дурныхъ, благодѣтельныхъ и зловредныхъ, но во всякомъ случаѣ искусственныхъ условій жизни; безъ послѣднихъ, конечно, и первобытный человѣкъ (unhomme de la nature) не обходится, но дѣло здѣсь въ степени. Оказывается, напротивъ, что цивилизація, по крайней мѣрѣ, наша нынѣшняя цивилизація, съ своими многосложными учрежденіями, дѣленіемъ общества на классы, съ своими воспитательными влія-

ніями школы, государства, церкви, промышленности, науки, искусства и проч. и проч., — способствуетъ расцвѣту природныхъ, естественныхъ чертъ женскаго типа; что, напримѣръ, современная дама естественнѣе, чѣмъ та монголка, которая такъ похожа на своего монгола, что ихъ сразу и не отличишь... Если бы однако и такъ, то естественнѣе значитъ-ли непремѣнно лучше?

Еще два замѣчанія, и мы кончимъ съ книгой г. Каптерева.

Г. Каптеревъ до такой степени убѣжденъ въ необходимости и дальнѣйшаго развитія половыхъ различій, что требуетъ для женщинъ совсѣмъ особой системы образованія: «женское образованіе, какъ и самый психическій женскій типъ, должно быть оригинально, а не копировать мужской» (136). Это столь же голословно, какъ и многое другое въ книгѣ г. Каптерева, но допустимъ, что его мысль вѣрна, и посмотримъ только, какъ онъ ее иллюстрируетъ. Онъ говоритъ: «Извѣстно, что мужское образованіе строится главнымъ образомъ на изученіи древнихъ языковъ и математики, т. е., что основа его крайне отвлеченнаго и односторонняго характера. Насколько такая система удобна для всесторонняго умственнаго развитія молодыхъ людей—не будемъ обсуждать. Одно несомнѣнно, что такая система отчуждаетъ отъ природы, подрываетъ любовь и вкусъ къ наблюденію естественныхъ явленій, дѣлаетъ школьниковъ безучастными и праздными зрителями самыхъ поразительныхъ фактовъ живой дѣйствительности. Женскій умъ другого склада, чѣмъ мужской, мышленіе женщины живо, образно, разносторонне» и т. д., а потому, дескать, женское образованіе должно быть оригинально, а не копировать мужское. Вы, конечно, изумляетесь этой логикѣ и справедливо полагаете, что если г. Каптеревъ что-нибудь и доказалъ, то не необходимость особой системы образованія для женщинъ, а положеніе несравненно болѣе общее: не слѣдуетъ подражать дурнымъ образцамъ. Правило не новое, но очень хорошее, не имѣющее, однако, никакого спеціальнаго отношенія къ вопросу о системѣ женскаго образованія.

Г. Каптеревъ, какъ уже было сказано, очень мало касается историческаго прошлаго женщины. Онъ говоритъ лишь о томъ, что въ отдаленной древности (которую исторія болѣе или менѣе сохранила и донынѣ въ некультурныхъ народахъ) мужчины и женщины сравнительно мало разнились между собою и физическимъ обликомъ, и умственнымъ и нравственнымъ характеромъ. Говоритъ онъ затѣмъ, что женщина много страдала въ исторіи, благодаря своему подчиненному, рабскому положенію. Въ какомъ взаимномъ отношеніи находятся эти двѣ черты исторіи женщины? Г. Каптеревъ не задается этимъ вопросомъ, а вопросъ любопытный.

Недавно вышли двѣ небольшія книжки: М. М. Ковалевскаго «Очеркъ происхожденія и развитія семьи и собственности» и Карла Каутскаго «Возникновеніе брака и семьи». Книжки эти, независимо отъ интереса ихъ содержанія, вызываютъ нѣкоторыя побочныя соображенія. Книжка г. Ковалевскаго составилась изъ лекцій, читанныхъ имъ въ Стокгольмскомъ университетѣ, и во французскомъ оригиналѣ давно извѣстна европейской публикѣ, интересующейся предметомъ, а мы, соотечественники г. Ковалевскаго, знакомимся съ ней только черезъ пять лѣтъ. Конечно, французскій языкъ не китайскій, но знаніе и французскаго языка, когда-то обязательное для всякаго образованнаго русскаго человѣка, нынѣ очень ослабѣло. Правда, мы имѣемъ рядъ спеціальныхъ трудовъ г. Ковалевскаго, относящихся къ тому же предмету, на русскомъ языкѣ, но именно стокгольмскія лекціи, по своей сжатости и популярности, могутъ быть особенно полезны для извѣстнаго, весьма значительнаго круга читателей. Притомъ же, пишетъ г. Ковалевскій довольно тяжело, тогда какъ лекторъ онъ блестящій, и по неволѣ приходитъ въ голову печальная мысль о томъ, что такія большія научныя силы, какъ г. Ковалевскій или г. Мечниковъ, могли бы вѣдь работать и для общеевропейской науки, не покидая русскихъ каѳедръ...

Стокгольмскія лекціи г. Ковалевскаго и книжка Каутскаго могутъ имѣть какъ разъ теперь у насъ особенное значеніе, въ виду чрезвычайнаго успѣха извѣстной книжки Энгельса о происхожденіи семьи, частной собственности и государства, тоже недавно вышедшей по русски и имѣвшей уже три изданія. Категорическій тонъ покойнаго Энгельса, въ связи съ его громкой репутаціей и высокимъ мѣстомъ, которое онъ занималъ въ европейской литературѣ, можетъ внушить многимъ читателямъ совершенно неосновательную мысль, что въ его книгѣ содержится окончательная, безспорная истина. Произведенія Ковалевскаго и Каутскаго являются какъ разъ во-время, чтобы показать, какъ еще много спорнаго въ этой области. Съ этой стороны особенно полезна маленькая книжка Каутскаго. Не потому, чтобы она была сама по себѣ въ какомъ-нибудь отношеніи значительнѣе лекцій г. Ковалевскаго. Напротивъ, нашъ соотечественникъ есть самостоятельный изслѣдователь, тогда какъ какъ Каутскій—популяризаторъ, но умный, талантливый, отнюдь не лишенный оригинальности мысли, а главное принадлежащій къ одной съ Энгельсомъ партіи; поэтому его разногласія съ Энгельсомъ, хотя бы, напримѣръ, въ оцѣнкѣ изслѣдованій Моргана, особенно поучительны. Для нашихъ читателей интересно, между прочимъ, и слѣдующее замѣчаніе Каутскаго: «Къ сожалѣнію, люди очень часто смѣшиваютъ—и именно въ различныхъ

отрасляхъ соціальной науки—законъ съ шаблономъ; и такъ-какъ люди при этомъ исходятъ изъ того принципа, что соціальное развитіе въ такой же степени подчинено законамъ, какъ и физическое, то думаютъ, что оно вездѣ должно совершаться по одному и тому же шаблону. Поэтому нѣтъ ничего заурядднѣе того явленія, что, прослѣдивъ путь развитія какой-нибудь націи или одной эпохи, люди сейчасъ же возводятъ этотъ путь въ законъ природы, которому будто бы подчиняется также и прогрессъ всѣхъ остальныхъ націй и эпохъ» (стр. 97). Говоря такимъ образомъ, Каутскій слѣдуетъ лучшимъ завѣтамъ своихъ учителей, въ томъ числѣ и Энгельса. На только-что происходившемъ въ Бреславлѣ конгрессѣ Шенланкъ, возставая противъ партійнаго фанатизма и догматизма, говорилъ: «Этотъ догматизмъ отнюдь не послѣдовательный выводъ изъ матеріалистическаго взгляда на исторію, а только одинъ изъ варьянтовъ консерватизма, охраняющаго букву догмы. Энгельсъ въ одномъ изъ недавно опубликованныхъ писемъ выразился, что именно марксисты часто ложно понимали Маркса» («Русскія Вѣдомости», № 275, корреспонденція изъ Берлина).

Все это только мимоходомъ. Но я и на самихъ книжкахъ г. Ковалевскаго и Каутскаго не думаю останавливаться, такъ сказать, вплотную. Я извлеку изъ нихъ лишь то, что касается исторіи взаимныхъ отношеній мужчины и женщины. Свѣдущіе люди не встрѣтятъ здѣсь чего-нибудь очень для себя новаго, но въ интересахъ главной темы сегодняшней бесѣды не мѣшаетъ припомнить и кое-что старое.

Еще очень недавно исходною точкою супружескихъ и родительскихъ отношеній признавалась семья, и именно въ ея патріархальной формѣ. Нынѣ мало уже кто держится этого предразсудка, и каковы бы ни были разногласія изслѣдователей относительно древнѣйшихъ половыхъ отношеній, уходящихъ въ перспективу полуживотной дали, общепризнано, что патріархальной семьѣ предшествовалъ матріархатъ. Во главѣ родственной группы стояла женщина, мать, а изъ мужчинъ первое мѣсто занималъ не отецъ, который часто не могъ быть и извѣстенъ, а братъ матери. Понятно, что «униженною и оскорбленною» женщина ни въ какомъ случаѣ при этомъ не была. Нѣкоторые изслѣдователи—главнымъ образомъ Бахофенъ—реставрируютъ, на основаніи очень соблазнительныхъ данныхъ, цѣлую картину гинекократіи, женовластія въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; Каутскій и еще менѣе Ковалевскій—не идутъ такъ далеко. Но разноглася и между собою относительно нѣкоторыхъ сторонъ исторіи материнскаго права, оба они сходятся на томъ, что положеніе женщины въ глубокой древности было очень высоко. Въ заключеніе сво-

ей третьей лекціи г. Ковалевскій говоритъ: «Семиты и арійцы слѣдовали въ своемъ общественномъ развитіи по тому-же пути, какъ и другія расы. Подобно океанійцамъ и краснокожимъ они начали съ матріархата, слѣды котораго сохранились въ ихъ древнѣйшемъ правѣ и народномъ эпосѣ». Но и въ патріархальномъ періодѣ не могло сразу установиться безапелляціонное господство мужа-отца. На рубежѣ матріархата и патріархата мы находимъ замѣчательный обычай кувады, повидимому, повсемѣстно распространенный въ древности и сохранившійся кое-гдѣ и понынѣ. Обычай этотъ состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что мужъ-отецъ симулируетъ муки родовъ и такимъ образомъ, только притворившись матерью, символически ей уподобившись, вступаетъ въ свои права. «Ходячее убѣжденіе въ порабощеніи женщины патріархальнаго періода находится въ прямомъ противорѣчіи съ данными исторіи древняго права вообще, и римскаго, германскаго и славянскаго—въ особенности» (Ковалевскій, 78). Съ своей стороны Каутскій пишетъ: «Женщина въ первобытномъ состояніи не рабыня, не гаремная узница, а свободный товарищъ мужа» (38). «Развитіе цивилизаціи не улучшало, какъ обыкновенно полагаютъ, а ухудшало положеніе женщины... Развитіе цивилизаціи... конечно, улучшило обращеніе съ женщиной, но отнюдь не положеніе ея» (89). Я не привожу фактовъ, на которые опираются Ковалевскій и Каутскій, но ихъ можно бы было найти гораздо больше, чѣмъ сколько они приводятъ оба вмѣстѣ. Отмѣчу только одно любопытное соображеніе Каутскаго. Онъ доказываетъ, что поліандрическій бракъ, одна изъ древнѣйшихъ формъ семейныхъ отношеній, не въ томъ состоитъ, что нѣсколько мужей берутъ себѣ одну жену, а наоборотъ, одна жена беретъ себѣ нѣсколько мужей.

Такимъ образомъ въ исторіи взаимныхъ отношеній мужчинъ и женщинъ мы имѣемъ два одновременныя теченія: постепенное усиленіе половыхъ различій, расхожденіе половыхъ признаковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ постепенное ухудшеніе положенія женщины, усиленіе ея зависимости и подчиненности. Когда-то женщина не была «№ 2 человѣческаго рода», какъ ее называетъ Шопенгауеръ; она была безъ номера, какъ и мужчина, а можетъ быть и № 1-мъ. Вторымъ номеромъ ее сдѣлалъ длинный историческій процессъ, вмѣстѣ съ тѣмъ все усиливая и подчеркивая ея такъ называемую женственность.

Мнѣ замѣтятъ, можетъ быть, что если мы поднимемся въ глубь исторіи не такъ далеко, не до матріархата и первыхъ стадій патріархальнаго быта, то увидимъ, что положеніе женщины, напротивъ, постепенно улучшалось. Было время, когда ее покупали и

продавали, какъ вещь, держали, какъ домашній скотъ, всячески оскорбляли, били, даже ѣли, что и сейчасъ практикуется нѣкоторыми дикарями. Да и не на такомъ низкомъ уровнѣ мы видимъ безправное, униженное положеніе женщины, тогда какъ въ обществахъ вполнѣ цивилизованныхъ господствуетъ и все усиливается бережное, уважительное отношеніе къ ея достоинству, къ ея личнымъ и имущественнымъ правамъ, къ ея свободѣ. Все это совершенно вѣрно. Дѣло въ томъ, что прямолинейныхъ и однотонныхъ историческихъ процессовъ нѣтъ. Дѣйствующія въ исторіи силы переплетаются тысячами нитей, вступая въ разнообразнѣйшія комбинаціи, то подавляя другъ друга, то усиливая, то слагаясь въ новыя, въ которыхъ лишь съ трудомъ можно усмотрѣть ихъ первоначальные источники, и все это вдобавокъ не равномѣрно, не только по всему лицу обитаемой человѣкомъ земли, но и въ несравненно болѣе тѣсныхъ географическихъ предѣлахъ. По вѣрному, но не идущему къ дѣлу указанію Мантегацца, въ то самое время, какъ Гейне проситъ передъ смертью показать ему еще разъ Венеру Милосскую,—австраліецъ бьетъ первую встрѣчную австралійку по башкѣ, что составляетъ вступленіе къ супружескимъ отношеніямъ. Но этого мало: быть можетъ гдѣ-нибудь очень близко отъ этого австралійца живутъ другіе hommes de la nature, обращающіеся съ женщинами мягче, уважительнѣе, чѣмъ не только этотъ ихъ сосѣдъ, но и, напримѣръ, современный московскій Китъ Китычъ. Въ послѣднее время антропологія, этнографія, фольклоръ, изученіе древнѣйшихъ памятниковъ поэзіи и права внесли въ науку громадный и чрезвычайно пестрый матеріалъ. Многое намъ этимъ путемъ освѣтилось, но вмѣстѣ съ тѣмъ получилась возможность черпать изъ означеннаго матеріала доказательства для самыхъ противоположныхъ тезисовъ. Сколько-нибудь точная хронологія здѣсь, конечно, невозможна, и если мы имѣемъ возможность утверждать, что матріархатъ и соотвѣтственное положеніе женщины представляютъ собою древнѣйшее историческое наслоеніе, то лишь благодаря необыкновеннымъ усиліямъ многихъ проницательныхъ и трудолюбивыхъ ученыхъ. Далѣе. Когда мы говоримъ о постепенномъ улучшеніи положенія женщины въ исторіи, надо прежде всего различать—о какихъ общественныхъ слояхъ идетъ рѣчь. Прочтите въ «Юридическомъ Вѣстникѣ» 1884 г. статью г. Лудмера «Бабьи стоны», и у васъ волосы на головѣ дыбомъ станутъ отъ тѣхъ ужасовъ, которые терпитъ современная русская баба отъ своихъ мужей, отцовъ и даже сыновей. Разумѣется, нельзя слишкомъ обобщать эти факты, но нельзя ихъ и игнорировать. А между тѣмъ предки этихъ звѣрей и ихъ жертвъ когда-то тоже знали лучшія времена свободы и самостоятельно-

сти женщины. Что касается высшихъ цивилизованныхъ классовъ, то въ нихъ, разумѣется, только въ видѣ исключенія, притомъ всѣми осуждаемаго, можно встрѣтить звѣрское обращеніе съ женщиной. Но это есть дѣло общаго смягченія нравовъ и повышенія нервной воспріимчивости: вѣдь мы, цивилизованные мужчины, и между собою только въ видѣ исключенія, и тоже всѣми осуждаемаго, деремся. Мы не бьемъ своихъ невѣстъ дубиной по головѣ, но австралійка, опомнившись отъ этого удара въ убогомъ жилищѣ своего seigneur et maître, чувствовала себя затѣмъ вѣроятно гораздо лучше, чѣмъ современная цивилизованная женщина, тѣми или другими обстоятельствами вынужденная принимать ласки не ею выбраннаго или опостылѣвшаго мужчины,—не тѣ нервы, не тѣ требованія отъ любви, какъ увидимъ ниже. Увидимъ мы также, что въ той, все усложняющейся и усиливающейся борьбѣ за существованіе, арену которой представляетъ собою современное цивилизованное общество, моменты, принуждающіе женщину такъ или иначе, но во что бы то ни стало «устроиться», все ростутъ и въ своемъ родѣ стоятъ австралійской дубины. Спору нѣтъ, однако, есть современныя женщины, вполнѣ довольныя своимъ положеніемъ и съ наслажденіемъ вдыхающія ту атмосферу поклоненія, ухаживанія, которая ихъ окружаетъ. Однако, атмосфера эта нисколько не мѣшаетъ женщинѣ быть все-таки и нынѣ «№ 2 человѣческаго рода». Если мы оставимъ въ сторонѣ злобныя ругательства Шопенгауера, то должны будемъ признать, что европейская «дама» дѣйствительно занимаетъ une fausse position (Шопенгауеръ пишетъ почему-то эти слова по-французски), ибо, вообще говоря, въ окружающей ее атмосферѣ поклоненія явственно слышится струя обидно снисходительнаго презрѣнія, хотя бы и безсознательнаго. Она полу-раба, полу-царица, и въ кругъ тѣхъ интересовъ и идей, которыя мы самы считаемъ наиболѣе важными, мы ее не допускаемъ, любезно объясняя такое исключеніе «женственностью», женственною прелестью, которой, дескать, не слѣдуетъ соприкасаться съ житейскими дрязгами. Женщинѣ, собственно «дамѣ»—«розы рвать, жасмины поливать», а намъ—рѣшать глубочайшіе вопросы науки, управлять ходомъ общественныхъ дѣлъ, потому что ихъ дамскій птичій мозгъ ничего въ этомъ понимать не можетъ. Стоитъ только чуть-чуть отрѣшиться отъ обаянія условныхъ изящно мягкихъ формъ, чтобы убѣдиться, что положеніе женщинъ, напримѣръ, у древнихъ германцевъ по описанію Тацита или у нѣкоторыхъ описанныхъ Ливингстономъ африканскихъ дикарей гораздо выше положенія современной цивилизованной дамы. Тамъ нѣтъ, конечно, этого изящества во внѣшнемъ обращеніи, но женщины тамъ совершенно свободны, участвуютъ съ

рѣшающимъ голосомъ въ общественныхъ собраніяхъ, и хотя скуденъ кругъ жизни этихъ hommes de la nature, но въ немъ нѣтъ ни одного уголка, недоступнаго женщинѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ эти первобытныя женщины по всей вѣроятности очень мало женственны; то есть очень похожи на своихъ мужчинъ и лишены такихъ вторичныхъ половыхъ признаковъ, какъ тонкая талія, маленькія руки и ноги, нѣжная кожа, которыми мы такъ любуемся въ своихъ дамахъ, равно какъ и милая наивность, всесторонняя неумѣлость и другія умственныя и нравственныя черты, которыя мы, по совѣсти говоря, пожалуй нѣсколько и презираемъ, хотя и пользуемся ими.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что дамская «женственность» вызвала наконецъ реакцію, какъ въ средѣ мужчинъ, такъ и въ средѣ самихъ женщинъ. Реакція эта началась уже давно (г. Каптеревъ указываетъ на любопытное сочиненіе нѣкоего Пулэна Барра «О равенствѣ двухъ половъ», появившееся въ 1673 г.) и проистекаетъ изъ многихъ и разнородныхъ источниковъ. Тутъ дѣйствовали и продолжаютъ дѣйствовать и чисто психическіе факторы: чувство справедливости и настоящаго уваженія у мужчинъ, чувство собственнаго достоинства у женщинъ, и факторы матеріальные,—существованіе дамы дорого стоитъ, и добиться этого положенія тѣмъ труднѣе, чѣмъ больше конкурентокъ. И вотъ мы видимъ, что, по тѣмъ или другимъ мотивамъ, женщины уже не въ одиночку,—что и раньше много разъ бывало,—а цѣлымъ сомкнутымъ строемъ энергически добиваются права и обязанности участвовать въ общей работѣ человѣчества наравнѣ съ мужчинами. Что женщина должна при этомъ утратить нѣчто отъ своей «женственности», въ этомъ нельзя сомнѣваться. Надо только помнить, что женственность, разумѣя подъ нею *вторичные* половые признаки женскаго пола, не есть нѣчто разъ навсегда данное или естественное, природное, какъ думаетъ г. Каптеревъ; они развивались исторически, какъ это извѣстно, впрочемъ, тому же г. Каптереву. До сихъ поръ женственность въ цивилизованныхъ обществахъ все наростала, теперь ей очевидно предстоитъ убывать и притомъ съ гораздо большею быстротою. Какъ далеко пойдетъ этотъ процессъ,—неизвѣстно. Г. Брандтъ полагаетъ, что будущія женщины, подобно мужчинамъ, обростутъ бородами и утратятъ свой нынѣ такъ чарующій насъ нѣжный голосъ. Г. Мечниковъ считаетъ возможнымъ и желательнымъ образованіе класса безполыхъ женщинъ, преданныхъ научнымъ изысканіямъ. Грядущее подчиненіе мужчинъ женщинамъ, рисующееся воображенію г-жи Ройе, также потребовало бы очень рѣзкихъ отклоненій отъ теперешней женственности. Но это все дѣло, по малой мѣрѣ, темное. Достовѣрно то, что въ области психики женственность

должна пойти на убыль въ ближайшемъ будущемъ. Еще недавно женское образованіе считалось дѣломъ совершенно ненужнымъ и не соотвѣтствующимъ природѣ женщинъ. Теперь г. Каптеревъ находитъ только, что система и характеръ женскаго образованія должны отличаться отъ системы и характера мужского образованія, въ виду особыхъ свойствъ женскаго ума. Еще немного, и г. Каптеревъ неизбѣжно признаетъ, что образованіе, напримѣръ, женщины-врача (профессія, къ которой онъ считаетъ женщинъ особливо призванными) никоимъ образомъ не должно отличаться отъ образованія врача-мужчины. А затѣмъ, кромѣ образованія, расширяющаго умственные горизонты, дѣятельное участіе въ жизни должно вызвать такія новыя чувства и волненія, среди которыхъ цвѣты женственности должны будутъ поблѣднѣть и осыпаться. Это не значитъ, что женское образованіе должно быть сколкомъ съ нынѣшняго мужского образованія или что сумма психическихъ свойствъ, называемыхъ женственностью, должна уступить мѣсто «мужественности». И во всякомъ случаѣ, современный мужчина и весь его обиходъ совсѣмъ не такая прелесть, чтобы это было желательно.

Намъ пора вернуться къ своей исходной точкѣ, къ сборнику «Любовь конца вѣка» и спросить себя: какъ отражались на формахъ и напряженности любви послѣдовательные этапы на пути развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ. Но это тема обширная, а мѣста у насъ остается мало, и, при всемъ моемъ желаніи быть краткимъ, мы не кончимъ съ нею на этотъ разъ.

У нашихъ отдаленныхъ предковъ и у современныхъ дикарей, по справедливому замѣчанію г. Каптерева, «чувство любви является еще въ крайне элементарной формѣ, какъ простое органическое влеченіе, не имѣющее почти личнаго характера, не осложняемое той массой разнообразныхъ элементовъ, которые входятъ въ современную любовь мужчины и женщины, придавая ей множество своеобразныхъ формъ и оттѣнковъ». Любовь развивалась исторически. Когда-то она исчерпывалась физіологическимъ актомъ, но, по мѣрѣ усложненія человѣческой души вообще, и на этой грубой почвѣ въ частности, выросли тонкія и сложныя психическія явленія. Этотъ результатъ мыслимъ и помимо усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ. Представимъ себѣ, что развитіе этихъ послѣднихъ остановилось на томъ уровнѣ, какой засталъ Тацитъ у германцевъ или Ливингстонъ у нѣкоторыхъ африканскихъ племенъ, но допустимъ, что общее развитіе въ области религіи, науки, искусства, техники при этомъ не останавливалось бы, а слѣдовательно психика мужчинъ и женщинъ продолжала бы усложняться. Это общее услож-

неніе подняло бы, конечно, и любовь съ чисто физіологической ступени на высшую, психологическую. Такъ оно отчасти и было въ исторіи, но лишь отчасти, потому что та же исторія выдвинула усиленное развитіе вторичныхъ половыхъ признаковъ, которое и стало главнымъ опредѣляющимъ факторомъ формъ и напряженности любви.

Я говорю о любви въ тѣсномъ смыслѣ слова, о любви между мужчиной и женщиной, и считаю нужнымъ еще разъ подчеркнуть рѣзкую разницу между этой любовью и любовью, какъ благожелательнымъ чувствомъ къ дѣтямъ, къ родинѣ, къ человѣчеству и проч. Обыкновенно думаютъ, что половая любовь есть источникъ всяческаго альтруизма. Такъ, въ сборникѣ «Любовь конца вѣка» г-жа Шапиръ, полемизируя съ Позднышевымъ, говоритъ: «Онъ пытается воздвигнуть безстрастный идеалъ безличной братской любви на мѣсто животрепещущаго чувства, органически слитаго со всѣмъ существомъ человѣка и только потому дающагося ему легко. Онъ совершенно забываетъ, что все живое безкорыстно вырощено любовью. *На землѣ только одна любовь не считаетъ своихъ жертвъ* (курсивъ г-жи Шапиръ). Съ той минуты, какъ человѣчество дожило до безсилія любви, оно лишается самаго могучаго и естественнаго противовѣса эгоизму. Семья всегда была для личности школой самоотверженія, той школой, которая одна прививаетъ привычку безкорыстной жизни для другихъ... Удержать женщину въ семьѣ можетъ одна любовь, какою вложила ее природа въ душу человѣка, та любовь, которая окружаетъ восторгомъ самый тяжкій подвигъ и превращаетъ въ наслажденіе всякую жертву. На ряду съ ней можетъ стать только экстазъ религіозный, т. е. *все та же* (курсивъ мой) любовь, любовь къ Богу».

Нѣтъ, не «все та же». Проэкты Позднышева не только возмутительны, а и нелѣпы, между прочимъ, именно потому, что нѣтъ и не можетъ быть чувства, подобнаго половой любви. И если мы чувство вѣрующаго человѣка къ Богу, любящаго отца или матери къ дѣтямъ и любящаго мужчины или женщины называемъ однимъ и тѣмъ же словомъ, то это есть лишь бѣдность или случайная спутанность языка, къ которой не слѣдуетъ прибавлять бѣдность или спутанность мысли. Въ половую любовь отнюдь не непремѣнно входятъ преданность и благожелательное чувство, она можетъ сочетаться и съ совершенно противоположными чувствами; въ этомъ отношеніи Позднышевъ не правъ только тѣмъ, что непомѣрно обобщаетъ свой личный опытъ. Считать поэтому половую любовь источникомъ всяческаго альтруизма и главнымъ оплотомъ противъ эгоизма—никоимъ образомъ нельзя. Съ гораздо большимъ правомъ это можно сказать о другомъ элементѣ семьи,—объ отношеніи къ дѣтямъ, но и

то условно. Я не хочу, однако, отклоняться въ эту сторону и ограничусь слѣдующимъ замѣчаніемъ.

На стр. 123 стокгольмскихъ лекцій г. Ковалевскаго читатель найдетъ идиллическую картину современной семьи. Отмѣтивъ, въ послѣднихъ стадіяхъ развитія семьи, ограниченіе отцовскаго и супружескаго произвола, расширеніе правъ жены и охрану дѣтскихъ интересовъ, г. Ковалевскій говоритъ: «Повсюду семья или уже сдѣлалась, или стремится сдѣлаться поприщемъ для проявленія нашихъ наиболѣе благородныхъ и возвышенныхъ чувствъ. Все болѣе и болѣе проникаясь духомъ свободы и равенства, она можетъ обезпечить въ настоящее время какъ той, такъ и другой сторонѣ полное развитіе ея способностей и даже дать имъ новый стимулъ для дѣятельности—чистую привязанность, основанную на обоюдномъ уваженіи, постоянномъ обмѣнѣ услугъ и нравственной солидарности. *Потерявъ свой прежній принудительный характеръ*, семья стала лучшей школой... Всѣ мы, безъ различія пола и возраста, обязаны ей чувствомъ безкорыстнаго стремленія къ добру, тѣмъ альтруизмомъ, сѣмена котораго запали въ наши души. Какъ прелестна эта картина взаимнаго самопожертвованія, разумнаго, сознательнаго самопожертвованія, направленнаго къ достижимой цѣли—*къ счастію всѣхъ намъ подобныхъ*, къ счастію, которое можетъ быть куплено только этой цѣной!».

Читатель благоволитъ обратить вниманіе на подчеркнутыя мною въ двухъ мѣстахъ этой цитаты слова. Семья «потеряла свой прежній принудительный характеръ». Разумѣется, потеряла или, вѣрнѣе, постепенно теряетъ, то есть постепенно ослабѣваетъ прежній юридически оформленный личный произволъ, чему способствуетъ и общее смягченіе нравовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря обостряющейся борьбѣ за существованіе, сильнѣе выступаетъ иное принужденіе, безличное и никакими юридическими нормами неуловимое. Вспомните «Бѣдную невѣсту» Островскаго. Это уже не «темное царство», гдѣ владычествуютъ тяжеловѣсные кулаки Кита Китыча, Гордѣя Торцова и проч. Это чиновничья среда, въ которой и бывшій студентъ Хорьковъ фигурируетъ, и знающій всякія хорошія слова Меричъ и т. п. Принужденіе со стороны матери «бѣдной невѣсты» ограничивается вздохами, жалобами на трудность жить, воркотней, да и это она согласна взять назадъ, когда видитъ, что жертва, приносимая дочерью, достается ей тяжело. Тѣмъ не менѣе искренно любящая и любимая дочь, чтобы не сидѣть на шеѣ у любимой и любящей матери, выходитъ замужъ за нелюбимаго человѣка. Это безспорно «самопожертвованіе», хотя отнюдь не «взаимное», но о «свободѣ» и любви тутъ говорить не приходится. Марья Андреевна утѣшаетъ себя мыслью,

что она преобразуетъ своего грубаго, пьянаго, взяточника мужа и найдетъ себѣ въ этомъ жизненную задачу, а тамъ пойдутъ дѣти,—она для нихъ жить будетъ. Опять самопожертвованіе, но опять-таки совсѣмъ не взаимное, и самое существованіе дѣтей, какимъ бы утѣшеніемъ оно ни было, явится новымъ принудительнымъ звеномъ въ цѣпи жизни Марьи Андреевны: она вышла замужъ ради матери, она не разстанется съ мужемъ ради дѣтей. Эти двѣ драмы, то сливающіяся въ одну, то разыгрывающіяся порознь, достаточно всѣмъ извѣстны. Г. Ковалевскій разсуждаетъ, какъ юристъ, любующійся развитіемъ правовыхъ нормъ, но упускающій изъ виду на ряду съ ними стоящія съ одной стороны условія матеріальнаго существованія, а съ другой—нравственныя требованія.

Г. Ковалевскій утверждаетъ также, что современная семья практически учитъ насъ стремиться «къ счастію всѣхъ намъ подобныхъ». Это какое-то недоразумѣніе. Если подъ «всѣми намъ подобными» разумѣть дѣтей, похожихъ на насъ лицомъ, фигурой, походкой, характеромъ, такъ объ этомъ и говорить не стоитъ, хотя бы уже потому, что у иного этихъ подобныхъ всего одинъ—два. Если же подъ подобными надо разумѣть евангельскихъ ближнихъ, человѣчество или соотечественниковъ, то дѣйствительно у нѣкоторыхъ избранныхъ натуръ, или сторонними обстоятельствами къ тому подготовленныхъ, любовь къ своимъ дѣтямъ разростается въ любовь къ потомству, юности вообще, а черезъ нее и къ человѣчеству, или ко всему слабому, безпомощному, нуждающемуся въ поддержкѣ. Но и эти «люди-маяки», какъ мнѣ случилось однажды ихъ назвать, могутъ быть поставлены въ мучительно трудныя положенія тѣми же условіями матеріальнаго существованія и перекрещивающимися нравственными требованіями. Въ большинствѣ же случаевъ, при существующихъ условіяхъ, любовь къ своимъ дѣтямъ отнюдь не способствуетъ развитію альтруизма, понимаемаго сколько-нибудь въ широкомъ, то есть достойномъ этого слова, смыслѣ. Г. Гаринъ фактически совершенно справедливо говоритъ въ сборникѣ «Любовь конца вѣка»: «Если мой сынъ Иванъ и ниже по качествамъ другого Ивана, то я всетаки посажу сына Ивана на плечи этого другого». Въ этомъ именно обстоятельствѣ г. Гаринъ видитъ единственное «слабое мѣсто» современной семьи. Я думаю, что оно не единственное.

Вернемся къ половой любви. Среди, мягко говоря, странныхъ афоризмовъ г-жи Назарьевой, помѣщенныхъ въ сборникѣ «Любовь конца вѣка», есть одинъ, достойный серьезнаго вниманія: «Любовь имѣетъ два вида: *любовь-удивленіе* и *любовь-сожалѣніе*. Равнаго себѣ можно уважать, цѣнить etc., но любить невозможно.

Начинаясь отъ удивленія, восторга, поклоненія и т. д., любовь часто переходитъ въ сожалѣніе и тогда крѣпнетъ. Сознаніе своей силы заставляетъ щадить слабое существо. Любовь-сожалѣніе не можетъ переходить въ восторгъ или удивленіе: она снисходитъ до презрѣнія и выдыхается». Этотъ афоризмъ чрезвычайно интересенъ. Интересно именно то, что авторъ не можетъ даже представить себѣ любовь между равными людьми. Афористическая форма изложенія избавляетъ отъ обязанности доказывать свою мысль, но иногда эта форма можетъ быть потому и выбирается, что авторъ даже передъ самимъ собой не съумѣлъ бы оправдать свои положенія: они представляютъ собою простой ариѳметическій итогъ его наблюденій. Весьма вѣроятно, что г-жа Назарьева только потому признаетъ невозможною любовь между равными людьми, что ничего подобнаго не наблюдала и, напротивъ, видѣла много примѣровъ любви, такъ сказать, сверху внизъ и снизу вверхъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. По мѣрѣ усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ, любовь между равными людьми должна, конечно, встрѣчаться все рѣже и рѣже и, наконецъ, вотъ представляется даже невозможностью. Въ иныхъ, конечно, формахъ, но источникъ афоризма г-жи Назарьевой тотъ же, который заставлялъ скорбѣть одного изъ героевъ Щедрина: «что станется со мной, если женщины будутъ пристроены къ занятію?, кого я буду баловать?, передъ кѣмъ стану сжигать ѳиміамъ моего сердца?, кому буду дарить конфекты?, кого стану называть belle dame?» Г-жа Назарьева писательница, слѣдовательно сама до извѣстной степени «пристроена къ занятію» и, конечно, не раздѣляетъ опасеній щедринскаго героя. Но она привыкла мѣрить любовь тѣми условными мелочами, которыми нынѣ сопровождаются или выражаются взаимныя отношенія мужчинъ и женщинъ и которыя выработались подъ вліяніемъ непомѣрнаго развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ. Что такое эти вѣрно подмѣченныя г-жей Назарьевой любовь-уваженіе или восторгъ и любовь-сожалѣніе, такъ легко переходящая въ презрѣніе? Это — восторгъ бородатаго, широкоплечаго мужчины съ сильно развитой мускулатурой, низкимъ голосомъ и проч. передъ тонкими очертаніями фигуры, нѣжнымъ цвѣтомъ лица, мягкимъ голосомъ и проч. женщины,—и обратно. Это — обаяніе умственной силы, энергіи, геройскихъ подвиговъ, славы мужчины на поприщахъ, недоступныхъ для женщины, чужихъ ей. Это, далѣе, — чувство покровительственной жалости къ женской слабости и безпомощности, какъ физической, такъ и духовной, или къ мужской усталости, неудачливости, всяческимъ ранамъ, полученнымъ опять-таки на поприщахъ, не существующихъ для женщинъ. Всѣ эти чувства могутъ, конечно,

существовать и самостоятельно, не осложняясь любовью, хотя бы уже потому, что они возможны въ средѣ одного и того же пола: и мы, мужчины, можемъ преклоняться передъ славой своего брата мужчины и даже любоваться физической мужской красотой; и женщина можетъ чувствовать покровительственную жалость къ слабому существу своего пола; наконецъ, эти чувства можно питать и къ лицамъ другого пола, безъ осложненія ихъ любовью. Но г-жа Назарьева очевидно имѣетъ въ виду только тѣ случаи, когда упомянутыя чувства сливаются съ потокомъ полового влеченія. И здѣсь они, разумѣется, комбинируются на тысячи ладовъ, сообразно чисто личнымъ или установившимся въ извѣстномъ общественномъ складѣ понятіямъ о физическихъ и духовныхъ достоинствахъ.

Въ виду этой необыкновенной сложности и, такъ сказать, роскоши разнообразія, мы никогда не въ состояніи объяснить, почему изъ сотни, напримѣръ, мужчинъ и женщинъ для такого-то лица одного пола наиболѣе привлекательно такое-то лицо другого пола, да они и сами этого не объяснятъ себѣ съ достовѣрностью.

Но среди всѣхъ возможныхъ безчисленныхъ отклоненій и осложненій преобладающею окажется все-таки струя, опредѣляемая общимъ ходомъ развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ въ цивилизованномъ обществѣ. Ею, этою струею, вырабатываются и формы, и степень напряженности любви.

Выше мы пришли къ тому заключенію, что вторичнымъ половымъ признакамъ, повидимому, предстоитъ идти въ будущемъ на убыль. Вмѣстѣ съ тѣмъ должны будутъ ослабѣть или даже исчезнуть теперешнія формы любви, да ослабѣетъ, быть можетъ, и ея напряженность (послѣднее зависитъ отъ особыхъ вѣроятностей и возможностей, которыхъ я, во избѣжаніе запутанности изложенія, здѣсь касаться не буду). «Кого же я буду баловать? Передъ кѣмъ стану сжигать ѳиміамъ моего сердца? Кому буду дарить конфекты? Кого стану называть belle dame?» Этотъ вопросъ, не въ сатирической, конечно, формѣ, вѣроятно многимъ приходитъ въ голову. Что станется съ тайной, поэтическимъ ореоломъ окружающей нынѣшній «часъ свиданья, часъ разлуки» (потому что при извѣстной самостоятельности женщины, безъ чего невозможна убыль вторичныхъ половыхъ признаковъ, значеніе тайны потускнѣетъ)? Куда дѣнется вся поэзія, обращенная «къ ней», въ которой «она» сравнивается то съ блѣдной лиліей, то съ пышной розой (потому что либо «она» утратитъ свою лилейность, либо сами поэты пріобрѣтутъ такую изящную красоту, что лилейность утратитъ для нихъ прелесть контраста)? Какъ оскудѣетъ и поблекнетъ вся наша жизнь, когда изъ нея будутъ вынуты тысячи тѣхъ petits riens, ко-

торыя такъ красятъ современную любовь!.. Говоря совершенно серьезно, жизнь дѣйствительно сильно поблѣднѣла бы, если бы измѣненія, о которыхъ идетъ рѣчь, могли произойти внезапно и сейчасъ. Но это невозможно, скорѣе можно опасаться, что процессъ пойдетъ слишкомъ медленно (если вообще пойдетъ). Что же касается болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго, то люди часто относятся къ нему, какъ тотъ ребенокъ, который, стоя въ началѣ длинной аллеи и не зная законовъ перспективы, предполагаетъ, что въ концѣ аллеи такъ тѣсно, что и пройти нельзя: дойдя до конца аллеи, онъ въ этомъ разубѣдится. Одинъ писатель рѣдко выдающагося ума, пользовавшійся всероссійскою извѣстностью, говорилъ мнѣ въ интимномъ разговорѣ, по поводу, не имѣющему ничего общаго съ женскимъ вопросомъ: а какая должно быть будетъ скука, когда наступитъ это самое «совершенство». Я возражалъ ему, что наступитъ или нѣтъ «это самое совершенство» въ будущемъ, но сейчасъ рѣчь идетъ о возможномъ приближеніи къ нему, что оно, во всей своей лучезарной яркости, указываетъ путь, по которому должно идти; что, наконецъ, многоразличныя украшенія жизни, къ которымъ мы привыкли, не приросли къ человѣку: многихъ изъ нихъ совсѣмъ не знало прошедшее, многія замѣнятся въ будущемъ другими, которыхъ мы теперь, въ началѣ аллеи, даже и представить себѣ не можемъ...

Любовь-удивленіе и любовь-сожалѣніе не исчерпываютъ собою формъ любви, остановившихъ на себѣ вниманіе г-жи Назарьевой. Онѣ разростаются до рѣзко патологическихъ формъ, на которыя указываетъ въ томъ же сборникѣ Эмиль Зола.

Зола говоритъ, что анормальная, патологическая любовь «психіатрами наблюдается въ двухъ формахъ: въ формѣ пассивизма и въ формѣ садизма. Любовь перваго рода—любовь подчиненія, рабства, поклоненія. Пассивистъ готовъ съ радостью переносить всѣ пытки и истязанія, которыми награждаетъ его любимая рука. Это—любовная кротость и покорность, доведенная до болѣзненнаго апогея. Садистъ самъ долженъ истязать и тиранить любимое существо. Онъ можетъ любить и обожать только то, что поддается его любовному самодурству. Это—любовный деспотизмъ и насиліе, достигшіе болѣзненнаго идеала». Далѣе идутъ собственныя разсужденія знаменитаго романиста о настоящей любви, какъ «средней пропорціональной между добромъ и зломъ», и о томъ, что дѣторожденіе не должно встрѣчать искусственныхъ преградъ. Все это малоцѣнно само по себѣ и мало интересно для насъ сейчасъ.

Зола ошибается, утверждая, что психіатры наблюдаютъ патологическую любовь въ двухъ формахъ: они знаютъ еще многія другія, которыя, впрочемъ, насъ здѣсь не касаются. Однако и пас-

сивизма съ садизмомъ въ ихъ крайнихъ, мерзостныхъ проявленіяхъ мы не тронемъ; желающіе пусть обратятся къ спеціальнымъ сочиненіямъ. Но границы здоровья и болѣзни, въ особенности въ психической области, указать далеко не всегда легко. Существуетъ множество переходныхъ ступеней отъ кроваво-грязныхъ вершинъ садизма и пассивизма къ тому, что живетъ и дѣйствуетъ среди насъ въ качествѣ не только обыкновенныхъ, никого не удивляющихъ, а иногда даже идеализируемыхъ явленій.

Вспомните одну изъ тургеневскиъ женскихъ фигуръ, княжну Зинаиду въ «Первой любви». Я напомню нѣсколько эпизодовъ изъ этой повѣсти. Въ числѣ влюбленныхъ въ княжну былъ нѣкто Лушинъ, котораго она, замѣтьте, уважала и который получилъ почему-то право бранить ее въ глаза. Но однажды произошло вотъ что: «Я кокетка, я безъ сердца, я актерская натура»,—сказала она ему однажды въ моемъ присутствіи,—«а, хорошо! такъ подайте же вашу руку, я воткну въ нее булавку, вамъ будетъ стыдно этого молодого человѣка, вамъ будетъ больно, а все-таки вы, г. правдивый человѣкъ, извольте смѣяться». Лушинъ покраснѣлъ, отворотился, закусилъ губы, но кончилъ тѣмъ, что подставилъ руку. Она его уколола, и онъ точно началъ смѣяться... и она смѣялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему въ глаза, которыми онъ напрасно бѣгалъ по сторонамъ».—Въ такомъ родѣ Зинаида поступала не съ однимъ Лушинымъ. Влюбленнаго въ нее шестнадцатилѣтняго мальчика, отъ лица котораго ведется разсказъ и къ которому, замѣтьте опять, она питала нѣжныя чувства, она однажды «съ жестокой усмѣшкой» схватила за волосы и начала ихъ крутить, такъ что даже выдернула маленькую прядь волосъ. Въ другой разъ этотъ самый мальчикъ, изъ за ея каприза и ласки, жестоко расшибся. Онъ разсказываетъ: «Крапива обожгла мнѣ руки, спина ныла и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испыталъ тогда, уже не повторялось въ моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всѣхъ моихъ членахъ». Такимъ образомъ княжна прямо физически мучитъ своихъ поклонниковъ, притомъ именно тѣхъ, къ которымъ она наиболѣе благосклонна, а тѣ или съ покорностью принимаютъ мученія отъ нея или изъ за нея, или даже съ «блаженствомъ». Любить она пока никого не любитъ и на вопросъ разсказчика объ одномъ изъ претендентовъ на ея сердце, Малевскомъ, отвѣчаетъ: «нѣтъ, я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самъ бы меня сломилъ. Да я на такого не наткнусь, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни-ни!» Однако попалась, и именно отцу разсказчика. И вотъ что случайно подсмотрѣлъ этотъ мальчикъ: «Зинаида выпрямилась и протянула

руку... Вдругъ въ глазахъ моихъ совершилось невѣроятное дѣло: отецъ внезапно поднялъ хлыстъ, которымъ сбивалъ пыль съ полы своего сюртука—послышался рѣзкій ударъ по этой обнаженной до локтя рукѣ. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрѣла на моего отца и, медленно поднеся свою руку къ губамъ, поцѣловала заалѣвшійся на ней рубецъ».

Все это облито тѣмъ мягкимъ свѣтомъ идеализаціи, источать который былъ такой мастеръ Тургеневъ. Но выдѣленные изъ общей картины, приведенные эпизоды являютъ несомнѣнныя и очень рѣзкія черты садизма и пассивизма. Ими пропитана вся любовная атмосфера, поэтически окружающая княжну Зинаиду Засѣкину: или мучить, терзать любимое существо, или съ восторгомъ терпѣть отъ него мученія. О Достоевскомъ и говорить нечего. Его общіе принципы: «человѣкъ по природѣ мучитель» и «человѣкъ до страсти любитъ страданіе» - находятъ себѣ приложеніе во всѣхъ разсказанныхъ имъ любовныхъ исторіяхъ, но у него, болѣе въ этомъ отношеніи утонченнаго, мучительство и мученичество любви рѣдко переходятъ въ область физическаго насилія и жестокости. за то тѣмъ жесточе сказываются они въ психической сферѣ. Изъ европейскихъ писателей Захеръ-Мазохъ даже подалъ поводъ къ установленію научнаго термина «мазохизмъ», введеннаго Крафтъ-Эбингомъ для обозначенія этихъ сочетаній любви съ жестокостью. Любопытна, между прочимъ, одна особенность: Захеръ-Мазохъ очень любилъ наряжать своихъ героинь въ мѣховыя одежды, которыя производятъ особенно сильное впечатлѣніе на дѣйствующихъ въ его разсказахъ мужчинъ. Самъ онъ объяснялъ это впечатлѣніе тѣмъ, что мѣхъ есть атрибутъ царственной власти и вмѣстѣ съ тѣмъ напоминаетъ что-то звѣрское. Лермонтовскій Печоринъ, какъ и самъ его творецъ, могутъ тоже многое сообщить по части садизма и пассивизма.

Таковы результаты развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ и неравенства въ любви.

X *).

„Старый домъ" г. Владиміра Немировича-Данченко. — Письма Бѣлинскаго къ невѣстѣ. — Русское женское взаимно-благотворительное общество. — Къ психологіи труда.

Въ нашей литературѣ есть двое гг. Немировичей-Данченко: одинъ, Василій,—чрезвычайно плодовитый, блестящій, писанія котораго переполнены яркими красками, кричащими образами и сценами, гиперболическими выраженіями, невозможными происшествіями, и другой, Владиміръ,—далеко не столь цвѣтной, но зато гораздо болѣе серьезный, вдумчивый и правдивый. Рѣчь у насъ пойдетъ объ одномъ изъ произведеній этого послѣдняго,—о вышедшемъ въ нынѣшнемъ году романѣ «Старый домъ», имѣющемъ еще и второе заглавіе, «Мертвая ткань».

Это не блестящее произведеніе. мѣстами какъ будто не додѣланное, но въ него вложена серьезная мысль, и могу прибавить для любителей легкаго чтенія,—есть въ немъ и внѣшняя занимательность фабулы. Дѣйствіе происходитъ въ провинціальномъ городѣ Л., періодически оживляемомъ наѣздомъ больныхъ или полубольныхъ, полупраздныхъ (въ Л. есть минеральныя воды). Въ центрѣ романа стоятъ двѣ фигуры: мѣстная жительница, красивая, умная, смѣлая «барышня», Надежда Яковлевна Ставроковская, и пріѣзжій изъ Петербурга писатель-беллетристъ, Максимъ Николаевичъ Горкинъ-Степнякъ. Какъ во всѣхъ романахъ водится, онъ полюбилъ ее, она полюбила его, но тутъ замѣшалась общая имъ обоимъ «мертвая ткань», и романъ обрывается двойнымъ самоубійствомъ. Въ романѣ есть нѣсколько второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ. Ихъ немного и, къ чести автора надо сказать, они выдвинуты ровно настолько, насколько это требуется художественнымъ чувствомъ мѣры и требованіями, такъ сказать, беллетристической перспективы: не заслоняютъ ядра романа, что такъ часто случается даже съ очень талантливыми беллетристами, а только оттѣня-

*) Декабрь 1895

ютъ его, сохраняя, однако, каждое свою вполнѣ опредѣленную индивидуальную физіономію. Насъ будутъ занимать только центральныя фигуры.

Надежда Яковлевна Ставроковская—настоящая барышня, то есть по барски воспитанная, избалованная и ни къ чему не приготовленная, кромѣ того, чтобы стать въ свое время барыней, то есть выйти замужъ и блистать своими достоинствами—они у нея несомнѣнно есть—въ болѣе широкомъ кругу. Но она пропустила свое время: въ моментъ разсказа она уже сильно приближается къ положенію безнадежной старой дѣвы. Она всегда была не прочь «пошалить» съ мужчинами, пробуя надъ ними свою спеціально женскую власть, и ради этого становилась иногда въ очень рискованныя положенія. Но зная цѣну себѣ и будучи богатой дѣвушкой, она не торопилась съ замужествомъ, а потомъ раззорился и кончилъ самоубійствомъ ея отецъ; женихи стали рѣдкостью, хотя «пошалить» по прежнему находились охотники; но уже барышнѣ-то стало не до шалостей. Какъ разъ въ этотъ трудный моментъ судьба столкнула ее съ Горкинымъ.

Въ первое время, хотя эти люди и заинтересовали другъ друга, но въ отношеніяхъ ихъ не было и намековъ на любовь. Дѣло началось съ того, что Надеждѣ Яковлевнѣ вздумалось разсказывать Горкину свои «романы». Ихъ у нея было не мало. Одного человѣка она любила и готова была выйти за него замужъ, но онъ, нацѣловавшись съ ней сколько хотѣлъ, предложенія не сдѣлалъ и уѣхалъ. Съ двумя другими она кокетничала собственно затѣмъ, чтобы отбить жениховъ у своей кузины, которой терпѣть не могла, и достигла своей цѣли. Разсказы Надежды Яковлевны были вполнѣ откровенны, до цинизма. Такъ, напримѣръ, она говорила: «Мнѣ нравилась въ немъ эта страстность. Онъ былъ простой офицеръ, пріѣхавшій съ больной сестрой. Какъ женихъ, ничего не стоилъ. Но кавалеръ былъ прекрасный. И сильный! Кромѣ того у него были очень красивыя губы». Разсказы эти физически раздражающе подѣйствовали на Горкина, и онъ, бывшій почти равнодушнымъ до этого дня къ Надеждѣ Яковлевнѣ, почувствовалъ сначала «какую-то злобную ревность», а потомъ какую-то внутреннюю неразрывную связь съ этой странной барышней. Онъ понималъ ея игру: она разсказывала о своихъ любовныхъ похожденіяхъ такъ, «какъ будто она была не дѣвушка, а женщина, прошедшая огонь и воду и мѣдныя трубы; не могла она не понимать, что эти разсказы волнуютъ въ ея слушателѣ такія чувства, отъ которыхъ простенькая сестра ея Лиза сгорѣла бы со стыда». Такъ разсуждалъ Горкинъ, и разсуждалъ вѣрно: барышня знала, какъ дѣйствуютъ ея разсказы на собесѣдника. Понималъ также Горкинъ,

что въ ея съ нимъ заигрываніяхъ, сопровождаемыхъ поцѣлуями, есть нѣчто отличное отъ тѣхъ прежнихъ «шалостей», про которыя она разсказывала. Тамъ или была настоящая любовь (въ одномъ только, впрочемъ, случаѣ), или играла сила «садизма», можемъ мы теперь сказать, послѣ объясненія, даннаго въ прошлой бесѣдѣ, жажда спеціальной власти и мучительства надъ лицомъ другого пола. Объ одномъ случаѣ она разсказывала такъ: «Ну, и мучила же я его! Дразнила, издѣвалась, то дѣлала изъ него шута, то обращала въ лакея, то заставляла ухаживать за брошенной невѣстой, то снова переманивала къ себѣ». Эта мучительская сила коснулась и Горкина, но онъ понималъ, что это уже сила усталая, что барышня чувствуетъ убыль своихъ дѣвическихъ чаръ и прибѣгаетъ къ грубымъ средствамъ. Барышнѣ просто надо «пристроиться», барышнѣ замужъ пора. И тѣмъ не менѣе Горкинъ чувствуетъ себя безповоротно съ ней связаннымъ въ мысли и думаетъ только о томъ, какъ осуществить эту связь въ жизни. Ему подъ сорокъ лѣтъ, всю жизнь онъ прожилъ литературной богемой съ тѣмъ особеннымъ складомъ отсутствія всякихъ формальностей, который свойственъ этой средѣ. Поэтому жениться кажется ему смѣшнымъ, дикимъ, невозможнымъ; а безъ женитьбы пойдетъ-ли съ нимъ она, настоящая барышня, воспитанная въ совсѣмъ иныхъ понятіяхъ и окруженная совсѣмъ иной средой, даже теперь, послѣ раззоренія и самоубійства отца? Горкинъ сомнѣвается, но и надѣется. Происходитъ объясненіе, при которомъ Надежда Яковлевна рѣшительно объявляетъ, что никому и ни въ какомъ случаѣ не отдастъ своего сердца безъ брака. Мало того, она въ поученіе ему разсказываетъ еще одинъ изъ своихъ «романовъ». У нея, еще при жизни отца, былъ настоящій, формальный женихъ, нѣкто Карунтаевъ, человѣкъ гораздо старше ея, но очень богатый. Все уже было налажено, но Карунтаевъ заявилъ, что желаетъ самой скромной свадьбы у него въ деревнѣ, безъ всякихъ объявленій, приглашеній, вообще помпы. Во время этого разговора старикъ Ставроковскій вспылилъ, а я—разсказываетъ барышня—«тоже подливала масла въ огонь, потому что Карунтаевъ казался мнѣ человѣкомъ тяжелаго характера», и свадьба разстроилась. Карунтаевъ уѣхалъ за границу. Послѣ этого разсказа въ Горкинѣ не оставалось уже никакихъ сомнѣній, но невидимая петля затягивалась все туже, и онъ рѣшилъ преодолѣть свою цыганскую антипатію къ брачной процедурѣ. Барышня сказала, что она пойдетъ за него, но не раньше, чѣмъ онъ кончитъ свой романъ. Надо замѣтить, что о романѣ, надъ которымъ работалъ Горкинъ, онъ много и часто разговаривалъ съ Надеждой Яковлевной,—и объ содержаніи его, и о надеждахъ, съ нимъ связанныхъ.

Несвѣдущая въ литературныхъ дѣлахъ барышня поняла только, что романъ можетъ дать матеріальныя средства и положить основаніе благополучію. Поэтому она и ставила условіемъ своего согласія окончаніе романа. Но при этомъ у нея, неожиданно для нея самой, сорвалась жестокая фраза, значенія которой она въ первую минуту не понимала: «Мнѣ часто кажется, что вы уже исписались: ничего и никогда больше не напишите».

Къ Горкину мы еще вернемся ниже, а здѣсь скажемъ только, что барышня попала въ его больное мѣсто, и сейчасъ же это почувствовала, но и онъ окончательно убѣдился, что необходимость замужества обратилась для нея въ болѣзнь, въ манію, и въ ихъ отношенія вторглось что-то новое, что сблизило ихъ гораздо больше, чѣмъ предыдущіе разговоры и поцѣлуи: взаимная жалость. Съ этой минуты и Надеждѣ Яковлевнѣ сталъ дорогъ Горкинъ. Но это только влило новую мучительную струю въ ея жизнь, потому что ей всетаки нуженъ былъ мужъ, во что бы то ни стало, но не такой, какъ бездомный цыганъ Горкинъ съ неопредѣленнымъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, печальнымъ будущимъ. Являются новыя лица. Съ Ставроковскими знакомится городской врачъ, докторъ Сухачевскій, и всѣ прочатъ его въ женихи Надеждѣ Яковлевнѣ. Она и сама въ этомъ увѣрена и готова выйти за Сухачевскаго, хотя онъ ей вовсе не нравится, а Горкинъ, какъ заноза, сидитъ въ ея сердцѣ. Но вдругъ оказывается, что докторъ сватается не къ ней, а къ ея младшей сестрѣ, простенькой, скромной Лизѣ. Разочарованная, оскорбленная, разгнѣванная на самое себя Надежда Яковлевна бѣжитъ въ свое единственное пристанище.— къ Горкину. Она готова на все, но онъ уже совершенно ослабѣлъ, ничего свѣтлаго впереди не видитъ и говоритъ о самоубійствѣ. Въ тотъ же день совершенно неожиданно является изъ за границы бывшій женихъ Надежды Яковлевны, Карунтаевъ, и надежда опять оживаетъ въ сердцѣ барышни: она все еще хороша, «пикантна», и, кажется ей, производитъ сильное впечатлѣніе на Карунтаева. И дѣйствительно производитъ, но совсѣмъ не то, на которое она разсчитываетъ. Жениться на ней Карунтаевъ вовсе не желаетъ и послѣ нѣсколькихъ изворотовъ грубо предлагаетъ ей идти къ нему на содержаніе. Она выгоняетъ его и затѣмъ происходитъ ея послѣднее свиданіе съ Горкинымъ, которое и оканчивается двойнымъ самоубійствомъ.

Этотъ конецъ можетъ показаться безнужно мелодраматическимъ. Но, во-первыхъ, въ жизни мы видимъ нынѣ учащенные случаи двойного самоубійства, и значитъ это не капризная выдумка художника. Во-вторыхъ, кто прочитаетъ достаточно внимательно самый романъ, тотъ убѣдится, что мрачный финалъ вполнѣ под-

готовленъ предыдущими событіями и нравственными физіономіями дѣйствующихъ лицъ. Въ моемъ пересказѣ можетъ казаться особенно натянутымъ и невѣроятнымъ то обстоятельство, что такая отъ природы умная и видавшая виды дѣвушка, какъ Надежда Яковлевна, подъ рядъ два раза впадаетъ въ одну и ту же ошибку, видя жениховъ въ Сухачевскомъ и сейчасъ же послѣ него въ Карунтаевѣ. Но это можетъ быть лучшія, наиболѣе тонко отдѣланныя страницы романа, и я отсылаю читателя къ подлиннику.

У героя и героини есть какая-то общая имъ обоимъ «мертвая ткань». Не совсѣмъ, къ сожалѣнію, ясна эта «мертвая ткань», хотя слова эти и въ заголовкѣ романа стоятъ, и получаютъ, повидимому, объясненіе устами героя. Горкинъ доказываетъ Надеждѣ Яковлевнѣ, что она не любитъ и не можетъ любить Сухачевскаго. «Я совершенно ясно представляю себѣ,—продолжаетъ онъ,—какъ вы увлекались тѣмъ, другимъ, третьимъ, мною. Между нами и вами есть много общаго. Какъ бы это объснить вамъ? Точно ткань, изъ которой природа создавала насъ, пропитана однимъ составомъ. Мы сотканы изъ ощущеній чувственныхъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова. Любить, наслаждаться красотами природы волноваться тѣмъ, что г. Сухачевскій называетъ проявленіями сердца. и презирать его проявленія разсудка, жалѣть, не думая о томъ, достоинъ-ли человѣкъ жалости, и ненавидѣть, хотя бы онъ заслуживалъ высокаго уваженія, отдаваться во власть нашимъ влеченіямъ. не задумываясь надъ приговоромъ строгой морали,—все это такъ на насъ похоже и такъ далеко отъ господина Сухачевскаго. Можетъ быть, эта ткань уже надорвана или, вѣрнѣе сказать, заражена,—мнѣ не хочется употреблять болѣе грубаго и непривлекательнаго выраженія, хотя оно у меня на языкѣ,—но мы сотканы изъ нея. Господинъ Сухачевскій, наоборотъ, здравъ и невредимъ. Если мы—изъ тончайшихъ нервовъ, способныхъ трепетать при ничтожнѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, если многіе изъ нихъ давнымъ-давно, отъ рожденія нашего, атрофированы, то у господина Сухачевскаго они всѣ цѣлы, всѣ на мѣстѣ, крѣпкіе, стальные, способные выдержать какую угодно душевную катастрофу. Вамъ завидно смотрѣть на него, какъ больному завидно видѣть молодой, здоровый румянецъ. Вамъ хочется выйти за него замужъ, потому что хочется украсть долю его здоровья и поддержать себя. Но вы его не любите и чувствуете, что не полюбите никогда».

Выслушавъ эту тираду, Надежда Яковлевна «густо покраснѣла и прошлась по комнатѣ, чтобы скрыть смущеніе отъ Максима Николаевича», а потомъ вдругъ разразилась негодованіемъ: «Какой-то трупъ... агонія со мной какая-то; если вы себя такъ хорошо знаете, такъ не навязывайте другимъ то, чего у нихъ нѣтъ».

Я не знаю, что ужъ такъ очень краснѣть, смущаться и сердиться Надеждѣ Яковлевнѣ. Горкинъ угадалъ, собственно говоря, только одно: что она не любитъ Сухачевскаго, хотя и думаетъ выйти за него замужъ. Конечно, и это обстоятельство могло бы заставить покраснѣть барышню, но не Надежду Яковлевну въ разговорѣ съ Горкинымъ: она съ нимъ дошла до такихъ откровенностей, что этимъ смущаться ей не пристало. А затѣмъ все остальное въ характеристикѣ Горкина или не ясно, или прямо не вѣрно. Барышня дѣйствительно не чувствуетъ себя «трупомъ»: она, напротивъ, страстно хочетъ жить, только не можетъ себѣ представить жизнь иначе, какъ въ извѣстныхъ, опредѣленныхъ условіяхъ. Барышня отнюдь не завидуетъ чему бы то ни было въ Сухачевскомъ: она считаетъ его во всѣхъ отношеніяхъ ниже себя, и хочется выйти за него отнюдь не по тому непонятному побужденію, что ей «хочется украсть долю его здоровья и поддержать себя»,— она и за Карунтаева согласна выйти, и за Горкина, если бы онъ былъ матеріально обезпеченъ. Далѣе, не вѣрно, что барышня «отдается во власть своимъ влеченіямъ, не задумываясь надъ приговоромъ строгой морали». Не вѣрно или, по крайней мѣрѣ, недостаточно ясно и точно. Когда Надежда Яковлевна «шалитъ» съ своими кавалерами, она дѣйствительно не задумывается надъ «приговоромъ строгой морали», но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что она свободно отдается своимъ влеченіямъ: Горкину это лучше, чѣмъ кому-нибудь, знать; онъ на самомъ себѣ испытываетъ именно неспособность Надежды Яковлевны отдаваться во власть своихъ влеченій. Да и въ «шалостяхъ» своихъ она твердо помнитъ границы, предписываемыя не особенно, впрочемъ, строгой моралью.

Вообще, вся приведенная рѣчь Горкина, спеціально посвященная разъясненію «мертвой ткани», общей Горкину и Надеждѣ Яковлевнѣ, едва-ли что-нибудь разъясняетъ. Есть въ романѣ еще одно мѣсто, по которому можно попытаться добраться до смысла «мертвой ткани». Пріѣхавъ въ городъ Л. и познакомившись съ семействомъ Ставроковскихъ, Горкинъ задумалъ большой романъ,— тотъ самый, окончанія котораго такъ настоятельно и такъ тщетно требовала Надежда Яковлевна, въ которомъ долженъ былъ пройти рядъ лицъ трехъ поколѣній, послѣдовательно жившихъ въ «старомъ домѣ» Ставроковскихъ. Это былъ старинный барскій домъ, полный фамильныхъ преданій, и разсказы, какъ теперешнихъ обитателей его, такъ и вообще мѣстныхъ жителей, именно и натолкнули Горкина на мысль о романѣ.

«Бесѣдуя съ Надеждой Яковлевной часто, по поводу задуманнаго романа, объ отцахъ и дѣдахъ, Горкинъ пускался въ такія

откровенныя толкованія ихъ поступковъ, что даже подвиги ихъ принимали пошлый и грязный характеръ. Точно умышленно подбиралъ онъ событія, съ которыми легко было бы подкопаться подъ всякаго рода идеализацію. Рисуя ихъ жизнь, онъ ставилъ впереди другихъ явленій—невѣжество, деспотизмъ, тупое чванство. развратныя отношенія съ любовницами, безсудность и безправіе, грабежъ и т. п.». Такъ Горкинъ не то что преувеличивалъ, а сгущалъ краски стараго «барства», отзвуки котораго слышалъ и въ Надеждѣ Яковлевнѣ. Затѣмъ, когда онъ убѣдился, что романа ему не написать и что вообще литературная карьера его кончена, онъ объясняетъ Надеждѣ Яковлевнѣ это свое оскудѣніе, между прочимъ, такъ: «Я относился (къ литературѣ) диллетантски, какъ *жили вы и ваши отцы и дѣды;* транжирилъ все, что у меня было, и не думалъ о томъ, что можно охладѣть къ дѣлу, отбить привычку къ нему; обрадовался, что судьба мнѣ улыбается и, какъ говорится, почилъ на лаврахъ». На этотъ разъ, говоря о жизни «отцовъ и дѣдовъ», Горкинъ, очевидно, разумѣетъ не звѣрства какія-нибудь, а избалованность и диллетантизмъ, поверхностное, не глубокое отношеніе ко всему, съ чѣмъ человѣка судьба сталкиваетъ. И можетъ быть именно здѣсь слѣдуетъ искать «мертвой ткани», общей герою и героинѣ романа г. Немировича-Данченко. Но во всякомъ случаѣ они подошли къ этому общему пункту съ совершенно противоположныхъ концовъ. Надежда Яковлевна —отпрыскъ настоящаго барскаго рода; до смерти отца она жила въ роскоши. притомъ же была любимицей этого расточительнаго барина-отца. О Горкинѣ же авторъ сообщаетъ, что онъ «уже съ 14-ти лѣтъ самостоятельно зарабатывалъ на себя», а самъ Горкинъ говоритъ, что у него «обѣдъ зависитъ отъ какого-то тамъ вдохновенія» и что онъ «изощрялъ свои вкусы по трактирамъ и вертепамъ...» Но покончимъ сперва съ Надеждой Яковлевной.

Въ сердитую минуту она говоритъ своей бывшей воспитательницѣ: «Вы не виноваты въ томъ, что мы (съ сестрой) не вышли замужъ, но вы виноваты въ томъ, что мы, оставшись безъ мужей, не знаемъ, что съ собой дѣлать». И далѣе: «Какое образованіе вы дали намъ? Науки у васъ проходятся, какъ что-то лишнее, необходимое только для формы, какъ какое-то маленькое чистилище, черезъ которое надо пройти; или съ тѣмъ, чтобы наполнить чѣмъ-нибудь дѣтскій умъ отъ 10 до 17 лѣтъ, когда игрушки уже скучны, а о женихахъ думать рано». И т. д. и т. д. Въ концѣ концовъ раздраженная Надежда Яковлевна объявляетъ, что ея бывшая воспитательница готовила «тупицъ, которымъ безъ мужчинъ шагу ступить нельзя». Вотъ Лиза (сестра) «по крайней мѣрѣ научи-

лась хозяйничать, но къ чему ей и это, если она не выйдетъ замужъ?»

Воспитательница приходитъ въ ужасъ отъ этой, по ея мнѣнію, «неприличной» обличительной рѣчи, но собственно возраженій никакихъ въ своемъ умѣ не находитъ, да съ ея точки зрѣнія ихъ и нельзя найти. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы вообще нельзя было бы возразить Надеждѣ Яковлевнѣ. Ее можно было бы спросить: «ну, а если бы вы получили несравненно лучшее образованіе, если бы «науки» преподавались вамъ совершенно такъ же, какъ и намъ, мужчинамъ, или даже въ превосходной степени?, могли бы вы обойтись безъ мужей?» Вопросъ этотъ особенно умѣстенъ теперь, когда женское образованіе, повидимому, становится на твердую почву, въ соотвѣтствіи съ давнишнимъ, горячимъ и фактически доказаннымъ желаніемъ всего русскаго общества, за весьма малыми исключеніями. Дѣйствительно, изъ волновавшихъ наше общество вопросовъ едва-ли найдется много такихъ, въ которыхъ оно обнаружило бы столько энергіи, настойчивости и готовности нести матеріальныя тягости, какъ въ этомъ дѣлѣ. Душой отдыхаешь на этихъ страницахъ исторіи нашего вообще столь апатичнаго, вялаго общества. Но есть изъ за чего и биться. Трудно оцѣнить всѣ благія послѣдствія широкаго развитія женскаго образованія. Уже одна убыль щедринскихъ «куколокъ» и «ангелочковъ» чего стоитъ! Доселѣ половой подборъ руководился главнымъ образомъ чувствомъ красоты и грубо-матеріальными соображеніями: красота или приданое (капиталъ, недвижимое имущество, вліятельныя связи),—вотъ что преимущественно требовалось отъ женщинъ и что предлагалось ими. Оба эти краеугольные камни нынѣшняго полового подбора должны сильно пошатнуться съ распространеніемъ женскаго образованія. Мы постепенно пріучимся, по крайней мѣрѣ рядомъ съ красотой, цѣнить въ женщинахъ другія качества, которыя развернутся вмѣстѣ съ расширеніемъ ихъ умственныхъ горизонтовъ. Ослабнутъ тѣ семейныя драмы, въ которыхъ мужъ, по прошествіи перваго періода слѣпой влюбленности, открываетъ въ своей подругѣ нѣкоторое пустое мѣсто, безнадежное въ смыслѣ поддержки или сочувствія ему на трудномъ житейскомъ пути. Благотворно отзовется это и на дѣтяхъ, и не только въ дѣлѣ ихъ воспитанія: надо думать, что и рождаться они будутъ съ лучшими, чѣмъ теперь, умственными и нравственными задатками. Нельзя сказать, чтобы въ цивилизованныхъ обществахъ родъ человѣческій физически хорошѣлъ, но это зависитъ отъ многихъ и сложныхъ причинъ, а красивая женщина во всякомъ случаѣ имѣетъ нынѣ. вообще говоря, больше, чѣмъ некрасивая, шансовъ произвести потомство и передать ему свои качества, а стало быть

глупая и безсердечная красавица больше, чѣмъ некрасивая умница съ великимъ сердцемъ. Это должно измѣниться. Правда, и теперь съ красотой соперничаетъ другой факторъ полового подбора—приданое, но оно тоже не гарантируетъ потомству высокихъ нравственныхъ качествъ, и значеніе его естественно тоже должно ослабѣть съ распространеніемъ женскаго образованія. Приданое сплошь и рядомъ идетъ на поддержаніе того условнаго блеска, фокусъ котораго составляетъ все та же ангелоподобная куколка, и не отмѣмѣняетъ вѣрности изрѣченія: la caisse est donnée à l'homme, pour être vidée par la femme; притомъ же, будущая просвѣщенная женщина окажется настолько цѣнной помощницей мужа, что унизительная для нея придача къ ея особѣ утратитъ свое нынѣшнее значеніе...

Все это прекрасно, но рѣчь у насъ идетъ при этомъ все о мужьяхъ и дѣтяхъ. Ну, а сами женщины какъ? Пусть просвѣщеніе принесетъ Надеждѣ Яковлевнѣ все то, что оно *могло бы* приносить нынѣ намъ, мужчинамъ, всю связанную съ нимъ сладость и горечь, всѣ радости и всѣ муки мысли, обнимающей въ своемъ полетѣ небо и землю, прошедшее, настоящее и будущее. Подчеркиваю слова *могло бы*,—предвидя замѣчаніе читателя или читательницы, что вѣдь ни талантливый Горкинъ, ни свѣтски образованный Карунтаевъ, ни спеціалистъ Сухачевскій всетаки съ неба звѣздъ не хватаютъ. О, конечно! Но я предполагаю, что Надежда Яковлевна достигнетъ въ этомъ направленіи гораздо болѣе значительныхъ результатовъ, чѣмъ всѣ окружающіе ее мужчины, и всетаки считаю позволительнымъ спросить ее: могли-ли бы вы обойтись безъ мужа? Дѣло, разумѣется, не лично въ Надеждѣ Яковлевнѣ. Въ ней, можетъ быть, откроется, скажемъ къ примѣру, литературный талантъ, и она блистательно напишетъ тотъ самый романъ, который такъ и не дался Горкину, а затѣмъ и вообще твердо станетъ на эту литературную почву. Но вѣдь и то сказать, что ей мѣшаетъ сдѣлать это теперь же, если у нея есть литературный талантъ? Были же у насъ и теперь есть болѣе или менѣе талантливыя писательницы, независимо отъ грядущаго торжества женскаго образованія, а съ другой стороны не мало у насъ даже высокоталантливыхъ писателей-мужчинъ, образованіе которыхъ оставляетъ желать многаго,—не боги горшки обжигаютъ. Но, повторяю, дѣло не лично въ Надеждѣ Яковлевнѣ, и если бы даже не одна она, а цѣлая сотня такихъ барышень стали самостоятельны, благодаря той или другой доступной имъ профессіи, то общее женское дѣло отъ этого не подвинулось бы ни на шагъ впередъ. Припоминая всѣ эти профессіи, мы увидимъ, что всѣ онѣ не требуютъ образованія большаго, чѣмъ то, которое и нынѣ получаютъ

женщины. Конечно, болѣе высокая степень образованія и въ этихъ профессіяхъ приведетъ къ своимъ естественнымъ благимъ послѣдствіямъ или, по крайней мѣрѣ, ничему не помѣшаетъ, но необходимости она не составляетъ; ибо и теперь есть безукоризненныя учительницы, телеграфистки, акушерки, конторщицы, женщины-счетоводы, наконецъ женщины-врачи, новое поколѣніе которыхъ получитъ именно то образованіе, которое необходимо для отведенной имъ практической дѣятельности. Повторяю, благія послѣдствія широкаго распространенія женскаго образованія неисчислимы, но, устроивъ Надежду Яковлевну, потомъ вторую, десятую, сотую Надежду Яковлевну, мы все же не рѣшимъ вопроса, что дѣлать женщинамъ, получившимъ образованіе въ новомъ, расширенномъ объемѣ. Скажутъ, можетъ быть, что тутъ нѣтъ никакого вопроса или что мы его только - что рѣшили, указавъ на тотъ свѣтъ и то тепло, которое разольетъ образованная женщина вокругъ себя въ семьѣ. Это превосходно, конечно, но вѣдь насъ занимаютъ жалобы Надежды Яковлевны: «мы, *оставшись безъ мужей*, не знаемъ, что съ собой дѣлать»; намъ «безъ мужчины шагу ступить нельзя». Очевидно, эти жалобы возможны въ устахъ Надежды Яковлевны и въ томъ случаѣ, если бы она получила превосходнѣйшее образованіе. Она и въ этомъ случаѣ могла бы оказаться въ числѣ тѣхъ многихъ и многихъ, которымъ не удалось пристроиться къ одной изъ доступныхъ нынѣ женщинамъ профессій. Значитъ, ей всетаки нуженъ будетъ мужъ, не только въ силу естественнаго тяготѣнія любви—объ этой сторонѣ дѣла мы теперь не говоримъ—и слѣдовательно не непремѣнно любимый человѣкъ, а мужъ, какъ опора. Словомъ, вся драма жизни Надежды Яковлевны и сотенъ подобныхъ барышень могла бы повториться съ буквальною точностью и тогда, если бы онѣ не имѣли повода жаловаться на воспитательницъ за недостатокъ научнаго образованія. Бѣда Надежды Яковлевны не столько въ недостаткѣ образованія или не только въ немъ, а во-первыхъ, въ обще-женской трудности самостоятельно устроиться и, во-вторыхъ, въ томъ, что она настоящая барышня, и по своимъ привычкамъ, и по своимъ понятіямъ, и по своей духовной зависимости отъ окружающей среды.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№№ 101, 109, 163, 185) напечатаны любопытныя письма Бѣлинскаго къ его женѣ, тогда еще только невѣстѣ. Кто любилъ и чтилъ Бѣлинскаго раньше, тотъ, по прочтеніи этихъ писемъ, полюбитъ и почтитъ его еще больше, не потому, чтобы въ этихъ письмахъ обнаружились какія-нибудь новыя черты личности знаменитаго писателя, а напротивъ, именно потому, что и здѣсь, въ интимнѣйшей сторонѣ жизни, онъ все та же «наивная и страстная душа», идущая къ своей цѣли, «упорствуя,

волнуясь и спѣша», какимъ мы его знаемъ и по сочиненіямъ, и по перепискѣ съ друзьями и врагами. Письма писаны изъ Петербурга, тотчасъ по пріѣздѣ Бѣлинскаго туда изъ Москвы, гдѣ оставалась его невѣста, Марья Васильевна Орлова—дѣвушка уже не первой молодости (30 лѣтъ), которая, по словамъ составителя примѣчаній къ письмамъ, «выдаваясь среди сверстницъ по своимъ умственнымъ способностямъ, отличалась и замѣчательной красотой». Еще до знакомства съ Бѣлинскимъ она «читала и зачитывалась имъ, причемъ особенное впечатлѣніе произвела на нее появившаяся въ 1834 г. извѣстная статья Бѣлинскаго «Литературныя мечтанія». Очевидно, дѣвушка была не заурядная для своего времени. Первыя письма Бѣлинскаго полны страстныхъ выраженій любви, тоски разлуки и жажды свиданья. Но вотъ понемножку вкрадывается въ нихъ особенная, горькая нота, достигающая наконецъ высоты настоящей бури. Дѣло идетъ о томъ, гдѣ быть свадьбѣ, въ Петербургѣ или въ Москвѣ? Женихъ настаиваетъ на Петербургѣ, невѣста—на Москвѣ. Главный мотивъ Бѣлинскаго тотъ, что онъ не можетъ оставить свое дѣло именно въ это время (октябрь 1843 г.): «Не могу пріѣхать по тому же самому, почему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя бы отъ этого зависѣло счастіе всей его жизни». И дальше изъ каждой строки сквозитъ все та же «наивная и страстная душа». Онъ не можетъ побороть въ себѣ отвращенія къ нѣкоторымъ, по его мнѣнію, неизбѣжнымъ въ московскомъ кругу родныхъ и знакомыхъ невѣсты подробностямъ свадебнаго обряда. Онъ съ ужасомъ говоритъ о «дядюшкахъ и тетушкахъ, объ оффиціальномъ обѣдѣ съ шампанскимъ и поздравленіями, съ идіотскими улыбками и можетъ быть, о infamie!—съ чиновническими шутками и любезностями. Въ этой поистинѣ плѣнительной картинѣ—прибавляетъ онъ—недостаетъ только свахи, смотра, сговора, дѣвишника со свадебными пѣснями. Кажется, что—и при этой мысли ужасъ проникаетъ холодомъ до костей моихъ—въ посаженомъ отцѣ и посаженой матери недостатка не будетъ, и насъ съ вами встрѣтятъ, и мы будемъ кланяться въ ноги». Онъ съ завистью разсказываетъ, какъ женился Боткинъ: «взялъ невѣсту подъ руку, да и пошелъ съ ней по Невскому въ Казанскій соборъ въ сопровожденіи пяти пріятелей,—такъ и воротился, словно съ прогулки». Бѣлинскій умоляетъ Марью Васильевну пріѣхать въ Петербургъ именно въ качествѣ его невѣсты, и если ужъ она не хочетъ остановиться прямо у него, то онъ ей предлагаетъ поселиться до свадьбы у такихъ то и такихъ то своихъ семейныхъ знакомыхъ. Онъ пожалуй согласенъ и пріѣхать въ Москву и подвергнуться всей ненавистной ему процедурѣ, но это онъ можетъ сдѣлать только значительно позже, и свадьбу при-

дется отложить до апрѣля, можетъ быть мая, а первоначально она предполагалась въ ноябрѣ. «Счастье было такъ близко, такъ возможно», влюбленный Бѣлинскій рветъ и мечетъ, потому что Марья Васильевна настаиваетъ на Москвѣ. Ея письма неизвѣстны, но изъ отвѣтовъ Бѣлинскаго видно, что ее нисколько не пугаетъ то, къ чему онъ относится съ такимъ отвращеніемъ, а напротивъ страшитъ то, что ему кажется простымъ и естественнымъ: что скажутъ? какъ можно ѣхать въ Петербургъ къ жениху? «Неистовый Виссаріонъ» выходитъ изъ себя. Въ одномъ изъ писемъ читаемъ:

Вы пишете, каково бы вамъ было, еслибъ въ Петербургѣ васъ встрѣтилъ кто изъ московскихъ и посмотрѣлъ бы на васъ такимъ взглядомъ, отъ котораго не поздоровится. Кто же это, Маріе? Ужъ не Любовь-ли, горничная вашей кузины? Или не тотъ-ли милый родственникъ вашъ, что такой мастеръ на лакейскія любезности и кучерскіе каламбуры? Но кто бы ни былъ, онъ—лакей, холопская подлая душа, если бы осмѣлился съ презрѣніемъ посмотрѣть на васъ за то только, что вы рѣшились пріѣхать къ своему жениху въ Петербургъ, вмѣсто того, чтобы дожидаться его къ себѣ въ Москву. Ну, Маріе, какъ же слабо въ васъ сознаніе вашего достоинства, какъ же мало въ васъ уваженія къ самой себѣ, если взгляды лакеевъ, кучеровъ, свинопасовъ и чиновниковъ могутъ заставлять васъ потуплять ваши глаза и страдать. Вы-ли это, Маріе, или тѣнь ваша, призракъ? Нѣтъ, эти строки необдуманно сорвались съ пера вашего, и вамъ вѣрно теперь стыдно ихъ.

Да, Маріе, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы за отсутствіемъ какихъ либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума—плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе. Зачѣмъ же пишу я это вамъ? Затѣмъ, что въ ваши свѣтлыя минуты, когда вы будете самой собою, вы поймете это и скажете: еслибъ онъ былъ не таковъ, я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Послѣ такихъ писемъ Бѣлинскій, какъ оно и подобаетъ «наивной и страстной душѣ» «неистоваго Виссаріона», приходитъ въ отчаяніе.

Мнѣ тяжело, невыносимо тяжело. Ко всѣмъ другимъ причинамъ моего страданія присовокупилась новая: это—воспоминаніе о грубомъ и жестокомъ тонѣ моихъ писемъ, который долженъ оскорбить, огорчить васъ, когда вамъ и безъ того тяжело. Меня ужасаетъ мысль, что, можетъ быть, звѣрскія письма мои сильно подѣйствуютъ на ваше здоровье. О, я звѣрь, родился звѣремъ—имъ и умру. Но, мое звѣрство скоро смѣняется человѣческимъ расположеніемъ, и тогда я изъ одного мученія перехожу въ другое. Маріе, другъ мой, о, простите меня, если я огорчилъ васъ, забудьте это, изорвите мои несчастныя письма; и помните только одно, вѣрьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно люблю васъ.

«Послѣ долгихъ колебаній» М. В. Орлова рѣшилась наконецъ пріѣхать въ Петербургъ для вѣнчанія. Неистовый Виссаріонъ побѣдилъ. Но чего ему это стоило! Я еще буду имѣть случай въ другой разъ вернуться къ этому характерному эпизоду изъ жизни Бѣлинскаго, а теперь останавливаюсь на немъ лишь ради той стороны дѣла, которая имѣетъ непосредственное отношеніе къ предмету нашей бесѣды.

Марья Васильевна Орлова была для своего времени образованная дѣвушка, но это не помѣшало ей отравлять первыя минуты своего счастія изъ за мелочей, которыя такъ презиралъ Бѣлинскій. И винить-ли ее за это? Она ошибалась, конечно, предполагая, какъ это видно изъ отвѣтовъ Бѣлинскаго, что въ Петербургѣ ее осудятъ, чуть не презирать будутъ за ея пріѣздъ къ жениху: въ той средѣ, гдѣ обращался Бѣлинскій, ничего подобнаго быть не могло. Но въ московскомъ кругу Марьи Васильевны очевидно были иные взгляды въ ходу, и ей нужно было дѣйствительно много храбрости, чтобы исполнить желаніе жениха. Бѣлинскій съ свойственною ему чуткостью понималъ это, и его бурное негодованіе смѣнялось иногда такими строками: «Бѣдный другъ мой, какъ вы страдаете. Сердце мое сжалось, когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причины вашего страданія—фантомъ, призраки, бредъ больного воображенія; но развѣ отъ этого легче ваше страданіе? Напротивъ, тѣмъ большее страданіе возбуждаетъ во мнѣ ваше страданіе! Да, Маріе, есть пункты, въ которыхъ мы рѣшительно не понимаемъ другъ друга, за то, благодаря имъ, я понялъ, что такое Москва. Я давно уже не люблю ея, но теперь...» Многоточіе, обрывающее эту фразу письма, должно замѣнять тѣ ругательныя слова, которыя на этотъ разъ Бѣлинскій не рѣшается написать, щадя слабость своей невѣсты. Несомнѣнно, что и въ Петербургѣ были тогда, да и теперь еще вѣроятно найдутся круги, въ которыхъ пріѣздъ невѣсты къ жениху могъ бы вызвать нареканія, какъ нѣчто вполнѣ неприличное. Но Бѣлинскій быстро и рѣзко обобщилъ свои непосредственныя впечатлѣнія и съ обычною страстностью сосредоточилъ на «Москвѣ» всю свою ненависть и все свое презрѣніе. «Москва» стала для него символомъ всяческой пошлости, всѣхъ дрянныхъ, ничтожныхъ и все-таки могущественныхъ мелочей, наполняющихъ жизнь однимъ и отравляющихъ ее другимъ отнюдь не въ одной Москвѣ.

Эта «Москва» въ ковычкахъ, Москва — символъ, владѣетъ и Надеждой Яковлевной въ романѣ г. Немировича-Данченко. И ясно, что «науки», за свое невѣжество въ которыхъ она такъ коритъ свою воспитательницу, сами по себѣ не освободили бы ее отъ «Москвы». Мало того. Если «науки» просвѣтятъ умъ и расширятъ сердце Надежды Яковлевны, то ея положеніе въ виду «Москвы»

(прошу прощенія у москвичей, но я продолжаю употреблять это слово по Бѣлинскому) станетъ еще острѣе, еще больнѣе. Образованной, настояще образованной женщинѣ придется гораздо солонѣе въ тѣхъ захолустьяхъ, гдѣ царитъ «Москва», и въ частности гораздо труднѣе будетъ найти человѣка по сердцу, чѣмъ блестящей, но пустопорожней Надеждѣ Яковлевнѣ г. Немировича - Данченко. И сторонники женскаго образованія (къ числу которыхъ относится и пишущій эти строки) должны помнить это. Мало дать женщинамъ образованіе — надо думать и о дальнѣйшей судьбѣ образованной женщины, жизненный путь которой во многихъ отношеніяхъ можетъ оказаться очень тернистымъ.

Русское общество—и, главнымъ образомъ, конечно, сами женщины — повидимому, и думаютъ, объ этомъ. Довольно давно уже существуетъ у насъ общество взаимопомощи женщинъ-врачей, недавно учреждены «Общество вспоможенія окончившихъ курсъ наукъ на петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ» и «Русское женское взаимно-благотворительное общество». «Не добро быти человѣку едину», сказано еще въ библіи, а мы такъ одиноки, такъ разсыпаны и такъ безсильны въ своемъ одиночествѣ и разсыпанности, что нельзя не порадоваться всякой попыткѣ сложенія силъ съ благою цѣлью. Хорошо уже и то, что означенныя три общества существуютъ, но нельзя все-таки не замѣтить, что ихъ крайне недостаточно. Первыя два имѣютъ совершенно спеціальный кругъ дѣятельности. Шире поставлены задачи третьяго—«Русскаго женскаго взаимно-благотворительнаго общества», но...

Предсѣдательницей этого общества была покойная Н. В. Стасова, а за смертью ея выбрана въ предсѣдательницы извѣстная въ Петербургѣ женщина - врачъ г-жа Шабанова. Сообщая объ этихъ выборахъ въ «Новомъ Времени», нѣкто Н. Л., между прочимъ, пишетъ:

«Новоизбранная предсѣдательница А. Н. Шабанова обратилась къ обществу съ короткою рѣчью, въ которой прекрасно и тепло высказала тѣ идеалы, къ которымъ оно должно стремиться, и ту программу, которой должно строго держаться. Суть ея рѣчи заключалась въ томъ, что члены этого общества должны сплотиться для достиженія намѣченной ими цѣли взаимопомощи; отдать на служеніе дѣлу ту энергію, находчивость и настойчивость, на которую такъ способны женщины, и въ то же время забыть мелочность личные счеты, раздражительное самолюбіе, словомъ, приписываемые именно женщинамъ недостатки, которые, конечно, могутъ погубить молодое дѣло. Рѣчь ея была покрыта искренними аплодисментами. Вчерашнее многолюдное собраніе показало, какъ настоятельна была потребность женщинъ именно въ такомъ «своемъ» обществѣ. Ли-

шенныя элемента вѣчныхъ недоразумѣній, волненій, стѣсненій, любви и ненависти, т.-е. мужчинъ, женщины здѣсь становятся сами собой, т.-е. простыми, сердечными, веселыми, ласковыми существами. Художницы, пѣвицы, писательницы, учительницы, старыя женщины и совсѣмъ молоденькія дѣвушки встрѣчаются здѣсь на равной ногѣ. Идетъ живой обмѣнъ мысли, оставлены всѣ мелкіе интересы и вызванъ одинъ высшій, т. е. желаніе общаго женскаго блага, которое лежитъ въ дѣятельности ума, сердца и въ достаточномъ заработкѣ, который дозволилъ-бы спокойно смотрѣть на завтрашній день».

Г-жа Н. Л., повидимому, не вполнѣ компетентна въ дѣлахъ новорожденнаго женскаго общества, такъ какъ въ «Новомъ Времени» было потомъ напечатано заявленіе, опровергающее въ нѣкоторыхъ частяхъ вышеприведенное сообщеніе, но для насъ это теперь безразлично. Немножко смѣшно, конечно, что женщины, «лишенныя мужчинъ», оказываются такими милыми существами. Боюсь, что и въ отсутствіи мужчинъ онѣ остаются при нѣкоторыхъ, какъ индивидуальныхъ, такъ и общеженскихъ и общечеловѣческихъ слабостяхъ, и не представляютъ собою скопища воплощенныхъ ангеловъ. Но, разумѣется, нельзя ничего возразить противъ того, чтобы женщины исключительно сами вѣдали намѣченныя ими для себя дѣла или собирались для отдыха и занятій въ отсутствіи мужчинъ. Быть можетъ, это и въ самомъ дѣлѣ гарантируетъ отъ обнаруженія нѣкоторыхъ спеціальныхъ слабостей, хотя и дастъ просторъ нѣкоторымъ другимъ; а практика общественной дѣятельности нужна-же, наконецъ, женщинѣ. Надо только остерегаться иллюзій «общаго женскаго блага». Не бѣда, что уставомъ женскаго взаимно-благотворительнаго общества мужчины не допускаются въ члены, не бѣда и, можетъ быть, даже хорошо. Но было-бы очень печально, если-бы въ самой дѣятельности общества сказалось стремленіе изолировать «общее женское благо», поставить его въ сторонѣ отъ общечеловѣческихъ вопросовъ, задаваемыхъ текущею жизнью. Уже одна сколько-нибудь успѣвшая борьба съ затхлостью и безобразіемъ «Москвы» немыслима на почвѣ исключительнаго женскаго дѣла, потому что понятія «Москвы» о женскомъ достоинствѣ не особнякомъ въ ней стоятъ, а сростаются тысячами нитей со множествомъ другихъ вещей. А дѣло не въ одной «Москвѣ».

«Художницы, пѣвицы, писательницы, учительницы», — такъ перечисляетъ г-жа Н. Л. профессіи членовъ женскаго взаимно-благотворительнаго общества, прибавляя къ нимъ менѣе опредѣленныхъ «старыхъ женщинъ и молодыхъ дѣвушекъ»; но подъ ними надо вѣроятно разумѣть опять-таки, если не художницъ, пѣвицъ и проч., то во всякомъ случаѣ женщинъ «интеллигентныхъ»,—женъ

и дочерей людей свободныхъ профессій, чиновниковъ и т. п. Таковъ, по всей вѣроятности, фактически окажется составъ женскаго взаимно - благотворительнаго общества, хотя уставъ общества выражается на этотъ счетъ менѣе опредѣленными и болѣе широкими чертами. § 1 устава гласитъ: «Общество имѣетъ цѣлью оказаніе помощи нуждающимся лицамъ женскаго пола, проживающимъ въ Петербургѣ». § 3: «Членами общества могутъ быть совершеннолѣтнія лица женскаго пола, за исключеніемъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ и ограниченныхъ въ правахъ по суду». Такимъ образомъ, въ принципѣ членомъ общества можетъ быть, подъ извѣстными условіями баллотировки и членскаго взноса, и швея, и магазинная продавщица, и кухарка, горничная, фабричная работница и проч. Но въ дѣйствительности этого, надо думать, не будетъ, что, однако, еще не мѣшаетъ обществу такъ или иначе помогать и женщинамъ означенныхъ профессій. Мнѣ кажется, что слово «*взаимно*-благотворительное»—двусмысленно и не нужно въ названіи общества. § 2 устава такъ излагаетъ виды помощи, оказываемой обществомъ: «а) предоставленіе лицамъ женскаго пола удобнаго помѣщенія для пребыванія въ свободное отъ занятій время; б) пріисканіе мѣстъ и занятій; в) доставленіе пищи, медицинской помощи и т. п.; г) назначеніе, по мѣрѣ возможности, денежныхъ пособій и д) устройство, каждый разъ съ особаго разрѣшенія, кассъ взаимной помощи, читальни и т. д». Спрашивается, предоставляются - ли всѣ эти благодѣянія исключительно только членамъ общества, на основаніи дѣйствительно строгой «взаимной» помощи? Если да, то это просто кружокъ—можетъ быть, и очень многочисленный—женщинъ примѣрно одного и того же развитія и общественнаго положенія, по возможности гарантирующихъ другъ другу матеріальную и нравственную поддержку. Это прекрасно, конечно, и можетъ быть,—предполагая широкое развитіе средствъ общества,—не одна Надежда Яковлевна найдетъ въ немъ опору и избавленіе, благодаря ему, отъ необходимости не выходить, а бѣгомъ выбѣгать замужъ за перваго встрѣчнаго. Многое и другое хорошее можетъ быть достигнуто обществомъ. Если идиллическая картина, написанная краснорѣчивымъ перомъ г-жи Н. Л., и не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, то все-таки общеніе въ «удобномъ помѣщеніи для пребыванія въ въ свободное отъ занятій время» можетъ стать источникомъ многоразличной пользы и удовольствія. Но «общее женское благо» тутъ не при чемъ. Мало того, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, дѣло взаимно-благотворительнаго женскаго общества можетъ встать въ противорѣчіе съ женскимъ же дѣломъ.

Цитируемый г. Каптеревымъ авторъ сочиненія «О равенствѣ

двухъ половъ», изданнаго въ 1673 г., Пулэнъ Барръ раздѣлялъ людей на получающихъ образованіе и не получающихъ его. Женщины, говоритъ онъ, относятся ко второй категоріи, и это совершенно несправедливо, потому что женщины также способны къ наукѣ, какъ и мужчины,—и Пулэнъ Барръ перечисляетъ отрасли науки своего времени, доказывая, что всѣ онѣ вполнѣ доступны женщинамъ. Но писатель XVII вѣка былъ послѣдовательнѣе или заботливѣе многихъ ревнителей женскаго образованіе въ XIX вѣкѣ. Требуя для женщинъ образованія, онъ думалъ п о примѣненіи его къ общественной дѣятельности. Нашли бы смѣшнымъ, говоритъ Барръ, если бы увидали «женщину на каѳедрѣ, поучающую краснорѣчію или медицинѣ, въ качествѣ профессора; идущую по улицамъ въ сопровожденіи коммисаровъ и сержантовъ для исполненія полицейскихъ дѣлъ; произносящую рѣчи передъ судьями въ качествѣ адвоката, засѣдающую въ судѣ для совершенія правосудія; командующую арміей, дающую сраженіе; говорящую передъ властями республики или князьями въ качествѣ посланника. Я согласенъ, что все это было бы удивительно, но только вслѣдствіе своей новизны. Если бы государства, организуясь, учреждая различныя должности, входящія въ составъ ихъ, призвали на эти должности и женщинъ, то мы точно также привыкли бы видѣть на этихъ должностяхъ женщинъ, какъ женщины привыкли видѣть на нихъ мужчинъ». Барръ серьезно спрашиваетъ, почему бы женщинамъ не быть судьями, полководцами и даже епископами? (Каптеревъ, «Душевныя свойства женщинъ», 19, 20).

Мечта Пулэна Барра, хотя ей и слишкомъ двѣсти лѣтъ отъ роду, такъ далека отъ нашей дѣйствительности, что мы можемъ избавить себя отъ размышленій объ томъ, что произошло-бы при ея осуществленіи; какую форму и какую напряженность получила-бы борьба за существованіе, если-бы на всѣ существующія нынѣ въ обществѣ положенія оказался двойной комплектъ конкурентовъ. Теоретически задача, конечно, очень интересна, но въ ней слишкомъ много неизвѣстныхъ: неизвѣстно, какія изъ существующихъ общественныхъ положеній и профессій сохранятся, и какія, можетъ быть, вновь народятся къ моменту осуществленія мечты; неизвѣстно, каковы окажутся въ этотъ моментъ семейныя и половыя отношенія и т. д. Въ настоящее время поле женской дѣятельности, во всякомъ случаѣ, очень ограничено, и параграфъ устава о «пріисканіи мѣстъ и занятій», по всей вѣроятности, потребуетъ особеннаго вниманія со стороны женскаго взаимно-благотворительнаго общества. Представимъ-же себѣ, что въ числѣ членовъ общества найдется человѣкъ 10, 20, нуждающихся въ работѣ, но не имѣющихъ никакихъ спеціальныхъ талантовъ и по-

знаній или не находящихъ имъ приложенія, а знающихъ общеженское дѣло—шитье. Общество устраиваетъ для нихъ мастерскую, дѣла которой идутъ блистательно, такъ какъ всѣ члены взаимно-благотворительнаго общества становятся ея кліентами; мастерицы имѣютъ «удобное помѣщеніе для пребыванія въ свободное отъ занятій время», гдѣ бесѣдуютъ между собою и съ своими заказчицами, читаютъ, поютъ, играютъ и т. д. Чего-же лучше. Прекрасное и вполнѣ законное дѣло, но опять-таки не при чемъ тутъ «общее женское дѣло», ибо 10, 20 «взаимныхъ благотворительницъ», вошедшихъ въ составъ мастерской, обездолили ровно столько-же швей, нынѣ занимающихся этимъ дѣломъ и не имѣющихъ возможности быть членами взаимно-благотворительнаго женскаго общества. Съ точки зрѣнія взаимно-благотворительнаго кружка это можетъ быть и печально, но вполнѣ законно, но съ точки зрѣнія общаго женскаго дѣла заставляетъ, по крайней мѣрѣ, призадуматься объ общихъ условіяхъ женскаго труда, а можетъ быть и не только женскаго. Призадуматься, во всякомъ случаѣ, есть надъ чѣмъ: 10—20 взаимныхъ благотворительницъ устроились прекрасно,—прекрасно не только въ смыслѣ комфорта, а и въ нѣкоторомъ гораздо высшемъ смыслѣ, и тѣмъ не менѣе онѣ выгнали на улицу 10—20 швей, а что значитъ выгнать въ Петербургѣ женщину на улицу, это всякій знаетъ. Таковъ колючій, жестокій фактъ, къ которому каждый можетъ относиться какъ ему угодно, но отрицать или не видѣть котораго нельзя.

Однако, взаимно-благотворительное женское общество можетъ идти и по совершенно другому пути. Дѣло въ томъ, что слово «взаимно» значится только въ названіи общества, а затѣмъ въ уставѣ нѣтъ ни одной черты, которая требовала-бы ограниченія дѣятельности общества «взаимностью». Самое это слово встрѣчается въ уставѣ всего одинъ разъ, а именно общество предполагаетъ заняться, между прочимъ, «устройствомъ, каждый разъ съ особаго разрѣшенія, *кассъ взаимной помощи*», кассъ,—множественное число,—а не кассы, и слѣдовательно, надо думать, не только для однихъ членовъ общества. Общество слишкомъ молодо, слишкомъ скудно авторитетомъ и, по всей вѣроятности, средствами, чтобы теперь-же задаваться какими-нибудь широкими планами съ характеромъ дѣйствительно обще-женскаго дѣла, каковое непремѣнно окажется и общечеловѣческимъ,—а не спеціально женскимъ. Я думаю, что и для своихъ членовъ новорожденное общество только и можетъ сдѣлать въ настоящее время, что «предоставить удобное помѣщеніе для пребыванія въ свободное отъ занятій время», съ кое-какой библіотекой и т. п., да развѣ еще оказать при случаѣ безплатную медицинскую помощь или какъ-нибудь, при посред-

ствѣ личныхъ знакомствъ, найти кому нибудь занятіе. А затѣмъ энергія общества должна будетъ по необходимости направиться главнымъ образомъ въ сторону изысканія и увеличенія средствъ. Есть, однако, одно значительное дѣло, не предвидѣнное уставомъ, но и противорѣчащее ему, хотя и далеко выходящее за предѣлы кружковыхъ интересовъ, которое можетъ теперь же составить предметъ плодотворныхъ занятій общества и вмѣстѣ съ тѣмъ способствовать пріумноженію его средствъ.

Я только что говорилъ о швейныхъ мастерскихъ. Знаемъ-ли мы, что въ нихъ дѣлается? Знаемъ, напримѣръ, что еще совсѣмъ недавно въ Петербургѣ было подрядъ три случая покушеній на самоубійство ученицъ модныхъ мастерскихъ. И когда подобный случай публикуется въ газетахъ, мы волнуемся, горячимся, скорбимъ, негодуемъ, а затѣмъ все это волненіе и негодованіе очень быстро расплывается въ общемъ шумномъ потокѣ жизни до слѣдующаго остраго случая, когда опять какая-нибудь 12—15-лѣтняя дѣвочка выбросится на мостовую изъ окна пятаго этажа или бросится въ Неву. Кому, какъ не женщинамъ,—не говорю, дѣломъ помочь этимъ несчастнымъ жертвамъ подлѣйшей жестокости,—это трудно, а хоть словомъ, горячимъ и убѣдительнымъ словомъ задержать наше вниманіе на судьбѣ этихъ маленькихъ женщинъ? Въ составѣ женскаго взаимно-благотворительнаго общества есть женщины-врачи, а между ними есть, вѣроятно, и хорошо знакомыя съ санитарными условіями жизни, напримѣръ, фабричныхъ работницъ. Есть учительницы, въ томъ числѣ городскія, работающія въ начальныхъ школахъ для дѣвочекъ, въ воскресныхъ школахъ для взрослыхъ женщинъ, богатыя разнообразными знаніями въ своей сферѣ, въ томъ числѣ и знаніемъ положенія самихъ учительницъ. И т. д., и т. д. Если-бы взаимно-благотворительное женское общество распредѣлило между своими членами изслѣдованіе различныхъ слоевъ петербургскаго женскаго населенія, то результаты этой работы и обмѣнъ мыслей по поводу ихъ могли-бы разнообразить досуги въ «удобномъ помѣщеніи для пребыванія въ свободное отъ занятій время». Но эта коллективная работа можетъ имѣть гораздо болѣе общее и широкое значеніе. Сомнѣваюсь, чтобы новорожденное общество имѣло теперь-же возможность завести свой періодическій печатный органъ, хотя ему, кажется, смѣло можно-бы было предсказать успѣхъ. Но издавать не періодическіе сборники своихъ «трудовъ» общество могло-бы по мѣрѣ накопленія матеріала, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ. И это было-бы однимъ изъ источниковъ дохода общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ придало-бы ему необходимую для всякой общественной организаціи авторитетность, которой оно едва-ли добьется, если члены его бу-

дутъ только «простыми, сердечными, веселыми, ласковыми существами» въ отсутствіи мужчинъ. Конечно, участницамъ предполагаемой коллективной работы придется нерѣдко выступать за предѣлы спеціально-женскихъ интересовъ. Мудрено, напримѣръ, говорить о дѣвочкахъ, посѣщающихъ начальныя городскія школы, не касаясь положенія ихъ семей и, слѣдовательно, цѣлаго, довольно пестраго слоя петербургскаго населенія вообще: или о санитарныхъ условіяхъ жизни фабричныхъ работницъ, минуя общіе вопросы, скажемъ, о продолжительности рабочаго дня и т. п. Но если женщина сказала первую половину знаменитаго латинскаго изреченія: «есмь человѣкъ», то она должна и докончить фразу: «и ничто человѣческое мнѣ не чуждо».

Насъ ждетъ Максимъ Николаевичъ Горкинъ-Степнякъ.

Когда Надежда Яковлевна сказала ему, что онъ «исписался», она сама не понимала, какую горькую истину она высказываетъ, и тутъ же, «съ пугливой улыбкой» прибавила: «это нелѣпость, что я говорю?» А въ Горкинѣ страшное слово подняло внутреннюю борьбу. «Разумѣется, нелѣпость,—отвѣчалъ онъ, съ чего это могло придти вамъ въ голову? Я не такъ старъ, чтобъ ужъ исписаться! («Для этого вовсе не надо быть старымъ», подсказала совѣсть). Наконецъ, я вовсе не такъ много написалъ («Можно выписаться всему и въ одной вещи»). Да, впрочемъ, что объ этомъ говорить! Придетъ время,—увидите или услышите. Сами прочтете («Фраза, другъ мой»).

Нѣсколько позже Горкинъ уже не старается ни передъ собой, ни передъ Надеждой Яковлевной маскировать свое безсиліе. А между тѣмъ въ началѣ романа онъ появляется подающимъ надежды, хотя, впрочемъ, довольно двусмысленныя. Авторъ разсказываетъ о немъ: «Послѣ двухъ большихъ успѣховъ въ литературѣ онъ вдругъ пересталъ писать, все собираясь выступить съ крупнымъ произведеніемъ, которое бы окончательно укрѣпило его славу. Поэтому, хотя онъ и имѣлъ много предложеній, онъ отказывался отъ мелочной работы. Между тѣмъ годъ за годомъ проходили, его ужъ начали забывать. Наконецъ, надо было приступать къ серьезному труду». И въ другомъ мѣстѣ: «Максимъ Николаевичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ многихъ въ русской литературѣ писателей, которые, послѣ нѣсколькихъ удачныхъ пробъ, вдругъ выпускаютъ въ свѣтъ одно, имѣющее блестящій успѣхъ произведеніе, и затѣмъ или навсегда исчезаютъ съ литературнаго горизонта, или разрѣшаются безталанными потугами изсякшей фантазіи». «Блестящаго» произведенія Горкинъ такъ и не написалъ. И не любов-

ная неудача тутъ виновата. Онъ категорически объявляетъ Надеждѣ Яковлевнѣ: «Не страсть къ вамъ уничтожила мое дарованіе. Скорѣе наоборотъ. Она развилась на почвѣ, ужъ лишенной дара. Вы здѣсь не причемъ. Надо любить,—вдругъ онъ возвысилъ голосъ,—поймите, надо любить, вотъ это!—Онъ хлопнулъ ладонью по кипѣ книгъ, лежавшей на столѣ».

Такимъ образомъ, исторія Горкина, какъ писателя лишь случайно осложнилась любовной неудачей и можетъ быть разсматриваема совсѣмъ независимо отъ послѣдней. Авторъ утверждаетъ, что Горкинъ «одинъ изъ многихъ въ литературѣ писателей». Самъ Горкинъ говоритъ: «Не я первый, не я, вѣроятно и, послѣдній. У кого это безсиліе наступаетъ отъ легкомыслія, какъ у меня, у другого—отъ мрачнаго одиночества, какъ отчасти тоже у меня».

Что исторія Горкина, какъ писателя, дѣйствительно не единичная,—объ этомъ свидѣтельствуетъ напечатанная въ «Русскомъ Богатствѣ» за 1895 г. статья г. Горнфельда «Забытый писатель». И Кущевскій, заявивъ себя поистинѣ блестящимъ произведеніемъ, очень быстро обманулъ возбужденныя этимъ произведеніемъ надежды и погрязъ въ той тинѣ, гдѣ копошатся десятки и сотни либо такихъ же ослабѣвшихъ, либо просто бездарностей, либо ловко обдѣлывающихъ дѣла, не имѣющія къ литературѣ никакого отношенія. Много и другихъ найдется, которые хотя и не давали такихъ огромныхъ задатковъ, какъ «Николай Негоревъ», но все-таки нѣчто обѣщали и—«отцвѣли, не успѣвши расцвѣсть». Отчего это зависитъ? Сказать, какъ Горкинъ: отъ легкомыслія или отъ мрачнаго одиночества—значитъ сказать очень мало, но намекнуть на очень многое, и прежде всего на существованіе двухъ разрядовъ причинъ литературнаго обезсиленія. Однѣ коренятся въ личныхъ свойствахъ писателя (легкомысліе), другія имѣютъ общій и именно общественный характеръ (мрачное одиночество), что не мѣшаетъ, конечно, часто сливаться этимъ источникамъ въ одно вдвойнѣ губительное теченіе.

Въ Горкинѣ, очевидно, преобладало легкомысліе. Онъ самъ говоритъ Надеждѣ Яковлевнѣ: «Надо воспитывать себя постоянно для своего дѣла. Читать, наблюдать, думать, учиться, вообще—работать. Такъ сказать, оттачивать свой талантъ. А я относился дилетантски и жилъ, какъ жили вы и ваши отцы и дѣды. Транжирилъ все, что у меня было, и не думалъ о томъ, что можно охладѣть къ дѣлу, отбить привычку къ нему. Обрадовался, что судьба мнѣ улыбается и, какъ говорится, почилъ на лаврахъ... Мы всегда думали, что талантъ, это—то вдохновеніе, котораго надо ждать. Придетъ,—пиши, не приходитъ,—гуляй по трактирамъ. Пришло

птицѣ настроеніе пѣть,—поетъ, нѣтъ настроенія,—порхаетъ по саду и ловитъ бабочекъ. Не правда это... Коли нѣтъ привычки работать, любви къ работѣ,—никакое вдохновеніе не придетъ». Горкинъ созналъ и прочувствовалъ все это слишкомъ поздно,—ему уже не было возврата. Но примѣръ его всетаки поучителенъ для многихъ писателей, изъ которыхъ иные даже не «ждутъ», какъ Горкинъ, а, повинуясь велѣніямъ нужды или особаго рода тщеславія, строчатъ и строчатъ, давно уже утративъ всякую любовь къ дѣлу и всякое желаніе дѣйствительно «работать». Трагическія положенія возникаютъ иногда изъ такого «почиванія на лаврахъ», и жалко, конечно, этихъ людей, но Богъ съ ними, они сами виноваты. Гораздо интереснѣе судьба тѣхъ, кого постигаетъ другая бѣда, которую Горкинъ, едва ли сознавая всю мѣткость своего выраженія, называетъ «мрачнымъ одиночествомъ». Это писательское одиночество совсѣмъ особенное и можетъ время отъ времени постигать писателя и «средь шумнаго бала», и въ кругу семейныхъ радостей, а наконецъ и совсѣмъ доканать.

Сравнивая свою жизнь съ жизнью «отцовъ и дѣдовъ» Надежды Яковлевны, Горкинъ правъ въ томъ отношеніи, что хотя онъ «уже съ 14-ти лѣтъ самостоятельно зарабатывалъ на себя», но въ моментъ разсказа, да и, повидимому, задолго до него, относится къ своему дѣлу по-барски. За это его и казнитъ справедливая на этотъ разъ судьба: ему не «диктуетъ совѣсть», перомъ его не «сердитый водитъ умъ», и работа становится для него невыносимо скучнымъ дѣломъ. Но та же скука, то же отвращеніе къ работѣ можетъ одолѣвать и настоящаго работника, причемъ корень бѣды лежитъ уже не въ личности писателя, а въ условіяхъ его работы.

По словамъ Дж. Ст. Милля, цѣль политической экономіи состоитъ въ томъ, чтобы «показать, каковъ будетъ образъ дѣйствій, къ которому пришли бы люди, живя въ обществѣ, если бы жажда богатства, за исключеніемъ той степени, въ которой она задерживается *отвращеніемъ къ труду* и желаніемъ насладиться дорогими удовольствіями въ настоящемъ, было абсолютнымъ двигателемъ человѣческихъ дѣйствій» (Система логики, II, 479). А въ «Основаніяхъ политической экономіи» Милль заявляетъ, что «понятіе труда необходимо должно обнимать не только самую дѣйствительность, но и всякое физическое или умственное *обремененіе или стѣсненіе*, вообще всѣ *непріятныя ощущенія*, соединенныя съ употребленіемъ мысли или мускуловъ на извѣстное занятіе». И таково общераспространенное понятіе о трудѣ. Лестеръ Уордъ выражается на этотъ счетъ такъ: «Не нужно забывать того обстоятельства, что трудъ не составляетъ естественнаго состоянія человѣка. Мы не поймемъ настоящаго могущества этой соціальной силы, если не будемъ по-

мнить, что трудъ есть неестественное и тяжелое дѣло... Нуженъ сильный мотивъ, чтобы подавить всѣ дикія и случайныя желанія людей и приспособить ихъ къ монотонности работы». Рѣшая вопросъ столь категорически, Уордъ не идетъ, однако, такъ далеко, какъ Спенсеръ, отчасти Милль и многіе, многіе другіе, утверждающіе, что, не пройдя сквозь суровую школу рабства, люди никогда не научились бы трудиться. По мнѣнію Уорда, для этого достаточно «постоянной нужды». Существуетъ, однако, и другое, прямо противоположное мнѣніе, по которому трудъ не только ведетъ къ благополучію на землѣ или въ загробномъ мірѣ, но уже и самъ по себѣ составляетъ счастіе или по крайней мѣрѣ наслажденіе для человѣка. Много лицемѣрія часто вкладывается въ этого рода проповѣди, но провести рѣзкую границу между трудомъ и наслажденіемъ не всегда легко. Наслажденіе есть самодовлѣющее напряженіе мускульной или нервной силы, трудъ есть такое же напряженіе, но сознательно направленное къ извѣстной цѣли. Почему же бы эта прибавка цѣлесообразности оказывалась непремѣнно той ложкой дегтя, которая портитъ всю бочку меду? Казалось бы, наоборотъ: эта прибавка должна усилить наслажденіе. И почему птица вьетъ свое гнѣздо, бобръ строитъ свое сложное жилище и запасается провіантомъ, не обнаруживая никакихъ признаковъ лѣности и отвращенія къ труду, а человѣкъ, этотъ вѣнецъ творенія, оказывается по самой природѣ своей лѣнтяемъ по преимуществу, котораго только кнутъ рабовладѣльца могъ заставить работать? А если кнутъ рабовладѣльца съигралъ эту благую роль въ исторіи человѣчества, то не съигралъ-ли онъ и другой: не онъ-ли, освободивъ самого рабовладѣльца отъ труда, ввелъ и отвращеніе къ труду?

Во всякомъ случаѣ, въ жизни мы видимъ яркіе примѣры и отвращенія къ труду и наслажденія трудомъ. Поэтому, въ подтвержденіе того или другого мнѣнія можно привести такъ много фактовъ, что приходится признать правильнымъ и то, и другое, а слѣдовательно и то и другое—не охватывающимъ предметъ со всѣхъ сторонъ. Самъ Милль допускаетъ извѣстныя градаціи отвращенія къ труду, а слѣдовательно и привлекательности труда. «Мы скажемъ трюизмъ,—говоритъ онъ,—когда скажемъ, что трудъ, вынужденный страхомъ наказанія, неуспѣшенъ и непроизводителенъ» («Основанія», I, 298). А затѣмъ, въ главѣ о различіи заработной платы въ разныхъ занятіяхъ Милль, слѣдуя А. Смиту, отмѣчаетъ «привлекательность или непривлекательность самыхъ занятій». Изъ комментаріевъ и дополненій, которыя дѣлаетъ Милль къ положеніямъ А. Смита, для насъ любопытно слѣдующее: «Въ рискованныхъ занятіяхъ карьера переполняется иногда соискателями просто по любви къ сильнымъ впечатлѣніямъ, хотя бы и не пред-

ставлялось большихъ выигрышей. Это доказывается охотою простолюдиновъ поступать въ солдаты и въ матросы. Опасности, въ которыхъ жизнь виситъ на волоскѣ, не отталкиваютъ молодыхъ людей отъ жизни, полной приключеній, а напротивъ, какъ будто привлекаютъ къ такой карьерѣ. Въ низшихъ классахъ нѣжная мать часто боится посылать сына въ школу приморскаго города, чтобы видъ кораблей, разговоры съ матросами, разсказы о ихъ приключеніяхъ не увлекли его пуститься въ море. Отдаленная перспектива рисковъ, изъ которыхъ мы надѣемся выдти мужествомъ и ловкостью, не бываетъ намъ непріятна».

Я не диссертацію о трудѣ пишу и тороплюсь къ своей цѣли,— къ «мрачному одиночеству» писателя, какъ источнику скуки и отвращенія къ труду. Поэтому минуя разныя другія частности вродѣ приведенной привлекательности очень тяжелаго труда въ связи съ «любовью къ сильнымъ впечатлѣніямъ». Не буду говорить и о тѣхъ явленіяхъ болѣе общаго характера, которыя легли въ основаніе извѣстной теоріи «travail attrayant». Остановимся только на двухъ пунктахъ.

Древній грекъ питалъ отвращеніе къ земледѣльческому и въ особенности ремесленному труду. Но это еще не значитъ, чтобы онъ питалъ отвращеніе къ труду вообще или даже только къ физическому труду въ частности. Напротивъ, онъ охотно выбиралъ себѣ трудъ, требовавшій въ то время особенно сильнаго напряженія нравственнаго и физическаго, полный опасностей, лишеній и отвѣтственности,—трудъ воина. Онъ не избѣгалъ труда, а различалъ трудъ презрѣнный, рабамъ приличествующій, и трудъ почетный, благородный, хотя бы и болѣе тяжкій. То же самое мы видимъ у многихъ нынѣшнихъ дикарей. Путешественники разсказываютъ объ нихъ, какъ о завзятыхъ лѣнтяяхъ, которые только объ охотѣ и войнѣ думаютъ, а всю тяжесть домашняго обихода взваливаютъ на женщинъ и рабовъ. Путешественники забываютъ при этомъ, что воинъ и охотникъ у дикарей еще отнюдь не значитъ лѣнтяй. Спенсеръ въ одномъ изъ своихъ сочиненій (французскій переводъ Кастело и Сенъ-Леона: «La morale des différents peuples», глава «Le travail»), приведя нѣсколько подобныхъ свидѣтельствъ путешественниковъ, не дѣлаетъ въ нихъ указанной поправки, не выражаетъ никакихъ сомнѣній въ непоколебимой лѣности дикарей, но самымъ ходомъ своего изслѣдованія наталкивается на вопросъ о причинахъ предпочтенія, отдаваемаго ими труду воина и охотника. Въ согласіи съ своими общими воззрѣніями на исторію человѣчества, онъ объясняетъ дѣло такъ. Наиболѣе низко стоящіе дикари живутъ главнымъ образомъ непосредственными произведеніями природы, причемъ добываніе съѣдобныхъ кореньевъ и плодовъ, ловля какихъ

нибудь ракушекъ и т. п. производятся съ чрезвычайною легкостью; но есть и другія произведенія природы, добываніе которыхъ сопряжено съ опасностями или требуетъ преодолѣнія значительныхъ препятствій; это или очень быстро бѣгающія или очень опасныя животныя. Кромѣ того, опасность грозитъ со стороны другихъ людей. Такимъ образомъ занятія первобытныхъ людей раздѣляются на двѣ категоріи: одни требуютъ силы, храбрости, ловкости, а другія мало нуждаются или даже совсѣмъ не нуждаются въ этихъ качествахъ. А такъ какъ въ большинствѣ случаевъ благосостояніе племени зависитъ отъ успѣховъ въ войнѣ и охотѣ, то въ почетѣ оказываются упомянутыя качества, выгодныя для всего племени, и соотвѣтственныя имъ занятія; трудъ же, не требующій этихъ качествъ, мало уважается и даже презирается. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ развитія промышленности, это отношеніе къ различнымъ категоріямъ труда измѣняется, но процессъ этотъ идетъ крайне медленно, а затѣмъ и послѣ измѣненія фактическаго положенія дѣла еще долго переживаютъ первобытныя воззрѣнія.

Достаточно ли этого объясненія Спенсера, это для насъ теперь безразлично. Намъ нуженъ только самый фактъ существованія такихъ особенно тяжкихъ формъ труда, которыхъ люди, однако, не обѣгаютъ, а напротивъ ищутъ въ виду сопряженнаго съ ними почета или гордаго сознанія приносимой ими пользы. Формы эти могутъ мѣняться въ исторіи, но онѣ существуютъ, и дѣйствительно, всѣ мы знаемъ, какое даже мало вѣроятное количество труда можетъ не только безъ отвращенія, а со страстью подъять въ настоящее время иной врачъ, ученый, общественный дѣятель, да и по прежнему воинъ въ моментъ угрожающей отечеству опасности.

Спенсеръ приводитъ въ томъ же сочиненіи нѣсколько фактовъ, не совсѣмъ укладывающихся въ его излюбленную общую схему. Они любопытны. Шомбургъ, описавъ караибовъ самымъ трудолюбивымъ племенемъ Гвіаны, прибавляетъ, что тѣмъ не менѣе только самая крайняя нужда можетъ заставить караиба унизиться до работы на европейца за плату. Другой путешественникъ разсказываетъ объ нѣкоторыхъ горныхъ племенахъ въ Индіи, что никакая самая баснословная заработная плата не могла соблазнить ихъ принять участіе въ постройкѣ въ 1865 г. дороги, пролегающей вблизи. Сонталы, народъ очень трудолюбивый, никогда не соглашаются работать на другихъ за плату, и когда ихъ пытаются принудить, они убѣгаютъ въ глухія, непроходимыя заросли и тамъ съ величайшимъ трудомъ расчищаютъ себѣ участокъ и строятъ жилище. Повторяю, эти факты не укладываются въ схему Спенсера, и потому онъ называетъ ихъ аномаліями, стараясь объяснить переходнымъ состояніемъ. Но этого рода явленія давно извѣстны экономистамъ, и

напримѣръ, В. Рошеръ даетъ имъ слѣдующую общую формулу: «Рвеніе человѣка къ труду обусловливается главнымъ образомъ тѣмъ, въ какой мѣрѣ и съ какою увѣренностью онъ разсчитываетъ воспользоваться плодами своего труда». По своему обыкновенію, Рошеръ обставляетъ это положеніе массою фактическаго матеріала (System der Volkswirthschaft, I, Arbeit, § 39).

Таковы нѣкоторыя общія черты психологіи всякаго труда, въ томъ числѣ и литературнаго. И въ этой области одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ и со страстью отдавать всѣ свои силы труду, и ослабѣвать, работать спустя рукава, наконецъ совсѣмъ отойти,— въ зависимости отъ условій, въ которыя поставленъ его трудъ.

— — — —

XI *).

А. В. Эвальдъ и Г. З. Елисеевъ. — О г. Туганѣ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ въ исторіи.

Въ декабрьской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» закончены «Воспоминанія А. В. Эвальда». На заключительныхъ страницахъ авторъ разсказываетъ, что побудило его писать воспоминанія и чего онъ опасался, принимаясь за нихъ. Къ сожалѣнію, довольно трудно разобраться въ этихъ мотивахъ и опасеніяхъ. Собственно основной мотивъ, конечно, простъ и понятенъ: «Бываетъ такъ, — говоритъ г. Эвальдъ,—что жизнь самаго автора записокъ не представляетъ особаго любопытнаго матеріала, но онъ много видѣлъ на своемъ вѣку и можетъ обрисовать болѣе или менѣе талантливо эпоху, въ которой жилъ». И прекрасно. Но г. Эвальдъ рѣшительно утверждаетъ, что «написать правдивыя воспоминанія и напечатать ихъ при своей жизни—трудъ совершенно невозможный». Читатель понимаетъ, что чортъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ, и что если г. Эвальдъ все-таки написалъ воспоминанія и напечаталъ ихъ при своей жизни, такъ, должно быть, это трудъ не «совершенно невозможный». Однако, какіе все-таки резоны «совершенной невозможности»? Вотъ какіе: «Всѣ дѣятели, о которыхъ придется упоминать, сами еще живы, а если не они, то какіе-нибудь ближайшіе ихъ родственники, которые, прочтя правдивую оцѣнку свою или своего близкаго, поднимутъ шумъ и притянутъ автора къ отвѣтственности. Писать же, скрывая правду, не имѣетъ никакого смысла». Послѣднее, разумѣется, совершенно справедливо, но нѣсколько непонятно — почему г. Эвальдъ такъ боится отвѣтственности за «правдивую оцѣнку». Всѣ мы, писатели, постоянно тѣмъ и занимаемся, что по мѣрѣ силъ и насколько позволяютъ обстоятельства, даемъ оцѣнку событій, лицъ, идей, художественныхъ произведеній.

---

*) Январь 1896.

Не всегда эта оцѣнка бываетъ правдивая, но все-таки и въ такихъ случаяхъ всякій желаетъ, чтобы ее считали таковою, всякій либо дѣйствительно говоритъ правду, либо притворяется правдивымъ. Однимъ изъ этихъ путей шелъ и г. Эвальдъ въ своей литературной дѣятельности. Спрашивается, почему же именно теперь, по отношенію къ своимъ воспоминаніямъ, онъ вдругъ забоялся, что «поднимутъ шумъ и притянутъ автора къ отвѣтственности»?

Не умѣя разгадать эту загадку, я беру фактъ, какъ онъ есть: г. Эвальдъ не хочетъ отвѣтственности, почему бы то ни было боится ея. Но въ такомъ случаѣ онъ все-таки могъ бы написать свои мемуары, только не печатать ихъ при своей жизни, а завѣщать потомству. Но и это не улыбается г. Эвальду, и именно вотъ почему: «Печатая при своей жизни, слѣдовательно готовясь къ отвѣтственности за каждое слово, авторъ поостережется говорить неправду, преувеличивать или преуменьшать что-нибудь, выставлять себя въ лучшемъ видѣ, а другихъ въ худшемъ и т. д. Воспоминанія же загробныя, то есть составляемыя для напечатанія послѣ смерти автора, теряютъ девять десятыхъ своей цѣнности, именно потому, что авторъ уже ускользнулъ отъ отвѣтственности и можетъ сочинять, что ему угодно».

Какъ же быть? Казалось бы, единственный выходъ изъ положенія, въ которое г. Эвальдъ поставленъ своими размышленіями объ отвѣтственности, состоитъ въ томъ, чтобы совсѣмъ не писать воспоминаній или по крайней мѣрѣ писать ихъ лишь для собственнаго времяпровожденія, а не печатать ни при жизни, ни послѣ смерти. Но у г. Эвальда вышло нѣчто иное. Приведя еще нѣсколько соображеній о томъ, какія бываютъ воспоминанія (мы сейчасъ этими соображеніями займемся), г. Эвальдъ кончаетъ такъ: «Вотъ почему я рѣшился кое-что, очень малое и очень отрывочное, написать теперь и напечатать непремѣнно при своей жизни, подъ страхомъ отвѣтственности за все, что я сказалъ. Пусть это будетъ не много, но за то вѣрно».

Такимъ образомъ, г. Эвальдъ боится отвѣтственности за правдивую оцѣнку, до такой степени боится, что считаетъ эту правдивую оцѣнку даже «совершенно невозможнымъ» дѣломъ, но «очень малое и очень отрывочное»—ничего, не страшно... Это напоминаетъ анекдотъ о маленькой дѣвочкѣ, которая долго колебалась—слѣдуетъ-ли въ извѣстномъ мѣстѣ диктанта поставить запятую, и наконецъ рѣшила: поставить, но маленькую. Дѣвочка имѣла всѣ основанія колебаться: она знала свою слабость въ грамматикѣ; г. Эвальдъ тоже имѣетъ всѣ основанія колебаться: онъ знаетъ свою слабость въ правдивости. Онъ считаетъ впрочемъ эту слабость общечеловѣческою. Онъ говоритъ: «Я много читалъ загробныхъ записокъ и

всегда находилъ въ нихъ одинъ общій всѣмъ имъ недостатокъ: авторъ всегда выходитъ правъ, онъ всегда умнѣе другихъ, честнѣе другихъ, и постоянно между строкъ его просвѣчиваетъ, что еслибы его послушали, то было бы не то, а нѣчто гораздо лучшее. Говорю это не въ упрекъ другимъ, а по личному опыту. Я самъ иногда начиналъ писать такія записки и когда прочитывалъ ихъ черезъ нѣсколько времени, то всегда находилъ неправду не въ самыхъ фактахъ, а въ освѣщеніи этихъ фактовъ, и потому рвалъ и сжигалъ ихъ какъ негодныя. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда я говорилъ о себѣ, повидимому, безпощадную и жестокую правду, и тогда я выставлялся какимъ-то героемъ, хотя бы въ томъ отношеніи, что сознавался въ своихъ недостаткахъ и ошибкахъ. А это противно».

Повидимому, коли противно,—такъ не дѣлай, не «выставляйся какимъ-то героемъ». Но, когда г. Эвальдъ пытался ставить большую запятую, онъ никакъ не могъ отдѣлаться отъ этой слабости. Почему бы она могла оставить его теперь, когда онъ остановился на маленькой запятой, непонятно, но, конечно, надо радоваться, если могла оставить, потому что не хорошая это слабость. Не въ томъ только дѣло, что человѣкъ «выставляется какимъ-то героемъ». Пусть бы онъ этимъ занимался подобно Нарцису, гдѣ-нибудь въ красивомъ уединеніи, любуясь своимъ отраженіемъ въ ручьѣ. Отъ этого никому ни тепло, ни холодно. Но обыкновенно не такъ бываетъ, и собственное величіе автора воспоминаній строится на чужой счетъ, а удобнѣе всего, конечно, воздвигнуть себѣ пьедесталъ изъ труповъ покойниковъ. Кстати у насъ и подходящая поговорка есть: мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай. Что сказалось въ этой мрачной поговоркѣ? настоящая вѣра въ правомѣрность совершенно «свободнаго» обращенія съ покойниками, съ ихъ именемъ, достоинствомъ, честью, или, напротивъ, скорбное негодованіе на такого рода факты? Негодовать во всякомъ случаѣ есть на что. Есть нѣчто глубоко возмутительное въ той безцеремонности, съ которою люди иногда,—повинуясь-ли чувству долго сдерживаемой злобы или вотъ именно изъ желанія устроить себѣ какой-нибудь пьедестальчикъ на чужой счетъ,—извращаютъ личность и дѣятельность покойника. Правда, его собственные счеты съ нашей грѣшной землей покончены, и злословіе такъ же его не тревожитъ, какъ не радуетъ дань справедливости; но если живы знавшіе и чтившіе его, то каждое незаслуженное оскорбленіе его памяти естественно вызываетъ въ нихъ негодованіе. Однако они далеко не всегда могутъ фактически опровергнуть ложное показаніе или, какъ выражается г. Эвальдъ, «поднять шумъ и притянуть къ отвѣтственности». Бываетъ и такъ, что у знавшихъ и чтившихъ покойника руки коротки; они, напримѣръ, не были свидѣтелями такого-то именно происшествія или разговора,

или не имѣютъ въ своемъ распоряженіи оправдательныхъ документовъ, и т. п. Они принуждены поэтому молча присутствовать при томъ, какъ надъ покойникомъ совершается даже не насиліе, а нѣчто гораздо болѣе возмутительное, потому что насиліе даже надъ безпомощнымъ ребенкомъ встрѣчаетъ съ его стороны протестъ, хоть въ видѣ крика или инстинктивно защитительныхъ жестовъ, а тутъ нѣтъ и этого подобія препятствій. Къ счастію, возможны иногда достаточно убѣдительныя косвенныя улики... Да, хорошо, если г. Эвальдъ отдѣлался отъ своей слабости.

Въ воспоминаніяхъ г. Эвальда меня особенно заинтересовалъ одинъ эпизодъ, касающійся покойнаго Г. З. Елисеева, котораго я глубоко уважалъ и горячо любилъ, потому что хорошо зналъ. Правда, я познакомился съ нимъ нѣсколько позже того времени, къ которому относится разсказъ г. Эвальда, но и тогда уже, въ моментъ этого разсказа, Елисееву было за сорокъ лѣтъ, онъ былъ человѣкъ вполнѣ сложившійся, чему соотвѣтствовало и видное положеніе, занимаемое имъ въ литературѣ; стало быть тотъ Елисеевъ, котораго я зналъ, едва-ли отличался отъ того Елисеева, который имѣлъ нижеслѣдующее объясненіе съ г. Эвальдомъ.

Дѣло было въ 1862 г. Краевскій и Очкинъ, издававшіе «С.-Петербургскія Вѣдомости», передали ихъ Коршу, Краевскій основалъ «Голосъ», Очкинъ остался не у дѣлъ. Г. Эвальду «стало жаль почтеннаго старика» (Очкина), и онъ «обѣщалъ ему придумать какое нибудь дѣло». И дѣйствительно придумалъ: «изданіе небольшой и недорогой литературно-политической газеты», въ которой, конечно, Очкинъ предложилъ и ему участвовать, въ качествѣ компаньона, и онъ, конечно, не отвергъ этого предложенія. Такимъ образомъ г. Эвальдъ придумалъ дѣло не только для жалости достойнаго почтеннаго старика, а и для самого себя. Очкинъ уѣхалъ въ Парижъ, а г. Эвальдъ занялся приготовленіями. Но когда Очкинъ вернулся въ сентябрѣ въ Петербургъ, то г. Эвальдъ услышалъ отъ него такую неожиданную рѣчь: «Вы поймете хорошо, что, начиная новую газету, надо чѣмъ-нибудь привлечь къ ней публику. Теперь въ большой модѣ такіе писатели, какъ Елисеевъ, Антоновичъ, Чернышевскій и другіе. Наша публика, въ особенности молодежь, зачитывается ими. Безъ нихъ мы будемъ только лапти плести, а съ ними, наоборотъ, можно разсчитывать на блестящій успѣхъ». Г. Эвальдъ изумился и испугался, но, на увѣщаніе Очкина попробовать переговорить съ новыми сотрудниками, согласился, безъ всякой, однако, надежды на успѣхъ. Вотъ какъ онъ объ этомъ разсказываетъ:

«*Чтобы успокоить его* (Очкина), я согласился, и дня черезъ два, по моему приглашенію, сдѣланному черезъ Кожанчикова, Ели-

сеевъ пріѣхалъ ко мнѣ. *По первому взгляду* на него, я убѣдился, что никакое соглашеніе между нами не будетъ возможно, да вѣроятно къ тому же убѣжденію пришелъ и Елисеевъ. Не желая вилять и безполезно тянуть разговоръ, я поставилъ вопросъ прямо ребромъ».

Здѣсь я позволю себѣ перебить на минуту разсказъ г. Эвальда для одного маленькаго замѣчанія. Г. Эвальдъ «по первому взгляду» убѣдился, что имъ съ Елисеевымъ не сойтись. Это ему дѣлаетъ честь, какъ физіономисту. Но, хотя физіономія у Елисеева была дѣйствительно очень выразительная, сколько-нибудь основательному человѣку странно руководствоваться такого рода первыми впечатлѣніями. Притомъ же, г. Эвальдъ могъ бы еще до «перваго взгляда», на основаніи писаній Елисеева, рѣшить—возможна-ли для нихъ совмѣстная работа. Да вѣдь онъ ужъ и рѣшилъ это: онъ только «чтобы успокоить» Очкина согласился бесѣдовать съ Елисеевымъ, а въ душѣ-то зналъ, что изъ этого ничего не выйдетъ... Продолжаю выписку:

— Вы знаете, конечно, отъ Кожанчикова о причинѣ нашего свиданія, сказалъ я.—Знаю и удивляюсь этому, отвѣтилъ Елисеевъ.—То есть чему именно?—Тому, что вы хотите сдѣлать попытку сойтись со мной.—Я такого желанія вовсе не имѣю, г. Елисеевъ, вы ошибаетесь. Я сегодня говорю съ вами только по просьбѣ Очкина, который желаетъ, чтобы вы участвовали въ редакціи его газеты.—Но Кожанчиковъ мнѣ говорилъ, что вы состоите компаньономъ Очкина?—Да, пока. Но я думаю вы поймете, что если желаніе Очкина состоится, то только при условіи, что я оставлю его.—А! это другое дѣло...—Иначе и быть не можетъ... *)—Легкая насмѣшливая улыбка пробѣжала по лицу Елисеева.—А вы сами, сказалъ онъ, считаете невозможнымъ сойтись со мной? — Совершенно, какъ двумъ концамъ магнитной стрѣлки. Вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе.—Одно безъ другого немыслимо, замѣтилъ Елисеевъ, нахмуривъ брови. Нашъ храмъ обветшалъ; надо построить новый; а какъ же это сдѣлать, не разрушая стараго. Мы съ вами новаго не успѣемъ создать, это будетъ дѣломъ грядущихъ поколѣній; довольно будетъ на нашъ вѣкъ, если мы уничтожимъ ветхія развалины и подготовимъ почву для новаго зданія.—Объ этихъ вопросахъ можно спорить безконечно, возразилъ я, и мы все-таки ни къ чему не придемъ. Скажу вамъ коротко: въ Европѣ есть народъ, который вѣчно создаетъ новое, никогда не разрушая ничего стараго. Это, какъ вамъ извѣстно, англичане. Изъ ихъ примѣра я вывожу, что такимъ путемъ можно идти впередъ, безъ тѣхъ скачковъ то впередъ, то назадъ, которые вѣчно совершаются у насъ, въ Россіи, не приводя ровно ни къ чему.—Катковщина, презрительно замѣтилъ Елисеевъ.—Называйте, какъ хотите. Я привелъ этотъ примѣръ только къ тому, чтобы показать, какъ мало общаго между мною и вами и какъ невозможно какое-либо соглашеніе между нами.

И т. д. Дѣло кончилось тѣмъ, что газета Очкина стала выходить подъ редакціей Елисеева, безъ всякаго участія въ ней г. Эвальда.

---

*) Пропускаю, для краткости, нѣсколько строкъ объ Очкинѣ.

Это были «Очерки», просуществовавшіе очень не долго (однако все-таки не два мѣсяца, какъ утверждаетъ г. Эвальдъ).

Мнѣ кажется, что весь этотъ разсказъ г. Эвальда принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые онъ, по его собственнымъ словамъ, принимался не разъ писать, но «всегда находилъ въ нихъ неправду не въ самыхъ фактахъ, а въ освѣщеніи этихъ фактовъ, и потому рвалъ и сжигалъ ихъ, какъ негодные». Только вотъ на этотъ разъ онъ забылъ или не имѣлъ времени разорвать и сжечь. Я не смѣю, разумѣется, сомнѣваться въ фактахъ, сообщаемыхъ г. Эвальдомъ, но, съ его любезнаго разрѣшенія, очень сомнѣваюсь въ ихъ освѣщеніи. Несомнѣнно, что г. Эвальдъ съ Очкинымъ затѣяли «очерки», что Очкинъ неожиданно для г. Эвальда предложилъ Елисеева въ редакторы, что, наконецъ, у Елисеева съ г. Эвальдомъ былъ по этому поводу разговоръ, изъ котораго выяснилась невозможность ихъ совмѣстной работы. Все это факты, но затѣмъ идетъ освѣщеніе фактовъ. Нѣкоторое сомнѣніе внушаетъ уже самая сбивчивость показаній г. Эвальда относительно времени, когда именно выяснилась для него невозможность совмѣстной работы съ Елисеевымъ: какъ будто «по первому взгляду», а какъ будто и еще раньше. Я бы не удивился, если бы въ дѣйствительности это оказалось гораздо позже, а именно въ конечномъ результатѣ бесѣды, причемъ, разумѣется, и самая эта бесѣда должна была имѣть совсѣмъ другой характеръ. Судя по разсказу г. Эвальда, онъ позвалъ къ себѣ Елисеева и объявилъ ему, что они вмѣстѣ работать не могутъ, причемъ обращался съ нимъ свысока, поучая его, и рѣзко, даже не удостаивая называть по имени и отчеству, какъ у насъ принято, а просто «г. Елисеевъ». Самая цѣль свиданія что-то ужъ очень странна. Собственно вопросъ о согласіи или несогласіи Елисеева участвовать въ газетѣ могъ бы ему задать самъ Очкинъ или, если ужъ нуженъ былъ посредникъ, то Кожанчиковъ. Очевидно, г. Эвальдъ имѣлъ сказать нѣчто гораздо болѣе значительное, чѣмъ простой вопросъ о согласіи Елисеева работать въ «Очеркахъ», и болѣе дѣловое, чѣмъ элементарныя разсужденія о характерѣ англійскаго прогресса, да иначе Елисеевъ, предупрежденный Кожанчиковымъ, и не пошелъ бы на зовъ г. Эвальда. Но и помимо этого, весь тонъ разговора мало вѣроятенъ даже для людей, не знавшихъ Елисеева. Чтобы достойно оцѣнить эту маловѣроятность, достаточно сопоставить тогдашнее положеніе въ литературѣ Елисеева и г. Эвальда. Елисееву, какъ уже сказано, было въ это время за сорокъ лѣтъ. Онъ занималъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ литературѣ, въ качествѣ постояннаго сотрудника и члена редакціи «Современника», былъ «въ большой модѣ», какъ выразился объ немъ, по словамъ г. Эвальда, Очкинъ. Въ разныхъ литературныхъ кругахъ Елисеевъ являлся, по выраженію

Шелгунова, «мужемъ совѣта», всѣмъ хорошо извѣстнымъ, всѣми уважаемымъ Г-нъ же Эвальдъ никогда во всю свою жизнь не занималъ хотя бы отдаленно подобнаго положенія въ литературѣ, а въ то время, къ которому относится вышеприведенный разсказъ, былъ просто начинающій писатель. Онъ не сообщаетъ, когда именно было напечатано его первое произведеніе; во всякомъ случаѣ это была какая-то бездѣлка, написанная ради прекрасныхъ глазъ барышни, за которою авторъ «немножко ухаживалъ», и самъ онъ «не придалъ этому случаю большого значенія и далѣе не продолжалъ писать нѣсколько лѣтъ». Затѣмъ онъ «вступилъ на печальный и тернистый путь русскаго журналиста», въ 1860 или 1861 г. въ качествѣ заграничнаго корреспондента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», а въ 1862 г. началъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ» (значеніе которыхъ тогда уже сильно упало) фельетоны подъ заглавіемъ «Все и ничего». И въ томъ же 1862 г. этотъ литературный младенецъ такъ разговаривалъ съ Елисеевымъ...

Да проститъ мнѣ читатель, что я его занимаю столь подробнымъ изслѣдованіемъ давно забытаго и совершенно ничтожнаго литературнаго эпизода. Но, оставляя даже въ сторонѣ мое личное глубокое почтеніе къ памяти покойнаго Елисеева, я думаю, что именно его память особенно нуждается въ огражденіи отъ наскоковъ охочихъ людей, въ воспоминаніяхъ которыхъ, по словамъ г. Эвальда, авторъ «всегда выходитъ правъ, всегда умнѣе и честнѣе другихъ». Я не хочу этимъ сказать, что въ данномъ случаѣ г. Эвальдъ выходитъ умнѣе или честнѣе Елисеева. Не могу повѣрить, чтобы г. Эвальдъ съ точностью воспроизвелъ бесѣду литературнаго младенца съ «мужемъ совѣта», но собственно ума въ приведенномъ разсказѣ на сторонѣ Елисеева больше все-таки, чѣмъ на сторонѣ разсказчика. «Вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе»... англичане «вѣчно создаютъ новое, никогда не разрушая ничего стараго»,— это просто фразы, пустыя и неумныя фразы, тогда какъ возраженіе Елисеева, даже въ передачѣ г. Эвальда, совершенно вѣрно, азбучно, элементарно вѣрно: въ самомъ дѣлѣ вѣдь «одно безъ другого немыслимо».

Перелистывая воспоминанія самого г. Эвальда и останавливаясь на страницахъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ, т. е. на такихъ, гдѣ онъ является не героемъ добродѣтели или ума, я нахожу, напримѣръ, слѣдующее. Въ 1869 году ему захотѣлось ухватить на свою долю какую-нибудь желѣзнодорожную концессію. Онъ видѣлъ, какъ быстро богатѣютъ фонъ-Дервизы, Поляковы, Варшавскіе и проч., и рѣшилъ тоже попробовать счастья. Намѣтилъ онъ линію отъ Москвы къ Воскресенскому посаду, при которомъ находится монастырь Новый Іерусалимъ, посѣщаемый многочисленными бо-

гомольцами,—на ихъ-то религіозномъ рвеніи онъ и разсчитывалъ построить свое благополучіе. Надо было заручиться содѣйствіемъ московскаго митрополита Иннокентія, и вотъ, между прочимъ, какой вопросъ задалъ г. Эвальдъ митрополиту: «Я могу исполнить это дѣло только при содѣйствіи Варшавскаго, еврея. Не будетъ-ли это непріятно вашему высокопреосвященству»? Митрополитъ отвѣчалъ: «Отчего же непріятно? Да Господь съ нимъ, что онъ еврей. Какой ни на есть, онъ все-таки въ Бога вѣруетъ. Вотъ церковь строить еврею было бы не совсѣмъ удобно, это правда, а что касается желѣзной дороги, хотя бы къ монастырю, то я въ этомъ не вижу никакого препятствія. Нѣтъ, нѣтъ, этого вы не опасайтесь». Замѣтьте, что, какъ видно изъ діалога между митрополитомъ и г. Эвальдомъ, послѣдній самъ никогда въ Новомъ Іерусалимѣ до тѣхъ поръ не бывалъ, объ удовлетвореніи религіозной потребности богомольцевъ вовсе не думалъ и только освѣдомлялся: «думаете-ли, ваше высокопреосвященство, что эта дорога будетъ давать достаточный доходъ?», «вамъ неизвѣстно, какъ велико приблизительно число паломниковъ въ настоящее время?» И этотъ-то человѣкъ полагаетъ, что еврею, которому, конечно, тоже нѣтъ дѣла до религіозныхъ потребностей ново-іерусалимскихъ богомольцевъ, можетъ быть и неприлично строить желѣзную дорогу къ монастырю. Такое чисто формальное и нѣсколько лицемѣрное благочестіе не рѣдкость въ нашемъ духовномъ обиходѣ, и митрополитъ Иннокентій естественно явился по отношенію къ нему отрицателемъ, «разрушителемъ», изъ чего, однако, не слѣдуетъ, что въ его дѣятельности не было ничего созидательнаго.

Другой примѣръ, совсѣмъ изъ другой области. Хотя дѣло съ постройкой желѣзной дороги къ Новому Іерусалиму въ концѣ концовъ и не выгорѣло у г. Эвальда, но онъ все-таки дѣлалъ изысканія этого пути. На этихъ изысканіяхъ на него напали мужики, такъ что ему пришлось пугнуть ихъ револьверомъ. Такъ-ли онъ все это разсказываетъ, какъ оно дѣйствительно было, вопросъ особый; но итогъ его таковъ: «Трудно вѣрится самому себѣ, что все это было такъ недавно и притомъ подъ самой Москвой, а не въ глухихъ дебряхъ какой-нибудь Енисейской губерніи»! Тамъ же ему пришлось ѣсть въ крестьянской избѣ крестьянское кушанье, — похлебку изъ ржаной муки, листьевъ подорожника и грибовъ. Ѣсть эту мерзость онъ не могъ, да и угощавшая его баба предупредила, что, дескать, «очень паскудная похлебка». «Нечего ѣсть то у насъ,— пояснила она въ дальнѣйшемъ разговорѣ: хлѣбъ куды плохой родится, земля — песокъ одинъ. Вотъ кабы картофель намъ сажать, такъ мы богатѣи были бы! Картофель у насъ родится словно сахаръ: сладкій, разсыпчатый, скусный такой. — Такъ отчего же вы

не садите картофель?—Нельзя, баринъ: мужики говорятъ, что это—чортово яблоко». Въ той же деревнѣ г. Эвальдъ увидалъ, что всѣ ея жители, бабы, мужики, ребята вяжутъ чулки,—сидятъ на улицѣ и вяжутъ: «выходила точно каррикатура на крестьянскій бытъ»! Оказалось, что другихъ заработковъ нѣтъ, и деревня глубоко благодарна московскому купцу, заказывающему ей чулки. Г. Эвальдъ предложилъ своей хозяйкѣ связать ему полдюжины, но та предупредила его, что эти чулки нельзя носить, потому что «нитка совсѣмъ гнилая: часу не проносишь, какъ весь чулокъ расползется на ногѣ.—Такъ на что же купцу такіе чулки?—Для торговли, онъ ихъ на нижегородской ярмаркѣ тысячами продаетъ». Приведя еще два-три штриха, г. Эвальдъ заключаетъ: «Боже мой, какая жизнь! Каторжники въ острогахъ живутъ сытнѣе и съ большимъ комфортомъ, чѣмъ эти несчастные труженики, которыхъ некому ни научить, ни просвѣтить... И это, опять повторяю, подъ самой Москвой, ворочающей торговлей всей Россіи»!

Не будемъ больше рыться въ мемуарахъ г. Эвальда и возьмемъ только вышеприведенное. Возьмемъ самого г. Эвальда въ его бесѣдѣ съ митрополитомъ Иннокентіемъ, подмосковныхъ крестьянъ, съ которыми нужно разговаривать съ револьверомъ въ рукахъ, «очень паскудную похлебку», которую нельзя ѣсть, и очень «скусный» картофель, котораго нельзя сажать, сотни рукъ, занятыхъ вязаніемъ чулокъ, которыхъ нельзя носить и которые, однако, тысячами распродаются на нижегородской ярмаркѣ. Возьмемъ все это вмѣстѣ, какъ цѣльную картину, и попросимъ г. Эвальда приложить къ ней его будто бы англійскій рецептъ: «вѣчно создавать новое, никогда не разрушая ничего стараго». Ясно, что это совершенно пустопорожняя фраза, но она довольно часто пускается въ ходъ вмѣстѣ съ другой, столь же пустопорожней фразой г. Эвальда: «вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе».

Есть, однако, точка зрѣнія, съ которой и это созиданіе, и это разрушеніе—фантомы, а идеалы и идеи—пустяки, не имѣющіе никакого значенія. Ибо, во-первыхъ, «идеи не выходятъ изъ головы Юпитера, какъ Минерва, но возникаютъ на почвѣ общихъ матеріальныхъ и культурныхъ условій эпохи»... Это-то мы и безъ васъ знаемъ, — перебьетъ меня можетъ быть иной нетерпѣливый читатель,—это ужъ лѣтъ тридцать слишкомъ намъ литература на разные манеры толкуетъ, и ново это развѣ только для васъ, да и къ дѣлу не идетъ; вы мнѣ скажите, почему идеи, такъ-ли, сякъ-ли возникшія, не имѣютъ значенія...—Извольте, но я долженъ сказать, что приведенная фраза принадлежитъ не мнѣ, а г. М. Туганъ-Барановскому, и находится въ статьѣ «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи», напечатанной въ декабрьской книжкѣ журнала

«Міръ Божій». Что касается, относительно говоря, почтеннаго возраста мысли, выраженной въ этой фразѣ, то зачѣмъ вамъ непремѣнно новыя мысли, если и старыя хороши? Не надо только выдавать ихъ за новыя. А затѣмъ, на интересующій васъ вопросъ г. Туганъ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: «Вліяніе научныхъ идей, въ сущности, довольно ограниченно. Очень мало людей серьезно читаетъ книги, а еще меньше такихъ, на которыхъ книги оказываютъ настолько глубокое дѣйствіе, что они подъ вліяніемъ книгъ измѣняютъ свое поведеніе. Обыкновенный средній человѣкъ живетъ не умомъ, а чувствомъ; условія его жизни воспитываютъ въ немъ цѣлый рядъ наклонностей, симпатій и антипатій, предвзятыхъ мыслей, предразсудковъ, которые глубоко коренятся въ его душѣ и не могутъ быть измѣнены книгами. Характеръ человѣка опредѣляется не книгами, а всей его жизненной обстановкой, противъ которой, точно такъ-же, какъ и противъ интересовъ, книги безсильны. Даже и на взгляды людей книги оказываютъ далеко не такое сильное вліяніе, какъ обыкновенно думаютъ».

Какъ увидимъ ниже, тирада эта, въ связи съ содержаніемъ всей статьи г. Тугана, интересна во многихъ отношеніяхъ. Но остановимся пока только на одной сторонѣ дѣла. Если г. Туганъ хочетъ вразумить тѣхъ, кто думаетъ книгой или идеей, только книгой и идеей, направлять ходъ исторіи, то онъ, конечно, правъ. Но, по всѣмъ видимостямъ, онъ хочетъ сказать нѣчто гораздо большее и только изъ снисхожденія къ предразсудкамъ читателей ставитъ маленькія ограниченія: «въ сущности довольно ограниченно», «очень мало», «не такое сильное, какъ обыкновенно думаютъ». Въ принципіальномъ отношеніи эти оговорки никакого значенія не имѣютъ и свидѣтельствуютъ только о нѣкоторомъ наивномъ лукавствѣ автора, которое уже и въ томъ сказывается, что онъ говоритъ лишь о «научныхъ» идеяхъ. Ну, а прочія, напримѣръ, религіозныя, сплошь и рядомъ не нуждающіяся въ «книгѣ» для своего распространенія, обращающіяся не столько къ «уму», сколько къ «чувству», властно охватывающія всего человѣка со всѣми его симпатіями и антипатіями?

Здѣсь я предвижу одну сказку про бѣлаго бычка, которою возразилъ-бы г. Туганъ, если-бы я имѣлъ честь лично бесѣдовать съ нимъ. Онъ сказалъ-бы, напримѣръ: чего далеко ходить,—въ той-же декабрьской книжкѣ «Міра Божія», въ отдѣлѣ «Разныя разности» сообщается о статьѣ «Вѣстника Европы» по поводу изданнаго г. Лопыревымъ сочиненія XVII вѣка о самосожигателяхъ. Въ замѣткѣ «Міра Божія» читаемъ: «Происхожденіе раскола обыкновенно объяснялось невѣжествомъ народной массы, не понявшей исправленія церковныхъ книгъ при Никонѣ». «Но, говоритъ г. Лопыревъ,

новѣйшія изслѣдованія показали, что корни «старой вѣры» лежали дальше Никона и что глубокая основа раскола лежала въ соціально-экономическихъ отношеніяхъ». Вотъ,—сказалъ-бы г. Туганъ,—видите: «*новѣйшія* изслѣдованія показали, что и религіозныя идеи выростаютъ на почвѣ общихъ матеріальныхъ и культурныхъ условій». Я не читалъ ни книги, изданной г. Лопыревымъ, ни статьи о ней «Вѣстника Европы», а потому не знаю, въ какомъ смыслѣ говорится о *новѣйшихъ* изслѣдованіяхъ раскола, но собственно та точка зрѣнія, съ которой здѣсь трактуется расколъ, установлена 30—35 лѣтъ тому назадъ (вспомните Щапова), такъ что эпитетъ «новѣйшія» надо понимать очень условно. Несомнѣнно, однако, что въ составъ «соціально-экономическихъ отношеній», породившихъ самосожигательство, входило и невѣжество. По словамъ замѣтки «Міра Божія», авторъ упомянутаго трактата XVII вѣка «свидѣтельствуетъ, что большинство раскольниковъ-зажигателей были людьми необразованными, людьми «глубоко безсловесными», чѣмъ отчасти и объясняется фактъ массовыхъ самоубійствъ». А главное, что я имѣлъ-бы возразить г. Тугану, состоитъ въ томъ, что онъ разсказываетъ сказку про бѣлаго бычка: мы говоримъ теперь не о происхожденіи, а о вліяніи идей,—«научныхъ» и всякихъ другихъ, распространяемыхъ при помощи книгъ и всякими другими путями. Въ видѣ иллюстраціи сдѣлаю еще выписку изъ замѣтки «Міра Божія»: «Около 1685 г. была «гарь» близь Пошехонья. Раскольничій попъ до того довелъ свою паству, что она рѣшилась идти въ огонь, и въ ту-же ночь человѣкъ 600 собралось въ одномъ домѣ, подожгли его и заживо сгорѣли».

Такъ что, не будь этотъ самый раскольничій попъ столь краснорѣчивъ, 600 человѣкъ можетъ быть и не сожглись бы, а поискали бы (какъ и искали другіе) какого-нибудь другого выхода изъ данныхъ «соціально-экономическихъ отношеній». Но для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей, это такіе пустяки...

Наивное лукавство г. Тугана сказывается не только въ томъ, что, заговоривъ объ идеяхъ вообще, онъ сводитъ дѣло на идеи «научныя» и книги, а и во всей его аргументаціи. «Очень мало людей серьезно читаетъ книги». — Что это за аргументъ? Надо ли «серьезно» читать, чтобы, напримѣръ отравиться изо дня въ день подносимой порнографической и кроваво-уголовной пищей парижской бульварной прессы? По крайней мѣрѣ, знаменитѣйшіе французскіе психіатры не разъ вступались въ это дѣло, указывая на грозящія всему обществу опасности. Ну, а для г. Тугана это пустяки. Далѣе, если люди читаютъ мало, то вѣдь они могутъ читать и больше: у насъ совсѣмъ мало, въ Германіи и Англіи больше, а съ теченіемъ времени будутъ и еще больше, такъ что на «очень

мало» г. Тугана можно и очень мало построить. Одно изъ двухъ: или идеи имѣютъ вліяніе,—тогда давайте работать, или онѣ его не имѣютъ,—тогда не зачѣмъ и огородъ городить, не зачѣмъ и статьи о «значеніи экономическаго фактора» писать, онъ, этотъ факторъ, безъ насъ съумѣетъ заявить себя.

Тѣмъ не менѣе г. Туганъ написалъ и напечаталъ свою статью, въ которой изложилъ, по его собственнымъ словамъ, «весьма плодотворную», то есть весьма вліятельную гипотезу. Онъ, сколько мнѣ извѣстно, читаетъ въ петербургскомъ университетѣ лекціи, которыми старается повліять на умы своихъ слушателей, въ разсчетѣ, что они въ свою очередь понесутъ это вліяніе и дальше. Онъ, можетъ быть, состоитъ членомъ комитета грамотности или какого-нибудь другого учрежденія, взявшаго на себя благородную задачу распространенія просвѣщенія. Онъ, я увѣренъ, совсѣмъ не такъ жестокосердъ, чтобы ему было «вполнѣ и исключительно наплевать» на 600 мучительныхъ смертей; напротивъ, я увѣренъ, что случись на его глазахъ что-нибудь подобное, онъ съ жаромъ противопоставилъ бы свои собственныя идеи идеямъ раскольничьяго попа и свое краснорѣчіе его краснорѣчію. Наконецъ, мнѣ было бы очень не трудно указать, какія идеи и книги рѣшительно, до ослѣпленія рѣшительно повліяли на него самого, на г. Тугана. Откуда же такое странное недоразумѣніе? Почему г. Туганъ, такъ... деликатно выражаясь, такъ неосторожно и неблагодарно относится къ хлѣбу, его самого вскормившему и имъ самимъ раздаваемому, если предположить, конечно, что онъ предлагаетъ своимъ читателямъ и слушателямъ хлѣбъ, а не камень? Дѣло именно въ томъ, что извѣстныя идеи и книги повліяли на г. Тугана до ослѣпленія, и такъ быстро, что онъ не успѣлъ даже познакомиться съ исторіей этихъ самыхъ идей. Для разъясненія этого прискорбнаго обстоятельства мнѣ придется сдѣлать нѣкоторое отступленіе. Но и раньше того мнѣ хочется сказать нѣсколько постороннихъ словъ. Хочется сказать именно, что я очень сожалѣю объ томъ, что въ своихъ скромныхъ замѣткахъ о текущей литературѣ и жизни мнѣ случайно приходится впервые упомянуть о «Мірѣ Божіемъ» въ связи со статьей г. Тугана. Если-бы я говорилъ вообще объ этомъ почтенномъ изданіи, столь быстро и заслуженно занявшемъ видное мѣсто въ средѣ нашей журналистики, то я долженъ бы былъ сказать много хорошаго. Но статья г. Тугана не украшаетъ почтенный журналъ...

У Глѣба Успенскаго есть прелестный разсказъ «Неизлѣчимый»,— одинъ изъ тѣхъ, въ которыхъ свойственный этому писателю тонкій переплетъ трагическаго и комическаго элементовъ рисуется съ осо-

бенною яркостью. Герой разсказа—запрещенный дьяконъ, лишенный сана за пьянство и проявленіе «свиного элемента» вообще. Но это не столько порочный, сколько несчастный человѣкъ, одолѣваемый, подобно многимъ дѣйствующимъ лицамъ разсказовъ Успенскаго, «болѣзнью совѣсти». Онъ искренно желаетъ исправиться, обновиться и, не находя въ себѣ достаточной силы воли, прибѣгаетъ за совѣтами къ доктору. Тотъ рекомендуетъ ему прежде всего прекратить пьянство и прописываетъ желѣзо. Но именнно пить-то онъ и не можетъ перестать, потому что, въ ожиданіи обновленія, только водкой и можетъ залить свое горе (а горе у него есть настоящее, большое); что же касается лекарства, прописаннаго докторомъ, то его все беретъ сомнѣніе,—дѣйствительно ли оно «вступаетъ»?.. Онъ приступаетъ съ этимъ мучающимъ его вопросомъ къ доктору. Докторъ недоумѣваетъ.

— Что такое «вступаетъ»? Что вы тутъ толкуете? куда вступаетъ?—Да желѣзо-то... Точно-ли, молъ, вступаетъ въ это... какъ его?—Въ кровь что-ль? Въ организмъ?—Вотъ, вотъ... въ это самое... Точно-ли-молъ?.. — Ахъ, отецъ Аркадій, или какъ тамъ васъ, отецъ вы или кто ужъ не знаю... Сколько разъ я вамъ говорилъ—да! да! вступаетъ! И именно вступаетъ въ кровь! За какимъ-же чортомъ, спрашивается, я вамъ его прописывалъ? Ну скажите, ради Бога, за какимъ чортомъ?—Отецъ дьяконъ кашлянулъ.—Вы, продолжалъ докторъ, отдѣляя каждое слово:—вы пили, кровь у васъ теперь—не кровь, а сусло... Понимаете? сусло, а не кровь!...—Позвольте, перебилъ дьяконъ:—Господи помилуй! Да развѣ я объ этомъ? Конечно, пьешь... да нѣшто я объ этомъ? Сусло! Я и самъ знаю, что сусло...—Ну такъ что-же тутъ разговаривать? Принимайте желѣзо—и все!—И, то-есть, ужъ въ самый корень вступитъ?—Я не знаю, что это за корень... Вамъ куда надо-то?—Да по мнѣ-бы въ самую настоящую точку...—Еще куда?... Въ корень, въ точку, еще куда?—То-есть, чтобъ въ сам-мую, напримѣръ, въ жилу?—Дьяконъ ждалъ отвѣта.—Знаете, что я вамъ скажу, отецъ дьяконъ, довольно строгимъ тономъ заговорилъ докторъ:—Такъ говорить нельзя... Помилуйте! Да такого разговора самъ чортъ не разберетъ... Что это значитъ—въ самую точку? Гдѣ самая жила, а гдѣ не самая? Вѣдь это—просто чортъ знаетъ что такое! Что такое вы говорите?—Дьяконъ и самъ засмѣялся.—Чортъ ее знаетъ, въ самомъ дѣлѣ, плетешь языкомъ невѣсть что!..—Ей-Богу, вѣдь это невозможно!.. Въ точку, да въ жилу...—Ха-ха-ха!... хохоталъ дьяконъ.—Ей-Богу невозможно!...—Послѣ незначительнаго молчанія, во время котораго докторъ, надо думать, смягчился, разговоръ возобновился вновь.—Я вамъ говорю, началъ докторъ спокойно и категорически:—желѣзо вступаетъ въ кровь! разъ!—Такъ!—Поправляетъ и укрѣпляетъ нервы!—Два! тоже категорически отчеканивалъ дьяконъ. Далѣе?—Да чего-жъ вамъ еще?—А въ душу?—Что въ душу?—Да въ душу-то вступаетъ-ли?

Такъ какъ доктора этотъ вопросъ ставитъ окончательно втупикъ, то и дьяконъ въ свою очередь объявляетъ, что «какой же, дескать, ему расчетъ его пить, ежели оно только обаполо болѣзни ходитъ, тамъ, въ эти нервы въ разные, а въ самую, значитъ, суть

то и нѣтъ!» Дьяконъ уходитъ, но опять возвращается. Онъ надумалъ: для тѣла пусть будутъ порошки эти самые, я для души—чтеніе; не дастъ-ли докторъ книжекъ почитать. Докторъ спрашиваетъ: какихъ же надо?

— Да мнѣ бы пофундаментальнѣе...—Ну, вотъ, выбирайте... Вотъ журналъ не хотите-ли?—Нѣтъ, это все мимолетное.—А вамъ надо не мимолетнаго? да?—Да ужъ что-нибудь, по... того, поздоровѣй.—Поздоровѣй?..—роясь въ книгахъ, болталъ докторъ. Поздоровѣй вамъ? Не хотите-ли взять вотъ Шлоссера: это, я думаю, будетъ довольно здорово...—Это что такое—Шлоссеръ?—Исторія.—Сдѣлайте милость, это мнѣ въ самый разъ... — Ну такъ вотъ и берите...—Мнѣ-бы только, Иванъ Ивановичъ, ужъ съ самаго начала... что-нибудь...—Да вотъ что тутъ? «Греки»... вотъ тутъ съ самаго начала...—Очень вамъ благодаренъ... То-есть, какъ вы говорите—съ самаго начала? Съ самаго начала только греческая исторія?—Только одна греческая... А вамъ что-же? — А раньше грековъ нѣтъ-ли чего? — Разумѣется, есть. Вотъ исторія Индіи... Это раньше грековъ.—А еще чего не было-ли раньше?—Ужъ я, ей-Богу не знаю... Да зачѣмъ вамъ?—Да мнѣ бы хотѣлось ужъ, что бы начать, напримѣръ, съ самаго корня... — Опять самые корни? — Да ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, что жъ мнѣ хватать верхушки? Ужъ ежели поправляться, такъ надо, какъ слѣдуетъ... Вновь... Съ самаго, напримѣръ, съ кор... съ корня... Что вы смѣетесь? Ей-Богу, право... Чтожъ такъ-то?...—Да такъ, такъ. Только я не знаю, чтожъ бы такое?... Не хотите-ли «До человѣка»?—Это—книга такая?—Книга... Понимаете—до! Ужъ тутъ самый корень.—Вотъ, вотъ, вотъ! какъ-то даже сладострастно зашепталъ дьяконъ:—до! Это самое и есть—«до» всего еще?—То-есть до всего на свѣтѣ!..—Ну, ну, ну... Этого мнѣ и надо... съ самаго...—Съ самаго, съ самаго! на-те, берите!

Я не прошу у читателя прощенія за эту длинную выписку: она навѣрное доставила ему много художественнаго наслажденія и не разъ заставила улыбнуться. Продолженіе разсказа, опять-таки, какъ это обыкновенно у Успенскаго, совсѣмъ не веселаго характера и получаетъ даже рѣзко-трагическій оттѣнокъ. Однако, и въ приведенномъ діалогѣ не все ужъ такъ смѣшно, какъ иному можетъ показаться съ перваго взгляда. Вы видите, что бѣдный дьяконъ дѣйствительно ищетъ, мучительно ищетъ радикальнаго леченія отъ «свиного элемента», и мука эта сквозитъ въ каждомъ смѣшномъ, неуклюжемъ словѣ, которымъ онъ тщетно старается выразить свою душевную боль. Трезвенному доктору, который формально совершенно правъ, да и слишкомъ занятъ своими прямыми обязанностями, вамъ иной разъ хочется крикнуть: да деревянный ты человѣкъ, вѣдь ты знаешь исторію этого бѣдняги, поговори же съ нимъ по просту, по человѣчески... Намъ, однако, до всего этого дѣла нѣтъ теперь,—ни до отношенія доктора къ дьякону, ни до побужденій послѣдняго. По какимъ бы то ни было причинамъ, дьяконъ ищетъ корня вещей, отметая поверхностное, по его мнѣнію, леченіе и поверхностное чтеніе. Это сама по себѣ, конечно, прекрасная черта;

столь прекрасная, что я не вижу надобности распространяться въ ея восхваленіи. Но она имѣетъ свои опасныя стороны, что и на дьяконѣ сказывается. Какъ ни какъ, а въ погонѣ за средствомъ, которое «вступало» бы въ «сам-мую жилу», онъ уклоняется отъ исполненія практическаго совѣта, быть можетъ единственнаго, какой находится въ распоряженіи медицины, а въ поискахъ книги о томъ, что было «до всего на свѣтѣ», остается безъ всякаго чтенія. Однако, самая страстность его исканія, придавая жизненность его фигурѣ, одухотворяя ее, притягиваетъ къ нему наши симпатіи. Но представимъ себѣ, что онъ достигъ своей цѣли или, вѣрнѣе, повѣрилъ, что достигъ ея, — потому что въ дѣйствительности нѣтъ и не можетъ быть «*самой* жилы», «точки», въ которую «вступало» бы помимо «нервовъ этихъ разныхъ», равно, какъ нѣтъ и не можетъ быть книги, которая разсказывала бы объ томъ, что было «до всего на свѣтѣ». Какъ бы то ни было, исканія кончились, и дьяконъ долженъ немедленно преобразиться побѣднымъ кликомъ — «эврика». Онъ понялъ все. Съ нимъ случилось то же, что съ пушкинскимъ пророкомъ: «духовная жажда» и «пустыня мрачная» отошли въ прошедшее, «отверзлись вѣщія зѣницы... и внялъ онъ неба содроганье, и горній ангеловъ полетъ, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье»... Неизвѣстно, однако, услышалъ-ли онъ голосъ: «возстань, пророкъ, и виждь и внемли, исполнись волею моей и, обходя моря и земли, глаголомъ жги сердца людей». Если не услышалъ, то и Богъ съ нимъ, онъ самъ себѣ довлѣетъ; если же услышалъ, то глаголъ, которымъ онъ будетъ жечь сердца людей, получаетъ общественный интересъ, а слѣдовательно заслуживаетъ нашего вниманія. И здѣсь жизненный путь просвѣтленнаго дьякона раздвояется.

Та «сам-мая точка», тотъ «корень», который нашелъ или вѣритъ, что нашелъ дьяконъ, лежитъ во всякомъ случаѣ очень глубоко; такъ глубоко, что между нимъ и просвѣтленнымъ дьякономъ помѣщается цѣлая толща разнаго рода наслоеній. Если въ немъ, въ дьяконѣ, бьется практическая жилка или даже только горячее сердце, то онъ очень скоро убѣдится, что даже въ видахъ достиженія «точки» необходимо повозиться съ этой толщей или, пожалуй, съ этой «надстройкой», а съ теченіемъ времени убѣдится онъ и въ томъ, что эти надстройки и сами по себѣ имѣютъ и значеніе, и вліяніе, отражающееся въ свою очередь на «точкѣ», что нѣтъ такой «самой точки», къ которой можно бы было свести всю безконечную сложность и пестроту жизни. Послѣ этого вторичнаго просвѣтленія дьяконъ, если судьба побаловала его нужными дарованіями, будетъ дѣйствительно глаголомъ жечь сердца людей. Но быть можетъ онъ не дѣятельная, а созерцательная натура, и искалъ «точки», какъ

центра художественно цѣльной картины мірозданія или какъ отправнаго пункта для логически стройной философской системы. Это очень часто случается въ исторіи мысли, причемъ найденная «сам-мая точка» — Идея, Матерія, Духъ, Воля, Безсознательное — получаетъ характеръ и названіе «сущности вещей», а толща разныхъ наслоеній, отдѣляющая мыслителя отъ «точки», иначе говоря, весь міръ доступныхъ опыту и наблюденію «явленій» оказывается собраніемъ, по выраженію дьякона, «мимолетностей». Эти «мимолетности», эти явленія не интересуютъ мыслителя своею пестрою игрою и не задѣваютъ его непосредственнаго чувства, — онѣ такъ преходящи, а онъ знаетъ «самую точку», «самую суть», принимающую въ нихъ безконечно разнообразныя, вѣчно смѣняющіяся формы; онѣ даже мѣшаютъ ему иногда своею пестротою и шумностью, врываясь въ спокойный ходъ его созерцанія и не съ разу укладываясь, а то и совсѣмъ не укладываясь въ приготовленную для нихъ систему. Да и зачѣмъ съ ними возиться? Найдена «самая точка», нѣчто, собственно говоря, единосущее (потому что все остальное—только мимолетныя формы бытія), нѣчто все опредѣляющее, и ничѣмъ въ свою очередь не опредѣляемое, на все воздѣйствующее, но само не подлежащее воздѣйствію. Оно само совершитъ все то, что должно быть совершено, и наше вмѣшательство будетъ или безумною дерзостью (потому что мы совершенно безсильны передъ «самой точкой»), или смѣшной иллюзіей (потому что самое это вмѣшательство есть лишь одно изъ безчисленныхъ мимолетныхъ проявленій «точки»). Мыслителю, открывшему это великое всеопредѣляющее и ничѣмъ не опредѣляемое нѣчто, только и остается сказать: вотъ Аллахъ, а я—Магометъ, пророкъ его. На дѣлѣ, однако, это простое предложеніе разростается въ цѣлые томы, въ которыхъ Магометъ вѣщаетъ и истолковываетъ волю Аллаха. И хотя это, конечно, не Аллаховы, а собственные Магометовы «глаголы», но въ числѣ мыслителей этого типа бывали люди большой эрудиціи, логической силы и таланта изложенія, и потому ихъ «глаголы», если не всегда «жгли сердца людей», то увлекали умы. Естественный выводъ изъ всемогущества и единосущности «самой точки»—есть квіетизмъ, оптимистическій или пессимистическій, радостное или скорбное примиреніе съ дѣйствительностью. Но рѣзко выраженные типы натуръ дѣятельныхъ и чисто созерцательныхъ встрѣчаются не часто, и въ большинствѣ случаевъ мы имѣемъ дѣло съ типами смѣшанными, въ которыхъ эти элементы соединяются въ разныхъ пропорціяхъ. Притомъ же Магометы иногда такъ искусно располагаютъ свои толкованія воли Аллаха, что ихъ можно гнуть и направо и налѣво.

Все сказанное относится къ людямъ, нашедшимъ свою «самую

точку» послѣ болѣе или менѣе долгихъ, болѣе или менѣе упорныхъ исканій. Но бываетъ и такъ, что человѣкъ получилъ свою «точку» совсѣмъ даромъ, безъ усилій мысли и напряженія чувства, «безъ борьбы, безъ думы роковой»: просто въ книжкѣ вычиталъ или отъ вѣрнаго человѣка услышалъ и такъ соблазнился простотою и ясностью прочитаннаго или услышаннаго, что сразу увѣровалъ. Это даже наиболѣе обыкновенный случай, потому что на каждый изъ самостоятельныхъ голосовъ, при извѣстныхъ акустическихъ условіяхъ, приходится многократное эхо. Дѣйственная складка въ характерѣ и такого человѣка скоро убѣдитъ въ томъ, что нельзя не считаться съ «мимолетнымъ», а созерцательная натура надолго, быть можетъ навсегда останется при своемъ великолѣпномъ презрѣніи къ этимъ «нервамъ тамъ разнымъ». Но, не пройдя сквозь горнило сколько-нибудь самостоятельныхъ, хотя бы только чисто умозрительныхъ исканій, такой, если позволительно такъ выразиться, «эховый» человѣкъ естественно окажется плохимъ защитникомъ своей «самой жилы». Разгнѣванная богиня наказала нимфу Эхо косноязычіемъ, да еще въ скалу превратила, и съ тѣхъ поръ эта окаменѣлая и косноязычная нимфа повторяетъ только послѣднія слова или слоги услышаннаго. Все остальное эховый человѣкъ воспроизводитъ собственными рессурсами, ну, а для выясненія начала всѣхъ началъ, той «самой жилы», которая всѣмъ жиламъ жила,—нужны рессурсы очень значительные, и немудрено, что ихъ не оказывается въ распоряженіи эховаго человѣка: они вообще крайне рѣдко даются въ размѣрѣ, нужномъ для такого предпріятія. Но это послѣднее вовсе не кажется такимъ труднымъ самому эховому человѣку,—онъ получилъ готовую истину. И въ результатѣ получается нѣчто такое, объ чемъ по справедливости можно сказать: «все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно».

Именно эти слова поэта пришли мнѣ прежде всего въ голову по прочтеніи вышеупомянутой статьи г. Туганъ-Барановскаго «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи». Мнѣ кажется, что слова эти должны повторить и всѣ сколько-нибудь серьезные единомышленники г. Тугана: слишкомъ ужъ наивна его аргументація и слишкомъ компрометируетъ защищаемый имъ тезисъ. Источникъ моей грусти, конечно, совсѣмъ другой.

Г. Туганъ начинаетъ свою статью справедливымъ замѣчаніемъ, что какъ бы ни былъ, повидимому, «объективенъ» историкъ, онъ на дѣлѣ непремѣнно руководится какою-нибудь «предвзятою теоріею» въ расположеніи и освѣщеніи своего матеріала. «Древніе лѣтописцы менѣе всего могутъ считаться зараженными какими бы то ни было предвзятыми теоріями,—говоритъ г. Туганъ: ихъ труды являются образцами спокойнаго, объективнаго изложенія предмета,

но легко доказать, что и они были проникнуты вполнѣ опредѣленной историко-философской теоріей». Эта безсознательно руководящая теорія получила впослѣдствіи сознательную обработку и состоитъ въ томъ, что исторію дѣлаютъ выдающіеся люди, герои. Карлейль приглашалъ преклоняться передъ великими людьми. «Но наука ни передъ чѣмъ не преклоняется», гордо заявляетъ г. Туганъ. Великій человѣкъ есть нѣчто «мимолетное» и надо не имъ объяснять исторію, а еще самого его объяснить. Поэтому на смѣну культа героевъ явилось ученіе о всемогуществѣ идеи. «Разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства, привычки, желанія, страсти человѣка признаются маловажнымъ элементомъ въ его жизни, не имѣющимъ никакого историческаго значенія». По словамъ г. Тугана, эта точка зрѣнія господствовала у всѣхъ писателей конца прошлаго и начала XIX вѣка, — у Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ, въ школѣ Адама Смита, въ школѣ Бентама, у утопистовъ, каковы Овенъ, Сенъ-Симонъ, Фурье и проч.. «Но можно-ли согласиться съ исторической философіей, признающей идеи, мнѣнія и взгляды людей конечною причиной прогресса?»—спрашиваетъ г. Туганъ и отвѣчаетъ, разумѣется, отрицательно. Идеи, взгляды, мнѣнія,— все это лишено самостоятельнаго значенія, ибо имѣетъ свои корни въ данной соціальной средѣ, которая, повидимому, и должна, наконецъ, быть признана «самой жилой». Однако, нѣтъ. «Соціальная среда не есть первичный факторъ, не поддающійся дальнѣйшему разложенію. Соціальная среда — это тѣ же люди. Слѣдовательно, объясняя историческое развитіе вліяніемъ среды, мы, въ сущности, утверждаемъ только то, что историческая эволюція имѣетъ безличный, массовый характеръ. Но чѣмъ же движется исторія, что толкаетъ человѣчество впередъ, что создаетъ то общественное настроеніе, которымъ опредѣляется характеръ исторической эпохи? Соціальная среда опредѣляется прежде всего («до всего на свѣтѣ!») хозяйственными отношеніями». Достаточно поговоривъ на эту тему съ чисто догматическою увѣренностью, г. Туганъ, однако, опять возвращается къ вопросу: «чѣмъ создается сама среда, что опредѣляетъ ея характеръ?» Отмѣтивъ разнородность соціальной среды, раздѣленіе всѣхъ историческихъ обществъ на классы, г. Туганъ приходитъ къ заключенію, что раздѣленіе это основывается на «неравенствѣ распредѣленія народнаго дохода». «Чѣмъ же опредѣляется это распредѣленіе? Ничѣмъ инымъ, какъ способомъ производства и обмѣна». И тутъ мы, наконецъ, у пристани, у той «самой точки», которой такъ страстно и мучительно искалъ дьяконъ и которую такъ просто и спокойно нашелъ г. Туганъ.

Дѣло, однако, въ томъ, что онъ не самъ ее нашелъ. Г. Туганъ

съ приличествующею ему скромностью отвѣтитъ, конечно, что онъ и не думаетъ выдавать себя за творца доктрины, оригинальнаго мыслителя, или даже только за человѣка, исчерпавшаго всѣ pro и contra доктрины. Онъ сознаетъ, что «этихъ бѣглыхъ замѣчаній, разумѣется, отнюдь не достаточно для доказательства преобладающаго значенія экономическаго фактора въ исторіи», что онъ лишь изложилъ основы «гипотезы», которая еще ждетъ фактическаго подтвержденія. Но я и не приписываю г. Тугану неблаговидной роли творца-самозванца. Говоря, что онъ не самъ нашелъ свой ключъ отъ всѣхъ ключей, я хочу лишь сказать, что онъ получилъ нѣчто цѣликомъ готовое, безъ предварительнаго процесса исканій, сравненій, сомнѣній, провѣрокъ, что послѣдовательно отметая все «мимолетное» въ разныхъ историческихъ теоріяхъ и добираясь до «фундаментальнаго», онъ не продумалъ сколько-нибудь самостоятельно ни своей «фундаментальности» и ни одной изъ отринутыхъ «мимолетностей». Все имъ изложенное онъ принялъ просто на вѣру Этому вполнѣ соотвѣтствуютъ и та наивность, съ которой онъ побѣдоносно предъявляетъ аргументы по истинѣ поразительные, и то пренебреженіе, съ которымъ онъ относится къ тому, что онъ якобы анализируетъ, критически освѣщаетъ. Онъ въ одномъ мѣстѣ утверждаетъ даже, что «въ критикѣ и заключается вся сущность науки» (стр. 102), что ужъ несомнѣнно черезъ край хвачено, но, какъ слѣпо вѣрующему, ему совершенно чуждъ истинно критическій духъ. А такъ какъ формально задачу г. Тугана составляетъ главнымъ образомъ именно критика, то въ результатѣ получается нѣчто до такой степени несуразное, что въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ статья г. Тугана смѣло могла бы быть оставлена безъ всякаго вниманія. Не то нынѣ, когда слѣпая вѣра, прикрывающаяся «критикой» и «наукой», съ особенною силою обнаруживаетъ свое общественное свойство—заразительность. Не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, ex cathedra излагающимъ свои взгляды... Великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ...

Мы видѣли то наивное лукавство, съ которымъ г. Туганъ, говоря о вліяніи идей, подмѣниваетъ идеи вообще идеями «научными» и «книгами» и обставляетъ свой тезисъ разными «въ сущности не очень» и, такъ сказать, «не очень, чтобъ очень». Это на стр. 109. Но на стр. 105 узнаемъ, что «нельзя, разумѣется, отрицать вліяніе идей на ходъ исторіи», а на стр. 106, приведя отзывы Бокля и Беджгота о вліяніи книги Адама Смита, г. Туганъ говоритъ: «Если даже признать эти отзывы сильно преувеличенными, то все же фактъ огромнаго историческаго значенія «Богатства народовъ» не подлежитъ сомнѣнію. Идеи Ад. Смита дѣйствительно обладали творческою силой, и соціальныя отношенія

въ Англіи глубоко измѣнились подъ вліяніемъ этихъ идей». Значитъ, хоть и не очень, чтобъ очень, а бываетъ и такъ, что и очень. Г. Туганъ не смущается этимъ противорѣчіемъ, да и не видитъ его, ибо, говоритъ онъ, хотя идеи Ад. Смита дѣйствительно имѣли огромное вліяніе, но не то, на которое самъ Смитъ разсчитывалъ. «Смитъ признавалъ свои идеи вполнѣ соотвѣтствующими интересамъ рабочихъ и находящимися въ непримиримомъ противорѣчіи со стремленіями капиталистическаго класса. И что же...— на сторонѣ Смита оказались фабриканты и торговцы, а противъ ученія Смита боролись рабочіе; и будущее вполнѣ оправдало такое неожиданное для творца экономической науки распредѣленіе ролей на исторической сценѣ». Дѣло, значитъ, въ томъ, что хотя идеи Смита и оказали вліяніе, но въ направленіи, указанномъ тѣмъ всемогущимъ ключомъ отъ всѣхъ ключей, котораго Смитъ не зналъ, а г. Туганъ знаетъ. Это не удивительно — наука идетъ впередъ; и такъ какъ человѣчеству остается еще жить, по всей вѣроятности, неизмѣримо дольше, чѣмъ тѣ 120 лѣтъ, которыя отдѣляютъ г. Тугана отъ Ад. Смита, то я боюсь, что найдется наконецъ какой-нибудь г. Постъ-Туганъ, который будетъ знать то, чего даже г. Туганъ еще не знаетъ, и докажетъ, что вліяніе идей послѣдняго или было совершенно ничтожно, такъ что незачѣмъ ему было и писать, и говорить, или же, что вліяніе это было прямо противоположно тому, на которое г. Туганъ разсчитывалъ. Издали вѣдь это виднѣе будетъ. Въ чемъ же состоитъ поучительность разсказанной г. Туганомъ исторіи идей Ад. Смита? Единственный выводъ, который изъ нея можетъ быть сдѣланъ, состоитъ въ томъ, что говори—не говори, а если говоришь, то чтобы ты ни говорилъ съ каѳедры, въ книгѣ, въ общественномъ собраніи, въ совѣтѣ призванныхъ вязать и рѣшить, въ толпѣ, — «самая жила» все устроитъ по своему. «И погромче насъ были витіи», вотъ, напримѣръ, Ад. Смитъ, а между тѣмъ, что же мы видимъ? Если же г. Туганъ удостоиваетъ насъ собесѣдованія и съ каѳедры, и въ книгѣ, то единственно для просвѣтленія насъ на счетъ этой «самой жилы», руководящей ходомъ исторіи. Просвѣтилъ и отошелъ къ сторонѣ: созерцаетъ. Правда, въ исторіи не одиноко стоитъ тотъ случай, что раскольничій попъ заставилъ своимъ словомъ 600 человѣкъ сжечься, но это—«мимолетное», а надо смотрѣть въ корень вещей, въ самм...ую, сам...мую...

До какой степени проникаетъ г. Туганъ въ глубь вещей, видно изъ слѣдующей его поразительной иллюстраціи: «Въ средніе вѣка самые сильные умы посвящали себя теологіи и изощрялись въ безплодныхъ усиліяхъ понять и объяснить то, что по самому существу своему необъяснимо. Теперь во главѣ наукъ стоитъ естество-

знаніе. Почему же блаженный (beatus) Августинъ изучалъ не природу, а Дарвинъ не сдѣлался теологомъ? Не вслѣдствіе своей индивидуальности, а просто потому, что Августинъ жилъ въ то время, когда теологія господствовала надъ умами человѣчества и заключала въ себѣ всѣ знанія и философію эпохи, а Дарвинъ жилъ въ наше время, когда крупная промышленность преобразовала хозяйство и на первый планъ выдвинулись практическія задачи, разрѣшеніе которыхъ невозможно безъ познанія законовъ природы».

Выслушавъ эту тираду, вы естественно думаете сначала, что ошиблись, не дослышали. Что? какъ? — переспрашиваете вы. Всѣ занимались, Августинъ былъ одинъ изъ всѣхъ, а потому и онъ занимался. Въ формально логическомъ или, точнѣе, силлогистическомъ смыслѣ это предложеніе безупречно, но за то же и довольно безплодно, и притомъ вы не видите, зачѣмъ понадобился автору этотъ пустопорожній силлогизмъ. Другое дѣло примѣръ Дарвина: тутъ вы видите перстъ, указующій на «самую жилу» — «крупная промышленность преобразовала хозяйство». Но для избранной авторомъ параллели Дарвина съ Августиномъ и въ подтвержденіе того, что индивидуальность ничего не опредѣляетъ въ выборѣ занятій, надо бы было доказать, что нынѣ всѣ занимаются естествознаніемъ и никто не занимается теологіей. Не говоря о безчисленныхъ спеціалистахъ по исторіи, по философіи, языкознанію, по разнымъ отраслямъ общественныхъ наукъ, я попрошу г. Тугана объяснить мнѣ хоть одинъ только случай: почему такая крупная фигура, какъ современникъ Дарвина Гладстонъ, не занимается естествознаніемъ, а занимается политикой, исторіей литературы и — теологическими вопросами? Почему онъ не слушается властныхъ велѣній того Аллаха, Магометомъ котораго состоитъ г. Туганъ и котораго такъ охотно послушался Дарвинъ? Надо, впрочемъ, замѣтить, что какъ разъ предметъ изслѣдованій Дарвина не имѣетъ никакого непосредственнаго отношенія къ «практическимъ задачамъ, выдвинутымъ на первый планъ крупною промышленностью» (если не считать таковою скотоводство, изъ практики котораго самъ Дарвинъ кое-что заимствовалъ и едва-ли въ свою очередь на него повліялъ). Я воображаю положеніе самого Дарвина, если бы ему довелось прочитать размышленія г. Тугана! Онъ особенно удивился бы тому, что именно изъ него, изъ его личной жизни дѣлаютъ какой-то аргументъ противъ значенія индивидуальности въ развитіи склонностей; ибо такимъ образомъ ниспровергается одинъ изъ главныхъ столповъ всего его ученія. Не одному этому, конечно, подивился бы Дарвинъ, но и мы, простые люди, знакомые все-таки съ трудами и біографіей Дарвина, можемъ руками развести.

Родъ Дарвиновъ часто приводится, какъ типическій образчикъ наслѣдственности талантовъ и склонностей. Дѣдъ Чарльза Дарвина, Эразмъ, былъ ботаникъ и поэтъ, и въ стихахъ, и въ прозѣ до извѣстной степени предвосхитилъ нѣкоторыя идеи своего знаменитаго внука. Братъ Эразма, Робертъ, былъ также ботаникъ и написалъ очень цѣнившіяся въ свое время «Начала ботаники». Старшій сынъ Эразма былъ физіологъ. Отецъ Чарльза былъ врачъ, славившійся, какъ діагностъ, и, вообще, обладавшій, повидимому, исключительною наблюдательностью; онъ также занимался цвѣтоводствомъ и садоводствомъ. Что наблюдательность въ связи съ широкимъ воображеніемъ получены Чарльзомъ Дарвиномъ по наслѣдству, въ этомъ сомнѣваться мудрено, хотя мы не знаемъ и никогда не узнаемъ тайны индивидуальныхъ особенностей великаго натуралиста, заложенныхъ быть можетъ въ моментъ зачатія, въ связи съ наслѣдственностью по женской линіи, настроеніемъ духа родителей и проч. Труднѣе утверждать, что склонность именно къ естествознанію была наслѣдственнымъ даромъ, но здѣсь должны придти на помощь фамильныя преданія, домашняя обстановка и проч. Надо, однако, замѣтить, что естествоиспытатель Дарвинъ сложился далеко не сразу. Учился онъ плохо, увлекался больше охотой, рыбной ловлей и коллекціонированіемъ, и притомъ не только естественно-историческихъ предметовъ, минераловъ, насѣкомыхъ и проч., а и печатей, монетъ и т. п. Затѣмъ онъ готовился въ Эдинбургѣ къ медицинской карьерѣ, къ которой не чувствовалъ, однако, никакой склонности. Отношеніе его къ естествознанію было въ это время двойственное: онъ съ отвращеніемъ слушалъ лекціи по анатоміи, по геологіи, но охотно ѣздилъ съ нѣкіимъ зоологомъ Грантомъ, поклонникомъ Ламарка, на морской берегъ для собиранія морскихъ животныхъ. Черезъ два года Дарвинъ сталъ готовиться въ священники и перешелъ въ Кембриджскій университетъ. Здѣсь судьба столкнула его съ ботаникомъ Генсло, который съумѣлъ заинтересовать его естествознаніемъ, главнымъ образомъ, экскурсіями и собираніемъ коллекцій. Этотъ же Генсло устроилъ ему мѣсто на кораблѣ «Бигль», на которомъ онъ отправился въ путешествіе, главнымъ образомъ, въ качествѣ эстетика, любителя природы, охотника и коллекціонера. Но здѣсь-то, во время пятилѣтняго плаванія на «Биглѣ», пятилѣтняго отдаленія отъ всего европейскаго шума,—въ томъ числѣ и отъ практическихъ задачъ, выдвигаемыхъ крупною промышленностью,—сложился тотъ великій натуралистъ, котораго мы знаемъ...

Зачѣмъ я все это разсказываю? Вѣдь, это можно прочитать въ любой біографіи Дарвина, а ихъ и на русскомъ языкѣ десятки. Затѣмъ, читатель, чтобы ярче оттѣнить глубокомысліе г. Тугана.

Мы, простые люди, да и не только мы, а и люди науки, интересуемся законами наслѣдственности и измѣнчивости, фактической стороной біографіи знаменитаго натуралиста и проч., а г. Туганъ—онъ на три аршина подъ землей видитъ: все это «мимолетное», а ему надо что-нибудь «пофундаментальнѣе, поздоровѣе», чтобы ужъ «до всего на свѣтѣ». И онъ находитъ это фундаментальное въ практическихъ задачахъ, выдвигаемыхъ развитіемъ крупной промышленности...

Но вернемся къ Дарвину и подойдемъ къ нему съ такой стороны, на которую г. Туганъ, будь онъ менѣе глубокомысленъ, имѣлъ-бы гораздо болѣе резоновъ сослаться. Что выборъ занятій Дарвина опредѣлился практическими задачами, выдвигаемыми развитіемъ крупной промышленности,—это просто смѣшной вздоръ, но что развитіе это имѣло свою долю вліянія на самое содержаніе ученія Дарвина,—это весьма вѣроятно. Первое мѣсто принадлежитъ здѣсь, конечно, самостоятельному преемственному ходу развитія самой науки. Обобщеніе, столь солидно поставленное, какъ теорія Дарвина, не могло явиться раньше, чѣмъ наука накопила достаточное количество спеціальныхъ наблюденій и фактовъ. Затѣмъ и общее содержаніе ученія Дарвина—измѣнчивость видовъ—было болѣе, чѣмъ подготовлено трудами Ламарка, Жоффруа Сентъ-Илера и проч. Дарвинъ въ этомъ смыслѣ не сказалъ новаго слова, а только далъ прочную и широкую опору слову, до него сказанному. Новое слово состояло въ указаніи тѣхъ путей, которыми отъ вѣка и до вѣка шло и будетъ идти измѣненіе видовъ. Здѣсь, кромѣ развѣ Мальтуса, нельзя указать ни одного прямого личнаго или сколько-нибудь значительнаго преемственно-научнаго вліянія. Но за то теорія пассивно механическаго подбора приспособленныхъ и переживанія, въ лютой борьбѣ за существованіе, лучшихъ и высшихъ организмовъ—есть прямое отраженіе и какъ-бы принципіальное оправданіе той бѣшеной общественной конкурренціи, въ которой развитіе крупной промышленности играетъ столь видную роль. Рекомендую эту тему г. Тугану. Разрабатывая ее, онъ не упуститъ, конечно, изъ вида и того, что какъ ни мощенъ былъ голосъ Дарвина и какъ ни восторженно былъ онъ привѣтствованъ и ученымъ міромъ, и профанами, но встрѣчалъ и протесты, какъ со стороны правовѣрныхъ сторонниковъ идеи постоянства видовъ, такъ и со стороны людей, вполнѣ признававшихъ ихъ измѣнчивость и огромныя заслуги Дарвина въ этомъ общемъ смыслѣ; но они, послѣдніе, полагали, полагаютъ и все настойчивѣе продолжаютъ утверждать, что пути развитія органической жизни указаны Дарвиномъ односторонне и не полно, и что борьба за существо-

ваніе и переживаніе приспособленныхъ не играютъ той благотворной роли, которую имъ приписывалъ Дарвинъ.

Куда ужъ, впрочемъ, г. Тугану заниматься такими мелочами! Онъ на три аршина подъ землей видитъ и, гордый этою своею проницательностью, тѣмъ, что добрался, наконецъ, до «самой жилы», презираетъ все, что у него, съ позволенія сказать, передъ носомъ дѣлается, все «мимолетное». Но я рѣшительно утверждаю, что идеи г. Тугана или не будутъ имѣть никакого положительнаго вліянія, или вліяніе какъ разъ противоположное тому, на которое онъ разсчитываетъ; онъ желаетъ ввести насъ въ глубь вещей, а на дѣлѣ, если научитъ чему-нибудь, то верхоглядству и непозволительно поверхностному отношенію къ наукѣ и жизни; онъ хочетъ схватить жизнь въ самомъ широкомъ ея основаніи, всѣ частности обнимающемъ, а на дѣлѣ учитъ грубѣйшей односторонности и узости; онъ, наконецъ, желаетъ возвеличить идею такъ называемаго экономическаго матеріализма и — компрометируетъ ее. Развѣ въ самомъ дѣлѣ глубина, а не верхоглядство это разсужденіе объ Августинѣ и Дарвинѣ? И какая односторонность, узость, тусклость всего міросозерцанія, поскольку оно отразилось въ этомъ эпизодѣ! Весь пестрый переплетъ законовъ наслѣдственности и измѣнчивости, самимъ же Дарвинымъ формулированныхъ, весь преемственный ходъ развитія біологіи, все вліяніе непосредственно окружающей среды, воспитанія, чтенія, вся психологія путешественника, пять лѣтъ живущаго вдали отъ текущихъ дѣлъ родины и Европы вообще,—всѣ своеобразныя комбинаціи красокъ и звуковъ жизни испаряются, все получаетъ однотонный, тусклый характеръ. Г. Туганъ возразитъ можетъ быть, что «наука ни передъ чѣмъ не преклоняется», и что если мнѣ жаль той шумной пестроты жизни, которую онъ упраздняетъ своимъ ключомъ отъ всѣхъ ключей,—такъ я долженъ все-таки смириться передъ голосомъ науки. Да, мнѣ жаль этихъ стертыхъ красокъ, этихъ заглушенныхъ звуковъ, но собственно для меня никакіе Туганы ихъ не сотрутъ и не заглушатъ; а истинно жаль мнѣ тѣхъ, кто, повѣривъ г. Тугану, начнетъ смотрѣть на бѣлый свѣтъ холодными и тусклыми рыбьими глазами, въ увѣренности, что это и есть «научный» взглядъ. Въ дѣйствительности, это пропаганда не науки, а самоувѣреннаго невѣжества. И понятно, что если я повѣрю г. Тугану, такъ незачѣмъ мнѣ знакомиться ни съ трудами, ни съ жизнью Дарвина, равно какъ и другихъ современныхъ натуралистовъ: и Бэръ, и Фогтъ, и Гельмгольцъ, и Фехнеръ, и Геккель и проч.—всѣ уравниваются въ этой формулѣ: стали натуралистами, потому что практическія задачи крупной промышленности и т. д. Правда, напримѣръ, Ньютонъ и многіе другіе знаменитые люди занимались естествознаніемъ задолго до требованій

современной крупной промышленности; правда, что и наши знаменитѣйшіе современники не все естествоиспытатели, а есть между ними и Гладстонъ, и Марксъ, и Ренанъ, и Гюго, и Парнель, и Моммсенъ, и Толстой, и Іерингъ и проч., и проч., и проч., — но это я мимо ушей пропущу, какъ многое пропускаетъ мимо ушей и мой учитель, г. Туганъ...

Я остановился на диссертаціи г. Тугана объ Августинѣ и Дарвинѣ (и все-таки не исчерпалъ ея достоинствъ), какъ на типичномъ образчикѣ его разсужденій вообще. Но это не снимаетъ съ меня грустной обязанности пересмотрѣть и другія страницы статьи г. Тугана. Однако, исполненіе этой обязанности приходится, за недостаткомъ мѣста и времени, отложить до слѣдующаго раза. Одно прибавлю въ заключеніе. Я сказалъ, что идеи г. Тугана или не будутъ имѣть никакого вліянія, или противоположное тому, на которое онъ разсчитываетъ. Но возможенъ еще исходъ. Быть можетъ, люди склонные къ слѣпой вѣрѣ подъ флагомъ науки и критики, и люди, склонные къ верхоглядству подъ флагомъ глубины, — согласитесь, читатель, что такіе у насъ есть, — уразумѣвъ статью г. Тугана, скажутъ себѣ: нѣтъ, это ужъ черезчуръ! такъ нельзя! Надо серьезнѣе, вдумчивѣе, самостоятельнѣе пересмотрѣть свой багажъ, а то чего добраго до этакого-же договоришься... Если результатъ будетъ дѣйствительно таковъ, то да благословенъ будетъ жизненный путь г. Тугана: онъ сослужилъ хорошую службу...

XII *).

Еще о г. Туганѣ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ. — „Чумазый“ и „Культурный прогрессъ Россіи“.

Мнѣ говорятъ и пишутъ, что я не долженъ былъ обращать вниманіе на статью г. М. Тугана-Барановскаго, въ виду ея слишкомъ уже очевидной слабости; что писать объ ней, а тѣмъ болѣе возвращаться къ ней значитъ придавать ей несоотвѣтственное значеніе. Не могу согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Г. Туганъ-Барановскій—человѣкъ науки, въ нѣкоторомъ родѣ авторитетъ, такъ что въ буквальномъ смыслѣ magister dixit. Это съ одной стороны, а съ другой—никогда еще можетъ быть у насъ не было столько людей, склонныхъ jurare in verba magistri, какъ теперь, хотя и не въ буквальномъ смыслѣ magistri и подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы magister говорилъ именно то, что, въ общихъ чертахъ, угодно самимъ слушателямъ. Немножко это странное положеніе для magister'a, но г. Туганъ-Барановскій вполнѣ удовлетворяетъ такому требованію. Далѣе, соблазняющимъ образомъ должно дѣйствовать самое изложеніе г. Тугана-Барановскаго. Развивая ту же самую мысль, которая лежитъ въ основаніи книжки г. Бельтова «Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію», г. Туганъ-Барановскій дѣлаетъ это гораздо спокойнѣе и, такъ сказать, прозрачнѣе. Г. Бельтовъ лжетъ, кувыркается, пляшетъ въ присядку, экскурсируетъ въ Гегелеву философію и всѣми этими пріемами—однимъ отводитъ глаза отъ существа дѣла, а другимъ внушаетъ недовѣріе. Г. Туганъ-Барановскій не прибѣгаетъ ни къ какимъ фокусамъ, онъ весь какъ на ладони, и если, благодаря этому, несостоятельность его положеній и слабость его аргументаціи дѣйствительно ясно выступаютъ, то иного, напротивъ, можетъ подкупить эта прозрачная ясность и безхитростность: очевидно, добросовѣстный человѣкъ, которому довѣриться можно. Я и не сомнѣ-

---

*) Февраль, 1896 г.

ваюсь въ добросовѣстности г. Тугана-Барановскаго, и если говорилъ о нѣкоторомъ его «наивномъ лукавствѣ», то разумѣлъ лукавство именно наивное, почти безсознательно обходящее то или другое логическое или фактическое препятствіе. Это лукавство классическаго страуса, прячущаго голову, чтобы не видѣть опасности, а не наглое поведеніе гуся, который хочетъ замаскировать грозящую ему опасность и даже другихъ напугать безпорядочнымъ гоготаньемъ, шипѣньемъ и размахиваніемъ безсильныхъ крыльевъ. И тѣмъ не менѣе, я не рѣшился бы сказать категорически, кто лучше, кто хуже: гусь или страусъ, ибо при всемъ безобразіи гуся—г. Бельтова, онъ въ то же время понимаетъ вещи много шире и жизненнѣе, чѣмъ благообразный страусъ — г. Туганъ-Барановскій. Какъ бы то ни было, я не объ томъ жалѣю, что заговорилъ о статьѣ г. Тугана-Барановскаго, а объ томъ, что мнѣ не пришлось кончить этотъ разговоръ въ одной статьѣ, — чисто техническое неудобство: приходится повторять кое-что уже сказанное въ прошлый разъ.

Послѣдовательно отметая различныя историческія теоріи, какъ скользящія лишь по поверхности исторической жизни, г. Туганъ-Барановскій останавливается, наконецъ, на формахъ производства и обмѣна, какъ на послѣднемъ, наиболѣе глубоко лежащемъ факторѣ, единственно способномъ объяснить вѣковѣчную смѣну историческихъ явленій. Этотъ свой главный тезисъ авторъ доказываетъ, во-первыхъ, отрицательнымъ путемъ, — путемъ критики другихъ историческихъ теорій; во-вторыхъ,—положительными доводами отъ разума и въ-третьихъ, наконецъ, фактическими иллюстраціями.

Мы остановились на двухъ образчикахъ фактическихъ иллюстрацій: на примѣрѣ Дарвина, который будто бы потому обратился къ естествознанію, что того требовали практическія задачи, выдвинутыя на первый планъ развитіемъ крупной промышленности, и на идеяхъ Ад. Смита, которыя оказали вліяніе, прямо противоположное тому, на которое разсчитывалъ самъ Смитъ. Можно бы еще многое небезъинтересное отмѣтить по поводу примѣра Дарвина, но я полагаю, что и сказаннаго въ прошлый разъ достаточно для освѣщенія фактической достовѣрности и логической доказательности утвержденія г. Тугана-Барановскаго. Мы видѣли, что вмѣсто обѣщанной глубины онъ предлагаетъ даже до странности поверхностное объясненіе и вмѣсто какого-то особеннаго, коренного знанія учитъ простому незнанію. Именно учитъ незнанію, какъ ни странно можетъ показаться это выраженіе. Характерна при этомъ самоувѣренность, съ которою г. Туганъ-Барановскій разрубаетъ одинъ изъ запутаннѣйшихъ узловъ цѣлаго ряда научныхъ вопросовъ. Характерна и та слѣпота, съ которою онъ упускаетъ изъ

вида по истинѣ безчисленное множество явленій, рѣзко противорѣчащихъ его выводу.

Что касается вліянія идей Адама Смита, то этой иллюстраціи я буду имѣть случай коснуться съ нѣкоторою подробностью ниже. Теперь намъ слѣдуетъ обратиться къ критическимъ пріемамъ г. Тугана-Барановскаго, и прежде всего, конечно, къ тому, какъ онъ понимаетъ то, что критикуетъ. Наибольшее вниманіе удѣляетъ онъ ученію объ идеяхъ, какъ о двигателѣ исторіи. Свое изложеніе этого ученія онъ начинаетъ съ Луи Блана, точнѣе сказать,—съ одной фразы Луи Блана въ «Исторіи французской революціи»: исторію движетъ «не сила, что бы ни говорила внѣшность, но мысль; исторія дѣлается книгами». «Съ этой точки зрѣнія,—продолжаетъ уже отъ себя нашъ авторъ, — важнѣйшимъ факторомъ исторіи является развитіе человѣческаго ума, распространеніе просвѣщенія въ народѣ. Разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства привычки, желанія, страсти человѣка признаются маловажнымъ элементомъ въ его жизни, не имѣющимъ никакого историческаго значенія». Такая «историческая философія», по мнѣнію автора, характерна для конца прошлаго столѣтія. «Французскіе матеріалисты XVIII столѣтія, послѣдователи Вольтера и Руссо, экономисты школы Смита, философы и юристы школы Бентама, наконецъ, сами дѣятели революціи,—всѣ эти столь различные по своимъ цѣлямъ и стремленіямъ люди сходились въ томъ, что мысль, разумъ они ставили впереди чувства. Можно сказать, что чувство они совсѣмъ игнорировали». Точно также и «утописты XIX вѣка, Овенъ, Сенъ-Симонъ, Фурье, были полны наивной вѣры во всемогущество идеи». «Подобныя же воззрѣнія долгое время пользовались неограниченнымъ кредитомъ и у насъ. Припомнимъ столь популярное у насъ ученіе о роли «критически мыслящей личности» въ историческомъ процессѣ».

Это—весьма даже мало сокращенное изложеніе экскурсіи г. Тугана-Барановскаго въ область литературы занимающаго его вопроса, и во всякомъ случаѣ здѣсь не пропущенъ ни одинъ изъ фактовъ этой литературы, привлекшихъ къ себѣ его вниманіе. Просматривая эти факты, вы невольно изумляетесь, не встрѣчая среди нихъ нѣкоторыхъ очень крупныхъ явленій, быть можетъ наиболѣе крупныхъ въ данной области. Въ самомъ дѣлѣ, почему въ спискѣ писателей и мыслителей, заблуждающихся насчетъ роли «развитія человѣческаго ума и распространенія просвѣщенія», нѣтъ Ог. Конта, Дж. Ст. Милля, Бокля? Съ высоты величія, на которой стоитъ нашъ авторъ, эти люди можетъ быть и заслуживаютъ презрительнаго умолчанія, но съ этой высоты равно презрѣнны и Вольтеръ, и Руссо

и проч., однако онъ соблаговолилъ объ нихъ упомянуть. Между тѣмъ, для насъ, обыкновенныхъ читателей, означенные три мыслителя представляютъ особенный интересъ. Во-первыхъ, они къ намъ ближе по времени и пользуются у насъ значительною популярностью; во вторыхъ, они высказались по вопросу о значеніи идей и знанія, какъ историческаго фактора, такъ сказать, спеціально, и притомъ съ не оставляющею никакимъ сомнѣніямъ мѣста ясностью и опредѣленностью. Было бы слишкомъ долго, да и не входитъ въ мои цѣли, излагать эти взгляды въ подробности, но въ «Системѣ логики» Милля есть посвященная занимающей насъ темѣ страничка, которая, помимо своего общаго интереса, пригодится намъ впослѣдстіи для нѣкоторыхъ частныхъ замѣчаній. Я ее выпишу.

«Въ трудномъ пріемѣ наблюденія и сравненія... мы, очевидно, получили бы большую помощь, если бы оказалось фактомъ, что который либо изъ элементовъ сложнаго существованія общественнаго человѣка господствуетъ надъ всѣми другими, какъ primus agens соціальнаго движенія. Въ такомъ случаѣ мы могли бы взять прогрессъ одного этого элемента за центральную цѣпь, съ каждымъ послѣдовательнымъ звеномъ которой соединяются соотвѣтствующія звенья всѣхъ другихъ прогрессій, такъ что послѣдовательность фактовъ, уже въ силу одного этого, являлась бы въ видѣ самобытнаго порядка, гораздо ближе подходящаго къ дѣйствительному порядку ихъ зависимости, чѣмъ получаемый какимъ бы то ни было другимъ чисто эмпирическимъ процессомъ. Но свидѣтельство исторіи и свидѣтельство человѣческой природы, представляя здѣсь разительный примѣръ согласія, показываютъ, что дѣйствительно есть соціальный элементъ, имѣющій перевѣсъ и почти господство между силами общественнаго прогресса. Этотъ элементъ—состояніе умозрительныхъ способностей людей, со включеніемъ свойства вѣрованій, которыхъ они какимъ бы то ни было способомъ достигли относительно себя самихъ и окружающаго міра. — Было бы большою ошибкою, которую едва-ли кто сдѣлаетъ, утверждать, что умозрѣніе, умственная дѣятельность, изслѣдованіе истины принадлежитъ къ самымъ могущественнымъ склонностямъ человѣческой природы или занимаетъ господствующее мѣсто въ жизни недѣлимыхъ, кромѣ нѣкоторыхъ, вполнѣ исключительныхъ. Но несмотря на относительную слабость этого принципа между другими общественными силами, вліяніе его есть главная опредѣляющая причина общественнаго прогресса, такъ какъ всѣ другія настроенія нашей природы, содѣйствующія прогрессу, зависятъ отъ него въ средствахъ исполненія своей доли вліянія. Такимъ образомъ... побудительная сила къ большей части улучшеній въ жизненныхъ

искусствахъ есть желаніе увеличить матеріальный комфортъ; но такъ какъ мы можемъ дѣйствовать на внѣшніе предметы только по мѣрѣ нашего знанія ихъ, то состояніе познаній въ каждое данное время есть предѣлъ промышленныхъ улучшеній, возможныхъ въ это время; и прогрессъ промышленности долженъ слѣдовать прогрессу знаній и зависѣть отъ него. Можно показать, что то же самое справедливо, хотя не такъ очевидно, относительно прогресса изящныхъ искусствъ. Далѣе, такъ какъ сильнѣйшія склонности необразованной или полуобразованной человѣческой природы (т. е. чисто эгоистическія, а изъ симпатическихъ лишь тѣ, которыя наиболѣе подходятъ къ эгоизму), очевидно, сами по себѣ стремятся разъединить человѣчество, а не связать его, сдѣлать людей соперниками, а не союзниками, — то общественное существованіе возможно только посредствомъ дисциплинированія этихъ болѣе могущественныхъ склонностей, которое состоитъ въ подчиненіи ихъ общей системѣ мнѣній. Степень этого подчиненія есть мѣра полноты общественнаго союза, а свойство общихъ мнѣній опредѣляетъ его родъ. Но для того, чтобы человѣчество сообразовало свои дѣйствія съ извѣстнымъ родомъ мнѣній, эти мнѣнія должны существовать, должны быть имъ признаваемы. Такимъ образомъ, состояніе умозрительныхъ способностей, характеръ предложеній, признаваемыхъ умомъ, существеннымъ образомъ опредѣляетъ нравственное и политическое состояніе общества, такъ же, какъ оно опредѣляетъ и его физическое состояніе. Эти заключенія, выведенныя изъ законовъ человѣческой природы, находятся въ совершенномъ согласіи съ общими фактами исторіи. Каждое исторически извѣстное намъ значительное измѣненіе въ состояніи какой-нибудь части человѣчества, если оно не произведено внѣшнею силою, было предшествуемо соотвѣтствующимъ по размѣру измѣненіемъ въ состояніи знаній или въ господствующихъ вѣрованіяхъ. Всякое данное состояніе умозрѣнія почти всегда обнаруживалось раньше соотвѣтствующаго ему состоянія всѣхъ другихъ явленій, хотя дѣйствія безъ сомнѣнія сильно воздѣйствовали на причину. Каждое значительное преуспѣяніе въ вещественной цивилизаціи было предшествуемо успѣхомъ въ знаніяхъ; и когда происходила какая-нибудь великая общественная перемѣна, путемъ-ли постепеннаго развитія или быстраго переворота, предвѣстницею ея была великая перемѣна въ мнѣніяхъ и образѣ мыслей общества». (Система логики, II, 507. Ср. сужденія Милля о томъ же предметѣ въ статьѣ «Огюстъ Контъ и позитивизмъ»).

По соображеніямъ, изложеннымъ много лѣтъ тому назадъ, я не могу примкнуть къ тѣмъ основаніямъ философіи исторіи, которыя указаны въ приведенныхъ словахъ Милля. Но дѣло не во мнѣ;

а въ г. Туганѣ-Барановскомъ. Приведенная изъ «Системы логики» страница сама по себѣ была бы достойна его вниманія, и если прибавить къ ней труды Конта и Бокля, то получится во всякомъ случаѣ стройное, и въ логическомъ, и въ фактическомъ отношеніи не плохо защищенное ученіе, которымъ, повидимому, прежде всего надлежало бы заняться г. Тугану-Барановскому. Однако, онъ его даже хоть какимъ-нибудь бѣглымъ намекомъ не коснулся въ своей экскурсіи въ исторію литературы занимающаго его вопроса,—точно ничего этого не было: ни такой постановки вопроса, ни такой аргументаціи, ни фактическаго приложенія этой точки зрѣнія къ историческимъ даннымъ въ трудахъ крупныхъ и просвѣщенныхъ умовъ. Самоотверженно лишивъ себя такимъ образомъ блестящаго случая развернуть свои критическія силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою собственную точку зрѣнія выяснить, г. Туганъ-Барановскій предпочитаетъ остановиться на фразѣ Луи Блана: исторію движетъ «не сила, что бы ни говорила внѣшность, но мысль; исторія дѣлается книгами».

Луи Бланъ былъ очень умный человѣкъ съ благороднѣйшими стремленіями, трудолюбивый историкъ и блестящій писатель; но можетъ быть уже слишкомъ блестящій, въ томъ смыслѣ, что красивая своею цвѣтистостью или рѣзкою законченностью фраза нерѣдко вводила его въ искушеніе. Одна изъ такихъ «фразъ» и есть та, которую г. Туганъ-Барановскій избралъ исходною точкою для своей критики. Конечно, для человѣка, имѣющаго въ запасѣ такія возраженія, какъ «мало кто читаетъ серьезныя книги» и тому подобные, простите меня, пустяки, — эта фраза Луи Блана сущій кладъ. Но человѣкъ болѣе къ себѣ требовательный отмѣтитъ, пожалуй, фразу, какъ фразу, но затѣмъ устремитъ свое вниманіе на существо дѣла. И вотъ, еслибы нашъ авторъ поступалъ подобно этому требовательному человѣку, онъ увидѣлъ бы въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ Луи Блана весьма яркія черты того самаго философско-историческаго ученія, которое исповѣдуетъ онъ, г. Туганъ-Барановскій: истолкованіе если не всемірной исторіи, то отдѣльныхъ ея эпизодовъ борьбою классовъ, опредѣляемыхъ экономическими признаками. Я не хочу сказать, что Луи Бланъ былъ столь же одностороненъ и узокъ, какъ г. Туганъ-Барановскій, или что для послѣдняго обязательны всѣ подробности взглядовъ Луи Блана или его практическіе планы. Я говорю только, что г. Туганъ-Барановскій имѣетъ или, по крайней мѣрѣ, даетъ своимъ читателямъ извращенное, невѣрное понятіе о Луи Бланѣ, и что, ухватившись за одинъ клочокъ изъ сочиненій послѣдняго, онъ лишаетъ себя до извѣстной степени союзника по общему теоретическому вопросу о значеніи экономическаго фактора въ исторіи.

Что же это, однако, значитъ? Въ лицѣ Милля, Конта, Бокля г. Туганъ-Барановскій замалчиваетъ противниковъ, достойныхъ того, чтобы испытать на себѣ удары его проницательной критики, а въ лицѣ Луи Блана—превращаетъ союзника въ противника и тѣмъ создаетъ себѣ возможность получить очень дешевые лавры побѣдителя *). Можно сдѣлать разныя предположенія относительно причинъ такого страннаго поведенія г. Тугана. Можно подумать, напримѣръ, что имъ руководитъ именно желаніе стяжать возможно дешевые лавры,—но это какъ-то не идетъ къ нему: слишкомъ онъ простодушенъ и слишкомъ вѣритъ въ свой ключъ отъ всѣхъ ключей, чтобы намѣренно избѣгать турнира съ какимъ-то тамъ Миллемъ или Контомъ. Можно, далѣе, думать, что онъ просто не знаетъ того, о чемъ говоритъ,—но, хотя предметъ спеціальнаго изученія г. Тугана-Барановскаго, политическая экономія, не обязательно требуетъ знакомства съ историческими теоріями, однако, разъ онъ заговорилъ о послѣднихъ, притомъ такимъ авторитетнымъ тономъ, не хочется допустить, чтобы онъ не потрудился хотя ad hoc съ ними познакомиться.

А между тѣмъ, умолчаніемъ о Миллѣ, Контѣ, Боклѣ и операціей съ Луи Бланомъ не исчерпываются странности экскурсіи г. Тугана-Барановскаго въ литературу вопроса объ идеяхъ и знаніяхъ, какъ историческихъ факторахъ. Передъ нами еще удивительная куча изъ «французскихъ матеріалистовъ XVIII столѣтія, послѣдователей Вольтера и Руссо, экономистовъ школы Смита, философовъ и юристовъ школы Вентама, дѣятелей революціи», затѣмъ «утопистовъ XIX вѣка, Овена, Сенъ-Симона, Фурье». Всѣ эти люди, по мнѣнію г. Тугана-Барановскаго, «были полны наивной вѣры во всемогущество идеи»; въ ихъ писаніяхъ «важнѣйшимъ факторомъ исторіи является развитіе человѣческаго ума, распространеніе просвѣщенія въ народѣ; разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства, желанія, привычки, страсти человѣка признаются маловажнымъ элементомъ въ его жизни». «Можно сказать, что чувства они совсѣмъ игнорировали», говоритъ г. Туганъ-Барановскій.

---

*) Правда, г. Туганъ-Барановскій не воспользовался этою возможностью, ибо для того, чтобы опровергнуть вышеприведенную фразу Луи Блана, нѣтъ никакой надобности говорить объ томъ, что книги мало кто серьезно читаетъ; достаточно напомнить, что было время, когда книгъ не было вовсе, а исторія-то все-таки «двигалась». Если же авторъ хотѣлъ познакомить насъ съ дѣйствительными теоретическими взглядами Луи Блана на вліяніе книги, то ему надлежало обратиться къ главамъ «De la propriété litteraire» въ «Organisation du travail», а не къ случайной фразѣ въ «Исторіи революціи».

Это ужасно, читатель! истинно ужасно, если вы примите въ соображеніе, что имѣете дѣло съ человѣкомъ науки. Напоминать-ли ему—ну хоть слѣдующія слова Руссо въ «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité»: «Только дѣятельностью страстей совершенствуется нашъ разумъ; мы хотимъ знать только потому, что хотимъ наслаждаться, и невозможно понять, зачѣмъ сталъ бы умствовать тотъ, кто лишенъ желаній и опасеній». Напоминать-ли, что Смитъ написалъ «Теорію нравственныхъ чувствъ», что Бентамъ считалъ основнымъ двигателемъ человѣческой природы стремленіе къ наслажденію и боязнь страданія, что Фурье былъ авторомъ цѣлой теоріи страстей и т. д., и т. д., и т. д. Все это такъ элементарно и общеизвѣстно, что опровергать г. Тугана-Барановскаго просто стыдно. Но тѣмъ интереснѣе становится вопросъ о причинахъ, побудившихъ его столь размашисто отнестись къ чрезвычайно сложнымъ моментамъ исторіи мысли.

Нѣкоторый отдаленный, едва брежжущій свѣтъ можетъ бросить на это обстоятельство слѣдующее заявленіе г. Тугана-Барановскаго все о тѣхъ же вышеперечисленныхъ, такъ удивительно однообразно заблуждавшихся людяхъ. Для нихъ, по словамъ г. Тугана-Барановскаго, «сила человѣческой мысли и просвѣщенія такъ велика, что предъ нею не могутъ устоять предразсудки и предубѣжденія, порождаемые невѣжествомъ, и потому измѣненія соціальнаго строя происходятъ съ такою же легкостью, съ какою открываются новыя идеи».

Что тѣ предразсудки и предубѣжденія, которые порождаются невѣжествомъ, не могутъ устоять противъ силы просвѣщенія, это несомнѣнно, какъ таблица умноженія. Но дѣло въ томъ, что есть предразсудки, то есть предъ разсужденіемъ принятыя положенія, зависящія не отъ невѣжества или не отъ одного невѣжества. Что же касается легкости, съ какою могутъ происходить измѣненія соціальнаго строя, то, вообще говоря, конечно, мы, люди почти уже XX вѣка, смотримъ на вещи въ этомъ отношеніи трезвѣе, чѣмъ молодая, неопытная, только что вырвавшаяся на свободу мысль XVIII столѣтія. Надо, однако, замѣтить, что еслибы г. Туганъ взялъ на себя трудъ присмотрѣться къ взглядамъ писателей и мыслителей, сметенныхъ имъ въ одну кучу, то онъ увидѣлъ бы у различныхъ представителей этой кучи весьма большую разницу въ степени этой самой «легкости», такъ что иныхъ, пожалуй, даже не придется уличать въ ней. Да не этого, по всѣмъ видимостямъ, автору и надо. Заблужденіе поименованныхъ писателей и мыслителей, общее всѣмъ имъ, состоитъ, повидимому, не въ томъ, что они вѣрили въ легкость измѣненія соціальнаго строя, а въ томъ, что они вообще домогались этого измѣненія въ направленіи своихъ идеаловъ. Если, однако, это заблужденіе, то само по себѣ оно свойственно

всѣмъ людямъ, принимающимъ участіе въ общественной жизни (въ томъ числѣ и г. Тугану), хотя, разумѣется, они очень различаются между собою, какъ относительно качествъ своихъ идеаловъ, такъ и относительно мнѣнія о легкости приближенія къ нимъ. Въ этомъ смыслѣ г. Туганъ-Барановскій, конечно, правъ, ставя за одну скобку Смита и Фурье, Руссо и Бентама и проч., какъ былъ бы правъ я, ставя за ту же скобку, напримѣръ, г. Тугана, кн. Мещерскаго, самого себя, гр. Толстого и проч. Очевидно, однако, что это скобки ужъ слишкомъ широкія и при томъ отнюдь не совпадающія съ тѣми, за которыя г. Туганъ-Барановскій засадилъ Вольтера, Руссо, Смита, Бентама, дѣятелей революціи, утопистовъ и проч. Въ дѣйствительности эти люди разсчитывали не только на «всемогущество идеи», а и кто на медленныя законодательныя реформы, кто на насильственный переворотъ и устрашеніе, кто на силу нагляднаго примѣра и т. д. Если бы, напримѣръ, дѣятели революціи вѣрили во всемогущество идеи, въ томъ смыслѣ, какъ это понимаетъ нашъ авторъ, имъ не было бы никакой надобности рубить людямъ головы, этотъ очагъ идей. Это вѣдь ужъ ни въ какомъ случаѣ не «горячее слово убѣжденья», которое г. Туганъ-Барановскій въ своемъ чрезвычайномъ великолѣпіи такъ презираетъ.

Мы, кажется, поняли ту общую скобку, въ которую г. Туганъ-Барановскій заключаетъ самыя разнообразныя явленія, а вмѣстѣ поняли и совершенную ея несостоятельность. Но изъ помогшаго намъ въ этомъ дѣлѣ замѣчанія г. Тугана-Барановскаго мы можемъ извлечь и еще нѣчто поучительное. Отдавъ должную дань трезвенности автора, считающаго измѣненіе соціальнаго строя дѣломъ не легкимъ, нельзя не подивиться, что «открытіе новыхъ идей» представляется ему, напротивъ, очень легкимъ. Это чрезвычайно характерная черта. Кто интересовался историческимъ ходомъ развитія идей, тотъ знаетъ, какъ многотруденъ и многосложенъ ихъ путь. Говоря словами Мефистофеля,

> Wer kan was Dummes, wer was Kluges denken,
> Das nicht die Vorwelt schon gedacht?

И люди, дѣйствительно поработавшіе на поприщѣ мысли и внесшіе нѣчто новое въ ея сокровищницу,—въ большинствѣ случаевъ лишь новыя комбинаціи старыхъ истинъ или новые ихъ оттѣнки въ связи съ накопленіемъ фактическихъ знаній,—цѣнятъ не только это новое, но и тотъ страдный путь, которымъ преемственная человѣческая мысль доработалась до него. Другое дѣло господа, получавшіе свою истину даромъ, на вѣру. Имъ, конечно, «открытіе новыхъ идей» должно представляться легкимъ дѣломъ: они сами — живой примѣръ этой легкости, если не открытія, то усвоенія но-

выхъ идей. Представьте себѣ вѣками воздвигаемый храмъ человѣческой мысли и въ немъ гробницы почившихъ работниковъ храма. И вотъ эти господа.—

Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы!
Они предъ этими мужами
Не заливалися слезами,
Съ стыдомъ не потупляли взоръ...

Какой ужъ тутъ стыдъ! По собственнымъ надобностямъ они рѣдко въ храмъ заглядываютъ, — зачѣмъ? они имѣютъ въ своемъ распоряженіи новое, окончательное; а тамъ, въ храмѣ, нѣтъ ничего, кромѣ памятниковъ заблужденія, въ которыхъ и разбираться не стоитъ: все заблужденія и всѣ въ этомъ смыслѣ равны между собою. Но этого мало. Эти господа берутся быть нашими проводниками, путеводителями по храму: пойдемте, дескать, мы вамъ покажемъ, что люди до насъ врали; вотъ Милль, Контъ, Бокль, — мимо! не стоитъ! вотъ Луи Бланъ,—этотъ вотъ что сболтнулъ; вотъ цѣлый рядъ гробницъ въ даль уходитъ, — все одинъ чортъ, одного поля ягоды; а теперь довольно: посмотрѣли и будетъ, теперь на насъ смотрите, какіе мы умные и новые, съ иголочки...

Если г. Туганъ-Барановскій такъ величественно обходится съ литературой европейской, то можно себѣ заранѣе представить, какъ презрительно третируетъ онъ бѣдную скудную русскую литературу. Объ ней онъ упоминаетъ въ своей статьѣ дважды. Одинъ разъ онъ пристегиваетъ къ общему хору заблужденій «столь популярное у насъ ученіе о роли «критически мыслящей личности» въ историческомъ процессѣ» (стр. 105); въ другой разъ мимоходомъ презрительно упоминаетъ о «русскихъ субъективистахъ» (114). Оставимъ пока эти двѣ струи русской литературы въ покоѣ и посмотримъ, не было-ли въ ней еще чего-нибудь достойнаго вниманія г. Тугана-Барановскаго съ его собственной точки зрѣнія. Эта точка зрѣнія состоитъ, вообще говоря (въ подробности мы войдемъ ниже), въ преобладаніи экономическаго фактора въ исторіи и жизни. При этомъ г. Туганъ-Барановскій изображаетъ дѣло такъ, какъ будто этотъ экономическій факторъ былъ у насъ до «новѣйшаго» времени въ полномъ забросѣ и вообще только и было, что какая-то теорія «критически мыслящей личности», да какой-то «субъективизмъ», не имѣющіе никакого касательства къ экономическому фактору.

Ничего не можетъ быть ошибочнѣе такого представленія, естественно возникающаго у человѣка, незнакомаго съ дѣломъ и заим-

ствующаго свой свѣтъ отъ г. Тугана-Барановскаго. Не буду говорить о спеціальныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ, въ которыхъ прямо, безъ фразъ и предварительныхъ теоретическихъ подходовъ, изучались экономическія основы русской народной и государственной жизни. Приведу только слова В. И. Семевскаго во введеніи къ его работѣ «Крестьяне въ царствованіе императрицы Екатерины II» (1881 г.): «Изъ всѣхъ сторонъ внутренней жизни народа едва-ли не болѣе всего обращаетъ вниманіе современная исторіографія на исторію умственнаго развитія; трудъ Бокля служитъ самымъ талантливымъ выраженіемъ этого направленія. О важности этой стороны въ исторіи человѣчества нечего и говорить, о необходимости подробнѣйшаго ея изученія не можетъ быть и спора; но было бы крайнею односторонностью не видѣть такой же важности и другихъ сторонъ народной жизни, и прежде всего экономическаго положенія народа». Далѣе г. Семевскій замѣчаетъ, что такихъ изслѣдованій пока сравнительно еще мало, какъ у насъ, такъ и въ Европѣ. Но и я не хочу сказать, чтобы у насъ ихъ было много, я говорю только, что они есть. Напомню еще цѣлую огромную библіотеку статистическихъ работъ, созданную съ такимъ же трудолюбіемъ, какъ и горячимъ увлеченіемъ, находящимся въ тѣснѣйшей связи съ наиболѣе сильными теченіями нашей умственной жизни вообще,—это вѣское и непререкаемое свидѣтельство интереса къ вопросамъ экономической жизни народа и признанія значительности экономическаго фактора. Въ журналистикѣ, гдѣ издавна бьется главный пульсъ русской мысли, первенствующее значеніе экономическаго фактора было одно время ходячимъ словомъ. Я не имѣю времени рыться въ старыхъ журналахъ, но вотъ, напримѣръ, сочиненія Благосвѣтлова. Развертываю ихъ на стр. 119 и читаю: «Химія, физіологія, ботаника, исторія, философія, физика, анатомія, однимъ словомъ, всѣ отрасли умственной работы человѣка должны отвѣчать на запросы политической экономіи; потому что главной задачей ея служитъ человѣкъ и отношеніе его къ природѣ и обществу, а къ этой задачѣ, въ послѣднемъ результатѣ, стремится наше мышленіе по всѣмъ его направленіямъ и во всѣхъ видахъ». Это въ статьѣ «Политическая экономія для богатыхъ», напечатанной въ «Русскомъ Словѣ» въ 1860 г. Въ статьѣ «Политическіе предразсудки» (1863 г.): «Кто мыслитъ въ наше время, тотъ понимаетъ, что экономическая сторона въ народной дѣятельности занимаетъ первое мѣсто. Она рѣшаетъ задачу народнаго благосостоянія и руководитъ всѣми другими интересами нашей жизни». (Сочиненія, 147). Въ статьѣ «Историческая школа Бокля» (1863 г.): «Есть особый разрядъ мечтателей, очень умныхъ и благородныхъ, которые думаютъ, что всю общественную жизнь, всю систему ея нравствен-

ныхъ и политическихъ началъ можно перестроить съ помощью образованія. Когда народъ настолько разовьется, что въ состояніи будетъ убѣдиться въ нелѣпости своего положенія, тогда, по мнѣнію нашихъ доктринеровъ, онъ пойдетъ быстрыми шагами къ своему прогрессу... Бокль оставилъ въ тѣни множество любопытныхъ вопросовъ, прямо относящихся къ его предмету. Такъ, экономическое состояніе страны—столь капитальный дѣятель въ народной жизни, совершенно исчезаетъ изъ его кругозора... Признавая необходимость матеріальнаго довольства для развитія народнаго образованія, Бокль не представляетъ намъ удовлетворительнаго разрѣшенія этого вопроса при самомъ обзорѣ европейскихъ цивилизацій. Онъ зорко слѣдитъ за всѣми умственными движеніями народовъ, которыхъ онъ успѣлъ коснуться въ своемъ неоконченномъ сочиненіи, но нигдѣ не раскрываетъ взаимной связи, существующей между образованіемъ и экономическимъ бытомъ страны... Само собою разумѣется, что не одно богатство играетъ роль въ развитіи умственныхъ силъ народа; здѣсь много замѣшивается причинъ чисто политическихъ, направленныхъ дурными правительствами прямо къ тому, чтобы сдерживать образованіе для извѣстныхъ эгоистическихъ цѣлей, но эти причины—случайныя и большею частію совершенно безполезныя, такъ что соціальная задача все-таки остается преобладающею въ этомъ дѣлѣ». (Соч., 209, 210, 213—14).

Читатель, можетъ быть, претендуетъ на меня за вызовъ тѣни такого третьестепеннаго писателя 60-хъ годовъ, какъ Благосвѣтловъ. Но я остановился на немъ не случайно, а именно потому, что это былъ писатель третьестепенный, лишенный оригинальной мысли, но въ то же время властный и нетерпимый редакторъ-издатель очень распространеннаго и вліятельнаго журнала. Такіе люди лучше всего отражаютъ господствующее настроеніе умовъ извѣстной части общества, а моя цѣль не въ томъ состоитъ, чтобы представить какія-нибудь вѣскія доказательства первенствующаго значенія экономическаго фактора (это взялся сдѣлать г. Туганъ-Барановскій), а въ томъ, чтобы показать, что идея этого первенствующаго значенія не новость въ русской литературѣ, а была даже ходячей монетой.

Г. Туганъ-Барановскій можетъ замѣтить, что приведенныя мысли Благосвѣтлова отрывочны, не систематичны, не развиты, что въ сочиненіяхъ того же Благосвѣтлова найдутся мысли противорѣчивыя и т. д. Все это совершенно вѣрно, но нисколько не колеблетъ значенія Благосвѣтлова, какъ представителя ходячихъ мыслей. А затѣмъ я обращу ваше вниманіе на другого писателя, совершенно иного калибра, литературное развитіе котораго въ высокой

степени поучительно для г. Туганъ-Барановскаго. Я говорю о Ю. Г. Жуковскомъ.

Впервые г. Жуковскій появился на литературномъ поприщѣ въ 1859 г. въ сборникѣ «Весна». Онъ дебютировалъ тамъ повѣстью «Петербургскія ночи» и статьей «Общественныя отношенія Россіи съ точки зрѣнія исторической науки права». Повѣсть была скучна, растянута, не обнаруживала ни малѣйшихъ задатковъ художественнаго таланта, и г. Жуковскій уже болѣе не возвращался къ беллетристическимъ опытамъ. Другое дѣло статья: туманная и двусмысленная, она заключала, однако, въ себѣ зачатки всей дальнѣйшей литературной дѣятельности г. Жуковскаго. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Если общему глазу ясно изъ поворота дѣлъ на Западѣ, что политическія стремленія не удались континентальной Европѣ, то отсюда немного нужно, чтобы понять причину этой неудачи, лежавшую въ отсутствіи на соціальной почвѣ задатковъ, соотвѣтствовавшихъ этимъ стремленіямъ» («Весна», 254). А что, главнымъ образомъ, разумѣлъ авторъ подъ «*соціальною* почвой», видно изъ слѣдующихъ словъ: «Это одно *экономическое* условіе само по себѣ разрѣшаетъ уже весь особенный ходъ нравственнаго развитія отъ самыхъ зачатковъ его» (258). — Вскорѣ послѣ этого г. Жуковскій становится дѣятельнымъ сотрудникомъ «Современника», пріобрѣтая въ немъ все большее и большее значеніе, и наконецъ однимъ изъ главныхъ его руководителей. Первоначально г. Жуковскаго занимали вопросы юридическіе и политическіе, но затѣмъ очень быстро онъ отдался изученію политической экономіи и напечаталъ рядъ теоретическихъ статей, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательная и доселѣ достойная вниманія называется «Смитовское направленіе и позитивизмъ въ экономической наукѣ» («Современникъ», 1864, №№ 9—12). Не мѣшаетъ, можетъ быть, отмѣтить, что работу эту высоко цѣнилъ покойный Н. И. Зиберъ (См. предисловія къ книгѣ «Теорія цѣнности и капитала Д. Рикардо», 1871, и къ «Сочиненіямъ Давида Рикардо», 1882). Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Жуковскій продолжалъ разрабатывать ту общую мысль, зачатки которой мы нашли въ его первой статьѣ. И вотъ что читаемъ, напримѣръ, въ книжкѣ «Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка», изданной въ 1866 г., то есть ровно 30 лѣтъ тому назадъ (въ журналѣ статьи, составившія эту книжку, были напечатаны еще раньше—въ 1861 и 1862 гг.):

«Указать ближайшій рядъ явленій, въ которыхъ философія права могла обрѣсть дѣйствительное открытіе законовъ, по которымъ строится общество, и попасть на положительный и точный путь, въ сущности было не трудно. Рядъ ученыхъ изслѣдователей занимался давно разборомъ этихъ явленій, и съ начала текущаго

столѣтія начался особенно дѣятельный разборъ этихъ явленій въ примѣненіи къ общественнымъ отношеніямъ и общественной философіи. Явленія эти были *экономическія*. Послѣ этого юристамъ недоставало одного только слова, чтобы поставить свою науку на прочную положительную почву,—сознать, что почва права есть экономическая, что право есть результатъ экономическихъ условій и отношеній и опредѣляетъ въ послѣднемъ счетѣ ничто иное, какъ экономическія отношенія» (15). «Три теоретическіе элемента, три отвлеченныя начала представляются намъ опредѣляющими въ каждое данное время гражданское сознаніе общества: элементъ юридическій или права, элементъ политическій и элементъ экономическій... Разсуждая a priori надъ той связью, которая должна заключаться между этими тремя элементами, не трудно, конечно, придти къ тому совершенно вѣрному заключенію, что всѣ эти три элемента составляютъ только различныя формы, различныя положенія или видоизмѣненія въ сущности *одного* всего элемента или начала... То, что мы называемъ обыкновенно экономическимъ элементомъ, изучаемымъ политическою экономіею, есть экономическое начало, какъ принципъ, или экономическое начало въ его теоретической формѣ; то, что мы называемъ началомъ политическимъ, есть экономическое начало въ дѣйствіи, то, что мы называемъ правомъ, есть экономическое начало оформленное, введенное въ обязательный для всѣхъ положительный законъ... Такимъ образомъ экономическія требованія руководятъ политикой и правомъ, и достаточно принять это разъ въ общемъ смыслѣ, чтобы понять, что въ частности политическая дѣятельность лицъ и партій есть выраженіе экономическаго интереса этихъ лицъ и партій» (155—157).

Это уже не Благосвѣтловъ. Г. Жуковскій педантически послѣдовательно проводитъ свою точку зрѣнія въ обзорѣ «политическихъ и общественныхъ теорій XVI вѣка», а затѣмъ и въ другихъ своихъ трудахъ, въ особенности въ «Исторіи политической литературы XIX столѣтія» (1871 г.). Онъ не только систематически устанавливаетъ и развиваетъ извѣстную точку зрѣнія, а и прилагаетъ ее къ историческимъ фактамъ.

Г. Туганъ-Барановскій скажетъ, пожалуй, что не могъ же онъ въ небольшой журнальной статьѣ исчерпать всѣ теченія русской мысли. Дѣлая себѣ это возраженіе, я не могу, однако, признать его удовлетворительнымъ. Во-первыхъ, его дѣло было писать статью большую или небольшую. Во-вторыхъ, я отнюдь не требую исчерпывающаго изложенія всѣхъ теченій: это трудно сдѣлать и въ большой статьѣ, и въ цѣломъ рядѣ большихъ статей. Но меня поражаетъ странность пробѣловъ въ изложеніи г. Тугана-Барановскаго,

какъ относительно европейской, такъ и относительно русской литературы. Какъ бы, казалось, не помянуть, что вотъ, молъ, у насъ уже въ началѣ 60-хъ годовъ знали ту общую истину, которую г. Туганъ-Барановскій считаетъ столь значительною и «плодотворною»: истина (если она остается истиной, конечно), все равно какъ вино, отъ старости только крѣпчаетъ. Но многимъ въ наше странное время непремѣнно хочется быть провозвѣстниками самой, самой новой истины...

Я остановился на г. Жуковскомъ частію въ виду дальнѣйшей судьбы его писаній, о которыхъ сейчасъ скажу, а частію потому, что онъ упорнѣе и систематичнѣе другихъ проводилъ въ нашей литературѣ мысль о первенствующемъ значеніи экономическаго фактора въ исторіи. Но онъ не первый и не послѣдній стоялъ на этой точкѣ зрѣнія: мысль эта, можно сказать, не изсякала въ нашей литературѣ въ послѣднія тридцать, тридцать пять лѣтъ, такъ что пока рѣчь идетъ о значеніи экономическаго фактора вообще, безъ дальнѣйшихъ опредѣленій экономическаго матеріализма, неизвѣстно даже, съ кѣмъ воюетъ г. Туганъ.

Вотъ какъ онъ излагаетъ «столь популярное у насъ ученіе о роли критически-мыслящей личности въ историческомъ процессѣ»: «По этому взгляду прогрессъ въ исторіи совершается очень просто: критически-мыслящія личности, другими словами то, что называется интеллигенціей, вырабатываютъ общественные идеалы; чѣмъ болѣе возвышенны и гуманны эти идеалы, тѣмъ плодотворнѣе вліяніе интеллигенціи на народъ. Когда выработка идеала закончена, тогда начинается распространеніе его въ народной массѣ, и если идеалъ стоитъ этого, онъ мало по малу проникаетъ въ народное сознаніе, становится господствующимъ воззрѣніемъ и, наконецъ, достигаетъ своего объективнаго осуществленія, въ видѣ желаемаго преобразованія общественнаго строя. *При такомъ взглядѣ на исторію, задача историка очень упрощается; она сводится къ критической оцѣнкѣ идеаловъ*».

Подчеркнутыя слова формулируютъ собственное г. Тугана-Барановскаго соображеніе, отнюдь не обязательное для сторонниковъ изложенной имъ теоріи. Не обязательно, во-первыхъ, считать критическую оцѣнку идеаловъ «очень упрощенною задачей»: напротивъ, она есть дѣло очень не легкое. Не обязательно, далѣе, думать, что къ этой оцѣнкѣ сводится вся задача историка. Это даже изъ собственнаго изложенія г. Тугана-Барановскаго не слѣдуетъ: изъ него видно только, что критическая оцѣнка идеаловъ *входитъ въ составъ* общей задачи историка, состоящей въ изслѣдованіи и группировкѣ историческихъ фактовъ. И во всякомъ случаѣ ученіе о роли «критически мыслящей личности», даже въ томъ видѣ,

какъ оно изложено г. Туганомъ-Барановскимъ, вовсе не состоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ ученіемъ о важномъ и даже, пожалуй, первенствующемъ значеніи экономическаго фактора въ исторіи. Г. Бельтовъ, который, какъ я уже сказалъ, не смотря на всѣ свои безобразія, смотритъ на вещи много шире и жизненнѣе, чѣмъ г. Туганъ-Барановскій, знаетъ, что «психологія людей можетъ опережать формы ихъ общежитія». Происходитъ это такимъ образомъ, что «психологія видоизмѣняется въ направленіи тѣхъ отношеній производства, которыми замѣняются современемъ старыя, отживающія экономическія отношенія. Приспособленіе психологіи къ экономіи, какъ видите, продолжается, но медленная психологическая эволюція предшествуетъ экономической революціи» (Бельтовъ, 176). Теперь скажемъ такъ: критически мыслящая личность отдѣляетъ въ текущей дѣйствительности отживающее отъ нарождающагося, уловляетъ черты будущаго въ видѣ идеала и работаетъ для его торжества доступными ей средствами распространенія въ ожиданіи его объективнаго осуществленія. Что все это можетъ быть поставлено на экономическій фундаментъ,—ясно само собой; а что ученіе о роли критически-мыслящей личности вполнѣ совмѣстно съ убѣжденіемъ въ первенствующемъ значеніи экономическаго фактора въ исторіи,—тому косвеннымъ доказательствомъ можетъ служить живой примѣръ самого г. Тугана-Барановскаго. Въ самомъ дѣлѣ, его общественные идеалы намъ неизвѣстны, но идеалъ, такъ сказать, исторіографическій—на лицо: онъ состоитъ въ истолкованіи историческихъ фактовъ экономическими условіями. Г. Туганъ является намъ въ своей статьѣ историкомъ извѣстнаго круга идей. При этомъ его критическая мысль послѣдовательно отметаетъ одну за другою различныя историческія теоріи во имя пропагандируемаго имъ собственнаго идеала исторіографіи, и такъ какъ онъ естественно разсчитываетъ на успѣхъ своей пропаганды, то есть на торжество своего идеала, то мы имѣемъ полнѣйшее практическое примѣненіе или осуществленіе ученія о роли критически-мыслящей личности. Какъ онъ выполнилъ свою задачу, хорошо или не хорошо,—это другой вопросъ; я думаю—не хорошо, и именно потому не хорошо, что недостаточно изощрилъ и вообще подготовилъ свою критическую мысль, а затѣмъ потому еще, что согрѣшилъ тѣмъ самымъ грѣхомъ, въ которомъ напрасно уличаетъ ученіе о роли критически-мыслящей личности. Мы видѣли, въ чемъ состоитъ этотъ грѣхъ: «при такомъ взглядѣ на исторію, задача историка очень упрощается: она сводится къ критической оцѣнкѣ идеаловъ». Такъ «упрощенно» именно и понимаетъ г. Туганъ-Барановскій свою задачу: онъ критикуетъ Карлейлевскій идеалъ историческаго изслѣдованія, Луи Блановскій и т. д., тогда какъ ему надлежало не

только критиковать эти идеалы, а продѣлать съ ними еще нѣкоторую операцію, которая сама по себѣ не противорѣчитъ ученію о роли критически-мыслящей личности и прямо требуется собственною точкою зрѣнія г. Тугана-Барановскаго: ему надлежало привести критикуемые имъ идеалы исторіографіи въ связь съ данными экономическими условіями. И вотъ, если бы г. Туганъ-Барановскій сдѣлалъ это, то, смотря по тому, какъ выполнилъ бы онъ задачу,— обнаружилась бы дальнѣйшая совмѣстимость или несовмѣстимость его взглядовъ съ ученіемъ о роли критически-мыслящей личности.

Я съ большимъ почтеніемъ отношусь къ ученію о роли критически-мыслящей личности въ исторіи, но для меня лично перспектива историческихъ фактовъ располагается нѣсколько иначе; поэтому не pro domo sua хлопочу я, защищая означенное ученіе отъ нападковъ г. Тугана-Барановскаго, такъ сказать, собственной особой послѣдняго. Дѣло въ томъ, что очень различныя историческія теоріи могутъ, при извѣстныхъ условіяхъ, очень мирно уживаться рядомъ, не только не вступая въ страстную полемику между собою, но дружно работая для одной и той же цѣли. Полемизируя съ г. Туганомъ-Барановскимъ, я не думаю отрицать великое значеніе экономическаго фактора въ исторіи, — да оно и никогда не отрицалось въ русской литературѣ. Я утверждаю лишь, что г. Туганъ-Барановскій защищаетъ «значеніе экономическаго фактора» дурно: рубитъ съ плеча тамъ, гдѣ требуется тонкій анализъ, извращаетъ одни факты, закрываетъ глаза на другіе, учитъ незнанію. И все это зависитъ отъ того, во-первыхъ, что онъ недостаточно подготовился къ своей работѣ, просто повѣрилъ въ извѣстныя положенія, а не провѣрилъ ихъ; и еще отъ того, что придаетъ экономическому фактору метафизическій характеръ сущности историческаго процесса, характеръ той «самой жилы», въ которую можно попасть минуя «тамъ нервы эти разные».

Читатель благоволитъ перевернуть нѣсколько страницъ назадъ и перечитать выписку изъ «Системы логики» Дж. Ст. Милля. Принимая состояніе умовъ (количество и качество знаній, характеръ идей и вѣрованій) за primus agens, какъ онъ выражается, историческаго процесса, Милль вовсе не ищетъ «самой жилы» или сущности вещей,—онъ знаетъ, что эта сущность для человѣческаго ума не достижима. Онъ даже вполнѣ признаетъ «относительную слабость умственнаго фактора между другими общественными силами». Какъ мотиву человѣческой дѣятельности, онъ предоставляетъ первое мѣсто «желанію увеличить матеріальный комфортъ», но по такимъ-то и такимъ-то теоретическимъ и практическимъ соображеніямъ онъ считаетъ удобнымъ принять умственный элементъ за «центральную цѣпь, съ каждымъ послѣдовательнымъ звеномъ которой соединяются

соотвѣтствующія звенья всѣхъ другихъ прогрессій». Возможность ввести съ этой точки зрѣнія въ историческое изслѣдованіе всѣ общественные элементы основывается здѣсь не на вѣрѣ въ фантастическую «самую жилу», а на знаніи факта извѣстнаго consensus'а между всѣми элементами общественнаго цѣлаго. Въ силу этого consensus'а не только всѣ общественные элементы, но и всѣ измѣненія каждаго изъ нихъ находятся во взаимной зависимости. Милль представилъ соображенія, по которымъ онъ полагаетъ удобнымъ пріурочивать эту зависимость къ умственному фактору, но не считаетъ этотъ факторъ ни единственнымъ или исключительнымъ, ни даже наиболѣе могущественнымъ, тѣмъ болѣе не видитъ въ немъ «сущности историческаго процесса». Рядомъ съ историческимъ изслѣдованіемъ, написаннымъ по этому плану, ничто не мѣшаетъ существовать изслѣдованію, въ которомъ за primus agens принятъ экономическій факторъ. Оно, это второе изслѣдованіе, будетъ имѣть дѣло съ тою же взаимною зависимостью общественныхъ элементовъ. только расположитъ ихъ измѣненія около другой «центральной цѣпи». И, при прочихъ равныхъ условіяхъ, — при одинаковомъ уровнѣ знаній, одинаковой широтѣ взгляда, одинаковыхъ идеалахъ, то есть одинаковомъ пониманіи добра и зла,—два наши изслѣдователя нарисуютъ двѣ историческія картины, во всякомъ случаѣ не исключающія, а развѣ только дополняющія одна другую.

Но если такъ, то,—говоря опять словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ Гл. Успенскаго,—«по какому случаю шумъ?» Да вотъ именно по тому случаю, что для г. Тугана-Барановскаго экономическій факторъ есть не просто одинъ изъ общественныхъ элементовъ, представляющій съ извѣстной точки зрѣнія особенныя удобства для того, чтобы его принять за «центральную цѣпь» историческаго процесса, а «самый корень», «самая жила», самая сущность этого процесса. И такимъ образомъ вмѣсто научной постановки вопроса получается постановка метафизическая, со всѣмъ тѣмъ величественнымъ, но совершенно недостойнымъ человѣка науки презрѣніемъ къ міру явленій, которое свойственно всякой метафизикѣ. Изумительный эпизодъ съ Дарвиномъ и многое другое въ разбираемой статьѣ представляетъ собственную г. Тугана-Барановскаго грубость, но подобныя грубости свойственны даже очень крупнымъ умамъ, витающимъ въ метафизической атмосферѣ. (Въ январскомъ номерѣ «Міра Божія», въ статьѣ «Мозгъ и мысль» г. Челпановъ напомнилъ нѣсколько забавныхъ подходящихъ анекдотовъ о Гегелѣ). Разъ найдена «самая жила» и найденъ къ ней прямой доступъ помимо «этихъ тамъ нервовъ разныхъ»,—понятно, что эти «нервы разные» не дорогого стоятъ. Разъ найдена всеопредѣляющая и ничѣмъ не опредѣляемая сущность вещей,—съ самыми этими

вещами, явленіями можно и не церемониться: хочу съ кашей ѣмъ, хочу во щи лью. Тамъ именно и поступаетъ г. Туганъ-Барановскій.

Но—любопытный вопросъ — нельзя-ли проникнуть еще глубже въ поискахъ «самаго корня»? Это возвращаетъ насъ къ г. Жуковскому. Замѣчательный писатель этотъ не остановился на вышеприведенныхъ соображеніяхъ о значеніи экономическаго фактора. Онъ замѣтилъ, что сама наука, завѣдующая экономическими явленіями, стоитъ еще на шаткомъ основаніи, и предпринялъ реформу политической экономіи при помощи математическаго анализа. Предпріятіе это не привело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, да оно и никакой опредѣленной цѣли не имѣло, и хотя г. Жуковскій потратилъ на него не мало труда и времени, не представляетъ для насъ интереса. Затѣмъ, г. Жуковскій предпринялъ реформу всего обществознанія при помощи законовъ физики и механики. Онъ и здѣсь держится того мнѣнія, что «матеріальныя условія существованія являются первыми и главными опредѣлителями нравственнаго бытія человѣка» («Космосъ», 1869, № 1. «Законъ сохраненія силы въ примѣненіи къ нравственному быту». Статья эта не подписана, но затѣмъ она явилась, въ передѣланномъ видѣ, уже съ подписью г. Жуковскаго въ «Вѣстникѣ Европы» подъ заглавіемъ «Вопросъ народонаселенія»). Но г. Жуковскій задается вопросомъ, — что же такое эти самыя «матеріальныя условія существованія» и ставитъ дѣло на новую почву, или, если хотите, глубже взрываетъ почву для установки фундамента обществознанія. Обществознаніе или «нравственное знаніе», какъ предпочитаетъ выражаться г. Жуковскій, «изслѣдуетъ одну лишь опредѣленную часть общаго естественнаго кругового процесса, совершаемаго человѣческимъ типомъ, и нужно думать, что, какъ часть естественнаго процесса, эта часть должна быть такою же естественной, подчиненной въ своихъ частностяхъ тѣмъ же общимъ естественно-историческимъ законамъ, которые и опредѣляютъ тѣ основныя рамки, въ которыя поставлена дѣятельность человѣка по выполненію человѣчествомъ задачи, поставленной передъ нимъ. Эта задача опредѣляется двумя словами— постановка потенціальной силы окружающей насъ или вещества въ такія условія освобожденія силы, при которыхъ этими силами могъ бы воспользоваться нашъ организмъ для ихъ капитализаціи».

Мы не будемъ слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ мысли г. Жуковскаго. Для насъ достаточно того, что въ поискахъ «первичнаго фактора, не поддающагося дальнѣйшему разложенію» г. Жуковскій спустился глубже г. Тугана-Барановскаго, и онъ, конечно, правъ въ томъ смыслѣ, что общіе законы механики и физики обязательны для всего сущаго, въ томъ числѣ для явленій общественной жизни. Однако, можно-ли свести эти послѣднія къ законамъ механики и

физики, сталъ ли бы для насъ отъ этой операціи понятнѣе «нравственный бытъ» — это другой вопросъ; теоретически онъ разрѣшается довольно просто, но для практическаго его испытанія г. Жуковскій никакихъ матеріаловъ не далъ, такъ какъ лишь возвѣстилъ реформу, а затѣмъ, блеснувъ извѣстной статьей о Карлѣ Марксѣ, вскорѣ и совсѣмъ исчезъ съ литературнаго горизонта. Вернемся къ тому г. Жуковскому, какимъ онъ былъ до физико-механическихъ реформъ обществознанія.

Два обстоятельства заслуживаютъ здѣсь нашего вниманія.

Мы видѣли, что г. Жуковскій, указавъ три элемента, «опредѣляющихъ въ каждое данное время гражданское сознаніе общества»,— юридическій, политическій и экономическій,—считаетъ первенствующимъ послѣдній и въ немъ именно ищетъ субстрата историческаго процесса. Однако, тамъ же читаемъ: «Мы видимъ, согласно съ этими тремя элементами, три рода писателей: юристовъ, политиковъ и экономистовъ, одинаково разсуждающихъ объ обществѣ, въ теоретической и исторической его формѣ, но всѣ эти писатели одинаково забываютъ до сихъ поръ, что каждый изъ нихъ изучаетъ одну только произвольно отвлеченную сторону общества, которая можетъ быть обособлена въ видахъ удобства самаго изученія только условно и не имѣетъ реальной самостоятельности и, слѣдовательно, немыслима сама по себѣ, и имѣетъ этотъ смыслъ только въ общей связи съ другими». («Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка», 155). Впослѣдствіи, продолжая утверждать, что «человѣческое общество вообще, можетъ быть разсматриваемо, какъ обширное экономическое учрежденіе», г. Жуковскій считаетъ нужнымъ прибавить: «Разсуждая надъ обществомъ чисто теоретически, можно отвлекать одну сторону отъ другой, можно выставить на видъ выводы и требованія одной какой-либо стороны. Но было бы крайнимъ заблужденіемъ, какъ со стороны мыслителя, такъ и со стороны аудиторіи принимать такіе выводы и разсужденія за конечный выводъ — это выводъ только по одному элементу или одному члену, изъ которыхъ слагается общественный вопросъ. Дѣлать подобную ошибку было бы то же, что принимать въ математическомъ вычисленіи одинъ членъ за полную сумму. Между тѣмъ такая ошибка дѣлалась часто, какъ со стороны писателей, такъ и со стороны ихъ толкователей... Привычка принимать частные выводы чисто хозяйственнаго анализа за конечные выводы, не подлежащіе дальнѣйшему учету въ силу болѣе сложнаго характера самаго экономическаго вопроса и зависимости его отъ вопроса дисциплины *),

*) Подъ «вопросомъ дисциплины» г. Жуковскій, всегда до излишества своеобразный въ терминологіи, разумѣетъ «законодательные, административные и политическіе» элементы.

сдѣлалась за послѣднее время источникомъ весьма крайнихъ и прискорбныхъ недоразумѣній. И я имѣлъ несчастіе испытать на себѣ всю тягость этого общественнаго заблужденія и подвергся самымъ несообразнымъ инкриминаціямъ за то только, что думалъ излагать частные выводы экономическаго анализа, какъ выводы чисто частные и подлежащіе дальнѣйшему соглашенію съ другими элементами вопроса, ихъ видоизмѣняющаго. Для меня это видоизмѣненіе и зависимость чисто экономическихъ положеній разумѣлись сами собой» («Исторія политической литературы XIX столѣтія», 199, 200). «Самыя несообразныя инкриминаціи», на которыя здѣсь жалуется г. Жуковскій, исходили—не мѣшаетъ замѣтить - изъ извѣстнаго лагеря печати, а въ той литературѣ, которой обыкновенно усвоивается названіе литературы 60-хъ годовъ, г. Жуковскій былъ свой человѣкъ; онъ лишь систематичнѣе другихъ развивалъ и обосновывалъ мысль о великомъ значеніи экономическаго фактора. И читатель видитъ теперь, въ чемъ состоитъ разница между его пониманіемъ этого значенія и пониманіемъ г. Тугана-Барановскаго. Далеко-ли мы ушли въ дѣлѣ этого пониманія за 30—35 лѣтъ? и хорошо-ли, даже просто благоразумно-ли поступаютъ тѣ открыватели Америкъ, которые не хотятъ знать прошлаго своей родной литературы? А вѣдь въ этомъ прошломъ они могли бы найти себѣ — не смѣю сказать: учителей, ибо гдѣ же г. Тугану-Барановскому учиться! онъ самъ всякаго научитъ,—но, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени союзниковъ. Дѣло не въ великомъ значеніи экономическаго фактора,—оно несомнѣнно и никогда у насъ въ передовой литературѣ и не подвергалось сомнѣнію. Если г. Туганъ-Барановскій внесъ сюда поправки, дополненія, новыя фактическія изслѣдованія,—прекрасно; шагайте еще и еще впередъ, если можете, но это еще не резонъ торжествовать открытіе Америки и замалчивать прошлое, презрительно объявляя, что были тамъ какіе-то вздоры, едва достойные пинка перомъ. Дѣло, однако, въ томъ, что ни одинъ безпристрастный человѣкъ не признаетъ взгляды г. Тугана-Барановскаго шагомъ впередъ. 30—35 лѣтъ тому назадъ вопросъ о значеніи экономическаго фактора рѣшался на научной почвѣ,—на почвѣ относительнаго, условнаго знанія явленій; теперь онъ переносится на метафизическую почву безусловной, все собою опредѣляющей и ничѣмъ не опредѣляемой сущности историческаго процесса. Помимо того, что это не наука, а метафизика, въ этой сущности меркнутъ всѣ разноцвѣтныя грани явленій жизни и получается, вмѣсто обѣщаемаго лучшаго ихъ пониманія,—полная невозможность объяснить ихъ безъ грубѣйшихъ натяжекъ, какъ это мы видѣли на примѣрѣ Дарвина въ освѣщеніи г. Тугана-Барановскаго.

И еще разъ о г. Жуковскомъ. Какъ уже сказано, онъ въ началѣ своей дѣятельности особенно интересовался установленіемъ вопросовъ права, юриспруденціи на экономическій фундаментъ. И вотъ что, между прочимъ, читаемъ все въ той же книжкѣ «Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка» о философіи права: «Изъ мистической науки пустого понятія права она должна стать философіей нищеты и благосостоянія; а такъ какъ человѣческое благосостояніе есть прежде всего матеріальное благосостояніе и право опредѣляетъ только отношенія между людьми, при которыхъ совершается процессъ пріобрѣтенія достатка въ обществѣ—процессъ труда, то философія права сводится на изысканіе тѣхъ отношеній между людьми въ обществѣ, которыя соотвѣтствуютъ наибольшей успѣшности этого процесса» (стр. 15). Другими словами, г. Жуковскій ставитъ извѣстный идеалъ экономическихъ, а черезъ нихъ и правовыхъ отношеній, степенью приближенія къ которому для него измѣряется прогрессивное значеніе историческихъ явленій и который вмѣстѣ съ тѣмъ есть руководящее начало для дѣятельности въ настоящемъ. На этомъ пунктѣ мы опять естественно должны встрѣтиться съ разногласіемъ между г. Жуковскимъ и г. Туганомъ-Барановскимъ. Для послѣдняго экономическій факторъ есть не одинъ изъ общественныхъ элементовъ, умѣряемый и обусловливаемый всею совокупностью жизненныхъ явленій, а единая сущность историческаго процесса, самодержавно и непосредственно управляющая всѣмъ ходомъ событій до мельчайшихъ мелочей, въ родѣ выбора спеціальности тѣмъ или другимъ ученымъ. Ничьей власти эта сущность надъ собой не признаетъ, никакихъ ограниченій и воздѣйствій не терпитъ, а воздѣйствія на нее «критически-мыслящихъ личностей» во имя тѣхъ или другихъ идеаловъ—просто даже комическое предпріятіе. Смѣшна, въ частности, и задача г. Жуковскаго: «изысканіе тѣхъ отношеній между людьми въ обществѣ, которыя соотвѣтствуютъ наибольшей успѣшности процесса труда». Изыскивай—не изыскивай, а будетъ то, что будетъ, и именно то, что прикажетъ самодержавный экономическій факторъ. Вотъ Адамъ Смитъ тоже изыскивалъ, а что вышло?—Съ метафизической точки зрѣнія это очень послѣдовательное разсужденіе, но такъ какъ самодержавная и всемогущая сущность выражаетъ свою волю все-таки при посредствѣ людей, причемъ страннымъ образомъ внушаетъ имъ въ каждое данное время очень разнообразныя и даже противорѣчащія другъ другу мысли, чувства и поступки, то въ дѣйствительности никто приведеннаго весьма послѣдовательнаго разсужденія своимъ личнымъ примѣромъ не оправдываетъ. Такъ и г. Туганъ-Барановскій. Его общественныхъ идеаловъ, какъ уже сказано, мы не знаемъ, но его исторіографическій идеалъ, равно какъ и его

усилія провести этотъ идеалъ въ жизни, осуществить,—мы видѣли. Г. Бельтовъ, единомышленникъ г. Туганъ-Барановскаго, говоритъ прямо: «Матеріалисты-діалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно (даже совершенно исключительно!) идеалистической» (l. c. 234).

Посмотримъ нѣсколько ближе на пониманіе г. Туганъ-Барановскимъ самаго экономическаго фактора.

Подходитъ онъ къ этому дѣлу издалека. Устранивъ сначала великихъ людей, какъ двигателей исторіи, потомъ идеи, онъ останавливается на соціальной средѣ. Онъ говоритъ: «Какъ животное общественное, человѣкъ подвергается не только физическимъ вліяніямъ, но и вліянію всѣхъ другихъ людей, съ которыми онъ вступаетъ въ соприкосновеніе, вліянію ихъ нравовъ, обычаевъ, вѣрованій, политическихъ и общественныхъ учрежденій, наукъ и искусствъ, однимъ словомъ, всѣхъ тѣхъ соціальныхъ элементовъ, которые своею совокупностью составляютъ соціальную среду». Это, конечно, совершенно справедливо, и вы только удивляетесь, что въ числѣ «соціальныхъ элементовъ» не встрѣчаете въ этомъ перечнѣ элемента экономическаго. Но г. Туганъ-Барановскій именно потому, надо думать, и не ввелъ его въ «совокупность», что считаетъ его опредѣляющимъ всю эту совокупность. Онъ продолжаетъ: «Соціальная среда опредѣляется, прежде всего, хозяйственными отношеніями. Философія, наука и искусство, политическія учрежденія, обычаи народа—всѣ самыя возвышенныя проявленія человѣческаго духа имѣютъ свои корни въ условіяхъ хозяйства». Слѣдуютъ доказательства. Г. Туганъ-Барановскій предлагаетъ «отбросить всякія теоріи въ сторону и посмотрѣть кругомъ». Оказывается, что «прежде, чѣмъ наслаждаться искусствомъ и философствовать, нужно ѣсть». Тутъ нашему автору подвертываются стихи Шиллера на ту тему, что «природа поддерживаетъ все живое съ помощью голода и любви», а затѣмъ слѣдующее изреченіе Лестера Уорда: «Какой же философъ или вообще мыслящій человѣкъ можетъ не видѣть, что любовь, голодъ и вообще нужда поглощаетъ силы большей части человѣчества?» Это изреченіе г. Туганъ-Барановскій сопровождаетъ чрезвычайно страннымъ замѣчаніемъ: «русскіе субъективисты часто ссылаются на Лестера Уорда», а онъ, дескать, вотъ что говоритъ. Я называю это замѣчаніе страннымъ, потому что «русскіе субъективисты» поминаются здѣсь (стр. 114) въ первый (и въ послѣдній) разъ и выскакиваютъ ни съ того, ни съ сего. Очевидно, г. Туганъ-

Барановскій что-то противъ нихъ имѣетъ, но что именно — неизвѣстно; неизвѣстно даже, что онъ разумѣетъ подъ «русскими субъективистами». Боюсь, что-нибудь совершенно фантастическое и дѣйствительности не соотвѣтствующее, потому что я, напримѣръ, часто называемый субъективистомъ и не открещивающійся отъ этой клички, рѣшительно ничего не имѣю противъ мысли, заключающейся въ изреченіи Лестера Уорда. Мысль совершенно вѣрная, но совершенно непонятно, почему г. Туганъ-Барановскій приводитъ ее въ пику «русскимъ субъективистамъ». А вотъ комментаріевъ къ ней г. Тугана-Барановскаго я дѣйствительно одобрить не могу, но не въ качествѣ «субъективиста», а ни на одинъ шагъ не сходя съ объективной почвы.

Стихи Шиллера «выражаютъ несомнѣнную истину, съ которой трудно спорить», а изреченіе Лестера Уорда указываетъ на фактъ, который «дѣйствительно нельзя не видѣть». Такъ говоритъ г. Туганъ-Барановскій, но тутъ же прибавляетъ, что изъ «двухъ основныхъ факторовъ человѣческой жизни» онъ «признаетъ только одинъ—голодъ, творческой силой исторіи». И вотъ почему: «Любовь не толкаетъ насъ на борьбу съ природой, не требуетъ съ нашей стороны труда и усилій, не вызываетъ упорной и неутомимой работы ума. Удовлетвореніе чувства любви зависитъ не только отъ насъ самихъ, но и отъ воли другого человѣка, и никакія усилія съ нашей стороны не могутъ вызвать въ этомъ другомъ человѣкѣ чувства, если оно не возникаетъ само собой. Чувство любви одинаково удовлетворяется людьми, стоящими на самыхъ различныхъ ступеняхъ культуры и самыхъ различныхъ общественныхъ положеній. Это есть по преимуществу не историческій факторъ, и къ нему вполнѣ примѣнимо изреченіе: «ничто не ново подъ луною». Тысячу лѣтъ назадъ любили такъ же, какъ теперь, такъ же радовались, встрѣчая взаимность, такъ же страдали отъ неудачной любви. Въ этомъ отношеніи человѣчество почти не прогрессируетъ. Напротивъ, прогрессъ цивилизаціи можетъ вполнѣ измѣряться успѣхами матеріальной культуры».

Не знаю—чему больше удивляться въ этой тирадѣ: извращенію фактовъ или спутанности мысли. Изъ «двухъ основныхъ факторовъ человѣческой жизни» одинъ—голодъ г. Туганъ-Барановскій беретъ въ прямомъ, чисто физическомъ смыслѣ: «нужно ѣсть» (ниже онъ заявляетъ, что подъ голодомъ онъ разумѣетъ «всю совокупность нашихъ матеріальныхъ потребностей,—потребность въ пищѣ, одеждѣ, жилищѣ и пр.», но это не измѣняетъ дѣла), а любовь—съ высшими психическими осложненіями, —съ страданіями отъ неудачной любви и радостью взаимности. Что тысячу лѣтъ тому назадъ эти психическія осложненія существовали, да еще въ

томъ самомъ видѣ, какъ они существуютъ теперь,—это г. Туганъ-Барановскій говоритъ прямую, фактическую, «объективную» неправду, въ чемъ онъ можетъ убѣдиться, заглянувъ въ любую исторію культуры. Радость взаимности и горе нераздѣленной любви незнакомы были не только тѣмъ дикарямъ, которые при случаѣ съѣдали своихъ женъ, или нашимъ предкамъ, которые «умыкали» себѣ женъ, но и на гораздо болѣе позднихъ ступеняхъ культуры, когда жены покупались, какъ живой товаръ. Покупная любовь и нынѣ существуетъ въ разныхъ видахъ, такъ что никоимъ образомъ нельзя сказать, что «чувство любви одинаково удовлетворяется людьми, стоящими на самыхъ различныхъ ступеняхъ культуры и самыхъ различныхъ общественныхъ положеній». Это можно утверждать, лишь разумѣя любовь въ смыслѣ ея грубаго физіологическаго корня, но въ такомъ случаѣ и чувство голода удовлетворяется на всѣхъ ступеняхъ культуры и во всѣхъ общественныхъ положеніяхъ совершенно одинаково. Точно также невѣрно, фактически, «объективно» не вѣрно, что любовь «не требуетъ съ нашей стороны труда и усилій, не вызываетъ упорной и неутомимой работы ума». Достаточно указать на добрыя три четверти поэзіи и искусства вообще, прямо и непосредственно обязанныя своимъ происхожденіемъ исключительно чувству любви. Но и въ область «матеріальной культуры» любовь властно и именно творчески вторгается разными путями.

Считать всю матеріальную культуру продуктомъ голода, хотя бы съ присоединеніемъ къ нему потребности въ жилищѣ и одеждѣ,—значитъ впадать въ грубѣйшую ошибку и закрывать глаза на цѣлый рядъ несомнѣнныхъ фактовъ. Милль въ вышеприведенной цитатѣ изъ «Системы логики», отдавая экономическому фактору первенство въ смыслѣ вліятельности, выражается, однако, несравненно осторожнѣе г. Тугана-Барановскаго: «побудительная сила къ *большей части* улучшеній въ жизненныхъ искусствахъ есть желаніе увеличить *матеріальный комфортъ*», — замѣтьте: во-первыхъ, *большей части*, а не всѣхъ, и во-вторыхъ, не «голодъ», а *матеріальный комфортъ*. Разумѣется, значительная часть человѣчества именно голодомъ загнана въ то положеніе, въ которомъ она находится, но съ этой элементарной точки зрѣнія совершенно непонятна роль какихъ-нибудь Ротшильдовъ, которые, будучи вполнѣ обезпечены пищей, одеждой и жилищемъ, тѣмъ не менѣе, по выраженію пророка Исаіи, «прибавляютъ домъ къ дому, присоединяютъ поле къ полю, такъ что другимъ не остается мѣста». Да вѣдь и римская чернь, рядомъ съ «хлѣбомъ», требовала «зрѣлищъ». Хлѣбъ прекрасно удовлетворяетъ голодъ, но человѣкъ хочетъ ѣсть его съ масломъ. И если бы въ исторіи человѣчества дѣйствовалъ только голодъ, мы

не имѣли бы нашей цивилизаціи со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами, какъ не имѣютъ ея звѣри.

Кстати о звѣряхъ. Изслѣдованія Дарвина о половомъ подборѣ показали, что даже у нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ любовь, въ элементарной формѣ полового влеченія, вызываетъ извѣстныя явленія чисто эстетическаго характера. Рядомъ съ измѣненіями, имѣющими цѣлью устрашить или побѣдить соперника, складываются временныя или постоянныя измѣненія, долженствующія обратить вниманіе, плѣнить особъ другого пола. Это процессъ безсознательный и органическій. Въ человѣчествѣ онъ принимаетъ сознательный и культурный характеръ, и уже голый дикарь, татуируясь для устрашенія враговъ, втыкаетъ себѣ въ носъ какое-нибудь кольцо, разсчитывая понравиться дикаркѣ. Одинъ упоминаемый, но не называемый Дарвиномъ «англійскій философъ» полагаетъ даже, что одежда была первоначально придумана для украшенія, а не для тепла. Какъ ни странно можетъ показаться на первый взглядъ это мнѣніе, но оно имѣетъ за себя извѣстныя основанія, и во всякомъ случаѣ разныя краски, кольца, бусы, браслеты и тому подобные предметы «матеріальной культуры» появляются очень рано въ исторіи человѣчества, и притомъ совершенно независимо отъ «голода».

Обратите затѣмъ вниманіе на естественное послѣдствіе любви—дѣторожденіе, огромное значеніе котораго въ исторіи человѣчества едва-ли есть надобность подробно мотивировать. Безъ сомнѣнія, и оно испытываетъ на себѣ вліяніе экономическаго фактора: различныя экономическія условія то приказываютъ или разрѣшаютъ, то воспрещаютъ имѣть дѣтей. Но не говоря ужъ о томъ, что этихъ властныхъ запрещеній люди далеко не всегда слушаются, и любовь съ ея развѣтвленіями перевѣшиваетъ требованія экономики,—даже и въ случаяхъ повиновенія послѣднее осложняется иногда независимыми отъ экономическаго фактора мотивами. Такъ, Дарвинъ говоритъ: «Дикари находятъ слишкомъ труднымъ прокормить себя и дѣтей и, конечно, видятъ очень простой выходъ—въ убійствѣ новорожденныхъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, «нѣкоторые компетентные наблюдатели приписываютъ страшно распространенный обычай дѣтоубійства отчасти желанію женщинъ сохранить красоту». (Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Спб. 1872, стр. 404, 382). Объ томъ, какую роль этотъ послѣдній мотивъ, съ присоединеніемъ стыда незаконныхъ рожденій, играетъ въ обезпеченныхъ, экономически независимыхъ классахъ современной Европы, — распространяться нечего. Наконецъ, самъ Энгельсъ счелъ нужнымъ, въ своей извѣстной книгѣ о происхожденіи семьи, собственности и государства, рядомъ съ экономикой поставить, какъ историческій факторъ,—«производство самого человѣка, продолженіе рода». Правда,

Энгельсъ полагаетъ, что значеніе этого фактора съ теченіемъ исторіи убываетъ, слабѣетъ, но это все-таки не то, что утверждаетъ г. Туганъ-Барановскій: «любовь есть по преимуществу не историческій факторъ». Нѣтъ, очень историческій. И чтобы убѣдиться въ этомъ, нѣтъ даже надобности подниматься до древней греческой, римской и германской исторіи, остававшейся, по словамъ Энгельса, неясною до изслѣдованія Моргана о родовыхъ отношеніяхъ. Достаточно оглянуться кругомъ и отнестись, ну хоть къ институту наслѣдства, въ связи съ предписываемымъ нравами, обычаями и законами воспитаніемъ дѣтей, безъ того глубокомыслія, съ которымъ г. Туганъ-Барановскій отнесся къ Дарвину...

Я не хочу всѣмъ этимъ сказать, что половыя отношенія съ ихъ отростками — чувствомъ красоты (которое имѣетъ и другіе корни) и обязательствами кровнаго родства—являются единственными ограничителями вліянія экономическаго фактора въ исторіи. Г. Бельтовъ, занятый, подобно г. Тугану-Барановскому, неблагодарною задачею изысканія начала всѣхъ началъ, останавливается, между прочимъ, на Франклиновскомъ опредѣленіи человѣка, какъ «животнаго, дѣлающаго орудія». Заявивъ, что «употребленіе и производство орудій дѣйствительно составляетъ отличительную черту человѣка», г. Бельтовъ дѣлаетъ отсюда рядъ выводовъ во славу экономическаго фактора. Не входя въ оцѣнку этихъ выводовъ, замѣтимъ только, что можно вѣдь начать и съ другого начала всѣхъ началъ. Не отрицая опредѣленія Франклина, можно сказать, напримѣръ, что человѣкъ есть животное, владѣющее членораздѣльною рѣчью, и повести отсюда совсѣмъ другую историческую линію; но нѣтъ никакого резона ожидать, чтобы эти двѣ историческія линіи непремѣнно противорѣчили другъ другу. Безъ сомнѣнія, экономическій факторъ достаточно вліятеленъ для того, чтобы его можно было принять за «центральную цѣпь» историческаго процесса, но надо помнить, что это дѣлается лишь въ видахъ тѣхъ или другихъ удобствъ изслѣдованія, а не благодаря открытію «самой линіи», безусловнаго начала всѣхъ началъ; что звенья этой цѣпи обусловливаются, то какъ причина, то какъ слѣдствіе, другими историческими факторами. А затѣмъ нужно, конечно, поточнѣе выяснить себѣ — что такое этотъ «экономическій факторъ», какъ движущая сила исторіи. Г. Туганъ-Барановскій говоритъ: «голодъ», и это, конечно, во всѣхъ смыслахъ не точно и не вѣрно. «Голодъ», со включеніемъ потребности въ жилищѣ и одеждѣ, есть явленіе физіологическое, а не экономическое, и если ужъ г. Туганъ-Барановскій беретъ его за исходную точку, то долженъ бы былъ подниматься и выше по физіологической лѣстницѣ съ ея высшими психологическими ступенями, каждой изъ которыхъ соотвѣтствуетъ

чрезвычайно сложный комплексъ общественныхъ явленій. Несомнѣнно, что удовлетвореніе голода вызываетъ рядъ экономическихъ явленій, но если бы съ самаго начала исторіи человѣчества голодъ былъ единственною движущею силою, то исторія эта не далеко подвинулась бы: голодъ удовлетворяется и звѣрями, голодаютъ и растенія.

Поговоривъ о голодѣ, г. Туганъ-Барановскій вновь возвращается къ соціальной средѣ и замѣчаетъ, что она неоднородна и прежде всего экономически неоднородна. Оставляя въ сторонѣ первобытное общество (хотя и неизвѣстно, почему надо оставлять его въ сторонѣ, разъ рѣчь идетъ обо всемъ историческомъ процессѣ), мы, говоритъ нашъ авторъ, вездѣ встрѣчаемъ «одно основное дѣленіе общества— на богатыхъ и бѣдныхъ». Богатство и бѣдность суть явленія экономическія, и вотъ единовременное ихъ существованіе и составляетъ то основаніе, на которомъ строятся политика, юриспруденція, религія, наука, искусство. «На этомъ основномъ общественномъ неравенствѣ создаются и общественные классы». Г. Туганъ-Барановскій тутъ же, однако, замѣчаетъ, что «на низшихъ ступеняхъ культуры съ этимъ различіемъ соединяется различіе въ политическихъ и гражданскихъ правахъ», а «въ современныхъ государствахъ политическія и гражданскія права богатыхъ и бѣдныхъ уравниваются, но экономическое неравенство не исчезаетъ». Иначе говоря, экономическое основаніе, «фундаментъ», остается неизмѣннымъ, тогда какъ безусловно отъ него зависящія явленія юридическія и политическія измѣняются... Должно быть они еще отъ чего-нибудь другого зависятъ? Но г. Туганъ-Барановскій не останавливается на этомъ вопросѣ и продолжаетъ свое изслѣдованіе. Общество состоитъ не изъ двухъ только классовъ,—богатыхъ и бѣдныхъ. «Въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ нихъ существуетъ. Такъ, капиталистическая организація хозяйства предполагаетъ три основныя формы дохода — ренту, прибыль и заработную плату. Но не нужно забывать, что ни въ одной странѣ капитализмъ не достигъ еще полнаго господства, и на ряду съ крупными капиталистическими предпріятіями повсюду еще сохраняются многочисленныя мелкія предпріятія, основанныя на личномъ трудѣ хозяевъ; особенно распространены такія предпріятія въ земледѣліи. Поэтому, большинство современныхъ обществъ распадаются по крайней мѣрѣ на 5 классовъ: крупныхъ землевладѣльцевъ (рента), крупныхъ предпринимателей (прибыль), рабочихъ (заработная плата), ремесленниковъ, лавочниковъ, вообще мелкихъ самостоятельныхъ хозяевъ (смѣшанный доходъ, состоящій изъ прибыли и заработной платы) и крестьянъ (смѣшанный доходъ изъ ренты, прибыли и рабочей платы)».

Остановимся на минуту. Позволимъ себѣ замѣтить г. Тугану-

Барановскому, что ему, какъ спеціалисту, подобаетъ выражаться точнѣе. Не «капиталистическая организація хозяйства предполагаетъ три основныя формы дохода» (она «предполагаетъ» лишь ихъ раздѣльное существованіе), а наука знаетъ только эти формы, и на сколько бы классовъ общество ни дробилось, въ немъ все-таки будетъ только три формы дохода въ различныхъ сочетаніяхъ, что уже изъ изложенія самого г. Тугана-Барановскаго видно: классовъ у него «по крайней мѣрѣ» пять, а видовъ дохода все-таки только три. Ихъ останется три и въ томъ случаѣ, если мы прибавимъ къ пяти перечисленнымъ еще такъ называемые непроизводительные классы—профессоровъ, врачей, писателей, администраторовъ, политическихъ, судебныхъ дѣятелей. Политическая экономія ими не занимается, такъ какъ они не производятъ матеріальныхъ цѣнностей, но тѣмъ не менѣе они существуютъ и свою долю разнородности въ соціальную среду вносятъ. Нѣкоторые изъ нихъ складываются въ совершенно опредѣленные классы съ ясно выраженными классовыми интересами и опредѣленнымъ классовымъ вліяніемъ на ходъ событій,—таковы были жрецы,—но доходы ихъ все-таки не имѣютъ какого-нибудь особливаго характера, не вмѣщающагося въ рамки трехъ «основныхъ формъ». Есть у насъ, правда, названія «жалованье», «гонораръ», «руга», но имя вещи не мѣняетъ, и это все та же заработная плата.

Такимъ образомъ, нѣтъ никакого основанія утверждать, что «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ немъ существуетъ». А между тѣмъ г. Туганъ-Барановскій такъ доволенъ своимъ вышеприведеннымъ разсужденіемъ, что, сдѣлавъ нѣкоторую экскурсію въ сторону психики представителей различныхъ классовъ, рѣшительно подводитъ итогъ какимъ-то будто бы прочно установленнымъ слагаемымъ: «*Итакъ*, раздѣленіе народа на классы основывается на неравенствѣ распредѣленія народнаго дохода». Безъ сомнѣнія, неравенство въ распредѣленіи народнаго дохода сильно вліяетъ на образованіе классовъ, хотя бываетъ и такъ, что образованіе классовъ ведетъ за собой неравенство распредѣленія. Но дѣло теперь не въ этомъ, а въ томъ – откуда взялось «итакъ» г. Тугана-Барановскаго? Ничто въ предъидущемъ не оправдываетъ этого категорическаго «итакъ». А г. Туганъ-Барановскій продолжаетъ: «Чѣмъ же опредѣляется это распредѣленіе? Ничѣмъ инымъ какъ способомъ производства и обмѣна». Тутъ и сказкѣ конецъ.

Насъ давно уже ждетъ Адамъ Смитъ, идеи котораго, хотя и оказали большое вліяніе, но противоположное тому, на которое, онъ самъ разсчитывалъ. «На сторонѣ Смита оказались фабриканты и

торговцы, а противъ ученія Смита боролись рабочіе; и будущее вполнѣ оправдало такое неожиданное для творца экономической науки распредѣленіе ролей на исторической сценѣ. Царство свободы далеко не принесло народной массѣ тѣхъ благъ, которыхъ ожидалъ Смитъ. Гуманные и широкіе идеалы Смита нашли себѣ неожиданное выраженіе въ узко-эгоистическихъ интересахъ того общественнаго класса, которому Смитъ менѣе всего сочувствовалъ». Положимъ, что «менѣе всего» Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ, но дѣло теперь не въ этомъ. Смитъ ошибался, извѣстнымъ образомъ оцѣнивая принципъ свободной конкурренціи, ожидая отъ нея извѣстныхъ послѣдствій. Что это значитъ и въ какомъ отношеніи это поучительно? Ошибки въ наукѣ дѣло довольно обыкновенное, истина рѣдко дается сразу, и можетъ быть даже г. Туганъ-Барановскій въ чемъ-нибудь ошибается. Согласитесь, что это возможно. Ошибки того рода, къ которому относится ошибка Смита, зависятъ или оттого, что еще нѣтъ достаточнаго количества фактовъ, необходимыхъ для рѣшенія задачи, или оттого, что факты есть, но изслѣдователь ихъ не досмотрѣлъ, или наконецъ оттого, что онъ сдѣлалъ логическій промахъ въ ихъ сопоставленіи. Всего этого надо, конечно, избѣгать, и если бы г. Туганъ-Барановскій привелъ этотъ примѣръ съ цѣлью внушить кому слѣдуетъ необходимую въ наукѣ осторожность выводовъ, то мы могли бы только сказать: о да, г. Туганъ-Барановскій, вы совершенно правы,—неосторожные, односторонніе, недостаточно провѣренные и обоснованные выводы могутъ имѣть очень печальныя послѣдствія, и прежде всего — врачу, исцѣлися самъ! Однако, очевидно, не для этой цѣли потревожилъ г. Туганъ-Барановскій тѣнь Адама Смита. Онъ хотѣлъ показать на немъ силу экономическаго фактора или, точнѣе, формъ производства и обмѣна. Эти формы выдвигали на первый планъ «капиталистическій классъ», въ пользу котораго исторія и перемолола на своей мельницѣ идеи Смита. Но вѣдь Смитъ просто ошибся въ разсчетѣ послѣдствій свободной конкурренціи, и если «экономическій факторъ» воспользовался ошибкой, то этимъ еще не обнаружилъ особеннаго могущества: Смитъ не намѣренно, а по ошибкѣ, но все-таки самъ отворилъ ворота, въ которыя и вошли «узко-эгоистическіе интересы того общественнаго класса, которому Смитъ менѣе всего сочувствовалъ». Или самая ошибка Смита была фатальна, неизбѣжна, и въ этомъ именно состоитъ поучительность его примѣра?

Сейчасъ мы постараемся найти у г. Туганъ-Барановскаго отвѣтъ на этотъ вопросъ, а теперь сдѣлаемъ одно маленькое фактическое замѣчаніе. «На сторонѣ Смита оказались фабриканты и торговцы, а противъ ученія Смита боролись рабочіе... Тѣмъ не менѣе учени-

ки Смита продолжали открывать вѣчные незыблемые законы народнаго хозяйства... Неудивительно, что фабриканты охотно признавали выводы экономистовъ неопровержимыми положеніями науки, но также понятно, что рабочіе съ этими выводами не соглашались. И рабочіе были правы, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ самыхъ талантливыхъ экономистовъ 80-хъ годовъ, Арнольдъ Тойнби. Въ своей книгѣ „Lectures on the industrial Revolution in England" онъ прямо заявляетъ, что «политическая экономія была преобразована рабочими классами».

Изъ всего этого читатель статьи г. Тугана-Барановскаго долженъ вывести такое заключеніе объ А. Смитѣ и его роли въ наукѣ: хорошій, благонамѣренный человѣкъ былъ этотъ «творецъ экономической науки», но всю его науку пришлось потомъ передѣлывать, что и исполнено рабочими... Г. Тугану-Барановскому, какъ спеціалисту по политической экономіи, должно быть извѣстно, что это совершенно невѣрно. Не буду говорить о томъ, насколько Смитъ способствовалъ выясненію «значенія экономическаго фактора въ исторіи», но напомню трудовую теорію цѣнности, начало которой положено Ад. Смитомъ, съ которою рабочимъ не приходилось «бороться», которую, если кто и старался «передѣлать», то ужъ, конечно, не рабочіе или ихъ защитники, и которая, наконецъ, въ дополненномъ и развитомъ видѣ составляетъ прочное достояніе науки. Умолчавъ объ этой сторонѣ дѣла, г. Туганъ-Барановскій даетъ своимъ читателямъ вполнѣ извращенное понятіе объ исторической роли «творца экономической науки».

Вернемся къ своему вопросу: не въ томъ-ли отношеніи поучителенъ примѣръ Ад. Смита, что его ошибка была фатально неизбѣжна? Не совсѣмъ такъ, но въ этомъ родѣ. Конечно, все, что совершилось, должно было совершиться: крупныя и мелкія причины такъ сложились, что иначе и не могло быть. Но отсюда никакого поученія не выжмешь. А поучительно вотъ что: «Все это показываетъ, какимъ образомъ возникаютъ идеи въ исторіи и какъ онѣ дѣйствуютъ на общество. Въ идеальной оболочкѣ всегда скрывается очень грубое матеріальное содержаніе, котораго лицо, пустившее ихъ въ ходъ, нерѣдко совсѣмъ и не подозрѣваетъ. Идеи Адама Смита послужили прежде всего на пользу буржуазіи, а самъ Смитъ мечталъ о благѣ рабочихъ. Для того, чтобы идея подѣйствовала, сдѣлалась господствующимъ воззрѣніемъ въ обществѣ и дѣйствительно могущественнымъ историческимъ факторомъ, необходимо, чтобы она соотвѣтствовала нуждамъ и потребностямъ данной эпохи». А эти послѣднія, какъ мы знаемъ, опредѣляются формами производства и обмѣна.

Разсмотримъ внимательно это разсужденіе. Изъ него прежде всего видно, что «въ исторіи возникаютъ» два рода идей: однѣ

соотвѣтствуютъ даннымъ формамъ производства и обмѣна, другія имъ не соотвѣтствуютъ. Не будемъ приставать къ г. Тугану-Барановскому съ вопросомъ: какъ могутъ, какъ смѣютъ «возникать» эти несоотвѣтствующія идеи? Рѣшимъ этотъ вопросъ за него, и притомъ во славу экономическаго фактора: пусть нѣкоторыя изъ этихъ несоотвѣтствующихъ идей представляютъ отраженіе отжившихъ или отживающихъ формъ производства, а другія—такое же отраженіе формъ грядущихъ, зарождающихся, но не созрѣвшихъ. Какъ бы то ни было, идеи Ад. Смита,—т. е. собственно та часть этихъ идей, которую счелъ нужнымъ выдвинуть г. Туганъ-Барановскій въ ущербъ общей научной физіономіи Смита,—соотвѣтствовали господствующимъ формамъ производства, которыя благопріятствовали «узко-эгоистическимъ интересамъ» одного общественнаго класса. И хотя самъ Смитъ этого и не сознавалъ, но только въ силу этого соотвѣтствія его воззрѣнія и стали «дѣйствительно могущественнымъ историческимъ факторомъ». А вотъ его «сочувствіе рабочимъ» не соотвѣтствовало,—ну, оно и пропало даромъ, хотя оно, это сочувствіе, не могло не быть одною изъ подробностей идейной надстройки надъ все опредѣляющимъ экономическимъ фундаментомъ.

Smith's views were used by capitalist in spite of his interest in welfare of workers

Таковъ урокъ. Какъ имъ воспользоваться? Каждый изъ насъ, дѣйствующихъ даже на скромномъ литературномъ поприщѣ—скажемъ, г. Туганъ-Барановскій - естественно желалъ бы избѣжать сюрпризовъ, подобныхъ тому, который поднесъ Ад. Смиту историческій ходъ вещей. Онъ хотѣлъ бы, чтобы его идеи были, ну хоть не могущественнымъ историческимъ факторомъ, но все-таки внесли бы въ историческій процессъ свою каплю меду, свою лепту вдовицы и притомъ вполнѣ сознательно. Повидимому, дѣло очень просто: нащупай «самую жилу» и уже затѣмъ плыви по теченію. Плыть по теченію, конечно, очень легко, и для этого вовсе не требуется быть «могущественнымъ», но нащупать «самую жилу»... Можно вѣдь и промахнуться. Смитъ даже не самой жилы искалъ, да и то промахнулся. Допустимъ, однако, что г. Туганъ-Барановскій, будучи проницательнѣе и осторожнѣе Смита, на его мѣстѣ не сдѣлалъ бы промаха и сознательно поплылъ бы по тому теченію, въ которое «творецъ экономической науки» попалъ безсознательно, то есть не по ошибкѣ служилъ бы «узко-эгоистическимъ интересамъ» одного общественнаго класса. Многіе съ успѣхомъ этимъ занимались и занимаются, но отъ большинства ихъ г. Туганъ-Барановскій отличался бы сознаніемъ, что онъ въ точности исполняетъ велѣнія единосущнаго фактора исторіи. Завидное положеніе! Оно оказалось бы, однако, далеко не столь завиднымъ, если бы г. Туганъ-Барановскій, превзойдя Смита въ проницательности, въ

may wish, his views believe but not be deceived as was Smith

то же время сохранилъ его «сочувствіе» къ тѣмъ, кого давило колесо исторіи, руководимое «узко-эгоистическими интересами». Смитъ (я все говорю не о настоящемъ Смитѣ, а о Смитѣ г. Тугана-Барановскаго) былъ счастливъ въ своей безсознательности, потому что его сознаніе и его сочувствіе не были въ противорѣчіи. Г. же Туганъ-Барановскій, при вышеозначенныхъ условіяхъ, очутился бы въ положеніи по истинѣ трагическомъ. И гдѣ же искать выхода?

О, конечно, въ наукѣ! Она—свѣтлая, безстрастная, неподкупная—просвѣтитъ и успокоитъ. Она докажетъ необходимость необходимаго, убѣдитъ, что гибнутъ лишь подлежащіе гибели, и пожалуй еще въ утѣшеніе прибавитъ, что на костяхъ погибшихъ можетъ расцвѣсть высшее благополучіе. И мы должны смиренно выслушать рѣшеніе науки, ибо—это-то г. Туганъ-Барановскій твердо знаетъ и съ чрезвычайною гордостью заявляетъ—«наука ни передъ чѣмъ не преклоняется»!..

Какъ ни передъ чѣмъ не преклоняется, когда намъ только-что сообщили, что въ ней «всегда скрывается грубое матеріальное содержаніе», что она сознательно или безсознательно преклонялась передъ торговцами и фабрикантами, а потомъ передъ рабочими?! Если правда, что рабочіе съ успѣхомъ боролись съ наукой Адама Смита, то почему нельзя ожидать успѣха борьбы съ наукой г. Тугана-Барановскаго?

Наука г. Тугана-Барановскаго!..

Я кончилъ о г. Туганѣ-Барановскомъ, но въ заключеніе мнѣ хочется привести образчикъ того, какъ у насъ иные просто справляются съ тѣмъ трагическимъ положеніемъ, въ которое я гипотетически поставилъ автора статьи «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи».

Въ № 14 казанской газеты «Волжскій Вѣстникъ» напечатана статья г. Вл. Тр. о Пермскомъ кустарно-промышленномъ банкѣ. На основаніи отчета банка за 1894 г. авторъ доказываетъ, что банкъ не достигаетъ предполагаемыхъ имъ цѣлей, и въ заключеніе пишетъ:

«Такое положеніе вещей является яркой иллюстраціей того, какъ идеи и цѣли и стремленія личностей, направленныя противъ капитализма, жизнь поворачиваетъ по своему, какъ капиталъ заставляетъ всѣхъ покоряться законамъ историческаго развитія, дѣйствовать чрезъ эти законы, пользуясь ими, посредствомъ ихъ, какъ онъ заставляетъ всѣхъ сознательно или безсознательно служить ему. Въ настоящій историческій моментъ, моментъ накопленія капитала, всѣ наиболѣе вліятельныя теченія нашей обществен-

ной жизни, всѣ наиболѣе знаменательные факты въ сферѣ производства и обмѣна имѣютъ одинъ несомнѣнный и безспорный интересъ: они не только расчищаютъ дорогу капитализму, но и сами являются необходимыми и въ высшей степени важными моментами его развитія. Въ этомъ направленіи банку дѣйствительно предстоитъ блестящая будущность. Онъ дастъ возможность экономически крѣпкимъ кустарямъ улучшить свое производство, поднять его технику и повысить производительность: онъ явится факторомъ общественнаго раздѣленія труда или развитія капитализма, «съ которымъ тѣсно связанъ культурный прогрессъ Россіи» (П. Б. Струве. Критическія замѣтки и т. д.»).

Я не трону этой цитаты по существу и обращу ваше вниманіе на то, что статья г. Вл. Тр. открывается эпиграфомъ изъ «Мелочей жизни» Салтыкова:

«Идетъ чумазый, идетъ! Я не разъ говорилъ это и теперь повторяю: идетъ и даже уже пришелъ! Идетъ съ фальшивой мѣрой, съ фальшивымъ аршиномъ и неутолимой алчностью глотать, глотать, глотать... Интеллигенція наша ничего не противопоставитъ ему»...

Слова Щедрина въ этомъ эпиграфѣ оборваны: за ними слѣдуетъ еще «ибо», объясняющее, какъ именно смотрѣлъ на дѣло сатирикъ. Но все равно: вы видите, что то самое, что Щедринъ называлъ «фальшивой мѣрой, фальшивымъ аршиномъ и неутолимой алчностью глотать, глотать и глотать», можетъ при случаѣ оказаться «культурнымъ прогрессомъ Россіи». И авторъ вовсе не думаетъ смягчать щедринскія краски; нѣтъ: «фальшивая мѣра» и «культурный прогрессъ» едино суть...

XIII *).

Г-жа Гиппіусъ и „ступени къ новой красотѣ".

«Разными путями можно идти къ одной цѣли. Ваша дорога отлична отъ моей, оружіе, которымъ Вы боретесь—иное, но мы идемъ въ одну сторону, ведемъ одну войну. И Вы, и я окружены врагами, тѣмъ отраднѣе встрѣтиться друзьямъ. Духъ того, что Вы пишете, близокъ мнѣ, и я дарю Вамъ эту книгу—первыя ступени къ новой красотѣ, которая дорога намъ обоимъ».

Въ этихъ выраженіяхъ З. Н. Гиппіусъ (Мережковская) посвящаетъ А. Л. Волынскому собраніе своихъ разсказовъ, озаглавленное: «Новые люди».

Великое дѣло дружба, и даже отвергающій всѣ существующія общественныя узы Ницше говоритъ: «не любви къ ближнему учу я васъ, а любви къ другу; да будетъ для васъ другъ праздникомъ на землѣ и предчувствіемъ сверхъ-человѣка (Also sprach Zarathustra, 2-е изд., 85). Но цѣнность дружбы имѣетъ свои степени, смотря по источнику. Она можетъ исходить изъ смутныхъ инстинктивныхъ влеченій, изъ простой привычки и, наконецъ, изъ сознанія общности цѣлей. Эту послѣднюю, самую высокую степень и представляетъ печатно заявленная и, слѣдовательно, подлежащая печатному обсужденію дружба г-жи Гиппіусъ и г. Волынскаго. Собственно обсуждать тутъ, пожалуй, и нечего. Одно можно сказать: дай Богъ всякому. Но изъ заявленія г-жи Гиппіусъ мы можемъ все-таки извлечь нѣкоторую пользу. Конечно, не вся эта польза связана съ аффишированною г-жею Гиппіусъ дружбою, а относится и къ широкой области «познанія всякаго рода вещей». Мы узнаемъ, напримѣръ, что г-жа Гиппіусъ «окружена врагами» и, разумѣется, проникаемся сочувствіемъ къ ея трудному положенію. Шутка въ самомъ дѣлѣ сказать: окружена врагами! И за что?! Рѣчь идетъ,

*) Мартъ 1896.

конечно, не о какихъ-нибудь личныхъ врагахъ, не объ Сидорѣ Карпычѣ какомъ-нибудь или Дарьѣ Сидоровнѣ, до которыхъ читателю нѣтъ никакого дѣла, а о врагахъ на поприщѣ общественной дѣятельности. По всей вѣроятности, именно такого рода враговъ разумѣлъ даже Чичиковъ, когда говорилъ генералу Бетрищеву: «А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не съумѣютъ передать». Чичиковъ терпѣлъ «за правду». За что же терпитъ г-жа Гиппіусъ? Пишетъ она второго сорта безобидные разсказы, которые безпрепятственно печатаются въ разныхъ журналахъ, не вызывая большихъ восторговъ, но не вызывая и какихъ-нибудь яростныхъ нападеній. Такъ себѣ, въ числѣ прочихъ. Откуда же враги и зачѣмъ они окружили г-жу Гиппіусъ? Оказывается, однако, что она не простые заурядные разсказы пишетъ, а «ведетъ войну», и разсказы ея хотя дѣйствительно не совершенны, но только потому, что это еще «первыя ступени» къ «новой», доселѣ невиданной «красотѣ». Такимъ образомъ дѣятельность г-жи Гиппіусъ получаетъ новое и, согласитесь, неожиданное освѣщеніе. Сострадая горестному положенію г-жи Гиппіусъ, окруженной врагами, вы естественно сочувствуете и ея «отрадѣ» встрѣчи съ другомъ. Что касается этого друга, то и онъ окруженъ врагами, по свидѣтельству г-жи Гиппіусъ. Это уже не такъ неожиданно: критику и публицисту мудрено обойтись безъ враговъ, и г. Волынскій несомнѣнно «ведетъ войну». Но и друзьями онъ, повидимому, не бѣденъ. Я давно уже не читаю руководимаго г. Волынскимъ «Сѣвернаго Вѣстника»,—частію по чувству брезгливости, частію по убѣжденію, что потребное для этого время можно употребить съ большею пользою и удовольствіемъ. Но свѣдущій человѣкъ, бывшій редакторъ-издатель «Сѣвернаго Вѣстника», Б. Б. Глинскій разсказываетъ о г. Волынскомъ такое («Болѣзнь или реклама?» въ февральской книжкѣ «Историческаго Вѣстника»), что онъ является, напротивъ, окруженнымъ друзьями. Да вотъ и г-жа Гиппіусъ считаетъ нужнымъ публично заявить, что она другъ г. Волынскаго. Ну, а совсѣмъ безъ враговъ нельзя,—у кого же изъ насъ ихъ нѣтъ?

Всѣмъ этимъ я отнюдь не хочу смягчить трагизмъ положенія г-жи Гиппіусъ среди враговъ или умалить отраду ея встрѣчи съ другомъ. Я беру факты въ собственномъ ея освѣщеніи, и такъ какъ это освѣщеніе для меня,—да, полагаю, и не для одного меня,—совершенно ново и неожиданно, то пересмотримъ книжку г-жи Гиппіусъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ, не такъ бѣгло, какъ мы читали ея разсказы заурядъ съ другими въ журналахъ. Дѣло стоитъ труда, ибо мы узнаемъ въ результатѣ—съ кѣмъ и за что ведутъ войну г-жа Гиппіусъ и ея другъ, за что окружили ихъ

враги и въ чемъ состоитъ та невиданная доселѣ красота, которая дорога имъ обоимъ. При этомъ получится еще та выгода, что, благодаря заявленію г-жи Гиппіусъ, мы познакомимся и съ г. Волынскимъ, не марая рукъ объ него самого: они вѣдь идутъ къ одной цѣли.

Въ книжкѣ г-жи Гиппіусъ есть, кромѣ разсказовъ, еще стихотворенія. Ихъ счетомъ двѣнадцать. Остановимся хоть на двухъ.

ПѢСНЯ.

Окно мое высоко надъ землею,
Высоко надъ землею.
Я вижу только небо съ вечернею зарею,
Съ вечернею зарею.
И небо кажется пустымъ и блѣднымъ,
Такимъ пустымъ и блѣднымъ...
Оно не сжалится надъ сердцемъ бѣднымъ,
Надъ моимъ сердцемъ бѣднымъ.
Увы, въ печали безумной я умираю,
Я умираю.
Стремлюсь къ тому, чего я не знаю,
Не знаю...
И это желанье не знаю откуда
Пришло откуда.
Но сердце хочетъ и проситъ чуда,
Чуда!
О, пусть будетъ то, чего не бываетъ,
Никогда не бываетъ.
Мнѣ блѣдное небо чудесъ обѣщаетъ,
Оно обѣщаетъ—
Но плачу безъ слезъ о невѣрномъ обѣтѣ,
О невѣрномъ обѣтѣ...
Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ,
Чего нѣтъ на свѣтѣ!

Повидимому, содержаніе этого стихотворенія знакомо и старымъ поэтамъ, представителямъ и служителямъ старой красоты. Это—настроеніе безпредметной тоски, лишь осложненное у г-жи Гиппіусъ не то дѣтски, не то истерически-капризной нотой: «пусть будетъ то, чего не бываетъ, никогда не бываетъ; мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». А что касается формы... Нынѣ много такихъ стиховъ пишутъ, и нѣкоторые изъ нихъ звучатъ красиво, вѣрнѣе звучали, въ прошедшемъ времени, потому что разъ красота сводится къ чисто техническимъ пріемамъ, она выдыхается, превращаясь въ шаблонъ. А техника подобныхъ стиховъ очень проста: изгнаніе ритма съ сохраненіемъ риѳмы и повтореніе или усиленіе послѣднихъ словъ предъидущей строки. Это еще Смердяковъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» практиковалъ. Помните:

Непобѣдимой силой
Привержен я къ милой.
Господи помилуй
Ее и меня!
Ее и меня!

Или еще:

Сколько ни стараться,
Стану удаляться,
Жизнью наслаждаться
И въ столицѣ жить!
Не буду тужить.
Совсѣмъ не буду тужить,
Совсѣмъ даже не намѣренъ тужить!

Конечно, Смердяковъ—лакей, настоящій, душой лакей, а потому и мысли у него лакейскія, притомъ же онъ человѣкъ малограмотный, а г-жа Гиппіусъ одушевлена высокими чувствами и вполнѣ грамотна. Но я говорю только о томъ, чисто техническомъ пріемѣ, который, если даже онъ дѣйствительно входитъ въ составъ «новой красоты», то годится развѣ именно только для «первой ея ступени» и долженъ очень быстро выдохнуться и надоѣсть.

Возьмемъ другое стихотвореніе: «Цвѣты ночи».

О, ночному часу не вѣрьте!
Онъ исполненъ злой красоты.
Въ этотъ часъ люди близки къ смерти,
Только странно живы цвѣты.
Темны, теплы тихія стѣны,
И давно каминъ безъ огня,
И я жду отъ цвѣтовъ измѣны,
Ненавидятъ цвѣты меня.
Среди нихъ мнѣ жарко, тревожно,
Ароматъ ихъ душенъ и смѣлъ,
Но уйти отъ нихъ невозможно,
Но нельзя избѣжать ихъ стрѣлъ.
Свѣтъ вечерній лучи бросаетъ
Сквозь кровавый шелкъ на листы...
Тѣло нѣжное оживаетъ —
Пробудились злые цвѣты.
Съ ядовитаго арума мѣрно
Капли падаютъ на коверъ.
Все таинственно, все невѣрно —
И мнѣ тихій чудится споръ.
Шелестятъ, шевелятся, дышатъ,
Какъ враги за мною слѣдятъ,
Все, что думаю, знаютъ, слышатъ
И меня отравить хотятъ...
О, часу ночному не вѣрьте,
Берегитесь злой красоты!
Въ этотъ часъ всѣ мы близки къ смерти —
Только странно живы цвѣты.

Мнѣ кажется это лучшее произведеніе г-жи Гиппіусъ, и оно дѣйствительно очень хорошо, если видѣть въ немъ горячечный бредъ или монологъ больного, страдающаго маніей преслѣдованія. Самое отсутствіе ритма въ данномъ случаѣ чрезвычайно цѣлесообразно, придавая монологу безумно тревожный характеръ; понятны и умѣстны съ этой точки зрѣнія странныя сочетанія словъ въ родѣ «злая красота»; и если не понятны, то простительны совсѣмъ не нужныя строки въ родѣ: «тѣло нѣжное оживаетъ». Словомъ, стихотвореніе вполнѣ удовлетворяетъ тому очень старому эстетическому правилу, въ силу котораго форма и содержаніе должны соотвѣтствовать другъ другу. Иначе говоря, тутъ нѣтъ никакой новой красоты. Но я боюсь, что г-жа Гиппіусъ не согласится съ такимъ толкованіемъ «Цвѣтовъ ночи», что это для нея совсѣмъ не горячечный бредъ и не монологъ больного маніей преслѣдованія. Недаромъ же она сама, находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти «окружена врагами», отъ которыхъ она, можетъ быть, тоже «ждетъ измѣны», которые ее «ненавидятъ» и «отравить хотятъ». Тогда дѣло совершенно измѣняется, и приходится опять припомнить «Братьевъ Карамазовыхъ», и въ нихъ слова старца Зосимы, обращенныя къ старику Карамазову. «Вѣдь обидѣться иногда очень пріятно, не такъ-ли? И вѣдь знаетъ человѣкъ, что никто не обидѣлъ его, а что онъ самъ себѣ обиду навыдумалъ и налгалъ для красы, самъ преувеличилъ, чтобы картину создать, къ слову привязался и изъ горошинки сдѣлалъ гору,—знаетъ самъ это, а все-таки самъ первый обижается, обижается до пріятности, до ощущенія большого удовольствія, а тѣмъ самымъ доходитъ и до вражды истинной». Ѳедоръ Карамазовъ вполнѣ соглашается съ этой характеристикой. Онъ говоритъ: «Именно, именно пріятно обидѣться. Это вы такъ хорошо сказали, что я и не слыхалъ еще. Именно, именно я то всю жизнь и обижался до пріятности, для эстетики обижался, ибо не токмо пріятно, но и красиво иной разъ обиженнымъ быть; — вотъ вы что забыли, великій старецъ: красиво!»

Не въ этихъ-ли, по выраженію того же Зосимы, «ложныхъ жестахъ» состоитъ «новая красота»? Я думаю, что именно въ нихъ, и что стихотворенія г-жи Гиппіусъ составляютъ уже не первыя ступени къ ней, ибо таковыя уже даны разными декадентами. Надо, однако, замѣтить, что стихотворенія г-жи Гиппіусъ, въ отличіе отъ прочихъ декадентовъ, не вовсе лишены смысла. Совсѣмъ безсмысленнаго набора словъ у нея даже вовсе нѣтъ, но тѣмъ, можетъ быть, яснѣе выступаетъ общій родовой признакъ—«ложные жесты». Таково капризное требованіе того, «чего не бываетъ, чего никогда не бываетъ»: это «ложный жестъ», ибо г-жа Гиппіусъ до-

вольствуется и тѣмъ, что бываетъ, ну хоть дружбой. «Ложный жестъ» — и картинно ужасное положеніе человѣка, окруженнаго врагами: по совѣсти говоря, нѣтъ вѣдь этихъ враговъ. «Ложный жестъ» — и «злая красота» хотя, къ сожалѣнію этотъ пунктъ недостаточно ясенъ Есть у г-жи Гиппіусъ стихотвореніе «Гризельда», по формѣ очень недурное и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ обыкновенное, то есть безъ всякихъ фокусовъ по части размѣра и риѳмы. Содержаніе же состоитъ въ томъ, что Гризельда, жена рыцаря, уѣхавшаго на войну, фактически устояла противъ любовнаго искушенія, которое оставило, однако, въ ея душѣ грѣховно-сладкую занозу. Исторія тоже очень обыкновенная, но дѣло въ томъ, что «искалъ надъ ней (Гризельдой) побѣды самъ Повелитель Зла: любовною отравой и дерзостной игрой, манилъ ее онъ славой, весельемъ, красотой». «Гризельда побѣдила, душа ея свѣтла, а все-жъ какая сила у Духа лжи и зла!.. И снова сердце жаждетъ таинственныхъ утѣхъ. Зачѣмъ оно такъ страждетъ, зачѣмъ такъ любитъ грѣхъ? О, мудрый Соблазнитель, злой Духъ, ужели ты — непонятый Учитель великой красоты?» Какъ видите, и здѣсь мы имѣемъ какое-то сочетаніе словъ «зло» и «красота», но что все это значитъ, — г-жа Гиппіусъ даетъ слишкомъ мало матеріала для отвѣта на этотъ вопросъ и, можетъ быть, даже сама не уяснила себѣ того особеннаго пониманія «злой красоты» и «красоты зла», которое предъявляется нѣкоторыми «новыми людьми». Я буду вѣроятно имѣть случай вернуться къ этому пониманію по другому поводу. А теперь обратимся къ прозаическимъ произведеніямъ г-жи Гиппіусъ, гдѣ естественно ожидать большей ясности и меньшаго приложенія той манеры, которая такъ нравилась Фамусову въ современныхъ ему московскихъ барышняхъ: «словечка въ простотѣ не скажутъ,—все съ ужимкой». Конечно, «ложные жесты» вполнѣ возможны и въ прозѣ, но тамъ они по крайней мѣрѣ не вуалируются сѣтью такъ называемыхъ поэтическихъ вольностей.

Мы имѣемъ дѣло съ разсказами, представляющими «первыя ступени къ новой красотѣ» и озаглавленными въ своей совокупности: «Новые люди»; значитъ, можемъ разсчитывать найти въ каждомъ изъ нихъ и новую красоту и новыхъ людей. Разсмотримъ три-четыре разсказа на-удачу.

Разсказъ «Месть». Герой разсказа—восьмилѣтній мальчикъ Костя Антиповъ. По возрасту это, конечно, даже очень новый человѣкъ, но можетъ быть и не только по возрасту, а и въ томъ высшемъ смыслѣ, который должны намъ разъяснить «новые люди и первыя ступени къ новой красотѣ» г-жи Гиппіусъ. Восьмилѣтній Костя поражаетъ своею просвѣщенностью. Онъ знаетъ многое такое, чего мы, люди старые, въ восемь лѣтъ не знали. Не по части

«наукъ» такъ свѣдущъ Костя, о, нѣтъ: «у него есть старая учительница ариѳметики и закона Божія, но она часто пропускаетъ уроки». Но за то «онъ зналъ, что ему восемь лѣтъ, и зналъ, что это очень много, для мужчины въ особенности; женщины—тѣ могутъ киснуть хоть до двадцати лѣтъ, имъ все можно». Восьмилѣтній Костя зналъ, почему бывавшіе въ ихъ домѣ офицеры «любили больше маму, чѣмъ кузинъ,—это оттого, что мама считалась хорошенькой и была при другихъ веселой и доброй». Восьмилѣтній Костя зналъ, что «папа даетъ мамѣ деньги на офицеровъ, и если онъ разсердится, то можетъ не дать денегъ, офицеры не придутъ танцовать, и мамѣ будетъ скучно». Восьмилѣтній Костя «зналъ, что у него есть собственныя деньги, отъ дѣдушки, и что ни папа, ни мама не могутъ ихъ взять, хотя бы и пожелали». Вотъ какой просвѣщенный молодой человѣкъ! Правда, онъ не зналъ, откуда берутся дѣти, но и надъ этимъ вопросомъ задумывался.

При такой просвѣщенности, восьмилѣтній Костя отличался еще необыкновенной злобностью. Приставленная къ нему бонна всегда должна была отъ него ожидать «можетъ щипковъ, а можетъ и хуже». Къ отцу онъ питалъ «враждебность», мать «презиралъ». И когда, однажды, мать не взяла его съ собой на пикникъ, онъ нахмурилъ брови и сказалъ «съ достоинствомъ»: «Ты, пожалуйста, со мной такъ не разговаривай. Это вздоръ, что на козлахъ нѣтъ мѣста. Я хочу ѣхать на тройкахъ, почему я не могу, если вы ѣдете»? Не правда-ли, въ самомъ дѣлѣ, сколько твердости и «достоинства» и новой красоты въ этой репликѣ восьмилѣтняго новаго человѣка? И когда разозленная его «достоинствомъ» мать пригрозила ему, при гостяхъ, розгой, онъ естественно очень оскорбился и задумалъ «месть»,—ту самую «Месть», которая и въ заглавіи разсказа стоитъ. Онъ цѣлую ночь не спалъ, мечтая о мести. Онъ придумывалъ много, и все не годилось. «Разбить вазы и весь фарфоръ въ будуарѣ? Опять будетъ исторія, на него станутъ кричать, а папа дастъ денегъ и выпишутъ новый фарфоръ изъ Москвы. Платье залить чернилами? То же самое. Осрамить ее? *Сказать офицерамъ, что у нея коса привязная? Да вѣдь у нея не привязная. Она распуститъ волосы и стыдно будетъ не ей, а Костѣ*». Замѣтьте опять, сколько познаній! Однако, на этотъ разъ Костя такъ ничего и не придумалъ. Но—«онъ зналъ, что унываютъ лишь слабые; и онъ поклялся себѣ, даже ножемъ на рукѣ знакъ сдѣлалъ, хотя больно было, что онъ отомститъ». Случай скоро представился. Костя нечаянно засталъ свою мать въ объятіяхъ офицера и сообразилъ, что это значитъ: «Мама цѣловала Далай-Лобачевскаго, а папа ей это воспрещаетъ, потому что жена, которая цѣлуется не съ мужемъ, а съ другимъ, измѣняетъ мужу. И папа

долженъ очень разсердиться, если узнаетъ про это. Костя видѣлъ, какъ они цѣловались, и мама боится, что онъ скажетъ папѣ, а папа такъ разсердится, что, пожалуй, перестанетъ давать деньги. И у мамы не будетъ ни новыхъ платьевъ, ни колецъ, и она уже не дастъ ни одного вечера и не будетъ танцовать съ офицерами». И вотъ, однажды, за большимъ параднымъ обѣдомъ, улучивъ минуту, когда гости замолчали, Костя громко спросилъ мать: «Мама, скажи, отчего ты папу никогда такъ крѣпко не цѣлуешь, какъ Далай-Лобачевскаго»? Понятное дѣло, произошелъ скандалъ, которымъ маленькій негодяй—потому что надо, наконецъ, правду сказать: этотъ новый человѣкъ дѣйствительно негодяй—остался очень доволенъ. Но когда, на другой день, мать должна была уѣхать и прощалась съ сыномъ, то и въ этой танцовальщицѣ, и въ этомъ маленькомъ негодяѣ что-то проснулось: они плакали, ласкали другъ друга и, въ то же время, среди остраго горя, чувствовали какую-то не совсѣмъ понятную имъ радость...

На этомъ разсказъ обрывается, и мы не знаемъ дальнѣйшей судьбы новаго человѣка. Радость его и матери, примѣшивавшаяся къ острому горю ихъ разставанья, была, конечно, радость ощущенія добрыхъ чувствъ, возникшихъ на почвѣ сознанія взаимной виноватости. Но это не гарантія добропорядочности Кости въ будущемъ, которое остается намъ во всякомъ случаѣ неизвѣстнымъ. И согласитесь, что если бы не этотъ неожиданный и нѣсколько туманный конецъ разсказа, можно бы было думать, что г-жа Гиппіусъ пишетъ злую, даже черезчуръ злую сатиру на «новыхъ людей» и «новую красоту».

Разсказъ «Богиня». Здѣсь дѣйствуютъ люди старше восьмилѣтняго возраста: есть мальчикъ 10—11 лѣтъ, Амосъ Крестовоздвиженскій, есть ученикъ шестого класса реальнаго училища Викторъ, есть пятнадцатилѣтняя дѣвочка Женя Решъ, есть другія молодыя барышни, есть студентъ Апостолиди и т. д. Но мало быть молодымъ человѣкомъ, надо быть еще и новымъ человѣкомъ, съ задатками новой красоты или со стремленіями къ ней. Чтобы не утомлять, какъ себя, такъ и читателей, характеристиками всѣхъ дѣйствующихъ лицъ разсказа, я прямо скажу, что новый человѣкъ есть студентъ Апостолиди, обыкновенно называемый и остальными дѣйствующими лицами, и самимъ авторомъ «Пустоплюнди». Да не подумаетъ читатель, что давая своему герою такое смѣшное и презрительное прозвище и самъ постоянно такъ его называя, авторъ уже тѣмъ самымъ выгоняетъ его изъ среды новыхъ людей и за предѣлы новой красоты. Судите сами, а мы пока будемъ называть героя его настоящимъ именемъ. Апостолиди—грекъ и по отцу и по матери, но еще груднымъ ребенкомъ былъ перевезенъ въ Москву

и почему-то «никогда даже не зналъ хорошенько, гдѣ онъ родился». Такихъ «почему-то» довольно много въ жизни Апостолиди. Такъ, «среди товарищей онъ прослылъ почему-то за идеалиста, мечтателя и даже поэта, хотя никогда стиховъ не писалъ, не зналъ и не читалъ ихъ». — «Всегда только непонятное и необъяснимое имѣло силу давать ему радость. Онъ любилъ горячіе, самые горячіе лучи солнца и синее небо. Онъ часто лѣтомъ ложился на землю, на траву и смотрѣлъ въ самую глубину неба, гдѣ оно темное, темное... Онъ выбралъ себѣ мѣстечко въ паркѣ, на прогалинкѣ, между прямыми соснами. И высокіе, круглые, голые стволы этихъ сосенъ не мѣшали его радости, а даже увеличивали ее... Онъ точно вспоминалъ что-то, чего съ нимъ никогда не случалось, можетъ быть страны, которыхъ глаза его никогда не видѣли; онъ самъ не зналъ, чего ему хочется».

Апостолиди пріѣзжаетъ репетиторомъ въ семью, живущую на дачѣ; заводятся обыкновенныя дачныя знакомства, устраиваются общія прогулки. На одной изъ этихъ прогулокъ, въ старомъ богатомъ помѣщичьемъ домѣ, Апостолиди увидалъ въ одной изъ комнатъ статую Вакха. «Когда другіе ушли изъ столовой, Пустоплюнди (это г-жа Гиппіусъ говоритъ), все стоялъ передъ Вакхомъ и смотрѣлъ на него. Пустоплюнди самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается въ этомъ домѣ. Ему казалось, что онъ вступаетъ въ какой-то неизвѣстный міръ, чуждый даже его счастливому міру неба и прямыхъ сосенъ, но не менѣе прекрасный. Все ему нравилось здѣсь до слезъ, и онъ не могъ объяснить—почему». Но самая интересная встрѣча Апостолиди была не со статуей Вакха, а съ живой «богиней»,—хорошенькой барышней, въ которую онъ сразу влюбился. «Пустоплюнди не зналъ, какія бываютъ богини, онъ не видалъ ни одной и называлъ Попочку мысленно богиней, совершенно не отдавая себѣ отчета, что именно хотѣлось ему сказать, и все-таки выражался именно такъ». Онъ полюбилъ ее «неизвѣстно за что, неизвѣстно почему, но полюбилъ; вся она ему нравилась, и опять были въ этой любви у него невѣдомыя родныя и неясныя воспоминанія о томъ, чего онъ никогда не видѣлъ». Попочка была вообще хорошенькая, хотя и не всѣмъ нравилась. «Но самое удивительное у Попочки, это былъ ея цвѣтъ лица: не розовый и бѣлый, а какой-то прозрачный, не живой, удивительной чистоты и нѣжности, точно ея голова была сдѣлана изъ куска мрамора». «Всѣ движенія Попочки были странно красивы, безъ граціи. Чаще всего она сидѣла совершенно неподвижно, даже не мигая рѣсницами, и такъ она была удивительно хороша». Но вотъ случилось несчастіе, не особенно, впрочемъ, значительное. Возвращаясь съ той самой прогулки, которая дала Апостолиди возможность полюбоваться Вакхомъ, Попочка

упала въ узкую и неглубокую рѣчку, куда немедленно бросился ее спасать нашъ герой. Оба благополучно вышли изъ опасности, да и опасности никакой не было, но Попочка, мокрая, перепуганная, плачущая, была такъ некрасива, что Апостолиди рѣшилъ: «она равна всѣмъ; въ ней онъ не найдетъ того, что дорого сердцу». Но отъ поисковъ красоты Апостолиди не отказался. Онъ немедленно уѣхалъ съ мѣста своего обожанія и крушенія, но затѣмъ «хочетъ побывать на родинѣ, тамъ, гдѣ прямыя колонны изъ пожелтѣвшаго мрамора уходятъ въ синее жаркое небо, тамъ, гдѣ есть другое небо, которое люди называютъ моремъ, гдѣ онъ найдетъ то, чего не зналъ и всегда любилъ—красоту».

Читателю понятно теперь, почему я считаю именно Апостолиди новымъ человѣкомъ новой красоты. Надо замѣтить, что до встрѣчи съ Попочкой Апостолиди не только никѣмъ, а и ничѣмъ не интересовался. Въ молодомъ студентѣ естественно ожидать какого-нибудь отношенія къ наукѣ, если не въ смыслѣ стремленія къ истинѣ, то къ карьерѣ, наконецъ, просто къ куску хлѣба. Авторъ свидѣтельствуетъ, что ничего этого въ Апостолиди не было. Въ гимназіи «онъ учился машинально, безъ малѣйшаго интереса и пониманія», и такъ же продолжалъ и въ университетѣ. «У него не было ни самолюбія, ни честолюбія; кажется, не было даже эгоизма». О любви онъ тоже не думалъ. У него были только какія-то смутныя тяготѣнія къ «непонятному и необъяснимому», что, при встрѣчѣ съ Попочкой, вылилось въ нѣсколько болѣе опредѣленную форму «красоты». Попочка для него не женщина, а «богиня», все та же красота, ничего, кромѣ восторженнаго созерцанія, не вызывающая. И когда Попочка утрачиваетъ свою красоту, хотя бы лишь на короткое время, въ волнахъ рѣченки, онъ собирается уѣзжать на родину, въ Грецію, опять-таки не ради какихъ-нибудь тамъ патріотическихъ или научныхъ или еще какихъ интересовъ, а исключительно все ради той же красоты. Эта-то исключительность, кажется, и составляетъ новизну Апостолиди. Доселѣ служители такъ называемой чистой красоты обнимали своимъ принципомъ по крайней мѣрѣ нѣкоторыя «житейскія волненія», главнымъ образомъ любовь, вслѣдствіе чего относились къ женщинѣ иногда очень возвышенно, иногда просто, какъ къ самкѣ, но не отвлекали отъ нея все-таки одну красоту. Если не всегда душу женщины, то хоть тѣло ея они цѣнили, какъ нѣчто живое и сложное, способное вызвать сложныя чувства. Нынѣ, для «новыхъ людей» г-жи Гиппіусъ, отъ женщины ничего не остается, кромѣ отвлеченной красоты, въ которой она уравнивается не только со статуей Вакха, но и съ мраморной колонной или съ напоминающей ее своею обнаженностью и гладкостью сосной. Только ея положеніе рискованнѣе: мраморная колонна или

сосна не подвергается той опасности, которая сразу и навсегда лишила бѣдную Попочку поклоненія Апостолиди.

Вотъ истинное пониманіе той «новой красоты», которая дорога г-жѣ Гиппіусъ и ея другу. Ея новизна состоитъ въ очищенности отъ всякихъ—высокихъ и низкихъ, но постороннихъ примѣсей. А вмѣстѣ съ тѣмъ многое въ біографіи Апостолиди совпадаетъ съ собственною исповѣдью г-жи Гиппіусъ въ стихотвореніи «Пѣсня». Помните: «Стремлюсь къ тому, чего я не знаю, не знаю... И это желанье не знаю откуда, пришло откуда... О пусть будетъ то, чего не бываетъ, никогда не бываетъ... Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Точно также и Апостолиди не зналъ, откуда пришло къ нему тяготѣніе къ красотѣ, онъ вспоминалъ о томъ, «чего онъ никогда не видѣлъ, чего съ нимъ никогда не случалось», его всегда тянуло къ себѣ «только непонятное и необъяснимое». И взявши во вниманіе все это, а также и вышесказанное, мы, кажется, объяснимъ себѣ многое.

Пока мы читали разсказы г-жи Гиппіусъ въ журналахъ заурядъ съ другими, мы могли видѣть въ исторіи Апостолиди заурядный же, но довольно забавный анекдотъ о нѣкоторомъ молодомъ человѣкѣ, который разлюбилъ дѣвушку только потому, что она промокла или обмокла въ рѣчкѣ. Но теперь мы узнали, что авторъ «ведетъ войну»; онъ представляетъ въ этой войнѣ настолько значительную силу, что его «окружили враги», и если бы не мощная рука друга, то кто знаетъ—не предстояли-ли бы г-жѣ Гиппіусъ тѣ страшныя минуты, которыя такъ ярко описаны въ «Цвѣтахъ ночи». И мы, естественно очень заинтересованные, тревожно спрашиваемъ: кто враги? гдѣ враги? съ кѣмъ война? Если мы и не рѣшимъ этихъ вопросовъ такъ сразу, то получаемъ теперь по крайней мѣрѣ возможность съ большею увѣренностью думать, что искомые враги г-жи Гиппіусъ и ея друга суть вмѣстѣ съ тѣмъ враги Апостолиди, а войну г-жа Гиппіусъ и ея другъ ведутъ за него, Апостолиди, и подобныхъ ему новыхъ людей новой красоты, столь родственныхъ имъ самимъ. Чтобы привести къ одному знаменателю психологію Апостолиди и собственную свою поэтическую исповѣдь въ «Пѣснѣ», г-жа Гиппіусъ дѣлаетъ даже ничѣмъ не оправдываемыя натяжки. Въ самомъ дѣлѣ, Апостолиди грекъ, и отецъ, и мать его были греки, и онъ это знаетъ, но почему-то не знаетъ, гдѣ онъ родился, что даже совершенно невѣроятно, хотя бы уже потому, что въ русскія учебныя заведенія нельзя поступить безъ документовъ, въ которыхъ обозначается, между прочимъ, и мѣсто рожденія. Но г-жѣ Гиппіусъ нужна эта невѣроятность, чтобы заставить Апостилиди, подобно ей самой, стремиться неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда и хотѣть неизвѣстно чего. И вотъ, г-жа

Гиппіусъ самымъ безцеремоннымъ образомъ, какъ школьникъ товарищу при глухомъ учителѣ, подсказываетъ Апостолиди, откуда у него это молитвенное созерцаніе статуи Вакха, сосенъ, которыя такъ напоминаютъ греческія колонны, Попочки, которая такъ похожа на статую, что «голова ея была точно изъ куска мрамора сдѣлана» и «чаще всего» она сидѣла неподвижно, «даже не моргая рѣсницами». А глупый грекъ все-таки ничего не понимаетъ. Но вѣдь это все «ложные жесты», и, разочаровавшись въ красотѣ Попочки, Апостолиди вполнѣ сознательно собирается не въ иное какое мѣсто, а въ Грецію: онъ знаетъ, что онъ оттуда и что его тянетъ именно туда. Но г-жѣ Гиппіусъ нравятся «ложные жесты»...

Тѣмъ не менѣе Апостолиди глупъ. Это и г-жа Гиппіусъ удостовѣряетъ. Она разсказываетъ, что «онъ бродилъ по чернымъ дорожкамъ парка, странный и глупый, и перепутанныя, нелѣпыя мысли ему приходили въ голову». Апостолиди глупъ, и кромѣ того онъ— Пустоплюнди. И это меня чрезвычайно смущаетъ. «Апостолиди»— такое красивое имя, притомъ намекающее на какую-то высокую миссію, и оно такъ идетъ къ служителю новой, невиданной красоты, а г-жа Гиппіусъ передѣлала это благозвучное и многознаменательное имя въ «Пустоплюнди»! Добро бы служителя новой красоты такъ называли профаны или враги: нѣтъ, сама г-жа Гиппіусъ иначе его не называетъ. Не значитъ-ли это, что друзья г-жи Гиппіусъ вообще «ходятъ странные и глупые», что въ головы имъ приходятъ «перепутанныя и нелѣпыя мысли» и что, обращаясь къ нимъ, мы можемъ сказать: «пустоплюнди вы, пустоплюнди»!..

Вотъ тутъ и разбирайся. То намъ новыхъ людей и новую красоту представятъ въ лицѣ несчастнаго человѣка, страдающаго маніей преслѣдованія, то въ видѣ маленькаго злобнаго негодяя, то, наконецъ,—просто пустоплюнди! И подумать, что это еще только первыя ступени...

Еще разсказъ—«Голубое небо». Здѣсь очень недурна фигура нѣкоего Антона Антоныча, молодого начальника почтово-телеграфной станціи, чистенькаго, аккуратнаго, добросовѣстнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ узколобаго и самодовольнаго. Но не Антонъ Антонычъ составляетъ центръ разсказа, а двадцати-двуъ-хлѣтняя дѣвица Людмила, долженствующая представлять собою новаго человѣка и новую красоту.

Въ творчествѣ г-жи Гиппіусъ есть одна любопытная наивная черта. Ее, какъ и Пустоплюнди, тянетъ ко всему таинственному, необъяснимому, неясному, и ей хочется и читателю своему внушить почтеніе къ этимъ туманамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она чрезвычайно торопливо и въ высшей степени антихудожественно рас-

крываетъ свои неясности. Мы видѣли, какъ назойливо подсказывала она въ «Богинѣ»: Пустоплюнди грекъ и оттого-то ему милы Попочка, сосна, статуя Вакха. Глупый Пустоплюнди этому не внималъ, но читатель-то сразу понялъ, въ чемъ дѣло. Такъ и въ «Голубомъ небѣ». Ужъ на что прозрачный, мало таинственный писатель былъ дѣдушка Крыловъ, столь пригодный для дѣтскаго чтенія, а и тотъ зналъ, что «наружность иногда обманчива бываетъ». А г-жа Гиппіусъ обманчивыхъ наружностей, кажется, совсѣмъ не признаетъ. По крайней мѣрѣ, объ дѣвицѣ Людмилѣ, какъ только она показывается въ разсказѣ, авторъ сообщаетъ: «При черныхъ бровяхъ и рѣсницахъ глаза были неожиданно свѣтлые, безъ всякаго цвѣта, странно прозрачные. Такая бываетъ вода въ очень глубокихъ чистыхъ прудахъ въ тихую погоду». По поводу этихъ глазъ нѣкто когда-то сказалъ Людмилѣ: «Знаете, я бы искренно боялся сдѣлаться вашимъ супругомъ. Съ вашими глазами лгать легко. Я бы не умѣлъ узнать по нимъ—обманываете вы меня или нѣтъ». И дѣйствительно,—дѣвица Людмила лжетъ и обманываетъ постоянно, сознательно, по принципу. Видите, значитъ, какъ любезно: обманщица даже вполнѣ исключительная, а наружность-то у нея все-таки не обманчива. Но это любезность торопливо-подсказывающей г-жи Гиппіусъ, а не самой Людмилы, которой, несмотря на сразу раскрытыя авторомъ карты, удается обманывать многихъ.

Попросту говоря, Людмила—кокетка, но кокетка изъ принципа. Вотъ какъ излагаетъ она этотъ принципъ одному изъ тѣхъ, которымъ она подавала очень опредѣленныя надежды на взаимность и супружеское счастіе: «Да, я лгала. А развѣ можно и нужно всегда говорить только правду? Лжи столько же на свѣтѣ и она такъ же необходима, какъ правда. Зачѣмъ ее презирать?... Я не знаю дѣйствительно-ли хорошо хорошее и честно честное. Докажите мнѣ, что я должна подчиняться вашему долгу. Мнѣ не страшно и не скучно подчиняться, я только не вѣрю... не вѣрю въ ваши обязательства и нравственные законы... Это не я одна дѣлаю, а всѣ, всѣ дѣлаютъ, или почти всѣ, только они дѣлаютъ безсознательно, а я сознательно и обдуманно. Я поняла, что нѣтъ людей на свѣтѣ. Людей нѣтъ, а есть мужчины и женщины, и есть вѣчная, непрестанная борьба между ними. Иногда побѣждаетъ мужчина, и тогда женщина принадлежитъ ему, а иногда наоборотъ. Побѣждаетъ тотъ, кто сильнѣе. Я борюсь много и много побѣждаю, и наслаждаюсь побѣдой и униженіемъ противника... Для каждой побѣды, для каждаго торжества надо лгать, хитрить, притворяться. И я дѣлаю это, все равно, какъ на войнѣ заряжаютъ ружья и спускаютъ курки. И чѣмъ больше убьешь, тѣмъ больше тебѣ славы».—Побѣдоносная дѣвица Людмила не отрицаетъ, что ей можетъ встрѣ-

титься мужчина сильнѣе ея, и тогда она влюбится, но, прибавляетъ она, «полюблю я, если только встрѣчу не мужчину, а человѣка; да если и встрѣчу, то не повѣрю». И она мститъ мужчинамъ за то, что они не хотятъ или даже не могутъ видѣть въ женщинѣ человѣка. Въ теченіи разсказа она встрѣчается съ нѣкіимъ Елецкимъ, который ей кажется «такимъ, какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ», настоящимъ «человѣкомъ», и она со страхомъ отгоняетъ возможность сближенія, наговоривъ, однако, Елецкому много разнаго туманнѣйшаго и претенціознаго вздора, отъ котораго, впрочемъ, сейчасъ же отреклась: это, говоритъ, я все лгала...

Въ разсужденіяхъ дѣвицы Людмилы надо различать двѣ стороны. Одна— общая, гдѣ она поднимается до высшихъ ступеней отрицанія или сомнѣнія, задумываясь надъ вопросомъ дѣйствительно ли хорошо хорошее и честно честное. Объ этомъ (равно какъ и о вышеупомянутой «красотѣ зла») надо не съ дѣвицей Людмилой разговаривать, тѣмъ болѣе, что въ концѣ разсказа она оказывается совсѣмъ не демономъ зла какимъ-нибудь, а даже доброй дѣвушкой, только ужъ очень легкомысленной. Другая часть исповѣданія вѣры дѣвицы Людмилы, менѣе общая и отвлеченная, касается отношеній между мужчинами и женщинами. И вотъ, значитъ, какъ смотритъ на эти отношенія новый человѣкъ женскаго пола. Отчаявшись въ возможности мужчины—«человѣка», Людмила и сама не думаетъ стать женщиной—«человѣкомъ», а напротивъ, укрѣпляется въ позиціи спеціально женскихъ побѣдъ и одолѣній, въ ожиданіи мужчины, который въ свою очередь побѣдитъ ее. Съ этою возможностью она считается, хотя, понятно, не желаетъ ея и боится; но боится, хотя и очень желаетъ, она и другой возможности,—не влюбиться, а полюбить, и не мужчину, а человѣка. Боится потому, что считаетъ эту возможность невозможностью. Это именно то, «чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Ей показалось, какъ уже упомянуто, что Елецкій—«такой, какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ», но она сейчасъ же хватается за мысль, что и онъ—«какъ и всѣ», а потому прогоняетъ его, желая сохранить въ чистотѣ тѣ минуты великаго счастія, которыя она пережила въ недолгое время своей иллюзіи. Къ сожалѣнію, совершенно не видно, по какимъ основаніямъ она признала, хотя бы на минуту, Елецкаго человѣкомъ, «какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ». Онъ является мелькомъ, и читателю извѣстно объ немъ только то, что онъ—«магистръ». Это еще не очень опредѣлительно, ибо о магистрахъ нельзя все-таки сказать, что ихъ нѣтъ на свѣтѣ. Надо впрочемъ замѣтить, что Людмила и до встрѣчи съ Елецкимъ испытывала мгновенія, когда къ ней приходило «счастье и непонятная радость, и волненіе»,—она «не знаетъ откуда и почему». Послѣднее не удивительно, такъ какъ вообще герои и ге-

роини г-жи Гиппіусъ идутъ неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда, зачѣмъ и почему. Но удивительны нѣкоторыя изъ обстоятельствъ, приводившихъ дѣвицу Людмилу въ состояніе счастія и непонятной радости и волненія. Она разсказываетъ, напримѣръ: «Помню, у меня въ дѣтствѣ была большая книга съ картинками, и на одной была нарисована скала, гдѣ сидѣлъ пингвинъ, и скала и пингвинъ рѣзко выдѣлялись на голубомъ небѣ. И вдругъ опять вернулось ко мнѣ то чувство счастія»... Пингвинъ есть одна изъ самыхъ глупыхъ птицъ,—онъ иначе такъ и называется «глупышъ»,—а потому одинаковость хотя бы и очень возвышеннаго настроенія, вызываемаго имъ и Елецкимъ, не можетъ, повидимому, быть особенно лестною для послѣдняго. Тѣмъ не менѣе Елецкій удовлетворительно заявляетъ, что онъ вполнѣ понимаетъ Людмилу, а та, поигравши съ нимъ въ пингвина и другія загадочности, объясняетъ, что все это она «выдумала»...

Странный новый человѣкъ дѣвица Людмила; странный, непріятный, въ общежитіи неудобный. Но въ книжкѣ г-жи Гиппіусъ ей есть противовѣсъ въ лицѣ героини разсказа «Миссъ Май».

Жилъ былъ молодой человѣкъ Андрей, у него была невѣста Катя. Они росли вмѣстѣ, чуть не съ самаго ранняго дѣтства считались женихомъ и невѣстой и любили другъ другъ. Но тутъ замѣшалась миссъ Май Эверъ, англичанка, компаньонка тетки Андрея. Май съ перваго же раза произвела сильное впечатлѣніе на Андрея. Онъ смотрѣлъ на англичанку, «прямую и всю необычайную и только удивлялся, почему другіе не удивляются и не недоумѣваютъ, какъ онъ». И впослѣдствіи, когда они нѣсколько сблизились, Андрей говоритъ Май: «Какая ты необыкновенная». Удивительность и необыкновенность Май выражались какъ въ ея наружности и даже костюмахъ, которые авторъ описываетъ съ большою тщательностью, такъ и въ ея душевныхъ качествахъ. Май любитъ Андрея, но рѣшительно отказывается стать его женой и рекомендуетъ ему жениться на Катѣ. «Я не жена»,—говоритъ она. Она не создана для «житейскаго, мелкаго». Андрей далъ ей короткое, но высшее счастіе экстаза, которое дѣвицѣ Людмилѣ далъ пингвинъ на скалѣ, и больше ей ничего не нужно. Она уѣзжаетъ, а Андрей женится на Катѣ, которую онъ не переставалъ любить обыкновенною, «житейскою» любовью.

Почему миссъ Май англичанка? То-есть почему г-жа Гиппіусъ сочла нужнымъ выписать изъ Англіи героиню для своего разсказа? Я думаю, единственно потому, что имя «Май» звучитъ такъ красиво и, согласно общему характеру творчества г-жи Гиппіусъ, такъ не загадочно подчеркиваетъ загадочную эфирность героини. Помните: «какъ май ароматный, веселье весны». Когда Андрей однажды

осмѣлился обнять миссъ Май, то «подъ руками его было тонкое, почти несуществующее тѣло, почти призракъ»... Этому соотвѣтствуетъ и высшая духовная тонкость миссъ Май, которая нѣсколько компенсируетъ грубую лживость и воинственность дѣвицы Людмилы. Едва-ли, однако, все-таки была дѣйствительная надобность выписывать героиню изъ Англіи, ибо въ томъ же разсказѣ одинъ чисто русскій человѣкъ высказываетъ совершенно тѣ же взгляды на отношенія между мужчинами и женщинами, что и почти не существующая миссъ Май. Человѣкъ этотъ — лакей Андрея, Тихонъ.

Въ наружности Тихона нѣтъ ничего необыкновеннаго или эфирнаго, у него «черствая и унылая физіономія». Но онъ могъ бы сказать о себѣ, какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ Островскаго: «душа моя изъ тонкихъ парфюмовъ соткана». Параллельно — съ художественной точки зрѣнія слишкомъ параллельно — роману Андрея—Кати — Май идетъ романъ лакея Тихона, прачки Василисы и другой прачки Пелагеи. Какъ Андрей Катю, такъ Тихонъ Василису любитъ и ею любимъ, и жениться они собираются. Но подобно тому, какъ миссъ Май вторглась съ своею удивительностью въ романъ Андрея и Кати, прачка Пелагея побѣдила сердце лакея Тихона такою же удивительностью. Онъ ей говоритъ: «Ты меня, дѣвка, коли хочешь знать, вотъ какъ приворожила. Я безъ тебя теперь ни ступить. Повернешься ты—мила мнѣ, слово скажешь—еще милѣе... И сладко вотъ мнѣ, и сладко, и самъ я не знаю, что мнѣ сладко. Главное — *вся ты для меня удивительная*, вотъ что главное». Но — и въ этомъ отступленіе отъ параллелизма двухъ романовъ — Пелагея не похожа на почти не существующую Май: она требуетъ, чтобы Тихонъ женился на ней, Пелагеѣ, а не на Василисѣ. Но Тихонъ не согласенъ. Онъ возражаетъ: «Съ Васенкой у насъ обѣщанье, давнишнее, я ее, Васену, вдоль и поперекъ знаю, она славная жена будетъ. Можетъ и ты славная жена будешь—да жалѣю я тебя смертно въ жены взять. Ты теперь, Поля, такая мнѣ удивительная и сладкая, какъ бы мнѣ отъ Бога ниспосланіе, а тогда что? Какъ Васена и будешь. Жена что? Жена всегда жена. Для духа нѣтъ простора, умиленія нѣтъ».

Чрезвычайно краснорѣчивъ этотъ новый человѣкъ лакейскаго званія, и хотя онъ, по всѣмъ видимостямъ, обремененъ тѣломъ, но въ пареніи духа нисколько не уступаетъ почти безтѣлесной миссъ Май, а ужъ тѣмъ болѣе вѣчно лгущей дѣвицѣ Людмилѣ...

Что же это, однако, значитъ? Новые люди г-жи Гиппіусъ оказываются то маленькими злобными негодяями, то глупыми «пустоплюндями» съ нелѣпыми мыслями въ головѣ, то лгуньями, приходящими въ экстазъ при видѣ пингвина на скалѣ, то почти не су-

ществующими англичанками и едва-ли существующими въ дѣйствительности лакеями. Если бы мы не знали, что всѣ эти негодяи, лгуньи, пустоплюнди и лакеи представляютъ собою первыя ступени къ новой красотѣ, которая дорога г-жѣ Гиппіусъ и ея другу, мы бы естественно подумали, что она безпощадно воюетъ съ этой странною бандой, а потому и нажила себѣ въ ней лютыхъ враговъ. Но такъ какъ это «первыя ступени новой красоты», то, спрашивается, — съ кѣмъ же ведетъ войну г-жа Гиппіусъ, и кто враги, окружившіе ее? Очевидно, наша надежда отвѣтить на эти вопросы была преждевременна. Поживемъ—увидимъ, а пока, послѣ достаточно, кажется, тщательнаго изслѣдованія, ничего опредѣленнаго сказать не можемъ, кромѣ развѣ слѣдующаго.

Объ одномъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ г-жа Гиппіусъ говоритъ: «Женю можно бы было назвать хорошенькой дѣвочкой, если бы она иначе себя держала. Но она слишкомъ рано поняла, что она хорошенькая, и стала нестерпимо кривляться». Г-жа Гиппіусъ не лишена литературнаго дарованія, но она слишкомъ высоко оцѣнила это свое маленькое дарованіе (въ одномъ изъ ея стихотвореній есть такая строка: «люблю я себя, какъ Бога»), и пустилась въ разныя вычурности на тему объ томъ, «чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Но и этого ей показалось мало. При всемъ своемъ презрѣніи къ тому, что есть на свѣтѣ, она все-таки пожелала занять на этомъ свѣтѣ извѣстное общественное, притомъ воинствующее положеніе; и тотчасъ же, по щучьему велѣнью, по ея прошенью, ее окружили враги, хотя можетъ быть именно ихъ то и нѣтъ на свѣтѣ. Но разъ они, по щучьему велѣнью, явились, надо воевать. Воевать же занимательнѣе всего подъ знаменемъ чего-нибудь новаго, новаго вообще, говоря нѣмецкимъ философскимъ языкомъ,—новаго, какъ таковаго, а что именно представляетъ собою это новое: негодяйство восьмилѣтняго Кости, неустанную лживость Людмилы, экстазъ при видѣ пингвина на скалѣ, наконецъ, просто пустоплюнди,—это не важно...

О, поле, поле, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?

XIV *).

Три случая нападенія на редакторовъ періодическихъ изданій.—Опять г. Туганъ-Барановскій.—Книга г. Антоновича о Дарвинѣ.—Веселенькій пейзажикъ.

Въ Петербургѣ было подъ рядъ три случая нападенія на редакторовъ періодическихъ изданій: плевокъ, «символическое» или вполнѣ реальное (это не выяснилось) оскорбленіе палкой и арапникомъ, наконецъ выстрѣлъ изъ револьвера. Всѣ три случая надѣлали столько шума и такъ много комментировались въ газетахъ, что мнѣ нѣтъ надобности разсказывать фактическія подробности этихъ печальныхъ событій: они еще у всѣхъ въ памяти. Не считаю также нужнымъ распространяться о томъ, что argumentum baculinum не есть надлежащій отвѣтъ на голосъ критики: это истина слишкомъ элементарная, хотя печати то и дѣло приходится ее напоминать. Но мнѣ кажется, что въ толкахъ, вызванныхъ плевкомъ, арапникомъ и револьверомъ, все-таки не затронуты нѣкоторыя стороны этихъ безобразныхъ явленій, заслуживающія, однако, самаго серьезнаго вниманія.

Останавливаясь на этихъ трехъ случаяхъ, мы естественно приходимъ къ обобщенію ихъ въ нѣкоторое нелестное для нашего цивилизованнаго общества, мало того,—ужасное цѣлое: вотъ наши нравы! Но затѣмъ можетъ наступить раздумье: можетъ быть, всѣ три случая только по видимости имѣютъ въ себѣ нѣчто общее, для современныхъ нравовъ характерное, типичное, и если судьба угостила насъ ими, однимъ за другимъ, въ такой короткій промежутокъ времени, то это чисто случайное совпаденіе, изъ котораго нельзя дѣлать какіе-нибудь общіе выводы. Въ самомъ дѣлѣ, въ первомъ случаѣ замѣшаны интимныя семейныя отношенія, не подлежащія публичному обсужденію, и виновникъ плевка былъ поставленъ этимъ обстоятельствомъ въ совершенно исключительное положеніе. Исключительность эта такова, что, вполнѣ сознавая безобразіе рас-

---

*) Апрѣль 1896.

правы, я, признаюсь, не желалъ бы быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Второй случай нѣсколько проще, но все-таки содержитъ въ себѣ не совсѣмъ обыденные элементы. Наконецъ, если, какъ можно думать, стрѣлявшій въ г. Меньшикова бывшій земскій начальникъ г. Жеденевъ окажется больнымъ человѣкомъ, то и этотъ третій случай явится передъ нами чѣмъ-то исключительнымъ, обобщенію не подлежащимъ. Такимъ образомъ, сгустившееся надъ нами мрачное облако какъ будто разсѣевается по клочкамъ въ пространствѣ...

Однако, можно и, я думаю, должно посмотрѣть на дѣло съ иной точки зрѣнія. Общественная жизнь лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ даетъ явленія, повторяющія другъ друга съ буквальною точностью во всѣхъ подробностяхъ; и если мы, имѣя передъ собою рядъ однородныхъ, въ какомъ-нибудь отношеніи, явленій, всегда будемъ разсматривать ихъ исключительно въ ихъ конкретной индивидуальной особенности, то сдѣлаемъ почти невозможнымъ изученіе общественной жизни. Конечно, слѣдуетъ избѣгать общихъ выводовъ изъ недостаточнаго числа фактовъ, но съ тремя-ли только фактами мы имѣемъ въ настоящемъ случаѣ дѣло?

Писатели естественно были очень заинтересованы этими тремя фактами и съ большимъ или меньшимъ одушевленіемъ и краснорѣчіемъ, но единогласно выражали ту совершенно вѣрную мысль, что не годится возражать на печатное слово плевкомъ, палкой и револьверомъ. Мнѣ кажется, однако, что при этомъ мои собраты по перу встали на не то что ложную, а неудовлетворительную точку, ограничивъ свое одушевленіе и краснорѣчіе кругозоромъ своей профессіи. Вотъ, напримѣръ, что писалъ въ «Новомъ Времени» г. Фингалъ:

«Въ концѣ вѣка, когда человѣчество уже не идетъ и не бѣжитъ по пути прогресса, а дѣлаетъ гигантскіе скачки, становится опаснымъ заниматься тѣмъ самымъ дѣломъ, которое помогло людямъ стать на такую высоту. Въ мирное писательское дѣло, въ писательскій кабинетъ, гдѣ идетъ тихая и важная работа мысли, врываются разбойники съ палками, плевками и порохомъ. Какъ тутъ быть? Какъ быть намъ, у которыхъ никогда не было никакого другого оружія, кромѣ мысли и этого маленькаго куска металла, помогающаго намъ изобразить наши мысли на бумагѣ, чтобы ихъ слышали и знали всѣ? Я ничего не имѣю даже противъ разбойниковъ. Я ничего не имѣю противъ того, чтобъ они пускали въ ходъ свои палки и пистолеты. Вѣдь это единственныя доступныя имъ орудія. Но пусть они употребляютъ ихъ въ сношеніяхъ другъ съ другомъ; пусть подымаютъ палку противъ палки, а не противъ мысли. У быка нѣтъ другого орудія для борьбы, кромѣ

пары роговъ, и было бы смѣшно, если бы мы требовали, чтобы быкъ боролся разумными доводами».

Такимъ образомъ, г. Фингалъ знаетъ только два рода палочныхъ столкновеній: во-первыхъ, между палочниками и палочниками, во-вторыхъ, между палочниками и писателями. На первыя онъ машетъ рукой,—дескать, пусть дерутся, а противъ вторыхъ горячо протестуетъ, собственно потому, что у писателя нѣтъ иного оружія, кромѣ письменныхъ принадлежностей. Конечно, писатель, *какъ писатель*, иного оружія не имѣетъ, но это не исключаетъ все-таки для него возможности встрѣтить палку палкой же, хотя онъ это сдѣлаетъ съ сугубымъ отвращеніемъ. Фактически и онъ, разумѣется, можетъ оказаться въ невозможности защитить себя физической силой, но въ такомъ случаѣ онъ уравняется со множествомъ не-писателей, которые безпомощно претерпѣваютъ оскорбленія и насилія. И вотъ, если мы примемъ въ соображеніе всю массу этихъ случаевъ, то получимъ прочную и широкую основу для нѣкоторыхъ обобщеній.

«Нужно твердо, разъ навсегда установить принципы,—продолжаетъ г. Фингалъ: на печатныя мнѣнія или даже обвиненія можно отвѣчать только возраженіями или опроверженіями путемъ печати». Совершенно справедливо. Но мнѣ кажется, что этотъ принципъ долженъ быть распространенъ и на устное слово, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не имѣетъ формы «непечатнаго слова», которое уже само по себѣ составляетъ оскорбленіе. Вотъ что недавно сообщило «Восточное Обозрѣніе». Гдѣ-то около Челябинска ѣхалъ по желѣзной дорогѣ инженеръ Курманъ. Въ томъ же вагонѣ сидѣло нѣсколько дамъ и два какіе-то молодые человѣка. Послѣдніе позволили себѣ неподходящіе для дамскаго общества разговоры и наконецъ прямо неприличныя выраженія по адресу присутствующихъ дамъ. Курманъ сдѣлалъ имъ «въ очень вѣжливой формѣ» замѣчаніе, въ отвѣтъ на которое одинъ изъ нихъ ударилъ его кулакомъ такъ, что онъ упалъ, и не успѣлъ Курманъ подняться, какъ получилъ еще двѣ пули изъ револьвера и умеръ.

«Въ мирное писательское дѣло, въ писательскій кабинетъ, гдѣ идетъ тихая и важная работа мысли, врываются разбойники съ палками, плевками и порохомъ». Это отвратительно. Но вотъ въ какомъ-то, не помню ужъ, провинціальномъ клубѣ два человѣка начинаютъ палить другъ въ друга изъ револьверовъ, причемъ, однако, попадаютъ не другъ въ друга, а въ совершенно мирныхъ и къ дѣлу непричастныхъ обывателей. Конечно, въ клубѣ происходитъ не какая-нибудь «тихая и важная работа мысли», а просто люди собираются для пріятнаго времяпровожденія, но это точно также не мѣсто для какой бы то ни было физической расправы

и собственно въ этомъ отношеніи клубъ ничѣмъ не отличается отъ писательскаго кабинета.

Та «тихая и важная работа мысли», которая совершается въ кабинетѣ писателя, должна обнимать и фактически обнимаетъ не только то, что происходитъ въ четырехъ стѣнахъ этого кабинета. Возьмите любой номеръ провинціальной или столичной газеты: почти въ каждомъ изъ нихъ вы найдете извѣстіе о какомъ-нибудь насиліи или оскорбленіи, нанесенномъ какому-нибудь мирному обывателю, отличающемуся въ этомъ отношеніи отъ писателя только тѣмъ, что у него нѣтъ и такого оружія, какъ перо. Единственное прибѣжище для такого оскорбленнаго или потерпѣвшаго насиліе обывателя есть судъ. Судъ и дѣлаетъ свое дѣло, но онъ является уже post factum, когда человѣкъ уже претерпѣлъ насиліе, униженіе, оскорбленіе или когда его уже нѣтъ на свѣтѣ, какъ нѣтъ инженера Курмана. Безъ сомнѣнія, гласный судъ имѣетъ и воспитательное значеніе, не только казня насильника, но и всенародно ставя его къ позорному столбу. Но, очевидно, въ нашей общественной жизни есть какія-то теченія, пересиливающія это воспитательное значеніе суда. Нашъ общественный организмъ зараженъ какими-то зловредными микробами, для борьбы съ которыми организмъ вырабатываетъ или слишкомъ мало или недостаточно энергическихъ фагоцитовъ. И нечего разсчитывать на успѣхъ самыхъ краснорѣчивыхъ проповѣдей по частному вопросу о палочныхъ вторженіяхъ въ писательскіе кабинеты, пока не очистится вся наша общественная атмосфера. Да и какое право имѣемъ мы, писатели, такъ обособлять свои кабинеты, мы, тихая и важная работа мысли которыхъ въ томъ именно и состоитъ, чтобы распространять изъ своихъ кабинетовъ свѣтъ во всѣ углы и закоулки нашей родины. Я глубоко скорблю за г-жу Гуревичъ, но не угодно-ли вамъ продумать и прочувствовать слѣдующую, напримѣръ, исторію, сообщаемую кіевскою газетою «Жизнь и Искусство».

«Въ прошломъ году въ т—скомъ 2-классномъ училищѣ разыгралась слѣдующая возмутительная сцена. Одна изъ лучшихъ ученицъ, всегда получавшая награды и похвальные листы, 14-ти-лѣтняя Ольга Л—ская, заподозрѣна была въ присвоеніи чужихъ калошъ. Завѣдывающій училищемъ М—ко произвелъ тутъ же въ классѣ разслѣдованіе дѣла и когда, по его мнѣнію, фактъ присвоенія былъ установленъ, онъ назначилъ ей слѣдующее безчеловѣчное дисциплинарное взысканіе, немыслимое въ стѣнахъ школы въ сколько-нибудь цивилизованномъ обществѣ: признанную виновною онъ приказалъ провести между построенными въ ряды во дворѣ учениками, которые должны были плевать на нее. Исполненіе этой нравственной экзекуціи онъ поручилъ достойному своего учителя стипендіату

Б—ку, который долженъ былъ поступить въ учительскую семинарію, слѣдовательно, готовившемуся быть педагогомъ. Б—къ приказалъ двумъ ученикамъ вывести Л—скую во дворъ. Она сопротивлялась, кричала: «всѣ вы лжете!», стараясь вырваться. Б—къ, видя, что мальчишки не могутъ справиться съ ней, замѣнилъ ихъ другими, болѣе сильными. Они потащили ее изъ класса во дворъ; она продолжала сопротивляться; во время борьбы у ея платья оборвались пуговицы, книги брошены были на землю. Во дворѣ построены были въ ряды ученики; у воротъ стояли постороннія лица. Когда Л—скую подвели къ рядамъ учениковъ, она вырвалась изъ рукъ юныхъ тирановъ и опрометью пробѣжала сквозь ряды учениковъ, пытаясь прорваться наружу, но это ей не удалось. Въ это время многіе ученики плевали—одни на землю, другіе на нее».

Эта возмутительная картина «педагогическаго» истязанія взята *Жизнью и Искусствомъ* изъ судебнаго протокола мирового судьи уманскаго округа.

«Судебное преслѣдованіе изувѣра-педагога было возбуждено отцомъ жертвы его изувѣрства. При разборѣ дѣла М—ко настаивалъ на прекращеніи дѣла, на томъ основаніи, что оно было уже на разсмотрѣніи и учебнаго начальства, и администраціи, онъ показалъ, что и отецъ потерпѣвшей въ кабинетѣ нанесъ ему оскорбленіе дѣйствіемъ. Мировой судья, однако, приговорилъ М—ко къ 2-хъ-мѣсячному аресту».

Съѣздъ призналъ дѣло неподсуднымъ мировымъ учрежденіямъ и передалъ дѣло прокурору.

Разъ дѣло разсматривалось въ судѣ, я не понимаю, почему кіевская газета довольствуется иниціалами или сокращенными именами дѣйствующихъ лицъ. Но это, конечно, не важно. Повторяю: я глубоко скорблю за Л. Я. Гуревичъ, но какими же скорбями скорбѣть за эту несчастную 14-лѣтнюю дѣвочку! Вѣдь Достоевскій съ его жестокимъ талантомъ нуженъ для изображенія претерпѣнныхъ ею душевныхъ мукъ. А эти «юные тираны»,—что вынесутъ они изъ жизни и что внесутъ въ нее, если не встрѣтятъ парализующихъ этотъ воспитательный опытъ вліяній! И вотъ, когда мы введемъ въ свой кругозоръ все множество этихъ случаевъ безобразнаго тиранства и самоуправства, намъ понятно станетъ, что прискорбные эпизоды съ г-жею Гуревичъ, кн. Мещерскимъ и г. Меньшиковымъ суть только частности, не подлежащія обсужденію внѣ ихъ связи съ множествомъ другихъ явленій; что насъ угнетаетъ не спеціальное неуваженіе къ тихой и важной работѣ мысли, совершающейся въ кабинетахъ писателей, а неуваженіе къ личности вообще, во всѣхъ ея законныхъ и мирныхъ проявленіяхъ; что неуваженію этому мы учимся вонъ еще въ двуклассномъ училищѣ...

И потомъ — остается еще вопросъ о характерѣ той тихой и важной работы мысли, которая совершается въ нашихъ писательскихъ кабинетахъ. Въ кабинетѣ кн. Мещерскаго, напримѣръ, эта работа состояла въ проповѣди оглушенія мысли разными способами, въ проповѣди презрѣнія къ личному достоинству вообще, въ смакованіи розги, какъ спасительнаго воздѣйствія на умъ и чувства, въ частности. Argumentum baculinum и теперь, послѣ полученнаго имъ «символическаго» или реальнаго оскорбленія, сохраняетъ для кн. Мещерскаго свою прелесть. Говоря о происшествіи въ редакціонномъ кабинетѣ «Недѣли», «онъ глубоко скорбитъ объ участи несчастнаго Жеденева». Онъ, претерпѣвшій насиліе, становится на сторону не такого же претерпѣвшаго, а насильника. Это даже самоотверженно. Въ кн. Мещерскаго до такой степени вросло стремленіе къ оглушенію мысли всякими способами, что никакіе medicamenta heroica не могутъ его излѣчить отъ этой болѣзни. И пришлось бы, наконецъ, молча предоставить его той участи, которую онъ самъ себѣ съ такимъ упорствомъ готовитъ. Но дѣло въ томъ, что онъ заражаетъ атмосферу. Онъ давно уже окруженъ нѣкоторымъ комическимъ ореоломъ, и за послѣднее время, кажется, только гг. Половцевы и приняли его слова au serieux. Тѣмъ не менѣе, и капля, какъ извѣстно, продалбливаетъ, наконецъ, камень, и изо дня въ день (теперь ужъ, впрочемъ, не изо дня въ день) повторяемое восхваленіе кулака, какъ противовѣса мысли, оставляетъ, наконецъ, свой слѣдъ въ общественномъ сознаніи. А вѣдь кн. Мещерскій не одинъ подвизается на этомъ поприщѣ Есть и другіе органы печати, болѣе или менѣе азартно рекомендующіе кулакъ, какъ самое лучшее оружіе въ борьбѣ съ мыслью вообще, съ тою или другою не нравящеюся имъ мыслью въ частности. Этотъ рекомендуемый кулакъ не всегда, разумѣется, реаленъ, а имѣетъ и тоже своего рода «символическій» характеръ. Это во всякомъ случаѣ стремленіе не аргументомъ отвѣтить на аргументъ, а такъ или иначе зажать ротъ противнику внѣ литературными средствами. Едва ли такой образъ дѣйствія заслуживаетъ титула «тихой и важной работы мысли», и нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ, вкладывая свою лепту въ общую сокровищницу насилія и самоуправства, вызываетъ рикошеты, въ свою очередь непріятные для самихъ «поднявшихъ мечъ». Сомнѣваюсь, чтобы и все, что дѣлается въ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», заслуживало названія тихой и важной работы мысли и способствовало воспитанію общества въ смыслѣ уваженія къ литературѣ. Даже не выходя за предѣлы литературнаго эпизода, вызвавшаго оскорбленіе г-жи Гуревичъ, мы имѣемъ ея собственное признаніе, что на страницы ея журнала попало нѣчто дѣйствительно непозволительное.

Итакъ, мы, писатели, безспорно должны скорбѣть о случаяхъ съ г-жею Гуревичъ, кн. Мещерскимъ и г. Меньшиковымъ, но намъ, голосу страны, не подобаетъ себялюбивая точка зрѣнія, изолирующая эти возмутительные случаи отъ всей совокупности произвола и самоуправства, совершающихся въ родной странѣ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. А затѣмъ, намъ, писателямъ, слѣдуетъ подумать объ упорядоченіи нравовъ въ своей собственной средѣ...

Врачу, исцѣлися самъ! — скажетъ мнѣ г. Туганъ-Барановскій. Въ апрѣльской книжкѣ «Міра Божія» напечатана его статья «Экономическій факторъ и идеи», оканчивающаяся слѣдующими словами: «Не довольствуясь аргументами по существу (или, вѣрнѣе, по недостатку таковыхъ), г. Михайловскій прибѣгаетъ къ аргументамъ ad hominem. Это, разумѣется, его дѣло. Такъ, напримѣръ, онъ полагаетъ, что «для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей—сущіе пустяки»(?!). Что можно возразить на это? Состязаться съ г. Михайловскимъ на этой почвѣ я не имѣю никакого желанія. Но всему есть предѣлъ, и заявленія о грѣховности того или иного мнѣнія о факторахъ историческаго развитія («великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ») кажется мнѣ довольно неожиданнымъ на страницахъ либеральнаго журнала».

Этими словами г. Туганъ-Барановскій хочетъ сказать что-то очень ядовитое, едва, однако, мерцающее сквозь туманы «аргументовъ ad hominem» и «грѣховныхъ мнѣній». Я долженъ былъ бы, повидимому, посыпать свою посѣдѣвшую на литературной работѣ голову пепломъ и покаяться, что «Русское Богатство» не оправдало довѣрія г. Тугана-Барановскаго, а я лично, для самого себя «довольно неожиданно», встрѣтилъ такого богатыря, передъ которымъ оказались безсильными мои литературные рессурсы, и я прибѣгъ къ «лукавому кинжалу». Я могъ бы, однако, съ другой стороны, развить мысль, выраженную въ редакціонномъ примѣчаніи въ статьѣ г. Гольдштейна «Живое и мертвое», напечатанной въ той же апрѣльской книжкѣ «Міра Божія»: есть «чистая наука», которая «всегда нравственна», но есть и такіе вопросы, въ которыхъ, по мнѣнію редакціи, «можетъ быть рѣчь о нравственности или безнравственности («грѣховности»?) даннаго направленія». Но я не сдѣлаю ни того, ни другого: ни пепломъ голову свою не посыплю, ни развивать мысль редакціи «Міра Божія» не буду. Я просто возстановлю факты.

Фраза: «для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей — сущіе пустяки», дѣйствительно, есть въ моей статьѣ. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы я уподоблялъ г Тугана-Барановскаго Торкве-

мадѣ, Нерону и другимъ любителямъ жестокихъ зрѣлищъ. Напротивъ, «ad hominem» у меня говорится слѣдующее: «Онъ, я увѣренъ, совсѣмъ не такъ жестокосердъ, чтобы ему было «вполнѣ и исключительно наплевать» на 600 мучительныхъ смертей; я увѣренъ, что случись на его глазахъ что нибудь подобное, онъ съ жаромъ противопоставилъ бы свои идеи идеямъ раскольничьяго попа (рѣчь идетъ о самосожигателяхъ) и свое краснорѣчіе его краснорѣчію» («Р. Б.» № 1, стр. 54). Зачѣмъ же г. Туганъ-Барановскій такъ самъ себя безпокоитъ?

Что касается его «мнѣнія о факторахъ историческаго развитія», то я считаю это мнѣніе невѣрнымъ и одностороннимъ, но никогда не называлъ «грѣховнымъ». Косвеннымъ образомъ мнѣ пришлось въ своей статьѣ даже заступиться за это мнѣніе, ибо я говорю, что г. Туганъ-Барановскій «компрометтируетъ защищаемый имъ тезисъ», и выражаю увѣренность, что съ этимъ согласятся «всѣ сколько нибудь серьезные единомышленники г. Тугана» (ibid. 59, а также 65). Фраза: «великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ» опять таки, дѣйствительно, есть въ моей статьѣ, но она относится не къ «мнѣнію» г. Тугана-Барановскаго, а къ тому, что онъ, будучи человѣкомъ науки, способствуетъ распространенію «слѣпой вѣры», прикрывающейся «критикой» и «наукой» (ibid. 61). Но тутъ я, по крайней мѣрѣ, понимаю, почему г. Туганъ-Барановскій такъ самъ себя безпокоитъ.

По этимъ двумъ образчикамъ читатель можетъ судить вообще о полемическихъ пріемахъ г. Тугана-Барановскаго: все то онъ, по выраженію Гл. Успенскаго, «не въ то мѣсто попадаетъ». Не вижу поэтому надобности входить во всѣ подробности новаго произведенія г. Тугана-Барановскаго, да это было бы для меня и затруднительно, такъ какъ свои возраженія мнѣ онъ переплетаетъ съ возраженіями гг. Карѣеву и Оболенскому, вслѣдствіе чего его аргументація получаетъ нарочито запутанный характеръ. Не могу, однако, не воспользоваться нѣкоторыми уроками, которые онъ, въ качествѣ спеціалиста, преподаетъ мнѣ, профану.

Онъ объясняетъ: «Въ своей статьѣ я говорю, что капиталистическая организація предполагаетъ три основныхъ формы дохода: ренту, прибыль и заработную плату. Г. Михайловскій и съ этимъ не согласенъ: «не капиталистическая организація предполагаетъ 3 основныхъ формы дохода, а наука знаетъ только эти 3 формы». Повидимому, г. Михайловскій полагаетъ, что формы дохода суть не историческія, а логическія категоріи, что рента, прибыль и заработная плата существуютъ при всякой организаціи хозяйства. Было бы любопытно, если бы онъ нашелъ эти формы дохода хотя бы у прокезовъ, о которыхъ разсказываетъ Морганъ» («М. Б.» IV,

290). У ирокезовъ, о которыхъ разсказываетъ Морганъ, а также у многихъ другихъ, о которыхъ разсказываютъ многіе другіе, мы не найдемъ трехъ формъ дохода, но не въ ирокезахъ и дѣло. Г. Туганъ-Барановскій утверждалъ въ своей первой статьѣ, что «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ нихъ существуетъ», а затѣмъ, указавъ *три* формы дохода, самъ насчиталъ «въ большинствѣ *современныхъ* обществъ» «по крайней мѣрѣ *пять* классовъ». Я же, предложивъ ему прибавить къ этимъ пяти еще такъ называемые непроизводительные классы, утверждалъ и утверждаю, что, на сколько бы классовъ это современное «общество» ни дѣлилось, въ немъ все-таки будетъ не больше трехъ формъ дохода, а потому не вѣрно и общее положеніе г. Тугана-Барановскаго: «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ немъ существуетъ». Полагаю, что ссылка на ирокезовъ, о которыхъ разсказываетъ Морганъ, ничего въ этомъ моемъ утвержденіи не отмѣняетъ.

Гораздо поучительнѣе другой урокъ, преподаваемый мнѣ г. Туганъ-Барановскимъ. Если читатель припомнитъ, я обвинялъ моего почтеннаго оппонента въ томъ, что онъ «даетъ своимъ читателямъ вполнѣ извращенное понятіе объ исторической роли «отца политической экономіи», то есть, Адама Смита, выставивъ на видъ лишь «идеи» Смита о благотворномъ значеніи свободной конкурренціи и умолчавъ о его роли въ развитіи теоретическихъ основъ науки, въ частности трудовой теоріи цѣнности. *Мимоходомъ*, возражая г. Туганъ-Барановскому, я замѣтилъ: «Положимъ, что «менѣе всего» Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ, *но дѣло теперь не въ этомъ*» («Р. Б.» II, 159). Дѣйствительно, дѣло было не въ этомъ, но г. Туганъ-Барановскій, совершенно умалчивая о моемъ главномъ обвиненіи, ухватился именно за это побочное мимоходное замѣчаніе, сдѣланное, такъ сказать, въ скобкахъ, и обвиняетъ меня «въ полномъ незнакомствѣ съ предметомъ» и совѣтуетъ прочитать «Богатство народовъ». Затѣмъ онъ приводитъ двѣ-три выписки изъ книги Смита, въ которыхъ, дѣйствительно, сквозитъ неблагопріятное отношеніе къ торгово-промышленному классу и благопріятное—къ классу землевладѣльцевъ. И г. Туганъ-Барановскій побѣдоносно спрашиваетъ: «Кажется, все это достаточно ясно?» Нѣтъ, недостаточно ясно. Дѣло въ томъ, что выписать изъ обширнаго сочиненія нѣсколько строкъ еще не значитъ опредѣлить его характеръ въ цѣломъ. И я, въ свою защиту, позволю себѣ сослаться на мнѣніе человѣка, авторитетъ котораго г. Туганъ-Барановскій, надѣюсь, не станетъ отвергать. Одинъ ученый экономистъ говоритъ: «Мальтусъ, сочиненія котораго были въ высшей степени

тенденціозны и всегда преслѣдовали опредѣленную политическую цѣль, выступилъ въ защиту *землевладѣльческаго класса отъ тѣхъ нареканій въ безполезности, которымъ землевладѣльцы подвергались со стороны Адама Смита* и его учениковъ. *Такое отношеніе къ общественной роли земельной аристократіи со стороны Адама Смита вполнѣ гармонировало съ революціоннымъ характеромъ той эпохи, во время которой писалъ Ад Смитъ. Хотя Ад. Смитъ во многихъ мѣстахъ своей знаменитой книги говоритъ, что интересы торгово-промышленнаго сословія противоположны интересамъ всей націи, тѣмъ не менѣе вся книга его проникнута воззрѣніемъ, что торгово-промышленные классы представляютъ собою главную, если не единственную, силу націи».*

Цитируемый авторъ, очевидно, согласенъ со мной, а не съ г. Туганомъ-Барановскимъ. Онъ знаетъ тѣ «мѣста знаменитой книги Ад. Смита», которыя приводитъ г. Туганъ-Барановскій, но, не соблазняясь ими, говоритъ почти буквально то самое, что и я говорю: «менѣе всего Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ». И это, по мнѣнію цитируемаго автора, «вполнѣ гармонировало съ революціоннымъ характеромъ эпохи». А знаете-ли, кто этотъ авторъ, столь согласный со мной и, слѣдовательно, по мнѣнію г. Тугана-Барановскаго, подлежащій обвиненію въ «полномъ незнакомствѣ съ предметомъ»? Никто иной, какъ самъ г. Туганъ-Барановскій... Цитированное мѣсто вы можете найти на стр. 392—393 его книги «Промышленные кризисы въ современной Англіи». Вѣроятно, въ качествѣ человѣка науки, г. Туганъ-Барановскій имѣетъ два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ. Я — профанъ, и такой роскоши позволить себѣ не могу...

Не довольно-ли? Нѣтъ, еще одинъ пунктъ для характеристики полемическихъ пріемовъ г. Тугана-Барановскаго. Вы помните его удивительную диссертацію о Дарвинѣ, который, дескать, потому выбралъ предметомъ своихъ занятій естествознаніе, что того требовали практическія задачи, выдвинутыя развитіемъ крупной промышленности. Теперь г. Туганъ Барановскій возвращается къ этой темѣ и разливаетъ такое море учености и остроумія, что куда уже мнѣ вычерпать его своимъ скромнымъ ковшомъ! Для такой попытки надо быть въ веселомъ расположеніи духа. Мнѣ особенно нравится тутъ побѣдоносный вопросъ: «развѣ дѣдъ и отецъ Дарвина жили на о-вахъ Фиджи, а не въ Англіи»? Ничего не могу возразить противъ заключающейся въ этомъ вопросѣ истины. Могу только изумляться обширности познаній г. Тугана-Барановскаго и его находчивости въ спорѣ. Только вотъ что замѣчу. Г. Туганъ-Барановскій говоритъ: «Г. Михайловскій не можетъ допустить, чтобы

была какая-нибудь зависимость между изслѣдованіями Дарвина и крупной промышленностью... Г. Михайловскій съ негодованіемъ отвергаетъ самую мысль о томъ, чтобы развитіе естествознанія находилось въ какой-либо связи съ условіями хозяйства... Г. Михайловскій думаетъ, что Дарвинъ стоялъ внѣ всякаго вліянія соціальной среды»...

Да будетъ вамъ, мой многоуважаемый! Успокойтесь! Ничего подобнаго я не говорилъ. Вы почитайте. Я ужъ лѣтъ 25 тому назадъ вполнѣ опредѣленно говорилъ о связи естествознанія вообще и теоріи Дарвина въ частности съ условіями хозяйства. Да и въ той статьѣ, изъ которой вы такія удивительныя заключенія на мой счетъ вывели, есть слѣдующія строки: «Теорія пассивно механическаго подбора приспособленныхъ и переживанія, въ лютой борьбѣ за существованіе, лучшихъ и высшихъ организмовъ,—есть прямое отраженіе и какъ бы принципіальное оправданіе той бѣшеной общественной конкурренціи, въ которой развитіе крупной промышленности играетъ столь видную роль. Рекомендую эту тему г. Тугану» («Р. Б». I, 64—65). Я ему благодарнѣйшую тему рекомендую, именно о связи теоріи Дарвина съ условіями хозяйства, а онъ говоритъ, что я «съ негодованіемъ отвергаю самую мысль» о такой связи... Связь несомнѣнно есть, но г. Туганъ-Барановскій «не въ то мѣсто попалъ», утверждая, что *выборъ занятій* Дарвина опредѣлялся практическими задачами, выдвигаемыми развитіемъ крупной промышленности. Немножко сложнѣе это дѣло...

M. admit to of Darwin to social [illegible]

P 319

Недавно появилась книга М. А. Антоновича «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Это чрезвычайно почтенный трудъ, исполненный съ большою любовью, можетъ быть, даже съ чрезмѣрною любовью. Не то, чтобы Дарвинъ не заслуживалъ величайшаго почтенія, не только какъ ученый, а и какъ человѣкъ,—напротивъ, всѣ біографы единогласно говорятъ о его высокихъ нравственныхъ качествахъ. Нѣкоторые изъ нихъ утверждаютъ даже, что въ немъ «величайшій умъ соединялся съ еще болѣе высокимъ характеромъ» (Грантъ Алленъ). И не смотря на огромность вклада Дарвина въ науку, каковая огромность могла бы, повидимому, совершенно заслонить его худыя-ли, хорошія-ли личныя качества,—тѣмъ болѣе, что отъ тревогъ практической жизни онъ сторонится,—даже энциклопедическіе словари отмѣчаютъ его скромность, добросовѣстность, честность, благородство характера и т. д. Словомъ, это дѣло безспорное: біографы Дарвина всѣ безъ исключенія почтительно преклоняютъ головы передъ его нравственнымъ обликомъ. Но г. Антоновичу этого мало. Подобно тѣмъ рыцарямъ, которые, разъѣзжая по

бѣлому свѣту, намѣренно вызывали непріятности по адресу своей дамы, чтобы сразиться за ея честь, г. Антоновичъ навязываетъ біографамъ Дарвина дурные объ немъ отзывы, которые, конечно, тутъ же и опровергаетъ.

Г. Антоновичъ говоритъ: «Біографы Дарвина самымъ непозволительнымъ образомъ злоупотребляютъ его неумѣренной скромностью и его чрезмѣрно строгою требовательностью къ себѣ». Слѣдуютъ примѣры, изъ которыхъ, ради краткости, мы остановимся только на двухъ.

«Въ своей автобіографіи Дарвинъ откровенно и чистосердечно принесъ покаяніе въ томъ, что въ дѣтствѣ онъ любилъ сочинять небылицы для шутки и для эффекта. Слѣдовательно, - заключаютъ біографы,—онъ въ дѣтствѣ обнаруживалъ наклонность ко лжи. И что же это за ложь? Самая невинная продѣлка: онъ сорвалъ въ своемъ саду нѣсколько фруктовъ и спряталъ ихъ въ кустахъ, а потомъ прибѣжалъ домой и сказалъ, что онъ нашелъ въ кустахъ кучу фруктовъ, вѣроятно кѣмъ-то украденныхъ и спрятанныхъ. Ну можно-ли изъ этого выводить, что Дарвинъ въ дѣтствѣ имѣлъ страсть лгать? И вѣроятно-ли это въ человѣкѣ, вся натура котораго насквозь была пропитана правдивостью? И гдѣ это біографы видали такія отъ рожденія правдивыя натуры, которыя въ дѣтствѣ не сочиняли бы подобныхъ небылицъ и подобной лжи?—Дарвинъ разсказываетъ, что въ бытность свою въ Эдинбургскомъ университетѣ, узнавъ, что отецъ можетъ оставить ему средства, достаточныя для существованія, разлѣнился, пересталъ заниматься медициной. Слѣдовательно,—заключаютъ біографы,—онъ былъ лѣнивымъ молодымъ человѣкомъ, занимавшимся только для куска хлѣба; потому что, узнавъ о средствахъ отца, сталъ шелопайничать, предавался спорту, кутежамъ и даже однажды былъ пьянъ, какъ самъ же сознается».

Какіе, подумаешь, мелкіе и злорадные люди эти біографы!—непремѣнно норовятъ разъискать какую-нибудь слабость великаго человѣка и раздуть ее до размѣровъ, совершенно не соотвѣтствующихъ ея дѣйствительному значенію. Даже смерть великаго человѣка не заставляетъ эти ядовитые языки прилипнуть къ гортани... И какая дрянная мелочность обвиненій: 73 года человѣкъ прожилъ, и одинъ разъ выпилъ лишнее, — какой мѣдный лобъ или лицемѣрную душу надо имѣть, чтобы сдѣлать изъ этого факта упрекъ творцу «Происхожденія видовъ»? Или это уличеніе правдивѣйшаго человѣка во лживости... Да, правъ, совершенно правъ въ своемъ негодованіи г. Антоновичъ...

Нѣтъ, совершенно не правъ г. Антоновичъ. Похвальное дѣло—защита чистаго человѣка отъ не чистыхъ нападокъ; похвальное, а

вмѣстѣ съ тѣмъ и для самаго защитника лестное, особенно когда рѣчь идетъ не только о чистомъ. а и о великомъ человѣкѣ, раздвинувшемъ наши умственные горизонты и составляющемъ гордость и славу науки. Но ради этого похвальнаго и лестнаго дѣла не слѣдуетъ все-таки бросать незаслуженную тѣнь на людей, хотя бы даже и очень маленькихъ въ сравненіи съ великаномъ Дарвиномъ, но относящихся къ этому великану не менѣе почтительно,— скажу больше: не менѣе благоговѣйно. чѣмъ г. Антоновичъ. Я не знаю ни одного біографа Дарвина, который заслуживалъ бы негодованія г. Антоновича; напротивъ, какъ уже сказано, всѣ они распространяются въ похвалахъ высокимъ нравственнымъ качествамъ своего героя, хотя нѣкоторые изъ нихъ приводятъ и анекдотъ о будто бы найденныхъ фруктахъ и случай пьянства. Вопросъ въ томъ,—какъ приводятъ и какъ освѣщаютъ. Г. Антоновичъ не называетъ по имени ни одного изъ біографовъ Дарвина, возбудившихъ его негодованіе, а говоритъ вообще — «біографы», такъ что какъ будто даже всѣ они повинны въ грѣхѣ злоязычія и дрянной придирчивости. Возьмемъ же біографію, въ которой упомянутые случаи лжи и пьянства выступаютъ, повидимому, съ особенною яркостью. Это—біографическій очеркъ М. А. Энгельгардта, вошедшій въ составъ біографической библіотеки Павленкова.

Въ оглавленіи этой біографіи встрѣчаемъ такія слова: «наклонность ко лжи въ дѣтствѣ», «отлыниванье отъ науки», «посредственные успѣхи въ наукахъ». А подъ этими заголовками находимъ слѣдующее. Разсказавъ о мягкосердечіи юнаго Дарвина, г. Энгельгардтъ продолжаетъ: «Кстати упомянемъ здѣсь о другой чертѣ его характера. «Я долженъ признаться—разсказываетъ онъ въ своей автобіографіи—что въ дѣтствѣ былъ очень склоненъ выдумывать неправдопонобныя исторіи съ цѣлью возбудить переполохъ. Такъ, напримѣръ, я набралъ однажды въ саду моего отца кучу плодовъ, спряталъ ее въ кустарникъ и опрометью побѣжалъ сообщить, что я нашелъ кучу украденныхъ плодовъ». Къ этому показанію самого Дарвина біографъ прибавляетъ *только* слѣдующее: «Вотъ фактическое опроверженіе пословицы—каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку». А затѣмъ рѣчь идетъ уже совсѣмъ о другомъ (о занятіяхъ химіей). И только черезъ нѣсколько страницъ, говоря о правдивости Дарвина, біографъ замѣчаетъ: «наклонность выдумавать сенсаціонныя исторіи исчезла безслѣдно вмѣстѣ съ дѣтствомъ».

Очевидно, что, по крайней мѣрѣ, г. Энгельгардтъ отнюдь не заслуживаетъ упрековъ въ непочтительномъ или придирчивомъ упоминаніи о случаѣ съ кучей плодовъ. Онъ буквально приводитъ собственныя слова Дарвина, а отъ себя прибавляетъ только то

именно, что г. Антоновичъ предъявляетъ какъ бы въ пику злоязычнымъ біографамъ: онъ очень хорошо знаетъ, что «вся натура Дарвина насквозь была пропитана правдивостью», и именно это самое и хочетъ сказать своимъ «фактическимъ опроверженіемъ» поговорки о колыбелькѣ и могилкѣ. Скажутъ, можетъ быть, что не зачѣмъ было и упоминать о такой мелочи, при томъ столь не характерной для человѣка. Едва-ли это, однако, справедливо. Въ одномъ изъ своихъ писемъ изъ кругосвѣтнаго плаванія Дарвинъ выражаетъ сомнѣніе,— на тѣ-ли онъ факты обращаетъ вниманіе, которые его дѣйствительно заслуживаютъ. Это опасеніе очень характерно для молодого, мало подготовленнаго Дарвина, но впослѣдствіи, потому-ли, что самое это опасеніе дѣйствовало на него воспитательнымъ образомъ, или потому, что таковы ужъ были природныя свойства его ума,— Дарвинъ отличался особенною способностью замѣчать и склонностью отмѣчать факты, повидимому, чрезвычайно мелкіе, но представляющіе въ извѣстномъ освѣщеніи огромный интересъ. Въ виду этого можно съ большою увѣренностью a priori сказать, что если онъ счелъ нужнымъ внести въ свою автобіографію ту или другую психологическую черту, то она заслуживаетъ вниманія. И дѣйствительно, дѣтская лживость — явленіе очень обыкновенное, но очень мало изученное. Мотивы ея, по всей вѣроятности, имѣютъ мало общаго съ мотивами лжи у взрослыхъ людей и требуютъ особаго вниманія со стороны психологовъ и педагоговъ. Поэтому здѣсь дорого каждое наблюденіе, а признаніе Дарвина въ частности дорого именно потому, что кладетъ рѣзкую границу между дѣтскою ложью и ложью взрослыхъ людей. Я не слѣжу за педагогической литературой, но, случайно развернувъ только что вышедшую книгу Компере «Умственное и нравственное развитіе ребенка», увидалъ, что разсказъ Дарвина о будто бы найденныхъ плодахъ въ ней, худо-ли, хорошо-ли, утилизируется. И это совершенно понятно. Почемъ знать, можетъ быть отмѣченная біографомъ Дарвина «наклонность выдумывать сенсаціонныя исторіи» была зачаточной формой работы того могучаго воображенія, которое впослѣдствіи, обузданное изъ ряда вонъ выходящею наблюдательностью, позволило Дарвину обнять ходъ развитія всего органическаго міра; можетъ быть, то, что въ дѣтствѣ, за неимѣніемъ матеріала, разрѣшалась ложью, стало впослѣдствіи орудіемъ изысканія истины. Во всякомъ случаѣ фактъ остается фактомъ, и біографъ, упоминающій объ немъ собственными словами Дарвина и сопровождающій ихъ вышеприведенными оговорками, ужъ, конечно, не наноситъ никакого оскорбленія памяти великаго натуралиста.

Пойдемъ дальше. Въ томъ же біографическомъ очеркѣ г. Энгельгардта читаемъ: «Въ 1825 г., убѣдившись, что изъ школьныхъ

занятій Чарльза не выйдетъ особеннаго прока, отецъ взялъ его изъ гимназіи и отправилъ въ Эдинбургскій университетъ подготовляться къ медицинской карьерѣ. «Вскорѣ однако — говоритъ Дарвинъ—я убѣдился, что отецъ оставитъ мнѣ достаточное для жизни состояніе; этого убѣжденія было довольно, чтобы уничтожить всякое серьезное стремленіе изучать медицину». — Опять, какъ видите, подлинныя слова самого Дарвина, а отъ себя біографъ комментируетъ ихъ такъ: «Очевидно, интересъ, представляемый медициной, былъ слишкомъ узокъ и ограниченъ для Дарвина, интересовавшагося всей вообще природой». Кажется, тутъ нѣтъ умаленія достоинствъ Дарвина...

О времяпровожденіи въ Кембриджѣ нашъ біографъ разсказываетъ, между прочимъ, слѣдующее: «По вечерамъ Дарвинъ и его товарищи нерѣдко собирались и проводили время довольно весело: пѣли пѣсни, играли въ карты и при случаѣ выпивали не вполнѣ умѣренно. Объ этихъ вечерахъ у него сохранилось нѣсколько конфузливое воспоминаніе. Много лѣтъ спустя, его сынъ—еще ребенокъ—спросилъ его однажды, былъ-ли онъ когда-нибудь пьянымъ? Дарвинъ совершенно серьезно отвѣчалъ, что къ стыду своему долженъ сознаться, что однажды въ Кембриджѣ ему случилось выпить лишнее». Вотъ и все. Непосредственно за этимъ слѣдуетъ: «Добродушный, наивный, правдивый—наклонность выдумывать сенсаціонныя исторіи исчезла безслѣдно вмѣстѣ съ дѣтствомъ—онъ привлекалъ къ себѣ сердца всѣхъ знавшихъ его и имѣлъ много друзей среди студентовъ и профессоровъ».

Г. Антоновичъ не называетъ г. Энгельгардта, какъ и вообще никого изъ «біографовъ». Но я не знаю ни одного изъ нихъ,—и беру на себя смѣлость утверждать, что и нѣтъ такого, — который заслуживалъ бы упрековъ г. Антоновича въ большей мѣрѣ, чѣмъ г. Энгельгардтъ, а послѣдній ихъ, очевидно, совсѣмъ не заслуживаетъ.

Сама по себѣ эта странная неумѣстность негодованія не представляетъ чего-нибудь важнаго,—хотя все-таки, зачѣмъ же бросать тѣнь на людей неповинныхъ,—но дѣло въ томъ, что это характерно вообще для почтеннаго въ другихъ отношеніяхъ труда г. Антоновича. Если разобранный случай можетъ быть объясненъ тѣмъ страстнымъ желаніемъ засвидѣтельствовать свои чувства уваженія и преданности, которыя руководили и рыцарями въ ихъ подвигахъ въ честь своихъ дамъ, то для другихъ полемическихъ неумѣстностей въ книгѣ г. Антоновича нѣтъ и этого объясненія. Казалось бы, что тема «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія» настолько обширна, что въ книгѣ, ей посвященной можно было бы исключительно на ней сосредоточиться. А между тѣмъ г. Антоновичъ, напримѣръ, «не можетъ удержаться», чтобы не сравнить съ Дарвиномъ г-жъ

Смирнову, Головачеву-Панаеву и Виницкую (стр. 10 — 11). Разумѣется, сравненіе оказывается не въ пользу этихъ дамъ, но согласитесь, что оттѣнять на ихъ счетъ величіе Дарвина, пожалуй, и не было особенной надобности. Біографы — тѣ хоть какое-нибудь отношеніе къ Дарвину имѣютъ, а тутъ ужъ подвернулись, какъ капитану Копѣйкину, люди даже вовсе посторонняго вѣдомства: ни Дарвинъ не зналъ о существованіи упомянутыхъ русскихъ писательницъ, ни эти писательницы не сказали ничего о Дарвинѣ. А если ужъ пошло на переименованіе людей, стоящихъ въ какомъ нибудь отношеніи ниже Дарвина, то не видно, почему этотъ списокъ ограничивается всего тремя именами...

Эти странные и совершенно ненужные прыжки въ сторону производятъ особенно непріятное впечатлѣніе въ третьей главѣ труда г. Антоновича, которая по своей задачѣ представляетъ особенный интересъ для большинства читающей публики. Рѣчь здѣсь идетъ о нравственно-политическомъ значеніи теоріи Дарвина. Извѣстно, что въ этомъ отношеніи теорія Дарвина съ самаго своего обнародованія и до настоящаго времени вызывала и вызываетъ чрезвычайно горячіе споры и разнообразныя толкованія, тщательное разсмотрѣніе которыхъ могло бы составить интереснѣйшія страницы книги «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Къ сожалѣнію, эта глава одна изъ самыхъ слабыхъ, что объясняется отчасти небрежностью, съ которою отнесся къ предстоявшей задачѣ авторъ, очевидно, считая ее гораздо болѣе простою и легкою, чѣмъ какова она въ дѣйствительности, а отчасти все тѣми же ненужными прыжками въ сторону.

Изложивъ нѣкоторыя нападки на теорію Дарвина съ нравственно-политической точки зрѣнія, г. Антоновичъ продолжаетъ: «Прежде всего нужно замѣтить, что ужъ если бы теорія Дарвина, *заодно съ теоріей Маркса*, до такой степени благопріятствовала буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи и своекорыстной плутократіи, то общественные представители этихъ элементовъ и ихъ естественные защитники и покровители встрѣтили бы обѣ теоріи съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія, чего, *какъ извѣстно, на дѣлѣ не было*, а было совсѣмъ противоположное. И въ настоящее время самыми ожесточенными противниками Дарвина, какъ и Маркса, оказываются тѣ сферы, которыя служатъ опорами и столбами буржуазной эксплуатаціи и всякой экономической и политической неправды».

Я подчеркнулъ два мѣста въ этой цитатѣ, дабы обратить на нихъ особенное вниманіе читателей.

«За одно съ теоріей Маркса». При чемъ тутъ Марксъ? Третья глава книги г. Антоновича, посвященная нравственно-политиче-

скому значенію теоріи Дарвина, занимаетъ всего 7—8 страницъ. Это и безъ того не особенно много для темы, столь значительной по своему смыслу и столь обширной по прикосновенному къ ней фактическому матеріалу. А нашъ авторъ находитъ возможнымъ и нужнымъ «заодно» прихватить и «теорію Маркса», которая вѣдь и сама по себѣ представляетъ сюжетъ достаточно обширный и сложный. Было бы, разумѣется, очень интересно выслушать мнѣніе г. Антоновича объ этомъ сюжетѣ, вызывающемъ нынѣ такъ много пререканій, — это способствовало бы, можетъ быть, «просіянію нашихъ умовъ». Но при такихъ условіяхъ, когда Марксъ является просто прихваченнымъ «заодно», я боюсь, что мысли г. Антоновича могутъ способствовать только вящшей смутѣ. Онъ сочувственно дѣлаетъ большую выписку изъ книжки г. Бельтова, изъ которой, однако, только и видно, что г. Антоновичъ раздѣляетъ мнѣнія г. Бельтова, а вынутая изъ всей цѣпи аргументаціи послѣдняго, сама по себѣ эта выписка ни для кого не имѣетъ доказательной силы. Собственнымъ же мыслямъ г. Антоновича о «теоріи Маркса» остается такъ мало мѣста, что онѣ поневолѣ являются въ крайне поверхностномъ и двусмысленномъ видѣ Напримѣръ: «Тѣ же, буквально тѣ же (что и теоріи Дарвина) упреки дѣлаются и дѣлались экономической теоріи Маркса». И т. д. Г. Антоновичу, повидимому, некогда или негдѣ было на отведенномъ имъ себѣ маленькомъ пространствѣ различить «экономическую теорію» Маркса отъ его философско-историческихъ взглядовъ. А это было бы очень и очень не лишнее теперь у насъ, когда склонны совсѣмъ забывать Маркса-экономиста и видѣть въ немъ по преимуществу историка. При этомъ выяснилось бы, что хотя одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ и изучать частную область хозяйственныхъ явленій, и строить ту или другую философско-историческую схему, но его заслуги въ той и другой сферѣ могутъ быть очень различны. И во всякомъ случаѣ не годится валить то и другое въ одну кучу подъ именемъ «экономической теоріи».

Постараемся быть осторожнѣе г. Антоновича и оставимъ пока въ сторонѣ Маркса. Г. Антоновичъ полагаетъ, что «ужъ если бы теорія Дарвина до такой степени благопріятствовала буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи и своекорыстной плутократіи, то общественные представители этихъ элементовъ и ихъ естественные защитники и покровители встрѣтили бы теорію съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія, чего, *какъ извѣстно* на дѣлѣ не было, а было совсѣмъ противоположное».

Кому и откуда это «извѣстно»?

И восторги, и протесты, вызванные и вызываемые теоріей Дарвина, очень разнообразны. Тѣ вѣрныя или невѣрныя замѣчанія,

опроверженія, дополненія, ограниченія, словомъ, вся та положительная или отрицательная критика, которая имѣетъ въ виду естественно-научную сторону теоріи, насъ здѣсь пока не интересуетъ. Но и за вычетомъ этой обширнѣйшей стороны дѣла, въ предѣлахъ вопросовъ, затрогиваемыхъ третьею главою книги г. Антоновича, мы встрѣчаемъ все-таки чрезвычайное разнообразіе мнѣній о теоріи Дарвина и выводовъ изъ нея. Оставимъ и здѣсь въ сторонѣ тѣ мнѣнія и выводы, которые предъявляются противниками теоріи, и остановимся лишь на «встрѣтившихъ теорію съ распростертыми объятіями и шумными одобреніями». Читатель, надѣюсь, оцѣнитъ такую постановку вопроса. Г. Антоновичъ уподобляется вѣщему Баяну, который, «если кому хотѣлъ пѣснь творить, то растекался мыслью по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками». Въ поэзіи это выходитъ хорошо, красиво. Но когда дѣло идетъ о сложномъ явленіи въ его фактическихъ подробностяхъ, лучше не «растекаться» и не прихватывать «заодно» всего, что подъ руку попадется.

Чтобы не повторять сказаннаго уже очень давно, я попрошу читателя заглянуть въ пятый томъ моихъ «Сочиненій», въ статьи «Теорія Дарвина и соціологическіе выводы изъ нея Густава Іегера» и «Теорія Дарвина и либерализмъ». Но напомню все-таки нѣчто изъ послѣдней, написанной по поводу книги г-жи Ройе «Origine de l'homme et des sociétés» (1870). Г-жа Клемансъ Ройе—дама очень ученая и либеральная, переводчица «Происхожденія видовъ» на французскій языкъ и ярая дарвинистка. Она-то ужъ несомнѣнно встрѣтила теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и шумными одобреніями». А вотъ каковы ея нравственно-политическіе выводы изъ теоріи. Еще до появленія упомянутой книги о происхожденіи человѣка и обществъ, если не ошибаюсь, въ предисловіи къ своему переводу книги Дарвина, она горячо протестовала, во имя теоріи, противъ демократическихъ принциповъ, практическое примѣненіе которыхъ, дескать, неизбѣжно понижаетъ уровень расы. Въ книгѣ о происхожденіи человѣка и обществъ Ройе развиваетъ эту мысль въ подробностяхъ. Напомню слѣдующія характерныя ея опасенія: «Въ Нагорной проповѣди есть достаточно элементовъ для ниспроверженія всего соціальнаго строя, и въ догматѣ естественнаго равенства всѣхъ членовъ человѣческаго рода, дѣтей одного Отца, заключается отрицаніе всѣхъ жизненныхъ условій цивилизованныхъ обществъ». Что дѣло идетъ именно о сочетаніи дарвинизма съ принципомъ «буржуазной конкурренціи», это видно изъ слѣдующихъ, напримѣръ, словъ Ройе: «Изученіе законовъ, управляющихъ человѣческими дѣйствіями, показываетъ, что... нѣтъ такой нелѣпой страсти, такого страннаго каприза, который не открывалъ

бы человѣческой дѣятельности новаго поля и который не давалъ бы пропитанія извѣстному числу людей, коимъ безъ этой помощи пришлось бы погибнуть... Уничтожьте праздность, и вы уничтожите вмѣстѣ съ тѣмъ и капризъ, а слѣдовательно, люди, удовлетворявшіе его, останутся безъ работы». Или еще: «Пора, если уже не поздно, доказать массамъ, что справедливость и общее счастье состоятъ въ равенствѣ свободы и въ прогрессѣ путемъ неравенства, которое, превративъ животное въ человѣка, въ будущемъ можетъ произвести изъ людей божественную расу, которая будетъ управлять землею справедливо, въ радости и мирѣ».

Объ такой же «божественной расѣ» («тирановъ—позитивистовъ») и на той же почвѣ общихъ принциповъ дарвинизма мечталъ Ренанъ («Dialogues et fragments philosophiques»).

Д. Ф. Штраусъ, включившій дарвинизмъ въ составъ своей «новой вѣры» («Der alte und der neue Glaube», 1873), писалъ: «Знаменательно, гдѣ нашелъ свой принципъ англичанинъ (Дарвинъ): ему и не приходилось его искать, ибо онъ вокругъ себя, на своей родинѣ, видѣлъ дѣятельность и поразительные результаты этого принципа: конкурренціи. Дарвинова «борьба за существованіе» есть ничто иное, какъ давно намъ извѣстный общественный, промышленный (industrielles) принципъ, расширенный до степени принципа природы» (130) А объ себѣ Штраусъ говоритъ: «Я—буржуа (ein Bürgeicher) и горжусь имъ быть. Что бы ни говорили о буржуазіи и какъ бы ни осмѣивали ее съ двухъ сторонъ, онъ остается ядромъ народа, очагомъ его нравовъ, умножающимъ его благосостояніе, и служителемъ науки и искусства» (274). Соотвѣтственно этому относится Штраусъ и къ рабочему вопросу (279 и слѣд.).

Въ вышедшей недавно въ русскомъ переводѣ книжкѣ Гумпловича «Соціологія и политика» объясняется, что «теорія Дарвина обязана своимъ существованіемъ соціологическимъ изслѣдованіямъ Мальтуса» и что надлежитъ «эту теорію борьбы за существованіе примѣнить къ процессу соціальнаго развитія» (89). И именно въ томъ смыслѣ, что «главная пружина всей внѣшней и внутренней политики есть борьба соціальныхъ группъ за существованіе и развитіе благосостоянія путемъ эксплуатаціи, осуществляемой легче всего посредствомъ власти» (78).

Г. Антоновичъ допускаетъ существованіе «многихъ фигурирующихъ въ литературѣ полуобразованныхъ людей, которые, наслышавшись дарвиновскихъ фразъ и имѣя самыя низменныя понятія о человѣческомъ существованіи, страшно злоупотребляютъ фразою о борьбѣ за существованіе; такъ какъ по представленію такихъ людей существованіе есть единственно и исключительно только «шкура», то, по ихъ терминологіи, борьбою за существованіе называется только

та дѣятельность, которая стимулируется низменными, пошлыми и алчными цѣлями, и потому всякій негодяй и преступникъ есть борецъ за существованіе, дѣйствующій по рецепту теоріи Дарвина».

Все это совершенно вѣрно: существуютъ и такіе полуобразованные люди, и такіе негодяи. Но не въ нихъ дѣло. Ни Густавъ Іегеръ, ни Ройе, ни Ренанъ, ни Штраусъ, ни Гумпловичъ не могутъ быть названы полуобразованными людьми. Равнымъ образомъ не защищаютъ они завѣдомыхъ «негодяевъ», а къ «преступникамъ» даже очень строги (см., напримѣръ, разсужденія Штрауса о смертной казни, стр. 293 и слѣд.). И тѣмъ не менѣе ясно, что они встрѣтили теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія», видя въ ней нѣчто, «благопріятствующее буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи». Откуда же г. Антоновичу «извѣстно», что этого не было? Нѣтъ, это было и есть, и я пока только этотъ фактъ и утверждаю, не касаясь вопроса о томъ — правы или неправы люди, дѣлающіе приведенные выводы изъ теоріи Дарвина.

Надо замѣтить, что объ нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ писателей и ученыхъ г. Антоновичъ упоминаетъ въ своей книгѣ. Такъ упоминается Густавъ Іегеръ въ числѣ «солидныхъ и ученыхъ спеціалистовъ», примкнувшихъ къ теоріи Дарвина (211). О г-жѣ Ройе приводится отзывъ самого Дарвина изъ его письма къ А. Грею: «Я получилъ нѣсколько дней назадъ французскій переводъ Origin, сдѣланный мадмуазель Ройе, должно быть самою дѣльною и выдающеюся женщиной въ Европѣ: она горячая деистка... и утверждаетъ, что естественный подборъ и борьба за существованіе объяснятъ всю мораль, природу человѣка, политику и проч. и проч. Она сдѣлала много любопытныхъ и дѣльныхъ указаній и обѣщаетъ издать цѣлую книгу объ этихъ предметахъ» (325). (Эта обѣщанная книга и есть вышеупомянутая De l'origine etc.). Изъ Штрауса приведено нѣсколько строкъ, изъ которыхъ, между прочимъ, видно, что этотъ «философъ и критикъ-теологъ», какъ онъ самъ себя называетъ, считаетъ Дарвина «величайшимъ благодѣтелемъ человѣческаго рода» (323). Положимъ, въ подлинникѣ сказано немножко мягче: «*однимъ* изъ величайшихъ благодѣтелей» (als einen der grösten Wohlthäter). Но эта маленькая дань пристрастія къ сгущенію красокъ не имѣетъ, разумѣется, существеннаго значенія. Гораздо интереснѣе то, что г. Антоновичъ не только не счелъ нужнымъ, въ главѣ о нравственно-политическомъ значеніи теоріи Дарвина, упомянуть о соотвѣтственныхъ выводахъ Ройе или Штрауса, не только скрылъ ихъ, но даже утверждаетъ, что таковыхъ, «какъ извѣстно», вовсе и не было со стороны тѣхъ, кто встрѣтилъ теорію

«съ распростертыми объятіями и шумными криками одобренія». А между тѣмъ въ существованіи отрицаемыхъ имъ явленій г. Антоновичъ могъ бы убѣдиться даже изъ приведенныхъ имъ словъ г. Бельтова: «Буржуазные писатели,—гласитъ, между прочимъ, эта цитата, — ссылаясь на Дарвина, въ дѣйствительности рекомендовали своимъ читателямъ не *научные пріемы Дарвина, а только звѣрскіе инстинкты* тѣхъ животныхъ, о которыхъ у Дарвина шла рѣчь. Марксъ сходится *съ Дарвиномъ*; буржуазные писатели *сходятся*(?) *съ звѣрями и скотами, которыхъ изучалъ Дарвинъ*». Курсивъ въ этой цитатѣ принадлежитъ г. Бельтову, а вопросительный знакъ—г. Антоновичу. Не знаю, къ чему относится выражаемое этимъ вопросительнымъ знакомъ недоумѣніе г. Антоновича: къ неудачно ли выбранному слову «сходятся» или къ самой мысли о томъ, что «со звѣрями и скотами» сходятся такіе писатели, какъ, напримѣръ, г-жа Ройе, которую Дарвинъ считалъ «самою дѣльною и выдающеюся женщиною въ Европѣ». Вы видите, что дѣло выходитъ несравненно сложнѣе, чѣмъ у г. Антоновича съ его рѣшительнымъ «какъ извѣстно».

Но сложность картины отношеній людей разныхъ взглядовъ къ теоріи Дарвина со стороны ея нравственно-политическаго значенія этимъ еще далеко не исчерпывается. Г. Бельтовъ не первый дѣлаетъ вышеприведенное сближеніе. Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ (въ 1874 г.) Леопольдъ Якоби утверждалъ въ книгѣ «Die Idee der Entwickelung», что «Капиталъ» есть «продолженіе и дополненіе» трудовъ Дарвина. Въ самое недавнее время то же самое доказываетъ Бебель въ книгѣ «Die Frau» etc. Такимъ образомъ, и люди взглядовъ совершенно противоположныхъ взглядамъ Ройе и т. п. устанавливаютъ связь своего ученія съ теоріей Дарвина. Однако, противъ этого рѣзко протестуютъ многіе натуралисты. Изъ нихъ особенно интересно отмѣтить Эрнста Геккеля, котораго г. Антоновичъ справедливо называетъ «самымъ энергичнымъ и успѣшнымъ, самымъ горячимъ и воинственнымъ пропагандистомъ» дарвинизма. Самъ Дарвинъ высоко цѣнилъ Геккеля. Напримѣръ, онъ писалъ этому апостолу дарвинизма по поводу одного изъ сочиненій послѣдняго: «Что меня больше всего поражаетъ, это необыкновенная ясность и методичность въ изложеніи, какъ менѣе важныхъ принциповъ, такъ и общей философіи предмета. Ваша критика борьбы за существованіе представляетъ прекрасный примѣръ того, до какой степени ваши мысли яснѣе, чѣмъ мои. Все ваше разсужденіе о дистелеологіи привело меня въ восторгъ. Но было бы напрасно искать чего-нибудь особенно выдающагося; все кажется мнѣ превосходнымъ» (Антоновичъ, 219, 220). И этотъ дарвинистъ изъ дарвинистовъ самымъ рѣшитель-

нымъ образомъ высказывается противъ возможности сближенія соціалъ-демократическаго ученія съ теоріей Дарвина («Der Monismus als Band Zwischen Religion und Wissenschaft», 1892). Столь же опредѣленно высказывается на этотъ счетъ другой выдающійся нѣмецкій дарвинистъ, зоологъ Оскаръ Шмидтъ («Darwinismus und Socialdemocratie», 1878), затѣмъ антропологъ Отто Аммонъ («Der Darwinismus gegen die Socialdemocratie», 1891), зоологъ Циглеръ («Die Naturwissenschaft und die socialdemocratische Theorie, 1894).

Это упорное нежеланіе дарвинистовъ стоять «заодно» съ тѣмъ, что они считаютъ непримиримымъ съ основными принципами дарвинизма, вызвало у Бебеля рѣзкія замѣчанія на ту тему, что представители науки («проф. Геккель и его сторонники, какъ проф. О. Шмидтъ, Гельвальдъ и другіе») состоятъ на службѣ у буржуазіи, которая оплачиваетъ ихъ старанія защитить ея интересы авторитетомъ науки. Г. Антоновичъ такъ горячо говоритъ о безстрашіи Геккеля въ борьбѣ со всякаго рода предразсудками и общепринятыми взглядами, что едва-ли согласится съ Бебелемъ. Но допустимъ, что Бебель правъ. Все же не правъ г. Антоновичъ.

Я думаю, что послѣ нашего очень бѣглаго и, разумѣется, далеко не полнаго обзора литературы предмета, намъ извѣстно совсѣмъ не то, что считаетъ извѣстнымъ г. Антоновичъ. Теорія Дарвина, помимо подтвержденій, дополненій, ограниченій и опроверженій на чисто естественно-научной, преимущественно біологической почвѣ, вызвала самыя противорѣчивыя сужденія въ примѣненіи къ общественной жизни. Не считая тѣхъ, кто либо совсѣмъ не признаетъ истинности теоріи, либо принимаетъ ее съ ограниченіями и дополненіями, либо, наконецъ, безъ всякаго къ ней отношенія изучаетъ общественную жизнь (вѣдь и авторъ «Капитала» всего раза два, да и то вскользь, мимоходомъ поминаетъ Дарвина); ограничиваясь лишь тѣми, кто цѣликомъ поминаетъ теорію и старается приложить ее къ явленіямъ общественной жизни,—мы и здѣсь встрѣчаемъ самыя рѣзкія и непримиримыя разногласія. Г. Антоновичъ говоритъ гдѣ-то въ своей книгѣ, что весь образованный міръ раздѣляется нынѣ на дарвинистовъ и не-дарвинистовъ. Это вѣрно или почти вѣрно, какъ указаніе на общее значеніе и широкое распространеніе теоріи, съ которой приходится такъ или иначе считаться всякому образованному человѣку, а тѣмъ паче людямъ науки: но это даетъ слишкомъ уже упрощенное представленіе о совокупности фактовъ, которымъ подводится итогъ приведенною фразою. Въ примѣненіи къ вопросамъ общественной жизни группа «дарвинистовъ» такъ же неоднородна, какъ и группа «не-дарвинистовъ». Какъ

разсказывается въ сказкахъ: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. Внѣ теоріи Дарвина, совершенно отъ нея независимо, происходитъ извѣстная борьба мнѣній, та же, буквально та же борьба идетъ и подъ сѣнью теоріи. Кто изъ враждующихъ правъ въ своихъ притязаніяхъ найти опору въ теоріи Дарвина и даже правъ-ли кто бы то ни было изъ нихъ въ своихъ толкованіяхъ теоріи, и нѣтъ-ли еще какой-нибудь точки зрѣнія, которая способна дать правильное освѣщеніе вопросу,—это насъ теперь не занимаетъ; тѣмъ болѣе, что собственное г. Антоновича на этотъ счетъ мнѣніе, признаюсь, осталось для меня неяснымъ. Остановиться же на третьей главѣ труда г. Антоновича я счелъ нужнымъ вотъ по какимъ соображеніямъ.

Нынѣ чаще, чѣмъ когда-нибудь, можно встрѣтить въ печати указанія на необходимость «объективнаго» отношенія къ фактамъ, при чемъ подъ объективностью разумѣется точность воспроизведенія фактовъ, какъ бы они ни были для насъ пріятны или непріятны. Это, разумѣется, прекрасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и элементарное правило, обязательное для всѣхъ и каждаго. Примѣненіе его не составляетъ даже, собственно говоря, заслуги; оно признается заслугою только при сопоставленіи съ нарушеніями правила. Тѣмъ не менѣе, напоминаніе объ этомъ элементарномъ правилѣ необходимо и полезно. Къ сожалѣнію, напоминающіе часто не по надлежащему адресу направляютъ свои поученія и столь же часто, иногда даже въ самый моментъ поученія, сами же и нарушаютъ преподаваемое ими правило. Такъ именно поступаетъ и г. Антоновичъ. Онъ много говоритъ о необходимости объективнаго отношенія къ фактамъ и горячо обличаетъ тѣхъ, кто ихъ извращаетъ въ угоду какой-нибудь моральной теоріи. Одно изъ его разсужденій на эту тему я приведу.

«Въ исторіи встрѣчаются крайне непріятныя вещи, возмущающія нравственное или эстетическое чувство, и историческія событія часто принимаютъ оборотъ крайне нежелательный и возмутительный для самого историка. Однако же историкъ долженъ бываетъ изображать этотъ оборотъ такимъ, каковъ онъ былъ, и никто не подумаетъ обвинять за это историка и исторію въ безнравственности или безсердечности, или давать предпочтеніе другому историку, который изображаетъ этотъ оборотъ не такъ, какъ онъ совершился, а такъ, чтобы онъ соотвѣтствовалъ нашимъ личнымъ моральнымъ и эстетическимъ симпатіямъ... Трезвое изслѣдованіе безжалостно разрушало теоріи, не соотвѣтствующія суровой дѣйствительности, и считало ихъ просто фантазіями, годными только для умовъ, не имѣющихъ мужества прямо взглянуть въ глаза дѣйствительности, *при-*

знать ее, какъ она есть, и потомъ уже сообразовать съ нею свои чувства и вкусы».

Если бы не нѣкоторая двусмысленность подчеркнутыхъ мною строкъ (объ нихъ скажу особо), то оставалось бы только сказать: вотъ золотыя слова! Къ сожалѣнію, однако, это только слова, отъ осуществленія которыхъ на дѣлѣ самъ г. Антоновичъ очень далекъ. «Суровая дѣйствительность», между прочимъ, такова, что среди представителей «буржуазной эксплуатаціи и всякой экономической и политической неправды» нашлось немало людей, встрѣтившихъ теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія». Но г. Антоновичъ «не имѣетъ мужества прямо взглянуть въ глаза дѣйствительности» и изображаетъ этотъ «крайне нежелательный и возмутительный для него оборотъ не такимъ, каковъ онъ былъ, а такъ, чтобы онъ соотвѣтствовалъ его, г. Антоновича, личнымъ моральнымъ симпатіямъ». Онъ просто отрицаетъ фактъ, утверждая, что его, «какъ извѣстно, не было». Это эпизодъ очень характерный для людей, требующихъ «объективнаго отношенія къ фактамъ».

Но подъ объективизмомъ разумѣется иногда еще не только точное, а и безстрастное констатированіе факта. И въ этомъ отношеніи очень характерны подчеркнутыя мною строки. Я прошу сопоставить ихъ со слѣдующими словами г. Антоновича въ той-же третьей главѣ: «Трезвый естествоиспытатель, изучающій природу, старается познать и полюбить ее, какъ она есть фактически, считая идеальную природу фантазіей, а моральные укоры—по меньшей мѣрѣ излишними» (93). «Идеальная» природа очевидно, значитъ, здѣсь выдуманная, сочиненная, и такая природа есть, конечно, фантазія. Познавать природу слѣдуетъ, конечно, «какъ она есть фактически», иначе это вовсе и не познаніе будетъ. Но почему мы должны «стараться полюбить» природу? Она въ этомъ вовсе не нуждается. Это уже нѣкоторый субъективный элементъ, и если онъ допущенъ въ формѣ «любви», то совершенно непонятно, почему онъ изгоняется въ формѣ не-любви. «Моральные укоры» по адресу природы, конечно, «излишни» въ утилитарномъ смыслѣ, но столь же излишни и восхваленія, естественно сопряженныя съ «любовью». Истинный, вполнѣ послѣдовательный объективизмъ въ смыслѣ безстрастнаго констатированія фактовъ (если бы таковое было всегда и во всѣхъ случаяхъ возможно) одинаково отвергаетъ и порицаніе и хвалу, и ненависть и любовь. Но въ сторону любви и хвалы, оказывается, дѣлаются поблажки. Такъ относительно природы, такъ и относительно исторической дѣйствительности: мы должны «признать ее, какъ она есть, и потомъ уже *сообразовать* съ нею свои чувства и вкусы». Но вѣдь «сообразовать» свои вкусы и симпатіи съ исто-

рической дѣйствительностью можно и въ положительномъ, и въ отрицательномъ направленіи. Разумѣется, надо узнать дѣйствительность, какъ она есть, но затѣмъ вѣдь не обязательно же непремѣнно «любить» ее? или обязательно?

Въ заключеніе—«веселенькій пейзажикъ».

Въ «Волжскомъ Вѣстникѣ», въ трехъ №№ (56, 57 и 62), напечатана статья г. Рейнгардта о Кетле. Рѣчь идетъ, между прочимъ, о приложеніи математики къ фактамъ общественной жизни.

«Означенный пріемъ можетъ привести къ весьма интереснымъ результатамъ, выяснивъ, напримѣръ, появленіе на исторической аренѣ такихъ соціальныхъ элементовъ, которые опредѣляютъ характеръ эпохи вслѣдствіе своей силы и вліянія. Сила же каждаго соціальнаго элемента обусловлена не только его юридическимъ положеніемъ, но главнымъ образомъ количествомъ солидарныхъ особей и матеріальнымъ богатствомъ, т. е. такими факторами, которые подчиняются вычисленію. Такъ какъ вычисленіе можетъ опредѣлить появленіе такой группы лицъ, матеріальное значеніе которой должно оказать весьма существенное вліяніе на всю массу народа, вліяніе, предъ которымъ значеніе другихъ факторовъ сведется къ весьма ничтожнымъ причинамъ, то этотъ пріемъ можетъ совершенно точно разрѣшить волнующій въ настоящее время очень многихъ вопросъ: пойдетъ-ли Россія въ экономической жизни тѣмъ же путемъ, какимъ пошла Западная Европа, или другимъ».

Что Россія пойдетъ въ экономической жизни по пути Западной Европы, это, конечно, вполнѣ возможно. Но чтобы г. Рейнгардтъ могъ «совершенно точно» разрѣшить этотъ вопросъ при помощи математики,—въ этомъ я позволю себѣ сильно сомнѣваться. Въ пользу такого сомнѣнія говоритъ уже то обстоятельство, что г. Рейнгардтъ такъ и не далъ разрѣшенія, а только сказалъ: «могу». «Я все могу, могущественный я человѣкъ»,—говоритъ кто-то изъ темнаго царства Островскаго. Вѣрю, что г. Рейнгардтъ могущественный человѣкъ, но все-таки подожду пока онъ дастъ обѣщанное рѣшеніе. А пока отмѣчу слѣдующее. Г. Рейнгардтъ припоминаетъ извѣстныя слова Ог. Конта, что къ фактамъ общественной жизни слѣдуетъ относиться безъ восхищенія и осужденія. Слова эти часто цитируются съ почтеніемъ, но весьма рѣдко воплощаются въ дѣло. Еще недавно слышалъ я ихъ отъ одного пріѣзжаго просвѣщеннаго провинціала, который и вообще разсуждалъ чрезвычайно сходно съ тѣмъ, что говоритъ г. Рейнгардтъ въ статьѣ о Кетле: точно онъ ее только что прочиталъ и цѣликомъ воспринялъ, буква въ букву. Но затѣмъ зашелъ какъ-то разговоръ о новой формѣ чиновниковъ од-

ного министерства, и я не узналъ своего просвѣщеннаго знакомаго: онъ волновался до чрезвычайности, осуждая реформу, и горячо обвинялъ меня въ «деморализаціи» за то, что я, по привычкѣ-ли петербургскаго жителя къ обилію и разнообразію мундировъ или, можетъ быть, по индеферентизму къ этого рода фактамъ,—изумлялся его волненію. Конечно, его горячая рѣчь не была научнымъ изслѣдованіемъ, но онъ стоялъ на научной почвѣ, ибо обсуждалъ реформу въ сферѣ причинъ и слѣдствій явленія. Каково же было мое удивленіе, когда недавно я получилъ отъ него письмо, въ которомъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, повторяетъ слова Ог. Конта: факты общественной жизни не подлежатъ ни восхищенію, ни осужденію, ибо, говоритъ, можно математическимъ пріемомъ и т. д. Но я ему не повѣрилъ. Я подумалъ: ты говоришь о безстрастной математикѣ только тогда, когда ходъ вещей представляется тебѣ выгоднымъ или когда дѣло тебя не касается, а какъ только тебя непріятно задѣнетъ даже совершенный пустякъ, изъ спокойной лазури твоего объективизма загремитъ громъ и засверкаетъ молнія.

XV *).

Въ послѣдній разъ о г. Туганѣ-Барановскомъ.—О г. К. М—скомъ, г. К. Медвѣдскомъ и политическомъ доносѣ.—О книгѣ Кидда.

«Русская Мысль» (апрѣль, библіографическій отдѣлъ) замѣчаетъ, что я «въ своей полемикѣ съ г. Туганъ-Барановскимъ повторяю старые аргументы, правда, совершенно пригодные для пораженія такого слабаго противника, какъ г. Туганъ-Барановскій, но наврядъ ли убѣдительные для болѣе солидныхъ приверженцевъ гипотезы». Надѣюсь, что существуютъ «болѣе солидные приверженцы», не нуждающіеся въ тѣхъ элементарныхъ урокахъ, которые мнѣ пришлось преподать г. Тугану-Барановскому, но я вѣдь и заявилъ, что г. Туганъ-Барановскій «компрометируетъ» защищаемую имъ гипотезу, и «болѣе солидные приверженцы» могутъ быть только благодарны мнѣ. Остановился же я на г. Туганѣ-Барановскомъ совсѣмъ не потому, что пріятно имѣть дѣло «со слабымъ противникомъ»,—это, напротивъ, очень скучно,—а по слѣдующимъ причинамъ. Во-первыхъ, г. Туганъ-Барановскій есть признанный человѣкъ науки: онъ можетъ сказать о себѣ, какъ Фаустъ: heisze Magister, а въ свое время получитъ, вѣроятно, право и докончить фразу: heisze Doktor gar. Это придаетъ его описаніямъ извѣстную внѣшнюю авторитетность. Во-вторыхъ, на примѣрѣ г. Тугана-Барановскаго было особенно удобно показать, на какія удивительныя вещи можно наткнуться, если стремительно бѣжать, зажмуря глаза,—иначе говоря: если усвоить себѣ извѣстныя положенія на вѣру, не утруждая себя критикою и ознакомленіемъ съ другими взглядами на тотъ же предметъ. Во второй, полемической статьѣ г. Туганъ-Барановскій обнаружилъ еще одно достойное вниманія свойство, представляющее въ немъ, впрочемъ, кажется, отраженіе въ области полемическихъ пріемовъ той же слабости критическаго элемента мысли. Свойство это не составляетъ исключительной при-

---

*) Май 1896 г.

надлежности г. Тугана-Барановскаго и даже очень распространено у насъ, но, благодаря простодушію г. Тугана-Барановскаго, у него оно особенно удобно вскрывается. Это именно талантъ, умѣнье или склонность «не въ то мѣсто попадать». И такъ какъ въ майской книжкѣ «Міра Божія» г. Туганъ-Барановскій продолжаетъ не въ то мѣсто попадать, то я считаю нужнымъ нѣсколько дольше остановиться на этомъ полемическомъ пріемѣ.

Напомню одно изъ замѣчательнѣйшихъ разсужденій въ первой статьѣ г. Тугана-Барановскаго.

«Въ средніе вѣка самые сильные умы посвящали себя теологіи и изощрялись въ безплодныхъ усиліяхъ понять и объяснить то, что по самому существу своему необъяснимо. Теперь во главѣ наукъ стоитъ естествознаніе. Почему же блаженный (beatus) Августинъ изучалъ не природу, а Дарвинъ не сдѣлался теологомъ? Не вслѣдствіе своей индивидуальности, а просто потому, что Августинъ жилъ въ то время, когда теологія господствовала надъ умами человѣчества и заключала въ себѣ всѣ знанія и философію эпохи, а Дарвинъ жилъ въ наше время, когда крупная промышленность преобразовала хозяйство и на первый планъ выдвинулись практическія задачи, разрѣшеніе которыхъ невозможно безъ познанія законовъ природы».

Я замѣтилъ на это, что силлогизмъ: Августинъ занимался теологіей, потому что теологія господствовала надъ умами — не дорого стоитъ и при томъ не имѣетъ никакого смысла, какъ параллель умозаключеніямъ автора относительно Дарвина. Что же касается этого послѣдняго, то свести причины, по которымъ онъ выбралъ предметомъ своего изученія природу, къ развитію крупной промышленности,—нѣтъ никакой возможности. Тутъ, какъ и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, дѣйствовала цѣлая сложная сѣть вліяній наслѣдственности, воспитанія, чтенія, знакомствъ, случайныхъ событій и впечатлѣній и проч., въ цѣломъ составляющихъ личную жизнь Дарвина. И я просилъ г. Тугана-Барановскаго объяснить мнѣ: если Дарвинъ изучалъ природу потому, что «крупная промышленность преобразовала хозяйство», то почему же не сдѣлались естествоиспытателями многіе другіе сильные умы нашего времени, какъ Гладстонъ, Марксъ и проч., и проч. Въ виду азбучной ясности всего этого г. Тугану-Барановскому надлежало либо совсѣмъ отступиться отъ своего тезиса о Дарвинѣ путемъ откровеннаго признанія его неосновательности или хоть умолчанія объ немъ, либо же какъ нибудь наново обосновать его, если это возможно. Г. Туганъ-Барановскій не сдѣлалъ ни того, ни другого въ своей второй, полемической статьѣ, а принялся съ чрезвычайнымъ усердіемъ не въ то мѣсто попадать. Я прошу у читателя внима-

нія; не потому, чтобы пререканія съ столь слабыми, по выраженію «Русской Мысли», противниками сами по себѣ представляли большой интересъ, а потому, что дѣло идетъ о полемическомъ пріемѣ, очень распространенномъ. Возраженія г. Тугана-Барановскаго могутъ быть сведены къ двумъ типамъ: въ однихъ случаяхъ онъ не въ то мѣсто попадаетъ, потому то говоритъ фактическую неправду, въ другихъ потому, что несомнѣнную правду ненадлежащимъ образомъ пристраиваетъ. Образцы перваго типа я предъявлялъ въ прошлый разъ, но приведу и еще. Онъ пишетъ: «Разумѣется, я не говорилъ вздора, приписываемаго мнѣ г. Михайловскимъ, будто теперь всѣ занимаются естествознаніемъ». Дѣйствительно, *этого* вздора г. Туганъ-Барановскій не говорилъ, но я ему и не приписывалъ его, — эта прямая неправда. Я, напротивъ (именно напротивъ), упрекалъ его въ томъ, что онъ *забылъ*, *упустилъ изъ вида* «всѣхъ» выдающихся современниковъ, не занимающихся естествознаніемъ. Образцы второго типа: дѣдъ и отецъ Дарвина жили не на островахъ Фиджи... Вотъ это — правда, несомнѣнная правда: но если бы г. Туганъ-Барановскій взялъ на себя мало полезный трудъ перечислить даже всѣ острова, на которыхъ не жили отецъ и дѣдъ Дарвина, даже если бы онъ прихватилъ въ этомъ перечнѣ и всѣ полуострова,—вся эта правда ничего не говорила бы въ пользу его тезиса. Ибо не въ томъ этотъ тезисъ состоялъ, что жизнь родины такъ или иначе вліяла на Дарвина, съ этимъ я не сталъ бы спорить, и теперь, конечно, не спорю, а только обращаю вниманіе моего почтеннаго оппонента на разнообразіе вліяній родины: сынъ той же родины и современникъ Дарвина Гладстонъ занимается не естествознаніемъ, а практической политикой и богословскими вопросами. Но г. Туганъ-Барановскій забылъ свой тезисъ и сыплетъ фактами, цитатами, сентенціями, вопросами и отвѣтами, не имѣющими ровно никакого отношенія къ этому тезису. «Почему г. Михайловскій думаетъ, что Дарвинъ стоялъ внѣ всякаго вліянія соціальной среды?» Прежде всего г. Михайловскій этого вовсе не думаетъ и, напротивъ, много разъ указывалъ на это вліяніе. А затѣмъ, если бы г. Михайловскій это и думалъ, то изъ этого все-таки не слѣдуетъ, что Дарвинъ изучалъ природу потому, что крупная промышленность преобразовала хозяйство. «Гербертъ Спенсеръ, въ своемъ опытѣ «The Genesis of Science», указываетъ на тѣсную связь промышленныхъ искусствъ съ науками». «Развитіе естествознанія немыслимо безъ лабораторій, обсерваторій, опытныхъ станцій и другихъ спеціальныхъ приспособленій, нерѣдко требующихъ громадныхъ денежныхъ затратъ». «Проф. Тимирязевъ указываетъ на вліяніе раціональной медицины на успѣхи физіологіи животныхъ». И т. д., и т. д. Все это рядъ

* i.e. implies that such ... only where ...

столь же несомнѣнныхъ истинъ, какъ и то, что дѣдъ и отецъ Дарвина жили не на островахъ Фиджи: и Гербертъ Спенсеръ указываетъ, и проф. Тимирязевъ указываетъ, и обсерваторію нельзя безъ денегъ выстроить. Но ни одна изъ этихъ истинъ не подтверждаетъ тезиса: Дарвинъ выбралъ предметомъ изученія естествознаніе потому, что крупная промышленность преобразовала хозяйство; равнымъ образомъ ни одна изъ нихъ не отвѣчаетъ на вопросъ: почему Гладстонъ, Марксъ, Гюго и прочіе выдающіеся современники избѣжали того толчка къ естествознанію, который развитіе крупной промышленности дало Дарвину? А между тѣмъ наговорено много, и иной невнимательный или непроницательный читатель, пожалуй, скажетъ: да, это—возраженіе, настоящее, солидное возраженіе, потому что вѣдь дѣйствительно дѣдъ и отецъ Дарвина не на островахъ Фиджи жили, дѣйствительно обсерваторіи нельзя строить безъ денегъ. Этотъ полемическій пріемъ пускается иногда въ ходъ съ коварною цѣлью обморочить читателей, отвлечь ихъ вниманіе отъ предмета спора, а иногда вполнѣ простодушно. Въ г. Туганѣ-Барановскомъ я коварства не подозрѣваю. Дѣло, однако, въ томъ, что всякій простодушный писатель можетъ найти еще болѣе простодушныхъ читателей, которые ему повѣрятъ, и при неизлѣчимыхъ формахъ простодушія тутъ уже, конечно, ничего не подѣлаешь. Но всякій, не зараженный этою добродѣтелью, безъ труда увидитъ, что вся полемическая статья г. Тугана-Барановскаго переполнена такими, не попадающими въ цѣль выстрѣлами, хотя они не всегда такъ многословны, какъ въ случаѣ съ Дарвиномъ. Иногда, напротивъ, его реплики, сохраняя свое свойство не въ то мѣсто попадать, даже черезчуръ кратки.

Я подивился, что г. Туганъ-Барановскій оставилъ безъ вниманія философско-историческіе взгляды Конта, Милля и Бокля и привелъ изъ Милля любопытную страницу, въ которой не только не отрицается экономическій факторъ въ исторіи, а, напротивъ, придается ему первенствующее значеніе, и тѣмъ не менѣе за primus agens исторической эволюціи принимается интеллектуальный элементъ, — характеръ идей и вѣрованій, объемъ знаній. Эту свою прорѣху г. Туганъ-Барановскій заштопываетъ во второй статьѣ такъ: «Если я ничего не сказалъ о Контѣ, Миллѣ и Боклѣ, разбирая историческія теоріи, выдвигавшія на первый планъ разумъ и просвѣщеніе, то на это я имѣлъ свои причины: ученіе о роли «критически-мыслящей личности» въ историческомъ процессѣ, которое я *главнымъ образомъ* (курсивъ мой. Н. М.) имѣлъ въ виду, имѣетъ очень мало общаго съ взглядами трехъ названныхъ мыслителей».

Чужая душа—потемки, и, можетъ быть, г. Туганъ-Барановскій

въ тайникахъ своей души дѣйствительно имѣлъ въ виду *главнымъ образомъ* ученіе о роли критически-мыслящей личности. Но на дѣлѣ онъ посвятилъ этой теоріи всего нѣсколько строкъ (что, впрочемъ, не помѣшало ему извратить ее и на этомъ маломъ пространствѣ), а затѣмъ онъ говоритъ въ своей статьѣ и о древнихъ лѣтописяхъ, и о Карлейлѣ, и о Луи Бланѣ, Вольтерѣ, Руссо, Адамѣ Смитѣ, Бентамѣ, дѣятеляхъ революціи, утопистахъ и проч., и проч. Все это онъ, значитъ, попадалъ не въ то мѣсто, которое имѣлъ въ виду «главнымъ образомъ». А вотъ въ Конта, Милля и Бокля не попалъ, потому что, говоритъ, и не хотѣлъ попадать... Это очень жалко. Онъ и продолжаетъ не попадать. Вторая, полемическая его статья озаглавлена: «Экономическій факторъ и идеи». Ученіе о роли критически-мыслящей личности въ ней уже совсѣмъ не затрогивается, но и на этомъ просторѣ г. Туганъ-Барановскій не считаетъ нужнымъ коснуться того сочетанія «экономическаго фактора и идей», которое я предложилъ его вниманію въ цитатѣ изъ Милля.

Такова вся статья г. Тугана-Барановскаго; таковы всѣ его возраженія, которыя онъ, кажется, серьезно считаетъ «аргументами по существу»...

Изъ ученыхъ подвиговъ г. Тугана-Барановскаго, отмѣченныхъ мною въ прошлый разъ, онъ счелъ возможнымъ разъяснить въ майской книжкѣ «Міра Божія» только одинъ. Мнѣ очень пріятно, что краткость этого разъясненія позволяетъ перепечатать его цѣликомъ. Вотъ оно отъ слова до слова:

Въ статьѣ «Экономическій факторъ и идеи» («Міръ Божій», апрѣль) я привелъ нѣсколько выдержекъ изъ «Богатства народовъ» Смита, изъ которыхъ, по моему мнѣнію, вполнѣ ясно, какому общественному *классу* (курсивъ мой, Н. М.) Смитъ «менѣе всего сочувствовалъ», а именно, *купцамъ и фабрикантамъ*. Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» г. Михайловскій противъ этого возражаетъ и приводитъ нижеслѣдующую цитату изъ моей книги «О кризисахъ»:

«Мальтусъ, сочиненія котораго были въ высшей степени тенденціозны и всегда преслѣдовали опредѣленную политическую цѣль, выступилъ въ защиту землевладѣльческаго класса отъ тѣхъ нареканій въ безполезности, которымъ землевладѣльцы подвергались со стороны Адама Смита и его учениковъ. Такое отношеніе къ общественной роли земельной аристократіи Адама Смита вполнѣ гармонировало съ революціоннымъ характеромъ той эпохи, когда писалъ Ад. Смитъ. Хотя Смитъ во многихъ мѣстахъ своей знаменитой книги говоритъ, что интересы торгово-промышленнаго *сословія* противоположны интересамъ всей націи, тѣмъ не менѣе вся книга его проникнута воззрѣніемъ, что торгово-промышленные *классы* представляютъ собою главную, если не единственную силу націи»..

Эта цитата даетъ поводъ г. Михайловскому сказать:

«Вѣроятно, въ качествѣ человѣка науки, г. Туганъ-Барановскій имѣетъ два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ. Я— профанъ и такой роскоши позволить себѣ не могу».

Внимательный читатель легко замѣтитъ, что «сословіе» и «классы» не одно и то же. Интересы торгово-промышленнаго *сословія* (т. е. купцовъ и фабрикантовъ) Смитъ признавалъ противоположными общественнымъ: но торгово-промышленные *классы* (т. е. купцы, фабриканты *и рабочіе*) признавались Смитомъ важнѣйшей силой націи. Но дѣло не въ этомъ. Развѣ признавать силой ту или иную общественную группу, это значитъ сочувствовать ей? Врядъ ли кто-либо будетъ отрицать, что буржуазія является крупной силой въ Западной Европѣ, а въ извѣстныя эпохи являлась и господствующей силой. Слѣдуетъ ли изъ этого, что буржуазія пользуется всеобщимъ сочувствіемъ?

Если я скажу, что въ настоящее время самая могущественная военная держава Германія—равносильно ли это выраженію моего сочувствія Германіи? Почему же г. Михайловскій изъ моего указанія, что Смитъ признавалъ силу купцовъ и фабрикантовъ, заключаетъ объ его сочувствіи имъ? Наоборотъ, именно, потому, что Смитъ зналъ силу этого общественнаго класса, онъ относился къ нему съ такой враждебностью, какъ можно убѣдиться хотя бы изъ нижеслѣдующихъ словъ А. Смита.

«Правда, надѣяться на полную свободу торговли въ Великобританіи было бы такимъ же безуміемъ, какъ ожидать осуществленія въ ней республикъ Утопіи или Океаніи. Не только общественные предразсудки, но что побѣдить всего труднѣе, частныя выгоды многихъ отдѣльныхъ лицъ представляютъ въ этомъ отношеніи неодолимую преграду.

... Въ настоящее время опасна самая ничтожная попытка противъ монополіи фабрикантовъ надъ всѣмъ обществомъ. Монополія та до того усилила число людей въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ производствахъ, что они представляютъ какъ бы многочисленную армію, всегда готовую къ отпору, страшную для правительства и при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ наводившую страхъ на само законодательство.

... Если членъ парламента выскажется противъ монополіи, то ничто не предохранитъ его отъ клеветы, личныхъ оскорбленій, но даже отъ дѣйствительной опасности со стороны негодующей и обманутой алчности наглыхъ монополистовъ». («Богатство народовъ», кн IV, глава II).

Что же касается до землевладѣльцевъ, то Смиту принадлежитъ извѣстная фраза, что они «собираютъ плоды тамъ, гдѣ не сѣяли», но, тѣмъ не менѣе, въ землевладѣльцахъ Смитъ видѣлъ своихъ союзниковъ въ борьбѣ за свободную торговлю («къ чести поземельныхъ собственниковъ можно сказать, что они менѣе всякаго другого класса заражены гнуснымъ духомъ монополіи». «Богатство народовъ», кн. IV, гл. II) и это побуждало его вообще относиться къ нимъ съ симпатіей, хотя онъ и признавалъ экономическую безполезность класса людей, живущихъ на счетъ земельной ренты.

Предоставлю судить самому читателю, имѣю ли я «въ качествѣ человѣка науки» два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ.

Я опять прошу вниманія читателя.

Выраженіе «менѣе всего сочувствовалъ», выраженіе достаточно-таки неопредѣленное, принадлежитъ не мнѣ, а г. Тугану-Барановскому, а я его лишь повторилъ, ставя, какъ и слѣдуетъ, въ кавычки, а потому и отвѣтственность за этотъ терминъ лежитъ не на мнѣ.

Далѣе. Очень хорошо, конечно, что г. Туганъ-Барановскій знаетъ

о различіи между классами и сословіями, но очень печально, что онъ этого своего знанія не утилизируетъ. Въ приведенномъ отвѣтѣ его. онъ въ одномъ мѣстѣ называетъ купцовъ и фабрикантовъ *классомъ* (см. тамъ, гдѣ у меня прибавлено въ скобкахъ: курсивъ мой), а въ другомъ—подчеркиваетъ, что купцы и фабриканты составляютъ *сословіе*. Такимъ образомъ, мы и здѣсь имѣемъ опять-таки два мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, изъ которыхъ одно которое нибудь ужъ навѣрное не въ то мѣсто попадаетъ. Я съ своей стороны позволю себѣ замѣтить моему почтенному и ученому оппоненту, что фабриканты никоимъ образомъ не составляютъ сословія, ибо дворянинъ можетъ основать фабрику, сохраняя всѣ свои сословныя права и преимущества, и рядомъ съ нимъ такую же фабрику можетъ открыть крестьянинъ или мѣщанинъ, опять-таки не выходя изъ своего сословія. Вообще, моему почтенному и ученому оппоненту было бы, можетъ быть, выгоднѣе не становиться на эту зыбкую для него почву и оставить мое замѣчаніе насчетъ Ад. Смита безъ отвѣта, какъ оставилъ онъ безъ отвѣта другія мои замѣчанія. А то что хорошаго? Я думалъ, что выписка изъ ученаго труда г. Тугана-Барановскаго о «Промышленныхъ кризисахъ» достаточно выразительна и полна, въ смыслѣ законченности. Но вотъ мой почтенный оппонентъ нашелъ лазейку въ «классахъ» и «сословіяхъ», которыхъ, однако, самъ не различаетъ. Дѣлать нечего, прибавлю еще нѣсколько строкъ изъ «Промышленныхъ кризисовъ». Послѣ цитированнаго мною изъ этого труда мѣста находятся слѣдующія строки: «Самый выдающійся изъ учениковъ А. Смита, Рикардо, съ особенною энергіей настаивалъ на необходимости свободной конкурренціи и прекращенія искусственной поддержки землевладѣльческихъ интересовъ» (стр. 393). А передъ упомянутымъ мѣстомъ читаемъ: «Споръ между Рикардо и Мальтусомъ о значеніи непроизводительнаго потребленія имѣлъ не только теоретическій характеръ. Въ сущности, Рикардо и Мальтусъ явились выразителями *двухъ соперничествующихъ классовъ*» (ст. 392). Если «внимательный читатель», къ которому апеллируетъ г. Туганъ-Барановскій, вставитъ эти двѣ маленькія цитаты куда слѣдуетъ, то онъ безъ труда усмотритъ, что мой ученый оппонентъ совершенно напрасно путается въ «классахъ» и «сословіяхъ», каковое путаніе только лишній разъ побуждаетъ его высказать два мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ.

Но и это еще не все. Вся затѣянная г. Туганомъ-Барановскимъ полемика о «сочувствіяхъ» Ад. Смита напоминаетъ разсказъ почтмейстера о капитанѣ Копѣйкинѣ. Намѣреніемъ почтмейстера было доказать тождество Чичикова съ капитаномъ Копѣйкинымъ, но подъ самый конецъ оказалось, что весь длинный и чрезвычайно,

занимательный разсказъ почтмейстера «не въ то мѣсто попадаетъ»: почтмейстеръ забылъ свою исходную точку. Такъ и г. Туганъ-Барановскій. Онъ ухватился за мое замѣчаніе, брошенное мимоходомъ, въ скобкахъ, въ двухъ строкахъ, и упустилъ изъ вида слѣдующее мое обвиненіе:

«Читатель статьи г. Тугана-Барановскаго долженъ вывести такое заключеніе объ А. Смитѣ и его роли въ наукѣ: хорошій, благонамѣренный человѣкъ былъ этотъ «творецъ экономической науки», но всю его науку пришлось потомъ передѣлывать, что и исполнено рабочими... Г. Тугану-Барановскому, какъ спеціалисту по политической экономіи, должно быть извѣстно, что это совершенно невѣрно. Не буду говорить о томъ, насколько Смитъ способствовалъ выясненію «значенія экономическаго фактора въ исторіи», но напомню трудовую теорію цѣнности, начало которой положено Ад. Смитомъ, съ которою рабочимъ не приходилось «бороться», которую если кто и старался «передѣлать», то ужъ, конечно, не рабочіе или ихъ защитники, и которая, наконецъ, въ дополненномъ и развитомъ видѣ составляетъ прочное достояніе науки. Умолчавъ объ этой сторонѣ дѣла, г. Туганъ-Барановскій даетъ своимъ читателямъ вполнѣ извращенное понятіе объ исторической роли «творца экономической науки».

Это мое обвиненіе, увлекшись разсказомъ о капитанѣ Копѣйкинкѣ, который онъ считаетъ «аргументомъ по существу», г. Туганъ-Барановскій оставилъ втунѣ, и передъ читателями «Міра Божія» образъ Ад. Смита такъ и остается вполнѣ извращеннымъ, какъ и образъ Луи Блана, и многое, многое другое...

Sapienti sat. Но удовлетворенъ-ли г. Туганъ-Барановскій,—за это я не поручусь.

Задача полемики состоитъ въ выясненіи той или другой мысли, того или другого факта. Г. Туганъ-Барановскій полемизируетъ дурно, ибо, по простодушію своему, не въ то мѣсто попадаетъ, а это не можетъ способствовать выясненію чего бы то ни было. Есть писатели, которые полемизируютъ дурно совсѣмъ въ другомъ родѣ, ибо они совсѣмъ не простодушны и отлично попадаютъ въ намѣченное ими мѣсто, но все-таки ничего не выясняютъ, а только мутятъ воду, въ которой и вылавливаютъ нужную имъ рыбу. Въ майской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» есть и прекрасный образчикъ этого рода полемики, и тутъ же рядомъ ея оправданіе, ея, такъ сказать, теорія.

Въ одномъ изъ предыдущихъ нумеровъ «Русскаго Вѣстника» были напечатаны «Литературно-общественныя замѣтки», подписанныя какимъ-то К. М—скимъ, въ которыхъ, между прочимъ, обсу-

ждалось «профессорское представленіе о самодержавіи». Г. К. М—скій доказывалъ что наши профессора имѣютъ неправильное и неблагонамѣренное представленіе о самодержавіи. «Русская Мысль» назвала эту замѣтку «политическимъ доносомъ». Въ майской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» «Литературно-общественныя замѣтки», на этотъ разъ уже никѣмъ не подписанныя, возражаютъ «Русской Мысли». Анонимъ «Русскаго Вѣстника» не согласенъ признать упомянутую замѣтку доносомъ. Онъ говоритъ: «Въ чемъ же здѣсь доносъ и что такое вообще политическій доносъ, появляющійся на страницахъ журнала, иными словами, произносимый громогласно передъ аудиторіей въ нѣсколько тысячъ и даже десятковъ тысячъ человѣкъ. Тому, кто дѣлается жертвою подобнаго открытаго «доноса», предоставляются всѣ средства защиты и прежде всего то средство, которымъ пользуется «доносчикъ», т. е. печатное слово. Наконецъ, если бы это средство оказалось недостаточнымъ, то никто не мѣшаетъ привлечь защитника (?) къ уголовной отвѣтственности и судебнымъ порядкомъ доказать, что онъ не только доносчикъ, но и клеветникъ... Наши оппоненты не даютъ себѣ труда доказать (ибо это трудъ совершенно невозможный), что мы исказили кого-либо изъ ихъ цитированныхъ авторовъ, что мы зачеркнули одно и подчеркнули другое. Слѣдовательно, вся наша вина заключается, во-первыхъ, въ томъ, что мы осмѣлились понять профессорское опредѣленіе такъ, какъ его понять надлежало, и во-вторыхъ, что съ выводами гг. профессоровъ кореннымъ образомъ разошлись... Мы думаемъ, что, коснѣя въ своемъ упорствѣ дикой нетерпимости и стремленіи зажать противнику ротъ грубымъ браннымъ словомъ, либеральная журналистика рѣшительно ничего не выиграетъ. Даже сочувствующая ей публика остается равнодушною къ изступленнымъ крикамъ: «доносъ, доносчики, ату его!», потому что эти крики раздаются безъ всякаго, серьезнаго повода и служатъ дешевымъ средствомъ отдѣлаться отъ противника, котораго оспаривать по существу—не хватаетъ пороха. Пріемы либеральныхъ полемистовъ слишкомъ избиты; имъ необходимо придумать что-нибудь новое. Никто больше не вѣритъ, что «опасно» вести споръ съ консервативными журналами и что консервативные журналы на всѣ аргументы отвѣчаютъ доносами и злокознѣннѣйшими инсинуаціями».

Я совершенно понимаю, что анонимъ «Русскаго Вѣстника» не желаетъ, чтобы его считали «доносчикомъ». Хотя законъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ обязываетъ каждаго русскаго подданнаго доносить подлежащей власти о совершенномъ или готовящемся преступленіи» и даже караетъ недонесеніе; хотя, съ другой стороны, чистѣйшее нравственное чувство можетъ найти удовлетвореніе въ доносѣ, на-

примѣръ, на истязующихъ ребенка, на злоупотребленіе властью и проч.; однако, со словомъ «доносчикъ» у насъ все-таки ассоціировалось представленіе чего то низменнаго и презрѣнія достойнаго. Это не какое-нибудь переживаніе школьнаго періода, когда мы всѣ презирали «доносчиковъ», «ябедниковъ», «фискаловъ», и даже— что грѣхъ таить —поколачивали ихъ. Вотъ что читаемъ мы, напримѣръ, въ «Курсѣ русскаго уголовнаго права» Н. С. Таганцева, мнѣніе котораго, какъ профессора и сенатора, теоретика и высокопоставленнаго практика, вдвойнѣ цѣнно: «Съ одной стороны, при современныхъ государственныхъ условіяхъ исчезла необходимость въ привлеченіи всѣхъ гражданъ къ участію въ преслѣдованіи преступниковъ. Матеріальныя и иныя тягости, которыя каждый гражданинъ несетъ на содержаніе полицейскихъ органовъ разнаго рода, служатъ достаточнымъ основаніемъ для сложенія съ общества натуральной повинности доноса, тѣмъ болѣе, что спеціальные органы могутъ вести дѣло преслѣдованія преступниковъ и съ несравненно большимъ успѣхомъ, и съ меньшею затратою силъ. Съ другой — существующее во всякомъ неотжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніе къ доносу и доносчикамъ не можетъ быть игнорируемо закономъ. Нельзя завѣдомо противополагать требованія закона и общественной нравственности, тѣмъ болѣе, что это отвращеніе къ доносу не составляетъ предразсудка, съ которымъ нужно бороться государству. Не надо забывать, что здѣсь дѣло идетъ не о гласномъ обвиненіи преступника, при которомъ обвинитель несетъ и всю тягость послѣдствій легкомысленнаго или недобросовѣстнаго привлеченія кого-либо къ отвѣтственности, и даже не о добровольномъ заявленіи органамъ суда о преступленіи, котораго заявитель былъ очевидцемъ, или о которомъ онъ имѣетъ несомнѣнныя свѣдѣнія, а о тайномъ доносѣ, вынуждаемомъ угрозою наказанія. Обязанность доноса имѣетъ необходимымъ и естественнымъ дополненіемъ награду за доносъ, всевозможныя поощренія доносчиковъ *). Конечно, несомнѣнно, что такая система можетъ иногда содѣйствовать раскрытію преступленій, борьба съ которыми оказалась не подъ силу спеціальнымъ органамъ, но горе той странѣ, которая ради этого обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественный жизни, выдвинетъ шпіоновъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ. Ради временныхъ выгодъ правительство посѣетъ въ обществѣ сѣмена страшной нравственной заразы, кото-

*) На это указывалъ еще и Генке, Handbuch, стр. 282, справедливо прибавляя, что желаніе получить эти «деньги крови», Blutgeld, или, какъ называетъ ихъ Serner, Judagelt, порождаетъ профессію лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ. (Примѣчаніе Н. С. Таганцева).

рая грозитъ или вымираніемъ государственнаго организма, или потребуетъ громадныхъ и долгихъ жертвъ на его исцѣленіе». (Курсъ русскаго уголовнаго права, вып. III, 170).

Н. С. Таганцевъ рѣшаетъ спеціально-юридическій вопросъ о наказуемости или ненаказуемости недонесенія. Насъ здѣсь этотъ вопросъ не занимаетъ, но въ высшей степени цѣнны указанія столь компетентнаго ученаго и практическаго дѣятеля, во-первыхъ, на самый фактъ презрѣнія къ доносчику и, во-вторыхъ, на причины этого презрѣнія. Послѣднія отмѣчены у г. Таганцева мимоходомъ и не полно, такъ какъ не въ нихъ и дѣло въ спеціальномъ юридическомъ вопросѣ. Безъ сомнѣнія тайна, въ которой совершается доносъ, и денежное или иное вознагражденіе за него — составляютъ почву, не благопріятствующую расцвѣту достойныхъ уваженія чертъ въ доносчикѣ. Но этого мало. Разумѣется, совершенно независимо отъ вопроса, рѣшаемаго г. Таганцевымъ, никакая власть не откажется и не можетъ отказаться воспользоваться свѣдѣніями, доставленными доносчикомъ, если, конечно, они вѣрны и достаточно цѣнны. Совершенно также поступитъ и всякое частное лицо въ соотвѣтственныхъ условіяхъ. Припомните когда-то знаменитую «Черную шаль» Пушкина, которую такъ усердно распѣвали наши бабушки. Герой стихотворенія получилъ доносъ на свою возлюбленную гречанку: она ему измѣняла. Онъ воспользовался сообщенными ему свѣдѣніями, но объ доносчикѣ вспоминаетъ такъ: «я далъ ему злата и проклялъ его». Это сочетаніе злата и проклятія въ высшей степени характерно. Можно бы было думать, что доносчикъ въ этомъ случаѣ проклятъ просто какъ человѣкъ, принесшій обидное и горькое извѣстіе. Но это не вѣрно или, по крайней мѣрѣ, не вполнѣ вѣрно: поэтъ называетъ доносчика «презрѣннымъ». И это вполнѣ понятно. Доносчикъ долженъ былъ выслѣживать «невѣрную дѣву» въ ея свиданіяхъ съ «армяниномъ», подползать, какъ змѣя, вилять хвостомъ, какъ лиса, предательски цѣловать, какъ Іуда; можетъ быть, другихъ подкупать; можетъ быть, обманнымъ образомъ вступить въ дружбу съ армяниномъ и вышытать у него тайну, или съ тою же цѣлью вкрасться въ довѣріе «дѣвы»; можетъ быть, онъ самъ же и сосводничалъ гречанку съ армяниномъ, съ цѣлью получить «злато» и съ нихъ, а когда этого ему показалось мало, онъ получилъ злато и за доносъ; можетъ быть, кромѣ корыстолюбія, его душу жгло чувство злобной зависти къ обоимъ счастливцамъ, «лобзавшимъ» дѣву, или месть этой дѣвѣ, отвергнувшей его собственныя «лобзанія», или месть герою стихотворенія или армянину за какую-нибудь старую обиду и т. д., и т. д. Читатель знаетъ, что все это возможно, что все это бываетъ. И вотъ почему доносчикъ получаетъ у Пушкина не только «злато», а и «проклятіе» и име-

нуется «презрѣннымъ». И вотъ почему, хотя люди и пользуются свѣдѣніями, доставляемыми доносчиками, и часто не могутъ ими не пользоваться, г. Таганцевъ говоритъ о «существующемъ во всякомъ не отжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніи къ доносу и доносчикамъ». Слишкомъ скользка и грязна та извилистая, узенькая, трудно проходимая тропинка, по которой доносчикъ по необходимости долженъ идти къ своей цѣли, въ чемъ бы эта цѣль даже ни состояла.

Естественно, что анонимъ «Русскаго Вѣстника» не хочетъ называться «доносчикомъ». Да и какой-же онъ доносчикъ? Онъ «во-первыхъ, осмѣлился понять профессорское опредѣленіе, какъ его понять надлежало, и, во-вторыхъ, съ выводами гг. профессоровъ кореннымъ образомъ разошелся». Затѣмъ, онъ вѣдь не тайно докладываетъ что-нибудь властямъ предержащимъ, а говоритъ громогласно въ журналѣ: пусть ему такъ же громогласно отвѣчаютъ въ печати, пусть даже «судебнымъ порядкомъ доказываютъ, что онъ не только доносчикъ, но и клеветникъ».

Грамматическая неловкость послѣдней, поставленной въ кавычки, фразы не позволяетъ, конечно, думать, что анонимъ считаетъ возможнымъ «судебнымъ порядкомъ доказывать, что онъ доносчикъ». Этого нельзя. Есть, однако, судъ, къ которому можно обратиться и въ данномъ случаѣ: это—судъ общественнаго мнѣнія, въ частности судъ собратовъ по профессіи. Въ этотъ то судъ я и призываю г. анонима. Въ спискѣ сотрудниковъ «Русскаго Вѣстника» значатся такія имена, какъ К. Н. Бестужева-Рюмина, Д. В. Григоровича, А. Н. Майкова, Л. Н. Майкова, К. П. Побѣдоносцева, Я. П. Полонскаго и проч. Все это писатели, на благосклонность которыхъ ко мнѣ и къ представляемому мною образу мыслей я не имѣю никакого права разсчитывать. Но все это — заслуженные писатели, много лѣтъ работающіе на литературномъ поприщѣ и, совершенно независимо отъ направленія, конечно, достаточно компетентные въ вопросахъ литературной чести. Я не мечтаю, разумѣется, объ томъ, чтобы они печатно выразили свой вердиктъ. Съ меня совершенно достаточно сознанія, что въ этомъ дѣлѣ я и къ нимъ могу обратиться съ полною увѣренностью хотя бы въ невысказанномъ отвѣтѣ: да, анонимъ виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденія.

Не по дѣлу о «профессорскомъ опредѣленіи» зову я г. анонима на судъ общественнаго мнѣнія и свѣдущихъ людей: я не успѣлъ съ этимъ дѣломъ достаточно познакомиться, да и «гг. профессора» сами на лицо. Я полагаю, впрочемъ, что они просто никакого вниманія не обратятъ на г. анонима, и хорошо сдѣлаютъ. Въ иномъ положеніи находится «Русск. Бог.», которому въ тѣхъ же майскихъ

«Литературно-общественныхъ замѣткахъ» анонимъ посвящаетъ главу подъ заглавіемъ: «Изъ радикальной журналистики».

Анонимъ говоритъ «Русскому Богатству» нѣсколько любезностей относительно «строго выдержанной программы» и «послѣдовательности редакціи и энергіи сотрудниковъ». Но бѣда въ томъ, что мы послѣдовательны и энергичны въ дѣлѣ «коварныхъ умысловъ» и зловредныхъ «идей»; «разсужденія авторовъ нужно понимать иносказательно». Вотъ, напримѣръ, статья г. Иванова о Тэнѣ, вотъ корреспонденція изъ Франціи, вотъ «Дневникъ журналиста», вотъ «Въ мірѣ отверженныхъ» «нѣкоего Мельшина», вотъ «Литературно-общественныя замѣтки» (?) г. Михайловскаго,—все какъ будто и ничего, но проницательный взоръ анонима въ каждой изъ этихъ статей усматриваетъ «коварный умыселъ» и зловредную идею. И въ концѣ концовъ анонимъ умозаключаетъ: «Наши либералы и въ частныхъ разговорахъ, и въ журналахъ постоянно жалуются на отсутствіе у насъ свободы печати. Эти жалобы проникаютъ и за рубежъ, появляются и на страницахъ иностранныхъ періодическихъ изданій. Русская «свобода печати» сдѣлалась синонимомъ чего-то невѣроятно курьезнаго и уродливаго. Но вотъ передъ нами «Русское Богатство», являющееся живымъ опроверженіемъ подобныхъ сѣтованій. «Русское Богатство» даже не освобождено отъ предварительной цензуры. Каждая его статья просматривается цензоромъ, имѣющимъ право вычеркивать сколько угодно. И что же? Читая журналъ г.г. Михайловскаго и Короленки, совершенно забываешь о существованіи у насъ не только предварительной, но и послѣдующей цензуры. Не доказываетъ-ли это, что наши либералы жалуются и ропщутъ только по привычкѣ вѣчно роптать и жаловаться».

Вотъ статья, которую никакъ нельзя назвать доносомъ,—не правда-ли? Авторъ не тайкомъ какъ-нибудь, а во всеуслышаніе излагаетъ свои мысли, намъ предоставляется право опровергать его тѣмъ же путемъ громогласнаго изложенія своихъ мыслей, а въ случаѣ недостаточности этого средства мы можемъ «судебнымъ порядкомъ доказывать, что авторъ не только доносчикъ, но и клеветникъ».

Прибѣгнуть въ данномъ случаѣ къ суду намъ, какъ сейчасъ увидимъ, довольно трудно, а опровергнуть кое-что громогласно—можно и даже нисколько не «опасно». Прежде всего, какія удивительныя понятія у анонима о «свободной печати»! Воображаю недоумѣніе иностранцевъ, если бы такая защита русской свободы печати появилась «на страницахъ иностранныхъ періодическихъ изданій». Эти безтолковые иностранцы рѣшительно въ тупикъ стали бы: какая-же это у нихъ свобода печати, если она должна прибѣгать къ «коварнымъ умысламъ», если ея разсужденія «нужно по-

нимать иносказательно» и если «цензоръ имѣетъ право вычеркивать сколько угодно»!! Очевидно, анонимъ пересолилъ въ своемъ усердіи и не только не обѣлилъ передъ иностранцами русскую свободу печати, а даже отчасти оклеветалъ ее; ибо напрасно онъ думаетъ, что цензоръ имѣетъ право «вычеркивать сколько угодно». И прежде всего цензоръ не имѣетъ права читать, подобно духовнику, въ сердцахъ, выслѣживать «коварные умыслы» и возможность «иносказательнаго пониманія разсужденій». Это не возбраняется лишь добровольцамъ въ родѣ анонима, проницательный взоръ котораго контролируетъ «не только предварительную, но и послѣдующую цензуру», и нѣтъ предѣловъ этому добровольческому усердію; права же и обязанности цензора опредѣлены закономъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ анонимъ напрасно думаетъ, что «не только предварительная, но и послѣдующая цензура» нуждается въ его контролѣ: смѣемъ его увѣрить, что спеціальные органы надзора за печатью дѣйствуютъ достаточно энергично. Намъ, въ особенности намъ, «даже не освобожденнымъ отъ предварительной цензуры», это слишкомъ хорошо извѣстно...

Какъ ни щекотливо положеніе, въ которое ставитъ насъ анонимъ «Русскаго Вѣстника» своею, по самой скромной оцѣнкѣ, грубо безтактною и неприличною выходкою, мы считаемъ, однако, возможнымъ и ни мало не «опаснымъ» сказать слѣдующее. Правительство, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, въ оцѣнку которыхъ мы входить не можемъ, кладетъ извѣстныя ограниченія свободѣ печати и, естественно, усугубляетъ эти ограниченія для органовъ печати, на коихъ значится надпись «дозволено цензурою». Мы не можемъ не подчиняться этимъ ограниченіямъ, но никто и ничто не обязываетъ насъ радоваться имъ или даже находить ихъ недостаточными, какъ находитъ г. анонимъ. Напротивъ, самое званіе писателей обязываетъ насъ по совѣсти желать возможно большей свободы печатнаго слова. И не только насъ, обвиняемыхъ г. анонимомъ въ злоупотребленіяхъ нашею несвободою, но и всѣхъ и каждаго изъ писателей, въ томъ числѣ и г. анонима. Какъ сейчасъ увидимъ, трудно сказать, что именно не нравится аноним у въ «Русскомъ Богатствѣ» и въ какомъ именно направленіи желалъ бы онъ большей, по отношенію къ нашему журналу, бдительности не «только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Но самое это указаніе на недостатокъ бдительности есть поступокъ по существу своему нелитературный и писателя недостойный. Писатель, сколько нибудь вѣрящій въ свое дѣло, естественно долженъ желать, чтобы непріятная для него или ошибочная, по его мнѣнію, мысль была предъявлена въ своемъ полномъ, неурѣзанномъ логическомъ и фактическомъ вооруженіи, дабы онъ имѣлъ возможность сразиться съ

ней «въ открытой и честной борьбѣ», по выраженію Ивана Аксакова.

Кстати объ Аксаковѣ. «Русскій Вѣстникъ» еще недавно (въ мартѣ) посвятилъ теплую статью его памяти, и потому ссылка на него должна быть особенно поучительна для анонима «Русскаго Вѣстника». Но то, что я сейчасъ приведу изъ сочиненій Аксакова, и вообще поучительно. Это истинно блестящія иллюстраціи къ тому положенію, что никакая, самая глубокая рознь въ вопросахъ религіозныхъ, политическихъ, національныхъ и т. д. — не должна отзываться ущербомъ на знамени литературной чести. Аксаковъ былъ въ этомъ отношеніи настоящимъ рыцаремъ. Въ 1865 г., по поводу одной статьи «Современника», онъ писалъ: «Едва ли кто, при защитѣ своихъ убѣжденій, терпѣлъ болѣе отъ цензурной строгости, чѣмъ писатели славянофильскаго направленія: никто болѣе насъ не испытывалъ той неловкости, того неудобства, въ которое ставитъ истину непрошенная помощь грубой внѣшней силы, полицейское вторженіе въ область духа». Или въ 1883 г. по поводу запрещенія «Голоса» на шесть мѣсяцевъ: «Мы можемъ лишь сожалѣть, не о «Голосѣ» собственно, но о противникѣ, не нами, къ сожалѣнію, въ открытомъ бою, а постороннею силою обезоруженномъ... Сумерекъ мысли не слѣдовало бы допускать, а слѣдовало бы вызвать мысль на бѣлый день, на публичный споръ... Запретите, пожалуй, всѣ газеты, работа общественной мысли будетъ все же производиться, но во тьмѣ, подспудно, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для торжества правды: обезоруженными явятся лишь тѣ, которые неспособны защищать истину иначе, какъ при свѣтѣ, въ открытой и честной борьбѣ».

Патріотизмъ Аксакова стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній и не анонимамъ разнымъ съ нимъ въ этомъ отношеніи мѣряться. Но Аксаковъ вѣрилъ въ свою истину и считалъ бы для себя унизительнѣйшимъ «свидѣтельствомъ о бѣдности» призывъ спеціальныхъ органовъ по надзору за печатью къ вящшей бдительности. Оттого то онъ пользовался уваженіемъ и въ тѣхъ сферахъ, которыя не раздѣляли его взглядовъ на благотворность свободы печати: то были, независимо отъ ихъ истинности или ложности, примѣнимости или непримѣнимости,—честные взгляды.

Но—говоритъ анонимъ—я что-жъ? я открыто указалъ факты и высказалъ объ нихъ свое мнѣніе, а если что невѣрно понялъ или извратилъ, такъ опровергайте меня въ печати, а если и этого мало,—преслѣдуйте меня судебнымъ порядкомъ за клевету... Таковы, мы видѣли, признаки, отличающіе работу анонима отъ доноса.

Какіе же, однако, факты указалъ анонимъ? какія мнѣнія выска-

залъ? что въ его статьѣ можно опровергать? за что можно преслѣдовать судебнымъ порядкомъ?

До сихъ поръ мы достаточно близко видѣли только одно мнѣніе и одинъ фактъ: «наши либералы» совершенно напрасно жалуются, потому что вотъ «Русское Богатство», при чтеніи котораго «совершенно забываешь о существованіи у насъ не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Что же мы можемъ сдѣлать съ этимъ указаніемъ и съ этимъ мнѣніемъ? Если тутъ есть клевета, то она относится не къ вамъ, а къ цензурному вѣдомству, недостаточно бдительному, а опровергнуть указаніе мы могли бы только опубликованіемъ тѣхъ отдѣльныхъ мѣстъ въ разныхъ статьяхъ, которыя г. цензоръ нашелъ для печати неудобными, и тѣхъ цѣлыхъ статей, которыя признаны таковыми, какъ г. цензоромъ, такъ и цензурнымъ комитетомъ. Но разъ эти отдѣльныя мѣста и цѣлыя статьи признаны для печати неудобными,—мы ихъ опубликовать не можемъ. И, такимъ образомъ, изъ трехъ признаковъ, отличающихъ работу анонима отъ доносительства, остается только одинъ, не имѣющій, однако, при отсутствіи двухъ другихъ, никакого значенія: анонимъ дѣлаетъ свое указаніе дѣйствительно «громогласно», но ни опровергнуть его въ печати, ни преслѣдовать судомъ мы не можемъ.

Обратимся къ другимъ фактамъ и мнѣніямъ анонима. Начинаетъ онъ свой обзоръ со статьи г. Иванова о Тэнѣ. Онъ говоритъ: «Авторъ прилагаетъ всѣ старанія, чтобы доказать несостоятельность эстетической теоріи Тэна, различныхъ сужденій его объ искусствѣ, но вовсе не съ тою цѣлью, чтобы установить болѣе правильный взглядъ на явленія въ данной области, а для того, чтобы легче дискредитировать Тэна, какъ автора капитальныхъ сочиненій, изображающихъ великую французскую революцію и ея значеніе совершенно иначе, нежели изображаютъ ее наши россійскіе радикалы». Таковъ первый камень воздвигаемаго анонимомъ зданія, первое свидѣтельство чрезмѣрной свободы нашего слова, не сдерживаемой даже и предварительною цензурой, и первое приглашеніе: опровергайте въ печати, тащите въ судъ, я вѣдь громогласно говорю! Позвольте, однако. По дѣйствующимъ законамъ цензура не только не обязана проникать въ тайныя намѣренія автора и утруждать себя вопросомъ объ томъ, съ какою «цѣлью» онъ пишетъ объ эстетикѣ Тэна, а и не имѣетъ на это права. Если бы, однако, таковое и было ей закономъ предоставлено и если бы она въ данномъ случаѣ пришла именно къ тому заключенію, къ которому привела анонима его добровольческая проницательность, то «дискредитированіе» историческаго труда Тэна о революціи само по себѣ вовсе не представляетъ чего нибудь запретнаго.

Анонимъ «Русскаго Вѣстника» чрезвычайно проницателенъ. Я, одинъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ «Русскаго Богатства», не знаю, съ тою ли именно цѣлью г. Ивановъ занялся эстетикой Тэна, какую ему приписываетъ анонимъ. Думаю, что онъ просто хотѣлъ характеризовать Тэна вообще, и какъ критика, и какъ философа, и какъ историка. Но если бы онъ дѣйствительно имѣлъ приписываемый ему «коварный умыселъ» и обратился бы ко мнѣ за совѣтомъ на этотъ счетъ, я бы отвѣтилъ ему: да зачѣмъ же вамъ «коварно умышлять?» Сочиненіе Тэна о французской революціи не неприкосновенное что нибудь, не каноническая книга, а просто одно изъ сотенъ и даже тысячъ сочиненій объ этой эпохѣ; конечно, судя по бывшимъ примѣрамъ, цензоръ найдетъ, можетъ быть, многое въ вашй статьѣ неудобнымъ, но собственно «дискредитировать» Тэна, какъ историка, можете безъ всякихъ «коварствъ», даже если цензоръ, въ противоположность вамъ, величайшій почитатель Тэна.

Спрашивается, что же можетъ опровергать г. Ивановъ въ замѣткахъ анонима? Никакихъ своихъ мнѣній ни объ Тэнѣ-историкѣ, ни объ Тэнѣ-философѣ, ни объ Тэнѣ-критикѣ анонимъ не выразилъ, никакого опредѣленнаго сужденія о достоинствахъ или недостаткахъ работы г. Иванова не произнесъ,—опровергать нечего. Ну, такъ судебнымъ порядкомъ за клевету преслѣдуйте!—требуетъ анонимъ. Клевета, можетъ быть, и есть въ указаніи на «цѣль», которую прочиталъ въ сердцѣ г. Иванова анонимъ, но какая то ужъ очень дрянненькая и никчемная клевета, ибо, повторяю, ни въ какихъ «коварныхъ» сокрытіяхъ цѣли нѣтъ надобности для произнесенія отрицательнаго сужденія объ исторіи революціи Тэна. Такъ что во всемъ «громогласіи» анонима не за что уцѣпиться. Это все равно, что ловить руками налима или угря; послѣ такого упражненія остается, однако, на рукахъ слизь и специфическій запахъ. Такой запахъ оставляетъ по себѣ и замѣтка г. анонима: ничего существеннаго, а все-таки... «революція», «россійскіе радикалы»... Вообще пахнетъ неблагонамѣренностью...

На этотъ именно результатъ и разсчитываетъ анонимъ. Онъ продѣлываетъ подобныя же операціи надъ двумя нашими корреспонденціями изъ Франціи (при чемъ «вовсе не намѣренъ вступать въ споръ съ авторомъ по существу»), надъ одной главой «Дневника журналиста» (при чемъ: «что онъ тамъ напуталъ и что исказилъ—объ этомъ не стоитъ безпокоиться»), надъ одной главой «Міра отверженныхъ» (о которомъ «упоминаетъ лишь для того, чтобы показать, какъ въ «Русскомъ Богатствѣ» старательно пригоняютъ статью къ статьѣ»), пристегиваетъ въ концѣ меня, пишущаго эти строки, и затѣмъ восклицаетъ: какая необузданность! и

чего только цензура смотритъ?! Читатель избавитъ меня отъ пристальнаго разсмотрѣнія всѣхъ обвинительныхъ пунктовъ анонима: довольно съ насъ сказаннаго по поводу статьи г. Иванова и собственныхъ признаній анонима, что онъ «не вступаетъ въ споръ по существу» и не считаетъ нужнымъ «безпокоиться» объ томъ, что вѣрно или невѣрно въ критикуемыхъ (?!) имъ статьяхъ. Онъ дѣйствительно не споритъ и не безпокоится, чѣмъ и устраняетъ всякую возможность опроверженія, а только все подмигиваетъ и намекаетъ на неблагонамѣренность. Позволю себѣ остановиться только на строкахъ, мнѣ лично посвященныхъ. Ихъ всего три: «*Нечего и говорить*, что «Литературно-общественныя замѣтки» (?) г. Михайловскаго дополняютъ букетъ и по временамъ сообщаютъ ему особенную пикантность». Вотъ и все. Въ виду этого едва ли есть надобность разъяснять ту смѣсь лицемѣрія и наглости, съ которою г. анонимъ рекомендуетъ своимъ собесѣдникамъ опровергать его или преслѣдовать судебнымъ порядкомъ за клевету. Опровергать нечего, преслѣдовать не за что, а между тѣмъ я втиснутъ въ «букетъ» какой то неопредѣленной, но совершенно необузданной неблагонамѣренности, да еще придаю ему «особенную пикантность». «Громогласность» указаній анонима при этихъ условіяхъ ни мало не скрашиваетъ его поступка. А если принять въ соображеніе, что бездоказательный доносъ можетъ быть занесенъ въ протоколъ «для вѣдома впредь», то надо признаться, что анонимъ, при всей вздорности своихъ указаній, попадаетъ именно въ то мѣсто, въ которое намѣтилъ: il en restera toujours quelque chose. Если, однако, поведеніе анонима цѣлесообразно, то, съ точки зрѣнія для всѣхъ направленій равно обязательной литературной чести, оно—позорно.

Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» печатается романъ редактора (Д. И. Стахѣева, которому, къ слову сказать, уже въ силу его многолѣтней литературной карьеры не должно быть чуждо понятіе литературной чести), подъ заглавіемъ: «Духа не угашайте». Я не успѣлъ познакомиться съ самымъ романомъ, но заглавіе его также прекрасно, какъ позорно поведеніе анонимнаго сотрудника «Русскаго Вѣстника». Анониму особенно хочется пристегнуть насъ къ «великой французской революціи» и къ якобинскому теченію въ особенности. Ему нѣтъ дѣла до того, что событія міровой важности, опредѣляющія собою дальнѣйшее теченіе исторіи, всегда отличаются чрезвычайною сложностью. Ему нужны только страшныя слова: «великая революція», «якобинцы», собственно, для составленія «букета». Не для парированія его дрянныхъ намековъ, а въ назиданіе ему напомню одну изъ позорныхъ страницъ исторіи революціи: якобинскій декретъ о «подозрительныхъ» (loi des suspects) 17 сентября 1793 года. Декретъ этотъ предписывалъ немед-

ленный, безъ суда и слѣдствія, арестъ всѣхъ «подозрительныхъ», каковыми объявлялись: всѣ, кто своими поступками, или связями, или рѣчами, или писаніями выказывали себя сторонниками «тираніи или федерализма или врагами свободы»; всѣ, не могущіе доказать, что они исполнили свои гражданскія обязанности; всѣ, кому было отказано въ свидѣтельствѣ о гражданской благонамѣренности (certiticats de civisme); всѣ уволенные или временно отрѣшенные конвентомъ или его комиссарами отъ какой нибудь должности; всѣ дворяне, ихъ жены, родители и дѣти, не обнаружившіе приверженности къ революціи. Впослѣдствіи эти признаки «подозрительности» получили еще болѣе точныя и дробныя опредѣленія, и Франція опозорилась безчисленными арестами безъ слѣдствія и суда, единственно на основаніи доносовъ на «подозрительныхъ» и «неблагонамѣренныхъ». Вотъ документъ изъ исторіи революціи, который, конечно, не буквою своею, а духомъ долженъ очень нравиться анониму «Русскаго Вѣстника». Букву онъ, разумѣется, измѣнилъ бы, и именно въ такомъ родѣ: подозрительными и неблагонамѣренными считаются всѣ, кто пытается «дискредитировать» Тэна, какъ историка, а затѣмъ и разные другіе, съ которыми онъ «вовсе не намѣренъ вступать въ споръ по существу», объ опроверженіи которыхъ «не стоитъ безпокоиться» и о которыхъ «нечего и говорить». А тѣмъ временемъ редакторъ «Русскаго Вѣстника» все бы благородно возглашалъ въ заглавіи своего романа: «Духа не угашайте!»...

Очень тѣсны рамки, въ которыхъ намъ приходится дѣлать свое дѣло, и даже обидной ироніей звучатъ нелѣпыя рѣчи анонима о нашей необузданности. Но, къ счастью, это еще не обязываетъ насъ быть благонамѣренными во вкусѣ перваго встрѣчнаго анонима.

Въ заключеніе,—маленькая справка. Я все время называю анонима анонимомъ, потому что собственно то, что относится къ «Русскому Богатству»—не подписано. Но нѣкоторыя другія «Литературно-общественныя замѣтки» «Русскаго Вѣстника» подписаны такъ: «К. М—скій», и анонимъ, очевидно, признаетъ свою полную солидарность съ этимъ К. М—скимъ, такъ какъ безъ всякихъ оговорокъ горячо поддерживаетъ затѣянное послѣднимъ обличеніе «профессорскаго опредѣленія». Это напоминаетъ мнѣ нѣкоторыя статьи въ журналѣ «Наблюдатель», подписанныя «К. П. Медвѣдскій» и «К—скій». Анонимъ «Русскаго Вѣстника» такъ благородно говоритъ объ открытости и «громогласности» своихъ указаній (вслѣдствіе чего именно и отказывается признать ихъ доносами), что, конечно, только по какой нибудь случайности не подписался подъ своимъ обличеніемъ «Русскаго Богатства» въ необузданности и, въ слу-

чаѣ надобности (вѣдь онъ даже на судебное преслѣдованіе напрашивается), и не откажется опредѣлить свои отношенія къ К. П. Медвѣдскому, К. М—скому и К.—скому. Но въ ожиданіи этого благороднаго акта, посмотримъ на нѣкоторое совпаденіе приведенныхъ подписей, какъ на lusus naturae, какъ на любопытную игру природы. Она въ самомъ дѣлѣ любопытна. Въ статьѣ К. П. Медвѣдскаго «Повѣсть честнаго гражданина» («Наблюдатель» 1894, мартъ), написанной по поводу извѣстнаго дневника А. В. Никитенка, между прочимъ, читаемъ: «Нельзя упрекать молодого адъюнкта (Никитенко) за то, что онъ принялъ мѣсто цензора. Если бы, принявъ мѣсто цензора, А. В. обратился въ одного изъ «офицеровъ, сурово управляющихся съ истиной», и забылъ о преимуществахъ свѣтлой головы передъ свѣтлыми пуговицами,—тогда другое дѣло. Ничего поообнаго съ Никитенкомъ не случилось. Наоборотъ, его цензорская дѣятельность вызываетъ безусловное уваженіе и симпатію. Ни на минуту Никитенко не забывалъ, что онъ прежде всего литераторъ и ученый и что на его обязанности лежитъ отстаивать интересы науки и литературы до послѣдней возможности». Дневникъ А. В. Никитенко, дѣйствовавшаго, въ качествѣ цензора, въ одну изъ самыхъ трудныхъ и мрачныхъ полосъ исторіи нашей литературы, даетъ, конечно, К. П. Медвѣдскому много поводовъ для подобныхъ, несомнѣнно «либеральныхъ» заявленій. Но я удовольствуюсь приведенной фразой. Какая разница между К. П. Медвѣдскимъ, съ одной стороны, и К. М—скимъ и анонимомъ «Русскаго Вѣстника»—съ другой! Первый едва извиняетъ Никитенко за то, что онъ принялъ мѣсто цензора, и то только потому, что онъ «до послѣдней возможности» отстаивалъ интересы науки и литературы. К. М—скій и анонимъ, наоборотъ, изумляются бездѣятельности «не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Не менѣе любопытно сопоставить нѣкоторыя мнѣнія К—скаго въ «Наблюдателѣ» и К. М—скаго и анонима въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Въ статьѣ «Наша журналистика» («Наблюдатель» 1893, ноябрь) К—скій пишетъ: «Переходъ журнала «Русское Богатство» къ новой редакціи, состоящей изъ нѣкоторыхъ прежнихъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» съ Н. К. Михайловскимъ во главѣ, сулилъ нѣкоторыя пріятныя надежды. Ужъ слишкомъ «все темно и сѣро» въ нашей журналистикѣ, говоря стихомъ Кузьмы Пруткова. Умѣренный либерализмъ «Вѣстника Европы», тупое ретроградство «Русскаго Обозрѣнія» и окончательная непристойность «Сѣвернаго Вѣстника» вопіютъ объ освѣженіи атмосферы. Думалось, что преобразованное «Русское Богатство» до извѣстной степени послужитъ дѣлу освѣженія. Надежды эти не оправдались. Въ «Русскомъ Богатствѣ» также «все темно

и сѣро»... Г. Михайловскій имѣетъ право на признательность со стороны русскаго общества, но послѣдніе годы его литературной дѣятельности отмѣчены усталостью... «Русскій Вѣстникъ» отличается отъ прочей «консервативной» компаніи своею литературностью, но не чуждъ и крупныхъ промаховъ. Такими промахами мы считаемъ помѣщеніе статей ультра-консервативныхъ авторовъ, тщетно пытающихся выставить черное бѣлымъ и бѣлое чернымъ. Трудъ напрасный и неинтересный. Какой-нибудь ультра-консервативный авторъ беретъ, напримѣръ, на себя трудъ доказывать, что либеральное движеніе, ознаменовавшее цѣлую громадную эпоху, было «незаконнымъ». Нелѣпость подобной задачи очевидна сама собою; можно-ли говорить о незаконности либеральнаго движенія, охватившаго не отдѣльные кружки, а все общество «отъ верхняго края до нижняго»? Можно-ли также проливать украдкой горючія слезы по такому безчеловѣчному институту, какъ крѣпостное право?.. Пора бы нашимъ «консерваторамъ» выбросить за бортъ истрепанную мѣрку полицейской благонадежности; пора бы воспитать въ себѣ хоть малую толику уваженія къ обществу просвѣщенныхъ и кое-что понимающихъ людей. Пора бы перестать и лгать».

Видите, до какой степени могутъ быть различны мнѣнія и желанія и какъ трудно угодить на всѣхъ. К. П. Медвѣдскій называетъ Никитенка «честнымъ гражданиномъ» и, въ лицѣ его, ставитъ какъ бы идеалъ передъ цензурнымъ вѣдомствомъ: вотъ человѣкъ, который «до послѣдней возможности» отстаивалъ интересы литературы. Но если цензурное вѣдомство, весьма далекое отъ «послѣдней возможности», допуститъ «дискредитированіе» Тэна, то К. М—скій и анонимъ упрекнутъ его въ бездѣятельности. К—скій ожидаетъ отъ «Русскаго Богатства» яркости и огорчается его блѣдностью, а К. М—скій находитъ его необузданно яркимъ. К—скій полагаетъ, что Михайловскій «заслуживаетъ признательности русскаго общества», а только какъ будто усталъ, а К. М—скій и анонимъ заявляютъ: «нечего и говорить», что статьи Михайловскаго придаютъ «особенную пикантность» «букету» неблагонамѣренности. К—скій рекомендуетъ нашимъ «консерваторамъ» отказаться отъ «истрепанной мѣрки полицейской благонадежности» и «перестать лгать», а К. М—скій и анонимъ находятъ, напротивъ, «избитыми» «пріемы либеральныхъ полемистовъ»: въ «спорѣ съ консервативными противниками» они кричатъ о доносахъ («мѣрка полицейской благонадежности»?), но это только «дешевое средство отдѣлаться отъ противника, котораго оспаривать по существу—не хватаетъ пороха»...

Мудрено найти двѣ литературныя физіономіи, болѣе различныя, чѣмъ К. П. Медвѣдскій и К—скій, съ одной стороны, и К. М—скій

и анонимъ—съ другой. Какая странная игра природы это совпаденіе подписей. Допустить, чтобы все это писало одно и то же лицо—нельзя, ибо это лицо пришлось бы признать не только человѣкомъ безъ всякихъ убѣжденій, но и провокаторомъ, подстрекающимъ въ одномъ органѣ и доносящимъ въ другомъ. Неужели же и въ литературѣ возможна та профессія, о которой, какъ мы видѣли, съ такимъ презрѣніемъ говоритъ сенаторъ Таганцевъ: «профессія лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ»?—«Никогда не повѣрю», какъ говорила въ подобныхъ случаяхъ одна невинная дѣвица. Желательно бы знать, повѣрятъ-ли этому редакціи «Наблюдателя» и «Русскаго Вѣстника»...

Въ дополненіе къ сказанному въ прошлый разъ о разнообразіи толкованій теоріи Дарвина и выводовъ изъ нея въ области нравственно-политическихъ вопросовъ,—остановимся на много нашумѣвшей книгѣ Бенжамена Кидда «Общественная эволюція». Мнѣ она извѣстна въ нѣмецкомъ переводѣ Пфлейдерера (Sociale Evolution. Jena, 1895). Переводъ этотъ представляетъ нѣкоторый самостоятельный интересъ, въ виду предисловія, написаннаго тоже гремящимъ нынѣ натуралистомъ Авг. Вейсманомъ. Не содержаніемъ своимъ важно это предисловіе, занимающее всего двѣ странички, а какъ фактъ рекомендаціи со стороны одного изъ самыхъ выдающихся современныхъ біологовъ.

Книга Кидда—говоритъ Вейсманъ—представляетъ «попытку свести развитіе человѣческаго общества къ тѣмъ принципамъ, которые, по воззрѣніямъ современныхъ біологовъ, управляютъ развитіемъ самихъ формъ жизни. Доселѣ никто не дѣлалъ этого съ такою ясностью и послѣдовательностью и съ такой многообъемлющей точки зрѣнія».

По мнѣнію Кидда, «западная цивилизація» переживаетъ кризисъ. Въ исторіи нѣтъ параллели концу XIX вѣка. Задачи, стоящія передъ человѣкомъ на порогѣ новаго столѣтія, своею грандіозностью превосходятъ все, что доселѣ предстояло цивилизаціи: все заставляетъ думать, что Европа изжила извѣстный періодъ развитія и находится наканунѣ новой эры. Одну изъ замѣчательнѣйшихъ чертъ нашего времени Киддъ видитъ въ новомъ, по его мнѣнію, отношеніи къ религіи, въ новой точкѣ зрѣнія на ея роль и значеніе *). Внутри различныхъ западныхъ церквей замѣчается

*) Прошу замѣтить, что все нижеслѣдующее относится къ западно-европейской цивилизаціи. Киддъ настойчиво и многократно это подчеркиваетъ и двумъ главамъ своей книги прямо даетъ заглавіе: «Западная цивилизація» (Die westliche Civilisation въ нѣмецкомъ переводѣ).

стремленіе къ признанію того факта, что религія имѣетъ въ виду не только будущую жизнь, а и настоящую, земную, и не личную жизнь, а жизнь людей, какъ членовъ одного общественнаго организма. При этомъ конфессіональныя различія отступаютъ на второй планъ, уступая первое мѣсто общимъ основамъ всѣхъ церквей. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ разныхъ сторонъ слышится утвержденіе, что соціальный вопросъ есть въ сущности (im Grunde) религіозный вопросъ. Но и внѣ церковныхъ круговъ мы встрѣчаемъ чрезвычайно знаменательныя новыя теченія. Было бы большою ошибкою, говоритъ Киддъ, видѣть въ бурномъ невѣріи Брэдло и тому подобныхъ явленіяхъ нѣчто наиболѣе характерное для нашего времени. Это отзвуки нѣкоторыхъ теченій мысли конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, а къ концу вѣка мы замѣчаемъ, напротивъ, въ общемъ совершенно иное отношеніе въ религіи. Мы видимъ тяготѣніе многихъ умовъ къ консервативнѣйшей и наименѣе гибкой изъ всѣхъ церквей,—католической, видимъ стремленіе укрыться подъ сѣнь разнообразныхъ формъ мистицизма. Правда, наука, повидимому, произвела значительныя опустошенія въ рядахъ вѣрующихъ и въ системѣ вѣрованій, но по отношенію къ религіозному чувству вообще это одна лишь видимость. Вопросъ о границахъ науки и религіи, рѣшавшійся прежде въ смыслѣ непримиримаго ихъ противорѣчія, готовится вступить на новую почву. А именно болѣе или менѣе безсознательно пробивается признаніе того, что религія имѣетъ совершенно опредѣленную задачу въ исторіи человѣчества и что она есть могущественный факторъ соціальнаго развитія. Но какова эта задача въ настоящемъ и будущемъ,—на этотъ вопросъ наука не даетъ отвѣта. Не даетъ, однако, не потому, что не можетъ дать, а потому, во-первыхъ, что доселѣ недостаточно внимательно относилась къ религіи, какъ къ общественному фактору, и потому, во-вторыхъ, что разныя отрасли соціальныхъ наукъ стоятъ на слишкомъ одностороннихъ точкахъ зрѣнія, не охватывающихъ человѣка и человѣческое общество въ ихъ сложной цѣльности. Киддъ полагаетъ, что соціальныя науки должны почерпнуть новыя силы въ біологіи, въ приложеніи ея методовъ и выводовъ къ явленіямъ общественной жизни. Къ этому онъ и приступаетъ во второй главѣ.

Мы встрѣчаемся здѣсь съ общими принципами дарвинизма, но въ той болѣе односторонней и рѣзкой формѣ, какую имъ въ послѣднее время старается придать Вейсманъ. Съ момента возникновенія жизни, говоритъ Киддъ, прогрессъ совершался всегда однимъ и тѣмъ же путемъ и никакой иной путь немыслимъ. Прогрессъ есть результатъ подбора однихъ и устраненія другихъ. Никогда не существовало и не существуетъ двухъ вполнѣ одинаковыхъ пред-

ставителей одного и того же вида. Напротивъ, мы вездѣ встрѣчаемъ, въ извѣстныхъ узкихъ предѣлахъ, безконечное разнообразіе: одни индивиды стоятъ въ какомъ-нибудь отношеніи выше средняго уровня, другіе — ниже. И вотъ, если первые встрѣчаютъ благопріятныя условія для своего размноженія, — но только въ этомъ случаѣ, — становится возможнымъ прогрессъ въ какомъ-нибудь отношеніи. «Гдѣ есть прогрессъ, тамъ необходимо долженъ быть подборъ, а подборъ въ свою очередь необходимо предполагаетъ какое-нибудь соперничество». Но этого мало. Ссылаясь на работы Вейсмана, Киддъ считаетъ прочнымъ достояніемъ науки слѣдующее положеніе: если бы постоянно совершающійся въ высшихъ формахъ жизни подборъ былъ устраненъ, то формы эти не только не имѣли бы никакого побужденія къ дальнѣйшему совершенствованію, но неизбѣжно регриссировали бы. Другими словами: «если бы совокупность индивидовъ каждаго поколѣнія какого-нибудь вида имѣла возможность размножаться равномѣрно, то средній уровень каждаго поколѣнія имѣлъ бы постоянную тенденцію понижаться въ сравненіи съ предъидущимъ поколѣніемъ, и получилось бы медленное, но несомнѣнное вырожденіе». Въ большей или меньшей степени подборъ и соперничество необходимы, но чѣмъ они рѣзче, безпощаднѣе, тѣмъ сильнѣе прогрессируетъ видъ. Въ общемъ мы вездѣ видимъ прогрессъ, «но путь къ нему покрытъ всѣми несчастливцами и неудачниками, падшими въ этомъ поступательномъ движеніи». Такъ всегда было, такъ и будетъ. Очевидно, прогрессъ не совмѣстимъ съ благополучіемъ большей части представителей даннаго вида. И если бы эти индивидуальные представители вида могли размышлять объ общемъ ходѣ дѣлъ, то, конечно, ихъ собственное благополучіе было бы для нихъ гораздо дороже, чѣмъ совершенствованіе или вообще будущее вида. Въ мірѣ животныхъ и тѣмъ паче растеній процессъ совершается безъ участія сознанія, но человѣкъ вноситъ въ эту міровую и вѣковую картину двѣ новыя силы: свой разумъ и свою способность совмѣстной дѣятельности въ организованныхъ обществахъ. И спрашивается, какимъ же образомъ обладаніе разумомъ совмѣщается въ человѣкѣ съ рѣшимостью подчиняться тяжелымъ условіямъ существованія, требующимъ полнаго и постояннаго жертвоприношенія своего личнаго благополучія прогрессирующему развитію, въ которомъ индивидъ не имѣетъ никакой личной выгоды?

Эволюція на всемъ своемъ протяженіи сохраняетъ свои главныя черты. Люди собираются въ первобытныя общества, и такъ какъ разумъ человѣка достигаетъ высшихъ успѣховъ, когда онъ работаетъ въ сообществѣ себѣ подобныхъ, то онъ пріобрѣтаетъ извѣстныя соціальныя привычки. Но и общество слѣдуетъ тому же

общему закону подбора и соперничества. «Побѣдоносныя общества истребляютъ постепенно своихъ соперниковъ, слабѣйшіе народы исчезаютъ передъ сильнѣйшими, порабощеніе и устраненіе менѣе сильныхъ остаются главнымъ теченіемъ человѣческаго прогресса». Само собою идетъ соперничество внутри обществъ, и, наконецъ, возникаютъ «наиболѣе жизнеспособныя соціальныя системы, въ которыхъ полное подчиненіе интересамъ соціальнаго организма соединяется съ высшимъ развитіемъ личности». Въ то же время, однако, «эволюціонистъ нигдѣ не находитъ прекращенія жесткихъ условій, господствующихъ съ самаго начала жизни. Напротивъ, замѣчается тенденція поставить ихъ еще уже и строже. Вездѣ и всегда прогрессъ сопровождается одними и тѣми же неизбѣжными явленіями неудачи большей части индивидовъ и устраненія ихъ отъ высшихъ ступеней жизни».

Естественно, что это большинство не находитъ въ своемъ разумѣ оправдательнаго основанія для такого порядка вещей. Можно утверждать, что таковы необходимыя условія всякаго прогресса, что ихъ упраздненіе неблагопріятно отзовется на будущихъ интересахъ общества и даже всей нашей расы. Но для индивидуума, занятаго своими собственными интересами въ настоящемъ, а не возможными интересами общества или расы въ будущемъ, — это соображеніе не имѣетъ вѣса. Сравнивая мозгъ современнаго европейца съ мозгомъ низшихъ дикарей и мысленно возстановляя промежуточныя ступени развитія, наука констатируетъ несомнѣнный прогрессъ, но нѣтъ доводовъ, которые могли бы убѣдить разумъ американскихъ краснокожихъ или новозеландскихъ маорисовъ въ необходимости ихъ исчезновенія съ лица земли. Обращаясь съ тому періоду европейской исторіи, когда процвѣтали могущественныя военныя аристократіи, угнетавшія народъ, мы увидимъ то же самое. Тщетно было бы доказывать угнетеннымъ, что этотъ общественный строй есть естественный продуктъ своего времени и что безъ такой организаціи данная соціальная группа погибла бы подъ ударами мощныхъ соперниковъ... Когда соціалисты и демократы изображаютъ намъ тяжкое положеніе низшихъ классовъ, наукѣ трудно имъ возражать. Но она можетъ, и при томъ «безъ малѣйшаго затрудненія», доказать, что соціалистическіе планы не осуществимы, а въ случаѣ осуществленія повели бы къ окончательной погибели человѣчества. «Эволюціонистъ убѣжденъ, что такъ называемая Massenausbeutung есть только современная форма соперничества, наблюдаемаго съ перваго проявленія жизни, и что жертвоприношеніе единицъ грядущимъ интересамъ всего соціальнаго организма есть необходимый элементъ нашего прогресса». Нельзя, однако, требовать, чтобы приносимыя въ жертву это сознавали. «Интересы

индивида и соціальнаго организма очень различны», говоритъ Киддъ и еще рѣзче выражаетъ это положеніе на той же страницѣ (73): «интересы соціальнаго организма и составляющихъ его индивидовъ всегда противостоятъ одни другимъ, какъ враги». Поэтому въ разумѣ индивида нѣтъ оправданія для порядковъ, существующихъ въ прогрессирующемъ обществѣ.

Но разумъ не есть единственная сила, дѣйствующая въ исторіи. «Центральный пунктъ исторіи человѣчества, доселѣ неоцѣненный надлежащимъ образомъ ни наукою, ни философіей, лежитъ въ борьбѣ, которую человѣкъ въ теченіе всего своего соціальнаго развитія велъ съ цѣлью подчиненія своего собственнаго разума. Движущая сила въ этой борьбѣ дается религіозными вѣрованіями». Ихъ вліяніе опредѣлило поведеніе въ качествѣ сверхъ-разумной (über die Vernunft hinausgehende) нормировки и санкціи. Никакое вѣрованіе не можетъ функціонировать въ обществѣ, какъ религія, если оно не даетъ этой сверхъ-разумной нормировки соціальнаго поведенія человѣка. Поэтому и соціальный организмъ есть не политическая организація, часть которой мы составляемъ, и не раса, къ которой мы принадлежимъ, и не весь родъ человѣческій въ процессѣ его развитія; онъ есть соціальная система, покоющаяся на какой нибудь формѣ религіознаго вѣрованія. Въ такомъ организмѣ возникаетъ двойственность: разлагающій отрицательный принципъ, представляемый самоопредѣленіемъ индивидовъ, и обновляющій, положительный, содержащій религіозное вѣрованіе, которымъ нормируется и санкціонируется соціальное поведеніе. Этотъ послѣдній принципъ лежитъ, очевидно, за предѣлами разума, и функція его состоитъ въ томъ, чтобы въ борьбѣ развитія осуществлять и нормировать подчиненіе интересовъ индивидуальнаго существованія болѣе широкимъ интересамъ дольше живущаго соціальнаго организма, къ которому мы принадлежимъ. Въ зависимости отъ нравственныхъ нормъ, устанавливаемыхъ этимъ принципомъ, находится роль соціальныхъ группъ въ дѣлѣ развитія расы. Въ нихъ, въ этихъ нравственныхъ нормахъ, и въ ихъ исторической смѣнѣ коренится множество явленій жизни, законы которыхъ еще не изучены. Что же касается религіи, то она, — независимо отъ тѣхъ или другихъ догматовъ, составляющихъ предметъ богословія, — какъ соціальное явленіе, получаетъ слѣдующее опредѣленіе: «Религія есть форма вѣрованій, создающая сверхъ-разумныя нормы для поведенія индивидуума въ тѣхъ случахъ, когда его интересы стоятъ въ противорѣчіи съ интересами соціальнаго организма, и подчиняющая первыхъ послѣднимъ въ общихъ интересахъ эволюціи расы» (97). Таково основаніе каждой религіи, говоритъ Киддъ, но само собою разумѣется, что для исповѣдую-

щихъ ту или другую религію этимъ не исчерпываетя ея содержаніе.

Заручившись этими общими положеніями (я, разумѣется, передаю ихъ и весь ходъ аргументаціи очень бѣгло), Киддъ приступаетъ къ анализу того, что онъ называетъ «западной цивилизаціей». Та сложная система, то огромное органическое цѣлое, въ которомъ живетъ современный цивилизованный человѣкъ, не пріурочивается ни къ какимъ національнымъ или расовымъ границамъ. Ее, эту громадную и сложную систему, можно бы было, пожалуй, назвать «европейской цивилизаціей», но и это будетъ не точно. Поэтому Киддъ, за неимѣніемъ лучшаго обозначенія, даетъ ей названіе «западной цивилизаціи».

Многое изъ того, что мы видимъ теперь вокругъ себя, съ чѣмъ мы сжились и на что смотримъ, какъ на необходимую часть своего ежедневнаго обихода, — очень недавняго происхожденія. Наша торговля, банки, вся система кредита — не старше двухъ столѣтій, пути сообщенія, которыми мы пользуемся, наши системы образованія, міровой рынокъ, большинство завоеваній техники, прикладной науки, не насчитываютъ себѣ и этого возраста. Все это есть не больше, какъ одинъ краткій эпизодъ въ исторіи западной цивилизаціи, и нельзя составить себѣ объ ней даже самое общее представленіе, принимая во вниманіе лишь эти такъ недавно выступившія на историческую арену силы. Надо обратиться къ прошлому.

Не трудно, по мнѣнію Кидда, указать историческое начало «западной цивилизаціи»; это — первые вѣка нашей эры. Это было время паденія одного типа цивилизаціи и возникновенія новаго. Вѣкъ, предшествовавшій христіанской эрѣ, и вѣкъ, непосредственно за ней слѣдовавшій, выставили рядъ блестящихъ именъ на всѣхъ поприщахъ умственной дѣятельности: Цицеронъ, Виргилій, Катуллъ, Горацій, Лукрецій, Овидій, Тибуллъ, Салюстій, Цезарь, Ливій, Ювеналъ, оба Плинія, Сенека, Квинтиліанъ, Тацитъ. И тѣмъ не менѣе римскій геній уже переступалъ пору своего разцвѣта, римская цивилизація достигла своей вершины. Всѣ усилія вдохнуть жизнь въ старыя формы были напрасны; и мы вездѣ видимъ явственные симптомы упадка, разложенія. Но на развалинахъ отцвѣтшей жизни возникаетъ новая, съ самаго начала имѣющая огромное общественное значеніе. Столѣтія прошли прежде, чѣмъ получилась ясная идея о томъ общественномъ организмѣ, который предстояло создать христіанской религіи, но уже съ самаго начала обнаружилось ея необыкновенное значеніе, какъ историческаго фактора. Новая сила стирала границы классовъ, національностей, расъ, безразлично вводя ихъ представителей въ новое обществен-

ное цѣлое, исповѣдующихъ христіанство, и ради этого цѣлаго они готовы были на всякое самопожертвованіе. И эта новая сила отнюдь не была продуктомъ разума или разсудка. Она увлекала по преимуществу низшіе, наименѣе образованные и умственно развитые слои общества. Представители ума и знанія были далеки отъ сознанія важности того, что происходило передъ ихъ глазами. Они относились къ новой силѣ или враждебно, или съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ. Но не эти представители разума наложили свою печать на дальнѣйшій ходъ общественной эволюціи. Мы видимъ быстрый ростъ церковной организаціи, полное и добровольное подчиненіе разума, постепенное паденіе личнаго, независимаго сужденія и торжество аскетическаго идеала. Вся западная Европа обратилась въ огромную теократію, всѣхъ и каждаго обязывавшую безпрекословно повиноваться авторитетамъ и строго каравшую всякое сомнѣніе или отклоненіе. Все, созданное геніемъ Греціи и Рима, погребено, и люди даже не знаютъ, что нѣчто подобное существовало. Между старою жизнью и тою, которая заняла ея мѣсто, нѣтъ никакой органической связи. Лишь въ XII, XIII вв. начинаетъ пробиваться другой факторъ соціальнаго развитія, въ XV в. наступаетъ эпоха «возрожденія», въ XVI в. — развертывается реформація, давшая новый толчокъ религіозному чувству. Невозможно обсуждать принципы, лежащіе въ основѣ новѣйшей цивилизаціи, не принимая въ соображеніе религіознаго движенія, съ котораго началась новая исторія. Эволюціонистъ долженъ признать, что оно въ теченіе многихъ вѣковъ способствовало и способствуетъ росту однихъ элементовъ и препятствуетъ росту другихъ, и что каковы бы ни были наши личные взгляды на принципы христіанства и содержаніе его вѣрованій, мы во всякомъ случаѣ составляемъ продуктъ этого движенія. Вся современность есть только часть явленій, съ нимъ связанныхъ. Говорятъ объ теоретической безплодности первыхъ вѣковъ церковной организаціи западной Европы, но это совершенно не вѣрно, — этотъ историческій періодъ былъ періодомъ накопленія альтруистическихъ чувствъ, школьнымъ періодомъ подчиненія самоопредѣляющейся личности иному, высшему началу, и плоды его, обильные и благотворные, сказались позже.

Не входя въ подробности дальнѣйшей аргументаціи Кидда и его анализа нѣкоторыхъ фактовъ западно-европейской исторіи, остановимся только на главныхъ и общихъ сторонахъ его работы, находящихся въ непосредственномъ отношеніи къ вышеизложенному.

Древній міръ, на развалинахъ котораго выросла новая, западно-европейская цивилизація, покоился на рабствѣ, — на рабствѣ въ собственномъ смыслѣ, рабствѣ женщинъ, рабствѣ дѣтей, — на презрѣніи ко многимъ отраслямъ труда, на замкнутости общественной жизни. Все это создавало искусственныя препятствія для свободной игры борьбы за существованіе и естественнаго подбора, а потому неизбѣжно понижало уровень расы. Христіанство внесло въ исторію новую этическую систему прирожденнаго равенства всѣхъ людей и братской любви, снабдивъ при томъ эту этическую систему чрезвычайною силою сверхъ-разумнаго фактора. Построенная на этой системѣ цивилизація призываетъ къ участію въ борьбѣ за существованіе всѣхъ дотолѣ отстраненныхъ. Такимъ образомъ, западно-европейская цивилизація не только не обрываетъ вѣковѣчнаго космическаго процесса, но составляетъ прямое его продолженіе. Этимъ именно объясняется энергія, сила, духъ предпріимчивости, характеризующіе европейскіе народы. И процессъ долженъ идти и впредь въ томъ же направленіи. Многое уже сдѣлано на этомъ пути пріобщенія разныхъ общественныхъ слоевъ къ открытой и свободной борьбѣ за существованіе; многое и теперь дѣлается, и въ этомъ отношеніи особенно поучительна новѣйшая исторія Англіи, постепенно, но твердо расширяющая поле естественнаго подбора привлеченіемъ народныхъ массъ къ активной политической жизни. Но очень многое еще остается сдѣлать. И Англія, и европейская цивилизація вообще еще очень далеки отъ такого состоянія, при которомъ каждая сила и каждая способность находили бы себѣ надлежащее приложеніе, не будучи стѣсняемы посторонними, случайными условіями. Послѣднихъ еще весьма много даже въ сферѣ политическихъ отношеній, не говоря уже объ отношеніяхъ экономическихъ. Они должны исчезнуть въ видахъ уравненія шансовъ соперничества и борьбы за существованіе, дабы побѣждали дѣйствительно лучшіе, сильнѣйшіе. Съ этою цѣлью подлежитъ, напримѣръ, пересмотру наслѣдственное право, но именно и исключительно съ этою цѣлью, которая состоитъ отнюдь не въ упраздненіи соперничества, борьбы и подбора, а, напротивъ, въ ихъ вящшемъ обостреніи. Доктрина, имѣющая своимъ девизомъ «laissez faire», оказала много услугъ человѣчеству, но нынѣ она уже требуетъ поправки, въ смыслѣ необходимости государственнаго вмѣшательства, но съ цѣлью не ограниченія поля свободной конкурренціи, а его охраненія отъ вліянія случайныхъ причинъ. Приведя извѣстное, часто цитируемое предсказаніе Энгельса о грядущей рѣзкой перемѣнѣ общественныхъ отношеній, при чемъ должна исчезнуть борьба за личное существованіе, Киддъ утверждаетъ, что это исчезновеніе и невозможно, и не жела-

тельно, такъ какъ оно знаменовало бы собою паденіе цивилизаціи.

Мы уже видѣли отчасти отношеніе Кидда къ школѣ Энгельса. Признавая неопровержимымъ ея фактическое изложеніе современнаго экономическаго строя, говоря ей по этому поводу много комплиментовъ, Киддъ отвергаетъ едва ли не всѣ историческія положенія школы. Ту Massenausbeutung, которую школа считаетъ особливою принадлежностью капиталистическаго строя, Киддъ находитъ и въ феодализмѣ, и въ античномъ мірѣ, словомъ, на всемъ протяженіи исторіи, и полагаетъ, что она не прекратится и въ будущемъ. Она только принимала и принимаетъ разныя формы въ разные историческіе періоды, но въ существѣ своемъ составляетъ неизбѣжную основу общественной эволюціи. Затѣмъ, экономическое обоснованіе всѣхъ историческихъ явленій Киддъ считаетъ слишкомъ узкимъ и недостаточнымъ. Впрочемъ, на эту матеріалистическую точку зрѣнія онъ обращаетъ мало вниманія, сосредоточиваясь главнымъ образомъ на исторической роли разума и науки, съ одной стороны, этики и религіи—съ другой.

«Западная цивилизація» представляетъ собою нѣкоторое единое органическое цѣлое; процессъ его развитія состоитъ въ постепенномъ высвобожденіи личныхъ силъ для состязанія на аренѣ борьбы за существованіе; движущая сила, лежащая въ основѣ этого развитія, есть извѣстный фондъ альтруистическихъ чувствъ; этотъ фондъ есть продуктъ связанной съ западной цивилизаціей религіозной системы. Интеллектуальный элементъ играетъ при этомъ важную, но лишь второстепенную, подчиненную роль. Онъ имѣетъ задачею только развивать то, что пріобрѣтено другими силами, и не можетъ даже удержать пріобрѣтенное этими другими силами, когда послѣднія изсякаютъ. Мы видѣли рядъ блестящихъ именъ дѣятелей мысли во времена упадка римской цивилизаціи,—они ея не спасли. Мы знаемъ рядъ еще болѣе блестящихъ представителей интеллектуальнаго элемента въ древней Греціи, во многихъ отношеніяхъ не превзойденныхъ никѣмъ въ европейской исторіи, и, однако, греческая цивилизація исчезла, и даже этнографически населеніе древней Греціи расплылось безслѣдно въ другихъ, чуждыхъ элементахъ. Черезъ значительную часть XIX в. проходитъ пламенная надежда на благодѣтельную роль, которую умственный элементъ долженъ сыграть въ исторіи человѣчества. Существуетъ убѣжденіе, что вышеупомянутый процессъ политическаго, экономическаго, соціальнаго высвобожденія личности происходитъ главнымъ образомъ на интеллектуальной почвѣ. Но присматриваясь къ дѣлу ближе съ эволюціонной точки зрѣнія, мы должны признать, что движущей силой этого процесса является

не разумъ. «Отнимите вышеуказанныя этическія вліянія, и мы можемъ себѣ представить то циническое равнодушіе и разсудочную гордость, съ которыми сильный характеръ отнесется къ этому освобожденію отъ вульгарнаго и рабскаго, при такихъ условіяхъ, предразсудка. Если наше сознательное отношеніе къ міру измѣрять краткимъ поприщемъ нашего личнаго существованія, то разумъ признаетъ только одну обязанность индивида: обязанность по отношенію къ себѣ, обязанность по возможности воспользоваться немногими драгоцѣнными годами сознательной жизни. Всякая другая точка зрѣнія окажется юродскою и смѣшною. Каждое избѣгнутое въ эти годы страданіе, каждое полученное наслажденіе—есть выгода, рядомъ съ которою стремленіе споспѣшествовать космическому процессу, безразличному для интересовъ индивида, ничтожно». Указываютъ на многочисленныя исключенія,—на людей, отнюдь не стоящихъ подъ вліяніемъ религіознаго движенія, составляющаго основу нашей цивилизаціи, которые, однако, одушевлены благородными мотивами и ведутъ безупречную жизнь. Но это только кажущіяся исключенія, ибо въ нихъ сказывается все-таки тотъ же общій фондъ альтруистическихъ чувствъ. Если памятовать, что съ эволюціонной точки зрѣнія наша цивилизація есть единый организмъ, исторія жизни котораго подлежитъ изученію въ цѣломъ, то ясно, что нельзя разсматривать отдѣльные индивиды, какъ независимые отъ процесса, вліяющаго на общество въ теченіе вѣковъ. Слѣдуетъ думать, что раціоналистическая школа, поющая нынѣ хвалы разуму и предсказывающая ему полное и окончательное господство, потерпитъ крушеніе. Рано или поздно проницательные умы поймутъ, что всѣ пріобрѣтенія разума, всѣ наши открытія и изобрѣтенія могутъ быть усвоены и такъ называемыми низшими расами, и что если передовыя, прогрессирующія расы не будутъ имѣть иного орудія въ борьбѣ, то онѣ утратятъ свое первенство, и весь эволюціонный процессъ западной цивилизаціи задержится или даже повернетъ назадъ. «Отличительная черта человѣческой эволюціи, какъ цѣлаго, состоитъ въ томъ, что, въ силу закона естественнаго подбора, раса должна становиться все болѣе и болѣе религіозною». (226). Прогрессъ совершается постепеннымъ подчиненіемъ непосредственныхъ интересовъ самоопредѣляющаго индивида интересамъ общества. Такимъ путемъ слагается то, что называется «религіознымъ характеромъ». И побѣждаютъ въ борьбѣ тѣ расы, въ которыхъ этотъ религіозный характеръ является наиболѣе развитымъ, а среди нихъ въ свою очередь тѣ, которыя обладаютъ и наилучшей этической системой; а эта послѣдняя, подчиняя интересы индивида интересамъ общества, вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляетъ арену

борьбы всѣмъ силамъ и способностямъ на равно свободномъ основаніи. Такимъ образомъ, мы видимъ въ исторіи два параллельныхъ процесса: развитіе религіознаго характера индивидовъ и развитіе характера самыхъ религій. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи западная цивилизація пережила два важныхъ момента, представляемыхъ торжествомъ католицизма и затѣмъ реформаціей. Фондъ альтруистическихъ чувствъ, накопленный въ первые вѣка христіанства, получилъ съ теченіемъ времени ложное направленіе въ католицизмѣ, но возродился съ новою силою, какъ бы вернувшись къ своему чистому источнику, въ реформаціонномъ движеніи XIV вѣка. Онъ вступилъ здѣсь на естественный, не подавляемый авторитетомъ путь развитія. Оттого-то мы и видимъ рядъ судорожныхъ революціонныхъ взрывовъ въ странахъ, оставшихся вѣрными католицизму, главнымъ образомъ во Франціи, и спокойную. но неустанную эволюцію странъ протестантскихъ, главнымъ образомъ Англіи. Киддъ не знаетъ, кажется, достаточно сильныхъ словъ для восхваленія, какъ внутренняго строя англійской жизни, такъ и ея иностранной и въ особенности колоніальной политики. Конечно, и Англіи предстоитъ еще многое совершить, но она навѣрное это многое совершитъ, потому что стоитъ на вѣрной дорогѣ, отъ вѣка намѣченной космическимъ процессомъ. Низшія расы, съ которыми Англія сталкивается въ колоніяхъ, конечно, должны или погибнуть, или состоять подъ верховнымъ руководствомъ метрополіи. Но и эта гибель, и эта подчиненность, во-первыхъ, вполнѣ естественны, а во-вторыхъ, совершаются на почвѣ альтруистическаго призыва всѣхъ силъ и способностей на арену свободной борьбы за существованіе. Если при этомъ, напримѣръ, мѣстная промышленность не выдерживаетъ конкурренціи съ англійскою, то это лишь естественное и мирное торжество сильнаго надъ слабымъ, а насилій тутъ не бываетъ. И все это благодаря основному религіозному фактору англійской исторіи, который сказывается и во внутреннихъ дѣлахъ выработкою благородныхъ характеровъ въ высшихъ, правящихъ классахъ, добровольно дѣлающихъ одну за другою уступки низшимъ, дабы и ихъ привлечь къ участію въ борьбѣ за существованіе на равно свободномъ для всѣхъ основаніи...

Я далеко не исчерпалъ всего содержанія книги Кидда, минуя многія побочныя мысли и фактическія иллюстраціи, хотя къ нѣкоторымъ изъ нихъ намъ придется еще обратиться. Боюсь, что и въ такомъ, освобожденномъ отъ многихъ подробностей видѣ, концепція Кидда представляется читателю очень неясною. Слишкомъ ужъ непривычны нѣкоторыя изъ его сближеній, въ особенности для насъ,

русскихъ, но не только для насъ. Излагая теорію Кидда, такой основательный и добросовѣстный писатель, какъ Де-Греефъ, въ одномъ мѣстѣ говоритъ: «Киддъ, признавая, что разумъ есть отличительное свойство человѣка, думаетъ, что онъ станетъ главнымъ орудіемъ подбора», — а черезъ двѣ страницы пишетъ: «по Кидду функція религіи состоитъ въ подчиненіи разума и личныхъ интересовъ коллективному организму; она есть центральный факторъ эволюціи человѣчества» (Le transformisme social. Essai sur le progrès et ee regrès des sociétés, 1895, стр. 249 и 252). Мы видѣли, что только послѣдняя изъ этихъ фразъ выражаетъ настоящую и при томъ основную мысль Кидда, а первая ей прямо противорѣчитъ. Тотъ же Де-Греефъ мимоходомъ упрекаетъ Кидда въ томъ, что онъ, «прилагая къ общественному развитію принципъ естественнаго подбора, удѣляетъ слишкомъ малую, даже въ первобытныхъ цивилизаціяхъ, долю вліянія общественному чувству (socialité), во многихъ случаяхъ являющемуся благопріятнымъ моментомъ для развитія и сохраненія обществъ» (247). На самомъ дѣлѣ, въ данномъ случаѣ Киддъ заслуживаетъ упрека не за забвеніе роли общественнаго чувства, а за произвольность и невыдержанность терминологіи.

XVI *).

Продолженіе о Киддѣ.—Г. Антоновичъ и объективность.—О Невскомъ Обществѣ устройства народныхъ развлеченій.

Сопоставляя жизнь цивилизованныхъ людей съ жизнью дикарей, нельзя не изумляться колоссальнымъ успѣхамъ человѣческаго разума, говоритъ Киддъ. Мы, цивилизованные люди, сообщаемъ другъ другу свои мысли въ кратчайшее время на огромныя разстоянія; мы за цѣлые годы впередъ съ точностью опредѣляемъ движенія небесныхъ тѣлъ, отстоящихъ отъ насъ на многіе милліоны миль; дѣлаемъ механическіе снимки съ рѣчей и потомъ возстановляемъ въ любое время эти рѣчи для нашего слуха; изучаемъ составъ неподвижныхъ звѣздъ съ помощью анализа свѣта, исшедшаго изъ своего источника раньше, чѣмъ занялась заря нашей исторіи. Все это достигнуто человѣческимъ разумомъ, и ничего отдаленно подобнаго мы не находимъ у низшихъ расъ. Сложность нашей цивилизованной жизни, наша торговля и промышленность, служащія имъ орудія, машины, техническія знанія, — также, повидимому, рѣзко отграничиваютъ цивилизованные народы отъ низшихъ расъ. Очень, однако, ошибаются тѣ близорукіе люди, которые считаютъ эти результаты цивилизаціи мѣриломъ умственной разницы между нами и низшими расами. Стоитъ лишь немного подумать, чтобы убѣдиться въ томъ, что изумительные плоды цивилизаціи отнюдь не могутъ служить мѣриломъ умственнаго превосходства цивилизованныхъ народовъ. Это результаты не умственнаго напряженія отдѣльныхъ лицъ изъ насъ, а колоссальной преемственной работы накопленія знаній, каждое послѣдующее увеличеніе которыхъ становится все легче. Даже даровитѣйшіе изъ насъ, заносящіе въ лѣтописи науки открытія первостепенной важности, собственно говоря, не могутъ приписывать ихъ себѣ, своему личному творчеству, ибо работаютъ на расчищенной трудами многихъ поколѣній почвѣ. Вотъ почему

---

*) Іюнь, 1896.

мы и видимъ, что великія открытія и изобрѣтенія совершаются обыкновенно не однимъ лицомъ, а нѣсколькими, вполнѣ другъ отъ друга независимо. Такъ было съ дифференціальнымъ исчисленіемъ, съ закономъ сохраненія силы, съ эволюціонной теоріей, съ объясненіемъ египетскихъ іероглифовъ, такъ было съ открытіемъ паровой машины, спектральнаго анализа, телеграфа, телефона, и проч. Ни объ одной великой идеѣ нельзя сказать, чтобы она была продуктомъ единичнаго генія, а слѣдовательно, нельзя указывать на наши идеи и знанія, какъ на свидѣтельство нашей умственной высоты; они гораздо болѣе свидѣтельствуютъ о высотѣ нашей общественности, соціальнаго развитія. Точно такъ же, говоря о низшихъ расахъ, нельзя объяснять ихъ состояніе исключительно ихъ умственною отсталостью. Извѣстно, что въ языкахъ низшихъ расъ нѣтъ словъ для выраженія нѣкоторыхъ идей и отношеній, съ которыми мы, цивилизованные люди, освоиваемся съ самаго ранняго дѣтства. Такъ, напримѣръ, дикари обыкновенно умѣютъ считать только до пяти, даже до трехъ и не имѣютъ словъ для обозначенія большихъ чиселъ. А между тѣмъ эти люди владѣютъ часто стадами рогатаго скота, овецъ и проч. и очень хорошо знаютъ, все-ли стадо тутъ на лицо, хотя и не могутъ сказать, какъ оно велико. Если-же мы съ легкостью совершаемъ свои счетныя операціи, такъ это благодаря преемственно выработанному какъ бы масштабу, который мы почти механически примѣняемъ къ дѣлу; затрачиваемыя же при этомъ наши умственныя способности совсѣмъ ужъ не такъ значительно превышаютъ способности дикаря, какъ это кажется съ перваго взгляда.

Это разсужденіе Кидда, содержа въ себѣ много вѣрнаго, можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ служить исходнымъ пунктомъ для доказательства произвольности нѣкоторыхъ его обобщеній и самой его терминологіи. Нельзя сомнѣваться въ великомъ значеніи религіозныхъ вѣрованій и связанныхъ съ ними этическихъ системъ, какъ историческаго фактора. Но было бы большою ошибкою не видѣть другихъ источниковъ этики, заключающихся въ томъ процессѣ развитія общественности, въ томъ, такъ сказать, соціальномъ треніи, которому Киддъ не безъ основанія приписываетъ столь значительную роль даже въ чисто интеллектуальной области. Вопреки мнѣнію Де-Греефа, Киддъ придаетъ огромное значеніе общественности (socialité), но онъ даетъ ей совершенно произвольное, слабо мотивированное и одностороннее освѣщеніе.

Затѣмъ Киддъ уже слишкомъ грубо и прямолинейно изображаетъ картину развитія «европейской цивилизаціи». Одна изъ исходныхъ точекъ Кидда—естественный антогонизмъ между индивидомъ и обществомъ, между индивидуальнымъ и общественнымъ

развитіемъ—есть пунктъ, къ которому съ разныхъ сторонъ приходятъ многіе современные европейскіе соціологи. Но проистекающая отсюда борьба за индивидуальность во всякомъ случаѣ не можетъ быть столь проста и, такъ сказать, монотонна, какъ выходитъ у Кидда. Дѣло въ томъ, что всякая общественная форма, въ которую вступаетъ человѣкъ, съ одной стороны, расширяетъ его личное существованіе, обогащая его новыми психологическими элементами, новыми красками и звуками жизни, и предоставляя сотрудниковъ для достиженія его цѣлей, но, съ другой стороны, налагаетъ на личность извѣстныя узы, ограничивающія просторъ ея жизненныхъ проявленій. Эти плюсы и минусы, доставляемые личности обществомъ, и по своему объему, и по своей напряженности, и по своему направленію, очень разнообразны въ разныхъ формахъ общественныхъ союзовъ и на разныхъ ступеняхъ развитія этихъ союзовъ. Разнообразіе это еще во много разъ увеличивается тѣмъ обстоятельствомъ, что, напримѣръ, членъ того колоссальнаго цѣлаго, которое Киддъ называетъ «западной цивилизаціей», не исключительно и непосредственно въ это цѣлое входитъ: онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и членъ семейнаго союза, и сынъ своей родины, входитъ въ составъ того или другого общественнаго класса или сословія, принадлежитъ по своему вѣроисповѣданію къ той или другой церкви, а по своей профессіи—къ той или другой профессіональной группѣ, онъ въ то же время членъ какого-нибудь благотворительнаго, ученаго общества, какого-нибудь клуба и т. д., и т. д. Нѣсколько меньшую пестроту, но все-таки значительное разнообразіе встрѣтимъ мы и въ томъ цѣломъ, которое Киддъ объединяетъ, какъ средневѣковую теократію. И здѣсь имѣется сложная іерархія феодальной системы, рыцарскихъ и монашескихъ орденовъ, цеховъ, сельскихъ общинъ, союзовъ кровнаго родства, временныхъ союзовъ съ торгово-промышленными и военными цѣлями и т. д. Прослѣдить судьбы личности въ этомъ пестромъ переплетѣ разнообразныхъ союзовъ со всѣми ихъ плюсами и минусами—задача столь же интересная, какъ и трудная. И, очевидно, въ этой сложной картинѣ нельзя оріентироваться при помощи противопоставленія разума и эгоизма, съ одной стороны, «сверхъ-разумныхъ факторовъ» и общественности—съ другой. Даже въ средніе вѣка, когда европейскую цивилизацію дѣйствительно обуяла страстная жажда преклоненія передъ авторитетомъ и разнообразные общественные союзы дѣйствительно часто принимали ту окраску, которую Киддъ называетъ сверхъ-разумною; даже и тогда были часто «разумныя» основанія для вступленія въ вассальныя отношенія къ сильному сюзерену или для образованія союзовъ взаимной защиты и помощи. А съ другой стороны, такъ пышно расцвѣтшій въ средніе

вѣка аскетическій идеалъ, часто заключавшій въ себѣ прямое отрицаніе общества, опирался на сверхъ-разумныя основанія. Такимъ образомъ, ни разумъ не можетъ быть признанъ противообщественнымъ началомъ ни общественность не можетъ быть предоставлена въ исключительное вѣдѣніе сверхъ-разумныхъ факторовъ.

Соотечественникъ Кидда, Генри Друммондъ, книга котораго «Прогрессъ и эволюція человѣка» вышла недавно въ русскомъ переводѣ, находитъ, что «ни одинъ изъ современныхъ мыслителей не смотрѣлъ на проблемму съ такою ясностью, какъ Киддъ; но— продолжаетъ онъ—его рѣшеніе, глубоко вѣрное само по себѣ, портится въ глазахъ науки и философіи своимъ совершенно ошибочнымъ основаніемъ». По мнѣнію Друммонда, концепція Кидда есть продуктъ разочарованія и отчаянія. Отчаявшись найти въ разумѣ и въ самой природѣ основанія для этики, Киддъ ищетъ ей «ультрараціональной санкціи». Надо замѣтить, что Друммондъ столь же высоко цѣнитъ христіанскую этику, какъ и Киддъ, но онъ полагаетъ, что соотвѣтствующія ей предписанія даютъ и разумъ, и сама природа. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, какъ и Киддъ же, пламенный эволюціонистъ, но нѣсколько на иной подкладкѣ. И ходъ его мысли, и результатъ, къ которому онъ приходитъ, хорошо характеризуются слѣдующими его словами: «Вплоть до сихъ поръ не было сказано ни одного слова для примиренія христіанства съ эволюціей или эволюціи съ христіанствомъ. А почему? Ибо и то, и другое составляютъ одно. Что такое эволюція? Способъ творенія. Въ чемъ цѣль ея? Сдѣлать живыя существа болѣе совершенными. Что такое христіанство? Способъ творенія. Въ чемъ цѣль его? Сдѣлать живыя существа болѣе совершенными. Черезъ что дѣйствуетъ эволюція? Черезъ любовь. Черезъ что дѣйствуетъ христіанство? Черезъ любовь. Эволюція и христіанство имѣютъ одного и того же Творца, одну и ту же цѣль, одинъ и тотъ же духъ. Между этими двумя процессами нѣтъ соперничества. Христіанство проникло въ эволюціонный процессъ безъ шума и потрясенія; оно не опрокинуло ничего изъ того, что было сдѣлано; оно приняло всѣ естественныя основанія точь въ точь такими, какими нашло ихъ; оно взяло человѣческое тѣло, умъ и душу какъ разъ на томъ уровнѣ, на которомъ работала надъ ними органическая эволюція; оно продолжало постройку путемъ медленныхъ и постепенныхъ измѣненій; и черезъ процессы, управляемые раціональными законами, оно завершило восхожденіе человѣка. Но одинъ человѣкъ не можетъ прослѣдить естественно пути эволюціи, не достигнувъ при вершинѣ христіанства» (русскій переводъ, М. 1896, стр. 388—389).

Послѣднюю мысль развиваетъ, какъ мы видѣли, и Киддъ, но Друммондъ желаетъ избѣжать Киддовской парадоксальной постановки вопроса на почву единства «религіи любви» и доктрины борьбы за существованіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ найти моральную санкцію не тамъ, гдѣ ее ищетъ Киддъ, а, напротивъ, въ отвергнутыхъ имъ источникахъ этическаго и соціальнаго творчества, — въ разумѣ и природѣ. Достигаетъ онъ этого двумя путями. Во-первыхъ, весь эволюціонный процессъ, всю исторію міра въ цѣломъ и въ подробностяхъ онъ изображаетъ, какъ целѣсообразное осуществленіе отъ вѣка существовавшаго гигантскаго плана; при этомъ онъ отчасти какъ бы слѣдуетъ за Дарвиномъ, но вездѣ подставляетъ цѣлесообразное творчество природы вмѣсто механическаго подбора выгодныхъ измѣненій. Затѣмъ, во-вторыхъ, онъ, съ энтузіазмомъ говоря о высокомъ значеніи теоріи Дарвина, находитъ, однако, что ею устанавливается лишь одна половина истины. «Борьба за жизнь» несомнѣнно происходитъ и даетъ тѣ именно результаты, которые такъ блистательно разработаны великимъ англійскимъ натуралистомъ, но результаты эти частью видоизмѣняются, частью парализуются другимъ, столь же естественнымъ началомъ, доселѣ упущеннымъ наукою изъ вида, — «борьбою за жизнь другихъ». «Въ чемъ Киддъ имѣлъ успѣхъ, и исходъ блестящій,—говоритъ Друммондъ,—это показать, что природа, *изъясняемая, въ предѣлахъ борьбы за жизнь*, не заключаетъ въ себѣ санкціи ни для нравственности, ни для соціальнаго прогресса. Но вмѣсто того, чтобы отказываться здѣсь отъ природы и разума, ему слѣдовало отказаться отъ Дарвина. Борьба за жизнь не составляетъ «высшаго факта, котораго достигла мало по малу біологія». Это фактъ, котораго достигъ Дарвинъ, но если бы обратиться къ біологіи вполнѣ, она не дала бы столь искаженнаго свѣдѣнія о самой себѣ». Друммондъ, какъ и Киддъ, думаетъ, что процессъ соціальнаго развитія, совершающійся въ западной цивилизаціи, обязанъ своимъ существованіемъ извѣстному фонду альтруистическихъ чувствъ, но фондъ этотъ, по его мнѣнію, созидался самой природой, какъ результатъ той борьбы за жизнь другихъ, которая во всѣ времена была однимъ изъ условій существованія. Друммондъ не отрицаетъ ни факта борьбы за жизнь, ни благодѣтельныхъ послѣдствій въ смыслѣ выработки сильныхъ и способныхъ. Но «рядомъ съ борьбой за жизнь другихъ, борьба за жизнь собственную есть только преходящій фазисъ. Столь же давняя, какъ и глубоко таящаяся въ природѣ, эта дальнѣйшая сила была съ самаго начала предназначена заслонить собою борьбу за жизнь и выстроить болѣе благородную постройку на основаніяхъ, заложенныхъ этой послѣдней». Борьба за жизнь есть рядъ явленій, произ-

водныхъ отъ функціи питанія; борьба за жизнь другихъ есть рядъ явленій, производныхъ отъ функціи воспроизведенія. Первый проблескъ борьбы за жизнь другихъ находимъ въ тѣхъ чисто механическихъ приспособленіяхъ, которыми въ самыхъ низшихъ слояхъ органическаго міра индивидъ откладываетъ извѣстные запасы для питанія зародыша и охраненія его отъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ вліяній. Затѣмъ, постепенно усиливая сложность и напряженность явленія, эволюція создаетъ мать въ лучшемъ и высшемъ смыслѣ этого слова. «Слѣдить за пріобрѣтеніями воспроизведенія съ этого пункта значило бы писать исторію націй, исторію цивилизаціи, прогрессъ соціальной эволюціи. Ключъ ко всѣмъ этимъ процессамъ лежитъ здѣсь. Нѣтъ яснаго знанія міра, не основаннаго на уясненіи мѣста этого фактора въ развитіи. Соціологія будетъ только толочь воду и не можетъ сдѣлать ни одного шага впередъ, какъ наука, пока не признаетъ этого основанія въ біологіи».

Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, и для Друммонда, какъ для Кидда, космическая и этическая эволюція совпадаютъ, завершаясь христіанствомъ. Но достигаютъ они этого результата очень различными путями. Тѣхъ процессовъ природы, которые Друммондъ резюмируетъ общимъ названіемъ «борьбы за жизнь другихъ», Киддъ просто не видитъ, да и, говоря, о человѣческомъ обществѣ, совсѣмъ даже не упоминаетъ объ элементарной формѣ «борьбы за жизнь другихъ», объ отношеніяхъ семейныхъ. Встрѣчаясь же съ другого рода явленіями самоотверженія, преданности, любви, онъ не находитъ для нихъ никакого разумнаго основанія, вслѣдствіе чего и обращается къ сверхъ-разумной санкціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ, хотя и подъ покровительствомъ Вейсмана, но все-таки крайне двусмысленно и съ насиліемъ надъ логикой втискиваетъ эти явленія въ узкія рамки Дарвиновой борьбы за существованіе. Его «любовь» есть вызовъ на борьбу. Друммондъ избѣгаетъ *этихъ* двусмысленностей, такъ какъ въ самой природѣ ищетъ и находитъ самостоятельнаго этическаго фактора, существующаго рядомъ съ борьбою за существованіе. Но, ставъ на мало надежную точку зрѣнія цѣлесообразности всѣхъ процессовъ природы, Друммондъ лишилъ себя возможности установить истинныя отношенія между «борьбою за жизнь» и «борьбою за жизнь другихъ» и оріентироваться въ той сложной нестротѣ общественныхъ союзовъ, которая, какъ мы видѣли, и для Кидда составляетъ камень преткновенія. Каждый общественный союзъ, сложившійся хотя бы даже исключительно на почвѣ «борьбы за жизнь другихъ», имѣетъ, какъ цѣлое, какъ коллективная единица, тенденцію вступить съ другими единицами въ «борьбу за жизнь». Материнское чувство, этотъ, по Друммонду, прообразъ и источникъ всѣхъ формъ «борьбы за жизнь другихъ», давая, безъ сомнѣнія,

много образчиковъ высокаго самоотверженія, передъ которымъ нельзя не преклониться, часто становится источникомъ семейнаго эгоизма, топчущаго интересы и другихъ семей, и высшихъ общественныхъ единицъ, и даже членовъ собственной семьи. Патріотизмъ, эта болѣе широкая школа любви и самоотверженія, часто осложняется лютою враждою къ другимъ національнымъ или государственнымъ единицамъ. Наконецъ, есть общественныя формы, для поддержанія своего требующія внутренней борьбы, борьбы за жизнь, борьбы на смерть, между своими членами. Такова современная промышленная организація. Дарвинъ, будучи противникомъ планомѣрной цѣлесообразности въ органическомъ мірѣ, стоитъ, однако, на точкѣ зрѣнія механической цѣлесообразности, которая приводитъ его, напримѣръ, къ такому разсужденію: «Если мы восхищаемся по истинѣ чудесною способностью чутья, при помощи котораго самцы многихъ насѣкомыхъ отыскиваютъ своихъ самокъ, то можемъ ли мы восхищаться производству, для единственной цѣли оплодотворенія, многихъ тысячъ трутней, которые совершенно безполезны общинѣ для какой либо иной цѣли, и которые въ концѣ концовъ убиваются ихъ трудолюбивыми и неплодовитыми сестрами? Трудно, но должно восхищаться дикою инстинктивною ненавистью пчелиной матки, побуждающею ее убивать молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, какъ только онѣ родятся, или погибнуть самой въ бою; потому что несомнѣнно, что это происходитъ для блага общества; а материнская любовь или материнская ненависть, хотя послѣдняя, по счастью, встрѣчается очень рѣдко, есть одно и тоже для неумолимыхъ законовъ естественнаго подбора. («Происхожденіе видовъ», пер. Филиппова, 213—214). Если мы *должны* восхищаться смертнымъ боемъ пчелиной матки съ своими собственными дѣтьми, то не видно, почему бы не восхищаться и періодическими избіеніями трутней, ибо и это полезно для данной общественной формы. Вопросъ, однако, въ томъ, почему надлежитъ восхищаться чѣмъ бы то ни было, что способствуетъ сохраненію всякой существующей общественной формѣ, хотя несомнѣнно, что въ каждой изъ нихъ «борьба за жизнь другихъ» играетъ большую или меньшую роль.

Было бы очень интересно подольше остановиться на книгахъ Кидда и Друммонда, но не могу теперь это сдѣлать. Я заговорилъ объ нихъ собственно только къ слову, какъ о послѣднихъ новинкахъ въ области приложенія теоріи Дарвина къ общественной жизни, дабы показать, какъ много еще въ этой области спорнаго и какъ неосновательно упрощенное освѣщеніе, данное ей г. Антоновичемъ въ книгѣ «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Упрощенное освѣщеніе идей и фактовъ естественно соблазнительно для большинства читателей, въ составѣ котораго всегда много лѣни-

выхъ умовъ, которые рады получить истину по дешевой цѣнѣ, съ возможно меньшей затратой собственнаго труда. Такая дешевая истина становится еще соблазнительнѣе, когда предлагающій ее, въ болѣе или менѣе краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, выдаетъ себѣ аттестатъ «объективизма» или даже только бросаетъ нѣсколько пренебрежительныхъ или укоризненныхъ словъ по адресу «субъективистовъ»,—это, дескать, люди страсти, по принципу извращающіе истину въ угоду своимъ симпатіямъ и антипатіямъ, а это не похвально. Конечно, не похвально. Но люди, выдающіе себѣ аттестатъ «объективизма», сплошь и рядомъ смотрятъ на этотъ документъ, какъ на индульгенцію, разрѣшающую имъ грѣшить противъ той самой истины, которой они столь благоговѣйно поклоняются. Г. Антоновичъ въ этомъ отношеніи очень типиченъ. Говоря о его книгѣ, я забылъ привести одинъ мелкій, но любопытный примѣръ его уваженія къ истинѣ. Приведу его теперь.

«Въ 1864 году явился, наконецъ, и русскій переводъ сочиненія Дарвина, сдѣланный московскимъ профессоромъ Рачинскимъ. Появленіе его было встрѣчено съ энтузіазмомъ; важнѣйшіе органы печати: «Современникъ», «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія» помѣстили о немъ большія статьи, выставлявшія на видъ блестящія стороны и глубокое значеніе новой теоріи, имѣющей произвести радикальный переворотъ во всей біологіи». Такъ разсказываетъ г. Антоновичъ («Чарльзъ Дарвинъ и его теорія», 239) и затѣмъ отмѣчаетъ статьи «Русскаго Вѣстника». Достойно вниманія, что здѣсь пропущены статьи Писарева въ «Русскомъ Словѣ» («Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній»), а между тѣмъ, по ясности и блеску изложенія, это было, разумѣется, самое замѣчательное изъ всего, что тогда появилось въ русской журналистикѣ о теоріи Дарвина. Но Писаревъ имѣлъ несчастіе нанести г. Антоновичу нѣсколько весьма чувствительныхъ полемическихъ ударовъ, и хотя съ тѣхъ поръ прошло больше тридцати лѣтъ, г. Антоновичъ не можетъ простить покойнику и наказываетъ его умолчаніемъ объ его статьяхъ. Таковъ «объективизмъ»... Но это еще не очень важно, хотя, разумѣется, вовсе не похвально: во-первыхъ, это все-таки только умолчаніе, а во-вторыхъ, умолчаніе это цѣли своей не достигнетъ, ибо статьи Писарева вошли въ собраніе его сочиненій и, пожалуй, не нуждаются въ напоминаніи. Иное дѣло, когда г. Антоновичъ прямо таки извращаетъ дѣйствительное положеніе вопроса объ отношеніи теорія Дарвина къ общественной жизни. Соблазнительная упрощенность освѣщенія, категорическій тонъ, которымъ онъ предъявляется, обманные гимны безпристрастной истинѣ, которыми оно сопровождается, — все это можетъ привести къ самымъ нежелательнымъ результатамъ. И прежде

всего это — высшее оскорбленіе той объективной истинѣ, которой поются столь краснорѣчивые гимны. Объективная истина состоитъ въ данномъ случаѣ въ томъ, что теорія Дарвина «встрѣчена съ распростертыми объятіями», по выраженію г. Антоновича, и примѣнялась и примѣняется къ общественной жизни представителями самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ мыслей и интересовъ. Въ числѣ ихъ есть много, даже очень много такихъ, которыхъ г. Антоновичу непріятно видѣть въ числѣ дарвинистовъ. Было бы совершенно естественно и законно выразить по этому случаю свое неудовольствіе, оправдать его критикою, то есть доказать, что тѣ или другіе «дарвинисты» неправильно таковыми себя почитаютъ, либо же въ самой теоріи Дарвина указать какой нибудь изъянъ. Но все это очень долго, очень не легко, и г. Антоновичъ предпочитаетъ даже не игнорировать непріятныя ему явленія, какъ онъ дѣлаетъ со статьями Писарева, а прямо и просто отрицать ихъ существованіе, при чемъ «заодно» прихватываетъ Маркса, не имѣя для этого никакого основанія.

Читатель видѣлъ, что въ вопросѣ о примѣненіи теоріи Дарвина къ общественной жизни европейская мысль далеко не одноцвѣтна и не можетъ быть подведена подъ рубрики «дарвинистовъ» и «недарвинистовъ» tout court; что она выдвигаетъ много разнообразныхъ, иногда, повидимому, совершенно неожиданныхъ рѣшеній. Чтобы разобраться во всемъ этомъ, читатель долженъ приложить трудъ собственной критической мысли, при чемъ я рекомендовалъ бы слѣдующія очень простыя правила: во-первыхъ, не слѣдуетъ соблазняться очень ужъ простыми освѣщеніями идей и фактовъ, ибо они крайне, исключительно рѣдко совпадаютъ съ объективною дѣйствительностью; во-вторыхъ, отнюдь не ожидать, чтобы какая бы то ни была доктрина, созданная какимъ бы то ни было великимъ умомъ и великимъ сердцемъ, была безъ пятна и порока и обязательна цѣликомъ, во всѣхъ своихъ подробностяхъ, ибо это тоже большая рѣдкость въ исторіи; въ-третьихъ, наконецъ, памятовать, что, какъ «не всякій, говорящій: Господи! Господи!—внидетъ въ царствіе небесное», такъ и далеко не всякій, поющій хвалу объективной истинѣ, дѣйствительно дорожитъ ею.

Вернемся на минуту къ Кидду.

Объясненіе сравнительно спокойнаго внутренняго развитія Англіи ея протестантизмомъ, а судорожныхъ взрывовъ въ исторіи Франціи ея католицизмомъ,—до такой степени явственно невѣрно и произвольно, а вмѣстѣ съ тѣмъ до такой степени связано со всей исторической концепціей Кидда, что можетъ служить косвен-

нымъ, но нагляднымъ свидѣтельствомъ несостоятельности этой концепціи. Ясно, что въ различіи историческихъ судебъ Англіи и Франціи играли огромную роль и географическія условія, и расовыя, и экономическія. Затѣмъ, представляетъ ли въ дѣйствительности внутренняя, колоніальная и внѣшняя политика Англіи столь розовую картину, какую рисуетъ Киддъ? Одно несомнѣнно: Англія у себя дома есть дѣйствительно страна свободы и далеко опередила всѣ страны стараго свѣта на томъ пути вызова всѣхъ силъ и способностей на арену конкурренціи, который Киддъ считаетъ единственно прогрессивнымъ. Но можно очень сомнѣваться, чтобы этотъ ходъ раввитія Англіи находился въ исключительной зависимости отъ «фонда альтруистическихъ чувствъ», заложеннаго протестантизмомъ или чѣмъ бы то ни было другимъ. Киддъ доходитъ даже до наивности, когда говоритъ, что, не будь этого «фонда», мы видѣли бы людей, прожигающихъ жизнь безъ мысли о какихъ-нибудь обязанностяхъ передъ обществомъ. Какъ будто такихъ прожигателей жизни и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ въ Англіи, какъ, впрочемъ, и во всѣхъ другихъ странахъ! Что касается «благородныхъ характеровъ», выдвигаемыхъ высшими классами, то таковые несомнѣнно существуютъ. Судя, однако, хотя-бы только по однимъ ирландскимъ отношеніямъ, можно съ увѣренностью сказать, что правящіе классы Англіи очень цѣпко держатся за свои преимущества и уступаютъ лишь передъ крайнею необходимостью. Если мы видимъ за послѣднія десятилѣтія постепенное, но сравнительно быстрое расширеніе политическихъ правъ низшихъ классовъ или, въ области экономическихъ отношеній, упроченіе и развитіе такого учрежденія, какъ фабричный инспекторатъ,—то это результаты не столько гуманныхъ чувствъ высшихъ классовъ Англіи, сколько роста самосознанія ея низшихъ классовъ. Это, конечно, акты справедливости, но болѣе той, которая питается благоразуміемъ, чѣмъ той, которая коренится въ гуманныхъ чувствахъ. Было-бы, однако, большою ошибкою совершенно отрицать наличность послѣднихъ. Но ихъ слѣдуетъ искать не въ общемъ механизмѣ, а въ отдѣльныхъ благородныхъ личностяхъ, иногда имѣющихъ возможность до извѣстной степени вліять и на общій механизмъ, а иногда довольствующихся частною культурною просвѣтительною и филантропическою дѣятельностью, разумѣя филантропію, конечно, не въ опошленномъ смыслѣ подачекъ и танцевъ въ пользу бѣдныхъ. Въ книгѣ гг. Янжула «Въ поискахъ лучшаго будущаго» и Гольденвейзера «Соціальныя теченія и реформы XIX столѣтія въ Англіи» читатели найдутъ образчики такихъ великодушныхъ и подчасъ грандіозныхъ предпріятій, изъ которыхъ нѣкоторыя пользуются, впрочемъ, всемірною извѣстностью, какъ, напримѣръ, лондонскій

«Народный дворецъ» или «Университетское поселеніе» (Toynbee-Hall). Оба автора преувеличаютъ значеніе этихъ предпріятій, и если, напримѣръ, г. Янжулъ видитъ въ «сосѣдскихъ гильдіяхъ» — «новый путь къ соціальной реформѣ», то это, по малой мѣрѣ, неудачное выраженіе. Какъ-бы ни были благородны и возвышенны мысли иниціаторовъ этого рода учрежденій, какъ-бы ни были пылки ихъ мечты, здѣсь не можетъ быть рѣчи о соціальной реформѣ, а только лишь объ оздоровляющемъ и облагораживающемъ подготовленіи людей.

Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» было помѣщено воззваніе «Комитета Невскаго общества устройства народныхъ развлеченій».

Намъ доставлены, кромѣ того, брошюра Е. П. Карпова «Десятилѣтіе народныхъ гуляній за Невской заставой», отчетъ комитета «Невскаго общества» за 1894—95 г. и въ высшей степени интересная коллекція отзывовъ самихъ посѣтителей гуляній и спектаклей, устраиваемыхъ Невскимъ обществомъ. Народныя гулянья Невскаго общества, это—нашъ «Народный дворецъ», конечно, очень въ миніатюрѣ. На «Народный дворецъ» въ первые-же два года было собрано пожертвованій около милліона рублей на наши деньги; за шесть первыхъ лѣтъ существованія кружка, положившаго основаніе Невскому обществу, въ кассу его поступило пожертвованій 3,375 руб.—Народный дворецъ имѣетъ концертный залъ, вмѣщающій 2,500 человѣкъ, библіотеку, разсчитанную на 250,000 томовъ, техническое училище и т. д., и т. д.; деревянный театръ Невскаго общества вмѣщаетъ 250 человѣкъ и, какъ видно изъ воззванія комитета, общество *мечтаетъ*, послѣ десятилѣтняго существованія, о «постройкѣ большого каменнаго зданія для народныхъ развлеченій, которое вмѣщало-бы зрительный залъ на 1,600 человѣкъ, залъ танцовальный, гимнастическій, библіотеку, читальню, чайную, быть можетъ музей».—Число посѣтителей разныхъ учрежденій Народнаго дворца въ первый-же отчетный годъ достигло полутора милліона, кромѣ почетныхъ членовъ и учащихся; въ учрежденіяхъ Невскаго общества за десять лѣтъ перебывало взрослыхъ посѣтителей 767,944 и дѣтей 84,402, всего 852,346 человѣкъ.

Разумѣется, это говорится не въ укоръ Невскому обществу, безкорыстная дѣятельность котораго заслуживаетъ самой горячей хвалы. При томъ-же Петербургъ—не Лондонъ—во всѣхъ отношеніяхъ и по численности рабочаго населенія въ частности. Надо, однако, замѣтить, что районъ Шлиссельбургскаго участка, на который разсчитаны дѣйствія Невскаго общества, вмѣщаетъ 60,000 жителей. Это стоитъ хорошаго губернскаго города, при чемъ характеръ на-

селенія, почти исключительно фабричнаго, налагаетъ на всю эту мѣстность своеобразный отпечатокъ, характеризуемый въ воззваніи комитета Невскаго общества такъ: «Въ рабочіе дни и часы тихія, пустынныя улицы кажутся безлюдными, но за то по вечерамъ послѣ «шабаша» и особенно по праздникамъ, картина совершенно мѣняется: весь рабочій людъ высыпаетъ на улицы и запружаетъ ихъ до такой степени, что мѣстами едва возможно пройти по панели или проѣхать по улицѣ. Кабаки и другія питейныя заведенія набиты биткомъ. Свои свободные часы здѣшній рабочій рѣдко проводитъ дома, что вполнѣ понятно: квартиры рабочихъ, большею частью, грязны, зловонны и страшно переполнены. Въ лучшемъ случаѣ рабочій толкается безцѣльно по улицѣ, а не то идетъ въ питейное заведеніе, гдѣ и спускаетъ свои послѣдніе гроши; а заведенія эти въ изобиліи и близко, подъ рукой: въ рѣдкомъ домѣ нѣтъ хоть одного, а въ нѣкоторыхъ по два и по три. Знатоки мѣстныхъ нравовъ утверждаютъ, что рабочіе оставляютъ здѣсь не менѣе половины заработка».

Этому-то горю и взялось помочь Невское общество устройства народныхъ развлеченій. Рекомендую вниманію читателей отчеты общества и брошюру г. Карпова, изъ которыхъ они увидятъ весь ходъ дѣла. Не буду распространяться и въ теоретическихъ соображеніяхъ о необходимости облагороженія краткихъ досуговъ рабочаго человѣка. Пусть говорятъ сами посѣтители учрежденій Невскаго общества,—это будетъ лучшая характеристика и самыхъ развлеченій, устраиваемыхъ Невскимъ обществомъ, и всей его дѣятельности, и отношенія къ нимъ публики. Матеріаломъ намъ послужитъ вышеупомянутая коллекція отзывовъ посѣтителей, представляющихъ отвѣты на вопросы, предложенные комитетомъ Невскаго общества.

Вопросы задавались слѣдующіе: 1. Удовлетворяютъ-ли посѣтителей вполнѣ развлеченія, устраиваемыя Невскимъ обществомъ, и если не удовлетворяютъ, то почему?—2. Каково значеніе этихъ развлеченій для посѣтителей въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ?—3. Всѣ-ли театральныя пьесы на открытой и закрытой сценахъ были понятны и какія были особенно интересны?—4. Удовлетворительны-ли продаваемые посѣтителямъ гуляній и спектаклей съѣстные припасы по ихъ качеству и цѣнѣ?—5. Удовлетворительны-ли дѣйствія распорядителей на гуляньяхъ и спектакляхъ, и не представляетъ-ли какихъ-либо неудобствъ для посѣтителей порядокъ, установленный членами-распорядителями и чинами полиціи?—6. Не имѣется-ли замѣчаній по какимъ-либо другимъ вопросамъ?

Минуя отвѣты безцвѣтные, выражающіе простое, не мотивированное удовольствіе и благодарность, или содержащіе мало инте-

ресныя, такъ-сказать, техническія указанія на тѣ или другія частныя неудобства, остановлюсь лишь на немногихъ, при чемъ ихъ, конечно, не буду приводить всѣ цѣликомъ (Орѳографію и пунктуацію исправляю, но слога не касаюсь).

Одинъ изъ посѣтителей, мѣщанинъ, рабочій Обуховскаго сталелитейнаго завода, пишетъ: «Развлеченія, доставляемыя Невскимъ обществомъ, удовлетворяютъ въ общемъ; но въ частности желательно было-бы измѣнить нѣсколько порядокъ развлеченій, какъ, напримѣръ, заведенные съ начала гуляній танцы для однихъ доставляютъ удовольствіе, но такихъ меньшинство, между тѣмъ какъ другіе принуждены услаждать свой слухъ крайне избитыми мотивами полекъ и кадрилей; а потому не дурно было-бы, чтобы танцовальныя увеселенія чередовались съ музыкальными. Значеніе увеселеній въ нравственномъ отношеніи неоспоримо, и такія развлеченія необходимы, такъ-какъ они носятъ семейный характеръ и способствуютъ поднятію нравственности въ такой средѣ, какъ среди рабочихъ, т. е. сокращаютъ пьянство, давая провести время и вынести благопріятное впечатлѣніе изъ всего видѣннаго на подобныхъ увеселеніяхъ. Что-же касается того, что они доступны для всѣхъ, то это видно изъ того приблизительнаго разсчета, который можетъ служить доказательствомъ. Въ то время, когда не существовало гуляній, всѣ заведенія были переполнены рабочимъ людомъ, гдѣ они коротали свой досугъ, а подобное коротаніе обходится приблизительно болѣе 50 к. на человѣка, и кромѣ того получаются болѣзненныя послѣдствія. На увеселенія-же подобнаго рода расходуется много менѣе, да и остается хорошее воспоминаніе, которымъ и дѣлятся между собою вплоть до новаго гулянья бывшіе на предъидущемъ. Что-же касается до того, понятны-ли пьесы, ставимыя Невскимъ обществомъ, или нѣтъ, то можно отвѣтить, что большинство пьесъ принадлежитъ Островскому. А такія пьесы объясненій не требуютъ. Мотивы ихъ взяты изъ той-же почти среды, какъ и среда рабочихъ, и языкъ ихъ это родной языкъ каждаго русскаго человѣка; но тоже желательно было-бы ставить на открытой сценѣ болѣе легкаго содержанія пьесы, чтобы лѣтнее время отвѣчало своему назначенію, т. е. служило-бы отдыхомъ. И въ самомъ дѣлѣ, смотрѣть въ какой-нибудь чудный лѣтній вечеръ, когда человѣкъ такъ радостно настроенъ, такія пьесы, какъ «Гроза», очень тяжело, и вообще надо стараться избавиться отъ такого репертуара, который оставляетъ гнетущее впечатлѣніе.

Дешевизна и доброкачественность продаваемыхъ съѣстныхъ припасовъ и напитковъ заслуживаетъ благодарности отъ посѣтителей. Распоряженія завѣдующихъ Невскимъ обществомъ не могутъ встрѣтить ни малѣйшаго упрека и порядокъ увеселеній образцовый.

Желательно было-бы, чтобы Невское общество процвѣтало и проектъ объ устройствѣ зимняго театра осуществился».

Этотъ вполнѣ грамотный отзывъ есть, такъ сказать, средній. Въ другихъ встрѣчаются и болѣе яркія замѣчанія, и болѣе экспансивныя похвалы. Въ общемъ всѣ довольны, и самый желчный изъ доставившихъ отвѣты, крестьянинъ, рабочій на чугунномъ заводѣ, отвѣчаетъ на предложенные вопросы по пунктамъ такъ: «1) Удовлетворяютъ. 2) Значеніе развлеченій: въ нравственномъ отношеніи хороши, но въ матеріальномъ не очень. Можетъ быть, вамъ кажется и дешево, но и мы не дороги. 3) Пьесы, ставленныя на сцену, всѣ были понятны, а особенно «Ревизоръ», «Горе отъ ума», «Гроза» и пр. Но первая была ставлена, чтобы рабочіе не попадали, въ матеріальномъ отношеніи. 4) Съѣстные припасы можетъ быть и удовлетворительны, но я ихъ не ѣдалъ, а по чужому вкусу судить плохо...»

Выборомъ театральныхъ пьесъ вообще всѣ довольны, при чемъ кромѣ Гоголя, Грибоѣдова, Островскаго, любопытно отмѣтить нѣрѣдко встрѣчающіяся и похвалы «Тартюфу» Мольера. Однако повторяются и желанія видѣть, по крайней мѣрѣ, на открытой сценѣ пьесы болѣе легкаго, веселаго содержанія,—дескать, горя и мрака и безъ того много. Не всѣ также считаютъ предложенныя имъ театральныя зрѣлища достаточно понятными. Крестьянинъ, рабочій фабрики Торнтона, между прочимъ, пишетъ: «Представленія, играющіяся на сценахъ, очень немногими понимаются. А потому недурно бы было передъ представленіемъ разсказать, что въ этой игрѣ надо понимать, какія послѣдствія изъ этого выходятъ и какіе дурные люди, портящіе другихъ людей, почему либо имъ подвластныхъ. Но главное, даже непремѣнно нужное, передъ представленіемъ указать, въ какой средѣ выводимые люди выросли или воспитывались, каковы ихъ старшіе были и до чего довели, сами не сознавая своихъ дурныхъ поступковъ, что они губительно вліяютъ на людей, зависящихъ отъ нихъ». Оканчиваетъ этотъ авторъ свой отзывъ такими восторженными словами: «Процвѣтай же народное гулянье безъ крѣпкихъ напитковъ, а вамъ, труженики члены гуляній и желатели добра темнымъ людямъ, большое и очень большое спасибо, тысячу разъ спасибо!!!» Другой («мастеровой») пишетъ: «О понятіи и интересующихъ пьесъ я ничего не скажу, а думаю, если общество будетъ выставлять письменное поясненіе, какъ понимать пьесы, въ рамкѣ подъ стекломъ, такъ навѣрное никто не откажется прочитать, если кто не понимаетъ пьесы, и будетъ благодаренъ».

На многихъ театръ, очевидно, производитъ сильное и серьезное впечатлѣніе. Главные мотивы всѣхъ сколько-нибудь интересныхъ

авторовъ, это, во-первыхъ, доходящая до наивности радость уголку, гдѣ можно провести пріятно время безъ пьянства, и, во-вторыхъ, восторгъ передъ театромъ.

«Самъ Господь научилъ Невское общество устроить народныя развлеченія, за которыя много бѣдныхъ людей отдаютъ великую благодарность обществу. У меня духу не хватаетъ выложить на бумагу нравственность (sic), но я скажу: когда я смотрю на открытую сцену, то душа моя никогда, кромѣ этого, такъ радостна не бываетъ. Понятны-ли, непонятны-ли пьесы, этого я не скажу, но не было такой игры, которая мнѣ не понравилась» (Крестьянинъ, рабочій Обуховскаго сталелитейнаго завода).

«Значеніе этихъ развлеченій: могутъ принести пользу для человѣка, такъ какъ въ комедіяхъ и драмахъ выставляются люди двухъ разрядовъ. Къ 1-му разряду принадлежатъ люди грубые, необразованные, къ нимъ присовокупляется невѣжество, хитрость, пронырливость, клевета, пьянство, развратъ, обжорство, эксплуатація («експлатировка») и даже самое гнусное предательство на невинныхъ людей. Ко 2-му разряду принадлежатъ люди образованные, милостивые, благодѣтельные, стараются подѣлиться своимъ знаніемъ и средствами, если таковыя имѣютъ, и даже не дорожатъ собою для того только, чтобы послужило на пользу человѣчеству» (Запасный унтеръ-офицеръ, ткачъ на Петровской фабрикѣ).

Приведу еще цѣликомъ отвѣтъ женщины, работницы на фабрикѣ Паля: «Лѣтнія гулянья мнѣ не очень нравятся, потому что музыка плоховата, а сцена такъ загромождена со всѣхъ сторонъ, что если не взять билета на верхъ, то ничего не увидишь и не услышишь. А вѣдь не много такихъ счастливцевъ, которые успѣютъ захватить эти билеты. А вотъ зимній закрытый театръ мнѣ очень нравится. Жаль только, что всѣ тѣ билеты, которые присылаются на нашу фабрику для рабочихъ, попадаютъ въ руки конторщикамъ и писарямъ, а они оставляютъ эти билеты для себя, и часто я замѣчала, что большинство изъ нихъ почему либо не придутъ въ театръ, и мѣста пропадаютъ. Зимній театръ вполнѣ удовлетворителенъ для народа. Рабочій въ немъ на время забываетъ свое положеніе; онъ весь поглощенъ тѣмъ, что видитъ и слышитъ въ театрѣ. Театръ— это отдыхъ для народа, но не такой отдыхъ, какой бы мы видѣли дома. Придешь въ театръ и внимательно смотришь и слушаешь, что происходитъ на сценѣ. Такъ слушаешь, что не видишь ничего вокругъ себя, кромѣ сцены. Вся уйдешь въ то, что видишь и слышишь, и себя какъ будто чувствуешь дѣйствующимъ лицомъ. Придя домой, долго еще не можешь заснуть, а въ воображеніи все еще носится та пьеса, которую только что видѣла. На работу встаешь со свѣжей головой и весело принимаешься за работу, чувствуя себя

довольной за проведенный праздничный вечеръ. Кто нибудь изъ знакомыхъ подойдетъ и спроситъ: ну, что видѣла въ театрѣ? «Очень хорошо», отвѣчаю я и начинаю разсказывать, что видѣла и слышала въ прошедшій день. Я разсказываю весело, съ оживленіемъ, и мои слушатели тоже оживляются, а по окончаніи моего разсказа они одобряютъ или жалѣютъ тѣхъ личностей, смотря по обстоятельствамъ, про которыхъ я только что разсказала. А то сама пойдешь къ тѣмъ, которыя были въ театрѣ, и тутъ начинаемъ высказывать другъ другу свое мнѣніе, кому что болѣе понравилось изъ всего видѣннаго и слышаннаго въ прошедшій день. Театръ знакомитъ насъ съ другимъ, высшимъ классомъ людей. И мы видимъ ихъ жизнь, ихъ взгляды на жизнь и отношеніе къ низшимъ классамъ. И невольно подумаешь: будутъ ли когда-нибудь всѣ люди такими, какъ, напримѣръ, въ пьесѣ «Доходное мѣсто» тотъ молодой человѣкъ, который хотѣлъ жить своимъ трудомъ, а не взятками. Или будутъ ли когда-нибудь всѣ такими умными и честными, какъ Чацкій, чтобы некому было смѣяться надъ умниками. На сценѣ мы, какъ въ зеркалѣ, видимъ недостатки людей. Театръ исправляетъ людей отъ ихъ недостатковъ. Человѣкъ самъ не можетъ замѣтить въ себѣ недостатка, а въ театрѣ, внимательно слѣдя за той пьесой, которую играютъ, видишь хорошія и дурныя стороны дѣйствующихъ лицъ и послѣ все это примѣняешь къ себѣ, и если видишь за собой какой-нибудь недостатокъ, то постараешься исправиться, потому что видишь, какъ глупъ и смѣшонъ твой недостатокъ. Признаюсь чистосердечно, театръ и меня исправилъ отъ одного недостатка. Я часто вмѣстѣ съ подругами осуждала ту изъ нихъ, которой съ нами не было, смѣялась надъ ней, выдвигала передъ подругами ея недостатки, а своего въ то же время не замѣчала. А теперь, благодаря театру, я поняла, какъ стыдно и глупо смѣяться надъ подругами. Всѣ театральныя пьесы были понятны, а самыя интересныя изъ нихъ были: «Горе отъ ума», «Доходное мѣсто» и «Тартюфъ». Всѣ мои знакомые расхваливали «Недоросля», но я эту пьесу сама не видала и не могу высказать о ней мое мнѣніе».

«Доходное мѣсто» вообще, повидимому, производило сильное впечатлѣніе. Одинъ весьма плохо грамотный рабочій Спасской бумагопрядильной и ткацкой фабрики, стараясь выразить свои мысли о значеніи театра, пишетъ: «Театральныя представленія знакомятъ съ жизнью и нравами людей, которымъ намъ приходится служить, исправить себя, угождать по вкусу имъ; выводятъ образъ жизни праведной и неправедной, какою жизнью легче, какою труднѣе жить; каковъ этотъ трудъ ведшаго праведную жизнь съ горячимъ чувствомъ (изъ комедіи «Доходное мѣсто» роль Жадова), кто

больше сдѣлаетъ пользы другимъ, — принявшій стремленіе къ праведности, кто принималъ постепенно или въ короткое время».

Крестьянинъ, мастеровой, пишетъ о театрѣ: «Тамъ можно видѣть, что требуется въ жизни и что можетъ разбить жизнь, что дѣлаетъ скупость, гордость, обманъ; все это видѣвши, оно завсегда живо представляется, и ты хотѣлъ бы кого-нибудь обмануть, но какъ вспомнишь представленіе, гдѣ обманъ ведетъ къ худшему, и оставишь этотъ нехорошій порокъ». Этотъ корреспондентъ дѣлаетъ нѣсколько критическихъ заключеній, но оканчиваетъ свой отзывъ такъ: «всѣ мои замѣчанія пустяки, въ общемъ все очень хорошо».

Нѣкоторые отвѣты содержатъ въ себѣ оригинальныя сравненія. Такъ, одинъ рабочій съ фабрики Торнтона, говоря объ учрежденіяхъ Невскаго общества вообще, сравниваетъ ихъ съ «ручьемъ со свѣжей водой, впадающимъ въ гнилое болото. А въ это гнилое болото полой водой рыбу занесло. Рыба отъ гнили болотной задыхается, но въ свѣжемъ ручьѣ освѣжается».

Бывшій рабочій, а теперь помощникъ мастера, на Невскомъ механическомъ заводѣ, человѣкъ, очевидно, просвѣщенный, пишетъ: «Въ вашемъ саду я не встрѣтилъ спаиванья и не встрѣтилъ пьяныхъ; не встрѣтилъ группъ мужчинъ, плотоядно оглядывающихъ проходящихъ мимо женщинъ; не встрѣтилъ въ саду и буфетѣ стремленія обобрать бѣдняка; не встрѣтилъ грязныхъ сценъ по выходѣ изъ сада. Но за то впервые встрѣтилъ что-то, отъ чего сердце радостно забилось и жизнь показалась веселѣе». Затѣмъ авторъ предлагаетъ такой проектъ: «Слѣдуетъ въ саду устроить галлерею портретовъ друзей человѣчества всего свѣта. Подъ портретами краткія біографіи, годъ рожденія и смерти и въ чемъ состояло совершенное на пользу общую. При галлереѣ слѣдуетъ устроить павильонъ для чтенія лучшихъ газетъ и журналовъ, а также завести торговлю книгами, въ особенности дешевыми изданіями. На стѣнахъ, въ пустыхъ пространствахъ между портретами, повѣсить списки лучшихъ популярныхъ книгъ для самообразованія по всевозможнымъ отраслямъ знанія, съ указаніемъ цѣнъ и что эти книги продаются тутъ же въ павильонѣ. Списки постараться размѣстить такъ, чтобы механика была между портретами Стифенсона и Фультона, астрономія между Коперникомъ и Галилеемъ, географія около Реклю и т. д. Среди народа есть не мало интересующихся всевозможными вопросами: одного интересуетъ ремесло, другого небо, третьяго литература и т. д. Общество, открывъ вышеупомянутую галлерею, первое пришло бы народу на помощь и дало бы отвѣтъ каждому на интересующій его вопросъ. Народъ любопытенъ, и этимъ надо воспользоваться для его же собственной пользы».

Въ заключеніе приведу еще цѣликомъ оригинальные отвѣты по пунктамъ крестьянина, столяра въ вагоннныхъ мастерскихъ: «I. Развлеченія, устраиваемыя Невскимъ обществомъ, въ общемъ вполнѣ удовлетворительны. — II. Въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи садъ большую пользу приноситъ, а именно: глазъ не видитъ, такъ и зубъ не горитъ. Когда человѣкъ въ саду, онъ связанъ приличіемъ, а развлекаясь играми, онъ забываетъ на время свои дурныя наклонности. Но если ему какая-нибудь игра понравится, то онъ весь отдается ей, старается подражать деликатности, старается толковать о томъ, чего не понимаетъ, но польза въ томъ, что грубыхъ ругательствъ меньше выпускаетъ. А это спасаетъ и матеріальное состояніе его: внѣ сада онъ не знаетъ лучшаго развлеченія, какъ кабакъ и волокитство.—III. Пьесы многія были неудовлетворительны и даже наводили тоску и какое-то досадное размышленіе. Прошедшимъ лѣтомъ пьесы игрались, кажется, нѣсколько разъ изъ фабричнаго быта, иногда и изъ крестьянскаго, но эти пьесы такъ утомительны, что, кажется, самъ режиссеръ можетъ видѣть по волненію публики — нравится-ли ей или нѣтъ. На сцену выводился фабричный безнравственный разгулъ, правда, очень оригинально, но какъ хочется фабричному смотрѣть на эту прозаическую игру на сценѣ, когда она ему противна въ дѣйствительной жизни? Какъ винить человѣка, чуть не помѣшаннаго продолжительной работой? Посмотрите, какъ они выходятъ вечеромъ изъ фабрики,—какъ очумѣвшіе, выпущенные на свѣтъ Божій. Въ такой жизни человѣку даже нѣтъ времени обдумать о сохраненіи своей нравственности. Не нашлось, кажется, до сихъ поръ автора драматурга-благодѣтеля, кромѣ поэта Некрасова, писать пьесу не на площади фабричной, а заглянуть за непроницаемыя стѣны фабрики: не кроются-ли тамъ главные виновники женской безнравственности? Человѣкъ пришелъ въ садъ, чтобы разсѣять свою скуку, отогнать вседневныя нерадостныя мысли, пускай и тѣло отдохнетъ, а тутъ душу его терзаютъ. Мнѣ скажутъ: не нравится видѣть образъ свой въ зеркалѣ. Напротивъ, тутъ не всѣ такія, какъ Стешка (?), но за людей обидно. Хотя это и народная сцена, но прошу васъ дайте намъ то, что намъ въ зубахъ не навязло, чего мы въ жизни не знаемъ. — IV. Напитки и съѣстные припасы порядочны по цѣнѣ и качеству, но чай съ лимономъ подаютъ удивительно добросовѣстно: очень жаль, что не писчую бумагу вмѣсто лимона кладутъ, а лимонную оболочку съ прозрачной серединой.— V. Прекрасно.—VI. Зачѣмъ дѣти допускаются иногда къ большой сценѣ? и почему взрослые нарушители у сцены въ нетрезвомъ видѣ, при заявленіи городовому, не удаляются, по крайней мѣрѣ, отъ сцены?—Отвѣты я написалъ съ общей точки зрѣнія, но вмѣ-

сто отзыва опишу свои личныя чувства, другимъ, быть можетъ, и не свойственныя:

НЕВСКІЙ САДЪ.

Куда душѣ моей, какъ странницѣ усталой,
Уйти отъ жизни будничныхъ невзгодъ?
И гдѣ блеснетъ ей яркой искрой малой
Отрадный свѣтъ? И гдѣ мой умъ найдетъ
(Отъ юныхъ лѣтъ, какъ узникъ, скованный цѣпями
Труда, терпѣнья, мелочныхъ тревогъ)
Убѣжище, гдѣ-бъ онъ постигнуть могъ
Прекрасный міръ, упившись красотами?
И это ты, садъ мой, завѣтный уголокъ!
Когда бывалъ я жизнію стѣсненный,
Просилъ людей о помощи,—вокругъ
Молчали всѣ, и мой печальный звукъ
Мнѣ сердце жегъ сильнѣй, чѣмъ уголь раскаленный.
И я, убитый, слабый, утомленный,
Спѣшилъ скорѣй, скорѣй подъ тѣнь твою,
И ты прохладой радовалъ мою
Измученную грудь. Тутъ нѣгой идеальной
И сладострастьемъ дышетъ каждый кустъ.
И здѣсь, въ тѣни, съ души моей печальной,
Внимая жадно трели музыкальной,
Спадаетъ желчь и свѣтъ не кажется мнѣ пустъ.
О, часъ отрадный, часъ благословенный,
Я жилъ тобой! Природой упоенный,
Мой взоръ ласкалъ съ слезою умиленной
Густыхъ нависшихъ листьевъ бархатный карнизъ...
Красуйся ввѣкъ, мой Невскій оазисъ!
Тамъ, за оградою твоей досчатой,
Развратъ и съ пьянствомъ подъ руку идетъ.
Чья честная душа предъ нравственною тратой
Горячихъ слезъ за ближнихъ не прольетъ?
И въ этотъ часъ простить я радъ злодѣю,
Сказать ему: прости, мой добрый братъ...
И вотъ, за что хвалю я, такъ благоговѣю
Передъ тобой, чудесный Невскій садъ!

Дѣйствительные и возможные результаты дѣятельности «Невскаго Общества устройства народныхъ развлеченій» ясно рисуются приведенными отзывами. Конечно, не всѣ посѣтители учрежденій Невскаго общества выносятъ то настроеніе, которое характеризуется этими отзывами. Но многіе-ли изъ насъ, «вверху стоящихъ, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ видѣнъ былъ», относятся къ своимъ развлеченіямъ съ такою серьезною вдумчивостью, съ такою трогательною жаждою уловить въ развлеченіи нравственный урокъ? А эта наивная радость избавленія отъ необходимости пьянствен-

наго времяпровожденія? Именно необходимость. Въ отзывахъ посѣтителей учрежденій Невскаго общества часто встрѣчаются драгоцѣнныя по своей искренности описанія того, какъ естественно рабочему человѣку коротать свои досуги въ кабакѣ или трактирѣ, даже при полномъ сознаніи пагубности этого времепровожденія. Нельзя поэтому не порадоваться, что нашлись, наконецъ, достаточно энергичные люди, которые взялись «содѣйствовать доставленію мѣстному рабочему населенію нравственныхъ, трезвыхъ, дешевыхъ развлеченій». Не грѣхъ, конечно, позаботиться о народныхъ развлеченіяхъ просто по человѣчеству, по доброму участію къ людямъ, лишеннымъ возможности повеселиться сообразно съ человѣческимъ достоинствомъ. Но по свойствамъ среды, которая имѣется въ этомъ случаѣ въ виду, свойствамъ, явственно обнаруживающимся въ вышеприведенныхъ отзывахъ, развлеченія, предлагаемыя Невскимъ обществомъ, не разрѣшаются въ самихъ себѣ, какъ это сплошь и рядомъ случается въ нашемъ быту, а получаютъ характеръ просвѣтительный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. И если у нашего общества не хватитъ добрыхъ чувствъ для поддержанія предпріятія, долженствующаго дать нѣсколько радостныхъ часовъ тысячамъ «труждающихся и обремененныхъ», и—я не говорю: спасти цѣлыя поколѣнія отъ наслѣдственнаго алкоголизма и связанныхъ съ нимъ ужасовъ,—но хоть отчасти поспособствовать этому спасенію; если не хватитъ на это добрыхъ чувствъ, — такъ вѣдь это есть вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ благоразумія.

Въ концѣ десятилѣтняго существованія народныхъ гуляній за Невской заставой, Невское общество имѣетъ въ своемъ распоряженіи театральный (онъ же и концертный) залъ на 250 зрителей. На лѣтнихъ гуляньяхъ въ 1894—95 гг. бывало среднимъ числомъ по 3,365 посѣтителей. Гимнастикой на этихъ гуляньяхъ занимались въ среднемъ по 64 съ дробью человѣка. Въ читальнѣ въ томъ же году было всего 48 посѣтителей и посѣтили они ее 182 раза; на домъ брали книги 759 человѣкъ. Книгъ въ томъ же 1894—95 гг. куплено для читальни на 262 р. 28 к., да пожертвовано на 486 р. 52 к. Пѣвческій хоръ Общества состоялъ изъ 59 лицъ. Все это—очень скудныя цифры, особенно если принять въ соображеніе, что районъ, на который разсчитана дѣятельность Невскаго общества, населенъ 60,000 жителей. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что, не смотря на отдѣльные, хотя бы и многочисленные случаи благотворнаго вліянія предпріятій Невскаго общества, въ общемъ оно оказывается все-таки слабо. Слишкомъ скудны средства Невскаго общества и поддержать его есть, повторяю, дѣло не только гуманныхъ чувствъ, а и простого благоразумія. По свидѣтельству какъ комитета Невскаго общества, такъ и посѣтителей его учреж-

деній, досуги населенія Шлиссельбургскаго участка значительно измѣнились къ лучшему. Но не говоря уже о томъ, что, конечно, и въ этомъ отношеніи остается многаго желать, въ экстренныхъ случаяхъ, какъ было въ торжественные дни коронаціи, движущаяся по Невскому проспекту сплошная толпа, повидимому, въ значительной степени состоявшая изъ фабричныхъ обитателей Шлиссельбургскаго участка, безъ сомнѣнія, многихъ заставила своимъ поведеніемъ призадуматься.

Впрочемъ, наши петербургскія непріятности совершенно меркнутъ въ сравненіи съ катастрофой на Ходынскомъ полѣ, такимъ ужасающимъ контрастомъ врѣзавшейся въ торжественное веселье и блескъ коронаціонныхъ дней...

И неужели же мы не извлечемъ никакого урока изъ этого событія? Говорятъ о неудобствахъ скопленія толпы въ нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ въ одномъ мѣстѣ, о неправильномъ расположеніи будокъ, изъ которыхъ раздавалось угощеніе, о небрежности при недостаткѣ распорядительности, вслѣдствіе чего оказались заваленные трупами ямы, рвы и колодцы. Все это, повидимому, вѣрно, но удрученная ужаснымъ событіемъ мысль невольно поднимается къ общему вопросу о нашемъ отношеніи къ народу вообще, къ его духовной жизни въ частности. Конечно, это дѣло общихъ государственныхъ мѣропріятій, но и мы, приватные люди, можемъ свою хоть малую лепту внести, хотя бы въ видѣ учрежденій, подобныхъ начинаніямъ Невскаго общества устройства народныхъ развлеченій.

XVII *).

Во исполненіе требованія г. Медвѣдскаго я отвѣчаю на всѣ его вопросы по пунктамъ.

Маленькій отдыхъ, который я позволилъ себѣ лѣтомъ, помѣшалъ мнѣ своевременно познакомиться съ «Отвѣтомъ «Русскому Богатству» г. Медвѣдскаго, напечатаннымъ въ іюльской книжкѣ «Русскаго Вѣстника». А познакомившись съ нимъ, я довольно долго колебался: какъ поступить. Съ одной стороны, много было резоновъ въ пользу того, чтобы пройти мимо, ибо, во-первыхъ, есть мѣста, на которыхъ долго останавливаться просто противно, а во-вторыхъ, г. Медвѣдскій горитъ желаніемъ въ своемъ родѣ прославиться, ну, и пусть его собственными средствами въ своемъ родѣ прославляется; зачѣмъ же я ему буду помогать въ этомъ дѣлѣ, обращая на него вниманіе? Такъ и рѣшилъ было: пусть онъ горитъ и тухнетъ, какъ уже многіе и раньше его подобнымъ же пламенемъ горѣли, трещали, чадили и тухли, а я дровъ подкладывать не буду. И хотя г. Медвѣдскій съ чрезвычайною настойчивостью, какъ власть имѣющій, требуетъ отъ меня отвѣтовъ на нѣкоторые интересующіе его вопросы, но не одинъ я думаю, что поза вопросительнаго знака къ нему очень идетъ, и можно бы и не выводить его изъ этого положенія.

Въ «Новомъ Времени» въ № отъ 2 августа напечатана замѣтка г. Буренина подъ шутливымъ заглавіемъ «Анкроморскія битвы», посвященная г. Медвѣдскому и его полемическимъ упражненіямъ. Приведя заключительныя строки «Отвѣта «Русскому Богатству», г. Буренинъ пишетъ: «Такъ заканчиваетъ г. Медвѣдскій свое обращеніе къ г. Михайловскому, воображая, вѣроятно, что онъ закончилъ необыкновенно горячо, сильно и убилъ своего противника на-повалъ, обозвавъ его «во всеуслышаніе» надпольнымъ анархистомъ. А между тѣмъ, если онъ кого-либо убилъ, то развѣ

---

*) Сентябрь, 1896.

только самого себя... Г. Михайловскій сдѣлалъ нѣкоторымъ образомъ честь «молодому перу» г. Медвѣдскаго, обратилъ вниманіе на его заблужденіе, старался выяснить г. Медвѣдскому, очевидно не совсѣмъ ясныя для этого развязнаго «новаго человѣка», какъ онъ самъ себя называетъ, правила добраго журнальнаго поведенія. Ну, а вотъ теперь, послѣ того, какъ г. Медвѣдскій выпалилъ «передового бойца надпольнаго анархизма», г. Михайловскій, надо думать уже не сдѣлаетъ болѣе чести г. Медвѣдскому — не станетъ разговаривать съ нимъ. Почтенному публицисту и критику «Русскаго Богатства» остается теперь только оглядѣть съ ногъ до головы г. Медвѣдскаго, дабы полюбоваться невыносимой прелестью этого новаго «бойца», и затѣмъ... Затѣмъ г. Михайловскій, пожалуй, можетъ плюнуть, а, пожалуй, даже и этимъ выраженіемъ презрѣнія не удостоить своего благороднаго противника».

Въ такомъ же родѣ отозвались «С.-Петербургскія Вѣдомости», «Биржевыя Вѣдомости», «Русскія Вѣдомости», а «Вѣстникъ Европы» и «Наблюдатель» высказались еще по поводу первой атаки г. Медвѣдскаго. Сужденіе г. Буренина представляется мнѣ достойнымъ вниманія въ особенности вотъ въ какомъ отношеніи. У насъ часто говорятъ о кумовствѣ въ литературѣ, о томъ, что «свои» «своихъ» тянутъ, свои своихъ хвалятъ, свои своимъ все прощаютъ, а если «не нашего прихода», такъ не подвертывайся. Не буду разбирать, насколько вѣрно это мнѣніе вообще, но достовѣрно во всякомъ случаѣ, что мы съ г. Буренинымъ въ кумовствѣ не состоимъ. Онъ и самъ напоминаетъ объ этомъ. «Читатели не заподозрятъ меня въ пристрастно благосклонномъ отношеніи къ г. Михайловскому,—говоритъ онъ,—такъ какъ мы съ нимъ въ былые годы не разъ перевѣдывались на «анкроморскихъ кровавыхъ поляхъ» журналистики въ качествѣ литературныхъ противниковъ Съ другой стороны, я не имѣю никакого нерасположенія къ г. Медвѣдскому и даже, пожалуй, по «человѣческой слабости» долженъ къ нему чувствовать нѣкоторую пріязнь, такъ какъ онъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» напечаталъ обо мнѣ этюдъ, въ которомъ изрядно восхвалилъ мою литературную дѣятельность. Тѣмъ не менѣе я прямо становлюсь на сторону г. Михайловскаго въ полемикѣ, о которой зашла рѣчь».

Если читатель припомнитъ, я именно предсказывалъ, что всякій писатель, сколько-нибудь уважающій свое дѣло, безъ различія направленій и совершенно независимо отъ своихъ личныхъ или партійныхъ отношеній ко мнѣ или къ г. Медвѣдскому, скажетъ: да, г. Медвѣдскій виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденія. Я былъ увѣренъ въ этомъ результатѣ, но все-таки не могу

не порадоваться столь блистательному подтвержденію предсказанія. Могло бы вѣдь и такъ случиться, что всякій, ознакомившійся съ дѣломъ, въ душѣ дѣйствительно произнесъ бы правильный вердиктъ, но никто не счелъ бы этотъ случай достаточно интереснымъ, чтобы сказать свое обвинительное слово публично. Теперь же я имѣю лишній резонъ оставить отвѣтъ «Русскому Богатству» безъ вниманія. Если для третьихъ лицъ, для очевидно, безпристрастныхъ свидѣтелей, дѣло до такой степени ясно, такъ о чемъ же еще разговаривать? Schwamm drüber. какъ говорятъ нѣмцы. Повторяю, я такъ и думалъ поступить. Но потомъ передумалъ. Противно-то, конечно, противно, но вѣдь мало ли съ какими явленіями приходится имѣть дѣло нашему брату журналисту, преодолѣвая чувство брезгливости! И если предметъ стоитъ того,—дѣлать нечего. Да, наконецъ, можно вѣдь и калоши надѣть, какъ вы ихъ надѣваете, когда вамъ идти куда-нибудь нужно, а на улицѣ очень грязно. Спрашивается только, стоитъ-ли овчинка выдѣлки и какъ надѣть калоши, говоря о г. Медвѣдскомъ? Обстоятельства складываются, мнѣ кажется, такъ, что оба эти вопроса разрѣшаются очень просто и при томъ единовременно, одинъ при помощи другого. Просматривая вышеупомянутые отзывы разныхъ органовъ печати о критическихъ и полемическихъ пріемахъ г. Медвѣдскаго, вы убѣждаетесь, что они касаются исключительно нравственной стороны дѣла, оцѣниваютъ благородство души г. Медвѣдскаго, и единодушіе отзывовъ позволяетъ считать этотъ вопросъ исчерпаннымъ: объ немъ, дѣйствительно, разговаривать больше не стоитъ. Но, кромѣ душевной красоты, г. Медвѣдскій обнаружилъ еще извѣстную логическую силу, извѣстную степень образованности и вообще извѣстныя умственныя качества, которыя дѣлаютъ его литературную физіономію, если и не привлекательною, то, можетъ быть, грозною. Пусть онъ пускаетъ въ ходъ средства, въ нравственномъ отношеніи по заслугамъ оцѣненныя, кромѣ «Русскаго Богатства», «Вѣстникомъ Европы», «Наблюдателемъ», «Новымъ Временемъ», «С.-Петербургскими Вѣдомостями», «Биржевыми Вѣдомостями», «Русскими Вѣдомостями» и, кажется, еще нѣкоторыми провинціальными изданіями; но можетъ быть это такъ умно, сильно, обставлено такимъ логическимъ и научнымъ аппаратомъ, что однимъ негодованіемъ нельзя въ данномъ случаѣ ограничиваться. Перенесемъ же дѣло въ чисто умственныя сферы.

Г. Медвѣдскій желаетъ сказать мнѣ возможно больше непріятностей. Я вхожу въ его положеніе и понимаю его желаніе, но долженъ сказать, что осуществляетъ его онъ очень неискусно. Онъ, между прочимъ, ругается, грубо, какъ на базарѣ ругаются.

Ну, это пусть при немъ и остается. Я получилъ нѣкоторое воспитаніе и состязаться съ нимъ не буду. Затѣмъ, г. Медвѣдскій желаетъ зарекомендовать себя, по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ Островскаго, «патріотомъ своего отечества». Онъ говоритъ о «благѣ Россіи, сохраненіи и утвержденіи ея цѣлости, развитіи ея своеобразія, укрѣпленіи и разработкѣ всего того, что дѣлаетъ народъ способнымъ къ выполненію міровой культурной миссіи». Онъ почему-то подчеркиваетъ эти слова, печатаетъ ихъ курсивомъ и зачѣмъ-то грозно прибавляетъ: «Кто не сходится съ нами на этомъ пунктѣ, тотъ долженъ быть для насъ хуже язычника и мытаря, съ тѣмъ не можетъ быть никакихъ компромиссовъ, и если мы дѣйствительно вѣримъ въ нашу правду, если насъ точно вдохновляетъ наша истина, — мы обязаны вести борьбу не на животъ, а на смерть, безъ единой уступки, безъ тѣни снисхожденія»... Какая величественная и грозная картина! Даже подумать страшно: г. Медвѣдскій борется не на животъ, а на смерть, безъ тѣни снисхожденія... Допуская, однако, что нашему отечеству грозятъ серьезныя опасности, если г. Медвѣдскій окажетъ хоть какое-нибудь снисхожденіе язычникамъ и мытарямъ и тѣмъ, кто хуже ихъ, я долженъ все-таки сказать, что всѣ разсужденія г. Медвѣдскаго о патріотизмѣ — ни къ чему. Ни въ первой его вылазкѣ противъ «Русскаго Богатства», вызвавшей мою отповѣдь, ни въ этой отповѣди, — о патріотизмѣ и о томъ, какъ его надо понимать и осуществлять, не было рѣчи. Ничто, конечно, не мѣшаетъ г. Медвѣдскому повести разговоры и на эту, и еще на какую-нибудь новую тему, но собственно въ *отвѣтѣ* «Русскому Богатству» это элементъ совершенно лишній, ничѣмъ предъидущимъ не вызванный, имѣющій цѣлью лишь заявить urbi et orbi, что Россія можетъ быть спокойна, ибо на стражѣ ея интересовъ и достоинства стоитъ г. Медвѣдскій. Вѣроятно, такое заявленіе зачѣмъ нибудь нужно г. Медвѣдскому, однако мы все-таки остановимся въ «отвѣтѣ» только на томъ, что дѣйствительно составляетъ отвѣтъ или, по крайней мѣрѣ, сколько-нибудь похоже на него.

Дѣло шло не о Россіи, во всемъ объемѣ ея интересовъ и достоинства, а о предметѣ гораздо болѣе частномъ. Припомнимъ обстоятельства дѣла.

Г. Медвѣдскій такъ освѣтилъ мнѣнія нѣкоторыхъ профессоровъ, что «Русская Мысль» назвала это освѣщеніе «политическимъ доносомъ». Г. Медвѣдскій обидѣлся. Онъ находилъ, что нельзя назвать доносомъ какое бы то ни было указаніе въ печати, такъ какъ, во-первыхъ, оно громогласно, во-вторыхъ, передъ инкриминированнымъ лицомъ лежитъ свободный путь такого же открытаго опроверженія въ печати, въ-третьихъ, если этотъ путь почему ни-

будь неудобенъ, инкриминированное лицо можетъ обратиться въ судъ. Затѣмъ г. Медвѣдскій обратилъ свое неблагосклонное вниманіе на «Русское Богатство». Пріемы его изслѣдованія меня заинтересовали, а вмѣстѣ съ тѣмъ заинтересовалъ и вопросъ о доносчикахъ: что это за люди, почему ихъ часто презираютъ даже тѣ, кто ихъ услугами пользуются, а иногда и не могутъ не пользоваться, что такое доносъ, чѣмъ онъ отличается отъ другихъ указаній или обличеній. Я принялъ во вниманіе и разсужденія г. Медвѣдскаго по поводу брошеннаго ему «Русскою Мыслью» обвиненія въ доносительствѣ; но, желая дать своей маленькой работѣ возможно солидный, для бѣглой замѣтки, видъ, обратился и къ научному труду — къ курсу уголовнаго права Н. С. Таганцева. Теперь г. Медвѣдскій удивляется, зачѣмъ это мнѣ понадобилось цитировать курсъ г. Таганцева, потому что вѣдь тамъ говорится о «тайномъ доносѣ», который противополагается «гласному обвиненію преступника». Совершенно справедливо, и я это противоположеніе сохранилъ въ своей цитатѣ, но въ свою очередь удивляюсь удивленію г. Медвѣдскаго. Поднявъ перчатку, брошенную ему «Русскою Мыслью», онъ самъ заговорилъ о доносѣ и доносчикахъ, а я пожелалъ по возможности всесторонне осмотрѣть этотъ предметъ и, между прочимъ, остановился на фактѣ всеобщаго презрѣнія къ доносчикамъ. Мнѣ интересно было при этомъ отмѣтить, что ученый криминалистъ, теоретикъ и практикъ, признаетъ этотъ фактъ, даетъ ему свою санкцію и нѣкоторое, хотя и не полное объясненіе. Если все это не относится лично къ г. Медвѣдскому, то во всякомъ случаѣ входитъ въ составъ темы, имъ самимъ на общее обсужденіе предложенной. А если цитата изъ курса г. Таганцева подтверждаетъ мнѣнія, высказанныя г. Медвѣдскимъ, то тѣмъ лучше для него. Претендовать ему тутъ не на что. Но и я, съ своей стороны, не жалѣю о томъ, что цитировалъ курсъ г. Таганцева.

Нельзя сказать, чтобы въ принципѣ мы совершенно разошлись съ г. Медвѣдскимъ относительно того, что слѣдуетъ понимать подъ словами «доносъ», «доносчикъ». Правда, на первый взглядъ онъ какъ будто даже совсѣмъ упраздняетъ самое понятіе печатнаго доноса, потому что вѣдь печатное слово есть всегда открытое, гласное слово. Слѣдовательно, «печатный доносъ», въ презрительномъ смыслѣ этого слова, есть nonsens, безсмыслица, миѳъ, созданный услужливымъ воображеніемъ или лицемѣріемъ «либераловъ», которымъ нечего возразить на направленныя противъ нихъ обвиненія. Печать есть арена открытой борьбы мнѣній, вспомоществуемая въ крайнемъ случаѣ (въ случаѣ клеветы) судомъ. Таковъ ходъ мысли г. Медвѣдскаго. Но вотъ самъ же г. Медвѣдскій пи-

салъ въ «Наблюдателѣ»: «Пора бы нашимъ «консерваторамъ» выбросить за бортъ истрепанную мѣрку полицейской благонадежности; пора бы воспитать въ себѣ хоть малую толику уваженія къ обществу просвѣщенныхъ и кое-что понимающихъ людей; пора бы перестать и лгать». Изъ этого слѣдуетъ, что, по мнѣнію самого г. Медвѣдскаго, печать можетъ и не быть ареною свободной борьбы мнѣній, ибо есть писатели, выступающіе на нее съ внѣ-литературнымъ оружіемъ въ рукахъ. Затѣмъ и въ «Русскомъ Вѣстникѣ» г. Медвѣдскій любезно указываетъ нѣкоторые признаки, выдѣляющіе доносъ изъ произведеній печати вообще, изъ полемики, критики и публицистики въ частности. Чтобы статья не имѣла характера доноса, недостаточно того, чтобы она содержала въ себѣ открыто высказанное сужденіе или обвиненіе, а надо еще, чтобы она не устраняла возможности возраженія, чтобы не прерывался насильственно тотъ choc des opinions, изъ котораго jaillit la vérité. Это явственно вытекаетъ изъ того, что г. Медвѣдскій парируетъ обвиненіе «Русской Мысли» указаніемъ на возможность отвѣчать ему въ печати же. Такимъ образомъ, г. Медвѣдскій самъ вводитъ въ свою слишкомъ уже расплывающуюся точку зрѣнія весьма существенное ограниченіе, которое и слѣдуетъ, конечно, принять. Такъ что въ принципѣ мы, значитъ, совершенно согласны съ г. Медвѣдскимъ. Остается только прилагать найденный принципъ къ конкретнымъ частнымъ случаямъ, но теперь мы этимъ заниматься не будемъ, такъ какъ условились не снимать калошъ.

Предоставляемъ, между прочимъ, самому читателю привести вышеизложенное въ связь съ слѣдующею замѣчательною мыслью, выраженною въ «отвѣтѣ «Русскому Богатству»: «Мы не для того, полагаю, ведемъ разговоры въ присутствіи многочисленной аудиторіи, чтобы показывать діалектическіе фокусы, и, выражаясь грубо, конечною цѣлью каждый имѣетъ прижать противника къ стѣнѣ». Мнѣ кажется, что здѣсь груба не столько форма выраженія, сколько облеченная въ нее мысль. Особенно, если принять въ соображеніе способъ, которымъ г. Медвѣдскій рекомендуетъ прижимать противника къ стѣнѣ: «*неудобными* (курсивъ г. Медвѣдскаго) вопросами». Доселѣ даже тѣ, кто практиковалъ этотъ способъ, не возводили его открыто въ теоретическій принципъ, а нынѣ вотъ какъ наивно раскрываются карты: что тамъ за choc des opinions, что за vérité и прочіе «діалектическіе фокусы»! Надо просто ставить вопросы такъ, чтобы на нихъ «неудобно» было отвѣчать. Мы, люди чужіе г. Медвѣдскому, можемъ только благодарить его за сообщеніе этого секрета партійной тактики. Но люди тѣхъ принциповъ, въ защиту которыхъ самозванно высту-

паетъ г. Медвѣдскій, едва-ли обязаны ему благодарностью: это защитникъ компрометирующій. Дочитавъ предлагаемую статью до конца, читатель, надѣюсь, вполнѣ въ этомъ убѣдится. Дѣло въ томъ, что, кромѣ желанія прижать противника къ стѣнѣ, заставить его не «діалектическими фокусами», а «неудобными вопросами» замолчать; кромѣ, говорю, этого желанія, степень благородства котораго пусть оцѣниваетъ кто хочетъ, нужно еще умѣнье. И мы сейчасъ увидимъ, каково умѣнье г. Медвѣдскаго.

Въ своей первой и совершенно внезапной вылазкѣ противъ «Русскаго Богатства» г. Медвѣдскій утверждалъ, что, читая нашъ журналъ, можно позабыть о существованіи въ Россіи «не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Вотъ—говорилъ онъ,—у насъ жалуются на стѣсненія печати, даже въ Европу эти жалобы проникли, а посмотрите-ка, что пишутъ въ «Русскомъ Богатствѣ»! При этомъ, однако, г. Медвѣдскій обнаружилъ совершенное непониманіе того, что значитъ свобода печати, и по истинѣ удивилъ бы Европу, если-бы она узнала изъ его сообщенія, что это столь необузданное «Русское Богатство» оперируетъ «коварными умыслами» и «иносказаніями» и что цензоръ будто бы можетъ въ Россіи «вычеркивать сколько ему угодно»,—таковъ одинъ изъ пріемовъ, которыми г. Медвѣдскій охраняетъ достоинство Россіи. Но, быть можетъ, еще болѣе удивилась бы Европа, если-бы узнала, что именно въ «Русскомъ Богатствѣ» русскій писатель, хотя бы онъ назывался и Медвѣдскимъ, считаетъ неправильно ускользнувшимъ отъ бдительности цензуры «не только предварительной, а и послѣдующей». Во всякомъ случаѣ теперь, въ «отвѣтѣ», г. Медвѣдскій уже какъ будто беретъ отчасти назадъ свое показаніе о нашей необузданности. Онъ говоритъ: «Кому—кому, а «Русскому Богатству» мы отъ души (даже отъ души!) желали бы того «простора рѣчи», при которыхъ оно могло бы высказать всѣ свои задушевныя мысли, съ математическою точностью изложить свои взгляды, однимъ словомъ, *договориться до конца*» (курсивъ, какъ и вездѣ далѣе, г. Медвѣдскаго, онъ очень любитъ курсивъ). A la bonne heure! Вотъ и еще пунктъ, на которомъ мы вполнѣ сходимся съ г. Медвѣдскимъ: мы того же желаемъ. «Но это когда еще случится»,—разочарованно прибавляетъ г. Медвѣдскій. Значитъ, до сихъ поръ предварительная и послѣдующая цензура еще не заслуживала упрека въ недостаткѣ бдительности, и всѣ разговоры г. Медвѣдскаго на эту тему—просто пустяки. Ниже мы увидимъ, что собственно обозначаетъ та любезность, съ которою г. Медвѣдскій желаетъ намъ теперь полнаго «простора рѣчи». А пока я обращаю вниманіе читателей на ловкость и грацію, съ которыми мысли этого писателя прыгаютъ другъ черезъ друга: по

его первоначальному показанію, мы пользуемся такимъ «просторомъ рѣчи», что даже для Европы удивительно, а теперь оказывается, что «это когда еще случится»; онъ намъ «отъ души» желаетъ «простора рѣчи», но въ то же время хочетъ прижать насъ къ стѣнѣ «неудобными вопросами».

«Но это когда еще случится,—говоритъ г. Медвѣдскій,—а нынѣ приглашаю г. Михайловскаго, попросту и безъ затѣй, *отвѣтить* на предложенные нами *вопросы*. Теперь дѣло стоитъ, кажется, настолько ясно, что увильнуть мудрено».

Съ величайшимъ удовольствіемъ отвѣчу, и именно попросту, безъ затѣй, хотя это тѣ самые будто бы ужасно неудобные вопросы, которыми г. Медвѣдскій думаетъ прижимать противника къ стѣнѣ. Собственно говоря, не только такой умый человѣкъ, какъ г. Медвѣдскій, а по нѣмецкой поговоркѣ, даже ein Narr kann zehn Mahl mehr fragen, als ein kluger antworten, но для г. Медвѣдскаго я готовъ потрудиться. Я никогда не забуду, что въ «Наблюдателѣ» онъ предлагалъ вотировать мнѣ благодарность отечества. Онъ писалъ: «Г. Михайловскій имѣетъ право на признательность со стороны русскаго общества, но послѣдніе годы его литературной дѣятельности отмѣчены усталостью». Со стороны человѣка, грозно охраняющаго интересы и достоинство Россіи и безъ снисхожденія истребляющаго язычниковъ и мытарей и тѣхъ, кто хуже ихъ,—согласитесь, это аттестація слишкомъ лестная, чтобы я, хотя и усталый, но все-таки благодарный, могъ отказаться исполнить просьбу г. Медвѣдскаго. Да и просьба то пустяковая: отвѣтить на предложенные имъ «неудобные» вопросы можно съ большимъ удобствомъ. Надо только сначала напомнить ихъ исторію.

Въ первой вылазкѣ, дѣлая косвенный, но строгій выговоръ цензурному вѣдомству, г. Медвѣдскій обратилъ свое неблагосклонное вниманіе на слѣдующія статьи «Русскаго Богатства»: статью г. Иванова о Тэнѣ, парижскія корреспонденціи г. Н. К., «Въ мірѣ отверженныхъ» г. Мельшина, «Дневникъ журналиста» г. Южакова и мои литературныя и житейскія замѣтки. Я опредѣлилъ общій характеръ этихъ указаній такъ: благодаря «страшнымъ» словамъ, въ родѣ революція, якобинцы, радикализмъ и проч., на самыя простыя вещи напущенъ туманъ «неблагонамѣренности», но ничего существеннаго, ничего такого, на что стоило бы и даже можно было возражать. Для демонстраціи я взялъ первое и послѣднее указаніе и, должно быть, демонстрировалъ ихъ удачно, потому что теперь, въ «отвѣтѣ», г. Медвѣдскій ихъ уже не касается, признаетъ ихъ, стало быть, выбывшими изъ строя его аргументаціи. Но за то съ тѣмъ большею энергіей настаиваетъ онъ на своихъ

остальныхъ указаніяхъ. Зачѣмъ, говоритъ, вы остальное «смазали»? Потрудитесь-ка отвѣчать, да не виляйте!

Зачѣмъ вилять! Я приведу вопросы г. Медвѣдскаго его подлинными словами, такъ именно, какъ они формулированы въ «отвѣтѣ», затѣмъ постараюсь удовлетворить его любознательность и, наконецъ, сдѣлаю нѣкоторый общій выводъ.

Пунктъ первый: о французскихъ корреспонденціяхъ. «Совѣтъ (корреспондента) «позаимствовать кое-что» у современнаго француза показался намъ (г. Медвѣдскому) любопытнымъ, такъ какъ изъ положительныхъ французскихъ качествъ авторъ называетъ три: искусство *пропагандировать, агитировать и ораторствовать* (курсивъ, какъ и далѣе, принадлежитъ г. Медвѣдскому). На нашъ взглядъ «позаимствованіе» подобныхъ добродѣтелей намъ ничего, кромѣ вреда, принести не можетъ. Корреспондентъ «Русскаго Богатства» и г. Михайловскій вольны дивиться нашему невѣжеству, но вѣдь возражать-то *есть на что*, вѣдь споръ *по существу* о необходимости или ненужности изученія искусства пропагандировать и агитировать—*мыслимъ?*»

А ужъ, право не знаю, мыслимъ-ли. Должно быть, мыслимъ, если г. Медвѣдскій его поднимаетъ, да еще съ такимъ побѣдоноснымъ видомъ. Но мнѣ, признаться, стыдно принимать хотя бы и невольное, вынужденное участіе въ такомъ спорѣ. Дѣлать нечего, однако: взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. Преодолѣлъ же я нѣкоторый конфузъ, доказывая г. Медвѣдскому, по поводу статьи г. Иванова, что сочиненіе Тэна о французской революціи не есть каноническая книга, которую русская цензура должна охранять отъ критики. Что касается собственно ораторскаго искусства, то удовлетворить любознательность г. Медвѣдскаго могъ бы любой гимназистъ среднихъ классовъ, потому что, если не ошибаюсь, уже въ среднихъ классахъ гимназіи изучаются образцы ораторскаго искусства древнихъ и внушается ученикамъ мысль о его значеніи; да и по русскому языку задаются сочиненія на эту тему, при чемъ учитель едва-ли поставитъ хорошую отмѣтку гимназисту, который сталъ бы доказывать, что ораторское искусство «намъ ничего, кромѣ вреда, принести не можетъ». Пусть такъ, скажетъ г. Медвѣдскій, — это я, дѣствительно, не подумавши, съ маху брякнулъ, но «агитація», «пропаганда»?! И я представляю себѣ глубокую взволнованность души г. Медвѣдскаго при произнесеніи этихъ страшныхъ словъ. Но почтенная редакція «Русскаго Вѣстника» легко можетъ успокоить своего публициста, поднеся ему какой-нибудь толкователь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ употребленіе въ русскомъ языкѣ. Въ ожиданіи этого счастливаго для русской литературы или, по край-

ней мѣрѣ, для «Русскаго Вѣстника» событія, заглянемъ въ инкриминированныя корреспонденціи г. Н. К. Вотъ, напримѣръ, на стр. 142 въ № 3 «Русскаго Богатства» нашъ корреспондентъ, останавливаясь на Вольтерѣ, какъ на типичномъ представителѣ французской мысли, приводитъ, между прочимъ, заключительныя строки его письма къ одному изъ друзей: «Я хочу учиться и хочу любить васъ; я хочу, чтобы вы сдѣлались ньютоніанцемъ, чтобы вы такъ же понимали эту философію, какъ вы умѣете любить людей». Затѣмъ корреспондентъ нашъ прибавляетъ отъ себя: «Вотъ это «я хочу учиться, хочу любить васъ и хочу, чтобы вы сдѣлались ньютоніанцемъ», можетъ быть, лучше характеризуетъ француза, чѣмъ цѣлые томы разсужденій. Эта жажда знанія, но съ цѣлью пропаганды, эта страсть пропаганды, но въ виду улучшенія живыхъ людей, которые насъ окружаютъ, является могущественнымъ двигателемъ французской націи». Читатель понимаетъ теперь, въ чемъ дѣло. «Агитація», «пропаганда», — это для публициста «Русскаго Вѣстника» то же самое, что «жупелъ» для замоскворѣцкой купчихи. Въ его умѣ эти существительныя неразрывно ассоціировались съ прилагательнымъ «преступный», а агитаціи и пропаганды «по существу» онъ не понимаетъ, какъ не понимаютъ ихъ герои разсказовъ г. Лейкина. Есть малороссійскій водевиль «По ревизіи». Тамъ писарь, хватившій цивилизаціи, выражается такъ: «откатегоряемъ усю систему въ свое время». Вотъ и публицистъ «Русскаго Вѣстника» желаетъ «откатегорять усю систему». Выдѣлить общее понятіе агитаціи и пропаганды ему не позволяетъ даже то обстоятельство, что обличаемый имъ корреспондентъ говоритъ о пропагандѣ ньютоновой философіи. Кто ее тамъ знаетъ, какая такая философія, а вотъ насчетъ «пропаганды» г. Медвѣдскаго ужъ не собьешь! Правда, во Франціи идетъ агитація въ виду самыхъ разнообразныхъ цѣлей и пропаганда самыхъ разнообразныхъ идей — научныхъ, философскихъ, художественныхъ, политическихъ, а въ составѣ послѣднихъ есть идеи монархическія, республиканскія, клерикальныя, соціалистическія, пропаганда «реванша» и пропаганда мира, агитація въ пользу франко-русскаго союза и агитація противъ него. Гдѣ же во всемъ этомъ разобраться просвѣщенному публицисту «Русскаго Вѣстника», ну, онъ и «категоряетъ усю систему», а за одно прихватываетъ и ораторское искусство въ число вещей, которыя «намъ ничего, кромѣ вреда, принести не могутъ». И это серьезная публицистика! Этакъ-то вооруженный человѣкъ беретъ на себя миссію стоять на стражѣ интересовъ и достоинства Россіи!

Второй пунктъ: о «Дневникѣ журналиста». Г. Медвѣдскій го-

воритъ: «Выписавъ нѣсколько строкъ изъ «Дневника журналиста», характеризующихъ до-Петровскую Русь, мы *спрашиваемъ*: «неужели въ этихъ строкахъ содержится сколько-нибудь вѣрный обликъ состоянія до-Петровской Руси?» Вотъ г. Михайловскому и слѣдовало бы *отвѣтить*, какъ по его мнѣнію — точный это или неточный, вѣрный или невѣрный обликъ. Затѣмъ, намъ кажется возмутительною нелѣпостью помѣщеніе въ одномъ перечнѣ съ «рабствомъ земледѣльческихъ массъ» и «затворничествомъ женщины» — *вѣры* русскаго народа *въ свою избранность*. Г. Михайловскій недоумѣваетъ,—что опровергать, съ чѣмъ спорить, а вопросъ самъ собою формулируется: объясните, докажите, что «вѣра въ избранность» не лучше «рабства земледѣльческихъ массъ», и все будетъ въ порядкѣ. Интересно также послушать о «растлѣвающемъ режимѣ Іоанна IV», ибо мы, въ простотѣ душевной, убѣждены, что «онъ царство *создавалъ* и — царство создалось», слѣдовательно, ужъ никакимъ образомъ нельзя толковать о «растлѣніи», не давая себѣ труда облечь мысль въ сколько-нибудь пристойную, серьезную форму. На данную тему такъ же, какъ и на предъидущую, мы непремѣнно будемъ еще бесѣдовать, потому что нѣтъ ничего возмутительнѣе практикуемой радикальными журналистами эксплоатаціи невѣжества нашей «интеллигенціи» по части русской исторіи. Стало быть, здѣсь мы снова сталкиваемся *съ вопросомъ*, и очень важнымъ вопросомъ, который напрасно оставленъ г. Михайловскимъ втунѣ».

Судя по тону, г. Медвѣдскій должно быть спеціалистъ по русской исторіи, и я готовъ съ величайшею почтительностью встрѣтить то его будущее изслѣдованіе по этому обширнѣйшему предмету, въ которомъ онъ разсѣетъ мракъ невѣжества нашей интеллигенціи. Но, въ ожиданіи этого роскошнаго пира науки и тѣхъ крохъ, которыя, можетъ быть, и намъ грѣшнымъ перепадутъ съ богатаго стола г. Медвѣдскаго, приходится довольствоваться трудами другихъ историковъ. Вотъ, напримѣръ, г. Медвѣдскому «интересно послушать «о растлѣвающемъ режимѣ Іоанна IV». Очевидно, онъ до такой степени занятъ собственными оригинальными изслѣдованіями по русской исторіи, что не удосужился до сихъ поръ заглянуть ну хоть, напримѣръ, въ «Исторію государства россійскаго» Карамзина. Въ VII главѣ IX тома этого неизвѣстнаго г. Медвѣдскому сочиненія есть слѣдующія строки. Упомянувъ о Калигулѣ и Неронѣ, Карамзинъ продолжаетъ: «Они были язычники; но Людовикъ XI былъ христіанинъ, не уступая Іоанну ни въ свирѣпости, ни въ наружномъ благочестіи, коимъ они хотѣли загладить свои беззаконія: оба набожные отъ страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азіатскимъ и римскимъ мучителямъ. Изверги внѣ законовъ, внѣ правилъ и вѣроятностей раз-

судка: сіи ужасные метеоры, сіи блудящіе огни страстей необузданныхъ озаряютъ для насъ, въ пространствѣ вѣковъ, бездну возможнаго человѣческаго разврата, да видя содрогаемся!» Далѣе Карамзинъ указываетъ на то, что Грозный царь «губительной рукой касался самыхъ будущихъ временъ: ибо туча доносителей, клеветниковъ, кромѣшниковъ, имъ образованныхъ, какъ туча гладоносныхъ насѣкомыхъ, исчезнувъ, оставили злое сѣмя въ народѣ; и если иго Батыево унизило духъ россіянъ, то безъ сомнѣнія не возвысило его и царствованіе Іоаново». Это вѣдь именно то, что г. Медвѣдскому «интересно послушать». Я могъ бы привести еще много подобныхъ и даже еще болѣе рѣзкихъ характеристикъ «растлѣвающаго режима Іоанна IV», но полагаю, что Карамзинъ, какъ оффиціальный исторіографъ, особенно интересенъ для г. Медвѣдскаго. Ну, да и для читателя небезъинтересно знать, что публицисту «Русскаго Вѣстника», собирающемуся разсѣять мракъ нашего невѣжества по части русской исторіи, неизвѣстна «Исторія государства россійскаго», съ которою юношество начинаетъ знакомиться въ гимназіяхъ. Было бы очень поучительно войти здѣсь въ нѣкоторыя подробности, но насъ ждутъ другіе вопросы г. Медвѣдскаго, и я сдѣлаю еще одну только ссылку въ поученіе г. Медвѣдскому. Пусть онъ прочтетъ предисловіе гр. Алексѣя Толстого къ роману «Князь Серебряный», посвященному императрицѣ Маріи Александровнѣ. Тамъ есть слѣдующія строки: «Въ отношеніи къ ужасамъ того времени авторъ постоянно оставался ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и нравственному чувству читателя онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ, по возможности, въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе, онъ сознается, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія». Пусть, далѣе, въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого, опять-таки посвященныхъ императрицѣ Маріи Александровнѣ («Къ твоимъ, Царица, я ногамъ несу и радость, и печали» и т. д.), г. Медвѣдскій прочтетъ слѣдующую картину:

«Вдругъ гремятъ тулумбасы, идетъ караулъ,
Гонитъ палками встрѣчныхъ съ дороги;
Ѣдетъ царь на конѣ, въ зипунѣ изъ парчи,
А кругомъ съ топорами идутъ палачи,
Его милость сбираются тѣшить:
Тамъ кого-то рубить или вѣшать». И т. д.

Пойдемъ дальше.

«Намъ кажется возмутительною нелѣпостью—говоритъ г. Мед-

вѣдскій—помѣщеніе въ одномъ перечнѣ съ «рабствомъ земледѣльческихъ массъ» и «затворничествомъ женщины» — *вѣры* русскаго народа *въ свою избранность*. Г. Михайловскій недоумѣваетъ — что опровергать, съ чѣмъ спорить, а вопросъ самъ собою формулируется; объясните, докажите, что «вѣра въ избранность» не лучше «рабства земледѣльческихъ массъ», и все будетъ въ порядкѣ».

Долженъ признаться, что этотъ вопросъ поставленъ, дѣйствительно, «неудобно», но собственно только въ логическомъ смыслѣ. Что лучше—гордость или дырявые сапоги?—на это я не могу отвѣтить. Но что гордый человѣкъ можетъ ходить въ дырявыхъ сапогахъ, это я утверждать рѣшаюсь. «Вѣра въ свою избранность» и «рабство земледѣльческихъ массъ» непосредственному сравненію не подлежатъ, но что они могутъ быть «помѣщены въ одномъ перечнѣ», — это достовѣрно. Г. Медвѣдскому это кажется «возмутительною нелѣпостью», потому что онъ считаетъ «вѣру въ свою избранность» какою-то добродѣтелью, чѣмъ-то такимъ, что уже само по себѣ достойно уваженія. Это онъ напрасно. Древніе евреи вѣрили въ свою избранность, и, однако, какъ свидѣтельствуетъ Библія, эта вѣра уживалась со многими тяжкими грѣхами, пороками и несправедливостями, за которые Богъ и посылалъ своему народу наказанія. Новозавѣтная же исторія совсѣмъ не знаетъ избранныхъ народовъ, и ни русскій, ни какой другой народъ христіанской цивилизаціи не можетъ поддержать свои претензіи въ этомъ родѣ какимъ-нибудь непререкаемымъ авторитетомъ.

Третій пунктъ, — о «Мірѣ отверженныхъ». Г. Медвѣдскій говоритъ: «Что показалось намъ фальшиваго въ запискахъ г. Мельшина,—мы указали съ точностью. Намъ показалось фальшивымъ это приторное отношеніе къ «несчастненькимъ», сознательно участвующимъ, подобно юному татарину, въ убійствѣ съ корыстною цѣлью (а то и совершающимъ такія преступленія единолично) и въ то же время якобы сохраняющимъ *безукоризненную нравственную чистоту*. Пускай нашъ взглядъ ошибоченъ, а г. Мельшинъ стоитъ на вѣрной точкѣ зрѣнія. Вотъ г. Михайловскій и просвѣтилъ бы насъ. Просвѣщая, онъ *опровергнулъ бы* «коварнаго анонима» и все бы кончилось чудесно».

Маленькое побочное замѣчаніе. Г. Медвѣдскій ставитъ въ кавычки слова «коварный анонимъ» и тѣмъ даетъ понять, что я его такъ называлъ. Это невѣрно. Анонимомъ я его называлъ, потому что онъ тогда и былъ анонимомъ, но единственный эпитетъ къ этому существительному во всей моей статьѣ есть — «первый встрѣчный». Признаться, я дѣйствительно думалъ сначала, что г. Медвѣдскій коваренъ, но, къ счастію, не сказалъ этого; потому къ счастію, что иначе мнѣ пришлось бы теперь брать свое слово на-

задъ: нѣтъ, онъ не коваренъ, хотя, можетъ быть, и желалъ бы быть коварнымъ. Онъ не только не коваренъ, а даже до чрезвычайности простъ.

Что касается эпизода съ молодымъ татариномъ Маразгали, то читатель, конечно, помнитъ эту прелестную главу записокъ г. Мельшина. Одна изъ лучшихъ, она есть вмѣстѣ съ тѣмъ едва-ли не единственная свѣтлая, хотя и проникнутая грустью. Ужъ, конечно, г. Мельшинъ не идеализируетъ своихъ каторжниковъ. Представленныя имъ картины ужасающаго разврата и нечеловѣческой жестокости, образы почти звѣриные по отсутствію сознанія добра и зла—производятъ удручающее впечатлѣніе, и мнѣ приходилось слышать объ упрекахъ г. Мельшину именно въ этомъ направленіи,—за слишкомъ мрачную психологію «несчастненькихъ». Упреки эти несправедливы: сама дѣйствительность сгустила мрачныя краски въ той атмосферѣ, въ которой пришлось годы прожить г. Мельшину. Онъ описываетъ то, что видѣлъ, а видѣлъ, конечно, не добродѣтельныхъ людей. Но вотъ среди этого мрака отчаянія, злобы, звѣрства и разврата мелькаетъ трогательный образъ Маразгали, и г. Медвѣдскій утверждаетъ, что это «фальшиво» и «приторно», и распространяетъ это свое замѣчаніе на всѣхъ «несчастненькихъ», изображенныхъ г. Мельшинымъ, тогда какъ Маразгали стоитъ въ «Мірѣ отверженныхъ» совсѣмъ одиноко. Представляя дѣло въ столь извращенномъ видѣ, г. Медвѣдскій поступаетъ... Впрочемъ, вопросъ о благородствѣ души г. Медвѣдскаго исчерпанъ, и мы посмотримъ только, ведетъ-ли этотъ его поступокъ къ предположенной имъ цѣли. Цѣль эта, вы помните, состоитъ въ предъявленіи документовъ неблагонамѣренности «Русскаго Богатства» и недостаточной бдительности «не только предварительной, а и послѣдующей цензуры». Въ этихъ видахъ онъ и желаетъ «прижимать къ стѣнѣ» при помощи «неудобныхъ вопросовъ». Но что же неудобнаго въ вопросѣ г. Медвѣдскаго о г. Мельшинѣ? Да, образъ Маразгали не кажется мнѣ фальшивымъ; да, г. Мельшинъ стоитъ на вѣрной точкѣ зрѣнія,—вотъ мой отвѣтъ, и «суди меня, судія неправедный», какъ, по словамъ одной богомолки у Островскаго, пишутъ прошенія въ невѣрныхъ земляхъ. Если бы я, однако, и вынужденъ былъ признать, что образъ Маразгали фальшивъ и г. Мельшинъ стоитъ на невѣрной точкѣ зрѣнія,—это все-таки ни на шагъ не подвинуло бы г. Медвѣдскаго къ его цѣли; ибо политическая благонамѣренность совершенно не при чемъ въ этого рода вопросахъ. Иначе г. Медвѣдскому пришлось бы обвинять въ политической неблагонамѣренности ни больше, ни меньше, какъ г. петербургскаго градоначальника, генерала Клейгельса. Въ напечатанной недавно по распоряженію генерала брошюрѣ «Основы полицейской службы», предна-

значенной для руководства чинамъ петербургской полиціи, между прочимъ, читаемъ: «На арестантовъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ на своихъ ближнихъ, своихъ братьевъ, впавшихъ въ несчастіе или душевную болѣзнь, называемую преступленіемъ. Недаромъ и нашъ простой русскій народъ всегда смотритъ на арестантовъ съ тою всепрощающею любовью, съ тою глубокою незлобивостью и снисходительностью, какія присущи его натурѣ, называя ихъ «несчастненькими» («Основы полицейской службы». Спб. 1896, стр. 23).

Таковы гуманныя идеи, которыя генералъ Клейгельсъ считаетъ полезнымъ и нужнымъ внушать чинамъ петербургской полиціи, а г. Медвѣдскій обвиняетъ въ неблагонамѣренности г. Мельшина, который среди цѣлой коллекціи злодѣевъ намѣтилъ одинъ трогательный образъ. Какими же громами долженъ г. Медвѣдскій разразиться по адресу всего штата петербургской полиціи, поскольку послѣдняя успѣла проникнуться духомъ «Основъ полицейской службы»?!!

Я удовлетворилъ любознательность г. Медвѣдскаго: пересмотрѣлъ всѣ его три пункта, и читатель видитъ, что если изъ пяти пунктовъ обвинительнаго акта, предъявленнаго намъ публицистомъ «Русскаго Вѣстника», я остановился въ прошлый разъ только на первомъ и на послѣднемъ, такъ не потому, что остальные три меня дѣйствительно «прижимали къ стѣнѣ». Это просто карточные домики, разсыпающіеся отъ одного дуновенія, и мнѣ просто стыдно было возиться съ такими пустяками. Но—tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as voulu! Какъ видите, отвѣчать на будто бы «неудобные вопросы» г. Медвѣдскаго я могъ даже не своими словами, а ссылками на толковые словари иностранныхъ словъ (по вопросу объ агитаціи и пропагандѣ вообще, Ньютоновой философіи въ частности), на гимназическіе учебники (по вопросу о вредѣ ораторскаго искусства), на оффиціальнаго исторіографа и на поэта, пользовавшагося особеннымъ благоволеніемъ императрицы (по вопросу о растлѣвающемъ режимѣ Іоанна IV), наконецъ, на оффиціальное изданіе «Основъ полицейской службы» (по вопросу о «несчастненькихъ»). Мнѣ и теперь стыдно. Стыдно, во-первыхъ, лично за себя, вынужденнаго занимать читателя такими преніями; стыдно, во-вторыхъ, за русскую литературу, въ средѣ которой нашелся человѣкъ не только столь благородной души, но и столь просвѣщеннаго ума, какъ г. Медвѣдскій; наконецъ, вчужѣ стыдно за «консерваторовъ», отъ имени которыхъ выступаетъ г. Медвѣдскій на защиту интересовъ и достоинства отечества. Что, если-бы «не только предварительная, а и послѣдующая цензура», призываемая г. Медвѣдскимъ къ вящшей бдительности, приняла во вниманіе его указанія? Вѣдь

пришлось бы, послѣдовательности ради, запретить «Исторію государства россійскаго» Карамзина, и сочиненія гр. Алексѣя Толстого, и «Основы полицейской службы», изданныя по распоряженію петербургскаго градоначальника...

Спрашивается, однако, какъ же все это могло такъ странно сложиться? Какъ могъ г. Медвѣдскій хотя-бы на одну минуту самъ повѣрить и редакцію «Русскаго Вѣстника» убѣдить въ «неудобствѣ» задаваемыхъ имъ вопросовъ? Дѣло объясняется отчасти круглымъ невѣжествомъ г. Медвѣдскаго, а отчасти нѣкоторымъ техническимъ пріемомъ, уловить который особенно удобно на эпизодѣ съ записками г. Мельшина. Въ томъ видѣ, какъ вы сейчасъ, въ третьемъ пунктѣ, прочитали, вопросъ г. Медвѣдскаго о татаринѣ Маразгали (а я его привелъ весь, отъ первой до послѣдней буквы), это есть вопросъ либо литературно-критическій, либо психологическій, либо, наконецъ, уголовно-антропологическій, и къ политической благонамѣренности или неблагонамѣренности его никакъ не пристроишь. Еще если-бы дѣло шло о политическомъ преступникѣ, ну тогда г. Медвѣдскій имѣлъ хоть поводъ натѣшиться вволю, а то простой полудикій татаринъ за тридевять земель отъ всякой политики. И, повторяю, если-бы я даже вынужденъ былъ признать фальшь въ изображеніи Маразгали, то г. Медвѣдскій могъ бы праздновать побѣду какъ критикъ и психологъ, а въ качествѣ представителя политической благонамѣренности ему все-таки не было бы никакого повода себя безпокоить. Но онъ думаетъ себѣ: «откатегоряемъ усю систему», заразъ уже. Устраиваетъ онъ этотъ кунстштюкъ слѣдующимъ образомъ (въ первой еще вылазкѣ). Онъ говоритъ о выдержанности направленія «Русскаго Богатства», объ излишествахъ свободы печати, которой не ставитъ надлежащихъ препонъ «не только предварительная, но и послѣдующая цензура»; блеститъ фейерверкомъ «страшныхъ словъ» по поводу статей гг. Иванова и Н. К., патріотически заступается за до-Петровскую Русь и въ частности за Ивана Грознаго по поводу «Дневника журналиста», и такъ, между прочимъ, отмѣчаетъ записки г. Мельшина, «лишь для того, чтобы показать, какъ въ «Русскомъ Богатствѣ» старательно пригоняютъ статью къ статьѣ». Вслѣдъ затѣмъ г. Медвѣдскій ставитъ послѣдній пунктъ своего обвинительнаго акта: «*Нечего и говорить* (на этотъ разъ курсивъ мой), что «литературно-общественныя замѣтки» г. Михайловскаго дополняютъ букетъ и по временамъ сообщаютъ ему особенную пикантность». Понимаете, какой «букетъ»— подмигиваетъ г. Медвѣдскій: «нечего и говорить»! Все это было въ первой вылазкѣ. Нынѣ, въ «отвѣтѣ», когда г. Медвѣдскій нарочито хочетъ убѣдить читателей въ доказательности своихъ мнѣній и въ полной возможности опровергать ихъ въ печати, онъ уже прямо

подноситъ мнѣ титулъ «передового бойца надпольнаго анархизма». Къ сожалѣнію, въ подтвержденіе этой квалификаціи онъ не приводитъ ни единаго слова изъ моихъ довольно многочисленныхъ писаній, такъ что я не знаю, какъ бы я сталъ его опровергать, если бы мнѣ это почему нибудь понадобилось. Хорошо, что мнѣ это никогда не понадобится, такъ какъ я чувствую себя укрытымъ отъ всякой непогоды: можетъ быть, и за мой «надпольный анархизмъ», но «г. Михайловскій имѣетъ право на признательность со стороны русскаго общества»,—ссылаюсь на авторитетъ г. Медвѣдскаго, того самаго г. Медвѣдскаго, который непреклонно стоитъ на стражѣ и не знаетъ снисхожденія. Но г. Мельшинъ не имѣетъ такой блестящей аттестаціи, а между тѣмъ и онъ, подъ шумокъ страшныхъ словъ, попалъ въ одинъ букетъ съ «передовымъ бойцомъ надпольнаго анархизма». Въ букетѣ стало однимъ цвѣткомъ больше. Если, однако, вы возьмете на себя трудъ поубрать въ сторону страшныя слова, которыя суть не болѣе, какъ гамлетовскія «слова, слова, слова», и сосредоточите свое вниманіе на «существѣ», какъ того требуетъ самъ г. Медвѣдскій, то увидите просто пустое мѣсто.

Это любопытно. Настолько любопытно, что мы можемъ теперь перейти къ нѣкоторымъ общимъ соображеніямъ, ради которыхъ собственно только и стоило удовлетворять любознательность г. Медвѣдскаго и вообще заниматься этимъ писателемъ, столь блистательно соединяющимъ въ своей особѣ благородство души и возвышенный и просвѣщенный умъ.

Послѣ смерти Каткова явились претенденты на то исключительное, небывалое положеніе, которое онъ, журналистъ и частный человѣкъ, занималъ не только въ литературѣ, а и въ жизни: г. Петровскій, кн. Мещерскій, разные «молодшіе», подручные люди. Ни кому, однако, изъ нихъ не удалось достигнуть честолюбивой цѣли, да и не могло удаться. Во-первыхъ, Катковъ былъ человѣкъ высоко образованный и обладалъ крупными природными дарованіями, какія не легко найти въ первомъ встрѣчномъ охочемъ человѣкѣ. Во-вторыхъ, Катковъ выдвинулся и занялъ свое исключительное положеніе, благодаря своей дѣятельности въ моментъ исключительной тоже исторической важности, въ моментъ польскаго возстанія, тѣмъ или другимъ исходомъ котораго надолго опредѣлялись судьбы не только Россіи, а и Европы, можно сказать, всего цивилизованнаго міра. Теперь намъ трудно даже представить себѣ ту перетасовку всѣхъ международныхъ отношеній и тѣ перемѣны во внутренней жизни всѣхъ государствъ, по крайней мѣрѣ, восточной Европы, которыя произошли бы, если бы исходъ польскаго возстанія былъ иной. Одно несомнѣнно: ничего, даже отдаленно, даже

хоть сколько-нибудь похожаго мы нынѣ не переживаемъ. А такъ какъ и качествъ надлежащихъ у сказанныхъ претендентовъ нѣтъ, то и выходитъ, что во всѣхъ отношеніяхъ охота смертная, да участь горькая. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, если они «категоряютъ усю систему» съ компрометирующею отвагою. Шаткость и двусмысленность ихъ положенія сказывается, между прочимъ, въ томъ фактѣ, что они хотѣли бы быть наслѣдниками не только Каткова, но вмѣстѣ съ тѣмъ и Аксакова,—предпріятіе невозможное.

Вотъ и г. Медвѣдскій упрекаетъ меня за то, что я цитировалъ одно мѣсто изъ сочиненій Аксакова, въ которомъ этотъ писатель говоритъ о значеніи свободы печатнаго слова и неудобствахъ ея стѣсненій, и не привелъ другого мѣста, которое гораздо больше нравится ему, г. Медвѣдскому. Странный, по малой мѣрѣ странный упрекъ. Я цитировалъ то, что подтверждало мою мысль, что мнѣ нужно было по ходу моей аргументаціи, и такъ, я полагаю, дѣлаютъ всѣ, да иначе вѣдь цитаты не имѣли бы никакого слысла. Тогда мнѣ было нужно одно, теперь нужно другое — и какъ разъ именно то мѣсто, которое такъ нравится г. Медвѣдскому. Вотъ слова Аксакова: «Мы убѣждены, что ничто не было бы гибельнѣе для того нашего либерализма, который лишь суевѣрно повторяетъ зады западной политической мысли, какъ такой просторъ рѣчи, при которомъ не приходилось бы ему вопить при всякомъ прямомъ возраженіи: «доносъ!», «инсинуація!», уклоняться отъ спора, прятать пустопорожность своей думы за многоточія и важно, между строкъ, намекать, что «сказалъ бы слово, да»...

Эти слова очень характерны для Аксакова, но они получаютъ свое полное значеніе лишь въ связи съ практическимъ выводомъ, изъ нихъ вытекающимъ, да и въ этой цитатѣ уже явственнымъ: слѣдовательно, этому нашему либерализму, суевѣрно повторяющему зады западно-европейской политической мысли, надо предоставить высказаться; въ свободѣ, которой онъ добивается, онъ найдетъ свою погибель, ибо онъ ложь и не устоитъ въ открытой борьбѣ съ истиной. Идеалистъ своего «свѣта съ востока», Аксаковъ безусловно вѣрилъ въ его самостоятельное, такъ сказать, единоличное, никѣмъ и ничѣмъ стороннимъ не вспомоществуемое торжество. Всякая такая сторонняя помощь оскорбляла и стѣсняла его. Само собою разумѣется, что его уваженіе къ свободѣ слова вытекало не только изъ желанія утопить въ ней либерализмъ, суевѣрно повторяющій и т. д. Въ представленіи Аксакова эта свобода входила въ самый составъ того «свѣта съ востока», въ который онъ вѣрилъ. Совсѣмъ независимо отъ какихъ бы то ни было полемиче-

скихъ цѣлей, онъ призывалъ ее и скорбѣлъ по ней и въ публицистическихъ статьяхъ, и въ стихотвореніяхъ, и въ частныхъ письмахъ. И въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, объ Аксаковѣ можно сказать пословицей: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку. И вотъ почему попытка опереться въ этомъ вопросѣ на Каткова и Аксакова единовременно—есть невозможное акробатическое предпріятіе.

XVIII *).

Объ Ибсенѣ, статья первая.

Въ числѣ иностранныхъ писателей, получившихъ у насъ въ послѣднее время большую извѣстность, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ Генрихъ Ибсенъ. Его драмы переводятся, ставятся на сцену, объ немъ говорятъ, пишутъ. Еще болѣе широкою популярностью пользуется онъ въ Западной Европѣ, и не только у себя на родинѣ и въ скандинавскихъ странахъ вообще, а и во Франціи, въ Германіи и, если не ошибаюсь, въ Италіи. Рядомъ съ восторженными отзывами идетъ, разумѣется, и хула, но фактъ во всякомъ случаѣ тотъ, что Ибсенъ представляетъ собою въ настоящее время одинъ изъ самыхъ яркихъ центровъ вниманія образованныхъ людей во всемъ мірѣ, одно изъ немногихъ международныхъ именъ, что-то говорящихъ уму и сердцу такъ называемой большой публики на сѣверѣ и югѣ, на востокѣ и западѣ. Ясно, что какова бы ни была работа Ибсена въ другихъ отношеніяхъ, но ему удалось нащупать какой-то значительный пульсъ жизни. Этому нисколько не противорѣчитъ разнообразіе сужденій объ немъ. Великій-ли онъ писатель, соединяющій колоссальный талантъ съ свѣтлымъ умомъ и горячимъ сердцемъ, какъ думаютъ многіе, или скорѣе психопатъ и едва-ли не шарлатанъ, какъ утверждаетъ, напримѣръ, Максъ Нордау; пролагаетъ-ли онъ своими художественными пріемами новые и при томъ лучшіе пути искусству, или же самъ себѣ мѣшаетъ своимъ символизмомъ,—объ этомъ можно разсуждать и спорить, но къ какому бы рѣшенію мы ни пришли, имъ не будетъ поколебленъ самъ по себѣ фактъ центральности Ибсена, фактъ силы тяготѣнія къ нему общаго вниманія. И разнообразіе сужденій только усугубляетъ интересъ задачи—разобраться въ его писаніяхъ.

Я долженъ признаться, что приступаю къ этой задачѣ далеко

---

*) Ноябрь, 1896.

не въ полномъ вооруженіи. Во-первыхъ, не зная подлинника, легко упустить изъ вида многое, быть можетъ, въ высшей степени характерное для даннаго писателя; а переводы, въ особенности нынѣшніе русскіе переводы, большинство которыхъ отличается ремесленною небрежностью, а подчасъ и просто безграмотностью, часто являются не только не помощью въ этомъ отношеніи, а даже помѣхой. Затѣмъ, для исчерпывающей работы объ Ибсенѣ надлежитъ знать его мѣсто въ родной литературѣ, его предшественниковъ и современниковъ, тѣ корни, изъ которыхъ онъ выросъ, тѣ теченія, которыя имѣли на него вліяніе, и тѣ, которыя въ свою очередь вызваны его дѣятельностью. Ничего этого я не могу предложить читателю. Очень мало знакомъ я и съ литературой *объ Ибсенѣ* Судя по ссылкамъ и цитатамъ, литература эта количественно, а можетъ быть и качественно, довольно значительна. Но изъ всѣхъ сколько-нибудь пристально вглядывавшихся въ Ибсена я знаю только Нордау (глава «Der ibsenismus» во второмъ томѣ «Etartung»), да Горна и Швейцера (Ф. В. Горнъ «Исторія скандинавской литературы отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней». Съ приложеніемъ этюда Ф. Швейцера „Скандинавское творчество новѣйшаго времени». Изданіе К. Т. Солдатенкова). Затѣмъ мнѣ попадались только бѣглыя журнальныя (въ «Артистѣ») и газетныя замѣтки. Неизвѣстны мнѣ также стихотворенія Ибсена и его письма, опубликованныя Брандесомъ. Конечно, если бы я имѣлъ въ виду всесторонне исчерпать предметъ, мнѣ надлежало бы пополнить свой богажъ. Слѣдовало бы, можетъ быть, по крайней мѣрѣ дождаться «вступительной статьи» г. Веселовскаго, обѣщанной къ предпринятому г. Юровскимъ шеститомному изданію Ибсеновыхъ драмъ въ русскомъ переводѣ. Но вотъ уже и третій томъ изданія г. Юровскаго вышелъ, а вступительной статьи г. Веселовскаго все еще нѣтъ, да и обѣщается на обложкѣ этого третьяго тома уже не «вступительная статья», а только «біографическій очеркъ, составленный проф. Алексѣемъ Н. Веселовскимъ». И такъ какъ я не мечтаю объ исчерпывающей работѣ, то позволяю себѣ не дожидаться этого біографическаго очерка и вообще считаю, для предположенной цѣли, достаточнымъ знакомство съ слѣдующими произведеніями самого Ибсена. Привожу списокъ ихъ теперь же съ указаніемъ изданій во избѣжаніе ссылокъ въ теченіи статьи:

«Нора», «Столпы общества», «Привидѣнія» (первый томъ изданія г. Юровскаго); «Союзъ молодежи», «Дикая утка», «Комедія любви» (второй томъ того же изданія); «Сѣверные богатыри», «Праздникъ въ Сольгаугѣ», «Ингеръ изъ Эстрота», «Претенденты на корону» (третій томъ).—«Эдда Габлеръ». Пер. С. Л. Степановой. Изданіе А. А. Алексѣева. М. 1891.—«Эллида». Пер. В. М. Спас-

ской, въ «Артистѣ» 1891 г.—«Докторъ Штокманъ». Пер. Н. Мировичъ, тамъ же.—«Счастливецъ (Строитель Сольнесъ)». Пер. П. Ганзена. Изданіе Я. Бермана. Спб. 1893.—«Маленькій Эйольфъ». Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1895.—«Peer Gyut» и «Brand» въ нѣмецкомъ переводѣ. — «Rosmersholm» и «Empereur et Galiléen» во французскомъ переводѣ.

Нѣсколько словъ о русскихъ переводахъ. Не могу судить объ ихъ точности, близости къ подлиннику, но что касается собственно русскаго языка, то есть переводы по истинѣ непозволительные. Нѣкоторые переводчики, напримѣръ, упорно пишутъ: «что съ того?» и «съ чего ты будешь жить?» вмѣсто «что изъ того?» и «чѣмъ, на какія средства жить». Не говорю уже объ употребленіи родительнаго падежа во фразахъ такого рода: «вы не можете употреблять своего свободнаго времени» (изданіе Юровскаго, т. I, 106); «я не допущу такъ пачкать своего добраго имени» (тамъ же, 141) и т. п. Въ «Столпахъ общества» много разъ поминается «большой свѣтъ» совершенно непонятно въ какомъ смыслѣ. Въ «Союзѣ молодежи» одно изъ дѣйствующихъ лицъ, приглашая собесѣдника изъ парка въ палатку, называетъ почему-то эту палатку «серединой»: «не зайти-ли намъ туда, въ «середину» (24), а другое дѣйствующее лицо называетъ «серединой» столовую (36). Повидимому, «середина» означаетъ тутъ внутренность жилья. Въ «Претендентахъ на корону» находимъ, напримѣръ, такую фразу: «развѣ съ нимъ нѣтъ много воиновъ?» (381) и т. д., и т. д. Къ сожалѣнію, едва-ли не худшимъ изъ переводчиковъ является самъ издатель, г. Юровскій; потому къ сожалѣнію, что не только онъ самъ переводитъ нѣкоторыя драмы, но еще «всѣ переводы, при которыхъ не указаны имена переводчиковъ, редактированы по датскому тексту» имъ же. Бѣда не въ отдѣльныхъ лишь грамматическихъ безобразіяхъ въ родѣ вышеприведенныхъ, а и въ томъ, что чуть не цѣлыя страницы (напримѣръ, въ «Комедіи любви») являются какимъ-то непонятнымъ наборомъ словъ. «Комедія любви» въ подлинникѣ написана стихами, а переведена прозой. Это бы еще не бѣда, но эта проза до крайности плоха. Наоборотъ, «Сѣверные богатыри», написанные въ оригиналѣ прозой, переведены мѣстами какою-то странною, полуритмическою рѣчью. Впрочемъ, что касается грамматики, это одинъ изъ хорошихъ переводовъ.

Свой обзоръ драмъ Ибсена мы начнемъ съ одной изъ самыхъ запутанныхъ—съ «Строителя Сольнеса», и читатель, надѣюсь, не посѣтуетъ за довольно подробное изложеніе ея. Но для опредѣленія границъ анализа этой драмы и задачи предлагаемой статьи вообще, приведу сначала нѣсколько словъ изъ статьи г. Д. М.

«Женскіе типы въ произведеніяхъ Ибсена», напечатанной въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№№ 191 и 209 за 1896 г.):

«Сольнесъ»—одна изъ наименѣе понятныхъ и симпатичныхъ пьесъ Ибсена. Символика въ ней настолько туманна, что изъ лежащихъ передъ нами четырехъ отзывовъ о драмѣ три даютъ различныя объясненія, а четвертый (принадлежащій Сарсэ) отказывается отъ анализа. Главное дѣйствующее лицо въ теченіе трехъ періодовъ своей жизни строитъ сначала церкви и колокольни, потомъ семейные дома, потомъ, наконецъ, воздушные замки на каменномъ основаніи. Являются ли эти три періода символомъ различныхъ эпохъ человѣческой сознательной жизни, или они символизируютъ жизнь генія, или ходъ научно-философскаго развитія—сказать трудно. Мы склонны были бы видѣть въ нихъ автобіографическія черты, указанія на литературную дѣятельность самого Ибсена, провозглашавшаго сначала устами Бранда религіозныя истины и требовавшаго преклоненія передъ долгомъ, затѣмъ попробовавшаго строить семейное счастіе на началахъ истины и разрушенія «жизненной муки», и, наконецъ, убѣдившагося въ томъ, что построенное, повидимому, на такомъ крѣпкомъ основаніи счастье не болѣе, какъ воздушный замокъ, который долженъ рушиться при первой попыткѣ взойти на него. Таковъ дѣйствительно печальный ходъ ибсеновскихъ идей о необходимости правды, разрушенной имъ же самимъ въ «Дикой уткѣ», «Росмерсгольмѣ» и т. д. Но видѣть автобіографію въ «Сольнесѣ» препятствуютъ крайне несимпатичныя черты, которыми обрисовано главное лицо: мегаломанія, завистливость, мелкая разсчетливость и т. п.»

Въ цитатѣ этой затронуты тѣ именно стороны дѣла, которыя насъ занимать не будутъ. Мы не будемъ ломать себѣ головы надъ разгадкой символики Ибсена; не будемъ, напримѣръ, стараться прибавить еще одно объясненіе символовъ «Строителя Сольнеса» къ тѣмъ тремъ или четыремъ, которыя, по словамъ г. Д. М., уже имѣются въ литературѣ; останемся даже въ неизвѣстности относительно этихъ уже имѣющихся объясненій. Равнымъ образомъ оставимъ мы въ сторонѣ и исторію развитія идей Ибсена. Это, безспорно, очень интересная задача. но, по вышеизложеннымъ причинамъ, я не могу за нее взяться. Замѣчу только, что едва-ли правъ г. Д. М., говоря, что Ибсенъ «сначала» провозглашалъ устами Бранда тѣ или другія истины. «Брандъ» появился въ 1866 г. и до него Ибсенъ издалъ шесть большихъ драмъ, въ которыхъ нѣкоторыя основныя черты его міросозерцанія и творчества выразились уже съ полною ясностью. Эти нѣкоторыя черты проходятъ красною нитью черезъ всѣ произведенія Ибсена, и только онѣ и будутъ насъ занимать,

независимо отъ хронологическаго порядка, въ какомъ писались и появлялись въ печати разбираемыя драмы.

Гальвардъ Сольнесъ—архитекторъ, но онъ называется не архитекторомъ, а строителемъ, потому что не получилъ спеціальнаго образованія. Онъ и вообще, повидимому, самоучка, происходитъ изъ крестьянской семьи и когда-то работалъ подъ началомъ у архитектора или, можетъ быть, также строителя Кнуда Бровика. Но въ настоящее время онъ знаменитость, и самъ Кнудъ Бровикъ, и его сынъ, подающій надежды молодой человѣкъ Рагнаръ, работаютъ уже въ свою очередь подъ его началомъ и руководствомъ. Онъ ихъ «растопталъ» въ своемъ счастливомъ шествіи по жизненному пути. Пробился строитель Сольнесъ на свою теперешнюю высоту отчасти, конечно, благодаря своему таланту, а отчасти благодаря случаю, позволившему ему развернуть свой талантъ въ широкихъ размѣрахъ. Жена его получила въ наслѣдство старый родовой домъ, въ которомъ выросла. Это было большое безобразное деревянное зданіе съ большимъ садомъ. Домъ этотъ сгорѣлъ, и на его мѣстѣ, разбивъ садъ на небольшіе участки, Сольнесъ сталъ строить виллы по своему вкусу. Съ этого онъ и пошелъ въ гору. Однако, пожаръ женина дома былъ для него источникомъ и горя. Пожаръ произошелъ въ холодную зимнюю ночь. Жена Сольнеса испугалась и, кромѣ того, простудилась, у нея испортилось молоко, а она непремѣнно хотѣла сама кормить двухъ своихъ малютокъ близнецовъ, и малютки умерли. Съ тѣхъ поръ Алина (жена Сольнеса) не можетъ утѣшиться. Сольнесъ строитъ новый домъ на мѣстѣ стараго, лучше и красивѣе, но это не радуетъ Алину. Она прямо говоритъ мужу: «Сколько бы ты ни строилъ, Гальвардъ, для меня тебѣ никогда не выстроить вновь родного дома».

Но у Алины есть и другіе источники страданія. Не даромъ она—«худощавая, преждевременно увядшая отъ горя женщина» и «говоритъ медленно и какъ-то жалобно». Сольнесъ слабъ (а отчасти, можетъ быть, слѣдуетъ сказать, наоборотъ: «силенъ») по части женскаго пола, и Алина нерѣдко имѣла болѣе или менѣе основательные поводы ревновать мужа. Въ началѣ драмы она ревнуетъ Сольнеса къ Кайѣ Фосли, невѣстѣ Рагнара Бровика, тоже работающей въ конторѣ Сольнеса. Женитьба Рагнара и Кайи рѣшена уже давно, и когда-то, до поступленія на службу къ Сольнесу, Кайя очень любила своего жениха, но съ тѣхъ поръ Сольнесъ («немолодой уже человѣкъ, но крѣпкій и здоровый»), по выраженію Рагнара, «взялъ всю ея душу». Сольнесъ же ведетъ себя съ ней опять недостойнымъ образомъ: ласкаетъ ее, даетъ ей понять, что

до извѣстной степени отвѣчаетъ ея чувствамъ, а между тѣмъ не только къ ней равнодушенъ, но и держитъ ее у себя въ конторѣ по совершенно стороннимъ и при томъ недоброкачественнымъ соображеніямъ. И Рагнаръ, и его отецъ Кнудъ Бровикъ—способные и свѣдущіе люди, каждый въ своемъ родѣ; они нужны Сольнесу, и онъ боится, что, женившись на Кайѣ Рагнеръ уйдетъ отъ него и начнетъ самостоятельное дѣло. Мало того, Сальнесъ боится конкурренціи Рагнара, вообще боится конкурренціи: «Тотъ-ли, другой-ли—говоритъ онъ—явится сюда и потребуетъ: уступи мнѣ дорогу! А за нимъ нахлынетъ цѣлая толпа съ криками, съ воплями: дорогу! дорогу! мѣсто намъ!.. Тогда конецъ строителю Сольнесу». Поэтому-то Сольнесъ и ведетъ двусмысленную политику съ Кайей, а кромѣ того самымъ жестокимъ образомъ отказывается сдѣлать одобрительную надпись на самостоятельныхъ чертежахъ и смѣтахъ Рагнара. Въ концѣ концовъ онъ, хотя и поздно, дѣлаетъ, однако, эту надпись, благодаря требованію новаго дѣйствующаго лица, Гильды Вангель.

Десять лѣтъ тому назадъ Сольнесъ строилъ въ чужомъ городѣ церковь съ высокой башней. Въ торжественный день окончанія постройки онъ взобрался по неубраннымъ еще лѣсамъ на самую вершину башни и повѣсилъ на шпицъ вѣнокъ. Въ числѣ зрителей была 12—13-лѣтняя дѣвочка Гильда Вангель. Она поразилась видомъ строителя на вершинѣ башни, пріукрасила его своей дѣтской фантазіей и до мельчайшихъ подробностей запомнила все, что происходило въ этотъ день. А происходило, между прочимъ, вотъ что. Послѣ окончанія церемоніи Сольнесъ былъ у отца Гильды, окружного врача Вангеля (дѣвочка Гильда, дочь окружного врача Вангеля, фигурируетъ и въ «Эллидѣ»), сказалъ ей, что она «прелестна въ бѣломъ платьѣ, похожа на маленькую принцессу», поцѣловалъ ее и обѣщалъ черезъ десять лѣтъ похитить ее и купить ей королевство «Апельсинію». Все это Гильда запомнила, и вотъ ровно черезъ десять лѣтъ, изъ числа въ число (19 сентября), сама является къ Сольнесу и требуетъ обѣщаннаго королевства; но уже не шуточной «Апельсиніи» и не настоящаго какого-нибудь королевства: «вѣдь — говоритъ она, — нѣтъ нужды, чтобы это было непремѣнно настоящее обыкновенное королевство». Подъ королевствомъ Гильда, теперь уже 22—23-лѣтняя дѣвушка, разумѣетъ любовь Сольнеса, но того или такого Сольнеса, какого она видѣла десять лѣтъ тому назадъ, въ ореолѣ славы, высоко надъ толпой, на вершинѣ созданной имъ церковной башни. Но Сольнесъ уже не тотъ. Онъ уже давно не строитъ ни церковныхъ башенъ, ни церквей, онъ строитъ только «дома, семейные очаги для людей». Онъ напуганъ жизнью, напуганъ, если хотите, своимъ счастьемъ въ смыслѣ удачливости и

боится «возмездія» за него. «Возмездія» этого онъ ждетъ отъ «юности», которая затретъ его, и въ лицѣ Рагнара Бровика является уже въ видѣ осязательнаго образа. Но когда «юность постучалась въ дверь» въ лицѣ Гильды Вангель — союзницы и восторженной поклонницы, Сольнесъ пріободрился: «юность противъ юности!» Однако, именно Гильда и оказывается причиною его гибели. Восторженная дѣвушка требуетъ отъ него подвиговъ во имя того же обѣщанія купить ей королевство. Она говоритъ ему и колкости: «Мой замокъ долженъ лежать высоко, высоко. И на полномъ просторѣ. Чтобы можно было видѣть далеко, далеко вокругъ... А на самомъ верху башни балконъ... Тамъ, на этой высотѣ хочу я стоять и смотрѣть внизъ на тѣхъ... кто строитъ дома, семейные очаги для папаши съ мамашей и дѣтокъ». И если Сольнесъ не строитъ уже больше ни церквей, ни башенъ, а только дома, то не можетъ-ли онъ, по крайней мѣрѣ, строить что-нибудь «въ родѣ башенъ на домахъ», «нѣчто такое, что бы такъ же свободно стремилось въ высь; съ флюгеромъ на захватывающей духъ высотѣ». Какъ разъ въ день этого разговора, вечеромъ оканчивается постройка новаго дома Сольнеса, украшеннаго высокой башней. Гильда въ восторгѣ и требуетъ, чтобы Сольнесъ, какъ десять лѣтъ тому назадъ, взобрался по лѣсамъ на эту башню и собственноручно повѣсилъ вѣнокъ на шпицъ. Сольнесъ колеблется, но въ концѣ концовъ исполняетъ требованіе и—падаетъ съ высоты, разбивается на смерть.

Таковъ голый остовъ «Строителя Сольнеса». Мы сейчасъ обратимся къ нѣкоторымъ психологическимъ подробностямъ, одухотворяющимъ его, вносящимъ въ него жизнь и смыслъ. Но сначала нѣсколько мелкихъ замѣчаній объ этомъ остовѣ въ связи съ нѣкоторыми другими произведеніями Ибсена.

Когда Сольнесъ и Гильда вспоминаютъ то, что происходило десять лѣтъ тому назадъ, Сольнесъ говоритъ о своемъ подъемѣ на церковную башню: «*такая у меня была привычка въ тѣ времена*, это вѣдь старый обычай». Изъ этого слѣдуетъ, что онъ всегда взбирался на вершины своихъ построекъ. Между тѣмъ дальше оказывается, что онъ сдѣлалъ это всего одинъ разъ въ жизни: «я никогда не могъ свободно входить на вершину, но въ тотъ день я взошелъ»; въ тотъ день онъ совершилъ «невозможное». И Рагнаръ Бровикъ свидѣтельствуетъ, что это былъ «единственный» разъ, вызвавшій въ свое время много разговоровъ. И Алина, уговаривая мужа не лѣзть на башню, замѣчаетъ: «ты не можешь даже стоять тутъ на балконѣ, во второмъ этажѣ; и всегда ты такимъ былъ». Словомъ, никогда у Сольнеса не было той «привычки», о которой онъ говоритъ Гильдѣ. Но это не ложь Сольнеса, — его слова о «привычкѣ» не играютъ никакой роли въ драмѣ, — это

просто авторскій недосмотръ, свидѣтельствующій о крайней торопливости творчества.

Торопливость эта сказывается почти во всѣхъ драмахъ Ибсена, и не только подобными мелкими недосмотрами, а и въ самой обработкѣ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и въ постановкѣ ихъ взаимныхъ отношеній. Вмѣстѣ съ авторомъ торопятся и дѣйствующія лица. 19-го сентября Сольнесъ обѣщалъ маленькой Гильдѣ черезъ десять лѣтъ явиться къ ней и подарить королевство. Если она такъ или иначе вѣрила въ это обѣщаніе, то ей, повидимому, надлежало черезъ десять лѣтъ 19-го сентября сидѣть дома и ждать. А между тѣмъ она 19-го сентября уже сама явилась къ Сольнесу, да еще послѣ какого-то путешествія, и все-таки упрекаетъ строителя: «десять лѣтъ минули, а вы не явились, какъ обѣщали мнѣ». Барышня, очевидно, очень нетерпѣлива. Далѣе, первое дѣйствіе «Строителя Сольнеса» происходитъ вечеромъ (горятъ лампы), время второго дѣйствія указано въ ремаркѣ—«около полудня», а въ тотъ же день вечеромъ драма оканчивается драгическою смертью Сольнеса. И это не случайность, не особенность именно «Строителя Сольнеса». Въ большинствѣ драмъ Ибсена—два, три дня, и наступаетъ предположенный авторомъ конецъ, при чемъ съ дѣйствующими лицами происходятъ коренные нравственные перевороты (напримѣръ, съ Гюнтеромъ въ «Норѣ», не говоря уже о самой Норѣ, съ Фалькомъ въ «Комедіи любви», съ Маргитъ въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ» и проч.), разрѣшаются недоразумѣнія, длившіяся цѣлые годы («Сѣверные богатыри», «Росмерсгольмъ», «Дикая утка», «Эллида» и т. д.) и вообще происходитъ столько чрезвычайныхъ событій, сколько ихъ въ жизни едва ли когда-нибудь бываетъ въ такое короткое время. Такая непомѣрная быстрота дѣйствія достигается искусственною подтасовскою фактовъ, событія происходятъ, такъ сказать, по щучьему велѣнью, по авторскому прошенью. Такъ, въ «Строителѣ Сольнесѣ» Гильда является какъ разъ наканунѣ окончанія постройки дома Сольнеса или, вѣрнѣе, авторъ постарался окончить постройку къ появленію Гильды. Иногда эта наивная торопливость автора и дѣйствующихъ лицъ производитъ рѣзко антихудожественное впечатлѣніе. Такъ, въ «Эддѣ Габлеръ» Левборгъ, появляясь въ гостиной Тесмана, по истинѣ ни съ того, ни съ сего вытаскиваетъ изъ кармана рукопись своей книги. Но автору хочется поскорѣе заявить читателямъ или зрителямъ о существованіи этой рукописи, играющей столь роковую роль въ драмѣ, и онъ не стѣсняется. Еще меньше стѣсняется онъ позже, когда рукопись уже сожжена и Левборгъ застрѣлился. Только что пришло извѣстіе о неожиданной смерти Левборга. Этимъ, конечно, должна быть особенно поражена безумно влюбленная въ него г-жа Эльфштедъ, дама

вообще чрезвычайно нѣжная и чувствительная. Она и поражена, и тѣмъ не менѣе тутъ же, сію же минуту, среди всеобщаго смятенія принимается разбирать вмѣстѣ съ Тесманомъ черновые наброски погибшей рукописи Левборга, каковые наброски необыкновенно кстати оказываются у нея въ карманѣ...

Нѣкоторыя другія наивности творчества Ибсена мы еще увидимъ. А теперь замѣтимъ, что въ искусственно быстромъ потокѣ событій въ драмахъ Ибсена характеры дѣйствующихъ лицъ не успѣваютъ сложиться въ законченныя типическія фигуры. Лица вводныя, побочныя, стоящія болѣе или менѣе въ сторонѣ отъ водоворота (именно водоворота!) событій, часто очень удаются Ибсену. Таковъ, напримѣръ, трогательный образъ доктора Ранка въ «Норѣ». комическая фигура Гильмара въ «Столпахъ общества», Гейре въ «Союзѣ молодежи», Лингстранъ въ «Эллидѣ». Но не на нихъ сосредоточивается вниманіе читателя или зрителя и не ими, главнымъ образомъ, занятъ авторъ. Это просто такъ, мимоходящіе люди. Что же касается центральныхъ фигуръ въ драмахъ Ибсена, то между ними нѣтъ ни одной, которая по яркости и законченности могла бы выдержать хоть какое-нибудь сравненіе съ Гамлетомъ или Отелло, Фаустомъ или Вагнеромъ, Орлеанскою дѣвой или маркизомъ Позой. Тартюфомъ или Донъ-Жуаномъ. Именно главныя дѣйствующія лица Ибсена, какъ художественные образы, страдаютъ какою-то блѣдною немочью, окутаны какимъ-то загадочнымъ туманомъ, не смотря на то, что нужныя автору черты подчеркиваются въ нихъ часто съ чрезмѣрною и потому опять-таки анти-художественною рѣзкостью. Герои Ибсена часто говорятъ о своихъ стремленіяхъ, намѣреніяхъ. планахъ, говорятъ чрезвычайно горячо и, повидимому, убѣжденно, но, за малыми исключеніями, васъ поражаетъ крайняя неопредѣленность, туманность ихъ выраженій. Особенно часто говорятъ они о своемъ стремленіи «въ высь» или «на просторъ», и эта высь или этотъ просторъ символизируются то моремъ, какъ, напримѣръ, въ «Эллидѣ», то горами, какъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ», то высокими башнями, какъ въ «Строителѣ Сольнесѣ» и т. п. При этомъ символъ слишкомъ, если можно такъ выразиться, капризно, не мотивированно то вплотную сливается съ реальнымъ образомъ или картиною, то рѣзко отъ нихъ отдѣляется. Строитель Сольнесъ самымъ реальнымъ образомъ лѣзетъ на башню и, падая съ нея, разбивается: «Между деревьями мелькаютъ летящіе съ высоты обломки досокъ и человѣческое тѣло, г-жа Сольнесъ шатается и падаетъ навзничь на руки дамъ; толпа на улицѣ ломаетъ изгородь и врывается въ садъ; докторъ спѣшитъ туда же». А между тѣмъ вся бесѣда Сольнеса съ Гильдой, вызвавшая эту катастрофу, всѣ эти разговоры о высокихъ башняхъ, замкахъ, «воздушныхъ замкахъ», «воздушныхъ

замкахъ на каменномъ фундаментѣ» — имѣетъ исключительно символическій характеръ. Внѣ этого символизма предпріятіе Сольнеса влѣзть по лѣсамъ на башню есть простая нелѣпость: не въ томъ же состоитъ достоинство художника архитектора, чтобы уподобиться кровельщику или матросу и не страдать головокруженіемъ на огромной высотѣ. Но не только восторженная Гильда, для которой странный подвигъ строителя Сольнеса имѣетъ особенное, чисто личное значеніе, а и Рагнаръ Бровикъ и нѣкоторые другіе зрители видятъ въ попыткѣ Сольнеса дѣйствительно подвигъ архитектора. «Онъ не смѣетъ подняться на свой собственный домъ», — злобно говоритъ Рагнаръ,—«онъ не дойдетъ и до полпути, какъ у него все завертится въ глазахъ; придется ему сползать оттуда на четвереньках!» А когда Сольнесъ все-таки взобрался, Рагнаръ замѣчаетъ: «Такъ все-таки у него хватило силы!» Въ «Перѣ Гинтѣ», повидимому, навѣянномъ второю частью Гетевскаго «Фауста», символизмъ достигаетъ чудовищныхъ размѣровъ; но это было бы все-таки удобнѣе, чѣмъ незаконная помѣсь символизма съ реализмомъ, если бы не множество заимствованій изъ мало извѣстныхъ за предѣлами Норвегіи повѣрій и легендъ. По словамъ нѣмецкаго переводчика, самъ Ибсенъ видитъ въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ этого «драматическаго стихотворенія» (не драмы) символическое изображеніе норвежскаго народа.

Туманности героевъ Ибсена способствуетъ еще его тяготѣніе къ таинственнымъ, необъяснимымъ или еще недостаточно объясненнымъ явленіямъ. Сольнесъ вѣритъ въ существованіе «исключительныхъ, избранныхъ натуръ, которымъ дана власть и способность пожелать, захотѣть чего-нибудь такъ упорно, такъ непреклонно, что оно дается имъ наконецъ». Онъ самъ принадлежитъ къ числу такихъ избранныхъ натуръ и имѣетъ къ тому вѣскія доказательства. Вотъ какъ онъ разсказываетъ доктору Гердалю объ отношеніяхъ къ нему Кайи Фосли. Мы видѣли, что изъ ревности и страха конкурренціи онъ не хочетъ, чтобы Рагнаръ Бровикъ началъ самостоятельное дѣло, и желаетъ держать его, въ качествѣ помощника, при себѣ. Однажды, въ его присутствіи, къ Рагнару пришла невѣста, Кайя, которой Сольнесъ до тѣхъ поръ совсѣмъ не зналъ. И вотъ,—разсказываетъ Сольнесъ,—«увидѣлъ я тутъ, какъ эти двое льнутъ другъ къ другу, и явись у меня мысль: вотъ если бы заполучить ко мнѣ въ контору ее, тогда и Рагнаръ усидѣлъ бы, пожалуй... Но я и не заикнулся объ этомъ. Я только такъ стоялъ, смотрѣлъ на нее и *думалъ* и *желалъ отъ души* имѣть ее у себя на службѣ. Потомъ я перекинулся съ ней парой, другой дружескихъ словъ о томъ, о семъ... И затѣмъ она ушла». А на другой день пришла, какъ будто бы у нихъ уже былъ разговоръ объ томъ, объ чемъ *только думалъ* Сольнесъ, и

прямо спросила, въ чемъ будутъ состоять ея занятія въ его конторѣ. «Я замѣчаю, — продолжаетъ строитель,—что она чувствуетъ, если я смотрю на нее сзади; вся дрожитъ и трепещетъ, какъ только я подхожу къ ней».

Не безъ этого таинственнаго элемента обходится и исторія съ Гильдой. Но въ обоихъ этихъ случаяхъ, принимая въ соображеніе намеки доктора Гердаля на нѣкоторыя другія любовныя приключенія Сольнеса («я знаю,—говоритъ Гердаль, – что вы на своемъ вѣку имѣли дѣло со многими женщинами»), слѣдуетъ, можетъ быть, видѣть варіанты того факта, что Сольнесъ вообще производитъ сильное впечатлѣніе на женщинъ. Однако, не только въ этого рода дѣлахъ сказывается «исключительность, избранность» его натуры. Не спроста сгорѣлъ и домъ жены Сольнеса. Строитель не то, чтобы прямо желалъ этого пожара, но часто думалъ объ томъ, что хорошо бы было, если бы домъ сгорѣлъ, и онъ могъ бы строить на его мѣстѣ небольшіе дома по своему вкусу и тѣмъ выдвинуться, какъ архитекторъ. Онъ даже намѣтилъ трещину въ дымовой трубѣ, объ которой никто, кромѣ него, не зналъ и которая могла стать причиною пожара. Онъ смаковалъ картину пожара и хотя подумывалъ велѣть исправить трубу, но—говоритъ онъ – «каждый разъ, какъ я хотѣлъ заняться этимъ, какъ будто кто толкалъ меня подъ руку». Пожаръ произошелъ отъ совсѣмъ другой причины и даже не въ той сторонѣ начался, но все-таки исполнилось тайное упорное желаніе Сольнеса, и онъ построилъ на мѣстѣ сгорѣвшаго дома что хотѣлъ, и прославился. Сольнесъ готовъ вѣрить, что ему помогаютъ духи. «А кто вызвалъ ихъ? я! И они пришли и подчинились моей волѣ».

Смерть «маленькаго Эйольфа» въ драмѣ того-же названія есть тоже результатъ таинственныхъ, магическихъ причинъ. Болѣзненный, слабый, хромой, но бодрый духомъ, бойкій мальчикъ утонулъ. Читателю предлагаются два объясненія этого несчастія на выборъ, но можно принять и оба одновременно. Въ домъ родителей Эйольфа является старуха, «баба-крысоловка», странное, почти страшное созданіе. Она предлагаетъ свои услуги, въ которыхъ, однако, не оказывается надобности. Она занимается истребленіемъ крысъ и мышей. Дѣлаетъ она это съ помощью своей собачки, моськи, и именно слѣдующимъ образомъ: она привязываетъ къ ошейнику моськи веревочку и обводитъ ее три раза по всему дому, а сама въ это время играетъ на лютнѣ; крысы и мыши вылѣзаютъ изъ норъ; старуха садится въ лодку и, продолжая играть на лютнѣ, гребетъ къ глубокому мѣсту; моська плыветъ сзади, а слѣдомъ за ней, влекомыя таинственною силой, плывутъ крысы и мыши и, наконецъ, тонутъ. Такъ разсказываетъ сама «крысоловка» и при-

бавляетъ, что когда-то она умѣла и безъ моськи обходиться и приманивать мужчинъ, «одного въ особенности», своего «милаго дружка», который теперь лежитъ «тамъ, на глубинѣ, подъ водой, вмѣстѣ съ крысами». Появленіе старухи, ея разсказъ, видъ, манера говорить — производятъ на всѣхъ тяжелое впечатлѣніе, въ особенности на маленькаго Эйольфа. Старуха приглашаетъ его подойти поближе къ собачкѣ, выглядывающей изъ мѣшка. Происходитъ такая сцена:

Баба-крысоловка (киваетъ и подмигиваетъ Эйольфу). Подойдите поближе, не бойтесь, мой маленькій раненый воинъ. Она не кусается. Подходите, подходите!

Эйольфъ (цѣпляется за платье Асты). Нѣтъ, я ни за что не рѣшусь.

Баба-крысоловка. Ну, полно, мой маленькій баринъ! Собачка, право добрая и хорошенькая такая!

Эйольфъ (недовѣрчиво показывая на нее пальцемъ). Это она-то добрая?

Баба-крысоловка. Ну да, конечно.

Эйольфъ (вполголоса, не сводя глазъ съ собачки). Я никогда не видывалъ такого страшилища.

Баба-крысоловка (закрывая мѣшокъ). О, потомъ сами таки придете, придете.

Эйольфъ (подходя *противъ воли* и поглаживая мѣшокъ). А вѣдь правда она чудо, чудо какая прелесть!

Тотчасъ послѣ ухода бабы-крысоловки, Эйольфъ «незамѣтно исчезаетъ» въ ту же дверь, въ которую и она вышла. Приходитъ Борхгеймъ и затѣмъ уходитъ вмѣстѣ съ Астой. Родители Эйольфа, супруги Альмерсы, остаются одни. Между ними завязывается разговоръ, среди котораго страстная и ревнивая Рита въ безумномъ порывѣ выражаетъ, между прочимъ, желаніе, чтобы ихъ сына Эйольфа, отвлекающаго часть любви Альмерса,—«не было». И вслѣдъ затѣмъ—во исполненіе ли желанія Риты, какъ исполняются желанія строителя Сольнеса, или же подъ магическимъ вліяніемъ бабы-крысоловки съ ея моськой, или, наконецъ, по совокупности этихъ обстоятельствъ—маленькій Эйольфъ утонулъ...

Въ драмѣ «Эллида», въ конецъ испорченной капризнымъ то совпаденіемъ, то раздвоеніемъ символизма и реализма, героиня находится подъ вліяніемъ очень сложныхъ чаръ—символическаго моря, реальнаго моря и, наконецъ, «незнакомца», который называется и незнакомцемъ, и Фриманомъ, и Альфредомъ Джонстономъ. Этотъ человѣкъ имѣетъ надъ Эллидой страшную власть, которую ея мужъ, *врачъ* Вангель, считаетъ «необъяснимою», «во всякомъ случаѣ необъяснимою въ настоящее время». На вопросъ «вѣритъ-ли онъ подобнымъ вещамъ?» онъ отвѣчаетъ: «я не вѣрю имъ, но и не отрицаю ихъ; я просто не знаю; поэтому я и не пытаюсь объяснять ихъ».

Итакъ, чрезмѣрная быстрота дѣйствія въ связи съ искусственною подгонкою фактовъ; неопредѣленность стремленій, плановъ, цѣлей героевъ; символизмъ, при томъ символизмъ невыдержанный, незаконно переплетающійся съ реализмомъ; тяготѣніе къ таинственному, необъяснимому, — таковы нѣкоторыя изъ чертъ творчества Ибсена, затрудняющихъ пониманіе самой сути, живого зерна его драмъ. Но зерно это все-таки открыть можно.

Обратимся опять къ «Строителю Сольнесу». Въ русскомъ переводѣ драма эта имѣетъ еще другое заглавіе: «Счастливецъ». И, дѣйствительно, строитель Сольнесъ, повидимому, вполнѣ «счастливецъ»: такъ ему везетъ въ жизни, такъ неукоснительно исполняются всѣ его желанія. Однако, онъ трепетно ждетъ «возмездія» за свое счастье, да ужъ и несетъ его въ своей источенной угрызеніями совѣсти. Успѣхи свои онъ приписываетъ своей «избранности», «исключительности» своей натуры и, какъ мы видѣли, готовъ вѣрить, что ему повинуются «духи», что среди нихъ онъ имѣетъ усердныхъ «помощниковъ и слугъ». Онъ, молча, пожелалъ, чтобы Кайя Фосли стала служить у него въ конторѣ,—и она служитъ, но это произошло въ ущербъ интересамъ Рагнара Бровика и его старика-отца. Онъ пожелалъ, чтобы домъ его жены сгорѣлъ,—и домъ сгорѣлъ, но изъ за этого умерли его малютки и осталась навсегда неутѣшною жена. «У нея вѣдь тоже было свое призваніе въ жизни», съ горечью говоритъ Сольнесъ,—призваніе ростить и воспитывать дѣтей. «Но ея призванію суждено было быть уничтоженнымъ, исковерканнымъ, разбитымъ въ дребезги... чтобы мое могло утвердиться и восторжествовать». Это только то, что открывается въ дѣйствіи, а въ драмѣ есть намеки, что строитель Сольнесъ и другихъ, «и многихъ» «обогналъ» или «растопталъ» въ своемъ побѣдномъ шествіи къ славѣ и богатству. И онъ исповѣдуется передъ Гильдой: «Все, что мнѣ удалось сдѣлать, построить, создать красиваго, прочнаго, уютнаго, величаваго, — все это я долженъ постоянно выкупать... платить за все... не деньгами, а человѣческимъ счастьемъ. И не однимъ своимъ собственнымъ счастьемъ, а и чужимъ... Вотъ чего стоило мое мѣсто, какъ художника, мнѣ самому и другимъ. И я день за днемъ принужденъ смотрѣть, какъ и другіе расплачиваются за меня». И далѣе: «Такъ вотъ что добрые люди зовутъ счастьемъ. Но я скажу вамъ, какъ отзывается это счастье! Какъ большая обнаженная рана тутъ вотъ, на груди! А эти помощники и слуги сдираютъ кусочки кожи съ другихъ людей, чтобы заживить мою рану. Но ея не заживить! Никогда, никогда. Ахъ, если бы вы знали, какъ она иногда горитъ и ноетъ!»

Слушая эти жалобныя покаянныя рѣчи, Гильда приходитъ къ заключенію, что строитель Сольнесъ душевно боленъ. Не то чтобы

у него разумъ былъ не въ порядкѣ, а онъ «родился на свѣтъ съ слишкомъ хилой совѣстью». «Ваша совѣсть—говоритъ она—черезчуръ ужъ немощна... Этакъ тщедушна, неустойчива, неспособна взвалить на себя что-нибудь потяжелѣе». А вотъ у нея, Гильды, совѣсть, напротивъ, «коренастая», и такъ и должно быть. Хорошо «имѣть настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли!» Между ними завязывается разговоръ о древнихъ сагахъ и викингахъ, «которые отплывали на корабляхъ въ чужія страны, грабили, жгли и убивали людей, похищали женщинъ». «Вотъ у этихъ-то молодцовъ была коренастая совѣсть,—замѣчаетъ Сольнесъ: пріѣзжали домой, пили, ѣли и веселились, какъ малые ребята. А женщины - то! Онѣ зачастую и не желали вовсе разставаться съ ними. Можете вы понять этихъ женщинъ, Гильда?»— «Ихъ я отлично могу понять», отвѣчаетъ дѣвушка.

Гильда, однако, немножко рано хвалится своею «коренастою» совѣстью. Она понимаетъ, что счастливый исходъ ея любви къ Сольнесу долженъ нанести новый ущербъ и безъ того уже несчастной Алинѣ (женѣ Сольнеса). Она и готова бы на это, но, поговоривъ съ Алиной, узнавъ ее поближе, отступаетъ: «*Не могу* я сдѣлать зло тому, кого я знаю! Не могу я посягнуть на ея собственность... Будь это не она, а кто-нибудь другой, незнакомый, — пожалуй». Однако, она все-таки колеблется: «Глупа, что не смѣешь схватиться за свое собственное счастье. За счастье всей жизни! И потому лишь, что тутъ замѣшался человѣкъ, котораго знаешь... А что—не имѣешь-ли права, въ сущности?» Неизвѣстно, чѣмъ кончились бы эти колебанія дѣвушки, если бы судьба не спустила занавѣсъ трагическою смертью Сольнеса. Надо замѣтить, что Гильда узнала Алину съ совершенно неожиданной (какъ для себя, такъ и для читателя) стороны. Оказывается, что эта странная женщина совсѣмъ не о погибшихъ дѣтяхъ тоскуетъ. На вопросъ Гильды о дѣтяхъ она отвѣчаетъ: «Ахъ да, это. Вотъ видите-ли, это дѣло совсѣмъ особаго рода. Такъ было назначено свыше, и передъ этимъ надо преклониться... И еще благодарить». И далѣе: «За нихъ (малютокъ) надо только радоваться. Имъ вѣдь такъ хорошо теперь. Нѣтъ, вотъ маленькія потери... онѣ вотъ надрываютъ сердце... Разныя мелочи, которыя другимъ кажутся пустяками... Сгорѣли всѣ старые портреты, всѣ старыя шелковыя платья, которыя хранились испоконъ вѣка, мамашины и бабушкины кружева, всѣ драгоцѣнности. И всѣ куклы...» О куклахъ Алина говоритъ «глухо» и «глотая слезы». У нея было девять чудныхъ куколъ, которыми она втихомолку отъ мужа занималась до самаго ихъ исчезновенія, значитъ, будучи уже и матерью... Эта даже слишкомъ подчеркнутая ничтожность Алины не мѣшаетъ, однако, работѣ совѣсти подняться въ душѣ Гильды.

Но и Алинѣ не чужда работа совѣсти. Она говоритъ: «На мнѣ вѣдь лежали серьезныя обязанности жены и матери. Я должна была крѣпиться. Не должна была такъ поддаваться страху и горю о потерѣ родного дома (*ломаетъ руки*). О, если бы я не была такъ малодушна!» Она «никогда не проститъ себѣ самой» и, должно быть, въ искупленіе своего грѣха накладываетъ на себя нравственныя вериги, состоящія изъ множества мелкихъ цѣпей. Она до комической надоѣдливости часто, по поводу всякихъ пустяковъ, толкуетъ о «долгѣ»: «это мой долгъ», «это только простой долгъ» и т. п., и только разъ: «конечно, собственно говоря, это моя обязанность, но когда обязанности тянутъ тебя во всѣ стороны заразъ, то...»

Совѣсть—вотъ центръ драмы «Строитель Сольнесъ», ея въ нѣкоторомъ родѣ главное дѣйствующее лицо или, по крайней мѣрѣ, та реальная пружина драмы, передъ силой и значеніемъ которой меркнутъ и вѣра Сольнеса въ свою «избранность», и символическія «высокія башни», «замки» и «воздушные замки», и всѣ недодѣланныя или передѣланныя фигуры дѣйствующихъ лицъ. Мы окончательно, я надѣюсь, убѣдимся въ этомъ, пересмотрѣвъ нѣкоторыя другія драмы Ибсена, въ которыхъ работа совѣсти иначе возникаетъ, иначе развивается и приводитъ къ иному концу. Но прежде отмѣтимъ еще другую, столь же реальную, но въ извѣстномъ смыслѣ противоположную пружину Ибсеновыхъ драмъ, едва дающую себя знать въ «Строителѣ Сольнесѣ». Для этого обратимся къ тѣмъ древнимъ скандинавскимъ викингамъ, о которыхъ Сольнесъ говоритъ, что у нихъ была «коренастая совѣсть», которые «отплывали на корабляхъ въ чужія страны, грабили, жгли и убивали людей и похищали женщинъ, а потомъ пріѣзжали домой, пили, ѣли и веселились, какъ малые ребята». Ихъ изображенію посвящена драма «Сѣверные богатыри».

Дѣйствіе происходитъ въ X вѣкѣ, въ сѣверной Норвегіи. Орнульфъ съ фіордовъ, «исландскій вождь», прибылъ изъ Исландіи въ Норвегію съ цѣлью возстановить свою оскорбленную честь. Пять лѣтъ тому назадъ викинги Сигурдъ и Гуннаръ похитили первый родную дочь Орнульфа—Дагни, второй пріемную дочь – Іордисъ. Орнульфъ пріѣхалъ требовать у похитителей или выкупа, или же «честнаго боя». Съ Сигурдомъ дѣло кончается скоро и просто: онъ съ перваго же слова соглашается уплатить назначенную Орнульфомъ сумму, и тотъ объявляетъ Дагни, что отнынѣ ей «оказанъ будетъ такой же почетъ, какъ если бы она была законно отдана съ согласія родныхъ». Не такъ легко налаживается дѣло съ Гуннаромъ или, собственно говоря, не съ нимъ, а съ его женой, Іордисъ, дочерью Іокула, убитаго «въ честномъ бою» Орнульфомъ,

который потомъ, не зная, впрочемъ, сначала ея происхожденія, усыновилъ ее. Іордисъ, гордая и властная, претендуетъ на то, что Орнульфъ явился въ ихъ страну вооруженный, съ дружиною: по ея мнѣнію, безчестно при такихъ обстоятельствахъ согласиться на его требованіе; другое дѣло, если бы онъ пришелъ мирно. Между Орнульфомъ и Іордисъ возгарается споръ, въ которомъ слова «честь» и «безчестіе» съ той и другой стороны летятъ въ изобиліи и производятъ эффектъ отравленныхъ стрѣлъ. Такъ, напримѣръ, Іордисъ говоритъ: «то было не оскорбленіе, а честь для тебя, когда ты усыновилъ дочь Іокула». Орнульфъ: «Похищенная жена, по закону, не болѣе какъ наложница. Если ты хочешь возстановить поруганную честь твою»... Іордисъ перебиваетъ: «Нѣтъ, Орнульфъ, мнѣ лучше знать, какъ поступить. Если я не болѣе, какъ наложница Гуннара, онъ новымъ подвигомъ долженъ возвратить мнѣ честь, и подвигомъ такимъ, чтобы его слава искупила позоръ мой». На пиру у Гуннара (2-ое дѣйствіе) идетъ такая же перестрѣлка «честью» и «безчестьемъ» и оканчивается убійствомъ сына Орнульфа, Торольфа, а затѣмъ приходитъ извѣстіе о смерти и остальныхъ его сыновей. Орнульфъ не только воинъ, а и скальдъ, и потому «чествуетъ» погибшихъ сыновей вдохновенной пѣснью. Но главный узелъ и интересъ драмы не въ Орнульфѣ или его дѣтяхъ, а въ Сигурдѣ и Дагни, Гуннарѣ и Іордисъ. Оба эти супружества представляютъ результатъ роковой ошибки, страннаго недоразумѣнія, какія часто встрѣчаются у Ибсена. Сигурдъ и Гуннаръ — боевые товарищи и друзья, но это совсѣмъ разные люди. Гуннаръ—храбрый и «честный» воинъ, но онъ болѣе склоненъ къ мирнымъ занятіямъ, ходилъ, напримѣръ, съ торговыми цѣлями въ Біармію и т. п. Сигурдъ же есть настоящій типическій викингъ, для котораго война и военная слава исчерпываютъ весь смыслъ жизни. Когда они пріѣхали въ Исландію, то обоимъ имъ приглянулась гордая, властная, страстная Іордисъ. Однажды Сигурдъ публично изложилъ свой идеалъ женщины: «Воину нужна жена съ высокимъ духомъ. Та, которую я изберу, не удовольствуется смиренной долей. Къ величію, къ почестямъ она должна стремиться; охотно въ поле бранное идти со мной, носить броню и панцырь, побуждать меня къ великимъ подвигамъ, и дрогнуть не должна, какъ засверкаютъ мечи въ кровавой битвѣ. А малодушная жена не много чести мнѣ принесетъ». Въ другой разъ, на пиру, Іордисъ тоже публично заявила, что мужемъ ея будетъ лишь тотъ, кто убьетъ огромнаго и злого бѣлаго медвѣдя, стоящаго на стражѣ ея спальни, и унесетъ ее въ своихъ объятіяхъ. Задавая присутствующимъ этотъ подвигъ, Іордисъ въ тайнѣ надѣется, что его совершитъ Сигурдъ. Онъ его дѣйствительно и совершаетъ, но, полагая, что Іордисъ любитъ не

его, а Гуннара, и изъ дружбы къ Гуннару, онъ уступаетъ послѣднему славу подвига, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Іордисъ. Дѣло происходило ночью, и Іордисъ осталась въ убѣжденіи, что убилъ бѣлаго медвѣдя и похитилъ ее Гуннаръ, съ которымъ она и уѣхала, а Сигурдъ увезъ кроткую, слабую Дагни. Прошло пять лѣтъ. Сигурдъ, проведшій ихъ въ военныхъ подвигахъ, все еще хранитъ въ своемъ сердцѣ образъ Іордисъ, хотя и привыкъ къ Дагни и «научился цѣнить ее». Іордисъ провела эти годы печально, такъ какъ ея вкусамъ не соотвѣтствуютъ мирныя наклонности Гуннара, но тѣмъ съ большею гордостью вспоминаетъ она, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, о томъ, что Гуннаръ убилъ страшнаго бѣлаго медвѣдя. Она и себѣ требуетъ почета по мужу, совершившему тотъ славный подвигъ. Сцѣпленіемъ обстоятельствъ раскрывается, однако, роковая тайна, и Іордисъ чувствуетъ себя вдвойнѣ обезчещенной: во-первыхъ, ея мужъ не есть тотъ славный витязь, который убилъ бѣлаго медвѣдя, и, требуя ему и себѣ почета, она была въ смѣшномъ положеніи; во-вторыхъ, ее обманулъ, по ея мнѣнію. насмѣялся надъ ней Сигурдъ, котораго она не переставала любить, живя съ Гуннаромъ. Гордая женщина мечется отъ одного рѣшенія къ другому. То ей кажется, что поруганная честь ея будетъ возстановлена, если Гуннаръ убьетъ Сигурда, то, напротивъ, она желаетъ смерти Гуннара, то предлагаетъ Сигурду свою любовь и сотрудничество въ боевыхъ подвигахъ, то рѣшаетъ сама убить Сигурда и умереть вмѣстѣ съ нимъ, чтобы соединиться съ нимъ тамъ, въ загробной жизни, въ Валгаллѣ. На послѣднемъ рѣшеніи она, наконецъ, останавливается и убиваетъ Сигурда, а сама бросается со скалы въ море, предварительно узнавъ, однако, отъ Сигурда, что въ Валгаллѣ имъ вмѣстѣ не быть, потому что онъ христіанинъ.

Для насъ интересны тѣ бурныя рѣчи, съ которыми Іордисъ обращается къ Сигурду. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: «Женой твоей я не буду; другому я принадлежала, и та, которую избралъ ты, жива. Нѣтъ, Сигурдъ, я за тобой послѣдую подобно безстрашнымъ валкиріямъ, и жажду великихъ дѣлъ въ тебѣ я буду разжигать, чтобы повсюду прогремѣло твое имя... Когда же о доблестяхъ твоихъ раздастся пѣснь, вмѣстѣ назовутъ Сигурда и Іордисъ... Я создана была, чтобы въ дни невзгоды сильнымъ духомъ ободрять и укрѣплять тебя; а ты рожденъ былъ для того, чтобъ все великое и славное нашла я въ одномъ мужѣ. И знаю я, Сигурдъ, когда бы насъ судьба соединила, ты сталъ бы славнѣе, а я счастливѣй всѣхъ людей на свѣтѣ». Іордисъ предлагаетъ Сигурду овладѣть норвежскимъ престоломъ. А, приглашая отправиться вмѣстѣ на тотъ свѣтъ, въ Валгаллу, говоритъ: «Тамъ, на небѣ, я царскій дамъ тебѣ престолъ и около тебя возсяду!..»

Таковы тѣ люди, по опредѣленію строителя Сольнеса, съ «коренастою совѣстью», которые грабили, жгли, убивали людей, похищали женщинъ, а потомъ пили, ѣли и веселились, какъ малые ребята. Все это, какъ видимъ, дѣйствительно было, но было и нѣчто другое. Были душевныя терзанія, въ своемъ родѣ не менѣе мучительныя, чѣмъ тѣ, которыя испытываетъ Сольнесъ. Только развиваются они въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» на почвѣ оскорбленной, помраченной чести, а не удрученной совѣсти. И я думаю, что если не всѣ, то большинство драмъ Ибсена построены либо на одномъ изъ этихъ мотивовъ, либо на той или другой ихъ комбинаціи; что вопросы чести и совѣсти, сознательно или безсознательно, наиболѣе привлекаютъ къ себѣ его вниманіе и составляютъ то живое зерно его драмъ, которое и читателя, опять-таки сознательно или безсосознательно, къ нимъ привлекаетъ. Герои Ибсена блѣдны или грубо подчеркнуты, то есть яркія краски приданы имъ внѣшнимъ, искусственнымъ образомъ, они и въ этомъ случаѣ сами по себѣ блѣдны, а только болѣе или менѣе густо нарумяненны; построеніе его драмъ искусственно и, подчасъ, дѣтски или архаически наивно; фабулы чрезвычайно запутаны, но вмѣстѣ съ тѣмъ далеко не столь разнообразны, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда; вообще, какъ художникъ, онъ далеко ниже своей репутаціи. И тѣмъ не менѣе понятенъ интересъ, возбуждаемый его произведеніями во всемъ читающемъ мірѣ. Въ числѣ увлекающихся Ибсеномъ или славославящихъ его есть, конечно, не мало такихъ, которые любуются именно слабыми его сторонами: его туманнымъ символизмомъ, его пристрастіемъ къ таинственному, необъяснимому. Но это дѣло преходящей моды, и, можетъ быть, сами модники безсознательно чтутъ не эти побочныя осложненія драмъ Ибсена, а ихъ часто заваленное множествомъ ненужностей живое зерно, которое и переживаетъ моду. Въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ работаетъ надъ книгой объ «Отвѣтственности человѣка» и затѣмъ бросаетъ эту работу, чтобы «сдѣлать отвѣтственность человѣка основою всей своей жизни», перейти отъ теоретическихъ разсужденій къ практическому дѣлу. Мнѣ кажется, что весь литературный багажъ Ибсена или, по крайней мѣрѣ, большая его часть составляетъ въ совокупности одну большую книгу объ «отвѣтственности человѣка», въ которую разныя случайности вплели много лишнихъ страницъ. Отвѣтственность же человѣка передъ собой и передъ другими исчерпывается въ конечномъ счетѣ понятіями вины и заслуги и соотвѣтственными имъ мотивами совѣсти и чести.

Здѣсь я чувствую потребность сказать нѣсколько личныхъ словъ. Читатель, удостоивавшій своимъ вниманіемъ мои прежнія писанія, припомнитъ, можетъ быть, что въ статьѣ «Щедринъ» есть глава

«Честь и совѣсть»; что о «больной совѣсти» и о чести идетъ рѣчь и въ моей вступительной статьѣ къ сочиненіямъ Гл. Успенскаго; что и раньше, въ замѣткахъ «Житейскія и художественныя драмы» можно найти сопоставленіе и въ извѣстномъ смыслѣ противоположеніе чести и совѣсти. Не значитъ-ли это, что, разыскивая тѣ же мотивы у Ибсена и придавая имъ первенствующее значеніе въ его драмахъ, я произвольно втискиваю ихъ содержаніе въ лично излюбленныя мною рамки, укладываю его на своего рода Прокустово ложе? Это было бы, можетъ быть, и естественнымъ, но во всякомъ случаѣ поспѣшнымъ предположеніемъ. Безъ сомнѣнія, критикъ, выбирая извѣстную позицію для установленія правильнаго, по его мнѣнію, пониманія того или другого писателя, не можетъ отрѣшиться отъ своихъ личныхъ взглядовъ, выработанныхъ въ немъ жизнью и размышленіемъ. Но этого мало. Мы не можемъ сказать, что поняли писателя, пока не привели въ ту или другую, положительную или отрицательную, связь содержаніе его писаній и наши личные взгляды, на предметы, его занимающіе, пока между ними и имъ нѣтъ общей почвы. Само собою разумѣется, что эта общая почва можетъ быть и новообразованіемъ, то есть изучаемый писатель можетъ внушить намъ новые для насъ взгляды, пожалуй, перевернуть вверхъ дномъ все наше міроразумѣніе. Но общая почва должна существовать во всякомъ случаѣ, и безъ нея мы не можемъ не только понять писателя, но даже заинтересоваться имъ. Я испыталъ это на себѣ именно относительно Ибсена. Нѣкоторыя его драмы я читалъ уже давно, года два, три, даже лѣтъ пять тому назадъ, тотчасъ по ихъ появленіи въ русскомъ переводѣ, но онѣ не фиксировали на себѣ моего вниманія, не смотря на то, что слава Ибсена была мнѣ, конечно, хорошо извѣстна; онѣ проходили, такъ сказать, мимо моего сознанія, и я не могъ бы даже просто разсказать фабулу только что прочитанной драмы. Онѣ не производили на меня достаточно сильнаго впечатлѣнія, ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Разныя уродства символическаго, магическаго и архаически-наивнаго характера я зналъ въ гораздо болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ тѣ, какія встрѣчались въ прочитанныхъ драмахъ, а общій смыслъ этихъ драмъ стушевывался чрезвычайною пестротою каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Лишь недавно счастливая случайность такъ подогнала обстоятельства, что въ одной изъ драмъ (это была драма «Росмерсгольмъ», но могла бы быть и иная) я нашелъ какъ бы откликъ того, что меня давно занимало, и тотчасъ же Ибсенъ сталъ для меня интересенъ и понятенъ. Такъ, я думаю, бываетъ со всѣми. Конечно, критикъ можетъ и не *найти* эту необходимую почву (съ положительнымъ или отрицательнымъ знакомъ), а *навязать* ее изучаемому писателю, и тогда все его зданіе окажется построеннымъ

на пескѣ. Но пусть судитъ читатель, дойдя до конца статьи. Однако, и теперь уже видно, что не я выдумалъ «хилую совѣсть» и «коренастую совѣсть» въ «Строителѣ Сольнесѣ» и перестрѣлку «честью» и «безчестіемъ» въ «Сѣверныхъ богатыряхъ», равно какъ и прежде не я выдумалъ «больную совѣсть» Гл. Успенскаго. И если мы встрѣчаемъ одни и тѣ же основные мотивы у писателей, столь различныхъ рѣшительно во всѣхъ отношеніяхъ, то это свидѣтельствуетъ лишь о важности тѣхъ мотивовъ.

Гуннаръ и Іордисъ, Сигурдъ и Дагни представляютъ собою двѣ неудачныя супружескія пары. Это одна изъ излюбленныхъ темъ всѣхъ беллетристовъ, и у Ибсена она эксплуатируется очень часто. Кромѣ «Сѣверныхъ богатырей», мы находимъ ее и въ «Привидѣніяхъ», и въ «Эддѣ Габлеръ», и въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ», и въ «Норѣ», и въ «Росмерсгольмѣ», и въ «Строителѣ Сольнесѣ», отчасти въ «Эллидѣ» и «Маленькомъ Эйольфѣ». Но въ разработку этого сюжета Ибсенъ вводитъ нѣкоторыя черты, если не отсутствующія у большинства художниковъ слова, то, по крайней мѣрѣ, остающіяся въ тѣни, на второмъ планѣ, и, наоборотъ, въ его репертуарѣ отсутствуютъ нѣкоторыя осложненія, особенно излюбленныя другими драматургами и романистами. Такъ называемаго adultèrea въ драмахъ Ибсена, можно сказать, совсѣмъ нѣтъ. Онъ поминается иногда (въ «Дикой уткѣ», въ «Маленькомъ Эйольфѣ», въ «Привидѣніяхъ») въ прошедшемъ, мы видимъ только его результаты, но въ самомъ дѣйствіи, въ развитіи драмы—его нѣтъ ни въ одной изъ нихъ, при чемъ ясно, что авторъ *не хочетъ* дать ему мѣсто. Въ «Брандѣ» Агнеса оставляетъ Эйнара для Бранда, но она не жена Эйнара, а только невѣста; въ «Эллидѣ» героиня терзается мыслью о своей измѣнѣ таинственному незнакомцу ради Вангеля, но она никогда не была его женой, а только была обручена съ нимъ, да и то какимъ-то страннымъ, фантастическимъ обрученіемъ, не то дѣйствительно съ нимъ, не то «съ моремъ». Нора оставляетъ своего мужа, но не потому, что,- какъ это обыкновенно случается въ романахъ и драмахъ, а, пожалуй, и въ жизни,—какой-нибудь новый «онъ» овладѣлъ ея сердцемъ, а по совершенно другимъ побужденіямъ,—объ «немъ» въ драмѣ нѣтъ и помину; хотя и есть безнадежно любящій Нору, тоскующій, умирающій Ранкъ, но для Норы это не «онъ», и ни малѣйшей роли въ рѣшеніи Норы оставить мужа Ранкъ не играетъ. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ дѣйствіе введены новые «онъ» или «она», къ кому лежитъ сердце героя или героини, Ибсенъ, часто цѣною грубыхъ и анти-художественныхъ натяжекъ, такъ располагаетъ обстоятельства, что нарушенія такъ называемой супружеской

вѣрности не происходитъ. Достигается это разными способами. Простѣйшій изъ нихъ мы видѣли въ «Строителѣ Сольнесѣ»: быть можетъ, Сольнесъ и Гильда и устроились бы, временно или навсегда, въ какомъ-нибудь настоящемъ или «воздушномъ» замкѣ, но тутъ какъ разъ подоспѣла трагическая смерть строителя. Но въ большинствѣ случаевъ дѣло выходитъ гораздо сложнѣе и запутаннѣе, хотя нѣкоторыя комбинаціи при этомъ не разъ повторяются. Такъ, въ «Росмерсгольмѣ» Росмеръ, а въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ долго не догадываются о характерѣ чувства, связывающаго—перваго съ Ревеккой, второго съ Астой. Росмеръ принимаетъ его за сочувствіе единомышленниковъ по философскимъ и политическимъ вопросамъ, Альмерсъ за братское чувство, а когда, наконецъ, ихъ глаза открываются, то, вслѣдствіе сложныхъ обстоятельствъ, о которыхъ у насъ еще будетъ рѣчь,—Росмеръ и Ревекка умираютъ вмѣстѣ, а Альмерсъ и Аста разстаются. Въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ» Маргитъ тоже ошибается, если не относительно своего чувства къ Гудмунду, то относительно его чувства къ ней: благодаря недомолвкамъ и вообще недоразумѣніямъ почти водевильнаго характера, ей кажется, что Гудмундъ любитъ ее, и она готова не только оставить своего ненавистнаго мужа, а даже убить его. Но Гудмундъ любитъ не ее, а ея сестру, дѣвушку, и грѣховныя мысли Маргитъ не получаютъ осуществленія. Мало того. Она кается, уходитъ въ монастырь и сама благословляетъ союзъ Гудмунда и своей соперницы—сестры: «Гудмундъ, возьми ее, она твоя! Благослови Господь союзъ вашъ, безгрѣшный, чистый!» Къ характеристикѣ творчества Ибсена замѣтимъ мимоходомъ, что наивно-водевильныя недоразумѣнія вродѣ тѣхъ, которыя вводятъ Маргитъ въ заблужденіе, играютъ (впрочемъ, нѣсколько иную) роль и въ «Комедіи любви», и въ «Союзѣ молодежи». Въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» они составляютъ основу фабулы, тотъ роковой моментъ, который опредѣлилъ всю эту странную и слишкомъ ужъ симметричную кадриль Сигурда и Дагни, Гуннара и Іордисъ. Правда, Ибсенъ заимствовалъ этотъ моментъ изъ скандинавскихъ легендъ, но наивность и симметричность, составляющія своего рода прелесть въ произведеніяхъ сѣдой древности и безъимяннаго народнаго творчества, получаютъ совсѣмъ другой характеръ въ произведеніяхъ современнаго писателя. Для нашей ближайшей цѣли важно, впрочемъ, отмѣтить только то, что, измѣнивъ во многихъ подробностяхъ древнюю легенду о Сигурдѣ и Брингильдѣ (Іордисъ Ибсена), авторъ, однако, не только устоялъ передъ соблазномъ хоть на время устроить фигуру «changez les dames» въ своей кадрили, но даже усугубилъ роковую пропасть между Сигурдомъ и Іордисъ. Мы видѣли, что страстная, необузданная Іордисъ говоритъ Сигурду: «Женой твоей я не буду; другому я принадлежала, и та,

которую избралъ ты, жива». Наконецъ, и въ загробной даже жизни Ибсенъ не разрѣшаетъ своимъ героямъ соединиться, такъ какъ Сигурдъ, совершенно неожиданно, оказывается христіаниномъ, и у Іордисъ отнята послѣдняя надежда. Этой черты въ легендѣ, конечно, нѣтъ.

Такимъ образомъ, часто изображая неудачныя супружескія пары, Ибсенъ при этомъ всячески избѣгаетъ того пункта, который особенно занимаетъ большинство художественныхъ лѣтописцевъ неудачныхъ супружествъ. И это не вслѣдствіе какой-нибудь лицемѣрной pruderie: многое въ драмахъ Ибсена свидѣтельствуетъ, что онъ этимъ грѣхомъ отнюдь не грѣшенъ. Его просто не интересуетъ простая перемѣна мужа или жены, какъ выходъ изъ труднаго положенія. Я читалъ гдѣ-то, не помню, что на чей-то вопросъ: что сталось съ Норой послѣ того, какъ она ушла отъ мужа?—Ибсенъ отвѣчалъ: а я почемъ знаю! Это очень характерный отвѣтъ. Доведя извѣстное запутанное и трудное положеніе до развязки, Ибсенъ уже не интересуется своими дѣйствующими лицами и часто просто отправляетъ ихъ на тотъ свѣтъ. Его грубая, нескладная, торопливая и лишенная граціи муза сурова. Его привлекаютъ почти исключительно скорбныя страницы жизни. Когда онъ шутитъ (а пошутилъ онъ, кажется, всего одинъ разъ — «Союзомъ молодежи»), выходитъ грубый шаржъ. Когда онъ пытается нарисовать безоблачное семейное счастье, какъ въ первомъ дѣйствіи «Норы», выходитъ нѣчто приторно слащавое. И онъ инстинктивно избѣгаетъ такихъ несвойственныхъ его таланту картинъ, а между тѣмъ, изображая новую любовь на развалинахъ неудачной старой, пришлось бы пустить въ ходъ именно тѣ жизнерадостныя краски, которыхъ нѣтъ или почти нѣтъ на его палитрѣ. Потому-то Сигурдъ и Іордисъ не вновь полюбили другъ друга на глазахъ читателя, а это оказывается старая и не заржавѣвшая любовь, лишь временно, вслѣдствіе роковой ошибки затуманенная. Это какъ бы рѣка, не прерывающая своего теченія, но нѣкоторое время текущая подъ землей и затѣмъ опять пробивающаяся на поверхность. Такова же и любовь Маргитъ къ Гудмунду въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ». Правда, въ той же драмѣ мы присутствуемъ при зарождающейся и расцвѣтающей любви Гудмонда и Сигны, но надъ ней быстро опускается занавѣсъ. Правда, въ «Брандѣ» мы имѣемъ веселенькую картинку жизнерадостной прогулки жениха Эйнара и невѣсты Агнесы, но это лишь мимолетное хорошенькое, блестящее облачко, даже черезчуръ быстро уступающее мѣсто мрачной тучѣ въ образѣ суроваго и жестокаго фанатика Бранда: завѣдомо не на веселье идетъ за нимъ Агнеса. Не на веселье, но и въ ея скорбной и трудной жизни съ Брандомъ есть свои радости. Жизнь — не веселье для Ибсена вообще,

но онъ и не пессимистъ. Будь онъ имъ, онъ могъ бы гонять своихъ героевъ и героинь изъ огня въ полымя и на развалинахъ одного несчастнаго супружества строить новое зданіе, чтобы опять развалить его и такимъ образомъ бросить тѣнь тщеты и недостижимости на вѣчно дразнящее, вѣчно зовущее счастіе. Но Ибсенъ и этого избѣгаетъ. Для него несчастное супружество есть не цѣль описанія, а только поводъ — и, какъ увидимъ, не единственный поводъ—для изображенія всегда однихъ и тѣхъ же движеній человѣческой души въ различныхъ, но въ сущности немногихъ комбинаціяхъ. Эти движенія, повторяю, одни и тѣ же: чувства оскорбленной (или удовлетворенной) чести и угнетенной (или успокоенной) совѣсти.

Строитель Сольнесъ и Гильда почти съ завистью говорятъ о «коренастой совѣсти» древнихъ викинговъ, которые, послѣ цѣлаго ряда грабежей, убійствъ, похищеній женщинъ, съ младенческимъ спокойствіемъ веселились и пировали. Они, Сольнесъ и Гильда, такъ не могутъ жить. Въ особенности Сольнесъ. У него «хилая совѣсть». Онъ не грабитъ, не убиваетъ, не похищаетъ женщинъ, подобно своимъ далекимъ воинственнымъ предкамъ, но онъ другими пріемами и способами «топчетъ» чужія жизни, иногда нечаянно, а иногда намѣренно. Но младенческая ясность души разбойниковъ викинговъ есть для него потерянный рай. Онъ поминутно съ тревогой оглядывается на тѣхъ, кого «топчетъ», не можетъ преодолѣть жгучее чувство своей отвѣтственности передъ ними, и вся его съ виду счастливая жизнь отравлена угрызеніями совѣсти и ожиданіемъ возмездія. Контрастъ дѣйствительно выходитъ очень рѣзкій между нимъ и викингами. Мы видѣли, однако, что не однѣ розы были въ жизни «Сѣверныхъ богатырей» или, по крайней мѣрѣ, эти розы были не безъ острыхъ, колючихъ шиповъ. На первый взглядъ эти шипы рѣзко отличаются отъ тѣхъ, которые мы видимъ въ «Строителѣ Сольнесъ». Это шипы оскорбленной чести, а совѣсть какъ будто и совсѣмъ не даетъ себя знать въ «Сѣверныхъ богатыряхъ», тогда какъ въ атмосферѣ «Строителя Сольнеса», наоборотъ, не слыхать голоса чести. Это было бы какъ бы художественнымъ комментаріемъ къ исторической теоріи Ничше, въ силу которой «великолѣпное бѣлокурое животное» и «мораль господъ» уступаютъ въ исторіи мѣсто разслабленнымъ и лицемѣрно «добрымъ» людямъ и «морали рабовъ». Это не такъ, однако. Если Ибсенъ и придерживается подобныхъ взглядовъ, въ чемъ можно сомнѣваться, то въ творчествѣ своемъ онъ слишкомъ мало историкъ, чтобы держаться колеи той или другой исторической схемы. Онъ главнымъ образомъ теоретикъ-психологъ, ищущій однихъ и тѣхъ же

душевныхъ движеній при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ. Героическая фабула «Сѣверныхъ богатырей» не есть продуктъ его личнаго творчества, такъ какъ въ основныхъ своихъ чертахъ цѣликомъ заимствована изъ древняго миѳическаго сказанія. Не ему, значитъ, принадлежитъ и преобладаніе мотива чести въ этой драмѣ. Однако, и въ ней, не смотря на это преобладаніе, мы видимъ нѣкоторую работу совѣсти, мучительнаго сознанія своей неправоты и недостоинства въ Гуннарѣ, неправо воспользовавшемся подвигомъ Сигурда, потомъ неправо, хотя и по недоразумѣнію убившемъ сына Орнульфа, Торольфа. Эти черты, подъ давленіемъ главнаго содержанія саги, не получаютъ развитія въ драмѣ, но онѣ есть. «Праздникъ въ Сольгаугѣ» происходитъ на тринадцать столѣтій позже той эпохи, къ которой Ибсенъ произвольно пріурочилъ содержаніе древней саги, но убійства и похищенія, въ перемежку съ младенчески-безсовѣстнымъ весельемъ, въ «Праздникѣ» подчеркнуты авторомъ во многихъ отношеніяхъ рѣзче, чѣмъ въ «Сѣверныхъ богатыряхъ», и, однако, работа ущемленной совѣсти доводитъ Маргитъ до монастыря. Наоборотъ, въ драмахъ, дѣйствіе которыхъ происходитъ въ настоящее время, прежде всего бросается въ глаза рядъ женщинъ, повторяющихъ собою типы Дагни и Іордисъ, въ особенности Іордисъ.

Читатель помнитъ, что Гильда «отлично можетъ понять» тѣхъ женщинъ, которыхъ похищали викинги и которыя потомъ не хотѣли разставаться со своими похитителями. Немудрено: она вѣдь и сама надѣялась, что ее похититъ Сольнесъ, тотъ Сольнесъ, котораго она видѣла въ ореолѣ славы, совершающимъ подвигъ подъема на вершину башни, который ее этимъ подвигомъ «очаровалъ» въ буквальномъ смыслѣ слова. Очарованная, проникнутая мыслью о величіи строителя, она десять лѣтъ ждетъ момента, когда можетъ потребовать отъ Сольнеса новаго подвига, уже прямо ради нея и подъ ея вдохновеніемъ. При этомъ сама она готова на все, готова перешагнуть черезъ всѣ препятствія и только на минуту призадумывается, имѣетъ-ли она право перешагнуть черезъ Алину. Неизвѣстно, чѣмъ кончились бы эти колебанія, если бы ея требовательное поклоненіе не довело Сольнеса до гибели. То же самое требовательное поклоненіе встрѣчаемъ за восемнадцать вѣковъ до печальной исторіи строителя Сольнеса съ необузданной Іордисъ. Характеръ требуемаго подвига измѣнился. Вмѣсто убійства страшнаго медвѣдя или славнаго викинга нужно нѣчто не столь воинственное, хотя для Сольнеса авторъ такъ и не придумалъ чего-нибудь опредѣленнаго и живыя картины кровавыхъ битвъ замѣнилъ символическимъ влѣзаніемъ на высокую башню. Но собственно психологическій типъ Іордисъ и Гильды—одинъ и

тотъ же, равно какъ одинъ и тотъ же мотивъ лежитъ въ основѣ ихъ требовательнаго поклоненія. Любимаго человѣка или, по крайней мѣрѣ, того, съ коимъ ихъ связала судьба—онѣ хотятъ видѣть на высотѣ, стоять съ нимъ рядомъ на той высотѣ и знать, что онѣ способствовали подъему, что ради нихъ и при ихъ содѣйствіи совершены великіе подвиги. Въ этомъ видятъ онѣ свою «честь», право на уваженіе, на признаніе ихъ достоинства, для поддержанія котораго онѣ готовы на все. Къ тому же типу принадлежатъ Эдда Габлеръ въ драмѣ того же имени, Маргитъ въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ», но здѣсь мы имѣемъ любопытные варьянты и осложненія.

Мужъ Маргитъ—ничтожное существо, глупое, грубое, трусливое, тщеславное, и Маргитъ его не любитъ. Іордисъ тоже не любитъ своего благороднаго, но для нея слишкомъ слабодушнаго и не воинственнаго мужа. Но ей не въ чемъ упрекать себя, она вышла, согласно обѣщанію, за храбраго витязя, убившаго страшнаго медвѣдя, и, когда потомъ открылась ошибка, въ ней заговорила лишь оскорбленная честь: ее обманули, передъ ней виноваты, если не люди, то «Норны», миѳологическія дѣвы, плетущія нити судебъ человѣка, а она ни передъ кѣмъ не виновата. Это-то сознаніе своей невиновности и опредѣляетъ собою ту «коренастую совѣсть», съ которою Іордисъ бѣшено проектируетъ разные способы возмездія за свою оскорбленную честь. Иное дѣло Маргитъ. Она человѣкъ виноватый по собственному ея сознанію: она вышла за своего ничтожнаго Бенгта, польстившись на его богатство и знатность, продалась. Она сама за свою судьбу отвѣтственна, а судьба эта очень печальна. У Маргитъ есть все, чего она искала: богатые наряды, толпа слугъ, блескъ, власть, почетъ, но ея достоинство, ея честь ежеминутно оскорбляется глупостью и пошлостью мужа. Она сознаетъ, что достойна лучшей доли и видитъ эту достойную ея лучшую долю въ союзѣ съ Гудмундомъ. Почти буквально повторяя слова Іордисъ, она говоритъ: «Здѣсь, въ этой темницѣ сидѣть въ заточеніи!.. Нѣтъ, моя юность требуетъ свѣта! Уже три долгихъ года мукъ и раскаянія отдала я ему, моему господину. И прожить цѣлый вѣкъ этой жалкой и позорной жизнью... Нѣтъ, не могу, не хочу! Тамъ жизнь кипитъ и бьетъ ключомъ. Туда, туда зовутъ меня мысли и сердце... Я пойду за Гудмундомъ дѣлить съ нимъ радость и горе, и славу. И люди съ похвалою скажутъ о насъ: славный рыцарь и жена его, Маргитъ!» Маргитъ готова уже перешагнуть препятствіе—отравить мужа, но колеблется и жалуется на свою нерѣшительность; она завидуетъ тѣмъ женщинамъ, которыя «не такъ слабодушны» и «не задумаются привести мысль въ исполненіе», «на дѣлѣ исполняютъ то, что заду-

мали втайнѣ» (Читатель благоволитъ припомнить здѣсь желаніе Гильды Вангель въ «Строителѣ Сольнесѣ»: «имѣть настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли». Ниже, въ «Росмерсгольмѣ», мы услышимъ эту самую мысль въ болѣе вѣской и распространенной формѣ). Наконецъ, Маргитъ рѣшается на убійство, но запутанныя постороннія обстоятельства мѣшаютъ ей, а когда она узнаетъ, что Гудмундъ любитъ не ее, а Сигну, она, какъ уже сказано, уходитъ въ монастырь. Она, по ея словамъ, «испытала весь ужасъ, все раскаяніе и муки души, готовой продать себя для земныхъ благъ».

Эдда Габлеръ. У этой дамы тоже ничтожный мужъ--добродушный, трудолюбивый, самодовольный, глупый приватъ-доцентъ Тесманъ. Есть также человѣкъ, къ которому она могла бы относиться съ такимъ же требовательнымъ поклоненіемъ, съ какимъ Гильда Вангель относится къ Сольнесу, Іордисъ къ Сигурду, Маргитъ къ Гудмунду. Это—Эйлертъ Левборгъ, даровитый ученый, но кутила и человѣкъ безпорядочной жизни вообще. Но у него уже есть своя вдохновительница и сотрудница въ лицѣ кроткой, преданной, несчастной Теи Эльфштедъ. Подобно Маргитъ, Эдда, собственно говоря, продалась, но сдѣлала невѣрный разсчетъ, а со стороны этотъ разсчетъ даже до странности невѣроятенъ. Почему то она и Тесманъ полагали, что на профессорское жалованье можно имѣть ливрейныхъ лакеевъ, верховыхъ лошадей, блестящій салонъ. Оказывается, однако, что и профессорская то каѳедра, пожалуй, улыбнется Тесману, потому что у него есть соперникъ—Эйлертъ Левборгъ, только что выпустившій замѣчательную книгу и готовящій къ печати другую, еще болѣе замѣчательную. Эта послѣдняя есть плодъ совокупнаго труда Левборга и Теи Эльфштедъ, при чемъ слава работы должна была достаться Левборгу. Какъ видите, это нѣчто въ родѣ того трона, который Іордисъ доставитъ Сигурду, а сама сядетъ возлѣ него. Эдда съ злобною завистью смотритъ на эти отношенія. Когда то въ ней жило нѣжное чувство къ Левборгу, живетъ отчасти до сихъ поръ, но онъ оттолкнулъ ее отъ себя какимъ то грубымъ поступкомъ, за который она его чуть не убила, да и слишкомъ онъ былъ тогда богема, и она вышла за Тесмана. А этого глупаго приватъ-доцента, она отлично сознаетъ, ни на какую высоту не поднимешь. Она, правда, подумываетъ заставить его заниматься политикой и сдѣлать изъ него министра, но быстро соглашается, что это вздорные планы. За то Левборга ей удается довести до «подвига»... самоубійства. Актъ этотъ она такъ и называетъ «подвигомъ». «Эйлертъ Левборгъ—говоритъ она—имѣлъ настолько мужества, чтобы жить, какъ ему хочется. И потомъ, этотъ подвигъ! этотъ красивый подвигъ! У него хватило силы воли

во время порвать связь съ жизнью». Произошло это такимъ образомъ. Надо замѣтить, что Эдда особенно злобно и презрительно относится къ разнымъ шуточнымъ или любезнымъ намекамъ на возможность для нея имѣть дѣтей отъ Тесмана: отъ этого пингвина у нея не будетъ дѣтей. Но, можетъ быть, она не прочь ихъ имѣть отъ Левборга; по крайней мѣрѣ, она приходитъ въ бѣшенство при мысли о томъ, что Левборгъ и Теа называютъ свое приготовленное къ печати произведеніе—своимъ «ребенкомъ». Манускриптъ книги попадаетъ въ руки Эдды, и она его сжигаетъ, устраивая, однако, дѣло такъ, что Левборгъ самъ себя винитъ въ пропажѣ манускрипта и въ отчаяніи застрѣливается, почти, можно сказать, по требованію Эдды. Но вслѣдъ затѣмъ застрѣливается и она сама. Чѣмъ вызвано ея самоубійство? Угрызеніями совѣсти? Едва-ли. Способности и склонности признавать себя виновною, отвѣтственною за чтобы то ни было—во всѣхъ ея поступкахъ, чувствахъ, мысляхъ нѣтъ и слѣда. Она боится только «смѣшного» и «скандала», которые могутъ нанести ущербъ ея чести, точнѣе, тому, что она считаетъ своею честью. Когда Тесманъ спрашиваетъ ее, зачѣмъ она сожгла рукопись Левборга, она объясняетъ, что сдѣлала это ради него, Тесмана, потому что не допускала мысли, чтобы кто-нибудь затмилъ его. И глупый приватъ-доцентъ вѣритъ. Да до извѣстной степени онъ и имѣетъ право вѣрить. Эдда его не только не любитъ, а прямо презираетъ, но въ сложномъ комплексѣ мотивовъ ея дѣйствій играетъ извѣстную роль и то обстоятельство, что Тесманъ—*ея* мужъ. Если, однако, она и хотѣла устранить въ Левборгѣ опаснаго конкуррента тому, съ кѣмъ связана ея судьба (а это во всякомъ случаѣ не единственный ея мотивъ), то и затѣмъ пингвинъ все-таки остается безнадежнымъ пингвиномъ. Что же ей дѣлать? чѣмъ жить? Она могла бы еще, можетъ быть, позабавиться съ судьей Бракомъ, съ которымъ охотно ведетъ игривые, двусмысленные разговоры; но когда Бракъ, знающій подробности самоубійства Левборга, намекаетъ, что она находится въ его рукахъ, она восклицаетъ: «Въ вашей власти! Въ зависимости отъ вашего желанія, отъ вашей прихоти! Лишенная свободы! Нѣтъ, я не перенесу этой мысли! Никогда!» И застрѣливается, передъ самымъ выстрѣломъ «весело и громко» крикнувъ Браку: «Такъ вы не теряете надежды, господинъ судья? вы единственный пѣтухъ въ курятникѣ?»

«Нора». Эта драма имѣетъ въ подлинникѣ другое заглавіе,—«Домашній очагъ куколки»,—которымъ, конечно, лучше, чѣмъ собственнымъ именемъ, характеризуется героиня. Но пьеса могла бы называться и какъ-нибудь въ родѣ «Пробужденія куколки». Я не

буду разсказывать содержаніе «Норы». Драмѣ этой у насъ особенно посчастливилось, ее знаютъ больше другихъ произведеній Ибсена, хотя она далеко не изъ лучшихъ по формѣ, а что касается идейнаго содержанія, то съ нашей русской точки зрѣнія, оно даже до наивности элементарно и незначительно, если брать его внѣ связи съ другими драмами. Я остановлюсь лишь на нѣсколькихъ моментахъ пьесы. Мужъ Норы, Гельмеръ, не лучше мужей Маргитъ и Эдды Габлеръ,—такая же пошлость и плоскость, но сама то Нора не Маргитъ и не Эдда, и авторъ даже съ излишествомъ подчеркиваетъ ея наивный эгоизмъ, дѣтскую страсть къ сладкимъ лакомствамъ и т. п. Но быть можетъ изъ нея съ теченіемъ времени выработается нѣчто столь же яркое и сильное, какъ Іордисъ и Эдда. Драма оставляетъ ее на порогѣ двери, ведущей въ новую жизнь, къ которой она подошла скорбнымъ путемъ омраченной чести. Она когда то тайно отъ мужа заняла деньги, при чемъ на векселѣ поддѣлала подпись своего отца, въ качествѣ поручителя. Сдѣлала она это изъ добрыхъ побужденій,—чтобы дать больному мужу возможность отдохнуть и чтобы не тревожить умирающаго отца. И когда обстоятельства раскрываютъ ея преступленіе, она тревожится, конечно, но только потому, что мужъ узнаетъ ея тайну. «Эта тайна,—говоритъ она,—*моя радость и моя гордость*, и вдругъ онъ узнаетъ ее такимъ грубымъ, такимъ пошлымъ образомъ!» Совѣсть ни въ чемъ ее не упрекаетъ, она ни передъ кѣмъ не виновата. Напротивъ, такъ какъ при этомъ вскорѣ раскрывается вся пошлость и весь мелкій эгоизмъ ея корректнаго мужа, она на него и на своего отца возлагаетъ отвѣтственность за всю свою испорченную жизнь. Она говоритъ мужу: «Когда я была еще дѣвушкой, отецъ дѣлился со мною своими взглядами, и я должна была соглашаться съ ними, потому что всякое самостоятельное мнѣніе мое было бы для него непріятно. Онъ называлъ меня своей куколкой и игралъ со мной точно также, какъ со своими куклами. Затѣмъ я перешла изъ рукъ отца въ твои... Когда я теперь думаю о своемъ прошедшемъ, мнѣ кажется, что я жила здѣсь, какъ бѣднякъ, обязанный увеселять пріютившаго его господина. Я жила тѣмъ, что показывала тебѣ забавныя штуки. Но ты желалъ этого. Да, у моего отца и тебя тяжкій грѣхъ на душѣ. Вы виноваты, что изъ меня не вышло ничего». Читатель видитъ, что это одна изъ варіацій все на ту же тему объ отвѣтственности. Мужъ Норы склоненъ рѣшать этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что было бы «безсердечно» «безусловно осуждать кого-нибудь за какой-нибудь отдѣльный проступокъ», но «всякій можетъ снова нравственно возродиться, если онъ сознаетъ свой проступокъ и искупитъ все наказаніемъ». Но Нора не можетъ принять это рѣшеніе для своего личнаго руководства. Она не понимаетъ

своей вины, ея совѣсть спокойна, а передъ ней оказываются виноватыми тѣ, кто цѣнилъ ее ниже того, чего она, по ея мнѣнію, дѣйствительно стоитъ, ниже того, чѣмъ она могла бы быть при иномъ къ ней отношеніи близкихъ людей.

«Эллида» («Госпожа съ моря»). Я уже упоминалъ объ этой пьесѣ. Героиня, именемъ которой озаглавлена въ русскомъ переводѣ драма, не можетъ пожаловаться на своего мужа. Это не Бенгтъ «Праздника въ Сольгаугѣ», не Тесманъ «Эдды Габлеръ», не Гельмеръ «Норы», даже не Гуннаръ «Сѣверныхъ богатырей». Это— умный, благородный, ничѣмъ не запятнанный человѣкъ, и Эллида вполнѣ способна оцѣнить его высокія качества и дѣйствительно цѣнитъ ихъ. Тѣмъ не менѣе, ихъ бракъ несчастливъ. Эллиду гложутъ странныя, ей самой не вполнѣ ясныя мысли и чувства. И не мудрено: до замужества съ ней случилось нѣчто очень странное и ей самой мало понятное. Судьба столкнула ее съ какимъ то морякомъ, который таинственнымъ образомъ совершенно овладѣлъ ея волей. Она стала его невѣстой, но когда онъ долженъ былъ уѣхать, чары ослабѣли, и она вышла за своего теперешняго мужа, доктора Вангеля. Однако, по прошествіи нѣкотораго времени, обаяніе таинственнаго моряка стало вновь дѣйствовать издали, на разстояніи, а затѣмъ явился и самъ онъ съ требованіемъ, чтобы Эллида оставила мужа и шла за нимъ. Эллида колеблется. Она хотѣла бы бросить съ себя странное нравственное иго моряка и найти для этого опору въ своемъ чувствѣ къ мужу, но не можетъ. Ей тяжелы и тѣ узы, которыя ее съ мужемъ связываютъ. Ей кажется, что она вышла за него не по свободному влеченію и выбору, а подъ давленіемъ обстоятельствъ, что она «продалась». Она считаетъ свой бракъ простой «сдѣлкой» и проситъ мужа «расторгнуть» ее. Мужъ сначала не соглашается, опасаясь за ея судьбу въ рукакъ какого то страннаго незнакомца. Онъ говоритъ: «Мнѣ *нельзя* освободить и отпустить тебя сегодня. Совѣсть не позволяетъ мнѣ этого, не позволяетъ ради тебя самой, Эллида. Я не отступлюсь отъ своего права и своего долга защищать тебя». Но въ послѣднюю критическую минуту, когда морякъ является за Эллидой, Вангель уступаетъ. Онъ «расторгаетъ сдѣлку», предоставляетъ Эллидѣ полную свободу. «Теперь,—говоритъ онъ,—твоя собственная, истинная жизнь можетъ снова войти въ свою настоящую колею. Потому что теперь ты можешь выбирать свободно. И подъ собственною отвѣтственностью, Эллида». Это рѣшеніе развязываетъ Эллидѣ руки, и она, освобожденная мужемъ, освобождается вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ таинственныхъ чаръ моряка. Она «свободно и подъ своей отвѣтственностью» остается съ мужемъ.

Нора и Эллида выводятъ насъ изъ круга женщинъ, живущихъ

требовательнымъ поклоненіемъ своему избраннику и растворяющихъ свою честь въ его славѣ и подвигахъ, въ его чести. Не то, чтобы это была завѣдомо чуждая имъ черта, но онѣ иначе поставлены авторомъ. Въ нихъ нѣтъ бурной энергіи и жестокой страстности Іордисъ или Эдды Габлеръ, онѣ, если хотите, болѣе «женственны» въ этомъ отношеніи, но въ то же время онѣ и больше, чѣмъ просто женщины, онѣ—простите неуклюжее слово—«человѣки». Это, конечно, очень важное различіе, и если бы я писалъ спеціально о женскихъ типахъ Ибсена,—задача очень соблазнительная,—то остановился бы на немъ съ большею подробностью. Но я только мимоходомъ отмѣчаю этотъ пунктъ и въ дальнѣйшемъ изложеніи, говоря о героиняхъ Ибсена, уже не буду его касаться.

XIX *).

Объ Ибсенѣ, статья вторая.

Мы видѣли пристрастіе Ибсена къ таинственнымъ магическимъ силамъ, роковымъ образомъ опредѣляющимъ судьбу человѣка («Строитель Сольнесъ», «Маленькій Эйольфъ», «Эллида»). Но тогда мы взглянули на это пристрастіе только какъ на одинъ изъ элементовъ, затѣмняющихъ смыслъ произведеній Ибсена. Таково оно и есть. Но при сопоставленіи съ нѣкоторыми другими чертами Ибсеновыхъ драмъ оно получаетъ еще и иное значеніе.

Въ самой «Эллидѣ», въ которой «необъяснимая», таинственная магическая сила чаръ моряка, дѣйствующая даже на огромномъ разстояніи, играетъ такую важную роль, есть намеки и на другія роковыя силы, столь же властно вліяющія на судьбу людей. но не столь таинственныя и необъяснимыя или, по крайней мѣрѣ, достаточно всѣмъ знакомыя. Стараясь объяснить Арнхольму. и самому себѣ, перемѣнчивость настроенія Эллиды, ея мужъ приходитъ къ заключенію, что «если доискиваться коренной причины. то это у нея врожденное свойство, Эллида — дитя моря, вотъ въ чемъ дѣло». На вопросъ собесѣдника, что это собственно значитъ, Вангель отвѣчаетъ: «Развѣ же вы не замѣтили, что люди тамъ, у открытаго моря, составляютъ какъ бы особый народъ. Они словно живутъ жизнью самаго моря. Въ ихъ мысляхъ и ощущеніяхъ слышится прибой волнъ, въ нихъ есть и приливъ, и отливъ. И никогда не пересадите вы ихъ на другую почву. О, мнѣ слѣдовало раньше подумать объ этомъ! Я совершилъ истинный грѣхъ передъ Эллидой, оторвавъ ее отъ родины и заставивъ ее переселиться сюда». Такимъ образомъ природныя условія, въ которыхъ человѣкъ родился и выросъ, являются чѣмъ-то роковымъ, непреодолимымъ, чѣмъ-то такимъ, что кладетъ несмываемую печать на всю нравственную физіономію человѣка и на всю его жизнь.

---

*) Декабрь, 1896.

Правда, Эллида въ концѣ концовъ сбрасываетъ съ себя это роковое иго, но вѣдь она освобождается и отъ магическаго вліянія моряка.

Въ драмѣ «Ингеръ изъ Эстрота» видную роль играетъ датскій рыцарь Нильсъ Ликкъ, о которомъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ разсказываетъ: «Какъ только какая-нибудь женщина встрѣчала его взглядъ, устремленный на нее, она никогда не могла позабыть его, мысли ея противъ воли слѣдовали за нимъ куда бы онъ ни шелъ, и она угасала отъ печали». Новая жертва датскаго обольстителя, Элина, начавшая заочною ненавистью къ нему, собственно за его репутацію сердцеѣда, кончаетъ, подобно другимъ, страстною любовью. Она говоритъ Нильсу Ликку: «Развѣ осталась у меня воля?.. Какая таинственная сила отуманила мой разумъ и увлекла меня какъ бы въ волшебную сѣть?» Элинѣ кажется, что даже ея заглазная ненависть къ Нильсу была «предчувствіемъ, таинственнымъ влеченіемъ» къ нему. Опять нѣчто непреодолимое, роковое и вмѣстѣ таинственное, но не такое, однако, таинственное, какъ пожаръ дома по желанію Сольнеса, гибель маленькаго Эйольфа или чары моряка въ «Эллидѣ». Въ устахъ Элины «таинственная сила» и «волшебная сѣть» — только риторика влюбленности, и если въ концѣ концовъ сила любви остается для насъ тайной, то мы все-таки можемъ разложить эпизодъ Нильсъ-Элина на его простѣйшіе элементы, каковы: красота Нильса, его импонирующая репутація Донъ-Жуана, его опытность и знаніе женскаго сердца, его смѣлость и «вкрадчивыя рѣчи». Все это до извѣстной степени снимаетъ покровъ таинственности съ удачи Нильса, и во всякомъ случаѣ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ настолько привычнымъ, что ставить его въ спеціальный счетъ пристрастія къ магически-таинственному и необъяснимому—не приходится. Но сила чаръ Нильса Ликка есть все-таки для Элины внѣшняя роковая, непреодолимая сила, которой она тщетно думаетъ противопоставить свою волю и свое сознаніе.

Есть и еще роковая сила, часто дѣйствующая въ произведеніяхъ Ибсена: сила наслѣдственности. Она поминается въ «Норѣ», въ «Эллидѣ», играетъ значительную роль въ «Дикой уткѣ», своеобразно мелькаетъ въ «Брандѣ» и получаетъ рѣшающее значеніе въ «Привидѣніяхъ» и «Росмерсгольмѣ». Здѣсь отмѣтимъ только неосновательность или, по крайней мѣрѣ, близорукость нѣкоторыхъ упрековъ, дѣлаемыхъ Ибсену по поводу его пристрастія къ наслѣдственности, упрековъ и насмѣшекъ. Нордау (да, кажется, и нѣкоторые другіе критики) видятъ въ этомъ пристрастіи кокетство Ибсена «научностью» и «современностью». Это уравнивало бы Ибсена съ Эмилемъ Зола со стороны щегольства послѣдняго «научностью» же и «со-

временностью» на полѣ наслѣдственности и детерминизма. Сравнивать таланты французскаго романиста и норвежскаго драматурга не приходится, но что касается искренности и серьезности творчества и пониманія своихъ задачъ, то во всякомъ случаѣ Ибсенъ никогда не ломался такъ, какъ ломался въ своихъ теоретическихъ и критическихъ статьяхъ Зола, съ комическою важностью коверкая научные термины, сравнивая себя съ Клодомъ Бернаромъ и т. п. Правда, и Ибсенъ не совсѣмъ кстати поминаетъ «законъ эволюціи» въ «Маленькомъ Эйольфѣ», а вышеупомянутые магическіе эффекты навѣяны, можетъ быть, сравнительно недавними изслѣдованіями и одно время модными опытами гипнотизма. Но вѣдь Ибсенъ предъявляетъ свои магическіе эффекты совсѣмъ не въ научномъ освѣщеніи. Если вліяніе Сольнеса на Кайю Фосли и Гильду Вангель, чары моряка въ «Эллидѣ», бабы-крысоловки въ «Маленькомъ Эйольфѣ» и подлежатъ объясненію гипнотизмомъ, то пожаръ дома жены Сольнеса, какъ онъ освѣщается самимъ Сольнесомъ, есть чудо, къ которому современная наука и подойти не можетъ, и подходить не захочетъ. Передъ ея чудомъ это—простое случайное совпаденіе или, самое большее, результатъ «предчувствія», основаннаго на безсознательномъ записываніи въ памяти признаковъ грозящей бѣды (или, съ точки зрѣнія Сольнеса, пріятности). Сольнесъ очень старается подчеркнуть то обстоятельство, что онъ намѣтилъ исходнымъ пунктомъ пожара трещину въ дымовой трубѣ, а пожаръ начался совсѣмъ въ другой сторонѣ. Но это еще не значитъ, что другіе признаки ветхости дома, неосторожное обращеніе домочадцевъ съ огнемъ и т. п. не отмѣчались имъ безсознательно и не складывались въ «предчувствіе» пожара. Однако, это простое объясненіе не приходитъ въ голову Сольнесу. Какъ смотритъ на это дѣло самъ Ибсенъ—мы не знаемъ, но во всякомъ случаѣ не видимъ съ его стороны кокетничанья научностью и современностью. Когда ими щеголялъ Эмиль Зола, то онъ прежде всего объявилъ войну всякой таинственности, а у Ибсена даже *врачъ* Вангель считаетъ эпизодъ Эллиды и моряка «необъяснимымъ» и весь образъ моряка,—какъ и образъ крысоловки въ «Маленькомъ Эйольфѣ»,—окруженъ ореоломъ таинственности.

Можетъ показаться, что Ибсенъ кокетничаетъ все-таки современностью, но въ ея не только не научныхъ, а даже прямо антиучныхъ проявленіяхъ. Всѣ эти маги, декаденты, цимбалисты, символисты, демонолатры, и какъ ихъ еще тамъ зовутъ, претендуютъ еще на титулы «новыхъ», «молодыхъ», современныхъ по преимуществу. А вмѣстѣ съ тѣмъ они стремятся, въ пику наукѣ, водрузить знамя тайны даже тамъ, гдѣ ему уже давнымъ давно нѣтъ мѣста. И такъ какъ Ибсенъ завѣдомо приноситъ чрезмѣрныя

жертвы на алтарь символизма, то, можетъ быть, онъ и другими своими сторонами примыкаетъ къ этой странной бандѣ. Можетъ быть, это одинъ изъ тѣхъ легкомысленныхъ и легковѣсныхъ людей, которые, какъ щепка, влекутся всякимъ новымъ теченіемъ, не соображая, кто, куда и зачѣмъ ихъ несетъ, лишь бы купаться въ новой, послѣдней волнѣ. Не принадлежитъ-ли Ибсенъ къ этой многочисленной, какъ всякая мелочь, породѣ? Но каковы бы ни были недостатки Ибсена, а онъ и «мелочь» вообще несовмѣстимы. Что же касается въ частности цимбалистской мелочи, то взять хоть бы только слѣдующее. Цимбалисты разныхъ наименованій почти всѣ безъ исключенія тяготѣютъ къ порнографіи, одни подъ предлогомъ «возрожденія», другіе подъ предлогомъ «декаданса», нѣкоторые же изъ нихъ переходятъ въ этомъ направленіи за предѣлы всякой благопристойности и даже здраваго смысла. А мы отчасти видѣли, какъ щепетиленъ, даже до анти-художественности, въ этомъ отношеніи Ибсенъ. Не только нѣтъ ни въ одной изъ его пьесъ тѣхъ словесныхъ nudités, которыя на разные, часто поразительно извращенные фасоны комбинируются цимбалистами, не только избѣгаетъ онъ изображеній такъ называемаго adultère'а, каковыми изображеніями живетъ, можно сказать, вся беллетристика, но и вообще до чрезмѣрности скупъ на картины любви. Наиболѣе общее, что имъ сказано о любви, вложено въ уста отца маленькаго Эйольфа: любовь подлежитъ, какъ и все на свѣтѣ, «закону эволюціи», неотвратимому закону измѣненій. Она остываетъ, какъ у отца маленькаго Эйольфа, распускается въ менѣе острыхъ чувствахъ дружбы, привычки, или преобразуется, одухотворяясь, облагораживаясь, какъ у Ревекки Вестъ въ «Росмерсгольмѣ», и т. п.

Это—характерное, но, разумѣется, не единственное отличіе Ибсена отъ цимбалистовъ. Сами магическіе эффекты, повидимому, нужны ему не ради ихъ таинственности, а какъ одно изъ выраженій роковыхъ силъ, непреодолимо принудительно управляющихъ судьбою человѣка. Поэтому то мы и видимъ въ его драмахъ, рядомъ съ магическими силами, подавляющее вліяніе природы, всеохватывающую силу любви, тяготѣніе наслѣдственности, непреклонный «законъ эволюціи», наконецъ, просто фатальное стеченіе обстоятельствъ, разныя случайныя, повидимому, совпаденія, недоразумѣнія, ошибки, изъ которыхъ роковымъ образомъ развиваются сложныя и важныя событія. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ такъ называемымъ «естественнымъ ходомъ вещей», представляющимъ цѣпь причинно связанныхъ явленій. Но мнѣ кажется, что Ибсену довольно безразлично, какъ называется эта неразрывная желѣзная цѣпь, въ чемъ состоитъ ея первая и главная при-

чина и ея общій теоретическій смыслъ, какъ одинъ изъ основныхъ элементовъ міроразумѣнія. Для него важенъ фактъ существованія этой желѣзной цѣпи, отдѣльные моменты которой суть вліяніе родины, наслѣдственность и т. п., а всю совокупность ея, напримѣръ, «Сѣверные богатыри» приписываютъ работѣ миѳологическихъ Норнъ,—и пусть; отецъ маленькаго Эйольфа безличному «закону эволюціи»,—и пусть. Если это такъ (а я не утверждаю этого съ рѣшительностью и высказываю только предположеніе), то въ общемъ философскомъ міровоззрѣніи норвежскаго драматурга есть очень, самъ по себѣ, важный пробѣлъ, который, однако, въ виду неотступно преслѣдующей Ибсена спеціальной задачи, значительной роли не играетъ.

Въ «Императорѣ и Галилеянинѣ» христіанка Макрина обращается къ Юліану съ такими словами: «Ты ничто иное, какъ бичъ въ рукахъ Божіихъ, посланный поражать насъ за наши грѣхи. Горе намъ, что такъ должно было случиться! Горе намъ, что разединенные и безъ любви другъ къ другу, мы уклонились отъ истиннаго пути! Не было болѣе царя во Израилѣ. И вотъ почему Господь поразилъ тебя безуміемъ и ты увѣровалъ, что долженъ преслѣдовать насъ. Какой разумъ былъ помраченъ, чтобы разнуздать его противъ насъ! Какое цвѣтущее дерево было оборвано, чтобы надѣлать изъ его вѣтвей хлыстовъ для нашихъ отягченныхъ грѣхами плечъ! Тебѣ были предостереженія, и ты не внялъ имъ. Тебя звали голоса, и ты не послушался ихъ. Для тебя были начертаны огненныя письмена, и ты не понялъ ихъ и стеръ... О! какъ могли наши братья и сестры надѣяться восторжествовать надъ этимъ посланнымъ?—прибавляетъ Макрина, обращаясь къ Василію: развѣ ты не видишь, Василій, что въ немъ Господь хочетъ казнить насъ смертью?» Размышляя передъ смертью о своей неудачной судьбѣ, Юліанъ говоритъ: «внѣ насъ есть таинственная сила, властно располагающая исходомъ человѣческихъ предпріятій». Философъ Максимъ, оплакивая смерть Юліана, называетъ его «жертвою необходимости», говоритъ и подчеркиваетъ (курсивъ у Ибсена), что *„хотѣть* значитъ *быть принужденнымъ хотѣть“*. Этотъ многознаменательный курсивъ не одинъ разъ встрѣчается въ драмѣ. Передъ самымъ объявленіемъ Юліана цезаремъ, Максимъ даетъ ему магическое представленіе, при чемъ таинственный голосъ такъ отвѣчаетъ на вопросы Юліана: «Зачѣмъ я былъ созданъ?—Чтобы служить духу.—Въ чемъ состоитъ мое назначеніе?—Ты долженъ основать царство.—Какимъ путемъ?—Путемъ свободы.—Въ чемъ состоитъ путь свободы?—Онъ есть путь необходимости.—Какъ я достигну цѣли?—Ты будешь *хотѣть*.—Чего я долженъ хотѣть?—Того, къ чему ты *вынужденъ*».

Отъ дальнѣйшихъ разъясненій таинственный голосъ отказывается, но за то Максимъ вызываетъ три тѣни или призрака, «три краеугольныхъ камня гнѣва необходимости, три великія опоры отрицанія». Это Каинъ, Іуда Искаріотъ и—самъ Юліанъ въ будущемъ. Послѣдній призракъ, впрочемъ, не появляется, а объ немъ только идетъ темная, загадочная рѣчь. Что же касается Каина и Іуды, то они объясняютъ, что ихъ назначеніе при жизни состояло именно въ томъ, чтобы совершить преступленія братоубійства и предательства: они *хотѣли* совершить эти преступленія, потому что были *принуждены хотѣть*, дабы на развалинахъ двухъ соотвѣтственныхъ царствъ воздвиглось высшее и объединяющее ихъ третье.

Ибсенъ, разумѣется, не отвѣтственъ за тотъ переплетъ язычества, юдаизма и христіанства, представителемъ котораго является философъ Максимъ. Эти мечты о «третьемъ царствѣ», эти наивно-ухищренныя оправданія Каина и Іуды и даже поклоненіе имъ—суть подлинныя историческія черты. Но если не личности эти, то понятія о нихъ Максима имѣютъ, очевидно, для Ибсена какое-то особенно важное значеніе. «Краеугольные камни гнѣва необходимости»; «первая жертва избранія», какъ называетъ Максимъ въ отдѣльности Каина; «добровольный рабъ, послужившій дальнѣйшему развитію міра», какъ онъ называетъ Іуду; «великій освобожденный подъ давленіемъ необходимости», какъ онъ величаетъ Юліана; надо «хотѣть», а «хотѣть значитъ быть вынужденнымъ хотѣть»,—все это на первый взглядъ очень темныя выраженія, но ясно, по крайней мѣрѣ, одно: мы и здѣсь имѣемъ дѣло все съ тою же желѣзною цѣпью, властно опредѣляющею судьбы человѣка, которую для «Сѣверныхъ богатырей» держатъ въ своихъ рукахъ дѣвы Норны, которую другіе называютъ «естественнымъ ходомъ вещей» или «закономъ эволюціи», которая, наконецъ, въ частности выражается законами наслѣдственности, вліяніемъ природы, гипнотическимъ вліяніемъ и проч.

Помѣщая своихъ героевъ въ различныя общественныя условія, въ различныя историческія эпохи и въ различныя страны, Ибсенъ предоставляетъ каждому изъ нихъ по своему формулировать роковую силу хода вещей, а самъ онъ лишь наблюдаетъ многочисленныя варіаціи столкновенія этой роковой силы съ чувствомъ отвѣтственности, возникающимъ въ душѣ его героевъ. Всѣ дѣйствующія лица «Сѣверныхъ богатырей» твердо знаютъ, что ткань ихъ жизни есть дѣло рукъ Норнъ и что всѣ они *должны* были дѣйствовать именно такъ, какъ дѣйствовали. Точно также въ видѣніи Юліана Каинъ, Іуда и самъ Юліанъ *принуждены* были хотѣть того, чего они хотѣли. Но это не мѣшаетъ ядо-

витымъ стрѣламъ оскорбленной чести и угнетенной совѣсти терзать сѣверныхъ богатырей, какъ не мѣшаетъ и Каину съ горечью восклицать въ видѣніи: «Зачѣмъ я не былъ моимъ братомъ!», и Іудѣ являться на вызовъ Максима съ веревкой на шеѣ, этимъ символомъ угрызеній совѣсти. И въ этомъ драма, въ этомъ корень всѣхъ драмъ Ибсена. При этомъ, что касается причинъ, поводовъ или мотивовъ для возникновенія мучительной работы оскорбленной чести и угнетенной совѣсти, то Ибсенъ опять таки предоставляетъ ихъ въ вѣдѣніе самихъ дѣйствующихъ лицъ, довольствуясь съ своей стороны лишь констатированіемъ и изображеніемъ факта страданія. Орнульфъ съ фіордовъ, исландскій вождь, считаетъ свою честь помраченною тѣмъ обстоятельствомъ, что Сигурдъ и Гуннаръ похитили его дочерей, родную и пріемную, и по отношенію къ Сигурду признаетъ свою честь возстановленною, когда тотъ соглашается уплатить выкупъ (300 серебряныхъ монетъ и шелковый плащъ съ золотымъ кружевомъ). Ибсенъ не мѣряетъ этого понятія о чести своимъ аршиномъ. Для него важно одно: Орнульфъ въ теченіе пяти лѣтъ, протекшихъ съ похищенія его дочерей, страдалъ оскорбленной честью, страданія эти стали, наконецъ, невыносимы, и онъ разыскалъ похитителей, чтобы либо получить отъ нихъ выкупъ, либо помѣряться съ ними въ «честномъ бою», кровавомъ, съ смертельнымъ исходомъ. А что какія-то триста серебряныхъ монетъ съ придачей шелковаго плаща уравниваются при этомъ въ цѣнѣ съ человѣческой жизнью — это уже дѣло Орнульфа, а не Ибсена. Когда какой-нибудь московскій бояринъ билъ челомъ своему государю, что ему «не вмѣстно» быть у пріема пословъ или въ палатѣ, или за царскимъ столомъ ниже такого то другого боярина, и просилъ царя не отнимать у него, «холопа» своего, его «честишки», то можетъ казаться, что это и въ самомъ дѣлѣ была не честь, а «честишка», хлопотать изъ за которой смѣшно и глупо. Конечно, съ нашей теперешней точки зрѣнія это смѣшно и глупо, а пожалуй, и противорѣчиво: называть себя «холопомъ», а свою честь уничижительнымъ словомъ «честишка» и все-таки стоять за нее. Положимъ, что не всегда обиженный бояринъ прибѣгалъ къ этому спеціально московскому уничижительному обороту рѣчи, но дѣло не въ этой мелкой формальности. Обиженный бояринъ готовъ былъ принять и позорнѣйшее наказаніе — битье батогами, лишь бы не сидѣть ниже менѣе «родословнаго» сослуживца. Но это только и значитъ, что для боярина XVII вѣка тѣлесное наказаніе было либо совсѣмъ не позорно, либо менѣе позорно, менѣе безчестило его, чѣмъ сидѣнье ниже такого-то. При томъ же это былъ пунктъ, на которомъ онъ, такъ искренно именовавшій себя «холопомъ»,

иногда съ чрезвычайнымъ упорствомъ отказывался повиноваться. А такъ какъ физическую боль наказанія или матеріальный ущербъ отъ конфискаціи имущества упорствующій бояринъ во всякомъ случаѣ способенъ былъ чувствовать, то ясно, что онъ дѣйствительно глубоко страдалъ отъ помраченія своей чести, какъ онъ ее понималъ. И если бы Ибсенъ могъ написать драму изъ московской жизни XVII вѣка, то, конечно, оттѣнилъ бы эту общечеловѣческую черту страданія оскорбленной чести въ отжившей исторической обстановкѣ мѣста и времени. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ въ этой же обстановкѣ нашелъ бы соотвѣтственную формулу необходимости всего сущаго вообще, каждаго шага, каждой частности въ отдѣльности, а, слѣдовательно, и той бѣды, которая постигла оскорбленнаго боярина. Или, быть можетъ, не прибѣгая къ такой формулѣ, онъ просто такъ расположилъ бы ходъ событій, что ихъ причинная связь оказалась бы неразрывною цѣпью, изъ которой ни одного звена нельзя выкинуть, а въ концѣ ея оказалась бы непереносная обида. И тѣмъ не менѣе бояринъ не примирился бы съ этой необходимой, неизбѣжной обидой: она зіяла бы и сочилась, какъ зіяетъ и сочится душевная рана строителя Сольнеса, нанесенная не оскорбленною честью, а другимъ, не менѣе острымъ оружіемъ,— угнетенною совѣстью; какъ символъ угрызеній совѣсти — веревка остается на шеѣ Іуды въ видѣніи Юліана, хотя предатель и говоритъ, что онъ «принужденъ» былъ совершить свое преступленіе, и Максимъ, и Юліанъ этому вѣрятъ.

Рудинъ писалъ статью «о трагическомъ въ жизни и искусствѣ», но такъ и не кончилъ. Онъ «не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью» и «не довольно уяснилъ себѣ трагическое значеніе любви». На робкое замѣчаніе Натальи, что, по ея мнѣнію, «трагическое въ любви, это — несчастная любовь», Рудинъ отвѣтилъ: «Вовсе нѣтъ! это скорѣе комическая сторона любви... Вопросъ этотъ надобно совсѣмъ иначе поставить... надо поглубже зачерпнуть». И затѣмъ заговорилъ на ту, повидимому, не идущую къ дѣлу тему, что въ любви «все тайна».

Рудинъ не окончилъ своей статьи, да и начала ея мы не знаемъ, а потому не можемъ судить объ той постановкѣ вопроса, въ силу которой «несчастная любовь» есть «скорѣе комическая сторона любви». А дѣло, очевидно, въ какой-то особой постановкѣ вопроса, потому что любовь, какъ и всякая другая страсть, можетъ получить и трагическое, и комическое освѣщеніе. И хотя замѣчаніе Натальи наивно, но она стоитъ все-таки ближе къ истинѣ, чѣмъ Рудинъ: «несчастная любовь» есть во всякомъ слу-

чаѣ «скорѣе» «трагическое въ любви», чѣмъ «комическая сторона любви». Несчастная любовь есть источникъ страданій, а страданіе есть необходимый элементъ трагедіи. Но дѣло въ томъ, что не всякое страданіе можетъ стать сюжетомъ трагедіи, и не всегда и не всякій художникъ можетъ найти для страданія трагическое освѣщеніе. Для этого страданіе должно получить прежде всего общечеловѣческій характеръ. Шестидесятилѣтняя старуха можетъ влюбиться въ двадцатилѣтняго юношу и глубоко страдать отъ нераздѣленной любви, но это явленіе слишкомъ исключительное и ненормальное, чтобы удержаться на высотѣ трагедіи. Такая героиня по необходимости будетъ все время ходить по краю пропасти, отдѣляющей трагическое отъ смѣшного, отвратительнаго и жалкаго. По этой же причинѣ темы историческія, въ родѣ вышеупомянутой бѣды московскаго боярина XVII вѣка, или съ сильной этнографической окраской, требуютъ для трагической обработки либо выдающагося художественнаго таланта, либо такого проникновенія какою-нибудь общечеловѣческою идеей, которое выдвигало бы ее изъ слишкомъ намъ чуждой, исторической и этнографической, обстановки на первый планъ. Иначе это будетъ, въ лучшемъ случаѣ, можетъ быть, очень вѣрная драматизированная историческая хроника или этнографическая картина, но не трагедія. А въ худшемъ случаѣ произойдетъ опять то же хожденіе по краю пропасти, отдѣляющей трагическое отъ жалкаго, отвратительнаго и комическаго. Дѣло не въ любви или какой бы то ни было другой страсти, какъ таковой. Всякая страсть можетъ получить «трагическое значеніе», если она становится источникомъ страданія, достаточно возвышеннаго, чтобы отражать въ себѣ нѣчто общечелсвѣческое и вызывать въ насъ состраданіе. И трагедія въ основныхъ своихъ чертахъ никогда не выбивалась и не можетъ выбиться изъ предѣловъ, указанныхъ ей еще греческими трагиками: это—столкновеніе личности, личной воли и личнаго разума съ роковыми стихійными силами необходимости, такъ или иначе понимаемыми. Мѣняются взгляды на относительное значеніе борящихся элементовъ, мѣняются моральные выводы изъ столкновенія, мѣняются требованія, предъявляемыя тою или другою литературною школою относительно исхода трагедіи, но сущность «трагическаго въ жизни и въ искусствѣ» остается неизмѣнною отъ греческихъ классиковъ до Ибсена. Это не мѣшаетъ, конечно, каждому художнику вносить нѣчто свое, оригинальное въ постановку и разработку трагическаго сюжета.

Въ недавно вышедшей біографіи Ибсена, написанной г. Минскимъ («Біографическая библіотека Ф. Павленкова»), находимъ, между прочимъ, слѣдующія строки:

«Послѣдняя драма Ибсена: «Маленькій Эйольфъ», кажется намъ и неудачной, и, что всего удивительнѣе, неоригинальной. У Ибсена иногда является желаніе въ самомъ концѣ своихъ отрицательныхъ пьесъ ставить неожиданный плюсъ. Такъ, «Брандъ» кончается словами: «онъ есть deus caritatis», противорѣчащими всей пьесѣ, «Перъ Гинтъ» — сценой съ Сольвейгъ, тоже идущей въ разрѣзъ съ идеей поэмы. Такимъ неожиданнымъ финаломъ всей дѣятельности Ибсена является «Маленькій Эйольфъ», — проповѣдь любви къ ближнимъ и благотворительности. Если мы не ошибаемся, эта пьеса, равно какъ и «Докторъ Паскаль» Эмиля Золя, написаны не безъ тайнаго намѣренія соперничать съ Толстымъ, замѣнить проповѣдь русскаго романиста домашними средствами. И та, и другая попытки намъ кажутся ровно неудачными».

Намъ теперь дѣла нѣтъ до «Доктора Паскаля» и Эмиля Золя, оставимъ ихъ въ покоѣ. Но г. Минскій, преклоняющійся передъ умомъ, талантомъ и характеромъ Ибсена, объявляющій его «первоклассным геніемъ», при томъ далеко еще не сказавшимъ своего послѣдняго слова; г. Минскій, мнѣ кажется, слишкомъ унижаетъ этого во всякомъ случаѣ крупнаго человѣка, приписывая ему такой маленькій мотивъ, какъ соперничество съ Толстымъ на почвѣ подражанія. Какую, въ самомъ дѣлѣ, лягушечью, «видомъ малую и не безсмертную» душу надо имѣть, чтобы заняться «проповѣдью любви къ ближнему и благотворительности» въ отмѣну какихъ-то прежнихъ своихъ убѣжденій, но не въ силу дѣйствительной ихъ перемѣны, а собственно потому, что Толстой этой проповѣдью занимался! Если это вѣрно, то не вѣренъ весь портретъ Ибсена, нарисованный г. Минскимъ. Но хотя я и не могу признать портретъ работы г. Минскаго вѣрнымъ, по совершенно другимъ соображеніямъ, однако приведенное предположеніе, кажется мнѣ, могло родиться только въ головѣ современнаго россійскаго человѣка изъ тѣхъ, что не имѣютъ за душой ни одного настоящаго, искренняго убѣжденія, а примыкаютъ къ тому или другому теченію по чисто внѣшнимъ мотивамъ, — потому что оно модное, потому что оно «послѣднее слово», потому что оно создаетъ почву для «соперничества» и т. п.

«Маленькій Эйольфъ» дѣйствительно далеко не изъ лучшихъ произведеній Ибсена, но во многихъ отношеніяхъ эта драма особенно для него характерна, и г. Минскій совершенно напрасно смущается ея примирительнымъ концомъ, этимъ, какъ онъ выражается, «плюсомъ» къ «отрицательной пьесѣ». Во-первыхъ, онъ и самъ указываетъ нѣкоторые другіе плюсы въ пьесахъ Ибсена; во-вторыхъ, онъ не доказалъ, а лишь сказалъ, что эти плюсы приклеены произвольно, не вытекая изъ самого хода дѣйствія; въ-

третьихъ онъ указалъ далеко не всѣ плюсы. Съ точки зрѣнія г. Минскаго, недостаточно ясно выраженной, но легко все-таки различимой, неожиданнымъ плюсомъ должны оказаться и конецъ «Праздникъ въ Сольгаугѣ» (любящая пара соединяется бракомъ, Маргитъ уходитъ въ монастырь), и конецъ «Столповъ общества» (опять таки любящая пара соединяется бракомъ, Берникъ обращается къ честной жизни), и еще многое другое. А когда критикъ встрѣчаетъ въ изучаемомъ писателѣ столько неожиданностей, съ своей точки зрѣнія, то это значитъ, что онъ стоитъ на ложной, ошибочной точкѣ зрѣнія.

Я съ самаго начала оговорился, что не буду касаться біографіи Ибсена и хода его духовнаго развитія, а беру лишь его драмы даже независимо отъ ихъ хронологическаго порядка. Очень понимаю, что этимъ задача суживается, но только суживается, а не теряетъ своего raison d'être. Дѣло въ томъ, что Ибсенъ не великій художникъ, но настоящій художникъ, въ произведенія котораго многое прорывается помимо его воли и сознанія. Именно, прорывается. Его творчество представляетъ собою, какъ бы сравнительно узкую дверь, въ которую безпорядочно, другъ друга толкая и придавливая, даже калѣча, а иногда не успѣвая даже какъ слѣдуетъ сложиться, ломится множество образовъ, и авторъ, при всемъ желаніи, не въ силахъ ихъ дисциплинировать, управиться съ ними, такъ что иной разъ и самыя двери трещатъ. Отсюда, при немногочисленности основныхъ мотивовъ, плодовитость Ибсена, крайняя сложность и запутанность его драмъ, грубая подчеркнутость или, напротивъ, блѣдная недодѣланность многихъ дѣйствующихъ лицъ. Отсюда же — возможность для критики говорить объ томъ, что въ его драмахъ *сказалось*, независимо отъ того, что онъ *хотѣлъ сказать*.

Какъ уже сказано въ прошлый разъ, центральный пунктъ вниманія Ибсена едва-ли не во всѣхъ его драмахъ есть сюжетъ книги, надъ которою работаетъ отецъ маленькаго Эйольфа: «отвѣтственность человѣка». Вопросъ объ отвѣтственности явственно не даетъ покою Ибсену на всемъ протяженіи его литературной дѣятельности. Какъ онъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ для себя; приходилъ-ли онъ въ различные періоды своей жизни къ различнымъ рѣшеніямъ; какъ отражались эти различныя рѣшенія на другихъ сторонахъ его философскаго міросозерцанія и нравственно-политическаго образа мыслей, — все это, конечно, очень интересно. Но и помимо всего этого остаются самыя драмы, представляющія собою нѣчто въ родѣ картинной галлереи, гдѣ почти каждая картина имѣетъ сюжетомъ отвѣтственность, какъ ее понимаютъ, принимаютъ или отвергаютъ разные люди. Размѣры кар-

тинъ мѣняются: то маленькій этюдъ изъ жизни захолустнаго норвежскаго городка, то огромное полотно, посвященное крупному историческому моменту. Большинство картинъ загромождено множествомъ ненужныхъ деталей, раздваивающихъ вниманіе зрителя параллельныхъ завязокъ и развязокъ, смутныхъ, недодѣланныхъ, передѣланныхъ, искалѣченныхъ образовъ, непроизвольно проскакивающихъ въ двери творчества черезъ порогъ сознанія. Но имѣющими очи они въ концѣ концовъ не мѣшаютъ усмотрѣть основной сюжетъ: отвѣтственность въ двоякой формѣ вины и заслуги, совѣсти и чести, трагически освѣщенныхъ; а это трагическое освѣщеніе достигается столкновеніемъ личной воли и сознанія съ роковой силой необходимости. Я совершилъ грѣхъ и не могъ не совершить его при данныхъ обстоятельствахъ, *вынужденъ* былъ совершить, но совѣсть все-таки неумолимо гложетъ меня; я претерпѣлъ обиду, и не могъ не получить ее, но примириться съ ней мнѣ воспрещаетъ моя честь:—таковъ главный пунктъ вниманія Ибсена, заинтересовывающій и читателя, хотя онъ, читатель, можетъ быть, едва чуетъ его сквозь толщу разныхъ ненужностей. Пусть этотъ бунтъ личности противъ роковыхъ стихійныхъ силъ безуменъ, но съ тѣхъ поръ, какъ зародились въ человѣчествѣ уязвленная совѣсть и оскорбленная честь, и вплоть до тѣхъ поръ, какъ онѣ перестанутъ его терзать, этотъ бунтъ былъ, есть и будетъ для мыслящаго и чувствующаго человѣка интереснѣйшимъ моментомъ жизни. Я говорю: для мыслящаго и чувствующаго человѣка,—потому что люди съ лягушечьей душой, или съ головой, нафаршированной непродуманными теоріями детерминизма, могутъ, конечно, только плечами пожимать, глядя на это праніе противъ рожна необходимости. Я говорю далѣе: съ тѣхъ поръ, какъ зародилась уязвленная совѣсть и оскорбленная честь, и до тѣхъ поръ, пока онѣ не погаснутъ,—потому что было время, когда человѣкъ ничего не стыдился и ничѣмъ не оскорблялся, а будущее неизвѣстно: быть можетъ, насъ ждетъ тамъ не только измѣненіе нынѣшнихъ поводовъ для страданій уязвленной совѣсти и оскорбленной чести, а полная атрофія способности страдать, потому-ли, что все станетъ «добро зѣло», или потому, что вновь наступитъ пора жестоковыйности... Что касается исхода трагедіи уязвленной совѣсти и помраченной чести, то, надо отдать справедливость Ибсену, онъ смотритъ на дѣло несравненно шире, чѣмъ его біографъ, г. Минскій, требующій отъ него, во имя послѣдовательности и вѣрности своимъ убѣжденіямъ, непремѣнно неблагополучнаго, отрицательнаго, мрачнаго исхода. Ибсенъ не скупится на этого рода исходы, но каковы бы ни были его собственные взгляды, онъ знаетъ, что въ жизни трагедія, настоящая, потрясающая трагедія не всегда оканчивается мрачно;

знаетъ и изображаетъ это. А въ предлагаемой статьѣ намъ дѣла нѣтъ до того, чему Ибсенъ хочетъ поучать читателей и зрителей: мы обращаемся въ его картинную галлерею не за поученіями, а за изображеніями, оставляя за собою право сдѣлать изъ нихъ свои собственные выводы. Прошу замѣтить: я не говорю, что Ибсенъ не хочетъ поучать или что его поученіями не стоитъ заниматься, я просто не касаюсь этой стороны дѣла. Задача г. Минскаго совершенно другая, сама по себѣ столь же законная, конечно, какъ и моя, но, очевидно, благодаря ложной точкѣ зрѣнія, онъ фактически не правъ, объявляя конецъ «Маленькаго Эйольфа» «неожиданнымъ», какимъ-то чужимъ клиномъ, вбитымъ въ творчество Ибсена какими-то сторонними соображеніями.

Повторяю, драма «Маленькій Эйольфъ», со всѣми ея достоинствами и недостатками, съ ея общей архитектурой и во всѣхъ ея подробностяхъ, есть одно изъ характернѣйшихъ произведеній Ибсена. Посмотримъ на нее нѣсколько ближе.

У супруговъ Альмерсовъ, Альфреда и Риты, есть маленькій сынъ, Эйольфъ. Это слабый, болѣзненный мальчикъ, хромой, ходитъ съ костылемъ. Родился онъ не такимъ, но когда онъ былъ еще груднымъ ребенкомъ, мать оставила его однажды спящимъ. подъ присмотромъ своего мужа, но затѣмъ вернулась и «пожирающимъ пламенемъ своей красоты» увлекла мужа, а мальчикъ, какъ разъ въ минуту ихъ упоенія страстью, упалъ и остался на всю жизнь калѣкой. Но не долга была эта жизнь: девяти лѣтъ Эйольфъ, благодаря своей слабости и неловкости, утонулъ, и только всплывшій на поверхность воды костыль отъ него остался.

Читатель, знакомый съ Ибсеномъ, хотя бы только по моимъ бѣглымъ замѣткамъ, уже догадывается, конечно, что смерть маленькаго Эйольфа становится источникомъ жесточайшихъ угрызеній совѣсти для его родителей. Но мученія эти, по крайней мѣрѣ для самого Альфреда Альмерса, если не для Риты, начались не со смертью Эйольфа. Видъ маленькаго калѣки всегда возбуждалъ въ немъ волненія совѣсти, и вѣроятно именно это заставляетъ его усиленно работать надъ сочиненіемъ объ «отвѣтственности человѣка», а затѣмъ бросить и эту работу, чтобы перейти отъ слова къ дѣлу, и всю жизнь свою отдать на воспитаніе маленькаго Эйольфа, за несчастіе котораго онъ чувствуетъ себя отвѣтственнымъ. Но какъ разъ въ то время, когда онъ принимаетъ это рѣшеніе, мальчикъ погибаетъ. Обратите вниманіе на тѣ смягчающія вину Альмерса обстоятельства, которыя скопляетъ Ибсенъ. Едва-ли многіе изъ романистовъ, драматурговъ, поэтовъ, вообще беллетристовъ, задумавъ положеніе Альмерса, избѣжали бы искушенія сдѣлать Эйольфа плодомъ такъ называемой незаконной любви и тѣмъ, съ

извѣстной точки зрѣнія, усугубить и, во всякомъ случаѣ, расцвѣтить вину Альмерса. Ибсену это совсѣмъ не нужно. У него все дѣло разыгрывается въ предѣлахъ, повидимому, обыденной дѣйствительности: мальчикъ «спокойно спалъ на своемъ тюфячкѣ», а родители предавались обычнымъ и естественнымъ, вполнѣ «законнымъ» супружескимъ ласкамъ. Какой-то фатумъ устроилъ совпаденіе момента этихъ страстныхъ ласкъ съ паденіемъ ребенка, навсегда испортившимъ его жизнь. И опять какой-то фатумъ устраиваетъ совпаденіе гибели маленькаго Эйольфа съ рѣшеніемъ отца отдать ему всю свою жизнь, всего себя. На этотъ разъ фатумъ воплощается, съ одной стороны, въ «бабѣ-крысоловкѣ», которая своими непреодолимыми чарами (или гипнотическимъ внушеніемъ) заманила Эйольфа въ воду, а съ доугой—въ Ритѣ, которая, въ порывѣ бѣшеной ревности, пожелала, чтобы мальчикъ умеръ,—и желаніе ея исполнилось, какъ исполнилось желаніе строителя Сольнеса, чтобы сгорѣлъ домъ его жены. Не смотря, однако, на эти обстоятельства, смягчающія отвѣтственность Альмерса, растворяющія ее въ цѣломъ рядѣ обыденныхъ, естественно-необходимыхъ или непреодолимыхъ событій, щемящая работа совѣсти не даетъ Альмерсу покоя. А Ибсенъ, одной рукой скопляя эти смягчающія обстоятельства, другою — вводитъ въ жизнь своего героя новые источники угрызеній совѣсти. Оказывается, что чувство, связывающее Альмерса съ женой, есть главнымъ образомъ или даже исключительно чувственность, къ которой прибавляется элементъ, еще болѣе низменный: женясь на Ритѣ, онъ собственно продался (мотивъ, какъ уже знаетъ читатель, нерѣдкій у Ибсена); по крайней мѣрѣ, онъ такъ думаетъ, вспоминая свою бѣдность и рѣзкую перемѣну своего матеріальнаго положенія послѣ женитьбы на богатой Ритѣ. Онъ зналъ во всякомъ случаѣ, что эта женитьба дастъ ему возможность спокойно «учиться и работать» и обезпечитъ его сводную сестру Асту, съ которою его связываютъ самыя нѣжныя чувства. Въ этихъ отношеніяхъ мы опять встрѣчаемъ нѣчто очень характерное для Ибсена. Въ теченіи драмы выясняется, что Аста не сестра Альмерса, — она есть плодъ «незаконнаго» увлеченія своей матери, да и чувства ея къ Альмерсу не сестринскія, но она не даетъ имъ разыграться и уѣзжаетъ, говоря Альмерсу на прощанье: «бѣгу отъ тебя и отъ себя самой». Вы опять узнаете Ибсена, на этотъ разъ со стороны его щепетильности въ дѣлахъ любви: объ одномъ «веселомъ грѣхѣ» мы только узнаемъ изъ пьесы, а въ дѣйствіи его нѣтъ, есть только плодъ его — Аста, а другому грѣху авторъ не даетъ совершиться, заставляя Асту бѣжать отъ искушенія. Но все это, разумѣется, способствуетъ чрезмѣрной сложности и запутанности драмы, а мы еще совсѣмъ обошли

личность инженера Борхгейма, равно какъ и то осложняющее обстоятельство, что Альмерсъ задолго до катастрофы прозвалъ Асту, неизвѣстно почему, Эйольфомъ, и большой и маленькій Эйольфы какъ бы сливаются иногда въ одно лицо. Нѣтъ, наконецъ, въ драмѣ недостатка и въ символическихъ разговорахъ о «горахъ», «пропастяхъ», «небесахъ», «глубинѣ», «звѣздахъ».

Читатель видитъ, что если пьесу «Маленькій Эйольфъ» и можно назвать «не оригинальной», то развѣ только въ томъ смыслѣ, что Ибсенъ здѣсь во многомъ повторяетъ самого себя. Но мы уже видѣли и еще увидимъ, что онъ повторяетъ себя очень часто, лишь на разные лады комбинируя нѣсколько основныхъ своихъ мотивовъ и вводя ихъ въ разныя рамки, но неизмѣнно при этомъ и, повидимому, непроизвольно вызывая безнужную и затемняющую дѣло толкотню образовъ. Многихъ плѣняетъ происходящая отсюда смутность, неясность, въ которой они видятъ глубину. Глубина не въ этой смутности, и такіе цѣнители напоминаютъ человѣка, который любовался бы въ прекрасномъ, но изрытомъ оспою лицѣ, именно, этими оспенными язвинами...

Эйольфъ умеръ, Аста уѣхала, супруги Альмерсы остаются одни, въ настоящемъ нравственномъ аду, переполненномъ скорбными воспоминаніями, угрызеніями совѣсти и взаимными упреками. Совмѣстная жизнь становится невыносимою, и Альмерсъ рѣшаетъ уѣзжать. Но тутъ происходитъ слѣдующій эпизодъ. Дѣйствіе происходитъ въ имѣніи Альмерса, въ которомъ на морскомъ берегу есть какая-то деревушка. До слуха угрызающихся и перекоряющихся супруговъ доносится оттуда «сильный шумъ и восклицанія сердитыхъ голосовъ». Узнавъ въ чемъ дѣло, Альмерсъ говоритъ женѣ: «По настоящему слѣдовало бы уничтожить эту деревушку. Вотъ мужчины пришли домой пьяные, по своей привычкѣ. Ребятишекъ своихъ колотятъ. Слышишь, какъ ревутъ? А матери зовутъ на помощь».—Рита предлагаетъ послать кого-нибудь помочь имъ, но Альмерсъ гнѣвно отвергаетъ это предложеніе: вѣдь и маленькій Эйольфъ погибъ на глазахъ этихъ людей, и они не помогли ему, съ какой же стати онъ, Альмерсъ, будетъ теперь помогать имъ? Мало того, онъ рѣшается даже согнать жителей деревушки съ мѣста, и пусть эта толпа бѣдняковъ убирается, куда хочетъ, потому что маленькій Эйольфъ долженъ быть отомщенъ. Онъ требуетъ, чтобы Рита непремѣнно исполнила это послѣ того, какъ онъ уѣдетъ. Рита возражаетъ, что она этого не сдѣлаетъ, а, напротивъ, возьметъ заброшенныхъ ребятишекъ къ себѣ и будетъ ихъ воспитывать. Альмерсъ пораженъ, и между супругами происходитъ такой діалогъ:

Альмерсъ. Сущее безуміе! Я не знаю никого на свѣтѣ менѣе, чѣмъ ты, способнаго на подобное дѣло!

Рита. Ну, что-жъ! Мнѣ придется стать на его высоту, поучиться ему, поупражняться!

Альмерсъ. Если все, что ты говоришь, серьезно, то, право, надо думать, что ты подверглась перерожденію.

Рита. Да, во мнѣ произошелъ переворотъ, Альфредъ. И это благодаря тебѣ. Въ душѣ моей образовалась пустота. Я и хочу попробовать заполнить ее чѣмъ-нибудь, похожимъ на любовь.

Альмерсъ (*нѣкоторое время въ задумчивости смотритъ на Риту*). Это правда, мы немного сдѣлали для тѣхъ бѣдняковъ, что живутъ тамъ внизу.

Рита. Мы ровно ничего для нихъ не сдѣлали.

Альмерсъ. Изрѣдка развѣ случалось вспоминать о нихъ!

Рита. И никогда съ состраданіемъ.

Альмерсъ. Мы-то, у которыхъ денегъ куры не клюютъ!

Рита. Наши карманы были закрыты для нихъ. Сердца—тоже.

Альмерсъ (*одобрительно кивая головой*). Поэтому-то не мудрено, что никто изъ нихъ не отважился рисковать жизнью для спасенія маленькаго Эйольфа.

Рита (*понижая голосъ*). Скажи, Альфредъ, ты твердо увѣренъ, что мы сами рѣшились бы подвергнуть себя такой опасности?

Альмерсъ (*въ смущеніи*). Рита! Неужели ты сомнѣваешься, что...

Рита. Полно, вѣдь мы крѣпко привязаны къ землѣ.

Альмерсъ. Наконецъ, что ты, въ сущности, намѣрена сдѣлать для этихъ брошенныхъ дѣтей?

Рита. Прежде всего, я хочу попытаться сдѣлать ихъ жизнь счастливѣе и благороднѣе.

Альмерсъ. Если тебѣ это удастся, то Эйольфъ не даромъ пожилъ на свѣтѣ.

Рита. И есть смыслъ въ томъ, что онъ отнятъ у насъ!

Альмерсъ (*пристально смотритъ на нее*). Только пойми, Рита, что не любовь побуждаетъ тебя на такой подвигъ.

Рита. Нѣтъ. Или, по крайней мѣрѣ, пока еще нѣтъ.

Альмерсъ. Что-же въ такомъ случаѣ?

Рита (*не отвѣчая на вопросъ прямо*). Ты часто говаривалъ съ Астой объ «отвѣтственности человѣка».

Альмерсъ. Да объ этой книгѣ, которую ты ненавидишь.

Рита. Я все еще продолжаю ненавидѣть ее. Но я присуствовала, когда ты говорилъ, и слушала. Теперь я хочу пойти этимъ путемъ. Самостоятельно, на свой ладъ.

Альмерсъ (*качая головой*). Тутъ, конечно, не при чемъ мое неоконченное сочиненіе.

Рита. Нѣтъ. У меня еще другое побужденіе.

Альмерсъ. Какое?

Рита (*тихо съ печальной улыбкой*). Видишь-ли, мнѣ хотѣлось бы угодить этимъ большимъ, широко раскрытымъ дѣтскимъ глазкамъ.

Альмерсъ (*пораженный смотритъ на нее*). Не могу-ли я... помочь тебѣ, Рита?

Рита. Ты желалъ бы?

Альмерсъ. Да, если-бъ былъ увѣренъ, что могу быть полезнымъ.

Рита (*колеблясь*). Но вѣдь въ такомъ случаѣ тебѣ пришлось бы остаться здѣсь.

Альмерсъ (*понижая голосъ*). Развѣ попытаться...
Рита (*едва слышно*). Да, Альфредъ, попытаемся...

Далѣе діалогъ съѣзжаетъ на символическія темы о «высотахъ» и «звѣздахъ». Можно, конечно, сказать, что этотъ символизмъ не украшаетъ финала «Маленькаго Эйольфа» и что финалъ наступаетъ слишкомъ быстро, чѣмъ портится художественное впечатлѣніе. Но и символизмъ, и антихудожественная торопливость вообще свойственны Ибсену. Едва-ли найдется хоть одна его пьеса, которой нельзя было бы предъявить этотъ упрекъ, по крайней мѣрѣ, относительно той или другой частности. А затѣмъ и въ другихъ отношеніяхъ финалъ «Маленькаго Эйольфа» столь же подлинно Ибсеновскій, какъ и вся пьеса. И, можетъ быть, меньше всего тутъ слѣдуетъ искать подражанія Толстому въ его проповѣди любви къ ближнимъ. Что именно проповѣдуетъ или хочетъ проповѣдывать Ибсенъ, — мы этого не касаемся, но фактъ тотъ, что, по словамъ Альмерса, «не любовь побуждаетъ Риту на подвигъ», и сама Рита съ этимъ соглашается. Она хочетъ только заполнить образовавшуюся въ ея душѣ пустоту «чѣмъ-нибудь похожимъ на любовь». Настоящая любовь, можетъ быть, и придетъ съ теченіемъ времени, но пока, въ драматическомъ дѣйствіи, ея нѣтъ, а двигателемъ является совѣсть. Если-же на почвѣ этой работы совѣсти мы имѣемъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ» примирительный финалъ, то и это, по малой мѣрѣ, не противорѣчитъ общей литературной физіономіи Ибсена. Мы уже видѣли такой же примирительный финалъ въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ»: Маргитъ, «испытавъ весь ужасъ, все раскаяніе и муки души, готовой продать себя для земныхъ благъ», рѣшается «искупить свой грѣхъ» въ стѣнахъ монастыря и благословляетъ союзъ Гудмунда и Сигны, для которыхъ «настаетъ утро, настаетъ день счастія, день блаженства». Сейчасъ мы увидимъ во многихъ отношеніяхъ еще болѣе характерный примирительный финалъ.

Въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» Сигурдъ совершаетъ подвигъ, заслугу, честь котораго предоставляетъ по дружбѣ Гуннару. Богатый до излишества расцвѣчающими подробностями, но почти бѣдный въ комбинаціи *основныхъ* мотивовъ, Ибсенъ строитъ драму «Столпы общества» на весьма сходномъ, или, скажемъ, параллельномъ основаніи. Только въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» дѣло идетъ почти исключительно о чести, а въ «Столпахъ общества»—главнымъ образомъ о совѣсти: изъ дружбы Іоганнъ Теннезенъ беретъ на себя вину, грѣхъ Карстена Берника. Въ результатѣ этотъ Берникъ такая же ворона въ павлиньихъ перьяхъ, какъ и Гуннаръ. Только вполнѣ безсовѣстная. Онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ и, повиди-

мому, совершенно свыкся съ мыслью, что оказываемый ему почетъ имъ дѣйствительно заслуженъ; онъ готовъ даже, для сохраненія этого почета, на новый и еще болѣе тяжкій грѣхъ, а именно утопить (въ буквальномъ смыслѣ слова утопить въ морѣ) своего великодушнаго друга. Драма, по обыкновенію, осложнена и запутана множествомъ вводныхъ лицъ и подробностей, и разсказывать ея содержаніе я не буду. Для насъ важенъ теперь конецъ драмы. Роя другому яму, Берникъ самъ едва уцѣлѣлъ на ея краю; думая утопить Теннезена, онъ едва не утопилъ своего сына (Олафа, «маленькаго Олафа»), и лишь счастливая случайность, не только независимая отъ воли Бернака, а прямо противъ его воли происшедшая, спасла мальчика. Потрясенный этимъ обстоятельствомъ, равно какъ и всѣмъ ходомъ драмы, Берникъ произноситъ публичную покаянную рѣчь. Объ этой рѣчи, какъ по ея содержанію и характеру, такъ и по эффектной обстановкѣ, при которой она произносится, пожалуй, можно сказать, что она напоминаетъ Толстого, но не со стороны проповѣди любви къ ближнему, а со стороны пробудившейся совѣсти. Разумѣю заключительную сцену «Власти тьмы». И у Ибсена, и у Толстого покаянныя рѣчи героевъ произносятся въ моментъ торжественныхъ празднествъ, въ которыхъ героямъ предстоитъ играть видную, и именно почетную роль; и у Ибсена, и у Толстого публичное покаяніе героевъ является совершенною, ошеломляющею неожиданностью для собравшагося на празднество народа. Можно указать и еще черты сходства, но для этого надо было разсказывать содержаніе «Столповъ общества» въ подробности. Мудрено, однако, вывести отсюда заключеніе, что Ибсенъ подражаетъ Толстому, такъ какъ «Столпы общества» появились почти за десять лѣтъ до «Власти тьмы» (1877—1886). Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, и того, чтобы Толстой въ свою очередь подражалъ Ибсену, и я спѣшу подчеркнуть одну рѣзкую и очень для насъ здѣсь важную разницу между двумя драмами.

У Толстого Никита самымъ своимъ покаяніемъ осуждаетъ себя на изгнаніе изъ общества, чтобы гдѣ нибудь на каторгѣ искупить свою вину тяжкими трудами и страданіями. У Ибсена дѣло поставлено совсѣмъ иначе. Вотъ начало покаянной рѣчи Берника.

«Сограждане! Вашъ ораторъ сказалъ, что мы стоимъ сегодня на порогѣ новой эры,—и я надѣюсь, что его слова оправдаются. Но чтобы это было возможно, мы должны обратиться къ правдѣ,—которой до сихъ поръ у насъ нигдѣ и ни въ чемъ не было мѣста. (*Удивленіе среди присутствующихъ*). Я долженъ начать съ того, что отстраню отъ себя похвалы, которыми вы, г-нъ адьюнктъ, засыпали меня, какъ это водится въ подобныхъ случаяхъ. Я не

заслужилъ ихъ, потому что до сего дня я не былъ безкорыстнымъ человѣкомъ. Если я и не всегда стремился къ денежной выгодѣ, то все же мнѣ теперь ясно, что при большинствѣ моихъ дѣйствій побудительными мотивами являлась жажда власти, вліянія и почета... Передъ моими согражданами я не чувствую за это угрызеній совѣсти; потому что я и теперь еще думаю, что могу стать въ ряду самыхъ достойныхъ людей нашего города». Разсказавъ потомъ объ одной затѣянной имъ, но еще не приведенной въ исполненіе нечистой спекуляціи, Берникъ говоритъ: «Я намѣренъ былъ оставить все за собой, да я и теперь думаю, что эти земли принесутъ наибольшую пользу, если останутся въ однѣхъ рукахъ. Но вы можете сами выбирать. Если вы пожелаете, я готовъ управлять ими по моему лучшему разумѣнію». Затѣмъ Берникъ кается въ томъ грѣхѣ, который пятнадцать лѣтъ тому назадъ взялъ на себя его великодушный другъ, Іоганъ Теннезенъ, и прибавляетъ: «Теперь уже невозможно опровергнуть тѣ злые и лживые слухи, которые распространились тогда. Но на это я не могу жаловаться: пятнадцать лѣтъ назадъ я поднялся, благодаря этимъ слухамъ; приведутъ ли они теперь къ моему паденію, это пусть каждый обсудитъ съ самимъ собой. Но не принимайте теперь никакого рѣшенія. Я прошу каждаго возвратиться домой, собраться съ мыслями и заглянуть въ собственную душу. Когда волненіе уляжется, тогда будетъ видно, потерялъ ли я отъ этого или выигралъ. Прощайте, мнѣ еще во многомъ, очень многомъ надо раскаяться; но это касается уже только моей совѣсти».

Такимъ образомъ, хотя Берникъ и кается, подобно Никитѣ во «Власти тьмѣ», но вовсе не намѣренъ удалиться изъ общества, а, напротивъ, съ гордостью, которая, благодаря торопливости автора, можетъ показаться даже наглостью, предлагаетъ свои услуги обществу, надѣется оправдать его довѣріе, если таковое послѣдуетъ. Никита, движимый лишь совѣстью, знаетъ себѣ только отрицательную цѣну,—вину свою или, вѣрнѣе, свои многочисленныя вины. За Берникомъ тоже много грѣховъ числится, и онъ тоже движется совѣстью, но она не давитъ его окончательно, какъ давитъ Никиту у Толстого, или Маргитъ у самаго Ибсена; ибо, кромѣ отрицательной своей цѣны, опредѣляемой совѣстью, Берникъ знаетъ и свою положительную цѣну, опредѣляемую честью: онъ знаетъ свою даровитость, свою энергію, свои достоинства вообще, которыя онъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ успѣлъ проявить не грѣхами только, а и на дѣйствительной службѣ обществу. И, сознательно или безсознательно, но Ибсенъ такъ располагаетъ обстоятельства, что они болѣе или менѣе смягчаютъ жестокіе итоги, подводимые совѣстью Берника. Въ молодости онъ совершилъ грѣхъ

и имѣлъ подлость зломъ отплатить Іогану Теннезену, взявшему на себя этотъ грѣхъ, и вплоть до своего покаянія Берникъ стоитъ на почвѣ лжи и лицемѣрія. Но на этой дрянной почвѣ передъ глазами читателей не выростаютъ уже новые цвѣты зла и преступленія: они только замышляются, взрости имъ Ибсенъ не позволяетъ. Общественные интересы, которые должны были пострадать отъ задуманной Берникомъ нечистой спекуляціи, остаются неприкосновенными; Іоганъ Геннезенъ очищается отъ возведенныхъ на него пятнадцать лѣтъ тому назадъ обвиненій и счастливо уѣзжаетъ въ Америку на счастливую жизнь съ любимой дѣвушкой; домашняя семейная жизнь Берника освѣщается послѣ его покаянія новымъ яркимъ и теплымъ свѣтомъ и т. д. И одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Бона Гессель, когда-то кровно обиженная Берникомъ, но послѣ его покаянія все простившая, все забывшая, кончаетъ драму словами: «Свобода и правда,—вотъ столпы общества».

Послушаемъ же теперь г. Минскаго. На всякое чиханіе, конечно, не наздравствуешься, но то, что чихаетъ въ данномъ случаѣ г. Минскій, во-первыхъ, поможетъ мнѣ выяснить свою мысль, а во-вторыхъ, насколько я знакомъ съ литературой объ Ибсенѣ, не г. Минскимъ выдумано, а повторяется очень часто. «Неизвѣстно—говоритъ г. Минскій,—какъ общество отнесется къ раскаявшемуся грѣшнику. Но какъ бы ни сложилась судьба Берника *), идея пьесы отъ этого не мѣняется. Ибсенъ показываетъ, что общее благо, признаваемое обыкновенно чѣмъ-то благороднымъ и даже священнымъ, въ дѣйствительности является ничѣмъ инымъ, какъ лишнимъ стимуломъ для лжи и преступленій. Общество таково, что только обманщики могутъ быть его опорами и защитниками. Люди таковы, что служеніе общему благу является въ ихъ рукахъ щитомъ для прикрытія собственнаго самолюбія и тщеславія».

Боюсь надоѣсть читателю, но еще больше боюсь быть непонятымъ и потому напоминаю: я не касаюсь міровоззрѣнія Ибсена, потому что недостаточно знакомъ съ нимъ, я извлекаю свои матеріалы исключительно изъ его драмъ, въ которыхъ, благодаря необузданности творческаго темперамента Ибсена, многое пробивается помимо его воли и сознанія. Поэтому, если бы даже самъ Ибсенъ подтвердилъ сужденіе г. Минскаго, я сказалъ бы, что въ драмахъ я не нахожу того, что видитъ въ нихъ г. Минскій и, ка-

*) Г. Минскій называетъ героя «Столповъ общества» Верникъ, въ изданіи г. Юровскаго онъ называется Берникъ. Кто правъ—не знаю. Думаю, что не г. Минскій, потому что и въ книгѣ Горна и Швейцера мы встрѣчаемъ Берника.

жется, еще многіе другіе критики. И пусть судитъ читатель, дѣйствительно-ли такъ безпросвѣтно и безнадежно мраченъ финалъ «Столповъ общества», какъ утверждаетъ г. Минскій; дѣйствительно-ли въ этой драмѣ «Ибсенъ показываетъ», что «общее благо, признаваемое обыкновенно чѣмъ-то благороднымъ и даже священнымъ». на самомъ дѣлѣ есть «ничто иное, какъ лишній стимулъ для лжи и преступленій». Лона Гессель говоритъ, что «свобода и правда— вотъ столпы общества», и на этомъ кончается драма, спускается занавѣсъ, а г. Минскій умозаключаетъ, что «только обманщики могутъ быть опорами и защитниками общества»... Я думаю, напротивъ, что «Столпы общества» скорѣе уже построены по старинной формулѣ: добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказанъ (наказанъ въ лицѣ нераскаянныхъ соумышленниковъ Берника по затѣянной имъ двусмысленной спекуляціи, далѣе въ лицѣ претендента на руку невѣсты Іоганна Теннезена, — лицемѣра Рерлунда, да, пожалуй, и самого Берника въ его прошломъ).

Ибсенъ не только въ «Столпахъ общества», а и во многихъ другихъ драмахъ не щадитъ красокъ для изображенія лживости. лицемѣрія, жестокости, всевозможныхъ пороковъ современнаго общества. Но это бы еще не выдѣляло его изъ длиннаго ряда другихъ писателей, не менѣе его карающихъ современность. У насъ, напримѣръ, есть Салтыковъ, «Благонамѣренныя рѣчи» котораго несравненно даже ярче показываютъ, что кроется иногда за заботами объ «общемъ благѣ», ярче и, не смотря на всю тенденціозность, художественнѣе. Можетъ показаться, что недостатокъ яркости восполняется у Ибсена глубиной, такъ какъ онъ не пріурочиваетъ свои обличенія съ такою страстностью къ вполнѣ опредѣленному моменту, а паритъ на большой высотѣ, съ которой видны и скандинавскіе викинги, и Юліанъ Отступникъ, и какой-то Берникъ, и рыцари XIV и XVI вѣка, и докторъ Штокманъ, и фантастическія путешествія Пера Гинта, и проч. Я не думаю, чтобы это было вѣрно, но не стану отвлекаться въ сторону. Возьмемъ одного Ибсена. Не современное только общество бичуетъ онъ; онъ, повидимому, враждебенъ самому принципу общества. Въ «Союзѣ молодежи» талантливый прощалыга, адвокатъ Стенсгардъ ведетъ за собой общество, какъ стадо барановъ, и хотя онъ проваливается въ сѣть своихъ собственныхъ ухищреній (мимоходомъ сказать, чисто водевильнаго характера, совершенно недостойныхъ серьезнаго писателя), но ему все-таки не безъ основанія предсказываютъ блестящую карьеру. Въ «Докторѣ Штокманѣ» («Врагъ народа») низость и подлость общества доводятъ героя до изреченій: «самый опасный врагъ истины и свободы, это — сплоченное, свободное большинство»; «глупцы составляютъ подавляющее большин-

ство на всемъ пространствѣ міра», однако «самый сильный человѣкъ въ этомъ мірѣ тотъ, кто остается одинокимъ». Все это какъ бы подтверждаетъ мнѣніе г. Минскаго и, конечно, онъ не упускаетъ случая сослаться на «Доктора Штокмана», но затѣмъ останавливается въ недоумѣніи: «Конфликтъ между личностью и обществомъ — говоритъ онъ — только указанъ Ибсеномъ, но не разрѣшенъ. Остается неяснымъ, что должна дѣлать одинокая и сильная личность, смотрящая на толпу, какъ на сборище идіотовъ и негодяевъ».

Того, кто ищетъ у Ибсена поученій, этотъ вопросъ, конечно, долженъ очень занимать. Но мы ищемъ не поученій, а изображеній, а потому и вопросъ ставится для насъ иначе: не какъ *должна*, по мнѣнію Ибсена, поступать личность въ случаѣ конфликта съ обществомъ? а — какъ она въ его драмахъ въ такихъ случаяхъ дѣйствительно поступаетъ?

Прежде всего надо замѣтить, что общество представляетъ собой въ драмахъ Ибсена такую же роковую, стихійную силу, какъ и наслѣдственность или «законъ эволюціи», съ одной стороны, велѣнія Норнъ, магическіе эффекты и т. п. — съ другой. Съ особенною силою выступаетъ это въ «Союзѣ молодежи», въ «Докторѣ Штокманѣ, въ «Брандѣ», вообще вездѣ, гдѣ общество хоть частію является въ видѣ «толпы», т. е. въ видѣ не столько организованной, сколько однопредметно увлеченной и психически зараженной массы. За этой массой могутъ стоять вожаки, руководствующіеся тѣми или другими, благородными или своекорыстными соображеніями, но сама масса движется съ стихійною непреклонностью пониженной воли и отуманеннаго сознанія, и если поперекъ ея дороги становится одинокая личность, для послѣдней наступаетъ трагическій моментъ, отражающійся въ душѣ личности все тою же работою либо совѣсти, либо чести. Но и въ организованномъ обществѣ, въ самомъ строѣ общественномъ, каковъ бы онъ ни былъ, есть нѣчто, для каждой данной личности, стихійное, роковое. Ея воля и сознаніе не участвовали въ выработкѣ тѣхъ законовъ, нравовъ, обычаевъ, предразсудковъ, общественныхъ отношеній, которыя она застаетъ, очутившись въ данномъ обществѣ въ качествѣ мыслящаго, чувствующаго и дѣйствующаго индивида. Отсюда почва для трагическаго столкновенія личности, побуждаемой опять-таки работой совѣсти или чести, съ обществомъ. Такимъ образомъ конфликтъ личности съ обществомъ является у Ибсена лишь частнымъ случаемъ конфликта личной воли и сознанія съ силами роковой необходимости вообще. Трагическая сторона этого столкновенія состоитъ въ мученіяхъ уязвленной совѣсти и оскорбленной чести, а не въ гибели героя, которая есть въ нѣкоторыхъ драмахъ и

отсутствуетъ въ другихъ. Но за то во всѣхъ мы встрѣчаемъ борьбу съ гнетущею необходимостью или съ тѣмъ, что таковою кажется, борьбу и разнообразнѣйшія комбинаціи условій, благопріятствующихъ и неблагопріятствующихъ этой борьбѣ.

Du glaubst zu schieben und wirst geschoben,—говоритъ умный Мефистофель и повторяютъ за нимъ многіе, иногда тоже умные, а иногда совсѣмъ не умные люди. Нѣкоторые герои Ибсена могли бы отвѣтить: ja, ich bin geschoben, aber zum Schieben. Они знаютъ, что есть независимыя отъ ихъ воли могучія стихійныя, «роковыя» силы, и, казалось бы, это знаніе упраздняетъ, какъ ихъ собственную отвѣтственность за свои поступки, такъ и отвѣтственность другихъ: все равно необходимо, все равно совершается потому, что wir sind geschoben,—остается «не плакать и не смѣяться, а понимать». Но герои Ибсена смѣются и плачутъ, да и во всемъ человѣчествѣ льются слезы раскаянія, истекаютъ кровью сердца отъ обиды, раздается смѣхъ торжества и побѣды, смѣхъ горькой ироніи, гнѣвный смѣхъ сатиры. Должно быть, эти вопли уязвленной совѣсти и оскорбленной чести тоже необходимы (иначе бы вѣдь ихъ не было), должно быть, ихъ тоже понимать надо, а не отметать. Но уязвленная совѣсть и оскорбленная честь не замыкаются въ себѣ, а рвутся наружу, стремятся заявить себя въ дѣйствіяхъ, и эти дѣйствія, какъ бы ни были они разумны или безумны, опять же необходимы, какъ и все на свѣтѣ, хотя бы они были направлены противъ необходимости же. Необходима, наконецъ, и гибель или, по крайней мѣрѣ, поврежденіе той или другой изъ столкнувшихся необходимостей. Какъ оріентируются дѣйствующія лица Ибсеновыхъ драмъ въ этой безконечно сложной сѣти, въ которой всѣ плюсы такъ же необходимы, какъ и всѣ минусы, все благородное, какъ и все подлое, все разумное, какъ и все безумное?

Оріентироваться въ ней вполнѣ и во всѣхъ подробностяхъ не дано человѣческому разуму и чувству. Слишкомъ этотъ разумъ ограниченъ даже у самыхъ разумныхъ, слишкомъ это чувство бѣдно и «крѣпко землѣ» даже у самыхъ великодушныхъ. Мистикъ Максимъ въ драмѣ «Императоръ и Галилеянинъ», и по собственному мнѣнію, и по мнѣнію Юліана и другихъ, проникъ въ тайны бытія глубже, чѣмъ кто-нибудь изъ смертныхъ. Знаетъ онъ, между прочимъ, какъ мы уже видѣли, и то, что *хотѣть* значитъ быть *принужденнымъ* хотѣть (geschoben sein). Это подтверждаетъ и Іуда въ вышеупомянутомъ видѣніи: онъ былъ geschoben, принужденъ совершить свое подлое преступленіе, дабы

именно имъ послужить необходимому историческому ходу вещей. Но и въ видѣ загробной тѣни, вызванной изъ небытія чарами Максима, Іуда является съ знакомъ грызущей совѣсти, съ веревкой на шеѣ, и на вопросъ Юліана: было-ли съ необходимостью предопредѣлено именно ему предать Учителя? онъ отвѣчаетъ: «въ этомъ загадка», и исчезаетъ, отказываясь отъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій. Такимъ образомъ, и для проникшаго въ тайны бытія Максима, и для вызваннаго изъ небытія Іуды остаются неразгаданныя загадки въ сѣти «принужденныхъ хотѣній» и дѣйствій. А потому и всезнающій Максимъ можетъ ошибаться. Онъ вдохновлялъ Юліана, предсказывая ему побѣду и основаніе «третьяго царства», и вотъ его странная, прерывистая рѣчь надъ трупомъ Юліана: «Я любилъ его и предалъ... нѣтъ, не я!... Предалъ, какъ Каинъ, какъ Іуда... Вашъ Богъ расточителенъ, галилеяне! Много ему душъ надо...Такъ ты не былъ истиннымъ... о, жертва необходимости?.. Стоитъ-ли жить послѣ этого? все есть только игра и тщета. *Хотѣть*— значитъ *быть принужденнымъ хотѣть* (курсивъ въ подлинникѣ)... О, мой любимый... всѣ указанія обманули меня, всѣ знаменія говорили двойственнымъ языкомъ, и вотъ почему я видѣлъ въ тебѣ того, кто долженъ примирить два царства». Правда, разочаровавшись въ Юліанѣ и горько каясь въ своей ошибкѣ, мудрецъ Максимъ не остается безъ надеждъ на будущее. Онъ кончаетъ свою рѣчь словами: «Наступитъ третье царство! Духъ человѣческій вернетъ себѣ свое наслѣдство, и тогда принесутся искупительныя жертвы за тебя и за твоихъ двухъ гостей». Подъ гостями Максимъ разумѣетъ Каина и Іуду. Но вотъ пятнадцать вѣковъ прошло, исторія судитъ объ Юліанѣ, какъ о всякомъ другомъ историческомъ дѣятелѣ, а отъ той мистической комбинаціи, въ которую Максимъ включалъ Юліана вмѣстѣ съ Каиномъ и Іудой, человѣческая мысль уходитъ все дальше и дальше. Максимъ, мудрый Максимъ, обладавшій всѣми знаніями своего времени и въ частности такъ хорошо знавшій Мефистофельскую формулу: du glaubst и т. д., — мудрый Максимъ еще разъ ошибся. А и эта ошибка была столь же необходима, Максимъ столь же «принужденъ» былъ впасть въ нее, какъ принужденъ иной открыть несомнѣнную, великую истину. Все это—пестрые узоры, вышиваемые самою необходимостью на ея собственномъ одноцвѣтномъ фонѣ. Присмотримся ближе къ нѣкоторымъ изъ этихъ узоровъ.

Мы слышали отъ Гильды Вангель (въ «Строителѣ Сольнесѣ») о «хилой» и «коренастой» совѣсти и о томъ, что хорошо бы имѣть «настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли», вотъ какъ древніе викинги. И Маргитъ («Праздникъ въ Сольгаугѣ»), если читатель помнитъ, въ минуту колебаній

совѣсти говоритъ: «въ чужихъ краяхъ женщины не такъ слабодушны, какъ мы; онѣ не задумаются привести мысль въ исполненіе»; она завидуетъ той женщинѣ, которая «хотѣла на дѣлѣ исполнить то, что задумала втайнѣ». И Гильда, и Маргитъ замышляютъ злое, по ихъ мнѣнію, дѣло, противъ котораго и возстаетъ ихъ совѣсть, но, повидимому, иногда обремененная совѣсть препятствуетъ осуществленію и такого дѣла, которое носитель этой обремененной совѣсти считаетъ добрымъ, полезнымъ, великимъ. Съ особенною ясностью видно это въ драмѣ «Росмерсгольмъ».

Я, къ сожалѣнію, не имѣю времени остановиться на «Росмерсгольмѣ» съ такою подробностью, съ какою мнѣ хотѣлось бы это сдѣлать и какой эта драма заслуживаетъ, и долженъ ограничиться лишь нѣсколькими эпизодами.

Владѣлецъ Росмерсгольма, Іоганъ Росмеръ, вдовецъ, жена котораго утопилась, какъ онъ думаетъ, въ припадкѣ сумасшествія,— человѣкъ кабинетный и, не будучи поэтому человѣкомъ партіи, держится, однако, консервативнаго образа мыслей. Но подъ вліяніемъ нѣкой Ревекки Вестъ, Росмеръ преображается: рѣзко измѣняетъ свой образъ мыслей и желаетъ вступить на путь практической дѣятельности. Узнавъ объ этомъ, братъ его жены, Кролль, пытается переубѣдить его. Онъ говоритъ: «Фамильныя преданія налагаютъ на тебя извѣстныя обязанности, Росмеръ. Вспомни, — Росмерсгольмъ былъ съ незапамятныхъ временъ центромъ порядка и дисциплины, очагомъ всѣхъ признанныхъ, уважаемыхъ избраннымъ обществомъ мнѣній. Вся округа носитъ на себѣ печать Росмерсгольма. Если узнаютъ, что ты отрекся отъ того, что я хотѣлъ бы назвать идеей Росмеровъ, — произойдетъ непоправимая смута». Росмеръ отвѣчаетъ: «Любезный Кролль, я иначе смотрю на вещи. Мнѣ кажется, что я безусловно обязанъ распространить немного свѣта и радости въ мѣстности, которую Росмеры долгіе годы держали во мракѣ и нравственной подавленности».

Здѣсь Росмеръ стоитъ на той же почвѣ, на которой стоитъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ, когда со стыдомъ вспоминаетъ, что вѣдь они, супруги Альмерсы, во всю свою жизнь ничего не сдѣлали для жителей деревушки. Но Росмеръ беретъ дѣло шире. Онъ совѣстится за цѣлый рядъ своихъ предковъ, державшихъ зависящее отъ нихъ окрестное населеніе во мракѣ и угнетеніи. Пробудившаяся, подъ вліяніемъ Ревекки, совѣсть налагаетъ на Росмера отвѣтственность за грѣхи предковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ побуждаетъ къ дѣятельности: въ противоположность уязвленнымъ совѣстью же Гильдѣ и Маргитъ, онъ чувствуетъ въ себѣ силу исполнить задуманное. Но вотъ картина измѣняется. Передъ Росмеромъ раскрывается тайна смерти его жены: она не въ припадкѣ сума-

сшествія бросилась въ воду, а сознательно, видя, какъ усиливается вліяніе Ревекки Вестъ, и чувствуя, что не дружескія отношенія и не единство только взглядовъ связываютъ Росмера и Ревекку, а— любовь, и бѣдная женщина поторопилась очистить мѣсто своей преемницѣ. Эта страшная истина не вдругъ выясняется передъ Росмеромъ, а съ рѣдкою у Ибсена постепенностью, но уже при первыхъ намекахъ на нее Росмера начинаетъ грызть совѣсть, а вмѣстѣ съ тѣмъ у него опускаются руки передъ тѣмъ дѣломъ, на которое онъ еще недавно былъ вполнѣ готовъ. Онъ навсегда потерялъ, по его словамъ, «самое спокойное, самое радостное изъ всѣхъ чувствъ: спокойствіе совѣсти». Напрасно Ревекка напоминаетъ ему о его планахъ практической дѣятельности (какъ почти всегда у Ибсена, очень неясно и расплывчато выраженныхъ), — онъ отрекается отъ нихъ: та цѣль, говоритъ онъ, «для меня недостижима послѣ того, что я узналъ», нельзя бороться съ чувствомъ грѣха на душѣ; «чтобы какое-нибудь дѣло восторжествовало, оно должно имѣть бодраго и незапятнаннаго вождя». Наконецъ, и Ревекка заражается этою болѣзнью совѣсти. Она окончательно раскрываетъ тайну смерти жены Росмера, въ которой (смерти) принимала сознательное и планомѣрное участіе; кается вообще во всемъ своемъ прошломъ и разсказываетъ, что близость съ Росмеромъ, «духъ Росмеровъ» облагородилъ ее, но вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда лишилъ ее счастья: теперь совѣсть грызетъ ее постоянно, требуя искупленія, а искупить свои грѣхи она можетъ только смертью. Росмеръ давно уже находится въ томъ же положеніи, и вотъ оба они, рука объ руку, бросаются въ воду въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ утонула когда-то жена Росмера.

Мельхіоръ де-Вогюе, въ какой то своей статьѣ, восторгнулся фразой Ревекки: «духъ Росмеровъ облагораживаетъ, но убиваетъ счастье», видя въ этой фразѣ одну изъ «аксіомъ», данныхъ Ибсеномъ. Максъ Нордау (Entartung, II, 239, примѣчаніе) издѣвается по этому поводу и надъ Вогюе, и надъ Ибсеномъ. Ему кажется, что приведенная фраза есть не только не «аксіома», а просто безсмысленный наборъ словъ. Я не знаю статьи Вогюе и, значитъ, не могу судить о томъ, какъ мотивировано его мнѣніе. Но что касается приведенной фразы Ревекки, то отношеніе къ ней Макса Нордау можетъ служить хорошимъ образчикомъ грубости его пониманія многихъ сторонъ Ибсеновскихъ драмъ. Въ своемъ обычномъ стремленіи усложнить свою фабулу и внести въ положеніе своихъ дѣйствующихъ лицъ нѣчто непреоборимо стихійное, Ибсенъ не въ одномъ только этомъ мѣстѣ говоритъ о «духѣ *Росмеровъ*», а не *Росмера* только (напримѣръ, всѣ Росмеры никогда не смѣются). Это—вліяніе непреклонной силы наслѣдственности.

Осложненіе это совершенно не нужно для хода драмы, да и вводитъ автора въ противорѣчіе: мы только что видѣли, что Росмеры въ теченіи многихъ поколѣній отнюдь не содрогались совѣстью, держа все окрестное населеніе въ темнотѣ и нравственномъ угнетеніи, а вотъ послѣдній Росмеръ содрогнулся, тѣмъ самымъ оборвавъ нить наслѣдственности. Но если мы оставимъ это ненужное осложненіе въ сторонѣ, то фраза Ревекки окажется дѣйствительно аксіомой. «Духъ *Росмера* облагораживаетъ, но убиваетъ счастье». Что это значитъ? «Духъ Росмера» есть въ данномъ случаѣ исключительно пробужденіе совѣсти и едва ли нужно доказывать, что пробужденіе это, съ одной стороны, дѣйствительно облагораживаетъ, а съ другой—дѣйствительно наноситъ несовмѣстимыя со счастіемъ раны, которыя съ теченіемъ времени могутъ, конечно, и зажить. Однако занимательна теперь для насъ не эта аксіома, художественныя иллюстраціи къ которой могутъ представлять высокій интересъ, но которая не нуждается въ логическомъ изслѣдованіи. Интересно то, что въ Росмерѣ и въ Ревеккѣ пробудившаяся совѣсть убиваетъ не только счастье, а и возможность и желаніе дѣйствовать, бороться, послѣ чего имъ только и остается, что умереть.

А вѣдь еще такъ недавно совѣсть, разбуженная вліяніемъ Ревекки, не только не обязывала Росмера складывать руки или умирать, а являлась, напротивъ, стимуломъ дѣятельности и жажды жизни, широкой, яркой жизни. Можетъ быть это оттого, что тогда Росмеръ чувствовалъ отвѣтственность не за свои собственные, личные грѣхи, а за грѣхи предковъ? Надо замѣтить, что и въ этомъ отношеніи Росмеръ стоитъ не одиноко въ Ибсеновой коллекціи разнаго рода людей, съ разныхъ сторонъ ущемленныхъ совѣстью. Нечеловѣчески суровый, не гнущійся, какъ палка, фанатикъ Брандъ задумывается: «Одного требую я: чтобы я могъ быть самимъ собой. Желаніе неприкосновенности моего я—законно... Гм! вполнѣ самимъ собой? А какъ же быть съ наслѣдствомъ? Какъ быть съ грѣхами предковъ?» И далѣе, въ разговорѣ съ матерью, онъ изумляетъ ее словами: «если послѣ твоей смерти твой домъ окажется и совсѣмъ пустымъ, я все же наслѣдую твою долговую книгу». Эту «долговую книгу» Ибсенъ обязываетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ принимать и физически: въ «Привидѣніяхъ» молодой Освальдъ Альвингъ расплачивается болѣзнью и смертью за грѣхи отца.

Итакъ, можетъ быть разница эффектовъ пробужденной совѣсти въ разные моменты жизни Росмера объясняется тѣмъ, что въ одномъ случаѣ онъ считаетъ себя отвѣтственнымъ за грѣхи предковъ, а въ другомъ — за свои собственные. Это объясненіе несомнѣнно вѣрное, но не полное, потому что не захватываетъ мно-

гихъ другихъ, частію разсмотрѣнныхъ, частію не разсмотрѣнныхъ нами случаевъ. Супруги Альмерсы въ «Маленькомъ Эйольфѣ», Берникъ въ «Столпахъ общества», переживъ острые моменты парализующей жизне-и-дѣеспособность совѣсти, въ концѣ концовъ не опускаютъ, однако, рукъ и тою же совѣстью побуждаются къ новой жизненной работѣ, а между тѣмъ грѣхи ихъ чисто личные. Полное объясненіе мы получаемъ, введя въ наши размышленія элементъ чести. Припомнимъ, что Берникъ, какъ ни потрясенъ онъ сознаніемъ своихъ винъ, сознаетъ и свои заслуги, совѣсть не убила въ немъ чести, а потому загладить свои вины, искупить ихъ онъ можетъ не удаленіемъ изъ жизни въ монастырь, какъ Маргитъ, не удаленіемъ изъ жизни въ могилу, какъ Росмеръ и Ревекка, а самою жизнью, которая отъ этого станетъ только богаче и краше. Также и Росмеръ въ первый періодъ драмы. Совѣсть побуждаетъ его принять «долговую книгу» предковъ, но Ревекка сумѣла разбудить въ немъ не только совѣсть, а и честь, внушивъ ему сознаніе силы на великое дѣло распространенія свѣта и свободы тамъ, гдѣ были мракъ и гнетъ. Вѣроятно, Ревекка, которая, вообще, гораздо сильнѣе Росмера, и потомъ сумѣла бы поддержать равновѣсіе въ его душѣ, но она сама заболѣла параличемъ совѣсти.

Любопытныя художественныя комбинаціи элементовъ чести и совѣсти читатель найдетъ въ «Претендентахъ на корону». Какъ и всегда, загроможденная побочными фигурами и ненужными осложненіями, драма эта, однако, рѣзко выдвигаетъ впередъ два образа — короля Гакона и герцога Скуле, они то и суть претенденты на корону, норвежскую. Одинъ изъ нихъ, Скуле, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, признаваемыхъ и противникомъ, есть неудачникъ или, какъ выражается Гаконъ, «Божій пасынокъ». Судьба его представляется Гакону «загадочною». Но на самомъ дѣлѣ мы имѣемъ тутъ дѣло лишь съ тою же «загадкою», которую Іуда и Максимъ не умѣли разрѣшить относительно перваго изъ нихъ, и которую можно найти въ судьбѣ каждаго человѣка, какъ въ цвѣтномъ узорѣ, вышитомъ необходимостью на ея собственномъ одноцвѣтномъ фонѣ. Если же мы будемъ искать того особеннаго дара природы или исторіи, или, вообще, какой-нибудь роковой силы, который опредѣлилъ собою особенную судьбу Скуле, то найдемъ его въ «хилой совѣсти», какъ сказала бы Гильда Вангель. Гильда сказала бы этими словами правду, но не полную, одностороннюю правду, какъ такую же одностороннюю правду сказала бы она, приписавъ противнику Скуле, Гакону, «коренастую совѣсть». Гаконъ идетъ къ своей цѣли прямо и неуклонно. Скуле же есть одинъ изъ тѣхъ людей, о которыхъ у Іисуса сына Сирахова сказано:

«горе грѣшнику, на двѣ стези ходящу». Онъ постоянно колеблется, принимаетъ одно рѣшеніе и тотчасъ же отмѣняетъ, хватаясь за другое. Но было бы очень поверхностно сводить разницу въ поведеніи Гакона и Скуле къ тому, что называется рѣшительнымъ и нерѣшительнымъ характеромъ. Гильда глубже смотритъ на дѣло, когда, даже не упоминая о характерѣ, говоритъ, что надо имѣть «здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли». Исторія Берника, Росмера и еще многое другое, объ чемъ намъ уже некогда распространяться, вносятъ нѣкоторую поправку или дополненіе къ этому положенію: и больная, ущемленная совѣсть можетъ не только не задерживать «смѣлаго движенія къ желанной цѣли», а даже быть могучимъ стимуломъ дѣятельности. И Гакону знакомы угрызенія совѣсти (напримѣръ, по поводу его жестокаго рѣшенія относительно матери), но онъ знаетъ и никогда не упускаетъ изъ вида и свою положительную цѣну. Не говоря уже о его формальномъ правѣ на корону, онъ твердо увѣренъ, что именно онъ можетъ устроить Норвегію къ ея славѣ, величію и благополучію. У него есть, по сознанію его противника, «истинно королевская идея» (объединенія Норвегіи), честь выработки и осуществленія которой принадлежитъ ему. У Скуле нѣтъ этой вѣры въ свое право, въ свою честь, и ничѣмъ не уравновѣшенный или слабо уравновѣшенный голосъ совѣсти постоянно парализуетъ его энергію.

Въ «Императорѣ и Галилеянинѣ» такимъ колеблющимся, то вѣрующимъ въ свое право и силу, то не вѣрующимъ является Юліанъ. Что же касается христіанъ, то они, конечно, оказываются представителями голоса совѣсти, удрученными не только собственными грѣхами, а грѣхами всего міра. Если мы, однако, приглядимся и ко всей массѣ христіанъ, дѣйствующихъ въ драмѣ, и къ отдѣльнымъ фигурамъ, составляющимъ эту массу, то увидимъ значительное разнообразіе: одни совершенно подавлены сознаніемъ своей грѣховности, въ другихъ голосъ совѣсти уравновѣшивается голосомъ чести,—великой чести носителей и провозвѣстниковъ новой истины. Количественная пропорція этихъ элементовъ и качественный характеръ ихъ сочетанія опредѣляютъ собою степень активнаго или пассивнаго отношенія дѣйствующихъ лицъ драмы къ жизни...

Пора кончить, хотя я далеко не исчерпалъ не только всего Ибсена,—на это я и не претендовалъ,—а даже и намѣченной доли его литературнаго багажа. Утѣшаю себя мыслью, что читатель, сколько-нибудь заинтересованный предлагаемою точкою зрѣнія, самъ приложитъ ее къ тѣмъ драмамъ, которыхъ я не успѣлъ коснуться. Особенно жалѣю объ томъ, что не пришлось остановиться на од-

номъ важномъ пунктѣ. Нѣкоторыя изъ дѣйствующихъ лицъ Ибсена выражаютъ свою программу жизни словами: «быть самимъ собой», нѣкоторымъ другимъ эту программу усиленно рекомендуютъ третьи лица. И многіе, если не ошибаюсь, именно, здѣсь видятъ самую «суть» Ибсена. Не трудно будетъ доказать, однако, что и эта формула есть лишь одна изъ страницъ все той же книги «объ отвѣтственности человѣка». Но это тема настолько все-таки обширная, что я не рѣшаюсь приступить къ ней теперь же, достаточно уже утомивъ вниманіе читателя.

Мнѣ вспоминается эпиграмма на «критика Остроухова», нѣсколько лѣтъ тому назадъ вложенная нѣкоторымъ романистомъ въ уста одного изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ:

Когда мнѣ Остроухова случается прочесть,
Душа моя уязвлена бываетъ. Совѣсть, честь
Затягиваютъ пѣсню. Радъ бы на осину влѣзть
И удавиться. Такія, право, терпишь муки,
Что хочется всему сказать проети, и руки
Наложить. А отчего?
Во-первыхъ, отъ стыда и, во-вторыхъ—отъ скуки.

Будь я на мѣстѣ критика Остроухова (а если вставить въ эпиграмму вмѣсто его фамиліи мою, размѣръ стиха не пострадаетъ), я былъ бы, съ одной стороны, очень польщенъ, а съ другой — очень огорченъ. Въ самомъ дѣлѣ, Вольтеръ былъ вѣдь очень близокъ къ истинѣ, когда говорилъ, что въ литературѣ всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго. Нехорошо, когда, по выраженію Щедрина, читатель только почитываетъ то, что писатель пописываетъ, но, пожалуй, еще хуже, когда читатель даже не почитываетъ, ну, а кому нужда читать скучное? Въ частности, и мнѣ будетъ очень прискорбно, если я всѣмъ вышеизложеннымъ о чести и совѣсти только навелъ скуку на читателя или даже отогналъ его отъ чтенія. Съ другой стороны, однако, критикъ Остроуховъ долженъ быть очень польщенъ: какого еще свидѣтельства силы его слова нужно, если оно побуждаетъ людей, чувствующихъ за собой нѣчто постыдное, лѣзть на осину? Я лично, впрочемъ, не только не видалъ такихъ результатовъ своей дѣятельности, но и не желалъ бы ихъ видѣть.

До сихъ поръ недостаточно оцѣненный и даже недостаточно изученный, Гл. Успенскій яркими красками изобразилъ первые шаги русской пробудившейся «больной совѣсти», съ ея тенденціей урѣзать жизненный бюджетъ человѣка, наложить на него тѣ или другія эпитеміи, а, пожалуй, и «на осину» взвести. Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Кое-гдѣ заснула совѣсть, «пропала совѣсть», какъ называется одна изъ сказокъ Щедрина, и многіе,

оглядываясь на свое недавнее прошлое, даже съ искреннимъ изумленіемъ спрашивали себя: да чего же я стыдился? зачѣмъ велъ «долговую книгу»? развѣ не законъ природы, что щука ѣстъ карася? А вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ же, рядомъ, дошло до своихъ послѣднихъ фазисовъ ученіе Льва Толстого, въ которомъ нашла свое полное выраженіе сила односторонней, неуравновѣшанной работы совѣсти, парализующей дѣеспособность, Думаю, что пора, давно пора воздать должное совѣсти, но не въ ея парализующей формѣ, а въ ея сочетаніи съ честью; не для того, чтобы удалиться изъ жизни въ келью подъ елью или на осину, а чтобы принять въ этой жизни дѣятельное участіе. Можетъ быть, это и значитъ «быть самимъ собой».

К. К. Михайловскій.

ОТКЛИКИ

Томъ II.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія **Н. Н. Клобукова**, Лиговская ул., д. № 34.
1904.

Оглавленіе.

		СТРАН.
I.	Новыя газеты и „обновленныя“ „Московскія Вѣдомости“.—„Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей“.	1 — 27
II.	Г. Рѣпинъ и его „манія ничтожества“. — Еще о драмахъ Ибсена. — Рѣчь проф. Сергѣевича о „Союзѣ писателей“	28 — 52
III.	„Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ московскаго университета“.—О Дюркгеймѣ	53 — 74
IV.	Еще о Дюркгеймѣ и его теоріи „общественнаго раздѣленія труда“	75 — 99
V.	Г. Сементковскій о Лѣсковѣ.—„Мужики“ г. Чехова .	100 — 131
VI.	О совѣсти г. Минскаго, страхѣ смерти и жаждѣ безсмертія. — О нашихъ умственныхъ теченіяхъ за полвѣка. — О новыхъ словахъ и „Новомъ Словѣ“. — О рѣчи проф. Свѣтлова. — О г. Волынскомъ и скандалистахъ вообще	132 — 168
VII.	О народничествѣ, діалектическомъ матеріализмѣ, субъективизмѣ и проч. — О страшной силѣ г. Hovus'a, о моей робости, и о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ. — Н. Н. Златовратскій	169 — 195
VIII.	О дѣлѣ г-жи Поповой и о Союзѣ писателей	196 — 218
IX.	Рождественская сказка г. Буквы. — Нѣчто о Некрасовѣ. — Запрещеніе „Новаго Слова“	219 — 235
X.	Рождественская сказка г. Мамина. — Будущность цивилизаціи.—Вырожденіе и прогрессъ.—Дарвинизмъ и ничшеанство	236 — 268
XI.	Опроверженіе г. Захарьина-Якунина. — „Что такое искусство?“—статья г. Л. Н. Толстого. — Эстетическіе взгляды Федорова и Эннекена. — Герои и толпа въ искусствѣ. — Четыре художественныя выставки . . .	269 — 307
XII.	Еще объ искусствѣ и гр. Толстомъ. — Справка о Некрасовѣ	308 — 324
XIII.	Бѣлинскій драматургъ	325 — 332
XIV.	Памяти Н. А. Ярошенко	333 — 337
XV.	О г. Максимѣ Горькомъ и его герояхъ	338 — 359
XVI.	Еще о г. Максимѣ Горькомъ и его герояхъ	360 — 394
XVII.	О шутахъ	395 — 423
XVIII.	Памяти Я. В. Полонскаго	424 — 431

I *).

Новыя газеты и „обновленныя“ „Московскія Вѣдомости“.—„Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей“.

Въ наступившемъ 1897 году русская литература обогатилась цѣлымъ рядомъ ежедневныхъ газетъ. Тутъ и «Лучъ», издаваемый книгопродавцемъ Вольфомъ подъ редакціей г. Чуйко, и «Утро», издаваемое и редактируемое г. Баталинымъ, и «Міровые Отголоски», издаваемые и редактируемые г. Трубниковымъ, и «Русь», издаваемая г. Гайдебуровымъ подъ редакціей г. Кремлева, и «Гласность» г. Пятковскаго, и «Народъ», издаваемый г. Мальшинскимъ подъ редакціей г. Стечькина.

«Лучъ», по словамъ его объявленій, «является независимымъ, вполнѣ самостоятельнымъ, большимъ органомъ печати, съ выдержаннымъ направленіемъ и безусловно честнымъ, объективнымъ отраженіемъ нуждъ всего многомилліоннаго населенія Россіи. Особенное вниманіе удѣляется общественной жизни провинціи съ ея многочисленными вопросами и нуждами. Занимая, какъ по объему, такъ и по программѣ своей одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду такъ называемыхъ «большихъ органовъ» печати, ежедневная газета «Лучъ» не уступаетъ имъ по полнотѣ и своевременности сообщеній. Участіе же въ газетѣ многихъ наиболѣе талантливыхъ силъ русской журналистики вполнѣ обезпечиваетъ живое, умѣлое, отзывчивое веденіе дѣла». Далѣе—«не вдаваясь въ болѣе широкія обѣщанія, редакція надѣется, что само дѣло будетъ достаточно говорить за себя».

«Народъ» рекомендуетъ себя такъ: «Редакція газеты принимаетъ слово «Народъ» не въ узкомъ обозначеніи этимъ именемъ крестьянскаго сословія, а въ широкомъ смыслѣ всего русскаго народа, въ полномъ его составѣ, во всѣхъ проявленіяхъ его жизни государственной, общественной, умственной, религіозно-нравствен-

---

*) Январь, 1897 г.

ной, художественной, экономической. Каждая нужда русскаго народа, какъ единаго цѣлаго, каждое его движеніе впередъ по пути историческаго развитія на твердыхъ основахъ русской государственности и общественности найдутъ въ газетѣ и фактическое изложеніе, и безпристрастную оцѣнку. Воздерживаясь отъ широковѣщательныхъ обѣщаній, нерѣдко втунѣ остающихся не по винѣ редакціи, скажемъ только, что газета «Народъ» употребитъ всѣ свои силы и средства на то, чтобы достойно носить принятое ею наименованіе».

«Утро»: «Обширная программа, опытность и многолѣтняя извѣстность редактора-издателя, равно какъ и ближайшихъ его сотрудниковъ, служатъ ручательствомъ въ томъ, что новая газета «Утро» будетъ органомъ живымъ, интереснымъ и достойнымъ общихъ симпатій. Излишнимъ считаемъ всякія широкія обѣщанія, потому что читатель нашъ, давній и постоянный, и безъ того увѣренъ въ нашемъ правѣ и обязанности занять выдающееся положеніе среди другихъ органовъ прессы. Не будетъ ни одного вопроса дня, на который читатель не встрѣтилъ бы въ газетѣ «Утро» громкаго отклика; не пройдетъ безслѣдно ни одна мелочь жизни, которая не нашла бы въ ней яркаго и правдиваго освѣщенія. Политика, внутренняя жизнь, судъ, земство и дума, сословныя учрежденія, литература, театръ, биржа, спортъ—все найдетъ компетентныхъ цѣнителей, полныхъ безпристрастія и смѣлости для того, чтобы высказывать правду обо всемъ и обо всѣхъ по совѣсти».

Хотя такимъ образомъ три упомянутыя газеты и «не вдаются въ болѣе широкія обѣщанія», «воздерживаются отъ широковѣщательныхъ обѣщаній», «излишнимъ считаютъ всякія широкія обѣщанія», однако, какъ видитъ читатель, обѣщаютъ довольно много. Гораздо сдержаннѣе въ смыслѣ обѣщаній «Міровые Отголоски». Ихъ объявленіе говоритъ лишь о порядкѣ и срокахъ изданія, о шрифтѣ и форматѣ. Напримѣръ: «Міровые Отголоски» будутъ выходить въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ формата бывшей газеты «Голосъ» и будутъ печататься подобнымъ же крупнымъ и четкимъ шрифтомъ». Въ послѣдующихъ объявленіяхъ этотъ пунктъ былъ отмѣненъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Въ видахъ устраненія всякихъ недоразумѣній, возникшихъ по поводу формата и шрифта газеты «Міровые Отголоски», контора редакціи симъ объявляетъ, что, согласно желанію очень многихъ подписчиковъ, форматъ газеты будетъ не въ шесть столбцовъ, подобно бывшей газетѣ «Голосъ», а въ семь и восемь столбцовъ объема большихъ газетъ. Печататься газета будетъ совершенно новымъ шрифтомъ выписаннымъ изъ-за границы. Поэтому всякія предположенія о сходствѣ вышеуказанныхъ газетъ падаютъ сами собою».

«Гласность» выразилась кратко: «Редакція «Гласности» — общая съ редакціей «Наблюдателя». Это избавляетъ насъ отъ необходимости выяснять подробно направленіе газеты. Скажемъ только, что мы стоимъ за прогрессивное движеніе нашей государственной и общественной жизни, на національной почвѣ».

Особо стоитъ газета «Русь». Казалось бы, состоя при «Недѣлѣ», издающейся безъ малаго тридцать лѣтъ, «Русь» могла бы быть въ своихъ объявленіяхъ еще кратче, чѣмъ «Гласность». Но реклама уже давно свила себѣ прочное гнѣздо въ «Недѣлѣ» и составляетъ въ ней какъ бы особый, самостоятельный отдѣлъ, наряду съ передовыми статьями, «внутреннимъ обозрѣніемъ», «иностраннымъ обозрѣніемъ», критикой и проч. Въ № 45 «Недѣли» (10 ноября 1896), въ статьѣ «Къ читателямъ», подписанной В. П. Гайдебуровымъ, редакція «имѣетъ сообщить читателямъ *важную новость*: съ будущаго года при «Недѣлѣ» будетъ издаваться новая ежедневная газета». Сама «Недѣля», конечно, будетъ по прежнему «удовлетворять преобладающую часть серьезныхъ русскихъ читателей». Но «непосредственно завѣдывать редакціей «Руси», какъ по прежнему и редакціей «Недѣли», буду *я самъ*», т. е. В. П. Гайдебуровъ. «Русь» «не будетъ имѣть ничего общаго съ существующими дешевыми газетами, легкомысленными и разсчитанными на низкій вкусъ. «Русь» будетъ такою же легкою и занимательною—строго-литературною—по формѣ и въ то же время серьезною и содержательною по существу, какъ и «Недѣля», въ подкрѣпленіе чего достаточно сказать, что въ ней постоянное участіе будетъ принимать одинъ изъ самыхъ глубокихъ и блестящихъ современныхъ мыслителей и публицистовъ—Вл. С. Соловьевъ». «Не будетъ она похожа и на установившійся типъ большихъ газетъ, съ ихъ утомительно длинными и мало содержательными передовыми статьями, хрониками и фельетонами». Работать въ «Руси» будутъ «талантливые, умные и передовые писатели». Имена ихъ объявляются какъ-то по группамъ. Выше выдѣленъ г. Вл. Соловьевъ, какъ «одинъ изъ самыхъ глубокихъ и блестящихъ современныхъ мыслителей и публицистовъ». Затѣмъ слѣдуетъ «я самъ», «затѣмъ ближайшее участіе въ редакціи будутъ принимать хорошо извѣстные нашимъ читателямъ: извѣстный фельетонистъ С. Н. Сыромятниковъ (Сигма), первоначально много работавшій въ «Недѣлѣ», П. П. Гнѣдичъ, Н. А. Энгельгардтъ и др. Кромѣ нихъ, постоянно участвовать въ газетѣ будутъ такіе-то и такіе-то. Наконецъ, «постоянно участвовать будетъ Вас. Ив. Немировичъ-Данченко и предполагаетъ попробовать себя въ новомъ для себя родѣ Антонъ Чеховъ». Все это похоже на слѣдующее, напримѣръ, объявленіе, которое я вырѣзываю изъ одной провинціальной газеты:

ЧЕРНО-ОЗЕРСКІЙ РЕСТОРАНЪ.

существуетъ съ 1872 года.

Подъ личнымъ управленіемъ В. И. Ожегова.

Извѣщаю многоуважаемую публику, что мною вновь приглашенъ съ 1 января 1897 г., въ арендуемомъ мною ресторанѣ лучшій поваръ Е. А. Корниловъ, который будетъ приготовлять кушанья въ лучшемъ вкусѣ. Надѣюсь, что уважаемая публика не оставитъ мой ресторанъ своимъ посѣщеніемъ, такъ же, какъ и прежде, а я со своей стороны постараюсь удовлетворить желаніе публики. Принимаю заказы на всевозможные обѣды и ужины, какъ въ ресторанѣ, такъ равно на дому съ полной сервировкой и прислугой, при ресторанѣ играетъ австрійская дамская капелла подъ управленіемъ капельмейстера **Прейсига**.

Разница, однако, въ томъ, что Черно-озерскій ресторанъ, расхваливая своего повара, «который будетъ приготовлять кушанья въ лучшемъ вкусѣ», не бранитъ чужихъ поваровъ; тогда какъ литературный магазинъ, торгующій подъ фирмою «Я самъ и комп.», расхваливая свой товаръ, указываетъ, что другіе магазины торгуютъ товаромъ «легкомысленнымъ и расчитаннымъ на низкій вкусъ», «утомительно длиннымъ и малосодержательнымъ».

Какъ бы то ни было, съ новаго года мы имѣемъ цѣлый рядъ новыхъ газетъ, чего давно уже не было, и то и дѣло приходится слышать, главнымъ образомъ отъ провинціаловъ, вопросъ: что это значитъ? Мы, петербуржцы, народъ скептическій, да и болѣе въ курсѣ дѣла, и потому отвѣчаемъ: ничего не значитъ. Конечно, этого и изъ петербуржцевъ не скажутъ ни г. Баталинъ, ни г. Трубниковъ, ни г. Пятковскій, ни въ особенности Я самъ и комп. Всѣ они—а, впрочемъ, всѣ-ли и они-то?—надо думать, вѣруютъ, что ими начинается новая эпоха въ исторіи русской литературы и жизни. Но со стороны виднѣе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что до нынѣшняго года газетъ у насъ было слишкомъ мало для удовлетворенія все растущей въ нихъ потребности. И слѣдовало бы, конечно, радоваться прекращенію монополіи нѣсколькихъ удачниковъ, если бы... если бы, во-первыхъ, была увѣренность, что эта монополія не возродится, и если бы, во-вторыхъ, напримѣръ, не дѣйствительно «многолѣтняя извѣстность» редактора-издателя «Утро» г. Баталина, на которую онъ имѣетъ рѣшимость ссылаться, или извѣстность редактора-издателя «Міровые Отголоски» г. Трубникова; послѣдній, впрочемъ, предпочитаетъ не на свою извѣстность указывать, а на то, что его газета будетъ похожа на «Голосъ» и совсѣмъ не будетъ на него похожа.

Тѣмъ не менѣе и скептическіе петербуржцы были заинтересованы новыми газетами, по крайней мѣрѣ, ихъ первыми номерами, и вечеромъ 1-го января ихъ нельзя уже было достать у торгов-

цевъ газетами, все было распродано. Пересмотримъ нѣкоторые изъ этихъ первыхъ номеровъ, которые поцвѣтнѣе.

«Русь» открывается статьей «самаго» В. П. Гайдебурова: «Чѣмъ должна быть газета». Г. Гайдебуровъ сравниваетъ газету и съ «широкимъ бассейномъ», въ который стекаются «тонкими струйками мысли, чувства, настроенія, влеченія, инстинкты людей, раскиданныхъ, разобщенныхъ въ жизни», и съ «экраномъ, отражающимъ для нашего зрѣнія лучи нашей общественной жизни», и съ нервами. Онъ называетъ далѣе газету «осуществительницей величайшей культурной миссіи,—миссіи, связанной можетъ быть съ самыми таинственными міровыми цѣлями всего процесса органической жизни: перерожденіемъ *воли* въ *представленіе*». И за всѣмъ тѣмъ я, долженъ признаться, не понялъ, чѣмъ должна быть газета, по мнѣнію г. Гайдебурова. Конечно, виновата тутъ можетъ быть только именно моя непонятливость, но, можетъ быть, и краснорѣчіе г. Гайдебурова не заслуживаетъ снисхожденія,—и краснорѣчіе, и разумѣніе. Тѣмъ болѣе, что самъ онъ, поднося разные великолѣпные титулы себѣ и своимъ сотрудникамъ, не имѣетъ снисхожденія къ прочему газетному человѣчеству. Онъ задается, между прочимъ, вопросомъ: «нужно-ли намъ вообще *много* газетъ?» и отвѣчаетъ: «Я думаю, что намъ нужно не столько большое количество газетъ, сколько опредѣленное ихъ качество, и что безъ этого условія множество газетъ безполезно, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и вредно». Какая бы доля правды ни заключалась въ этомъ азбучномъ разсужденіи, но согласитесь, что предлагать его читателю на первыхъ же строкахъ перваго номера новой газеты не сталъ бы и владѣлецъ Черно-озерскаго ресторана, если бы онъ былъ на мѣстѣ г. Гайдебурова; не сталъ бы даже и въ томъ случаѣ, если бы не былъ обезпеченъ такими «умными, талантливыми и передовыми» поварами, какъ гг. Дѣдловъ, Сыромятниковъ и проч.

Итакъ, чѣмъ же должна быть газета? Бассейномъ, экраномъ, нервомъ, перерожденіемъ воли въ представленіе... Все это, конечно, не оставляетъ желать лучшаго въ смыслѣ красоты слога, но немножко неопредѣленно. Нельзя-ли, по крайней мѣрѣ, узнать, въ чемъ состоитъ то «опредѣленное качество», безъ котораго даже множество газетъ безполезно, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ вредно? Это можно. Г. Гайдебуровъ называетъ это качество, не заслоняясь экранами и бассейнами: искренность. Онъ говоритъ: «Я думаю, что если бы этого качества—искренности—требовали всѣ: и читатели, и редакціи, и писатели, и правительство, требовали бы во что-бы то ни стало, и всѣ свои дѣйствія направляли бы на то, чтобы обезпечить газетамъ, именно, это качество, — то всѣ тяжелые, иногда мучительные, вопросы устройства нашей печати рѣ-

шались бы сами собой, легко и просто, къ общему удовольствію, и газетъ у насъ было бы столько, сколько нужно для жизни, не больше и не меньше, и свободой, не только появленія на свѣтъ, но и роста и дѣйствія онѣ пользовались бы тоже въ мѣру, нужную для жизни, не больше и не меньше».

Чтобы газетъ было не меньше, чѣмъ нужно для жизни, — это естественное желаніе каждаго писателя и каждаго читателя, но г. Гайдебурова очень безпокоитъ мысль: а вдругъ, да ихъ будетъ *больше*, чѣмъ нужно? Казалось бы, волноваться тутъ не изъ чего, потому что, если бы оказалось излишество газетъ, такъ сама жизнь съ ними и справится. А вотъ, подите же, — волнуется человѣкъ, и въ волненіи своемъ даже искренность цѣнитъ въ качествѣ регулятора количества газетъ. Это мысль очень интересная, и ее можно бы было развить до предѣловъ, для г. Гайдебурова совершенно, по всей вѣроятности, неожиданныхъ. Но мы этимъ заниматься не будемъ. Замѣчу только, что вѣдь, напримѣръ, и г. Медвѣдскій требовалъ отъ меня недавно искренности, только искренности....

Любопытно еще слѣдующее замѣчаніе г. Гайдебурова: «у насъ иные боятся печати, какъ великой опасности, другіе возлагаютъ на нее миссію какой-то борьбы, по существу нелѣпой, ибо она должна быть прямо или косвенно, но въ концѣ концовъ все-таки «дозволена цензурой».

Я думаю, что если на печати лежитъ извѣстная созидательная, творческая задача, то не менѣе того и задача борьбы, доколѣ на свѣтѣ существуетъ всякаго рода неправда — неправда невѣжества и заблужденій и неправда нравственная. И если борьба эта происходитъ подъ контролемъ цензуры, такъ вѣдь не изъята изъ него и «искренность» г. Гайдебурова; и даже его перерожденіе воли въ представленіе...

Къ характеристикѣ «Руси» надо еще прибавить слѣдующее.

Въ статьѣ «Распространеніе земскихъ учрежденій», между прочимъ, говорится: «ниже, въ отдѣлѣ «сужденій печати», читатель найдетъ одно изъ важныхъ соображеній, принадлежащее мѣстному органу печати и касающееся вліянія земскихъ учрежденій на общій тонъ общественной жизни». Напрасно, однако, читатель будетъ искать «ниже» упомянутаго «важнаго соображенія»: его нѣтъ ни ниже, ни выше, какъ нѣтъ и всего отдѣла «сужденій печати». Г. Гайдебуровъ, занятый «самыми таинственными міровыми цѣлями всего процесса органической жизни», не досмотрѣлъ того, что у него подъ носомъ дѣлается. Это бываетъ, особенно, когда «Я самъ» вполнѣ увѣренъ, что его собственная болтовня объ экранахъ и бассейнахъ гораздо важнѣе «сужденій печати» вообще. Но чита-

телю это едва-ли выгодно. А г. Гайдебуровъ, повидимому, еще многаго не досмотрѣлъ. Въ объявленіяхъ «Руси» говорилось о двухъ изданіяхъ: первомъ, которое должно представлять собою большую газету размѣровъ «Новаго Времени» и «Новостей» (14 руб. въ годъ безъ доставки) и второмъ, маленькомъ, первый № котораго и лежитъ теперь передо мной. И въ немъ напечатано: «Первое изданіе «Руси», вслѣдствіе сложныхъ техническихъ условій, начнетъ выходить въ свѣтъ лишь черезъ нѣкоторое время. Впредь до выхода перваго изданія, подписчикамъ этого изданія будетъ высылаться второе, а по выходѣ перваго имъ будетъ возвращена излишне внесенная ими часть подписной суммы, за время высылки второго изданія». Я не знаю, что называетъ г. Гайдебуровъ сложными техническими условіями, но, ухитрившись сдѣлать второй шагъ прежде перваго, онъ доказалъ, что для него никакія трудности не существуютъ. Любопытно бы только знать, долго-ли подписчики на первое изданіе «Руси» будутъ получать второе, которое они получать не желали. Такъ какъ г. Гайдебуровъ, вѣруя въ свое великолѣпіе, явственно сунулся въ воду, не спросясь броду, то «нѣкоторое время» можетъ, пожалуй, и на цѣлый годъ растянуться.

Самою цѣнною вещью въ первомъ № «Руси» является письмо папы Пія IX къ императору Александру II и отвѣтъ императора. Къ сожалѣнію, редакція «Руси», получившая эти во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно интересные историческіе документы изъ «семейнаго архива» Н. Л. Гладкаго, не ручается за ихъ «точность».

Эти же любопытные документы напечатаны въ пробномъ и первомъ №№ газеты «Утро».

Я хотѣлъ говорить и объ этой газетѣ, но не буду. 4-го января ей объявлено запрещеніе розничной продажи. Не знаю, чѣмъ заслужила она эту кару, но, не имѣя причинъ желать успѣха газетѣ г. Баталина, не нахожу все-таки удобнымъ говорить объ ней, именно, теперь. По той же причинѣ обойду молчаніемъ газету «Лучъ», 4-го января получившую первое предостереженіе и запрещеніе розничной продажи, а затѣмъ пріостановившуюся впредь до утвержденія редактора...

Перехожу къ «Міровымъ Отголоскамъ». Газета эта, столь похожая и столь не похожая на «Голосъ», стоитъ прежде всего, подобно «Руси», за искренность. «Безусловная искренность и твердость убѣжденій стоитъ у насъ на первомъ планѣ», — этими словами начинается передовая статья въ первомъ номерѣ. Въ фельетонѣ того же номера проф. Тархановъ излагаетъ «задачи печати». По опредѣленію почтеннаго физіолога, идеальный публицистъ дол-

женъ, кромѣ ума и знаній, отличаться еще тремя основными природными свойствами: «тонкой *отзывчивостью* ко всѣмъ явленіямъ общественной жизни, *тактомъ* при анализѣ ихъ и безграничнымъ стремленіемъ къ *правдѣ*. Такъ называемое «*чутье*», руководясь которымъ онъ улавливаетъ незамѣтныя для обыкновеннаго обывателя явленія общественной жизни и реагируетъ на нихъ надлежащимъ образомъ, находится въ ближайшей зависимости отъ его природной отзывчивости и высоты историческаго пониманія соціальныхъ явленій; *искренность*, прямолинейность, проявляемая публицистомъ при разборѣ тѣхъ или другихъ явленій или событій, является послѣдствіемъ его природнаго влеченія къ правдѣ; а *своевременность* поднимаемыхъ публицистомъ вопросовъ и объективное обсужденіе ихъ являются послѣдствіемъ его природнаго такта».

Надо, однако, замѣтить, что заявленіе объ искренности, даже «безусловной искренности», не мѣшаетъ передовой статьѣ «Міровыхъ Отголосковъ» быть въ высокой степени криволинейною, какъ сказалъ бы проф. Тархановъ, отождествляющій, вѣроятно по неопытности въ публицистикѣ, искренность съ «прямолинейностью».

Передовая статья эта представляетъ собою какіе-то странные, капризно перепутанные арабески. Арабески—очень красивый орнаментъ, но только орнаментъ, и строить по ихъ образу и подобію самое зданіе дѣло невозможное. Арабески, не смотря на характерную для нихъ перепутанность ломаныхъ линій, представляютъ собою нѣчто художественно цѣльное. А логическіе арабески передовой статьи «Міровыхъ Отголосковъ» точно разными руками выписаны, при чемъ одна рука нисколько не сообразовалась съ тѣмъ, что дѣлаетъ другая и, можетъ быть, третья, четвертая. Общія мѣста о благѣ родины, о служеніи истинѣ и т. п. — въ счетъ не идутъ: ихъ во всѣхъ газетахъ, новыхъ и старыхъ, могла бы одна и та же рука писать, до такой степени они шаблонны. Но вотъ среди подобныхъ общихъ мѣстъ вдругъ кто-то вспоминаетъ о «биржевомъ ажіотажѣ» и вписываетъ соотвѣтственное, а другой придѣлываетъ нѣчто свое, о какой-то «болѣзни мнѣнія», третій интересуется состояніемъ беллетристики и опять же свое приписываетъ. Получается слѣдующее:

«Міровые Отголоски» будутъ всемѣрно стараться поставить извѣстные предѣлы развитію новыхъ пороковъ и новыхъ общественныхъ язвъ. Они будутъ стоять за искорененіе биржевого ажіотажа, за удаленіе всяческихъ шарлатановъ, шантажистовъ и, вообще, возлюбившихъ мзду неправедную и въ особенности тѣхъ, которые служатъ одновременно и Богу, и маммонѣ. Они еще энергичнѣе, чѣмъ нынѣ, будутъ стараться научать людей служить гражданственности не ради идоловъ языческой цивилизаціи, а во имя Бога живого и

истиннаго, повелительно требующаго любить «малыхъ сихъ» и жертвовать жизнію «за други своя». Въ здоровой Россіи оказываются явственные признаки болѣзни. Есть болѣзнь тѣла — тѣло Россіи здорово; есть болѣзнь мнѣнія, которая имѣетъ тѣ же признаки, какъ болѣзнь тѣла. Можно сравнить произведенія печати съ хорошими или дурными жизненными припасами, которые или укрѣпляютъ, или разстраиваютъ тѣло. Къ числу послѣднихъ слѣдуетъ отнести ту философію, которая отвергаетъ Бога и христіанскую мораль. Всякое торжество подобныхъ идей, искусственно возращаемыхъ въ обществѣ, есть пораженіе человѣческой цивилизаціи и задержка культуры, а печатное слово, распространяющее ихъ между строкъ, является орудіемъ злонамѣренности и недобросовѣстности. Въ самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе распространенія такихъ идей, нравственный и умственный уровень въ обществѣ замѣтно падаетъ, искусства разлагаются, въ беллетристикѣ обнаруживается преобладаніе одной лишь формы, технически усовершенствованной, при отсутствіи глубокаго внутренняго содержанія. Мало того, благодаря всему этому, народныя массы, лишаясь въ извѣстной мѣрѣ здраваго руководящаго элемента, бѣднѣютъ и грубѣютъ».

Прочитавъ эту тираду, вы невольно задаетесь вопросомъ: какая связь между отдѣльными ея частями? Новые пороки... биржевой ажіотажъ... языческая цивилизація... болѣзнь мнѣнія... чтеніе между строкъ... упадокъ искусства.. обѣднѣніе народныхъ массъ... Быть можетъ, и есть такая точка зрѣнія, съ которой всѣ эти предметы объединяются въ одно цѣлое, но въ статьѣ «Міровыхъ Отголосковъ» она не указана. Не утверждаю я далѣе, что статья дѣйствительно разными руками писана, но она производитъ такое впечатлѣніе. Какая такая въ наше время «языческая цивилизація»? она-ли, именно, «распространяется между строкъ»? способствовалали, напримѣръ, въ античной Греціи настоящая языческая цивилизація упадку искусства? Какимъ путемъ писаніе между строкъ вліяетъ на обѣднѣніе народныхъ массъ? и т. д., и т. д.

Что касается фельетона проф. Тарханова, то для пирожника, вздумавшаго тачать сапоги, онъ даже очень недуренъ. А съ теченіемъ времени почтенный физіологъ, можетъ быть, и совсѣмъ войдетъ въ свою новую роль. Между прочимъ, онъ возлагаетъ на печать благородную задачу «дѣйствуя въ духѣ симпатіи созидать міръ (миръ?) и согласіе между народами, способствуя на почвѣ любви и взаимности выгодъ соединенію народовъ міра въ одну высшую біологическую единицу, именуемую *человѣчествомъ* и члены которой, т. е. *народы* должны будутъ стоять въ тѣхъ же отношеніяхъ ко всему человѣчеству, какъ отдѣльные *граждане* къ народу или какъ *клѣтки* сложнаго организма къ цѣлому организму». Не-

зависимо отъ слишкомъ избитой аналогіи, это прекрасная мысль, хотя тоже довольно избитая, но нуждающаяся въ постоянномъ повтореніи. Страннымъ образомъ, рядомъ съ нею г. Тархановъ ставитъ такое положеніе: «печати нечего смущаться картиной грандіозныхъ затратъ цивилизованныхъ націй на вооруженія». И это потому, что, въ силу еще одной избитой мысли, милитаризмъ долженъ, такъ сказать, съѣсть самъ себя: чѣмъ грознѣе и убійственнѣе будутъ способы взаимнаго истребленія народовъ, тѣмъ труднѣе имъ будетъ рѣшаться на кровавыя распри. Вотъ что называется дѣйствительно «прямолинейностью», которую г. Тархановъ неосновательно смѣшиваетъ съ искренностью. Допустимъ, что усиленныя вооруженія приведутъ въ неизвѣстномъ будущемъ къ тѣмъ благимъ результатамъ, которыхъ ждетъ г. Тархановъ. Но все-таки улита ѣдетъ — когда то будетъ, а побочные результаты развивающагося по всей Европѣ милитаризма (хотя бы, напримѣръ, одно непомѣрное усиленіе налоговъ) совсѣмъ не такого свойства, что ими «печати нечего смущаться». Надо надѣяться, что недосмотръ г. Тарханова зависитъ отъ его неопытности и что, какъ говорится у Островскаго объ одномъ молодомъ человѣкѣ, «это отъ малодушества, со временемъ проходитъ».

Ожидаемая «Міровыми Отголосками» г. Трубникова высшая біологическая единица, именуемая человѣчествомъ, въ которой сольются всѣ національности, не соблазняетъ газету «Гласность» г. Пятковскаго. И вотъ почему: «Многіе народы глубокой древности достигли высшей степени матеріальнаго и духовнаго процвѣтанія, не имѣя ни малѣйшаго представленія о томъ, что принято теперь называть «политическою свободой», въ примѣненіи ея къ отдѣльнымъ личностямъ. Между тѣмъ, понятіе о національной свободѣ и независимости никогда не служило предметомъ споровъ и недоразумѣній; привязанность къ родному языку, отечеству, религіи и обычаямъ, т. е. къ тому, что называется «національною индивидуальностью», всегда жила и будетъ еще долго жить въ сознаніи народовъ, не смотря на проповѣдь космополитовъ о какой-то «общечеловѣческой семьѣ».

Какъ будетъ «Гласность» проводить демаркаціонную линію между политическою и національною свободою — можно отчасти уже и изъ перваго номера видѣть. Органъ г. Пятковскаго очень недоволенъ Европой, но вмѣстѣ съ тѣмъ выбираетъ для себя одну изъ европейскихъ программъ, при томъ одну изъ худшихъ: антисемитизмъ. Валить всѣ бѣды на евреевъ по малой мѣрѣ не умно и въ Европѣ, хотя бываетъ и выгодно для желающихъ мутить воду, дабы съ тѣмъ большимъ удобствомъ ловить въ ней рыбу. А «Гласность» желаетъ и къ намъ привить эту по малой мѣрѣ не умную

точку зрѣнія. Естественно выходитъ еще не умнѣе, чѣмъ въ Европѣ. Передовая статья перваго № «Гласности» рекомендуется, между прочимъ, такъ: «Мы отрицаемъ и аракчеевщину, идущую сверху, и пугачевщину, поднимающуюся снизу». Это не удивительно: хорошаго мало, какъ въ аракчеевщинѣ съ одной стороны, такъ и въ пугачевщинѣ съ другой, такъ что едва-ли даже есть надобность столь торжественно «отрицать» ихъ». Но удивительно непосредственное продолженіе отрицанія «Гласности»: «*Идя по этому пути*, мы будемъ отходить одинаково далеко и отъ дикаго обскурантизма нашей псевдо-консервативной прессы, и отъ буржуазно-еврейскаго либерализма, ведущаго недостойную игру со всѣми принципами христіанской цивилизаціи и гуманности». Емельянъ Пугачевъ вѣроятно очень удивился бы такому сопоставленію его съ «буржуазно-еврейскимъ либерализмомъ», да и послѣдній, въ свою очередь, почувствовалъ бы себя немножко жутко въ обществѣ Емельяна Пугачева. Но «я думаю, что Карѳагенъ надо разрушить». Въ томъ же первомъ № «Гласности» есть статья «Россія и Западная Европа», въ которой читаемъ: «Что такое изображаетъ собою пресловутое западно-европейское «братство людей» какъ не братскій союзъ лже-либерализма съ «вѣчнымъ жидомъ», общими усиліями подготовляющихъ побѣду талмудизма надъ христіанствомъ и капитала надъ трудомъ».—Ясно, что надо разрушить, именно, Карѳагенъ, а не что либо иное. — Задачу свою «Гласность» формулируетъ такъ: «Открывать и бичевать всякое злоупотребленіе духовной властью, всякое нарушеніе закона и долга передъ Царемъ и отечествомъ, способствовать развитію и самосовершенствованію созданныхъ русскимъ народомъ и дарованныхъ ему верховной властью національныхъ учрежденій,—вотъ что мы понимаемъ подъ гласностью и прогрессомъ, и къ чему будемъ стремиться по мѣрѣ силъ и способностей на столбцахъ нашей газеты».

Но разрушить-то все-таки надо Карѳагенъ, ибо въ другомъ мѣстѣ той же статьи, объявляя себя «принадлежащею къ партіи союза Царя съ народомъ» (возможно-ли говорить о такой партіи?), газета сводитъ ея задачу, всю цѣликомъ, къ слѣдующему: «по возможности отстаивать государственное и національное единство Россіи отъ просачиванія чужеядныхъ разлагающихъ элементовъ; не смотря на всѣ таможенныя преграды, элементы эти, въ лицѣ безпочвенныхъ сыновъ Израиля и іудействующихъ либераловъ, уже успѣли свить себѣ гнѣздо въ русскомъ обществѣ и даже, увы, проникли въ качествѣ паразитовъ въ русскій народъ».

Такимъ образомъ, «всякое злоупотребленіе духовною (?) властью, всякое нарушеніе закона» исходитъ, повидимому, отъ «чужеядныхъ

и разлагающихъ элементовъ», а иныхъ чужеядныхъ и разлагающихъ элементовъ, кромѣ «безпочвенныхъ сыновъ Израиля и іудействующихъ либераловъ», у насъ нѣтъ... Сомнѣваюсь, чтобы газета, одолѣваемая столь однопредметною idée fixe, могла сослужить полезную службу своему отечеству. И какъ не вспомнить Каткова, котораго, надо думать, и г. Пятковскій не заподозритъ ни въ «іудействующемъ», ни въ какомъ другомъ либерализмѣ и который, кажется, не подлежитъ подозрѣнію по части «государственнаго и національнаго единства Россіи». Въ 1882 г. онъ писалъ: «Нельзя всѣхъ евреевъ собрать въ одну шею, чтобы заразъ отрубить имъ всѣмъ головы; нельзя также выгнать ихъ всѣхъ за нашу границу, если не считать таковою теченіе Днѣпра; нельзя и переселить всѣ эти четыре милліона въ восточные края, трудно также выслать ихъ всѣхъ въ Палестину или въ Америку. Сколько бы умныхъ вещей мы ни наговорили, мы все-таки останемся съ евреями, въ этомъ сомнѣнія быть не можетъ при малѣйшемъ серьезномъ взглядѣ на дѣло. Откуда-же теперь, именно теперь, это странное возбужденіе, которое ни къ чему доброму придти не можетъ» («Московскія Вѣдомости» 1882, № 110). Въ томъ же году (№ 94) Катковъ по одному частному вопросу писалъ: «Если къ кабаку мы равнодушны, то противъ шинкаря-жида мы вдругъ вознегодовали до готовности избить и сжить со свѣта все еврейское населеніе. Въ жидѣ-шинкарѣ увидѣли мы почему-то вдругъ виновника раззоренія Россіи и бѣдственнаго состоянія ея крестьянства»...

Цитаты эти напоминаютъ намъ, что есть и еще одна, если не новая, то обновленная газета—«Московскія Вѣдомости», поступившія съ конца прошлаго года въ завѣдываніе г. Грингмута.

Свое вступленіе въ редактированіе «Московскихъ Вѣдомостей» г. Грингмутъ оповѣстилъ особой статьей, смыслъ которой состоитъ въ томъ, что новый редакторъ намѣренъ «постепенно вводить въ содержаніе газеты дальнѣйшія усовершенствованія, соотвѣтствующія ея достоинству и значенію»; но—прибавляетъ г. Грингмутъ—«измѣненія эти, само собою разумѣется, отнюдь не будутъ касаться той ясной, опредѣленной программы, которую завѣщалъ своимъ преемникамъ М. Н. Катковъ» (Москов. Вѣд. 10 дек. 1896, № 340). Программа Каткова едва-ли была столь ясна и опредѣленна, какъ думаетъ новый редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей», но нѣкоторыя ея части, и главнымъ образомъ отрицательные ея пункты были дѣйствительно достаточно опредѣленны. Такъ что въ этомъ отношеніи г. Грингмуту нѣтъ надобности выдумывать порохъ. Но

въ чемъ же состоятъ «дальнѣйшія усовершенствованія, соотвѣтствующія достоинству и значенію» газеты?

Одинъ эпизодъ изъ дѣятельности новой редакціи «Московскихъ Вѣдомостей» надѣлалъ большого шума, и можетъ быть именно въ немъ слѣдуетъ искать выраженія тѣхъ усовершенствованій, которыя соотвѣтствуютъ «достоинству и значенію» печатнаго слова, какъ ихъ понимаютъ «Московскія Вѣдомости».

Въ № 349 (19 дек. 1896), въ передовой статьѣ, озаглавленной: «Есть ли въ Россіи партіи?» «Московскія Вѣдомости», между прочимъ, пишутъ: «Мы снова повторяемъ то приглашеніе, которое мы уже разъ сдѣлали оффиціальнымъ органамъ нашихъ враговъ, «Русскимъ Вѣдомостямъ» и «Вѣстнику Европы» *): пусть они категорически заявятъ себя вѣрноподданными Русскаго Самодержавнаго Царя, и мы тотчасъ повѣримъ имъ. Развѣ это такъ трудно для нихъ? Вѣдь это только было бы повтореніемъ принесенной ими присяги». За исполненіе этого требованія «Московскія Вѣдомости» обѣщали великія и богатыя милости, обѣщали «съ открытою радостью, съ искреннимъ восторгомъ первые протянуть руку своимъ теперешнимъ врагамъ». Но «Русскія Вѣдомости» не польстились на эти обѣщанія, и такъ какъ это было уже не первое къ нимъ «приставаніе», то они, очевидно, вышли, наконецъ, изъ терпѣнія и отвѣтили съ несвойственною имъ рѣзкостью. Почтенная газета объявила именно, что она не намѣрена отвѣчать на «глупые вопросы», и въ свою очередь сама задала вопросъ: кѣмъ уполномоченъ г. Грингмутъ призывать людей ко вторичной присягѣ? Вопросъ дѣйствительно любопытный. Въ законѣ точно указаны обстоятельства, при которыхъ приносится присяга, и нѣтъ такого закона, чтобы любой охочій человѣкъ, — хотя бы онъ назывался г. Грингмутъ,—могъ въ любое время хватать любого мимоходящаго человѣка,—хотя бы это былъ его врагъ,—и приводить его къ присягѣ. Немудрено, что вопросомъ, заданнымъ «Русскими Вѣдомостями», заинтересовалась и петербургская печать: «С.-Петербургскія Вѣдомости», «Новое Время», «Торгово-Промышленная газета», «Лучъ», «Народъ» и, кажется, еще нѣкоторыя газеты. Даже кн. Мещерскій не одобрилъ. Любопытно слѣдующее, вырвавшееся у него при этомъ признаніе: «Съ плеткою въ рукахъ, съ дерзкою и превысокомѣрною рѣчью въ устахъ, въ защиту завѣтовъ и основъ русскаго порядка, нельзя при самыхъ умныхъ и сильныхъ рѣчахъ внушать любовь къ тому, во имя кого или чего возвышаешь голосъ... Своихъ все-таки смущаешь, а чужихъ множишь... Я это

*) Въ одной изъ нашихъ статей, появившихся въ «Русскомъ Обозрѣніи» за подписью «Spectator».

прежде не сознавалъ, но потомъ понялъ и пришелъ къ убѣжденію, что первое условіе успѣха въ борьбѣ съ политическимъ противникомъ,—это дать понимать и чувствовать читателю спокойствіе за себя и терпимость къ нему». Достоинъ также вниманія конецъ статьи г. Гольмстрема въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ»: «Московскія Вѣдомости» считаютъ себя, повидимому, всею Россіей, единою Россіей и единственно русской партіей, а также монополистами благонадежности. Мнѣ, пожалуй, можно было бы радоваться этому, потому что я только что получилъ отъ нихъ свидѣтельство благонадежности, въ видѣ приглашенія сотрудничать. Пусть настоящая статья будетъ моимъ отвѣтомъ».

Г. Грингмуту пришлось выслушать много непріятныхъ для него вещей—и выслушать молча, да и что бы онъ могъ возразить? Но въ душѣ онъ, можетъ быть, и до сихъ поръ думаетъ, что съ его стороны произошла только, такъ сказать, техническая ошибка, въ принципѣ не противорѣчащая «достоинству и значенію газеты».

Другіе органы печати думаютъ иначе. Но вотъ что любопытно. Самъ г. Грингмутъ указываетъ, что онъ уже не въ первый разъ дѣлаетъ свое странное предложеніе. Почему же только теперь встрѣтило оно насмѣшки и негодованіе? Habent sua fata всякаго рода писанія, и я думаю, что безобразная выходка «Московскихъ Вѣдомостей» прошла бы незамѣченною или, по крайней мѣрѣ, не отмѣченною, если бы автору отвѣта «Русскихъ Вѣдомостей» не легла подъ перо удачная постановка вопроса: кѣмъ уполномоченъ г. Грингмутъ приводить людей ко вторичной присягѣ? Но, воздавая ей должное, какъ полемическому пріему, надо все-таки сказать, что постановка эта указывала только на присвоеніе себѣ г. Грингмутомъ исключительныхъ правъ, ему не принадлежащихъ. Это обстоятельство, конечно, достойно всякаго вниманія, какъ особенно яркое и наглядное выраженіе стремленія нашихъ такъ называемыхъ консерваторовъ узурпировать ту самую власть, къ огражденію которой они объявляютъ себя нарочито призванными. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь именно искреннѣйшій вѣрноподданный и убѣжденнѣйшій приверженецъ самаго принципа самодержавія долженъ возмутиться требованіемъ г. Грингмута, все равно, какъ искреннѣйшій православный возмутился бы, узнавъ, что какой нибудь охочій человѣкъ требуетъ отъ мимоходящихъ громогласнаго прочтенія символа вѣры. Изъ этого слѣдуетъ, что такъ называемая благонамѣренность, при излишнемъ усердіи не по разуму способна ставить своихъ носителей въ очень двусмысленныя положенія. Своимъ вопросомъ «Русскія Вѣдомости» рѣзко выдвинули эту сторону дѣла, но у него есть еще и другая сторона, насъ, представителей печатнаго слова, собратовъ г. Грингмута по профессіи,

ближе касающаяся. Нельзя сказать, чтобы и эта сторона не была затронута въ газетныхъ статьяхъ, вызванныхъ упомянутымъ полемическимъ эпизодомъ, но мнѣ кажется, она не была оцѣнена въ достаточной мѣрѣ.

Формальнаго, юридическаго права призывать кого ему вздумается къ присягѣ г. Грингмутъ не имѣетъ, и разъ онъ посягаетъ на это не ему принадлежащее право,—онъ самъ себя ставитъ въ комическое положеніе вмѣсто того грознаго, которое онъ желаетъ занять: онъ потребуетъ присяги, а ему посмѣются въ глаза, и дѣло съ концомъ. Не имѣетъ онъ также права подвергать заподозрѣнныхъ имъ въ чемъ либо предосудительномъ полицейскому надзору и сыску,—для этого существуютъ особые спеціальные органы государства. И если г. Грингмутъ обратится, напримѣръ, ко мнѣ съ допросомъ, я можетъ быть и удовлетворю его любознательность (какъ удовлетворилъ недавно любознательность г. Медвѣдскаго, который, мимоходомъ сказать, теперь «категоряетъ усю систему» въ газетѣ г. Грингмута: (qui se ressemblent—s'assemblent), а можетъ быть предоставлю ему вопіять въ пустынѣ или скажу, какъ «Русскія Вѣдомости»: «на такіе глупые вопросы я не отвѣчаю». Но этимъ еще не рѣшается вопросъ о нравственномъ значеніи подвиговъ «Московскихъ Вѣдомостей», о томъ, въ какой мѣрѣ составляютъ они «усовершенствованіе, соотвѣтствующее достоинству и значенію» печатнаго слова. Повторяю, и въ этомъ отношеніи различные органы печати высказались, но пикантный вопросъ о правѣ г. Грингмута приводить къ присягѣ какъ-то заслонилъ собою нравственный элементъ подвиговъ новаго редактора московской газеты и помѣшалъ обратить должное вниманіе на нѣкоторыя подробности ихъ.

Въ № 363 «Московскихъ Вѣдомостей» (13 дек.) напечатана статья «Краснорѣчивое молчаніе», подписанная «Эскамильо». Это есть нѣкоторое дополненіе или разъясненіе къ «опыту изслѣдованія либеральной терминологіи». Прежде, чѣмъ приступить къ изученію «краснорѣчиваго молчанія», г. Эскамильо изслѣдовалъ термины «доносъ», «инсинуація», «искаженіе мыслей». Онъ пришелъ къ тому заключенію, что термины эти употребляются «либералами» неправильно, а именно для замаскированія либо своего безсилія, либо преступныхъ цѣлей, и тѣ благороднѣйшіе поступки, которые «либералы» клеймятъ этими названіями, отнюдь ихъ не заслуживаютъ. Надо замѣтить, что г. Эскамильо (подобно «Московскимъ Вѣдомостямъ» вообще) полагаетъ, повидимому, что у насъ на Руси существуютъ только два сорта людей: «консерваторы» и «либералы», при чемъ первые и должны существовать, существованіе же послѣднихъ незаконно. Разъяснивъ упомянутые три пункта «ли-

беральной терминологіи», г. Эскамильо приступаетъ къ четвертому: «залѣзаніе въ душу», при чемъ выясняется и «консервативный» терминъ «краснорѣчивое молчаніе». Поистинѣ изумителенъ тотъ развязно хвастливый и вмѣстѣ съ тѣмъ шипящій, захлебывающійся отъ злорадства тонъ, которымъ г. Эскамильо излагаетъ свои мысли. Онъ пишетъ: «Противники либерализма, изволите видѣть, залѣзаютъ въ ихъ душу и, не гнушаясь подобной операціи, извлекаютъ изъ либеральныхъ душъ то, что особенно ревниво охраняется отъ посторонняго взора. Судя по необычайно грустной интонаціи, съ которою произносятся жалобы на «залѣзаніе въ душу», нужно думать, что сія операція производится отнюдь не безуспѣшно». Каковъ стиль?! Онъ мнѣ напоминаетъ одну сцену въ «Князѣ Серебряномъ» гр. А. Толстого,—когда Малюта Скуратовъ приходитъ издѣваться надъ кн. Серебрянымъ: «Голосъ Малюты обыкновенно грубый, теперь походилъ на визгъ шакала, нѣчто между плачемъ и хохотомъ». Онъ говоритъ: «Дозволь мнѣ, худородному, изъ княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мнѣ, холопу, боярскую кожу твою на конскій чепракъ снять! Дозволь мнѣ, смрадному рабу, вельможнымъ мясомъ твоимъ собакъ моихъ накормить!»

Я не то, конечно, хочу сказать, что г. Эскамильо такъ же страшенъ какъ Малюта Скуратовъ; я даже не думаю, чтобы разговору о г. Эскамильо приличествовала исключительно «необычайно грустная интонація». Нѣтъ, это зависитъ отъ настроенія. Можно, разумѣется, и погрустить объ униженіи «достоинства и значенія» печатнаго слова, но можно и разгнѣваться, а можно и посмѣяться надъ безсильной пародіей Малюты,—а что она есть дѣйствительно безсильная пародія, объ этомъ свидѣтельствуетъ встрѣча, оказанная новой редакціи «Московскихъ Вѣдомостей» самыми разнородными органами печати. Но шипящій тонъ «сей операціи», которой «не гнушаются» г. Эскамильо и его единомышленники, есть именно выраженіе сознающей себя нравственной «худородности», мстящей чужому превосходству: да, они, «изволите ли видѣть», по своимъ возвышеннымъ понятіямъ о «достоинствѣ и значеніи» печати, «гнушаются» нашими пріемами, а мы, худородные. все-таки «залѣзаемъ въ душу» и «производимъ» «сію операцію отнюдь не безуспѣшно».

И г. Эскамильо вполнѣ беззастѣнчиво разсказываетъ, въ чемъ, именно, состоитъ операція «залѣзанія въ душу». Иногда, говоритъ онъ, мы ловимъ своихъ противниковъ на «неосторожныхъ словахъ», иногда настигаемъ ихъ «между строкъ» и на «эзоповскихъ изворотахъ», но иногда они просто молчатъ,—какъ тутъ быть? не оставлять же молчащихъ въ покоѣ только потому, что они молчатъ? «Кто молчитъ умышленно, преднамѣренно, тотъ долженъ принять на себя и неудобства, находящіяся въ зависимости отъ занятой

имъ позиціи. Комментировать молчаніе, *вообще* (курсивъ, какъ и далѣе, принадлежитъ г. Эскамильо), разумѣется, нельзя съ такою *точностью*, съ какою можно комментировать слова. Но основная причина молчанія *въ опредѣленныхъ случаяхъ*—всегда ясна. Въ ней ошибиться мудрено. Потому-то разсматриваемый родъ молчанія и носитъ названіе *краснорѣчиваго*». И г. Эскамильо предполагаетъ продолжать свои «опыты изслѣдованія либеральной (и консервативной?) терминологіи, отмѣчая одновременно и практическое примѣненіе либералами тѣхъ пріемовъ, о которыхъ мы разсуждаемъ теоретически». Такимъ образомъ намъ предстоитъ увидѣть рядъ изслѣдованій не только книгъ, статей, вообще, литературныхъ произведеній Ивана, Сидора, Петра, но и ихъ *молчаній*... Пока г. Эскамильо даетъ только неопредѣленный образчикъ этого рода изслѣдованій. Онъ говоритъ: «Предположимъ, для примѣра, что въ разгаръ франко-русскихъ торжествъ какая-нибудь газета, внимательно слѣдящая и за гораздо меньшими событіями дня, ни слова не стала бы печатать объ этихъ торжествахъ. Всякій читатель газеты имѣлъ бы право предположить, что такое молчаніе *преднамѣренное*, потому что *неестественное*. *Естественно* говорить о происходящихъ торжествахъ, а не замалчивать ихъ. Почему же молчитъ газета? На это намъ можетъ дать отвѣтъ ея общее направленіе. Если она—газета космополитическая (то-есть, признающая всѣ патріотизмы, за исключеніемъ русскаго), то безъ малѣйшей натяжки и вы, и я, и каждый другой имѣетъ основаніе придти къ выводу: газета молчитъ, *потому что не сочувствуетъ* франко-русскимъ торжествамъ».

Что же, однако, дѣлать съ людьми, молчаніемъ выражающими свое несочувствіе франко-русскимъ торжествамъ? Что они люди преступные,—это несомнѣнно для г. Эскамильо. Хотя и Катковъ въ разныя времена различно относился къ мысли о союзѣ Россіи съ Франціей, но теперь его преемники даже молчаніе на эту тему объявляютъ преступленіемъ или, по крайней мѣрѣ, признакомъ преступности, потому что, дескать, это—молчаніе на преступную тему... или преступное молчаніе на обязательную тему? Право не знаю, какъ слѣдуетъ квалифицировать «краснорѣчивое молчаніе» съ точки зрѣнія вмѣненія. Въ этомъ отношеніи нѣтъ никакихъ указаній ни въ нашемъ дѣйствующемъ законодательствѣ, ни во всей исторіи права. Что наши законы не воспрещаютъ молчанія, — этого, конечно, нѣтъ надобности доказывать... Но вотъ, напримѣръ, даже Тацитъ (который долженъ быть извѣстенъ г. Грингмуту со школьной скамьи), вспоминая въ жизнеописаніи Агриколы тяжелое прошлое, говоритъ: «Шпіонствомъ было отнято у насъ даже взаимное общеніе посредствомъ слова и слуха. Мы потеряли бы вмѣстѣ съ

голосомъ и самую память, если бы также было въ нашей власти забывать, какъ и *молчать*». (Цитирую по переводу г. Модестова: «Сочиненія Корнелія Тацита» I, 4). Такимъ образомъ, на что ужъ были жестокія времена, а на «власть молчать» ни у какого тогдашняго Эскамильо все-таки не поднималась рука. При Клавдіѣ славился въ качествѣ «обвинителя», какъ тогда называли этого рода людей, нѣкто Суиллій. Между прочимъ, онъ обвинялъ одного римскаго всадника въ томъ, что тотъ видѣлъ неблагонамѣренный сонъ, «именно, что онъ видѣлъ Клавдія въ вѣнкѣ изъ колосьевъ, при чемъ колосья были перевернуты внизъ, и *будто бы онъ говорилъ*, что это сновидѣніе означаетъ дороговизну хлѣба» (Тацитъ, «Лѣтопись», кн. XI, гл. IV). Все-таки—«будто бы онъ *говорилъ*»..

Не буду больше цитировать Тацита, а только посовѣтую гг. Грингмуту и Эскамильо освѣжить въ своей памяти творенія великаго историка, котораго и они, конечно, признаютъ великимъ. Желая даже превзойти описанныя имъ мрачнѣйшія времена всемірной исторіи, они дѣлаютъ такой же промахъ, какъ и призывая мимоходящихъ ко вторичной присягѣ: не въ ихъ власти отнять у кого-нибудь «власть молчать». Но допустимъ, что ихъ нелѣпыя выходки могутъ отразиться на молчащихъ практическими послѣдствіями. Каковы же эти послѣдствія будутъ? Представимъ себѣ, что, напримѣръ, писатели X и Z молчатъ о франко-русскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ, или о какомъ бы то ни было другомъ предметѣ; и молчатъ, именно, потому, что ихъ мнѣнія на этотъ счетъ, если бы они были высказаны, были бы признаны вредными. Чего же лучше съ самой архи-охранительной точки зрѣнія: вредныя идеи не распространяются. Но вотъ является г. Эскамильо, «лѣзетъ въ душу» къ X и Z и выволакиваетъ оттуда на бѣлый свѣтъ вредную идею. Можно бы было не безъ успѣха доказывать, что это поступокъ «не патріотическій» и «не благонамѣренный». Но мы этимъ заниматься не станемъ, а продолжимъ свою гипотезу, что «залѣзаніе въ душу» отражается на X и Z, «краснорѣчивое молчаніе» которыхъ должно, по могущественному слову г. Эскамильо, прекратиться. Предположимъ далѣе, что, прекративъ свое молчаніе, X откровенно высказываетъ свои вредныя идеи, — настолько вредныя (изъ-за пустяковъ поднимать шумъ, конечно, не стоитъ), что немедленно же или по прошествіи извѣстнаго времени долженъ опять замолчать; Z же, напротивъ того, устрашенный, начинаетъ прикидываться благонамѣреннымъ во вкусѣ г. Эскамильо и, можетъ быть, даже превосходитъ его рвеніемъ... Впрочемъ, нѣтъ, это ужъ, пожалуй, и лишнее, да едва ли и возможно, а пусть Z преклоняется передъ воззрѣніями г. Эскамильо и старается, въ мѣру своихъ силъ и способностей, ему подражать: въ свою очередь залѣзаетъ кому слѣдуетъ въ душу,

выволакиваетъ оттуда вредныя идеи и т. д., вплоть до полнаго очищенія всего поля россійской словесности. Какая величественная перспектива и какъ спокойно долженъ себя чувствовать среди этого чистаго поля г. Эскамильо! Какъ высоко поднялъ онъ «достоинство и значеніе» печатнаго слова!.. Всѣ плевелы выдернуты, и осталась одна пшеница... Но...—есть, вѣдь, эти маленькія «но», способныя иногда испортить самую величественную перспективу и отравить самыя возвышенныя радости,—но вѣдь Z не больше, ни меньше, какъ лжецъ и лицемѣръ, лишь внѣшнимъ образомъ, страха ради эскамильска, отрекшійся отъ своихъ вредныхъ идей. Онъ ихъ держитъ, какъ камень, за пазухой и при случаѣ швырнетъ ими совсѣмъ не въ ту сторону, куда желательно г. Эскамильо. Если же г. Эскамильо, столь охочій до залѣзанія въ душу, не интересуется тѣмъ, что у его соратниковъ находится за пазухой; если онъ исповѣдуетъ безобразную мораль, выражаемую пословицей: «люби—не люби, а почаще взглядывай», то мы-то, посторонніе, отлично видимъ, что эта мораль не только безобразна, а и близорука. Жена, отъ которой требуютъ, чтобы она только «почаще взглядывала», а любитъ она или не любитъ, это, дескать, все равно,—такая жена не дастъ мужу и настоящихъ ласкъ. Такъ и у Z нѣтъ и не можетъ быть настоящихъ, отъ сердца къ сердцу идущихъ словъ для выраженія лицемѣрно воспринятыхъ имъ идей. Онъ можетъ съ дѣланною выразительностью колотить себя въ грудь, рвать на себѣ одежды, метать словесные громы и молніи, но все это будетъ не настоящее и ни коимъ образомъ не поспособствуетъ подъему «достоинства и значенія» литературы. Иное злое сердце можетъ, конечно, радоваться, что идеи г. Эскамильо поддерживаются безсильными лицемѣрами, — и даже можетъ быть совсѣмъ не злымъ сердцемъ надо для такого радованія обладать, — но я говорю только о достоинствѣ и значеніи литературы, независимо отъ ея идейнаго содержанія, а лишь въ связи съ пріемами и нравами ея представителей. Какъ искреннее выраженіе извѣстныхъ мнѣній, одинаково достойна уваженія и «охранительная», и «либеральная», и всякая другая литература,—можно вѣдь и врага уважать. Но лицемѣріе ни въ комъ уваженія не вызываетъ, его въ концѣ концовъ непремѣнно должны презирать и тѣ, кому оно хочетъ угодить, не говоря уже о тѣхъ, на чей счетъ оно свои операціи производитъ. Это-то ужъ ни въ какомъ случаѣ не пшеница, а именно плевелы, насаждаемые (въ нашей гипотезѣ) г-мъ Эскамильо и комп. — Но за то другіе плевелы вырваны, — напоминаетъ г. Эскамильо: X то молчитъ. — Да, но вѣдь онъ и прежде молчалъ, по крайней мѣрѣ по тому вопросу, который г. Эскамильо принялъ отправнымъ пунктомъ для всего своего похода. И если онъ теперь замолкъ совсѣмъ, то

хотя это и есть дѣло рукъ г. Эскамильо, но послѣдній тѣмъ самымъ выдалъ самому себѣ testimonium paupertatis, свидѣтельство о духовной бѣдности, безсильной бороться съ литературнымъ врагомъ литературными средствами. И если эта духовная бѣдность вдвоемъ съ лицемѣріемъ гарцуютъ по чистому полю россійской словесности, то «достоинство и значеніе» печатнаго слова... гдѣ они?

Все это чистая гипотеза, въ дѣйствительности въ полномъ своемъ объемѣ немыслимая: къ счастію, у г. Эскамильо руки коротки. Но въ нѣкоторыхъ органахъ печати несомнѣнно господствуетъ тенденція къ осуществленію этой гипотезы, вслѣдствіе чего духовная скудость и лицемѣріе играютъ достаточно видную роль въ современной литературѣ. И эти-то жалкіе нищіе и лицемѣры смѣютъ говорить о достоинствѣ и значеніи литературы, они, каждымъ своимъ шагомъ унижающіе литературу! Не мнѣ жалѣть объ томъ, что гг. Грингмуты и Эскамильо компрометируютъ себя и свою партію выходками въ родѣ требованія вторичной присяги или оправданія «залѣзаній въ душу». Если бы дѣло только объ нихъ шло, то пусть бы себѣ громоздили одну гору глупостей и безтактностей на другую. Но въ своемъ безумномъ стремленіи не мытьемъ, такъ катаньемъ погубить своихъ противниковъ, утопить ихъ какими бы то ни было средствами, они, сами того не понимая, топятъ не только себя, а и всю литературу. Было время, когда имѣла смыслъ насмѣшка надъ тѣми, кому «печатный каждый листъ быть кажется святымъ». Время это прошло, теперь ужъ едва ли есть наивные люди, съ благоговѣніемъ взирающіе на каждый печатный листъ и на каждаго писателя. И хорошо, конечно, что это время прошло, потому что оно свидѣтельствовало, съ одной стороны, о зародышевомъ состояніи общественнаго сознанія, а съ другой — о полной оторванности литературы отъ жизни. По мѣрѣ того, какъ литература сближалась съ жизнью, спускаясь съ холодныхъ вершинъ отвлеченности въ міръ житейскихъ радостей и печалей въ ихъ осязательной практической формѣ, естественно должны были являться люди благодарные ей и обиженные ею, друзья и враги. Наступило время гораздо болѣе трудное, потому что гораздо болѣе отвѣтственное; но какъ бы ни было оно трудно, какъ бы ни безвозвратно далека отъ насъ была первоначальная идиллія, а литература въ цѣломъ, какъ литература, какъ голосъ общественнаго сознанія со всѣми его оттѣнками, можетъ пользоваться общимъ уваженіемъ: можетъ и должна этого добиться, иначе въ корень подрѣзанъ самый смыслъ ея существованія. Дѣло не въ томъ, что г. Грингмутъ или г. Эскамильо — консерваторы, а въ томъ, что они прибѣгаютъ къ недостойнымъ литературы пріемамъ и движутся недостойными литературы мотивами. Ни съ консервативной, ни съ какой дру-

гой политической точки зрѣнія «залѣзаніе въ душу» молчащаго человѣка не нужно и не полезно. Нужно оно этимъ господамъ, чтобы заслужить одобреніе своей патріотической дѣятельности, отъ которой не ускользаетъ даже не распространяемая, не выраженная вредная идея; оно полезно имъ. какъ отравленное оружіе въ борьбѣ съ конкурирующими органами печати. А это, конечно, мотивы мало почтенные, прямо недостойные литературы, какъ выраженія общественнаго сознанія (въ его консервативномъ, какъ и всякомъ другомъ оттѣнкѣ). Повидимому, выходки «Московскихъ Вѣдомостей» ничьего одобренія не заслужили и отравленное оружіе оказалось не смертоноснымъ, но фактъ униженія литературы остается. А вѣдь выходки эти—только грубѣйшія варіаціи на темы, давно и часто эксплоатируемыя. Мы такъ къ этому привыкли, что даже не замѣчаемъ до какой степени наша общественная атмосфера заражена нелѣпою подозрительностью и безсмысленными обвиненіями.

Возьмемъ, напримѣръ, такой эпизодъ, — одинъ изъ сотенъ, можетъ быть, тысячъ. Въ № 146 (14 дек. 1896 г.) газеты «Вятскій Край» напечатанъ отчетъ о засѣданіяхъ вятскаго губернскаго собранія 11—13 декабря. Слушался, между прочимъ, докладъ о дешевыхъ сельскихъ библіотечкахъ, устроенныхъ по мысли покойнаго, такъ безвременно погибшаго Батуева. Докладъ вызвалъ «продолжительныя и жаркія пренія». Нѣкто г. Чемодановъ прочиталъ записку, въ которой между прочимъ говоритъ, «что онъ ничего не имѣетъ противъ симпатичнаго и полезнаго учрежденія дешевыхъ сельскихъ библіотекъ, предпринятаго губернскою управою по иниціативѣ незабвеннаго просвѣтителя сельскаго населенія вятскаго края А. П. Батуева»; но что при томъ онъ недоумѣваетъ, откуда «въ обращеніи у народа встрѣчаются книги, которыя неодобрены или не могутъ быть одобрены для чтенія въ народѣ, какъ напр. «О попѣ и работникѣ его Балдѣ» Пушкина, «Хозяинъ и работникъ». «Свѣчка», «Три старца» и тому подобныя тенденціозныя изданія графа Толстого, «Русалка» Пушкина, въ которой рекомендуется развратъ за деньги, «Гдѣ любовь—тамъ и Богъ», запрещенная духовнымъ начальствомъ». Полагая, что земство не будетъ распространять книгъ, подрывающихъ основы, на которыхъ зиждется нравственный строй нашего православнаго народа, по мнѣнію г. Чемоданова естественно допустить, что «книги эти подъ прикрытіемъ земства проникаютъ въ народъ, можетъ быть, по внушенію изъ Цюриха и Женевы и тому подобныхъ просвѣтительныхъ центровъ съ цѣлію распространить въ народѣ недозволенныя идеи и тѣмъ не содѣйствовать, а противодѣйствовать благимъ желаніямъ земства». Далѣе г. Чемодановъ прибавляетъ, что сдѣланное имъ заяв-

леніе вытекаетъ не изъ желанія ограничить роль земства въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, а единственно изъ желанія оградить народъ отъ нежелательныхъ вліяній и вятское земство отъ нареканій.

Г. Алашеевъ объяснилъ г. Чемоданову, что на основаніи закона 15 мая 1890 года библіотеки эти подчинены министерству внутреннихъ дѣлъ и составляются по особо изданнымъ министерскимъ каталогамъ, въ которыхъ, разумѣется, не могутъ находиться книги, почему-либо нежелательныя для обращенія въ народѣ, что помимо того, по принятому обыкновенію, каждая книга, входящая въ составъ библіотеки, одобряется еще особо г. губернаторомъ и дирекціей народныхъ училищъ; при томъ завѣдующіе библіотеками утверждаются тѣмъ же губернаторомъ по предварительномъ одобреніи ихъ мѣстными священниками, земскими начальниками и дирекціей народныхъ училищъ. Дальше г. Алашеевъ заявилъ, что сочиненія Пушкина одобрены не только для народныхъ библіотекъ, но и для школьныхъ, и что здѣсь не можетъ быть и вопроса по существу. Г. Шиллегодскій прочиталъ статьи устава библіотекъ, которыми точно опредѣляется, какъ порядокъ учрежденія и составленія ихъ, такъ и порядокъ надзора, который всегда соблюдался земствомъ и не могъ не соблюдаться.

Пренія продолжались, и въ концѣ ихъ собраніе ассигновало на поддержаніе въ 1897 г. библіотекъ 3000 р. Надо замѣтить, что въ Вятской губ., благодаря иниціативѣ Батуева существуетъ 2573 библіотеки въ сельскихъ обществахъ, 51 при больницахъ и 23 при арестныхъ помѣщеніяхъ, такъ что на поддержаніе каждой изъ нихъ въ 1897 г. приходится рубль съ копѣйками. Однако, этотъ рубль съ копѣйками прошелъ большинствомъ всего трехъ голосовъ (16—противъ рубля, 19—за него). Но очень вѣроятно, что въ числѣ 16 отрицательныхъ голосовъ были и такіе, которые не противъ рубля съ копѣйками возставали, а повѣрили г. Чемоданову, что пушкинскія сказки или его же «Русалка», «въ которой рекомендуется развратъ за деньги», проникаютъ въ народъ «по внушенію изъ Цюриха и Женевы и тому подобныхъ просвѣтительныхъ центровъ». Надо же этакое выдумать! Казалось бы, если г. Чемодановъ даже понятія не имѣетъ о «Русалкѣ» Пушкина, такъ ему, какъ земскому дѣятелю, интересующемуся сельскими библіотеками, должны быть извѣстны, по крайней мѣрѣ, тѣ чрезвычайныя гарантіи благонамѣренности, которыми эти библіотеки у насъ обставлены. Но ни дирекція народныхъ училищъ, ни земскіе начальники и священники, ни губернаторъ, ни министерскіе каталоги не заслоняютъ Цюриха и Женевы отъ проницательнаго взора г. Чемоданова! И, поистинѣ, можно въ ужасъ придти, какъ подумаешь, сколькимъ элементарнѣйшимъ благимъ начинаніямъ вставляютъ палки въ ко-

леса подобные проницательные люди, въ невинности своей увѣренные, что Пушкинъ «рекомендуетъ развратъ за деньги», что тѣмъ же озабочены Цюрихъ и Женева и пр.

Но Богъ съ нимъ, съ г. Чемодановымъ. Судя по вышеприведенному, онъ человѣкъ необразованный, можетъ быть, никогда ничего, кромѣ «Московскихъ Вѣдомостей», не читалъ, такъ что, вдохновившись ихъ примѣромъ, внесетъ въ одинъ прекрасный день въ вятское земское собраніе проектъ вторичной присяги или дознанія «объ чемъ молчатъ» такіе-то и такіе гласные. Но если quod licet Jovi, non licet bovi, то и наоборотъ: quod licet bovi, non licet Jovi. Что простительно г. Чемоданову, то непростительно литературѣ. И общественное мнѣніе ей не прощаетъ. Уваженіе къ ней несомнѣнно падаетъ, что самымъ горькимъ и унизительнымъ образомъ отзывается на ея судьбахъ...

Я говорю не только о пріемахъ «Московскихъ Вѣдомостей». Пересмотрите все вышеизложенное. Эта похвальба г. Баталина своею «многолѣтнею извѣстностью», эта чудовищная реклама г. Гайдебурова и его же idée fixe—не слишкомъ ли много газетъ разрѣшено? Эти «Міровые Отголоски», зачѣмъ-то такъ похожіе и такъ непохожіе на «Голосъ», это мирное сожительство въ одной и той же редакціи гг. Дѣдлова и Вл. Соловьева, гг. Абрамова и Сыромятникова, — развѣ все это можетъ возбуждать уваженіе къ русскому печатному слову? А, вѣдь, мы заглянули только въ объявленія и первые номера новыхъ газетъ и лишь «Московскимъ Вѣдомостямъ» удѣлили нѣсколько больше вниманія. Загляните, напримѣръ, въ № 3 «Руси», гдѣ напечатана пикантная статейка г. Дѣдлова «Либеральная печать»...

Надо надѣяться, что только что возникшій «Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей» поспособствуетъ упорядоченію нашихъ литературныхъ нравовъ и подъему уваженія къ печатному слову. Это первый въ своемъ родѣ опытъ, и «братья писатели» должны отнестись къ нему съ величайшею серьезностью, отложивъ въ сторону всѣ личные и партійные счеты и памятуя одно: достоинство и значеніе литературы. Было бы нелѣпостью мечтать о принципіальномъ объединеніи представителей печати по разнообразнымъ теоретическимъ и практическимъ вопросамъ, подлежащимъ вѣдѣнію литературы, а въ принципѣ, если не на дѣлѣ,—что не подлежитъ ея вѣдѣнію? Не только такое объединеніе невозможно, но одною изъ задачъ союза должно быть, по крайней мѣрѣ, стремленіе обезпечить каждому мнѣнію безпрепятственное воплощеніе въ словѣ. И на этой-то, всѣмъ общей, профессіональной почвѣ объединеніе и желательно, и возможно.

До сихъ поръ наша литература представляла собою нѣкоторую «разсыпанную храмину», въ разныхъ углахъ которой могло совершаться многое нежелательное, отчасти благодаря, именно, ихъ замкнутости и отрозненности. Долгое время единственнымъ сколько нибудь объединяющимъ литературнымъ центромъ былъ такъ называемый «литературный фондъ», имѣющій, однако, совершенно спеціальныя задачи. Еще болѣе спеціальныя цѣли преслѣдуетъ образовавшаяся впослѣдствіи при литературномъ фондѣ, но совершенно отъ него независимая, «пенсіонная касса». Съ 1886 г. существуетъ въ Петербургѣ «Русское литературное общество», но и оно имѣетъ преимущественно спеціальныя задачи—эстетическія. Занятія общества состоятъ главнымъ образомъ въ томъ, что въ его собраніяхъ слушаются и обсуждаются художественныя или литературно-критическія произведенія его членовъ. Изъ отчетовъ общества видно, напримѣръ, что г. Авенаріусъ читалъ разсказъ «По внушенію», г. Аверкіевъ—отдѣльныя главы изъ романа «Художникъ Безпаловъ и нотаріусъ Подлещиковъ», г. Андреевскій—стихотворенія и т. п. Но сила вещей разорвала этотъ тѣсный кругъ дѣятельности «Русскаго литературнаго общества». Такъ, въ 1893 г. группа писателей обратилась въ общество съ просьбой возбудить вопросъ о литературной собственности, и общество приняло на себя эту задачу. Въ прошломъ году другая группа писателей, довольно случайнаго состава, численностью около 60 человѣкъ, обратилась въ общество съ просьбой содѣйствовать объединенію дѣятелей печатнаго слова, на почвѣ ихъ общихъ профессіональныхъ интересовъ. Общество тѣмъ съ большимъ вниманіемъ отнеслось къ этой просьбѣ. что въ немъ самомъ уже зарождалась мысль о необходимости расширить кругъ своей дѣятельности. Первоначальные 60 учредителей выбрали комиссію изъ 6 человѣкъ (К. К. Арсеньевъ, П. Д. Боборыкинъ, Н. И. Карѣевъ, Н. К. Михайловскій, Л. Е. Оболенскій, В. Д. Спасовичъ), которая, по соглашенію съ «Русскимъ литературнымъ обществомъ», выработала проектъ устава «Союза взаимопомощи русскихъ писателей», нынѣ утвержденный, съ слѣдующими измѣненіями и дополненіями, не затрогивающими существа проекта:

Пунктъ *з* § 2 проекта предоставляетъ Союзу «выпускать въ свѣтъ печатныя изданія и сборники». Въ уставѣ къ этому прибавлено: «а также издавать періодическій органъ, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ цензурныхъ правилъ».

Пунктъ *и* того же § проекта: «имѣть свою библіотеку и читальню». Въ уставѣ прибавлено: «съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для публичныхъ библіотекъ».

Ко всему отдѣлу о «цѣляхъ Союза» прибавлены слѣдующія пять

примѣчаній: «1) При устройствѣ литературныхъ чтеній, хотя бы напечатанныхъ съ дозволенія цензуры произведеній, должно быть каждый разъ испрашиваемо разрѣшеніе с.-петербургскаго градоначальника. 2) Для представителя полиціи назначается соотвѣтствующее мѣсто на каждый вечеръ или концертъ. 3) Музыкальные вечера, если они ограничиваются исполненіемъ музыкальныхъ пьесъ, изданныхъ съ надлежащаго разрѣшенія, могутъ быть устраиваемы безъ предварительнаго разрѣшенія, но если предполагается музыкальное исполненіе произведеній, не изданныхъ въ печати то таковыя должны быть представляемы предварительно на разсмотрѣніе мѣстнаго цензурнаго учрежденія или власти, оное замѣняющей. 4) Независимо отъ вышеизложеннаго комитетъ Союза увѣдомляетъ своевременно мѣстное полицейское начальство о всѣхъ устраиваемыхъ собраніяхъ и вообще соблюдаетъ общеизвѣстныя и обычныя по сему предмету правила. 5) При устройствѣ платныхъ зрѣлищъ и увеселеній комитетъ Союза долженъ руководствоваться правилами о сборѣ съ публичныхъ зрѣлищъ и увеселеній въ пользу вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи».

§ 6 дополненъ примѣчаніемъ: «Комитетъ Союза обязанъ заблаговременно доводить до свѣдѣнія с.-петербургскаго градоначальника о днѣ, часѣ, мѣстѣ и предметахъ занятій всѣхъ собраній членовъ Союза».

§ 10 проекта гласитъ: «Обыкновенныя собранія разсматриваютъ текущія дѣла Союза, выслушиваютъ рефераты и доклады, касающіеся профессіональныхъ интересовъ, заявленія членовъ Союза и жалобы на комитетъ и обсуждаютъ ихъ». Послѣднія слова редактированы въ уставѣ слѣдующимъ распространеннымъ образомъ: «и вообще обсуждаютъ лишь такіе предметы, которые относятся непосредственно къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Союза и о которыхъ доведено до свѣдѣнія с.-петербургскаго градоначальника».

§ 42 (и послѣдній) проекта дополненъ въ уставѣ словами: «Независимо отъ предоставленнаго с.-петербургскому градоначальнику (ст. 321 и 863 Общ. Губ. Учр.) права закрывать общественныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, градоначальникъ можетъ закрыть Союзъ всегда, когда признаетъ это нужнымъ по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ о безпорядкѣ или нарушеніяхъ устава».

Союзъ состоитъ «при Русскомъ Литературномъ обществѣ», но «въ случаѣ прекращенія дѣятельности «Русскаго Литературнаго общества» Союзъ можетъ продолжать существовать, какъ самостоятельное общество» (Примѣч. къ § 1 устава). Затѣмъ зависимость

Союза отъ «Русскаго Литературнаго общества» опредѣляется двумя пунктами: 1) «Изъ числа 12 членовъ Комитета *) 6 избираются изъ числа членовъ Союза, состоящихъ единовременно членами Русскаго Литературнаго общества. Изъ кандидатовъ къ членамъ Комитета — два избираются изъ числа состоящихъ членами Русскаго Литературнаго общества» (§ 17). (Остальные органы Союза,—судъ чести и ревизіонная комиссія,—равно какъ и личный составъ Союза не состоятъ ни въ какихъ обязательныхъ отношеніяхъ къ Русскому Литературному обществу)». 2) Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Союза, «остающійся капиталъ и имущество поступаютъ въ распоряженіе Русскаго Литературнаго общества, для обращенія на предметъ взаимопомощи писателей и дѣятелей періодической печати» (§ 42).

Цѣли Союза состоятъ въ слѣдующемъ:

а) объединеніе русскихъ писателей на почвѣ ихъ профессіональныхъ интересовъ, для установленія постояннаго между ними общенія и охраненія добрыхъ нравовъ среди дѣятелей печати;

б) посредничество между авторами, сотрудниками періодическихъ изданій и переводчиками, съ одной стороны, издателями и редакторами, съ другой, какъ въ отношеніи спроса и предложенія труда, такъ и для разсмотрѣнія ихъ взаимныхъ недоразумѣній и споровъ въ случаѣ возникновенія таковыхъ;

в) посредничество и разсмотрѣніе личныхъ споровъ и недоразумѣній, возникающихъ въ печати между членами союза, а также между ними и посторонними лицами;

г) представительство на русскихъ и иностранныхъ съѣздахъ и въ другихъ случаяхъ, когда союзъ признаетъ это нужнымъ, совмѣстно съ Русскимъ Литературнымъ Обществомъ или независимо отъ него;

д) ходатайство передъ правительственными и общественными учрежденіями по предметамъ, касающимся литературной профессіи и ея отдѣльныхъ представителей;

е) ходатайство и посредничество передъ учрежденіями и обществами, вѣдающими помощь писателямъ и ихъ семействамъ, а также содѣйствіе этимъ учрежденіямъ въ видахъ объединенія и развитія ихъ дѣятельности;

ж) матеріальную помощь своимъ сочленамъ въ тѣхъ формахъ, которыя будутъ признаны цѣлесообразными.

Дѣла Союза вѣдаются: 1) Комитетомъ (12 членовъ и 4 кандидата), 2) Судомъ чести (7 членовъ и 2 кандидата) и 3) Ревизіонной комиссіей (5 членовъ и 2 кандидата). Членскій взносъ—10 руб. въ годъ. По уставу Союзъ считается состоявшимся, когда въ немъ будетъ не менѣе 100 членовъ. 15 января первоначальные учредители собрались для пополненія списка членовъ до требуемаго уставомъ числа, и на этомъ стоитъ дѣло въ ту минуту, какъ пишутся

*) Завѣдующаго дѣлами Союза.

эти строки. По всей вѣроятности Союзъ откроетъ свои дѣйствія въ теченіе января же.

Пожелаемъ новорожденному Союзу выдержки и серьезности, необходимыхъ для успѣха дѣла. Надо надѣяться, что Союзъ обратитъ преимущественное вниманіе не на матеріальную помощь писателямъ, болѣе или менѣе обезпеченную существующими уже учрежденіями: литературнымъ фондомъ, пенсіонной кассой, кассой, учрежденной при академіи наукъ,—а на другія указываемыя уставомъ задачи. Главнѣйшими изъ нихъ представляются мнѣ: «охраненіе добрыхъ нравовъ среди дѣятелей печати», «посредничество и разсмотрѣніе споровъ и недоразумѣній, возникающихъ въ печати между членами Союза, а также между ними и посторонними лицами», «ходатайство передъ правительственными и общественными учрежденіями по предметамъ, касающимся литературной профессіи и ея отдѣльныхъ представителей»...

Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей можетъ быть и очень большимъ дѣломъ, и круглымъ нулемъ. Стать тѣмъ или другимъ зависитъ, конечно, не отъ него одного, но въ значительной степени все-таки и отъ того, въ какой мѣрѣ самъ онъ проникается серьезностью своихъ цѣлей и вѣрою въ достоинство и значеніе печатнаго слова.

II *).

Г. Рѣпинъ и его „манія ничтожества". — Еще о драмахъ Ибсена. — Рѣчь проф. Сергѣевича о „Союзѣ писателей".

Въ ноябрѣ истекшаго года г. Рѣпинъ праздновалъ 25-лѣтній юбилей своей художественной дѣятельности, получилъ много поздравленій и добрыхъ пожеланій и напечаталъ въ «Новомъ Времени» письмо, въ которомъ выразилъ «благодарность всѣмъ обществамъ, учрежденіямъ, высокопочтеннымъ лицамъ и своимъ добрымъ друзьямъ», выразившимъ ему сочувствіе. Нѣкоторыми своими подробностями это благодарственное письмо вызвало одну изъ тѣхъ бурь въ стаканѣ воды, когда извѣстный сюжетъ съ чрезвычайною горячностью обсуждается на страницахъ газетъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, а затѣмъ забывается навсегда. Въ данномъ случаѣ такое забвеніе едва ли основательно. Дѣло не въ г. Рѣпинѣ лично. Среди жаркой полемики объ упомянутомъ письмѣ кто-то высказалъ мысль, что слѣдуетъ цѣнить г. Рѣпина, какъ живописца, и не обращать никакого вниманія на его литературные опыты. Это вѣрно, что каждая «проба пера» г. Рѣпина,—пытается ли онъ передавать свои заграничныя впечатлѣнія или же просто пишетъ «письмо въ редакцію»,—возбуждаетъ досадное чувство: и зачѣмъ только онъ пишетъ? и если онъ самъ не понимаетъ, что это не умно и не хорошо, то неужели у него нѣтъ друзей, которые воздержали бы его отъ этихъ неудачныхъ пробъ пера? неужели и редакціи газетъ не имѣютъ настолько настоящаго уваженія къ нему, чтобы отказаться отъ печатанія его литературныхъ произведеній? «Перо мое—врагъ мой»,—давно уже долженъ былъ бы сказать себѣ г. Рѣпинъ. Все это такъ, но въ благодарственномъ письмѣ г. Рѣпина есть все-таки черты, заслуживающія того, чтобы надъ ними остановиться нѣсколько дольше, чѣмъ это допускается бурной, но кратковременной газетной полемикой.

---

*) Февраль, 1897 г.

Г. Рѣпинъ сообщаетъ, что ему «и до юбилея везло въ славѣ», но она не развила въ немъ маніи величія, а напротивъ «внѣдрила манію ничтожества». Онъ называетъ себя «страдальцемъ отъ неудовлетворительности своихъ произведеній». «При встрѣчѣ съ своими произведеніями на выставкахъ въ музеяхъ, я—говоритъ онъ—чувствую себя всегда безнадежно несчастнымъ отъ ихъ дурного впечатлѣнія». Онъ «работалъ четверть вѣка, большею частью при счастливыхъ условіяхъ, въ свое удовольствіе, по страсти». Онъ вспоминаетъ Діогена, который «отвергалъ даже плату за труды художника, такъ какъ художникъ, по его мнѣнію, уже достаточно награжденъ тѣмъ удовольствіемъ, какое испытываетъ во время своего безполезнаго творчества. Да, заключаетъ г. Рѣпинъ, мы—счастливчики, наша дѣятельность—забава». Впрочемъ, заключаетъ г. Рѣпинъ свое письмо, т. е кончаетъ его, не этимъ, но съ насъ и приведеннаго довольно.

Письмо свое г. Рѣпинъ напечаталъ въ ноябрѣ, а въ декабрѣ открылась «выставка опытовъ художественнаго творчества (эскизовъ)», въ которой г. Рѣпинъ занялъ самое видное мѣсто и по количеству выставленныхъ имъ произведеній (34 номера изъ 154 произведеній живописи), и, конечно, по ихъ художественному интересу. Самая идея выставки, равно какъ иниціатива ея осуществленія, принадлежатъ, какъ писали въ газетѣ, г. Рѣпину. Согласитесь, что это пикантно. Въ ноябрѣ человѣкъ громогласно заявляетъ о своей «маніи ничтожества», о томъ, что онъ «чувствуетъ себя безнадежно несчастнымъ» при видѣ своихъ картинъ на выставкахъ въ музеяхъ, а въ декабрѣ устраиваетъ выставку даже не картинъ, а эскизовъ, опытовъ творчества, незаконченныхъ или самимъ художникомъ забракованныхъ... Я ужъ не говорю о томъ, что почти на всѣхъ «опытахъ творчества» г. Рѣпина стояла надпись: «продано» или «пріобрѣтено» такимъ-то, и что, слѣдовательно, онъ въ своемъ письмѣ совершенно всуе упоминалъ Діогена, который отвергалъ плату за труды художника. Но и помимо этого деликатнаго пункта спрашивается,—зачѣмъ же г. Рѣпинъ писалъ свои пустяки о маніи ничтожества и прочемъ? Ясно, что маніи ничтожества онъ вовсе не подверженъ и не такъ ужъ «безнадежно несчастливъ», когда видитъ въ музеяхъ на выставкахъ свои даже дѣйствительно неудовлетворительныя (хотя бы только по ихъ незаконченности, эскизности) произведенія. Надо еще замѣтить, что если выставка эскизовъ въ декабрѣ уже открылась, то къ ея организаціи было приступлено, конечно, гораздо раньше, быть можетъ, въ тотъ самый моментъ, когда г. Рѣпинъ заявлялъ въ печати о своихъ чрезвычайныхъ страданіяхъ на выставкахъ.

Изъ этого слѣдуетъ, мнѣ кажется, что, каково бы ни было

отношеніе г. Рѣпина къ живописи, но его печатныя упражненія составляютъ для него, дѣйствительно, «забаву»; именно, забаву или, точнѣе, дѣтскую игру. Какъ дѣти играютъ: давай играть въ военные, — будто я генералъ, а ты солдатъ, или ты барыня, а я кухарка и ты меня на рынокъ посылаешь. Такъ и г. Рѣпинъ обращается къ публикѣ: давайте играть, – будто я ужасно страдаю маніей ничтожества, а вы будто этому вѣрите, и будто мнѣ стыдно брать деньги за свою работу, и вы этому тоже вѣрите... Дѣтямъ бываетъ очень весело въ такихъ играхъ, совершенно приличествующихъ ихъ возрасту, и есть между ними такіе искусники, что ни дать-ни взять генералъ или кухарка. Но г. Рѣпинъ забавляется, «балуется перомъ» очень неискусно. Это, во-первыхъ, а, во-вторыхъ, и возрастъ его не такой уже, чтобы забавляться игрой въ солдаты и генералы; тѣмъ болѣе, что въ своей области онъ есть настоящій, общепризнанный генералъ. Но тутъ-то, въ этой, именно, области, гдѣ онъ стяжалъ заслуженные лавры, г. Рѣпинъ, по его словамъ, и «забавляется». Такъ-ли это?

Выставка «опытовъ художественнаго творчества» поражала прежде всего случайностью своего состава. Полный титулъ выставки гласитъ: «выставка опытовъ художественнаго творчества (эскизовъ) русскихъ и *иностранныхъ* художниковъ и учениковъ». Это слишкомъ громкій титулъ. Иностранныхъ художниковъ было всего двое и выставлено было по одному номеру каждымъ. Затѣмъ, изъ русскихъ художниковъ, пользующихся болѣе или менѣе широкою извѣстностью, кромѣ г. Рѣпина, представлены были гг. Васнецовъ (2 номера), Мясоѣдовъ (1 номеръ), Нестеровъ (4 номера), Пастернакъ (3 номера), Полѣновъ (3 номера), Савицкій (1 номеръ). Боюсь ошибиться, но имена всѣхъ остальныхъ экспонентовъ, мнѣ кажется, ничего не говорили уму и сердцу посѣтителей выставки; по всей вѣроятности, все это «ученики». Конечно, имена сами по себѣ ничего не значатъ, и ничто не мѣшаетъ работѣ ученика быть и талантливою, и интересною въ смыслѣ «пробы художественнаго творчества». Но, къ сожалѣнію, хорошаго было мало на выставкѣ, а въ общемъ интересно было развѣ только то, что вотъ и у насъ обозначается въ молодомъ поколѣніи художниковъ явственное тяготѣніе къ декадентскому символизму. Тутъ есть вещи, въ которыхъ ровно ничего понять нельзя (напримѣръ: «Щемитъ» г. Головина или «Диссонансъ» г-жи Манасеиной), есть и такія, творцы которыхъ стараются быть понятными при помощи нагроможденія грубѣйшихъ символовъ (напр. «Камелія» г. Булатова), есть и такія, которыя, будучи свободны отъ всякаго символизма, представляютъ соединеніе безсодержательности темы съ какою-то намѣренною аляповатостью исполненія (напр., «Лебеди», «Утки», «Весло» г. Якунчи-

кова). Надѣюсь, что когда теперешніе «ученики» встанутъ на ноги, они будутъ стыдиться выставленныхъ ими «эскизовъ»; теперь же должно быть стыдно не имъ, а устроителю выставки, г. Рѣпину. Понятно, что на этомъ во всѣхъ смыслахъ скудномъ фонѣ его «опыты художественнаго творчества» рѣдко выдѣлялись и своимъ количествомъ, и своимъ качествомъ. Понятно, что и тѣ изъ посѣтителей выставки, которые не раздѣляютъ взглядовъ Діогена и заставляютъ «безнадежно несчастныхъ страдальцевъ» брать деньги за ихъ «безполезное творчество», обижали почти исключительно г. Рѣпина, то есть только почти его эскизы и покупали.

Надо, однако, правду сказать, что работы г. Рѣпина и не нуждались въ такомъ отсутствіи конкурренціи, чтобы обратить на себя пристальное вниманіе. Я остановлюсь лишь на нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыя помогутъ выяснить вопросъ: дѣйствительно-ли художественное творчество есть «забава», а художники—«счастливчики»? Но прежде нѣсколько словъ не о г. Рѣпинѣ, а о г. Шмидтѣ. Этотъ художникъ или ученикъ выставилъ эскизы «Наяда» и «Нормандское судно». «Наяда» изображена въ видѣ голой женщины съ рыбьимъ хвостомъ, а въ «Нормандскомъ суднѣ», собственно, нормандское судно не при чемъ: оно наскочило на скалу и стоитъ разбитое, опустѣлое (экипажъ или погибъ, или спасся, но его нѣтъ), а рядомъ на скалѣ отдыхаютъ двѣ голыя женщины, опять-таки съ рыбьими хвостами. Лица всѣхъ трехъ женщинъ, можно сказать. ровно ничего не выражаютъ, и, повидимому, преслѣдовавшая художника задача состояла, именно, въ изображеніи женщинъ съ рыбьимъ хвостомъ. Задачу эту г. Шмидтъ разрѣшилъ плохо: рыбьи хвосты больше похожи на длинные цвѣтные чулки, какіе носятъ и земныя женщины, только у «наядъ» они черезчуръ уже длинны. Но вы видите тутъ настоящіе «опыты художественнаго творчества»: задача низменная, исполненіе слабое, но человѣкъ чего-то добивался, искалъ, возвращался къ своей задачѣ и, можетъ быть, еще не разъ къ ней возвратится. И если бы не пустяковость темы, то этотъ процессъ художественныхъ родовъ могъ бы представлять великій интересъ. Такой, именно, интересъ представляютъ нѣкоторыя изъ работъ, выставленныхъ г. Рѣпинымъ.

Не рыбьими хвостами занятъ г. Рѣпинъ въ своихъ попыткахъ изобразить драму прекращенія молодой жизни на дуэли и примиренія умирающаго съ оставшимся въ живыхъ врагомъ; а можетъ быть, это и не враги вовсе, а напротивъ даже закадычные пріятели, позвавшіе другъ друга къ барьеру по какому-нибудь недоразумѣнію. Во всякомъ случаѣ, за эту тему г. Рѣпинъ брался три раза, стараясь уловить выраженіе лица человѣка, умирающаго на дуэли и въ то же время примиреннаго. Остальныя фигуры и аксессуары

этихъ трехъ эскизовъ очень различны (напримѣръ, на одномъ противникъ подбѣгаетъ къ умирающему, движимый раскаяніемъ или жалостью, а на другомъ онъ отходитъ въ сторону, закуривая папиросу); но во всѣхъ трехъ повторяется печать приближающейся смерти на лицѣ жертвы дуэли и вмѣстѣ — черты нѣжности и душевнаго мира. Всѣми тремя эскизами г. Рѣпинъ, очевидно, недоволенъ,—иначе бы мы, вѣдь, имѣли не эскизы, а картину; и онъ правъ въ своемъ недовольствѣ, потому что во всѣхъ трехъ варьянтахъ лицо умирающаго неудачно: слишкомъ оно слащаво. Но самая задача, очевидно, очень занимала художника, и едва-ли онъ «забавлялся» и былъ «счастливчикомъ», когда безуспѣшно старался уловить и воспроизвести задуманное лицо. Я представляю себѣ дѣло такъ, что онъ, напротивъ, много мучился, испытывалъ припадки не вздорной «маніи ничтожества», а настоящаго недовольства собой и сомнѣнія въ своихъ силахъ. Теперь онъ спокойно выставляетъ для публичнаго осмотра свои неудавшіеся опыты, но это еще не значитъ, чтобы муки сомнѣнія и недовольства собой не было въ то время, когда тема его занимала, когда онъ искалъ и не находилъ. Мы, вѣдь, знаемъ случаи, когда художники, въ порывѣ бурнаго недовольства собой, даже уничтожали свои, уже болѣе или менѣе законченныя, произведенія.

Точно также не могу я повѣрить, чтобы г. Рѣпинъ только «забавлялся» и былъ «счастливчикомъ», когда старался уловить, въ нѣсколькихъ тоже эскизахъ, физіономію Іуды Искаріота въ моментъ предательства. Всѣ эти опыты опять-таки оказались неудачными, талантливый художникъ самъ понялъ это и въ концѣ концовъ отступился отъ недававшейся ему задачи. Почему она ему не давалась, — это другой вопросъ. Можетъ быть. она просто была задумана, что называется, въ недобрый часъ, въ такой моментъ, когда у художника не было достаточно матеріаловъ для исполненія задачи, а можетъ быть, талантъ г. Рѣпина, вообще, не подходитъ для изображенія очень сложныхъ душевныхъ движеній. Повторяю, это дѣло особое. Особое дѣло и психологическій процессъ, побуждающій г. Рѣпина, страдая маніей ничтожества и сгорая стыдомъ при видѣ своихъ законченныхъ картинъ на выставкахъ, въ то же время выставлять даже эскизы, которыми самъ онъ завѣдомо недоволенъ. Для насъ важенъ только фактъ дѣйствительнаго недовольства, а не фальшиваго кокетства имъ и, связанныхъ съ этимъ фактомъ, душевныхъ страданій.

Мнѣ немножко стыдно писать все это по поводу пустяковъ, изложенныхъ г. Рѣпинымъ въ благодарственномъ письмѣ, въ которомъ онъ дѣйствительно «позабавился» перомъ. Но эти пустяки, какъ оно отчасти и изъ полемики по поводу письма выяснилось, имѣютъ

шансы быть принятыми нѣкоторою частію публики въ серьезъ. Выставка эскизовъ, повидимому, плохо задуманная и, во всякомъ случаѣ, плохо организованная, имѣетъ развѣ, именно, лишь то значеніе, что, хотя отчасти вводя публику въ процессъ творчества, свидѣтельствуетъ о томъ, что художественное творчество не забава, что въ вѣнкѣ художественной славы не все лавры, а есть и терніи, настоящіе, до крови колючіе, терніи.

Это относится, разумѣется, не къ живописи только, а ко всякому творчеству, въ томъ числѣ и къ словесному, къ поэзіи въ обширномъ смыслѣ слова. Художникамъ слова также знакомы муки творчества, мучительныя колебанія и сомнѣнія, тщетные поиски подходящихъ формъ для передачи зрѣющихъ въ душѣ образовъ и картинъ. Быть можетъ, въ этой отрасли искусства муки творчества даже сильнѣе, чѣмъ въ другихъ, хотя, конечно, есть много беллетристовъ, отъ такихъ мукъ совершенно свободныхъ и вполнѣ довольныхъ каждою своею строкою «безъ борьбы, безъ думы роковой». Но теперь я хочу говорить не объ этихъ мукахъ и забавахъ творчества, а о другомъ, совершенно особенномъ видѣ довольства и недовольства собою въ художникахъ слова.

Въ недавно вышедшемъ четвертомъ томѣ сочиненій Ибсена въ русскомъ переводѣ (изданіе г. Юровскаго) напечатаны драмы: «Гедде Габлеръ», «Маленькій Эйольфъ», «Женщина съ моря» и, кромѣ того, три... не знаю какъ назвать: «Рѣчь къ норвежскимъ студентамъ», «Сонъ» и «Первая драма». Когда Ибсенъ, послѣ долгаго пребыванія за границей, вернулся на родину, норвежскіе студенты устроили ему овацію, на которую онъ отвѣчалъ рѣчью, — она-то теперь и переведена на русскій языкъ, занимая собою двѣ страницы малаго формата. «Сонъ» есть гимназическое сочиненіе Ибсена, написанное, когда ему было четырнадцать лѣтъ, и занимаетъ страничку; «Первая драма» есть маленькая замѣтка автобіографическаго характера, относящаяся лишь къ одному эпизоду изъ жизни автора. И если русскій издатель счелъ нужнымъ включить эти три... не знаю какъ назвать — въ собраніе сочиненій Ибсена, то одно изъ двухъ: или мы будемъ имѣть чрезвычайно полное собраніе, или же оно будетъ вовсе не полно, но зато вполнѣ безпорядочно и случайно. Послѣднее, кажется, вѣроятнѣе, судя по отсутствію какой бы то ни было системы въ изданныхъ до сихъ поръ томахъ и по крайней небрежности переводовъ.

Но воспользуемся все-таки чѣмъ-нибудь и изъ того, что даетъ русское изданіе.

Въ рѣчи къ норвежскимъ студентамъ читаемъ, между прочимъ:

«частію мое творчество направлялось тѣмъ, что шевелилось во мнѣ лишь минутами и въ лучшіе мои часы, какъ нѣчто великое и прекрасное. Я влагалъ въ свое творчество то, что, такъ сказать, стояло выше моего обыденнаго «я», и я прибѣгалъ къ этому для того, чтобы лучше сохранить его внѣ себя и въ себѣ самомъ. Но въ свое творчество я вкладывалъ и какъ разъ противоположное, то, что, при углубленіи въ себя самого, представляется намъ отбросами и подонками собственной души. Въ этомъ случаѣ я смотрѣлъ на творчество, какъ на омовеніе, послѣ котораго чувствовалъ себя чище, здоровѣе и свободнѣе. Да, мм. гг., нельзя поэтически изобразить что-либо такое, первообраза чего до извѣстной степени или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстное время не носишь въ самомъ себѣ. А развѣ же найдется среди насъ человѣкъ, который не чувствовалъ бы въ себѣ иногда разлада между словомъ и дѣйствіемъ, волей и стремленіями, жизнью и убѣжденіями, или который, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ не удовлетворялся бы въ своемъ эгоизмѣ собой самимъ и не извинялъ — полунамѣренно, полуискренно — такого поведенія и передъ другими, и передъ самимъ собой».

Это не случайный у Ибсена взглядъ на поэтическое творчество. Въ одномъ своемъ стихотвореніи, цитируемомъ Максомъ Нордау, онъ говоритъ: «творить—значитъ совершать судъ надъ собой» (въ нѣмецкомъ переводѣ Нордау: «dichten heisst Gerichtstag über sich selbst halten». Такимъ образомъ, на основаніи собственныхъ показаній Ибсена, мы въ самомъ процессѣ его творчества встрѣчаемъ тѣ же черты, которыя отмѣтили въ прошлогоднихъ замѣткахъ въ фабулахъ его драмъ.

Поэтическое творчество, какъ исповѣдь, какъ продуктъ или выраженіе работы совѣсти,—это на первый взглядъ до парадоксальности оригинально. Приглядываясь, однако, къ дѣлу ближе, мы увидимъ, что это вовсе уже не такъ чудно. Но будемъ пока говорить о такихъ прямо покаянныхъ поэтическихъ произведеніяхъ, какъ, напримѣръ, «Рыцарь на часъ» Некрасова или его же знаменитый отвѣтъ «неизвѣстному другу». Но припомните Лермонтовскую бесѣду журналиста, читателя и писателя. Писатель, разсказывая, какъ онъ работаетъ, между прочимъ говоритъ:

. . . . . .
И какъ-то весело и больно
Тревожить язвы старыхъ ранъ...
Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,
Перомъ сердитый водитъ умъ:
То соблазнительная повѣсть
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ.

И, вѣдь, никто же не сомнѣвается, что въ «Героѣ нашего времени» Лермонтовъ казнилъ самого себя. Читатель перебьетъ: казнилъ, но и любовался. Да, казнилъ и любовался, воздавалъ самому себѣ, по своему разумѣнію, должное, то есть, именно, совершалъ судъ надъ собой, можетъ быть, и неправедный, пристрастный или односторонній.

Исходная точка Ибсена, какъ мы видѣли, гласитъ: «Нельзя поэтически изобразить что-либо такое, первообраза чего до извѣстной степени или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстное время не носишь въ самомъ себѣ». Относительно нѣкоторыхъ, правда, особенно рѣзкихъ случаевъ никто не усомнится въ справедливости этого положенія. Можно, разумѣется, очень точно описать эпилептическій припадокъ, руководясь единственно наблюденіемъ и ни разу въ жизни не испытавъ на себѣ самомъ ничего подобнаго. Но поэтически воспроизвести субъективную сторону припадка во всѣхъ его фазисахъ можетъ только человѣкъ, переживший его. Говоря о припадкахъ князя Мышкина въ «Идіотѣ» Достоевскаго, г. Чижъ замѣчаетъ: «Напрасно было бы искать у психіатровъ такого живого описанія, до сихъ поръ никто изъ *геніальныхъ эпилептиковъ* не познакомилъ насъ такъ краснорѣчиво съ своей аурой». («Достоевскій, какъ психипатологъ». Цитирую по сборнику г. Зелинскаго). Недостаточно, конечно, быть эпилептикомъ, чтобы поэтически возсоздать данное явленіе, но для этого недостаточно быть и «геніемъ»: нужно быть «геніальнымъ эпилептикомъ». Это примѣръ очень рѣзкій. Но въ жизни и творчествѣ того же Достоевскаго можно найти и менѣе рѣзкіе. Мыслимы ли были бы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», «Великій инквизиторъ», «Бунтъ» и вообще весь Иванъ Карамазовъ, если бы Достоевскій не мучился, по крайней мѣрѣ, временами религіозными сомнѣніями, о чемъ онъ самъ говорилъ?

Когда-то, въ статьѣ «Жестокій талантъ», я старался установить связь между мученичествомъ и мучительствомъ образовъ Достоевскаго съ одной стороны и нѣкоторыми мрачными глубинами его собственной души,—съ другой. Я не помню, чтобы мнѣ были сдѣланы какія-нибудь фактическія возраженія по существу, но помню одно замѣчаніе: нельзя отождествлять личность автора съ личностями его героевъ. Конечно, нельзя, но я этого и не дѣлалъ. Нужна величайшая осторожность въ установленіи точекъ и линій, общихъ самому художнику и его созданіямъ. Эти точки и линіи иногда даже прямо неуловимы, изъ чего однако не слѣдуетъ, что ихъ въ дѣйствительности нѣтъ. Благодаря откровенности гр. Л. Н. Толстого, мы съ большою точностью можемъ опредѣлить въ его художественныхъ произведеніяхъ многое такое, что онъ «до извѣстной степени или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстное время носилъ въ самомъ себѣ».

Но вѣдь не въ этомъ и дѣло. Намъ говорятъ, что *нельзя* изобразить что-нибудь вполнѣ чуждое душѣ художника, что-нибудь такое, чего онъ самъ не переживалъ. Пусть въ Левинѣ («Анна Каренина») или Оленинѣ («Казаки») отразилась личность самого Толстого, но неужели она отразилась и въ Наполеонѣ или, напримѣръ, Анатоліи Курагинѣ «Войны и мира»? Неужели Грибоѣдовъ вложилъ нѣчто свое въ Фамусова, Скалозуба, Молчалина, или Салтыковъ, напримѣръ, въ коллекцію лицемѣровъ «Благонамѣренныхъ рѣчей»? Неужели вообще всѣ отрицательные типы всемірной художественной литературы, всѣ жестокіе, глупые, подлые, лживые люди, всѣ предатели и насильники, всѣ блюдолизы и распутники, изображенные въ безчисленныхъ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ, поэмахъ, — суть плоть отъ плоти и кость отъ костей ихъ творцовъ?

На этотъ трудный вопросъ—онъ гораздо труднѣе, чѣмъ думаетъ, вѣроятно, читатель—попробуемъ сначала отвѣтить вопросомъ же, и именно уже приведеннымъ вопросомъ Ибсена: «Развѣ найдется среди насъ человѣкъ, который не чувствовалъ бы въ себѣ иногда разлада между словомъ и дѣйствіемъ, волею и стремленіями, жизнью и убѣжденіями, или который, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, не удовлетворялся бы въ своемъ эгоизмѣ самимъ собой и не извинялъ — полунамѣренно, полуискренно — такого поведенія и передъ другими, и передъ самимъ собой».—Я думаю, что вопросъ поставленъ Ибсеномъ въ слишкомъ мягкой и снисходительной формѣ. Только недобросовѣстный человѣкъ или же человѣкъ, непривыкшій наблюдать за собой, станетъ утверждать, что въ немъ никогда не мелькаютъ нелѣпыя мысли, гнусныя чувства, гаденькія или прямо гадкія поползновенія. У людей умныхъ и, что называется, хорошихъ все это либо подавляется силою сознанія и воли, что дается иногда только тяжелой борьбой; либо именно мелькаетъ, какъ зарница, не оставляя по себѣ никакого слѣда въ общемъ психическомъ строѣ, либо, наконецъ, такъ или иначе фиксируется въ этомъ строѣ, потому ли, посему ли обращаетъ на себя вниманіе того, у кого мелькнула эта нелѣпая мысль или это гнусное чувство. Представимъ же себѣ въ этомъ третьемъ положеніи художника. Представимъ себѣ, что у Грибоѣдова, благородный характеръ котораго засвидѣтельствованъ всей его жизнію и смертію, на одну секунду, именно на одну секунду, мелькнуло нѣчто Молчалинское, и онъ себя поймалъ на этомъ; или что Салтыковъ, чье даже грубоватое прямодушіе достаточно извѣстно, поймалъ себя, такъ сказать, на Головлевскомъ мгновеніи. Какимъ гнѣвомъ должны вскипѣть эти благородные люди, уловивъ въ самихъ себѣ черты, много разъ возмущавшія ихъ въ настоящихъ Молчалиныхъ и Іудушкахъ; съ какимъ отвращеніемъ должны они вспоминать о томъ мгновеніи, когда

сами имъ уподобились... Это было одно мгновеніе, оно имъ чужое, чужое всему ихъ психическому строю и никогда больше не повторится, но оно съиграло роль искры, внезапно освѣтившей множество «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ», и перевело эти наблюденія и замѣты въ такъ называемое горнило вдохновенія, гдѣ и сложились фигуры Молчалина и Іудушки Головлева. Я не говорю, что отрицательные литературные типы всегда именно такъ создаются. Нѣтъ, они могутъ быть построены и безъ примѣси самонаблюденія и самоказни (если можно такъ выразиться), но думаю, что лучшія, «проникновеннѣйшія», по выраженію Достоевскаго, созданія этого рода возникаютъ именно описаннымъ путемъ, и показаніе Ибсена очень важно въ этомъ смыслѣ. Но можетъ быть есть еще третій путь созданія отрицательныхъ образовъ. Нѣтъ нужды предполагать, чтобы, напримѣръ, тотъ-же Грибоѣдовъ переживалъ и Молчалинскія, и Скалозубовскія, и Фамусовскія и т. д. мгновенія. Такъ или иначе возникнувъ, образъ Молчалина можетъ вызвать, какъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ свою противоположность, образъ Фамусова; а ходъ развитія фабулы выдвинетъ Скалозуба и т. п. Здѣсь возможны самыя разнообразныя комбинаціи, и я хочу только показать, что мысль Ибсена совсѣмъ не такъ парадоксальна, какъ можетъ представиться на первый взглядъ.

Ибсенъ слишкомъ рѣзко говоритъ, что *нельзя* изобразить что-нибудь лично не испытанное, не пережитое, но его опредѣленіе творчества, какъ суда художника надъ самимъ собой, заслуживаетъ полнаго вниманія. Максъ Нордау издѣвается надъ этимъ опредѣленіемъ, хотя полагаетъ, что оно вполнѣ приложимо къ самому Ибсену, которому, дескать, иногда хорошо удаются отдѣльныя черты, подмѣченныя имъ въ маленькой клѣткѣ своего личнаго существованія, но который совершенно неспособенъ отразить въ своей поэзіи пеструю сложность человѣческой жизни вообще. Оставляя въ сторонѣ самого Ибсена, замѣтимъ только, что творчество, какъ судъ художника надъ собой, вовсе не исключаетъ самой широкой и тонкой наблюдательности, и самой трепетной отзывчивости. Опредѣленіе это указываетъ только именно ту искру, которая внезапно освѣщаетъ болѣе или менѣе (смотря по другимъ качествамъ художника) значительный запасъ опыта и наблюденія, болѣе или менѣе широкій и опредѣленный кругъ симпатій и антипатій...

Мнѣ опять вспоминается искусство, какъ «забава», и художники, какъ «счастливчики»... Благо тѣмъ, передъ кѣмъ съ разу отворялись двери, въ которыя они толкались, кто безъ колебаній и сомнѣній находилъ надлежащую форму для воплощенія того, что билось въ ихъ умѣ и сердцѣ, просясь наружу,—въ краски, звуки,

слова; они—«счастливчики». Благо и тѣмъ, кто-либо не заглядывалъ въ себя глубоко, либо, заглянувъ, не нашелъ тамъ ни единаго «пятна и порока»; они—«счастливчики». Но много-ли тѣхъ и другихъ среди настоящихъ, крупныхъ художниковъ? И одинъ-ли Некрасовъ могъ сказать о себѣ:

Не придумать вамъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу...

Но мы прослѣдили пока только одну половину мысли Ибсена. Насъ ждетъ еще другая половина. Если Ибсенъ вкладываетъ въ свое творчество «отбросы и подонки собственной души», то съ другой стороны вкладываетъ и нѣчто противоположное, «что шевелится въ немъ лишь минутами и въ лучшіе его часы, какъ нѣчто прекрасное и высокое, что стоитъ выше его обыденнаго *я*».—Это тоже очень важное показаніе, хотя оно можетъ представляться даже слишкомъ элементарнымъ и во всякомъ случаѣ едва-ли вызоветъ въ комъ-нибудь сомнѣнія. Одно заглавіе Некрасовскаго стихотворенія «Рыцарь на часъ» скажетъ читателю на эту тему столько, что, пожалуй, и нечего было бы прибавлять, если бы мысль Ибсена не была чревата нѣкоторыми интересными побочными выводами...

Мимоходомъ сказать, какая странная судьба этого изумительнаго стихотворенія Некрасова, которое, если бы онъ даже ни одной строки больше не написалъ, обезпечивало ему «вѣчную память», которое едва-ли кто-нибудь, по крайней мѣрѣ въ молодости, могъ читать безъ предсказанныхъ поэтомъ «внезапно хлынувшихъ слезъ съ огорченнаго лица». Мнѣ вспоминается одинъ вечеръ или ночь зимой 1884 или 1885 года. Я жилъ въ Любани, ко мнѣ пріѣхали изъ Петербурга гости, большею частію уже не молодые люди, въ томъ числѣ Г. И. Успенскій. Поговорили о петербургскихъ новостяхъ, о томъ, о семъ; потомъ кто-то предложилъ по очереди читать. Г. И. Успенскій выбралъ для себя «Рыцаря на часъ». И вотъ: комната въ маленькомъ деревянномъ домѣ; на улицѣ, занесенной снѣгомъ, мертвая тишина и непроглядная тьма: въ комнатѣ, около стола, освѣщеннаго лампой, сидитъ нѣсколько человѣкъ, повторяю, большею частію не молодыхъ; Глѣбъ Ивановичъ читаетъ: мы всѣ слушаемъ съ напряженнымъ вниманіемъ, хотя наизусть знаемъ стихотвореніе. Но вотъ голосъ чтеца слабѣетъ, слабѣетъ и—обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминаніе. Но вѣдь оно, пожалуй, даже не личное. По всей Россіи вѣдь разсыпаны эти маленькіе деревянные домики на безмолвныхъ и темныхъ улицахъ: по всей Россіи есть эти комнаты, гдѣ читаютъ (или читали?) «Рыцаря на часъ» и льются (или лились?) эти слезы... А между тѣмъ въ извѣстномъ

сборникѣ г. Зелинскаго критическихъ статей объ Некрасовѣ, доведенномъ до 1877 г., то есть до года смерти поэта, вы найдете всего пять упоминаній о «Рыцарѣ на часъ», да и то, во-первыхъ, очень бѣглыхъ, а во-вторыхъ, одно изъ нихъ относится къ рѣчи священника Горчакова на могилѣ поэта, а другое къ некрологической статьѣ Достоевскаго. А вѣдь стихотвореніе написано въ 1860 г. Что-же это значитъ? То-ли, что многочисленные враги Некрасова не смѣли коснуться этой блещущей безпощадною искренностью поэтической жемчужины, а еще болѣе многочисленные друзья и почитатели благоговѣйнымъ молчаніемъ выражали свое уваженіе къ интимной сторонѣ житейской драмы, воплощенной въ этомъ воплѣ души?.. Во всякомъ случаѣ, «неизвѣстный другъ», приславшій Некрасову въ трудную минуту его жизни ободряющее стихотвореніе, былъ правъ, когда, перечисливъ обращаемые къ поэту упреки, прибавлялъ:

Но отчего жъ весь міръ сильнѣй любить
Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
Не можетъ быть!

Въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ я, какъ могъ, старался выяснить необыкновенно сложную натуру и столь же сложную судьбу Некрасова. Здѣсь было бы неумѣстно вновь входить въ подробности. Думаю, что и безъ нихъ читатель согласится, по малой мѣрѣ, съ тѣмъ, что хоть «на часъ», но Некрасовъ бывалъ «рыцаремъ». Судьба нашего поэта такъ сложилась, что этотъ великій поэтическій часъ уходилъ преимущественно на работу совѣсти: поэтъ часто поднимался духомъ только затѣмъ, чтобы изъ достигнутой имъ высоты заклеймить самого себя. Но не всегда такъ было и съ нимъ. И въ общемъ его «часъ» есть все-таки одинъ изъ тѣхъ «лучшихъ часовъ», о которыхъ говоритъ Ибсенъ, одинъ изъ тѣхъ часовъ, когда поэтъ чувствуетъ въ себѣ нѣчто высшее его «обыденнаго *я*». Этотъ лучшій часъ отнюдь не непремѣнно долженъ быть омраченъ покаянной оглядкой и щемящими звуками больной совѣсти. У лирика онъ можетъ вызвать стихотвореніе, въ которомъ отразится сознаніе силы и достоинства, у романиста или драматурга—созданіе идеальнаго типа, въ который они воплотятъ то лучшее, что можетъ быть и не присуще имъ въ обыденной жизни, но до чего они хоть временами способны возвышаться.

Все это было бы какъ нельзя болѣе ясно и просто, если бы не нѣкоторыя осложненія. Прежде всего надо замѣтить, что мы имѣемъ въ виду только дѣйствительно художественныя произведенія, а не всякую мазню въ формѣ поэмы, романа, драмы и проч. Среди этой мазни можно встрѣтить не мало попытокъ изобразить идеаль-

ный типъ, который однако больше похожъ на карикатуру. Творцы этихъ quasi-идеальныхъ типовъ, или по отсутствію таланта или по тому, что изображенныхъ ими идеальныхъ чертъ они никогда въ жизни въ самихъ себѣ не ощущали, заваливаютъ своихъ героевъ цѣлыми горами всяческихъ достоинствъ, иногда даже просто несовмѣстимыхъ. Художникъ, — достойный этого имени, — слишкомъ чутокъ для такой суздальской мазни. Онъ знаетъ, что вполнѣ идеальный типъ слишкомъ большая рѣдкость въ жизни, чтобы безъ поправокъ получить право гражданства въ искусствѣ. Это возможно, конечно, но главнымъ образомъ пока дѣло идетъ о физическихъ достоинствахъ, красотѣ. А въ безконечно болѣе сложной духовной жизни истинный художникъ лишь крайне рѣдко пытается создать фигуру «безъ пятна и порока», безъ какой нибудь хотя легкой слабости, которая, придавая фигурѣ жизненность, вмѣстѣ съ тѣмъ еще ярче оттѣняетъ ея возвышенныя черты. А затѣмъ надо имѣть въ виду разнообразіе понятій о возвышенномъ и благородномъ. Въ салонныхъ или вообще болѣе или менѣе публичныхъ разговорахъ о такихъ вещахъ, какъ, напримѣръ, самоотверженіе или любовь къ ближнему, разногласій, пожалуй, и нѣтъ; да и то можно въ послѣднее время услышать пѣсни скворцовъ, насвистанныхъ идеями Ницше. Впрочемъ, эти скворцы не въ счетъ, и въ общемъ существуетъ извѣстный, такъ сказать, оффиціальный кодексъ морали, болѣе или менѣе для всѣхъ обязательный на словахъ. Но изъ-подъ него часто выглядываетъ совсѣмъ другой кодексъ. Всѣ мы исповѣдуемъ 8-ю заповѣдь, но въ нѣкоторыхъ спеціальныхъ кругахъ, какъ напомнилъ недавній могилевскій процессъ, онъ нарушается систематически, и весьма вѣроятно, что достоинствомъ «высшимъ», считается тамъ ловкость или безцеремонность въ этомъ направленіи. Въ гораздо болѣе широкихъ кругахъ, оффиціально исповѣдующихъ цѣломудріе, вѣрность супружескому долгу, на дѣлѣ нарушеніе 7-й заповѣди (для мужчинъ, женщинамъ оно рѣдко прощается) вмѣняется почти въ заслугу, что отражается и на художественномъ творчествѣ. Въ этомъ отношеніи очень любопытна фигура нѣкоего Ашанина, повторяющаяся въ нѣсколькихъ романахъ покойнаго Болеслава Маркевича. Ашанинъ — любимецъ автора, который съ нескрываемымъ восторгомъ слѣдитъ за его многочисленными удачами на поприщѣ любовныхъ похожденій. Правда, авторъ доволенъ и всѣмъ міровоззрѣніемъ Ашанина; ему и его единомышленникамъ онъ не только прощаетъ веселый грѣхъ, но прямо любуется ими, тогда какъ людей другого образа мыслей подвергаетъ жестокой художественной казни за то же самое. Но это только новое осложненіе въ пониманіи достоинства, въ разсмотрѣніе котораго мы входить не будемъ. Пониманіе это естественно

мѣняется въ связи съ разнообразными условіями среды, національности, историческаго момента, личныхъ качествъ художника. Кавказскій горецъ, или корсиканецъ полагаетъ свое достоинство въ томъ, чтобы кровью смыть обиду, нашъ толстовецъ видитъ его, напротивъ, въ непротивленіи злу. Поэтому корсиканскій поэтъ изобразитъ идеальный типъ кровавымъ мстителемъ, а толстовецъ кроткимъ агнцемъ; наоборотъ, отрицательнымъ типомъ у перваго явится человѣкъ кроткій, а у второго — мститель. Безконечно разнообразны комбинаціи этого рода въ исторіи литературы, но въ нихъ есть одна общая черта, указанная Ибсеномъ: художникъ, сознательно или безсознательно, отмѣчаетъ высшіе и низшіе моменты своей собственной души, оттѣняя ими обыденную жизнь, отдыхая на высшихъ и казнясь на низшихъ. Такое пониманіе процесса творчества вполнѣ совпадаетъ съ характеромъ произведеній самого Ибсена, построенныхъ, какъ мы видѣли въ прошломъ году, на двухъ основныхъ столбахъ: чести и совѣсти.

Совпаденіе знаменательное и, мнѣ кажется, окончательно дорисовывающее фигуру норвежскаго драматурга, какъ одного изъ «властителей думъ» современности. Не символизмомъ своимъ занялъ онъ это властительное положеніе и не эстетической стороной своихъ произведеній, часто аляповатыхъ и натянутыхъ, а тѣмъ, что вся совокупность его творческой дѣятельности составляетъ «книгу объ отвѣтственности человѣка». Современная европейская жизнь такъ сложилась, что развѣ лишь очень немногіе ея представители не имѣютъ въ той книгѣ своего актива или пассива, и все мало мальски чуткое — либо оскорблено въ своей чести, либо угрызается совѣстью, либо, наконецъ, и то и другое вмѣстѣ. Въ современной страшной борьбѣ или прямо за существованіе въ буквальномъ смыслѣ, за кусокъ хлѣба и прикрытіе отъ непогоды, или за счастіе,—кто не чувствуетъ, что онъ кого-то давитъ и что въ свою очередь его кто-то давитъ? Но вмѣстѣ съ изощренностью чувствъ въ этихъ двухъ направленіяхъ ростетъ и сознаніе того что никто собственно лично не виноватъ въ этомъ омутѣ горя и обидъ. Сознаніе, это, однако, не укрощаетъ голоса оскорбленной чести и ущемленной совѣсти, объ чемъ и вопіетъ каждая драма Ибсена.

Недалека отъ вопросовъ чести и совѣсти наша злоба дня,— «Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей». Недалека и въ то же время,—какъ ужасно далека!..

Прежде, чѣмъ говорить о Союзѣ и о томъ, что съ нимъ въ настоящую минуту связано, я хотѣлъ бы, въ избѣжаніе недоразумѣній, — ихъ и безъ того много, — опредѣлить мою личную долю участія въ образованіи Союза.

Мысль объ нѣкоторомъ объединеніи представителей печатнаго слова, дѣятелей литературы и науки, вѣроятно, неоднократно возникавшая въ разныхъ отдѣльныхъ кружкахъ, казалась мнѣ года два слишкомъ тому назадъ близкою къ осуществленію, по крайней мѣрѣ въ частномъ случаѣ. Попытка, въ которой и я принималъ участіе, не удалась. Но отъ нея остался слѣдъ въ періодическихъ обѣдахъ, которые назывались «обѣдами журналистовъ» и на которыхъ зародилась и разрабатывалась мысль о Союзѣ писателей. Въ этомъ зарожденіи и выработкѣ я не принималъ никакого участія, да и на обѣдахъ былъ всего раза два, а въ прошломъ, 1896 году не былъ даже ни разу, хотя и получалъ приглашенія. Долженъ покаяться,—я думалъ, что изъ этихъ обѣдовъ ничего путнаго не выйдетъ. Я ошибался, и когда участники обѣдовъ, они же первоначальные учредители Союза, выбрали меня въ комиссію шести для окончательнаго редактированія устава Союза и опредѣленія его отношеній къ Русскому литературному обществу, я не уклонился отъ этой чести. Отъ всего, что происходило до работъ упомянутой комиссіи, я былъ такъ далекъ, что лишь здѣсь, въ комиссіи, впервые увидѣлъ списокъ первоначальныхъ учредителей, то есть участниковъ обѣдовъ (около 60 человѣкъ), равно какъ ими же составленный дополнительный списокъ (около 80 человѣкъ). Спискамъ этимъ я не придавалъ большого значенія. Несомнѣнно, что тѣ 60 съ чѣмъ-то человѣкъ, въ средѣ которыхъ родилась и развивалась мысль о Союзѣ, суть настоящіе его учредители; точно также несомнѣнно, что имъ-же принадлежало право дополнить свой списокъ до требуемаго уставомъ числа 100. Вмѣсто требуемыхъ 30 съ чѣмъ-то человѣкъ, они представили въ комиссію около 80 именъ. Въ этомъ не было надобности, но не было и бѣды. И если кто потрудится взглянуть на этотъ дополнительный списокъ, то убѣдится, что, дополняя себя даже сверхъ надобности, первоначальные учредители принимали во вниманіе рѣшительно всѣ элементы нашей литературы. Наука имѣетъ въ дополнительномъ спискѣ такихъ представителей, какъ гг. Боргманъ, Бекетовы, Бильбасовъ, Вагнеръ, Ламанскій, Лесгафтъ, Манасеинъ и проч. Въ спискѣ значатся и ветераны русской литературы, какъ гг. Григоровичъ, Потѣхинъ, Полонскій, Максимовъ, и болѣе молодые беллетристы, какъ гг. Альбовъ, Короленко, Потапенко, Станюковичъ. Газетный міръ представленъ гг. Суворинымъ, Нотовичемъ, кн. Ухтомскимъ. Затѣмъ вы найдете тутъ гг. Лейкина и Тугана-Барановскаго, гг. Мережковскаго и Струве и т. д., и т. д. По истинѣ, чего хочешь, того просишь. Крайнее разнообразіе хотя бы только приведенныхъ именъ показываетъ, что первоначальные учредители весьма широко растворили двери своимъ собратьямъ по перу. Объ этомъ свидѣтель-

ствуетъ уже, впрочемъ, и то, что цифра 100, опредѣляющая минимальное число членовъ, при которомъ Союзъ считается состоявшимся, установлена самими первоначальными учредителями; ничто не мѣшало имъ ограничить это число 50-ю и приступить къ организаціи Союза безъ всякаго дополнительнаго списка.

Въ виду всего этого я, повторяю, не придавалъ значенія спискамъ (первоначальныхъ учредителей и дополнительному), которые впервые увидѣлъ въ комиссіи шести: лишь бы создалось необходимое по уставу зерно Союза, а дальше онъ будетъ пополняться новыми членами порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ. Но затѣмъ мнѣ казалось, что, послѣ окончанія работы комиссіи шести, списокъ членовъ-учредителей долженъ считаться законченнымъ, и никакіе новые дополнительные списки, исходящіе отъ отдѣльныхъ лицъ, не должны быть принимаемы. Поэтому нѣкоторымъ своимъ знакомымъ, просившимъ меня записать ихъ въ члены-учредители передъ общимъ собраніемъ 15 января, баллотировавшимъ занесенныхъ въ общій дополнительный списокъ, я отказывалъ. Поэтому же и въ упомянутомъ общемъ собраніи я былъ противъ новыхъ, частныхъ дополнительныхъ списковъ. Вопросъ объ этихъ новыхъ спискахъ голосовался на общемъ собраніи 15 января и большинствомъ голосовъ рѣшенъ отрицательно (за эти новые списки было 16 голосовъ изъ 40 слишкомъ). Мимоходомъ замѣчу, что и однимъ изъ членовъ комиссіи шести былъ представленъ новый, частный дополнительный списокъ, который былъ, конечно, подобно остальнымъ, не принятъ.

Вотъ и все мое участіе въ созданіи Союза; участіе, слишкомъ слабое для того, чтобы я могъ имъ гордиться, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для того, чтобы я могъ быть заподозрѣнъ въ этомъ дѣлѣ въ «кружковщинѣ». Ну, а за выборъ меня въ члены комитета Союза, а въ средѣ комитета въ товарища предсѣдателя—я, разумѣется, не отвѣтственъ, такъ какъ, подобно всѣмъ кандидатамъ, себя не баллотировалъ. Но затѣмъ, уже послѣ выборовъ въ комитетъ Союза и передъ выборами въ судъ чести и ревизіонную комиссію, мнѣ пришлось принять участіе въ маленькомъ эпизодѣ, надѣлавшемъ, какъ и все, касающееся Союза, большого шума въ газетахъ. Съ этого эпизода я и начну бесѣду собственно о Союзѣ, хотя хронологически онъ былъ въ короткой еще, но до странности бурной, исторіи Союза далеко не первымъ.

2 февраля, въ залѣ Географическаго общества, происходило обычное годовое общее собраніе Литературнаго фонда. Собраніе открылось рѣчью предсѣдателя, проф. Сергѣевича, въ которой онъ коснулся и только еще слагавшагося Союза. Нѣкоторыя мѣста этой рѣчи показались мнѣ необыкновенно странными въ устахъ пред-

сѣдателя комитета Литературнаго фонда, члены котораго (комитета) почти всѣ состоятъ и членами Союза. Литературный фондъ—учрежденіе старое, приближающееся къ своему сорокалѣтію (40 лѣтъ ему минетъ въ 1899 г.). Въ немъ успѣли сложиться и прочно установиться извѣстныя традиціи, къ числу которыхъ относится и то, что предсѣдатель комитета,—онъ же, по уставу Литературнаго фонда, и предсѣдатель общаго собранія, — есть предсѣдатель всего комитета. Конечно, онъ можетъ остаться при особомъ мнѣніи по тому или другому вопросу, возникающему въ комитетѣ, но это есть право не его только, а всякаго члена комитета; и въ каждомъ такомъ случаѣ особое мнѣніе такъ и представляется общему собранію, какъ «особое мнѣніе». Но въ данномъ случаѣ о какомъ-нибудь особомъ мнѣніи не было, да и не могло быть рѣчи, потому что въ комитетѣ Литературнаго фонда не возникало да и не могло возникнуть никакого вопроса о Союзѣ. Поэтому мнѣ казалось чрезвычайно важнымъ выяснить присутствующей публикѣ, что, вопреки всѣмъ традиціямъ Литературнаго фонда, рѣчь предсѣдателя не выражаетъ мнѣній комитета, а есть исключительно его, В И. Сергѣевича, личное мнѣніе. Я попросилъ у предсѣдателя слова. Но пусть сначала г. Сергѣевичъ самъ разскажетъ, какъ было дѣло. Онъ напечаталъ свою рѣчь въ газетахъ съ своими комментаріями. Изъ рѣчи я приведу только то, что относилось къ Союзу.

«Цѣли Союза далеко выходятъ за предѣлы цѣлей Фонда. Онъ имѣетъ въ виду объединеніе русскихъ писателей на почвѣ ихъ профессіональныхъ интересовъ для установленія постояннаго между ними общенія и охраненія добрыхъ нравовъ. Нельзя не преклониться передъ важностью такой задачи; нельзя не воздать хвалы смѣлости мысли иниціаторовъ и учредителей Союза, не убоявшихся трудностей предстоящаго имъ дѣла. Для людей, не посвященныхъ въ мотивы и соображенія, которыми они руководствовались, трудности эти кажутся столь великими, что задуманное дѣло представляется граничащимъ съ областью невозможнаго. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, объединить писателей, далеко разъединенныхъ различіемъ направленій, часто сталкивающихся враждебно? Различія направленій имѣютъ мѣсто не въ одной только публицистикѣ и политикѣ: они одинаково встрѣчаются въ области наукъ, художественнаго творчества, критики. Различіе направленій не есть, однако, единственная причина, разъединяющая писателей. Ихъ едва ли не больше разъединяетъ различіе соціальнаго положенія. Оно такъ велико, что писатели, принадлежащіе къ крайнимъ сферамъ, пожалуй, не найдутъ и общепонятнаго для нихъ языка для постояннаго между собою общенія. Какъ, наконецъ, объединить эти больныя самолюбія, которыя такъ легко развиваетъ литературная дѣя-

тельность?—Объединеніе желаютъ совершить на почвѣ профессіональнаго интереса. Но что такое профессіональный интересъ? Профессіональный интересъ не есть, конечно, что нибудь общечеловѣческое, ни даже общегосударственное. Это долженъ быть специфическій интересъ людей, для которыхъ писательство составляетъ профессію, постоянное занятіе изо дня въ день, средство существованія. Но тогда окажется очень много писателей, которые вовсе не войдутъ въ сферу дѣйствія Союза. Есть немало дѣятелей литературы очень почтенныхъ и во всѣхъ ея областяхъ, для которыхъ писательство не составляетъ, однако, профессіи. А, между тѣмъ, и они призываются въ составъ Союза и должны, слѣдовательно, для согласной дѣятельности, усвоить себѣ чуждые имъ интересы. И много другихъ вопросовъ возбуждаетъ уставъ Союза, не давая на нихъ отвѣтовъ. Но осужденіе устава было бы теперь преждевременно. Никакой уставъ не въ состояніи впередъ разрѣшить всѣ вопросы, которые могутъ возникнуть при его осуществленіи. Ихъ можетъ разрѣшить только живая дѣятельность лицъ, призванныхъ къ его осуществленію. Но эта дѣятельность еще впереди. Въ настоящее время мы наблюдаемъ Союзъ въ самый неблагопріятный для него моментъ; мы наблюдаемъ его въ мукахъ рожденія. Пожелаемъ-же ему появиться живымъ на свѣтъ Божій и немедленно приступить къ организаціи тѣхъ способовъ и средствъ, при помощи которыхъ можно будетъ приняться за осуществленіе его высокихъ и всѣмъ желательныхъ цѣлей. Цѣли же его, конечно, желательны для всѣхъ. Въ обществѣ, столь разъединенномъ, какъ наше, что можетъ быть желательнѣе объединенія въ постоянномъ общеніи, доброй нравственности и любви, хотя бы однихъ только писателей».

О томъ, что послѣдовало за рѣчью г. Сергѣевича, онъ разсказываетъ такъ:

«Когда я умолкъ, г. Михайловскій, Н. К., всталъ съ своего мѣста и предложилъ мнѣ вопросъ, отъ чьего имени говорилъ я,—отъ имени комитета или моего собственнаго. Я удовлетворилъ его, отвѣтивъ, что говорилъ только отъ себя. Г. Михайловскій занялъ свое прежнее мѣсто, и приписанныхъ ему одною газетою словъ порицанія по моему адресу не произнесъ. Роль моего строгаго цензора въ засѣданіи 2 февраля принялъ на себя г. Семевскій, В. И., одинъ изъ учредителей новаго союза. Онъ публично и во всеуслышаніе выразилъ порицаніе предсѣдателю Литературнаго фонда, сказавъ, что находитъ его рѣчь неумѣстной и излишней. Предсѣдателемъ былъ я, а потому спросилъ г. Семевскаго, что-же не понравилось ему въ моемъ привѣтствіи Союзу; онъ отвѣчалъ: въ привѣтствіи слышится сомнѣніе въ успѣхѣ его дѣйствій. Г. Семевскій не

сомнѣвается и вѣритъ, а потому и я долженъ вѣрить. Онъ не порицалъ бы меня, если бы я привѣтствовалъ съ вѣрою, какъ онъ не порицалъ г. Гаршина, предложившаго собранію, по выслушаніи моей рѣчи, также выразить привѣтствіе новому обществу и охотно къ нему присоединился. Сомнѣній г. Семевскій не допускаетъ. Устное слово свободно до тѣхъ только поръ, пока говорящій не сомнѣвается и вѣритъ въ то, во что вѣритъ и г. Семевскій. Если онъ колеблется,—слово его неумѣстно. Отдадимъ должное просвѣщенной терпимости и либерализму г. Семевскаго: для печатнаго слова онъ допускаетъ большую свободу. Порицая мои устныя сомнѣнія, онъ допустилъ, однако, возможность высказать ихъ въ печати. Мнѣ очень пріятно сдѣлать что-нибудь угодное для г. Семевскаго. и вотъ, благодаря любезному гостепріимству «Новаго Времени», онъ имѣетъ мое привѣтствіе напечатаннымъ.

Открывая годовое собраніе фонда, я считалъ необходимымъ не только привѣтствовать возникающій союзъ, но и выяснить, въ какомъ отношеніи стоитъ онъ къ фонду. Если бы даже благія намѣренія союза и не осуществились, или осуществились далеко не въ той широкой формѣ, какъ предполагаетъ его уставъ, союзъ все-же можетъ быть намъ полезенъ. Исходя изъ этой мысли, но не скрывая моихъ сомнѣній, я и сказалъ то, что вынужденъ теперь напечатать.

Также не считаю нужнымъ скрывать, что дѣятельность цензоровъ-добровольцевъ я считаю менѣе удобной дѣятельности правительственныхъ цензоровъ. Тѣхъ всѣ знаютъ и у нихъ можно напередъ получить одобреніе, или, въ случаѣ неодобренія, сомкнуть уста; добровольцы же неизвѣстны, а потому бываетъ совершенно невозможно ихъ избѣжать.

... Не хочу назвать настоящимъ именемъ того, что произошло въ собраніи 2 февраля, и прекращаю мою рѣчь».

Въ собраніи 2 февраля произошло во всякомъ случаѣ нѣчто необычайное: я старый членъ Литературнаго фонда — не запомню ничего подобнаго. Если однако г. Сергѣевичъ затрудняется подъискать настоящее названіе для этого необычайнаго, то единственно потому, что изъ его памяти ускользнули нѣкоторыя подробности. Я постараюсь помочь ему и ни на одну минуту не сомнѣваюсь, что онъ не откажется подтвердить каждое мое слово (съ фактической стороны, разумѣется), а затѣмъ не трудно будетъ уже и «настоящее имя» подъискать.

Я попросилъ слова по поводу рѣчи г. Сергѣевича (я именно такъ и выразился: «по поводу вашей рѣчи»). Г. Сергѣевичъ отвѣтилъ: «*моя рѣчь не подлежитъ обсужденію*». Я возразилъ: «я и не собираюсь ее обсуждать, а хочу только задать вамъ одинъ вопросъ,—личное ли вы свое мнѣніе о Союзѣ выразили, или мнѣніе

Комитета?» Отвѣтомъ г. Сергѣевича—«личное»—я удовлетворился, такъ какъ цѣль моя только въ томъ и состояла, чтобы обратить вниманіе присутствующихъ именно на это обстоятельство. Но г. Семевскій не удовлетворился. Онъ, какъ вѣрно показываетъ г. Сергѣевичъ, назвалъ предсѣдательскую рѣчь «неумѣстной и излишней», но этими словами онъ не ограничился. Да это видно и изъ дальнѣйшей ироніи г. Сергѣевича. «Отдадимъ должное просвѣщенной терпимости и либерализму г. Семевскаго: для печатнаго слова онъ допускаетъ большую свободу. Порицая мои устныя сомнѣнія, онъ допустилъ, однако, возможность высказать ихъ въ печати». Дѣйствительно г. Семевскій не только не отрицалъ права г. Сергѣевича высказывать свои мнѣнія вообще, но напротивъ указывалъ на надлежащій путь для этого,—путь печати. А слѣдовательно, всѣ соображенія г. Сергѣевича о «цензорахъ-добровольцахъ» — ни къ чему. Я не буду приводить подлинныя слова г. Семевскаго, потому что они были сложнѣе тѣхъ краткихъ репликъ, которыми обмѣнялись мы съ г. Сергѣевичемъ, и я боюсь что-нибудь упустить или переиначить. При томъ-же г. Семевскій успѣлъ только высказать, а не развить свою мысль, такъ какъ въ трудную для всѣхъ присутствующихъ минуту вмѣшался г. Гаршинъ съ предложеніемъ общему собранію выразить свое сочувствіе Союзу. Аплодисментами, которыми было покрыто это предложеніе, тяжелый эпизодъ закончился.

Да, это былъ тяжелый эпизодъ. И чтобы оцѣнить всю его тяжесть, надо обратить вниманіе на вышеприведенныя слова г. Сергѣевича: «моя рѣчь не подлежитъ обсужденію». Г. профессоръ былъ и правъ, и не правъ, говоря это. Не правъ, потому что ни уставъ, ни традиціи Литературнаго фонда, ни простой житейскій тактъ не изъемлютъ предсѣдательской рѣчи изъ предѣловъ обсужденія общаго собранія. Съ другой стороны, однако, именно эта рѣчь, произнесенная г. Сергѣевичемъ 2 февраля, дѣйствительно, не подлежала обсужденію. Представимъ себѣ, что кто-нибудь изъ присутствующихъ настоялъ бы на своемъ несомнѣнномъ правѣ обсуждать рѣчь. Чтобы произошло? Рѣчь, надо отдать ей справедливость, открываетъ чрезвычайно широкое поле для возраженій. Напримѣръ, г. Сергѣевичъ утверждалъ, что «различіе соціальнаго положенія» нашихъ писателей «такъ велико, что писатели, принадлежащіе къ крайнимъ сферамъ, пожалуй, не найдутъ и общепонятнаго для нихъ языка для постояннаго между собою общенія». Согласитесь, что это мнѣніе, по малой мѣрѣ, рискованное. Я бы желалъ знать, гдѣ видѣлъ г. Сергѣевичъ тѣхъ писателей, для которыхъ непонятенъ языкъ Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого и проч., а вѣдь всѣ мы говоримъ именно этимъ языкомъ.

Или, напримѣръ, г. Сергѣевичъ сомнѣвается насчетъ «профессіональныхъ интересовъ»: «Есть не мало дѣятелей литературы очень почтенныхъ и во всѣхъ ея областяхъ, для которыхъ писательство не составляетъ, однако, профессіи («постояннаго занятія изо дня въ день, средства существованія»). Между тѣмъ и они призываются въ составъ союза и должны слѣдовательно, для согласной дѣятельности, усвоить себѣ *чуждые* имъ интересы». Почему же, однако, *чуждые*? Былъ такой «очень почтенный дѣятель литературы»,— Лермонтовъ. Онъ былъ офицеръ, а не литераторъ «по профессіи», то-есть литература не была его «постояннымъ занятіемъ изо дня въ день, средствомъ существованія». Однако профессіональные интересы, связанные, напримѣръ, съ вопросомъ литературной собственности или съ общими условіями печати, которыя въ то время не допускали появленія стихотворенія «На смерть Пушкина»,— эти профессіональные интересы отнюдь не были *чужды* Лермонтову. И т. д. и т. д.

Я боюсь, что если бы 2 февраля кто-нибудь изъ присутствующихъ сталъ дѣлать эти и подобныя имъ возраженія, то г. предсѣдатель вынужденъ бы былъ остановить его, хотя бы уже потому, что ораторъ выступилъ бы за предѣлы компетенціи Литературнаго фонда. Не скажу, чтобы г. Сергѣевичъ при этомъ всталъ въ положеніе «добровольнаго цензора», однако и «цензоромъ по неволѣ» его тоже нельзя бы было назвать, ибо самъ онъ и первый сказалъ рѣчь, «не подлежащую обсужденію».

Итакъ, рѣчь г. Сергѣевича, вопреки его категорическому утвержденію, подлежала обсужденію, какъ и все, что публично говорится въ общихъ собраніяхъ Литературнаго фонда; съ другой стороны, она дѣйствительно не подлежала обсужденію. Какъ же быть? Выводъ, я думаю, прежде всего тотъ, что рѣчь не подлежала произнесенію, а затѣмъ, разъ ужъ она была произнесена, она подлежала не обсужденію, а осужденію, что и сдѣлалъ г. Семевскій. Не онъ выказалъ нетерпимость, говоря о неумѣстности рѣчи г. Сергѣевича и предлагая ему излагать свои мысли въ печати, а самъ г. Сергѣевичъ, объявивъ свою рѣчь не подлежащею обсужденію. Но такъ какъ она, дѣйствительно, не подлежала обсужденію, то весьма не трудно пріискать «настоящее имя» тому, что произошло 2 февраля: безтактность и ея естественныя послѣдствія.

Въ рѣчи г. Сергѣевича есть, однако, кое-что справедливое и безспорное. Безспорно, что «въ настоящее время мы наблюдаемъ Союзъ въ самый неблагопріятный для него моментъ; мы наблюдаемъ его въ мукахъ рожденія». Безспорно также, что трудно «объединить больныя самолюбія, которыя такъ легко развиваетъ литературная дѣятельность». Оба эти пункта самымъ тѣснымъ

образомъ связаны между собой. Объ этомъ свидѣтельствуетъ та неистовая ругань, которая въ нѣкоторыхъ газетахъ раздается по адресу учредителей, комиссіи шести, комитета, суда чести, общихъ собраній, при чемъ все это валится въ одну кучу, «не разбираючи лица». И не трудно видѣть, что источникъ нападокъ составляютъ главнымъ образомъ «больныя самолюбія». Я, конечно, не о г. Сергѣевичѣ говорю. При томъ же, хотя пожелать успѣха тому, что «граничитъ съ областью невозможнаго», не значитъ обнаружить большое великодушіе, но г. Сергѣевичъ все-таки пожелалъ успѣха Союзу. Если же онъ не пожелалъ самъ войти въ его составъ, то не въ силу «больного самолюбія». Онъ значился въ дополнительномъ спискѣ членовъ-учредителей, но еще до выборовъ въ комитетъ отказался вступить въ Союзъ. Отказался, можетъ быть потому, что побоялся встрѣтиться съ какимъ-нибудь писателемъ, говорящимъ на непонятномъ языкѣ, или можетъ быть потому, что ему «чужды» профессіональные интересы литературы, но во всякомъ случаѣ не по мотиву «больного самолюбія». Но что этотъ мотивъ играетъ важнѣйшую роль во всей отрицательной литературѣ о Союзѣ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Страннымъ образомъ рѣчь г. Сергѣевича порадовала сердца писателей, нападающихъ на Союзъ. Говорю «страннымъ образомъ», потому что рѣшительно не понимаю, что въ ней радостнаго для писателей вообще. То ли, что литература воспитываетъ непомѣрныя самолюбія, въ силу которыхъ между писателями невозможно никакое единеніе? Или то, что среди нашихъ писателей есть какіе-то патриціи и какіе-то плебеи, которые даже на разныхъ, взаимно-непонятныхъ языкахъ говорятъ? Или, наконецъ, то, что дѣятелю литературы, имѣющему иные источники существованія, не слѣдуетъ якшаться съ литературными работниками, только этой работой и живущими? Казалось бы, это оскорбленія не Союзу, а русскимъ писателямъ вообще, но разъ человѣкъ сказалъ что-нибудь неблагопріятное для Союза,—это заслуга. И вотъ, какъ, напримѣръ, «Гласность» разрѣшаетъ недоразумѣніе г. Сергѣевича насчетъ «настоящаго имени» того, что произошло 2 февраля. Сочувственно перепечатавъ письмо г. Сергѣевича въ редакцію «Новаго Времени», «Гласность» пишетъ и, для большей выразительности подчеркиваетъ: «А *настоящее* имя всему этому пассажу такъ и просится на уста: — это есть ни болѣе, ни менѣе, какъ *организованный шантажъ юдофильской печати и систематическая фальсификація общественнаго мнѣнія и всѣхъ понятій о чести*».

Я не поздравляю г. Сергѣевича съ этимъ сочувственнымъ комментаріемъ, если только онъ не увидитъ въ немъ подтвержденія своей мысли объ отсутствіи «общепонятнаго» русскаго языка. При

чемъ тутъ «шантажъ», «юдофильская печать», «фальсификація общественнаго мнѣнія и всѣхъ понятій о чести»? Если «соціальное положеніе» г. Сергѣевича таково, что этотъ языкъ ему понятенъ, онъ хорошо сдѣлаетъ, выведя изъ затрудненія и насъ переводомъ на языкъ общепонятный. А до тѣхъ поръ мы можемъ видѣть въ этой тирадѣ только вполнѣ безсмысленный наборъ словъ, за которымъ скрывается какой-то невысказанный мотивъ. Или вотъ, напримѣръ, упрекъ «Новаго Времени» (№ 26 января), что въ комитетъ Союза не избрано ни одной женщины и «даже ни одной женщины не было предложено къ баллотировкѣ, хотя ихъ нѣсколько въ числѣ членовъ-учредителей». «Новое Время» называетъ это «игнорированіемъ женщинъ вопреки уставу». Не можетъ же газета не понимать, что если въ числѣ учредителей есть женщины, такъ нельзя говорить объ «игнорированіи женщины». Не можетъ она также не понимать, что слова «вопреки уставу» лишены въ данномъ случаѣ всякаго смысла, ибо уставъ не воспрещаетъ женщинамъ быть членами комитета, но вовсе не обязываетъ избирать женщинъ. Но показаніе «Новаго Времени» оказалось и фактически невѣрнымъ: одна женщина баллотировалась въ члены комитета, но не получила нужнаго числа голосовъ, это была г-жа Калмыкова. И когда «Новому Времени» была указана его ошибка, оно отвѣтило чрезвычайно развязно: потому и не выбрана была такая почтенная дѣятельница, какъ г-жа Калмыкова, что общее собраніе состояло изъ «калмыковъ»... Потомъ г жа Калмыкова была выбрана въ ревизіонную комиссію, но это, разумѣется, не успокоило «Новое Время», и я не удивлюсь, если теперь оно скажетъ: ну, вотъ, когда у васъ Калмыкова, вы ужъ настоящими калмыками стали. Вы понимаете, что всѣ эти «вопреки уставу», «калмыки», «жиды» и проч., - - все это только пустыя слова, скрывающія истинныя причины недовольства «Новаго Времени», «Гласности», «Народа» и другихъ вопіющихъ. А вѣдь до чего иные договорились! Г. Old Gentleman, напримѣръ, повидимому, чрезвычайно гордый тѣмъ, что ему незнакомы имена такихъ ученыхъ, какъ г. Боргманъ или г. Ольденбургъ, находитъ возможнымъ сообщать читателямъ «Новаго Времени» слухи, исходящіе отъ «мертвецки пьянаго Ноздрева»... Какъ все это поднимаетъ несоюзную литературу надъ уровнемъ членовъ Союза!.. Г. Old Gentleman, впрочемъ, пересолилъ и въ другую сторону. Всячески издѣваясь надъ учредителями, надъ Союзомъ и его уставомъ, онъ забылъ, что въ числѣ учредителей состоятъ и его патронъ, г. Суворинъ, и еще три сотрудника «Новаго Времени»; упустилъ онъ также изъ виду, что г. Суворинъ, какъ членъ Русскаго литературнаго общества, могъ участвовать и въ

выработкѣ устава Союза, такъ какъ уставъ этотъ есть результатъ соглашенія съ означеннымъ обществомъ...

Не сразу поднялись всѣ эти дикія выходки противъ Союза, еще не успѣвшаго ничѣмъ заявить себя ни въ худую, ни въ хорошую сторону. Первое время всѣ газеты не только благосклонно, а даже какъ бы радостно сообщали о комиссіи шести, объ утвержденіи устава, о судѣ чести, о первомъ общемъ собраніи, баллотировавшемъ дополнительный списокъ учредителей; уставъ газеты почтительно перепечатывали цѣликомъ или въ выдержкахъ. Буря поднялась послѣ выборовъ членовъ комитета... Тутъ пошли и «калмыки» за то, что г-жа Калмыкова не попала въ комитетъ, и «жиды», должно быть за то, что ни одного еврея въ комитетѣ нѣтъ (надѣюсь, что Исаковъ, Загуляевъ, Боборыкинъ, Маминъ и проч. звучатъ достаточно по-русски). Но среди этого явнаго вздора было и нѣчто способное отчасти смутить публику: указывалось именно на слабое представительство ветерановъ литературы, преимущественно беллетристовъ, въ составѣ, какъ учредителей, такъ и комитета. Но я уже упоминалъ, что въ спискѣ учредителей значатся Д. В. Григоровичъ, Я. П. Полонскій, А. А. Потѣхинъ, С. В. Максимовъ, А. Жемчужниковъ и др. Всѣ эти писатели баллотировались въ общемъ собраніи 15 января, были избраны единогласно, и ничто не мѣшаетъ точно также баллотироваться другимъ желающимъ, а какой-нибудь разницы въ правахъ между членами-учредителями и послѣ вступившими членами — нѣтъ. Что касается состава комитета, то, во-первыхъ, говоря о беллетристахъ, нельзя же назвать г. Боборыкина молодымъ или мало извѣстнымъ писателемъ. Да и «заслуженность», настоящая, несомнѣнная заслуженность сама по себѣ не есть качество, необходимое для члена комитета. Надо еще замѣтить, что галдѣніе по указанному поводу началось до выборовъ въ судъ чести, въ который усиленно предлагали баллотироваться А. А. Потѣхину, но онъ отказался, а Я. П. Полонскій баллотировался и вошелъ въ составъ суда; правда, въ качествѣ кандидата, но въ виду права обращающихся къ этому суду отводить извѣстное число членовъ, разницы между членами суда и кандидатами къ нимъ, собственно говоря, нѣтъ.

Мало-по-малу нареканія по поводу слабо представленныхъ заслуженныхъ ветерановъ, сосредоточивавшіяся преимущественно въ «Новомъ Времени», стали затихать. Тогда выступили «Новости» съ нареканіями иного рода. «Новости» писали (отъ 30 января):

«Очевидно, первоначальные учредители «Союза писателей» положили въ основаніе своего проекта предвзятую идею о полной противоположности интересовъ писателей (какъ «работниковъ») и издателей (какъ «фабрикантовъ») и задумали создать нѣчто, по

задачамъ и цѣлямъ, однородное съ союзами рабочихъ. Только съ этой точки зрѣнія и можно объяснить себѣ избраніе состава комитета изъ лицъ односторонняго направленія и почти полное исключеніе изъ него издателей газетъ и журналовъ («фабрикантовъ»)».

Я не совсѣмъ понимаю, что именно хотятъ сказать «Новости» и не хочу доискиваться. А скажу прямо: если бы гг. Суворинъ и Нотовичъ, эти главы двухъ великихъ державъ петербургскаго газетнаго міра, были избраны въ члены комитета Союза, они не допустили бы въ свои газеты тѣхъ неосновательныхъ нареканій и того грубаго гаерства по адресу Союза, которыя мы читаемъ нынѣ. И г. Сементковскій былъ бы не столь расточителенъ на «письма въ редакцію», и г. Old Gentleman съ такимъ же усердіемъ выхвалялъ бы Союзъ, съ какимъ онъ нынѣ старается его унизить. Съ этой точки зрѣнія учредители сдѣлали можетъ быть ошибку, и имъ слѣдовало избрать вмѣсто двухъ работниковъ, въ родѣ, напримѣръ, меня или г. Мамина, двухъ «фабрикантовъ». Но учредители дѣйствовали по совѣсти, и во всякомъ случаѣ вящшую ошибку дѣлаютъ гг. Суворинъ и Нотовичъ. Учредителей считается 135 — 140 человѣкъ, но заявленія о желаніи вступить въ члены Союза поступаютъ въ изобиліи, и слѣдующему общему собранію комитетъ предложитъ баллотировать, можетъ быть, столько же новыхъ членовъ. Эти новые члены принесутъ съ собой, можетъ быть, новые взгляды, и въ обновленномъ въ будущемъ году комитетѣ гг. Суворинъ и Нотовичъ могутъ занять подобающее имъ мѣсто. Но для этого нужно немножко выдержки, немножко терпѣнія, я готовъ, изъ любезности къ г. Нотовичу, сказать: «немножко философіи». А и философія-то нехитрая. Надо только сообразить, что окриками и угрозами, облыжными показаніями и гаерствомъ, равно какъ и выдвиганіемъ на первый планъ своего положенія «фабриканта», — не пріобрѣтешь уваженія такого количества настоящихъ и будущихъ членовъ Союза, какое необходимо для выбора въ члены комитета...

Кончу прекрасными словами газеты «Сибирь» (7 февраля). Распредѣливъ учредителей Союза по группамъ и цифрами доказавъ, что никакой «кружковщины» тутъ нѣтъ, почтенная газета пишетъ:

«Мы не знаемъ внутреннихъ мотивовъ похода противъ Союза: чувство ли злобы, чувства ли обиды или какія-либо другія соображенія играютъ здѣсь роль, но пусть подумаютъ эти лица, что они дѣлаютъ попытки разрушить своими руками то зданіе, которое съ большимъ трудомъ удалось писателямъ построить».

III*).

„Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ московскаго университета".—О Дюркгеймѣ.

Въ старые годы у насъ были въ модѣ такъ называемые альманахи или литературные сборники, преимущественно беллетристическаго содержанія, но вмѣщавшія и статьи научнаго характера. Затѣмъ эта мода прошла, а теперь опять возрождается: за послѣдніе годы мы имѣемъ цѣлый рядъ сборниковъ, изданныхъ съ различными благотворительными цѣлями. Едва ли это возрожденіе оправдывается обстоятельствами, какъ ни почтенны сами по себѣ цѣли, ради которыхъ издаются сборники. Въ старые годы писатель-работникъ почти не существовалъ, сравнительно мало было и періодическихъ изданій. Поэтому составителямъ сборниковъ не трудно было залучить и болѣе или менѣе крупныя литературныя имена писателей обезпеченныхъ, и разную мелочь, объ которой, по поводу одного такого сборника, Бѣлинскій писалъ: «было бы чему подивиться, если бы многіе сочинители не воспользовались такимъ прекраснымъ случаемъ втереться въ печать». Времена измѣнились. Въ распоряженіи читателей имѣется довольно большой выборъ ежемѣсячныхъ изданій, каждая книжка которыхъ представляетъ собою такой же сборникъ статей разнообразнаго содержанія, только ближе стоящій къ жизни, благодаря неудобнымъ и даже невозможнымъ для сборниковъ статьямъ по текущимъ дѣламъ,—разнаго наименованія хроникамъ. Персоналъ литературныхъ вкладчиковъ въ сборники тотъ-же, что и въ журналахъ. Между ними очень мало людей, обезпеченныхъ какимъ-нибудь стороннимъ доходомъ, и въ такъ называемомъ «портфелѣ» ихъ очень рѣдко есть что-нибудь готовое, чего они не могли бы или не обязаны были помѣстить въ томъ или другомъ журналѣ; а написать что-нибудь вновь, спеціально для сборника, у нихъ большею частью нѣтъ времени. Неудивительно

---

*) Апрѣль 1897 г.

поэтому, что въ прежнихъ сборникахъ отражалась наличная литература не только съ ея слабыми сторонами и слабыми представителями, а и своей казовой стороной, и сборники или альманахи представляли иногда большой интересъ, тогда какъ этого отнюдь нельзя сказать про большинство нынѣшнихъ сборниковъ. За рѣдкими исключеніями, эти изданія не пользуются сколько-нибудь значительнымъ успѣхомъ. И это вполнѣ естественно: составители сборниковъ просятъ у писателей «чего-нибудь»; писатели и даютъ «что-нибудь»,—отрывки, наброски, залежавшіяся почему-нибудь статьи. Винить за это писателей было бы несправедливо, или, по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ признать наличность обстоятельствъ, сильно смягчающихъ ихъ вину. Писатель есть человѣкъ рабочій, большею частію исключительно своимъ трудомъ живущій, а между тѣмъ въ сборникѣ онъ является несообразно крупнымъ жертвователемъ и, во всякомъ случаѣ, во много разъ большимъ, чѣмъ человѣкъ, купившій сборникъ за 1 — 3 рубля. И когда такихъ сборниковъ является, какъ теперь, много, при чемъ составители ихъ обращаются за сотрудничествомъ, преимущественно, къ однимъ и тѣмъ же писателямъ, то положеніе послѣднихъ становится слишкомъ труднымъ. А это неблагопріятно отзывается и на составѣ сборника, и, слѣдовательно, на его успѣхѣ, то есть на самой цѣли, ради которой сборникъ изданъ.

Исключенія, конечно, бываютъ и даже блестящія. Такъ, напримѣръ, огромный успѣхъ имѣлъ сборникъ, изданный въ пользу голодающихъ редакціей «Русскихъ Вѣдомостей» (рядомъ съ сомнительнымъ успѣхомъ другихъ, тогда же и съ тою же цѣлью изданныхъ сборниковъ). Чрезвычайно также быстро разошелся сборникъ въ память Гаршина, изданный тотчасъ послѣ трагической смерти этого талантливаго молодого писателя, смерти, произведшей сильное впечатлѣніе на общество. Но успѣхъ этихъ двухъ сборниковъ вполнѣ исключительный, и я, признаюсь, съ не особенно пріятнымъ чувствомъ разрѣзываю книжки новыхъ сборниковъ, при всемъ сочувствіи къ добрымъ цѣлямъ, которымъ они призваны послужить. Даже къ произведеніямъ талантливѣйшихъ нашихъ писателей, значащимся въ оглавленіи сборника, я отношусь нѣсколько скептически, ибо почти увѣренъ, что наиболѣе яркія, наиболѣе облюбованныя авторами произведенія найду не здѣсь, а въ томъ или другомъ періодическомъ изданіи.

Съ такимъ же скептицизмомъ взялъ я въ руки и недавно вышедшій «Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ московскаго университета», изданный подъ редакціей г. Гольцева. Но на этотъ разъ мой скептицизмъ оказался неумѣстнымъ. Нельзя сравнить новый сборникъ съ двумя вышеупомянутыми, но въ немъ

есть все-таки нѣкоторая интересная духовная пища, и читатель не пожалѣетъ о томъ рублѣ, который онъ за нее заплатитъ, независимо отъ доброй цѣли изданія.

Беллетристика представлена въ сборникѣ довольно скудно: хорошенькій разсказъ г. Мамина, нѣсколько переводныхъ разсказовъ съ польскаго, стихотворенія гг. Голованова, Ладыженскаго, Бальмонта. Текущій, практическій интересъ представляетъ «Замѣтка о гласномъ судѣ» г. Духовского, статья г. Джаншіева «Памяти А. М. Фальковскаго», «Изъ Дневника» г. Вахтерова и въ особенности статья г. Корелина «Что можно дать для народнаго чтенія изъ всемірной исторіи», — представляющая хорошо обдуманную и разработанную программу, съ которою необходимо будетъ считаться всѣмъ ревнителямъ народнаго просвѣщенія. Теоретическимъ вопросамъ посвящены статьи г. Ковалевскаго «Соціологія и соціологи», г. Карѣева - «Ничше о чрезмѣрности исторіи», г. Иванцова— «Понятіе организма», г. Иванова — «Идея прогресса во французской литературѣ XVIII вѣка». Если прибавить главу изъ воспоминаній покойнаго д-ра Бѣлоголоваго («Поѣздка на Уралъ въ 1866 г.»), то читатель получитъ перечисленіе всѣхъ статей, вошедшихъ въ сборникъ.

Я не думаю говорить обо всѣхъ этихъ статьяхъ и остановлюсь лишь на двухъ-трехъ, въ связи съ нѣкоторыми другими явленіями русской и иностранной литературы.

Имя Ничше довольно часто мелькаетъ на страницахъ нашихъ періодическихъ изданій, а въ нѣкоторыхъ, правда, очень немногихъ произведеніяхъ нашей литературы можно найти прямое отраженіе идей этого во всякомъ случаѣ замѣчательнаго, хотя и страннаго, безпорядочнаго и кончившаго психическимъ разстройствомъ мыслителя. Но наша, такъ называемая, большая публика—читатели журналовъ и газетъ—очень все-таки мало знакома съ умственной физіономіей Ничше и, можетъ быть, видитъ оригинальность въ упомянутыхъ слабыхъ ея отраженіяхъ въ русской литературѣ. А между тѣмъ, кто знаетъ? Быть можетъ, это только первые вѣстники, за которыми послѣдуетъ болѣе или менѣе широко распространенное увлеченіе идеями Ничше, — мы вѣдь такъ падки на «новыя слова», «послѣднія слова», и такъ плохо вооружены для самостоятельнаго критическаго къ нимъ отношенія.

Въ разсказѣ г. Мельшина «Юность» есть, между прочимъ, любопытная фигура юноши Доманскаго, который восторженно кричитъ: «къ чорту исторію, и да здравствуетъ свѣтлая, трезвая наука естествознанія», и для котораго «не существовало никакихъ

трудныхъ или сложныхъ вопросовъ: Писаревъ былъ для него такой великолѣпной отмычкой, съ помощью которой самые мудреные ларцы отпирались очень просто, удобно и скоро». Это очень характерная фигура для нашего сравнительно недавняго (а впрочемъ, уже тридцатилѣтняго!) прошлаго, а, понятая въ болѣе широкомъ смыслѣ, и не только для этого прошлаго. Одностороннія увлеченія знакомы, конечно, и западной Европѣ, гораздо болѣе насъ богатой знаніемъ и житейскимъ опытомъ, но нигдѣ не хватаются за новыя «отмычки, съ помощью которыхъ самые мудреные ларцы отпираются очень просто, удобно и скоро», съ такою жадностью, какъ у насъ. Для этого есть много причинъ, изъ которыхъ самая важная состоитъ, конечно, въ скудости знаній вообще, и въ скудости знанія нашего собственнаго прошлаго въ частности. «Ослѣпленный блестящей, поразительно простой и ясной исторической концепціей Бокля, Доманскій отрицаетъ всякое значеніе отдѣльныхъ личностей и издѣвается надъ «такъ называемыми» великими людьми и героями». Тридцать лѣтъ тому назадъ это было, но, благодаря перерывамъ преемственности въ исторіи нашего развитія, у насъ и теперь найдутся Доманскіе, повторяющіе это самое, какъ новѣйшее открытіе, какъ нѣчто, доселѣ неслыханное.

Это, впрочемъ, мимоходомъ, къ слову.

Въ настоящую минуту и въ непосредственномъ будущемъ болѣе или менѣе повальное увлеченіе Ничше, кажется, намъ не грозитъ; но когда эти наши духовные пожары разгораются, мы становимся уже мало способны прислушиваться къ голосу критики, и, по малой мѣрѣ, не мѣшаетъ загодя разобраться въ свѣтлыхъ и темныхъ сторонахъ философіи Ничше, которая и сама по себѣ представляетъ большой интересъ.

Слѣдуетъ, поэтому, благодарить г. Карѣева за его вкладъ въ сборникъ, изданный въ пользу недостаточныхъ студентовъ московскаго университета, хотя вкладу этому можно бы было пожелать большей широты взгляда и болѣе пристальнаго вниманія къ писателю, котораго самъ г. Карѣевъ называетъ «во всякомъ случаѣ незаурядным». Статья г. Карѣева называется, какъ уже сказано, «Ничше о чрезмѣрности исторіи» и посвящена разбору статьи Ничше: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben («О пользѣ и вредѣ исторіи для жизни»). Понятно, что г. Карѣевъ, историкъ, заинтересовался этой работой Ничше, но, къ сожалѣнію, г. Карѣевъ отнесся къ своей задачѣ слишкомъ какъ спеціалистъ-историкъ, даже, можно сказать, какъ спеціалистъ преподаватель исторіи. Выступая въ роли защитника своей науки противъ нападокъ несчастнаго мыслителя на «чрезмѣрность исторіи», но при этомъ вырывая изъ всего, довольно обширнаго, литературнаго багажа Ничше одну, заин-

тересовавшую его, какъ спеціалиста, работу, г. Карѣевъ лишилъ себя возможности оріентироваться, какъ въ блестящихъ парадоксахъ Ничше, такъ и въ томъ, что въ немъ есть тусклаго и не парадоксальнаго. Взгляды Ничше на «чрезмѣрность (Uebermasz) исторіи» могутъ быть правильно освѣщены только какъ часть всего его страннаго, но въ высокой степени интереснаго міросозерцанія.

Статья г. Ковалевскаго едва ли правильно называется «Соціологія и соціологи». Хотя въ ней рѣчь, дѣйствительно, идетъ и о соціологіи, и о соціологахъ, но это собственно только отчетъ о трудахъ второго конгресса «международнаго института соціологіи». (Annales de l'institut international de sociologie, publiées sous la direction de René Worms, secrétaire général. II. Travaux du second congrès. Paris. 1896). По странной оплошности, самого ли г. Ковалевскаго, или редакціи московскаго сборника, хотя въ статьѣ «Соціологія и соціологи» и поминаются эти труды и имѣются ссылки на нихъ, съ указаніемъ номеровъ страницъ, но самое заглавіе книги не приводится. Второй соціологическій конгрессъ состоялся осенью 1895 г. подъ предсѣдательствомъ г. Ковалевскаго. Онъ же и реферируетъ теперь труды конгресса на страницахъ московскаго сборника. Такимъ образомъ, рѣчь здѣсь идетъ не о «соціологіи и соціологахъ» вообще, а лишь въ рамкахъ конгресса 1895 г. А одинъ изъ результатовъ, къ которымъ пришелъ почтенный предсѣдатель конгресса, состоитъ въ «сознаніи, что соціологіи, какъ абстрактной наукѣ, недостаетъ прочнаго фундамента конкретныхъ фактовъ, установленныхъ этнографіей и исторіей». Въ этомъ г. Ковалевскій видитъ причину того, что конгрессъ посвятилъ большую часть своихъ засѣданій различнымъ «частнымъ, но рѣшающимъ (*что* рѣшающимъ?) вопросамъ».

Нельзя, однако, сказать, чтобы и общіе соціологическіе вопросы были совершенно обойдены конгрессомъ. Первый же представленный конгрессу докладъ (г. Ренэ Вормса) имѣлъ своимъ предметомъ «различныя понятія о соціологіи»; за нимъ слѣдовали доклады о «методѣ въ соціологіи» (Штейнмеца) и о «языкѣ въ соціологіи» (Комбъ де Лестрада); все вопросы, кажется, достаточно общіе. Но и внѣ упомянутыхъ докладовъ на конгрессѣ попутно поднимались и трактовались наиболѣе общіе вопросы соціологіи,—о предметѣ науки, о ея границахъ, о коренныхъ чертахъ общественныхъ явленій. Правда, суровый голландецъ Штейнмецъ, по поводу именно этого рода дебатовъ, упрекалъ своихъ коллегъ, вульгарно выражаясь, въ болтовнѣ (этого грубаго слова Штейнмецъ, конечно, не сказалъ, но имя вещи не мѣняетъ);

однако далеко не всѣ члены конгресса такъ скептически или даже пренебрежительно относятся къ результатамъ конгресса по общимъ вопросамъ соціологіи. Самъ г. Ковалевскій, «сознающій, что соціологіи, какъ абстрактной наукѣ, недостаетъ прочнаго фундамента», пришелъ все-таки къ нѣкоторымъ общимъ выводамъ, правда, частью отрицательнымъ, но не исключительно отрицательнымъ.

Въ своемъ рефератѣ первымъ результатомъ конгресса г. Ковалевскій ставитъ выяснившееся пораженіе такъ называемой органической теоріи общества. Онъ говоритъ о томъ, какъ подъ вліяніемъ ученій Дарвина и Спенсера «книжный рынокъ обогатился трактатами и памфлетами объ обществѣ-организмѣ и объ эволюціи, основанной на безграничной дифференціаціи». «Хотите знать,—продолжаетъ онъ, — что научнаго представляетъ еще эта, такъ долго шумѣвшая въ мірѣ теорія, прочтите слѣдующую страницу изъ недавно отпечатанныхъ трудовъ второго международнаго конгресса соціологіи». И г. Ковалевскій приводитъ рѣзкій отзывъ извѣстнаго этнографа Летурно, оканчивающійся слѣдующими словами: «Уподобленіе человѣческихъ обществъ организмамъ — чистый продуктъ фантазіи, результатъ поверхностнаго мышленія; онъ можетъ только вредить успѣхамъ нашей науки». «Приговоръ строгъ, но заслуженъ»,— прибавляетъ отъ себя г. Ковалевскій.

Читатель, сколько-нибудь знакомый съ моими писаніями, конечно, не заподозритъ меня въ пристрастіи къ органической теоріи общества. Тѣмъ не менѣе, мнѣ совершенно непонятно, какъ можетъ г. Ковалевскій приводить тираду Летурно въ доказательство чего бы то ни было. Летурно въ этой тирадѣ даже и не думаетъ разсматривать, «что осталось научнаго» въ органической теоріи, и вся его критика сводится къ ряду вопросовъ: «что общаго между націей въ родѣ Англіи, Франціи и т. д. и животнымъ въ родѣ собаки, льва»? Или: «Гдѣ въ Англіи или во Франціи, или Германіи тѣ классы, дѣятельность которыхъ можно исключительно уподобить функціонированію костей или нервовъ? Гдѣ гражданскій желудокъ націи»? И т. п. Такими вопросами едва ли можно не только доказать что нибудь, а даже смутить сторонниковъ органической теоріи. Тѣ изъ нихъ, которые помельче и полегковѣснѣе, а, пожалуй, и поостроумнѣе, не затруднятся найти въ обществѣ параллели не только нервамъ, а и костямъ; найдутъ и «гражданскій желудокъ націи». А съ другой стороны, если бы президентомъ конгресса былъ не г. Ковалевскій, а Шеффле, какъ и предполагалось (онъ не пріѣхалъ по болѣзни), то онъ въ качествѣ сторонника органической теоріи, конечно, не оставилъ бы рѣчи Летурно безъ возраженія. Г. Ковалевскій дѣлаетъ изъ словъ Летурно такой выводъ: «Оказывается, что данныя біологіи не могутъ быть цѣликомъ пере-

носимы въ сферу обществовѣдѣнія». Это дѣйствительно «оказывается», только не изъ словъ Летурно.

Однако и оказывается далеко не для всѣхъ. Въ томъ же московскомъ сборникѣ, гдѣ напечатанъ рефератъ г. Ковалевскаго, есть статья г. Иванцова «Понятіе организма», въ которой, между прочимъ, читаемъ: «Общественные организмы человѣка должны считаться только что возникающими. Они далеко не достигли той степени совершенства, какой достигли, напримѣръ, колоніи сифонофоръ. Исторія всякаго народа есть исторія его организаціи, и ее можно бы было изложить въ терминахъ біологическихъ, показать, какъ эмбріональныя клѣтки, обладающія первоначально одинаковыми особенностями, перестаютъ вести жизнь обособленную и сплачиваются вмѣстѣ, какъ онѣ постепенно дифференцируются, какъ между ними устанавливается все болѣе и болѣе раздѣленіе физіологическаго труда, — однѣ берутъ на себя развитіе кинетической энергіи, другія приспособляются къ химической переработкѣ веществъ и т. д., какъ отдѣльныя клѣтки соединяются для образованія органовъ, вырабатываются общіе регуляторы... Современная историческая и соціальная наука все болѣе и болѣе получаетъ характеръ біологіи общества» (Сборникъ, стр. 82). Положимъ, что мы все это уже сотни разъ слышали безъ особой пользы для науки. Но изъ словъ г. Иванцова видно, что и доселѣ есть люди, рядомъ съ г. Ковалевскимъ помѣщающіеся, для которыхъ органическая теорія отнюдь не потеряла своего научнаго значенія. Если же органическая теорія въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ топчется на одномъ мѣстѣ, то приложенія теоріи Дарвина къ вопросамъ общественной жизни получили за послѣднее время, подъ вліяніемъ вейсманизма, нѣкоторое оживленіе. Объ нихъ мы, впрочемъ, теперь говорить не будемъ, такъ какъ они на конгрессѣ, насъ занимающемъ, никѣмъ не отстаивались и не опровергались. Нельзя того же сказать объ органической теоріи. Столь убійственное для нея, по мнѣнію г. Ковалевскаго, возраженіе Летурно было вызвано докладомъ нашего соотечественника г. Лиліенфельда, объ которомъ г. Ковалевскій говоритъ, что онъ есть «одно изъ лицъ, наиболѣе злоупотреблявшихъ аналогіей общественныхъ явленій съ естественно-научными». Напрасно, однако, г. Ковалевскій употребляетъ въ этомъ случаѣ прошедшее время: «*злоупотреблявшихъ*». Г. Лиліенфельдъ не отрекается отъ своего прошлаго, вовсе не считаетъ его прошлымъ и въ своемъ докладѣ конгрессу — «Существуетъ ли законъ эволюціи политическихъ формъ» — остается столь же правовѣрнымъ органистомъ, какимъ былъ и въ своей «Соціальной наукѣ будущаго». Онъ на нее ссылается, между прочимъ, слѣдующимъ образомъ: «Мы показали въ нашей «Соціальной

наукѣ будущаго», что всякій соціальный аггрегатъ состоитъ лишь изъ нервной системы и межклѣточнаго вещества, тогда какъ животные организмы располагаютъ еще и разными другими органическими системами, каковы: костная, мускульная, вазомоторная и т. д. Различныя части всѣхъ этихъ системъ, такъ же какъ и нервной системы, механически связаны между собою и съ своимъ цѣлымъ, тогда какъ индивиды-клѣточки соціальнаго организма, не состоящіе во взаимной механической связи, пользуются относительно гораздо большею свободою дѣйствія во времени и пространствѣ. Взаимодѣйствіе между клѣточками-индивидами, органами и нервной системой соціальнаго организма происходитъ при помощи не прямыхъ рефлексовъ, тогда какъ части индивидуальнаго организма сообщаются при посредствѣ нервныхъ нитей, то есть прямыми рефлексами (Travaux du second congrès, 243, 244).

Какую бы цѣну мы этому разсужденію г. Лиліенфельда ни давали, но изъ него для насъ, во всякомъ случаѣ, слѣдуютъ два вывода: во-первыхъ, г. Лиліенфельдъ непоколебимо стоитъ за органическую теорію, которую предъявилъ и въ своемъ докладѣ конгрессу; во-вторыхъ, побѣдоносные вопросы Летурно: «гдѣ кости, гдѣ мускулы соціальнаго организма?»—совершенно не касаются г. Лиліенфельда, такъ какъ онъ и прежде не допускалъ существованія костной и мускульной системъ въ соціальномъ организмѣ, и повторилъ это на конгрессѣ прежде, чѣмъ Летурно задалъ свои вопросы. Надо даже удивляться, какъ могъ ихъ задать Летурно непосредственно послѣ доклада г. Лиліенфельда и въ видѣ возраженія ему.

Дѣло въ томъ, что органическая теорія, изыскивая аналогіи между явленіями общественной и органической жизни, открываетъ широкое поприще для личнаго остроумія «изслѣдователей», изъ которыхъ каждый въ подробностяхъ, какъ говорится, кто во что гораздъ: одинъ найдетъ аналогію тамъ, гдѣ другой не догадается. Поэтому частными вопросами, въ родѣ тѣхъ, какіе задавалъ Летурно, можно смутить только менѣе остроумныхъ и находчивыхъ органистовъ. Болѣе увертливые всегда найдутся, а болѣе солидные не примутъ этихъ частныхъ вопросовъ на свой счетъ.

Органическая теорія была представлена на конгрессѣ не однимъ г. Лиліенфельдомъ. Ее исповѣдуетъ и секретарь съѣзда, онъ же и секретарь всего международнаго соціологическаго института,—Ренэ Вормсъ. Онъ открылъ конгрессъ докладомъ о «различныхъ пониманіяхъ (conceptions) соціологіи», при чемъ отмѣтилъ три направленія, какъ они выразились на первомъ соціологическомъ конгрессѣ (1894 г.): направленіе практическое, представленное Леббокомъ, историческое—г. Ковалевскимъ, и философское—г. Лиліенфельдомъ, Гумпловичемъ и Тардомъ. Внутри этихъ трехъ группъ, говоритъ Вормсъ.

существуютъ оттѣнки и разногласія, которые, дескать, однако могутъ быть устранены, равно какъ и всѣ три группы могутъ быть приведены къ гармоническому единству. Оставляя пока въ сторонѣ общія соображенія Вормса, здѣсь замѣтимъ только, что въ число «философскихъ» пониманій или концепцій соціологіи онъ ставитъ и органическую теорію, при чемъ явно отдаетъ ей преимущество передъ другими. И немудрено. Съ прошлаго года подъ редакціей Вормса издается «Международная соціологическая библіотека», первый томъ которой составляетъ трудъ Вормса же «Organisme et société». Г. Ковалевскій отзывается объ этой книгѣ такъ: «Послѣдователь Спенсера, Шефле и Лиліенфельда, секретарь соціологическаго конгресса посвятилъ развитію ихъ любимой темы цѣлый томъ, который представляетъ собою, какъ я думаю, самое трезвое выраженіе органической теоріи. Авторъ отказывается отъ опасной игры въ аналогіи и не ищетъ поэтому всѣмъ аппаратамъ человѣческаго тѣла соотвѣтствія въ общественномъ» (Сборникъ, 12).

Книга Вормса издана недавно по-русски подъ заглавіемъ «Общественный организмъ» (Спб. 1897, изданіе Павленкова), и каждый можетъ провѣрить показаніе г. Ковалевскаго. Правда, авторъ иногда оговаривается въ такомъ родѣ: «Общество подобно организму. Оно не просто организмъ, оно болѣе того: какъ болѣе сложное, его можно назвать сверхъ-организмомъ (supra-organisme). Но, заключая въ себѣ больше, нежели организмъ, оно прежде всего содержитъ все то, что содержитъ организмъ. Мы дадимъ неполное понятіе объ обществѣ, сказавъ, что оно организмъ; но, отрицая это, мы дадимъ о немъ ложное понятіе. Чтобы точно опредѣлить его, нужно признать, что оно составляетъ организмъ, дополненный чѣмъ-то существеннымъ» (Введеніе, стр. 3 русскаго перевода). Однако, это «существенное» уловить довольно трудно въ книгѣ Вормса, такъ какъ разговоры объ томъ, что общество «не тождественно» съ организмомъ, а только «подобно» ему—ничего не измѣняютъ въ органической теоріи. Да Вормсъ и вполнѣ открыто къ ней примыкаетъ, утверждая даже, что «эта теорія, на которую сильно нападаютъ съ разныхъ сторонъ, тѣмъ не менѣе пріобрѣтаетъ все больше и больше сторонниковъ среди современныхъ соціологовъ» (стр. 4, тамъ же). Въ концѣ книги Вормсъ заявляетъ, что между «духомъ» его сочиненія, представляющаго, по словамъ г. Ковалевскаго, «самое трезвое выраженіе органической теоріи»,—и духомъ работъ г. Лиліенфельда,—по словамъ г. Ковалевскаго, «наиболѣе злоупотреблявшаго» и т. д.,—«замѣчается тѣсное сходство» (345). Вормсъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ идетъ даже дальше г. Лиліенфельда. Онъ не доволенъ тѣмъ, что г. Лиліенфельдъ «видитъ въ общественномъ тѣлѣ лишь два составныхъ элемента—нервную систему и межклѣточное

вещество», и самъ разсуждаетъ, напримѣръ, такъ: «Кровеноснымъ сосудамъ, распредѣляющимъ въ организмѣ питательную жидкость, соотвѣтствуютъ въ обществѣ купцы, которые доставляютъ въ одну область произведенія изъ другой. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ хорошо проложенныхъ и безопасныхъ дорогъ, напримѣръ, въ Сахарѣ, эти купцы могутъ путешествовать только большими обществами, караванами. Напротивъ, тамъ, гдѣ, какъ въ нашихъ странахъ, дороги вполнѣ доступны, достаточно меньшаго числа людей, чтобы провезти то же количество товара въ тѣ области, гдѣ его нѣтъ. Итакъ, дороги въ сущности ведутъ къ сокращенію числа купцовъ. Правда, иногда онѣ, напротивъ, увеличиваютъ ихъ число, но вѣдь тогда увеличивается и количество перевозимыхъ товаровъ. Усовершенствованіе дорогъ, въ этомъ случаѣ, дѣлаетъ то же, что умноженіе кровеносныхъ сосудовъ: оно усиливаетъ кровообращеніе» и т. д. Въ концѣ концовъ, «это даетъ намъ возможность сопоставить ихъ (улучшенные пути сообщенія) косвенно съ кровеносными сосудами, которымъ соотвѣтствовали прямо купцы, замѣненные ими. Подобнымъ же образомъ телеграфныя проволоки замѣнили курьеровъ; и ихъ можно косвенно сравнивать съ нервами» (52—53). На стр. 61 читатель найдетъ серьезныя размышленія на тему о трехъ измѣреніяхъ обществъ, о томъ, можно ли имъ, какъ организмамъ, приписывать длину, ширину и высоту. Въ главѣ о «воспроизведеніи» идетъ между прочимъ, рѣчь о половомъ размноженіи обществъ, объ обществахъ — мужчинахъ и обществахъ — женщинахъ. На 121 стр. доказывается, что у общества есть сердце, а именно биржа и т. д. Все это убѣждаетъ насъ, что въ книгѣ Вормса мы имѣемъ варіаціи на старую тему, не подвигающія органическую теорію ни впередъ, ни назадъ: такихъ варіацій мы уже слыхали много, но ихъ обиліе и разнообразіе, повидимому, не смущаютъ новыхъ «изслѣдователей», спокойно въ свой чередъ начинающихъ все ту же сказку про бѣлаго бычка.

Какъ ни любезно отношеніе г. Ковалевскаго къ книгѣ Вормса, въ общемъ онъ рѣшительно, какъ мы видѣли, отрицаетъ научное значеніе органической теоріи. Онъ находитъ, однако, въ ней «зародышъ истины, но истины, извѣстной уже Мененію Агриппѣ и которую въ научной формѣ можно передать такимъ образомъ: общество не есть сумма разрозненныхъ особей; его психологія, какъ и его экономія, представляетъ нѣчто болѣе сложное, чѣмъ сумма психическихъ состояній частныхъ лицъ или сумма частныхъ хозяйствъ. Сожитіе съ другими вызываетъ одновременно измѣненія и въ нихъ, и въ насъ самихъ, создавая то, что мы называемъ солидарностью. Эта солидарность представляетъ собою связь во всякомъ случаѣ не меньшую, а превышающую ту, какая существуетъ между отдѣль-

ными клѣточками организма. Не будь ея, не было бы и постоянства сожитія, не было бы общества и самостоятельной науки объ обществѣ—соціологіи. Послѣдняя, такимъ образомъ, въ моихъ глазахъ сводится къ изученію условій и причинъ человѣческой солидарности. Эти условія представляютъ собою какъ неизмѣнныя, такъ и измѣнныя величины; онѣ могутъ пріумножаться и сокращаться. Можно указать моменты прогресса и регресса солидарности; можно прослѣдить процессъ постепеннаго ея расширенія съ эпохи, когда, объединенные дѣйствительнымъ или мнимымъ родствомъ и общностью культа, роды считали врагами всѣхъ, кто не входилъ въ ихъ составъ, до переживаемой нами нынѣ стадіи, когда объединенныя политическою властью націи считаютъ братьями и союзниками единоплеменниковъ и единовѣрныхъ, и глазамъ многихъ уже рисуется типъ объединеннаго общностью культуры человѣчества. Есть поэтому возможность говорить объ эволюціи солидарности, а слѣдовательно, и объ эволюціи общества, не будучи ни мало послѣдователемъ органической теоріи государства» (Сборникъ, 4).

Послѣднее совершенно справедливо: есть возможность говорить объ эволюціи солидарности, не будучи послѣдователемъ органической теоріи. Но это не аргументъ противъ органической теоріи, ибо и ея послѣдователи имѣютъ возможность говорить объ эволюціи солидарности и дѣйствительно говорятъ объ ней. Едва ли г. Ковалевскій въ состояніи будетъ доказать, что солидарность между членами общества «представляетъ собою связь во всякомъ случаѣ не меньшую, а превышающую ту, какая существуетъ между отдѣльными клѣточками организма». А если бы онъ это и доказалъ, все же остается то, что онъ называетъ «зародышемъ истины, извѣстной уже Мененію Агриппѣ». Читатель знаетъ этотъ зародышъ истины, хотя бы по пересказу Шекспира въ «Коріоланѣ». Это есть изложеніе органической теоріи въ видѣ отповѣди желудка «бдительному глазу и головѣ подъ царственнымъ вѣнцомъ, рукѣ—бойцу и языку—герольду, и сердцу вѣщему, ногамъ, носящимъ насъ, и всѣмъ другимъ помощникамъ и членамъ». Притча «веселаго старика» Мененія Агриппы успокоила волнующійся противъ сената народъ, убѣдивъ его, что желудокъ, какъ и другіе члены человѣческаго тѣла, безкорыстно служитъ общему дѣлу, и что то же самое и въ человѣческомъ обществѣ происходитъ. Какой же еще нужно солидарности?

Дѣло въ томъ, что, сводя задачу соціологіи «къ изученію условій и причинъ человѣческой солидарности», г Ковалевскій выразился слишкомъ неопредѣленно. Солидарность способна измѣняться не только въ томъ, такъ сказать, прямолинейномъ направленіи, широкую картину котораго г. Ковалевскій нарисовалъ въ нѣсколь-

кихъ строкахъ (отъ теряющихся въ туманѣ прошлаго родовыхъ отношеній до теряющихся въ туманѣ будущаго очертаній объединеннаго человѣчества). Справедливо, что на этомъ пути есть моменты прогресса, остановки и регресса, «условія и причины» которыхъ подлежатъ изученію. Но въ то же время внутри отдѣльныхъ обществъ исторія отмѣчаетъ процессъ обособленія кастъ, сословій, классовъ, партій, вообще разнаго рода соціальныхъ группъ, при чемъ солидарность членовъ каждой изъ этихъ группъ возрастаетъ, тогда какъ солидарность группъ или убываетъ или, если и возрастаетъ, то принимаетъ совершенно новую форму, новый характеръ. Изъ всего этого слагается такой сложный переплетъ явленій, въ которомъ мудрено разобраться при помощи одного существительнаго «солидарность». Тутъ требуются еще какія-то прилагательныя, опредѣляющія не только районъ дѣйствія солидарности, но и различныя ея степени, и различныя ея формы, различные типы солидарности. Г. Ковалевскій, конечно, не хуже насъ это знаетъ, но почему-то счелъ нужнымъ остановиться на слишкомъ неопредѣленной формулѣ, изъ которой сдѣлалъ слишкомъ простые и узкіе выводы о задачѣ соціологіи. Въ цитируемыхъ имъ трудахъ второго соціологическаго конгресса, равно какъ и въ книгѣ Вормса, мы тоже не находимъ ничего цѣннаго въ смыслѣ уясненія тѣхъ прилагательныхъ, тѣхъ опредѣленій и дополненій, которыхъ требуетъ слово «солидарность». Но Вормсъ неоднократно цитируетъ книгу Дюркгейма «De la division du travail social» (Paris 1893), въ которой мы найдемъ нѣчто въ этомъ отношеніи поучительное.

Книга Дюркгейма интересна во многихъ отношеніяхъ, въ особенности, если ее сопоставить съ его позднѣйшей работой «Les règles de la méthode sociologique». Но я не буду касаться ни основныхъ философскихъ взглядовъ Дюркгейма, ни его логическихъ пріемовъ и остановлюсь только на главномъ предметѣ его первой книги, указанномъ въ самомъ ея заглавіи: «Общественное раздѣленіе труда».

Дюркгеймъ не думаетъ, чтобы слово «солидарность» представляло собою терминъ достаточно опредѣленный для того, чтобы его можно было пустить въ научный оборотъ безъ дальнѣйшей обработки. Онъ различаетъ два вида общественной солидарности, которые называетъ «механическою» и «органическою» солидарностью. Первая устанавливается, благодаря сходству людей между собой, вторая—благодаря ихъ различію. Въ первобытныхъ обществахъ преобладаетъ механическая солидарность: сообщественники мало чѣмъ отличаются другъ отъ друга, объединены тождественными или

сходными идеями, чувствами, стремленіями, занятіями; наконецъ, и въ физическомъ отношеніи ничѣмъ или почти ничѣмъ между собою не различаются. Все это создаетъ сильное и опредѣленное коллективное или общественное сознаніе (consience commune), въ которомъ личное сознаніе совершенно утопаетъ: человѣкъ живетъ исключительно общими чувствами, мыслями, дѣлами, среди которыхъ родится, ростетъ и умираетъ. Въ этомъ поглощеніи личности обществомъ нѣтъ ничего принудительнаго или извнѣ навязаннаго. Полная солидарность складывается сама собой на почвѣ отсутствія личныхъ различій. Спенсеръ ошибается, приписывая эту солидарность военному характеру первобытныхъ обществъ и давленію военныхъ деспотическихъ вождей. Напротивъ, выдѣленіе деспотическаго вождя было первою брешью въ первобытной механической солидарности: этотъ вождь, хотя и опиравшійся на общее сознаніе, уже могъ въ извѣстной степени противопоставлять ему свое личное сознаніе, свои личныя качества и особенности. Съ теченіемъ времени подобныя бреши образуются въ разныхъ направленіяхъ, и механическая солидарность все болѣе и болѣе уступаетъ мѣсто солидарности органической, основанной на различіи между членами общества и на раздѣленіи между ними труда. Узы общаго или коллективнаго сознанія при этомъ разслабляются, но вмѣстѣ съ тѣмъ люди становятся все болѣе и болѣе необходимы другъ другу, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ не выполняетъ всей суммы нужной для ихъ житейскаго обихода работы, и безъ взаимнаго содѣйствія они существовать не могутъ. Возникающая отсюда солидарность, не только не препятствующая проявленію личныхъ особенностей, а, напротивъ, самымъ тѣснымъ образомъ съ ними связанная, рѣзко отличается отъ солидарности механической, которую она постепенно отодвигаетъ на второй планъ. Такъ шла исторія цивилизаціи до сихъ поръ, такъ, по всѣмъ видимостямъ, предстоитъ ей идти и въ будущемъ.

Первобытную солидарность Дюркгеймъ называетъ механическою по аналогіи съ тою связью, которая существуетъ между частицами неорганизованныхъ тѣлъ, не желая, однако, этимъ сказать, что она достигается какими-нибудь механическими или искусственными средствами. Вообще, терминъ «механическая» солидарность имѣетъ для Дюркгейма не столько самостоятельное значеніе, сколько смыслъ противоположности съ «органической» солидарностью. А что касается послѣдней, то по отношенію къ ней Дюркгеймъ, пожалуй, примыкаетъ къ многочисленнымъ органистамъ, которые тоже кладутъ въ главу угла своихъ построеній раздѣленіе труда. Разница, и разница огромная, состоитъ, однако, въ томъ, что Дюркгеймъ не то, что Рене Вормсъ, а дѣйствительно не гоняется за болѣе или

менѣе остроумными аналогіями между органами и функціями организма и органами и функціями общества. Онъ имѣетъ въ виду лишь общую тенденцію соціальнаго развитія по типу развитія органическаго и къ детальнымъ аналогіямъ прибѣгаетъ лишь для нагляднаго поясненія своей мысли.

Это—не единственное достоинство, выгодно выдѣляющее работу Дюркгейма изъ произведеній представителей органической теоріи. Руководимые вѣрно или невѣрно понятой аналогіей съ прогрессивнымъ развитіемъ органической жизни на землѣ, органисты склонны къ слишкомъ оптимистическому взгляду на поступательный ходъ цивилизаціи, и въ большинствѣ случаевъ это для нихъ не результатъ наблюденій, а уже предрѣшенная упомянутой аналогіей. предвзятая мысль. Дюркгеймъ свободенъ отъ этой слабости. Одна изъ главъ его книги называется «Les progrès de la division du travail et ceux du bonheur». Здѣсь доказывается, что прогрессъ цивилизаціи отнюдь не ведетъ за собою возрастанія людского благополучія. Изъ доказательствъ Дюркгейма остановимся только на одномъ, которое самъ онъ называетъ «болѣе объективнымъ» (269). Онъ разсуждаетъ такъ. Единственный фактъ, экспериментально доказывающій, что жизнь вообще есть благо, состоитъ въ томъ, что огромное большинство людей предпочитаетъ жизнь смерти. А это показываетъ, что въ общемъ жизнь даетъ больше счастья, чѣмъ несчастія. Иначе необъяснима была бы привязанность къ жизни и ея устойчивость. Правда, пессимисты объясняютъ эту устойчивость иллюзіями надежды, но вѣдь и надежда не съ неба свалилась, а возникаетъ, какъ и всякое чувство, опытнымъ путемъ. И тамъ. гдѣ она ослабѣваетъ въ своей ли всеобщности или въ своей энергіи, мы должны предположить ослабленіе притягательной силы жизни, потому ли, что увеличиваются причины страданій, или возрастаетъ ихъ сила, или, наконецъ, уменьшается способность сопротивленія имъ. И въ нашемъ распоряженіи есть объективный и подлежащій измѣренію фактъ, который позволяетъ судить объ этихъ колебаніяхъ въ разныхъ обществахъ. Фактъ этотъ — число самоубійствъ. Въ первобытныхъ обществахъ самоубійства крайне рѣдки и при томъ подлежатъ спеціальному объясненію. Если у древнихъ датчанъ или кельтовъ старикъ, доживя до извѣстнаго возраста, убивалъ себя, онъ дѣлалъ это въ силу долга освободить сообщественниковъ отъ лишняго рта; если вдова индуса не переживала своего мужа, галлъ не переживалъ начальника клана, фанатикъ индусъ бросался подъ колеса священной колесницы, то во всѣхъ этихъ случаяхъ самоубійство является результатомъ не отчаянія, не отвращенія отъ жизни, а извѣстныхъ нравственныхъ и религіозныхъ требованій. Настоящія же самоубійства

тѣмъ распространеннѣе, чѣмъ общества цивилизованнѣе. Такъ, на континентѣ Европы они наиболѣе часты во Франціи и Германіи и рѣже встрѣчаются въ Испаніи, Португаліи, Россіи и у южно-славянскихъ народовъ; въ наиболѣе цивилизованныхъ классахъ чаще, чѣмъ въ менѣе цивилизованныхъ; въ городахъ чаще, чѣмъ въ деревняхъ; среди мужчинъ чаще, чѣмъ среди женщинъ. Въ общемъ же число самоубійствъ въ Европѣ, за исключеніемъ Норвегіи, по разсчету Эттингена, съ 1821 по 1880 г. утроилось.

Дюркгеймъ развиваетъ эту тему еще во многихъ другихъ подробностяхъ, чѣмъ и свидѣтельствуетъ, что онъ не принадлежитъ къ числу безусловныхъ хвалителей нашей цивилизаціи, основанной, по его мнѣнію, на раздѣленіи труда. Но вслѣдъ затѣмъ онъ приходитъ къ слѣдующему неожиданному выводу, который я приведу полностью его собственными словами:

«Значитъ ли это, что эти печальные результаты слѣдуетъ поставить на счетъ самому прогрессу и составляющему его условіе раздѣленію труда? Такое мрачное заключеніе не необходимо вытекаетъ изъ изложенныхъ фактовъ. Очень вѣроятно, напротивъ, что эти два ряда фактовъ просто сопутствуютъ другъ другу. Но это сопутствіе свидѣтельствуетъ, что прогрессъ не очень сильно увеличиваетъ наше счастіе, потому что послѣднее убываетъ, и въ очень значительной пропорціи, въ тотъ именно моментъ, когда раздѣленіе труда развивается съ особенною энергіей и быстротой. Если нѣтъ резона думать, что оно дѣйствительно уменьшило нашу способность наслаждаться, то еще менѣе возможно признать, что оно ее значительно усилило Въ концѣ концовъ, все выше сказанное есть лишь частное приложеніе той общей истины, что наслажденіе, какъ и страданіе, — относительны. Нѣтъ абсолютнаго, объективно опредѣлимаго счастія, къ которому люди приближались бы, прогрессируя. Но, какъ, по словамъ Паскаля, счастье мужчины не то, что счастье женщины, такъ и счастье низшихъ обществъ отличается отъ нашего. Однако, одно не выше другого. Измѣрять относительную интенсивность счастія можно лишь силою, съ которою оно привязываетъ насъ къ жизни вообще, къ нашему образу жизни въ частности. Но первобытные народы точно такъ же дорожатъ своимъ существованіемъ, какъ мы своимъ, или даже труднѣе насъ отъ него отказываются. Нѣтъ, слѣдовательно, никакого отношенія (aucun rapport) между измѣненіями счастія и прогрессомъ раздѣленія труда» (274—275).

Какъ уже сказано, я многаго не коснусь въ книгѣ Дюркгейма: ни, напримѣръ, его общихъ взглядовъ на предѣлы и задачи научнаго изслѣдованія, ни того оригинальнаго пріема, при помощи котораго онъ иллюстрируетъ взаимное отношеніе механической и

органической солидарности значеніемъ уголовнаго и гражданскаго права на разныхъ ступеняхъ общественнаго развитія, и т. д. Если бы мы разбирали всю книгу Дюркгейма во всѣхъ ея подробностяхъ, мы нашли бы въ ней много цѣннаго, но много и страннаго. Однако и въ отведенныхъ себѣ границахъ мы нашли уже кое что цѣнное, а кое что и странное. Въ самомъ дѣлѣ, вчитайтесь внимательно въ только что приведенную страницу. Окончательный выводъ, выраженный въ столь рѣшительной формѣ, совсѣмъ не вяжется съ предыдущимъ и просто виситъ на воздухѣ. Это станетъ еще очевиднѣе, если мы обратимъ вниманіе на нѣсколько строкъ, которыя я нарочно приберегалъ для сей минуты. Сравнивая жизнь первобытныхъ людей и нашу, Дюркгеймъ, между прочимъ, пишетъ: «Внося въ жизнь большую подвижность, цивилизація вноситъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ нее и большее однообразіе; ибо она именно обрекаетъ человѣка на постоянную монотонную работу. Дикарь переходитъ отъ одного занятія къ другому, смотря по обстоятельствамъ и нуждѣ; цивилизованный человѣкъ весь отдается одной задачѣ, представляющей тѣмъ менѣе разнообразія, чѣмъ она уже. Организація необходимо требуетъ абсолютной правильности привычекъ, потому что измѣненіе въ отправленіи какого-нибудь органа не можетъ не отразиться на всемъ организмѣ. Съ этой стороны наша жизнь даетъ меньше мѣста неожиданностямъ, въ то же время, какъ, своею большею неустойчивостью, она отнимаетъ у наслажденія часть необходимой для него увѣренности» (265—266).

Если это справедливо, то, спрашивается, какъ же можно утверждать, что между «измѣненіями счастія и прогрессомъ раздѣленія труда нѣтъ никакого отношенія»? Но и независимо отъ этого, обратите вниманіе на до странности быстрые скачки Дюркгейма отъ колебанія и сомнѣнія къ полной увѣренности. Найдя въ количествѣ самоубійствъ, какъ онъ самъ говоритъ, объективное мѣрило благополучія и придя къ нѣкоторымъ «печальнымъ результатамъ», онъ задаетъ себѣ вопросъ,—находятся ли они въ связи съ самимъ прогрессомъ и составляющимъ его условіе раздѣленіемъ труда?— и находитъ, что утвердительный отвѣтъ «не необходимо вытекаетъ изъ изложенныхъ фактовъ». Значитъ, можетъ быть и вытекаетъ, а можетъ быть и нѣтъ. Но немедленно же мы узнаемъ, что «очень вѣроятно» простое «сопутствованіе» (concomitance) этихъ двухъ рядовъ фактовъ. Вѣроятность эта не подтверждается ни единымъ соображеніемъ, мы не получаемъ даже никакого объясненія—что это за «простое сопутствованіе», имѣющее всѣ признаки причинной связи, но не составляющее таковой. И затѣмъ авторъ, переходя къ вопросу объ измѣненіяхъ счастія (variations du bonheur), уже съ рѣшительностью объявляетъ, что между этими измѣненіями и

прогрессомъ раздѣленія труда нѣтъ никакого отношенія. Здѣсь мы имѣемъ не только ничѣмъ не оправданный скачокъ мысли, но и подмѣнъ одного вопроса другимъ. Пусть счастіе дикаря и наше, рѣзко различаясь по своему характеру, могутъ быть совершенно равноцѣнны по своей напряженности: счастливый дикарь по своему такъ же счастливъ, такъ же удовлетворенъ, какъ по своему удовлетворенъ счастливый цивилизованный человѣкъ. Но количество самоубійствъ введено въ наше разсужденіе не затѣмъ, чтобы подтвердить или опровергнуть эту истину: оно свидѣтельствуетъ, что цивилизованные люди именно *по своему* менѣе счастливы, чѣмъ дикари по своему. Надлежало, слѣдовательно, такъ или иначе обсудить фактъ возрастанія количества самоубійствъ совершенно независимо отъ измѣненій напряженности счастія. Но отъ этого-то обсужденія Дюркгеймъ и отступаетъ въ послѣднюю минуту.

Въ интересной работѣ Дюркгейма можно найти не мало дѣйствительныхъ или кажущихся противорѣчій, зависящихъ, какъ сейчасъ увидимъ, именно отъ того, что онъ въ извѣстный моментъ отступаетъ отъ логическаго вывода изъ его собственной исходной точки.

Одно изъ его общихъ положеній состоитъ въ томъ, что въ первобытномъ обществѣ, которое характеризуется имъ, какъ «орда», личное сознаніе совершенно поглощено общимъ сознаніемъ и, можно сказать, просто отсутствуетъ: у членовъ общества, объединеннаго механическою солидарностью, нѣтъ своихъ личныхъ чувствъ, мнѣній, желаній. Но вотъ автору нужно доказать, что органическая солидарность устойчивѣе, нежели механическая, и онъ приводитъ, по Спенсеру, Фюстель де-Куланжу, Вайтцу, такого рода факты: «въ древности, какъ ни необходимо было для человѣка присоединяться къ какой-нибудь группѣ, онъ не обязывался оставаться въ ея составѣ. Калмыки и монголы покидаютъ своихъ вождей, когда находятъ ихъ власть притѣснительною, и переходятъ къ другимъ. Абипоны покидаютъ своего вождя, не спрашивая его позволенія и не вызывая его неудовольствія, и удаляются съ своимъ семействомъ куда имъ угодно». У древнихъ германцевъ «соціальная связь была слишкомъ слаба, чтобы воздерживать людей отъ искушеній бродячей жизни и добычи». «Вайтцъ говоритъ вообще, что даже тамъ, гдѣ сложилась управляющая власть, каждый индивидъ сохраняетъ достаточно независимости, чтобы мгновенно отдѣлиться отъ вождя и возстать противъ него, если онъ для этого достаточно силенъ». И т. п. Эта независимость личности при поглощеніи ея общимъ сознаніемъ — остается не разъясненною.

Другой примѣръ. Заходитъ рѣчь о значеніи раздѣленія труда и спеціализаціи въ научныхъ сферахъ. Дюркгеймъ ссылается на де-Кандоля, который говоритъ, что въ эпоху Лейбница и Ньютона для обозначенія занятій ученаго требовалось обыкновенно двойное или тройное указаніе: астрономъ и физикъ, математикъ, физикъ и астрономъ, или же употреблять общія выраженія: натуралистъ, философъ. Кромѣ того, математики или астрономы бывали въ то же время историками, поэтами. Еще въ концѣ прошлаго вѣка подобныя общія или многостороннія обозначенія были необходимы для такихъ людей, какъ Вольфъ, Галеви, Шарль Бонне. Въ XIX вѣкѣ мы этого уже не встрѣчаемъ или же встрѣчаемъ крайне рѣдко. Отдѣльные ученые не только не обнимаютъ нѣсколькихъ отраслей знанія, но и свою-то отрасль эксплуатируютъ обыкновенно не всю, а часто сосредоточиваются даже на одной какой-нибудь задачѣ. Кромѣ того, профессія ученаго прежде часто соединялась съ профессіей врача, священника, чиновника, воина, а теперь этого уже нѣтъ. и де-Кандоль предвидитъ даже въ ближайшемъ будущемъ окончательное раздѣленіе профессій ученаго и профессора (стр. 3).

Таковы факты, имѣющіе, повидимому, тенденцію и въ будущемъ развиваться въ томъ же направленіи дальнѣйшей спеціализаціи. Но, какъ справедливо говоритъ въ одномъ мѣстѣ Дюркгеймъ, изъ того, что извѣстные факты существуютъ, еще не слѣдуетъ, что они желательны. Это вопросъ особый. И вотъ какъ его Дюркгеймъ разрѣшаетъ: «Было время, когда совершеннымъ человѣкомъ казался намъ такой, который умѣетъ интересоваться всѣмъ, не отдаваясь ничему исключительно, который способенъ все испытать, все понять и соединить въ себѣ все, что есть лучшаго въ цивилизаціи. Нынѣ это производитъ на насъ уже только впечатлѣніе расплывчатости и разнузданности. Чтобы бороться съ природой, нынѣ нужны способности болѣе опредѣленныя, энергія болѣе производительная. Мы хотимъ, чтобы дѣятельность, не растекаясь по широкой поверхности, сосредоточивалась и выигрывала въ глубинѣ то, что она теряетъ въ широтѣ. Мы сторонимся отъ этихъ слишкомъ подвижныхъ талантовъ, которые, отдаваясь разнообразнымъ функціямъ, отказываются избрать спеціальную роль и держаться ея». И т. д. (39).

На нашихъ, можно сказать, глазахъ Дарвинъ, Гельмгольцъ, Спенсеръ и проч. обнимаютъ своимъ умственнымъ окомъ весьма разнообразныя отрасли знанія; Вирховъ, будучи первоклассным ученымъ, играетъ видную общественную роль; зоологъ Поль Беръ и химикъ Бертело состоятъ министрами и т. д. Все это нѣсколько ограничиваетъ фактическую часть разсужденія Дюркгейма, особенно

если принять въ соображеніе нѣкоторыя обобщающія теченія въ самой наукѣ, каковы теорія трансформизма въ біологіи, единства силъ въ физикѣ или такія спеціальныя открытія, какъ спектральный анализъ. Но пойдемъ далѣе за Дюркгеймомъ. На стр. 368 читаемъ: «Мы часто видимъ, что работникъ мѣняетъ свою профессію на сосѣднюю. Когда научная дѣятельность не была специализирована, ученый, обнимавшій почти всю науку, не могъ измѣнить свою профессію, потому что въ такомъ случаѣ ему пришлось бы отказаться отъ науки совсѣмъ. Теперь же часто случается, что онъ посвящаетъ себя послѣдовательно разнымъ наукамъ, переходитъ отъ химіи къ біологіи, отъ физіологіи къ психологіи, отъ психологіи къ соціологіи». А еще далѣе, на стр. 399, находимъ такую оцѣнку спеціализаціи научной дѣятельности: «До сравнительно недавняго времени наука, не будучи очень раздѣлена, могла быть почти вся разрабатываема однимъ и тѣмъ же умомъ. Поэтому живо чувствовалось ея единство. Составляющія ее частныя истины не были ни столь многочислены, ни столь разнородны, чтобы не чувствовалась ихъ связь. Методы, будучи очень общими, мало между собою отличались, и можно было видѣть тотъ единый корень, изъ котораго они разростались. Но по мѣрѣ того, какъ спеціализація внѣдрялась въ научную работу, каждый ученый все болѣе и болѣе замыкался не только въ отдѣльную науку, но и въ спеціальный кругъ задачъ. Уже О. Контъ жаловался... (слѣдуетъ цитата изъ Cours de philosophie positive) ...Наука, раздробленная на множество частныхъ изученій, перестаетъ быть единымъ солидарнымъ цѣлымъ. Это отсутствіе солидарности и единства наилучше выражается столь распространенною теоріею, въ силу которой каждая отдѣльная наука имѣетъ свою безусловную цѣнность, и ученый долженъ отдаться спеціальному изслѣдованію, не заботясь о томъ, чему оно служитъ. Это раздѣленіе умственнаго труда, говоритъ Шеффле, заставляетъ серьезно опасаться, что новый александринизмъ еще разъ приведетъ къ гибели всей науки».

Чтобы разобраться во всѣхъ этихъ, отчасти дѣйствительныхъ, отчасти кажущихся, противорѣчіяхъ и во всякомъ случаѣ неясностяхъ, слѣдуетъ обратиться къ исходной точкѣ Дюркгейма. Она та же, что и у всѣхъ органистовъ. Подобно всѣмъ имъ, онъ настаиваетъ на гораздо болѣе широкомъ значеніи раздѣленія труда, чѣмъ какое ему придано было экономистами, и хотя мимоходомъ, но все-таки поминаетъ Вольфа, Бера и Мильнъ-Эдвардса, со времени которыхъ раздѣленіе труда оказывается примѣнимымъ къ жизни, какъ обществъ, такъ и организмовъ. Но, какъ уже сказано, Дюркгеймъ не ищетъ подробныхъ параллелей и аналогій между

обществомъ и организмомъ, а имѣетъ въ виду лишь общее теченіе исторіи обществъ по типу органическаго развитія. Онъ избѣгаетъ такимъ образомъ той двусмысленной и совершенно произвольной опредѣленности, съ какою Спенсеръ, Лиліенфельдъ, Вормсъ и проч. развиваютъ свои положенія, каждый на свой ладъ. Далѣе, простое изученіе хода историческаго развитія не удовлетворяетъ Дюркгейма. Строго различая теоретическія и практическія задачи и полагая, что изученіе дѣйствительности должно предшествовать выработкѣ правилъ поведенія по отношенію къ этой дѣйствительности, Дюркгеймъ говоритъ, однако: «мы считали бы наше изслѣдованіе не стоющимъ и одного часа работы, если бы оно имѣло только умозрительный интересъ» (Préface, III). И далѣе: «изъ того, что нѣчто неизбѣжно, еще не слѣдуетъ, что оно нравственно» (Introduction, 9). Такимъ образомъ, къ чему бы его ни привело фактическое изученіе дѣйствительности, онъ считаетъ себя вправѣ противопоставить ей свое нравственное сознаніе и оцѣнить ее не только объективно, какъ рядъ причинно связанныхъ фактовъ, но и субъективно, во имя извѣстныхъ нравственно-политическихъ принциповъ. И такъ какъ предисловіе или введеніе есть, собственно говоря, послѣсловіе, то мы и находимъ во введеніи прямую постановку вопроса объ этихъ принципахъ. Упомянувъ о работахъ Вольфа, Бера и Мильнъ-Эдвардса, Дюркгеймъ говоритъ, — что если, благодаря этимъ работамъ, законъ раздѣленія труда оказывается царящимъ, какъ въ общественной, такъ и въ органической жизни, то передъ нами стоитъ дилемма, — «отдаваться ли этому теченію или противодѣйствовать ему? котораго изъ этихъ направленій слѣдуетъ желать? Должны ли мы стремиться стать законченнымъ и полнымъ существомъ, себѣ довлѣющимъ цѣлымъ, или, напротивъ того, быть только частью цѣлаго, органомъ организма? Словомъ, есть ли раздѣленіе труда не только законъ природы, но и правило нашего поведенія, и если да, то по какой причинѣ и въ какой мѣрѣ?» (4).

Такая постановка вопроса отнюдь не свойственна. по крайней мѣрѣ, большинству органистовъ: обыкновенно они объ немъ не задумываются, просто не задаютъ его себѣ. Не видно, однако, почему онъ возникаетъ у Дюркгейма. Онъ у него ничѣмъ не оправданъ, и за этой неоправданностью кроется опять нѣчто общее всѣмъ органистамъ. Съ работами Вольфа, Бера и Мильнъ-Эдвардса Дюркгеймъ справедливо связываетъ ту истину, что «организмъ занимаетъ тѣмъ высшее мѣсто на зоологической лѣстницѣ, чѣмъ болѣе спеціализованы его функціи». Но онъ слишкомъ ужъ бѣгло напоминаетъ эту истину, не останавливаясь на ней въ цитированномъ мѣстѣ и не возвращаясь къ ней на всемъ протяженіи книги. А между тѣмъ

только она, надлежащимъ образомъ развитая, и можетъ оправдать поставленный имъ вопросъ. Работами упомянутыхъ ученыхъ установленъ законъ такъ называемаго физіологическаго раздѣленія труда, въ силу котораго организмъ прогрессируетъ, переходя отъ простого къ сложному, становясь въ болѣе многостороннія отношенія къ окружающему міру. Обратный процессъ есть явленіе регрессивное, а такъ какъ организмъ, приближаясь къ состоянію органа, не спеціализируя своихъ функцій, а самъ спеціализируясь, утрачиваетъ свою многосторонность, то общественное раздѣленіе труда не только не составляетъ какъ бы продолженія раздѣленія труда физіологическаго, какъ принимаютъ всѣ органисты, но, напротивъ, эти два процесса прямо антагонистичны. Этотъ столь очевидный антагонизмъ не обращаетъ на себя вниманія органистовъ, соблазняемыхъ тождествомъ словъ: раздѣленіе труда—въ двухъ различныхъ сферахъ. Ускользаетъ онъ и отъ вниманія Дюркгейма, хотя помимо этого антагонизма виситъ на воздухѣ дилемма Дюркгейма: быть ли многостороннимъ, полнымъ, себѣ довлѣющимъ цѣлымъ или, напротивъ, одностороннимъ органомъ организма?

Какъ бы то ни было, дилемма поставлена. Мы уже отчасти видѣли, какъ ее рѣшаетъ Дюркгеймъ: дальнѣйшее теченіе исторіи по типу органическаго развитія, то есть дальнѣйшее общественное раздѣленіе труда, во-первыхъ, неизбѣжно, во-вторыхъ, и желательно, и принципъ этотъ долженъ лечь въ основаніе современныхъ нравственно-политическихъ доктринъ, ибо раздѣленіе труда обусловливаетъ собою солидарность членовъ общества. Развитію и доказательству этихъ положеній и посвящена книга. Но при этомъ первый моментъ дилеммы—«быть ли законченнымъ и полнымъ существомъ, себѣ довлѣющимъ цѣлымъ» — какъ-то проходитъ сквозь пальцы. Лишь изрѣдка и мимоходомъ замѣчаетъ Дюркгеймъ, что въ этомъ идеалѣ есть нѣчто анти-соціальное, противное принципу солидарности и потому даже безнравственное. Конечно, такой оцѣнкѣ способствуетъ уже самая формулировка отрицаемаго авторомъ идеала: «себѣ довлѣющее цѣлое» звучитъ дѣйствительно анти-соціально. Но тотъ же идеалъ можетъ быть формулированъ совершенно иначе. Въ составъ «законченнаго и полнаго существованія» можетъ входить сочувственное страданіе за всѣхъ страдающихъ и обязательное отношеніе къ другимъ, какъ къ «себѣ довлѣющимъ цѣлымъ», имѣющимъ право на всѣ радости жизни. И это уже не будетъ противорѣчить принципу солидарности. Да и самъ Дюркгеймъ не признаетъ раздѣленіе труда единственнымъ источникомъ солидарности: кромѣ органической солидарности, основанной на раздѣленіи труда и на различіяхъ между людьми, онъ знаетъ еще механическую соли-

дарность, основанную на сходствѣ между людьми. И эта солидарность, какъ доказываетъ относительно первобытныхъ обществъ Дюркгеймъ даже съ нѣкоторою горячностью, напримѣръ, на стр. 215, въ качествѣ нравственнаго мотива, ничуть не слабѣе солидарности органической. Но дѣло въ томъ, что солидарность, которую Дюркгейму угодно называть механическою, свойственна отнюдь не только первобытнымъ обществамъ. Онъ и самъ отчасти признаетъ это, хотя и утверждаетъ, что органическая солидарность постепенно отодвигаетъ механическую на задній планъ.

IV *).

Еще о Дюркгеймѣ и его теоріи «общественнаго раздѣленія труда».

Начиная съ Адама Смита, а пожалуй, и съ гораздо болѣе ранняго времени, о раздѣленіи труда накопилась цѣлая литература. И нельзя сказать, чтобы вкладчики въ эту литературу только повторяли другъ друга, изслѣдуя возникновеніе этого многозначительнаго явленія, ходъ его развитія, его вліяніе на различныя стороны жизни. Напротивъ, не говоря уже о разногласіи относительно вліянія раздѣленія труда на личную и общественную жизнь, означенная литература время отъ времени обогащалась новыми точками зрѣнія, новыми пріемами изслѣдованія, долженствовавшими, повидимому, окончательно и всесторонне выяснить вопросъ. И тѣмъ не менѣе, онъ остается и доселѣ достаточно запутаннымъ, какъ можно судить по послѣднему значительному произведенію, ему посвященному,—по книгѣ Дюркгейма.

На упомянутомъ въ прошлый разъ второмъ конгрессѣ международнаго соціологическаго института читался, между прочимъ, докладъ Мечислава Гольберга «Происхожденіе расъ и раздѣленіе труда». Авторъ представляетъ себѣ первыя ступени человѣческаго общежитія въ видѣ разбросанныхъ небольшихъ группъ или «расъ», вполнѣ приспособившихся къ мѣстнымъ условіямъ жизни. Раздѣленіе труда въ каждой такой отдѣльной группѣ не существуетъ: всѣ ея члены ведутъ одинаковый образъ жизни, одинаково питаются, занимаются однимъ и тѣмъ же дѣломъ, имѣютъ одни и тѣ же понятія о мірѣ, взаимныхъ отношеніяхъ и проч. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вся группа чрезвычайно спеціализована сообразно условіямъ мѣстности: близость, напримѣръ, рѣки или моря строго опредѣляетъ собою занятія и весь образъ жизни всѣхъ членовъ данной группы, тогда какъ гористая мѣстность или лѣса, среди которыхъ прихо-

*) Май 1897.

дится жить другой группѣ, накладываютъ на нее совершенно иную, но опять-таки для всѣхъ ея членовъ однородную спеціальную печать. Но вотъ при извѣстныхъ или, точнѣе, неизвѣстныхъ обстоятельствахъ происходитъ столкновеніе двухъ или нѣсколькихъ такихъ группъ. Оно можетъ быть мирное, и тогда группы сливаются въ одно общество, обмѣниваясь продуктами привычнаго каждой изъ нихъ спеціальнаго труда; оно можетъ быть враждебное, насильственное, и тогда трудъ раздѣляется между побѣдителями и побѣжденными, опять-таки согласно тому, къ чему приспособились тѣ и другіе предварительно. Процессъ идетъ тѣмъ же порядкомъ и дальше, объединяя все большее число отдѣльныхъ, спеціализированныхъ условіями мѣстности группъ. Но при этомъ «естественное» раздѣленіе труда, то есть какъ бы навязанное различіемъ мѣстныхъ условій, постепенно осложняется «соціальнымъ» раздѣленіемъ труда. Такъ, скрещиваніе расъ выдвигаетъ одну многостороннюю расу, воплощающую въ себѣ всѣ спеціальныя приспособленія первоначальныхъ группъ и образующую центръ новой единицы — націи. Такая центральная, господствующая раса можетъ образоваться и помимо скрещиванія, благодаря мѣстнымъ условіямъ, особенно благопріятнымъ по сравненію съ другими. Далѣе, рабство, хотя и находится въ нѣкоторой зависимости отъ мѣстныхъ условій, среди которыхъ воспитались рабы и рабовладѣльцы, есть уже факторъ соціальный, самостоятельно распредѣляющій трудъ между обѣими группами. Обмѣнъ продуктовъ труда, въ который вступаютъ различныя расы, въ свою очередь вноситъ въ ихъ дотолѣ неподвижный строй жизни новыя струи. И, такимъ образомъ, постепенно стираются чисто расовыя отличія, а вмѣстѣ съ ними и опредѣляемыя мѣстными условіями формы раздѣленія труда, уступая мѣсто новымъ, самостоятельнымъ и болѣе гибкимъ формамъ.

Любопытно, что Дюркгейму приходится имѣть дѣло съ тѣмъ, что Гольбергъ называетъ «естественнымъ» раздѣленіемъ труда, при обсужденіи картины, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ прямо противоположной той, которую нарисовалъ Гольбергъ. Спенсеръ представляетъ себѣ возникновеніе раздѣленія труда въ такомъ видѣ, что группа, сильно размножившаяся, занимаетъ большое пространство земли, разнообразныя условія которой, почвенныя и климатическія, заставляютъ членовъ группы спеціализироваться. Дюркгеймъ возражаетъ на это (291): «Безъ сомнѣнія, внѣшнія условія, въ которыхъ живутъ люди, налагаютъ на нихъ свою печать и своимъ разнообразіемъ дифференцируютъ ихъ. Безъ сомнѣнія, это разнообразіе имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ раздѣленію труда, но достаточно ли оно для того, чтобы его создать? Понятно, что, сообразно почвеннымъ и климатическимъ условіямъ, жители занимаются въ одномъ

мѣстѣ хлѣбопашествомъ, а въ другомъ—скотоводствомъ (примѣры Спенсера). Но функціональныя различія не всегда сводятся къ такимъ простымъ оттѣнкамъ, какъ въ этихъ примѣрахъ. Они иногда столь рѣзки, что индивиды, между которыми раздѣленъ трудъ, представляютъ собою какъ бы различные и даже противоположные (opposées) виды. Они точно вступаютъ въ заговоръ, чтобы отдалиться другъ отъ друга, какъ только возможно. Есть ли сходство между мыслящимъ мозгомъ и переваривающимъ желудкомъ? Точно также, что общаго между поэтомъ, всецѣло преданнымъ своей мечтѣ, ученымъ, погруженнымъ въ свои изслѣдованія, рабочимъ, всю жизнь вытачивающимъ булавочныя головки, земледѣльцемъ за плугомъ, купцомъ у конторки? Какъ бы ни было велико разнообразіе внѣшнихъ условій, оно не представляетъ различій, соотвѣтствующихъ столь рѣзко выраженнымъ контрастамъ».

Если бы это разсужденіе было предъявлено Гольбергу, онъ отвѣтилъ бы, конечно, что «естественное» раздѣленіе труда, объясняемое различіемъ мѣстныхъ условій, обязательно лишь для первыхъ шаговъ общежитія. Но насъ теперь не это занимаетъ. Докладъ свой Гольбергъ иллюстрировалъ кое-какими этнографическими и историческими данными, весьма, однако, скудными и довольно произвольно истолкованными. Такъ, напримѣръ, желая показать присущую первобытнымъ людямъ зависимость отъ условій мѣстности, ихъ полную приспособленность къ даннымъ условіямъ и трудную приспособляемость къ географическимъ перемѣнамъ, онъ указываетъ на нѣкоторыхъ дикарей, которые, будучи уведены, въ качествѣ рабовъ, въ чужія мѣста, тамъ быстро хирѣютъ. Для него это объясняется исключительно перемѣною мѣста жительства, а самое рабство тутъ какъ будто не при чемъ. Впрочемъ, Гольбергъ самъ сознаетъ трудность фактическаго обоснованія его гипотезы и предоставляетъ это дѣло будущему; потому что, дескать, намъ, «благодаря нашему нѣсколько романтическому соціологическому воспитанію», трудно возстановить подробности первобытной исторіи. Мы склонны «драматизировать исторію» и готовы видѣть въ описанномъ имъ процессѣ преобладаніе воинственныхъ, насильственныхъ комбинацій. По мнѣнію Гольберга, гораздо вѣроятнѣе, что сліяніе различныхъ группъ или «расъ» на зарѣ исторіи происходило часто мирнымъ путемъ.

Быть можетъ, мы и въ самомъ дѣлѣ склонны преувеличивать роль войны и насилія въ первобытной исторіи, но достовѣрно, однако, что онѣ извѣстную роль играютъ. И когда побѣдители не простымъ вихремъ проносятся по территоріи побѣжденныхъ, а такъ или иначе вступаютъ съ ними въ постоянныя отношенія,—уводя ли ихъ съ собой въ качествѣ рабовъ, или осѣдая въ ихъ странѣ,—

между побѣдителями и побѣжденными устанавливается извѣстное раздѣленіе труда. Этотъ видъ раздѣленія труда или этотъ способъ его происхожденія Дюркгеймъ не удостоиваетъ своимъ вниманіемъ, быть можетъ, затрудняясь привести его въ связь съ идеей раздѣленія труда, какъ источника и мѣрила солидарности.

Пойдемъ дальше. Ту форму общежитія, въ которой преобладаетъ «механическая» солидарность или солидарность на основаніи сходства между членами группы, Дюркгеймъ называетъ «ассоціаціей», а ту, въ которой достаточно развита солидарность «органическая», основанная на различіяхъ между людьми,—«коопераціей». Эта совершенно произвольная терминологія внушаетъ странную мысль, что въ обществахъ, связанныхъ механическою солидарностью, люди какъ будто ничего сообща не дѣлаютъ, а только сожительствуютъ (для характеристики этой формы общежитія Дюркгеймъ неоднократно употребляетъ глаголъ juxtoposer); и сотрудничество, «кооперація» начинается лишь при органической солидарности или раздѣленіи труда. Но это, конечно, только неудачная терминологія, каковая неудачность усугубляется, однако, слѣдующимъ опредѣленіемъ Дюркгейма: «Сотрудничать (coopérer) значитъ участвовать въ общемъ дѣлѣ. Если это послѣднее распадается на нѣсколько сходныхъ задачъ, взаимно необходимыхъ, то мы имѣемъ простое раздѣленіе труда или раздѣленіе труда первой степени; если же онѣ различны, то получается сложное раздѣленіе труда, спеціализація въ настоящемъ смыслѣ слова» (132—133). Опредѣленіе это брошено мимоходомъ, по поводу частнаго вопроса (о договорахъ), и затѣмъ въ книгѣ мы уже нигдѣ не встрѣчаемъ различенія простого и сложнаго раздѣленія труда, а вездѣ рѣчь идетъ просто о раздѣленіи труда. А такъ какъ раздѣленіе труда составляетъ основу органической солидарности, то получается какъ бы подтвержденіе странной мысли объ отсутствіи сотрудничества при механической солидарности. Здѣсь, очевидно, есть какое-то недоразумѣніе.

Приведенное опредѣленіе напоминаетъ одну любопытную страницу изъ исторіи принципа раздѣленія труда, страницу, которую, напримѣръ, Дж. Ст. Милль считалъ очень важною. Онъ говоритъ (Основанія политической экономіи, т. I, гл. VIII) о «сотрудничествѣ или сочетаніи труда»: «Достаточное вниманіе политико-экономовъ было до недавняго времени обращено только на одну часть этого великаго пособія производству, на такъ называемое раздѣленіе труда; она, дѣйствительно, заслуживаетъ величайшаго вниманія, но изъ-за нея забывали о другихъ случаяхъ и проявленіяхъ этого многообъемлющаго закона. Уэкфильдъ, сколько я знаю, первый замѣтилъ, что одна часть предмета ошибочно принималась тутъ за цѣлый предметъ, что изъ этого возникали вредныя послѣдствія и что подъ

принципомъ раздѣленія труда лежитъ другой, обнимающій его собою, болѣе основной принципъ. Онъ показываетъ, что сотрудничество бываетъ двухъ разныхъ родовъ: во-первыхъ, такое, по которому разныя лица помогаютъ другъ другу въ одной работѣ; во-вторыхъ, такое, по которому разныя лица помогаютъ другъ другу, занимаясь разными трудами. Первое можетъ быть названо простымъ сотрудничествомъ, второе сложнымъ—или собственно раздѣленіемъ труда. «Различіе между простымъ и сложнымъ сотрудничествомъ очень важно, говоритъ Уэкфильдъ. Въ простомъ человѣкъ всегда сознаетъ, что онъ сотрудничаетъ съ другими, взаимное содѣйствіе тутъ очевидно самому невѣжественному и тупому взгляду. Въ сложномъ сотрудничествѣ только очень немногіе изъ множества занятыхъ имъ людей хотя нѣсколько сознаютъ, что содѣйствуютъ другъ другу».—Не смотря, однако на эту важность простого сотрудничества, оно продолжаетъ очень мало занимать экономистовъ и только отмѣчается ими, какъ одна изъ формъ сочетанія труда, хотя иногда, какъ, напримѣръ, въ извѣстномъ руководствѣ Шенберга, ему усваивается даже общее названіе «кооперація». Это понятно. Въ качествѣ «великаго пособія производству», простое сотрудничество само собою разумѣется, но его роль меркнетъ передъ все растущимъ значеніемъ раздѣленія труда. Въ исторіи техники производства оно представляетъ собой элементъ, почти неподвижный: каменьщики, складывающіе стѣны современнаго зданія, находятся другъ къ другу въ такихъ же отношеніяхъ простого сотрудничества, какъ и каменьщики временъ фараоновъ. Если, однако, этимъ достаточно объясняется малое вниманіе экономистовъ къ принципу простого сотрудничества, то положеніе Дюркгейма совсѣмъ иное. Онъ не экономистъ, а соціологъ, и раздѣленіе труда для него не только «великое пособіе производству». Онъ неоднократно говоритъ о томъ, что спеціальная экономическая точка зрѣнія не обнимаетъ собою всего великаго значенія раздѣленія труда, и кладетъ этотъ принципъ, подобно многимъ соціологамъ, въ основаніе общежитія вообще, а въ частности видитъ въ немъ основу современной этики. Съ этой болѣе широкой точки зрѣнія иначе должна быть освѣщена и роль простого сотрудничества. Какова бы ни была эта роль въ спеціально экономическомъ отношеніи, значеніе простого сотрудничества, какъ соціологическаго фактора, должно быть изучено самостоятельно. И Дюркгеймъ самъ понимаетъ это, когда противопоставляетъ органической солидарности, основанной на различіяхъ,—механическую, основанную на сходствахъ. Различіямъ соотвѣтствуетъ раздѣленіе труда, сходствамъ—простое сотрудничество, которое, слѣдовательно, въ такой же, если не въ большей мѣрѣ, какъ и раздѣленіе труда, становится источникомъ и мѣриломъ солидарности. Но Дюркгеймъ всячески старается (я не хочу этимъ ска-

зать, что онъ дѣйствуетъ злонамѣренно) затушевать значеніе простого сотрудничества. Онъ не отрицаетъ этого значенія. Напротивъ, какъ уже въ прошлый разъ сказано, онъ иногда чрезвычайно яркими красками изображаетъ интенсивность механической солидарности. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ то назоветъ простое сотрудничество «простымъ раздѣленіемъ труда»; то, противопоставленіемъ терминовъ «ассоціація» и «кооперація», внушитъ читателю странную мысль объ отсутствіи всякаго сотрудничества въ обществахъ, объединенныхъ механическою солидарностью; то, наконецъ, доказываетъ, что механическая солидарность, основанная на простомъ сотрудничествѣ, убываетъ въ исторіи, вслѣдствіе чего единственнымъ источникомъ и мѣриломъ солидарности слѣдуетъ признать раздѣленіе труда. Надо, впрочемъ, замѣтить, что Дюркгеймъ иногда оговаривается, указывая на ограниченія этого положенія, которыя мы разсмотримъ ниже.

Простое сотрудничество отличается отъ раздѣленія труда еще тѣмъ, что не вызываетъ тѣхъ споровъ о его выгодныхъ и невыгодныхъ сторонахъ, какіе ведутся изъ-за раздѣленія труда. Собственно въ экономической литературѣ въ настоящее время этихъ споровъ, можно сказать, нѣтъ, и едва ли найдется хоть одинъ экономистъ, который отрицалъ бы тѣневыя стороны раздѣленія труда, указанныя еще Ад. Смитомъ. Рѣчь можетъ идти лишь о размѣрахъ зла и о возможности его компенсаціи. Не то въ соціологіи, гдѣ мы встрѣчаемъ безусловныхъ панегиристовъ раздѣленія труда, въ чемъ имъ способствуетъ унаслѣдованное еще отъ экономистовъ недостаточное различеніе раздѣленія труда техническаго и общественнаго. До какой степени грѣшенъ этимъ грѣхомъ Дюркгеймъ, будетъ видно изъ слѣдующаго примѣра. Говоря о томъ, что «общее сознаніе» (conscience commune) часто вторгается вреднымъ или вообще задерживающимъ элементомъ въ поступательный ходъ развитія раздѣленія труда, онъ замѣчаетъ: «въ Греціи, въ Римѣ, промышленность и торговля были презрѣнными занятіями; у Кабиловъ нѣкоторыя ремесла, какъ мясничество, производство обуви и проч., порицаются общественнымъ мнѣніемъ, и потому спеціализація не можетъ развиваться въ этихъ направленіяхъ. Наконецъ, и у народовъ съ болѣе развитой экономическою жизнью, напримѣръ, у насъ во времена цеховъ и корпорацій, трудъ былъ такъ регламентированъ, что раздѣленіе труда не могло прогрессировать. Тамъ, гдѣ всѣ обязаны производить одинаковымъ способомъ, индивидуальныя варіаціи невозможны» (315—316). Нѣтъ никакого сомнѣнія, что какъ въ классическомъ мірѣ, такъ и въ средніе вѣка *техническое* раздѣленіе труда было сравнительно слабо развито, то есть процессы производства далеко не распадались на столько отдѣльныхъ мелкихъ операцій, какъ въ наше время. Но *общественное* раздѣленіе труда было, на-

противъ, чрезвычайно сильно развито, что видно изъ примѣровъ самого Дюркгейма. Если извѣстныя отрасли дѣятельности были въ Греціи и Римѣ презираемы, то онѣ все-таки считались необходимыми и лишь предоставлялись, именно въ силу общественнаго раздѣленія труда, низшимъ классамъ. Если цеховой строй регламентировалъ трудъ до невозможности какого бы то ни было прогресса въ производствѣ, то онъ же установилъ рѣзкое общественное раздѣленіе труда между представителями даже самыхъ близкихъ между собою отраслей производства, а внутри цеховъ осуществилъ опять-таки общественное раздѣленіе труда между мастерами, подмастерьями, хозяевами, рабочими. Вообще техническое и общественное раздѣленіе труда должны быть строго различаемы, а нашъ авторъ книги, посвященной спеціально «Общественному раздѣленію труда», даже не упоминаетъ объ этомъ. Когда говорятъ объ общественномъ раздѣленіи труда, то дѣло не въ тѣхъ 18-и операціяхъ, на которыхъ въ классическомъ примѣрѣ Ад. Смита распадается процессъ производства булавокъ, а въ томъ,—обреченъ или не обреченъ человѣкъ всю жизнь производить, исключительно, булавки

Переходимъ къ послѣднему вкладу въ литературу раздѣленія труда, къ упомянутымъ уже въ прошлый разъ работамъ Бера и Мильнъ Эдвардса. Для нѣкоторыхъ этотъ вкладъ не стоилъ никакого вниманія, представляя собою какъ бы простой переносъ соціологическаго термина «раздѣленіе труда» въ область біологіи, до которой, дескать, соціологу мало дѣла. Для другихъ, напротивъ, это было (и остается) настоящимъ откровеніемъ, новой эрой въ наукѣ. Съ легкой руки Спенсера началась настоящая оргія параллелей и аналогій между физіологическимъ и общественнымъ раздѣленіемъ труда, между организмомъ и обществомъ, какъ въ ихъ статикѣ, такъ и въ ихъ динамикѣ.

Благосклонный читатель избавитъ меня отъ обсужденія этой якобы научной лавины, которой я въ свое время посвятилъ много, быть можетъ, слишкомъ много страницъ. Для насъ здѣсь важенъ только результатъ, а онъ состоитъ въ томъ, что каждая организованная единица, будь то простая клѣтка, органъ, недѣлимое въ обычномъ смыслѣ слова, колонія животныхъ, общество, и въ частности семья, родъ, федерація родовъ, нація, государство—имѣетъ тенденцію объединяться, сосредоточиваться, крѣпнуть, подчиняя себѣ свои составныя части путемъ раздѣленія между ними труда, тѣмъ самымъ предоставляя имъ роль своихъ служебныхъ органовъ. Окидывая мысленнымъ взглядомъ всю эту громадную картину жизни, вѣчно движущейся, вѣчно кипящей встрѣчными и поперечными, большими и малыми волнами, мы будемъ поражены ея крайнею сложностью и пестротою, въ подробностяхъ которой не легко ра-

зобраться. Здѣсь даже не на первый взглядъ все безпорядочно, такъ какъ разнообразнѣйшія, какъ въ смыслѣ ихъ отправныхъ точекъ, такъ и въ смыслѣ силы, теченія направляются по линіямъ наименьшаго сопротивленія, то отстаивая свое самостоятельное существованіе, то уступая, вполнѣ или отчасти, теченію болѣе сильному. Можно только съ увѣренностью сказать, что на всемъ необъятномъ полѣ жизни идетъ неустанная борьба за индивидуальность, а орудіемъ этой борьбы служитъ раздѣленіе труда *). Но изъ этого ни въ объективномъ, ни въ субъективномъ смыслѣ не вытекаютъ тѣ выводы, къ которымъ приходятъ представители органической теоріи общества. Дѣло въ томъ, что каждая организованная единица пользуется орудіемъ раздѣленія труда въ своихъ собственныхъ интересахъ и видахъ, а эти интересы и виды отнюдь не тождественны для различныхъ ступеней индивидуальности, для различныхъ организованныхъ единицъ. Въ частности физіологическое раздѣленіе труда и общественное не только не тождественны, а прямо противоположны по своимъ результатамъ.

Этой противоположности, составляющей чисто объективную научную истину, не хотятъ знать всѣ органисты. Не хочетъ ея знать и Дюркгеймъ. Но именно ея субъективный отзвукъ и слышится въ его дилеммѣ: «Котораго изъ двухъ направленій слѣдуетъ желать? Должны-ли мы стремиться стать законченнымъ и полнымъ существомъ, себѣ довлѣющимъ цѣлымъ, или, напротивъ того, быть только частью цѣлаго, органомъ организма? Словомъ, есть ли раздѣленіе труда не только законъ природы, но и правило нашего поведенія, и если да, то по какой причинѣ и въ какой мѣрѣ?» Самая формулировка послѣдняго вопроса указываетъ на неясность исходной точки. Признавъ «правиломъ нашего поведенія» раздѣленіе труда, мы еще не разрѣшаемъ нашей дилеммы, ибо остается еще вопросъ: *какое* раздѣленіе труда избрали мы правиломъ своего поведенія? если физіологическое, то нашимъ идеаломъ станетъ первый членъ дилеммы, а если общественное, то второй. А между тѣмъ, Дюркгейму кажется, что онъ поставилъ свой вопросъ въ формѣ вполнѣ опредѣленной. Это одинъ изъ многихъ примѣровъ той путаницы, которая происходитъ при оперированіи съ понятіемъ раздѣленія труда, какъ чего-то всегда себѣ равнаго и не нуждающагося ни въ какихъ опредѣленіяхъ и дополненіяхъ.

---

*) Пользуюсь случаемъ для одного замѣчанія, отчасти личнаго свойства. Мнѣ извѣстно, что изъ моихъ статей по вопросу о раздѣленіи труда наибольшимъ вниманіемъ интересующихся этимъ вопросомъ пользуется статья «Что такое прогрессъ?» Я просилъ бы имѣть въ виду, что позднѣйшая статья «Борьба за индивидуальность», и послѣднія (начиная съ IX) главы статьи «Патологическая магія»—содержатъ въ себѣ болѣе полное изложеніе теоріи.

Одинъ только разъ (въ началѣ V главы) упоминаетъ Дюркгеймъ о разницѣ между физіологическимъ и общественнымъ раздѣленіемъ труда, но только о разницѣ, а не объ антагонизмѣ ихъ. А разница состоитъ въ слѣдующемъ: «Въ организмѣ каждая клѣтка имѣетъ свою опредѣленную и неизмѣнную роль. Въ обществѣ задачи распредѣлены не съ такою неподвижностью. Даже тамъ, гдѣ кадры организаціи наиболѣе рѣзки, индивидъ можетъ съ нѣкоторою свободою двигаться въ предѣлахъ предназначеннаго ему судьбою. Въ самой Индіи функціи, предоставленныя каждой кастѣ, были достаточно общи, чтобы оставлять мѣсто для извѣстнаго выбора. Во всякой странѣ, если непріятель овладѣлъ столицей, то есть самымъ мозгомъ націи, соціальная жизнь не прекращается, и по прошествіи сравнительно короткаго времени находится другой городъ, повидимому, не приготовленный, но способный исполнять сложную функцію столицы».

На это приверженецъ органической теоріи общества отвѣчалъ бы, какъ и выразился одинъ изъ нихъ, что общественность есть лишь начало организаціи, что общество есть незавершенный организмъ. Цитированный мною въ прошлый разъ г. Иванцовъ говоритъ: «Общественные организмы человѣка должны считаться только что возникающими; они далеко не достигли даже той степени совершенства, какой достигли, напримѣръ, колоніи сифонофоръ» («Понятіе организма», въ «Сборникѣ въ пользу недостаточныхъ студентовъ Московскаго университета», стр. 82). Лишь въ низшихъ организмахъ, недостаточно поработившихъ свои составныя части, недостаточно приспособившихъ ихъ къ спеціальнымъ служебнымъ функціямъ, возможны перемѣщенія, указанныя Дюркгеймомъ. Человѣческому обществу еще предстоитъ совершенствоваться въ смыслѣ окончательнаго приспособленія своихъ органовъ къ опредѣленнымъ отправленіямъ.

Дюркгеймъ предвидѣлъ это возраженіе и противопоставляетъ ему такого рода факты, что и въ высшихъ организмахъ возможны замѣщенія однихъ органовъ другими. Онъ цитируетъ Вундта «Физіологическую психологію»: «Непорядки, происходящіе отъ удаленія нѣкоторыхъ частей мозговой коры, часто по прошествіи нѣкотораго времени исчезаютъ. Это можно объяснить только предположеніемъ, что исчезнувшіе элементы замѣщаются другими, а это значитъ, что замѣстители приспособились къ новымъ для нихъ функціямъ... Элементъ, производящій при нормальныхъ условіяхъ зрительное ощущеніе, становится при измѣнившихся обстоятельствахъ проводникомъ ощущеній осязательныхъ, мускульныхъ или двигательной иннерваціи». И т. д. Дюркгеймъ упускаетъ изъ вида, что здѣсь мозговые элементы замѣщаются мозговыми же, нервные—нервными

же. Если же признать за этими замѣщеніями болѣе общее значеніе. то ими подрываются основные взгляды Дюркгейма. Зачѣмъ же онъ насъ увѣрялъ, напримѣръ, что «мы сторонимся отъ слишкомъ подвижныхъ талантовъ, которые, отдаваясь разнообразнымъ функціямъ, отказываются избрать спеціальную роль и держаться ея», и т. п.

Дюркгеймъ допускаетъ, что общественное раздѣленіе труда имѣетъ въ дѣйствительности извѣстныя ограниченія и требуетъ ихъ въ принципѣ. Поэтому онъ посвящаетъ часть своего сочиненія разсмотрѣнію анормальныхъ формъ раздѣленія труда. На первомъ мѣстѣ стоятъ формы «аномическія», то есть ничѣмъ не регулированныя. Въ области экономическихъ отношеній результатами такихъ аномическихъ формъ являются все учащающіеся промышленные кризисы и все растущій въ промышленныхъ странахъ Западной Европы антагонизмъ капитала и труда. Въ сферѣ науки «аномія» выражается крайнею спеціализаціей отдѣльныхъ отраслей знанія,— спеціализаціей, благодаря которой дѣятели науки не видятъ и не способны видѣть все великое зданіе науки въ цѣломъ. За аномическими формами общественнаго раздѣленія труда слѣдуютъ столь же анормальныя, но въ извѣстномъ смыслѣ прямо противоположныя, слишкомъ уже регулированныя, «принудительныя» формы (la division du Travail contrainte). Образчикомъ ихъ можетъ служить кастовый строй. Первоначально строй этотъ, соотвѣтствуя до извѣстной степени естественнымъ склонностямъ и способностямъ охваченныхъ имъ людей, представляетъ явленіе нормальное, но съ теченіемъ времени оно себя переживаетъ и становится препятствіемъ для правильнаго распредѣленія труда. Современное общество въ своемъ развитіи уже далеко отошло отъ кастоваго строя, но ему предстоитъ и далѣе развиваться въ томъ же направленіи, устраняя внѣшнія, принудительныя, опредѣляемыя закономъ, нравами или общественнымъ мнѣніемъ формы раздѣленія труда.

Не будемъ говорить о томъ, какъ Дюркгеймъ старается пройти между Сциллой «аноміи» и Харибдой «принудительности»: здѣсь все неясно, неопредѣленно, и въ концѣ концовъ самъ авторъ предоставляетъ рѣшеніе положительной задачи будущему. Остановимся только на его отрицательныхъ доводахъ. Спрашивается, почему, на какомъ основаніи, признавъ общественное раздѣленіе труда своимъ руководящимъ принципомъ, онъ отмѣчаетъ нѣкоторыя его проявленія отрицательнымъ знакомъ? Аномія съ одной стороны, принудительность—съ другой препятствуютъ правильному распредѣленію труда. Хорошо, но не значитъ ли это, что есть какой-то другой принципъ, выше общественнаго раздѣленія труда стоящій, ко-

торымъ опредѣляется значеніе его результатовъ? Нѣтъ ли въ свою очередь и для аноміи и принудительности, не смотря на ихъ противоположность, какой-нибудь общей скобки, которая объединила бы ихъ въ противоборствѣ означенному высшему принципу?

Здѣсь мы встрѣчаемся съ чрезвычайно любопытными логическими скачками Дюркгейма. Онъ съ первыхъ же страницъ призналъ общественное раздѣленіе труда источникомъ и мѣриломъ солидарности, и именно высшей, органической солидарности, постепенно отодвигающей на задній планъ первобытную механическую солидарность. Онъ сѣтуетъ на то обстоятельство, что съ легкой руки экономистовъ въ раздѣленіи труда видятъ преимущественно или даже исключительно только факторъ матеріальнаго благосостоянія, тогда какъ оно есть, кромѣ того, нравственная основа всего общественнаго зданія. Онъ, далѣе, объясняетъ, что процессъ раздѣленія труда есть и законъ природы, управляющій человѣческимъ обществомъ съ самыхъ отдаленныхъ временъ и имѣющій управлять имъ и въ будущемъ, все глубже и, такъ сказать, объемистѣе объединяя человѣчество солидарностью. Но вотъ онъ встрѣчаетъ явленія, несомнѣнно обязанныя своимъ происхожденіемъ общественному раздѣленію труда и тѣмъ не менѣе отнюдь не говорящія солидарности. Онъ слишкомъ искренній человѣкъ, чтобы сочинить апологію во что бы то ни стало какого бы то ни было момента исторіи человѣчества. Принудительная солидарность кастоваго строя во всѣхъ даже его смягченныхъ формахъ такъ же мало способна вызвать его одобреніе, какъ и солидарность или «гармонія интересовъ», восхищающая либеральныхъ экономистовъ манчестерской школы въ новомъ обществѣ. Онъ видитъ, что тутъ собственно нѣтъ солидарности, хотя и есть очень ярко выраженное раздѣленіе труда, составляющее источникъ и мѣрило солидарности. Поэтому онъ, добросовѣстно признавая фактическое существованіе такихъ формъ раздѣленія труда, которыя не сплачиваютъ людей солидарностью, а, напротивъ, разъединяютъ ихъ,—нравственно отметаетъ эти формы, признаетъ ихъ анормальными, но не вноситъ однако никакой поправки въ свое общее положеніе: раздѣленіе труда есть источникъ солидарности. И если мы примемъ въ соображеніе тѣ громадные періоды исторіи, въ которые господствовало принудительное раздѣленіе труда и его смягченныя формы, затѣмъ періодъ аномическихъ формъ; если прибавимъ сюда тѣ упущенныя Дюркгеймомъ формы раздѣленія труда, которыя еще до отвердѣнія кастоваго строя складывались между побѣдителями и побѣжденными, — то окажется, что для «нормальнаго» раздѣленія труда, служащаго источникомъ солидарности, остается очень мало мѣста въ исторіи. Да и на чемъ собственно основано это положеніе о нормальномъ раздѣленіи труда? На чисто отвлеченномъ разсуж-

деніи: путемъ раздѣленія труда люди участвуютъ въ общемъ дѣлѣ и становятся въ зависимость другъ отъ друга, а это ихъ объединяетъ, сплачиваетъ, создаетъ между ними солидарность. Все это справедливо и легко подтверждается фактами въ примѣненіи къ какому-нибудь небольшому и несложному дѣлу, гдѣ раздѣленіе труда еще почти граничитъ съ простымъ сотрудничествомъ. Но на болѣе обширномъ поприщѣ, если общее дѣло и взаимная зависимость объективно и существуютъ, то въ сознаніи участниковъ, подѣлившихъ между собою трудъ, они уходятъ въ болѣе или менѣе непроглядную туманную даль. Уже цитированный Уэкфильдъ справедливо указываетъ на эту особенность раздѣленія труда въ противоположность простому сотрудничеству: «Въ сложномъ сотрудничествѣ только очень немногіе изъ множества занятыхъ имъ людей хотя нѣсколько сознаютъ, что содѣйствуютъ другъ другу». Да, какъ мы видѣли, и самъ Дюркгеймъ спрашиваетъ: «что общаго между поэтомъ, всецѣло преданнымъ своей мечтѣ, ученымъ, погруженнымъ въ свои изысканія, рабочимъ, проводящимъ жизнь въ вытачиваніи булавочныхъ головокъ, землеѣдльцемъ за сохой, купцомъ у конторки?» Всѣ эти люди болѣе или менѣе другъ отъ друга зависятъ: мечтательный поэтъ не одной своей мечтой сытъ бываетъ, а также и хлѣбомъ, который онъ покупаетъ у купца, а тотъ въ свою очередь у земледѣльца; земледѣлецъ воспользуется, можетъ быть, когда-нибудь плодами изслѣдованій ученаго; булавочникъ рабочій ѣстъ хлѣбъ земледѣльца при посредствѣ купца и, если у него есть досугъ, читаетъ книжку стихотвореній поэта. Но, даже не подчеркивая этихъ «можетъ быть» и «если», мы очень хорошо знаемъ, что взаимная зависимость еще не есть нравственная солидарность. Мы знаемъ, что мечтательный поэтъ можетъ распространиться на тему: «умолкни, чернь непросвѣщенна и презираемая мной»; купецъ можетъ воспользоваться мечтательностью поэта, чтобы содрать съ него рубль на рубль за тотъ самый хлѣбъ, съ которымъ онъ уже сдѣлалъ подобную же операцію на счетъ земледѣльца, и т. д. Объ общемъ дѣлѣ при этомъ и говорить странно. Такъ идутъ дѣла на землѣ, и отъ того, что Дюркгеймъ называетъ это аномическими формами раздѣленія труда, ничего въ нихъ не измѣняется. Бываютъ, конечно, историческіе моменты, когда является ясное, сознательно преслѣдуемое общее дѣло и у этого мечтательнаго поэта, и у земледѣльца за сохой, и у купца за конторкой. Это—когда всѣмъ обществомъ овладѣваетъ съ религіозною силою одна какая-нибудь идея. Мы присутствуемъ нынѣ при трагическомъ окончаніи одной изъ такихъ вспышекъ общаго дѣла: весьма вѣроятно, что патріотическая волна, охватившая въ только что окончившуюся войну грековъ, сдѣлала изъ ихъ поэтовъ—Тиртеевъ, возбуждающихъ согражданъ

вдохновенными пѣснями на подвигъ, заставила купцовъ забыть свой рубль на рубль, двинула земледѣльцевъ и ученыхъ въ ряды добровольцевъ. Но предъявленная ими въ этомъ случаѣ солидарность есть солидарность, по терминологіи Дюркгейма, механическая, а не органическая, основанная не на различіяхъ и раздѣленіи труда, а на сходствахъ и простомъ сотрудничествѣ.

Итакъ, раздѣленіе труда по малой мѣрѣ не всегда является источникомъ и мѣриломъ солидарности. Даже съ точки зрѣнія Дюркгейма и на основаніи его собственныхъ указаній, это правило подлежитъ многочисленнымъ исключеніямъ и ограниченіямъ. Онъ желаетъ однако его спасти цѣликомъ, объявляя, что въ аномическихъ и принудительныхъ формахъ раздѣленія труда повинно не само оно, а постороннія, внѣшнія обстоятельства, временно извращающія естественный ходъ вещей. Казалось бы, однако, что если раздѣленіе труда есть и матеріальное, и нравственное основаніе всего общественнаго зданія, та сила, которая опредѣляетъ собою весь общественный строй во всѣхъ его подробностяхъ, сила единственная, если не считать все убывающаго вліянія механической солидарности, то какимъ-то постороннимъ, внѣшнимъ обстоятельствамъ уже не остается мѣста. И дѣйствительно, какъ аномическія, такъ и принудительныя формы суть вѣдь только формы, а принципъ въ нихъ остается тотъ же съ общей точки зрѣнія «общественнаго раздѣленія труда». Пожалуй, относительно принудительныхъ формъ еще можно съ нѣкоторою натяжкою говорить о постороннихъ вліяніяхъ, напримѣръ, о строгой наслѣдственности функцій въ кастовомъ строѣ; хотя и здѣсь можно найти нѣчто во славу излюбленнаго принципа: браминъ, кшатрій, вайсій, судра, строго подѣлившіе между собой весь необходимый обществу трудъ, превосходно приспособившись къ своимъ спеціальнымъ задачамъ, естественно и потомству своему передаютъ, путемъ наслѣдственности, примѣра и воспитанія, свои спеціальныя способности и склонности: мыслительныя, воинскія и т. д. Но въ формахъ аномическихъ, во всякомъ случаѣ, нѣтъ препятствій для свободной игры принципа раздѣленія труда, и самъ Дюркгеймъ требуетъ для этой игры нѣкоторой регламентаціи. Какой именно,—мы такъ отъ него и не узнаемъ. Ясно только, что, по его мысли, регламентація эта должна ввести въ общество солидарность, каковая, слѣдовательно, самимъ раздѣленіемъ труда еще не гарантируется. Такимъ образомъ, высшимъ руководящимъ принципомъ, съ точки зрѣнія самого Дюркгейма, является не раздѣленіе труда, а солидарность, ибо ею, ея присутствіемъ или отсутствіемъ, ея ростомъ или ослабленіемъ мѣряетъ онъ результаты раздѣленія труда: признаетъ одни, отметаетъ другіе.

Но вѣдь мы знаемъ двѣ формы солидарности,—органическую

и механическую. Послѣдняя, по словамъ Дюркгейма, постоянно убываетъ, однако не исчезаетъ окончательно. Механической и органической солидарности соотвѣтствуютъ два различные типа общества. Мы видѣли, что онѣ называются «ассоціаціей» и «коопераціей», но Дюркгеймъ не ограничивается этою двусмысленною терминологіей. Первобытная форма общества, крайне неопредѣленная и, собственно говоря, почти неизвѣстная, есть «орда». Затѣмъ нѣсколько ордъ примыкаютъ другъ къ другу, образуя рядъ «клановъ». Въ цѣломъ эти кланы образуютъ сегментарное общество, въ которомъ каждый кланъ-сегментъ, по своей структурѣ, повторяетъ всѣ другіе сегменты; совершенно такъ, какъ, напримѣръ, въ тѣлѣ червей, каждое кольцо представляетъ собою простое повтореніе другихъ. Здѣсь-то и царитъ механическая солидарность. Но какъ прогрессъ въ животномъ мірѣ не останавливается на структурѣ кольчатыхъ, такъ и въ исторіи общества сегментарный типъ уступаетъ постепенно мѣсто типу организованному, при чемъ каждому сегменту усваивается какая-нибудь спеціальная функція. Вмѣстѣ съ тѣмъ растетъ и органическая солидарность. Сегментарный типъ и соотвѣтствующая ему механическая солидарность время отъ времени вставляютъ, однако, такъ сказать, палки въ колеса своему могущественному сопернику,— организованному типу, спаянному органическою солидарностью. Напримѣръ, «у славянъ задруга разростается иногда до такой степени, что является нищета, но члены ея продолжаютъ жить вмѣстѣ, не удаляясь для пріисканія спеціальныхъ занятій въ качествѣ моряка, купца и т. п.» (315).

Этотъ примѣръ очень характеренъ для взглядовъ Дюркгейма на роль механической солидарности въ исторіи. Онъ усваиваетъ ее лишь первобытному «сегментарному» общественному типу и его остаткамъ и пережиткамъ въ настоящее время. Въ дѣйствительности поле дѣятельности механической солидарности далеко не такъ однообразно и узко. Не говоря о весьма нерѣдкихъ и въ новѣйшей исторіи случаяхъ въ родѣ вышеупомянутаго патріотическаго подъема грековъ, когда весьма проблематическая органическая солидарность, основанная на различіяхъ, утопаетъ въ несомнѣнной солидарности механической, основанной на сходствахъ; не говоря объ этихъ случаяхъ, можно съ рѣшительностью утверждать, что каждый сколько-нибудь крупный шагъ общественнаго раздѣленія труда сопровождается и новымъ импульсомъ для механической солидарности. Не будемъ разсуждать о томъ, есть ли дѣйствительно «зародышъ истины» въ знаменитой притчѣ веселаго старца Мененія Агриппы. Допустимъ, что органическая солидарность дѣйствительно связывала различные классы римскаго общества, хотя это болѣе, чѣмъ сомнительно. Но во всякомъ случаѣ не органическая, а механиче-

ская солидарность объединяла всѣхъ римлянъ, какъ римлянъ, независимо отъ ихъ спеціальныхъ функцій, въ то цѣлое, котораго представители говорили: cives romanus sum. Затѣмъ, были ли связаны взаимною солидарностью патриціи и плебеи, или нѣтъ, но патриціи *въ своей* средѣ и плебеи *въ своей*—несомнѣнно имѣли общіе интересы, общія мысли и чувства, объединявшіе ихъ солидарностью, и именно механическою. И это не случайность, а такая же физическая неизбѣжность, съ какою освѣщенный солнцемъ предметъ всюду сопровождается своею тѣнью. Допустимъ, что взаимныя отношенія предпринимателей, производителей и потребителей, въ любой современной отрасли промышленности, должны называться органической солидарностью. Въ средѣ каждой изъ этихъ группъ происходитъ болѣе или менѣе оживленная конкурренція, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждая изъ нихъ объединена общностью интересовъ, положеній, чувствъ, мыслей, слагающеюся въ механическую солидарность, которая и выражается синдикатами, стачками и т. п.

Намъ остается разсмотрѣть еще одинъ пунктъ въ книгѣ Дюркгейма, а именно очень занимающій его вопросъ о положеніи личности, индивида въ различныхъ типахъ общества. По его мнѣнію, въ «ассоціаціи» или сегментарномъ обществѣ, объединенномъ механическою солидарностью, личность собственно говоря, не существуетъ: она безъ остатка растворяется въ «общемъ сознаніи». Проявляется она лишь въ «коопераціи» или организованномъ обществѣ, сплоченномъ органической солидарностью, то есть раздѣленіемъ труда, по мѣрѣ развитія котораго личность, индивидуальность расцвѣтаетъ все ярче *). Развивается эта тема слѣдующимъ образомъ. Въ каждомъ изъ насъ есть нѣчто свое, личное, и нѣчто, принадлежащее намъ вмѣстѣ со всѣми современниками, соотечественниками, вообще сообщественниками. И чѣмъ сильнѣе общія черты, — въ чемъ бы онѣ ни состояли: въ вѣрованіяхъ, нравахъ, чувствахъ, привычкахъ,—тѣмъ меньше остается мѣста для игры индивидуальныхъ варьяцій. Въ первобытномъ, сегментарномъ обществѣ этимъ варьяціямъ совсѣмъ нѣтъ мѣста, общее сознаніе здѣсь всесильно, и если бы раздѣленіе труда не явилось разлагающимъ элементомъ, общество было бы обречено на полную неподвижность. Раздѣленіе труда, пробивающее въ общемъ сознаніи одну брешь за другою и тѣмъ самымъ освобождающее личность, является необходимымъ результатомъ разростанія обществъ, какъ въ смыслѣ расширенія ихъ объема путемъ сліянія отдѣльныхъ

*) Эта же мысль лежитъ въ основаніи работы Зиммеля: «Ueber die sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen. Leipzig, 1890. Я не имѣю теперь времени заняться ею.

сегментовъ, такъ и въ смыслѣ уплотненія населенія путемъ размноженія. При этомъ личность получаетъ въ свое распоряженіе все болѣе широкіе горизонты, а вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе разнообразный выборъ спеціальностей, на которыхъ все легче развертываться индивидуальнымъ склонностямъ и способностямъ.

Такова въ самыхъ общихъ и бѣглыхъ чертахъ мысль Дюркгейма. Она неоднократно высказывалась въ литературѣ, но преимущественно въ видѣ афоризма, и только у Дюркгейма (и у Зиммеля) получаетъ подробное развитіе и аргументацію.

Прежде всего отмѣтимъ одну странность. Мы видѣли, что связь механической солидарности въ первобытныхъ обществахъ Дюркгеймъ считаетъ крайне неустойчивою, что и иллюстрируетъ примѣрами древнихъ народовъ и современныхъ дикарей, у которыхъ члены общества легко отдѣляются отъ своего цѣлаго. И это понятно: весь небольшой запасъ первобытныхъ знаній и умѣній доступенъ каждому члену общества, тогда какъ въ организованномъ обществѣ каждый членъ есть болѣе или менѣе спеціалистъ по той или другой части, для котораго и самое недолгое даже существованіе невозможно безъ обмѣна услугъ со множествомъ другихъ спеціалистовъ. Недаромъ Дюркгеймъ утверждаетъ, что человѣкъ, личность, по мѣрѣ развитія раздѣленія труда, фактически становится и принципіально долженъ становиться спеціальнымъ органомъ общества, отказавшись отъ претензіи быть «самодовлѣющимъ цѣлымъ», цѣльной личностью. Это—несомнѣнное умаленіе личности подъ непосредственнымъ давленіемъ раздѣленія труда, и когда Дюркгеймъ рисуетъ намъ теперь вящшій расцвѣтъ личности въ организованномъ обществѣ, то ясно, что онъ разумѣетъ здѣсь личное начало въ какомъ-то другомъ смыслѣ, хотя и не оговариваетъ этой разницы, чѣмъ вноситъ въ вопросъ новую путаницу. Дѣйствительно, въ первомъ случаѣ рѣчь идетъ о личности, какъ о цѣломъ, о совокупности органовъ и отправленій, свойственныхъ виду homo sapiens въ данный историческій моментъ; во второмъ же имѣются въ виду индивидуальныя варьяціи типа, тѣ черты, которыми одинъ человѣкъ отличается отъ другихъ. Обѣ эти точки зрѣнія имѣютъ свой raison d'être, но разница между ними столь велика, что отвѣчать на вопросы, возникающіе на почвѣ первой, аргументами, почерпнутыми изъ района второй,—не представляется никакой логической возможности.

Допустимъ, что мысль Дюркгейма о томъ, что общественное раздѣленіе труда представляетъ все большій просторъ индивидуальнымъ варьяціямъ совершенно вѣрна. Этимъ еще ничего не рѣшается относительно значенія личности, какъ цѣлаго, какъ индивида, и ни малѣйше не колеблется давно уже высказанное мнѣ-

ніе о томъ, что, будучи «великимъ пособіемъ производству», раздѣленіе труда пагубно отзывается на личности, подавляя ее, обращая ее въ одностороннее орудіе нѣкотораго высшаго цѣлаго.

А затѣмъ и значеніе самихъ индивидуальныхъ варіацій далеко не выяснено Дюркгеймомъ. Безъ сомнѣнія «общее сознаніе», давившее собою умы и сердца членовъ первобытной группы, не давало простора индивидуальнымъ варьяціямъ. Но, вполнѣ признавая всю невыгодность и тягостность такого положенія, все-таки позволительно, а можетъ быть даже обязательно, спросить: всѣ ли индивидуальныя отклоненія одинаково желательны, какъ молчаливо признаетъ не задающій себѣ этого вопроса Дюркгеймъ? Не подлежатъ ли они классификаціи или нѣсколько детальному анализу съ какой-нибудь опредѣленной точки зрѣнія? Мы вѣдь знаемъ, что, какъ въ физическомъ, такъ и въ духовномъ мірѣ индивидуальныя отклоненія могутъ происходить и, дѣйствительно, происходятъ въ разныя стороны: въ сторону красоты и въ сторону безобразія, добра и зла, ума и глупости и т. д. Что бы мы ни разумѣли подъ добромъ и зломъ, красотой и безобразіемъ, но ясно, что мы не можемъ признать всѣ индивидуальныя варьяціи желательными только потому, что онѣ—индивидуальныя варіаціи. Онѣ подлежатъ расцѣнкѣ, критерій для которой долженъ былъ найденъ гдѣ-нибудь внѣ ихъ. Далѣе, дѣйствительно ли современное общество представляетъ достаточный просторъ для индивидуальныхъ варьяцій? Мы часто слышимъ—и имѣемъ возможность фактически убѣдиться въ извѣстной долѣ правды въ этихъ рѣчахъ—о постепенномъ исчезновеніи оригинальныхъ умовъ, оригинальныхъ характеровъ, оригинальныхъ талантовъ. Нельзя, разумѣется, сравнивать въ этомъ отношеніи наше время съ отдаленной зарей исторіи человѣчества, въ которой при томъ же такъ много гипотетическаго и, вѣроятно, навсегда для насъ загадочнаго. Но, оставляя въ сторонѣ эту темную даль прошедшаго, надо, повидимому, признать, что есть въ исторіи цивилизаціи моментъ или моменты, когда оригинальные, самостоятельные голоса становятся все большею рѣдкостью и ихъ замѣняютъ многочисленныя эхо, болѣе или менѣе буквально другъ друга повторяющія. И даже когда эти эхо хотятъ быть оригинальными, они только оригинальничаютъ. Въ какомъ отношеніи находится это явленіе къ прогрессирующему раздѣленію труда, которое такъ могущественно разрушило первобытное «общее сознаніе»? Дѣло въ томъ, что, разрушивъ одно, единое общее сознаніе, оно создало ихъ нѣсколько. Общепринятое выраженіе: раздѣленіе труда обращаетъ человѣка въ органъ общественнаго организма—не совсѣмъ точно. Тотъ римскій гражданинъ, котораго Мененій Агриппа назвалъ «пальцемъ отъ ноги», отнюдь, собственно говоря, таковымъ не былъ, хотя бы уже

потому, что подобныхъ ему римскихъ гражданъ одной и той же категоріи насчитывалось не пять или десять, по числу пальцевъ на ногахъ, а гораздо больше. Онъ былъ одною изъ множества клѣточекъ пальца, и для всѣхъ этихъ клѣточекъ существовало общее сознаніе, созданное раздѣленіемъ труда и столь же властное, какъ и то первобытное, раздѣленіемъ же труда разрушенное. Дюркгеймъ не замѣчаетъ этого въ силу того же самаго недоразумѣнія, которое заставляетъ его думать, что механическая солидарность стушевывается по мѣрѣ развитія и укрѣпленія органической солидарности.

Мы видѣли, что она не стушевывается, а слѣдуетъ за органической солидарностью (или якобы солидарностью), какъ тѣнь за предметомъ, ее отбрасывающимъ. Пусть группы, обособившіяся путемъ раздѣленія въ обществѣ, связаны между собою органическою солидарностью, но внутри каждой изъ нихъ болѣе или менѣе властительно дѣйствуетъ солидарность механическая и соотвѣтственное ей общее сознаніе, противоборствующее индивидуальнымъ варьяціямъ. Казалось бы, что можетъ быть капризнѣе, именно въ смыслѣ индивидуальныхъ варьяцій, костюма свѣтской женщины. И, однако, приглядываясь къ дѣлу ближе, мы видимъ, что этимъ варьяціямъ кладется довольно-таки узкій предѣлъ общимъ сознаніемъ. Гдѣ-то въ Парижѣ дается пароль, моментально разносящійся по всему дамскому міру, представительницы котораго всѣ поголовно обязаны или считаютъ себя обязанными носить сегодня кринолинъ, а завтра узкую юбку и т. п. Ихъ личному вкусу поставлены очень опредѣленныя границы, за которыя онѣ переступать не смѣютъ. И каждый обособившійся слой въ современномъ обществѣ имѣетъ свой кодексъ обычаевъ и приличій, столь же обязательный, какъ и предписанія общаго сознанія для первобытнаго человѣка. Разница только въ томъ, что въ первобытномъ обществѣ этотъ кодексъ одинъ для всѣхъ, а нынѣ каждое общество имѣетъ ихъ нѣсколько, приблизительно по числу группъ или слоевъ, на которые оно раздѣленіемъ труда раздроблено, но обязательность кодекса и, слѣдовательно, ограниченность поля индивидуальныхъ варьяцій—остаются въ силѣ. Если же мы и видимъ исключенія изъ этого правила, то они обязаны своимъ происхожденіемъ не принципу раздѣленія труда, какъ его понимаетъ Дюркгеймъ, а, напротивъ, пробиваются вопреки ему.

Съ этимъ Дюркгеймъ, конечно, не согласится. Я, впрочемъ, не знаю, что онъ отвѣтилъ бы на нѣкоторыя изъ только что сдѣланныхъ замѣчаній объ индивидуальныхъ варьяціяхъ, объ ихъ значеніи, о самой постановкѣ этого вопроса въ его книгѣ. Что же касается старой истины о помраченіи индивидуальности, какъ самостоятельнаго цѣлаго, процессомъ раздѣленія труда, то мы полу-

чили бы отъ него два возраженія. Во-первыхъ, онъ сказалъ бы, что сохраненіе индивидуальности, какъ «самодовлѣющаго цѣлаго», вовсе и не желательно, что современная этика должна быть построена именно на обязанности человѣка выбрать себѣ одну спеціальную задачу и отдаться ей всецѣло, при чемъ индивидуальность, проигрывая въ широтѣ, выигрываетъ въ глубинѣ. Въ этомъ направленіи влечетъ насъ историческій процессъ, въ этомъ же направленіи долженъ стоять и нашъ идеалъ. Какъ на образчикъ, Дюркгеймъ указалъ бы на современнаго ученаго, который отказывается и долженъ отказаться отъ воздѣлыванія всего необозримаго поля науки, а сосредоточивается и долженъ сосредоточиться на одной узенькой его полосѣ, но за то изслѣдовать ее въ глубину. Во-вторыхъ, Дюркгеймъ сказалъ бы, что вообще въ невыгодныхъ послѣдствіяхъ раздѣленія труда повинно не само оно, а внѣшнія, постороннія условія, придающія ему аномическую, то есть совершенно не регулированную, или принудительную, то есть чрезмѣрно и при томъ неправильно регулированную форму. Это возраженіе мы уже разсмотрѣли. Теперь замѣтимъ только, что уврачеванія ранъ, наносимыхъ раздѣленіемъ труда, благодаря внѣшнимъ, постороннимъ условіямъ, Дюркгеймъ естественно ожидаетъ отъ устраненія этихъ условій и безпрепятственнаго дальнѣйшаго раздѣленія труда. Главное зло аноміи и принудительности состоитъ въ томъ, что онѣ лишаютъ раздѣленіе труда его естественнаго, нормальнаго результата—солидарности. Участники общаго дѣла не сознаютъ себя таковыми, ибо, погруженные въ свое спеціальное занятіе, они и самаго этого общаго дѣла не видятъ. Но если раздѣленіе труда будетъ проведено еще дальше и послѣдовательнѣе, то всякое дѣло раздробится на столь мелкія операціи, которыя, при условіи одинаковаго къ нимъ для всѣхъ доступа, уже не въ состояніи будутъ заслонить собою цѣлое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и переходъ отъ одной операціи къ другой, отъ одной профессіи къ другой—не будетъ представлять затрудненій. Возрастаніе этой гибкости и подвижности мы и теперь видимъ. «Мы видимъ, какъ одно и то же лицо отъ самыхъ низменныхъ занятій переходитъ къ наиболѣе важнымъ... Еще чаще случаи, когда работникъ мѣняетъ свою профессію на другую, сосѣднюю. Когда научная дѣятельность не была спеціализована, ученый, обнимавшій почти всю науку, не могъ измѣнить свою функцію, потому что ему пришлось бы въ такомъ случаѣ отказаться отъ самой науки. Нынѣ же часто случается, что онъ послѣдовательно посвящаетъ себя разнымъ наукамъ, переходя отъ химіи къ біологіи, отъ физіологіи къ психологіи, отъ психологіи къ соціологіи. Эта способность послѣдовательно принимать различныя формы нигдѣ не даетъ такъ себя знать, какъ въ сферѣ экономиче-

ской. Въ виду чрезвычайной измѣнчивости вкусовъ и потребностей, которымъ отвѣчаютъ экономическія функціи, торговля и промышленность должны постоянно находиться въ состояніи неустойчиваго равновѣсія, дабы прилаживаться ко всѣмъ измѣненіямъ спроса. Когда-то неподвижность была почти естественнымъ состояніемъ капитала, и самый законъ препятствовалъ его движенію; теперь же едва можно услѣдить за всѣми его преобразованіями,— до такой степени велика быстрота, съ которою онъ переносится изъ одного предпріятія въ другое. И рабочіе должны быть наготовѣ, чтобы слѣдовать за нимъ и служить ему въ его преобразованіяхъ» (368).

Думаю, что многіе изъ читателей будутъ повергнуты этой тирадой въ недоумѣніе. Безъ сомнѣнія, капиталъ нынѣ съ чрезвычайной легкостью переносится отъ банкирскихъ операцій къ разработкѣ нефтяныхъ копей, оттуда въ какую-нибудь отрасль обрабатывающей промышленности и т. д. Но это потому, что онъ есть нѣчто безплодное. Трудности приспособленія къ новому дѣлу собственно для капитала не существуетъ. Рекомендовать же людямъ, живымъ, облеченнымъ плотью и кровью единицамъ, не ко всему легко привыкающимъ и не отъ всего легко отвыкающимъ, быть постоянно «наготовѣ» — гораздо легче чѣмъ, дѣйствительно, переходить отъ одной профессіи къ другой. Далѣе, что значитъ это разрѣшеніе ученому мѣнять одну отрасль знанія на другую, когда мы только что слышали, что ученый долженъ отмежевать себѣ узенькую полосу, отнюдь не сбиваясь съ нея, но за то эксплуатировать ее въ глубину? Разница между тѣмъ, что воспрещается этимъ предписаніемъ, и тѣмъ, что рекомендуется новымъ приглашеніемъ, состоитъ только въ томъ, что въ первомъ случаѣ рѣчь идетъ о *единовременной* эксплуатаціи различныхъ областей знанія, а во второмъ — *о послѣдовательной*. Будто эта разница столь уже велика, чтобы можно было противопоставлять соотвѣтственные два типа людей науки, какъ взаимно исключающіеся? Разница эта станетъ еще меньше, если мы приглядимся къ обстоятельствамъ, дѣлающимъ для современнаго ученаго возможнымъ переходъ отъ занятій одною отраслью знанія къ другой. Дѣло вѣдь идетъ не о птичьемъ перелетѣ съ дерева на дерево, не о внезапныхъ скачкахъ изъ одной области въ другую, не имѣющую съ первою ничего общаго. И такіе скачки, конечно, возможны, и даже очень удачные, но сами по себѣ они не гарантируютъ «глубины» изслѣдованія. Современный физикъ можетъ переходить къ физіологіи, а оттуда къ психологіи гораздо менѣе рискованнымъ путемъ, ибо широкими обобщеніями умовъ, *единовременно* обнимавшихъ разныя отрасли знанія, попиравшихъ законъ раздѣленія труда, нынѣ уже стерты спеціальныя

границы между различными отдѣлами физики, между ими и физіологіей, между физіологіей и психологіей, равно какъ между различными отдѣлами біологіи и проч. Такимъ образомъ не только расчищенъ путь для послѣдовательнаго перехода отъ одной науки къ другой, но становится все болѣе и болѣе немыслимымъ заниматься, напримѣръ, психологіей, не зная физіологіи, или изучать физическіе законы свѣта, не зная физіологическаго устройства органа зрѣнія. Я не говорю, что только этимъ путемъ уничтоженія межей между различными областями знанія совершается прогрессъ науки, но только благодаря ему, а не новымъ дробленіямъ науки на спеціальности, возможенъ тотъ переходъ отъ одной спеціальности къ другой, который составляетъ конечный идеалъ Дюркгейма. Говорю — «конечный», потому что въ началѣ передъ нами ставили иной и даже прямо противоположный идеалъ.

Солидарность, связывающая различныя отрасли современной науки и тѣхъ ея представителей, которые приближаются къ намѣченному идеалу, не есть солидарность органическая, основанная на принципѣ раздѣленія труда, такъ какъ принципъ этотъ здѣсь поколебленъ въ самомъ своемъ основаніи. Ее можно бы было назвать солидарностью механическою, основанною на принципѣ простого сотрудничества, такъ какъ здѣсь выступаютъ на первый планъ не различія, а сходства. Но для этого представляется слѣдующее неудобство. Взятая въ цѣломъ и по отношенію къ другимъ общественнымъ группамъ, группа людей науки представляетъ собою спеціальный общественный органъ, и пока онъ такимъ остается, онъ связанъ съ другими общественными органами органическою солидарностью, основанною на раздѣленіи труда. А за общественнымъ раздѣленіемъ труда—мы уже знаемъ—слѣдуетъ, какъ тѣнь, простое сотрудничество, объединяющее членовъ группы механическою солидарностью. Если, напримѣръ, людямъ науки приходится отстаивать право свободнаго изслѣдованія, то всѣ они по отношенію къ этой общей цѣли оказываются въ одинаковомъ положеніи, и мы имѣемъ тутъ дѣло съ механическою солидарностью.

Читатель понимаетъ, что все, только что сказанное, имѣетъ значеніе не для міра лишь науки. Вообще идеалъ, поставленный Дюркгеймомъ въ началѣ книги, совершенно преобразуется къ концу ея. Тамъ мы слышали требованіе, чтобы человѣкъ избралъ себѣ какую-нибудь опредѣленную задачу, которой отдался бы весь, отнюдь не распространяясь вширь, не захватывая чужихъ спеціальностей. Теперь же намъ предлагаютъ, напротивъ, не стѣсняться чужими владѣніями, а считать ихъ общимъ достояніемъ, всѣмъ одинаково доступнымъ, лишь подъ условіемъ не единовременности, а послѣдовательности. Нельзя и не слѣдуетъ быть въ одно и то же время, на-

примѣръ, человѣкомъ науки, предпринимателемъ промышленнаго дѣла и рабочимъ единовременно, но желательно такое устройство общества, при которомъ каждому было бы возможно послѣдовательно испытать всѣ эти положенія. Передъ нами стояла дилемма: «быть ли законченнымъ и полнымъ существомъ, самодовлѣющимъ цѣлымъ, или же, напротивъ, частью цѣлаго, органомъ организма?» Въ самой формулировкѣ этой дилеммы сквозило готовое рѣшеніе въ пользу второго ея члена, и къ этому клонилась вся аргументація автора. Но въ концѣ-концовъ мы получаемъ нѣкоторое третье рѣшеніе. Получаемъ именно любопытное видоизмѣненіе органической теоріи: общество остается организмомъ, все болѣе и болѣе усложняющимся путемъ прогрессирующаго раздѣленія труда, но индивидуальные члены общества, эти клѣточки общественнаго организма, свободно перемѣщаются изъ одного органа въ другой: сегодняшняя костная или печеночная клѣточка становится завтра мозговою и т. п. Такимъ образомъ, спасенъ и принципъ общественнаго раздѣленія труда, обязывающій насъ быть не «самодовлѣющимъ цѣлымъ», а частью цѣлаго, но спасенъ и идеалъ цѣлостности, потому что клѣточка, способная къ подобному, хотя бы и послѣдовательному, исполненію разнообразнѣйшихъ функцій, заключаетъ въ себѣ задатки такого энциклопедизма, который рѣшительно непримиримъ съ раздѣленіемъ труда. Выходитъ, что и овцы цѣлы, и волки сыты.

Но такъ не бываетъ. И единственный выходъ изъ противорѣчій и недоразумѣній, въ которыя впадаетъ Дюркгеймъ, представляется мнѣ въ теоріи борьбы за индивидуальность. Теорія эта предполагаетъ наличность нѣсколькихъ теченій, комбинирующихся и перекрещивающихся между собою на самые разнообразные лады. Насъ теперь занимаютъ только два главныя и наиболѣе общія изъ нихъ Всякое общество есть своего рода индивидуальность, стремящаяся все къ большему усложненію путемъ *общественнаго* раздѣленія труда (это показалъ и Дюркгеймъ въ главѣ о причинахъ раздѣленія труда). Человѣкъ, отдѣльно взятый, есть также индивидуальность, только другого порядка, тоже стремящаяся къ усложненію, но путемъ *физіологическаго* раздѣленія труда. Эти два процесса по существу противоположны и, между прочимъ. первому соотвѣтствуютъ различія между людьми, а второму сходства. Но, будучи по существу прямо противоположными, по обстоятельствамъ эти два процесса могутъ вступать въ разнообразныя комбинаціи.

Боюсь утомить читателей столь отвлеченной и сухой матеріей, къ которой, признаюсь, меня влечетъ личное желаніе сдѣлать коекакія поясненія и поправки къ тому, что мною было изложено почти ровно тридцать лѣтъ тому назадъ. Буду кратокъ и перейду

прямо къ одной изъ фактическихъ иллюстрацій, которыми пользуется Дюркгеймъ.

Въ первой же главѣ своей книги онъ говоритъ о раздѣленіи труда между мужчинами и женщинами. Онъ приводитъ общеизвѣстные факты, свидѣтельствующіе о томъ, что у первобытныхъ народовъ слабое вообще раздѣленіе труда слабо и между двумя полами. Они значительно сходны между собою и по занятіямъ, и образу жизни, и по духовному складу, и даже по физическимъ признакамъ, кромѣ, разумѣется, половыхъ. Но съ теченіемъ времени самый ростъ общежитія устанавливаетъ между ними все прогрессирующее раздѣленіе труда, вмѣстѣ съ чѣмъ мужчина и женщина все болѣе рѣзко отличаются другъ отъ друга во всѣхъ отношеніяхъ. «Давно уже—говоритъ Дюркгеймъ — женщина отдалилась отъ войны и общественныхъ дѣлъ, и вся ея жизнь сосредоточилась у семейнаго очага. Съ тѣхъ поръ ея роль все болѣе спеціализировалась. Нынѣ, у цивилизованныхъ народовъ, женщина ведетъ жизнь, совершенно отличную отъ жизни мужчины. Можно сказать, что двѣ великія функціи психической жизни какъ бы разобщились, что одинъ полъ присвоилъ себѣ аффективныя функціи, а другой — интеллектуальныя. Видя, какъ въ нѣкоторыхъ классахъ женщины занимаются, подобно мужчинамъ, литературой и искусствами, можно бы было, правда, подумать, что занятія обоихъ половъ стремятся стать опять однородными. Но даже въ эту сферу дѣятельности женщина вноситъ свою особенную природу, и ея роль остается очень спеціальною, очень отличною отъ роли мужчины. При томъ же, если беллетристика и искусства становятся женскимъ достояніемъ, то мужчины, повидимому, покидаютъ эти сферы, чтобы спеціальнѣе заняться наукой. Легко можетъ быть поэтому, что этотъ кажущійся поворотъ къ первобытной однородности есть лишь начало новой дифференціаціи. Эти функціональныя различія сопровождаются и различіями морфологическими. Не только ростъ, вѣсъ, общія формы тѣла очень различны у мужчинъ и женщинъ, но д ръ Лебонъ показалъ, что съ прогрессомъ цивилизаціи становится чувствительнѣе и разница мозга обоихъ половъ. По словамъ этого наблюдателя, фактъ этотъ выражается одновременно болѣе значительнымъ развитіемъ мужскихъ череповъ и неподвижнымъ состояніемъ или даже регрессомъ женскихъ череповъ. Въ то время, говоритъ онъ, какъ черепъ мужчинъ-парижанъ въ среднемъ принадлежитъ къ числу самыхъ объемистыхъ, средній черепъ парижанокъ значительно меньше, чѣмъ у китаянокъ и едва превосходитъ черепъ женщинъ Новой Каледоніи» (61—62).

Таковы факты. Сообразно своей теоріи, Дюркгеймъ сопровождаетъ ихъ соображеніями о томъ, что вмѣстѣ съ раздѣленіемъ

труда первобытная механическая солидарность, основанная на сходствахъ между мужчинами и женщинами, замѣняется гораздо болѣе прочною солидарностью органическою, которая выражается все большею устойчивостью семейныхъ и брачныхъ узъ. Именно потому, что оба пола все болѣе расходятся между собою, они становятся другъ другу необходимы, дополняя другъ друга.

Можно, однако, сомнѣваться, чтобы именно въ Парижѣ, гдѣ разница мужскихъ и женскихъ череповъ столь велика, семейныя и брачныя узы отличались особенною прочностью. А что касается солидарности половъ вообще, то дикія сцены при недавнемъ пожарѣ благотворительнаго базара даже слишкомъ жестоко разрушаютъ эту иллюзію. И конечно, мужчины давили, душили, били палками и каблуками женщинъ именно потому, что эти благородные поступки были для нихъ облегчены разницею между полами. Такъ что отсюда никоимъ образомъ нельзя сдѣлать выводовъ, благопріятныхъ для раздѣленія труда между полами, то есть одной изъ формъ общественнаго раздѣленія труда. Да и самое изложеніе фактовъ, въ общемъ вѣрныхъ и несомнѣнныхъ, постепеннаго прогресса раздѣленія труда, можно и даже должно освѣтить не такъ, какъ у Дюркгейма. Возьмемъ то же парижское свѣтское общество, въ которомъ столь велика разница между черепами мужчины и женщины и въ которомъ произошла катастрофа на благотворительномъ базарѣ. Это общество, усложняясь путемъ раздѣленія труда вообще, въ частности установило рѣзкія различія между двумя полами. Это—естественная тенденція всякаго общества, но при этомъ физіологическое раздѣленіе труда въ организмахъ мужчинъ и женщинъ потерпѣло ущербъ: когда-то, говоря языкомъ Дюркгейма, аффективныя и интеллектуальныя функціи психической жизни были приблизительно равномѣрно удѣлены обоимъ поламъ, а затѣмъ постепенно заглохли аффективныя у мужчинъ, интеллектуальныя у женщинъ; оба пола физіологически обѣднѣли, упростились, и именно потому, что общество усложнилось, разбогатѣло разнообразіемъ. Индивидуальность парижскаго свѣтскаго общества, индивидуальность общественная, побѣдила индивидуальность личную. Но парижанки могли бы и побороться за свою индивидуальность, какъ борятся за нее женщины въ другихъ обществахъ. Онѣ могли бы отстаивать свое право на всю полноту жизни, а не только аффективной ея стороны. Женщина всегда останется женщиной, равно какъ мужчина мужчиной. это раздѣленіе труда самой природой устроено и составляетъ предѣлъ, его же не прейдеши. Но требовать извѣстной полноты жизни, то есть работы всѣмъ своимъ органамъ, не давать обществу заглушать тѣ или другія функціи, — не значитъ стремиться перестать быть женщиной, хотя и значитъ стремиться сгладить разницу

между мужчинами и женщинами. И если бы парижанки умѣли или могли удержаться на этой позиціи, то не онѣ были бы побѣждены въ борьбѣ за индивидуальность, а парижское свѣтское общество, которое утратило бы свой теперешній специфическій складъ.

Такъ и во всемъ. Въ майской книжкѣ «Русскаго Богатства» 1897 г. читатель найдетъ статью г. Тимковскаго о народныхъ театрахъ въ связи съ народнымъ образованіемъ вообще. Попробуйте приложить къ этому вопросу принципы общественнаго и физіологическаго раздѣленія труда. Адамъ Смитъ, имѣя въ виду пагубное вліяніе общественнаго раздѣленія труда, рекомендовалъ компенсировать его народнымъ образованіемъ. «Но тутъ — говоритъ Марксъ — съ нимъ весьма послѣдовательно полемизируетъ его французскій переводчикъ и комментаторъ, Гарнье, сенаторъ первой французской имперіи. Онъ объявляетъ, что народное образованіе несовмѣстно съ основнымъ закономъ раздѣленія труда и что вести его значитъ «уничтожить всю нашу общественную систему». Какъ всѣ другіе виды раздѣленія труда, говоритъ онъ, раздѣленіе между трудомъ физическимъ и умственнымъ становится рѣзче и опредѣленнѣе по мѣрѣ обогащенія общества». (Das Kapital, I, 348). «Общественная система», апологетомъ которой былъ Гарнье, дѣйствительно, требовала невѣжественной массы народа въ силу общественнаго раздѣленія труда. Но физіологическое раздѣленіе труда требуетъ, напротивъ, чтобы интеллектуальныя функціи не были упразднены.

Шансы обѣихъ сторонъ въ борьбѣ за индивидуальность могутъ быть очень разнообразны, и не всегда легко предсказать ея исходъ въ каждомъ данномъ случаѣ.

V *).

Г. Сементковскій о Лѣсковѣ.—„Мужики“ г. Чехова.

Авторъ предисловія къ новому, 12-итомному изданію сочиненій Лѣскова, г. Сементковскій, относитъ его «къ числу первоклассныхъ нашихъ писателей» и ставитъ въ одинъ рядъ съ «Гончаровымъ, Тургеневымъ, Островскимъ, Достоевскимъ, Писемскимъ, Салтыковымъ, Л. Толстымъ», «какъ талантъ не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ». Затѣмъ г. Сементковскій цитируетъ г. Венгерова: «Подходя нѣкоторыми сторонами своего таланта къ Островскому, Писемскому и Достоевскому, Лѣсковъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ по чисто художественнымъ силамъ... Ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова... Наконецъ, немного знаетъ Лѣсковъ соперниковъ по колоритности и оригинальности своего языка».

Я думаю, что весьма и весьма многіе искренніе друзья русской литературы не только не согласятся съ этою оцѣнкою, но будутъ даже нѣсколько скандализованы сопоставленіемъ Лѣскова съ нашими дѣйствительно первоклассными писателями. Я думаю, что и гг. Сементковскій и Венгеровъ не станутъ отрицать того, что ихъ оцѣнка не встрѣтитъ сколько-нибудь единодушнаго признанія. И у нихъ найдется даже объясненіе этому прискорбному съ ихъ точки зрѣнія, но несомнѣнному факту. Дѣло въ нашей литературной критикѣ. Г. Венгеровъ, какъ видно изъ дальнѣйшей цитаты г. Сементковскаго (самая статья г. Венгерова мнѣ неизвѣстна), утверждаетъ, что «критика мало занималась» Лѣсковымъ. Г. Сементковскій съ этимъ не согласенъ. Онъ думаетъ, что въ количе-

*) Іюнь 1897 г.

ственномъ отношеніи Лѣсковъ не могъ бы жаловаться на критику, но «русская литературная критика до сихъ поръ не задавалась цѣлью *понять* нашего автора: къ нему прикладывали лишь мѣрку собственныхъ воззрѣній и симпатій тѣ или другіе критики, и такъ какъ Лѣсковъ подъ эту мѣрку не подходилъ, то оцѣнка его не могла быть ни справедливою, ни убѣдительною: надъ Лѣсковымъ до сихъ поръ произносила судъ не русская литературная критика, а та или другая партія». Г. Сементковскій хочетъ положить конецъ этой несправедливости. «Попытаемся — говоритъ онъ—установить умственный обликъ Лѣскова, руководствуясь не голосомъ представителей разныхъ партій, а анализомъ его произведеній».

Прекрасное намѣреніе. Но вѣдь и вообще въ критикѣ слѣдуетъ руководствоваться анализомъ произведеній критикуемаго автора, а не чьимъ бы то ни было чужимъ голосомъ, хотя, можетъ быть, и невыгодно совершенно пренебрегать чужими голосами. Во всякомъ случаѣ, предполагая писать о Лѣсковѣ, я хочу слѣдовать доброму примѣру г. Сементковскаго или, по крайней мѣрѣ, его доброму намѣренію и даже пойду дальше его въ этомъ направленіи. Онъ все-таки входитъ въ разсужденія объ отношеніи разныхъ нашихъ партій къ Лѣскову, объ его отношеніи къ нимъ, о нѣкоторыхъ связанныхъ съ этими отношеніями острыхъ и щекотливыхъ моментахъ въ жизни и литературной дѣятельности Лѣскова. Я постараюсь обойти эти пункты совсѣмъ, насколько это возможно при оцѣнкѣ такого рѣзко тенденціознаго писателя; постараюсь видѣть въ немъ исключительно только художника. Не буду и съ г. Сементковскимъ препираться и замѣчу по его адресу только одно: гр. Л. Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, съ которыми г. Сементковскій осмѣливается (это дѣйствительно огромная и ничѣмъ не оправдываемая смѣлость) ставить Лѣскова рядомъ, не разъ и не два подвергались самой рѣзкой партійной критикѣ, но ни читающая публика, ни самая эта критика никогда не сомнѣвались въ первоклассныхъ дарованіяхъ этихъ звѣздъ русской литературы. Одно дѣло – соглашаться или не соглашаться съ политическимъ или инымъ образомъ мыслей писателя, и другое дѣло—судить о степени его талантливости, его художественнаго дарованія. Конечно, и эта оцѣнка можетъ быть не только невѣрна bona fide, а и пристрастна, но дѣйствительно сильный талантъ въ концѣ концовъ не можетъ не оказаться общепризнаннымъ, если онъ имѣлъ достаточно времени развернуться во всемъ своемъ блескѣ. А талантъ Лѣскова имѣлъ для этого достаточно времени: онъ дѣйствовалъ въ литературѣ тридцать пять лѣтъ (1860 — 1895). Что же касается безпристрастія самого г. Сементковскаго, то достаточно

привести одну его фразу: «гр. Л. Толстой, *слѣдуя примѣру Лѣскова*, начерталъ на своемъ знамени лозунгъ любви къ ближнему» (Предисловіе, XLIV).

Лѣсковъ любилъ причудливыя сочетанія словъ въ родѣ «совѣстный Данило», «несмертельный Голованъ», «безнатурный человѣкъ» и т. п. Въ подражаніе этимъ грамматическимъ вольностямъ, самого Лѣскова можно назвать «безмѣрнымъ писателемъ», въ смыслѣ писателя, лишеннаго чувства мѣры. Я знаю, что для художника это очень нелестная характеристика, но думаю, что «безмѣрность» составляетъ наиболѣе выдающуюся черту Лѣскова.

Взять хоть бы эту «колоритность и оригинальность языка», которая сказалась, между прочимъ, и въ разныхъ «несмертельныхъ Голованахъ», «безнатурныхъ человѣкахъ» и проч. Безъ сомнѣнія, языкъ Лѣскова былъ и колоритенъ, и оригиналенъ, но и то, и другое качество были испорчены отсутствіемъ чувства мѣры. Въ романѣ «На ножахъ», одно изъ дѣйствующихъ лицъ ведетъ такую рѣчь: «Гляньте-ко, вонъ гляньте: видите небось: всѣ капралы поскидали кафтаны, а вотъ Божія сосеночка промежду всѣхъ другой законъ бережетъ: стоитъ вся въ листвѣ, какъ егарь въ мундирчикѣ, да командуетъ: кому когда просыпаться и изъ теплыхъ вѣтровъ одежду брать. Надо, надо, людцы, главаря слушаться» (IX, 405). Это разговариваетъ переодѣтый сыщикъ, а авторъ отъ себя замѣчаетъ: «Ермолаичъ все старался шутить въ риѳму и вообще велъ рѣчь, отзывавшуюся выдѣланною искусственностью простонароднаго говора». Самъ Лѣсковъ очень часто писалъ именно этимъ искусственно выдѣланнымъ, утрированнымъ простонароднымъ говоромъ. Такъ сплошь написана, напримѣръ, сказка «Часъ воли Божіей» (XI, 1—31), въ которой въ непомѣрномъ количествѣ разсыпаны якобы простонародные обороты рѣчи и разныя уменьшительныя въ родѣ «мыленка», «зипунишечка», «пяточки», «плетушечки», «народушко», «зоречка» и проч. Этакъ же говорятъ и многія отдѣльныя личности въ разныхъ другихъ произведеніяхъ Лѣскова. Вообще, онъ точно избѣгалъ обыкновенной живой русской рѣчи и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ подмѣнялъ ее или утрированно простонародною, или смѣсью обыкновеннаго разговорнаго языка съ церковно-славянскимъ, какъ въ обширномъ дневникѣ отца Туберозова («Соборяне»), въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ», отчасти въ «Очарованномъ странникѣ», гдѣ, впрочемъ, господствуетъ уже полное смѣшеніе языковъ. Можно, конечно, сказать, что священнику такъ и подобаетъ писать дневникъ, какъ пишетъ Туберозовъ, а старовѣру такъ разсказывать, какъ ведется разсказъ въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ». Но если даже

допустить, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не съ явно утрированной поддѣлкой, то остается все-таки загадкой—почему Лѣсковъ такъ часто прибѣгалъ къ языку, во всякомъ случаѣ для него чуждому и, слѣдовательно, искусственному; почему не самъ онъ разсказываетъ непомѣрно длинныя исторіи «Запечатлѣннаго Ангела», «Очарованнаго странника» и проч., а влагаетъ ихъ въ уста людей, говорящихъ чужимъ для него языкомъ.

Съ другой стороны, онъ выработалъ совсѣмъ особенный, ни на что не похожій языкъ или, вѣрнѣе, особенное украшеніе языка, которымъ тоже злоупотреблялъ сверхъ всякой мѣры. Въ разсказѣ «Лѣвша» находимъ графа «Кисельвроде» (Нессельроде), ласковые «междоусобные» разговоры, «двухсѣстную» (двухмѣстную) карету, «Аболона Полведерскаго», «буреметры» (барометры), «непромокабли», «безразсудокъ» (предразсудокъ), «Канделабрію» (Калабрію), «нимфозорію», «четыре правила сложенія», «мелкоскопъ», «вѣрояціи», «свистовыхъ» (вѣстовыхъ) казаковъ, «плезирную» (клистирную) трубку и проч. И всѣ эти выкрученныя, хотя подчасъ дѣйствительно смѣшныя словечки повторяются множество разъ, такъ что наконецъ просто надоѣдаютъ. А еще авторъ, кромѣ того, вставляетъ ихъ въ намѣренно неправильныя фразы, чтобы смѣшнѣе выходило. Напримѣръ, изъ спертаго и свѣжаго воздуха онъ составляетъ такую фразу: «У мастеровъ въ ихъ тѣсной хороминкѣ отъ безотдышной работы въ воздухѣ такая *потная спираль* сдѣлалась, что непривычному человѣку съ *свѣжаго повѣтрія* и одного раза нельзя было продохнуть». Или еще примѣръ: «Тѣ лица, которымъ курьеръ *нимфозорію* сдалъ, сію же минуту ее разсмотрѣли въ самый сильный *мелкоскопъ* и сейчасъ въ *публицейскія вѣдомости* описаніе, чтобы завтра же на всеобщее извѣстіе *клеветонъ* вышелъ». Или: «Передъ каждымъ на виду виситъ *долбица умноженія*, а подъ рукой *стирабельная* дощечка: все, что который мастеръ дѣлаетъ,—въ долбицу смотритъ и съ понятіемъ свѣряетъ, а потомъ на дощечкѣ одно пишетъ, другое стираетъ и въ акуратъ сводитъ» (II, 259, 268, 273).

«Лѣвша» есть «*Сказъ* о тульскомъ косомъ Лѣвшѣ и о стальной блохѣ». Кто же это «сказываетъ»? Прямо намъ этого не сообщаютъ, но изъ послѣдней главы, написанной уже обыкновеннымъ русскимъ языкомъ, видно, что герой «сказа» есть «олицетворенный народною фантазіей миѳъ», что въ тѣ времена, когда дѣйствовалъ Лѣвша, существовала «артистическая удаль, которая иногда превосходила мѣру, вдохновляя народную фантазію къ сочиненію подобныхъ нынѣшней (то есть «Сказу») баснословныхъ легендъ». Значитъ, народъ, и именно тульскій рабочій говоритъ

этимъ «колоритнымъ и сильнымъ» языкомъ «публицейскихъ вѣдомостей», «клеветоновъ» и проч. Это вздоръ, конечно, и вздоръ этотъ находится въ прямой зависимости отъ «безмѣрности» Лѣскова вообще. Немного нужно наблюдательности, чтобы знать, что простой народъ часто перевираетъ иностранныя слова, но вѣдь онъ ихъ и знаетъ-то, пожалуй, меньше. чѣмъ разсыпано въ «сказѣ» о тульскомъ Лѣвшѣ. Лѣсковъ несомнѣнно отъ себя сочиняетъ «непромокабли» и «клеветоны», а затѣмъ уже сверхъ всякой мѣры и чисто русскія слова калѣчитъ: «свѣжее повѣтріе», «свистовые казаки». Допустимъ однако, что Лѣскову попался такой экземпляръ тульскаго рабочаго, которому незнакомы вѣстовые казаки и свѣжій вѣтеръ, но за то знакомы мелкоскопы, Аболоны полведерскіе, клеветоны и проч., и авторъ пожелалъ увѣковѣчить манеру выражаться этого экземпляра. Но этимъ же языкомъ говорятъ у Лѣскова и люди, не имѣющіе, повидимому, ничего общаго съ тульскимъ рабочимъ. «Мелкоскопъ» фигурируетъ, напримѣръ, въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ», гдѣ онъ вложенъ въ уста начетчика старовѣра. «Долбица умноженія» и «четыре правила сложенія», о которыхъ говорится въ сказѣ о тульскомъ Лѣвшѣ, знакомы и какой-то приживалкѣ въ «Полунощникахъ», разсказывающей о себѣ, между прочимъ, такъ: «Меня опредѣлили учиться; но у меня объявилась престранная способность: ко всѣмъ рѣшительно понятіямъ развитіе очень большое, а къ наукамъ совсѣмъ никакой памяти не было. Ко всему память и соображенія хорошія, а къ ученію нѣтъ,—*долбицу умноженія* сколько ни долбила, а какъ, бывало, зададутъ на *четыре правила сложенія*—плюсить или минусить, или въ умѣ составить, напримѣръ, *пять изъ семьи—сколько въ отставкѣ?*—то я и никакихъ пустяковъ не могу отвѣчать» (XI. 50). Эту приживалку Лѣсковъ заставляетъ говорить и о «пупонахъ» (купонахъ), о «подземельномъ банкѣ», о «монументальной фотографіи», о «выдающемся животѣ а-ла-пузе», «инпузоріяхъ», «фиміазмахъ», «блеярдныхъ шарахъ», «популярныхъ совѣтникахъ», «полицейскихъ аргентахъ» и проч., и проч., и проч. О Лѣвшѣ разсказывается, что у него въ морѣ «отъ колтыханія морская свинка сдѣлается» (II, 275). Въ разсказѣ «Шерамуръ» тоже «отъ колтыханія морская свинка дѣлается» (II, 472). Но на этотъ разъ эти слова говоритъ не тульскій рабочій, а бывшій студентъ петербургскаго технологическаго института. Странный это студентъ. Не говоря о его чрезвычайной глупости, онъ даже слово «пеклеванникъ» не можетъ выговорить какъ слѣдуетъ, а говоритъ: «поплеванникъ»: добровольцевъ онъ называетъ «доброходцами», а Молдавію и Валахію «Волдавіей» и «Молдахіей», и я не знаю, почему бы ему

не называть фельетонъ клеветономъ и Аполлона Бельведерскаго Аболономъ полведерскимъ.

Я могъ бы привести еще много образчиковъ этого страннаго языка, которымъ у Лѣскова говорятъ русскіе люди самыхъ разнообразныхъ положеній, но, думаю, и приведеннаго достаточно, чтобы признать этотъ языкъ языкомъ самого Лѣскова. Замѣчу еще только, что неумѣренная склонность къ вычурнымъ словеснымъ эффектамъ проявлялась у него и разными другими способами. Въ рядѣ анекдотовъ, озаглавленныхъ «Смѣхъ и горе» нѣкій Дургальскій такъ шепелявитъ, что у него выходитъ «голодъ» вмѣсто «городъ» и «блошка» вмѣсто «брошка» (V, 173, 174). Въ «Соборянахъ» въ числѣ дѣйствующихъ лицъ есть учитель Варнава Препотенскій. Это одно изъ тѣхъ созданій Лѣскова, которыхъ онъ безъ всякой мѣры заставляетъ продѣлывать всякія мерзости и глупости, за что самъ же и наказываетъ ихъ осмѣяніями, заушеніями, оплеваніями. Варнава Препотенскій уже довольно долго фигурируетъ въ повѣсти, какъ вдругъ въ немъ обнаруживается еще одна комическая черта: оказывается, что онъ «имѣетъ слабость въ затруднительныя минуты заговариваться и ставить одно слово вмѣсто другого». Поэтому у него выходятъ «люди воспитанскаго семинарія», «Лимона Ивановна дайте мнѣ матренчика», «болова голитъ», «знако лицомое, а гдѣ васъ помнилъ—не увижу», «наступилъ на любимую мозоль» (I, 221, 227, 230). Два послѣднія изреченія, вѣроятно многимъ и помимо Лѣскова извѣстныя, какъ образчики комическихъ обмолвокъ, показываютъ, что онъ не только самъ сочинялъ разныя смѣшныя сочетанія словъ, но не брезгалъ и чужими. И дѣйствительно, онъ по этой части не только мастеръ, а и любитель. Въ «Печерскихъ антикахъ» Лѣсковъ вспоминаетъ, между прочимъ, о первой кіевской газетѣ «Телеграфъ» и ея редакторѣ Юнгѣ. Газета эта—разсказываетъ Лѣсковъ—славилась своими опечатками и поправками къ опечаткамъ. Въ такомъ родѣ: «Вчера у насъ напечатано: Кіевляне преимущественно всѣ *онанисты*,—читай: *оптимисты*». Въ другой разъ авторъ хотѣлъ говорить о «лизоблюдахъ», а вышло: «неудивительно, что при такомъ воспитаніи выходятъ *недоблуды*»; поправка же гласила: «по ошибкѣ напечатано: «недоблуды»,—должно читать: *переблуды*» (X, 371).

На ловца и звѣрь бѣжитъ. Охотникъ до словесныхъ эффектовъ, Лѣсковъ и анекдоты соотвѣтственные находитъ. Если однако, читатель заглянетъ въ указанную страницу «Печерскихъ антиковъ», то увидитъ, что провѣрить разсказъ Лѣскова объ опечаткахъ «Телеграфа» нельзя или, по крайней мѣрѣ, чрезвычайно трудно: онъ разсказываетъ на память, безъ какихъ бы то ни было фактическихъ подтвержденій, ну, а память вѣдь иногда измѣняетъ

людямъ, при чемъ иные или прямо «сочиняютъ», или, по крайней мѣрѣ, присочиняютъ. Во всякомъ случаѣ всѣ эти «онанисты—оптимисты», «недоблуды—переблуды» очень родственны творческому духу самого Лѣскова.

При чтеніи вышеприведеннаго, читатель навѣрное хоть разъ улыбнулся, а можетъ быть и расхохотался. И отчего же не посмѣяться, отчего и людей не посмѣшить. Но та чрезмѣрность, съ которою Лѣсковъ направо и налѣво разсыпаетъ свои искусственныя словечки, уже сама по себѣ должна бы конфузить людей, желающихъ причислить его къ лику первоклассныхъ писателей. Какъ и всякая чрезмѣрность, она не свидѣтельствуетъ о значительности художественныхъ силъ и наноситъ явный ущербъ художественной правдѣ. А между тѣмъ это далеко не единственное выраженіе «безмѣрности» Лѣскова.

Мы видѣли, что въ разсказѣ о тульскомъ Лѣвшѣ сказалась «артистическая удаль, которая иногда превосходила мѣру, вдохновляя народную фантазію къ сочиненію подобныхъ баснословныхъ легендъ». Разсказъ о Лѣвшѣ, дѣйствительно, вполнѣ баснословенъ, но такъ какъ онъ и предлагается намъ въ качествѣ сказки, легенды, то «артистической удали» въ немъ естественно предоставляется гораздо большій просторъ, чѣмъ въ другихъ формахъ литературнаго отраженія жизни. Въ разсказѣ дѣйствуютъ историческія лица—императоры Александръ I и Николай I, генералъ Платовъ, Нессельроде («Кисельвроде»), но они введены въ столь явственное баснословіе, что никому, конечно, и въ голову не придетъ искать тутъ правды исторической. Совсѣмъ другой характеръ имѣли разсказы Кесаря Степановича Берлинскаго, о которомъ Лѣсковъ вспоминаетъ въ «Печерскихъ антикахъ». «Берлинскій былъ самый большой фантазеръ, какого мнѣ удавалось видѣть,—говоритъ Лѣсковъ,—но фантазировалъ онъ не безъ разсчета, иногда очень наивнаго и почти всегда безвреднаго для другихъ. Соображалъ онъ быстро и сочинялъ такія пестрыя фабулы, что если бы онъ хотѣлъ заняться сочинительствомъ литературнымъ, то изъ него, конечно, вышелъ бы любопытный сочинитель. Вдобавокъ къ этому, все, что Кесарь разъ о себѣ сочинилъ, это становилось для самого его истиною, въ которую онъ глубоко и убѣжденно вѣрилъ. Вѣроятно оттого анекдотическія импровизаціи «печерскаго Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго тѣ досочиняли еще больше». (X, 327). Въ импровизаціяхъ Берлинскаго игралъ большую роль императоръ Николай I, и такъ какъ Берлинскій выдавалъ свои импровизаціи за чистую правду, а не за сказку или легенду, то къ его разсказамъ должны быть предъявлены совсѣмъ

не тѣ требованія, что къ будто бы безъимянному автору «сказа» о тульскомъ Лѣвшѣ. И, конечно, чрезмѣрность импровизацій Берлинскаго о будто бы очень фамильярныхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между нимъ и императоромъ Николаемъ, одобренія не заслуживаетъ. «Пестротою фабулъ» Лѣсковъ не уступаетъ Берлинскому, а въ его литературномъ багажѣ, кромѣ беллетристическихъ произведеній, есть и историческія, біографическія, автобіографическія. Къ нимъ слѣдуетъ, однако, относиться съ осторожностью, можетъ быть, не меньшею, чѣмъ какая нужна была слушателямъ импровизацій Берлинскаго. Послѣдній съ чрезвычайною точностью и увѣренностью разсказывалъ о своихъ встрѣчахъ и бесѣдахъ съ императоромъ Николаемъ, и, однако—все это были лишь чрезмѣрныя фантазіи, построенныя на очень скромномъ фактическомъ фундаментѣ: полковникъ Берлинскій былъ лично извѣстенъ государю, какъ очень многіе полковники. Лѣсковъ тоже очень увѣренно и съ подробностями разсказываетъ о себѣ и о разныхъ историческихъ личностяхъ, но что тутъ не все Wahrheit, а есть и Dichtung, а иногда даже очень много Dichtung,—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться. Взять хоть бы вышеприведенный разсказъ объ опечаткахъ въ кіевскомъ «Телеграфѣ». Или вотъ, напримѣръ, образчикъ фантазій будто бы Берлинскаго. Онъ разсказывалъ, что въ Петербургѣ солдаты «такъ его любили, что ему нигдѣ, будто, нельзя было показаться: какъ солдаты его увидятъ, сейчасъ перестаютъ слушать команду и бѣгутъ за нимъ и кричатъ: пусть насъ ведетъ отецъ нашъ полковникъ Берлинскій, мы съ нимъ и Константинополь возьмемъ, и самого побѣдоноснаго полководца *Вылезарія* на царскій смотръ въ цѣпяхъ приведемъ». Тотъ же Берлинскій называлъ своего племянника Николая—«Николавра», и Лѣсковъ поясняетъ: «Здѣсь значеніе усиливалось звукомъ *лавра*. Николай это было простое имя, какъ бываетъ простой монастырь, а *Николавра*—это то же самое, что лавра среди простыхъ монастырей». Не кажется ли читателю, что полководецъ Вылезарій и Николавра одного происхожденія съ Волдавіей и Молдахіей, клеветономъ, публицейскими вѣдомостями и проч.? А если не общаго происхожденія, то, по крайней мѣрѣ, общаго духа, свидѣтельствующаго о нѣкоторой родственности Берлинскаго съ самимъ Лѣсковымъ?

Я не буду говорить о тѣхъ произведеніяхъ Лѣскова, въ которыхъ фигурируютъ подлинныя живыя лица подъ ихъ настоящими именами, такъ какъ рѣшилъ имѣть дѣло исключительно только съ художникомъ. Но все вышесказанное объ «артистической удали, превосходящей мѣру», мы найдемъ въ беллетристикѣ Лѣскова. Отмѣтимъ, однако, сперва еще одну сторону его творчества, его «безмѣрность» еще въ одномъ направленіи.

«Ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова». Такъ говоритъ цитируемый г. Сементковскимъ г. Венгеровъ; и говоритъ отчасти правду, а отчасти нѣчто, прямо противоположное дѣйствительности. Правда, что трудно указать другого писателя съ такимъ богатствомъ фабулы, какъ Лѣсковъ. Но вѣдь и полковникъ Берлинскій сочинялъ въ большомъ количествѣ «пестрыя фабулы». И хотя Лѣсковъ утверждаетъ, что изъ Берлинскаго могъ бы выдти «любопытный сочинитель», однако любопытный сочинитель еще не значитъ первоклассный или даже вообще хвалы достойный сочинитель. Богатство фабулы требуетъ еще многихъ прибавокъ для того, чтобы получилось истинно художественное произведеніе, и прежде всего требуетъ отсутствія «пестроты» или ея незамѣтности, благодаря той «концентрированности», которую г. Венгеровъ совершенно неосновательно усваиваетъ Лѣскову. Въ дѣйствительности именно этой-то сконцентрированности и недостаетъ большинству произведеній Лѣскова. Здѣсь ему опять поперекъ дороги его безмѣрность стала.

Признаюсь, мнѣ стоило немалыхъ усилій дочитывать нѣкоторыя произведенія Лѣскова,—до такой степени они растянуты и переполнены всякаго рода отступленіями, въ свою очередь непомѣрно растянутыми. Многія изъ нихъ представляютъ собою просто длиннѣйшій рядъ анекдотовъ, весьма слабо связанныхъ въ какое-то подобіе цѣлаго. Напримѣръ, «Смѣхъ и горе». Нѣкоторый человѣкъ, Орестъ Марковичъ Ватажковъ, разсказываетъ въ кругу случайныхъ слушателей «такое же potpourri изъ сюрпризовъ, какъ бываетъ potpourri изъ пѣсенъ». Potpourri это занимаетъ слишкомъ 200 страницъ пятаго тома, и разсказчикъ полагаетъ, что оно варьировано на интереснѣйшую тему», а именно слѣдующую: «Жизнь нигдѣ такъ не *преизобилуетъ самыми внезапнѣйшими разнообразіями* (подчеркиваю, какъ характерное для Лѣскова нагроможденіе превосходныхъ степеней), какъ въ Россіи. По крайней мѣрѣ я уѣзжаю отсюда за границу именно для успокоенія отъ калейдоскопической пестроты русской жизни» (V, 5). Итакъ тему, на которой концентрируется безконечный рядъ разсказовъ или анекдотовъ Ватажкова, составляетъ «калейдоскопическая пестрота русской жизни»... Центръ довольно сомнительный и во всякомъ случаѣ предоставляющій автору возможность вертѣть сколько ему угодно калейдоскопъ и прекратить это занятіе опять-таки когда угодно, а не въ силу внутренней необходимости, заключающейся въ самой фабулѣ.

Въ безконечной болтовнѣ приживалки въ «Полунощникахъ»,

пожалуй, есть извѣстный центръ: исторія Клавдиньки. Но она до такой степени переплетена отступленіями, что самъ Лѣсковъ обрываетъ разсказъ словами: «Шехерезада умолкла». Именно Шехерезада: она могла бы, пожалуй, и больше тысячи и одной ночи разсказывать сказку за сказкой, густо посыпая ихъ солью реченій въ родѣ «выдающійся животъ а-ла-пузе», «одѣтъ а-ла-морда», «подземельный банкъ», «пупоны» и проч.

«Очарованный странникъ». Въ смыслѣ богатства фабулы это, можетъ быть, самое замѣчательное изъ произведеній Лѣскова, но въ немъ же особенно бросается въ глаза отсутствіе какого бы то ни было центра, такъ что и *фабулы* въ немъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть цѣлый рядъ *фабулъ*, нанизанныхъ, какъ бусы, на нитку; и каждая бусина сама по себѣ и, можетъ быть, очень удобно вынута, замѣнена другою, а можно и еще сколько угодно бусинъ нанизать на ту же нитку. Припомнимъ хоть начало этого ожерелья.

Группа пассажировъ ѣдетъ на пароходѣ по Ладожскому озеру отъ Коневца къ Валааму, по дорогѣ заѣзжаетъ въ Корелу, потомъ плыветъ дальше. Завязывается разговоръ о Корелѣ. Одинъ изъ пассажировъ выражаетъ мысль, что хорошо бы было «неудобныхъ въ Петербургѣ людей» отправлять не въ отдаленныя какія-нибудь мѣста, а вотъ сюда, въ Корелу, «гдѣ любое вольномысліе и свободомысліе не могутъ устоять передъ апатіей населенія и ужасною скукою гнетущей, скупой природы». Другой пассажиръ разсказываетъ, что однажды сюда былъ сосланъ какой-то дьячекъ и повѣсился. Разговоръ переходитъ на тему о самоубійцахъ и о томъ, «можно ли за нихъ молиться». Молчавшій до тѣхъ поръ пассажиръ въ монашеской одеждѣ вступаетъ въ бесѣду разсказомъ объ одномъ священникѣ, который «всегда на святой проскомидіи за безъ покаянія скончавшихся и руки на ся наложившихъ» молился. Дѣлалъ онъ это съ разрѣшенія московскаго митрополита Филарета, а митрополитъ въ свою очередь имѣлъ на этотъ счетъ разныя видѣнія. Трогательный и довольно длинный разсказъ монаха заинтересовалъ слушателей. Они освѣдомились о личности разсказчика. Оказалось, что онъ, между прочимъ, былъ въ военной службѣ, и именно вотъ кѣмъ: «Я *конэссеръ*-съ, конэссеръ, или, какъ простонароднѣе выразить, я въ лошадяхъ знатокъ и при ремонтерахъ состоялъ для ихъ руководствованія». Идетъ разсказъ о томъ, какъ «конэссеръ» укрощалъ лошадей и въ особенности одну, отъ которой самъ «бѣшенный укротитель» Рарей отказался; затѣмъ разсказъ о томъ, какъ Рарей приглашалъ «конэссера» къ себѣ на службу, и почему это дѣло не состоялось. Тогда слушатели приступаютъ къ разсказчику съ прось-

бой повѣдать имъ свою жизнь, на что онъ тотчасъ же и соглашается. «Только, говоритъ, я иначе не могу, какъ съ самаго первоначала». И начинаетъ... Тутъ и эпизоды изъ ранняго дѣтства, и татарскій плѣнъ, и цыганскій таборъ, и исторія любви какого-то князя, у котораго конэссеръ служилъ, и исторія другой любви того же князя, и разсказы о томъ, какъ конэссеръ на Кавказѣ солдатомъ сражался, и какъ онъ въ адресномъ столѣ служилъ, и какъ онъ на балаганахъ демона представлялъ, какъ въ монастырь попалъ, и какія ему тамъ искушенія были и проч. Все это съ величайшими и подчасъ очень утомительными подробностями. Архитектоника этого литературнаго калейдоскопа нисколько не пострадала бы, если бы конэссеръ, напримѣръ, не представлялъ демона на балаганахъ или, напротивъ, представлялъ не только демона, но еще и какого-нибудь «Вылезарія»; если бы онъ совсѣмъ не былъ въ татарскомъ плѣну или, напротивъ, побывалъ въ этомъ плѣну, а потомъ еще во Францію или Англію какъ-нибудь попалъ. Вдобавокъ пестрыя приключенія конэссера разсказаны какимъ-то дѣланнымъ, то утрированно-простонароднымъ, то стариннымъ книжнымъ языкомъ.

«Запечатлѣнный Ангелъ». Это одинъ изъ лучшихъ разсказовъ во всемъ литературномъ багажѣ Лѣскова. Но, не говоря ужъ объ утрированности языка, отсутствіе чувства мѣры портитъ этотъ разсказъ и въ другихъ отношеніяхъ. На постоялый дворъ ночью вьюга загнала много людей разнаго званія. У одного изъ нихъ, оказавшагося старовѣромъ, какъ это часто случается у Лѣскова, нашлась въ запасѣ «цѣлая большая исторія», которую онъ, тоже по примѣру многихъ другихъ персонажей Лѣскова, по первой же просьбѣ присутствующихъ, соглашается разсказать. Почему-то этотъ разсказчикъ стоитъ на колѣняхъ, когда всѣ прочіе сидятъ или лежатъ. Ему предлагаютъ устроиться поудобнѣе, но онъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ-съ, на этомъ благодарю-съ! Зачѣмъ васъ стѣснять, да и къ тому же повѣсть, которую я предъ вами поведу, пристойнѣе на колѣняхъ стоя сказывать, потому что это дѣло весьма священное и даже страшное». И затѣмъ онъ, стоя на колѣняхъ, говоритъ на протяженіи слишкомъ 70 страницъ убористаго шрифта. Пусть кто нибудь изъ почитателей Лѣскова прочитаетъ этотъ разсказъ, стоя на колѣняхъ, и я увѣренъ, что, поднявшись, онъ скажетъ: да, это ужъ «безмѣрно»! А и эта безмѣрность вызвана безмѣрностью же: весь тонъ разсказа свидѣтельствуетъ, тоже до чрезмѣрности, о чувствахъ, волнующихъ разсказчика, но Лѣскову и это кажется мало, а потому онъ считаетъ нужнымъ еще подчеркнуть ихъ, заставивъ своего героя стоять на колѣняхъ. При этомъ не видно, однако, зачѣмъ онъ стоялъ на колѣняхъ до разсказа о

«дѣлѣ весьма священномъ и даже страшномъ»: онъ не молился и участвовалъ въ разговорѣ объ обыкновенныхъ житейскихъ дѣлахъ. Какъ бы то ни было, но чтобы растянуть разсказъ на 70 страницъ, разсказчикъ торопиться не долженъ. Онъ и не торопится и вводитъ въ свою повѣсть непомѣрное количество отступленій и постороннихъ эпизодовъ, при чемъ рѣчь не всегда о дѣлахъ священныхъ и даже страшныхъ идетъ. Напримѣръ: «У насъ въ русскомъ настоящемъ понятіи насчетъ женскаго сложенія соблюдается свой типъ, который по нашему гораздо нынѣшняго легкомыслія соотвѣтственнѣе. Мы длинныхъ цыбовъ не уважаемъ, а любимъ, чтобы женщина стояла не на долгихъ ножкахъ, да на крѣпонькихъ, чтобъ она не путалась, а какъ шарикъ всюду каталась и поспѣвала, а цыбастенькая побѣжитъ да спотыкнется. Зміевидная тонина у насъ тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была изъ себя понѣдристѣе и съ пазушкой, потому оно хотя это и не такъ фигурно, да за то материнство въ ней обозначается; лобочки въ нашей настоящей чисто русской женской породѣ хоть потѣльнѣе, помясистѣе, а за то въ этомъ мягкомъ лобочкѣ веселости и привѣта больше. То же и насчетъ носика: у нашихъ носики не горбылемъ, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо благоувѣтливѣе, чѣмъ сухой гордый носъ. А особливо бровь» и т. д. (I, 465, 466). Согласитесь съ тѣмъ, что для этой диссертаціи можно бы и поднять разсказчика съ колѣнъ, а еще бы лучше и совсѣмъ не вводить ее въ повѣсть о «дѣлѣ священномъ и даже страшномъ». Пропорціональность отдѣльныхъ частей разсказа отъ этого только выиграла бы, равно какъ и пропорціи фигуры разсказчика: но пропорціональность, художественная мѣра и есть именно то, чего никогда не хватало Лѣскову.

То же отсутствіе чувства мѣры сказывается и въ пристрастіи Лѣскова къ изображенію, съ одной стороны, «праведниковъ» (онъ ихъ иногда такъ и называетъ), а съ другой—злодѣевъ, превосходящихъ всякое вѣроятіе. Изъ нашихъ писателей, не то что первоклассныхъ, а хоть сколько нибудь заслуживающихъ памятной отмѣтки въ исторіи литературы, не найдется ни одного, который бы такъ неумѣренно возвеличивалъ своихъ любимцевъ и всячески пригнеталъ своихъ художественныхъ пасынковъ. Здѣсь эстетическая «безмѣрность» переходитъ уже въ ту свою параллель въ нравственной области, которая называется отсутствіемъ справедливости. Но мы будемъ говорить, какъ условились, только о художникѣ.

Разными орудіями бьетъ и казнитъ своихъ пасынковъ Лѣсковъ. Я не имѣю ни времени, ни, признаться, охоты изслѣдовать

весь этотъ арсеналъ, да едва ли въ этомъ есть и надобность. Двухъ-трехъ примѣровъ для моей цѣли достаточно.

Въ романѣ «На ножахъ» есть главы, называющіяся «Два вора», «Дока на доку нашелъ», «Воръ у вора дубинку укралъ». Житейское положеніе, выражаемое этими поговорками, есть одна изъ излюбленнѣйшихъ темъ Лѣскова. И это очень характерно все для той же его безмѣрности: изобразивъ негодяя или, по крайней мѣрѣ, хитреца, онъ искалъ случая свести его съ человѣкомъ еще гнуснѣе или хитрѣе, затѣмъ этого послѣдняго или обоихъ съ хитрѣйшими, наконецъ, согласно своей склонности къ нагроможденію превосходныхъ степеней, съ самымъ хитрѣйшимъ. Темѣ этой Лѣсковъ иногда посвящалъ отдѣльные разсказы (напримѣръ «Отборное зерно», «Обманъ», т. VII), а иногда эксплуатировалъ въ видѣ эпизодовъ въ большихъ своихъ произведеніяхъ. Впрочемъ, романъ «На ножахъ» почти сплошь состоитъ изъ такихъ эпизодовъ. Тутъ два-три «праведника», не смотря на всю свою неизреченную красоту, еле мерцаютъ среди какого-то неистоваго шабаша вѣдьмъ и демоновъ, кувыркающихся другъ черезъ друга и озабоченныхъ лишь тѣмъ, чтобы не только «праведниковъ», но и одинъ другого, другой третьяго и т. д. надуть. Воры, убійцы, поджигатели, обманщики-спириты, ростовщики, шпіоны, содержанки спутываются въ какой-то невѣроятно дикій клубокъ, слѣдить за нитями котораго почти физически тяжело. Но порокъ въ концѣ концовъ не торжествуетъ. И вотъ, для образца, какъ казнится онъ въ лицѣ одного изъ негодяевъ, Висленева. Это воръ и убійца и все-таки далеко не самый большой негодяй въ коллекціи. У него «воруютъ дубинки» архи-негодяй Гордановъ, красивый демонъ въ юбкѣ Глафира Бодростина, собственная его жена, любовникъ ея, шпіонъ и ростовщикъ Кишенскій. Послѣдніе двое составляютъ источникъ едва ли не наибольшихъ несчастій Висленева: они запутали его въ неоплатные долги и всячески притѣсняютъ, такъ что онъ, когда-то пропагандистъ «женскаго вопроса», и, такъ сказать, ради него женившійся (это особая и очень длинная исторія), теперь трепещетъ передъ этимъ «женскимъ вопросомъ», видя его воплощеніе въ своей женѣ. Это не мѣшаетъ ему быть влюбленнымъ въ Глафиру Бодростину и, домогаясь взаимности, совершать всевозможныя подлости. Бодростина, въ своихъ преступныхъ цѣляхъ, облыжно подаетъ ему надежды и, между прочимъ, везетъ его съ собой въ Парижъ, гдѣ выдаетъ его за лакея, дворецкаго, а потомъ медіума, каковыя роли онъ исполняетъ съ успѣхомъ. Изъ всей этой путаницы мы остановимся только на возвращеніи Висленева, вмѣстѣ съ Бодростиной, въ Россію.

Въ Берлинѣ Висленевъ выкрасился—или, какъ не совсѣмъ

изящно, но во вкусѣ Лѣсковскаго остроумія выражается Бодростина, «окрасился въ вороную масть и росписалъ себѣ родимыми бородавками фронтонъ». Онъ такъ мотивируетъ эту метаморфозу: «Я за границей, при иностранныхъ законахъ о правѣ женщины, не трусилъ и никогда бы не струсилъ и не побоялся моей жены, будь я ей хоть даже вдесятеро болѣе долженъ; но когда мы въѣзжаемъ въ Россію, гдѣ на сторонѣ женщины законъ, тутъ... я, какъ мужчина, обязанъ сберечь свою свободу отъ жениной власти; да-съ, я это обязанъ!» (IX, 189).—Не забудьте, что это труситъ воръ и убійца, но дѣло въ томъ, что у него «украли дубинку» еще болѣе вороватые жена и ея любовникъ. Казалось бы, даже гораздо болѣе совѣстливый человѣкъ, чѣмъ Висленевъ, можетъ довольно просто выпутаться изъ когтей жены и ея любовника, но нашъ авторъ не любитъ простыхъ путей: ему нужно, чтобы у вора была украдена дубинка и чтобы болѣе вороватые колотили его этой дубинкой, что называется, сколько влѣзетъ. И вотъ Висленевъ, не довольствуясь переодѣваніемъ въ Берлинѣ, еще усиливаетъ его въ Петербургѣ: подвязалъ себѣ огромную бороду и надѣлъ на голову «вязаный полосатый британскій колпачекъ». Въ этомъ дурацкомъ видѣ онъ, къ удивленію Бодростиной (да и читателя), зачѣмъ-то вскакиваетъ, за лакея, на козлы ея кареты, нанятой у вокзала, хотя, конечно, въ каретѣ онъ былъ бы безопаснѣе. Затѣмъ, добравшись въ лакейскомъ видѣ до дома мужа Бодростиной, онъ вихремъ пролетаетъ черезъ всю квартиру и запирается въ ванной комнатѣ, откуда уже не хочетъ выходить. При этомъ онъ выдергиваетъ кранъ въ ваннѣ и чуть не затопляетъ квартиру, а самъ стоитъ «какъ мраморный дельфинъ, окатываемый брызгами фонтана»...

Этимъ далеко не кончаются злоключенія Висленева, но право же скучно за ними слѣдить. Я выбралъ далеко не самый яркій эпизодъ изъ романа «На ножахъ», при томъ же подкрашенный комизмомъ, но его, по крайней мѣрѣ, можно выдѣлить. Исторія же краденыхъ дубинокъ другихъ дѣйствующихъ лицъ романа—Бодростиной, Горданова, Кишенскаго, Ропшина, княгини Вахтерминской и двухъ ея любовниковъ и проч.—просто непередаваема, до такой степени переплетены злодѣйства и подлости этихъ кознодѣевъ и архи-кознодѣевъ. Поистинѣ можно сказать: «быкъ реветъ, медвѣдь реветъ, а кто кого деретъ,—самъ чортъ не разберетъ». А вдобавокъ въ концѣ романа на сценѣ появляются судебные слѣдователя и сыщики, которые, не будучи сами «ворами», всѣхъ или почти всѣхъ «воровъ» перехитряютъ и на законномъ основаніи у нихъ дубинки отбираютъ.

Такую же непомѣрную путаницу всевозможныхъ пакостей и взаимныхъ подсиживаній представляютъ отношенія Варнавы Пре-

потенскаго, князя Борноволокова, Термосесова и др. въ «Соборянахъ». Любопытно, что Варнава Препотенскій терпитъ отъ автора приблизительно такую же казнь, какъ Висленевъ въ «На ножахъ». Вотъ что сообщаетъ объ немъ дьяконъ Ахилла изъ Петербурга: «Варнава сталъ человѣкъ жестоко несчастливый, потому что невдавняхъ женился на здѣшней барышнѣ, которая гораздо всякой дамы строже и судитъ все противъ брака, а Варнаву, говорятъ, не рѣдко бьетъ, и онъ теперь совсѣмъ уже не такой: самъ мнѣ открылся, что если бы не боялся жены, то готовъ бы даже за Бога въ газетѣ заступиться, и ругательски ругаетъ госпожу Бизюкину, а особливо Термосесова, который чудесно было себя устроилъ и получалъ большое жалованье на негласной службѣ для надзора за честными людьми, но врагъ его смутилъ жадностію: сталъ фальшивыя бумажки перепущать и теперь въ острогѣ сѣлъ» (I, 319).

Но оставимъ этихъ энциклопедическихъ, всестороннихъ изверговъ и негодяевъ и попробуемъ взглянуть на Лѣсковскихъ «праведниковъ». Ихъ у него много. Онъ ихъ и изъ древнихъ сказаній заимствовалъ, и изъ исторической или якобы исторической дѣйствительности, и, наконецъ, изъ собственной художественной фантазіи. Въ числѣ ихъ есть люди высокопоставленные и мелкая сошка, духовнаго и свѣтскаго званія, мужского и женскаго пола, мудрые и придурковатые. Мы остановимся только на одной ихъ группѣ, представляющей нѣкоторый спеціальный интересъ.

Въ разсказѣ «Звѣрь» (т. VII) фигурируетъ жестокій помѣщикъ, распространяющій вокругъ себя страхъ и уныніе. Онъ большой любитель охоты и выращиваетъ у себя медвѣжатъ, которыхъ, по достиженіи ими извѣстнаго возраста, травитъ собаками. Въ числѣ его охотниковъ есть двадцатипятилѣтній парень Ферапонтъ, красавецъ, силачъ и удалецъ. Съ медвѣдями онъ былъ вообще въ дружескихъ отношеніяхъ, но въ особенности пользовался его любовью и отплачивалъ ему взаимностью молодой медвѣдь Сганарель. И вотъ наступила очередь этому Сганарелю быть убитымъ. Помѣщикъ, знавшій объ отношеніяхъ Ферапонта къ Сганарелю, съ утонченною жестокостью предоставилъ ему главную роль на охотѣ. Кончилось, однако, тѣмъ, что Ферапонтъ далъ медвѣдю убѣжать въ лѣсъ, при чемъ пулю, предназначенную Сганарелю, получилъ нечаянно въ руку онъ, Ферапонтъ. Помѣщикъ былъ чрезвычайно разгнѣванъ, и всѣ со страхомъ ожидали, какое наказаніе придумаетъ онъ Ферапонту. Но случилось нѣчто для всѣхъ неожиданное. Дѣло было на Рождествѣ. Старичекъ священникъ заговорилъ съ дѣтьми, въ присутствіи гнѣвнаго помѣщика, о смыслѣ пѣсни «Христосъ раждается» и продолжалъ свою

рѣчь такъ трогательно на тему о любви и прощеніи, что помѣщикъ смягчился и даже расплакался. А затѣмъ произошло слѣдующее. Помѣщикъ велѣлъ позвать Ферапонта, или «Храпошку», какъ его обыкновенно называли.

Тотъ предсталъ блѣдный, съ подвязанной рукой.

— Стань здѣсь! — велѣлъ ему дядя (помѣщикъ) и показалъ рукою на коверъ.

Храпошка подошелъ и упалъ на колѣни.

— Встань... поднимись!—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему въ ноги. Дядя заговорилъ нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ.

— Ты любилъ звѣря, какъ не всякій умѣетъ любить человѣка. Ты меня этимъ тронулъ и превзошелъ меня въ великодушіи. Объявляю тебѣ отъ меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди, куда хочешь.

— Благодарю, я никуда не пойду,—воскликнулъ Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду, повторилъ Ферапонтъ.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вамъ вольной волей служить честнѣй, чѣмъ за страхъ по неволѣ.

Дядя моргнулъ глазами, приложивъ къ нимъ одной рукой свой бѣлый фуляръ, а другой, нагнувшись, обнялъ Ферапонта...

Ферапонтъ сталъ вольнымъ, но остался служить у помѣщика, переѣхалъ съ нимъ въ Москву, тамъ похоронилъ его, самъ умеръ и «лежитъ въ ногахъ у него». «Но въ московскихъ норахъ и трущобахъ есть люди, которые помнятъ бѣлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ умѣлъ узнавать, гдѣ есть истинное горе, и умѣлъ поспѣвать туда во-время самъ, или посылалъ не съ пустыми руками своего добраго пучеглазаго слугу». Эти два праведника и были возродившійся къ новой жизни помѣщикъ и его вѣрный Ферапонтъ.

Лѣсковъ есть по преимуществу разсказчикъ анекдотовъ. Даже его большія произведенія представляютъ собою, собственно говоря, цѣпь анекдотовъ, болѣе или менѣе прямолинейную, какъ въ «Очарованномъ странникѣ», «Запечатлѣнномъ Ангелѣ», «Полунощникахъ», «Смѣхѣ и горѣ», «Печерскихъ антикахъ» и проч., или же чрезвычайно запутанную, какъ въ «Соборянахъ», «Захудаломъ родѣ», «Некуда», «На ножахъ». Анекдотъ же, какъ нѣчто отрывочное и случайное, серьезно самостоятельнаго значенія не имѣетъ. Въ лучшемъ случаѣ онъ призванъ не характеризовать извѣстное лицо или положеніе, а лишь дополнять или иллюстрировать характеристику. Въ большинствѣ же случаевъ анекдотъ цѣнится ради его мимолетной занимательности: анекдотъ выслушанъ, произвелъ извѣстное впечатлѣніе, трогательное или комическое, и съ васъ

этого довольно, вы не очень задумываетесь надъ тѣмъ, сколько въ немъ были и сколько небылицы. Можно бы было признать именно такимъ анекдотомъ разсказъ о жестокомъ помѣщикѣ и вѣрномъ Ферапонтѣ, на ряду съ какими-нибудь пустяками въ родѣ «Путешествія съ нигилистомъ» (т. VII), «Голоса природы» (тамъ же) и т. п.: пробѣжать можно, но задумываться не стоитъ и сейчасъ же забыть можно. Однако въ разсказѣ о Ферапонтѣ есть черта, которую Лѣсковъ не давалъ забыть, къ которой онъ даже слишкомъ часто возвращался и въ мелкихъ своихъ произведеніяхъ, и въ романахъ. Черта эта — рабская преданность. Естественно, что черта эта главнымъ образомъ пробивается въ разсказахъ изъ дореформеннаго помѣщичьяго, крѣпостного быта. Главнымъ образомъ, но отнюдь не исключительно. Лѣсковъ вовсе не былъ почитателемъ крѣпостного права, какъ учрежденія, и умилялся не имъ, а добровольнымъ рабствомъ. Въ разсказѣ «Дама и Фефела» мы имѣемъ параллель между утрированно грубою «дамой» и «простолюдинкой», горничной или нянькой, Прашей, съ нѣжнымъ и благороднымъ сердцемъ, настоящей праведницей. Дѣло происходитъ уже въ новѣйшее время, и Праша, хотя и крестьянка, но человѣкъ вольный. Когда «дама», истерзавъ своего мужа, разошлась съ нимъ, Праша переселилась къ нему. «Я—разсказывала она—только и хотѣла, чтобъ онъ зналъ, что онъ теперь не одинъ, а у него есть *раба*» (курсивъ Лѣскова: XII, 83). Въ «Старинныхъ психопатахъ» жена помѣщика Вишневскаго поставляетъ ему любовницъ, «крѣпостныхъ одалисокъ». Мужъ жилъ иногда въ другомъ имѣніи и жена, приготовивъ для него дѣвицу «по его вкусу», приглашала его къ себѣ. Онъ отвѣчалъ: «очень тебя благодарю и заботы твои обо мнѣ цѣню, а впрочемъ, въ главномъ выборѣ я на твой вкусъ больше, чѣмъ на свой собственный, полагаюсь». А жена въ свою очередь писала: «За довѣріе твое, безцѣнный другъ мой, весьма тебя благодарю и въ разсужденіи моего вкуса, въ чемъ на меня полагаешься, отъ души тебѣ угодить надѣюсь. но только прошу тебя, ангелъ моей души, пріѣзжай ко мнѣ сколь возможно скорѣе, потому что сердце мое по тебѣ стосковалося, и ты увидишь, что я не объ одной себѣ сокрушаюсь, но и твой вкусъ понимаю. Дѣти наши обѣ здоровы и тебѣ кланяются и цѣлуютъ ручки». Подпись: «твоя вѣрная жена и раба Степанида» (VII, 379). Авторъ приводитъ еще такое же письмо и съ видимымъ удовольствіемъ прибавляетъ: «И опять та же подпись: «жена и раба».

Эта рабская преданность, именно рабская, какъ неоднократно и разными способами подчеркиваетъ Лѣсковъ, умиляетъ его сама по себѣ, какъ таковая, и онъ не заботится о томъ, чтобы какъ-

нибудь мотивировать ее и тѣмъ самымъ сдѣлать для читателя понятною. Напримѣръ, въ вышеупомянутомъ разсказѣ «Звѣрь» нѣтъ ни одного штриха, который подготовилъ бы читателя къ рѣшенію Ферапонта, получивъ вольную, остаться служить свирѣпому помѣщику. Ферапонтъ человѣкъ молодой, полный жизни, — казалось бы, съ чего ему оставаться при баринѣ, который только что съигралъ съ нимъ злую шутку, да и вообще своею свирѣпостью прославился? Но, по шучьему велѣнью, по авторскому прошенью, на Ферапонта ни съ того, ни съ сего нисходитъ духъ преданности, за что авторъ и производитъ его, вмѣстѣ съ бариномъ, въ праведники.

Въ числѣ вводныхъ эпизодовъ, непомѣрно пестрящихъ «На ножахъ», любопытно появленіе у гроба Бодростина его стараго двороваго, полупомѣшаннаго восьмидесятилѣтняго «Сида». Онъ ругательски ругаетъ своего барина; ему замѣчаютъ, что не годится такъ говорить о покойникѣ, да еще надъ его тѣломъ.

— А что мнѣ его тѣло! рѣзко отвѣтилъ старикъ. А извѣстно ли кому, что это не его тѣло, а мое? Да, да: кто мнѣ смѣетъ сказать, что это его тѣло? Когда онъ двѣнадцати лѣтъ тонулъ, кто его вытащилъ? Я! Кто его устыжалъ, когда онъ въ Бога не вѣрилъ? Я! Кто его на войнѣ изъ чужихъ мертвыхъ тѣлъ на спинѣ унесъ? Я! Я, все я, вѣрный рабъ Сидоръ Тимоѳеевъ, я его изъ могилы унесъ, моимъ дыханьемъ отдышалъ! — закричалъ старикъ, начавъ колотить себя въ грудь, и вдругъ подскочилъ къ самому столу, на которомъ лежалъ обезображенный мертвецъ, присѣлъ на корточки и зашамкалъ:—Я ради тебя имя крестное потерялъ, а ты какъ Сидора Тимоѳеева злымъ псомъ называлъ? Какъ по сусаламъ билъ? какъ ты его за дерзость на цѣпь сажалъ? За что, за правду! За то, что я вѣрный рабъ, я крѣпостной слуга, не наемникъ скаредный, не за деньги тебѣ служилъ, а за побои, потому что я правду говорилъ, и говорилъ я тебѣ, что я тебя переживу, и я тебя пережилъ, пережилъ, и я на судъ съ тобой стану, и ты мнѣ поклонишься и скажешь; «прости меня, Сидъ», и я тебя тогда прощу, потому что я вѣрный рабъ, а не наемщикъ, а теперь ты лежи, когда тебя Богъ убилъ, лежи и слушай» (IX, 421).

Изъ разсказовъ постороннихъ людей оказывается, что Сидъ дѣйствительно много разъ выручалъ барина изъ большихъ бѣдъ, но и былъ отъ него жестоко битъ, преимущественно за докучныя наставленія. А когда баринъ «давалъ Сиду и отпускную, и деньги, и землю, то Сидъ Тимоѳеичъ все это съ гордостію отвергъ:—Ишь ты, подлое твое дворянское отродье, откупиться лучше хочешь, чтобы благодарнымъ не быть,—отвѣчалъ онъ, разрывая отпускную и дарственную».

Въ хроникѣ «Захудалаго рода» Патрикѣй Сударичевъ, крѣпостной слуга князя Протозанова, привозитъ женѣ послѣдняго извѣстіе, что князь убитъ на войнѣ. Княгиня наградила его за вѣрную службу отпускною и клочкомъ земли. Преданный Патрикѣй воз-

ропталъ противъ этого и сталъ энергически отказываться. Княгиня настояла на своемъ, но затѣмъ оказалось, что Патрикѣй засунулъ вольную въ какой-то ящикъ, гдѣ она и провалялась сорокъ лѣтъ. Патрикѣй «имѣлъ умъ довольно глубокій и сосредоточенный, характеръ солидный и даже немножко важный; онъ по натурѣ былъ фанатикъ рабской преданности и твердый консерваторъ старыхъ порядковъ» (VI, 33). «Охотникъ мечтать о дарованіяхъ и талантахъ, погибшихъ въ разныхъ русскихъ людяхъ отъ крѣпостного права, имѣлъ бы хорошую задачу расчислить: какихъ степеней и положеній могъ достичь Патрикѣй на поприщѣ дипломатіи или науки, но я не знаю, предпочелъ ли бы Патрикѣй Семенычъ всякій блестящій путь тому, что считалъ своимъ призваніемъ: быть вѣрнымъ слугой своей великодушной княгинѣ. Ея рабъ, говорилъ онъ, и ея рабомъ я умру. И онъ такъ и сдѣлалъ. Въ этомъ былъ его point d'honneur и даже болѣе: онъ чувствовалъ потребность быть ей преданъ безъ мѣры» (68).

Именно «безъ мѣры». Типъ безкорыстно преданнаго дворового человѣка не разъ эксплуатировался въ нашей беллетристикѣ и большими, и малыми художниками. Но никто не обращался къ нему такъ часто и не освѣщалъ его такъ преувеличенно и односторонне, такъ во всѣхъ отношеніяхъ «безмѣрно», какъ Лѣсковъ. Для «фанатика рабской преданности» Патрикѣя Сударичева онъ придумываетъ, напримѣръ, такое невозможное положеніе. У Патрикѣя есть сынъ, котораго княгиня Протозанова беретъ подъ свое покровительство, отдаетъ учиться и, что называется, выводитъ въ люди. Молодой Сударичевъ пріѣзжаетъ къ отцу на побывку уже архитекторомъ. Княгиня приглашаетъ его къ себѣ обѣдать. Старый Сударичевъ возсталъ противъ этого: «Какъ, онъ, его сынъ «Николашка», будетъ сидѣть за однимъ столомъ съ княгиней! За тѣмъ самымъ столомъ, за которымъ самъ онъ, Патрикѣй Семенычъ, такъ упорно присвоилъ себѣ право стоять и обходить гостей съ бутылкой мадеры... И, стало быть, теперь онъ и къ сыну, къ «Николашкѣ», долженъ будетъ подойти съ обернутою салфеткой бутылкой вина и спросить «прикажете мадеры» (65). Положеніе, конечно, трудное, но не безвыходное, даже не для такого тонкаго ума, какимъ авторъ рекомендуетъ княгиню Протозанову. Но княгиня нашлась только на половину: утихомирила старика и дала ему какое-то порученіе на время обѣда, но допустила, что въ половинѣ обѣда онъ явился, занялъ свое обычное мѣсто за княгининымъ стуломъ, а въ надлежащее время сталъ обходить гостей съ бутылкой мадеры. «Онъ хотѣлъ показать, что изъ преданности можетъ даже и это снести», но, дойдя до сына и уже наклонив-

шись къ нему для обычнаго вопроса: «прикажете?»—не выдержалъ и, крикнувъ: «пошелъ вонъ!» упалъ въ обморокъ...

Нѣтъ, кажется, надобности настаивать на совершенной нелѣпости этой сцены. Ясно, что для возведенія Патрикѣевской преданности въ «самую превосходную» степень Лѣсковъ наградилъ всѣхъ присутствовавшихъ за обѣдомъ, со включеніемъ Сударичева-сына и добродѣтельной княгини Протозановой, мѣдными лбами: никому изъ нихъ не позволилъ предотвратить нелѣпый эффектъ лакейскаго услуженія старика отца молодому сыну.

Съ особеннымъ наслажденіемъ размазываетъ (именно размазываетъ) Лѣсковъ словесную автобіографію «плодомасовскаго карлика», Николая Афанасьевича, «вѣрнаго раба», крѣпостного господъ Плодомасовыхъ. Въ изданіи сочиненій она имѣется въ двухъ экземплярахъ: въ первомъ томѣ (150 — 171 стр.) и въ шестомъ (410—430). И не только самъ Лѣсковъ наслаждается, сочиняя эту автобіографію, но и слушателей разсказовъ безмѣрно преданнаго карлика заставляетъ умиляться. Они восхищаются этими разсказами и вставляютъ въ нихъ умиленныя восклицанія: «Найтеплѣйше это у него выходитъ!» «Ахъ, старичекъ прелестный!» Между прочимъ, карликъ разсказываетъ, какъ барыня хотѣла его женить на карлицѣ же, Меттѣ Ивановнѣ, «для пыжиковъ». «Это, то есть, она желала маленькихъ людей развесть», записываетъ въ своемъ дневникѣ священникъ Туберозовъ. Свадьба не состоялась собственно потому, что г-жа Плодомасова хотѣла купить Метту Ивановну, а владѣлица Метты Ивановны хотѣла, напротивъ, сама купить Николая Афанасьевича; дѣтей отъ нихъ, то есть «пыжиковъ», обѣ помѣщицы другъ другу уступали. А въ то время, какъ шла эта торговля, карликъ и карлица должны были забавлять барынь: ихъ, напримѣръ, одѣвали медвѣдями и заставляли бороться...

Этотъ разсказъ карлика производитъ небыкновенно тяжелое впечатлѣніе. Всѣ мы знаемъ, что и не такія еще вещи продѣлывались надъ людьми въ такъ называемое доброе старое врямя. Поэтому не столько содержаніемъ своимъ непріятно поражаетъ разсказъ карлика, сколько тѣмъ умиленнымъ, слащавымъ тономъ, которымъ онъ ведется, тѣмъ восторгомъ, съ которымъ его слушаютъ присутствующіе, наконецъ, тѣмъ явнымъ сочувствіемъ, съ которымъ все это сочиняетъ Лѣсковъ. Г-жа Плодомасова изображена вообще гораздо болѣе симпатичными чертами, чѣмъ баринъ «вѣрнаго раба» Ферапонта или баринъ «вѣрнаго раба» Сида, но вѣдь нельзя же все-таки, кажется, восторгаться желаніемъ свести двухъ карликовъ для приплода «пыжиковъ», или этой борьбой двухъ несчастныхъ уродцевъ, наряженныхъ медвѣдями. Пусть бы

«вѣрный рабъ» умилялъ какими-нибудь другими воспоминаніями о своей барынѣ, а объ этой обидѣ и издѣвательствѣ хоть умолчалъ бы изъ уваженія къ памяти покойницы. А онъ не только не умалчиваетъ, но разсказываетъ съ восторгомъ и приводитъ въ восторгъ и умнаго и благороднаго попа Туберозова, и добродушнаго дьякона Ахиллу, и другихъ, а главное—Лѣскова. Чѣмъ же Лѣсковъ тутъ восторгается? Ни чѣмъ инымъ, какъ фактомъ безмѣрной преданности вѣрнаго раба, ради которой онъ тоже безмѣрно готовъ пожертвовать и здравымъ смысломъ, и художественной правдой.

Я кончилъ о Лѣсковѣ. Я не думалъ исчерпать содержаніе всѣхъ двѣнадцати томовъ его сочиненій, но, думаю, и приведеннаго достаточно, чтобы видѣть, что въ какомъ бы направленіи или отношеніи мы ни изслѣдовали этого плодовитаго писателя,—въ отношеніи ли языка, или характера дѣйствующихъ лицъ, или архитектуры фабулы,—мы вездѣ встрѣтимся съ однимъ и тѣмъ же его кореннымъ свойствомъ: безмѣрностью, отсутствіемъ чувства мѣры. Это станетъ еще болѣе яснымъ, если ввести элементъ, мною намѣренно устраненный: его отношеніе къ нашимъ различнымъ партіямъ. Здѣсь природная безмѣрность окрыляется политическою озлобленностью, вслѣдствіе чего образы и картины получаютъ характеръ чудовищно фантастическій. Пусть любуются на нихъ гг. Сементковскіе, тѣмъ самымъ свидѣтельствуя, помимо всего прочаго, о своей свободѣ отъ элементарнѣйшаго художественнаго чутья, а для насъ и безъ того ясно, что писателю, столь во всѣхъ отношеніяхъ безмѣрному, не мѣсто въ первыхъ рядахъ литературы.

За послѣдніе годы ни одно беллетристическое произведеніе не вызывало столько разговоровъ, какъ напечатанный въ апрѣльской книжкѣ «Русской Мысли» разсказъ г. Чехова «Мужики». Не въ первый разъ г. Чеховъ вызываетъ къ себѣ такое усиленное и сосредоточенное вниманіе. Такъ было, напримѣръ, съ его комедіей «Ивановъ». Скоро однако разговоры объ этомъ вполнѣ неудачномъ произведеніи совсѣмъ прекратились и вышло такъ, какъ будто никогда и не было комедіи «Ивановъ». Мнѣ думается, что то же самое должно произойти и съ разсказомъ «Мужики». Это, разумѣется, ни малѣйше не колеблетъ репутаціи г. Чехова, а репутація эта очень опредѣленна: сильный талантъ, который можетъ, конечно, промахнуться и слабой вещью, но которому, главное, какія-то обстоятельства мѣшаютъ развернуться во всю мѣру своей силы. Въ то же время едва ли кто отнесетъ г. Чехова

къ числу писателей, «подающихъ надежды». Всѣ его почитатели— а у него ихъ очень много—признаютъ его уже осуществившимъ возможныя надежды и, слѣдовательно, мирятся съ тѣмъ, что этотъ большой талантъ никогда не покажетъ намъ полной мѣры своей силы.

«Мужики» были встрѣчены критикою болѣе чѣмъ благосклонно. По крайней мѣрѣ тѣ отзывы, которые мнѣ попадались, переполнены похвалами. Говоря совершенно искренно, я не понимаю этихъ восторговъ. «Мужики» далеко не изъ лучшихъ разсказовъ г. Чехова. Въ нихъ есть что-то недодѣланное, отзывающееся черновикомъ, при пересмотрѣ котораго авторъ навѣрное нѣкоторыя части развилъ бы, выдвинулъ бы впередъ, а нѣкоторыя другія, напротивъ, сократилъ бы. Вотъ, напримѣръ, часть описанія пожара:

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожаръ былъ далеко, на другомъ краю; вышелъ Николай въ валенкахъ, повыбѣгали дѣти въ рубашенкахъ. Около избы десятскаго забили въ чугунную доску. «Бемъ, бемъ, бемъ»... понеслось по воздуху, и отъ этого частаго, неугомоннаго звона щемило за сердце и становилось холодно. *Старыя бабы стояли съ образами.* Изъ дворовъ выгоняли на улицу овецъ, телятъ и коровъ, выносили сундуки, овчины, кадки. *Вороной жеребецъ, котораго не пускали въ табунъ, такъ какъ онъ лягалъ и ранилъ лошадей, теперь, пущенный на волю, топоча, со ржаньемъ, пробѣжалъ по деревнѣ разъ и другой и вдругъ остановился около телѣги и сталъ бить ее задними ногами.*

Зазвонили и на той сторонѣ, въ церкви.

Около горѣвшей избы было жарко и такъ свѣтло, что на землѣ видна была отчетливо каждая травка. На одномъ изъ сундуковъ, которые успѣли вытащить, сидѣлъ Семенъ, рыжій мужикъ съ большимъ носомъ, въ картузѣ, надвинутомъ на голову глубоко, до ушей, въ пиджакѣ; его жена лежала лицомъ внизъ, въ забытьи, и стонала. Какой-то старикъ лѣтъ восьмидесяти, низенькій, съ большой бородой, похожій на гнома, не здѣшній, но, очевидно, причастный къ пожару, ходилъ вездѣ съ бѣлымъ узелкомъ въ рукахъ; *на лысинѣ его отсвѣчивалъ огонь.*

Не правда ли, яркая картинка? Вглядитесь, однако, въ нее попристальнѣе, хотя бы только въ тѣ мѣста, которыя я подчеркнулъ. «Старыя бабы стояли съ образами». На одной изъ передвижныхъ выставокъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, была картина на этотъ сюжетъ: освѣщенная очевидно близкимъ пламенемъ пожара часть избы, у дверей которой стоитъ старая баба съ иконой въ рукахъ. Ничего больше, никакихъ другихъ подробностей. Но въ физіономію бабы художникъ (къ сожалѣнію, не помню его имени) вложилъ столько спокойной увѣренности, что икона оградитъ избу отъ огня, который, однако, вотъ-вотъ отгонитъ бабу,— что передъ вами раскрывается цѣлая сложная сторона мужицкой

жизни. Въ картинѣ г. Чехова старыя бабы съ образами—мелкая деталь, занимающая ровно столько же мѣста, сколько отраженіе огня на лысинѣ старика. При томъ же записана эта деталь такъ небрежно, что не всякій и пойметъ, въ чемъ тутъ дѣло: можетъ быть бабы просто спасали образа. За то мы узнаемъ, не только какъ велъ себя на пожарѣ вороной жеребецъ, но и какой у него вообще дурной характеръ.

Это, конечно, мелочи. Но и въ самыхъ существенныхъ частяхъ разсказа мы встрѣчаемъ ту же черновую небрежность или недодѣланность, особенно бросающуюся въ глаза при тщательной разработкѣ второстепенныхъ подробностей.

Крестьянинъ Николай Чикильдѣевъ служилъ въ Москвѣ въ «Славянскомъ Базарѣ», половымъ, но пришелъ въ негодность, заболѣлъ и рѣшилъ уѣхать въ родную деревню, вмѣстѣ съ женой, служившей въ Москвѣ же горничной въ меблированныхъ комнатахъ, и маленькой дочерью. Въ деревнѣ онъ съ перваго же дня получаетъ множество непривычныхъ для него тяжелыхъ впечатлѣній: грязь, нищета, грубость, пьянство, драки. Онъ рвется изъ этого омута, но податься некуда. Здоровье его слабѣетъ, какой-то старикъ, отставной военный фельдшеръ, ставитъ ему банки, непосредственно послѣ которыхъ больной умираетъ. Его жена и дочь уходятъ въ Москву пѣшкомъ, побираясь по дорогѣ Христовымъ именемъ.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе «Мужиковъ». Нѣкоторыя детали разсказа сдѣланы съ свойственнымъ г. Чехову мастерствомъ. Нѣкоторыя фигуры, напримѣръ, старосты Антона Сѣдельникова, двухъ невѣстокъ,—забитой Марьи и «озорной» Ѳеклы,—намѣченныя всего нѣсколькими штрихами, стоятъ передъ вами, какъ живыя. Но даже и онѣ вызываютъ временами чувство досады на автора, на его небрежность. Напримѣръ. Озорная Ѳекла очень дурно относится къ пріѣзжимъ москвичамъ, въ особенности къ женѣ Николая, Ольгѣ: ругается, даже дерется. Кроткая, не помнящая зла Ольга отплачиваетъ ей добромъ. Ѳекла ночью «гуляла» за рѣкой съ какими-то «озорниками» изъ помѣщичьей усадьбы, а тѣ въ заключеніе раздѣли ее до нага, да такъ и пустили домой. Ольга ласково прикрыла ее въ двоякомъ смыслѣ слова: и одѣла, и помогла скрыть приключеніе. У читателя естественно является вопросъ: какъ же послѣ этого стала относиться Ѳекла къ Ольгѣ? Разумѣется, читатель не имѣетъ права приставать къ автору со всѣми вопросами, какіе ему придутъ въ голову при чтеніи. Но въ данномъ случаѣ вопросъ самъ собой вытекаетъ изъ особеннаго, экстреннаго положенія, въ которое самъ авторъ поставилъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Озорная, грубая Ѳекла,

можетъ быть, во всю свою жизнь ни одного ласковаго слова не слыхала,—вонъ даже сейчасъ она вернулась изъ-за рѣки осрамленная, а еще это была гулянка, веселье. Можетъ быть, въ первый разъ въ жизни нашелся человѣкъ, который ее пожалѣлъ, и мы хотимъ знать, какъ она къ этому отнеслась. Мы ничего не подсказываемъ автору, не требуемъ, напримѣръ, чтобы Ѳекла прониклась чувствомъ благодарности къ Ольгѣ или, наоборотъ, еще пуще не взлюбила ее; мы хотѣли бы только посмотрѣть на нихъ вмѣстѣ послѣ описаннаго случая. Но автору не приходитъ въ голову удовлетворить это естественное желаніе: имена Ѳеклы и Ольги больше ни разу не встрѣчаются въ разсказѣ рядомъ, хотя онѣ прожили еще чуть не цѣлый годъ въ одной избѣ.

Во всякомъ случаѣ, нѣкоторыя второстепенныя дѣйствующія лица сдѣланы гораздо лучше, чѣмъ главныя: Николай и Ольга Чикильдѣевы и ихъ дочь Саша. Въ особенности неудачна Ольга. Я не хочу сказать, что такихъ не бываетъ, но авторъ не сдѣлалъ ее вѣроятною, не представилъ въ ея пользу никакихъ оправдательныхъ «человѣческихъ документовъ». Ольга—сама кротость, ласка и приличіе; она грамотная и любитъ читать евангеліе; читаетъ она его безъ всякаго пониманія и плачетъ отъ умиленія при словахъ «аще» и «дондеже», но она и безъ пониманія проникнута духомъ евангельской любви и всепрощенія, въ каковомъ духѣ и дочь свою, Сашу, воспитала. Все это дѣлаетъ ее какимъ-то свѣтлымъ пятномъ на мрачномъ и грязномъ фонѣ жизни «мужиковъ». Но васъ невольно беретъ сомнѣніе въ правдивости этого образа. Ольга была въ Москвѣ горничной въ меблированныхъ комнатахъ, а что такое московскія меблированныя комнаты, объ этомъ несвѣдущіе люди могутъ отчасти узнать изъ напечатаннаго въ апрѣльской же книжкѣ «Русской Мысли» разсказа г. Тимковскаго «Приватъ-доцентъ». Въ одномъ изъ такихъ учрежденій «передъ Корнеліевымъ (приватъ-доцентъ) замелькали потныя, сердитыя лица, полупьяные глаза, отчаянно жестикулирующія руки; слышались возгласы: «шулерство... негодяйство... ноги моей не будетъ... пошелъ ко всѣмъ чертямъ!» и т. п. Испуганный и оглушенный, Корнеліевъ бочкомъ пробрался къ двери и выскользнулъ въ корридоръ». Въ другихъ меблированныхъ комнатахъ одинъ жилецъ жалуется Корнеліеву: «У васъ вонъ тамъ весна, а анаѳемская хозяйка по этому случаю топить перестала: видите, какую сырость развела? Эти квартирныя хозяйки, я вамъ скажу, такія...»

Разсказъ г. Тимковскаго посвященъ вовсе не описанію меблированныхъ комнатъ. Приведенныя черты жизни являются въ разсказѣ, конечно, въ болѣе развитомъ видѣ, чѣмъ у меня, но все-

таки онѣ отмѣчаются мимоходомъ. Въ нашей литературѣ найдутся гораздо болѣе яркія и полныя изображенія жизни въ московскихъ меблированныхъ комнатахъ, и я привелъ нѣсколько строкъ изъ разсказа г. Тимковскаго только потому, что читатель найдетъ его рядомъ съ «Мужиками» г. Чехова. Но и въ приведенныхъ нѣсколькихъ строкахъ содержится достаточно намековъ на ту дѣйствительность, въ которой жила Ольга въ Москвѣ. Богема, населяющая меблированныя комнаты, часто проводитъ время болѣе, чѣмъ весело, и горничная тутъ всякой штуки навидится и наслышится; а хозяйка, хотя и не непремѣнно «анаѳемская», своего во всякомъ случаѣ не упуститъ, и горничная тутъ всякой штуки натерпится и въ смыслѣ неустанной работы съ утра до вечера, и въ смыслѣ помѣщенія гдѣ-нибудь въ конурѣ подъ лѣстницей. При этихъ условіяхъ могутъ вырабатываться очень различные типы горничныхъ, но только не Ольги: это не типъ, а экземпляръ, сложившійся благодаря какимъ-то особеннымъ, необычнымъ обстоятельствамъ, которыхъ намъ авторъ не показалъ, а потому и Ольга является совершенно неоправданною.

Можетъ быть, на Ольгу вліялъ мужъ, Николай? Это, повидимому, мягкій, добрый человѣкъ, но это и все, что объ немъ можно сказать: онъ гораздо блѣднѣе Ольги. Къ профессіи своей Николай относится какъ бы даже восторженно. Когда онъ въ деревнѣ слышитъ въ первый разъ звонъ ко всенощной, онъ «мечтательно» вспоминаетъ: «Объ эту пору въ Славянскомъ Базарѣ обѣды». Ночью, когда его никто не видитъ, надѣваетъ свой лакейскій фракъ и умиленно улыбается; при случаѣ охотно говоритъ о котлетахъ марешаль и т. п. Эти нѣсколько комическія черты, придавая нѣкоторую жизненность блѣдной фигурѣ Николая, тонутъ въ его мягкости и деликатности, но не въ нихъ же искать источника святости Ольги. И опять-таки мы ничего не узнаемъ о жизни Николая до его пріѣзда въ деревню, кромѣ того, что онъ одиннадцати лѣтъ былъ отвезенъ на трактирную лакейскую службу въ Москву.

Недавно въ «Сынѣ Отечества» была напечатана замѣтка о положеніи трактирныхъ половыхъ. Авторъ, между прочимъ, говоритъ:

Одинъ изъ моихъ читателей пишетъ мнѣ отъ своего имени и отъ имени своихъ товарищей по работѣ и указываетъ, что ихъ работа начинается съ 7 часовъ и продолжается до 2-хъ и 4-хъ часовъ ночи. Вѣдь это не меньше 19 часовъ работы. Скажутъ, что эта работа легкая, что очень часто приходится сидѣть совсѣмъ безъ дѣла. Да, но вѣдь сидѣть безъ дѣла въ ожиданіи, что каждую минуту любой пьяница можетъ васъ позвать и начать безнаказанно издѣваться надъ вами,—это еще не значитъ отдыхать.

Большинство служащихъ работаютъ безъ жалованья, существуя исключительно тѣми деньгами, которыя посѣтители даютъ «на чай». Изъ этихъ же денегъ служащій уплачиваетъ хозяину за разбитую посуду. «Никакое начальство, никакое покровительственное общество не входитъ въ наше положеніе, жалуется авторъ письма, такъ что въ общемъ служащій человѣкъ что-то такое ненужное и презрѣнное, что ни просьбъ, ни жалобъ отъ него никто не желаетъ принимать. Разъ онъ слуга, значитъ долженъ быть и подчиненъ и добръ по характеру, и честенъ, и за все молчать, и все переносить. А вѣдь онъ тоже человѣкъ. А онъ тоже и жить хочетъ».

Вотъ какіе виды видалъ и Николай Чикильдѣевъ за свою долголѣтнюю лакейскую службу съ одиннадцати лѣтъ и до старости. Но авторъ вычеркнулъ все это изъ его памяти, не показалъ и читателю и поставилъ въ среду «Мужиковъ» такимъ, какимъ онъ является посѣтителю Славянскаго Базара: чистоплотнымъ, деликатнымъ, весело предупредительнымъ, любезно предлагающимъ скушать котлету-марешаль. Выходитъ опять своего рода свѣтлое пятно и опять неоправданное.

Вообще весь разсказъ г. Чехова производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто талантливый и наблюдательный человѣкъ, попавъ въ деревню, поразился ея нищетою и грязью, наскоро занесъ свои впечатлѣнія въ свою записную книжку; потомъ вспомнилъ лакея, видѣннаго имъ въ московскомъ трактирѣ и обратившаго на себя его вниманіе своею мягкостью и деликатностью, и такъ и ввелъ его въ деревенскую картину; потомъ присочинилъ ему жену и дочь, потомъ наскоро и грубо присочинилъ кое-какія сцены для пополненія запаса подлинныхъ наблюденій. Если бы все это выровнять, отдѣлать, то, при талантливости автора, могла бы выдти прекрасная вещь, а теперь вышли только «Мужики».

Но можетъ быть этотъ разсказъ, хотя бы и не изъ удачныхъ самъ по себѣ, дорогъ тѣмъ, что даетъ матеріалъ для важныхъ выводовъ, которые вотъ и дѣлаются критикой? Посмотримъ.

Во всемъ, что я слышалъ и читалъ о «Мужикахъ», меня прежде всего поразило то, что, восхищаясь талантливостью этого произведенія, талантомъ г. Чехова вообще, никто не попытался вспомнить хоть одно какое-нибудь изъ прежнихъ произведеній г. Чехова. А вѣдь это такъ естественно, когда рѣчь идетъ о произведеніи талантливаго писателя, имѣющаго болѣе или менѣе долгое литературное прошлое. Читая, напримѣръ, не то что такую грандіозную работу, какъ «Война и миръ», а даже такой незначительный разсказъ, какъ «Хозяинъ и работникъ», вы невольно вспоминаете рядъ образовъ и картинъ изъ другихъ произведеній Толстого, ищете въ нихъ дополненій, разъясненій, параллелей, контрастовъ; вамъ открываются такія или иныя перспективы въ творческій міръ Толстого вообще. Возьмите любого другого белле-

триста, привлекавшаго къ себѣ вниманіе публики: Тургенева, Салтыкова, Успенскаго, Достоевскаго; вездѣ вы получите то же самое: столь тѣсную связь между, если не всѣми, то большинствомъ ихъ произведеній, что даже при желаніи изолировать какое-нибудь одно изъ нихъ, сдѣлать это трудно. Это напротивъ очень легко относительно г. Чехова. Трудно напротивъ найти какую-нибудь связь между «Мужиками» и «Ивановымъ», «Степью», «Палатой № 6», «Чернымъ монахомъ», водевилями въ родѣ «Медвѣдя», многочисленными мелкими разсказами. Есть только одно произведеніе, которое мнѣ всегда вспоминается при чтеніи каждой новой работы г. Чехова. Это «Скучная исторія», и въ ней грустныя слова главнаго дѣйствующаго лица: «Во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое. Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего»...

Послѣднее, можетъ быть, ужъ слишкомъ сурово: Николай Степановичъ, говорящій эти печальныя слова, есть умный, ученый и добрый человѣкъ; умъ, знанія, доброта за нимъ и остаются. Точно также за г. Чеховымъ остаются талантъ и наблюдательность, но «того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка» — у него нѣтъ. Въ этомъ, между прочимъ, и заключается разгадка той странности, что всѣ мы, почитатели таланта г. Чехова, твердо знаемъ, что онъ никогда не развернетъ этотъ свой талантъ во всю мѣру его силы. Отсюда же слѣдуетъ и другой общій выводъ, а именно тотъ, что никакихъ общихъ выводовъ изъ произведеній г. Чехова дѣлать не слѣдуетъ, да и просто нельзя. Безпрестанно перенося свое художественное вниманіе съ одного предмета на предметъ, онъ довольствуется самыми поверхностными наблюденіями. Поверхностность эта скрадывается большою талантливостью, но все-таки не нужно быть «самымъ искуснымъ аналитикомъ», чтобы усмотрѣть ее, а значитъ и отказаться отъ какихъ бы то ни было выводовъ на основаніи столь скуднаго, поверхностнаго матеріала.

Чеховъ хотѣлъ показать «Мужиками» то-то или то-то... Такъ говорятъ и пишутъ. Я этого не знаю и вполнѣ допускаю, что г. Чеховъ даже ровно ничего не хотѣлъ показать, а просто писалъ, какъ писалось, подъ вліяніемъ извѣстныхъ впечатлѣній съ одной стороны, извѣстнаго настроенія — съ другой. Для меня

лично никакіе общіе выводы не слѣдуютъ изъ написанной имъ картины, въ которой столько случайнаго, экземплярнаго, непропорціональнаго и недоговореннаго, не смотря на громкое и какъ бы суммирующее заглавіе «Мужики». Другіе думаютъ иначе. Говорятъ, напримѣръ, что мы получили яркую картину деревенской нищеты, невѣжества и дикости, а это уже само по себѣ есть призывъ, указаніе на необходимость просвѣщенія деревни. Когда-то подобныя картины не были рѣдкостью въ нашей литературѣ, раздавались даже негодующіе голоса, что она «провоняла мужикомъ» и что надоѣло слушать, какъ «какой-нибудь Сысойка отъ дикости своей принужденъ сосновой корой питаться». Потомъ и совсѣмъ было о мужикѣ забыли, а теперь вотъ онъ опять всплылъ въ разсказѣ г. Чехова, да еще какого шуму надѣлалъ! Какъ бы то ни было, но необходимость просвѣщенія мужика (если ее еще нужно доказывать) дѣйствительно вытекала бы изъ разсказа г. Чехова, если бы не лучезарность Николая и Ольги Чикильдѣевыхъ. Одна плачетъ при словахъ «аще» и «дондеже», а другой умѣетъ вѣроятно написать счетъ, обозначивъ въ немъ котлету-марешаль и «ёфъ бруи» и многое другое. Это, конечно, просвѣщеніе, но дѣло не въ немъ, очевидно, а въ тонкой чувствительности, деликатности, «гуманности», воспитанныхъ городской жизнью.

Необходимость просвѣщенія — выводъ практическій, приглашающій къ нѣкоторымъ дѣйствіямъ. Другіе считаютъ его пустяками, не стоющими вниманія, а важенъ, дескать, выводъ теоретическій: городъ въ лицѣ полового Николая и горничной Ольги выше деревни въ лицѣ ихъ дикихъ сродниковъ. Ну, а дальше что? Слѣдуетъ ли изъ этого, что городъ, который и безъ того хорошъ, можно оставить безъ вниманія, и всѣ заботы общества должны сосредоточиться на деревнѣ, которая такъ темна и безпомощна? Повидимому, нѣтъ, и даже скорѣе напротивъ. Во всякомъ случаѣ насъ предпочитаютъ держать на высотѣ чисто теоретическаго вывода и настаиваютъ на немъ съ страннымъ полемическимъ задоромъ. Задоръ этотъ страненъ по своей запоздалости. Было время, когда кое-кто изъ нашихъ беллетристовъ чрезмѣрно идеализировалъ деревню въ ущербъ или въ пику городу. Были у этого направленія свои теоретики-публицисты, прибѣгавшіе къ чрезвычайно страннымъ пріемамъ для оправданія и развитія своихъ положеній. Напримѣръ, одинъ изъ нихъ писалъ: «Если только намъ суждено скоро услышать «надлежащее слово», его скажутъ люди деревни, а не города, и ужъ всего меньше Петербурга. Да, скажетъ его деревня, какъ бы презрительно ни думали о ней книжники. Хотѣлось бы пояснить, что подъ деревней

здѣсь подразумѣвается единица, олицетворяющая собою принципъ солидарности, нравственной связи, въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и разобщенности, выразителемъ котораго былъ и есть европейскій городъ». Это писалъ двадцать лѣтъ тому назадъ въ «Недѣлѣ», нѣкто г. П. Ч., вѣроятно давно уже отказавшійся отъ своей тогдашней точки зрѣнія. Да и вообще въ настоящее время въ литературѣ нѣтъ ея представителей. Но за то ее усвоили, напримѣръ, комментаторы «Мужиковъ», только, такъ сказать, съ перемѣною адреса. Логическая ошибка вышеприведеннаго разсужденія г. П. Ч., какъ я тогда же указывалъ, состоитъ въ томъ, что, вѣрно или невѣрно усвоивъ деревнѣ извѣстную черту, онъ *отвлекаетъ* ее отъ всѣхъ непривлекательныхъ сторонъ деревни—ея невѣжества, пьянства, грубости—и противопоставляетъ эту *отвлеченную* деревню *конкретному* Петербургу, въ которомъ, конечно, много мерзостей. Совершенно такъ же поступаютъ комментаторы «Мужиковъ» (я не говорю самъ г. Чеховъ). Вѣрно или невѣрно приписавъ извѣстныя черты городскому жителю вообще, они берутъ *отвлеченнаго* полового — вытираютъ изъ его прошлаго всѣ тычки, пинки, ругательства и издѣвательства, претерпѣнныя имъ съ одиннадцатилѣтняго возраста до тѣхъ поръ, пока онъ самъ сталъ раздавать таковыя такимъ же мальчишкамъ-ученикамъ; промываютъ его глаза и уши отъ всего, что онъ видѣлъ и слышалъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ; вычеркиваютъ и его ежедневную 19-и-часовую работу, и всѣ гнусныя привычки хамскаго угодничества изъ-за «на-чаевъ», вырабатываемыя нашими дикими нравами вообще, и всѣ тѣ оскорбленія, которыя онъ, благодаря все той же нашей общей дикости, получилъ отъ пьяныхъ посѣтителей, и проч., и проч., и проч. Вотъ, напримѣръ, недавно писали въ газетахъ, что какой-то милліонеръ изъ купцовъ заставилъ лакея-татарина въ загородномъ ресторанѣ лечь на полъ кабинета и, поливая его шампанскимъ, приговаривалъ: «плавай!» Старикъ-татаринъ, для угожденія «хорошему гостю», легъ на полъ и началъ руками и ногами производить движенія, какъ во время плаванія.—«Теперь получай награду»,—возвѣстилъ коммерсантъ, и далъ татарину пятьсотъ рублей. Татаринъ остался крайне доволенъ и съ восторгомъ, какъ заявляютъ газеты, заявилъ окружающимъ: «Тридцать лѣтъ служу, а такого хорошаго господина не видалъ»... Все это отметается, стирается, и получается исключительно воплощеніе того момента каторжной жизни полового, когда онъ любезно и предупредительно предлагаетъ вамъ въ хорошемъ московскомъ трактирѣ: спаржи не прикажете ли? — хорошую получили. И этого отвлеченнаго полового внѣдряютъ въ *конкретную*, даже въ ультраконкретную деревню, изъ которой не

только ни одна подлинная соринка не выметена, а еще лишняго навозу навалено для большей яркости.

Отвлеченный половой всѣмъ возмущается въ конкретной деревнѣ. «На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покровъ въ Жуковѣ былъ приходскій праздникъ, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественныхъ денегъ и потомъ еще со всѣхъ дворовъ собирали на водку». Да, это правда, и ужасная правда. Но вѣдь это только для отвлеченнаго полового невидаль, а конкретный половой знаетъ, что въ московскихъ трактирахъ круглый годъ, каждый день пьютъ. — Въ избѣ, въ которой пришлось поселиться Чикильдѣевымъ, грязно, тѣсно, душно. Да, навѣрное такъ. Но прочтите напечатанную въ іюньской книжкѣ «Русскаго Богатства» за 1897 г. статью г-жи Покровской «Жилища петербургскихъ рабочихъ», и вы увидите, что не только на деревенской родинѣ Чикильдѣева есть люди, живущіе въ грязи, тѣснотѣ, смрадѣ. И конкретный половой не можетъ этого не знать, потому что, какъ засвидѣтельствовано многочисленными полицейскими протоколами, многіе половые, проработавъ 18—19 часовъ въ трактирной атмосферѣ со всѣми ея прелестями, отдыхаютъ, то есть спятъ въ условіяхъ, своими неудобствами, можетъ быть, превосходящихъ даже избу Чикильдѣевыхъ. Ну, а отвлеченный Чикильдѣевъ,—тотъ такъ и стоитъ въ храмоподобномъ залѣ Славянскаго Базара, облеченный во фракъ и крахмальную манишку, и любезно улыбается. Есть, однако, и относительно этого франта одно указаніе, способное очень ослабить то впечатлѣніе свѣтлаго пятна, которое онъ производитъ на фонѣ деревенскаго мрака. Проработавъ, не зная отдыха, лѣтъ сорокъ, онъ не имѣетъ, гдѣ преклонить голову, и ѣдетъ кончать жизнь въ деревню; а послѣ его смерти его жена и дочь побираются Христовымъ именемъ. И такъ это просто, точно онѣ всегда къ этому готовы были. Дойдя до перваго же села, «остановившись около избы, которая казалась побогаче и новѣе, передъ открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонкимъ, пѣвучимъ голосомъ:—Православные христіане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителямъ вашимъ царство небесное, вѣчный покой.—Православные христіане—запѣла Саша,—подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное»...

Господа, подайте милостыню своего вниманія подлинной вдовѣ и сиротѣ подлиннаго рабочаго человѣка, гдѣ бы онъ ни работалъ, въ деревнѣ ли, въ городѣ ли; и не сшибайте лбами двухъ разрядовъ людей, жизнь которыхъ, въ разномъ родѣ, но одинаково темна и скудна, одинаково требуетъ и одинаково заслуживаетъ участія...

«Кто-то нарядилъ его во фракъ, научилъ его держаться полакейски, заставилъ выражать всей своей фигурой удовольствіе при видѣ кушающихъ и пьющихъ господъ, заставилъ «затвердить» сотни какихъ-то словъ, невѣдомо что означающихъ, словомъ замаскировалъ и скрылъ его подлинную человѣческую суть— и вотъ эта-то суть, горькое, каторжное существованіе простого рабочаго человѣка, недосыпающаго и недоѣдающаго, вдругъ зазвучало въ его монологѣ о ликерахъ и финзербахъ такъ ясно и такъ жалобно, что скучающіе посѣтители не осмѣлились продолжать шутки.

— Конечно,—продолжалъ лакей, уже не какъ лакей, а какъ каторжный работникъ,—конечно, кто знаетъ, напримѣръ, иностранный языкъ и досугъ у него есть, такъ это очень легко затвердить, а нашему брату-мужику очень это трудно! Я отродясь не знаю, каковъ таковъ и досугъ-то есть на свѣтѣ... Десяти годовъ меня въ Петербургъ представили изъ деревни... У насъ въ Ярославской губерніи народъ все отхожій—то въ Москву, по трактирной части, то по фабричной... У меня отецъ на фабрикѣ померъ, осталась мать, двѣ сестры маленькія, да я по десятому году. Мать-то на фабрику пошла, а меня въ Питеръ увезли. Насъ, ярославскихъ ребятъ, какъ телятъ въ Питеръ возятъ. Такіе есть мужики— наберетъ мальчишекъ штукъ десятокъ, на свой счетъ представитъ ихъ въ Питеръ ли, въ Москву ли и раздастъ по трактирамъ, по кабакамъ. Конечно, на этомъ и наживаетъ съ хозяевъ. Такъ меня десяти годовъ на Сѣнную, въ самый черный трактиръ опредѣлили. День и ночь торговали, извозчицкій. Два года стоялъ за стойкой, посуду мылъ. А что побоевъ! Все по головѣ, все по затылку, съ оплеухой! Такъ сколько я претерпѣлъ, покудова Господь меня сподобилъ съ Сѣнной-то, изъ вертепа, достигнуть до ресторана! Конечно, добрые люди помогли, научили всему.

— Да чему же тутъ учить?

— Помилуйте, какъ чему? Теперича на свадьбахъ оффиціантомъ приглашаютъ, все надо знать, оршадъ, лимонадъ, весь порядокъ. Да тутъ страсть Господня! Опять, какъ подать, какъ обойтись... Облей-ко соусомъ-то гостя—ну и вонъ! Какъ можно! Тутъ ни дня, ни ночи покою нѣтъ. Главное, спишь кое-какъ, совсѣмъ по нашей должности сна мало... Такъ тутъ, при такой жизни, гдѣ ужъ намъ доходить до всего — дай Богъ только памятью не сбиться! Я этотъ самый прейсъ-курантъ-то мѣсяца три по ночамъ зудилъ, съ огаркомъ, покудова вошелъ въ память. Только бы Господь далъ не перепутать. А кромѣ того надо съ гостемъ обойтись умѣть, услужить ему; а иной буйный на то и въ трактиръ идетъ, чтобы наскандальничать... Иной разъ не дожа-

рятъ или пережарятъ—а ругаютъ-то нашего брата. Бываетъ, который сердитый гость, такъ прямо тарелкой въ рыло норовитъ: ему нипочемъ, напримѣръ, въ сердцахъ, за лацканъ дернуть, оторвать или соусомъ какимъ облить... А вѣдь фракъ-то мало-мало девять цѣлковыхъ!»

Это я выписалъ изъ разсказа Глѣба Успенскаго «Развеселилъ господъ» (Сочиненія, т. I, 959—970), который рекомендую прочитать или перечитать всѣмъ, такъ или иначе заинтересовавшимся «Мужиками» г. Чехова. Надо замѣтить, что въ разсказѣ полового нѣтъ ни одной сочиненной черты, онъ весь записанъ съ натуры, какъ мнѣ доподлинно извѣстно, потому что я присутствовалъ при разсказѣ; Успенскій только вставилъ его въ рамку, опредѣлившую и заглавіе: «Развеселилъ господъ». Половой Успенскаго тоже мягкій, деликатный человѣкъ, какъ и Николай Чикильдѣевъ. Но, во-первыхъ, у этого полового вскрыта его «подлинная человѣческая суть» и его «горькое каторжное существованіе простого рабочаго человѣка». Во-вторыхъ, отношенія этого полового къ деревнѣ прямо противоположны тѣмъ, которыя мы видимъ у Чикильдѣева: онъ только и мечтаетъ о томъ, какъ бы, помаявшись еще года два въ половыхъ, поселиться въ деревнѣ, жизнь которой рисуется ему идиллическими красками. Въ-третьихъ, наконецъ, Успенскій не то, что г. Чеховъ, который, записавъ нѣсколько своихъ наблюденій, даетъ имъ исчерпывающее заглавіе «Мужики», а затѣмъ перейдетъ, можетъ быть, къ «Черному монаху» или къ водевилю «Медвѣдь». Успенскій постоянно трепетно и вдумчиво вглядывался въ деревенскую жизнь. Онъ зналъ, какая это обширность и сложность. Зналъ, что подлинный разсказъ полового объ его идиллическихъ деревенскихъ отношеніяхъ не исчерпываетъ этой обширности и сложности, въ которой есть и скорбь, и мракъ, и ужасъ, какъ есть они и въ жизни городского рабочаго человѣка.

VI *).

О совѣсти г. Минскаго, страхѣ смерти и жаждѣ безсмертія. — О нашихъ умственныхъ теченіяхъ за полвѣка. — О новыхъ словахъ и «Новомъ Словѣ». — О рѣчи проф. Свѣтлова. — О г. Волынскомъ и скандалистахъ вообще.

«Слова сами по себѣ обладаютъ какою-то притягательною, какъ бы накликающею силой... И бѣда, если творецъ системы обладаетъ живою фантазіей и образнымъ слогомъ! Тогда его мысль совсѣмъ стала рабой своихъ рабовъ; чуть только она рождается, на нее, беззащитную, со всѣхъ сторонъ нападаютъ образы, сравненія, берутъ ее въ плѣнъ и влекутъ по прямому направленію, оглушая своимъ звономъ».

Такъ говоритъ г. Минскій («При свѣтѣ совѣсти. Мысли и мечты о цѣли жизни». Изданіе второе, 1897 г., стр. 126—127). И нельзя съ нимъ не согласиться, тѣмъ болѣе, что мудрено найти «рабу своихъ рабовъ» болѣе законченную, мысль, болѣе беззащитную отъ нападающихъ на нее образовъ и сравненій, болѣе оглушенную ихъ звономъ, чѣмъ мысль г. Минскаго. Само по себѣ еще вовсе не бѣда, если «творецъ системы обладаетъ живой фантазіей и образнымъ слогомъ». О живой фантазіи и говорить нечего; она открываетъ мысли далекіе горизонты, и не только философская «система», а и крупные поступательные шаги въ области точныхъ наукъ немыслимы безъ участія воображенія. Образный слогъ,— даръ, конечно, гораздо менѣе цѣнный,—есть лишь одно изъ могущественныхъ орудій воздѣйствія на читателей и, въ качествѣ таковаго, несетъ съ собой добро или зло, смотря по содержанію излагаемаго, но самъ по себѣ остается силой. Недалеко ходить,—взять хоть бы этотъ прекрасный образъ «рабы своихъ рабовъ», только что рожденной, беззащитной мысли, на которую «со всѣхъ сторонъ нападаютъ образы, сравненія, берутъ ее въ плѣнъ и влекутъ по

---

*) Октябрь, 1897 г.

прямому направленію, оглушая своимъ звономъ». Этотъ образъ ярко и сильно характеризуетъ цѣлую группу литературныхъ явленій. Другое дѣло—самыя эти явленія; въ нихъ хорошаго мало. Разумѣется, нехорошо, если воздѣйствіе на читателей принимаетъ форму «оглушенія звономъ», и тѣмъ паче, если оглушенію подвергается самъ авторъ. А это послѣднее, къ сожалѣнію, именно и случилось съ г. Минскимъ въ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти».

Книжка эта вышла первымъ изданіемъ въ 1889 или 1890 году, и мнѣ тогда же пришлось писать объ ней. (Интересующіеся найдутъ статью въ имѣющемъ скоро выйти VI томѣ «Сочиненій»). Если я теперь возвращаюсь къ г. Минскому, то только ради задорнаго предисловія, которымъ онъ снабдилъ второе изданіе своей книжки, и еще ради одного пункта, котораго я не коснулся, говоря о первомъ изданіи.

Критика не особенно благосклонно встрѣтила трудъ г. Минскаго. Онъ пожелалъ выяснить причины этой неблагосклонности. Къ чести его надо сказать, что онъ не ищетъ ихъ въ «личномъ недоброжелательствѣ» критиковъ. Онъ нашелъ общую причину «враждебнаго равнодушія» и «глухого недовѣрія», съ которыми наша критика относится къ цѣлому разряду литературныхъ явленій, къ числу которыхъ относится и его, г. Минскаго, трудъ. Но тутъ же выясняется, что не только русская критика, а и все русское общество грѣшно этимъ грѣхомъ. Грѣхъ состоитъ во «враждебномъ отношеніи нашего общества къ вѣчнымъ вопросамъ разума и совѣсти». Причина же этого явленія лежитъ не въ какихъ-нибудь коренныхъ свойствахъ русскаго характера, а въ «историческихъ обстоятельствахъ, создавшихъ не внутреннюю, а внѣшнюю преграду между русскимъ сознаніемъ и вѣчными истинами философіи. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ широко развита общественная дѣятельность, цивическія стремленія людей, находя исходъ наружу въ борьбѣ партій и классовъ, не обращаются во внутрь души, не занимаютъ въ ней святая святыхъ, которая остается открытой для идей вѣчныхъ, религіозныхъ и философскихъ. У насъ же эти цивическія стремленія, не разрѣшаясь въ практической дѣятельности, обращаются во внутрь совѣсти, сами становятся какъ будто священными и мѣшаютъ доступу въ сознаніе другихъ идей и чувствъ, дѣйствительно вѣчныхъ и священныхъ. Какъ это ни странно звучитъ, но несомнѣнно, что сила, противодѣйствующая у насъ философскому и религіозному идеализму, есть ни что иное, какъ тотъ же идеализмъ, но только практическій, проповѣдующій, вмѣсто любви къ вѣчному началу жизни, любовь къ людямъ или, вѣрнѣе, любовь къ народу». (Предисловіе ко 2-му изданію, IV). Въ числѣ прочихъ глашатаевъ «вѣчныхъ вопросовъ разума и совѣсти», «вѣчныхъ истинъ фило-

софіи» претерпѣлъ отъ этого нашего враждебнаго равнодушія и г. Минскій.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ чрезвычайно широкое основаніе для объясненія очень маленькаго факта: неблагосклоннаго отношенія критики къ произведенію г. Минскаго. Комфортабельно развалившись на этомъ широкомъ основаніи, маленькая жертва маленькаго факта—г. Минскій съ презрительнымъ снисхожденіемъ обзираетъ окрестности: его не оцѣнили, да и не могли оцѣнить, и онъ очень хорошо понимаетъ, почему не могли, а потому великодушно прощаетъ. Онъ не дѣлаетъ исключенія даже для г. Волынскаго, который также неблагосклонно отозвался о трудѣ г. Минскаго въ журналѣ, часто украшаемомъ поэтическими произведеніями послѣдняго. Я не говорю, что критика г. Волынскаго отличается какими-нибудь особенными достоинствами, — напротивъ, это одно пустословіе, — но исходная точка этой критики никоимъ образомъ не укладывается въ приведенное обобщеніе г. Минскаго. Кого-кого, а г. Волынскаго никто не рѣшится заподозрить во враждебномъ равнодушіи къ «вѣчнымъ истинамъ философіи» и въ частности къ «философскому и религіозному идеализму». По этой части онъ горитъ словеснымъ пламенемъ, своею выспренностію, быть можетъ, даже превосходящимъ пламя самого г. Минскаго. И, однако, г. Минскому даже ни на минуту не приходитъ въ голову мысль поискать причины неблагосклоннаго отношенія критики въ самомъ произведеніи своемъ.

Читатель благоволитъ пересмотрѣть вышеприведенное разсужденіе г. Минскаго о «тѣхъ странахъ, гдѣ широко развита общественная дѣятельность». Въ этихъ странахъ, какъ мы видѣли, «цивическія стремленія людей», находя исходъ наружу въ борьбѣ партій и классовъ, не обращаются во внутрь души, не занимаютъ въ ней святая святыхъ, которая остается открытой для идей «вѣчныхъ, религіозныхъ и философскихъ». Фраза эта типична. У г. Минскаго мелькнула мысль, но, прежде чѣмъ она успѣла сложиться въ опредѣленную логическую форму, на нее, беззащитную, нападаютъ образы, сравненія и влекутъ по прямому направленію, оглушая своимъ звономъ. Автору съ соблазнительною образностью представляется, какъ «цивическія стремленія» уходятъ куда-то «наружу» и оставляютъ послѣ себя свободное, пустое пространство, которое и наполняется «вѣчными идеями». Едва ли нужно пространно доказывать, что это образъ совершенно фантастическій, которому не соотвѣтствуетъ и не можетъ соотвѣтствовать никакая дѣйствительность. Слова «исходъ наружу» влекутъ беззащитную мысль г. Минскаго къ представленію, напримѣръ, переполненнаго желѣзнодорожнаго вагона, въ которомъ онъ, г. Минскій, можетъ получить

мѣсто лишь послѣ того, какъ кто-нибудь изъ пассажировъ удалится «наружу». И этотъ образъ удаляющагося изъ вагона пассажира (или вылѣзающей изъ конуры собаки, вылетающей изъ клѣтки птицы и т. д.) такъ овладѣваетъ беззащитною мыслью, что для автора утрачивается всякая возможность подвергнуть ее логической и фактической провѣркѣ: онъ оглушенъ звономъ метафорической фразы. Въ дѣйствительности дѣла идутъ совсѣмъ не такъ, какъ утверждаетъ оглушенный г. Минскій, и даже, можно сказать, наоборотъ. «Цивическія стремленія», получая возможность практическаго осуществленія, никуда «наружу» не уходятъ, а съ тѣмъ большею силою овладѣваютъ душой. Если же, съ другой стороны, представить себѣ страну, въ которой нѣтъ не только «исхода» для «цивическихъ стремленій», но и надежды на него въ будущемъ, то стремленія эти, конечно, должны заглохнуть. Исторія можетъ указать немало примѣровъ большаго или меньшаго приближенія общества къ такому состоянію. И вотъ именно когда, за неимѣніемъ исхода «наружу», «цивическія стремленія» болѣе или менѣе глохнутъ, на образующемся вслѣдствіе этого просторѣ съ особенною силою разрастаются разныя другія тяготѣнія, въ томъ числѣ и къ тому, что г. Минскій называетъ «вѣчными истинами». Но, во-первыхъ, не къ нимъ однимъ, а и ко многимъ другимъ, гораздо менѣе благозвучнымъ вещамъ, напримѣръ, къ наживѣ, къ грубымъ наслажденіямъ и т. п. А во-вторыхъ, надо помнить чрезвычайную сложность человѣческихъ дѣлъ и отношеній, сложность, не допускающую слишкомъ простыхъ рѣшеній. Если спросить г. Минскаго, чего больше было, напримѣръ, при возникновеніи и первыхъ шагахъ ислама или при реформаціонномъ движеніи,—«цивическихъ стремленій» или интереса къ «вѣчнымъ вопросамъ разума и совѣсти»,—то онъ, я полагаю, затруднится отвѣтить.

Ab uno disce omnes. Если читатель не поддастся оглушенію звономъ фразъ г. Минскаго, то безъ труда откроетъ подъ его метафорами и прочей риторической одеждой либо нѣчто, прямо противоположное истинѣ, либо просто пустое мѣсто. Это, конечно, не можетъ считаться достоинствомъ книги, а въ связи съ этими находится нѣкоторое уже прямо недостоинство: неискренность.

Есть вещи, по отношенію къ которымъ никто и ни у кого не имѣетъ права требовать искренности: заперся человѣкъ,—и баста, и никто не смѣетъ стучаться въ эту запертую дверь. Но если человѣкъ самъ отворяетъ передъ вами дверь настежь и усиленно приглашаетъ осмотрѣть внутреннее помѣщеніе, то вы естественно не хотите быть обманутыми: съ какой, въ самомъ дѣлѣ, стати васъ морочатъ, когда вы даже ни о чемъ не спрашивали? Не всегда, впрочемъ, въ подобныхъ случаяхъ можетъ идти рѣчь о сознатель-

ной неправдѣ. Носитель беззащитной мысли, оглушенный звономъ собственной фразы, часто невольно извращаетъ не только факты окружающей дѣйствительности, но и факты своего сознанія. Г. Минскій, напримѣръ, утверждаетъ слѣдующее: «Когда мы встрѣчаемъ тѣло сильное, легкое, соразмѣрное, т. е. во всѣхъ частяхъ одинаково цѣлесообразное, насъ потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью; мы готовы упасть ницъ и молиться не прекрасному тѣлу, а святынѣ міра, вѣчной цѣли мірозданія, символомъ которой кажется намъ прекрасное тѣло» (стр. 208). Это, конечно, неправда. Представимъ себѣ такую картину. Г. Минскій, желая отдохнуть отъ своихъ философскихъ пареній, поэтическихъ вдохновеній, міровыхъ скорбей и восторговъ, идетъ въ циркъ и видитъ тамъ превосходно сложеннаго акробата, обладающаго «тѣломъ сильнымъ, легкимъ, соразмѣрнымъ». И вдругъ г. Минскій впадаетъ въ экстазъ: его потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью, онъ падаетъ ницъ и молится святынѣ міра, вѣчной цѣли мірозданія, символомъ которой является для него прекрасное тѣло акробата. Признаюсь, я очень хотѣлъ бы полюбоваться такимъ зрѣлищемъ и уже предвкушаю эстетическое наслажденіе, которое получу при видѣ фигуры г. Минскаго въ моментъ колѣнопреклоненія, но сильно опасаюсь, что онъ никогда не доставитъ мнѣ этого удовольствія. Въ дѣйствительности онъ, конечно, никогда и не подумаетъ падать ницъ и проч. Онъ сказалъ всѣ эти якобы красивыя, а въ сущности просто смѣшныя слова въ состояніи оглушенія. Онъ не то, чтобы морочилъ своихъ читателей, а самъ не вѣдалъ, что говорилъ, и въ этомъ его оправданіе.

Не столь, повидимому, мягкаго отношенія заслуживаютъ нѣкоторыя другія частности книги г. Минскаго и ея общій планъ. По многимъ соображеніямъ, вдаваться въ изложеніе которыхъ не вижу теперь надобности, я не вѣрю показанію г. Минскаго, будто онъ въ своей книгѣ «снова проходитъ тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела его душу». (XV). Для нашей цѣли, впрочемъ, безразлично,—сознательно, или безсознательно фразерствуетъ г. Минскій, всегда ли онъ самъ оглушенъ звономъ своихъ образовъ, сравненій, метафоръ и проч., или—и намѣренно прибѣгаетъ къ нимъ для оглушенія читателей. Для насъ важно только то, что вся книга г. Минскаго представляетъ собою «слова, слова, слова» въ разныхъ, чрезвычайно витіеватыхъ сочетаніяхъ, въ которыхъ, однако, не отразились ни подлинная жизнь, ни подлинное состояніе души автора, хотя онъ и обѣщалъ показать намъ послѣднюю «при свѣтѣ совѣсти».

Въ связи со всѣмъ этимъ находится еще одно обстоятельство:

беззащитная мысль, влекомая словами, естественно должна въ нихъ запутываться и впадать въ противорѣчія, которыя мы и встрѣчаемъ въ книгѣ г. Минскаго чуть не на каждой страницѣ. Не будемъ ходить далеко. Мы только что видѣли, что г. Минскій («мы») потрясается блаженствомъ, готовъ пасть ницъ и проч., при видѣ «тѣла сильнаго, легкаго, соразмѣрнаго, т. е. во всѣхъ частяхъ одинаково цѣлесообразнаго». Но на слѣдующей же (209) страницѣ узнаемъ, что «когда разумъ еще не понималъ розни между міромъ и мэонами»,—«идеально прекраснымъ казалось тѣло, приспособленное къ физическимъ трудамъ и наслажденіямъ, хорошо упитанное, легкое и сильное... Намъ, наоборотъ, идеально прекрасными кажутся образы и звуки, отражающіе душевный разладъ, борьбу, разнообразность чувствъ, радость и страданіе, слитыя въ чувствѣ экстаза». Такимъ образомъ, «мы» 208-й страницы хотятъ чего-то, прямо противоположнаго тому, что нужно «намъ» 209-й, и мы рѣшительно не знаемъ,—чего же собственно г. Минскому нужно. Это не мѣшаетъ ему, однако, тутъ же, безъ передышки заключить: «Понявъ тайну красоты, мы въ то же время постигли тайну искусства». Ну, конечно, поняли и постигли...

Но есть въ книгѣ г. Минскаго одинъ пунктъ, въ которомъ онъ несомнѣнно искрененъ. Это страхъ смерти.

Надо напомнить, что книга г. Минскаго состоитъ изъ трехъ частей, которыя, по его словамъ, «написаны въ разное время, съ большими промежутками, и не проникнуты какимъ-нибудь однимъ настроеніемъ, а относятся между собою, какъ полночь, предразсвѣтныя сумерки и день». Г. Минскій предупреждаетъ своихъ читателей, чтобы они не принимали мрачныхъ воззрѣній на жизнь, выраженныхъ въ первой части, за окончательное міросозерцаніе автора. Но, что касается страха смерти, то въ этомъ отношеніи г. Минскій одинаково настроенъ и въ полночь, и днемъ, и въ сумерки.

Въ первой части, между прочимъ, читаемъ: «Чтобы постигнуть истинное происхожденіе совѣсти, слѣдуетъ ни на мгновеніе не забывать, что въ душѣ есть только два кардинальныхъ чувства, управляющихъ всѣми остальными: мистическая любовь къ бытію и мистическій ужасъ небытія. Сознаніе бытія не только отрадно, но оно—источникъ всякой отрады, первѣйшее благо, крайняя цѣль всѣхъ стремленій. Такимъ же первичнымъ, безусловнымъ, всемогучимъ чувствомъ слѣдуетъ принять ужасъ небытія. Будь человѣкъ безсмертенъ,—онъ не имѣлъ бы даже отдаленнѣйшаго понятія о совѣсти и воображалъ бы свое самолюбіе въ видѣ прекраснаго божества. Теперь же я презираю это самолюбіе, ибо сознаю, что люблю нѣчто, обреченное тлѣну, мраку, ничтожеству, вѣчному не-

бытію. Я знаю, что причина моего небытія таится ни въ чемъ иномъ, какъ въ моемъ же тѣлѣ, въ моемъ сердцѣ, которое въ эту минуту бьется для блаженства жизни и черезъ часъ, можетъ быть, будетъ разгонять по моимъ жиламъ смертельную отраву. Если бы меня привязали къ трупу и такъ заставили жить, всюду волоча его за собой,—мнѣ бы не было тяжелѣе, чѣмъ теперь, когда я ощущаю трупъ въ себѣ, въ своей крови, въ мозгу, въ каждомъ атомѣ тѣла, вотъ этого теплаго, жизнерадостнаго тѣла, которое вскорѣ должно превратиться въ нѣчто холодное, влажное, зловонное, оскорбляющее свѣтъ, нестерпимое для чувства. Во имя любви къ бытію я долженъ любить палача своего бытія, могилу своего сознанія,—долженъ потому, что только этотъ палачъ, это бренное, предательское тѣло даетъ мнѣ возможность непосредственно упиваться блаженствомъ жизни. Совѣсть ополчается на самолюбіе не во имя нравственнаго идеала, а во имя страха смерти» (24—25).

А въ третьей части, въ самомъ концѣ книги, находимъ слѣдующія краснорѣчивыя строки: «*Никакіе образы и сравненія, никакія сирены поэзіи и философіи не заворожатъ живую душу противъ ужаса смерти.* Черная, холодная, влажная, зловонная, она покрываетъ траурнымъ флеромъ красоту утра и прелесть вечера, опускаетъ каплю отравы въ чистую струю веселія, хриплымъ дыханіемъ прерываетъ ласки влюбленныхъ, вырываетъ вѣнокъ изъ рукъ побѣдителя, безслѣдно стираетъ письмена мудрости и образцы искусства... (и т. д., и т. д.)... И, подобно отдѣльному организму, современемъ остынетъ солнце и придетъ день, когда земля, скрывшая наши трупы, сама превратится въ холодный трупъ... Ничто, ничто не сохранится отъ нашихъ мыслей, и дѣлъ, и чувствъ: ни добро, ни зло, ни слава, ни безславіе, ни разумъ, ни безуміе, ни подвиги, ни преступленія». (224—226).

Между этими тирадами изъ начала и конца книги, въ ней во множествѣ разсыпаны столь же яркія свидѣтельства ужаса и отвращенія, съ которыми г. Минскій относится къ смерти. Само собою разумѣется, что не краснорѣчивость ихъ убѣждаетъ меня въ ихъ искренности,—краснорѣчивъ г. Минскій всегда. Но дѣло въ томъ, что страхъ смерти слишкомъ общераспространенное чувство, чтобы кому-нибудь вздумалось имъ кокетничать. Черта эта была бы вовсе даже неинтересна, если бы не играла въ книгѣ г. Минскаго совершенно исключительной, все собою опредѣляющей роли. Мы видѣли, что страхомъ смерти обусловливается явленіе совѣсти: вы воздерживаетесь отъ поступка, который считаете дурнымъ, или угрызаетесь совѣстью, совершивъ такой поступокъ, исключительно потому, что боитесь смерти. Словесный фокусъ, при помощи котораго получается этотъ выводъ, для насъ теперь не интересенъ,— мы отмѣ-

чаемъ только роль страха смерти во всей концепціи г. Минскаго. Слѣдуетъ, далѣе, замѣтить, что г. Минскаго устрашаетъ не только смерть въ прямомъ смыслѣ слова, не только уничтоженіе его физическаго существа и прекращеніе въ немъ жизненнаго процесса, но и то забвеніе, въ которое всѣ его дѣла и мысли, его поэзія и проза погрузятся рано или поздно. Можетъ быть, это случится только тогда, когда остынетъ солнце, а можетъ быть и гораздо раньше. Это—вопросъ времени, очень мало трогающій г. Минскаго: онъ безсмертія жаждетъ... и, наконецъ, его достигаетъ. Дѣло въ томъ, что «одно чувство, одно познаніе въ нашей душѣ не подвластно и ей—черной, холодной смерти. Это—познаніе не существующихъ мэоновъ и экстазъ, возбужденный ими» (226). «Тотъ не безслѣдно промелькнулъ на землѣ или на другой звѣздѣ, кто выстрадалъ истину о небытіи мэоновъ, чья душа пріобщалась священнаго экстаза» (227).

Не входя въ разсмотрѣніе логическаго или, вѣрнѣе, словеснаго процесса, приведшаго къ этому результату, порадуемся за г. Минскаго и за всѣхъ, иже съ нимъ, если таковые съ нимъ есть. Они, правда, умрутъ, какъ и всѣ мы, грѣшные, то есть перестанутъ существовать, но они, и только они, «не безслѣдно промелькнутъ на землѣ или на другой звѣздѣ» (ибо и на другихъ звѣздахъ есть или могутъ быть ученики г. Минскаго). Мэоны не существуютъ, но мэонисты могутъ разсуждать о «свойствахъ мэоновъ, ближайшей причинѣ и способѣ ихъ возникновенія»; они могутъ идти дальше и приблизиться къ «открытію разумной необходимости ихъ небытія». Правда, для этого открытія они должны допустить существованіе мэоновъ, то есть не существующихъ, а «разъ мы допустили бытіе меона, т. е. допустили нѣчто не существующее и непостижимое, мы должны знать напередъ, что все, въ чемъ ни выразится это бытіе, будетъ состоять изъ внутренно-непримиримыхъ противорѣчій и несообразностей» (201). Но вѣдь это такіе пустяки, черезъ которые очень легко перешагнуть. Полное же достоинство «мэонизма» состоитъ едва ли не въ томъ, что онъ совсѣмъ ненуженъ. На этотъ счетъ г. Минскій выразился въ первомъ изданіи своей книжки съ ясностью, не оставляющею мѣста никакимъ сомнѣніямъ. Онъ говорилъ: «Если ученіе о мэонахъ кажется мнѣ истиною, то, между прочимъ, потому, что оно само въ себѣ не заключаетъ какой-то универсальной, всеисцѣляющей мудрости или святости, а, наоборотъ, *приводитъ къ собственному отрицанію* и, указывая на науку, искусство, самолюбіе и аскетизмъ, какъ на четыре пути для достиженія святыни, *само себя устраняетъ, признаетъ ненужнымъ*» (стр. 249). Во второмъ изданіи слова: «приводитъ къ собственному отрицанію»—вычеркнуты, а слова: «само себя устраняетъ, при-

знаетъ ненужнымъ» замѣнены словами: «само себя какъ бы устраняетъ» (стр. 217). Это выходитъ гораздо мягче, и человѣкъ, въ мышленіи котораго словесность играетъ такую первенствующую роль, какъ у г. Минскаго, можетъ на этомъ смягченіи успокоиться. Но подобныя маленькія словесныя хитрости не измѣняютъ, конечно, сути дѣла и не превращаютъ «ненужную» доктрину въ комунибудь нужную. Фактически вопросъ разрѣшается г. Минскимъ такъ: «Истинная жизнь»,—жизнь человѣка, который «въ объятіяхъ, смерти вмѣстѣ съ ужасомъ обрѣтаетъ блаженство и вмѣстѣ съ черною смертью обнимаетъ свѣтлое безсмертіе»,—«эта истинная жизнь выражается не въ поступкахъ и словахъ, которые могутъ быть притворны, а во внутреннемъ содроганіи душевномъ, передъ неподкупнымъ судомъ совѣсти, черезъ мучительное отрицаніе несовершенствъ и пороковъ міра. Поэтому да будутъ они благословенны, страданія несовершеннаго міра! Да будетъ благословенно отсутствіе любви, истины, свободы! Да будутъ благословенны достовѣрныя знанія науки, хрупкіе образы искусства, безцѣльныя дѣла самолюбія и столь же безцѣльные подвиги самоотреченія,—эти четыре рода орудій, которыми человѣкъ высѣкаетъ изъ своей души спящій въ ней мистическій пламень!» (227—228).

Такимъ образомъ, изъ человѣческихъ дѣлъ,—великихъ и низменныхъ, благородныхъ и подлыхъ,—ничто не осталось безъ благословенія г. Минскаго; все прикрылъ собою «мэонизмъ», все разрѣшилъ, все уравнялъ, лишь подъ условіемъ «внутренняго содроганія душевнаго»... Можетъ быть, вслѣдствіе этого уравненія и нельзя усмотрѣть—куда, собственно, слѣдуетъ отнести книжки «При свѣтѣ совѣсти»: къ достовѣрнымъ ли знаніямъ науки или къ хрупкимъ образамъ искусства, къ безцѣльнымъ ли дѣламъ самолюбія или безцѣльнымъ же подвигамъ самоотреченія? Неизвѣстно даже, дѣйствительно ли «содрогался» краснорѣчивый авторъ, сочиняя своихъ мэоновъ и смѣло пускаясь въ безбрежное море «внутренно непримиримыхъ противорѣчій и несообразностей». Я думаю, впрочемъ, что временами дѣйствительно содрогался, и именно тогда, когда думалъ о смерти. Ибо: «Необходимо отказаться отъ попытки придумать такія слова и обороты рѣчи, которые могли бы насъ убѣдить, будто смерть не страшна, и будто потомство или человѣчество способны насъ одарить какимъ-то безсмертіемъ, которымъ они сами не будутъ обладать... Никакіе образы и сравненія, никакія сирены поэзіи и философіи не заворожатъ живую душу противъ ужаса смерти» (224).

Г. Минскій старался *придумать* такія «слова и обороты рѣчи», такіе «образы и сравненія», которые избавили бы его отъ страха

смерти. Въ результатѣ этихъ стараній получилось нѣчто двойственное или раздвоенное: съ одной стороны придумать рѣшительно нельзя, а съ другой—какъ будто и можно, потому что вотъ «мэонисты» «въ объятіяхъ смерти вмѣстѣ съ ужасомъ обрѣтаютъ блаженство и вмѣстѣ съ черною смертью обнимаютъ свѣтлое безсмертіе».

Попробуемъ подойти къ тому же вопросу безъ столь назойливой заботы о словахъ и оборотахъ рѣчи, образахъ и сравненіяхъ. А для этого и самый вопросъ долженъ быть поставленъ иначе. Прежде всего попробуемъ разобраться въ фактахъ.

Вѣрно ли, что «въ душѣ человѣческой есть только два кардинальныхъ чувства, управляющихъ всѣми остальными: мистическая любовь къ бытію и мистическій ужасъ небытія»? Эпитетъ «мистическій», какъ введенный исключительно для красоты слога, мы можемъ оставить совсѣмъ въ сторонѣ. Жажда жизни и страхъ смерти—явленія всѣмъ знакомыя и распространенныя. Если, однако, мы и признаемъ за ними характеръ общаго правила, то должны допустить существованіе многочисленныхъ исключеній. Недавняя тираспольская трагедія свидѣтельствуетъ, что при извѣстныхъ условіяхъ люди предпочитаютъ смерть жизни. Скажутъ, можетъ быть, что тираспольскіе самоубійцы, заживо погребая себя, все-таки расчитывали на жизнь, и именно на лучшую, блаженную жизнь по ту сторону земного существованія. Но, во-первыхъ, добровольно прекращаютъ жизнь не только люди, вѣрующіе въ жизнь загробную, да и для большинства вѣрующихъ, по крайней мѣрѣ, христіанъ, самоубійство есть грѣхъ, лишающій блаженства въ будущей жизни. Во-вторыхъ, жизнь физическую, объ которой только и говоритъ г. Минскій, герои тираспольской трагедіи, во всякомъ случаѣ, оборвали. Правда, эту физическую жизнь г. Минскій понимаетъ очень широко, прихватывая той же скобкой и жизнь въ памяти потомства. Но и это онъ дѣлаетъ неправильно. Въ немъ самомъ страхъ смерти, «черной, холодной, зловонной» и т. д. сочетается съ скорбью о забвеніи его стиховъ и прозы въ грядущихъ вѣкахъ. Но если онъ въ этомъ отношеніи не составляетъ очень большой рѣдкости, то не является и представителемъ общаго правила. Мы очень хорошо знаемъ, что есть люди, рискующіе и жертвующіе жизнью именно для того, чтобы оставить слѣды своихъ дѣлъ или идей въ исторіи. А съ другой стороны—не одна маркиза Помпадуръ, жадно глотая блага жизни и всячески отмахиваясь отъ смерти, исповѣдуетъ принципъ: après nous le deluge. Помните Майковскаго Люція:

По смерти слава—намъ не въ прокъ!
И что за счастье, что когда-то

Укажетъ риторъ бородатый
Въ тебѣ для школьниковъ урокъ!
До тайнъ грядущихъ нѣтъ мнѣ дѣла!
И здѣсь ли кончу я свой вѣкъ
Иль будетъ жить душа безъ тѣла,—
Все буду я—не человѣкъ!

Изо всего этого и изъ многаго еще другого, что можно бы было здѣсь привести, слагается такая пестрая и сложная картина, которая никоимъ образомъ не покрывается слишкомъ простою формулою «двухъ кардинальныхъ чувствъ». Пусть они кардинальныя чувства, но, благодаря сложнымъ условіямъ, какъ личной, такъ и общественной жизни, они образуютъ такія сочетанія, которыя совершенно упущены изъ вида г. Минскимъ. А изъ этого слѣдуетъ что прежде, чѣмъ предпринимать трудъ придумыванія успокоительныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, надо принять во вниманіе тѣхъ, которые въ этихъ успокоительныхъ словахъ вовсе не нуждаются, либо въ обоихъ отношеніяхъ, неправильно поставленныхъ у г. Минскаго за одну и ту же скобку, либо въ которомъ-нибудь одномъ изъ нихъ. Такихъ найдется нѣсколько категорій, и вотъ, изучивъ про каждую въ отдѣльности, мы узнаемъ, при какихъ условіяхъ одни боятся смерти физической и не безпокоятъ себя мыслью о памяти въ потомствѣ, другіе, напротивъ, идутъ на смерть, и именно ради приговора исторіи, третьи боятся и смерти, и забвенія, четвертые не боятся ни того, ни другого, пятые могли бы выразить свое отношеніе къ смерти знаменитымъ стихомъ Некрасова: «хорошо умереть, тяжело умирать» и т. д. Кромѣ главныхъ комбинацій, здѣсь найдется еще много высоко поучительныхъ оттѣнковъ. Само собою разумѣется, что я здѣсь не предприму такой работы. Ограничусь лишь однимъ изъ возможныхъ возраженій.

«Память въ потомствѣ», «приговоръ исторіи»...—какая мелочь! Такъ скажетъ, презрительно пожимая плечами, г. Минскій, скорбный взоръ котораго проникаетъ въ тотъ отдаленный моментъ жизни вселенной, когда не только вымретъ наше потомство, но и сама земля станетъ трупомъ, и солнце погаснетъ. И дѣйствительно, память о русскомъ философѣ г. Минскомъ едва ли будетъ продолжительна, а память о греческомъ философѣ Аристотелѣ живетъ тысячелѣтія; но не все ли это равно въ сравненіи съ вѣчностью, къ которой тяготѣетъ г. Минскій? Раньше, позже, больше, меньше... Озимандія велѣлъ изсѣчь на своей статуѣ надпись:

Я—Озимандія, я—мощный царь царей!
Взгляните на мои великія дѣянья,
Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!

Прошли вѣка, никто Озимандію не помнитъ, его статуя разсыпалась, ея обломки валяются въ пескахъ мертвой пустыни, гдѣ некому читать сохранившуюся гордую надпись. «Кругомъ нѣтъ ничего... Глубокое молчанье... Пустыня мертвая... И небеса надъ ней»... Г. Минскій, начертавшій на своемъ вѣку много гордыхъ словъ, въ родѣ того, напримѣръ, что «поцѣлуи поэта священны», скорбитъ, поэтому, что и его статуя по прошествіи какихъ-нибудь нѣсколькихъ вѣковъ развалится. Собственно эта скорбь, въ связи со скорбію о бренности тѣла, и побуждаютъ г. Минскаго то падать ницъ, то подскакивать выше высокаго, то опускать руки, то воздымать ихъ. Изо всѣхъ этихъ граціозныхъ или величественныхъ тѣлодвиженій самое интересное—опусканіе рукъ. Достигнувъ познанія мэоновъ, мы уже можемъ спокойно заниматься чѣмъ намъ угодно, на все благословляетъ насъ г. Минскій. Но всякій, не достигшій этого познанія и остановившійся на томъ моментѣ, когда человѣкъ знаетъ, что не только онъ умретъ, а и дѣла его подлежатъ забвенію,—«поражается неизлечимымъ недугомъ. Наступаетъ нравственная асфиксія; душѣ тяжело дышать; она медленно и какъ будто безпричинно угасаетъ; въ ней каждое чувство и каждое движеніе воли внутренно поражено, обезсилено, подточено равнодушіемъ къ жизни и ужасомъ смерти». Г. Минскій знаетъ это по личному опыту, онъ самъ былъ въ такомъ положеніи, пока не придумалъ мэоновъ. Съ нимъ лично мы не будемъ и спорить, но есть ли основаніе распространять этотъ личный опытъ на прочихъ всѣхъ людей?

Читатели «Русскаго Богатства» помнятъ, вѣроятно, тѣ страницы записокъ Нансена, гдѣ онъ обращается мыслью къ тому концу всѣхъ концовъ для всѣхъ земнородныхъ, который и г. Минскаго занимаетъ. Нансенъ не знакомъ съ мэонами, но знаетъ, что настанетъ время, и земля обратится въ трупъ, а задолго до этого будутъ забыты и норвежская полярная экспедиція, и самое имя Нансена. Онъ очень живописно говоритъ объ этомъ и, однако, не опускаетъ рукъ и продолжаетъ свое рискованное предпріятіе, не обнаруживая равнодушія къ жизни и ужаса смерти. Минутныя вспышки меланхоліи, отчаянія, страха не идутъ, разумѣется, въ счетъ. Въ общемъ, человѣкъ, твердо знающій то, что г. Минскому кажется источникомъ безсилія, апатіи, бодро доводитъ до конца трудное и рискованное предпріятіе. Но Нансенъ не составляетъ въ этомъ отношеніи какого-нибудь рѣдкаго исключенія. Его эффектная фигура не должна заслонять для насъ тѣхъ многочисленныхъ дѣятелей на поприщахъ науки, искусства, практической дѣятельности, которые отлично знаютъ пугающую г. Минскаго истину, изъ которыхъ иные даже способствовали ея открытію, утвержденію

или распространенію, и которые, тѣмъ не менѣе, работаютъ до гробовой доски, не покладая рукъ. Что же даетъ этимъ людямъ силу добиваться истины, которая съ теченіемъ времени покроется, говоря словами покойнаго Ѳедора Шперка, «цѣломудріемъ тѣни», создавать «хрупкіе» образы и картины, стремиться къ осуществленію того или другого практическаго идеала, который смѣнится другимъ, имѣющимъ въ свое время также погибнуть въ пучинѣ небытія? А что даетъ намъ силу каждый день обѣдать, хотя мы твердо знаемъ, что эта поддержка бреннаго тѣла въ концѣ концовъ не предотвратитъ прекращенія жизненнаго процесса?—Инстинктъ голода, извѣстная непреоборимая потребность. Совершенно такая же непреодолимая потребность движетъ и Нансена и прочихъ людей, принимающихъ близко къ сердцу какую-нибудь задачу. Поэтому не перспектива смерти земли заставляетъ опускать руки, а, напротивъ, люди, у которыхъ почему-нибудь опустились руки, съ тревогою всматриваются въ этотъ тысячелѣтіями отдаленный отъ нихъ моментъ.

Вернемся къ предисловію г. Минскаго.

«Народолюбіе,—пишетъ г. Минскій,—составляетъ въ русской жизни такое явленіе, подобнаго которому нѣтъ и не было въ исторіи. Хотя въ другихъ странахъ народъ пользуется большими юридическими правами, чѣмъ у насъ, но истинное народовластіе существуетъ только въ Россіи, потому что только у насъ забота о судьбѣ деревни всецѣло властвуетъ надъ мыслями и чувствами интеллигенціи. За послѣдніе полвѣка у насъ или не было ни одного умственнаго теченія, которое бы не исходило изъ любви къ народу и къ нему не возвращалось. Разныя партіи различно понимаютъ народную душу, но сердцевиной всѣхъ ихъ ученій одинаково остается народолюбіе. Славянофилы выдавали свое ученіе о церкви и государствѣ за откровеніе народной мудрости и въ знакъ своей связи съ народомъ надѣвали кафтаны и мурмолки, но другое движеніе, противоположное славянофильскому, тоже ссылалось на идеалы деревни и также привело къ переодѣванію въ крестьянское платье и хожденію въ народъ. Слѣдовавшее затѣмъ морально-религіозное движеніе опять неминуемо привело къ мужицкому платью и къ завѣту пахать землю. Наконецъ, въ послѣднее время у насъ возникло нѣчто въ родѣ философскаго движенія. Но какъ пролитая вода непремѣнно потечетъ по естественному наклону почвы и скопится въ углубленіяхъ, такъ и философскія идеи у насъ не могли не направиться въ сторону народолюбія. Вмѣсто философіи общество занялось мнимо-философскимъ споромъ о законахъ экономическаго развитія въ примѣненіи къ судьбамъ русскаго народа... Только то ученіе

можетъ расчитывать у насъ на успѣхъ, которое, помимо всего прочаго, даетъ фактическія указанія, какъ лучше слиться съ народомъ и служить деревнѣ. И, ревниво оберегая свою историческую святыню, наша интеллигенція съ подозрѣніемъ смотритъ на всякую отвлеченную спорную мысль, боится философіи, эстетики и даже религіи, видитъ въ нихъ опасную помѣху, какое-то умственное баловство, способное развлечь молодые умы и сдѣлать ихъ равнодушными къ неотложному и священному дѣлу. Пусть, молъ, тамъ въ Европѣ—такъ разсуждаютъ про себя наши народолюбцы—досужіе люди занимаются этими общностями, которыя могутъ быть рѣшены и такъ, и эдакъ; намъ некогда участвовать въ хроническомъ спорѣ о добрѣ и злѣ, о красотѣ и вѣчности; съ насъ достаточно того простого пониманія добра и зла, которое вложено въ душу каждаго человѣка, была бы лишь охота слушаться этого естественнаго голоса и дѣло дѣлать. Изъ всѣхъ философскихъ ученій ближе къ землѣ матеріализмъ, поэтому будемъ матеріалистами. Всѣ же идеалисты и эстетики и религіозные мечтатели неправы уже тѣмъ, что они парятъ за облаками; въ худшемъ случаѣ они намъ кажутся измѣнниками общему дѣлу, а въ лучшемъ—никуда не годными калѣками».

Простите, читатель, эту длинную выписку. Я сдѣлалъ ее не для того, чтобы ловить г. Минскаго на произвольности терминологіи и сбивчивости мысли, какъ результатахъ необузданнаго краснорѣчія, не столько увлекательнаго, сколько увлекающаго самого автора. Мы посмотримъ на нарисованную имъ картину нашего умственнаго движенія «за послѣдніе полвѣка» исключительно съ «фактической стороны».

Здѣсь прежде всего бросается въ глаза черта, не одному г. Минскому свойственная, а именно—узость кругозора при склонности считать его всеобъемлющимъ. У насъ очень часто маленькія личныя наблюденія обобщаются совершенно непомѣрно: человѣкъ, вниманіе котораго случайно остановилось на двухъ-трехъ «свѣтлыхъ явленіяхъ», не глядя по сторонамъ, жмурится, какъ отъ ослѣпительнаго солнечнаго сіянія; человѣкъ, имѣющій общеніе съ нѣсколькими десятками людей извѣстнаго настроенія или образа мыслей, увѣренъ, что таково настроеніе или таковъ образъ мыслей всего «общества». Эта умственная близорукость, соединенная съ увѣренностью въ прекрасномъ зрѣніи, есть у иныхъ, можетъ быть, и личная прирожденная черта, но въ общемъ она несомнѣнно воспитывается условіями русской жизни. Нѣкоторые оттѣнки русской мысли и русскаго настроенія или совсѣмъ не заявляютъ себя, благодаря разнымъ случайнымъ и внѣшнимъ обстоятельствамъ, или заявляютъ себя слишкомъ слабо сравнительно съ своимъ дѣйствительнымъ значеніемъ. Сплошь и рядомъ «общество» просто

молчитъ, — по равнодушію или по непривычкѣ, неумѣнію, невозможности высказаться. Если прибавить къ этому обрывистый ходъ нашей исторіи, вслѣдствіе котораго мы, вообще говоря, очень мало знакомы съ нашимъ недавнимъ, чуть не вчерашнимъ прошлымъ, то получается обширное поле для разнаго рода оптическихъ обмановъ, вызывающихъ и неосновательныя ликованія, и столь же неосновательныя огорченія.

Вышеприведенная картина нашего умственнаго состоянія за послѣдніе полвѣка есть въ значительной степени плодъ оптическаго обмана. Сосредоточивъ свое вниманіе на нашемъ «народолюбіи» или даже какомъ-то «народовластіи» и усмотрѣвъ именно въ немъ причину холоднаго или враждебнаго отношенія къ его книгѣ, г. Минскій уже никакихъ другихъ умственныхъ теченій за цѣлые полвѣка не видитъ. Ихъ, говоритъ, не было и нѣтъ: и славянофилы, и западники и т. д. Другое дѣло въ Европѣ: тамъ идетъ «хроническій споръ о добрѣ и злѣ, о красотѣ и вѣчности», и никто противъ этого «паренія за облаками» ничего не имѣетъ.—«Вѣчность»— дѣло особое, но и объ ней, а тѣмъ паче о добрѣ и злѣ и красотѣ, можно вести споры не только «за облаками», а и на землѣ. Что же касается собственно заоблачныхъ споровъ, то отрицательное къ нимъ отношеніе мы не сами выдумали, а получили въ готовомъ, вполнѣ разработанномъ видѣ изъ той же Европы. Тамъ именно долгій и мучительный опытъ, послѣ цѣлаго ряда неудачныхъ попытокъ вырваться за предѣлы человѣческой природы, ускромнилъ людей, убѣдилъ ихъ въ ограниченности нашихъ духовныхъ силъ и въ тщетѣ надеждъ проникнуть въ навѣки сокровенную сущность вещей. Правда, въ Европѣ есть «досужіе» люди, по выраженію г. Минскаго, которые продолжаютъ гордыя попытки обнять необъятное, но они есть и у насъ, хотя, конечно, въ гораздо меньшемъ числѣ, пропорціонально скудости нашей умственной производительности вообще: г. Минскій ихъ забываетъ. Но онъ забываетъ и еще кое-что, гораздо болѣе для насъ интересное...

«Пусть противники Михаила Никифоровича вспомнятъ могилу Грознаго, а пока пусть посторонятся—Катковъ опять оживаетъ въ своихъ передовыхъ статьяхъ».

Такъ патетически восклицаетъ гр. Комаровскій въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» по поводу изданія передовыхъ статей Каткова. «Новое Время» справедливо называетъ приведенныя слова «какимъ-то болѣзненнымъ бредомъ». При чемъ, въ самомъ дѣлѣ, тутъ могила Грознаго? Но возгласъ гр. Комаровскаго долженъ напомнить г. Минскому объ одномъ еще недавно весьма сильномъ умственномъ теченіи въ нашемъ обществѣ. Не думаю, чтобы противники Каткова очень встревожились изданіемъ его передовыхъ статей. На-

противъ, они должны ему радоваться, не только какъ историческому документу, а и потому еще, что при этомъ раскроется крайняя измѣнчивость взглядовъ знаменитаго покойнаго публициста. Это цѣлый арсеналъ аргументовъ и старастной полемики за и противъ по разнымъ вопросамъ. Одно, въ чемъ Катковъ былъ всегда себѣ вѣренъ это—враждебное отношеніе и недовѣріе къ инородцамъ (за исключеніемъ евреевъ), въ особенности къ полякамъ. «Польская интрига» видѣлась ему во всемъ, что онъ не одобрялъ въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ. Но и интриги финляндскія, грузинскія, армянскія преслѣдовались имъ, если не столь часто, то съ неменьшею «настойчивостью и неотвязчивостью, которая была одною изъ самыхъ главныхъ чертъ его характера» (выраженіе апологета Каткова, нынѣ тоже покойнаго Любимова: «М. Н. Катковъ и его историческая заслуга», 124). Не смотря на то исключительное вліяніе, которымъ въ свое время пользовался Катковъ, его идеи отнюдь не всегда совпадали съ какимъ-нибудь общественнымъ теченіемъ. Достаточно вспомнить страстную пропаганду классическаго образованія. Но что касается ультранаціоналистическихъ и грубо обрусительныхъ тенденцій Каткова, то онѣ несомнѣнно, если не породили, то укрѣпили общественное теченіе, которое лишь въ самое послѣднее время начинаетъ, повидимому, ослабѣвать. А между тѣмъ ни эта и никакая другая сторона дѣятельности Каткова не «исходили» изъ «народолюбія» и не «возвращались» къ нему.

Разъ зашелъ разговоръ о Катковѣ, я позволю себѣ привести страницу изъ одной его біографіи, авторъ которой не преклоняется предъ своимъ героемъ, какъ Любимовъ, но признаетъ за нимъ большія «достоинства и заслуги: страстную любовь къ родинѣ, удивительную силу ума и блестящій литературный талантъ».

Отмѣтивъ, что «въ кругъ интересовъ Каткова не входило до 1856 г. изученіе политическихъ и юридическихъ наукъ», г. Невѣдѣнскій («Катковъ и его время», 106) продолжаетъ: «Что же касается позднѣйшаго теоретическаго знакомства Каткова съ политическимъ и юридическимъ строемъ западной Европы, предпринятаго въ ту пору, когда онъ уже сталъ издателемъ журнала, то значеніе его, конечно, опредѣляется условіями, въ которыхъ оно происходило. Нельзя ожидать самостоятельныхъ результатовъ отъ изученія, выполняемаго при условіяхъ обремененія тяжелымъ редакторскимъ трудомъ и вдобавокъ начатаго уже въ зрѣломъ возрастѣ (около сорока лѣтъ), когда складъ личности можно считать окончательно установившимся. При всей даровитости натуры, Катковъ не могъ извлечь изъ этого изученія окончательныхъ, руководящихъ началъ... Главной причиной упомянутаго явленія въ Катковѣ была, очевидно, индифферентность къ идеямъ юридическаго

и политическаго строя. Онъ признавалъ въ нихъ не руководящіе для себя принципы, а только средства. Если средство оказывалось послѣ перваго примѣненія неудачнымъ, то онъ оставлялъ его и искалъ новую почву для новой проповѣди».

Это шатаніе мысли, эта игра юридическими и политическими идеями, какъ средствами для достиженія минутной цѣли, проистекающая отсюда беззастѣнчивость аргументаціи или простая замѣна ея грозными окриками—тоже оставили на рыхлой русской почвѣ свой слѣдъ даже до сего дня и составляютъ извѣстное, по своимъ послѣдствіямъ весьма важное умственное теченіе, совершенно, однако, упущенное изъ виду г. Минскимъ.

Нельзя, конечно, назвать сплошь фантастическимъ изложеніе исторіи нашего умственнаго развитія, сдѣланное г. Минскимъ. Въ немъ есть и подлинные, несомнѣнные факты, но, благодаря точкѣ зрѣнія автора, они являются въ разныхъ странныхъ ракурсахъ. Г. Минскій можетъ быть правъ, относя начало нашего «народолюбія» примѣрно за полвѣка назадъ. Приблизительно около этого времени идея освобожденія крестьянъ не только достаточно созрѣла въ сознаніи извѣстной части общества, но и получила нѣкоторую, очень, конечно, слабую возможность выразиться въ печати. Дѣло, однако, въ томъ, что и тогда существовали въ самомъ обществѣ отнюдь не «народолюбивыя» теченія, не прекращавшіяся и послѣ того, какъ освобожденіе стало фактомъ, не прекращающіяся и по сейчасъ. Затѣмъ надо принять во вниманіе, что крѣпостное право составляло основу всей нашей дореформенной жизни, паденіе которой неизбѣжно должно было отразиться на всѣхъ сторонахъ общественной жизни. И та или другая изъ этихъ реформированныхъ сторонъ,—правильный судъ, земское самоуправленіе и проч., — могли казаться многимъ цѣннѣе, чѣмъ основная реформа. Не то, чтобы они ея не желали; напротивъ, они привѣтствовали ее съ искреннею радостію, но, главнымъ образомъ, въ виду тѣхъ дальнѣйшихъ реформъ, которыя неизбѣжно должны были за нею слѣдовать. Таковъ былъ тотъ же Катковъ, идеаломъ котораго въ первую пору его публицистической дѣятельности была тогдашняя свободная, но отнюдь не демократическая Англія (съ тѣхъ поръ и въ Англіи много воды утекло). Что касается славянофиловъ, то въ ихъ ученіи демократическіе элементы несомнѣнно были, но напрасно все-таки г. Минскій думаетъ, что они носили мурмолки и кафтаны въ качествѣ «народной» одежды,—это былъ «національный» костюмъ. Если же г. Минскій не хочетъ признавать этого различія, то онъ долженъ, по крайней мѣрѣ, признать, что время мурмолокъ и кафтановъ было вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ горячихъ споровъ о вопросахъ религіозныхъ, богословскихъ, философскихъ. Западники и славянофилы

съ одинаковымъ увлеченіемъ отдавались этимъ спорамъ объ «общностяхъ», о «добрѣ и злѣ, красотѣ и вѣчности». Напомню только характернѣйшій разсказъ Тургенева, приводимый во всѣхъ біографіяхъ Бѣлинскаго. Разсказавъ, какъ мучили Бѣлинскаго «философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п.»,—Тургеневъ продолжаетъ: «Искренность его дѣйствовала на меня; его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два—три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое... я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко».—«Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ,—а вы хотите ѣсть!» (Сочиненія Тургенева, I, 25).

Все умственное теченіе, сказавшееся въ этомъ трогательно наивномъ восклицаніи Бѣлинскаго, осталось внѣ кругозора г. Минскаго. И многое другое еще. Съ теченіемъ времени острота вопросовъ, такъ занимавшихъ первыхъ славянофиловъ и западниковъ, ослабѣла. Позднѣе мы уже не встрѣчаемъ этой страстности, мучительной работы ума и чувства въ этомъ направленіи, переполнявшей даже дружескую переписку того времени цѣлыми философскими диссертаціями на отвлеченнѣйшія темы. Ослабленіе это находится въ прямой связи съ тѣмъ, что «цивическія стремленія» получали нѣкоторую возможность «исхода наружу». И эти «цивическія стремленія» несомнѣнно были сильно окрашены «народолюбіемъ». Но оставимъ неуклюжіе термины г. Минскаго. (Надо, впрочемъ, замѣтить, что «цивическія стремленія» взяты изъ жаргона дѣйствующихъ лицъ романовъ г. Боборыкина, а «народолюбіе» изобрѣтено покойнымъ Юзовымъ для уязвленія нѣкоторыхъ противниковъ «народничества».) Г. Минскій разумѣетъ очевидно тѣ общественныя идеи и чувства, которыя находились въ связи съ идеей и фактомъ освобожденія крестьянъ. Огромность этого событія, огромность его значенія для всей русской жизни требовала выработки широкаго, многосторонняго міросозерцанія, но и давала матеріалъ для такой выработки...

И напрасно г. Минскій думаетъ, что въ составѣ такъ называемыхъ «идей 60-хъ годовъ» не было ничего, кромѣ «народолюбія» и тѣмъ паче «идеаловъ деревни». Вопросы деревенской жизни естественно занимали выдающееся мѣсто въ литературѣ того времени, но слишкомъ многое въ ней никоимъ образомъ не могло вмѣститься въ «идеалы деревни». Самое «народолюбіе» отнюдь не

ограничивалось деревней, а распространялось на всѣ трудящіеся классы, среди которыхъ крестьянство составляло, конечно, громадное большинство. Но и множество другихъ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ сплеталось съ идеей освобожденія. И не мудрено, что на первыхъ порахъ люди впадали въ частыя ошибки и увлеченія, предавались неосновательнымъ надеждамъ и т. п. Но все это были частности, которыя при дальнѣйшемъ нормальномъ ходѣ развитія сами собой сгладились бы. Зерно же тогдашнихъ идей жизнеспособно и доселѣ и будетъ жизнеспособно еще многіе и многіе годы. Но именно нормальнаго-то хода развитія судьба намъ и не дала. Первое значительное уклоненіе отъ правильнаго пути мы встрѣчаемъ уже во второй половинѣ 60-хъ годовъ въ видѣ эпидеміи увлеченія естествознаніемъ; то, что было дотолѣ лишь однимъ изъ элементовъ міросозерцанія, стало его основою; въ частности «народолюбіе» ушло на задній планъ, уступивъ мѣсто выработкѣ правилъ личнаго поведенія «мыслящихъ реалистовъ». При этомъ вопросы «о добрѣ и злѣ, о красотѣ и вѣчности» отнюдь не игнорировались «мыслящими реалистами»: напротивъ, они ими очень много занимались, и если ихъ рѣшенія не нравятся г. Минскому (не нравятся они и мнѣ), то изъ этого не слѣдуетъ, что ихъ не было. Мимоходомъ сказать, столь же неосновательно утверждаетъ г. Минскій будто «слѣдовавшее затѣмъ морально религіозное движеніе опять неминуемо привело къ мужицкому платью и къ завѣту пахать землю». Здѣсь разумѣется такъ называемое «толстовство». Но, какъ извѣстно, гр. Толстой лишь началъ «народолюбіемъ», а кончилъ пропагандою психической и физической гигіены, при чемъ хотя до мэоновъ не додумался, но всѣ вопросы, волнующіе г. Минскаго,—о верховной цѣли жизни, о страхѣ смерти, о вѣчныхъ истинахъ,—волнуютъ и гр. Толстого, и его недавно еще довольно многочисленныхъ послѣдователей.

Уже изъ этого видно, какъ неполна и одностороння картина нашихъ умственныхъ теченій за полвѣка, нарисованная г. Минскимъ. Но пойдемъ дальше.

«Почему мы отказываемся отъ наслѣдства?» «Въ чемъ главный недостатокъ наслѣдства 60—70 годовъ?»—Такъ характерно были озаглавлены двѣ статьи г. В. Розанова, напечатанныя въ 1891 г. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Напоминаю эти заглавія именно ради ихъ характерности, потому что до самыхъ статей намъ здѣсь дѣла нѣтъ: какое «мы» включаетъ въ себѣ г. Розанова,—это пусть останется безъ разсмотрѣнія. «Отказовъ отъ наслѣдства» и безъ того много. Начали «народники», еще въ 70-хъ годахъ. Покойный Гайдебуровъ, покойный Юзовъ, г. П. Ч. и многіе другіе объявили, что наступила пора сказать «новое слово». Отказъ отъ

наслѣдства и провозглашеніе новаго слова были очень шумны и задорны, а состояло это новое слово въ томъ, что въ основу міросозерцанія былъ взятъ опять-таки одинъ изъ элементовъ «наслѣдства»—деревня, не только съ ея интересами, а и съ ея мнѣніями, и все это густо сдобрено узкимъ націонализмомъ. Затѣмъ послѣдовалъ новый отказъ отъ наслѣдства, подъ предводительствомъ гг. Абрамова и Дистерло, во имя «свѣтлыхъ явленій», «малыхъ дѣлъ», уваженія къ «дѣйствительности» и «пантеистическаго міросозерцанія». «Идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»,—писалъ одинъ изъ отказывающихся. Одновременно съ этимъ г. Волынскій началъ «тихую, робкую борьбу» во имя «новой мозговой линіи», каковую борьбу повелъ уже потомъ съ полною развязностью. Въ области поэзіи отказы слѣдуютъ одинъ за другимъ. Изъ «Обзора нашей современной поэзіи», сдѣланнаго въ двухъ книжкахъ «Русскаго Богатства» (за августъ и сентябрь 1897 г.), читатель узналъ о двухъ самоновѣйшихъ отказахъ: г. Льдова и г. М. М. Первый, глубоко презирая Некрасова и Надсона, въ особенности за «гражданскую скорбь», требуетъ «новаго слова» въ видѣ «внѣвременнаго содержанія» поэзіи и «внушеній непостижимаго мірового начала». Г. же М. М. отрекается отъ наслѣдства собственно потому, что «быстро выросъ, окрѣпъ и властно заявилъ о своемъ существованіи капитализмъ», и оттого «дни наши стали свѣтлѣе, радостнѣе»

Г. М. М. есть поэтическій представитель цѣлой школы, доселѣ имѣвшей лишь своихъ прозаиковъ, хотя многіе изъ нихъ обнаруживаютъ большую склонность къ лиризму, — только вотъ стихами до сихъ поръ не могли. Я сейчасъ кое-что скажу объ этой школѣ, а теперь вернемся на минуту къ г. Минскому, чтобы уже совсѣмъ покончить разговоръ объ немъ. Мы видѣли, что «у насъ (и «только у насъ», забота о судьбѣ деревни всецѣло властвуетъ надъ мыслями и чувствами интеллигенціи», что «идеалы деревни», «мужицкое платье» и «завѣтъ пахать землю», проходятъ черезъ всю нашу полувѣковую исторію, совершенно затирая собою вопросы философскіе. Мы видѣли также, сколь все это несправедливо, фактически невѣрно. Г. Минскій продолжаетъ: «Наконецъ, въ послѣднее время у насъ возникло нѣчто въ родѣ философскаго движенія. Но... вмѣсто философіи, общество занялось мнимо-философскими спорами о законахъ экономическаго развитія въ примѣненіи къ судьбамъ русскаго народа». Г. Минскій разумѣетъ здѣсь «діалектическихъ матеріалистовъ» (почему я употребляю именно этотъ неуклюжій титулъ, читатель увидитъ ниже). Но ему должно быть извѣстно, что эти люди не желаютъ состоять ни въ какой преемственной связи съ прошлымъ и рѣшительно отказываются отъ наслѣдства; при этомъ не только объ «идеалахъ деревни» или «мужицкомъ платьи»

не можетъ быть рѣчи, но и будто бы всегда присущая русскимъ людямъ «забота о судьбахъ деревни» отступаетъ далеко на задній планъ. А затѣмъ, я не понимаю, почему г. Минскій утверждаетъ, что эти люди занимаются законами экономическаго развитія «*вмѣсто* философіи». Не «вмѣсто», а вмѣстѣ, рядомъ съ философіей. Правда, ихъ философскіе взгляды еще не вполнѣ выяснились: г. Струве тяготѣетъ къ новой нѣмецкой, такъ называемой критической философіи, гг. Бельтовъ и Каменскій воскрешаютъ гегеліанство, г. Туганъ-Барановскій... впрочемъ, объ немъ не знаю. Во всякомъ случаѣ, г. Минскій долженъ порадоваться, по крайней мѣрѣ, рѣшительному заявленію г. Каменскаго: «Метафизика опять начинаетъ привлекать къ себѣ русскіе умы» («Новое Слово», сентябрь, 98). Такъ что напрасно г. Минскій печалится: ликовать надо какъ ликуютъ г. Каменскій, г. М. М., г. Льдовъ, г. Волынскій, гг. Абрамовъ и Дистерло, вообще всѣ, отказывающіеся отъ наслѣдства (только народники ликовать перестали). Но—замѣчательная черта—всѣ эти разнообразные ликующіе объединяются, кромѣ ликованія, еще чрезвычайною злобностью, съ которою они накидываются на наслѣдство. У этого любопытнаго явленія есть, разумѣется, свои причины, изученіемъ которыхъ, однако, я не могу уже заняться въ настоящей статьѣ. Ниже читатель найдетъ только нѣсколько образчиковъ и ликованія, и злобности.

Къ намъ неоднократно, устно и письменно, обращались съ вопросомъ, почему мы оставляемъ безъ возраженія многочисленныя выходки журнала «Новое Слово» противъ нашего журнала или его отдѣльныхъ сотрудниковъ (главнымъ образомъ, кажется, противъ пишущаго эти строки). Дѣйствительно, «Новое Слово» не то чтобы считало почему-нибудь нужнымъ представить своимъ читателямъ всестороннюю, хотя бы строгую, даже придирчивую критику нашихъ взглядовъ,—нѣтъ, но оно при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, кстати и не кстати, щиплется (болѣе подходящаго выраженія не нахожу), при чемъ охотно смѣшиваетъ насъ съ «народниками» и другими лицами, къ «Русскому Богатству» непричастными. И не то, чтобы такова была вообще манера «Новаго Слова», по отношенію ко всѣмъ собратамъ,—нѣтъ, только мы пользуемся такимъ исключительнымъ вниманіемъ почтеннаго журнала. Мы доселѣ воздерживались отъ полемики съ «Новымъ Словомъ», да и впредь не думаемъ заниматься ею спеціально, и менѣе всего, конечно, въ той формѣ, которую практикуетъ нашъ неутомимый антагонистъ. Къ такому воздержанію насъ побуждали разныя соображенія. Нѣкоторыя изъ нихъ я изложу.

Во-первыхъ, сплошь и рядомъ возражать было не на что: отвѣчать на щипки щипками или доказывать, что не было резона васъ

щипать,—ребячество, которымъ мы, можетъ быть, и доставили бы удовольствіе «Новому Слову», но для котораго у насъ нѣтъ ни времени, ни охоты.

Затѣмъ, «Новое Слово» теперешней редакціи есть журналъ новый, и намъ казалось, что необходимо дать ему высказаться, выяснить свои взгляды, не вставляя ему на первыхъ же порахъ, по французской поговоркѣ, палки въ колеса. Я лично еще недавно не уклонялся отъ полемики съ теперешними столпами «Новаго Слова». Но одно дѣло—написать статью въ чужомъ журналѣ или издать книжку, и другое дѣло—получить въ свое распоряженіе журналъ, обязанный періодически откликаться на разнообразные теоретическіе вопросы и практическія злобы дня. Естественно было подождать, чтобы журналъ выяснился, провѣрилъ свои основныя положенія на цѣломъ рядѣ явленій жизни, съ которыми ему, по необходимости, приходится имѣть дѣло. Ради этого стоило, конечно, молча протерпѣть хотя бы даже совершенно безсмысленные щипки, тѣмъ болѣе, что можно было надѣяться, что надоѣстъ же, наконецъ, людямъ заниматься этимъ нетруднымъ, но мало полезнымъ дѣломъ.

Но «Новому Слову» не надоѣдаетъ. А что касается выясненія его физіономіи, то въ этомъ отношеніи едва ли почтенный журналъ подвинулся далеко впередъ.

Въ сентябрьской книжкѣ «Новаго Слова» напечатана статья г. Каменскаго «О матеріалистическомъ пониманіи исторіи», изъ которой я уже цитировалъ выше ликованіе по тому поводу, что «метафизика опять начинаетъ привлекать къ себѣ русскіе умы». Статья посвящена изложенію и разбору книги итальянскаго писателя Лабріола, озаглавленной во французскомъ переводѣ, которымъ пользуется г. Каменскій, «Essais sur la conception matérialiste de l'histoire». Повидимому, книга эта очень интересная, но отчетъ г. Каменскаго едва ли даетъ надлежащее понятіе объ ней. Взять хоть бы слѣдующее. Г. Каменскій вездѣ говоритъ о «діалектическомъ матеріализмѣ», послѣдовательнымъ, хотя въ частностяхъ и заблуждающимся, представителемъ котораго является Лабріола. И только изъ лаконическаго подстрочнаго примѣчанія мы узнаемъ, что «Лабріола даетъ ему («діалектическому матеріализму») заимствованное у Энгельса названіе—*историческій* матеріализмъ». Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что терминъ «діалектическій матеріализмъ» совершенно отсутствуетъ въ книгѣ Лабріола. Конечно, имя вещи не мѣняетъ, но мы сейчасъ увидимъ, что самъ г. Каменскій приводитъ примѣръ путаницы, связанной съ употребленіемъ того или другого прилагательнаго къ существительному «матеріализмъ». И для читателя совершенно неясно, почему и за-

чѣмъ подмѣнивается одно прилагательное другимъ. Въ упомянутомъ лаконическомъ подстрочномъ примѣчаніи говорится, что названіе «историческій матеріализмъ» *заимствовано* у Энгельса, но значитъ ли это, что Лабріола прямо «заимствовалъ», съ указаніемъ источника, или это простое совпаденіе, а собственно «заимствованіе» есть догадка г. Каменскаго? Въ самой статьѣ г. Каменскаго ни однимъ словомъ не упоминается, есть ли въ книгѣ Лабріола страницы, посвященныя оцѣнкѣ исторической концепціи Маркса-Энгельса. Казалось бы, объ этомъ слѣдовало хоть вскользь упомянуть. Но г. Каменскій предпочитаетъ тратить время на щипки: «Г. Карѣевъ, который, какъ извѣстно, весьма усердно» и т. д. «Спросите любого народника или субъективиста»... «Г. Михайловскій не однажды указывалъ»... «Однако, скажетъ намъ, пожалуй, г. Кудринъ»... «Г. Михайловскій сказалъ бы»... «Гг. Карѣевъ, Н. Михайловскій, С. Кривенко и прочіе умные и ученые люди»... «Достаточно напомнить, что, по мнѣнію г. Н. Михайловскаго» и т. д... Изъ-за этихъ экскурсій книга Лабріола такъ и остается въ туманѣ. Но за то выясняется нѣчто другое.

Щипки г. Каменскаго отнюдь не причиняютъ той боли, на которую расчитаны, но нельзя имъ все-таки отказать въ чрезвычайной злобности, доводящей автора до шутовства. Остановлюсь на одной изъ выходокъ, направленныхъ лично противъ меня, не потому, чтобы она была ярче, характернѣе или типичнѣе другихъ, а потому, что ее трудно обойти желающему вникнуть въ одно чрезвычайно важное объясненіе г. Каменскаго: «Мы, можетъ быть, подали бы нашимъ субъективнымъ старичкамъ поводъ лишній разъ похихикать насчетъ того, что между сторонниками матеріалистическаго пониманія исторіи трудно отличить «настоящихъ» отъ «ненастоящихъ». Но мы бы отвѣтили субъективнымъ старичкамъ, что они «надъ собой смѣются». Человѣку, который самъ хорошо усвоилъ смыслъ философской системы, легко отличить истинныхъ ея послѣдователей отъ ложныхъ. Если бы гг. субъективисты дали себѣ трудъ продумать матеріалистическое объясненіе исторіи, то они знали бы, гдѣ настоящіе «ученики», а гдѣ самозванцы, всуе пріемлющіе великое имя» (стр. 97). Дальше идутъ еще разныя язвительности, но это уже повтореніе нѣкотораго язвительнаго вздора, изложеннаго еще г. Бельтовымъ.

«Субъективные старички»—это просто безсмысленное сочетаніе словъ, отнюдь не свидѣтельствующее о томъ, что г. Каменскій «далъ себѣ трудъ подумать». Но за то оно, въ связи со всѣмъ тономъ, какъ этой, такъ и другихъ статей г. Каменскаго, свидѣтельствуетъ, что онъ очень сердится, а это ему не полагается. Мы, «субъективные старички», равно, какъ и «субъективные юноши»,

не противорѣча себѣ, разрѣшаемъ себѣ эту слабость. Но представители ученія, «справедливо гордаго своею неумолимою объективностью» (выраженіе одного изъ сотрудниковъ «Новаго Слова»), находятся въ иномъ положеніи. Недаромъ г. М. М., пѣвецъ матеріалистическаго пониманія исторіи, говоритъ:

Съумѣемъ мы сердце тому покорить,
Что умъ неизбѣжнымъ признаетъ...
. . . . . .
Научимся чувство уму покорять.

Г. Бельтовъ въ своей книжкѣ даже курсивомъ напечаталъ слѣдующій тезисъ: «На извѣстной стадіи экономическаго развитія данной страны въ головахъ ея интеллигенціи необходимо выростаютъ извѣстныя благоглупости». Вотъ это послѣдовательно. Къ сожалѣнію ни г. Бельтовъ, ни г. Каменскій, ни другіе ихъ товарищи не выдерживаютъ этой послѣдовательности и, приглашая насъ «чувство уму (?) покорить» въ вопросахъ чрезвычайной важности и сложности, не могутъ безъ волненія отнестись даже къ такому маленькому факту, какъ существованіе «Русскаго Богатства».

«Хихикалъ» ли я, когда доискивался, кто «настоящіе» и кто «ненастоящіе»? Нѣтъ, не хихикалъ, и теперь не собираюсь хихикать, но разъясненія г. Каменскаго повергаютъ меня (и, полагаю, не одного меня) въ вящшее смущеніе. Г. Каменскій признаетъ, что есть настоящіе и ненастоящіе, истинные и ложные или самозванцы. Онъ даетъ и признаки тѣхъ и другихъ. Признаюсь, пробираясь въ статьѣ г. Каменскаго сквозь изложеніе и критику книги Лабріола и многочисленныя его киванія по сторонамъ, я не совсѣмъ уяснилъ себѣ признаки «настоящихъ». Достовѣрно только, что они—«діалектическіе матеріалисты» или «матеріалисты діалектики». За то «ненастоящіе» или, по крайней мѣрѣ, одна ихъ группа, получаютъ вполнѣ ясное и точное опредѣленіе.

Есть анекдотъ о любителѣ танцевъ, который не могъ начать танцовать иначе, какъ отъ печки. Такъ и г. Каменскій. О чемъ бы онъ ни заговорилъ, онъ долженъ предварительно лягнуть «народниковъ и субъективистовъ», разумѣя подъ этими кличками довольно неопредѣленный рядъ именъ непріятныхъ ему лицъ. Поэтому на первой же страницѣ, въ первыхъ же строкахъ своего отчета о книгѣ итальянскаго ученаго, онъ, давъ сначала мимоходомъ толчекъ въ бокъ г. Карѣеву, продолжаетъ: «Спросите любого народника или субъективиста, что такое экономическій матеріалистъ? Онъ отвѣтитъ:—это человѣкъ, приписывающій экономическому фактору господствующее значеніе въ общественной жизни. Такъ понимаютъ экономическій матеріализмъ наши народники и субъекти-

висты. И надо признать, что люди, приписывающіе экономическому фактору господствующую роль въ жизни человѣческихъ обществъ, несомнѣнно существуютъ» («Новое Слово», сентябрь, 70). Но—читаемъ далѣе—«между матеріалистами-діалектиками и людьми, которыхъ не безъ основанія можно назвать *экономическими* матеріалистами, лежитъ цѣлая пропасть» (77). «Подлинные и послѣдовательные матеріалисты не склонны всюду лѣзть съ экономическимъ факторомъ. Да и самый вопросъ о томъ, какой факторъ господствуетъ въ общественной жизни, кажется имъ неосновательнымъ вопросомъ. Неумѣстность вопроса о томъ, какой факторъ господствуетъ въ общественной жизни, стала очень замѣтной еще со времени Гегеля». А теперь «препираться объ относительномъ значеніи различныхъ соціально-историческихъ факторовъ могутъ только отсталые въ теоріи люди» (72). «Соціально-историческій факторъ есть *абстракція*, представленіе о немъ возникаетъ путемъ *отвлеченія* (абстрагированія). Благодаря процессу абстрагированія, различныя *стороны* общественнаго *цѣлаго* принимаютъ видъ обособленныхъ *категорій*, а различныя проявленія и выраженія дѣятельности общественнаго человѣка—мораль, право, экономическія формы и проч.—превращаются въ нашемъ умѣ въ особыя силы, будто бы вызывающія и обусловливающія эту дѣятельность, являющіяся ея послѣдними причинами» (74). Въ свое время точка зрѣнія господства того или другого историческаго фактора была полезна: но «она не выдерживаетъ теперь критики; она расчленяетъ дѣятельность общественнаго человѣка, превращая различныя ея стороны и проявленія въ особыя силы, будто бы опредѣляющія собою историческое движеніе общества» (75).

Ничего этого «народники и субъективисты» не знали, не понимали, а потому и не могли отличить «настоящихъ», которые суть «діалектическіе матеріалисты», отъ ненастоящихъ или самозванцевъ — «экономическихъ матеріалистовъ». Существуютъ и тѣ, и другіе, это безспорно, но—спрашиваетъ г. Каменскій—къ какому направленію принадлежатъ тѣ «ученики», «противъ которыхъ гг. Карѣевъ, Н. Михайловскій, С. Кривенко и прочіе умные и ученые люди еще недавно выступали такъ азартно, хотя и не такъ счастливо? Если мы не ошибаемся, «ученики» цѣликомъ стояли на точкѣ зрѣнія діалектическаго матеріализма. Почему же гг. Карѣевъ, Н. Михайловскій, С. Кривенко и прочіе умные и ученые люди приписывали имъ взгляды *экономическихъ* матеріалистовъ и громили ихъ за то, что они будто бы приписываютъ экономическому фактору преувеличенное значеніе?» (77). Задавшись этимъ любопытнымъ вопросомъ, г. Каменскій, конечно, тутъ же и рѣшаетъ этотъ вопросъ въ смыслѣ глупости, невѣжества и недобросовѣстности

умныхъ и ученыхъ людей. Онъ, однако, предвидитъ одно возраженіе, которое и парируетъ: «ученики» сами себя называли экономическими матеріалистами. «Это такъ», говоритъ онъ. Но они «никогда не связывали со словами «экономическій матеріализмъ» того представленія, которое связывается съ ними у нашихъ народниковъ и субъективистовъ. Достаточно напомнить, что, по мнѣнію г. Н. Михайловскаго, Луи Бланъ и г. Ю. Жуковскій были такими же «экономическими матеріалистами», какъ и нынѣшніе наши сторонники матеріалистическаго взгляда на исторію. Дальше этого смѣшеніе понятій идти не можетъ».

Итакъ, если люди называютъ себя экономическими матеріалистами, такъ изъ этого не слѣдуетъ, что они въ самомъ дѣлѣ экономическіе матеріалисты. Надо понимать такъ, что они «діалектическіе матеріалисты». Вотъ, если они «приписываютъ экономическому фактору господствующее значеніе въ общественнной жизни»; если они «склонны всюду лѣзть съ экономическимъ факторомъ»; если они видятъ въ экономическомъ факторѣ «силу, будто бы опредѣляющую собою историческое движеніе общества», «будто бы вызывающую и обусловливающую дѣятельность общественнаго человѣка, являющуюся ея послѣднею причиною»;—вотъ въ такомъ случаѣ это дѣйствительно экономическіе матеріалисты, между которыми и «настоящими» «лежитъ цѣлая пропасть»; а если они при этомъ пристраиваются къ «великому имени», то они—«самозванцы».

Я считаю это разъясненіе г. Каменскаго чрезвычайно важнымъ. Онъ торопится заявить, что «подлинные и послѣдовательные матеріалисты пришли къ этому убѣжденію вовсе не подъ вліяніемъ гг. народниковъ и субъективистовъ», потому что, дескать, еще «со времени Гегеля» и т. д. Но это и неважно. Даже лучше, если истина столь стара, но вѣдь старыя истины часто забываются, и я увѣренъ, что для многихъ читателей «Новаго Слова» истина, провозглашенная г. Каменскимъ, окажется новостью или, по крайней мѣрѣ, неожиданностью. Правда, положительная сторона въ статьѣ г. Каменскаго нѣсколько туманна. Преслѣдуемый мыслью о необходимости ущипнуть г. Карѣева, г. Кудрина, г. Кривенко, меня, онъ не удостоилъ хотя бы даже только упомянуть о роли «способовъ производства и формъ обмѣна», этомъ достаточно, кажется, важномъ пунктѣ въ матеріалистическомъ пониманіи исторіи Но спасибо и за то, что дается г. Каменскимъ. Остается только примѣнять указанный имъ критерій.

Г. Каменскій утверждаетъ, что, по «мнѣнію г. Н. Михайловскаго, Луи Бланъ и г. Ю. Жуковскій были такими же «экономическими матеріалистами», какъ и нынѣшніе наши сторонники матеріалистическаго взгляда на исторію». Это - *неправда*, я такого

мнѣнія *не высказывалъ*. Но такъ какъ Луи Блана и г. Жуковскаго я поминалъ въ своей прошлогодней полемикѣ съ г. Туганомъ-Барановскимъ, то г. Каменскій наводитъ меня на мысль приложить указанный имъ критерій именно къ г. Тугану-Барановскому.

Г. Туганъ-Барановскій есть одинъ изъ столповъ «Новаго Слова» и, въ качествѣ таковаго, долженъ считаться «настоящимъ» «нынѣшнимъ нашимъ сторонникомъ матеріалистическаго взгляда на исторію». Но не только я его не уравнивалъ съ Луи Бланомъ и г. Жуковскимъ, а, напротивъ, указавъ, что, въ противность утвержденію г. Тугана-Барановскаго, «экономическій факторъ» былъ Луи Блану очень хорошо знакомъ, прибавилъ: «Я не хочу сказать, что Луи Бланъ былъ столь же одностороненъ и узокъ, какъ г. Туганъ-Барановскій» (Р. Б. 1896, № 1, стр. 137). Что же касается г. Жуковскаго, то я даже съ нѣкоторою подробностью указалъ на «разницу между его пониманіемъ (роли экономическаго фактора) и пониманіемъ г. Тугана-Барановскаго» (тамъ же, 151). Въ доказательство этой разницы я привелъ нѣчто изъ старыхъ статей г. Жуковскаго. А именно: указавъ на три элемента, «опредѣляющихъ въ каждое данное время гражданское сознаніе общества»,—юридическій, политическій и экономическій, г. Жуковскій продолжаетъ: юристы, политики и экономисты забываютъ, что «каждый изъ нихъ изучаетъ одну *только произвольно отвлеченную сторону общества*, которая можетъ быть обособлена въ видахъ удобства самаго изученія только условно и не имѣетъ реальной самостоятельности и, слѣдовательно, немыслима сама по себѣ, и имѣетъ этотъ смыслъ только въ общей связи съ другими». И далѣе: «Разсуждая надъ обществомъ чисто теоретически, можно *отвлекать* одну сторону отъ другой, можно выставить на видъ выводы и требованія одной какой либо *стороны*. Но было бы крайнимъ заблужденіемъ» и т. д.

Теперь, когда и г. Каменскій утверждаетъ, что «экономическій факторъ», подобно другимъ факторамъ, есть лишь «*отвлеченіе*», лишь одна изъ «*сторонъ* общественнаго цѣлаго»,—я не знаю, куда онъ зачислитъ г. Жуковскаго—въ экономическіе или въ діалектическіе матеріалисты. Но, когда я имѣлъ дѣло съ г. Туганомъ-Барановскимъ, я его, какъ представителя экономическаго матеріализма, не смѣшивалъ съ г. Жуковскимъ. Я говорилъ только, что значеніе экономическаго фактора совсѣмъ не такая новость въ русской литературѣ, какъ утверждалъ г. Туганъ-Барановскій,—только понималось это значеніе 30 лѣтъ тому назадъ лучше, шире.

Да, скажетъ г. Каменскій, но «самый вопросъ о томъ, какой факторъ господствуетъ въ общественной жизни кажется имъ (настоящимъ) неосновательнымъ... Препираться объ относительномъ

значеніи различныхъ соціально-политическихъ факторовъ могутъ только отсталые въ теоріи люди».

Свои взгляды на значеніе различныхъ общественныхъ факторовъ я высказывалъ неоднократно, и именно въ томъ смыслѣ, что ихъ выдѣленіе допустимо лишь условно, именно какъ отвлеченіе, требующее соотвѣтственныхъ поправокъ. Позволю себѣ привести лишь нѣсколько строкъ изъ одной своей старой статьи. Воздавъ должное Ог. Конту и Миллю за ту осторожность, съ которою они принимаютъ интеллектуальный факторъ за центральную нить исторіи, я отказался, однако, слѣдовать ихъ примѣру, хотя это есть вмѣстѣ съ тѣмъ примѣръ осторожности. Я писалъ: «Мы постараемся намѣтить главные пункты соціальной динамики, не прибѣгая къ удобному, но недостаточно гарантирующему отъ ошибокъ пріему выдѣленія одного какого-либо общественнаго элемента. Если есть возможность прослѣдить законы общественнаго прогресса на развитіи всего общества въ цѣломъ, не давая слишкомъ преобладающаго значенія развитію какого бы то ни было изъ его элементовъ, то отъ этого постановка общественныхъ вопросовъ можетъ только выиграть». (Сочиненія, т. I. 77). Это писано тоже безъ малаго 30 лѣтъ тому назадъ, но съ тѣми же мыслями я приступилъ и къ бесѣдѣ съ г. Туганомъ-Барановскимъ. Я никакого спеціальнаго фактора не бралъ подъ свою защиту. Я указывалъ на многія логическія несообразности и извращенія фактовъ, въ которые впалъ г. Туганъ-Барановскій въ своихъ статьяхъ «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи» и «Экономическій факторъ и идеи», но, собственно, что касается «факторовъ», я утверждалъ одно, и именно то самое, что утверждаетъ теперь г. Каменскій: нельзя приписывать экономическому (какъ и всякому другому) фактору господствующее или преобладающее значеніе; нельзя видѣть въ немъ силу, будто бы опредѣляющую собою историческое движеніе общества, являющуюся его послѣднею причиною.

Г. Туганъ-Барановскій, резюмируя свою первую статью, говоритъ, что онъ хотѣлъ представить посильныя «доказательства преобладающаго значенія экономическаго фактора» («Міръ Божій», 1895, декабрь, 117). Во второй статьѣ онъ называетъ своимъ «основнымъ положеніемъ»—«господствующее значеніе въ общественной жизни экономическихъ отношеній» (тамъ же, 1896, апрѣль, 270). Къ кому же относятся поученія г. Каменскаго? Кто виноватъ, если «народники и субъективисты» на вопросъ: что такое экономическій матеріалистъ?—отвѣчаютъ: «это человѣкъ, приписывающій экономическому фактору господствующее значеніе въ общественной жизни». Или г. Туганъ-Барановскій есть «самозванецъ»?

Мнѣ хочется обратить вниманіе читателей еще на одну статью

«Новаго Слова», на напечатанную въ іюльской книжкѣ корреспонденцію изъ Сибири подъ заглавіемъ «Капиталъ идетъ!» Это нынѣ одинъ изъ модныхъ кликовъ. «Идетъ царь земли, капиталъ!» еще недавно восклицалъ въ лирическомъ восторгѣ одинъ публицистъ по тому случаю, что этотъ царь земли подозрѣвается въ скверной постройкѣ Архангельской желѣзной дороги,—заслуга, едва ли оправдывающая такой лиризмъ. Вотъ и поэтъ, г. М. М., утверждаетъ, какъ мы видѣли, что «дни наши стали свѣтлѣе, радостнѣе», собственно потому, что «быстро выросъ, окрѣпъ и властно заявилъ о своемъ существованіи капитализмъ». Сибирская корреспонденція «Новаго Слова» выгодно отличается отъ этого лиризма тѣмъ, что, не смотря на свой маленькій размѣръ, даетъ достаточно яркую и содержательную картину того, что несетъ съ собою «царь земли, капиталъ».

Авторъ корреспонденціи, г. П—въ, говоритъ, что «капиталъ», конечно, и прежде былъ въ Сибири, но это не то, что теперешній, который «идетъ!» съ восклицательнымъ знакомъ. «До крѣпкаго подчиненія себѣ мѣстныхъ жителей, до правильно организованнаго господства въ странѣ» онъ еще тогда не додумался. «Совсѣмъ не такъ начинаетъ орудовать капиталъ теперь, капиталъ, который желаетъ завоевать въ Сибири богатый рынокъ, систематично и безъ остатка исчерпать ея природныя богатства и крѣпко подчинить своему владычеству все ея населеніе». «Едва ли, по мнѣнію г. П—ва, гдѣ можно такъ опредѣленно и ясно наблюдать всепобѣдное шествіе въ некультурную Сибирь капитала, какъ около строющейся Сибирской желѣзной дороги. Здѣсь его успѣхи и завоеванія поразительны; здѣсь онъ орудуетъ твердо и опредѣленно со всѣми неизбѣжными явленіями его господства». А именно: сибиряки расчитывали на большіе заработки при постройкѣ желѣзной дороги, но «не тутъ-то было».

«Капиталъ погналъ въ Сибирь десятки тысячъ рабочихъ изъ далекой Россіи. И вотъ явились къ намъ уже настоящіе покорные слуги капитала—россійскіе сѣрые мужички въ лаптяхъ и рваныхъ полушубкахъ, съ испитыми, блѣдными лицами, съ готовностью идти, куда пошлетъ капиталъ... Желѣзный законъ уравнялъ заработную плату до того предѣльнаго minimum'а, за которымъ начинается уже физическая невозможность работать. Въ этомъ отношеніи работы по постройкѣ моста черезъ Енисей, пожалуй, особенно характерны. За шестичасовую смѣну работы въ подводныхъ кессонахъ каждый рабочій получаетъ по 75 к. на своихъ харчахъ; при этомъ условія работы настолько тяжелы, что рѣдкій рабочій можетъ проработать сполна шесть часовъ, а за каждый недоработанный часъ изъ 75 к. дѣлаются вычеты пропорціонально общему количеству времени, котораго не могъ осилить рабочій изъ шестичасовой смѣны. Затѣмъ рѣдкій рабочій можетъ вынести работу въ кессонахъ, работая только по 6 часовъ въ сутки безпрерывно въ теченіе цѣлой недѣли. Большинство заболѣваетъ легочными болѣзнями и

на время отбрасывается вонъ; иные рабочіе вовсе глохнутъ отъ разрыва барабанной перепонки подъ страшнымъ давленіемъ атмосферы внутри кессоновъ и остаются калѣками на всю жизнь. Кажется, примѣръ выразителенъ и въ комментаріяхъ не нуждается. Такимъ образомъ, первый и характернѣйшій признакъ господства капитала—бездомные, оторванные отъ семей и готовые нести непосильный трудъ за ничтожную плату рабочіе — въ Сибири уже есть» («Новое Слово», іюнь, 146).

Этимъ дѣло не кончается.

«Только что раздались первые свистки локомотива, и въ Сибирь нагрянула цѣлая толпа капиталистовъ-промышленниковъ. Всюду быстро разрастается торговля, создавая по городамъ и деревнямъ массу новыхъ магазиновъ и лавокъ. Казенныя палаты утѣшаютъ министерство финансовъ донесеніями, что торговыя пошлины растутъ въ Сибири непомѣрно быстро, удвоиваясь въ какіе-нибудь 3—4 года, и на основаніи этого поютъ отрадныя пѣсни о небываломъ подъемѣ экономическаго благосостоянія жителей Сибири, совершающемся подъ вліяніемъ будто бы оживленія, которое внесла въ сибирскую жизнь желѣзная дорога, масса пришлыхъ переселенцевъ, упорядоченіе лѣсного и земельнаго хозяйства и проч. и проч... По всей линіи желѣзной дороги, во время постройки, въ каждомъ ничтожномъ селеніи и даже прямо въ лѣсу понастроены были сотни трактировъ, ресторановъ и прочихъ хмельныхъ лавокъ, а въ придатокъ къ нимъ вездѣ и всюду появились вертепы разврата, въ которыхъ сибирячки деревенскія уже нашли позорный заработокъ. Появились вездѣ билліарды и, о чудо! грубый и неотесанный мужикъ сибирскій ловко щелкаетъ теперь на зеленомъ инструментѣ красными и желтыми шарами. Не говоримъ уже о томъ безшабашномъ пьянствѣ, которое царитъ всюду вблизи «культурнаго» пути. И трудно рѣшить, отчего такъ запилъ сибирякъ: отъ этой ли строительной суматохи, подъ вліяніемъ ли новыхъ людей, или просто отъ лютаго горя... Вѣрнѣе всего, что отъ послѣдняго» (тамъ же, стр. 147—148).

Лютое горе... Кому горе, кому радость. Вотъ діалектически-матеріалистическій поэтъ (или тоже самозванецъ?) въ виду того, что наши дни «стали отраднѣе и свѣтлѣе», рѣшительно предлагаетъ: «Давайте веселиться!» Потому что—

Такъ люди живутъ; ихъ дѣлами
Слагается жизнь, но всегда
Идетъ она тѣми шагами,
Что сдѣлать фатально должна.
. . . . . .
Сумѣемъ мы сердце тому покорить,
Что умъ неизбѣжнымъ признаетъ,
А слезы оставимъ любителямъ лить—
Пускай себѣ льетъ, кто желаетъ!

О да, поэтъ, не будемъ плакать. Не наши матери, жены, сестры и дочери «нашли позорный заработокъ», и не мы работаемъ въ кессонахъ. Тамъ плачутъ, конечно, но вѣдь это «любители» плакать...

Пусть не говорятъ, что все, сообщенное сибирскимъ корреспондентомъ «Новаго Слова», необходимо, неизбѣжно, какъ «характернѣйшіе признаки господства капитала», а «капиталъ идетъ!» и съ этимъ ничего не подѣлаешь. Все, что совершается, необходимо. Г. Бельтовъ справедливо говоритъ, что и «благоглупости, возникающія въ головахъ русской интеллигенціи», необходимы. Однако, онъ сердится что, конечно, тоже необходимо. «Капиталъ идетъ!» — это, несомнѣнно, но вопросъ въ томъ, — какъ его встрѣтить. Пусть не говорятъ также о тѣхъ грядущихъ благахъ, которыя принесетъ съ собой дальнѣйшее развитіе капитализма. Не говоря о проблематичности этихъ благъ, надо же во что-нибудь цѣнить здоровье, жизнь, честь современниковъ, которые «до радостнаго утра» не доживутъ. Пусть не говорятъ, наконецъ, что и помимо капитализма у насъ много зла и тьмы, — объ этомъ никто не споритъ...

«Новому Слову» неизбѣжно предстоитъ пересмотрѣть свой багажъ, какъ относительно чисто теоретическихъ положеній отвлеченнаго характера (см. выше), такъ и относительно практическихъ выводовъ.

Въ Кіевской газетѣ «Жизнь и искусство» (№ 259, 19 сент.) напечатано слѣдующее:

«12-го сентября въ одной изъ самыхъ вмѣстительныхъ аудиторій нашего университета состоялась вступительная лекція молодого профессора богословія, доктора богословія священника Свѣтлова, назначеннаго на вакантную каѳедру послѣ смерти профессора Ѳаворова. Присутствовали многіе профессора и многочисленная толпа студентовъ. Передаемъ вкратцѣ содержаніе лекціи, замѣчательной какъ въ научномъ, такъ и въ общественномъ отношеніи.

Восемь лѣтъ назадъ въ другомъ подобномъ учрежденіи (въ Нѣжинскомъ историко-филологическомъ институтѣ) молодому профессору выпало на долю счастье читать свою вступительную лекцію, предметомъ которой онъ избралъ привлекавшее тогда всеобщее вниманіе ученіе Льва Толстого о догматѣ, причемъ, вопреки толстовскому ученію, пытался доказать нужность догмата. Въ настоящее время антихристіанская реакція пошла дальше и пошатнула основы богословской науки въ полномъ ея объемѣ, доказывая ея несостоятельность и ненужность въ средѣ университетскихъ дисциплинъ. Какъ на примѣръ того, до какой степени распространенъ въ обществѣ такой взглядъ на богословскую науку, профессоръ указалъ на книжку петербургскаго профессора Н. И. Карѣева о выборѣ факультета, въ которой каждой наукѣ посвящено достаточное число страницъ, а о богословіи упомянуто только какъ о «внѣ факультетскомъ предметѣ», и упомянуто всего въ 2—3 строчкахъ, содержащихъ свѣдѣніе о томъ, что по богословію, дескать, требуется экзаменъ на первыхъ четырехъ семестрахъ.

Молодой богословъ поставилъ цѣлью своей лекціи доказать своимъ слушателямъ ложность взгляда на богословіе, какъ на внѣ факультетскій предметъ и показать, что безъ богословія университетъ потерялъ бы, такъ сказать, свой raison d'être, переставъ быть universitas totius scientiae. Богосло-

віе, по мнѣнію уважаемаго профессора, есть наука въ полномъ смыслѣ слова, подобно всякой другой такъ наз. точной наукѣ. Но, оставляя прочія положенія недоказанными, за неимѣніемъ времени, профессоръ въ настоящей лекціи подробно разобралъ чрезвычайно важную роль, которую, по его мнѣнію, должна взять на себя богословская наука въ университетѣ. Дѣло въ томъ, что въ настоящее время среди молодежи существуетъ все усиливающееся стремленіе къ самообразованію и выработкѣ цѣльнаго міросозерцанія. Но, съ одной стороны, безъ христіанскаго богословія никакое міросозерцаніе не имѣетъ ни цѣльности, ни силы, а съ другой стороны, безъ надлежащаго руководительства трудно выработать надлежащее, требуемое нашимъ временемъ міросозерцаніе. Кто же можетъ взять на себя такое руководительство въ университетѣ? Конечно, не профессоръ какой-нибудь отдѣльной частной науки; даже, по нѣкоторымъ причинамъ, не профессоръ всеобъемлющей, оздоровляющей корни и нити психофизической метафизики. Эту роль можетъ взять на себя только профессоръ богословія. Ораторъ не скрываетъ отъ себя, что эта роль чрезвычайно трудная, въ особенности въ наше время, когда пріобрѣли такое распространеніе и такую силу ученія ново-позитивистовъ и ново-матеріалистовъ; но онъ утѣшаетъ себя мыслью, что въ стѣнахъ нашего же университета онъ нашелъ дѣятельнаго сотрудника, борящагося съ тѣмъ же врагомъ, въ лицѣ высокоталантливаго молодого профессора Георгія Ивановича Челпанова... Восторженная публика наградила оратора продолжительными рукоплесканіями.

Съ своей стороны, мы можемъ порадоваться, что въ лицѣ своихъ молодыхъ представителей профессора признаютъ фактъ и законность стремленія молодежи къ самообразованію, и что тѣ же молодые представители университетской науки, мало-по-малу вытѣсняя отжившіе, старые элементы, въ борьбѣ съ этими элементами идутъ рука-объ-руку, не смотря на различіе своихъ спеціальностей, и такъ торжественно и открыто признаютъ свою солидарность.

Сообщеніе это и сопровождающая его замѣтка очень интересны, но они вызываютъ чрезвычайно много недоразумѣній. Разумѣется, надо радоваться, что профессора признаютъ фактъ и законность стремленія молодежи къ самообразованію. Но молодые профессора Свѣтловъ и Челпановъ «вытѣсняютъ отжившіе, старые элементы» и борются съ ними. Что это значитъ? откуда вытѣсняютъ? Кого? за что? Можно бы было подумать, что какіе-то отжившіе, старые элементы откуда-то вытѣсняются собственно за то, что не признаютъ факта и законности стремленій молодежи къ самообразованію. Но въ лекціи проф. Свѣтлова есть прямое неодобрительное указаніе только на проф. Карѣева, который, можетъ быть, усерднѣе всѣхъ русскихъ профессоровъ послужилъ идеѣ самообразованія. Значитъ, дѣло не въ этомъ. Что касается самаго указанія на проф. Карѣева, то оно въ особенности возбуждаетъ недоумѣніе. Проф. Карѣевъ въ брошюрѣ «о выборѣ факультета» посвятилъ богословію всего нѣсколько строкъ, въ которыхъ сообщилъ, что по богословію требуется экзаменъ на первыхъ четырехъ семестрахъ. И этотъ фактъ предъявляется проф. Свѣтловымъ, какъ иллюстрація «антихристіан-

ской реакціи». Между тѣмъ, какъ извѣстно, въ русскихъ университетахъ нѣтъ богословскаго факультета, богословіе равно обязательно для филологовъ, юристовъ, естественниковъ, медиковъ, а потому при *выборѣ факультета* о богословіи и рѣчи быть не можетъ: его нельзя ни выбирать, ни не выбирать. И если отжившіе, старые элементы столь же виновны вообще, какъ въ данномъ случаѣ проф. Карѣевъ, то право я не знаю, слѣдуетъ ли радоваться ихъ «вытѣсненію» и замѣнѣ молодыми силами, столь легко обращающимися со словами: «антихристіанская реакція». Интересно было бы, далѣе, знать, что это за «профессоръ всеобъемлющей, оздоровляющей корни и нити психофизической метафизики»,—каѳедры такой нѣтъ—и кто собственно тѣ «ново-позитивисты и новоматеріалисты», съ которыми проф. Свѣтловъ, вспомоществуемый проф. Челпановымъ, предполагаетъ бороться. Ничего этого мы не знаемъ. Знаемъ только, что «восторженная публика наградила оратора продолжительными рукоплесканіями»...

Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» печатался, чуть не съ начала года, рядъ статей г. Волынскаго о Лѣсковѣ. Въ пятой статьѣ, напечатанной въ майской книжкѣ журнала, авторъ дошелъ до знаменитаго романа «Некуда», по поводу котораго позволилъ себѣ неприличіе, не въ первый уже, впрочемъ, разъ встрѣчающееся на страницахъ «Сѣвернаго Вѣстника».

Какъ извѣстно, романъ «Некуда» есть въ значительной своей части просто пасквиль, въ злобно окарикатуренныхъ образахъ котораго современники безъ труда узнавали подлинныхъ лицъ. Но и для людей, далекихъ отъ тѣхъ временъ, Лѣсковъ многое раскрылъ въ статьѣ (позднѣйшей) «Загадочный человѣкъ». Въ статьѣ этой, тоже переполненной злобной неправдой, даже не особенно внимательный читатель найдетъ ключъ ко всѣмъ главнымъ псевдонимамъ романа «Некуда». Главный герой романа есть Райнеръ, въ дѣйствительности Артуръ Бенни,—онъ-то и есть «загадочный человѣкъ». Подлинное имя героини романа, Лизы Бахаревой, скрыто подъ инициалами: «дѣвица К.», «М. Н. К.», «г-жа К.» Къ обоимъ этимъ лицамъ Лѣсковъ и въ романѣ, и въ статьѣ относится съ большою почтительностью, почти только ихъ однихъ и выдѣляя изъ моря изображенной имъ грязи. Кто не зналъ уже въ то время, когда романъ «Некуда» печатался впервые, что Райнеръ списанъ съ Артура Бенни, тотъ, во всякомъ случаѣ, узналъ это изъ статьи «Загадочный человѣкъ». Но оригиналъ Лизы Бахаревой и въ этой статьѣ остался скрытымъ подъ инициалами. Даже у Лѣскова, человѣка рѣдко беззастѣнчиваго, хватило деликатности на это. У г. Во-

лынскаго ея не хватило. Говоря о «Некуда», онъ, руководясь, кромѣ статьи «Загадочный человѣкъ», еще показаніями г-жи Толивѣровой-Пѣшковой, гг. Боборыкина, Чуйко (которыхъ онъ иногда съ милою фамильярностью называетъ просто «Боборыкинъ», «Чуйко»), распространяется о Бенни, а кстати сообщаетъ, что «дѣвица К.» или «М. Н. К.» есть г-жа Коптева (или опять-таки просто «Коптева»).

М. Н. Коптева, живущая за границей, случайно узнала объ этомъ безцеремонномъ обращеніи съ ея именемъ, именемъ живого человѣка (а что она жива, какъ она мнѣ пишетъ, редакціи «Сѣвернаго Вѣстника» было извѣстно). Она обратилась въ редакцію съ предложеніемъ напечатать ея замѣтку по этому поводу, но редакція не пожелала исполнить эту просьбу, утѣшая г-жу Коптеву тѣмъ, что въ отдѣльномъ изданіи произведенія г. Волынскаго ея имя будетъ вычеркнуто... Г-жа Коптева нашла, что этого немножко мало, и проситъ напечатать ея объясненіе въ нашемъ журналѣ. Долгомъ считаю исполнить желаніе г-жи Коптевой.

Для людей, совсѣмъ незнакомыхъ съ дѣломъ, не лишне можетъ быть будетъ замѣтить, что послѣ отъѣзда изъ Россіи Бенни жилъ въ Англіи, потомъ, кажется, въ Швейцаріи, затѣмъ состоялъ въ гарибальдійскомъ отрядѣ, раненъ въ битвѣ подъ Ментоной и отъ раны умеръ. Г-жа Толивѣрова, свидѣтельница его послѣднихъ дней, описала ихъ въ 1870 г. въ «Недѣлѣ»; описала, какъ утверждаетъ г-жа Коптева, во многихъ подробностяхъ невѣрно, но имя г-жи Коптевой не было ею названо, такъ что иниціатива этой безцеремонности всецѣло принадлежитъ г. Волынскому.

Вотъ записка г-жи Коптевой:

«Живя постоянно за границей съ больными глазами, я не имѣю возможности слѣдить за русской литературой и только въ концѣ іюля по новому стилю получила вырѣзанную изъ «Сѣв. Вѣстника» 5-ю статью о Лѣсковѣ г. Волынскаго. Не знаю, когда она появилась въ печати, было ли у нея много читателей, и не погребены ли въ ней ложныя свѣдѣнія объ Артурѣ Бенни и обо мнѣ. Только ихъ я и прочла въ статьѣ, такъ какъ всю ее одолѣть не могла. Г. Волынскій говоритъ, что общественная дѣятельность въ Россіи Артура Бенни была неудачна, литературная — незначительна, и что онъ остался загадочнымъ для своихъ русскихъ знакомыхъ. Зачѣмъ же тревожить его память и печатать о немъ статьи, полныя неточности и неправды? Г. Волынскій говоритъ, что Артуръ Бенни «съ интимной стороны ни передъ кѣмъ не открывался», и этими словами самъ признаетъ, что не имѣетъ никакого права, ни основанія говорить о личной жизни Артура Бенни, о его романѣ и о томъ, были ли «осложненія» (!) въ его сердечныхъ отношеніяхъ. Это вторженіе въ чужую личную жизнь и сужденіе о ней возмутительно своей безтактностью и нескромностью. Что касается до меня, то еще менѣе основанія занимать читателей моей личною жизнью, потому что никакою дѣятельностью я себя не заявила и почти всю жизнь провела за границей. Единственнымъ побужденіемъ у автора таскать мое имя въ

печати могло быть только желаніе сплетнями о живомъ лицѣ придать скандальный интересъ статьѣ и тѣмъ привлечь больше читателей. Онъ могъ позволить себѣ это потому, что заступиться за меня и явиться въ редакцію требовать отчета некому.

Чтобы возстановить правду и исправить всѣ неточныя свѣдѣнія объ Артурѣ Бенни, мнѣ пришлось бы написать біографію его, чего я не сдѣлаю: для меня онъ не былъ загадкой вслѣдствіе его довѣрія, которымъ я не хочу злоупотреблять и послѣ его смерти. Ограничусь только опроверженіемъ разсказа г-жи Толивѣровой-Пѣшковой и замѣчаніемъ, что Артуръ Бенни писалъ не въ «Times'ѣ», а въ «Daily News» (разница!) и въ двухъ-недѣльномъ обозрѣніи, англійскаго названія котораго я не помню. О вкусахъ не спорятъ, но я желала бы оставить свое имя связаннымъ съ вымысломъ, на мой взглядъ, довольно пошлымъ, хотя г. Волынскій и восхищается имъ. То, что я слышала о литературной дѣятельности г. Волынскаго, побуждаетъ меня желать, чтобы онъ почтилъ память Артура Бенни молчаніемъ, а не похвалами. Не найдетъ ли онъ, чѣмъ занимать читателей «Сѣвер. Вѣстника» помимо сплетень о сердечныхъ отношеніяхъ неизвѣстныхъ имъ лицъ?

Я совсѣмъ разучилась писать по-русски, но и статья, на которую я отвѣчаю, не отличается особенно хорошимъ русскимъ языкомъ. Думаю поэтому, что русскіе читатели снисходительны, и что мой плохой слогъ также сойдетъ съ рукъ.

Осенью 1867 года я жила въ Гейдельбергѣ, куда ждала и Артура Бенни, вѣря его письмамъ, что его рана пустая, и что онъ скоро выздоровѣетъ. Его семья также не знала о его опасномъ положеніи: онъ боялся обезпокоить и огорчить насъ. Мотивъ, выставленный въ статьѣ г. Волынскаго — нежеланіе «предстать предъ любимымъ человѣкомъ въ своемъ жалкомъ безпомощномъ состояніи», этотъ мотивъ достоинъ тщеславной женщины, придумавшей его. Послѣднее письмо Артура Бенни и почеркомъ и особенными стараніями успокоить меня возбудили во мнѣ опасеніе — я телеграфировала ему и получила въ отвѣтъ депешу отъ доктора госпиталя св. Агаты: amputation de l'avant-bras droit trouvée nécessaire. va passablemet». Я депешей сообщила мое рѣшеніе пріѣхать въ Римъ и просила телеграфировать мнѣ о его состояніи въ Базель, первый этапъ этого тогда еще длиннаго пути. Эту депешу докторъ передалъ В. И. Я. и только изъ нея и онъ и г-жа Толивѣрова узнали о моемъ существованіи. Только по безпрестаннымъ вопросамъ Артура Бенни: который часъ и по просьбѣ его привезти меня прямо къ нему, когда я пріѣду, они могли заключить о томъ, какъ онъ ждалъ меня. Такъ говорили мнѣ въ Римѣ они оба и англійскій священникъ, навѣщавшій его. Я стою за эту дорогую мнѣ рѣдкую черту: этотъ человѣкъ до послѣдняго дыханія сохранилъ свою и въ то же время чужую тайну. Г-жа Толивѣрова не оцѣнила, не могла оцѣнить это молчаніе и уже въ 70-мъ году разсказывала въ «Недѣлѣ», какъ Артуръ Бенни цѣловалъ ея руки и показывалъ ей чужія письма. Клевета эта была бы возмутительна, если бъ не была безсознательна: онъ не былъ способенъ говорить съ посторонними о тѣхъ, кто былъ дорогъ ему. Въ Римѣ же г-жа Толивѣрова проговорилась мнѣ, что Бенни почти и не говорилъ съ ней. Г. Волынскій не замѣчаетъ противорѣчія между разсказомъ г-жи Толивѣровой и всѣми характеристиками Артура Бенни, которыя приводитъ въ своей статьѣ. Чтобы вѣрно передавать случившееся и вѣрно представлять человѣка, нужна прежде всего способность заняться этимъ человѣкомъ или событіемъ, а есть личности, всегда и вездѣ занятыя только собой. Вообще разсказы г-жи Толивѣровой и въ «Недѣлѣ» и въ статьѣ г. Волынскаго напоминаютъ разсказы меценатки-по-

мѣщицы въ повѣсти «Рудинъ», такъ мѣтко охарактеризованные Тургеневымъ.

Итакъ я пріѣхала въ Римъ на другой день послѣ смерти Артура Бенни и была принята на вокзалѣ г-жей Толивѣровой. Но могло ли ей казаться, что я теряю разсудокъ? Въ первый же вечеръ я очень внимательно играла въ шахматы, и когда мы расходились, г-жа Толивѣрова сказала мнѣ, что я все время занимала общество разсказами о петербургскихъ знакомыхъ. Такъ было и во всѣ дни, проведенные мною въ квартирѣ В. И. Я. съ г-жей Толивѣровой. Я или говорила съ ней о постороннихъ предметахъ, или, когда было не подъ силу, просила ее оставить меня одну. Ей пришлось выдумывать, чтобы говорить или писать о моемъ горѣ. Г. Волынскій восхищается тѣмъ, что я будто бы собирала огарки, оставшіеся въ комнатѣ Артура Бенни, укладывала ихъ въ мѣшечекъ на день и разставляла ихъ вечеромъ. Мнѣ кажется, что если бы я была способна заниматься въ то время такимъ вздоромъ, то ни за мой разсудокъ, ни за силу моего горя бояться было бы нечего. Признаюсь, я даже не понимаю смысла собиранія огарковъ, которыхъ, вѣроятно, и не было, такъ какъ можно предполагать, что комнаты больныхъ даже и въ римскомъ госпиталѣ убирались. Собирать огарки мнѣ не пришлось и потому, что въ Римѣ я получила нѣсколько вещей Артура Бенни: медальонъ, которымъ В. И. Я. доказывалъ мое право на полученіе этихъ вещей, портмоне съ оставшейся мелочью, дневникъ, который Артуръ Бенни собственно для меня велъ по-русски, а не по-англійски, какъ прежде, и портретъ, сдѣланный для меня В. И. Я. съ мертваго лица, выраженіе котораго ясно говоритъ, какъ одиноко онъ умеръ. Г-жа Толивѣрова нашла эти предметы слишкомъ обыденными и ей показалось интереснѣе придумать огарки. Кончаю заявленіемъ, что Артуръ Бенни никогда не былъ «въ тѣсной дружбѣ» съ Лѣсковымъ, лучшее доказательство то, что онъ остался для него «загадочнымъ человѣкомъ». Даже и жизни Бенни Лѣсковъ не зналъ, отчего цѣлыя страницы будто бы біографіи «Загадочнаго человѣка» заняты разсказами о томъ, какъ будто бы онъ будилъ пьянаго, или неинтересными разговорами съ Ничипоренко. Въ этой богатой событіями жизни Лѣсковъ не нашелъ другого матеріала, такъ мало онъ зналъ ее!»

На этотъ разъ журналъ не публиковалъ ничего позорящаго г-жу Коптеву. Напротивъ, г. Волынскій со свойственною ему возвышенностью стиля говоритъ о «глубокомъ и нѣжномъ романѣ изъ жизни русскихъ нигилистовъ», о томъ, что «дѣвушка съ жесткимъ характеромъ и рѣзкимъ складомъ ума, который еще въ Россіи произвелъ на Бенни такое неизгладимое впечатлѣніе, здѣсь, передъ лицомъ смерти, вдругъ смирилась и раскрылась съ неожиданной глубоко человѣчной стороны» и т. п. Но, не касаясь вопроса о цѣнѣ похвалъ и любезностей г. Волынскаго, надо же понимать что сплетня все-таки остается сплетней и что нельзя публично рыться въ душѣ живого человѣка и выволакивать изъ нея во всеобщее свѣдѣніе свято хранимыя интимнѣйшія подробности чисто личной, частной жизни. Оскорбленіе, полученное еще недавно г-жею Гуревичъ, до извѣстной степени какъ бы закрыло отъ вниманія общества допущенную ею, мягко говоря, безтактность. Но надо же принять во вниманіе и положеніе тѣхъ, которымъ развязность гг. Во-

лынскихъ доставляетъ вовсе не желательную для нихъ извѣстность...

Очевидно, «Сѣверный Вѣстникъ», истощивъ, какъ говорилось въ старину, силы въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики, бьетъ на скандалъ. Оттого почтенный журналъ и свои литературныя обозрѣнія ведетъ «У Палкина», оттого въ немъ г. Льдовъ, ищущій для своей поэзіи «внѣвременнаго содержанія», въ прозѣ усердно занимается вполнѣ временными дрязгами. Можетъ быть, оно такъ и нужно, но я не понимаю, зачѣмъ эти люди называютъ себя идеалистами, символистами и т. п., когда они просто скандалисты?

VII.

О народничествѣ, діалектическомъ матеріализмѣ, субъективизмѣ и проч.— О страшной силѣ г. Novus'а, о моей робости, и о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ.—Н. Н. Златовратскій. *).

Для многихъ было бы, вѣроятно, очень удобно, если бы существовало только два цвѣта—черный и бѣлый, или только двѣ страны свѣта, напримѣръ, сѣверъ и югъ, или только взаимно перпендикулярныя линіи и т. п. Въ этой фантастической скудости красокъ, линій, очертаній жить было бы гораздо скучнѣе, чѣмъ въ нашей теперешней пестротѣ и сложности, но за то гораздо легче было бы оріентироваться. Наши предки называли всѣхъ европейцевъ нѣмцами, и если бы это представленіе объ иностранцахъ, какъ о людяхъ одинаковаго происхожденія, языка, вѣроисповѣданія соотвѣтствовало истинѣ, то, конечно, этнографія была бы чрезвычайно легкой наукой, равно какъ и языковѣдѣніе, исторія и проч. Но затѣмъ открылось, что среди «нѣмцевъ» есть и настоящіе нѣмцы-колбасники, и легкомысленные французы, и итальянцы-шарманщики, и гордые испанцы, и рыжіе и коварные англичане. Еще шагъ, и мы узнали, что не всѣ нѣмцы колбасники, не всѣ англичане коварны и рыжи, не всѣ французы легкомысленны. Еще дальше открылось, что не только между французами существуютъ люди весьма серьезные и глубокомысленные, а между англичанами—прямодушные, но что тѣ и другіе, равно какъ и нѣмцы, итальянцы, испанцы, дѣлятся на группы, рѣзко отличающіяся своими интересами, образомъ жизни и т. д. Каждый шагъ въ направленіи этого раздробленія представленія о «нѣмцахъ» требовалъ извѣстнаго напряженія ума и о размѣрахъ этого напряженія намъ, уже твердо знающимъ, что нѣмцы вовсе не колбасники по преимуществу, трудно судить. А если есть люди, находящіе особое наслажденіе въ напряженной работѣ мысли, то гораздо больше та-

anti-over simplified formula: Stachniki - not all Englishmen the same

*) Ноябрь, 1897 г.

кихъ, которые этого напряженія, сознательно или безсознательно, избѣгаютъ. Отсюда стремленіе къ упрощенію дѣйствительности, къ сведенію ея красокъ, звуковъ, образовъ и картинъ къ малому числу, но рѣзко различныхъ элементовъ. Замѣтятъ, можетъ быть, что и процессъ, обратный тому, который мы сейчасъ видѣли, процессъ обобщенія, путемъ уловленія сходныхъ чертъ въ различныхъ предметахъ, также требуетъ значительнаго напряженія мысли. Это безспорно, какъ безспорно и то, что обобщеніе не значитъ упрощеніе дѣйствительности. Обобщеніе имѣетъ цѣлью найти нѣкоторое единство въ различныхъ предметахъ, не покушаясь на ихъ особенности, и открываетъ мысли болѣе широкіе горизонты, тогда какъ упрощеніе дѣйствительности эти горизонты суживаетъ. Въ этомъ узкомъ пространствѣ люди чувствуютъ себя лучше, увѣреннѣе, сложнѣйшія задачи представляются имъ чрезвычайно легкими, и любой Давъ можетъ стать Эдипомъ. Поэтому ихъ инстинктивно, помимо ихъ сознанія, тянетъ къ упрощенію дѣйствительности. Тотъ же результатъ получается и при простомъ незнакомствѣ съ рядомъ явленій, о которыхъ идетъ рѣчь, какъ оно и было съ нашими предками, когда они всѣхъ иностранцевъ считали нѣмцами. Наконецъ, къ тому же часто приводитъ игра страстей, управляющихъ ходомъ мысли «упростителей» помимо ихъ сознанія.

Возьмемъ какую-нибудь историческую личность. Возьмемъ Некрасова. Этотъ замѣчательный человѣкъ представляетъ собою чрезвычайно сложный переплетъ свѣта и тѣней: превосходный поэтъ, грѣшившій, однако, иногда очень грубыми стихотвореніями; пѣвецъ народа и всѣхъ обездоленныхъ, нажившій, однако, по предсказанію Бѣлинскаго, «капиталецъ»; яркій представитель и отчасти даже вождь извѣстнаго направленія, извлекавшій, однако, изъ своей лиры, по его собственнымъ словамъ, «невѣрные» звуки, и т. д. Эта сложность ставитъ въ трудное положеніе умы несвѣдущіе, то есть недостаточно знакомые съ жизнью и дѣятельностью Некрасова, умы лѣнивые и неповоротливые, обѣгающіе всякую сложность, наконецъ, умы, обезоруженные страстью,—будь то любовь или ненависть. Въ извѣстной статьѣ Лѣскова «Загадочный человѣкъ» разсказывается о томъ, какъ разочаровался Артуръ Бенни въ нашемъ просвѣтительномъ движеніи вообще и въ нѣкоторыхъ особливо уважаемыхъ имъ людяхъ въ частности. Тутъ приводятся совершенно безсмысленныя сплетни о покойникахъ, Чернышевскомъ и Елисеевѣ, и затѣмъ Лѣсковъ продолжаетъ: «Но что уже совсѣмъ срѣзало Бенни, такъ это нѣкоторыя стихотворенія столь извѣстнаго поэта, Николая Алексѣевича Некрасова. Я говорю о тщательно изъятой Некрасовымъ изъ продажи книжечкѣ, носящей заглавіе «Мечты и звуки». Я уберегъ у себя эту рѣдкость нынѣш-

няго времени, и Бенни переварить не могъ этой книги» (Лѣсковъ, Сочиненія, VIII, 104).—Книжка «Мечты и звуки» была *издана* въ 1840 г. (значитъ, написана и того раньше), когда Некрасову было 19 лѣтъ, и состояла изъ дѣтскихъ стихотвореній, наивныхъ по содержанію и ребячески слабыхъ по формѣ. Бѣлинскій рѣзко отозвался о нихъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», при чемъ сдѣлалъ едва ли не единственный въ жизни крупный эстетическій промахъ: отказалъ юному автору, какъ поэту, во всякой будущности. Старикъ Жуковскій, къ которому обуреваемый сомнѣніями Некрасовъ обратился за совѣтомъ, оказался въ этомъ случаѣ проницательнѣе великаго критика. Онъ предсказалъ юношѣ-поэту, что тотъ впослѣдствіи пожалѣетъ, если выпуститъ эту книжку, и посовѣтовалъ, по крайней мѣрѣ, не выставлять имени. Книжка и была издана подъ иниціалами Н. Н., а потомъ Некрасовъ, естественно недовольный этимъ дѣтскимъ лепетомъ, скупалъ и уничтожалъ книжку. Вотъ и вся исторія, которую Лѣсковъ разсказываетъ съ такими злорадными подчеркиваніями. Почему такая пустяковина, какъ «Мечты и звуки», могла «уже совсѣмъ срѣзать» Бенни—трудно понять. Но дѣло въ томъ, что къ показаніямъ Лѣскова вообще слѣдуетъ относиться съ большою осторожностью, и можно сказать навѣрное, что разочарованія въ Некрасовѣ (по крайней мѣрѣ, по поводу книжки «Мечты и звуки») Бенни никогда не переживалъ. Это—плодъ злобной фантазіи Лѣскова, который, однако, хорошо зналъ, что онъ дѣлаетъ, пуская свой шипъ по змѣиному. Онъ разсчитывалъ на наше позорное незнакомство съ нашимъ прошлымъ даже относительно популярнѣйшихъ писателей и потому смѣло представилъ обыкновеннѣйшую и невиннѣйшую исторію книжечки «Мечты и звуки», какъ какое-то злое или лицемѣрное дѣло, долженствующее провести лишнюю непріятную черту на портретѣ Некрасова. Но на оригиналѣ этого портрета и безъ того есть подлинныя, не выдуманныя непріятныя черты, радующія враговъ, приводящія въ смущеніе друзей. Онъ самъ это понималъ и ясно выразилъ словами: «Ликуетъ врагъ, молчитъ въ недоумѣньи вчерашній другъ, качая головой». И вотъ, и врагъ, и другъ, отчасти по недостаточной гибкости ума, а отчасти ослѣпленные враждой или любовью, наровятъ «упростить» этотъ сложный образъ, выкрасить этотъ портретъ одной какой-нибудь краской: такъ легче, удобнѣе. Но это не будетъ портретъ Некрасова.

Какъ ни оригинальна фигура Некрасова, но это все-таки единичная личность, и если въ ней многимъ разобраться такъ трудно, что они предпочитаютъ эти трудности обходить, то тѣмъ паче слѣдуетъ этого ожидать по отношенію къ вопросамъ общественной жизни. Здѣсь и поводовъ и соблазновъ для упрощенія, конечно,

гораздо больше. Позволю себѣ напомнить читателю одну маленькую рецензію, напечатанную въ журналѣ «Русское Богатство» (1896 г., № 6). Дѣло идетъ о переводной брошюрѣ Гельда «Фабрика и ремесло». Переводчикъ, г. Спасскій, предпринялъ эту работу въ видахъ борьбы съ «тѣмъ утопическимъ романтизмомъ, съ которымъ въ извѣстной части нашей русской экономической литературы обсуждается вопросъ о кустарной или домашней промышленности». Брошюра (собственно рѣчь) слѣдитъ за постепеннымъ сокращеніемъ сферы дѣйствія мелкаго производства и вытѣсненіемъ, въ Англіи и Германіи, ремесла фабрикой. Г. Спасскій очень почтительно относится къ рѣчи Гельда, «проникнутой стремленіемъ къ трезвому, лишенному утопизма анализу историческаго мѣста каждой формы». Это не мѣшаетъ ему, однако, «упрощать» мнѣнія нѣмецкаго ученаго. Такъ, Гельдъ называетъ ремесло «достойнымъ вниманія придаткомъ (ein achtungswerthes Anhängsel) крупной промышленности», а г. Спасскій переводитъ это мѣсто словами: «*не заслуживающій особаго вниманія* придатокъ», да еще печатаетъ эти слова курсивомъ, котораго въ подлинникѣ нѣтъ. Затѣмъ переводчикъ и совсѣмъ пропускаетъ одно мѣсто, гдѣ Гельдъ оговариваетъ, что совершеннаго вытѣсненія ремесла во всѣхъ отрасляхъ производства никоимъ образомъ ожидать нельзя. Не смотря на скромность этой оговорки, она показалась переводчику все-таки слишкомъ осложняющею дѣло. По этой же причинѣ и «достойное вниманія» для Гельда превращается для переводчика въ «незаслуживающее вниманія». Г. Спасскій считаетъ себя, по всей вѣроятности, «діалектическимъ матеріалистомъ» (я придерживаюсь послѣдняго mot d'ordre) и ведетъ борьбу съ «народничествомъ». Пониманіе и рѣшеніе вопросовъ общественной жизни значительно, конечно, облегчилось бы, если бы къ нимъ можно было относиться только съ «діалектически-матеріалистической» или «народнической» точки зрѣнія, и къ этой-то легкости тяготѣетъ г. Спасскій, безцеремонно устраняя даже незначительныя препятствія. Поведеніе его въ этомъ случаѣ можетъ показаться совершенно исключительнымъ, и я хотѣлъ бы надѣяться, что оно дѣйствительно таково. Но собственно стремленіе свести различныя направленія къ двумъ упомянутымъ рубрикамъ у насъ въ настоящее время чрезвычайно распространено: либо правовѣрные, либо гяуры.

Въ книгѣ «Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи» г. Струве, перечисливъ нѣсколько писателей, продолжаетъ (29): «Всѣмъ этимъ писателямъ присуща, правда, въ разной степени, вѣра въ возможность «самобытнаго развитія» Россіи. Эта вѣра объединяетъ писателей самаго различнаго склада, отъ г. Михайловскаго до г. Юзова, въ одно направленіе,

которому мы присвоиваемъ названіе народничества». А въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 2 г. Струве пишетъ: «Мы хорошо знаемъ, что... г. Михайловскій не признаетъ себя народникомъ и *вполнѣ справедливо* отдѣляетъ себя отъ г. В. В. и другихъ народниковъ par excellence. Тѣмъ не менѣе, *въ нашемъ смыслѣ* онъ — «народникъ» (оба курсива принадлежатъ г. Струве).

Здѣсь мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, оговорку о «нашемъ смыслѣ» и объ условномъ пониманіи «народничества», въ которое авторъ включаетъ писателей «самаго различнаго склада», между прочимъ, и такихъ, которые «вполнѣ справедливо» не считаютъ себя народниками. Это хорошо, конечно, что авторъ употребляетъ ходячій терминъ съ оговоркой на счетъ того смысла, который онъ въ него вкладываетъ, но было бы еще лучше, если бы онъ не включалъ въ одну группу людей «самаго различнаго склада». Тѣмъ болѣе, что и тотъ единственный признакъ, на основаніи котораго г. Струве построилъ свое обобщеніе, — возможность «самобытнаго развитія» Россіи,—присущъ указаннымъ имъ писателямъ, по его собственнымъ словамъ, «въ разной степени». А если прибавить, что нѣкоторые изъ нихъ, въ виду двусмысленности поставленныхъ г. Струве въ ковычки словъ «*самобытное* развитіе», никогда ихъ не употребляютъ,—то окажется, что г. Струве своими оговорками, по малой мѣрѣ, не способствовалъ выясненію понятія «народничества».

Если я «въ смыслѣ г. Струве»—народникъ, то одинъ изъ столповъ народничества, покойный Юзовъ, утверждалъ, что я— «одинъ изъ вреднѣйшихъ марксистовъ» («Основы народничества», 2-е изд. 1884 г., стр. 361). И это перекидываніе меня изъ одного враждующаго лагеря въ другой, тогда какъ я завѣдомо не имѣю чести принадлежать ни къ тому, ни къ другому, кажется мнѣ очень интереснымъ, какъ частный случай вышеупомянутаго тяготѣнія къ упрощенію дѣйствительности. Конечно, гораздо легче налѣпить на то или другое литературное явленіе одинъ изъ двухъ ходячихъ ярлыковъ, чѣмъ разбираться въ этомъ явленіи, если оно сколько-нибудь сложно. Но очевидны и неудобства подобныхъ пріемовъ, тѣмъ болѣе, что и самые ярлыки, наклеиваемые съ такою увѣренностью въ ихъ точности и опредѣленности, на самомъ дѣлѣ вовсе не такъ точны и опредѣленны.

Въ двухъ первыхъ изданіяхъ книги г. Скабичевскаго «Исторія новѣйшей русской литературы» характеристика г. Евгенія Маркова заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія строки: «Въ противоположность Боборыкину, рьяному западнику, мѣряющему русскую жизнь по масштабу парижской культуры, Евгеній Марковъ смотритъ на нее съ *народнической* точки зрѣнія: онъ до из-

вѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можетъ спасти человѣка, возстановить равновѣсіе его силъ и дать имъ благотворный исходъ». Въ третьемъ изданіи книги подчеркнутое мною слово «*народническая* точка зрѣнія» замѣнено словомъ «руссофильская точка зрѣнія». Сдѣлалъ ли эту поправку г. Скабичевскій motu proprio или подъ вліяніемъ указаній критики, но самый фактъ возможности или необходимости этой замѣны одного термина другимъ представляется мнѣ въ данномъ случаѣ чрезвычайно знаменательнымъ. Слово «народничество» у насъ въ такомъ ходу, что, казалось бы, должно покрывать собою вполнѣ опредѣленное содержаніе. И однако, вотъ историкъ новѣйшей русской литературы, въ продолженіе многихъ лѣтъ пристально слѣдящій за нашими умственными теченіями, поскольку они отражались въ литературѣ, счелъ нужнымъ, разъ употребивъ это слово, замѣнить его другимъ. О г. Марковѣ намъ много распространяться незачѣмъ. Это писатель, у котораго чего хочешь, того просишь. Собственно объ его отношеніи къ «народничеству» стоитъ отмѣтить развѣ только то, что, если не ошибаюсь, онъ изобрѣлъ и, во всякомъ случаѣ, охотно употребляетъ (я не знаю, что онъ теперь дѣлаетъ) презрительную кличку «мужиковствующіе». Не будемъ также останавливаться и на томъ, что «руссофильство» (если только г. Скабичевскій не производитъ его отъ имени Руссо!) вовсе не требуетъ проклятій городской жизни и возвращенія «въ среду народа и на лоно природы». По крайней мѣрѣ, намъ извѣстны весьма многіе руссофилы, совершенно чуждые подобныхъ идиллическихъ наклонностей. Вообще, Богъ съ нимъ, съ г. Марковымъ и его характеристикой. Насъ интересуетъ здѣсь только фактъ смутности представленій о «народничествѣ», не смотря на то, что объ немъ идутъ въ нашей литературѣ и внѣ ея постоянные разговоры.

За послѣднее время гг. «діалектическіе матеріалисты», чувствуя, повидимому, недостаточность ярлыка «народникъ», нѣсколько усложняютъ его и направляютъ свои громы на «народниковъ и субъективистовъ». Къ сожалѣнію, однако, они нигдѣ не разъясняютъ этого новаго ярлыка и едва ли даже не еще болѣе затемняютъ имъ то, съ чѣмъ хотятъ бороться. Нѣсколько болѣе, если не по отношенію къ «народничеству», то по отношенію къ «субъективизму» даетъ весьма благосклонный къ «діалектическому матеріализму» г. Филипповъ въ своемъ двухтомномъ сочиненіи «Философія дѣйствительности». Мнѣ еще придется, вѣроятно, вернуться къ этому произведенію, и здѣсь я ограничусь лишь нѣсколькими словами. При

этомъ я долженъ опять говорить о себѣ, но не потому, чтобы хотѣлъ непремѣнно занимать читателей своей особой, а потому, что такъ устроилъ г. Филипповъ. Отмѣтивъ, въ числѣ прочихъ соціологическихъ школъ, «субъективно-телеологическія теоріи общественности» и назвавъ трехъ представителей ихъ—г. Карѣева, Лестера Уорда и меня, г. Филипповъ останавливается затѣмъ исключительно на мнѣ. Одни изъ моихъ взглядовъ онъ одобряетъ, другіе не одобряетъ, но особенно настаиваетъ на томъ, что я въ своихъ соціологическихъ работахъ вовсе не примѣняю «субъективнаго метода». Онъ говоритъ: Михайловскій «сознается, что онъ вывелъ свое опредѣленіе прогресса изъ данныхъ объективной науки.. Смѣту міросозерцаній Н. К. Михайловскій выводитъ изъ смѣны формъ коопераціи, такъ что здѣсь объективный принципъ—раздѣленіе труда—опредѣляетъ психическое настроеніе членовъ общества, а не наоборотъ. Большаго не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты, противъ которыхъ Н. К. Михайловскій въ недавнее время выступилъ самымъ рѣшительнымъ образомъ». («Философія дѣйствительности» II, 110б). Я дѣйствительно «сознаюсь».. Предпочиталъ бы, однако, какое-нибудь другое выраженіе, потому что сознаваться можно только въ какомъ-нибудь грѣхѣ, преступленія или ошибкѣ, а съ моей точки зрѣнія опираться на данныя объективной науки не только не составляетъ грѣха, преступленіе или ошибки, но, напротивъ того, обязательно. И если г. Филипповъ заставляетъ меня въ этомъ «сознаваться», то это значитъ, мнѣ кажется, что онъ не совсѣмъ уяснилъ себѣ мой «субъективизмъ». Конечно, въ этомъ виноватъ, можетъ быть, я самъ, но и собственные взгляды г. Филиппова на субъективизмъ не ясны. Отринувъ «субъективный методъ», онъ дѣлаетъ слѣдующую оговорку: «Отрицаніе субъективнаго *метода* не есть, однако, отказъ отъ всякой *субъективности*. Есть та «глубокая, всеобъемлющая и гуманная субъективность», которая, по словамъ Бѣлинскаго, не «допускаетъ быть чуждымъ міру, но заставляетъ проводить черезъ свою живую душу явленія внѣшняго міра». Нельзя любить и негодовать «по методу» (тамъ же, подстрочное примѣчаніе). Послѣднее, разумѣется, совершенно справедливо, но я и не предлагалъ никогда любить и негодовать «по методу», и было бы, можетъ быть, лучше, если бы г. Филипповъ не утруждалъ себя изложеніемъ столь несомнѣнныхъ истинъ, а болѣе ясно опредѣлилъ бы ту «субъективность», отъ которой и онъ не отказывается: фразы Бѣлинскаго какъ будто и недостаточно. Г. Филипповъ говоритъ далѣе, что я предлагаю нѣчто такое, больше чего «не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты», и, повидимому, удивляется, что я противъ послѣднихъ «въ недавнее время выступилъ самымъ рѣшительнымъ обра-

зомъ». Быть можетъ, справедливѣе было бы, если бы г. Филипповъ направилъ свое удивленіе въ другую сторону. Въ самомъ дѣлѣ, если я почти тридцать лѣтъ тому назадъ (г. Филипповъ цитируетъ статью 1869 г.) утверждалъ, что «смѣна формъ коопераціи опредѣляетъ собою психическое настроеніе членовъ общества», то можно удивляться, что люди, ознакомившіеся съ этой истиной вчера, съ такимъ задоромъ уличаютъ меня въ ея незнаніи. А если г. Филипповъ дастъ себѣ трудъ немножко подумать, то онъ убѣдится, что мой субъективизмъ находится въ самой тѣсной связи съ этой истиной. Было бы очень соблазнительно остановиться на этомъ подольше, но на сей разъ я довольствуюсь указаніемъ на невыясненность многихъ идей, словесныя выраженія которыхъ находятся во всеобщемъ обращеніи, какъ ходячая монета.

«Діалектическій матеріализмъ» отнюдь не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. «Мы не можемъ не признать,—говоритъ г. Струве,—что чисто философское обоснованіе этого ученія еще не дано, и что оно еще не справилось съ тѣмъ огромнымъ конкретнымъ матеріаломъ, который представляетъ всемірная исторія. Нуженъ, очевидно, пересмотръ фактовъ съ точки зрѣнія новой теоріи; нужна критика новой теоріи на фактахъ. Быть можетъ, многія односторонности и слишкомъ поспѣшныя обобщенія будутъ оставлены» («Критическія замѣтки по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи», 46). И г. Булгаковъ «во избѣжаніе недоразумѣній считаетъ нужнымъ замѣтить, что онъ вовсе не считаетъ матеріалистическое пониманіе исторіи окончательно выработаннымъ и законченнымъ» («Новое Слово», октябрь, 45). Нельзя не привѣтствовать эти признанія, гарантирующія, повидимому, осторожность выводовъ и призывающія къ пересмотру фактовъ и критикѣ теоріи. Можно бы было поэтому не придавать большого значенія тѣмъ многочисленнымъ противорѣчіямъ, которыми переполнены произведенія различныхъ представителей «діалектическаго матеріализма», хотя бы противорѣчія эти касались наиболѣе коренныхъ вопросовъ. На нихъ можно бы было смотрѣть, какъ на choc des opinions, изъ котораго постепенно выработается истина. Вотъ, напримѣръ, г. Струве въ вышеупомянутой книжкѣ на разные лады и съ чрезвычайною настойчивостью развивалъ ту мысль, что «экономическій матеріализмъ просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину», что роль личности въ исторіи равна нулю. Г. же Бельтовъ напротивъ утверждаетъ: «Матеріалисты-діалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно идеалистической» («Къ вопросу о развитіи

монистическаго взгляда на исторію», 234). А затѣмъ г. Струве объясняетъ, что и «нельзя спорить о томъ, играетъ ли личность какую-нибудь роль въ историческомъ процессѣ и имѣетъ ли она вообще реальное существованіе», что это вопросъ гносеологическій, и потому «разрѣшить его въ сущности не въ силахъ ни одна изъ существующихъ «философій исторіи», не исключая и такъ называемаго экономическаго матеріализма» («Новое Слово», октябрь, «Новыя книги», 92). Или вотъ, напримѣръ, г. Бельтовъ самымъ рѣшительнымъ образомъ настаиваетъ на «матеріалистическомъ монизмѣ», а г. Струве «вполнѣ подписывается подъ словами г. Милюкова: «для самаго экономическаго матеріализма связывать свою судьбу съ философскимъ матеріализмомъ и неудобно, и безполезно. Неудобно потому, что философскій матеріализмъ есть одинъ изъ самыхъ плохихъ видовъ монизма; между тѣмъ, экономическій матеріализмъ вполнѣ совмѣстимъ и съ иными монистическими воззрѣніями. Безполезно же потому, что «матеріальный» характеръ экономическаго фактора есть только кажущійся; на самомъ дѣлѣ явленія человѣческой экономики происходятъ въ той же психической средѣ, какъ и всѣ другія явленія общественности» (l. c.). Въ предыдущей книжкѣ «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось остановиться на подобномъ же фактѣ: г. Туганъ-Барановскій считаетъ «экономическій факторъ» господствующимъ въ обществѣ и опредѣляющимъ собою историческій процессъ, а г. Каменскій объявляетъ этотъ взглядъ совершенно ложнымъ.

Повторяю, всѣ эти и многія другія подобныя противорѣчія не составляли бы большой бѣды, если бы гг. діалектическіе матеріалисты памятовали, что дѣло идетъ о доктринѣ, еще недостаточно обоснованной. Но, признавая фактъ этой необоснованности на словахъ, они на дѣлѣ говорятъ каждый свое отъ имени какъ бы цѣльнаго, сложившагося ученія и не вступаютъ въ обмѣнъ мыслей между собою, а или отмѣняютъ разъ высказанные взгляды путемъ декретовъ, или же валятъ съ больной головы на здоровую. Г. Бельтовъ тщился доказать, что матеріалистическій монизмъ есть единственное философское ученіе, соотвѣтствующее современному состоянію науки. Нельзя назвать его старанія очень удачными, но все же онъ старался, а г. Струве, не входя въ разсмотрѣніе этихъ стараній, просто декретируетъ (да еще чужими словами): «философскій матеріализмъ есть одинъ изъ самыхъ плохихъ видовъ монизма». Г. Туганъ-Барановскій старался доказать преобладающее значеніе «экономическаго фактора». Опять-таки это не были перлы знанія и логики, но г. Каменскій, какъ мы видѣли, въ сущности, доказывая вздорность и «отсталость» взглядовъ г. Тугана-Барановскаго, валитъ отвѣтственность за нихъ на «народниковъ и субъ-

ективистовъ», да еще съ удивительно яснымъ лбомъ замѣчаетъ: «дальше этого смѣшенія понятій идти не можетъ»...

Нѣтъ, я думаю, можетъ идти и дальше. Все зависитъ отъ прыткости и беззастѣнчивости, а эти качества очень быстро прогрессируютъ въ органѣ діалектическихъ матеріалистовъ. Въ октябрьской книжкѣ «Новаго Слова» г. Novus начинаетъ свою статью, озаглавленную «На разныя темы», заявленіемъ, что онъ «давно не бесѣдовалъ съ читателями въ непринужденной формѣ». Давно ли г. Novus занимается «непринужденными» бесѣдами и долго ли онъ оставлялъ безъ нихъ читателей «Новаго Слова», я, признаться, не справлялся, но что октябрьская его статья написана вполнѣ непринужденно,—это вѣрно. Непринужденность этой бесѣды доходитъ до того, что авторъ находитъ возможнымъ говорить о моихъ «наблюденіяхъ въ петербургскихъ и московскихъ трактирахъ». Откуда г. Novus получилъ свѣдѣнія объ этихъ моихъ наблюденіяхъ, я не знаю (въ статьѣ, которую г. Novus удостоилъ своимъ вниманіемъ,— о «Мужикахъ» г. Чехова,—я ссылался на литературные источники), но если бы эти свѣдѣнія были даже вполнѣ достовѣрны (а они совсѣмъ невѣрны), то пользованіе ими въ качествѣ полемическаго пріема заслуживаетъ, пожалуй, болѣе сильнаго эпитета, чѣмъ «непринужденный». И послѣ этого нечего уже, конечно, удивляться тому, что г. Novus оказывается неспособнымъ понять мотивы нашего долгаго воздержанія отъ полемики съ «Новымъ Словомъ». Онъ глумится надъ этимъ воздержаніемъ, иронически обѣщаетъ, что «марксисты послѣдуютъ благому примѣру, подаваемому писателями «Русскаго Богатства». «Впрочемъ,—прибавляетъ онъ,—мои коллеги народъ ненадежный и того и гляди сорвутся съ добровольно надѣтой на себя цѣпи».—Кто у нихъ тамъ на цѣпи сидитъ и кто сорвался или сорвется съ цѣпи, этого г. Novus не сообщаетъ, но онъ настолько вдохновляется образами разныхъ сидящихъ на цѣпи и срывающихся съ цѣпи грозныхъ животныхъ, что видитъ единственную причину нашей полемической умѣренности по отношенію къ «Новому Слову»... въ страхѣ. «Русское Богатство» вообще труситъ вступить въ полемику съ «Новымъ Словомъ», а въ особенности я, пишущій эти строки, боюсь г. Novus'а. Какой, подумаешь, въ самомъ дѣлѣ страшный!

Левъ вырвался изъ клѣтки,
Быкъ съ цѣпи сорвался!...

Ахъ, j'en ai tant vu, всякихъ новусовъ и новиссимусовъ, j'en ai tant vu, и если бы это все были львы и быки... Впрочемъ, и въ настоящемъ случаѣ приходится говорить во множественномъ числѣ, о львахъ и быкахъ, а не о единственномъ Novus'ѣ. Въ октябрь-

ской книжкѣ «Русскаго Богатства» я говорилъ о причинахъ нашего воздержанія и возвращаться къ этому не буду. Что же касается спеціально моего ужаса передъ грознымъ обликомъ сидящаго на цѣпи или сорвавшагося съ цѣпи г. Novus'а, то послѣдній видитъ его въ слѣдующемъ. Онъ писалъ о «Мужикахъ» г. Чехова, я тоже писалъ о нихъ, при чемъ полемизировалъ съ г. Novus'омъ, не называя его, однако, по имени,—очевидно, я боялся прогнѣвать г. Novus'а и «сдѣлалъ такъ, чтобы полемика была и какъ будто ея не было». Въ дѣйствительности полемика несомнѣнно была, только не съ однимъ Novus'омъ. «Мужики» г. Чехова вызвали неумѣренные восторги не въ одномъ «Новомъ Словѣ», а въ очень многихъ органахъ печати, при чемъ и комментировался разсказъ въ смыслѣ противопоставленія города и деревни не однимъ г. Novus'омъ. Поэтому я вездѣ говорилъ не о *комментаторѣ*, а о *комментаторахъ*, никого изъ нихъ не называя по имени. И если это признакъ смятеннаго робостью духа, то я его обнаружилъ не передъ однимъ г. Novus'омъ. Но онъ, въ великолѣпномъ сознаніи своей грозной мощи, хочетъ быть единственнымъ... Этому великолѣпію вполнѣ соотвѣтствуетъ и окончаніе его статьи: «Ceterum censeo: въ «Мужикахъ» заключается глубокій общественный смыслъ, и потому, независимо отъ ихъ высокаго художественнаго достоинства, этотъ маленькій очеркъ замѣчательное литературное явленіе». Эта форма декрета такъ удобна, что и я могъ бы окончить подобнымъ же «ceterum censeo» противоположнаго содержанія; тѣмъ болѣе, что «непринужденность» г. Novus'а, его неспособность понять мотивы дѣйствій противниковъ, его комическая увѣренность въ своей силѣ,—все это не такія черты, которыя располагали бы къ бесѣдѣ съ нимъ. Но мнѣ все-таки хочется остановиться еще на двухъ-трехъ мѣстахъ его непринужденной статьи.

Разсказъ г. Чехова, какъ, вѣроятно, помнятъ читатели, оканчивается тѣмъ, что вдова и дочь полового Чикильдѣева просятъ милостыни подъ окнами деревенскихъ избъ: «Подайте милостыни, Христа ради». Въ связи съ этимъ концомъ я обратился къ «коментаторамъ» (а не исключительно къ г. Novus'у, какъ онъ думаетъ) съ такими словами: «Господа, подайте милостыню своего вниманія подлинной вдовѣ и сиротѣ подлиннаго рабочаго человѣка, гдѣ бы онъ ни работалъ, въ деревнѣ ли, въ городѣ ли, и не сшибайте лбами двухъ разрядовъ людей, жизнь которыхъ, въ разныхъ родахъ, но одинаково темна и скудна, одинаково требуетъ и одинаково заслуживаетъ участія». Отъ этихъ моихъ словъ г. Novus'а даже «нѣсколько покоробило», и онъ разражается длинной тирадой, въ которой можно усмотрѣть двѣ стороны. Во-первыхъ, его возмущаетъ «призывъ къ литературной филантропіи» («милостыня

вниманія»), при чемъ онъ щеголяетъ своимъ презрѣніемъ къ филантропіи вообще, цитируетъ Прудона и т. д. Если читатель сопоставитъ эту тираду съ напечатанной въ той же книжкѣ «Новаго Слова» статьей г. М. Б. «Памяти Н. А. Варгунина» и заключительными строками статьи г. П. Б. «Текущіе вопросы внутренней жизни», то убѣдится, что діалектическіе матеріалисты очень боятся слова «филантропія», но о самой филантропіи имѣютъ довольно смутныя понятія. Мнѣ здѣсь нѣтъ повода объ этомъ распространяться, такъ какъ я ни къ какой филантропіи не приглашалъ, и моя «милостыня вниманія» есть такая же метафора, какъ и, напримѣръ, засвидѣтельствованное г. Novus'омъ сидѣніе на цѣпи сотрудниковъ «Новаго Слова». Выше я воспользовался этой послѣдней метафорой, какъ метафорой, и это мое право, но я обнаружилъ бы крайнюю наивность, если бы, слѣдуя примѣру г. Novus'а, разразился по этому поводу патетическою рѣчью въ такомъ родѣ: «Сообщеніе почтеннаго сотрудника «Новаго Слова» повергло насъ въ ужасъ. Какъ! наканунѣ XX вѣка держать людей на цѣпи, когда еще въ прошломъ столѣтіи многіе филантропы возставали противъ такого варварства по отношенію даже къ страдающимъ умственнымъ разстройствомъ, но и тогда безопасныя для общества формы этихъ недуговъ, въ родѣ, напримѣръ, маніи величія, не вызывали столь жестокихъ мѣръ», и т. д. Проговоривъ такую рѣчь, я могъ бы, подобно Novus'у, самодовольно оглядывать слушателей: какой, дескать, я умный и какой передовой!... Сразу все понялъ!...

«Разъяснять общественный смыслъ того, что происходитъ въ дѣйствительной жизни, и того, что изъ этой дѣйствительной жизни отражается въ литературѣ, это наши, какъ говорятъ нѣмцы, verdammte (?) Schuld und Pflichtigkeit. На то мы и состоимъ въ литературномъ цехѣ. Пусть г. Михайловскій думаетъ, что это значитъ «сшибать лбами два разряда людей», но мы полагаемъ, что ничего такого литература не въ состояніи дѣлать; сшибаетъ лбами только жизнь, и на наше горе въ данномъ случаѣ жизнь производитъ это полезное дѣло съ непріятною для насъ медленностью. Итакъ, наша задача и обязанность разъяснять общественный смыслъ явленій жизни и литературы, а раздачу «милостынь вниманія» мы предоставляемъ г. Михайловскому и его единомышленникамъ. Филантропія—душеспасительное дѣло, но ни въ жизни, ни въ литературѣ мы не считаемъ ее общественной задачей». И т. д. въ пику «филантропамъ», не менѣе презрѣннымъ, чѣмъ «народники и субъективисты», но и не болѣе ихъ яснымъ для самого критика. Во всякомъ случаѣ, мое: «подайте милостыню вниманія» есть метафора, вызванная послѣдними строками разсказа г. Че-

хова и имѣющая цѣлью привлечь вниманіе читателей и критиковъ къ тѣмъ сторонамъ этого литературнаго явленія, которыя упущены комментаторами изъ вида. Я именно приглашалъ внимательнѣе отнестись къ смыслу разсказа и соотвѣтственныхъ явленій жизни. Правда, я не только «разъяснялъ», не только констатировалъ факты и обращался къ логической способности читателя, а выражалъ свои чувства. Не думаю, однако, чтобы это выходило изъ предѣловъ правъ и обязанностей «литературнаго цеха», ибо въ такомъ случаѣ пришлось бы исключить изъ литературнаго цеха много великихъ именъ. И даже гг. діалектическіе матеріалисты, «гордые своимъ неумолимымъ объективизмомъ», не только «разъясняютъ», а и волнуются горемъ и радостью, каковыя волненія стараются и читателямъ внушить. Вотъ и г. Novus сообщаетъ намъ о своемъ «горѣ» по тому поводу, что жизнь сшибаетъ людей лбами «съ непріятною для него медленностью». Послѣдовательный «неумолимый объективистъ», если бы таковой былъ возможенъ, сказалъ бы: пріятно вамъ или нѣтъ, горюете ли вы или радуетесь, а медленность извѣстнаго процесса столь же неизбѣжна, какъ и самый процессъ: «разъясняйте» эту медленность, а горя свои и непріятности оставьте при себѣ, ибо это не больше, какъ «милостыня вниманія». И, однако, г. Novus горюетъ и жалуется на непріятности. А г. С. Б. въ предыдущей, сентябрьской книжкѣ «Новаго Слова» идетъ еще дальше. Онъ говоритъ: «Одно дѣло признавать историческую неизбѣжность даннаго процесса или даннаго результата (въ данномъ случаѣ образованія земледѣльческой буржуазіи) и другое дѣло становиться въ извѣстное активное отношеніе къ этому процессу. Насколько вообще возможно такое активное отношеніе, мы, конечно, становимся не на сторону экспропріирующихъ, а экспропріируемыхъ» («Еще нѣсколько словъ по поводу неурожая»).

Я считаю это заявленіе не менѣе въ своемъ родѣ важнымъ, чѣмъ разъясненіе г. Каменскаго относительно теоріи «преобладанія экономическаго фактора». Не дальше, какъ годъ тому назадъ г. Туганъ-Барановскій, конечно, тоже гордый своимъ неумолимымъ объективизмомъ (кто имъ нынѣ не гордится!) издѣвался надо мной въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Статьи г. Михайловскаго не помѣшали нашему капитализму подчинить себѣ самостоятельнаго производителя, интересы котораго такъ горячо, хотя и такъ неудачно, пытается защищать г. Михайловскій. Причина этой неудачи заключается въ томъ, что мой оппонентъ, забывъ объ экономическихъ законахъ, вообразилъ, будто жизнь всецѣло направляется идеалами «критически мыслящихъ личностей», тогда какъ эти идеалы вліяютъ на жизнь только въ томъ случаѣ, если они соотвѣтствуютъ эконо-

мическимъ условіямъ даннаго историческаго момента и не вступаютъ въ конфликтъ съ направленіемъ экономическаго развитія» («Міръ Божій», апрѣль 1896 г., стр. 284). Соображая все вышесказанное, я могъ бы, съ подобающею мнѣ скромностью, отвѣтить г. Тугану-Барановскому такъ: многоуважаемый діалектическій матеріалистъ, вы находитесь во власти заблужденія: я никогда не «воображалъ, будто жизнь всецѣло направляется идеалами критически мыслящихъ личностей». Это ваше сочиненіе, столь же талантливое, какъ и все, что выходитъ изъ-подъ вашего пера. Но если вы подадите милостыню вниманія моимъ собственнымъ сочиненіямъ, то найдете въ нихъ, можетъ быть, то самое, что нашелъ г. Филипповъ: нѣчто такое, «больше чего не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты». Что же касается вашего торжества по тому поводу, что мои статьи «не помѣшали нашему капитализму» и проч., ибо находились «въ конфликтѣ», то я долженъ признаться, что онѣ не помѣшали и многому другому. Радуюсь за васъ, незнакомаго съ горькимъ сознаніемъ конфликта, радуюсь отсутствію разлада между вашими идеалами и дѣйствительностью. Позволю себѣ, однако, сослаться на слова вашего товарища, г. С. Б.: неизбѣжность извѣстнаго процесса, даже если она вполнѣ доказана, не обязываетъ насъ ему содѣйствовать; напротивъ, насколько возможно, мы съ г. С. Б. будемъ ему противодѣйствовать, ибо «мы, конечно, становимся не на сторону экспропріирующихъ, а экспропріируемыхъ», то есть будемъ дѣлать то самое дѣло, которое вамъ кажется столь презрительнымъ.

Въ Москвѣ празднуется тридцатилѣтній юбилей литературной дѣятельности Н. Н. Златовратскаго. Тридцать лѣтъ не малый срокъ въ жизни каждаго человѣка и, можетъ быть, въ особенности писателя. Есть свои радости въ жизни писателя, но въ общемъ тернистъ и труденъ его путь. «Литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце»,—эта эпитафія героя щедринскаго разсказа «Похороны» приличествуетъ многимъ писателямъ, если только они заправскіе писатели, а не диллетанты, удѣляющіе литературѣ свои досуги, и не ремесленники, относящіеся къ ней исключительно съ точки зрѣнія построчной и полистной платы. Самый процессъ литературной работы, конечно, доставляющій извѣстное наслажденіе, часто бываетъ отравленъ сомнѣніемъ и недовольствомъ, ибо писатель сколько-нибудь значительный рѣдко бываетъ доволенъ результатомъ своей работы: въ его умѣ все это слагалось ярче, сильнѣе, стройнѣе. И это составляетъ иногда источникъ такихъ мученій, оцѣнить которыя можетъ только тотъ, кто

самъ испыталъ ихъ. Но слово, сказанное писателемъ, должно удовлетворить не только его самого, оно должно произвести извѣстное дѣйствіе,—непосредственно ли въ видѣ желаннаго практическаго результата или въ видѣ внушенія извѣстныхъ мыслей и чувствъ читателямъ. И здѣсь опять возможенъ рядъ колебаній, сомнѣній, разочарованій: слово можетъ оказаться гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, и чѣмъ больше души вложилъ писатель въ свое слово, тѣмъ, понятно, горше этотъ отрицательный результатъ. Все это можетъ настигнуть и европейскаго писателя, но, конечно, въ гораздо большей степени русскаго, въ силу условій нашей печати и дряблости нашего общественнаго мнѣнія. Если прибавить къ этому матеріальныя невзгоды и всякія случайности, вліяющія на судьбы русскаго писателя, то онъ окажется вполнѣ беззащитнымъ существомъ, жизнь котораго черезъ край переполнена тревогами...

Я вовсе не хочу идеализировать нашу писательскую среду. Безъ сомнѣнія, есть и такіе писатели,—и даже очень много ихъ,—которымъ совершенно незнакомо недовольство собою, а также и такіе, которые уже потому не оказываются гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, что чутко прислушиваются—откуда дуетъ вѣтеръ и сообразно съ этимъ налаживаютъ свои паруса. Но не объ нихъ теперь рѣчь, объ нихъ можно и забыть, когда говоришь о писателѣ въ родѣ Н. Н. Златовратскаго. Какъ талантливый художникъ, онъ не могъ, за свою тридцатилѣтнюю дѣятельность, не испытывать, хоть временами, разлада между образами и картинами, носившимися передъ его умственнымъ взоромъ, и ихъ окончательнымъ словеснымъ выраженіемъ на бумагѣ. А что касается разныхъ властныхъ или же модныхъ теченій, то достаточно въ этомъ отношеніи извѣстна стойкость г. Златовратскаго. Ужъ, конечно, онъ не побоится остаться гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, если судьба поставитъ его въ это трагическое для писателя положеніе. А если и перемѣнитъ когда-нибудь фронтъ, то навѣрное не потому, что это обѣщаетъ какія-нибудь выгоды или обезпечитъ популярность, а единственно потому, что послѣ мучительной внутренней ломки придетъ къ новымъ взглядамъ на жизнь.

Не хочу я также возбуждать въ читателѣ жалость къ представителямъ русской литературы. Много скорбнаго, обиднаго и прямо даже жалкаго въ ихъ положеніи, но въ настоящую минуту мы чествуемъ тридцатилѣтнюю дѣятельность одного изъ нихъ, и самый фактъ этого торжественнаго чествованія долженъ влить противоядіе въ тотъ «ядъ», которымъ литература «напоила его сердце». Нынѣ часто можно слышать мнѣніе, что пѣсня г. Златовратскаго спѣта, не только въ смыслѣ сокращенія, за послѣднее время, его литературной дѣятельности, которое можетъ быть объяснено чисто лич-

ными причинами (усталостью, болѣзнью), а и въ смыслѣ окончательнаго паденія того міросозерцанія, которому г. Златовратскій оставался вѣренъ всю свою многотрудную жизнь. Пусть такъ (я возвращусь къ этой темѣ ниже), но г. Златовратскій, во всякомъ случаѣ, зналъ счастье вольнаго союза съ «читателемъ-другомъ», счастье общенія съ внимательной и многочисленной аудиторіей. И разъ онъ удовлетворялъ запросамъ, конечно, не худшей части нашего общества, разъ онъ давалъ въ теченіе многихъ лѣтъ пищу ея уму и сердцу,—онъ займетъ въ исторіи литературы навѣрное почетное мѣсто. Скажу прямо: міросозерцаніе г. Златовратскаго недостаточно широко для того, чтобы обнять жизнь въ ея многосторонности, но это не кладетъ ни малѣйшей тѣни на писателя, какъ писателя. Г. Златовратскій всю жизнь честно служитъ истинѣ, какъ онъ ее понимаетъ, онъ «дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ». И самое его упорство въ одностороннемъ освѣщеніи жизни имѣетъ свои достойныя уваженія стороны: искренность и мужество...

Если тридцать лѣтъ въ жизни отдѣльнаго человѣка—срокъ очень большой, то въ жизни общества это одно мгновеніе. Такъ обыкновенно говорятъ, да оно, пожалуй, такъ и есть, если смотрѣть на исторію, такъ сказать, съ высоты птичьяго полета. Но какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка не всѣ мгновенія равны между собой, такъ и историческія мгновенія бываютъ особенно многозначительныя. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что послѣднія пережитыя нами тридцать лѣтъ принадлежатъ къ числу именно такихъ, особенно многозначительныхъ историческихъ мгновеній. Эти тридцать лѣтъ стоятъ цѣлаго вѣка, и хотя во многихъ отношеніяхъ мы нынѣ находимся совсѣмъ не такъ далеко отъ исходной точки, какъ можетъ показаться, хотя жизнь взяла многое назадъ изъ того, что дала или, по крайней мѣрѣ, обѣщала, но въ общемъ пройденъ все-таки большой путь. До такой степени большой, что мы часто забываемъ исходныя точки или даже просто не знаемъ ихъ.

Мы празднуемъ тридцатилѣтіе литературной дѣятельности г. Златовратскаго, потому что въ 1866 г. былъ напечатанъ въ «Искрѣ» его первый разсказъ «Падежъ скота». Но собственно какъ вполнѣ опредѣленная литературная физіономія, г. Златовратскій гораздо моложе. Послѣ ряда незначительныхъ очерковъ въ «Искрѣ», «Будильникѣ», «Недѣлѣ», г. Златовратскій обратилъ на себя вниманіе въ 1874 г. разсказомъ «Крестьяне присяжные». Но и въ этомъ талантливомъ разсказѣ онъ еще не былъ тѣмъ Златовратскимъ, какимъ онъ займетъ свое особенное, рѣзко опредѣленное мѣсто въ исторіи литературы. Этотъ Златовратскій вырисовывался лишь

постепенно. Поэтому, хотя его дѣятельность и началась въ 60-хъ годахъ, но было бы чисто фактическою ошибкою считать его типическимъ представителемъ міросозерцанія 60-хъ годовъ. И не въ хронологическомъ только отношеніи, а и въ отношеніи характера и направленія его творчества. Онъ никогда прямо, открыто не «отказывался отъ наслѣдства», но усвоилъ себѣ только одну его часть и односторонне разработалъ ее. За исключеніемъ одного пункта, о которомъ сказано будетъ ниже, односторонность эта, однако, совсѣмъ не такъ значительна, какъ принято думать. И хотя г. Златовратскій несомнѣнный «народникъ», но было бы грѣшно и несправедливо приписывать ему крайности нѣкоторыхъ теоретиковъ народничества. Когда теоретики пожелали формулировать свое «новое слово» (они такъ именно выражались), то прежде всего отказались отъ наслѣдства 60-хъ годовъ въ дѣлѣ пониманія значенія національности. Они возставали противъ «европейскихъ очковъ», настаивали на «самобытности» и доходили до послѣднихъ предѣловъ узкаго націонализма. Г. Златовратскій совершенно чуждъ этого теченія. Въ его «Деревенскихъ будняхъ» читаемъ, между прочимъ, слѣдующее. Приведя слова. А. Н. Энгельгардта о нѣкоторомъ «тайничкѣ», имѣющемся въ мозгу каждаго русскаго мужика, г. Златовратскій пишетъ: «Существуетъ этотъ «тайничекъ» у всѣхъ мужиковъ, даже у богатыхъ собственниковъ, вовсе не потому, что они «русскіе мужики», и будетъ существовать, пока, дескать, мужикъ будетъ *русскій* мужикъ, а просто потому, что настоящая эпоха—эпоха критическая, переходная въ жизни русскаго мужика, эпоха, когда идетъ борьба за преобладаніе между старыми традиціями и новыми вѣяніями, между общиной и крайнимъ индивидуализмомъ. Кончится эта борьба въ пользу общины—и этому «тайничку» незачѣмъ будетъ существовать, потому что нечему будетъ скрываться въ тайнѣ. Кончится борьба въ пользу полнаго индивидуализма—кулакъ и собственникъ почувствуютъ свою настоящую силу, тогда и мужикъ, будь онъ самой чистой русской крови, потеряетъ всякое сознаніе о «тайничкахъ» и, въ охраненіи основъ индивидуальной собственности, явится такимъ «столпомъ», что утретъ носъ всякому нѣмцу... Если мы будемъ возлагать надежды на неувядаемость какого-то мистическаго «тайничка», пока мужикъ будетъ *русскій* мужикъ, и въ пользу этого тайничка пальцемъ не шевельнемъ, то намъ очень скоро придется убѣдиться, что и русскій богатый мужикъ знаетъ не хуже нѣмца, гдѣ раки зимуютъ» (Цитирую по только что вышедшему третьему изданію сочиненій Златовратскаго, II, 324—325).

Кромѣ очень ярко выраженнаго отрицательнаго отношенія къ мистической самобытности, мы видимъ въ этой цитатѣ еще одну

любопытную черту. Каковы бы ни были выводы г. Златовратскаго изъ его деревенскихъ наблюденій, но наблюдатель онъ замѣчательно добросовѣстный. И когда объ немъ говорятъ, какъ объ идеализаторѣ деревни, то упускаютъ обыкновенно изъ виду, что его идеализація отнюдь не побуждаетъ его закрывать глаза на отрицательныя съ его точки зрѣнія явленія деревенской жизни. Нынѣшніе развязные писатели, отказывающіеся отъ наслѣдства, приписываютъ себѣ открытіе процесса дифференцированія, происходящаго въ современной деревнѣ. Но и изъ нихъ болѣе свѣдущіе принуждены указывать на произведенія г. Златовратскаго, въ которыхъ двадцать лѣтъ тому назадъ этотъ процессъ былъ изображенъ съ неоставляющею мѣста сомнѣніямъ яркостью. Основная точка зрѣнія г. Златовратскаго состоитъ въ томъ, что деревня переживаетъ кризисъ, эпоху борьбы старыхъ и новыхъ началъ, при чемъ, хотя симпатіи его явно лежатъ на сторонѣ старыхъ (общинныхъ) началъ, онъ съ полнымъ безпристрастіемъ слѣдитъ за перипетіями борьбы, не предрѣшая ея исхода.

Перечитывая сочиненія г. Златовратскаго, и именно разсказъ «Городъ рабочихъ» (1888 г., т. I, 246—264), я невольно вспомнилъ вышеупомянутаго переводчика рѣчи Гельда, г. Спасскаго. Онъ навѣрное считаетъ себя «объективистомъ» и съ снисходительнымъ презрѣніемъ смотритъ на г. Златовратскаго, какъ на «романтика» и «утописта». Это не помѣшало ему, однако, прямо поддѣлать Гельда. Прочтите же разсказъ романтика и утописта «Городъ рабочихъ», написанный на ту же тему—«ремесло и фабрика», и воздайте должное мужественной искренности и фактической правдивости автора. Правда, г. Златовратскій придаетъ часто тѣмъ или другимъ наблюденнымъ имъ фактамъ преувеличенное значеніе (см., напримѣръ, перечисленіе видовъ «общинной помочи» на стр. 341 и слѣд. второго тома), но онъ ничего не скрываетъ: факты остаются фактами, и читатель воленъ согласиться или не согласиться съ авторомъ въ ихъ оцѣнкѣ. Онъ не только апологетъ общинныхъ «устоевъ», но и правдивый лѣтописецъ ихъ разложенія. Поэтому, совершенно независимо отъ его принципіальной точки зрѣнія, вся фактическая часть его писаній заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и глубокой благодарности всѣхъ интересующихся народною жизнью. Въ особенности въ этомъ отношеніи цѣнны очерки «Деревенскія будни», представляющіе прямо записки или дневникъ наблюдателя безъ всякихъ художественныхъ замысловъ.

Какъ художникъ, г. Златовратскій не нуждается въ похвалахъ. Его талантъ общепризнанъ, и такія произведенія, какъ «Крестьяне—присяжные», «Въ артели», а также многіе изъ позднѣйшихъ раз-

сказовъ всегда останутся въ числѣ украшеній русской литературы, хотя и не первостепенныхъ. Нельзя, къ сожалѣнію, то же сказать о самомъ большомъ его беллетристическомъ произведеніи, «Устояхъ», представляющихъ отчасти художественную обработку того же матеріала, который въ иной формѣ использованъ въ «Деревенскихъ будняхъ». Въ «Деревенскихъ будняхъ» г. Златовратскій неоднократно говоритъ о неудовлетворительности всѣхъ ранѣе произведенныхъ наблюденій и изслѣдованій народной жизни. Онъ не дѣлаетъ исключеній ни для свѣдѣній, полученныхъ черезъ «свѣдущихъ людей», ни для личныхъ наблюденій и ихъ научной и беллетристической обработки, ни для «либеральныхъ и нелиберальныхъ», искреннихъ и лицемѣрныхъ «друзей народа», ни для сторонниковъ и противниковъ общины. Все это, по его мнѣнію, недостаточно серьезно и слишкомъ поверхностно. Это уже нѣкоторый, хотя и не формулированный, намекъ на «отказъ отъ наслѣдства», дурно отозвавшійся прежде всего на самомъ г. Златовратскомъ. По нынѣшнему времени не лишнее будетъ замѣтить, что я отнюдь не проповѣдую культа предковъ, напротивъ, критическое отношеніе къ духовному наслѣдству необходимо, но нужно много разъ примѣрять прежде, чѣмъ отрѣзать себя отъ работы предшествующихъ поколѣній, ибо это, во всякомъ случаѣ, просто невыгодно, не говоря уже о несправедливости.

Между прочимъ г. Златовратскій говоритъ: «Сами художники, вышедшіе изъ интеллигенціи и берущіеся за сюжеты изъ народной жизни, должны, во имя добросовѣстности, измѣнить методы своихъ отношеній къ деревнѣ, основывая ихъ до сего времени *только* на непосредственныхъ впечатлѣніяхъ: они должны заняться такой же предварительной солидной подготовкой, какую имѣютъ солидный этнографъ и историкъ народной жизни. Иначе, повторяю, будетъ какъ было до сихъ поръ, — кое-какіе типики, сцены семейной жизни, построенныя на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и проч. Но общаго смысла народной жизни, духа ея, который проходилъ бы черезъ всѣ типы, той неизгладимой идеи, которая проникаетъ каждый непосредственный индивидуумъ народной массы, отъ нихъ не ждите» (II, 297).

«Солидная подготовка», безъ сомнѣнія, всегда и во всякомъ дѣлѣ полезна, но что подъ нею разумѣетъ въ данномъ случаѣ г. Златовратскій—несовсѣмъ ясно. Охотно вѣрю, что самъ онъ, приступая къ своимъ деревенскимъ наблюденіямъ, обладалъ подготовкой «солиднаго этнографа и историка народной жизни», но явныхъ слѣдовъ этой спеціальной подготовки въ его трудахъ не видно (двухъ, трехъ мимоходныхъ указаній въ такомъ родѣ, что община существовала не только у насъ, и т. п., конечно, недоста-

точно); они построены именно *только* на «непосредственныхъ впечатлѣніяхъ». Правда, презрительно относясь къ послѣднимъ, г. Златовратскій разумѣлъ, можетъ быть, первыя не продуманныя и не провѣренныя впечатлѣнія, и въ такомъ случаѣ онъ, конечно, правъ; правъ въ своемъ отрицаніи, правъ и въ томъ отношеніи, что самъ онъ наблюдалъ внимательно и относился къ своимъ наблюденіямъ вдумчиво. Но онъ былъ не одинъ и не первый на этомъ поприщѣ. У насъ безспорно было много грубыхъ и поверхностныхъ картинъ изъ народной жизни (радующимся обличенію «деревенскаго идіотизма» въ «Мужикахъ» г. Чехова можно напомнить, напримѣръ, Николая Успенскаго), но, съ другой стороны, достаточно указать на трепещущіе жизнью и вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутые серьезною мыслью картины и образы Гл. Успенскаго. Не такъ, значитъ, «было до сихъ поръ», какъ это кажется г. Златовратскому. И въ своемъ стремленіи сказать непремѣнно новое слово, онъ впалъ въ ошибку, значительно повредившую художественной сторонѣ многихъ его произведеній, и въ особенности «Устоевъ». Требуя отъ другихъ уловленія «общаго смысла народной жизни, духа ея, который проходилъ бы черезъ всѣ ея типы, той неизгладимой идеи, которая проникаетъ каждый непосредственный индивидуумъ народной массы», г. Златовратскій въ дѣйствительности самъ не нашелъ этого единаго «духа», этой «идеи». Какъ добросовѣстный наблюдатель, онъ и констатировалъ борьбу двухъ «духовъ» или «идей»,—общиннаго и личнаго. Ею онъ занятъ и въ «Устояхъ». Но въ силу презрительнаго отношенія къ «кое-какимъ единичнымъ типикамъ, сценамъ семейной жизни, построенныхъ на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и пр.»,—онъ далъ въ «Устояхъ» рядъ не столько живыхъ лицъ и подлинныхъ положеній, сколько схематическихъ фигуръ, долженствующихъ воплощать различные оттѣнки двухъ борющихся «духовъ». Поэтому, не смотря на интересный замыселъ «Устоевъ», въ этомъ обширнѣйшемъ изъ произведеній г. Златовратскаго столько анти-художественно подчеркнутаго, столько рѣжущаго мало-мальски чуткое ухо излишнею явностью намѣреній автора, столько сухой схематичности, что его даже читать трудно. Эта трудность еще увеличивается страннымъ художественнымъ капризомъ автора: нѣкоторыя страницы «Устоевъ» написаны полустихотворнымъ размѣромъ, который невольно скандируется при чтеніи.

Въ «Деревенскихъ будняхъ» огуломъ осуждаются всѣ бывшіе наблюдатели и изслѣдователи народной жизни. Въ «Устояхъ» наблюдатели и изслѣдователи сводятся лицомъ къ лицу съ народомъ, но уже не въ качествѣ только наблюдателей и изслѣдователей: это люди искренно или же на словахъ ищущіе сближенія съ народомъ,

очарованные великой правдой, хранящейся въ тайникахъ народной жизни, или же разочарованные въ ней. Впрочемъ, тема эта съ большею сосредоточенностью разрабатывается въ нѣкоторыхъ другихъ разсказахъ, въ особенности въ «Золотыхъ сердцахъ». Но на этотъ разъ для проникновенія въ народную жизнь требуется уже не солидная подготовка этнографа и историка, а нѣчто совсѣмъ иное, а именно, кажется, «вѣра сердца», какъ выражается одна изъ героинь «Золотыхъ сердецъ», прибавляя, впрочемъ: «это несовсѣмъ точно, но еще нѣтъ названія, такъ какъ все это пока очень неопредѣленно». «Вѣра сердца» и еще нѣчто, что мы сейчасъ увидимъ.

Въ глубинѣ народнаго духа, на самомъ днѣ, лежитъ вѣками сохраненная великая «правда жизни». Но надъ ней ходятъ волны, извнѣ притекающія и не только все прибывающія, но постепенно растворяющія и нижніе, глубокіе слои. Разные истомленные пустотою своей жизни, разочарованные и неудовлетворенные интеллигентные люди знаютъ, чуютъ или, по крайней мѣрѣ, наслышаны о народной правдѣ. Но, во-первыхъ, между ними самими много людей поверхностныхъ, неискреннихъ, несерьезныхъ, увлеченныхъ просто моднымъ теченіемъ «народолюбія» (мы говоримъ о прошедшемъ времени, читатель!), довольствующихся фразой, неспособныхъ вынести блеска народной правды и проч., и проч. А съ другой стороны, до этой правды нельзя добраться иначе, какъ столкнувшись предварительно съ наносными, извнѣ притекшими волнами, въ которыхъ правды уже нѣтъ или же она имѣется лишь въ слабомъ растворѣ. Таковы рамки, въ которыя вставляетъ г. Златовратскій свои картины попытокъ сближенія съ народомъ, оканчивающіяся обыкновенно неудачей. Рамки, на первый взглядъ, очень удобныя для автора, какъ правдиваго бытописателя. Въ самомъ дѣлѣ, ему незачѣмъ идеализировать ищущихъ сближенія съ народомъ,—мало ли тамъ пустыхъ и слабыхъ людей; незачѣмъ идеализировать и народную среду, — заранѣе извѣстно, что надъ тайной народнаго сокровища ходятъ извнѣ притекшія мутныя волны, въ которыхъ опять мало ли какая дрянь можетъ содержаться. Но самое выгодное въ этихъ рамкахъ, кажется, то, что по той или по другой причинѣ, или по совокупности ихъ, до сокровища такъ никто и не добирается. Не смотря, однако, на эту выгодную позицію, интеллигентные люди «Устоевъ» и «Золотыхъ сердецъ», вообще говоря, опять-таки не столько живые люди, сколько схематическія фигуры, вслѣдствіе чего добросовѣстный наблюдатель оказывается недостаточно правдивымъ художникомъ.

Остановимся на одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ», на томъ именно, котораго вышеупомянутая героиня счи-

гаетъ «воплощеніемъ вѣры сердца». Это нѣкто Башкировъ. Желая индивидуализировать этотъ образъ, оживить его, авторъ придалъ ему много, слишкомъ много оригинальныхъ до странности чертъ. Это совсѣмъ особенный человѣкъ уже по происхожденію своему,— онъ плодъ увлеченія юной помѣщичьей дочери дикимъ башкиромъ, атаманомъ разбойничьей шайки. Наружности онъ замѣчательно уродливой. Весь складъ его жизни, всѣ привычки, манеры—какія-то несуразныя. Окончивъ курсъ на медицинскомъ факультетѣ московскаго университета (всѣ пять лѣтъ пробылъ) онъ, однако, говоритъ страннымъ, не то что народнымъ, а какимъ-то супра-народнымъ языкомъ въ такомъ родѣ: «*Ничаво*, я теперь не уйду, я и самъ *изусталъ*». Но сердце у него доброе, прямо сказать, золотое сердце, и всѣ приданныя ему авторомъ оригинальныя черты еще болѣе оттѣняютъ его схематичность: вотъ человѣкъ, который, казалось бы, ничѣмъ не взялъ, ничего у него, кромѣ золотого сердца, нѣтъ. Есть, впрочемъ, и еще нѣчто — медицинскія знанія. Онъ охотно водится съ крестьянами и городскими простыми людьми и пользуется, въ свою очередь, ихъ расположеніемъ, но, повидимому, не столько въ качествѣ врача, сколько въ качествѣ золотого сердца. Началось это еще во времена студенчества, въ средѣ котораго Башкировъ тоже пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Такъ какъ онъ уже тогда слылъ знатокомъ народа, то кое-кто изъ товарищей пожелалъ имъ воспользоваться для нѣкоторыхъ особыхъ цѣлей. Произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Скажи, Башкировъ, ты вѣдь хорошо знаешь простой народъ?

— Чаво я знаю? Знаю Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю!

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, довѣряютъ тебѣ. Ты, значитъ, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими?

— Знаю,—протянулъ Башкировъ, хитро улыбнувшись.

— Въ чемъ же, въ чемъ штука?—вскрикнулъ обрадовавшійся юноша—трудно?

— Нѣтъ, ничего... лёгко!

— Легко?

— Не сумлявайся... лёгко.

— Ну такъ въ чемъ же штука-то?

— Штука-то?.. Быть нещщастнымъ!

Пріятель отчего-то переконфузился, а Башкировъ сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ.

Однако и этотъ человѣкъ, и это «воплощеніе вѣры сердца», не смотря на свое знаніе ключа къ народной душѣ, не нашелъ сокровища. Объ этомъ можно судить по слѣдующему. Авторъ дважды сводитъ Башкирова, въ числѣ прочихъ «простыхъ людей», съ ка-

кими-то странниками, къ которымъ Башкировъ относится съ необыкновеннымъ почтеніемъ; но оба странника оказываются никакого почтенія не заслуживающими плутами.

Между прочимъ, одинъ изъ этихъ плутовъ говоритъ «объ *отрѣшеніи*, о пустынѣ». Подчеркнутое слово часто срывается съ устъ самыхъ разнообразныхъ дѣйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ» (а отчасти и «Устоевъ»). Такъ не лишенный практичности, юркій мужикъ Кузя «бросаетъ мимоходомъ афоризмъ собственной философіи въ родѣ того, что «ежели по настоящему времени судя, то самое лучшее—отрѣшиться, потому вездѣ единственно какъ мамонъ и болѣе ничего» (III, 45). Но и начетчицы Павла и Секлетея, хозяйствовавшія, какъ заправскіе мужики, и принимавшія участіе во всѣхъ мірскихъ дѣлахъ, рѣшаютъ: «все сдать на міръ и отрѣшиться... будетъ ужъ, пожили для міру». И когда ихъ спрашиваютъ, куда же онѣ пойдутъ, одна изъ нихъ отвѣчаетъ: «Нигдѣ путь не заказанъ тому, кто отрѣшился... Въ томъ-то, милушка, и сила, что умѣй отъ куска, отъ жилища, отъ живота отрѣшиться, и будетъ вѣра твоя велика... Разучился человѣкъ отрѣшаться» (ib. 53, 54). «Такъ ты, значитъ, рѣшилъ отойти, *отрѣшиться*?—спросилъ какъ-то особенно загадочно и задумчиво Морозовъ (помѣщикъ).—«Рѣшилъ, Петръ Петровичъ, отрѣшиться рѣшилъ»,—отвѣчаетъ «умный мужикъ» (63). Про майорскую дочь, Катерину Егоровну, говорятъ: «Она, братъ, тоже сумѣетъ утечь, отрѣшиться... А въ этомъ—свѣтъ, свѣтъ!» (73).

Столь настойчиво влагая слово «отрѣшиться» въ уста людей очень разнообразныхъ положеній, авторъ, очевидно, желаетъ особенно подчеркнуть его значеніе. Въ тѣсной связи съ этимъ находятся и выраженія «вѣра сердца», «золотыя сердца» и неоднократное противопоставленіе разными дѣйствующими лицами «ума» и «сердца». И здѣсь мы опять встрѣчаемся съ отказомъ отъ наслѣдства 60-хъ годовъ, который, впрочемъ, лично г. Златовратскимъ никогда не былъ заявленъ.

Желаніе «отрѣшиться» сопровождается у дѣйствующихъ лицъ г. Златовратскаго сознаніемъ грѣха и жаждою его искупленія или, по крайней мѣрѣ, покаянія. Это несомнѣнно одинъ изъ элементовъ міросозерцанія 60-хъ годовъ. Когда «порвалась цѣпь великая» и даже еще въ преддверіи къ этому историческому событію, въ моментъ крымской войны, обнаружившей многоразличные изъяны нашего общественнаго строя, значительная и при томъ лучшая часть русскаго общества была охвачена сознаніемъ грѣха и жаждою покаянія. Дѣло шло не только о коренномъ историческомъ грѣхѣ, который назывался крѣпостнымъ правомъ, а и обо всѣхъ многочисленныхъ отъ него производныхъ. Страстныя обличенія какъ об-

щихъ нашихъ, доживавшихъ свой вѣкъ порядковъ, такъ и отдѣльныхъ случаевъ насилія, неправосудія, грубости, невѣжества, словомъ всего, чѣмъ была такъ богата дореформенная Русь, — составляютъ самую яркую черту эпохи 60-хъ годовъ. Это какъ бы сама Россія каялась. Но и отдѣльныя личности, въ виду наплыва новыхъ идей и созиданія новаго порядка вещей, покаянно пересматривали свое прошлое и настоящее, «отрѣшаясь» отъ тѣхъ или другихъ привычекъ, того или другого образа жизни или общественнаго положенія. Гл. Успенскій очень тонко изобразилъ этотъ процессъ, окрестивъ его именемъ «болѣзни совѣсти». Замѣчательно однако, что Успенскій употребляетъ и другое, болѣе широкое названіе: «болѣзнь мысли». И, какъ я старался показать въ предисловіи къ сочиненіямъ Успенскаго, новая мысль вызывала работу не только уязвленной совѣсти, а и оскорбленной чести, рѣчь шла не объ обязанностяхъ только, но и о правахъ. Затѣмъ, тогдашняя мысль отличалась большою (быть можетъ, иногда даже чрезмѣрною) самоувѣренностью и никоимъ образомъ не согласилась бы уступить долю своей компетенціи «вѣрѣ сердца», но и не допускала противопоставленія «ума» и «сердца» какъ элементовъ, другъ другу по существу враждебныхъ. Точно также не согласилась бы она погнуться въ угоду чьимъ бы то ни было мнѣніямъ, въ томъ числѣ и мнѣніямъ народа, хотя интересы трудящихся классовъ занимали въ міросозерцаніи 60-хъ годовъ первенствующее мѣсто. Изученіе народнаго быта требовалось настоятельно, но «быть нещастнымъ» отнюдь не считалось хорошимъ для этого средствомъ. Если люди того времени и «отрѣшались», если они даже своего рода вериги надѣвали и тяжкія эпитемьи на себя налагали, то, во-первыхъ, не видѣли въ этомъ «нещастія», а во-вторыхъ, не потому, чтобы считали себя пустыми сосудами, которые должны наполниться живой водой народной правды. Напротивъ, они сами разсчитывали внести лучъ свѣта въ народную массу и пробудить ея дремлющее сознаніе.

Было бы долго и во многихъ отношеніяхъ неудобно припоминать тѣ преувеличенныя надежды на народную воспріимчивость и тѣ разочарованія, которыя затѣмъ послѣдовали. Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни были неудачны нѣкоторыя страницы «Устоевъ» и «Золотыхъ сердецъ» г. Златовратскій старался уловить (и укрѣпить и обосновать) извѣстное подлинное теченіе, въ лицѣ другихъ писателей открыто разорвавшее связь съ идеями 60-хъ годовъ. Повторяю, я отнюдь не считаю это наслѣдіе чѣмъ-то неприкосновеннымъ, напротивъ, оно подлежитъ приращенію, обогащенію, какъ данными научнаго движенія, такъ и данными житейскаго опыта, для чего оно обладаетъ достаточною широтою и гибкостью; но от-

казываться отъ него невыгодно, какъ это, между прочимъ, видно и изъ судьбы многихъ дѣйствующихъ лицъ произведеній г. Златовратскаго. «Будетъ ужъ, пожили для міру»,—говорятъ бабы начетчицы, желающія «отрѣшиться» и удалиться, собственно говоря, неизвѣстно куда, но, во всякомъ случаѣ, куда-то изъ міра, въ какую-то «пустыню». Въ простомъ народѣ это, какъ насъ учитъ исторія, нерѣдкое явленіе, но едва ли г. Златовратскій поступилъ правильно, пріурочивъ его къ тому историческому моменту, которымъ онъ занятъ въ «Устояхъ» и «Золотыхъ сердцахъ», и поставивъ его въ неясную связь съ «отрѣшеніемъ» такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей. Во всѣ тяжкія для народа времена изъ его среды выдѣлялись подвижники, удалявшіеся отъ грѣховнаго міра и спасавшіе душу въ удаленіи отъ мірскихъ дѣлъ. Они и находили въ этомъ успокоеніе своей смущенной совѣсти. «Отрѣшеніе» интеллигентныхъ героевъ г. Златовратскаго имѣетъ совсѣмъ другой характеръ. Это—отрѣшеніе не только «отъ куска, отъ жилища, отъ живота», а и цѣликомъ отъ всего преемственно накопленнаго багажа, и жертва эта оказывается безполезною: все равно никто не добирается до великой народной правды, гдѣ-то глубоко на днѣ сокрытой. Припомните хоть конецъ «Устоевъ». Отрѣшившаяся Лиза Дрекалова пишетъ своему учителю Пугаеву: «Яня все навѣщаетъ меня. Вчера мы долго говорили. И отчего это такъ легко говорить съ нимъ? А вѣдь онъ такой же мужикъ, какъ и всѣ. Онъ только... Все еще не могу опредѣлить однимъ словомъ: кто онъ? Нѣтъ, это не сынъ «земли», не «ратникъ труда», не подвижникъ «ума»... Онъ даже не все это вмѣстѣ,—онъ выше всего этого. Онъ царитъ надъ этимъ, беззавѣтный романтикъ! Мнѣ кажется, что исчезни изъ народа *это*, что такъ цѣлостно воплотилось въ Янѣ и отцѣ его Минѣ, безсильна будетъ оживить его и «земля», ибо власть ея обратится тогда въ страшную, могильную власть животнаго, хотя бы и мирнаго, прозябанія, и власть «міра», община, ибо эта власть ея станетъ условною, мертвою формой, деспотически принижающей неоживленную духомъ «порыва» личность; власть труда сдѣлается страшною властью машины, и наконецъ, самая власть «ума», власть интеллигенціи, превратится въ сухое, вялое доктринерство или умственный деспотизмъ... И только одно *это*... А что такое *это*—я не знаю, дорогой Пугаевъ, не знаю до сихъ поръ, но я вѣрю въ *это*, мало того, я чувствую его... всѣмъ существомъ своимъ. Значитъ, *оно* реально... Что изъ того, что я теперь не могу опредѣлить *это*? Это даже лучше: значитъ, *оно* такъ глубоко»...

Deo ignoto—такова надпись на храмѣ божества г. Златоврат-

скаго. Иногда ему кажется, что онъ, не въ примѣръ другимъ, разгадалъ великую истину, но большею частью онъ приноситъ лишь жертвы на алтарѣ этого невѣдомаго божества... Быть можетъ, разгадка проще, чѣмъ онъ думаетъ, быть можетъ, нѣтъ надобности «отрѣшаться» въ такой степени и въ такой формѣ, какъ его герои, но несомнѣнно, что онъ оказалъ русскому обществу большую услугу, въ теченіе многихъ лѣтъ привлекая его вниманіе къ деревенской жизни. При всемъ своемъ преклоненіи передъ никому невѣдомой тайной, онъ добросовѣстно изучалъ дѣйствительность. Но и помимо результатовъ, къ которымъ онъ пришелъ, нельзя не поставить ему въ заслугу самый фактъ многолѣтняго пристальнаго вниманія къ деревенской жизни. Нельзя не оцѣнить этого въ особенности теперь, когда можно услышать уже слишкомъ упрощенное рѣшеніе вопросовъ, занимавшихъ г. Златовратскаго въ теченіе всей его литературной дѣятельности: «идіотизмъ деревенской жизни» — и конецъ...

Простите, читатель; это я опять г. Novus'а вспомнилъ. Все въ той же вышеупомянутой непринужденной бесѣдѣ онъ, въ подтвержденіе своихъ мнѣній о «Мужикахъ» г. Чехова, вспоминаетъ, что Марксъ «не боялся и съ полнымъ правомъ не боялся писать объ «идіотизмѣ деревенской жизни» и видѣлъ заслугу капитализма и буржуазіи въ разрушеніи этого идіотизма». Поэтому-то и онъ, г. Novus, считаетъ себя вправѣ говорить объ идіотизмѣ «мужиковъ», разрушаемомъ капитализмомъ и буржуазіей черезъ посредство «котлеты-марешаль» трактирнаго полового и омоченныхъ слезами «дондеже» его добродѣтельной жены... Г. Novus вообще любитъ повторять чужія слова, не соображаясь съ условіями, при которыхъ они были впервые сказаны. Такъ, въ мартовской непринужденной бесѣдѣ читаемъ: «Откровенно говоря, если бы я вѣрилъ въ фактъ упадка производительныхъ силъ Россіи подъ дѣйствіемъ процесса капиталистическаго развитія, то я бы или махнулъ на все рукой и сталъ бы жить въ свое удовольствіе, «пить кипрское вино и цѣловать красивыхъ женщинъ», или же... удавился бы». Вотъ какъ энергично! Надо, однако, замѣтить, что слова, поставленныя въ ковычкахъ, принадлежатъ Лассалю. Охотно вѣрю, что «кипрское вино и красивыя женщины» находятся всегда къ услугамъ г. Novus'а, но все-таки повтореніе Лассалевскаго выраженія производитъ въ его устахъ нѣсколько комическій эффектъ... Нельзя того же сказать объ «идіотизмѣ деревенской жизни». Это уже не смѣшно. Я не знаю, гдѣ именно у Маркса написаны эти грубыя слова, но давно извѣстно, что если Александръ Македонскій былъ великій герой, то стульевъ все-таки ломать не слѣдуетъ. Марксъ былъ вообще не-

разборчивъ въ выраженіяхъ, и, конечно, подражать ему въ этомъ отношеніи, по малой мѣрѣ, не умно. Но и то я увѣренъ, что приведенное выраженіе у Маркса простая бутада. И если поколѣніе, вмѣстѣ съ г. Златовратскимъ мучившееся надъ сложными вопросами деревенской жизни, приняло много напраснаго горя, то горе—хотя и иное—и тому поколѣнію, которое воспитается на презрительномъ отношеніи къ «идіотизму деревенской жизни»...

VIII.

О дѣлѣ г-жи Поповой и о Союзѣ писателей *).

Передо мной лежатъ двѣ брошюры: г. А. Попова—«Вопросъ о четырехъ нравственныхъ основаніяхъ предъ судомъ чести Союза русскихъ писателей» и г. К. Льдова—«Вопіющее дѣло». Обѣ брошюры посвящены дѣлу бывшихъ сотрудниковъ «Новаго Слова» съ г-жею Поповой, разбиравшемуся судомъ чести Союза писателей. Г. Поповъ былъ въ этомъ дѣлѣ представителемъ г-жи Поповой и такъ и подписался подъ своей брошюрой: «Довѣренный бывшей издательницы «Новаго Слова» А. Поповъ». Г. Льдовъ не имѣетъ никакого непосредственнаго отношенія къ дѣлу. Какъ тотъ Пушкинскій рыцарь, «духомъ смѣлый и прямой»,

Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уму—
И глубоко впечатлѣнье
Въ сердце врѣзалось ему.
Съ той поры, сгорѣвъ душою,

онъ написалъ о дѣлѣ г-жи Поповой три статьи въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», издалъ ихъ отдѣльной брошюрой съ прибавленіемъ четвертой, вновь написанной, въ концѣ которой задаетъ себѣ или читателямъ рядъ вопросовъ, и заключаетъ такъ: «Посильный отвѣтъ на эти вопросы не замедлитъ появиться въ слѣдующей брошюрѣ». Тогда, можетъ быть, г. Льдовъ и постигнетъ испепелившее его душу видѣніе, а до сихъ поръ онъ волнуется, негодуетъ, недоумѣваетъ—и ничего не понимаетъ. Но непостижное уму видѣнье неотступно преслѣдуетъ его, «и какъ громъ, его угроза поражаетъ»—онъ самъ хорошенько не знаетъ кого.

Я не намѣренъ входить во всѣ подробности дѣла бывшей издательницы «Новаго Слова» съ бывшими сотрудниками этого жур-

*) Декабрь, 1897 г.

нала, но считаю все-таки нужнымъ напомнить его въ самыхъ общихъ чертахъ.

О. Н. Попова пріобрѣла журналъ отъ г. Баталина въ 1895 г., а въ началѣ 1897 г. продала его г. Семенову. Въ этотъ промежутокъ времени между издательницей, съ одной стороны, и сотрудниками, съ другой, происходили разныя недоразумѣнія, все обострявшіяся, и, наконецъ, выяснилась полная невозможность совмѣстнаго участія въ дѣлѣ. Съ обѣихъ сторонъ предлагались разные выходы, между прочимъ, шли переговоры и о передачѣ журнала, на тѣхъ или другихъ условіяхъ, сотрудникамъ, во главѣ которыхъ стоялъ С. Н. Кривенко, но ничего изъ этого не вышло, и, какъ уже сказано, г-жа Попова продала журналъ г. Семенову. Составъ редакціи и направленіе журнала рѣзко измѣнились. Въ апрѣлѣ настоящаго года гг. Абрамовъ и Скабичевскій, въ качествѣ уполномоченныхъ группою бывшихъ сотрудниковъ «Новаго Слова», обратились въ комитетъ Союза писателей съ заявленіемъ, предлагающимъ на разсмотрѣніе суда чести слѣдующіе четыре вопроса: 1) имѣла ли г-жа Попова нравственное основаніе продать журналъ, не предложивши сотрудникамъ взять его на тѣхъ же условіяхъ, на которыхъ онъ проданъ г. Семенову? 2) имѣла ли г-жа Попова нравственное основаніе скрывать отъ работавшей въ журналѣ группы писателей свое намѣреніе продать журналъ? 3) имѣла ли г-жа Попова нравственное основаніе продавать журналъ, созданный работами людей одного направленія, людямъ совсѣмъ другого направленія? 4) имѣла ли г-жа Попова нравственное основаніе, завязавъ переговоры съ г. Кривенко о передачѣ журнала и назначивъ срокъ для окончанія переговоровъ, будучи недовольна предложенными условіями и не сдѣлавъ желательныхъ ей поправокъ, приступать къ продажѣ журнала въ другія руки?

Судъ чести, на который довѣреннымъ г-жи Поповой явился А. Н. Поповъ, былъ, по случаю приближенія лѣтняго времени, далеко не въ полномъ составѣ. Приговоръ подписанъ тремя судьями: предсѣдательствовавшимъ В. Д. Спасовичемъ и членами—В. А. Манасеинымъ и П. П. Фанъ-деръ-Флитомъ. Послѣдніе двое «признаютъ г-жу Попову нравственно неправою въ продажѣ журнала «Новое Слово» въ томъ видѣ, какъ эта продажа совершилась; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они признаютъ наличность многихъ обстоятельствъ, значительно уменьшающихъ неправоту г-жи Поповой, а именно: 1) болѣзненной нервности г-жи Поповой, оставшейся у нея послѣ тяжкой перенесенной ею болѣзни; 2) безкорыстной затраты крупныхъ суммъ на изданіе журнала; 3) нѣсколько безпорядочнаго, повидимому, веденія сотрудниками хозяйственной части изданія; 4) недостаточнаго знакомства г-жи Поповой съ тѣмъ, какого на-

правленія будетъ держаться новая редакція «Новаго Слова», и могутъ ли принять участіе въ журналѣ прежніе сотрудники; 5) участія нѣкоторыхъ сотрудниковъ «Новаго Слова» въ «Недѣлѣ», хотя и не по спорнымъ между этими двумя журналами вопросамъ, въ такое время, когда журналы эти вели между собою полемику. На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній Судъ чести по большинству голосовъ опредѣлилъ: признать О. Н. Попову нравственно неправою въ томъ, что она продала журналъ «Новое Слово» лицамъ иного, хотя прогрессивнаго направленія, не исчерпавъ всѣхъ средствъ для продажи журнала своимъ прежнимъ сотрудникамъ, но неправота г-жи Поповой въ значительной мѣрѣ уменьшается перечисленными въ мотивахъ настоящаго приговора смягчающими вину ея обстоятельствами».

В. Д. Спасовичъ, хотя и подписавшій приговоръ, остался при особомъ мнѣніи, заключительныя строки котораго гласятъ: «Членъ суда В. Спасовичъ, признавая, что О. Н. Попова не оказывается ни нарушившею по настоящему дѣлу какія бы то ни было нравственныя обязанности по отношенію къ жалобщикамъ Я. В. Абрамову и А. М. Скабичевскому, ни поступившею вопреки установившимся въ современной печати правиламъ и приличіямъ, полагаетъ жалобу гг. Абрамова и Скабичевскаго, какъ неосновательную, оставить безъ послѣдствій».

Тотчасъ по окончаніи дѣла г-жа Попова выбыла изъ Союза писателей, членомъ котораго была съ самаго его основанія, а затѣмъ г. Поповъ издалъ свою брошюру «Вопросъ о четырехъ нравственныхъ основаніяхъ». Въ брошюрѣ напечатаны, кромѣ предисловія и послѣсловія, — заявленіе гг. Абрамова и Скабичевскаго, представленное въ комитетъ Союза писателей для передачи въ судъ чести; рѣчь г. Попова на судѣ, приговоръ суда и особое мнѣніе г. Спасовича. Подъ брошюрой подписано: 30 мая 1897, а цензурная помѣтка: 23 іюня 1897. Въ августовской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» появилась первая громоносная статья г. Льдова, въ которой, между прочимъ, читаемъ: «Со времени выхода въ свѣтъ брошюры г. Попова по настоящее время, когда мы приступаемъ къ этой статьѣ, прошло три недѣли; между тѣмъ никакихъ указаній на фактическія неточности въ перепечаткѣ этихъ документовъ (обнародованныхъ въ брошюрѣ г. Попова) заявлено не было Въ виду этого считаемъ возможнымъ опираться на данныя брошюры, какъ на матеріалъ вполнѣ основательный».

Основательность эта была однако поколеблена письмомъ В. А. Манасеина въ редакцію «Сына Отечества» (№ 212). В. А. Манасеинъ писалъ: «Въ брошюру г. Попова не вошли цѣликомъ ни показанія свидѣтелей по дѣлу, данныя ими по дѣлу, ни рѣчи

гг. Абрамова и Скабичевскаго, сказанныя ими послѣ свидѣтельскихъ показаній. Такимъ образомъ, свѣдѣнія, сообщенныя г. Поповымъ, далеко не полны. Всѣ члены суда (гг. Спасовичъ, Фанъдеръ-Флитъ и я) ко времени появленія брошюры г. Попова разъѣхались, а потому и не могли свидѣться, чтобы сдѣлать какое-либо заявленіе по поводу этой брошюры сообща». Тѣмъ не менѣе, г. Манасеинъ не счелъ возможнымъ откладывать разъясненіе, по крайней мѣрѣ, одной изъ «неточностей» брошюры, а именно: «Г. Поповъ увѣряетъ, будто бы я на судѣ позволилъ себѣ «наводить» г. Кривенко на отвѣты. Не говоря уже о томъ, что для такого нарушенія самыхъ начальныхъ правилъ порядочности (которое, конечно, не могло бы быть допущено и предсѣдателемъ суда) не было никакого повода, такъ какъ до суда я рѣшительно ни въ какихъ (ни въ дружескихъ, ни во враждебныхъ) отношеніяхъ ни съ кѣмъ изъ тяжущихся не состоялъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ (въ томъ числѣ и гг. Поповыхъ) даже ни разу въ жизни не видалъ, и самаго факта, заявленнаго г. Поповымъ, не было вовсе».

Письмо г. Манасеина вызвало вторую статью г. Льдова, фельетоны г. Скабичевскаго о томъ же дѣлѣ г-жи Поповой—третью, анонимная замѣтка «Сына Отечества» — четвертую, а всѣ онѣ вмѣстѣ составили брошюру «Вопіющее дѣло». Остальная печать отнеслась къ дѣлу г-жи Поповой очень сдержанно. Только «Московскія Вѣдомости», «Міровые Отголоски», да г. Н. Энгельгардтъ въ «Новомъ Времени» (не считая «Сѣвернаго Вѣстника») заслужили въ этомъ отношеніи одобреніе г. Льдова, который патетически восклицаетъ въ своей брошюрѣ: «Статьи, вошедшія въ эту брошюру, устанавливаютъ факты явнаго оклеветанія г-жи Поповой. Остается еще выяснить вопросъ болѣе важный въ общественномъ отношеніи: почему это произошло? и почему обращеніе г-жи Поповой къ суду общественнаго мнѣнія не вызвало единодушнаго взрыва негодованія? не вызвало даже отголоска?.. Что за *темная, лгущая сила* (курсивъ г. Льдова) препятствуетъ выясненію правды, когда въ дѣло замѣшаны главари мнимо-передового направленія, давно уже окоченѣвшаго въ своей косности и своекорыстной нетерпимости? Чей властный перстъ дерзко пригрозилъ органамъ русской печати, изъявъ изъ обсужденія вопросъ, во всякомъ случаѣ, касающійся ея насущнѣйшихъ интересовъ? Почему, въ самомъ дѣлѣ, только четыре періодическія изданія отважились пренебречь «либеральнымъ» изъятіемъ изъ сферы гласности процесса г-жи Поповой?.. Посильный отвѣтъ на эти вопросы не замедлитъ появиться въ слѣдующей брошюрѣ».

Тѣмъ временемъ происходило слѣдующее. 23 іюля въ засѣданіи комитета Союза писателей было доложено письмо гг. Скабичев-

скаго и Оболенскаго, въ которомъ они, указывая на брошюру г. Попова, «находятъ ее по существу представляющею въ искаженномъ видѣ дѣло О. Н. Поповой съ бывшими сотрудниками «Новаго Слова», а въ той формѣ, въ которой она издана, могущею быть принятою за изданіе самого Союза и просятъ комитетъ заявить въ газетахъ, что означенная брошюра издана г. Поповымъ безъ вѣдома комитета и Суда чести». Комитетъ не счелъ возможнымъ удовлетворить просьбу гг. Скабичевскаго и Оболенскаго, такъ какъ брошюра подписана самимъ г. Поповымъ, и сомнѣній въ ея происхожденіи быть не можетъ. Выступать съ своимъ мнѣніемъ о брошюрѣ г. Попова комитетъ также не счелъ возможнымъ, такъ какъ подробности судоговоренія ему неизвѣстны. При этомъ, однако, не касаясь дѣла по существу, комитетъ «находитъ, что а) г-жа Попова, въ качествѣ члена Союза подчиняя свое дѣло рѣшенію Суда чести, обязана подчиняться и всѣмъ существующимъ на сей предметъ правиламъ, и прежде всего уставу Союза; б) § 28 устава допускаетъ печатаніе приговоровъ Суда чести только по просьбамъ сторонъ, обращеннымъ къ комитету, и съ разрѣшенія сего послѣдняго; в) что выходъ г-жи Поповой изъ состава Союза, когда дѣло ея уже было разсмотрѣно, не можетъ освобождать ее ни отъ одного изъ обязательствъ, принятыхъ ею на себя въ то время, когда она состояла членомъ Союза; и г) что въ виду этого г-жа Попова не имѣла права разрѣшать своему повѣренному, какимъ продолжаетъ себя называть авторъ брошюры, печатать таковую, что, по мнѣнію комитета, является со стороны г-жи Поповой неправильнымъ по отношенію къ Союзу поступкомъ». Это постановленіе комитета было прочитано въ ближайшемъ общемъ собраніи членовъ Союза писателей.

Затѣмъ въ газетахъ появились слѣдующіе документы.

Къ рѣшенію суда чести по дѣлу г-жи Поповой съ сотрудниками „Новаго Слова“.

Предсѣдатель комитета союза взаимопомощи русскихъ писателей И. Н. Исаковъ проситъ насъ напечатать письмо къ нему непремѣннаго члена суда чести при союзѣ К. К. Арсеньева и объясненіе В. Д. Спасовича по дѣлу г-жи Поповой съ сотрудниками «Новаго Слова».

I.

М. г. Петръ Николаевичъ. Судъ чести при союзѣ взаимопомощи русскихъ писателей, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 28-го октября обвиненіе, взведенное въ брошюрѣ г. Попова на одного изъ членовъ суда чести по дѣлу г-жи Поповой съ гг. Абрамовымъ и Скабичевскимъ, В. А. Манасеина, въ предложеніи одному изъ свидѣтелей «наводящихъ» вопросовъ, просилъ предсѣдательствовавшаго по этому дѣлу, В. Д. Спасовича, изложить письменно тѣ обстоя-

тельства судоговоренія, по поводу которыхъ возникло вышеозначенное обвиненіе.

Написанное, вслѣдствіе этого, заявленіе В. Д. Спасовича, подтвержденное третьимъ судьею, П. П. Фанъ-деръ-Флитомъ, судъ чести въ засѣданіи 5-го ноября постановилъ передать въ комитетъ союза съ просьбою принять мѣры къ оглашенію его въ печати.

Исполняя это постановленіе суда, имѣю честь препроводить при семъ заявленіе В. Д. Спасовича, а также выписку изъ журнала засѣданія суда чести, 28-го октября.

Примите и пр. К. Арсеньевъ.

6-го ноября 1897 г.

II.

Въ судъ чести союза взаимопомощи русскихъ писателей.

Въ апрѣлѣ и маѣ сего года въ судѣ чести С. В. Р. П. производилось дѣло по жалобамъ сотрудниковъ журнала «Новое Слово» Я. Абрамова и А. Скабичевскаго на бывшую издательницу этого журнала О. Н. Попову, которой повѣреннымъ и представителемъ по дѣлу явился мужъ ея, полковникъ Поповъ. Сей послѣдній, оставшись недоволенъ рѣшеніемъ суда чести 12-го мая и получивъ отъ меня, какъ предсѣдательствовавшаго на судѣ, копію сего рѣшенія, «рѣшился» апеллировать къ суду общественнаго мнѣнія и издалъ особую брошюру, въ которой хотя и помѣстилъ въ концѣ ея приговоръ суда чести, но предпослалъ ему свое собственное изложеніе процесса по документамъ, будто бы находящимся въ распоряженіи суда чести. На стр. отъ 12-й до 15-й брошюры, озаглавленной: «Вопросъ о четырехъ нравственныхъ основаніяхъ передъ судомъ чести». Петербургъ, 1897 г., г. Поповъ помѣстилъ ту заключительную рѣчь предъ судомъ чести, которую онъ, будто бы, произнесъ 9-го мая. Въ составѣ этой рѣчи имѣются, на стр. 24-й и 25-й, слѣдующія слова, направленныя противъ одного изъ членовъ суда, В. А. Манасеина, и содержащія неблагопріятную оцѣнку его образа дѣйствій при дачѣ показаній на судѣ С. Н. Кривенко; «Послѣ ряда *наводящихъ* вопросовъ, предложенныхъ членомъ суда г. Манасеинымъ, онъ, г. Кривенко, уже обнаружилъ *колебаніе* и допускалъ возможность иного толкованія». Въ той же рѣчи, на слѣдующей 26-й стр. брошюры, помѣщены слова, которыя усугубляютъ неблагопріятное для В. А. Манасеина значеніе выраженія «наводящихъ», употребляемаго на стр. 25-й: «интересно было бы знать, рядомъ какихъ *наводящихъ* вопросовъ можно было бы довести г. Кривенко и въ этомъ случаѣ до *отрицанія* имъ высказаннаго».

Въ качествѣ лица, предсѣдательствовавшаго на судѣ чести по дѣлу г-жи Поповой, считаю долгомъ заявить мой протестъ противъ брошюры, напечатанной г. Поповымъ, и возразить: 1) противъ утверждаемаго имъ нахожденія въ судѣ документовъ, которые могли бы послужить къ разъясненію дѣла и 2) противъ приписываемаго брошюрой В. А. Манасеину неблаговиднаго образа дѣйствій его на судѣ.

Судъ чести имѣлъ въ своемъ распоряженіи документы, представленные ему либо сторонами, либо допрашиваемыми свидѣтелями. Свидѣтельскія показанія самъ я записывалъ, они имѣются при дѣлѣ, но относительно невѣрной ихъ передачи въ приговорѣ не заявлено никѣмъ возраженій. Что касается доставленныхъ документовъ, судъ извлекъ изъ нихъ все то, что онъ счелъ относящимся къ дѣлу, и помѣстилъ въ приговорѣ, самые же документы онъ возвратилъ тѣмъ лицамъ, отъ которыхъ они были получены и въ числѣ которыхъ имѣется и самъ г. Поповъ.

Что касается подробностей допроса С. Н. Кривенко на судѣ, то самъ

г. Поповъ признаетъ въ брошюрѣ нижеслѣдующія обстоятельства. Г-жа Попова назначила окончательнымъ срокомъ для развязки вопроса о передачѣ журнала 1-е февраля. 24-го января г. Кривенко, имѣя въ виду выгодную комбинацію, просилъ отсрочки до 26-го (а потомъ и до 28-го) января. А. Поповъ отвѣтилъ ему письмомъ отъ 25-го января, что излишне говорить объ отсрочкѣ до конца января, когда срокъ назначенъ на 1-е февраля, противъ чего Кривенко не возражалъ на письмо. Въ приговоръ суда занесено (стр. 59 брошюры), что въ засѣданіи суда 29-го апрѣля Кривенко не могъ объяснить, имѣлъ ли онъ въ виду, когда писалъ свое письмо отъ 24-го января, отдалить срокъ развязки за 1-е февраля. Изъ сопоставленія этихъ обстоятельствъ вытекаютъ нижеслѣдующіе выводы:

1) что, такъ называемые г. Поповымъ, «наводящіе» вопросы были предлагаемы судомъ въ полномъ его составѣ. Предлагалъ ихъ, между прочимъ, и г. Манасеинъ, но они одинаково интересовали весь составъ суда, такъ какъ необходимы были въ виду страннаго и бросавшагося въ глаза обстоятельства, какъ могъ г. Кривенко, располагая болѣе дальнимъ срокомъ, хлопотать объ отсрочкѣ до момента, предшествующаго сроку болѣе дальнему, который несомнѣнно ему принадлежалъ;

2) что, коль скоро на вопросы суда г. Кривенко не далъ никакого отвѣта, то возможно ли говорить о томъ, что онъ «обнаружилъ колебаніе» или что онъ «допустилъ возможность иного толкованія». На письмо А. Попова Кривенко, не возражая, молчалъ, изъ каковаго молчанія г. Поповъ выводитъ, конечно, не толкованіе, а только заключеніе, что, должно быть, Кривенко соглашается. 29-го апрѣля на судѣ г. Кривенко объясненій не далъ, значитъ, одно и то же, что молчалъ. Изъ двухъ молчаній г. Кривенко можно дѣлать какія угодно заключенія, напримѣръ, что онъ не хотѣлъ или что онъ не могъ дать объясненіе усмотрѣнной судомъ несообразности, но нельзя никакъ установить, что онъ колебался или что разно одно и то же положеніе толковалъ, когда онъ никакого положенія и не ставилъ.

Г. Поповъ помѣщаетъ выраженіе о «наводящихъ вопросахъ» В. А. Манасеина въ рѣчи, якобы имъ произнесенной въ судѣ 9-го мая. Какъ предсѣдательствовавшій на судѣ, я заявляю, что ничего подобнаго г. Поповъ въ засѣданіи 9-го мая не произносилъ, что если бы эти слова были произнесены, то всѣ члены суда не потерпѣли бы такого оскорбительнаго порицанія, направленнаго противъ одного изъ нихъ, и либо потребовали бы, чтобы г. Поповъ взялъ свои слова назадъ и извинился, либо прекратили бы засѣданіе, устранивъ повѣреннаго стороны, очевидно, не понимавшаго, какъ держать себя на судѣ. Очевидно, что слова, относящіяся къ г. Манасеину, сочинены были авторомъ брошюры послѣ произнесенія судомъ приговора, вслѣдствіе чего она имѣетъ въ томъ видѣ, въ какомъ напечатана, значеніе не защитительной рѣчи, а апелляціи къ общественному мнѣнію, которую г. Поповъ счелъ цѣлесообразнымъ принести.

В. Спасовичъ.

Октября 30-го 1897 г.

Въ отвѣтъ на это разъясненіе В. Д. Спасовича, г. Поповъ помѣстилъ въ № «Новостей» отъ 25 ноября письмо въ редакцію, изъ котораго видно, что имъ была приготовлена записка, но читалъ онъ ее на судѣ въ сокращенномъ видѣ. «Въ настоящее время — пишетъ г. Поповъ—не берусь возстановить, что было опущено и что прочтено полностью. Для существа дѣла не важно, къ какому

времени относится мое заявленіе о «наводящихъ вопросахъ», но не имѣю основаній утверждать, что высказанное мною по поводу вопросовъ, предложенныхъ членомъ суда В. А. Манасеинымъ г. С. Кривенко, могло относиться къ прочимъ гг. судьямъ. Были ли «колебанія» или ихъ не было, имѣли ли нѣкоторые вопросы, предложенные «свидѣтелю-обвинителю» г. Кривенко, характеръ наводящихъ вопросовъ или нѣтъ,—этимъ частностямъ процесса, вѣроятно, суждено остаться въ числѣ спорныхъ пунктовъ, и предоставимъ разрѣшить ихъ совѣсти участвовавшихъ въ судѣ лицъ. «Сочинять» ничего не сочинялъ ни до, ни послѣ произнесенія приговора, а изложилъ все согласно документамъ и тому, чему былъ очевидцемъ».

Г. Льдовъ счелъ нужнымъ заявить, что «*ни разу въ жизни не видѣлъ* (курсивъ г. Льдова) не только г-жи Поповой, но и г. Попова, не только г. Кривенко, но и г. Абрамова, не только г. Скабичевскаго, но и г. Щепотьева, не только г. Рубакина, но и гг. Поссе, Яроцкаго, В. и К. Тимирязевыхъ, Фанъ-деръ-Флита» (стр. 77). Въ этомъ мы должны видѣть залогъ нелицепріятнаго отношенія г. Льдова къ дѣлу. Я долженъ сознаться, что *такихъ* залоговъ безпристрастія я, съ своей стороны, представить не могу. Напротивъ, почти всѣхъ дѣйствующихъ лицъ занимающей насъ исторіи я знаю болѣе или менѣе хорошо, а съ нѣкоторыми изъ нихъ былъ даже очень близокъ и стоялъ у одного съ ними дѣла. На это имѣются указанія и въ брошюрѣ г. Попова. Онъ пишетъ: «Скорбный листъ журнала «Новое Слово» необходимо начать съ воспоминаній о журналѣ «Русское Богатство», въ которомъ довѣрительница моя принимала участіе до пріобрѣтенія ею «Новаго Слова». Этимъ участіемъ О. Н. Попова была обязана С. Н. Кривенко, пригласившему ее въ число пайщиковъ «Русскаго Богатства». Весною 1895 г. недоразумѣнія среди участниковъ въ «Русскомъ Богатствѣ» достигли размѣровъ, вызвавшихъ кризисъ. Вопросъ о продолженіи сотрудничества С. Н. Кривенко былъ поставленъ ребромъ и разрѣшился его выходомъ изъ журнала» (стр. 12). Вмѣстѣ съ г. Кривенко изъ нашего журнала вышли и нѣкоторые другіе сотрудники, вышла и г-жа Попова, принимавшая въ журналѣ участіе въ качествѣ издательницы: сняла свою подпись и безъ всякаго спора полностію получила обратно затраченныя ею деньги. Такимъ образомъ, мы *единовременно* разстались и съ г-жей Поповой, и съ г. Кривенко, котораго г. Поповъ считаетъ главнымъ виновникомъ непріятностей, пережитыхъ г-жею Поповою. Думаю, что это гарантія нашего безпристрастія не менѣе значительная, чѣмъ незнакомство г. Льдова съ г. Кривенко и г-жею Поповой. Къ этому надо при-

бавить, что личныя мои добрыя отношенія съ г-жею Поповой не прерывались и съ выходомъ ея изъ «Русскаго Богатства», — не счелъ бы нужнымъ объ этомъ упоминать, если бы на эти добрыя отношенія не было указаній въ той же брошюрѣ г. Попова, объ чемъ мнѣ придется еще говорить.

Итакъ, я не имѣю никакихъ основаній класть лишнія гири на ту или другую чашку вѣсовъ суда чести, разбиравшаго дѣло г-жи Поповой и сотрудниковъ «Новаго Слова». Я отнюдь не заподозриваю и безпристрастіе г. Льдова, но то непостижное уму видѣнье, которое сожгло его душу, стоитъ между нимъ и истиной, заслоняя и извращая ее. Возражая В. А. Манасеину, г. Льдовъ пишетъ, что онъ вовсе не утверждалъ, будто «г. Поповъ совершенно вѣрно передалъ все, происходившее на судѣ». Г. Льдовъ знаетъ, что судопроизводство изложено г. Поповымъ «неполно», но то, что изложено, изложено вѣрно. Такъ говоритъ теперь г. Льдовъ Въ дѣйствительности онъ утверждалъ въ августовской статьѣ «Сѣвернаго Вѣстника» нѣчто гораздо большее, а именно: такъ какъ въ теченіе трехъ недѣль «никакихъ указаній на фактическія неточности» брошюры г. Попова не было, то мы «считаемъ возможнымъ опираться на данныя брошюры, какъ на матеріалъ *вполнѣ основательный*». Между тѣмъ, онъ неоснователенъ, этотъ матеріалъ. Не основателенъ уже въ силу своей неполноты. Свидѣтельскія показанія, равно какъ и рѣчи гг. Абрамова и Скабичевскаго, не напечатаны г. Поповымъ, и мы такъ и не знаемъ, что въ нихъ подтверждало или опровергало показанія самого г. Попова. Этого мало. Судъ чести нашелъ нужнымъ исправить лишь одну «неточность» брошюры г. Попова, именно ту, которая касалась одного изъ членовъ суда. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы въ брошюрѣ не было другихъ «неточностей». Все дѣлопроизводство мнѣ неизвѣстно, но мнѣ пришлось принять въ немъ нѣкоторое участіе, которое кажется г. Льдову даже очень значительнымъ. И въ мѣру моего участія я могу указать въ брошюрѣ г. Попова весьма существенныя неточности, наличность которыхъ, къ счастію, можетъ быть доказана при помощи документовъ, г. Поповымъ опубликованныхъ.

Я приведу цѣликомъ то мѣсто брошюры г. Льдова, въ которомъ онъ, опираясь на брошюру г. Попова, опредѣляетъ мою роль въ дѣлѣ:

«Въ спискѣ свидѣтелей, приводимомъ г. Поповымъ на стр. 2-я брошюры, не упомянуто одно лицо, сыгравшее видную роль во время судопроизводства. Лицо это—г. Н. К. Михайловскій. На стр. 35-й брошюры г. Поповъ сообщаетъ, что судъ чести пригласилъ г. Михайловскаго, *въ качествѣ эксперта* (курсивъ г. Льдова), для опредѣленія различія въ направленіяхъ журнала «Новое Слово»

при прежней и новой редакціяхъ. «Н. К. Михайловскій—говоритъ г. Поповъ—высказалъ мнѣніе и по существу дѣла. Передачу журнала лицамъ другого направленія г. Михайловскій призналъ неправильнымъ дѣйствіемъ, но совершеннымъ при обстоятельствахъ, уменьшающихъ вину г-жи Поповой. Полагаю,—добавляетъ г. Поповъ,—что такая предупредительность со стороны Н. К. Михайловскаго не могла входить въ кругъ дѣйствій экспертизы». Въ мотивированномъ приговорѣ (стр. 64-я) мы находимъ подтвержденіе этихъ словъ г. Попова, хотя тамъ г. Михайловскій названъ *не экспертомъ, а свидѣтелемъ* (курсивъ мой. Н. М.). «По мнѣнію г. Михайловскаго,—говорится въ приговорѣ,—г-жа Попова, вѣроятно, не знала, какого направленія г. Семеновъ. Онъ (г. Михайловскій) полагаетъ, что передача журнала марксистамъ была дѣйствіемъ неправильнымъ, потому что существуетъ острая и принципіальная разница между народниками и марксистами, но онъ признаетъ, что имѣются и смягчающія вину О. Н. Поповой обстоятельства, заключающіяся во 1) въ объявленіи Поповой, предлагающемъ подписчикамъ возвратъ имъ подписныхъ денегъ за время до 1-го октября 1897 г.; во 2) въ нашихъ литературныхъ нравахъ, допускающихъ совмѣстное постоянное сотрудничество однихъ и тѣхъ же писателей въ журналахъ весьма различныхъ направленій; въ 3) наконецъ, въ томъ, что она не знала, какому собственно направленію принадлежитъ г. Семеновъ». Свойство мнѣнія, выраженнаго г. Михайловскимъ, совершенно соотвѣтствуетъ понятію объ экспертизѣ. Если къ этому присоединить *показаніе г. Попова, что ни одна изъ сторонъ не вызвала г. Михайловскаго свидѣтелемъ* (курсивъ мой, Н. М.), выяснится съ еще большею наглядностью, что тутъ, въ самомъ дѣлѣ, на лицо не свидѣтельское показаніе, а экспертиза, да еще съ предрѣшеніемъ приговора. Приговоръ гг. Манасеина и Фанъ-деръ-Флита является ничѣмъ инымъ, какъ распространеннымъ повтореніемъ экспертизы г. Михайловскаго, а послѣдняя часть «особаго мнѣнія» г. Спасовича—ея опроверженіемъ» («Вопіющее дѣло», 20—21).

Не буду останавливаться на томъ, что въ мотивахъ приговора есть пункты, которые совершенно отсутствуютъ въ выраженномъ мною мнѣніи, которые были извѣстны суду, но не были и не могли быть извѣстны мнѣ («безкорыстная затрата крупныхъ суммъ на изданіе журнала», «нѣсколько безпорядочное, повидимому, веденіе сотрудниками хозяйственной части изданія»). Не буду останавливаться и на томъ, что, по г. Льдову, «свойство мнѣнія, выраженнаго г. Михайловскимъ, совершенно соотвѣтствуетъ понятію объ экспертизѣ», а, по г. Попову, «такая предупредительность со стороны Н. К. Михайловскаго не могла входить въ кругъ дѣйствій

экспертизы». Гораздо интереснѣе упоминаемое г. Льдовымъ «показаніе г. Попова, что ни одна изъ сторонъ не вызвала г. Михайловскаго свидѣтелемъ». Такого показанія *нѣтъ* въ брошюрѣ г. Попова, какъ можетъ удостовѣриться каждый читатель: г. Льдовъ сочинилъ это показаніе. Вѣрно, однако, что на стр. 35-й своей брошюры г. Поповъ утверждаетъ, будто на судъ я былъ «приглашенъ въ качествѣ эксперта»; и это есть «неточность», влекущая за собой, какъ сейчасъ будетъ видно, довольно важныя послѣдствія.

Въ сохранившемся у меня приглашеніи предсѣдательствовавшаго на судѣ В. Д. Спасовича, помѣченномъ 5-мъ мая, значится: «Судъ чести союза взаимопомощи русскихъ писателей призналъ необходимымъ при разбирательствѣ дѣла между гг. Я. В. Абрамовымъ и А. М. Скабичевскимъ и г-жею О. Н. Поповою, съ другой стороны, спросить Васъ въ качествѣ *свидѣтеля*». Согласно съ этимъ, и въ приговорѣ суда, и въ особомъ мнѣніи г. Спасовича я называюсь «свидѣтелемъ», и только г. Поповъ называетъ меня «экспертомъ». Кѣмъ я былъ вызванъ,—одною изъ сторонъ или обѣими, или самимъ судомъ, натолкнутымъ ходомъ дѣла на необходимость выслушать мои свидѣтельскія показанія,—я не знаю. Я отвѣчалъ на вопросы обѣихъ сторонъ и членовъ суда. Въ числѣ отвѣтовъ были и тѣ, которые приводитъ г. Поповъ, а за нимъ и г. Льдовъ, и которые, пожалуй, имѣютъ характеръ экспертизы. Но вѣдь вызванъ я былъ все-таки въ качествѣ свидѣтеля и давалъ свидѣтельскія показанія. Почему же объ нихъ умалчиваетъ г. Льдовъ? Можетъ быть, потому, что ему такъ нужно въ виду его собственной цѣли, а, можетъ быть, потому, что объ нихъ умалчиваетъ и г. Поповъ. Однако въ брошюрѣ послѣдняго можно найти указанія на тѣ вопросы, которые мнѣ задавались, какъ *свидѣтелю*.

Въ брошюрѣ цѣликомъ напечатано заявленіе гг. Абрамова и Скабичевскаго, поданное ими въ комитетъ Союза для передачи въ судъ ч[illegible]. И тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Недоумѣвая по поводу этой продажи, противорѣчившей всѣмъ предыдущимъ переговорамъ, одинъ изъ сотрудниковъ, г. Оболенскій, 8 февраля поѣхалъ къ г. Попову и услышалъ отъ него, что относительно продажи журнала все рѣшено безповоротно. Затѣмъ г. Максимовъ счелъ необходимымъ, по личному своему побужденію, также съѣздить къ гг. Поповымъ съ цѣлью сдѣлать еще одну попытку предотвратить такой неожиданный исходъ дѣла; но и онъ услышалъ отъ гг. Поповыхъ, что все дѣло кончено безповоротно, и что они считаютъ свои дѣйствія правильными, въ виду того, что они дѣйствовали въ этомъ случаѣ будто бы по совѣту и съ одобренія писателя Н. К. Михайловскаго» (стр. 11). Въ мотивахъ приговора, также цѣликомъ напечатанныхъ г. Поповымъ, между прочимъ, говорится: «По во-

просу о томъ, держали ли Поповы въ тайнѣ свое намѣреніе продать журналъ г. Семенову, имѣются въ дѣлѣ слѣдующія данныя... Встрѣтивъ въ Союзѣ писателей Н. К. Михайловскаго, О. Н. Попова на вопросъ его о продажѣ, факта продажи не отрицала, но не считала эту продажу конченною. Того же числа, въ пятницу (7 февраля), зная, что уже разгласилось, что «Новое Слово» должно перейти къ марксистамъ, О. Н. Попова письменно обратилась къ Н. К. Михайловскому, какъ къ лицу особенно ею уважаемому, съ объясненіями о г. Семеновѣ, какъ о покупщикѣ журнала, который поѣхалъ теперь въ Москву и тогда (т. е. по возвращеніи) пріобрѣтетъ ли онъ журналъ или нѣтъ—дастъ отвѣтъ» (стр. 62—63). И далѣе: «Изъ показанія свидѣтеля Н. К. Михайловскаго оказывается, что 7-го февраля въ Союзѣ взаимопомощи О. Н. Попова пришла въ смущеніе на вопросъ его: точно ли она продаетъ журналъ марксистамъ, и отвѣчала, что г. Семеновъ не имѣетъ ничего общаго съ марксистами, что и подтверждала въ письмѣ Михайловскому того же числа (пятница 7 февраля)» (стр. 64). Наконецъ, въ особомъ мнѣніи В. Д. Спасовича, въ числѣ «обстоятельствъ въ пользу О. Н. Поповой», упоминается, что г-жа Попова «совсѣмъ не знала 4-го февраля, обязуясь продать журналъ г. Семенову, что онъ марксистъ; она была встревожена 7-го февраля, когда узнала о томъ въ союзѣ взаимопомощи, и писала подъ этимъ впечатлѣніемъ письмо къ Н. К. Михайловскому» (стр. 73).

Изъ всего этого видно, что мои *свидѣтельскія* показанія и представленное въ подтвержденіе ихъ письмо г-жи Поповой играли немаловажную роль въ дѣлѣ. Они были нужны для разъясненія показанія г. Максимова, слышавшаго отъ гг. Поповыхъ, что продажа журнала совершилась по моему совѣту и съ моего одобренія. Если бы этотъ фактъ на судѣ подтвердился, то, конечно, это было бы еще однимъ мотивомъ для приговора въ пользу г-жи Поповой. Но ни въ приговорѣ, ни въ особомъ мнѣніи г. Спасовича этотъ мотивъ не указанъ. Значитъ, фактъ не подтвердился, но г. Поповъ въ своемъ изложеніи дѣла совсѣмъ обходитъ этотъ эпизодъ, хотя и упоминаетъ (стр. 29), что г. Максимовъ «желалъ получить свѣдѣнія отъ гг. Поповыхъ». Точно также обойдена въ изложеніи г. Попова и моя бесѣда съ О. Н. Поповой въ Союзѣ писателей 7-го февраля и ея письмо ко мнѣ отъ того же числа. А, между тѣмъ, обстоятельства эти, очевидно, имѣли для суда важное значеніе, ибо они неоднократно упоминаются и въ приговорѣ, и въ особомъ мнѣніи В. Д. Спасовича. Очевидно, далѣе, что, утверждая, что я былъ приглашенъ «въ качествѣ эксперта», г. Поповъ впадаетъ въ «неточность», а слѣдомъ за нимъ идетъ г. Льдовъ игнорируя мои свидѣтельскія показанія и уже прямо отъ себя сочиняя «показаніе

г. Попова, что ни одна изъ сторонъ не вызвала г. Михайловскаго свидѣтелемъ».

Повторяю, изъ всего дѣлопроизводства я знаю только ту долю, въ которой мнѣ лично пришлось участвовать. Но могутъ спросить,— почему же я такъ долго молчалъ о касающейся меня «неточности»? Пламенный г. Льдовъ уже черезъ три недѣли послѣ выхода въ свѣтъ брошюры г. Попова считалъ возможнымъ опираться на данныя брошюры, «какъ на матеріалъ вполнѣ основательный», потому что, дескать, никакихъ указаній на фактическія неточности не было. Почти столь же пламенный г. Quidam въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», по поводу вышеприведеннаго заявленія г. Спасовича о брошюрѣ г. Попова, говоритъ о «скандальномъ молчаніи суда чести». Судъ чести, какъ уже давно указалъ В. А. Манасеинъ, молчалъ по той простой причинѣ, что судьи (и, главнымъ образомъ, предсѣдательствовавшій по дѣлу г-жи Поповой г. Спасовичъ) отсутствовали. А мнѣ, въ свою очередь, казалось, что до того или иного отклика суда чести не слѣдуетъ касаться брошюры г. Попова, ибо только суду извѣстно дѣло во всѣхъ его подробностяхъ. Судъ чести нашелъ нужнымъ обратить вниманіе только на одинъ пунктъ брошюры, бросавшій незаслуженную тѣнь на одного изъ членовъ суда. Объ этомъ можно пожалѣть, хотя, съ другой стороны, нельзя не пожалѣть и судей, которымъ пришлось бы вновь пересматривать все дѣло. Но, и помимо необходимости выждать заключенія, къ которому придетъ судъ чести, я, признаюсь, и теперь съ большою неохотою взялся за перо, чтобы писать о дѣлѣ г-жи Поповой. Я думаю, всякій, кому дорого достоинство литературы, согласится съ тѣмъ, что лучше бы было, если бы это дѣло совсѣмъ не возникало. Я не о судѣ чести говорю,—онъ велъ себя безупречно, и этому ни мало не противорѣчитъ разногласіе судей. Что же касается поведенія обѣихъ сторонъ и ихъ взаимныхъ отношеній до суда, то я и теперь, по возможности, обойду его молчаніемъ. Тѣмъ болѣе, что и матеріалъ для обсужденія обо всемъ этомъ имѣется слишкомъ односторонній. Меня занимаютъ, главнымъ образомъ, тѣ общіе выводы изъ процесса г-жи Поповой, которые съ такою настойчивостью дѣлаются и развиваются г. Льдовымъ и «Московскими Вѣдомостями» подъ предлогомъ рыцарской защиты правды, потерпѣвшей въ лицѣ г-жи Поповой. «Дѣло г-жи Поповой еще не кончено», настойчиво утверждаютъ эти рыцари правды и, дѣйствительно, не даютъ кончиться, если не ему самому (оно давно кончено), то разговорамъ объ немъ. Я не надѣюсь, разумѣется, прекратить эти разговоры настоящей статьей, но, быть можетъ, мнѣ удастся пролить нѣкоторый свѣтъ на побудительныя причины рвенія, съ которымъ рыцари ухватились за дѣло г-жи Поповой.

Вернемся къ тѣмъ моимъ отвѣтамъ на вопросы сторонъ и членовъ суда, которымъ можетъ быть приписанъ характеръ экспертизы. Г. Льдовъ полагаетъ, что приговоръ есть лишь распространенное повтореніе моей экспертизы, а особое мнѣніе г. Спасовича—ея опроверженіе. О первой половинѣ этого предложенія я уже говорилъ: въ мотивахъ приговора приведены факты, которыхъ я не имѣлъ,—а отчасти и не могъ имѣть въ виду по незнакомству съ дѣломъ. Что же касается особаго мнѣнія г. Спасовича, то я рѣшительно не понимаю, какъ можно увидѣть въ немъ только «опроверженіе» высказанныхъ мною мнѣній. Всѣ три указанныя мною «въ пользу О. Н. Поповой» обстоятельства г. Спасовичъ принялъ во вниманіе и только призналъ ихъ не «смягчающими», а «вполнѣ извиняющими» (Поповъ, 73). Едва ли это можетъ назваться опроверженіемъ. Въ полномъ согласіи съ выраженными мною общими положеніями, г. Спасовичъ высказываетъ, однако, отличный отъ моего взглядъ на данный именно случай. Онъ пишетъ въ своемъ особомъ мнѣніи: «Литература, конечно, требуетъ, чтобы писатели были устойчивы въ своихъ убѣжденіяхъ, чтобы они ихъ не мѣняли неискренно изъ-за личныхъ видовъ, чтобы они не переходили изъ одного лагеря въ другой, прямо ему враждебный, но это начало относится къ главнымъ идейнымъ теченіямъ, непримиримымъ между собою, а не къ разновидностямъ одного и того же теченія, расходящимся не въ цѣляхъ, которыя, можетъ быть, одинаковы, а въ путяхъ для достиженія этихъ цѣлей» (Поповъ, 72—73). И далѣе г. Спасовичъ выражаетъ мнѣніе, что направленія старой и новой редакцій «Новаго Слова» представляютъ собою именно такія «разновидности» одного и того же теченія. Стало быть, если бы г-жа Попова продала «Новое Слово» хоть тому же, напримѣръ, г. Льдову, то и г. Спасовичъ нашелъ бы это дѣйствіе неправильнымъ (вопросъ о формальномъ правѣ издательницы распоряжаться своею собственностью стоитъ внѣ спора). Г-нъ Льдовъ, опираясь на мнѣніе г. Спасовича, воздавая хвалу его логичности и добросовѣстности, иронизируетъ по адресу другихъ «литераторовъ, участвовавшихъ въ разбирательствѣ дѣла», такъ: «По ихъ мнѣнію, издатель, не желающій подвергнуться осужденію въ трибуналѣ чести, не имѣетъ права отказаться отъ дальнѣйшаго веденія убыточнаго дѣла. Продать журналъ онъ можетъ только правовѣрному члену своего прихода, да и то собравъ тщательныя справки, нѣтъ ли какого-либо изъяна въ его profession de foi. Не мѣшаетъ въ такомъ случаѣ прибѣгнуть и къ авторитетной экспертизѣ. Союзъ, конечно, учредилъ бы и бюро для подобной экспертизы—если бы имѣлась какая-нибудь возможность найти хотя двухъ единомысленныхъ «высоко-даровитыхъ» и «глубоко-чтимыхъ» пу-

блицистовъ. Къ сожалѣнію, какъ разъ самые «именитые» изъ нихъ ни въ чемъ не сходятся другъ съ другомъ, — гдѣ одинъ говоритъ «да», другой говоритъ «нѣтъ» (Льдовъ, 43—44).

Г. Льдовъ ошибается. Оставляя въ сторонѣ вопросъ объ «именитости» того или другого изъ «литераторовъ, участвовавшихъ въ разбирательствѣ дѣла», всѣ они, насколько можно судить по брошюрѣ г. Попова, вполнѣ согласны относительно значенія того, что г. Льдовъ называетъ «приходами».

Разногласіе только въ подробностяхъ. Г. Спасовичъ считаетъ направленія старой и новой редакціи «Новаго Слова» лишь разновидностями одного и того же теченія, а, напримѣръ, сама г-жа Попова смотритъ на это дѣло иначе. Изъ приговора и изъ особаго мнѣнія г. Спасовича видно, что г-жа Попова, узнавъ о направленіи, которое долженъ принять журналъ въ рукахъ новой редакціи, «пришла въ смущеніе», «была встревожена» (Поповъ, 64, 73). Г. Поповъ, правда, протестуетъ противъ самой постановки вопроса о направленіи, но, во-первыхъ, и онъ опирается при этомъ на тотъ фактъ, что «редакція новаго состава до сихъ поръ не погрѣшила противъ интересовъ общественныхъ и не обнаружила ретроградности» (ib. 36); а во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ гораздо важнѣе мнѣніе самой г-жи Поповой: она была «смущена», «встревожена». И это совершенно понятно. Г-жа Попова не просто издательница, берущаяся за литературное предпріятіе съ цѣлью полученія дохода. Судъ, близко ознакомившійся съ дѣломъ, призналъ «безкорыстную затрату г-жею Поповой крупныхъ суммъ на изданіе журнала». Въ журналѣ она принимала участіе не только капиталомъ безъ всякаго разсчета на доходъ, но и какъ сотрудникъ, а отчасти, повидимому, и какъ редакторъ. И во всей брошюрѣ г. Попова нѣтъ слѣда какихъ бы то ни было идейныхъ разногласій г-жи Поповой со старой редакціей «Новаго Слова»: она одного съ ней «прихода», какъ сказалъ бы г. Льдовъ. Она даже крѣпче держалась этого «прихода», чѣмъ нѣкоторые члены редакціи и ближайшіе сотрудники стараго «Новаго Слова». Г. Поповъ сообщаетъ, что она была недовольна сотрудничествомъ г. Абрамова за неразборчивость, съ которою тотъ участвуетъ въ органахъ различныхъ направленій, и негодовала на г. Оболенскаго за его участіе въ «Недѣлѣ»; негодовала, наконецъ, и на г. Кривенко за его равнодушное отношеніе къ этимъ «приходскимъ» непорядкамъ. Изъ совокупности этихъ данныхъ слѣдуетъ, что г-жа Попова никакимъ образомъ не можетъ стоять на точкѣ зрѣнія своего пламеннаго защитника, г. Льдова.

Въ вопросѣ о направленіи, поскольку онъ могъ интересовать судъ по дѣлу г-жи Поповой, «прогрессивность» и «ретроградность»,

мнѣ кажется, совсѣмъ не при чемъ. Я, по крайней мѣрѣ, смотрѣлъ на дѣло гораздо проще, когда излагалъ свое мнѣніе суду. Мнѣніе это напечатано г. Поповымъ, и здѣсь я приведу только ту иллюстрацію, которую предложилъ на усмотрѣніе суда. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ объявленіяхъ «Новаго Слова» значилось въ числѣ постоянныхъ сотрудниковъ почтенное имя г. Николая—она (я взялъ для иллюстраціи это имя, какъ незамѣшанное въ судѣ, г. Николай—онъ не подписывалъ коллективнаго заявленія сотрудниковъ о выходѣ изъ журнала и держался, повидимому, совершенно въ сторонѣ отъ редакціонныхъ недоразумѣній), и читатель, подписывавшійся на «Новое Слово», разсчитывалъ получить статьи, между прочимъ, и г. Николая — она и людей, близкихъ ему по образу мыслей. Но вотъ, въ одинъ прекрасный день читатель получаетъ книжку «Новаго Слова», въ которой не только нѣтъ того, что ему было обѣщано, но есть, напротивъ, въ высшей степени рѣзкое осужденіе взглядовъ г. Николая—она, равно какъ и прочихъ сотрудниковъ. Въ «прогрессивную» ли или «ретроградную» сторону подался при этомъ журналъ, это безразлично для тѣхъ двухъ послѣдствій, которыя несомнѣнно вытекаютъ изъ такой рѣзкой перемѣны. «Читатель-другъ» прямо обманутъ и оскорбленъ въ своихъ идейныхъ симпатіяхъ; читатель безразличный еще болѣе утверждается въ своемъ безучастіи къ различнымъ теченіямъ общественной мысли. И г-жа Попова, такъ сливавшаяся душою со старой редакціей, такъ ревниво оберегавшая этотъ «приходъ» и ради него именно предпринявшая журналъ, меньше, чѣмъ кто-нибудь, могла бы протестовать противъ выраженнаго мною на судѣ мнѣнія.

Но, признавъ продажу журнала при данныхъ условіяхъ поступкомъ неправильнымъ, я счелъ долгомъ указать на обстоятельства, говорящія въ пользу г-жи Поповой. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ возвращеніе денегъ подписчикамъ. Если этимъ не устранялся грѣхъ относительно читателей безразличныхъ, то по крайней мѣрѣ «читатели-друзья» старой редакціи получили нѣкоторое удовлетвореніе. Затѣмъ г-жа Попова могла бы сослаться на пословицу: «съ волками жить—по волчьи выть». У насъ нынѣ до такой степени распространена между господами писателями прискорбная неряшливость въ выборѣ органовъ печати для сотрудничества, что и г-жа Попова—все-таки не писатель по профессіи—могла ею заразиться. Третье соображеніе въ пользу г-жи Поповой состояло въ томъ, что она, можетъ быть, не знала, въ чьи именно руки переходитъ журналъ. Я выразилъ на судѣ эту мысль въ видѣ предположенія, а судъ, имѣвшій возможность ближе узнать всѣ подробности дѣла, пришелъ на этотъ счетъ къ болѣе рѣшительному заключенію. Г. Спасовичъ въ своемъ особомъ мнѣніи говоритъ: «совсѣмъ не знала»

(Поповъ, 73), а гг. Манасеинъ и Фанъ-деръ-Флитъ говорятъ о «недостаточномъ знакомствѣ г-жи Поповой съ тѣмъ, какого направленія будетъ держаться новая редакція «Новаго Слова», и могутъ ли принять участіе въ журналѣ прежніе сотрудники» (75).

Итакъ, моя «экспертиза», во-первыхъ, вовсе не опровергается по существу особымъ мнѣніемъ г. Спасовича, а во-вторыхъ, находится въ полномъ согласіи съ образомъ мыслей самой г-жи Поповой, поскольку онъ выясняется брошюрой г. Попова.

Въ брошюрѣ г. Попова есть два загадочныя мѣста. На стр. 18 читаемъ: «Довѣрительница моя, «страстно, горячо любя дѣло, увлеклась только моральнымъ къ нему отношеніемъ» и, не имѣя ни съ чьей стороны предупрежденія, что лицамъ, занимающимъ «двойное положеніе», слѣдовало бы остерегаться вступать въ Союзъ русскихъ писателей, чтобы не создавать ни для себя, ни для кого другого «психологической путаницы»,—отзывчиво отнеслась къ злобѣ дня и вступила въ Союзъ въ числѣ учредителей».

Поставленныя здѣсь г. Поповымъ въ ковычки слова заимствованы имъ изъ письма г. Оболенскаго къ г-жѣ Поповой. До письма этого намъ нѣтъ дѣла, какъ и вообще до подробностей тѣхъ недоразумѣній, которыя существовали между г-жею Поповой и сотрудниками,—мы имѣемъ для этого слишкомъ недостаточный и односторонній матеріалъ. А то, что намъ въ данномъ случаѣ нужно, объясняется слѣдующими словами г. Попова. «Всѣ шансы на проявленія всякаго неудовольствія были не на сторонѣ моей довѣрительницы. Вступая въ Союзъ русскихъ писателей, она знала, что двойственность ея положенія (положенія издательницы-писательницы), отмѣченная г. Оболенскимъ, можетъ смутить и другихъ членовъ Союза, не допускающихъ предвзято никакихъ соглашеній между интересами издателя и писателя» (27).

Сопоставляя эти двѣ цитаты, читатель долженъ придти въ нѣкоторое недоумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ,--знала г-жа Попова или не знала, что, въ качествѣ издательницы-писательницы, ее ждетъ въ Союзѣ какое-то особенное, и именно невыгодное положеніе? По второй цитатѣ выходитъ, что «знала», а по первой—что «не имѣла ни съ чьей стороны предупрежденія» на этотъ счетъ. Но загадочность обѣихъ цитатъ этимъ не исчерпывается. При чемъ тутъ вообще Союзъ писателей? За мнѣнія г. Оболенскаго, лично имъ выраженныя, правильны они или неправильны, Союзъ вовсе не отвѣтственъ. Далѣе, въ составѣ Союза есть не мало людей, занимающихъ «двойственное положеніе» издателей и писателей, такъ что и съ этой стороны по малой мѣрѣ странно противопоставлять г-жу Попову

Союзу или Союзъ г-жѣ Поповой. Г-жа Попова была до своего выхода изъ Союза такимъ же его членомъ, какъ и гг. Нотовичъ, Суворинъ, Филипповъ, Гуревичъ, А. Острогорскій, кн. Ухтомскій и другіе издатели-писатели; какъ гг. Кривенко, Скабичевскій и прочіе сотрудники «Новаго Слова» старой редакціи, и какъ главные сотрудники «Новаго Слова» новой редакціи (гг. Поссе, Струве, Туганъ-Барановскій). Органъ Союза—судъ чести не имѣлъ никакихъ основаній предпочитать интересы однихъ членовъ Союза интересамъ другихъ. Судьи чести суть избранники общаго собранія, въ томъ числѣ и г-жи Поповой, и другихъ издателей-писателей, и представителей старой и новой редакціи «Новаго Слова». Конечно, и судъ чести, подобно всякому другому суду, можетъ впасть въ ошибку. Но даже и въ этомъ случаѣ Союзъ, какъ цѣлое, не подлежитъ никакимъ нареканіямъ. Помимо автономнаго положенія, занимаемаго судомъ чести въ Союзѣ, въ этомъ смыслѣ можно, пожалуй, признать даже счастливымъ обстоятельствомъ разногласіе судей въ дѣлѣ г-жи Поповой: вѣдь г. Спасовичъ есть такой же представитель Союза, какъ и гг. Манасеинъ и Фанъ-деръ-Флитъ. Такимъ образомъ, намеки гг. Попова на какое-то «предвзятое» отношеніе Союза къ дѣлу г-жи Поповой лишены самомалѣйшей тѣни основательности.

А слѣдомъ за г. Поповымъ идутъ г. Льдовъ и «Московскія Вѣдомости». Здѣсь я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе собственно отъ дѣла г-жи Поповой.

Въ № 313 «Московскихъ Вѣдомостей» напечатана слѣдующая замѣтка, подписанная Quidam:

«Юмористическое учрежденіе, именующее себя *Союзомъ русскихъ писателей*, занялось обсужденіемъ вопроса: слѣдуетъ или не слѣдуетъ намъ заключать съ Франціей литературную конвенцію. Какъ тема для болтовни, это подходящая тема. Отчего «союзникамъ» и не потолковать насчетъ конвенціи? Хотя большинство членовъ «Союза» принадлежитъ къ числу тѣхъ иксовъ и игрековъ, которые менѣе всего достойны названія писателей, хотя эти иксы и игреки на добрую половину являются счастливыми обладателями превосходныхъ, чисто еврейскихъ, фамилій, однако возможно, что и—

Кто нибудь проболтается
Добрымъ словцомъ.

«Короче говоря, противъ принципіальнаго обсужденія вопроса о конвенціи въ нѣдрахъ «Союза» возражать нѣтъ причины. Но «Союзъ» принципіальнымъ обсужденіемъ вопроса довольствоваться не хочетъ. Онъ заявляетъ съ полною откровенностью, что ему нужно во что бы то ни стало занять тутъ самую важную, первѣйшую позицію. Онъ уполномочиваетъ, кого слѣдуетъ, хлопотать, чтобы въ дѣлѣ заключенія и примѣненія конвенціи ему, Союзу, предоставили исключительныя права. Онъ будетъ посредникомъ, суперъ-арбитромъ, и ужъ не знаю кѣмъ и чѣмъ еще — въ сношеніяхъ русскихъ литераторовъ и издателей съ французскими и французскихъ съ русскими.

«Стремясь къ подобной узурпаціи, Союзъ, разумѣется, знаетъ, что дѣлаетъ. Хотя въ составъ его входитъ около трехсотъ человѣкъ, однако эта цифра далеко не представляетъ всей массы пишущихъ. Даже въ количественномъ отношеніи Союзъ не имѣетъ вида авторитетнаго учрежденія. Касательно качественнаго отношенія нѣтъ надобности и рѣчи поднимать. Заправилами Союза являются люди одной, рѣзко опредѣленной, литературной партіи. Какимъ же образомъ такой самозванный «Союзъ русскихъ писателей» можетъ претендовать на главенствующую роль въ дѣлѣ, обнимающемъ интересы дѣйствительно *всей* литературной братіи, безъ различія направленій? Мы находимся здѣсь предъ лицомъ не только крайне претенціознаго, но прямо-таки нахальнаго сборища. Это сборище, состоящее изъ либераловъ и радикаловъ, кричащихъ о свободѣ, независимости и прочихъ громкозвучащихъ для профановъ вещахъ, требуетъ для себя положенія безпримѣрнаго.

«Трудно сомнѣваться въ полномъ фіаско, которое неминуемо потерпитъ домогательство Союза. Однако, не характерны ли эти домогательства? Не показываютъ ли они, что наша «передовая» писательская группа все больше и больше распоясывается, становится все циничнѣе и циничнѣе въ своихъ требованіяхъ?

«Возмущаться распоясанностью нашихъ «прогрессистовъ» я отнюдь не намѣренъ, потому что слишкомъ хорошо ихъ знаю. Они дѣйствуютъ, если угодно, съ полною логичностью. Было время, когда имъ удавалось добиваться успѣха улещиваніемъ и умасливаніемъ Это время проходитъ. Значитъ, надо перемѣнить пріемъ и, вмѣсто улещиванія, брать напроломъ. Авось удастся.

«Дѣйствительно, чѣмъ рискуетъ «Союзъ» въ томъ случаѣ, если его домогательства провалятся? Да рѣшительно ничѣмъ! Наоборотъ, если домогательства увѣнчаются успѣхомъ, то выигрышъ останется крупный. Вѣдь посредничество «Союза» въ сношеніяхъ съ французскими авторами и книгоиздателями поставитъ въ зависимость отъ него рѣшительно весь нашъ прикосновенный къ литературѣ міръ. А Союзъ въ этомъ выгодномъ положеніи будетъ брать взятки... борзыми щенками. Драматурги даютъ уже эти взятки (припомните дѣло г. Щеглова), будутъ давать и романисты, и поэты, и ученые.

«Махинація тонкая и хорошо разсчитанная. Въ изобрѣтательности гг. «прогрессистамъ» отказать нельзя. Одно ихъ только, надо полагать, смущаетъ: *не разрѣшенное* еще дѣло г-жи Поповой. Ахъ, сколько оно имъ уже доставило непріятностей! Ахъ, сколько оно доставитъ еще въ будущемъ!!».

Непристойность этой замѣтки, нисколько, впрочемъ, не удивительная на столбцахъ «Московскихъ Вѣдомостей», не требуетъ доказательствъ. Но приходится указать на ея лживость. Лживо утверждаетъ мало почтенная московская газета, будто Союзъ «заявляетъ, что ему нужно, во что бы то ни стало, занять тутъ самую важную, первѣйшую позицію», будто «онъ уполномочиваетъ, кого слѣдуетъ, хлопотать, чтобы въ дѣлѣ заключенія и примѣненія конвенціи ему, Союзу, предоставили исключительныя права»; будто онъ хочетъ быть «посредникомъ, суперъ-арбитромъ въ сношеніяхъ русскихъ литераторовъ и издателей съ французскими и французскихъ съ русскими». Все это—неправда, и когда одна петербургская газета

назвала нелѣпостью и вздоромъ сообщеніе г. Quidam, онъ въ № 319 «Московскихъ Вѣдомостей» побѣдоносно сослался на репортерскій отчетъ «Новаго Времени» объ одномъ изъ общихъ собраній Союза писателей. Свою первую замѣтку г. Quidam называетъ при этомъ «замѣткой о новыхъ притязаніяхъ Союза писателей, требовавшаго, чтобы ему, въ случаѣ заключенія конвенціи съ Франціей, были предоставлены права *единственнаго посредника* (курсивъ г-на Quidam) въ сношеніяхъ между иностранными и русскими писателями». А изъ отчета «Новаго Времени» г. Quidam приводимъ слѣдующія слова: «При этомъ намѣчались, какъ наиболѣе главные, пункты, чтобы коммиссія въ случаѣ принятія конвенціи у насъ, въ Россіи, выработала *положеніе о томъ, что посредникомъ между иностранными и русскими писателями въ данномъ отношеніи является единственный въ Россіи «Союзъ писателей»*.

Послѣдній курсивъ тоже принадлежитъ г-ну Quidam, и если читатель потрудится сравнить два его курсива, то, безъ сомнѣнія, полюбуется фокусническою ловкостью, съ которою на его глазахъ «единственный въ Россіи Союзъ писателей» превращается въ «единственнаго посредника между иностранными и русскими писателями». Союзъ писателей пока, дѣйствительно, единственный въ Россіи, но это отнюдь не значитъ, что Союзъ домогается положенія единственнаго посредника. И если г. Quidam приставляетъ прилагательное «единственный» совсѣмъ не къ тому существительному, къ которому оно относится въ отчетѣ «Новаго Времени», то это свидѣтельствуетъ либо о слабости его собственнаго пониманія, либо о злонамѣренномъ разсчетѣ на слабость пониманія читателей. Предоставляю ему выбрать любое изъ этихъ объясненій. Но и помимо передержки съ прилагательнымъ «единственный», г. Quidam совершенно напрасно ссылается на сообщеніе «Новаго Времени», которое, дескать, «не вызвало со стороны комитета Союза никакихъ поправокъ или оговорокъ». Комитету и нечего было оговаривать или поправлять; изъ сообщенія «Новаго Времени» отнюдь не слѣдуютъ тѣ выводы, которые дѣлаетъ г. Quidam. Вопросомъ о конвенціи занимались два общихъ собранія членовъ Союза, а въ третьемъ (28 ноября) была избрана спеціальная коммиссія для разработки вопроса. Заключеній своихъ коммиссія еще не представила Союзу, который, слѣдовательно, никакихъ постановленій и не могъ еще сдѣлать. Въ общихъ же собраніяхъ говорилось разное, и за конвенцію и противъ нея. Говорилось, между прочимъ, и о возможности для Союза стать посредникомъ между русскими и иностранными писателями. Я лично, такой мысли не выражавшій, не вижу въ ней, однако, ничего преступнаго или «безпримѣрнаго», «нахальнаго» и даже думаю, что по отношенію, по крайней мѣрѣ, къ

своимъ членамъ Союзъ обязанъ будетъ взять на себя роль посредника, въ случаѣ заключенія конвенціи. Какъ бы то ни было, но Союзъ отвѣтственъ только за постановленія общаго собранія, а отдѣльныя мнѣнія, выражаемыя по тому или другому поводу членами Союза, на ихъ отвѣтственности и лежатъ. А такъ какъ до сихъ поръ по вопросу о конвенціи происходилъ лишь обмѣнъ мнѣній между членами Союза, то всѣ разсужденія г. Quidam о домогательствахъ Союза суть поистинѣ вздоръ и нелѣпость.

Интересно, что и вторая замѣтка г. Quidam оканчивается напоминаніемъ о дѣлѣ г-жи Поповой. На этотъ разъ г. Quidam киваетъ въ сторону «Сына Отечества», въ числѣ сотрудниковъ котораго есть нѣсколько лицъ изъ бывшей редакціи «Новаго Слова», призвавшихъ г-жу Попову къ суду чести. Это еще понятно, но когда гг. Quidam и Льдовъ дѣлаютъ изъ г-жи Поповой какого-то козыря, которымъ побиваютъ Союзъ, то приходится только руками разводить. Г. Quidam называетъ Союзъ «сборищемъ, состоящимъ изъ либераловъ и радикаловъ, кричащихъ о свободѣ, независимости и прочихъ громкозвучащихъ для профановъ вещахъ». Допустимъ, что это опредѣленіе, своею нескладностью свидѣтельствующее о чрезвычайномъ волненіи чувствъ автора,—совершенно вѣрно. Но, вѣдь, г-жа Попова была однимъ изъ членовъ-учредителей Союза, слѣдовательно, тоже «кричала о громкозвучащихъ вещахъ». Жаловались на нее тоже кричащіе о громкозвучащихъ вещахъ, хотя она передала журналъ въ руки тоже членовъ Союза и, слѣдовательно, опять-таки кричащихъ о громкозвучащихъ вещахъ. Очевидно, что это умноженіе всѣхъ трехъ элементовъ задачи на равную величину криковъ о громкозвучащихъ вещахъ ничего объяснить не можетъ, а потому надо, казалось бы, оставить «громкозвучащія вещи» совсѣмъ въ сторонѣ. Однако, «Московскія Вѣдомости» усиленно напираютъ на эту сторону, да и г. Льдовъ энергически громитъ «гнилостное разложеніе» въ средѣ «либеральной», «передовой», «наиболѣе вліятельной» журналистики. Пусть такъ, но Союзъ — опять-таки тутъ не при чемъ.

До сихъ поръ я не упоминалъ еще объ одномъ органѣ Союза—комитетѣ. Быть можетъ, онъ велъ себя въ этомъ дѣлѣ какъ-нибудь не корректно. На это въ брошюрѣ г. Льдова есть довольно-таки не гонкій, но совершенно неосновательный намекъ. По окончаніи дѣла въ газетахъ появилось слѣдующее сообщеніе (г. Льдовъ приводитъ его изъ «Казанскаго Телеграфа»): «Судъ чести при Союзѣ писателей, подъ предсѣдательствомъ г. Спасовича, въ составѣ двухъ судей, разсматривалъ жалобу Скабичевскаго и Абрамова на бывшую издательницу «Новаго Слова» Попову, обвинявшуюся въ продажѣ ею изданія безъ окончательныхъ переговоровъ съ глав-

ными сотрудниками и безъ ихъ согласія. Двое судей признали Попову виновной, но заслуживающей снисхожденія. Предсѣдатель остался при особомъ мнѣніи». Г. Льдовъ недоволенъ редакціей этого сообщенія и мечетъ громы въ «неизвѣстнаго злоумышленника», пустившаго это сообщеніе въ оборотъ. Не будучи столь подозрителенъ или проницателенъ, какъ г. Льдовъ, я не думаю, чтобы тутъ былъ злой умыселъ, но, конечно, сообщеніе составлено дурно и двусмысленно: оно оставляетъ слишкомъ большой просторъ догадкамъ относительно характера особаго мнѣнія г. Спасовича,—можетъ быть, оно состояло въ отрицаніи смягчающихъ обстоятельствъ. Г. Льдовъ интересуется вопросомъ, откуда же взялось это двусмысленное сообщеніе, и хотя принужденъ остановиться на «неизвѣстныхъ злоумышленникахъ», но иронизируетъ при этомъ такъ: «появилось сообщеніе очевидно само собою, такъ сказать, безлично, по волѣ стихій, безъ всякаго участія чьей-либо преднамѣренной руки... а резолюція все-таки перекочевываетъ изъ архивовъ Союза на столбцы всероссійской прессы» (62—63). Спрашивается, почему г. Льдовъ думаетъ, что резолюція суда перешла на столбцы всероссійской прессы «изъ архивовъ Союза». Резолюція была сообщена обѣимъ судившимся сторонамъ, у сторонъ есть, конечно, знакомые, интересующіеся исходомъ дѣла, у этихъ знакомыхъ еще знакомые, а затѣмъ слѣдуетъ обыкновенная механика распространенія слуховъ, попадающихъ и въ печать. § 28 устава Союза писателей гласитъ: «Если примиреніе сторонъ не состоялось, судъ чести постановляетъ рѣшеніе, которое по желанію одной изъ сторонъ или обѣихъ можетъ быть опубликовано черезъ комитетъ, буде этотъ послѣдній не найдетъ къ тому препятствій». Ни одна сторона къ комитету не обращалась, и онъ совершенно одинаково отнесся къ обѣимъ, помимо него появившимся публикаціямъ,—«неизвѣстнаго злоумышленника» и г. Попова. О первомъ онъ не имѣлъ никакого сужденія, не имѣлъ бы его и о второмъ, если бы не вышеупомянутое ходатайство гг. Скабичевскаго и Оболенскаго. Ходатайство это, какъ уже сказано, комитетъ отклонилъ, равно какъ и вообще отказался отъ выраженія какого бы то ни было мнѣнія о брошюрѣ г. Попова, такъ какъ подробности дѣла извѣстны лишь суду. Правда, комитетъ довелъ до свѣдѣнія общаго собранія, что признаетъ «неправильнымъ поступкомъ» опубликованіе г-жею Поповой (въ лицѣ ея довѣреннаго) рѣшенія суда помимо комитета, а «неизвѣстному злоумышленнику» никакого порицанія не выразилъ, но вѣдь этотъ неизвѣстный злоумышленникъ неизвѣстенъ даже проницательному г. Льдову, и комитетъ рисковалъ получить отъ него совершенно справедливый отвѣтъ: вашъ 28 параграфъ обязателенъ для г-жи Поповой, какъ члена Союза,

но вовсе не обязателенъ для меня, неизвѣстнаго злоумышленника, для котораго, подобно гг. Льдову, Quidam и проч., ваши законы не писаны.

Г. Quidam пугаетъ Союзъ «*неразрѣшеннымъ*» дѣломъ г-жи Поповой. Нѣтъ, это дѣло разрѣшено, оно никакому перерѣшенію не подлежитъ и никакихъ «непріятностей» Союзу не принесетъ. Пусть даже бывшіе сотрудники «Новаго Слова» вполнѣ заслуживаютъ того освѣщенія, которое бросаетъ на нихъ брошюра г. Попова (я вовсе не выступаю ихъ адвокатомъ), это не имѣетъ никакого отношенія къ Союзу писателей. И конечно, г. Поповъ въ принципѣ совершенно правъ, говоря, что, «если бы даже престижъ нѣкоторыхъ членовъ Союза русскихъ писателей и могъ пострадать, то кто же рѣшился бы этихъ «нѣкоторыхъ» отождествлять со всѣми русскими писателями» (стр. 2). Правда, г. Quidam имѣетъ въ виду не всѣхъ русскихъ писателей,—въ высшемъ благородствѣ, напримѣръ, г. Льдова онъ также увѣренъ, какъ г. Льдовъ увѣренъ въ высшемъ благородствѣ г. Quidam'а—а только скопище «кричащихъ о громкозвучащихъ вещахъ»; ну, а этотъ народъ стоитъ внѣ закона, съ ними церемониться нечего. И вы понимаете, что дѣло г-жи Поповой есть для г. Quidam'а именно только козырь, которымъ онъ думаетъ побить «кричащихъ о громкозвучащихъ», будто бы овладѣвшихъ Союзомъ. И такъ какъ ему дѣла нѣтъ ни до здраваго смысла, ни до истины, ни даже до вѣрной передачи прилагательнаго «единственный», то, надо думать, онъ еще много разъ осчастливитъ г-жу Попову своею защитой.

Не устанетъ и г. Льдовъ, какъ онъ уже и теперь сообщаетъ: насъ ждетъ еще, по крайней мѣрѣ, одна его брошюра, посвященная все тому же дѣлу г-жи Поповой. Но г. Льдовъ, даже превосходя г. Quidam'а пламенною энергіей своего краснорѣчія, вмѣстѣ съ тѣмъ осторожнѣе его въ одномъ отношеніи. Хотя и онъ говоритъ о виновности Союза и тѣхъ, которые «кричатъ о громкозвучащихъ вещахъ», но въ выраженіяхъ не столь опредѣленныхъ. Онъ не только laisse quelque chose à deviner, но, повидимому, и самъ еще не докопался до корня зла. Онъ говоритъ о какой-то «указкѣ властнаго эксперта», о какой-то «темной, лгущей силѣ, препятствующей выясненію правды», о какомъ-то «властномъ перстѣ, дерзко пригрозившемъ органамъ русской печати», словомъ, о какомъ-то «непостижномъ уму видѣньи», связанномъ съ Союзомъ и «кричащими», но не тождественномъ съ ними. Борьба съ этимъ видѣніемъ и составитъ содержаніе слѣдующей брошюры г. Льдова. Боюсь только, что къ тому времени дѣло г-жи Поповой до такой степени всѣмъ надоѣстъ, что и новый подвигъ г. Льдова не принесетъ ему лавровъ.

IX *).

Рождественская сказка г. Буквы.—Нѣчто о Некрасовѣ.—Запрещеніе „Новаго Слова“.

Съ нѣкотораго времени въ нашихъ газетахъ, сначала столичныхъ, а потомъ и провинціальныхъ, завелся обычай наполнять рождественскіе номера разсказами, очерками, большею частью, фантастическаго содержанія. Совершенно условный характеръ этого рода произведеній ставитъ ихъ совсѣмъ особо въ литературѣ, и было бы небезъинтересно пересмотрѣть большую или меньшую ихъ коллекцію. Это былъ бы, можетъ быть, недурной матеріалъ для провѣрки высказаннаго когда-то Тургеневымъ мнѣнія о бѣдности современной нашей беллетристики фантазіей, «выдумкой». Я не возьму, однако, на себя этой задачи и остановлю вниманіе читателя только на двухъ изъ прочитанныхъ мною разсказовъ, да и то по соображеніямъ совершенно постороннимъ и вовсе, такъ сказать, не рождественскимъ.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» напечатано нѣсколько рождественскихъ «сказокъ» г. Буквы. Одна изъ нихъ называется «Концертъ съ приключеніемъ».

Въ годовщину смерти извѣстнаго поэта устроенъ былъ на рождественскихъ праздникахъ благотворительный литературно-музыкальный вечеръ. Публика собралась «очень зажиточная и нарядная, въ значительной части свѣтская. У подъѣзда хлопали каретныя дверцы, на площадкахъ лѣстницы ливрейная челядь укладывала на скамейки и подоконники дорогія дамскія ротонды, военныя шинели съ серебристыми бобровыми воротниками и мужскія шубы изъ легкихъ и теплыхъ мѣховъ; у входа въ залу шелковыя платья волновались и шуршали, въ воздухѣ растворялся смѣшанный ароматъ разныхъ сильныхъ экзотическихъ духовъ. День былъ

---

*) Январь, 1898 г.

избранъ для вечера на праздникахъ глухой, безъ другихъ заманчивыхъ афишъ, и тутъ собралась публика итальянской оперы, французскихъ бенефисовъ, филантропическихъ увеселеній и цирковыхъ «субботъ», разбавленная нѣкоторымъ контингентомъ солиднаго чиновничества и франтоватой учащейся молодежи». На эстрадѣ стоялъ бюстъ покойнаго поэта, окруженный оранжерейными растеніями и его портретъ на мольбертѣ. Но публика, повидимому, мало обращала на нихъ вниманія. Вяло и холодно встрѣтила она и перваго лектора, читавшаго характеристику поэта; вяло и холодно прослушала нѣсколько музыкальныхъ номеровъ. Распорядитель вечера былъ въ отчаяніи. Наступила очередь чтеца—«довольно извѣстнаго поэта», который долженъ былъ читать стихи знаменитаго покойника.

Чтецъ поднялся на эстраду и сталъ у каѳедры, лицомъ къ портрету на мольбертѣ. Запоздавшая въ антрактѣ публика еще усаживалась. Кто-то хрипло кашлялъ. Нѣсколько участвующихъ хлопками проводили поэта на эстраду. Хлопки были дружескіе, но вышли довольно жалкимъ нарушеніемъ холодной тишины, водворившейся въ залѣ. Поэтъ, чувствуя легкое стѣсненіе въ горлѣ, откашлялся. Сердце билось у него отъ волненія торопливыми, дробными сокращеніями и учащало дыханіе. Чтецъ началъ:

Умру я скоро. Жалкое наслѣдство,
О, родина, оставлю я тебѣ.
Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство
И молодость въ мучительной борьбѣ.

. . . . . .

Декламаторъ читалъ съ памяти. Онъ слушалъ упавшія, неровныя ноты своего голоса и смотрѣлъ въ упоръ на портретъ. И вдругъ на ходу чтенія, еще задолго до конца, поэтъ съ испугомъ замѣтилъ, что съ нимъ происходитъ нѣчто необыкновенное. Уста его механически воспроизводили давно знакомые стихи, но мысль и вниманіе поэта приковалъ къ себѣ портретъ. Отъ него исходила струя гипнотизирующаго воздѣйствія. Зала какъ-то и куда-то пропала, портретъ ожилъ. Онъ смотрѣлъ совсѣмъ матеріальнымъ, суровымъ, упрекающимъ взоромъ, лицо покойнаго стало рельефнымъ, отодвинулось отъ портретнаго фона, выступило изъ рамы, и чтецу показалось, что онъ слышитъ, прямо надъ своимъ ухомъ, чьи-то слабыя, очень слабыя, точно изъ-подъ водяной глуби выходящія, но раздѣльныя слова:

— Къ чему вы меня тревожите и передъ кѣмъ, для чего мои признанія бередите?

У декламатора помутилось въ глазахъ. Память ему измѣнила, горло сжалось судорогою. Поэтъ вдругъ остановился, внезапно оборвалъ неконченный стихъ, повторилъ его растеряннымъ, ученическимъ тономъ и умолкъ. Его кто-то дернулъ сзади за фрачную полу... Онъ поднялъ похолодѣвшую руку къ горячему лбу, съ нажимомъ провелъ ею отъ виска до виска, пробормоталъ какія-то несвязныя, пропавшія для слушателей слова и, съ недоумѣньемъ и съ испугомъ увидѣвъ передъ собою сплошную массу невѣдомыхъ лицъ, на которыхъ застыла ироническая улыбка, вызванная курьезнымъ приключеніемъ, пошатнулся назадъ и снопомъ упалъ въ обморокъ.

Это было напечатано въ Москвѣ 25 декабря и могло служить дурнымъ предзнаменованіемъ для литературно-музыкальнаго вечера въ память Тургенева и Некрасова, происходившаго въ Петербургѣ 27 декабря, въ двадцатую годовщину смерти Некрасова. По крайней мѣрѣ, я, признаюсь, шелъ на вечеръ, подъ впечатлѣніемъ «рождественской сказки» г. Буквы, въ очень пессимистическомъ настроеніи. Я хорошо помню дни 28 и 29 декабря 1877 г., когда квартира Некрасова осаждалась людьми всякаго званія и возраста; помню и холодный, ясный день 30 декабря, день похоронъ поэта,—многочисленные вѣнки передъ гробомъ, безчисленную толпу за гробомъ, «надгробныя рыданія»... Помню неловкую сцену на могилѣ, когда Достоевскій, воздавая хвалу покойнику, поставилъ его непосредственно послѣ Пушкина и Лермонтова, а изъ толпы слушателей раздались крики: «нѣтъ, выше!»... Но вѣдь это двадцать лѣтъ тому было, а позорно коротка наша память. И если двадцать лѣтъ тому назадъ пылкіе люди могли, въ моментъ энтузіазма скорби, ставить Некрасова, какъ поэта, выше Пушкина и Лермонтова; если такая величина, какъ Достоевскій, воздавалъ хвалу не только духу поэзіи Некрасова, а и «безсмертной красотѣ» нѣкоторыхъ его произведеній,—то нынѣ такое ничтожество, какъ г. Льдовъ, съ спокойною увѣренностью пишетъ: «Каждое новое произведеніе Некрасова заучивалось наизусть молодежью, съ увлеченіемъ декламировалось въ интеллигентныхъ кругахъ и съ подмостковъ. Обаяніе его имени и дарованія водворилось столь властно, что казалось почти кощунствомъ и безуміемъ оспаривать поэтическія достоинства модныхъ стихотвореній. Но прошло всего двадцать лѣтъ и отъ преклоненія этого почти не осталось слѣда»... Что, если правъ поэтъ «Сѣвернаго Вѣстника», и на литературномъ вечерѣ въ память Некрасова произойдетъ нѣчто подобное тому, что разсказано въ рождественской сказкѣ г. Буквы? Что, если участники вечера услышатъ замогильный голосъ поэта: «Къ чему вы меня тревожите и передъ кѣмъ, для чего мои признанія бередите?»

И что мудренаго? Въ двадцать лѣтъ много воды утекло, «волна на волну набѣгала, волна погоняла волну»; много новыхъ звѣздъ загоралось на небѣ русской поэзіи, — загоралось и тухло; и какія это были по большей части гордыя, самодовольныя звѣзды. Онѣ называли себя «пѣвцами небесъ», а насъ «чернью скучной и презрѣнной» и утверждали, что «поцѣлуи поэта священны»; онѣ «любили себя, какъ Бога», и видѣли въ своихъ произведеніяхъ «внушенія непостижимаго мірового начала»; онѣ «завѣщали свои книги вѣчности и искусству»... Что мудренаго, если забыта «блѣдная, въ крови» «муза мести и печали», и рыдающіе звуки какого-нибудь «Рыцаря на часъ» не вызовутъ отзвука въ сердцахъ слушателей...

Къ счастью, чортъ оказался не такъ страшенъ, какъ его намалевалъ г. Льдовъ, и горькая сказка г. Буквы не осуществилась въ дѣйствительности. Я пропустилъ первую половину вечера, посвященную Тургеневу, да и не особенно интересовался ею: горячіе споры о Тургеневѣ, о его достоинствахъ и недостаткахъ, значеніи и ошибкахъ, когда-то происходившіе на страницахъ нашей журналистики, давно прекратились. Тургеневъ есть общепризнанный великій художникъ, краса и гордость русской литературы. Не то Некрасовъ: вотъ г. Льдовъ и посейчасъ горитъ желаніемъ нанести оскорбленіе тѣни поэта, какъ поэта, а нѣсколько лѣтъ тому назадъ «Московскія Вѣдомости» произвели цѣлое слѣдствіе надъ нимъ, какъ человѣкомъ, при чемъ къ дѣйствительнымъ его грѣхамъ прибавили цѣлую кучу злобной клеветы и вздорныхъ сплетенъ. И, принимая въ соображеніе все это въ совокупности,—и нашу позорно короткую память, и волны, набѣгающія на волны, и самодовольную гордость новыхъ звѣздъ, и злобу клеветы, и сплетни,—я былъ глубоко растроганъ видомъ зала кредитнаго общества въ двадцатую годовщину смерти Некрасова. По словамъ одной газеты, нѣкоторые номера вызвали «такую бурю среди публики, что стѣны кредитнаго общества дрожали, а стекла дребезжали». Это, конечно, гипербола, но если въ рождественской сказкѣ г. Буквы распорядитель концерта жалуется, что «давно не видалъ такой ледяной залы», то распорядитель вечера 27-го декабря навѣрное не часто видѣлъ «такую горячую залу»: громы аплодисментовъ, сіяющія восторгомъ лица, «внезапно хлынувшія слезы»... И если бы кому-нибудь почудился въ теченіе вечера замогильный голосъ поэта, такъ навѣрное не то сказалъ бы онъ, что въ сказкѣ г. Буквы, а послѣднее (буквально послѣднее) обращеніе къ Музѣ:

Пускай я много виноватъ,
Пусть увеличитъ во сто кратъ
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиденъ жребій нашъ,
Не наругаются надъ нами;
Межъ мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
. . . . . .

Среди газетныхъ замѣтокъ, посвященныхъ памяти Некрасова по случаю двадцатой годовщины смерти Некрасова, я нашелъ двѣ, на которыхъ стоитъ остановиться.

Въ «Новомъ Времени» (24 дек.) напечатана статья г. А. Голубева «Памяти Николая Алексѣевича Некрасова». Авторъ разсказываетъ слѣдующее. Вскорѣ послѣ смерти Некрасова, онъ, г. Го-

лубевъ, издалъ посвященную памяти поэта книжку, весь чистый доходъ съ которой былъ назначенъ на лучшее устройство школы, находящейся на мѣстѣ родины поэта и пользовавшейся его покровительствомъ. Вырученныя деньги предполагалось передать сестрѣ Некрасова, но она въ 1882 г. умерла, и г. Голубеву пришлось самому познакомиться съ упомянутой школой. Въ исторіи этой школы есть одинъ неясный для меня эпизодъ, который я поэтому передамъ подлинными словами г. Голубева.

«Родовая усадьба Некрасовыхъ расположена верстахъ въ 20-ти отъ Ярославля, на старомъ костромскомъ трактѣ, при деревнѣ Грѣшнево, крестьяне которой были крѣпостными Некрасовыхъ. Верстахъ въ 4-хъ отъ Грѣшнева лежитъ погостъ Абакумцево, гдѣ и находится приходская церковь. Въ Абакумцевѣ былъ священникомъ о. Іоаннъ Григорьевичъ Зыковъ, рано овдовѣвшій. Онъ часто бывалъ въ помѣстьи Некрасовыхъ, и Н. А. Некрасовъ не разъ предлагалъ ему завести школу. Она была устроена въ 1859 году, при чемъ однимъ изъ крестьянъ было безплатно дано помѣщеніе для школы, а Н. А. Некрасовъ изъ своихъ средствъ давалъ отъ 50 до 70 руб. въ годъ. Учительствовалъ мѣстный дьячекъ, которому платилось по 5 руб. въ мѣсяцъ; въ школу ходило до 130 учениковъ, и это обѣщало прочное развитіе новому дѣлу. Но сосѣдняя помѣщица Набокова была вовсе не изъ числа лицъ, сочувствовавшихъ народившейся школѣ, и принялась хлопотать, чтобы «попа, морочащаго ребятъ школою, изгнать, а мужика, дающаго помѣщеніе школѣ, выпороть». Пришлось школу перевести, ибо посланный Набоковою бурмистръ выбросилъ изъ помѣщенія школы всю мебель. Ее устроили въ домѣ дьячка, гдѣ она и существовала четыре года. О. І. Зыковъ искалъ у Н. А. Некрасова покровительства и заступы противъ притѣсненій школы Набоковою. Вотъ что отвѣчалъ ему Н. А. 9-го января 1861 г.:

«Почтеннѣйшій отецъ Іоаннъ! По случаю нездоровья и по множеству собственныхъ дѣлъ, скопившихся къ новому году, я не успѣлъ до сей поры ни написать г-жѣ Набоковой, ни послать просьбу къ директору ярославскихъ училищъ. Все это на-дняхъ сдѣлаю, а пока не безпокойтесь. Если вамъ нужны деньги — увѣдомьте: тотчасъ вышлю. Душевно преданный Н. Некрасовъ».

Г. Голубевъ приводитъ еще два письма Некрасова къ священнику, изъ которыхъ видно, что покойный поэтъ, разными способами помогавшій школѣ, обращался, между прочимъ, и къ директору ярославскихъ училищъ, но о г-жѣ Набоковой болѣе не упоминается. Какое право имѣла эта «сосѣдняя помѣщица» не только «хлопотать» о томъ, чтобы «попа изгнали», а «мужика выпороли», но и посылать своего бурмистра для разгрома школы,—не-

понятно. Дальнѣйшая исторія школы такова: въ 1872 г. Некрасовъ принялъ званіе попечителя школы, и въ томъ же году она водворилась въ новомъ собственномъ помѣщеніи; въ 1873 г. земство приняло на себя расходы на учебныя пособія и жалованье учителю и законоучителю. Со смертью Некрасова школѣ покровительствовала его сестра, умершая, какъ сказано, въ 1882 г. Въ 1884 г. посѣтилъ школу г. Голубевъ и, познакомившись съ о. Іоанномъ Зыковымъ, направилъ вырученныя отъ продажи изданной имъ книжки деньги «въ полное распоряженіе этого замѣчательнаго и симпатичнаго пастыря, который съ горячею заботливостью и вниманіемъ относился къ сельской школѣ до конца дней своей жизни». Онъ умеръ въ 1892 г. При жизни о. Іоаннъ высказывалъ мечту о пріобрѣтеніи всего имѣнія Некрасовыхъ для образцовой народной школы. Онъ даже дѣлалъ попытки вести объ этомъ переговоры съ наслѣдниками, но не хватило средствъ. Между тѣмъ въ 1886 году имѣніе было пріобрѣтено ростовскимъ крестьяниномъ Титовымъ. который вблизи бывшей барской усадьбы, на самой трактовой дорогѣ, выстроилъ двухъ-этажный домъ съ кабакомъ и трактиромъ, назвавъ свое «заведеніе» «Раздольемъ». Появленіе титовскаго заведенія на мѣстѣ родины поэта возмущало о. Іоанна, но онъ все еще продолжалъ надѣяться, что въ Грѣшнѣвѣ когда-нибудь будетъ устроено что-либо для истинной народной пользы, и въ ноябрѣ 1888 года онъ писалъ г. Голубеву, что «Раздолье» недолговѣчно, такъ какъ съ открытіемъ движенія по новой желѣзнодорожной линіи Ярославль-Кострома старый костромской трактъ закрытъ, и движенія по немъ не стало, а, слѣдовательно, и доходность «Раздолья». сомнительна.

Въ 1896 г. г. Голубевъ еще разъ побывалъ въ Абакумцевѣ и убѣдился, что со смертью о. Іоанна школа осиротѣла. «Пока—пишетъ онъ—кое-что исправлено и по желанію учительницы посланы нѣкоторыя пособія и книги, но какъ все это далеко отъ того, чтобы на мѣстѣ родины поэта возникла, наконецъ, дѣйствительно образцовая народная школа, съ читальнею, даже, быть можетъ, съ ремесленнымъ отдѣленіемъ, со школьнымъ огородомъ и чтобы школа эта называлась «Некрасовскою»!

Въ заключеніе г. Голубевъ выражаетъ надежду, что теперь, въ двадцатую годовщину смерти Некрасова, его замѣтка вызоветъ «серьезный починъ въ обществѣ для почтенія памяти Н. А. Некрасова созданіемъ Некрасовской школы на мѣстѣ родины поэта». Пріемъ пожертвованій могъ бы, по предложенію г. Голубева, взять на себя Литературный фондъ.

Если замѣтка г. Голубева въ «Новомъ Времени» указываетъ одинъ изъ путей, которымъ мы могли бы достойно почтить память

Некрасова, то статья г. Якушкина въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» отмѣчаетъ, правда мимоходомъ, одну въ высшей степени любопытную черту нравственной физіономіи покойнаго поэта. Статья эта представляетъ собою краткій біографическій очеркъ и бѣглую характеристику значенія Некрасова въ русской литературѣ, но въ ней есть одна высоко-интересная подробность. Г. Якушкинъ говоритъ:

«Совершенно не касаясь здѣсь личной характеристики Некрасова, я приведу однако еще одно *) письмо поэта къ П. А. Ефремову, писанное еще до его болѣзни и вскрывающее одну черту его характера, которая, если не ошибаюсь, совершенно не отмѣчена въ печати. «Милый Петръ Александровичъ, словно что-то дорогое, потерянное нашелъ я, поговоривъ съ вами и получивъ ваше письмо. Въ жизни многіе люди терпятъ отъ излишней болтливости, я же часто терпѣлъ отъ противоположнаго качества, и очень радъ и благодаренъ себѣ, что отступилъ на этотъ разъ отъ своей привычки молчать».

Нельзя не пожалѣть, что П. А. Ефремовъ, разрѣшившій г. Якушкину воспользоваться этимъ письмомъ, не нашелъ возможнымъ опубликовать и тѣ обстоятельства, при которыхъ оно было написано, и что вообще этотъ эпизодъ представленъ не во всѣхъ его подробностяхъ. Не указанъ даже годъ, къ которому относится письмо. Для выясненія образа Некрасова, котораго Достоевскій не даромъ назвалъ «загадочнымъ человѣкомъ», было бы въ высшей степени важно знать, почему въ данномъ случаѣ раскрылось это замкнутое сердце. Г. Якушкинъ не совсѣмъ правъ, говоря, что эта черта характера Некрасова совершенно не отмѣчена въ нашей печати. Достоевскій въ своей извѣстной статьѣ-некрологѣ, старательно вглядываясь во внутренній міръ Некрасова, писалъ, между прочимъ: «Мы знаемъ лишь стихи, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ его съ своимъ демономъ, борьбѣ несомнѣнно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я не говорю о добрыхъ дѣлахъ Некрасова: онъ объ нихъ не публиковалъ, но они несомнѣнно были, люди уже начинаютъ свидѣтельствовать объ гуманности, нѣжности этой «практичной души». — Насъ не «добрыя дѣла» Некрасова теперь занимаютъ, а та, гдѣ-то въ глубинѣ души таившаяся и прикрытая «привычкой молчать» «нѣжность», которая сквозитъ въ приведенномъ письмѣ къ П. А. Ефремову; и даже не самая эта нѣжность, а трудность, съ которою она, по признанію самого Некрасова, высказывалась. Достоевскій въ той же статьѣ разсказываетъ случай, когда, еще въ 1845 г., Некрасовъ разговорился съ

*) Первое письмо не привожу, какъ незначительное. *П. М.*

нимъ о своемъ дѣтствѣ: онъ говорилъ «со слезами» и «съ силой умиленія» вспоминалъ о своей матери, играющей такую выдающуюся роль въ его поэзіи. Но это было въ очень молодые годы, когда «привычка молчать», хотя, повидимому, уже и складывалась, но еще, можетъ быть, не успѣла окрѣпнуть. Позволю себѣ сослаться на свои личныя воспоминанія, напечатанныя въ книжкѣ «Литература и жизнь» (1892 г.). Тамъ разсказано нѣсколько случаевъ, когда желаніе высказаться боролось въ Некрасовѣ съ привычкой молчать, и я пытался дать объясненіе тѣмъ гнетущимъ результатамъ этой борьбы, которыхъ мнѣ довелось быть свидѣтелемъ. Но, во-первыхъ, то были случаи очень экстренные, а во-вторыхъ, результатами борьбы Некрасовъ не могъ быть доволенъ, не могъ сказать, какъ въ письмѣ къ П. А. Ефремову: «очень радъ и благодаренъ себѣ, что отступилъ на этотъ разъ отъ своей привычки молчать». Въ этихъ случаяхъ ему хотѣлось, но не удавалось высказаться, онъ не находилъ словъ для яснаго выраженія своихъ мыслей и чувствъ. Поэтому, если г. Якушкинъ не совсѣмъ правъ, говоря, что сквозящая въ письмѣ къ П. А. Ефремову черта характера Некрасова совершенно незатронута въ печати, то она во всякомъ случаѣ далеко не вполнѣ выяснена, и упомянутое письмо представляетъ особенный психологическій интересъ.

Откуда же эта привычка молчать? и почему съ такимъ трудомъ преодолѣвалъ ее Некрасовъ, жившій постоянно на людяхъ, вращавшійся въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ общества?

Нѣкоторый намекъ на отвѣтъ или нѣкоторую долю объясненія можно найти въ упомянутомъ разсказѣ Достоевскаго: «Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери; та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись *гдѣ нибудь украдкой, чтобъ не видали* (какъ разсказывалъ онъ мнѣ), съ мученицей матерью, съ существомъ, столь любившимъ его».— Подчеркнутыя мною слова указываютъ на обстоятельства, которыя, конечно, могли повліять на образованіе привычки затаивать въ себѣ мысли и чувства; тѣмъ болѣе, что мать и все связанное съ памятью о ней, до конца жизни тревожили воображеніе Некрасова. Но этого все-таки мало, это можетъ быть только однимъ изъ элементовъ, повлiявшихъ на образованіе привычки, тяжелой, какъ для самого ея носителя, такъ и для окружающихъ.

Некрасовъ выступилъ на литературное поприще очень рано, лѣтъ семнадцати, и существующія изданія его сочиненій не даютъ и отдаленнаго понятія о количествѣ исполненной имъ работы. Кромѣ множества стиховъ, никогда не перепечатывавшихся, онъ, по собственному его показанію, написалъ на своемъ вѣку около 300 печатныхъ листовъ прозы. Тутъ были разсказы, повѣсти, рецензіи, критическія статьи, фельетоны. Все это писалось изъ-за куска хлѣба, иногда въ буквальномъ смыслѣ этого ходячаго слова, и мудрено было бы видѣть во всемъ этомъ огромномъ багажѣ, справедливо погруженномъ въ Лету, плоды вдохновенія или напряженной идейной работы. Однако, не механическая же это все-таки работа была. Панаевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что Бѣлинскій полюбилъ юнаго Некрасова «за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, добиваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый практическій взглядъ не по лѣтамъ, который он вынесъ изъ своей труженической и страдальческой жизни». Надо думать, что въ свои многочисленныя скороспѣлыя писанія Некрасовъ вносилъ извѣстную долю своихъ «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ»; эта необходимость съ раннихъ лѣтъ отдавать свои мысли и чувства бумагѣ, бесѣдуя не съ Иваномъ или Петромъ, отъ которыхъ можно ожидать немедленной реплики, возраженія, подтвержденія, вообще живого обмѣна мыслей, а съ безличною и невидимою массою читателей, естественно могла способствовать укрѣпленію привычки молчать. Я не хочу сказать, что люди, рано выступившіе на литературное поприще и много пишущіе, непремѣнно должны быть молчаливы и скрытны. Напротивъ, между ними есть не только очень говорливые,—это еще ничего не значитъ,—но и откровенные. Но при наличности другихъ способствующихъ условій письменное выраженіе мыслей и чувствъ несомнѣнно должно наносить нѣкоторый ущербъ ихъ словесному выраженію. А въ жизни Некрасова этихъ способствующихъ условій было много и помимо дѣтскихъ впечатлѣній, о которыхъ онъ разсказывалъ Достоевскому.

Вспоминая разговоры, слышанные имъ въ кружкѣ Бѣлинскаго Некрасовъ говорилъ: «Я сознавалъ, что все это не то, что намъ нужно, но въ то же время *спорить съ ними не могъ*, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все больше и больше, что намъ нужно нѣчто иное, я началъ работать, учиться». Вѣрно или невѣрно понималъ Некрасовъ «что намъ нужно»,—это вопросъ особый; важно для насъ то, что онъ «спорить не могъ», хотя и имѣлъ свои особыя мнѣнія и хотѣлъ бы ихъ высказать. Трудность состояла не только въ томъ,

что онъ сравнительно съ собесѣдниками мало зналъ и читалъ и слѣдовательно, не могъ свободно аргументировать на ихъ собственной почвѣ. Это вѣдь не были какіе-нибудь два враждебные лагеря. Некрасовъ всю жизнь благоговѣлъ передъ памятью Бѣлинскаго, признавалъ благотворность его вліянія и вспоминалъ о бесѣдахъ съ нимъ, какъ о «поученіи». Высокій авторитетъ учителя не мѣшалъ, однако, Некрасову видѣть, что учитель мало знаетъ то, что онъ, ученикъ, зналъ для своихъ лѣтъ даже слишкомъ хорошо—жизнь, и въ особенности изнанку, тѣневую сторону жизни. Иное, вынесенное имъ изъ этой жизни, изъ «грязной положительности», по выраженію Бѣлинскаго, онъ не посмѣлъ бы и предъявить такому «идеалисту и романтику», какъ опять-таки называлъ себя Бѣлинскій, подъ вліяніемъ котораго, если не складывалась, то переукладывалась его духовная физіономія. Онъ «не могъ спорить» не только по недостатку эрудиціи, а и потому еще, что, хотя онъ и сознавалъ свое въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превосходство надъ собесѣдниками, но въ то же время подъ ихъ вліяніемъ въ немъ совершался процессъ, для него самого не вполнѣ ясный. И на этотъ разъ мы имѣемъ уже нѣчто большее, чѣмъ лишній шансъ для образованія «привычки молчать».

Въ романѣ «Три страны свѣта», написанномъ Некрасовымъ вмѣстѣ съ Панаевой, и именно въ той его части, которая несомнѣнно принадлежитъ перу Некрасова, есть очень любопытное психологическое замѣчаніе относительно свойствъ русскаго крестьянина, гораздо болѣе приложимое къ самому Некрасову. Въ дневникѣ героя читаемъ: «Труденъ доступъ къ его (русскаго крестьянина) сердцу. Онъ суровъ, неразговорчивъ, неохотно обнаруживаетъ свое чувство; глубоко запрятываетъ въ душу тяжелую кручину... Сердце его открывается не всякому и не вдругъ. Вотъ ужъ, кажется, ты довольно сблизился съ нимъ: онъ воленъ съ тобой въ обращеніи и за словомъ въ карманъ не ходитъ; ты думаешь, говоритъ онъ тебѣ всю подноготную... Погоди, *она у него самого не ясна, а ты не настолько расположилъ его къ себѣ и расшевелилъ, чтобы она у него выяснилась, облеклась въ слово*». Какъ характеристика цѣлаго класса, это, конечно, слишкомъ смѣлое обобщеніе. Кромѣ того, едва ли, вообще, основательна сквозящая въ цитатѣ увѣренность Каютина (герой «Трехъ странъ свѣта») въ какомъ-то тождествѣ «выясненія» мысли или чувства и «облеченія ихъ въ слово». Мы очень хорошо знаемъ, что есть люди, которымъ, даже при полной ясности мысли и чувства, трудно выразить ихъ словами (при чемъ инымъ трудно дается письменное изложеніе, а инымъ—словесное). Да и всякій навѣрное испытывалъ такія душевныя состоянія, которыя трудно поддаются сло-

весному выраженію, совсѣмъ независимо отъ степени ихъ ясности. Вообще слово, замыкая мысль и чувства въ извѣстныя условныя формы, далеко не всегда удовлетворяетъ говорящаго (и пишущаго) и есть такіе оттѣнки духовной жизни, надъ словеснымъ выраженіемъ которыхъ иногда тщетно бьются люди, высоко талантливые, далеко выше средней мѣры надѣленные даромъ слова. Съ другой стороны, припомнимъ характеристику знаменитаго Нумы Руместана. «Когда я не говорю, то и не думаю, наивно утверждалъ онъ,—и это была сущая правда. Слова не лились у него порожденныя мыслью, они, напротивъ, опережали ее, будили самую мысль своимъ машинальнымъ гуломъ. Его и самого удивляло и даже забавляло, что нерѣдко вырывались у него слова и идеи давно забытыя, которыя языкъ какъ будто случайно отыскивалъ, составляя изъ нихъ цѣлые ряды убѣдительныхъ доводовъ. Говоря, онъ замѣчалъ въ себѣ чувствительность, о существованіи которой даже и не подозрѣвалъ; онъ волновался при звукѣ собственнаго своего голоса, его нѣкоторыя интонаціи хватали его за душу, вызывали на глаза его слезы». Припомнимъ послѣднюю сцену романа, когда жена Руместана раздумываетъ надъ своимъ ребенкомъ: «Неужели и ты будешь торговать словомъ, не заботясь ни мало о его цѣнности, не думая о томъ, насколько твои рѣчи согласны съ твоими же мыслями, лишь бы ярко блестѣли онѣ и громче звучали?» Жена называетъ Руместана лжецомъ. Онъ, дѣйствительно, лжетъ на каждомъ шагу, и все-таки «лжецъ» слишкомъ грубое, слишкомъ «массовое» слово, чтобы имъ было справедливо характеризовать Руместана. Увлекаясь красивымъ звономъ своихъ рѣчей, онъ не то, что неискрененъ въ каждую данную минуту; онъ именно только «не думаетъ о томъ, насколько его рѣчи согласны съ его же мыслями». И эта беззаботность много помогаетъ проявленію его природнаго дара краснорѣчія. По образному выраженію Додэ, на «краснорѣчіе Руместана размышленіе дѣйствовало, какъ сырость на фосфорныя спички». У него не мысли и чувства облекаются въ слово, а, напротивъ, слова вызываютъ вихрь мыслей и чувства,—странный процессъ, превосходно изображенный покойнымъ Додэ живьемъ, въ дѣйствіи. Есть, однако, люди, рѣзко отличнаго отъ Нумы Руместана духовнаго склада, «словесности» которыхъ, какъ и ему, «размышленіе» становится поперекъ дороги, хотя по совершенно другимъ причинамъ. Оставимъ въ сторонѣ собственно ораторскій талантъ Нумы, для проявленія котораго, кромѣ наличности самого дарованія, опредѣляемаго темными пока для насъ физіологическими данными, нужны и другія условія, главнымъ образомъ, зрѣлище возбужденной или готовой къ возбужденію толпы слушателей. Нума и въ частныхъ сношеніяхъ съ людьми, не смотря на то, что много лжетъ,

легко, повидимому, предъявляетъ свою «подноготную», но собственно потому, что настоящей подноготной у него и нѣтъ. Представимъ же себѣ человѣка, у котораго эта подноготная есть, но, во-первыхъ, она очень сложна, а во-вторыхъ, человѣкъ этотъ хочетъ предъявить ее собесѣднику вполнѣ добросовѣстно. Легко можетъ быть, что именно вслѣдствіе этой добросовѣстности,—качества совершенно незнакомаго Нумѣ Руместану,—онъ будетъ слишкомъ много «размышлять», слишкомъ взвѣшивать свои слова, опасаясь ихъ огульностью и условностью ввести собесѣдника въ заблужденіе относительно многоразличныхъ оттѣнковъ своей сложной подноготной. Отсюда можетъ развиться даже нѣкоторое презрѣніе или, по крайней мѣрѣ, недовѣріе къ слову, какъ къ орудію слишкомъ грубому и ненадежному. А вдобавокъ «подноготная» можетъ быть и самому ея носителю не вполнѣ ясна, и нужно, какъ пишетъ Каютинъ, «настолько расположить его къ себѣ и расшевелить, чтобы она у него выяснилась» прежде, чѣмъ «облечься въ слово», если еще надлежащее, удовлетворяющее слово будетъ найдено.

Раздѣленное горе—полгоря, раздѣленная радость - двойная радость, сказалъ, кажется, Гете, и, вообще говоря, человѣку дѣйствительно свойственно сбавлять себѣ горя и прибавлять радости путемъ общенія. Не прочь былъ отъ такого облегченія и украшенія жизни и Некрасовъ, хорошо сознавшій, что «въ жизни многіе люди терпятъ отъ излишней болтливости, онъ же часто терпѣлъ отъ противоположнаго качества». Но вѣдь всякія есть горя и радости; есть такія, скрывать которыя отъ кого бы то ни было нѣтъ надобности, которыя можно, а иногда, пожалуй, и хочется предъявить хоть всему міру, пусть даже люди отнесутся съ насмѣшкой къ вашей радости и съ злорадствомъ къ вашему горю; но есть и такія, которыми нельзя дѣлиться съ первымъ встрѣчнымъ. Въ этихъ случаяхъ нужна извѣстная увѣренность въ родственности душъ, въ способности собесѣдника воспринять и восчувствовать ваше положеніе со всѣми его деталями,—иначе и говорить не стоитъ, ибо не только не убавится горе и не удвоится радость, а еще обида получится, обида и стыдъ за «бисеръ, разсыпанный передъ»... Я не кончаю подвернувшейся подъ перо цитаты, потому что совсѣмъ не непремѣнно «свиньи» тѣ, передъ кѣмъ въ такихъ случаяхъ разсыпается бисеръ. Можетъ быть, и «свиньи», а можетъ быть, напротивъ того, люди большого ума, истиннаго благородства и душевной чистоты, и все-таки неспособные вполнѣ откликнуться именно на *это* горе, на *эту* радость. Такъ называемые «непонятные» люди, рисующіеся своимъ презрѣніемъ къ «толпѣ» и картинно кутающіеся въ бутафорскіе плащи Демона или Мефистофеля, навлекли на свои, иногда очень глупыя, головы много справедливыхъ на-

смѣшекъ. Но это (помимо глупости, конечно) именно потому, что они рисуются и кутаются въ бутафорскіе плащи. Будь ихъ «непонятость» настоящею, подлинною, они заслуживали бы, конечно, не насмѣшекъ, а глубочайшаго состраданія, потому что воистину «не добро быти человѣку едину». И чтобы испытать это горькое положеніе одиночества, совсѣмъ не надо быть какимъ-нибудь умственнымъ или нравственнымъ великаномъ. Разумѣется, такой великанъ больше другихъ рискуетъ оказаться непонятымъ и одинокимъ, хотя бы онъ былъ окруженъ всеобщимъ поклоненіемъ. Но и человѣкъ обыкновеннаго роста не застрахованъ отъ тоски одиночества среди самыхъ разнообразныхъ сношеній со множествомъ людей, между которыми есть, можетъ быть, и великаны. Это дѣло случая. Сотни, тысячи встрѣчъ могутъ не натолкнуть все-таки на людей, передъ которыми раскроется сердце, и развернутся уста, которымъ не стыдно и больно, а радостно предъявить свою «подноготную».

Некрасову навѣрно не часто выпадало на долю это счастіе, и не потому, что онъ былъ большой человѣкъ. Большой въ однихъ отношеніяхъ, совсѣмъ небольшой въ другихъ, онъ носилъ въ себѣ слишкомъ сложный и пестрый багажъ, чтобы на его жизненномъ пути могли часто попадаться люди, передъ которыми онъ могъ бы развернуть весь этотъ багажъ безъ опасенія встрѣтить недовѣріе или даже оскорбленіе. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ его свѣтскія и дѣловыя (помимо чисто литературныхъ) связи. Могъ ли онъ въ этой средѣ раскрыть тотъ уголокъ своей души, гдѣ, не смотря ни на что, свято хранилась настоящая, несомнѣнная любовь къ народу и подлинная боль за него? Конечно, нѣтъ. Кто бы ему тамъ повѣрилъ? Съ другой стороны, многіе ли изъ его литературныхъ друзей и ближнихъ могли охватить всю сложность этой «загадочной» натуры? Среди нихъ были люди большого ума, сильной воли, кристалически чистой души,—и даже рѣдкое счастье выпадало по этой части Некрасову въ теченіе его жизни,—но многими своими сторонами онъ имъ былъ до такой степени чужой, что понять его они не могли, частію именно благодаря своимъ достоинствамъ. Они ему прощали (и то не всегда, да не всегда онъ, конечно, и заслуживалъ прощенія), какъ первый простилъ Бѣлинскій, предсказавшій, что «Некрасовъ наживетъ капиталецъ». Но прощали не потому, что понимали, а ради его таланта и литературныхъ заслугъ вообще. Напоминаю, что съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ Некрасовъ «не могъ спорить», и не могъ не потому только, что ему недоставало эрудиціи, а и потому, что не посмѣлъ бы онъ предъявить этимъ людямъ свою «подноготную». Достоевскій очень вѣрно понялъ *часть* этой подноготной, но уже послѣ смерти Некрасова. Въ неоднократно уже упомянутой статьѣ-некрологѣ онъ писалъ:

«Милліонъ—вотъ демонъ Некрасова! Что-жъ, онъ любилъ такъ золото, роскошь, наслажденія и, чтобы имѣть ихъ, пускался въ «практичности»? Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ: это былъ самый мрачный и унизительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердою стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людей не желала... Это была жажда мрачнаго, угрюмаго объединеннаго самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого». Далѣе Достоевскій объясняетъ, что все же это былъ низкій демонъ, недостойный такой «одаренной души», какъ Некрасовъ, который и не въ богатствѣ могъ бы найти гарантію независимости. Послѣднее, конечно, вѣрно, но демонъ Некрасова былъ много цвѣтнѣе, чѣмъ его нарисовалъ мрачный геній Достоевскаго. Некрасовъ не былъ корыстолюбивъ, но въ богатствѣ видѣлъ не только гарантію независимости, хотя, конечно, и это было. Послѣ унизительнѣйшихъ положеній, испытанныхъ имъ въ юности, онъ захотѣлъ независимости, но вмѣстѣ съ тѣмъ послѣ голодныхъ, въ буквальномъ смыслѣ голодныхъ дней, онъ захотѣлъ дней сытости, а затѣмъ довольства, роскоши. Онъ самъ признавалъ, что «жизнь любилъ, къ ея минутнымъ благамъ прикованный привычкой и средой». Не хуже Достоевскаго зналъ онъ, что жажда жизни, полной многогранной многоцвѣтной жизни, приняла въ немъ форму низкаго бѣса, зналъ, терзался, но сладить съ бѣсомъ не могъ. Что же касается его одиночества и «жажды мрачнаго, угрюмаго объединеннаго самообезпеченія», то я напомню читателю одно, почему-то рѣдко вообще вспоминаемое, но въ высшей степени замѣчательное его стихотвореніе 1860 года:

. . . . . одинокій, потерянный
Я, какъ въ пустынѣ стою,
Гордо не кличетъ мой голосъ увѣренный
Душу родную мою.
Нѣтъ ея въ мірѣ. Тѣ дни миновалися,
Какъ на призывы мои
Чуткіе сердцемъ друзья отзывалися,
Слышалось слово любви.
Кто виноватъ—у судьбы не допросишься,
Да и не все ли равно?
У моря бродишь,—„не вѣрю, не бросишься!“
Вкрадчиво шепчетъ оно:
„Гдѣ тебѣ? *Дружбы, любви и участія*
Ты еще жаждешь и ждешь.

Гдѣ тебѣ, гдѣ тебѣ!—ты не безъ счастія,
Ты не безъ ласки живешь...
Видишь, разсѣялась туча туманная,
Звѣздочки вышли, горятъ?
Всѣ на тебя, голова безталанная,
Ласковымъ взоромъ глядятъ".

Обратите вниманіе на этотъ гордый начальный аккордъ: поэтъ одинокъ, какъ въ пустынѣ, но ему никого и не нужно, онъ не кличетъ родной души. Однако, пожалуй, только потому, что и нѣтъ въ мірѣ такой души. Подозрительно, во всякомъ случаѣ, что это одиночество приводитъ его къ морю съ какими-то невеселыми цѣлями; только вотъ море не вѣритъ: «не бросишься», и именно потому, что «дружбы, любви и участія ты еще жаждешь и ждешь». Затѣмъ скорбно-ироническій финалъ: да у тебя есть и счастье, и ласка—звѣзды на тебя ласково смотрятъ... Эти переливы одного настроенія въ другое хорошо отражаютъ двойственность, съ которою Некрасовъ относился къ своему одиночеству. Пожалуй, ему и никого не нужно было, онъ самъ себѣ довлѣетъ и согласенъ отгородиться отъ всѣхъ людей, но и тоска же въ этомъ одиночествѣ, дружбы, любви и участія хочется, да нѣтъ ихъ... «Подноготная» ему самому неясна, а нѣтъ людей, которые «настолько бы расположили его къ себѣ, расшевелили, чтобы она у него выяснилась, облеклась въ слово». Собственная подноготная была несомнѣнно неясна Некрасову. Азбуку морали, называющую низкаго бѣса низкимъ, онъ, конечно, зналъ, но какъ уживается этотъ бѣсъ съ высокими порывами свѣтлаго духа, съ любовью ко всѣмъ несчастнымъ, униженнымъ и оскорбленнымъ, съ любовью и жаждою любви?.. Судьба не дала Некрасову отвѣта на этотъ мучительный вопросъ, можетъ быть, потому, что, окруживъ его всякими—и дрянными, и возвышенными людьми, не дала ему встрѣтиться съ родной душой. Отсюда привычка молчать и гордая тоска, прерываемая попытками высказаться, выложить душу, иногда, можетъ быть, и удачными, какъ въ недостаточно ясномъ эпизодѣ съ П. А. Ефремовымъ, но большей частью, вѣроятно, неудачными, какъ тѣ затрудненныя предсмертныя покаянныя рѣчи, о которыхъ я писалъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Единственнымъ люкомъ, черезъ который выходило на бѣлый свѣтъ нѣчто изъ этой темной глубины, была литература, поэзія. Въ ней Некрасовъ былъ и одинъ самъ съ собой, и въ то же время со множествомъ невѣдомыхъ людей. Тѣмъ дороже должна быть намъ эта поэзія...

Когда я хотѣлъ обратить вниманіе читателей на *двѣ* рождественскія сказки, напечатанныя въ газетахъ, я не ожидалъ, что одна сказка г. Буквы заведетъ меня такъ далеко въ сторону вовсе

не рождественскихъ размышленій о Некрасовѣ. Мѣста для другой сказки (г. Мамина) уже не остается, и я откладываю ее до слѣдующаго раза. А теперь, не отходя отъ Некрасова, приведу напечатанную въ «Степномъ Краѣ» замѣтку г. Мельшина, кстати же имѣющую нѣкоторое отношеніе къ нашему журналу:

«Въ майской книжкѣ «Русскаго Богатства» г. Гриневичъ вспоминаетъ, что въ студенческой читальнѣ петербургскаго университета, въ концѣ 70-хъ годовъ, висѣлъ за стекломъ автографъ Некрасова, представлявшій стихи, не вошедшіе ни въ одно изъ собраній сочиненій знаменитаго поэта. Это были стихи, посвященные Некрасовымъ студенческой депутаціи, которая приходила къ нему, кажется осенью 77 года (когда онъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ), со словами привѣта отъ горячо любившей его молодежи. Въ 1882 году студенческая читальня была закрыта, и драгоцѣнный автографъ поэта исчезъ неизвѣстно куда. Къ счастію, не смотря на наступившія съ тѣхъ поръ новыя времена съ ихъ новыми птицами и новыми же пѣснями, былая любовь къ поэзіи музы «мести и печали» еще не исчезла въ нашемъ обществѣ и, конечно, сохранилось не мало поклонниковъ Некрасова, которые помнятъ наизусть упомянутые стихи. Одно изъ такихъ лицъ, пожелавшее остаться неизвѣстнымъ, прислало ихъ мнѣ, и я спѣшу подѣлиться съ читателями «Ст. Края» этой цѣнной находкой, имѣющей, какъ мнѣ кажется, не одно библіографическое значеніе. Вотъ эти коротенькіе стихи:

Вамъ, мой даръ цѣнившимъ и любившимъ,
Вамъ, ко мнѣ участье заявившимъ
Въ черный годъ простертый надо мной,
Посвящаю трудъ послѣдній мой.
Я завѣту русскаго народа
Вѣренъ: „въ горѣ жить—
Некручинну быть“—
И, больной, работаю полгода.
Я трудомъ смягчаю свой недугъ:
Ты не будешь строгъ, читатель—другъ!

«Въ Правительственномъ Вѣстникѣ» напечатано: «Министры внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія и юстиціи и оберъ-прокуроръ св. синода, на основаніи примѣчанія къ статьѣ 148 устава о ценз. и печ., св. зак. т. XIV, изд. 1890 г, въ совѣщаніи 10-го декабря постановили совершенно прекратить изданіе журнала «Новое Слово», выходящаго въ свѣтъ въ С.-Петербургѣ».

Постановленія этого рода объявляются безъ мотивовъ, и мы не знаемъ ни того, почему къ «Новому Слову» примѣнена эта окончательная кара, ни того, что именно, какая струя въ прекращен-

номъ журналѣ вызвала кару. Не вдаваясь ни въ какія предположенія на этотъ счетъ, можно однако надѣяться, что нѣкоторые свои взгляды сотрудники прекращеннаго журнала получатъ возможность развивать въ другихъ органахъ печати. Каковы бы ни были мотивы приведеннаго постановленія, мы, писатели, не можемъ не скорбѣть объ участи собрата, хотя бы и противника. Потерять при этихъ условіяхъ противника въ своемъ родѣ не менѣе тяжело, чѣмъ потерять союзника. Во всякомъ случаѣ, только что вступивъ въ полемику съ нѣкоторыми взглядами, излагавшимися на страницахъ «Новаго Слова», мы теперь вынуждены временно отказаться отъ темъ, представляющихъ высокій интересъ.

X *).

Рождественская сказка г. Мамина.—Будущность цивилизаціи.—Вырожденіе и прогрессъ.—Дарвинизмъ и ничшеанство.

За мной остался отъ прошлаго раза рождественскій разсказъ г. Мамина. Онъ называется «Послѣдніе огоньки. Святочная фантазія» и напечатанъ въ рождественскомъ (25 дек.) номерѣ «Русскихъ Вѣдомостей».

Дѣйствіе происходитъ на какомъ-то архипелагѣ, много вѣковъ спустя послѣ нашего времени. За двѣ тысячи лѣтъ до того момента, къ которому относится разсказъ, произошло крушеніе европейской цивилизаціи. Давно уже всѣ европейскія государства превратились въ военные лагери, и прогрессирующая наука снабжала ихъ все новыми орудіями вражды и истребленія. Между прочимъ. прогрессировало и воздухоплаваніе, «уничтожившее, какъ увѣряла наука, всякія этнографическія границы, національные интересы и всякую расовую обособленность. Такъ говорила наука, а вышло нѣчто другое. Благодаря новому открытію (въ области воздухоплаванія), вся старая Европа очутилась въ огнѣ. Утонченное рабство давно уже носилось въ воздухѣ и разрѣшилось цѣлымъ рядомъ ужасныхъ катастрофъ. Романскія, англо-саксонскія и славянскія расы превзошли другъ друга въ братской ненависти, и жестокая цивилизація рухнула сама собой, раздавленная собственной жестокостью. Послѣдній ударъ, нанесенный Европѣ желтолицыми варварами, былъ только неизбѣжнымъ результатомъ всей европейской политики. Да, Европа нѣсколько сотъ лѣтъ учила желтыя расы искусству истребленія, пока ученики не примѣнили свои знанія на ней самой. Это былъ настоящій потокъ варварства, хлынувшій на Европу во всеоружіи послѣднихъ словъ науки». Варвары превратили Европу въ пустыню, а затѣмъ ее, одичалую, заросшую лѣсомъ, купили у нихъ американскіе милліардисты и превратили въ огром-

---

*) Февраль 1898 г.

ный охотничій паркъ. Жалкіе остатки европейцевъ выселились на «архипелагъ», гдѣ желтолицые рѣшили оставить ихъ въ покоѣ «пусть они постепенно вымрутъ сами собой, это—самая страшная казнь; желтолицый да не прикоснется къ этой бѣлолицей твари, обреченной на вымираніе». И дѣйствительно, бѣлолицые стали вымирать, «расплачиваясь за всѣ грѣхи своихъ предковъ, точно они несли проклятіе въ своей крови и въ своихъ нервахъ». Правители архипелага (то была теократія) тщетно старались поддержать жизненныя силы населенія. Они ввели «брачное право», въ силу котораго браки разрѣшались только лицамъ, свободнымъ отъ физическихъ недостатковъ, могущихъ вредно отозваться на потомствѣ; за каждаго ребенка матери выдавалась премія, а отцу пожизненная пенсія; браки совершались только весной, потому что наука доказала преимущество этого времени года для счастливыхъ браковъ, и весеннее время было объявлено національнымъ праздникомъ.

Одинъ изъ такихъ праздниковъ и описываетъ сказка «Послѣдніе огоньки». Я не буду пересказывать эту часть «святочной фантазіи», сдѣланную съ обычнымъ мастерствомъ автора, — меня занимаетъ собственно замыселъ сказки, эта попытка фантазіи заглянуть въ далекую даль будущей исторіи. Скажу только, что праздникъ выходитъ невеселый. Ко всѣмъ бѣдамъ жителей архипелага присоединяется еще одна: дѣвушки отказываются выходить замужъ, потому что «боятся материнскихъ мукъ и не хотятъ разставаться со своей дѣвичьей красотой». Нѣкоторые изъ жителей архипелага въ отчаяніи вздыхаютъ: «если бы намъ хоть капельку желтой крови». Другіе заговариваютъ о необходимости силой закона принудить дѣвушекъ выходить замужъ...

Существуетъ цѣлая литература попытокъ художественной фантазіи заглянуть въ темную даль грядущаго, и уже самое обиліе ихъ свидѣтельствуетъ о законности этого рода произведеній. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, отнять у человѣка желаніе и надежду приподнять завѣсу отдаленнаго будущаго настолько, чтобы перешагнуть предѣлы научнаго предвидѣнія и наполнить открывающуюся перспективу живыми, конкретными образами и картинами. Это желаніе такъ же естественно, какъ естественны грубыя ошибки при попыткахъ его исполненія: слишкомъ ужъ обширное поприще для произвола открывается при этомъ. Не могъ избѣгнуть такихъ ошибокъ или недосмотровъ и г. Маминъ, тѣмъ болѣе, что произведеніе его есть не какой-нибудь глубоко обдуманный трудъ, а наскоро и безъ претензіи написанная рождественская сказка, или же неотдѣланный отрывокъ. Нѣтъ надобности останавливаться на этихъ ошибкахъ и недосмотрахъ, они слишкомъ очевидны. Обыкновенно авторы подобныхъ произведеній берутъ какія-нибудь особенно по-

ражающія ихъ черты современной дѣйствительности и либо представляютъ себѣ ихъ въ дальнѣйшемъ, все усиливающемся развитіи, либо, напротивъ, провидятъ ихъ исчезновеніе. И въ концѣ концовъ, авторы не столько проникаютъ въ будущее, сколько откликаются на злобу дня, на тревоги современности. Получаются, независимо отъ степени талантливости авторовъ, либо хвалебные гимны нѣкоторымъ чертамъ современности, какъ зародышу свѣтлаго будущаго, которымъ необходимо лишь дальнѣйшее безпрепятственное развитіе, либо сатира во имя извѣстнаго современнаго идеала, либо, наконецъ, та или другая комбинація гимна и сатиры. Сообразно этому, фантастическія гаданія о будущемъ принимаютъ оптимистическій или пессимистическій характеръ. Въ сторону оптимизма гаданія разрѣшаются наиболѣе часто, удовлетворяя естественной склонности людей къ мечтаніямъ о прекращеніи тѣхъ или другихъ золъ и воцареніи добра на землѣ. Тутъ, рядомъ съ болѣе или менѣе «проникновенной» сатирой на современность, мы видимъ часто благородные порывы къ высокимъ общественнымъ идеаламъ, которые являются такимъ образомъ, какъ бы отдаленными свѣтящимися точками, имѣющими свою цѣну въ качествѣ идеала, хотя бы путь къ нему и остался неизвѣстнымъ. Но за послѣднее время въ этого рода произведеніяхъ широкій размахъ фантазіи какъ-то съуживается, мельчаетъ, размѣнивается. Ослѣпленные небывалымъ развитіемъ техники во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности, творцы новѣйшихъ утопій часто слишкомъ сосредоточиваютъ свое вниманіе именно на этой чертѣ нашего времени. Черта это безспорно очень яркая, но не только свѣта, что въ этомъ окошкѣ. Мы узнаемъ, напримѣръ, что черезъ двѣсти, пятьсотъ, тысячу, двѣ тысячи лѣтъ (скупиться на сроки въ такихъ случаяхъ нечего) пространство окажется побѣжденнымъ въ несравненно большей степени, нежели теперь; что изъ Парижа въ Пекинъ можно будетъ попасть въ нѣсколько часовъ; или что, пожалуй, и совсѣмъ не нужно будетъ тратить время на это путешествіе, такъ какъ при помощи уже существующаго, но подлежащаго усовершенствованію телефона можно будетъ переговариваться на любомъ разстояніи, а при помощи еще несуществующаго телефона можно будетъ и видѣть другъ друга на тысячныхъ разстояніяхъ. И т. п. При этомъ и люди становятся другъ къ другу благосклоннѣе, чѣмъ нынѣ, но формы общественныхъ отношеній измѣняются, въ сущности, очень мало. Я не говорю, конечно, что таковы всѣ новѣйшія беллетристическія гаданія о будущемъ, но во всякомъ случаѣ вѣра въ благодѣянія техническаго прогресса занимаетъ въ нихъ всегда очень видное, а иногда и исключительно преобладающее мѣсто.

Совсѣмъ иначе поставлено дѣло въ святочной фантазіи г. Ма-

мина. Техническій прогрессъ является у него, если не причиною, то однимъ изъ условій крушенія европейской цивилизаціи, на ряду съ вырожденіемъ европейскаго населенія и свирѣпой національной враждой. Какъ ни очевидны недосмотры этой святочной фантазіи, какъ ни односторонне освѣщается ею далекое будущее, она можетъ заставить призадуматься надъ многими явленіями современности. Она, подобно всѣмъ беллетристическимъ гаданіямъ о будущемъ, лишь проводитъ въ это будущее извѣстныя логическія линіи отъ нѣкоторыхъ поразившихъ автора, произвольно выбранныхъ пунктовъ современности, но пункты эти достойны вниманія, да и не одного г. Мамина занимаютъ.

Безъ всякаго сомнѣнія, желѣзная дорога лучше проселочной, электрическое освѣщеніе лучше лучины, скорострѣльное ружье лучше пращи, механическій станокъ лучше ручного и т. д. Но этимъ еще не рѣшается вопросъ о соціальной роли техническаго прогресса. Для многихъ, конечно, тутъ и вопроса никакого нѣтъ: рядъ частныхъ практическихъ цѣлей достигается быстрѣе и лучше, и этого достаточно. Но, не говоря уже о разныхъ недовольныхъ существующимъ порядкомъ вообще, такой, напримѣръ, спокойный и умѣренный мыслитель, какъ Дж. Ст. Милль, пишетъ: «До сихъ поръ еще сомнительно, облегчили ли хотя одному человѣку трудъ для насущнаго хлѣба всѣ наши механическія изобрѣтенія. Они дали возможность большему числу людей жить тою же тяжелою острожною жизнью и большему числу фабрикантовъ съ товарищами обогащаться. Они увеличили удобства жизни среднихъ сословій, но они еще не начали производить въ человѣческой судьбѣ тѣ великія перемѣны, къ совершенію которыхъ назначены они своей сущностью и своей будущностью». (Основанія политической экономіи 1865, II, 279). «Сущность» техническаго прогресса состоитъ въ побѣдахъ ума и энергіи мыслителей и изобрѣтателей надъ силами природы. Что же касается его «будущности», то Милль ставитъ ее въ зависимость отъ условій чисто соціальнаго характера (справедливыя учрежденія и предусмотрительность въ дѣлѣ размноженія) не имѣющими ничего общаго съ техническимъ прогрессомъ какъ таковымъ, и могущими ему сопутствовать и не сопутствовать. Чрезвычайно осторожный и отнюдь не склонный къ пессимизму изслѣдователь положенія рабочихъ на нашихъ фабрикахъ говоритъ: «Всматриваясь во всѣ подробности фабричной жизни въ теченіе многихъ лѣтъ, мы искали, искали всѣми силами, хотя бы одну какую-нибудь черту, которая дала бы возможность сказать: да, это шагъ впередъ противъ «некультурной» нашей деревни,—но не нашли ничего». (Е. М. Дементьевъ. «Фабрика, что она даетъ населенію и что она у него беретъ». Изд. 2-е, 1897, стр. 253). Надо

замѣтить, что, по заявленію г. Дементьева, онъ «не приметъ упрека въ желаніи возвратиться къ старому, въ оплакиваніи «добраго стараго времени» съ его патріархальными отношеніями, за которыми скрывалось столько печальнаго, дикаго. Было бы слишкомъ наивно желать, а тѣмъ болѣе предполагать возможность возвращенія къ первобытнымъ формамъ производства съ ручнымъ трудомъ и остановки быстраго распространенія машиннаго производства» (тамъ же). Положительной части изслѣдованія г. Дементьева мы касаться не будемъ, отмѣтимъ только, что она состоитъ въ разсчетѣ не на дальнѣйшій прогрессъ техники, а на извѣстныя «общественныя реформы». Въ этой области авторъ считаетъ себя недостаточно компетентнымъ, но, будучи хозяиномъ въ своей спеціальности, онъ въ результатѣ долгаго и кропотливаго изслѣдованія, рѣшительно утверждаетъ, что фабричный трудъ ведетъ за собой вырожденіе, «физическую и нравственную гибель».

Въ святочной фантазіи г. Мамина мы тоже встрѣчаемъ вырожденіе, но оно тамъ постигаетъ не одну какую-нибудь группу, а все европейское населеніе, при чемъ авторъ оставляетъ насъ въ неизвѣстности относительно причинъ вырожденія. Мы знаемъ только, что населеніе это «точно несло проклятіе въ своей крови и въ своихъ нервахъ», точно духъ жизни отлетѣлъ отъ него. Нѣсколько больше узнаемъ о мѣрахъ, тщетно принимаемыхъ теократическимъ правительствомъ архипелага для поддержанія жизненныхъ силъ населенія. Но объ этомъ потомъ.

Г. Маминъ провидитъ новое нашествіе варваровъ въ Европу и разгромъ ея цивилизаціи, руководясь очевидно тою общею мыслію (если бы онъ захотѣлъ ее формулировать), что характеръ результатовъ техническаго прогресса существенно зависитъ отъ свойствъ общественной среды, въ которой они дѣйствуютъ. По его предположенію, европейцы въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ являли варварамъ лишь образцы насилія, жестокости, коварства, да передавали имъ послѣдніе результаты техническаго прогресса. И вотъ эти варвары, оставаясь варварами во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, но вооруженные всѣми «послѣдними словами науки» въ ея техническихъ приложеніяхъ, воспользовались ими для разгрома Европы. Логически, въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего невѣроятнаго, и нѣкоторымъ европейскимъ ученымъ приходили въ голову подобныя же мысли. Скандальное поведеніе европейскихъ насадителей цивилизаціи въ колоніяхъ достаточно извѣстно, и, конечно, ничего, кромѣ ненависти, сдерживаемой страхомъ, возбудить въ туземцахъ не можетъ. Съ другой стороны, усвоить послѣдніе результаты техники, совсѣмъ не продѣлавъ той работы ума и энергіи, которая имъ предшествовала, можетъ, конечно, и варваръ. И такъ какъ онъ, этотъ

варваръ, не подвергался, въ предположеніи г. Мамина, тому процессу вырожденія, который подготовилъ крушеніе Европы, то при столкновеніи съ европейцемъ онъ, владѣя одинаковымъ съ нимъ оружіемъ борьбы, окажется сильнѣе. При этомъ чуждыхъ ему элементовъ европейской цивилизаціи,—нашихъ преданій, историческихъ памятниковъ, сокровищъ науки и искусства,—онъ не пощадитъ.

Но еще задолго до крушенія цивилизаціи Европа переживетъ рядъ страшныхъ катастрофъ на почвѣ національной вражды. И тутъ опять сказывается скептицизмъ автора по отношенію къ благодѣяніямъ техническаго прогресса. Между прочимъ, послѣдніе успѣхи воздухоплаванія, на которые теоретическая наука возлагала особенныя надежды въ смыслѣ укрѣпленія или установленія добрыхъ международныхъ отношеній, оказались на дѣлѣ орудіемъ вящшей взаимной ненависти и вражды. Предсказаніе это ясно навѣяно послѣдними событіями въ европейской жизни. Было время, и сравнительно еще очень недавно, когда мыслители утверждали, что мирная промышленная дѣятельность вытѣснитъ войну изъ европейскаго обихода и если не внутри государствъ, то въ международныхъ отношеніяхъ наступитъ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе. Мыслители считали это несомнѣннымъ, по крайней мѣрѣ, для наиболѣе цивилизованныхъ странъ Европы. Жизнь опрокинула эти теоретическія выкладки рядомъ кровавыхъ войнъ, изъ которыхъ одна надолго превратила Европу въ нѣчто вродѣ военнаго лагеря. И нынѣ уже не такъ увѣренно звучатъ голоса, пророчествующіе, что мирная промышленная дѣятельность вытѣснитъ войну, а на технику возлагаются совершенно новыя надежды: она доведетъ истребительность орудій войны до такого совершенства, что никто не отважится воевать. Это ужъ, если можно такъ выразиться, надежда отчаянія...

Кромѣ увѣренности въ прекращеніи вооруженныхъ столкновеній между государственно-организованными общественными единицами существуетъ не менѣе твердая увѣренность въ приближающемся мирѣ и единеніи различныхъ національностей, какъ въ предѣлахъ даннаго государства, такъ и за предѣлами его. Казалось, духъ національной нетерпимости и фанатизма отлетаетъ отъ настрадавшейся изъ-за него Европы, замѣняясь уже не смутными космополитическими мечтами какого-нибудь «оратора человѣческаго рода», Анахарсиса Клоца, а чѣмъ-то вполнѣ реальнымъ: духовныя перегородки, раздѣляющія эллина и іудея и всякъ сущій въ Европѣ языкъ, становится все тоньше, прозрачнѣе и проницаемѣе для взаимнаго пониманія и сочувствія; международныя выставки, общества, съѣзды, конгрессы, договоры сближаютъ людей на почвѣ об-

щей работы; улучшенные пути сообщенія облегчаютъ въ небывалой до сихъ поръ степени личныя сношенія съ людьми разныхъ національностей; всесильная мода стираетъ яркія краски національныхъ особенностей въ нравахъ, одеждѣ и проч.; наука вырабатываетъ истины, равно обязательныя для людей всѣхъ національностей и быстро дѣлающіяся достояніемъ цѣлаго міра. Словомъ, все ведетъ, если не къ уничтоженію національныхъ особенностей (а отчасти и къ нему), когда-то служившихъ источникомъ взаимной чуждости, то къ примиренію съ ними. И позволительно было думать, что, по крайней мѣрѣ, внѣ военнаго времени Европа покончила съ національной враждой. Это не какая-нибудь слащаво-идиллическая картина, гдѣ царятъ исключительно добрыя чувства и вполнѣ отсутствуетъ борьба интересовъ и взглядовъ. Но центръ борьбы предполагался окончательно перемѣщеннымъ изъ сферы національныхъ отношеній въ сферу отношеній классовыхъ. Оказывается,—это была иллюзія. Не говоря о мелочахъ въ родѣ, напримѣръ, кровавыхъ столкновеній итальянскихъ рабочихъ съ французами и т. п., и останавливаясь лишь на томъ, что дѣлается въ эту минуту во Франціи и въ Австріи, мы видимъ, что мрачный демонъ національной вражды не отлетѣлъ, не умеръ. Достаточно ничтожнаго повода, чтобы онъ, гдѣ-то притаившійся, объявился во всемъ своемъ жестокомъ и безсмысленномъ безобразіи и наложилъ печать позора на столь гордый своими успѣхами конецъ XIX вѣка. Г. Маминъ пророчествуетъ этому демону слишкомъ многая лѣта, но онъ во всякомъ случаѣ живъ и, очевидно, не завтра умретъ.

But also wrong

Что касается вырожденія, то, какъ уже сказано, г. Маминъ не указываетъ ближайшимъ образомъ его причинъ; если не считать одною изъ таковыхъ истребительныя войны. Мѣры, практикуемыя или проектируемыя для предотвращенія дальнѣйшаго вырожденія, также не даютъ указаній на его причины. Въ проектѣ находятся «хоть бы капелька желтой крови» и принудительные браки; въ дѣйствіи—брачное право, предоставленное исключительно здоровымъ и сильнымъ людямъ, пенсіи и преміи за дѣтей, установленіе опредѣленнаго времени года для совершенія браковъ.

Mamin not give reasons for [illegible]

Можетъ быть, иному изъ читателей эти подробности святочной фантазіи г. Мамина покажутся особенно странными. Въ самомъ дѣлѣ, новѣйшая исторія представляетъ собою процессъ раскрѣпощенія, освобожденія личности отъ многоразличныхъ узъ, доставшихся ей въ наслѣдство отъ прошлыхъ вѣковъ. Было время, когда, по выраженію одной русской свадебной пѣсни, браки заключались «по господскому приказанію, по мірскому приговору». Мыслимо ли нѣчто подобное не только въ далекомъ будущемъ, а и теперь, когда раздаются голоса уже о чрезмѣрной свободѣ личности распоря-

жаться своею судьбою, даже, дескать, до полной разнузданности? И однако фантазія г. Мамина вовсе не такъ далеко отлетѣла отъ переживаемаго нами историческаго момента, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Разговоры о преміяхъ и пенсіяхъ за дѣторожденіе не разъ возникали во Франціи, озабоченной слабымъ приростомъ или даже неподвижностью своего населенія, равно какъ теперь же есть не мало женщинъ, которыя «боятся материнскихъ мукъ и не хотятъ разставаться съ своей дѣвичьей красотой». Проекты «брачнаго права» и воспрещенія браковъ людямъ, страдающимъ болѣзнями, способными передаваться по наслѣдству, также нерѣдко возникаютъ въ цивилизованныхъ странахъ. А нѣкоторые современные проекты огражденія человѣческаго рода отъ вырожденія своею рѣшительностью далеко превосходятъ то, что, по предсказанію г. Мамина, станетъ закономъ черезъ двѣ слишкомъ тысячи лѣтъ. Авторъ книги «Die Aristocratie des Geistes als Lösung der socialen Frage» (1894) предлагаетъ слѣдующій проектъ систематическаго соціальнаго подбора въ дарвинистскомъ смыслѣ. Во-первыхъ, всѣ вредные члены общества, разнаго рода дегенеранты, порочные и проч. должны быть сосредоточены въ спеціально имъ уступленныхъ городахъ, гдѣ имъ будутъ даромъ предоставлены спиртные напитки въ какомъ угодно количествѣ и гдѣ, вмѣстѣ съ кабаками, ихъ быстро покончатъ публичные и игорные дома. Такимъ образомъ они проведутъ послѣдніе годы жизни съ пріятностью въ ихъ вкусѣ, а общество избавится отъ зловредныхъ элементовъ, угрожающихъ всей его будущности. Во-вторыхъ, остальные, полезные члены общества должны быть раздѣлены на двѣ замкнутыя касты: представителей умственнаго труда и труда физическаго, которые будутъ постоянно совершенствоваться въ направленіи ихъ спеціальныхъ функцій... Вотъ веселенькая утопія, далеко болѣе рѣшительная, чѣмъ мрачная фантазія г. Мамина.

На этомъ мы и разстанемся съ г. Маминымъ, поблагодаривъ его за попытку освѣтить будущее съ такой стороны, съ какой рѣдко къ нему подходятъ. Нужна извѣстная смѣлость, чтобы нарисовать подобную утопію на изнанку, ибо люди вообще не любятъ мрачныхъ предсказаній,—одни, потому что имъ и безъ того плохо живется, другіе, напротивъ, потому, что имъ живется весело. При томъ же вызвать дешевые упреки въ хулѣ на науку и культуру столь же легко, какъ и пѣть этимъ прекраснымъ вещамъ дешевую хвалу.

Нынѣшнее поколѣніе читателей едва ли можетъ себѣ представить съ полною ясностью то увлеченіе естествознаніемъ, которымъ передовое русское общество было проникнуто въ половинѣ шести-

десятыхъ годовъ. Я, можетъ быть, не ошибусь, сказавъ, что кульминаціоннымъ пунктомъ, вершиной этого увлеченія нынѣшнимъ читателямъ представляется знаменитый, часто поминаемый совѣтъ Писарева Щедрину писать популярныя статьи по естественнымъ наукамъ. Это, дѣйствительно, очень характерный эпизодъ, гораздо даже болѣе характерный, чѣмъ кажется на первый взглядъ. Съ одной стороны, совѣтъ давался такому таланту, какъ Щедринъ, правда, еще не развернувшемуся во всю свою мощь, но уже и тогда достаточно, казалось бы, крупному; значитъ, великія же упованія возлагались на естествознаніе, если считалось разумнымъ принести ему въ жертву такую крупную литературную силу. Съ другой стороны, совѣтъ давался человѣку, никогда никакою отраслью естественныхъ наукъ не занимавшемуся; значитъ, для изложенія истинъ естествознанія достаточно доброй воли и хорошаго слога, умѣнья владѣть перомъ: садись и излагай. Я слыхалъ отъ одного спеціалиста математика мнѣніе, что человѣкъ, не знающій дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія, не можетъ быть хорошимъ преподавателемъ ариѳметики. Это, конечно, преувеличеніе, болѣе или менѣе свойственное спеціалистамъ вообще. Но все-таки приглашать въ преподаватели химіи или физіологіи человѣка, никогда ими не занимавшагося, довольно легкомысленно; тѣмъ легкомысленнѣе, что естествознаніе признавалось въ то же время нѣкоторымъ ключемъ отъ всѣхъ ключей, разрѣшавшимъ всѣ вопросы жизни. И этотъ-то драгоцѣннѣйшій ключъ стоитъ такъ дешево... Были, конечно, исключенія. Русская наука знаетъ не мало почтенныхъ именъ естествоиспытателей, кристализовавшихся изъ тогдашняго броженія, смотрѣвшихъ на свою задачу, какъ на великое, но зато и трудное дѣло. Но общій характеръ массового увлеченія поражаетъ именно этою двойственностью: съ одной стороны фанатическаго благоговѣнія передъ естествознаніемъ, а съ другой—какого-то фамильярнаго, панибратскаго къ нему отношенія. Таковъ былъ общій фонъ, въ которомъ знаменитый совѣтъ Писарева является лишь отдѣльнымъ маленькимъ узоромъ.

Въ наше время отъ этого увлеченія не осталось и слѣда. Естествознаніе уступило свое первенствующее мѣсто другимъ группамъ идей и фактовъ. Мы относимся къ нему съ почтеніемъ, но это именно только холодное почтеніе: «храмъ оставленный—все храмъ», но въ немъ уже не молятся. Оно обратилось въ предметъ спеціальныхъ изслѣдованій, и попытки основать въ немъ цѣльное міросозерцаніе, охватывающее прошедшее, настоящее и будущее, сущее и долженствующее существовать, становятся рѣдкостью. Да и то отъ нихъ вѣетъ подчасъ какою-то фальшью и неискренностью. Объ одной изъ такихъ попытокъ я бесѣдовалъ съ читателями «Рус-

скаго Богатства» въ апрѣльской книжкѣ 1896 г. Разумѣю книгу г. Антоновича «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Воздавъ должное какъ высокимъ личнымъ качествамъ Дарвина, такъ и его великимъ заслугамъ въ области естествознанія, авторъ пожелалъ, кромѣ того, связать теорію Дарвина съ нѣкоторыми нравственно-политическими идеями, съ философіей общественныхъ отношеній. Но приступаетъ онъ къ этой задачѣ какъ-то бокомъ и, въ сущности, ничего не говоритъ, кромѣ того, что теорія Дарвина, съ одной стороны, и извѣстные соціологическіе взгляды, съ другой, находятся между собою какъ въ принципіальной, такъ и фактической связи. Онъ утверждалъ именно, что, во-первыхъ, демократическіе идеалы получили въ теоріи Дарвина новую поддержку, и что, во-вторыхъ, если бы этого не было, «если бы теорія Дарвина благопріятствовала буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи и своекорыстной плутократіи, то общественные представители этихъ элементовъ и ихъ естественные защитники и покровители встрѣтили бы теорію съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія, чего, какъ извѣстно, на дѣлѣ не было, а было совсѣмъ противоположное». Оба эти положенія предъявлены г. Антоновичемъ вполнѣ голословно, а второе, кромѣ того, и фактически невѣрно. Въ упомянутой статьѣ 1896 г. я привелъ цѣлый рядъ лицъ (въ томъ числѣ и такихъ, къ которымъ г. Антоновичъ относится съ большимъ почтеніемъ,—Іегеръ, Геккель, Штраусъ, Ройе), видящихъ въ теоріи Дарвина ученіе, «благопріятствующее буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи», и однако «встрѣтившихъ ее съ распростертыми объятіями и шумными криками одобренія», рѣшительно протестующихъ противъ законности связи дарвинизма съ соціально-демократическими идеалами и соотвѣтственнымъ пониманіемъ исторіи. На эту любопытную страницу литературы предмета г. Антоновичъ не только закрылъ глаза, а даже отрицалъ ея существованіе.

Мнѣ представляется теперь случай вернуться къ этой темѣ, но считаю нужнымъ прежде всего оговориться относительно предѣловъ задачи. Я не берусь теперь рѣшать по существу вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ дарвинизма съ одной стороны и демократическихъ идеаловъ и соотвѣтственнаго пониманія исторіи—съ другой. Я хочу лишь привлечь вниманіе читателей къ нѣкоторымъ явленіямъ литературы и жизни, къ которымъ у насъ вообще относятся на манеръ г. Антоновича,—не хотятъ ихъ видѣть. (Это не мѣшаетъ хотя бы тому же г. Антоновичу валить съ больной головы на здоровую и поражать своими громами тѣхъ, кто, по его мнѣнію, закрываетъ глаза на дѣйствительность).

Вышеупомянутая книга «Die Aristocratie des Geistes als Lösung der socialen Frage» въ подлинникѣ мнѣ неизвѣстна. Я цитировалъ

ее по книгѣ французскаго ученаго Лапужа (G. Vacher de Lapouge) «Les selections sociales» (1896). Лапужъ—рѣшительный сторонникъ примѣненія дарвинизма или, какъ онъ большею частью предпочитаетъ выражаться, «селекціонизма» (отъ selection—подборъ) къ соціологіи. Онъ говоритъ: «Формулируя принципъ борьбы за существованіе и подбора, Дарвинъ произвелъ переворотъ не только въ біологіи и философіи природы: онъ преобразовалъ и политическую науку. Обладаніе этимъ принципомъ позволило понять законы жизни и смерти націи, ускользавшіе отъ умозрѣній философовъ. Мощный геній Дарвина придалъ огромную силу идеямъ Ламарка и Спенсера, раскрывъ механизмъ, которымъ совершается развитіе органическаго міра... вплоть до человѣка... въ которомъ міръ сознаетъ самъ себя. Трансформизмъ и соціологія до Дарвина были, можно сказать, подобны Пигмаліоновой статуѣ или тѣламъ, готовымъ къ жизни, но въ которыхъ жизнь еще не течетъ. Эволюція получила характеръ очевидной истины только тогда, когда стало возможнымъ понять, какъ она совершается, и побѣды принципа подбора было достаточно, чтобы покорить почти всѣ умы ученія эволюціи. Въ наукахъ біологическихъ идея Дарвина нашла наиболѣе непосредственныя и наиболѣе громкія примѣненія, и скоро стали смѣшивать трансформизмъ съ дарвинизмомъ, который есть лишь теорія подбора. Селекціонизмъ разрѣшаетъ извѣстное число капитальныхъ вопросовъ трансформизма, но не сливается съ послѣднимъ. Всѣ вопросы, касающіеся первоначальнаго возникновенія полезныхъ и вредныхъ измѣненій, находятся внѣ вѣдѣнія селекціонизма. Поэтому сфера его дѣйствія въ зоологіи и ботаникѣ не безгранична; она, напротивъ того, не имѣетъ границъ въ соціологіи. Это положеніе, для многихъ читателей неожиданное, не есть парадоксъ: въ соціологіи, или употребляя старое и лучшее выраженіе Аристотеля, въ политической наукѣ, эволюція есть почти исключительно дѣло подбора. Если эта истина не достигла еще степени очевидности, то потому, что доказательства находятся въ рукахъ антропологовъ и игнорируются соціологами» (стр. 1—2).

Мысль о томъ, что подборъ, ограниченный въ животномъ и растительномъ мірѣ другими факторами эволюціи, исключительно господствуетъ въ человѣческомъ обществѣ, получаетъ нѣкоторое поясненіе въ 3-й главѣ книги. Здѣсь Лапужъ устанавливаетъ различіе между измѣненіями, вызываемыми вліяніемъ среды, и тѣми, которыя производятся подборомъ. Первыя онъ называетъ «коллективными», вторыя—«селективными». Представимъ себѣ, что какая-нибудь общая причина производитъ въ цѣломъ населеніи быстрое или медленное измѣненіе къ лучшему или къ худшему,—это будетъ коллективное измѣненіе. Если же какая-нибудь часть населенія полу-

чаетъ возможность вытѣснить, замѣстить собою другую, слабо размножающуюся или вовсе не дающую потомства, то это будетъ селективное измѣненіе; оно коснулось лишь извѣстнаго числа индивидовъ и сдѣлало ихъ болѣе способными или менѣе способными къ конкурренціи съ остальными. Наглядно разницу между коллективными и селективными измѣненіями можно себѣ представить, сопоставивъ картину ржаного поля, гдѣ всѣ стебли растутъ параллельно и приблизительно равномѣрно, съ картиной уголка лѣса, гдѣ одни деревья пускаютъ во всѣ стороны могучія вѣтви, а другія задерживаются въ ростѣ и гибнутъ. Нарисовавъ эти двѣ картины, Лапужъ продолжаетъ разсуждать о противоположности обоихъ родовъ измѣненій, о сравнительной быстротѣ дѣйствія тѣхъ и другихъ. Но затѣмъ оказывается, что коллективное развитіе совсѣмъ не существуетъ въ человѣческомъ обществѣ. «Я не знаю—говоритъ Лапужъ—ни одного примѣра коллективной эволюціи въ исторіи, и если только что предположилъ ея возможность, то лишь для рѣзкаго опредѣленія противоположности между коллективною и селективною эволюціей. Въ дѣйствительности только послѣдняя имѣетъ мѣсто въ исторіи, а можетъ быть и въ біологіи» (84). Еще далѣе (97—99) узнаемъ, что и въ области біологіи «почти всегда, чтобы не сказать всегда», эволюція совершается исключительно только путемъ селективныхъ измѣненій, то есть путемъ подбора.

Итакъ въ области біологическихъ явленій сфера дѣйствія подбора ограничена другими факторами, тогда какъ въ явленіяхъ общественной жизни подборъ царитъ безраздѣльно: правда, здѣсь можно различить коллективныя и селективныя измѣненія, но существуютъ только послѣднія, да и въ біологіи, собственно говоря, нѣтъ другихъ путей развитія, кромѣ подбора.

Тѣмъ не менѣе, точка зрѣнія, съ которой Лапужъ разсматриваетъ явленія общественной жизни, интересна, а нѣкоторые частные его выводы заслуживаютъ особеннаго вниманія.

«Основное положеніе дарвинистской соціологіи, символъ вѣры селекціонистской школы» состоитъ въ слѣдующемъ: «Постоянно измѣняя составъ народовъ, подборъ выводитъ на сцену новые слои и подготовляетъ въ нѣдрахъ самихъ массъ явленія, опредѣляющія жизнь и смерть, ростъ и упадокъ націй». Подъ «составомъ» народовъ здѣсь разумѣется собственно антропологическій составъ или, какъ чаще выражается Лапужъ, расовый. Конечно, говоритъ онъ, одними антропологическими данными нельзя объяснить всю исторію, но раса является основнымъ, первенствующимъ факторомъ эволюціи, далеко превосходящимъ по своему значенію всѣ остальные. Надо только помнить, что антропологическій составъ населенія извѣстной страны отнюдь не составляетъ чего-нибудь разъ на-

всегда даннаго. Историки обыкновенно не принимаютъ этого элемента въ соображеніе и разсуждаютъ такъ, какъ будто извѣстный народъ самъ себѣ равенъ на всемъ протяженіи своего существованія; лишь изрѣдка дѣлаютъ они поверхностную оговорку о вырожденіи. На самомъ дѣлѣ историческій процессъ гораздо сложнѣе. Въ данную минуту въ составѣ народа могутъ быть такіе этническіе элементы, которые позволяютъ ему совершить такое-то дѣло или претерпѣть такую-то невыгоду; сто лѣтъ тому назадъ этихъ элементовъ не было, черезъ сто лѣтъ ихъ, можетъ быть, опять не будетъ. Это есть дѣло подбора, сопутствующаго каждому сколько-нибудь крупному общественному явленію и опредѣляющему его истинное значеніе. На всѣхъ путяхъ жизни двигателемъ является подборъ сильныхъ и плодовитыхъ и гибель слабыхъ и безплодныхъ или мало плодовитыхъ. Но при этомъ силу сильныхъ надо понимать въ условномъ, спеціально дарвинистскомъ смыслѣ слова. Это не абсолютная какая-нибудь сила или совершенство, а зависящая отъ совокупности обстоятельствъ времени, мѣста и образа дѣйствія. Сильный есть синонимъ не лучшаго, а наиболѣе приспособленнаго къ даннымъ условіямъ, каковое приспособленіе можетъ потребовать не величія, благородства, ума, а напротивъ, ничтожества, низости, тупости. Да и то нужно еще, чтобы физическія или психическія свойства, опредѣлившія торжество побѣдителей, были способны къ наслѣдственной передачѣ и чтобы сами побѣдители были достаточно плодовиты для укрѣпленія на болѣе или менѣе долгое время результатовъ своей побѣды. Есть у Лапужа и другое мѣрило силы или совершенства, которое онъ однако ближайшимъ образомъ не опредѣляетъ. Онъ лишь, вслѣдъ за Гальтономъ, говоритъ объ «евгенизмѣ», наслѣдственно благородныхъ чертахъ ума и главнымъ образомъ характера, а также физической силы и красоты. Но въ дѣйствительномъ ходѣ историческаго процесса побѣда «евгеническихъ» семействъ или родовъ (возможныхъ въ каждой расѣ хотя, повидимому, есть и расы евгеническія) есть частный случай.

Съ этой точки зрѣнія Лапужъ разсматриваетъ нѣкоторые историческіе моменты, значеніе скрещиванія и метизаціи, условія современной европейской жизни, милитаризма, значеніе религіозныхъ вѣрованій и т. д. Я не могу представить здѣсь не только всѣ его выводы, но даже многіе изъ интереснѣйшихъ, и остановлюсь лишь на нѣсколькихъ, собственно для уясненія точки зрѣнія автора.

Въ центральной Африкѣ идетъ непрестанная междуплеменная бойня. Вся жизнь населяющихъ центральную Африку негритянскихъ племенъ проходитъ въ кровавыхъ экспедиціяхъ за рабами и добычей и внезапныхъ нападеніяхъ, обращающихъ побѣдителей въ

побѣжденныхъ. Кровь негровъ льется рѣкой, рабы уводятся стадами на продажу, а иной разъ и на мясо. Цѣлыя области опустошаются, цѣлыя племена исчезаютъ, оставляя по себѣ слѣды лишь въ видѣ рабовъ, разбросанныхъ по племенамъ побѣдителей. «Нужна необыкновенная плодовитость негритянокъ для исполненія этого невѣроятнаго поглощенія человѣческихъ жизней. Но эта плодовитость столь велика, что Африка станетъ страшною опасностью для цивилизаціи, когда тамъ водворятся мирная жизнь и наша простѣйшая техника (nos arts les plus simples). Оттуда выйдутъ варвары будущаго, не благородной расы варвары, какъ германцы, а возможные истребители цивилизаціи» (212).

Къ этому финалу цивилизаціи Лапужъ подходитъ еще и съ другой стороны. По его соображеніямъ количество непосредственныхъ жертвъ войны въ теченіе пяти тысячъ лѣтъ цивилизаціи равняется $2^1/_2$ милліардамъ. Это, конечно, очень произвольное соображеніе, но для новѣйшаго времени мы имѣемъ болѣе точныя данныя. Войны Революціи стоили французамъ 1.800.000 жизней, а прочимъ европейскимъ народамъ — 2.500.000; войны Имперіи — 2.600.000 французамъ и 3.500.000 прочихъ. Такимъ образомъ, въ теченіе двухъ десятилѣтій война убила около 10 милліоновъ людей. Затѣмъ послѣдовало сорокъ лѣтъ сравнительно мирнаго житья, въ теченіе которыхъ въ мелкихъ войнахъ убито около 250.000. Но третья четверть нашего вѣка опять отмѣчена рядомъ кровавыхъ войнъ, — крымская, американская междуусобная, прусско-австрійская, французскія экспедиціи въ Мексику и Китай, франко-германская, русско-турецкая, англійскія войны въ Африкѣ и Азіи. И опять милліоны убитыхъ, не считая умершихъ отъ усталости, отъ болѣзней въ госпиталяхъ, отъ истощенія при осадѣ крѣпостей и т. д. Не смотря на эти ужасающія цифры, современныя войны, сравнительно рѣдкія и быстро оканчивающіяся, вырываютъ меньшую часть всего населенія, чѣмъ неустанныя бойни дикарей. Но значитъ ли это, что мы приближаемся къ вѣчному миру? Лапужъ не видитъ никакихъ основаній для положительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Онъ говоритъ: «Каждая нація, для упроченія своего будущаго, стремится раздавить другія, цѣною самыхъ тяжелыхъ жертвъ. Отсюда эти таможенныя войны, эти неслыханныя вооруженія, превращающія Европу въ обширный лагерь, отсюда эти постоянныя изысканія, порождающія чудеса въ искусствѣ истребленія, прогрессъ котораго превосходитъ всякій другой. Уже народы чувствуютъ, что у нихъ мало земли для растущаго населенія, и необходимость заставляетъ ихъ искать новыхъ территорій. Они жадно ищутъ ихъ по всему земному шару и вездѣ натыкаются на другіе народы. Сила распространенія нѣкоторыхъ расъ и окончательный

захватъ странъ, удобныхъ для колонизаціи, фатально возвратятъ людей къ древнему способу войнъ, войнъ безпощаднаго истребленія... Всѣ формулы спиритуалистической философіи о братствѣ людей разлетятся, когда политика будущаго заставитъ ихъ смотрѣть другъ на друга, какъ на приматовъ, жизнь которыхъ сама по себѣ не болѣе священна, чѣмъ жизнь быка или барана. Тогда начнется рѣзня между желтыми, бѣлыми, черными, великія націи исчезнутъ, и побѣдители удобрятъ землю костями побѣжденныхъ. Счастливы сильные и плодовитые, будущее принадлежитъ имъ!» (325—326).

Читатель благоволитъ подождать съ оцѣнкой этой мрачной картины: Лапужъ еще не окончилъ своей рѣчи.

Кто же эти «сильные и плодовитые», которые «счастливы»? Не касаясь вліянія военнаго подбора у дикарей и въ древности, посмотримъ на современность. Отъ солдатъ требуется извѣстный минимумъ физическихъ качествъ: ростъ, объемъ груди, состояніе зрѣнія, слуха, отсутствіе болѣзней. Эти-то лучшіе экземпляры націи и имѣютъ наиболѣе шансовъ оказаться въ числѣ милліонныхъ жертвъ войны, тогда какъ малорослые, узкогрудые, хроническіе больные и проч. остаются дома и получаютъ лишніе шансы оставить подобное имъ потомство. Такимъ образомъ война жжетъ, такъ сказать, свѣчку съ двухъ концовъ: съ одной стороны устраняетъ лучшихъ, дѣйствительно сильныхъ, а съ другой даетъ просторъ наслѣдственному укрѣпленію физическихъ изъяновъ. Но и вооруженный миръ, до послѣдней степени напрягая всѣ силы Европы, дѣйствуетъ въ свою очередь истощающимъ образомъ. «Позволительно спросить себя, отвѣтствуютъ ли же всѣ эти жертвы результатамъ, не вносятъ ли экономическія тяжести свою долю въ подборъ слабыхъ и не кончится ли дѣло разгромомъ истощенной разоренной Европы въ тотъ день, когда произойдутъ столкновенія, въ сравненіи съ которыми франко-германская война покажется дѣтской забавой. Какъ бы ни надувались (auront beau s'enfler) Франція и Германія, онѣ окажутся слабыми передъ колоссальными націями, которыя ставятъ ужасъ грядущаго вѣка. Было бы благоразумнѣе сберегать силы теперь и соединить ихъ потомъ, чтобы обезпечить свое существованіе черезъ сто лѣтъ» (242).

Какъ сейчасъ увидимъ, Лапужъ не разъ еще возвращается къ пророчеству разгрома европейской цивилизаціи новыми варварами. Какъ бы мы ни относились къ этому предвидѣнію, но относительно пагубнаго значенія войны едва ли существуютъ большія разногласія. Тѣ или другія частныя цѣли, требующія войны для своего осуществленія (напримѣръ, идея «реванша» во Франціи), могутъ увлекать массы, и даже до умопомраченія, но что война, какъ

война, есть страшное бѣдствіе, въ этомъ мало кто сомнѣвается. Это во всякомъ случаѣ не казовый конецъ европейской цивилизаціи. Возьмемъ какое-нибудь другое явленіе современной общественной жизни.

Возьмемъ современный «урбанизмъ», какъ выражается Лапужъ—стремленіе къ переселеніямъ изъ деревень въ города, придающее цивилизаціи столько блеска. Съ точки зрѣнія Лапужа это явленіе отнюдь не утѣшительное, чреватое большими бѣдствіями. Городское населеніе Франціи поднялось съ 24,4% въ 1846 г. до 37,4 въ 1891. Въ настоящее время оно равняется 15 милліонамъ и по разсчетамъ Тюркана охватитъ въ 1920 г. половину всего населенія Франціи, если что-нибудь не измѣнитъ демографическаго движенія. Въ Англіи притягательная сила городовъ, повидимому, клонится къ уменьшенію, но она уже охватила почти половину всего населенія. Далѣе, въ составѣ городского населенія число дѣтей и стариковъ ниже нормальной пропорціи. По вычисленіямъ Ланна, въ городахъ съ населеніемъ свыше 30,000 число лицъ между 20 и 40 годами достигаетъ 37,6%, а во всей Франціи—29,8. Въ нѣкоторыхъ городахъ процентъ поднимается до 40, 49 и даже 51%. Это объясняется приливомъ въ города наиболѣе дѣятельныхъ, энергичныхъ элементовъ, но собственно рождаемость населенія большихъ городовъ настолько слаба, что оно не въ состояніи было бы держаться на одномъ уровнѣ, если бы не этотъ приливъ силъ со стороны. Каковы же результаты этого положенія вещей? Надо замѣтить, что Лапужъ исходитъ изъ спеціально антропологической точки зрѣнія, не всегда однако имъ выдерживаемой, и, между прочимъ, много говоритъ о расовыхъ отличіяхъ, какъ они опредѣляются отношеніемъ между продольнымъ и поперечнымъ діаметромъ черепа. Такъ и въ настоящемъ случаѣ онъ видитъ въ результатѣ «урбанизма» подтвержденіе «закона» нѣмецкаго антрополога Аммона, который гласитъ: «въ тѣхъ областяхъ, гдѣ существуетъ брахицефалическій типъ, онъ имѣетъ тенденцію сосредоточиваться въ деревняхъ, а долихоидный типъ—въ городахъ». Я избѣгаю въ своемъ изложеніи мыслей Лапужа этихъ спеціально краніометрическихъ подробностей, такъ какъ и безъ нихъ дѣло ясно. Въ подтвержденіе своихъ соображеній о значеніи «урбанизма» Лапужъ ссылается на замѣчательное изслѣдованіе П. Якоби «Etudes sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité chez l'homme» (1881; часть этой работы была когда-то напечатана по-русски въ журналѣ «Знаніе»); но, говоритъ онъ, Якоби, повидимому, не подозрѣвалъ «антропологическаго значенія» указанныхъ имъ явленій. Между тѣмъ, почти все, что хочетъ въ данномъ случаѣ сказать Лапужъ, совершенно ясно сказано у Якоби. Это именно

слѣдующее. Дѣятельные элементы деревни, ищущіе простора, желающіе пробиться впередъ, уходятъ изъ деревень въ города, и тамъ либо погибаютъ, влача жалкую жизнь, либо устраиваются благополучно, но въ деревню возвращаются лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Въ городахъ они женятся, производя потомство, въ умственномъ отношеніи высшее, чѣмъ ихъ деревенскіе современники, такъ какъ они представляютъ сливки своего общества, и этотъ высшій уровень поддерживается новыми пришельцами и новыми браками слѣдующаго поколѣнія; деревня же тѣмъ временемъ, отдавая городу свои лучшія силы, бѣднѣетъ энергичными, дѣятельными, умственно превышающими средній уровень людьми.—Если вставить въ это соображеніе, куда слѣдуетъ, брахицефаловъ и долихоцефаловъ, то и получится «законъ» Аммона. Лапужъ на этомъ, однако, не останавливается и отмѣчаетъ еще сравнительно слабую рождаемость горожанъ, при томъ слабость, все растущую: долихоцефалическія, будемъ такъ говорить, сливки деревенскаго населенія, переселяясь изъ поколѣнія въ поколѣніе въ большіе центры, тамъ даютъ лишь немногочисленное подобное имъ потомство, тогда какъ остающіеся на мѣстѣ представители брахицефалическаго типа размножаются сравнительно быстро. Съ теченіемъ времени этотъ процессъ долженъ истощить всякую націю, особенно, если принять въ соображеніе, что притягательная сила большихъ центровъ не пропорціональна ихъ потребностямъ Приливъ силъ извнѣ часто превышаетъ спросъ на нихъ и отсюда масса всякаго рода неудачниковъ и паразитовъ. «Изъ всѣхъ бичей, которые называются соціальными подборами—регрессивными!—самый сильный есть городской подборъ. Результатъ плутократіи и роскоши, auri sacra fames стягиваютъ людей въ города. Урбанизмъ уничтожаетъ всѣ, что намъ осталось жизненнаго послѣ цѣлыхъ вѣковъ невыгодныхъ подборовъ. Мы уже потеряли почти всѣ наши долихобѣлокурые элементы, и вотъ теперь исчезаютъ ихъ метисы и лучшіе изъ брахицефаловъ. Во Франціи, да и на всемъ континентѣ Европы близокъ часъ, когда останутся лишь ограниченные и инертные остатки мертвыхъ націй, жалкіе остатки, которые станутъ добычей непредвидѣнныхъ побѣдителей. Такъ погибъ эллинскій міръ, такъ погибнетъ и вся цивилизація, если человѣкъ не захочетъ воспользоваться великою силою наслѣдственности, которая представляетъ нынѣ принципъ смерти, но изъ котораго наука, это провидѣніе нашего времени, можетъ извлечь спасеніе и жизнь» (408).

Прежде, чѣмъ обратиться къ тѣмъ средствамъ, которыя наука, по мнѣнію Лапужа, можетъ указать для предотвращенія тѣхъ золъ, которыя она же намъ раскрываетъ, осмотримся еще немного въ

этихъ раскрытіяхъ. Я остановился пока только на двухъ пунктахъ книги Лапужа,—на военномъ и городскомъ подборѣ, отчасти, признаться, заинтересованный тѣмъ, что въ этихъ его разсужденіяхъ повторяется мотивъ святочной фантазіи г. Мамина (разгромъ цивилизаціи варварами), а отчасти потому, что нѣкоторыхъ другихъ пунктовъ нахожу удобнѣе коснуться ниже. Думаю, однако, что и теперь теоретическая точка зрѣнія Лапужа достаточно ясна. Она вполнѣ заслуживаетъ названія дарвинистской точки зрѣнія, если разумѣть, какъ справедливо разумѣетъ и Лапужъ, подъ дарвинизмомъ, главнымъ образомъ, теорію подбора. Признавая подборъ тою основною пружиной, которая управляетъ всѣмъ ходомъ историческаго процесса, Лапужъ вовсе не отрицаетъ вліянія другихъ факторовъ. Онъ говоритъ лишь, что эти вліянія или ничтожны, въ концѣ концовъ, или получаютъ значеніе въ зависимости отъ того, какъ и въ какой мѣрѣ результаты ихъ подхватываются и направляются подборомъ. И это, конечно, совершенно согласно съ теоріей Дарвина. Правда, выводы Лапужа своимъ мрачнымъ колоритомъ какъ будто противорѣчатъ оптимистическому заключенію знаменитой книги Дарвина: «Изъ вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, какое мы можемъ себѣ представить, а именно возникновеніе высшихъ формъ жизни». Но впослѣдствіи дарвинизмъ сдѣлалъ много уступокъ изъ своего оптимизма, а самъ Дарвинъ, на вопросъ Ляйелля о паденіи эллинской цивилизаціи, отвѣчалъ такъ: «Этотъ фактъ былъ бы рѣшительнымъ затрудненіемъ для доктрины Ламарка о необходимомъ прогрессированіи, раздѣлявшейся и авторомъ «Vestiges»; но для моей точки зрѣнія, по которой прогрессированіе зависитъ отъ условій, это вовсе не возраженіе и вполнѣ гармонируетъ съ другими фактами прогрессированія въ структурѣ другихъ животныхъ. Потому что въ государствѣ при анархіи, деспотизмѣ или дурномъ управленіи, или также послѣ вторженія варваровъ, конечно, возьмутъ перевѣсъ насиліе, сила или жестокость, а не разумъ» (цитирую по книгѣ г. Антоновича, стр. 33 и слѣд.). Лапужъ, совершенно соглашаясь съ основною мыслью этой цитаты, не ограничился бы такимъ общимъ выраженіемъ ея. «Насиліе, сила, жестокость» сами по себѣ для него вовсе не страшныя или гибельныя вещи; надо еще знать, какъ отражаются они на различныхъ элементахъ населенія, какимъ изъ нихъ они даютъ просторъ путемъ приспособленія и размноженія и какіе, напротивъ, стѣсняются ими и выкидываются за бортъ. Въ этомъ смыслѣ и написана глава «Древняя Греція и соціальный подборъ» (409—442). Древняя Греція поднялась на историческомъ горизонтѣ блестящимъ метеоромъ, благодаря «крови» населенія, его высокому антропологическому типу, но какъ метеоръ

же и исчезла, благодаря дѣйствію метизаціи, подбора военнаго, городского, политическаго, которые довели націю до умственнаго и нравственнаго истощенія.

Таковъ, повидимому, ходъ развитія каждаго историческаго народа, съ тою лишь разницей, что одни быстрѣе, другіе медленнѣе пробѣгаютъ фатальный кругъ. Для зарожденія историческаго народа требуется появленіе въ данной соціальной средѣ высшихъ этническихъ элементовъ, способныхъ направлять и вести за собой массы. До сихъ поръ это были обыкновенно пришлые завоеватели, но, говоритъ Лапужъ, теоретически допустимъ и соотвѣтственный внутренній подборъ «евгеническихъ» родовъ или семей. Пока эти представители евгенизма безпрепятственно размножаются, передавая потомкамъ свои высокія качества, и стоятъ во главѣ народа, онъ процвѣтаетъ. Но по достиженіи высшаго блеска и развитія начинается обратное движеніе, регрессъ, вызываемый разными видами неблагопріятнаго соціальнаго подбора. Изучая послѣдній, мы приходимъ къ самымъ пессимистическимъ заключеніямъ. Такъ было, такъ и будетъ. Какъ погибли древнія цивилизаціи, такъ погибнетъ и современная европейская. Сумма знаній и матеріальная мощь будутъ накопляться, но человѣкъ будетъ терять свою цѣнность, и грандіозныя мечты утопистовъ разобьются объ ничтожество нашихъ потомковъ. Мечтательный сантиментализмъ нашихъ отцовъ видѣлъ въ наукахъ пророчицъ грядущаго совершенства или счастія. Въ дѣйствительности науки пророчатъ совсѣмъ иное. Астрономія учитъ насъ бренности отдѣльныхъ міровъ, въ томъ числѣ и земли, которая задолго до своего собственнаго конца станетъ необитаемою. Палеонтологія развертываетъ передъ нами картину гибели цѣлаго ряда могучихъ и высоко развитыхъ существъ. Для нѣкоторыхъ палеонтологія представляется особенно выразительною свидѣтельницею неустаннаго прогресса жизненныхъ формъ на землѣ. Это иллюзія. Эволюція совершается не въ одномъ какомъ-нибудь направленіи и въ частности не непремѣнно въ направленіи къ совершенству, какъ мы себѣ его представляемъ. Она движетъ формы жизни разными путями въ разныя стороны и нерѣдко назадъ, въ сторону регресса или даже прекращенія. Мало того, Лапужъ считаетъ возможнымъ установить «законъ быстраго истребленія наиболѣе совершенныхъ». Исчезнувшія высокія формы жизни отступили не передъ высшими, а побѣждены какими-нибудь ничтожными, но сильными своимъ ничтожествомъ врагами, — микробами, паразитами. Такъ и въ человѣческомъ обществѣ. Нѣтъ никакого основанія предполагать, что въ борьбѣ одолѣваетъ высшій, лучшій въ какомъ бы то ни было отношеніи. Пошлость и ничтожество могутъ служить за-

логомъ успѣха, а величіе—причиной пораженія. Это мы и видимъ въ дѣйствительности.

Но намъ обѣщано, что наука, раскрывающая картину все возрастающаго зла, укажетъ и средство излѣченія, обративъ ядъ подбора и наслѣдственности въ противоядіе. Средство это состоитъ въ «систематическомъ подборѣ», который, конечно, не задержитъ мірового процесса и грядущей гибели нашей планеты, но можетъ на неопредѣленно долгое время парализовать губительное дѣйствіе безсистемнаго, не руководимаго наукой соціальнаго подбора.

Здѣсь мы вернемся немножко назадъ, къ предъидущимъ главамъ книги Лапужа, трактующимъ о различныхъ видахъ соціальнаго подбора, — подборѣ политическомъ, религіозномъ, нравственномъ и проч. Мы, впрочемъ, не будемъ близко держаться изложенія Лапужа и въ короткихъ словахъ передадимъ его общую мысль, не стѣсняясь даже его фактическими иллюстраціями.

Гоненіе на гугенотовъ стоило Франціи около милліона трудолюбиваго и даровитаго населенія, и эта цифра далеко не выражаетъ всей потери, потому что къ ней надо прибавить отчасти вѣроятное, отчасти дѣйствительное потомство этого милліона убитыхъ, изгнанныхъ и бѣжавшихъ. Это былъ подборъ, и, пожалуй, систематическій подборъ, такъ какъ систематически устранялись или ставились въ неблагопріятныя условія представители извѣстнаго рода несогласно мыслящихъ, чѣмъ косвенно какъ бы выдавалась премія согласно мыслящимъ, совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было ихъ другихъ признаковъ. Въ политической жизни народовъ это—не рѣдкое явленіе. Въ мрачныя времена Тиверія и Нерона, путемъ казней, ссылокъ, конфискацій имущества, выбрасывались за бортъ или ставились въ тяжелыя жизненныя условія такъ называемые «подозрительные». Въ числѣ ихъ были люди большихъ дарованій, энергіи, люди съ возвышенной душой, трудно мирившіеся съ существующимъ порядкомъ, люди твердаго характера и недюжиннаго ума. Если подобные люди устраняются въ теченіе многихъ лѣтъ изъ года въ годъ, то это, понятно, должно отразиться на общемъ уровнѣ націи пониженіемъ. И это можно бы было назвать настоящимъ систематическимъ подборомъ, но подъ послѣднимъ Лапужъ разумѣетъ нѣчто иное, а именно систематическій же подборъ, но основанный на указаніяхъ науки. Зачатки его онъ видитъ въ нѣкоторыхъ древнихъ законодательствахъ, воспрещавшихъ браки съ представителями низшихъ расъ или низшихъ классовъ, и въ нѣкоторыхъ утопіяхъ. Однако научный селекціонизмъ сталъ возможенъ лишь со времени изслѣдованій Дарвина. Дѣло это новое и много

еще загадочнаго, проблематическаго въ томъ освѣщеніи, которое селекціонистская точка зрѣнія бросаетъ на наши житейскія дѣла. Одно несомнѣнно для Лапужа: какъ всѣ установившіеся взгляды на фактическій ходъ явленій общественной жизни, такъ и субъективная ихъ оцѣнка подлежатъ радикальному пересмотру. Мы ничего не поймемъ ни въ исторіи, ни въ текущей дѣйствительности, пока не примемъ въ соображеніе дѣйствія соціальнаго подбора, а это дѣйствіе сказывается на каждомъ шагу, въ концѣ концовъ налагая свою печать на всѣ результаты политическаго, экономическаго, правового, нравственнаго развитія. Вмѣстѣ съ тѣмъ селекціонизмъ установляетъ новое мѣрило добра и зла какъ въ области общественнаго блага, такъ и въ области личной нравственности, а затѣмъ отваживается указать рядъ практическихъ мѣропріятій, долженствующихъ уврачевать раны, наносимыя человѣчеству соціальнымъ подборомъ. Говорю—«отваживается», потому что, дѣйствительно, нужна большая отвага, чтобы предъявить нѣкоторыя изъ этихъ указаній, съ нашей теперешней точки зрѣнія возмутительныхъ. Лапужъ очень хорошо знаетъ это, но утѣшаетъ себя тѣмъ, что мѣрило добра и зла уже не разъ мѣнялось въ исторіи, а потому и то, что нынѣ считается добромъ, можетъ по прошествіи извѣстнаго времени оказаться зломъ, и наоборотъ. Въ предисловіи Лапужъ говоритъ, что читатель найдетъ въ концѣ его книги полный (до весны 1895 г.,—прибавляетъ онъ для большей точности) обзоръ литературы научнаго селекціонизма. Въ дѣйствительности, этотъ обзоръ далеко не полонъ, но любопытно отмѣтить характеристику этой литературы, дѣлаемую Лапужемъ: «ученія жесткія и грубыя (rudes et brutales), но положительныя и плодотворныя, способныя открыть намъ будущее».

Дѣло въ томъ, что Европа переживаетъ нѣкоторый нравственный кризисъ: ходячая, полученная по преданію мораль отживаетъ свой вѣкъ, а новая, «научная» и именно «селекціонистская», еще не сложилась окончательно и только вырабатывается и потому здѣсь возможны разныя колебанія и разногласія. Въ общемъ вся селекціонистская литература преслѣдуетъ двойную задачу: изысканіе способовъ 1) устраненія зловредныхъ элементовъ изъ общества, 2) усовершенствованія высшихъ элементовъ. Одинъ изъ проектовъ этого рода, предложенный авторомъ книги «Die Aristocratie des Geistes etc.», мы видѣли. Лапужъ одобряетъ этотъ планъ, находя его очень остроумнымъ. «Я охотно вѣрю, говоритъ онъ, что если бы во Франціи былъ городъ, въ которомъ спиртные напитки давались бы даромъ, то всѣ алкоголики сосредоточились бы тамъ, какъ собираются садовыя улитки на капустный листъ, смазанный мыломъ. Родительскія чувства очень слабы у всѣхъ дегенерантовъ:

половой актъ есть для нихъ дѣло только наслажденія». Поэтому при извѣстныхъ условіяхъ (Лапужъ входитъ въ подробности), они охотно останутся бездѣтными и реформа могла бы произойти à l'amiable, полюбовно (486). Но это, повидимому, не такъ удобоисполнимо, какъ остроумно, хотя бы уже потому, что и кромѣ алкоголиковъ есть понижающіе уровень расы элементы, которые въ кабакъ-городъ не пойдутъ: страдающіе разными наслѣдственно передаваемыми болѣзнями, многіе преступники и порочные. Какъ быть съ ними? Прежде всего надлежитъ воспитывать общественное мнѣніе въ смыслѣ долга передъ человѣческимъ родомъ. Это долгъ превыше всѣхъ законовъ и всякой морали, ибо вѣчны и неотмѣнимы только законы подбора. Надо стараться вообще изгнать ту сантиментальную филантропію, въ силу которой мы оказываемъ покровительство слабымъ и больнымъ. Затѣмъ, въ частности, желательно, чтобы больные и слабые сами сознали свою обязанность оставаться бездѣтными, а «евгеники» получили возможность, ничѣмъ не стѣсняясь, производить какъ можно больше дѣтей. Распространеніе этихъ идей поведетъ за собой учрежденіе частныхъ обществъ, преслѣдующихъ цѣли усовершенствованія человѣческой породы; это выработаетъ соотвѣтственные нравы, которые отразятся наконецъ и на законодательствѣ. Законодательству Лапужъ вообще усваиваетъ въ будущемъ чрезвычайно дѣятельную роль и, возставая противъ демократическаго принципа равенства, неоднократно говоритъ любезности по адресу соціализма, собственно потому, что представляетъ себѣ соціалистическій идеалъ въ видѣ строго регламентированнаго общества. Въ направленіи регламентаціи онъ доходитъ до предположенія, что «въ недалекомъ, можетъ быть, будущемъ придется ввести обязательную половую службу, на подобіе воинской повинности»,—конечно, для «евгениковъ»...

Характерны разсужденія Лапужа о смертной казни. Оговорившись, что понятія о преступномъ дѣяніи измѣнчивы, онъ замѣчаетъ, однако, что въ настоящемъ преступникъ долженъ быть поставленъ въ невозможность вредить обществу, а въ будущемъ — лишенъ возможности оставить потомство, ибо всегда есть вѣроятность, что и въ немъ есть дремлющіе задатки преступности. Подозрительны даже его ближайшіе родственники, вся его семья. Поэтому вполнѣ научно поступали древнія законодательства, привлекавшія къ отвѣтственности въ важныхъ случаяхъ всю семью преступника. «Христіанство и философы ввели идею личной отвѣтственности, необходимое слѣдствіе спиритуалистической теоріи». Во всякомъ случаѣ «устраненіе преступныхъ элементовъ путемъ смертной казни, легальнаго рабства и другими средствами очи-

щало общество отъ потомства безчисленныхъ порочныхъ индивидовъ». Въ Америкѣ образовались общества, требующія кастраціи для сифилитиковъ и преступниковъ. Лапужъ находитъ, что въ этихъ проектахъ есть нѣчто достойное вниманія (il y a du bon), но полагаетъ, что можно обойтись и безъ такой крайней мѣры. Онъ предлагаетъ за распространеніе сифилиса наказывать тюрьмой на срокъ, достаточный для выздоровленія или обезвреживанія заключеннаго. и штрафомъ въ пользу зараженнаго. А затѣмъ должны быть воспрещены браки сифилитикамъ, а также и преступникамъ, которымъ, впрочемъ, остаются еще каторжныя работы и смерть—«рѣшеніе вѣрное, экономное и энергически селективное» (321—324).

Я затрудняюсь входить въ детали нѣкоторыхъ курьезнѣйшихъ проектовъ Лапужа и другихъ селекціонистовъ. Приведу еще только свидѣтельство его вѣры въ безграничную силу «научнаго систематическаго подбора»: можно бы было создать общество, въ которомъ были бы расы музыкантовъ, гимнастовъ, натуралистовъ, рыбаковъ, земледѣльцевъ, кузнецовъ. Это было бы легче той задачи, которую рѣшила природа у муравьевъ, термитовъ, пчелъ и медузъ. Наконецъ тріумфъ политики состоялъ бы въ созданіи путемъ подбора, общества оптимистовъ, всегда всѣмъ довольныхъ; проблема общаго счастія была бы рѣшена, и я даже не вижу возможности другихъ рѣшеній, потому что кругъ нашихъ желаній растетъ вмѣстѣ съ кругомъ нашихъ знаній, и человѣкъ чувствуетъ себя тѣмъ несчастнѣе, чѣмъ, повидимому, менѣе имѣетъ причинъ быть несчастнымъ» (474).

Многое изъ приведеннаго можетъ показаться читателямъ по малой мѣрѣ страннымъ. Какъ бы мы ни относились, однако, къ воззрѣніямъ Лапужа, не забудемъ его предупрежденія, что мы имѣемъ дѣло съ совершенно новымъ міровоззрѣніемъ, которому, по его мнѣнію, принадлежитъ будущее, хотя оно уже и теперь имѣетъ многихъ представителей. Онъ вовсе и не думаетъ согласовать свои взгляды съ какою бы то ни было существующею системою воззрѣній. Онъ желаетъ построить новую, «селекціонистскую» соціологію и новую, селекціонистскую этику, исходя изъ принциповъ теоріи Дарвина, которую разумѣетъ, если не исключительно, то главнымъ образомъ, какъ теорію подбора. Онъ поэтому не приметъ возраженій, исходящихъ изъ какой-нибудь другой точки зрѣнія. Критикѣ надлежитъ, во-первыхъ, подвергнуть разсмотрѣнію исходную точку Лапужа,—теорію подбора, какъ главнѣйшаго фактора соціальной эволюціи, при чемъ окажется нужнымъ опредѣлить и характеръ, и границы естественнаго подбора въ біологіи; а во-вторыхъ, оцѣнить степень логичности выводовъ Лапужа изъ основныхъ посылокъ, при чемъ несостоятельность того или другого отдѣльно взятаго

вывода или даже цѣлаго ряда ихъ еще не компрометируетъ исходной точки.

Какъ уже сказано, въ концѣ своей книги Лапужъ даетъ весьма неполный обзоръ «селекціонистской» литературы. Обзоръ гораздо болѣе полный читатель найдетъ въ книгѣ Тилле (Alexander Tille) «Von Darwin bis Nietzche» (1895), но по отношенію къ частной области. Произведеніе Тилле имѣетъ подзаглавіе—«Ein Buch Entwicklungsethik», «книга эволюціонной этики». Въ предисловіи авторъ поминаетъ, между прочимъ, и Лапужа, но не считаетъ возможнымъ останавливаться на его и нѣкоторыхъ другихъ писателей работахъ по «дарвинистской *соціологіи*». Это, говоритъ онъ, обширная тема, могущая составить предметъ особой работы, а самъ онъ ограничивается областью «эволюціонной *этики*». Вышеизложенная книга Лапужа вышла позже книги Тилле, который зналъ лишь нѣкоторыя отдѣльныя ея главы, печатавшіяся въ разныхъ научныхъ журналахъ съ 1886 года. Если бы онъ зналъ всю книгу Лапужа, онъ несомнѣнно ввелъ бы ее въ свой обзоръ. Мы видѣли, что Лапужъ говоритъ о кризисѣ морали въ средѣ современной европейской цивилизаціи, объ томъ, что одни, ходячія, этическія воззрѣнія теряютъ въ ней свой кредитъ, а другія, «научныя», еще только складываются подъ вліяніемъ теоріи развитія и въ частности дарвинизма. Это одна изъ основныхъ мыслей книги Тилле, при чемъ и характеръ, и самыя наименованія двухъ этическихъ теченій въ изложеніи обоихъ писателей совпадаютъ.

Было бы не трудно, говоритъ Тилле, дедуктивно вывести изъ принциповъ эволюціи новую этическую систему, но онъ не хочетъ этимъ заниматься. Онъ предпочитаетъ разсмотрѣть, какія измѣненія должна произвести теорія эволюціи въ существующей этикѣ, что въ послѣдней, подъ вліяніемъ новыхъ научныхъ горизонтовъ, можетъ остаться неприкосновеннымъ и что должно уступать мѣсто новымъ нравственнымъ нормамъ. Этическія воззрѣнія не представляютъ собою чего-нибудь неподвижнаго. Неизмѣнно въ нихъ лишь требованіе согласія между убѣжденіями и дѣйствіями. Когда Аристотель защищалъ рабство или Кальвинъ сжигалъ на кострѣ Сервета, они дѣйствовали согласно своимъ убѣжденіямъ и, слѣдовательно, по своему нравственно, но убѣжденія постоянно измѣняются въ исторіи, и то, что считалось нравственнымъ когда-то, можетъ оказаться глубоко безнравственнымъ нынѣ. Дѣйствіе, направленное къ тому, чтобы сдѣлать людей счастливѣе, можетъ оказаться совершенно противоположнымъ направленному къ тому, чтобы сдѣлать ихъ сильнѣе и умнѣе. Но оба они могутъ быть нравственны, каждое съ своей точки зрѣнія, и именно первое будетъ «демократически-

гуманно нравственно», а второе — «эволюціонно нравственно». Между этими двумя точками зрѣнія естественно возникаетъ борьба. Напримѣръ, старое, отживающее міровоззрѣніе ничего не имѣло противъ браковъ чахоточныхъ. Оно считало ихъ нравственными. Но въ общее сознаніе уже начинаетъ пробиваться скептическое отношеніе къ подобнымъ бракамъ, въ виду ихъ гибельнаго вліянія какъ на потомство, такъ и на самихъ брачущихся. И недалеко время, когда они будутъ признаны прямо безнравственными. Прислушиваясь къ біенію пульса жизни, которое сказывается въ тысячѣ мелочей, въ родѣ салоннаго разговора, газетной статьи, беллетристическаго разсказа и т. п., мы убѣждаемся въ существованіи легкихъ, но постоянно повторяющихся передвиженій нравственныхъ понятій въ извѣстную сторону, и именно «въ сторону упраздненія мечты о равенствѣ всѣхъ людей и вниманія къ фактамъ наслѣдственности; въ цѣломъ они опредѣляются естествознаніемъ и въ особенности ученіемъ о развитіи» (16). «Великое счастіе для культурнаго человѣчества, что эволюція при посредствѣ естественнаго подбора въ борьбѣ за существованіе открыта все-таки во-время, прежде, чѣмъ утвердились всѣ практическіе выводы изъ идеала всеобщаго равенства» (19). Эволюціонное ученіе не знаетъ равныхъ людей, оно знаетъ лишь сильныхъ и слабыхъ, здоровыхъ и больныхъ, высоко и низко развитыхъ, а нравственнымъ идеаломъ съ его точки зрѣнія является подъемъ, усовершенствованіе человѣческой породы путемъ борьбы и подбора.

Не входя въ подробныя сравненія взглядовъ Лапужа и Тилле, замѣчу, что послѣдній гораздо оптимистичнѣе смотритъ на роль соціальнаго подбора (какъ и на роль естественнаго подбора въ біологіи) и предлагаетъ гораздо болѣе мягкіе проекты общественныхъ реформъ при помощи «систематическаго» подбора. Они, впрочемъ, и не входятъ въ задачу Тилле. Лишь мимоходомъ говоритъ онъ о желательности воспрещенія браковъ людямъ, страдающимъ наслѣдственными болѣзнями, и возстаетъ (какъ и Лапужъ) противъ дѣйствующаго наслѣдственнаго права. Вообще же онъ ограничивается областью морали, и здѣсь слѣдитъ за борьбою между «демократически-гуманною» моралью и моралью «эволюціонною», въ сущности тою самою, которую Лапужъ называетъ селекціонистскою или научною.

Теорія Дарвина властно отозвалась не только въ области его спеціальныхъ изслѣдованій, но и далеко за ея предѣлами, въ томъ числѣ и въ области этики. Но здѣсь мы встрѣчаемъ крайнее разнообразіе мнѣній и выводовъ. Въ противоположность тому, что произведено теоріей Дарвина въ біологіи,—въ этикѣ (да и вообще въ обществознаніи) подъ ея вліяніемъ, собственно говоря, ника-

кого коренного переворота до сихъ поръ не произошло. Мы имѣемъ огромную литературу дарвинистской соціологіи, но если присмотрѣться къ ней ближе, то увидимъ что люди самыхъ разнообразныхъ нравственно-политическихъ убѣжденій тянутъ дарвинизмъ въ свою сторону или, говоря иначе, одинаково стремятся связать съ нимъ свою доктрину. Соціалъ-демократъ Бебель утверждаетъ, что «дарвинизмъ есть въ высшей степени демократическая наука» (Die Frau und der Socialismus, 195) и что изъ него логически вытекаетъ требованіе «равныхъ и благопріятныхъ условій существованія» для всѣхъ людей. Но Бебель знаетъ, что есть и иные взгляды, къ которымъ примыкаютъ многіе естествоиспытатели и которые онъ формулируетъ такъ: «Дарвинизмъ, наоборотъ, аристократическое ученіе, такъ какъ онъ учитъ, что высшая форма и болѣе сильный видъ уничтожаютъ въ природѣ низшую форму и болѣе слабый видъ». Соціалъ-демократъ Каутскій говоритъ, что «теперешняя этика является плодомъ дарвинизма» («Очерки и этюды». Спб. 1895, стр. 21), но этотъ плодъ оказывается настолько невыясненнымъ, что Каутскій пишетъ: «Въ какія бы естественно-научныя мантіи ни драпировались господа манчестеріанцы, сколько бы въ руку имъ ни трубили даже знаменитые естествоиспытатели, будто война всѣхъ противъ всѣхъ имѣетъ свое основаніе въ самой природѣ, будто устраненіе ея остановило бы дальнѣйшее развитіе человѣчества; съ какимъ бы пренебреженіемъ они ни относились ко всякимъ попыткамъ устранить войну всѣхъ противъ всѣхъ, называя ихъ «сантиментальными»,—они этимъ только доказываютъ, какъ ограниченно, какъ поверхностно поняли они ученіе о борьбѣ за существованіе» (12). Во всякомъ случаѣ существуетъ длинный рядъ буржуазныхъ писателей,—въ числѣ которыхъ есть дѣйствительно знаменитые естествоиспытатели, — дѣлающихъ изъ теоріи Дарвина выводы, прямо противоположные тѣмъ, къ которымъ приходятъ Бебель, Каутскій и др. И этому противоположному теченію оказываетъ значительную поддержку новѣйшее обостреніе дарвинизма—ученіе Вейсмана. Есть даже попытки сближенія дарвинизма съ нѣкоторыми сторонами ученія знаменитаго апологета феодально-аристократическаго режима, де-Местра (см. Paulhan «Joseph de Maistre et sa philosophie», 1893, p. 138). Быть можетъ, эта разноголосица и побудила Лабріола (соціалъ-демократа) протестовать противъ «политическаго и соціальнаго дарвинизма, который уже давно эпидемически захватилъ умы многихъ мыслителей и еще болѣе—адвокатовъ и декламаторовъ соціологіи» (Essais sur la conception matérialiste de l'histoire. 1897, p. 139). Воздавая должное заслугамъ Дарвина въ біологіи и въ дѣлѣ укрѣпленія общей идеи эволюціи, Лабріола склоненъ совершенно отрицать значеніе теоріи

Дарвина для соціологіи. «Наше ученіе не должно быть смѣшиваемо съ дарвинизмомъ», говоритъ онъ (146). «Не должно быть смѣшиваемо», это такъ и достаточно поучительно для людей, полагающихъ, что дарвинизмъ и извѣстныя соціальныя ученія едино суть. Но, въ связи съ нѣкоторыми другими явленіями новѣйшей соціологической литературы, можно опасаться что здѣсь сквозитъ желаніе слишкомъ ужъ отгородить общественныя науки отъ естествознанія и свести собственно соціальное значеніе послѣдняго на роль поставщика техническихъ открытій и усовершенствованій. Эта реакція противъ увлеченія біологическими аналогіями и прямыхъ перенесеній истинъ естествознанія въ соціологію можетъ зайти слишкомъ далеко. Не годится, какъ говорятъ нѣмцы, выплескивать изъ ванны, вмѣстѣ съ водой, и ребенка. Впрочемъ, Лабріола съ своимъ открытымъ и рѣзкимъ рѣшеніемъ «не смѣшиваться съ дарвинизмомъ», сколько мнѣ извѣстно, составляетъ исключеніе. Ученіе Дарвина нанесло одинъ изъ рѣшительныхъ ударовъ традиціоннымъ взглядамъ на мѣсто человѣка въ природѣ, и это привлекло къ нему всѣхъ свободомыслящихъ, какъ бы ни разнились ихъ кровныя убѣжденія по другимъ пунктамъ. И теорія Дарвина не примиряетъ ихъ по этимъ другимъ пунктамъ, хотя всѣ они желаютъ связать свои взгляды съ ученіемъ многодумнаго старца, имя котораго гремитъ по всему міру. Спеціалисты біологи вносятъ свои поправки и дополненія въ теорію Дарвина, но, когда рѣчь заходитъ о вопросахъ нравственно-политическихъ, рѣдко кто отваживается, признавая огромныя заслуги «генеральнаго буржуа-натуралиста» (выраженіе покойнаго Ножина, давно уже мною приведенное), свободно отнестись къ его теоріи. Компетенція дарвинизма въ соціологіи признается въ слишкомъ общихъ, расплывающихся чертахъ и оказывается принятою на вѣру. Не столько даже опредѣленный ходъ мыслей, сколько трудно уловимое настроеніе часто побуждаютъ говорящихъ и пишущихъ на эту тему сваливать въ одну кучу дарвинизмъ и тѣ или другія соціальныя ученія. Въ грубой конечно, формѣ это настроеніе можетъ быть выражено такъ: дарвинизмъ непогрѣшимъ, такое-то соціальное ученіе тоже непогрѣшимо, значитъ они должны совпадать. И въ этомъ направленіи можно наконецъ дойти до очевидной фактической неправды, какъ дошелъ до нея г. Антоновичъ, утверждая, что «общественные представители буржуазной конкурренціи и эксплуатаціи» не относились къ теоріи Дарвина «съ распростертыми объятіями и шумными одобреніями». Нѣтъ, именно такъ относились и относятся, и на писанія этого рода не слѣдуетъ трусливо закрывать глаза или отрицать ихъ существованіе...

Обратимся къ Тилле. Уже самое заглавіе его книги показы-

ваетъ, что, по его мнѣнію, съ Дарвина началось въ области этики что-то важное новое, что получило свое завершеніе въ Ничше. И дѣйствительно, тридцатилѣтній періодъ 1859—1890 г. Тилле рекомендуетъ будущему историку, какъ время постепенной выработки новой, «эволюціонной» этики. Дарвинъ положилъ ей фактическія основанія, но онъ былъ слишкомъ «демократъ», чтобы вывести изъ этихъ основаній всѣ надлежащія слѣдствія. Въ біологіи онъ понималъ вещи правильно. Онъ признавалъ, что, если не всѣ зародыши извѣстнаго вида выживаютъ, то это главнымъ образомъ потому, что они не равны между собой, не равноцѣнны для вида: выживаютъ сильные, гибнутъ слабые. Въ этомъ и состоитъ естественный подборъ, постепенно совершенствующій видъ, чему способствуетъ и половой подборъ, при которомъ опять-таки одолѣваетъ въ борьбѣ за самку сильнѣйшій и гибнетъ слабѣйшій. Извѣстно, что Дарвинъ, всю жизнь признавая огромное значеніе подбора въ процессѣ органической эволюціи, очень колебался въ его сравнительномъ значеніи рядомъ съ другими факторами: случайными индивидуальными отклоненіями, вліяніемъ среды, вліяніемъ упражненія и неупражненія органовъ. Но не эти колебанія останавливаютъ на себѣ вниманіе Тилле. Онъ не доволенъ тѣми смутными, недоговоренными рѣчами, которыя Дарвинъ велъ о подборѣ въ обществѣ. Онъ то отрицалъ, то признавалъ, и при томъ въ различной мѣрѣ, роль соціальнаго подбора. Въ развитіи общественныхъ инстинктовъ онъ очень умалялъ роль подбора, приписывая ихъ укрѣпленіе главнымъ образомъ наслѣдственной передачѣ въ ряду поколѣній. Да и въ общественныхъ инстинктахъ онъ придавалъ значеніе преимущественно тому, что современная мораль называетъ добродѣтелью: любовь къ ближнимъ, снисхожденіе къ слабымъ, покровительство имъ. Онъ говоритъ, напримѣръ, что «за исключеніемъ случаевъ, касающихся самого человѣка, едва ли найдется кто-либо настолько невѣжественный, чтобы позволить худшимъ животнымъ размножаться». Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ утверждаетъ, что «мы должны безропотно переносить несомнѣнно вредныя послѣдствія переживанія и размноженія слабыхъ». Онъ не можетъ «не сожалѣть о быстротѣ, съ которою размножается человѣчество», но тутъ же прибавляетъ, что сожалѣніе это, можетъ быть, и неразумно. Все это представляется Тилле результатомъ или отраженіемъ происходившей въ Дарвинѣ внутренней борьбы между основаніями новой морали, положенными имъ самимъ, и тѣмъ гуманно-демократическимъ духомъ, которымъ онъ былъ еще проникнутъ.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи Тилле проводитъ передъ читателемъ рядъ писателей и ученыхъ, болѣе или менѣе способствовавшихъ, по его мнѣнію, установленію эволюціонной этики: Спенсеръ, Лесли

Стефенъ, Гексли, Уоллесъ, Вундтъ, Вильямсъ, Геккель, Бюхнеръ, малоизвѣстный нѣмецкій поэтъ Іорданъ, Раденгаузенъ. Но всѣ они лишь болѣе или менѣе приближались къ истинѣ, лишь съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ расчищали путь къ ней, ибо они все-таки были отравлены ядомъ демократически-гуманныхъ идеаловъ. Въ концѣ концовъ. ихъ усиліями низвергнута такъ долго царившая идея равенства и равноправія всѣхъ людей, брошенъ надлежащій свѣтъ на вредъ покровительства слабымъ, больнымъ, немощнымъ, но они не отдѣлались все-таки отъ «любви къ ближнему», несовмѣстимой съ послѣдовательно проведеннымъ дарвинизмомъ, и не оцѣнили всего великаго и благодѣтельнаго значенія борьбы за существованіе. Честь окончательнаго установленія «Новаго идеала» (такъ называется послѣдняя глава книги Тилле) и основъ эволюціонной этики принадлежитъ Фридриху Ничше...

Недавно вышла въ русскомъ переводѣ хорошая книжка Риля «Фридрихъ Ничше, какъ художникъ и мыслитель». Въ ней, между прочимъ, читаемъ: «Возрастающее вліяніе Ничше, въ особенности на молодежь, объясняется главнымъ образомъ обаяніемъ его рѣчи, которая дѣлаетъ этого необычайнаго писателя птицеловомъ, завлекающимъ неопытныя души въ свои сѣти» (стр. 27). У насъ пока еще нѣтъ этого увлеченія, да и Ничше мало извѣстенъ, хотя мнѣ уже не разъ случалось наблюдать тамъ и сямъ слѣды его вліянія. Но мы живемъ умственными эпидеміями и, быть можетъ, слѣдующею же эпидеміей будетъ ничшеанство. Собственно отъ «обаянія рѣчи» Ничше мы гарантированы слабымъ знаніемъ иностранныхъ языковъ, а въ переводѣ, какъ бы онъ хорошъ ни былъ, красота рѣчи, по малой мѣрѣ, ослабляется. Да и не такъ уже сплошь обаятельна рѣчь Ничше. Напротивъ, великолѣпный, истинно художественный языкъ часто уступаетъ въ его сочиненіяхъ мѣсто непріятному многоглаголанію и вычурности. Но дѣло въ томъ, что своимъ возрастающимъ вліяніемъ Ничше обязанъ отнюдь не «главнымъ образомъ» красотѣ рѣчи. Онъ нащупалъ или угадалъ нѣкоторые подлинные пульсы современной жизни.

Что европейская цивилизація переживаетъ нѣкоторый кризисъ этическихъ понятій, это несомнѣнно. И какъ мыслитель, и какъ художникъ (Риль очень вѣрно указалъ въ самомъ заглавіи своей книжки, что на Ничше необходимо смотрѣть съ этихъ двухъ сторонъ), то есть и путемъ размышленій, и путемъ художественнаго воспріятія Ничше уловилъ и самый фактъ этого кризиса, и тѣ ростки чего-то новаго, что въ разныхъ мѣстахъ и съ разною силою пробивается изъ-подъ почти уже безжизненной пелены старыхъ воззрѣній. Но ростки пробиваются въ разныхъ мѣстахъ и имъ самимъ придется вступить въ борьбу между собою. Этого не усмо-

трѣлъ Ничше, вслѣдствіе чего вся его этика проникнута кореннымъ противорѣчіемъ, передъ которымъ меркнутъ его многочисленныя частныя противорѣчія.

Ничше самъ себя называлъ «имморалистомъ», и такъ какъ одно изъ самыхъ характерныхъ его сочиненій называется «Jenseits von Gut und Böse»; такъ какъ, далѣе, онъ признавалъ за нѣкоторыми, выдающимися людьми право переступать установившіяся границы добра и зла, — то было выведено заключеніе, что онъ отрицаетъ всякую мораль. Это глубоко несправедливо. «Jenseits von Gut und Böse» значитъ не «по ту сторону добра и зла» вообще, а «по ту сторону добраго и злого» или, еще лучше, «доброты и злости». Ничше не видѣлъ нравственнаго блага въ добротѣ, но это не мѣшало ему предъявлять своимъ послѣдователямъ весьма строгія моральныя правила.

Что касается его отношенія къ дарвинизму, то оно было крайне двусмысленно. Въ Unzeitgemässe Betrachtungen, расправляясь съ Давидомъ Штраусомъ, онъ, между прочимъ, упрекаетъ его за то, что тотъ струсилъ передъ логическими выводами дарвинистской этики. А одинъ изъ афоризмовъ въ Götzen Dämmerung носитъ характерное заглавіе Anti-Darwin. Вообще же онъ очень рѣдко говоритъ о теоріи Дарвина и нигдѣ не обнаруживаетъ признаковъ пристальнаго ея изученія, превышающаго тѣ общія объ ней понятія, какія имѣются у каждаго образованнаго человѣка. Тѣмъ не менѣе его этика вполнѣ заслуживаетъ названія эволюціонной такъ какъ онъ отрицаетъ неподвижность нравственныхъ нормъ. Тилле, которому непремѣнно нужно сдѣлать изъ Ничше заключительное звено преемственной цѣпи, начинающейся Дарвиномъ, очень наивно разсказываетъ что именно «зналъ» Ничше о происхожденіи видовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ готовъ даже умалить значеніе своего героя, высказывая совершенно вѣрную мысль, что тридцать лѣтъ тому назадъ, то есть до Дарвиновыхъ работъ, Ничше не могъ бы сдѣлать свое «открытіе». Это, конечно, вѣрно, но не потому лишь, что Чарльзъ Дарвинъ расчистилъ почву для «эволюціонной морали», а и потому, что тридцать лѣтъ тому назадъ сама жизнь не выбрасывала тѣхъ ростковъ, которые угадалъ Ничше.

Если, однако, этика Ничше заслуживаетъ названія эволюціонной, потому что онъ признавалъ измѣнчивость нравственныхъ нормъ, то въ подробностяхъ его взгляды на происхожденіе этихъ нормъ заключаютъ въ себѣ очень мало научнаго. Тилле, какъ и всѣ ничшеанцы, высоко цѣнитъ сопоставленіе «морали господъ» и «морали рабовъ», сдѣланное учителемъ *). Но дѣло въ томъ, что это не только

*) За болѣе подробнымъ изложеніемъ взглядовъ Ничше читатель благо-

сопоставленіе или «классификація», какъ говоритъ Тилле, а и исторія. Какъ же она происходила? Гдѣ-то, когда-то жили могучіе богатыри отважные, сильные, жизнерадостные, войнолюбивые, жестокіе, жаждавшіе наслажденій, но не бѣжавшіе и страданій, «злые»—раса прирожденныхъ «господъ». И столкнулись они съ прирожденными же «рабами», слабыми, трусливыми, умѣренными и аккуратными—«добрыми». Господа, конечно, побѣдили рабовъ, но затѣмъ, неизвѣстно когда, рабы въ свою очередь побѣдили господъ, нравственно побѣдили, заразивъ ихъ своими слабостями. И съ тѣхъ поръ воцарилась мораль рабовъ, предписывающая умѣренность, снисхожденіе къ слабымъ, любовь къ ближнему, признаніе сильныхъ и слабыхъ равноцѣнными. Таковъ конкретный ходъ эволюціи нравственности, послѣдовательной смѣны нравственныхъ нормъ. Въ дѣйствительности это, конечно, просто фантастическая сказка.

Нашему времени предстоитъ возстановить мораль господъ (она же, значитъ, мораль «селекціонистская» или «научная»), произвести «переоцѣнку всѣхъ цѣнностей», признать «доброту» зломъ, а «злость» добромъ, упразднить любовь къ ближнему и замѣнить ее «любовью къ дальнему». Дальніе это наше потомство, будущее человѣчество, которое станетъ болѣе совершеннымъ, если мы откажемся отъ покровительства слабымъ и дадимъ ходъ сильнымъ. И такимъ образомъ явится новая раса «смѣющихся львовъ», для созданія которыхъ можно и даже должно обыкновенныхъ людей частію просто растоптать, а частію держать въ приличествующемъ имъ состояніи рабства. Это «сверхъ-человѣки»—и человѣчность, «гуманность» имъ не указъ. Ничше называлъ себя «аристократическимъ радикаломъ» и предлагалъ созданіе, путемъ подбора, «касты», которая управляла бы объединенной Европой», такъ какъ ему казалось, что объединеніе Европы близко. Любопытно, въ связи съ этимъ, одно замѣчаніе Тилле. Онъ находитъ, что торжество господской морали и выработка «сверхъ-человѣковъ» возможны только на національной почвѣ. Онъ говоритъ: «Ничше былъ наполовину чужой своему народу и никогда не могъ примириться съ расцвѣтомъ политическаго интереса въ новой германской имперіи. Національная политика представлялась ему чѣмъ-то узкимъ». Въ этомъ Тилле видитъ единственный изъянъ въ ученіи Ничше! «Въ этомъ отношеніи,—говоритъ онъ,—Ничше еще не переросъ гуманныхъ идей: онъ думалъ служить непосредственно человѣчеству» (241).

Въ одномъ мѣстѣ своей Morgenröthe Ничше характеризуетъ современное состояніе европейской цивилизаціи словами: «мораль-

---

волитъ обратиться къ моимъ замѣткамъ въ №№ 8, 11 и 12 «Русскаго Богатства» за 1894 годъ.

ное междуцарствіе» и говоритъ объ отсутствіи какихъ-нибудь общепризнанныхъ идеаловъ. Тутъ онъ не ждетъ сколько-нибудь близкаго водворенія морали господъ. Но самая мысль объ этой морали, навѣрно навѣяна, между прочимъ, явленіями текущей жизни. При всякомъ крахѣ установившихся этическихъ понятій (а исторія знаетъ такіе крахи), когда старое отжито, а новое не нажито, являются люди, сбрасывающіе съ себя всякія нравственныя узы, дерзающіе на все, даже безъ лицемѣрія тайны и даже хвастая своимъ презрѣніемъ къ тому, что «чернь», толпа считаетъ нравственнымъ. Въ этомъ смыслѣ всѣ эти разные декаденты, эготисты, оккультисты, соединяющіе мистицизмъ съ кроваво-грязнымъ развратомъ, struggle forlifer'ы, эстеты, попадающіе въ тюрьму за противоестественные пороки, — представляютъ собою знаменіе времени. Но когда Максъ Нордау ставитъ Ничше за одну скобку со всѣмъ этимъ безпардоннымъ людомъ, онъ совершаетъ грубую несправедливость. Ничше, напротивъ, желалъ облагородить это знаменіе времени и указать, кто именно и во имя чего, по его мнѣнію, имѣетъ право презирать толпу, ея вѣрованія, идеалы, ходячую мораль. Какъ бы мы ни возмущались его дѣленіемъ человѣчества на прирожденныхъ господъ и прирожденныхъ рабовъ, онъ не призналъ бы всѣхъ этихъ дрянныхъ людей господами. Онъ видѣлъ, что есть люди, которымъ тѣсно въ данныхъ предѣлахъ, но полагалъ, что раздвинуть эти предѣлы можно только ради высокой цѣли усовершенствованія человѣческаго типа и только для тѣхъ, кто способенъ приблизиться къ этому типу. И хотя его Заратустра называетъ себя «врагомъ добрыхъ и справедливыхъ» и «другомъ злыхъ», но на дѣлѣ онъ очень добрый, мягкій и самоотверженный человѣкъ.

Какъ бы то ни было, аристократическій идеалъ Ничше разбивается объ другой устой его ученія, который опять-таки является отраженіемъ текущей дѣйствительности. Если Ничше радуетъ сердце Тилле своимъ аристократическимъ идеаломъ и въ частности тѣмъ, что есть возможность прикрыть его научною мантіей естественнаго или соціальнаго «подбора», то съ другой стороны Тилле тщательно обходитъ нѣкоторыя любопытныя разсужденія Ничше о «приспособленіи». Въ Morgenröthe читаемъ: «Нынѣ каждый, повидимому, доволенъ, когда слышитъ, что общество стоитъ на пути приспособленія индивида ко всеобщимъ потребностямъ и что счастье и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жертва индивида состоитъ въ томъ, чтобы чувствовать себя полезнымъ членомъ или орудіемъ цѣлаго. Современники колеблются въ выборѣ этого цѣлаго,—должно ли имъ быть существующее или еще имѣющее возникнуть государство, или нація, или объединеніе народовъ, или небольшія хозяйственныя общежитія. На этотъ счетъ существуетъ нынѣ много сомнѣній, борьбы, полной

возбужденія и страсти; но удивительно единодушіе, съ которымъ отъ «я» (ego) требуется самоотреченіе въ формѣ приспособленія къ цѣлому, устанавливающему кругъ правъ и обязанностей. Сознательно или безсознательно, люди стремятся ни больше, ни меньше, какъ къ полному преобразованію, и именно ослабленію, даже уничтоженію индивидуума» (127). Ничше рѣшительно протестуетъ противъ такого приспособленія личности къ какому бы то ни было стоящему надъ нимъ цѣлому. По его мнѣнію, «зрѣлый плодъ общественнаго древа есть верховный индивидуумъ, себѣ лишь равный, отъ нравственности нравовъ (Sittlichkeit der Sitte) освобожденный, автономный, сверхнравственный (übersittlich) индивидуумъ» (Zur Genealogie der Moral).

Я уже не имѣю достаточно времени и мѣста, чтобы перечислить всѣ тѣ по истинѣ громадныя жертвы, которыя Ничше приноситъ на алтарь «верховнаго, себѣ лишь равнаго индивидуума», автономной, мыслящей, чувствующей и дѣйствующей личности. Упомяну лишь, что ради ея достоинства онъ согласенъ скорѣе на ея гибель, чѣмъ на ея приспособленіе, и неоднократно любуется картиной трагическаго конца личности, противопоставляющей себя стихійному ходу вещей. Спрашивается, почему же эта самая личность должна подчиниться, стать орудіемъ того цѣлаго, которое займется выработкой «сверхъ-человѣковъ»? Ясно, что это два непримиримыя теченія.

Я боюсь, что все вышеизложенное вызоветъ въ читателѣ недоумѣніе въ виду пестроты содержанія и бѣглости изложенія. Но буду счастливъ, если недоумѣніе разрѣшится раздумьемъ, если мнѣ удалось обратить вниманіе читателя на такія явленія литературы и жизни, на которыхъ онъ не останавливался.

XI *).

Опроверженіе г. Захарьина-Якунина. — „Что такое искусство?“ — статья г. Л. Н. Толстого.—Эстетическіе взгляды Федорова и Эннекена.—Герои и толпа въ искусствѣ.—Четыре художественныя выставки.

Въ февральской книжкѣ «Русскаго Богатства» было напечатано, на основаніи 139 статьи устава о цензурѣ и печати, «Опроверженіе» г. Захарьина-Якунина. Опроверженія этого рода должны быть напечатаны безъ всякихъ измѣненій въ ближайшемъ номерѣ журнала, на томъ же мѣстѣ и тѣмъ же шрифтомъ, какъ и опровергаемая статья, и безъ всякихъ возраженій въ томъ же номерѣ.

Въ точности исполнивъ всѣ эти требованія закона, мы можемъ теперь, спустя мѣсяцъ, вернуться къ «Опроверженію».

Г. Захарьинъ настаиваетъ почему-то на анонимности рецензіи его стихотвореній: «анонимная статья», «анонимный рецензентъ», «анонимный г. критикъ», «г. анонимъ», опять «анонимный рецензентъ» и еще разъ «анонимный рецензентъ». Можетъ быть, это шестикратное, на пространствѣ одной странички, упоминаніе анонимности рецензіи есть дѣло случайности, но мы считаемъ все-таки нужнымъ отмѣтить, что анонимности въ данномъ случаѣ не слѣдуетъ придавать какое-нибудь особенное значеніе. Всѣ статьи или, вѣрнѣе, замѣтки, печатающіяся въ библіографическомъ отдѣлѣ нашего журнала, — анонимны. И это не потому, конечно, чтобы именно въ этомъ отдѣлѣ сотрудники «Русскаго Богатства» имѣли надобность или желаніе прятаться, а просто потому, что размѣры рецензій слишкомъ незначительны и авторы рецензій не придаютъ значенія своему авторству. Если бы рецензентъ нашелъ нужнымъ полнѣе развить свои мысли о поэтическихъ произведеніяхъ г. Захарьина и поэтому рѣзче выразить свою собственную индивидуальность въ болѣе обширной статьѣ, онъ, вѣроятно, подписался бы.

Что касается той части «Опроверженія» г. Захарьина, въ ко-

---

*) Мартъ 1898 г.

торой содержится дѣйствительно опроверженіе, то нужно пожалѣть. что поэтъ не обратилъ вниманія на одно замѣчаніе рецензента. А именно рецензентъ пишетъ: «Справедливо гордясь тѣмъ, что его книга выходитъ уже 4-мъ изданіемъ, онъ (г. Захарьинъ) прежде всего сообщаетъ намъ драгоцѣнное библіографо-историческое свѣдѣніе, что первое изданіе появилось въ 83-мъ году, и, къ сожалѣнію, умалчиваетъ почему-то (должно быть, изъ скромности) лишь о количествѣ экземпляровъ всѣхъ 4-хъ изданій». Г. Захарьинъ, какъ видно изъ рецензіи, столь охотно сообщаетъ всякаго рода библіографическія свѣдѣнія, касающіяся его произведеній, что отсутствіе данныхъ о количествѣ изданныхъ экземпляровъ составляетъ даже пробѣлъ, какъ въ предисловіи къ его стихотвореніямъ, такъ и въ «Опроверженіи». А если бы г. Захарьинъ прежде, чѣмъ прибѣгать къ главному управленію по дѣламъ печати для понужденія насъ напечатать его опроверженіе, обратился къ намъ, то мы указали бы ему единственно вѣрный и безспорный способъ «опроверженія», которое и напечатали бы безъ всякаго сторонняго понужденія. Мало вѣроятно, чтобы четыре изданія, изъ которыхъ первое появилось въ 1883 г., а послѣднее въ 1896 г. (13 лѣтъ), были фотографически тождественны. И если бы г. Захарьинъ показалъ, что въ теченіе 13 лѣтъ онъ прибавилъ къ своимъ «Грезамъ и пѣснямъ» хоть одно, самое незначительное стихотвореніе или, наоборотъ, хоть одно вынулъ изъ перваго изданія; если бы онъ указалъ на разницу въ форматѣ или шрифтѣ изданій или хоть на одну опечатку, исправленную въ послѣдующихъ изданіяхъ или, наоборотъ, вновь вкравшуюся,—рецензенту оставалось бы только признать, что высказанное имъ подозрѣніе не можетъ относиться къ г. Захарьину.

Въ «Опроверженіи» г. Захарьина есть нѣчто и кромѣ опроверженія. Онъ пишетъ: «Г. анонимный рецензентъ распространился не только о моей книжкѣ, но и обо мнѣ лично—въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Изъ естественнаго чувства деликатности, столь чуждаго самому г. Захарьину»... «Намъ стыдно за него» (за меня то-есть) и т. д.»

На этомъ пунктѣ г. Захарьинъ вовсе не опровергаетъ рецензента, да и какое же тутъ можетъ быть предъявлено опроверженіе? Но г. Захарьинъ не только не опровергаетъ, а и не сообщаетъ, къ чему именно относится «чувство деликатности» и «стыдъ» рецензента. Это обязываетъ насъ возстановить въ памяти читателя соотвѣтственныя мѣста рецензіи, тѣмъ болѣе, что ими затрогивается любопытный общій вопросъ искусства и художественной критики:

«Давно уже не испытывали мы болѣе удручающаго чтенія, какъ чтеніе «Пѣсни о погибшемъ сынѣ». Мы вполнѣ, конечно, вѣримъ

тому, что утрата любимаго сына была для г. Захарьина невыносимо тяжкимъ испытаніемъ, и тѣмъ не менѣе... тѣмъ не менѣе... намъ вчужѣ стыдно за него. Стыдно, что на «базаръ житейской суеты» онъ вынесъ такіе интимные, такіе завѣтные факты и черты своей семейной жизни, чувства и мысли, которыя каждый маломальски чуткій человѣкъ бережно таитъ въ глубинѣ души отъ самыхъ порой близкихъ ему людей. Правда, даже очень крупные поэты, великаны-поэты, нерѣдко намъ описываютъ дѣйствительно пережитыя ими событія и чувства, но какъ они это дѣлаютъ? Какъ *настоящіе* поэты. *Свое личное* они умѣютъ воплощать въ образы *общіе* и тѣмъ дѣлаютъ его для всѣхъ интереснымъ и поэтичнымъ. У г. же Захарьина, какъ мы, надѣемся, успѣли убѣдить читателей, нѣтъ ни искорки поэтическаго таланта. Глубоко трогательный эпизодъ своей жизни онъ описываетъ съ раболѣпною буквальностью, не поступаясь ни одной черточкой, ни одной мелочью, и у читателя получается такое же впечатлѣніе, какъ если бы онъ увидѣлъ какого-нибудь почтеннаго знакомаго въ ночномъ колпакѣ и засаленномъ домашнемъ халатѣ».—И далѣе: «Изъ естественнаго чувства деликатности, столь чуждаго самому г. Захарьину, мы пройдемъ молчаніемъ страницы, посвященныя описанію смерти и похоронъ. Повторяемъ, тяжело читать это, тяжело говорить объ этомъ».

Читатель видитъ, что правъ или неправъ нашъ рецензентъ. но его мысли о «стыдѣ» и «чувствѣ деликатности» не имѣютъ ровно никакого отношенія къ предмету «опроверженія» г. Захарьина. Я лично думаю, что рецензентъ во всякомъ случаѣ правъ, утверждая, что «свое личное» г. Захарьинъ не умѣетъ «воплощать въ образы общіе и тѣмъ дѣлать его для всѣхъ интереснымъ и поэтичнымъ», и что у него «нѣтъ ни искорки поэтическаго таланта». Припомнимъ, напримѣръ, разсказъ г. Захарьина о томъ, какъ онъ съ супругой, въ виду болѣзни сына, рѣшили—

Взять доктора для помощи ему
(Хотя прошло уже почти четыре года,
Какъ въ нашемъ домѣ не было врача,
И мы всегда ихъ избѣгали видѣть).
И вотъ вошелъ къ намъ въ домъ съ значкомъ ученымъ,
Дающимъ право убивать людей,
Врачъ неспособный, съ страшнымъ самомнѣньемъ,
Равнявшимся невѣжеству его.
Сталъ шарлатанъ лѣчить. Онъ ежедневно
Прописывалъ различныя лѣкарства—
И ни одно изъ нихъ не помогало!
Затѣмъ мы стали замѣчать болѣзнь
Другую—тифъ вдругъ появился...
Открылось—ужъ потомъ!—что докторъ

Самъ перенесъ къ намъ въ домъ заразу эту:
Имѣлъ онъ двухъ своихъ дѣтей больныхъ—
И развозилъ болѣзнь по паціентамъ...

Далѣе г. Захарьинъ разсказываетъ, какъ «шарлатанъ изслѣдовалъ, стучалъ и слушалъ распаренное тѣльце, снявъ повязки... И мальчикъ былъ простуженъ — началъ кашлять. Болѣзнь въ немъ новая явилась — пневмонія». И т. д., и т. д. Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, это поэзія? Конечно, нѣтъ. И не потому только, что форма стихотворенія груба, неуклюжа, а и потому, что за этими протокольными подробностями совершенно скрывается то «общее», что могло бы быть вложено въ подобное стихотвореніе. И г. Захарьинъ самъ, повидимому, чувствовалъ, что въ обнародованіи его «Пѣсни о погибшемъ сынѣ» есть что-то не ладное. Онъ писалъ: «Не для чужихъ слагаю пѣсню эту, а только лишь для близкихъ мнѣ людей: для тѣхъ, кто зналъ несчастнаго страдальца иль слышалъ о мученіяхъ его». Правда, онъ прибавляетъ: «или для тѣхъ, кто въ жизни потерялъ, подобно мнѣ, возлюбленнаго сына». Но и это расширеніе сферы воздѣйствія «Пѣсни о погибшемъ сынѣ» совершенно незаконно. Можетъ быть тѣ, кто зналъ бѣднаго мальчика (въ семьѣ его звали «Колюхенъ»), и растрогаются стихотвореніемъ, но оно навѣрное не тронетъ вообще людей, имѣвшихъ несчастіе потерять ребенка. Между ними и своимъ горемъ г. Захарьинъ воздвигъ непроницаемую перегородку изъ множества чисто личныхъ чертъ и подробностей. Я не читалъ «Пѣсни о погибшемъ сынѣ», какъ и «Грезъ и пѣсенъ» г. Захарьина вообще, но и того, что приведено нашимъ рецензентомъ достаточно, чтобы судить о характерѣ «Пѣсни», а рецензентъ еще, «изъ естественнаго чувства деликатности», былъ очень умѣренъ. Мы узнаемъ, напримѣръ, что «Колюхенъ» желалъ быть похороненнымъ съ музыкой, что онъ негодовалъ на «этихъ евреевъ», мучившихъ Христа, и боялся позабыть за время болѣзни французскій языкъ:

Какъ *тихо* по-французски? какъ *бульваръ*?
Спросилъ онъ мать однажды: я забылъ.

Все это до такой степени лично и такъ всего этого много, что «Пѣсня о погибшемъ сынѣ» заслуживаетъ упрека, по малой мѣрѣ, въ художественной безтактности, которой художнику стыдиться, конечно, слѣдуетъ. Ибо что такое искусство?

«Что такое искусство?» — Такъ называется статья гр. Л. Н. Толстого, появившаяся первоначально въ московскомъ журналѣ философіи и психологіи, а затѣмъ въ отдѣльномъ изданіи («Посредника»). Въ эту минуту у меня въ рукахъ только первый выпускъ этого изданія, но и то, что въ немъ содержится, достойно

полнаго вниманія и наводитъ на серьезныя размышленія. Да и какъ могло бы быть иначе? Великій художникъ пишетъ объ искусствѣ!.. Да, но къ сожалѣнію огромнаго большинства читателей гр. Толстого, такъ хорошо выраженному въ предсмертномъ письмѣ Тургенева, графъ проклялъ свою прежнюю художественную дѣятельность, хотя и теперь даритъ насъ время отъ времени художественными произведеніями. Объ искусствѣ писалъ онъ и раньше, но это было прямолинейно и не тонко, что и теперь позволительно было бы скептическое отношеніе къ его отвѣту на вопросъ: что такое искусство? Быть можетъ, продолженіе статьи и оправдаетъ этотъ скептицизмъ, — за гр. Толстого никогда нельзя поручиться, слишкомъ капризны ходъ его мыслей и смѣна его настроеній,—но первый выпускъ, во всякомъ случаѣ, содержитъ въ себѣ нѣчто значительное и цѣнное. Нѣкоторая безпорядочность мысли, свойственная вообще философскимъ произведеніямъ гр. Толстого, даетъ себя знать и здѣсь, равно какъ и нѣкоторая излишняя самоувѣренность, не разъ уже ставившая графа въ недостойное его славы положеніе то открывателя открытыхъ Америкъ, то человѣка, презрительно относящагося къ вещамъ, отнюдь презрѣнія не заслуживающимъ. Одна изъ странностей гр. Толстого состоитъ въ увѣренности, что у него нѣтъ предшественниковъ, кромѣ Конфуція, Будды и другихъ, вѣками и тысячелѣтіями отдаленныхъ отъ насъ авторитетовъ. Черта эта проглядываетъ и въ статьѣ «Что такое искусство?» Но на этотъ разъ гр. Толстой далъ себѣ, по крайней мѣрѣ, трудъ просмотрѣть нѣкоторыя книги, касающіяся предмета его статьи, и нашелъ между ними кое-что «хорошее», «очень недурное» и даже «очень хорошее». Онъ приводитъ длинный рядъ предложенныхъ разными философами и учеными опредѣленій красоты и искусства. Правда, большинство этихъ опредѣленій онъ беретъ изъ вторыхъ рукъ (изъ книгъ нѣмца Шасслера и англичанина Найте) и даже Шопенгауера, въ которомъ видѣлъ нѣкогда альфу и омегу мудрости, цитируетъ не по подлиннику. Всѣми этими опредѣленіями гр. Толстой болѣе или менѣе недоволенъ и даетъ свое собственное, какъ ему кажется, совершенно новое. Это не совсѣмъ вѣрно. Я не знакомъ со всею обширною литературою предмета, но, какъ читатель увидитъ, въ состояніи буду указать нѣкоторые пробѣлы въ обзорѣ гр. Толстого, пропуски нѣкоторыхъ эстетическихъ взглядовъ, въ которыхъ онъ могъ бы найти поддержку своему отвѣту на вопросъ «что такое искусство?» Но графъ поддержки не любитъ, онъ все самъ... Это не мѣшаетъ однако его отвѣту быть въ высокой степени интереснымъ.

Гр. Толстой начинаетъ съ указанія на то, какое огромное мѣсто въ нашемъ обиходѣ занимаетъ искусство и какихъ оно огромныхъ

денегъ стоитъ,—художественныя академіи, выставки, консерваторіи, драматическія школы, театры, романы, повѣсти, стихи. Но не только все это денегъ стоитъ, денегъ и разнообразнаго усиленнаго труда. Гр. Толстой вспоминаетъ, какъ онъ однажды присутствовалъ на репетиціи какой-то оперы. «Трудно видѣть болѣе отвратительное зрѣлище», говоритъ онъ. Не говоря о безсмысленности сюжета, его поразила невидная для публики закулисная сторона приготовленій къ спектаклю: начальство—дирижеръ оркестра, режиссеръ мучили актеровъ и музыкантовъ, заставляя ихъ десять разъ повторять недававшіяся имъ движенія и звуки, мучились сами и злобно ругались. «Слова: «ослы, дураки, идіоты, свиньи», обращенныя къ музыкантамъ и пѣвцамъ, я слышалъ въ продолженіе часа разъ сорокъ». «Вся эта гадкая глупость изготовляется не только не съ доброй веселостью, не съ простотой, а со злобой, съ звѣрской жестокостью. Говорятъ, что это дѣлается для искусства, а что искусство есть очень важное дѣло. Но правда ли, *что это искусство* и *что искусство* есть такое *важное дѣло*, что ему могутъ быть принесены такія жертвы? Вопросъ этотъ особенно важенъ потому, что искусство, ради котораго приносятся въ жертву труды милліоновъ людей и самыя жизни человѣческія *и, главное, любовь между людьми*, это самое искусство становится въ сознаніи людей все болѣе и болѣе чѣмъ-то неяснымъ и неопредѣленнымъ... Искусство, поглощающее огромные труды народа и жизней человѣческихъ и *нарушающее любовь между ними*, не только не есть нѣчто ясно и твердо опредѣленное, но понимается такъ разнорѣчиво своими любителями, что трудно сказать, что вообще разумѣется *подъ искусствомъ и въ особенности хорошимъ, полезнымъ искусствомъ*, такимъ, во имя котораго могутъ быть принесены тѣ жертвы, которыя ему приносятся».

Остановимся немного на этихъ словахъ. «Великій писатель русской земли», какъ красиво назвалъ гр. Толстого Тургеневъ, великій, какъ художникъ, какъ тонкій наблюдатель внѣшняго и внутренняго, душевнаго міра и какъ творецъ образовъ и картинъ необычной яркости и силы. Это не мѣшаетъ ему крайне небрежно обращаться съ русскимъ языкомъ. Въ этомъ большой бѣды, конечно, нѣтъ, но иногда небрежность языка является у гр. Толстого отраженіемъ нѣкоторой безпорядочности мысли. Прошу читателя обратить вниманіе на подчеркнутыя въ только что цитированной страницѣ слова: Брань, которою театральное начальство осыпало пѣвцовъ, музыкантовъ, танцовщицъ (мелкую сошку, потому что съ г. Фигнеромъ и съ г-жей Кшесинской такъ не обращаются, конечно), свидѣтельствуетъ, что извѣстный родъ искусства «нарушаетъ любовь между людьми». Это заставляетъ думать, что между теат-

ральнымъ начальствомъ и театральной мелкой сошкой была любовь и только вотъ репетиція или вообще театръ «нарушила» этотъ будто бы основной фонъ человѣческихъ отношеній. Въ этомъ позволительно, конечно, сомнѣваться. Далѣе гр. Толстой хочетъ отвѣтить на вопросъ, совершенно ясно и просто поставленный: что такое искусство? Но уже въ самомъ приступѣ къ отвѣту на этотъ вопросъ послѣдній осложняется другими, его затемняющими: есть ли именно опера, изображенная авторомъ въ комическомъ видѣ *) искусство? есть ли искусство (и на этотъ разъ искусство вообще) «важное дѣло»? что слѣдуетъ разумѣть подъ искусствомъ и «въ особенности хорошимъ, полезнымъ искусствомъ»? Сбитые въ одну безпорядочную кучу въ самомъ приступѣ къ дѣлу, эти вопросы и читателя путаютъ, и заставляютъ опасаться, что и въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ вплететъ въ свой отвѣтъ на свой же коренной вопросъ много посторонняго, что невыгодно отразится на всей его работѣ. Это и случилось съ гр. Толстымъ. Но въ одномъ мѣстѣ онъ даетъ ничѣмъ не затемненное и по истинѣ превосходное опредѣленіе искусства, которое я и приведу теперь же:

«Вызвать въ себѣ разъ испытанное чувство и, вызвавъ его въ себѣ, посредствомъ движеній, линій, красокъ, звуковъ, образовъ, выраженныхъ словами, передать это чувство такъ, чтобы другіе испытали то же чувство, — въ этомъ состоитъ дѣятельность искусства. Искусство есть дѣятельность человѣческая, состоящая въ томъ, что одинъ человѣкъ сознательно, извѣстными внѣшними знаками передаетъ другимъ испытываемыя имъ чувства, а другіе люди заражаются этими чувствами и переживаютъ ихъ».

Повторяю, это опредѣленіе превосходно и при томъ столь ясно, что если бы гр. Толстой напечаталъ только его, безъ всякой даже аргументаціи, то, повидимому, оставалось бы его лишь приложить къ дѣлу критики... ну хоть «Пѣсни о погибшемъ сынѣ» г. Захарьина-Якунина: не смотря на то, что чувства г. Захарьина облечены въ стихотворную форму, его «пѣснь» не заслуживаетъ названія художественнаго произведенія, потому что не способна заразить этими чувствами другихъ; а неспособна потому-то и потому-то.

Но гр. Толстой не ограничился приведеннымъ опредѣленіемъ. Онъ комментируетъ его. Онъ предпослалъ ему обширное вступленіе, которымъ мы сейчасъ займемся, а впереди насъ ждетъ еще продолженіе статьи, за достоинства котораго есть основанія опасаться.

*) Я не привожу этого комическаго описанія шествія людей въ желтыхъ башмакахъ съ фольговыми алебардами на плечахъ, человѣка, «наряженнаго въ какого-то турка, который, странно раскрывъ ротъ, пѣлъ: «я невѣсту сопровожд-а-аю», и т. п. Напомню только, что въ четвертой части «Войны и мира» есть подобное же описаніе какой-то оперы.

Въ опредѣленіи искусства мы встрѣчаемъ чрезвычайное разнообразіе у разныхъ мыслителей и ученыхъ, въ томъ числѣ и спеціалистовъ по эстетикѣ. Что же касается «средняго человѣка», то онъ «твердо убѣжденъ въ томъ, что всѣ вопросы искусства очень просто и ясно разрѣшаются признаніемъ красоты, содержаніемъ искусства; для средняго человѣка кажется яснымъ и понятнымъ то, что искусство есть производство красоты, и красотою объясняются для него всѣ вопросы искусства». Но если его спросить,—что такое сама красота? — то онъ окажется въ затрудненіи отвѣтить. Да и мыслители и ученые опять же очень на этотъ счетъ разногласятъ. Приведя длинный рядъ разныхъ опредѣленій красоты, гр. Толстой раздѣляетъ ихъ на двѣ группы: одни — объективныя опредѣленія, другія — субъективныя. Но затѣмъ оказывается слѣдующее: «Красотой въ смыслѣ субъективномъ мы называемъ то, что доставляетъ намъ извѣстное наслажденіе. Въ объективномъ же смыслѣ красотой мы называемъ нѣчто абсолютно совершенное и признаемъ его таковымъ только потому, что получаемъ отъ проявленія этого абсолютно совершеннаго извѣстнаго рода наслажденіе, такъ что объективное опредѣленіе есть не что иное, какъ только иначе выраженное субъективное. Въ сущности, и то и другое пониманіе красоты сводится къ получаемому нами извѣстнаго рода наслажденію, т. е., что мы признаемъ красотою то, что намъ нравится». Отсюда гр. Толстой заключаетъ, что опредѣленіе искусства должно быть установлено совершенно помимо понятія о красотѣ. Вся существующая эстетика безъ толку бьется около этого пункта. Будь она достойна названія науки, она должна бы была «опредѣлить свойства и законы искусства или прекраснаго, если оно есть содержаніе искусства, или свойство вкуса, если вкусъ рѣшаетъ вопросъ объ искусствѣ и о достоинствѣ его, и потомъ, на основаніи этихъ законовъ, признавать искусствомъ тѣ произведенія, которыя подходятъ подъ эти законы, и откидывать тѣ, которыя не подходятъ подъ нихъ». Но современная эстетика видитъ свою задачу наоборотъ въ томъ, чтобы, «разъ признавъ извѣстныя произведенія хорошими, потому что они вамъ нравятся, составить такую теорію искусства, по которой всѣ произведенія, которыя нравятся извѣстному кругу людей, вошли бы въ эту теорію».

Можно удивляться, что, говоря о безуспѣшности построенія теоріи искусства на понятіи красоты и вкуса, гр. Толстой не прибѣгъ къ пріему, очень обычному въ его философскихъ произведеніяхъ. Если бы можно было опросить всѣ полтора милліарда населенія земного шара, то, конечно, подавляющее его большинство — всѣ эти эскимосы, зулусы, австралійцы, краснокожіе, готтентоты, даже китайцы, японцы и проч. не найдутъ красоты ни въ какой-

нибудь нашей премированной красавицѣ, ни въ перлахъ нашего искусства. Австралiецъ былъ бы оскорбленъ въ своихъ лучшихъ эстетическихъ чувствахъ формой носа Аполлона Бельведерскаго и отсутствiемъ въ его ноздряхъ кольца или палочки, а готтентотъ нашелъ бы, что задняя часть тѣла Венеры Милосской должна быть втрое шире. И гр. Толстой могъ бы, по своему обыкновенiю, побѣдоносно сказать: $^{9}/_{10}$ (или сколько тамъ) человѣчества съ презрѣнiемъ или отвращенiемъ отнесутся къ произведенiямъ Фидiя, Рафаэля, Бетховена, Шекспира,—какое же основанiе имѣемъ, $^{1}/_{10}$, горсть такъ называемыхъ цивилизованныхъ людей, выдавать свой вкусъ за единственно правильный? — Аргументъ этотъ, однако, не столь побѣдоносенъ, какъ кажется.

Въ длинномъ спискѣ сочиненiй по эстетикѣ, знакомыхъ гр. Толстому изъ первыхъ рукъ или по цитатамъ, нѣтъ, къ сожалѣнiю, нѣкоторыхъ, вполнѣ достойныхъ его вниманiя. Боюсь, что такихъ найдется даже не мало, но я могу указать только на два.

Въ 1876 г. вышла Vorschule der Aesthetik знаменитаго Фехнера, одного изъ отцовъ психо-физики, самое имя котораго, казалось бы, должно привлечь къ себѣ вниманiе человѣка, желающаго не только отвѣтить на вопросъ: что такое искусство? но и пересмотрѣть различныя, до него выставленныя эстетическiя теорiи. Я, къ сожалѣнiю, знаю только первую часть сочиненiя Фехнера, но и то, что въ этой первой части содержится, представляетъ нѣчто для насъ поучительное. Въ предисловiи Фехнеръ «отказывается отъ попытки установить понятiе объективной сущности Прекраснаго и развить изъ него эстетическую систему». Центръ тяжести его работы лежитъ «болѣе въ законахъ вкуса (des Gefallens), чѣмъ въ логическихъ выводахъ изъ опредѣленiя Красоты», онъ «замѣняетъ идею такъ называемаго объективно Прекраснаго идеею того, что *должно* нравиться въ связи съ идеей Блага». Фехнеръ оговаривается, что его задача не исчерпываетъ всей области эстетики, а что значитъ подчеркнутое слово «*должно*», видно изъ слѣдующаго. На стр. 16 читаемъ: «Одинъ можетъ находить прекраснымъ то, что другой исключаетъ изъ области прекраснаго. Но не все то, что нравится, *должно* нравиться. Есть не только законы, которыми фактически управляются различные вкусы, но и законы въ смыслѣ предписанiй (Foderungsgesetze), правила хорошаго вкуса и вытекающiя изъ нихъ правила воспитанiя вкуса, которыя не находятся въ противорѣчiи съ первыми, а лишь опредѣляютъ ихъ цѣнность». Фехнеръ говоритъ, что онъ вовсе не считаетъ возможнымъ найти принципъ, съ точки зрѣнiя котораго разрѣшались бы *всѣ* споры, основанные на различiи вкусовъ, но, говоритъ онъ, направленiе, въ которомъ подобные споры слѣдуетъ вести, указать можно. Если бы гр. Толстой

не обошелъ книги Фехнера, онъ, можетъ быть, не сказалъ бы съ такою увѣренностью, что «объясненія того, почему одно нравится одному и не нравится другому, и наоборотъ, нѣтъ и не можетъ быть» (стр. 38 изданія «Посредника»). У Фехнера онъ нашелъ бы многія высоко интересныя указанія именно въ томъ смыслѣ, что «законы вкуса» могутъ и должны быть установлены. Не очень, надо думать, презрительно отнесся бы гр. Толстой и къ той высшей инстанціи, въ которую Фехнеръ предлагаетъ передавать споры о вкусахъ. По мнѣнію Фехнера, принципъ этой инстанціи очень простъ, почти до очевидности, и только примѣненіе его часто очень трудно. Дѣло, говоритъ онъ, идетъ не о томъ, нравится ли вамъ что-нибудь или не нравится, то-есть даетъ или не даетъ непосредственное наслажденіе,—это фактъ вкуса,—а о томъ, *хорошо* ли, что это вамъ нравится, а то не нравится, то есть соотвѣтствуетъ ли вашъ вкусъ благу, счастію человѣчества (256). Таковъ общій принципъ и, повторяю, Фехнеръ очень хорошо понимаетъ трудность его практическаго примѣненія къ отдѣльнымъ конкретнымъ случаямъ споровъ о вкусахъ. Съ другой стороны, однако, вкусы не такъ ужъ капризны, какъ кажется, въ особенности, когда они захватываютъ болѣе или менѣе значительное число людей. Напримѣръ, нашимъ предкамъ нравились огромные парики, на нашъ теперешній вкусъ нелѣпые и безобразные. Говорятъ, что эта мода возникла изъ желанія плѣшиваго короля скрыть свою лысину. Если бы парикъ надѣлъ какой-нибудь мужикъ, то никто не обратилъ бы на это вниманія и во всякомъ случаѣ не стали бы подражать ему, а тутъ случилось иное. Сначала придворные люди стали подражать просто изъ лести, не видя въ чудовищномъ парикѣ ничего хорошаго; но постепенно къ этому дикому украшенію люди привыкли, а затѣмъ съ нимъ ассоціировалось представленіе знатности, могущества, величія, и въ связи съ этимъ люди вошли во вкусъ париковъ, парики стали нравиться. Такимъ же образомъ объясняется то, что китайцамъ нравятся уродливо маленькія ноги женщинъ, толстые животы мужчинъ, длинные ногти мандариновъ. Толстыми брюхами китайцы надѣляютъ даже своихъ боговъ, какъ идеальной формой тѣла, и если китайцу показать статую Аполлона Бельведерскаго, то онъ найдетъ, что это какой-то несчастный и безобразный проходимецъ весьма низкаго происхожденія, который не имѣетъ возможности жить въ свое удовольствіе и долженъ много бѣгать. Такимъ образомъ вкусъ, хотя бы на первый взглядъ и самый капризный, не есть что-нибудь, выскакивающее изъ цѣпи причинъ и слѣдствій и изъ общей связи явленій общественной и личной жизни. Онъ возникаетъ и исчезаетъ, измѣняется подъ вліяніемъ вполнѣ опредѣленныхъ, хотя иногда трудно уловимыхъ условій. Вкусы европейца и китайца,

человѣка XV и человѣка XIX столѣтія, нѣмецкаго барона и нѣмецкаго крестьянина всѣ одинаково законны въ смыслѣ законности ихъ происхожденія при извѣстныхъ условіяхъ и въ томъ смыслѣ, что ими люди непосредственно жили или живутъ: кольцо въ носу новозеландца доставляетъ ему такое же эстетическое удовольствіе, какъ видъ толстаго брюха китайцу, какъ извѣстные костюмы намъ и т. д. Изъ этой своего рода равноцѣнности и безспорности всѣхъ вкусовъ не слѣдуетъ, однако, что нѣтъ мѣрила достоинства вкусовъ, надо только его искать гдѣ-нибудь внѣ сферы самихъ вкусовъ. И мы можемъ смѣло осуждать вкусы, напримѣръ, китайцевъ, такъ какъ слишкомъ маленькія ноги, толстыя брюхи, непомѣрно длинные ногти подлежатъ осужденію съ точки зрѣнія нѣкоторыхъ несомнѣнныхъ благъ, хотя бы здоровья. Конечно, эти блага, составляющія высшую инстанцію для оцѣнки вкусовъ, не всегда столь несомнѣнны и въ свою очередь подлежатъ расцѣнкѣ, но это уже другой вопросъ. А такъ какъ въ число условій, опредѣляющихъ вкусы данной эпохи, даннаго народа или класса, входятъ воспитаніе и общественное мнѣніе, то возможна не только оцѣнка вкусовъ, а и исправленіе ихъ, направленіе ихъ въ «хорошую» сторону. Та агитація, которая нынѣ ведется по поводу корсетовъ и другихъ подробностей дамскаго туалета, если реформа женскихъ костюмовъ осуществится, послужитъ нагляднымъ примѣромъ того, какъ, по совсѣмъ не эстетическимъ мотивамъ здоровья, удобства и проч., измѣняются вкусы: по всей вѣроятности нарождающимся поколѣніямъ будутъ нравиться совсѣмъ не тѣ женскіе облики, какіе нравятся намъ. Во всякомъ случаѣ Фехнеръ, рекомендуя чрезвычайную осторожность въ оцѣнкѣ различныхъ вкусовъ, все-таки считаетъ себя вправѣ сказать, что «вкусъ цѣлыхъ эпохъ и націй можетъ быть признанъ въ томъ или другомъ отношеніи дурнымъ, и всеобщность вкуса въ данную эпоху или въ данной націи еще не рѣшаетъ вопроса о его достоинствѣ» (261).

Это послѣднее гр. Толстой знаетъ. Протестуя противъ «художественнаго канона», въ который эстетики включаютъ то, что имъ нравится, и отметаютъ то, что имъ не нравится, онъ замѣчаетъ: «Какъ будто никогда не было въ исторіи эпохъ, въ которыя въ извѣстныхъ, исключительныхъ кругахъ людей не было принимаемо и одобряемо ложное, безобразное, безсмысленное искусство, не оставивши никакихъ слѣдовъ и совершенно забытое впослѣдствіи». Разница однако между Фехнеромъ и гр. Толстымъ, на что у перваго мы видимъ основанія, по которымъ онъ можетъ или, по крайней мѣрѣ, хочетъ различать хорошіе и дурные вкусы (вмѣсто Geschmack Фехнеръ часто говоритъ Gefallen und Missfallen, что нравится и не нравится); гр. же Толстой такихъ основаній не даетъ.

Вернемся къ его вышеприведенному превосходному, но требующему дополненій опредѣленію искусства. Подходитъ онъ къ нему слѣдующимъ образомъ. «Для того, чтобы точно опредѣлить искусство, надо прежде всего перестать смотрѣть на него, какъ на средство наслажденія, а разсматривать искусство, какъ одно изъ условій человѣческой жизни. Разсматривая же такъ искусство, мы не можемъ не увидѣть, что искусство есть одно изъ средствъ общенія людей между собой. Всякое произведеніе искусства дѣлаетъ то, что воспринимающій вступаетъ въ извѣстнаго рода общеніе съ производившимъ или производящимъ искусство и со всѣми тѣми, которые одновременно съ нимъ прежде или послѣ его восприняли или воспримутъ то же художественное впечатлѣніе... Дѣятельность искусства основана на томъ, что человѣкъ, воспринимая слухомъ или зрѣніемъ выраженія чувства другого человѣка, способенъ испытывать то же самое чувство, которое испыталъ человѣкъ, выражающій свое чувство. Дѣятельность искусства основана «на способности людей заражаться чувствами другихъ людей». Но, «если человѣкъ заражаетъ другого и другихъ прямо, непосредственно своимъ видомъ или производимыми имъ звуками въ ту самую минуту, какъ онъ испытываетъ чувство, заставляетъ другого человѣка зѣвать, когда ему самому зѣвается, или смѣяться, или плакать, когда самъ чему-либо смѣется или плачетъ, или страдаетъ, то это еще не есть искусство. Искусство начинается тогда, когда человѣкъ съ цѣлью передать другимъ людямъ испытанное имъ чувство снова вызываетъ его въ себѣ и извѣстными внѣшними знаками выражаетъ его». Чувства самыя разнообразныя, очень сильныя и очень слабыя, очень значительныя и очень ничтожныя, очень дурныя и очень хорошія, если только они заражаютъ читателя, зрителя, слушателя, составляютъ предметъ искусства». Затѣмъ слѣдуетъ окончательное опредѣленіе искусства, которое гр. Толстой печатаетъ курсивомъ, дабы сосредоточить на немъ наше вниманіе. Я уже привелъ его выше, но рекомендую читателю вновь внимательно перечитать его,— оно стоитъ того, чтобы въ него вдуматься. Мы имѣемъ здѣсь ясную, точную формулу, не оставляющую мѣста никакимъ сомнѣніямъ. Но непосредственно вслѣдъ за этой формулой встрѣчаемъ такую фразу: искусство не есть то-то или то-то (перечисляются различныя опредѣленія) «главное—не есть наслажденіе, а есть необходимое для жизни и для движенія *къ благу отдѣльнаго человѣка и человѣчества* средство общенія людей, соединяющее ихъ въ однихъ и тѣхъ же чувствахъ» (46). Откуда взялась эта прибавка? Она отнюдь не вытекаетъ изъ формулы. Авторъ вѣдь только что пояснилъ намъ, что «чувства самыя разнообразныя, *очень значительныя и очень ничтожныя, очень дурныя и очень хорошія*, если только они зара-

жаютъ читателя, зрителя, слушателя, составляютъ предметъ искусства». Въ самомъ дѣлѣ, французскіе психіатры Legrand-de-Saulle «La folie devant les tribunaux», Despine «De la contagion morale», Aubry «La contagion de meurtre» не разъ съ особенною настойчивостью указывали на вредное дѣйствіе бульварныхъ романовъ и соотвѣтственныхъ драматическихъ представленій, въ которыхъ изображаются кровавыя убійства, отравленія и т. п. Вредное ихъ дѣйствіе состоитъ въ томъ, какъ это фактически доказано, что они заражаютъ зрителей и читателей и наталкиваютъ, «наводятъ» коекого изъ нихъ прямо на преступленія. По точному смыслу формулы гр. Толстого, эти бульварные романы и драмы суть произведенія искусства, да и едва ли кто откажетъ имъ въ этомъ титулѣ, какъ бы низко мы ихъ ни цѣнили; но, ужъ конечно, никто не увидитъ въ нихъ представителей «необходимаго для жизни и для движенія къ благу отдѣльнаго человѣка и человѣчества средства общенія людей, соединяющаго ихъ въ однихъ и тѣхъ же чувствахъ». А между тѣмъ выкинуть ихъ за бортъ корабля искусства мы, на основаніи формулы гр. Толстого, не имѣемъ никакого права. Формула эта уравниваетъ всѣ произведенія искусства ихъ сознательною заразительностью, и если допускаетъ мѣрило совершенства, то исключительно количественное? Мы видѣли, что, по мнѣнію гр. Толстого, цѣлыя эпохи можетъ господствовать «ложное, безобразное, безсмысленное искусство, не оставившее никакихъ слѣдовъ и совершенно забытое впослѣдствіи». Эпитеты «ложное, безобразное, безсмысленное»—совершенно неумѣстны съ точки зрѣнія формулы гр. Толстого, объединяющей всѣ произведенія искусства единственнымъ признакомъ—заразительностью. И если онъ тѣ или другія художественныя произведенія называетъ безсмысленными и безобразными, то дѣлаетъ эту оцѣнку на основаніи какихъ-то другихъ принциповъ, намъ неизвѣстныхъ, быть можетъ просто потому, что эти произведенія ему «не нравятся», а вѣдь онъ это мѣрило рѣшительно отвергъ. Другое дѣло, если произведенія искусства «не оставили никакихъ слѣдовъ и совершенно забыты впослѣдствіи»... Но это уже мѣрило только количественное: одни художественныя произведенія «заражаютъ» большое количество читателей, зрителей, слушателей, другія — меньшее, одни — только современниковъ, другія оказываютъ свое заразительное дѣйствіе цѣлые вѣка. Указаній на возможность какихъ бы то ни было другихъ критеріевъ для расцѣнки произведеній искусства—нѣтъ въ формулѣ гр. Толстого. Онъ ихъ долженъ искать гдѣ-нибудь внѣ этой формулы и, по всей вѣроятности, будетъ искать ихъ тамъ же, гдѣ нашелъ ихъ Фехнеръ. Да онъ уже и теперь идетъ по слѣдамъ Фехнера. Тотъ видитъ высшую инстанцію для разбора споровъ о вкусахъ въ соотвѣтствіи

или несоотвѣтствіи ихъ «благу, счастію человѣчества», гр. же Толстой указываетъ, хотя и непослѣдовательно, на «благо отдѣльнаго человѣка и человѣчества», какъ на рѣшающій моментъ въ опредѣленіи достоинства художественнаго произведенія.

Фехнеръ, говоря о томъ, какъ складываются вкусы, упоминаетъ о психической заразѣ, но дѣлаетъ это мимоходомъ, а въ одномъ мѣстѣ говоритъ даже, что это явленіе не имѣетъ большого значенія для предмета его книги. Статья гр. Толстого показываетъ, напротивъ, какое огромное значеніе имѣетъ психическая заразительность въ вопросахъ искусства. Вполнѣ признавая заслугу нашего великаго художника, надо, однако, замѣтить, что онъ не первый обратилъ вниманіе на эту въ высшей степени важную сторону дѣла, и не совсѣмъ правъ, утверждая, что доселѣ никѣмъ ничего не было сдѣлано въ этомъ направленіи. Не говоря объ отдѣльныхъ замѣчаніяхъ, мимоходомъ высказываемыхъ въ разныхъ сочиненіяхъ, посвященныхъ общему вопросу о психической заразѣ, подражаніи и проч. (я обратилъ бы вниманіе заинтересованнаго читателя, напримѣръ, на главы объ искусствѣ въ книгѣ Рамбоссона Phénomènes nerveux intellectuels et moraux, leur transmission par contagion, 1883), я укажу на одно спеціально эстетическое сочиненіе, основные принципы котораго весьма близки къ нѣкоторымъ пунктамъ статьи гр. Толстого, а вмѣстѣ съ тѣмъ примыкаютъ и къ изложенному взгляду Фехнера. Говорю о книгѣ Эннекена (Hennequin, La critique scientifique, 1888; если не ошибаюсь, есть русскій переводъ). Мы сейчасъ къ ней обратимся, а теперь попробуемъ поближе присмотрѣться, какъ къ самой формулѣ гр. Толстого, такъ и къ тѣмъ комментаріямъ, которыми онъ ее сопровождаетъ.

Искусство не есть то-то, не есть и то-то, а «главное—не есть наслажденіе». Не будемъ придираться къ неточности этой фразы и будемъ въ ней видѣть лишь выраженіе желанія, если не совсѣмъ упразднить, то умалить роль наслажденія въ искусствѣ. И дѣйствительно, въ формулѣ гр. Толстого нѣтъ и помину о наслажденіи, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобы, развертывая эту формулу для истолкованія конкретныхъ фактовъ, мы не встрѣтились съ наслажденіемъ. Гр. Толстой думаетъ, что люди, «считающіе цѣлью искусства наслажденіе», подобны дикарямъ, для которыхъ «цѣль и назначеніе пищи въ наслажденіи, получаемомъ отъ принятія ея». Разумѣется, «цѣль и назначеніе» пищи не въ наслажденіи, а въ поддержкѣ организма, но наслажденіе есть несомнѣнно проводникъ къ этой цѣли, при томъ наслажденіе двоякое: во-первыхъ, вкусовое,—даже вегетаріанцы, издавая свои кулинарныя руководства, указываютъ, что рекомендуемая ими пища, кромѣ всего прочаго, вкусна, если ее приготовить такъ-то и такъ-то; во-вторыхъ, наслажде-

ніе удовлетворяемой потребности. Если бы можно было себѣ представить организмъ, не знающій, по крайней мѣрѣ, этого послѣдняго наслажденія, то онъ во всякомъ случаѣ не долго прожилъ бы, какъ не долго просуществовалъ бы родъ человѣческій, если бы, по какимъ-нибудь причинамъ, исчезло наслажденіе полового акта. Точно также и въ искусствѣ. Формула гр. Толстого совершенно вѣрна, но дѣло въ томъ, что проводникомъ заразительности художественныхъ произведеній является все-таки наслажденіе, и опять-таки двоякое: во-первыхъ, эстетическое, а во-вторыхъ, то особое, очень сложное, часто жуткое и граничащее со страданіемъ наслажденіе, которое мы испытываемъ, сочувственно переживая чужую жизнь или какіе-нибудь отдѣльные ея моменты. Эстетика экспериментальной психо-физической школы указываетъ на извѣстныя сочетанія линій, красокъ, звуковъ, эстетическая оцѣнка которыхъ заложена въ устройствѣ нашей нервной системы и органовъ чувствъ. Насъ физіологически отталкиваютъ одни изъ этихъ сочетаній и привлекаютъ другія. И это, конечно, одно изъ условій, съ которыми художественное произведеніе должно считаться при преслѣдованіи цѣли, указываемой гр. Толстымъ. Оно не достигнетъ этой цѣли, не заразитъ слушателей, зрителей, читателей, не проведя ихъ черезъ этотъ, если позволительно такъ выразиться, эстетическій коридоръ. Извѣстно, что въ далекой древности не только поэзія, подходящая подъ формулу гр. Толстого, какъ и всякое другое искусство, а и законодательство, и правила морали, и практическія руководства по разнымъ отраслямъ дѣятельности излагались ритмической и отчасти даже риѳмованной рѣчью, остатки чего мы и нынѣ видимъ въ пословицахъ. Но съ теченіемъ времени ритмъ и риѳма, то есть извѣстныя эстетически дѣйствующія сочетанія звуковъ, оказались нужными только для поэзіи, именно потому, что они составляютъ условія, облегчающія зараженіе читателя и слушателя извѣстными чувствами. Законодательства, правила морали, практическія руководства сами по себѣ, въ этихъ формахъ не нуждаются, такъ какъ они нѣчто предписываютъ, дѣйствуютъ на волю преимущественно чрезъ посредство разума, а не непосредственно заражаютъ чувствами.

Въ маленькомъ этюдѣ Спенсера о «граціозности» кратко, но ясно указаны физіологическія условія того наслажденія, которое мы испытываемъ при видѣ граціозныхъ тѣлодвиженій и позъ. Здѣсь, вмѣстѣ съ эстетическими условіями заразы, мы имѣемъ уже и самую заразу: мы безсознательно переживаемъ ту пріятную легкость, съ которою искусный танцоръ или конькобѣжецъ совершаетъ извѣстныя движенія, и отраженнымъ образомъ сами испытываемъ эту пріятную легкость. Но это случай очень элементарный и именно

по своей элементарности мало что объясняющій въ задачахъ искусства. Хорошо исполненное живописное изображеніе, напримѣръ, человѣка, наслаждающагося отдыхомъ, или счастливой пары влюбленныхъ и т. п., конечно, можетъ возбудить пріятное чувство, которымъ и хотѣлъ художникъ заразить зрителя. Это не удивительно. Но какъ уживается художественное наслажденіе рядомъ съ отрицательными чувствами страданія, ужаса, отвращенія, негодованія, которыми заражаютъ насъ художники слова, кисти, рѣзца, звука? Это очень сложный и спорный вопросъ, который я не думаю разрѣшать. Я хотѣлъ бы лишь подойти къ нему съ точки зрѣнія формулы гр. Толстого.

Помните знаменитый монологъ Гамлета:

Не дивно-ли: актеръ, при тѣни страсти,
При вымыслѣ пустомъ, былъ въ состояньи
Своимъ мечтамъ всю душу покорить;
Его лицо отъ силы ихъ блѣднѣетъ;
Въ глазахъ слеза дрожитъ и млѣетъ голосъ,
Въ чертахъ лица отчаянье и ужасъ
И весь составъ его покоренъ мысли.
И все изъ ничего—изъ-за Гекубы!
Что онъ Гекубѣ, что она ему?
Что плачетъ онъ о ней? О, еслибъ онъ,
Какъ я, владѣлъ порывомъ къ страсти,
Чтобъ сдѣлалъ онъ? Онъ потопилъ бы сцену
Въ своихъ слезахъ и страшными словами
Народный слухъ бы поразилъ, преступныхъ
Въ безумство бы повергъ, невинныхъ въ ужасъ,
Незнающихъ привелъ бы онъ въ смятенье,
Исторгъ бы силу изъ очей и слуха.

Гамлетъ ошибается, думая, что ему недостаетъ только силы характера и мужества («А я? презрѣнный, малодушный рабъ»... «Я голубь мужествомъ») для того, чтобы сказать потрясающее «слово за короля, надъ чьимъ вѣнцомъ и жизнью совершено проклятое злодѣйство». Ему для этого недостаетъ художественнаго дарованія. И въ томъ же монологѣ, рѣшаясь приступить «къ дѣлу», онъ начинаетъ съ обращенія къ помощи актеровъ же:

Гм! слышалъ я, не разъ преступныхъ душу
Такъ глубоко искусство поражало,
Когда они глядѣли на актеровъ,
Что признавалися они въ злодѣйствахъ.

Поэтъ, изобразившій страданія Гекубы, и актеръ, усугубившій это изображеніе своей декламаціей, переживали скорбь жены убитаго Пріама, и хотя это была отраженная скорбь, но такъ какъ актеръ «своимъ мечтамъ всю душу покорилъ» и «весь составъ

его покоренъ мысли», то скорбь получаетъ у него даже физическое выраженіе настоящей, неподдѣльной блѣдности лица, подлинныхъ, неподдѣльныхъ слезъ и проч.; и хотя, далѣе, онъ переживаетъ скорбь, но въ самомъ фактѣ этого переживанія и этой передачи зрителямъ и слушателямъ — испытываетъ нѣкоторое своеобразное наслажденіе. То же самое происходитъ и со зрителями и слушателями, которымъ поэтъ и актеръ внушаютъ скорбныя чувства, заражаютъ ихъ скорбью: скорбь отраженная, но несомнѣнная; переживается скорбь, но вмѣстѣ съ тѣмъ получается наслажденіе. То же и въ другихъ искусствахъ, съ тою лишь разницей, что собственно въ драматическомъ искусствѣ эффектъ усиливается еще всѣмъ видомъ театральнаго зала, всею совокупностью сочувствующихъ, сострадающихъ, сорадующихся зрителей; этимъ облегчается процессъ психической заразы. Кто не испытывалъ мучительнаго наслажденія при чтеніи большинства произведеній Достоевскаго? Силою своего жестокаго таланта этотъ человѣкъ заставляетъ насъ переживать ужаснѣйшія, мучительнѣйшія положенія, и однако мы испытываемъ при этомъ наслажденіе. Самъ Достоевскій объяснилъ бы эту странную двойственность своими извѣстными двумя афоризмами: «человѣкъ деспотъ отъ природы и *любитъ* быть мучителемъ», «человѣкъ до страсти *любитъ* страданіе». Это, однако, ничего не объясняетъ, ибо мы знаемъ, что есть художники, вдохновляющіеся свѣтлыми, радостными, веселыми образами и картинами и внушающіе намъ соотвѣтственныя чувства. Очевидно, объясненіе, чтобы быть правильнымъ, исчерпывающимъ, должно охватить и эти, очень многочисленные случаи. Это разъ. А во-вторыхъ, и самые афоризмы Достоевскаго, въ такой общей формѣ, суть несомнѣнно плоды больного сердца и эксцентрическаго ума. Безспорно есть люди, испытывающіе наслажденіе при видѣ чужого страданія, наслажденіе самодовлѣющее, чуждое мотивовъ мести, личной злобы и т. п. Но это — единицы, исключенія, подлежащія вѣдѣнію психіатріи. Есть и люди, жаждущіе страданій, но это или опять-таки психіатрическіе субъекты, или же страданіе для нихъ является средствомъ потушить еще большія страданія, причиняемыя имъ, напримѣръ, чувствомъ грѣховности. Вообще же говоря, человѣкъ ищетъ наслажденія и бѣжитъ страданія. Надо только помнить сложность человѣческой души, сложность ея реагированія на явленія жизни,—жизни и искусства.

Спрашивается, какое же такое наслажденіе манитъ насъ перечитывать мучительнѣйшія страницы Достоевскаго, слушать похоронный маршъ или горькую пѣснь «надгробнаго рыданія», смотрѣть, какъ надрываются «бурлаки» на картинѣ Рѣпина или какъ готовятся къ казни «стрѣльцы» на картинѣ Сурикова, присутство-

вать при перевоплощеніи страданій Дездемоны или Гекубы? И что тянетъ самихъ художниковъ къ переживанію всѣхъ этихъ скорбей, мученій, страданій? Я не говорю теперь о физіологическихъ условіяхъ, въ силу которыхъ извѣстныя сочетанія линій, звуковъ, красокъ, свѣта и тѣни ласкаютъ наши нервы и органы слуха и зрѣнія. Есть очевидно еще нѣчто, чарующее насъ въ приведенныхъ случаяхъ. Что же это такое? Гекуба страдала, а поэтъ и актеръ, вдохновляющіеся этимъ страданіемъ, наслаждаются перевоплощеніемъ этого страданія; страдаютъ, мучаются собственнымъ мученіемъ они, напротивъ, тогда, если имъ, по ихъ убѣжденію, не удалось достаточно ярко выразить страданіе Гекубы, достаточно проникнуться имъ. Зритель, слушатель, читатель тоже переживаютъ скорбь Гекубы, наслаждаются перевоплощеніемъ этого страданія и, наоборотъ, если не страдаютъ, то по крайней мѣрѣ испытываютъ непріятное чувство, если художникъ не достаточно полно и ярко выразилъ страданіе.

Мы никогда не выйдемъ изъ этого противорѣчія, если не признаемъ, что переживаніе чужой жизни, чужого настроенія, какъ бы всасываніе его въ себя *можетъ* само по себѣ быть наслажденіемъ, которое и лежитъ въ основѣ искусства, какъ для художника, такъ и для зрителя, слушателя, читателя. Я подчеркнулъ слово «*можетъ* быть наслажденіемъ». Сила психической заразительности сказывается во множествѣ явленій, какъ обыденной личной, такъ и общественной жизни. Особенность ея въ искусствѣ точно опредѣляется формулой гр. Толстого, но еще лучше однимъ изъ его комментаріевъ къ ней: «если человѣкъ заражаетъ другого или другихъ прямо, непосредственно своимъ видомъ или производимыми имъ звуками въ ту самую минуту, какъ онъ испытываетъ чувство... то это еще не есть искусство; искусство начинается тогда, когда человѣкъ, съ цѣлью передать другимъ людямъ испытанное имъ чувство, снова вызываетъ его въ себѣ и извѣстными внѣшними знаками выражаетъ его». Но здѣсь-то и важенъ тотъ элементъ наслажденія, отъ котораго гр. Толстой хочетъ оттородить искусство. Въ жизни дѣйствительной мы радуемся чужой радости и сострадаемъ чужому страданію (вообще говоря, то есть, при отсутствіи встрѣчныхъ мотивовъ зависти, мести и проч.), именно потому, что заражаемся этими настроеніями и испытываемъ сами наслажденіе или же страданіе. Видъ страданій Гекубы въ дѣйствительной жизни и переживаніе ихъ наслажденія не даютъ. Напротивъ, мы испытываемъ при этомъ только большее или меньшее страданіе, которое и стремимся такъ или иначе прекратить: или просто отходимъ, чтобы не видѣть страданія, или стараемся лаской, сочувствіемъ утѣшить, или, если это возможно, удалить самую причину

страданія. Не то въ искусствѣ. Въ театрѣ мы любуемся, наслаждаемся видомъ мастерского переживанія чужихъ страданій и страдаемъ, если актеръ дѣлаетъ это дурно, если онъ нарушаетъ цѣльность скорбящаго образа какимъ-нибудь, напримѣръ, комическимъ штрихомъ, который самъ по себѣ могъ бы насъ заставить улыбнуться. Сами мы не играемъ роли, но настолько полно переживаемъ изображаемую на сценѣ жизнь, что неловкій штрихъ насъ коробитъ. Иллюзія должна быть полная, но это все-таки иллюзія, иначе мы или бросились бы между Отелло и Дездемоной, чтобы предупредить убійство, или убѣжали бы изъ театра, чтобы не быть свидѣтелемъ его. Нѣчто въ этомъ родѣ, впрочемъ, бываетъ. Есть люди очень наивные или очень нервные, для которыхъ произведеніе искусства и соотвѣтственное житейское явленіе сливаются въ одно цѣлое, и тогда искусство болѣе или менѣе перестаетъ быть для нихъ источникомъ наслажденія въ тѣхъ случаяхъ, когда сюжетъ произведенія окрашенъ скорбью, страданіемъ, ужасомъ. Извѣстно, что простые люди часто вмѣшиваются въ ходъ дѣйствія драмы: громогласно указываютъ, напримѣръ, герою, гдѣ спрятался злодѣй, или выражаютъ аплодисментами одобреніе не игрѣ актера, то есть не искусству, а благороднымъ чувствамъ или удачно исполненной хитрости и т. п. Это именно потому, что граница между жизнью и искусствомъ для нихъ затушевывается. Это тоже переживаніе чужой жизни и психическая зараза, но скорбь въ этихъ случаяхъ только скорбь, только страданіе, почти не осложненное художественнымъ наслажденіемъ. Вотъ почему такъ часто дѣти, а иногда и взрослые, не любятъ читать «печальныя исторіи», хотя бы и въ высокой степени художественно изложенныя.

Сила искусства есть сама по себѣ сила стихійная, не вѣдающая ни добра, ни зла. Гр. Толстой ошибается, утверждая, что искусство «не есть наслажденіе, а есть необходимое для жизни и для движенія къ благу отдѣльнаго человѣка и человѣчества средство общенія людей, соединяющее ихъ въ однихъ и тѣхъ же чувствахъ». Искусство не есть наслажденіе,—эти два понятія не покрываютъ другъ друга; однако наслажденіе есть необходимое условіе искусства. Но искусство и не *есть* «необходимое для движенія къ благу отдѣльнаго человѣка и человѣчества средство общенія». Что оно таковымъ *должно быть*, что это желательно, это другой вопросъ. Это вопросъ принципа, а фактъ тотъ, что искусство «объединяетъ» людей въ очень различныхъ, по своему нравственному достоинству, чувствахъ. Если Гамлетъ припоминаетъ случаи, когда «преступныхъ душу такъ глубоко искусство поражало, что признавалися они въ злодѣйствахъ»; если, другими словами, искусство можетъ будить совѣсть и внушать добрыя или великодушныя чувства, то

бываетъ и наоборотъ, что искусство пробуждаетъ или питаетъ звѣрскіе инстинкты.

Изъ многихъ примѣровъ, приводимыхъ вышеуказанными французскими психіатрами, укажу на одинъ. Знаменитый юный убійца цѣлаго семейства Тропманъ (увѣковѣченный для русскихъ читателей Тургеневскимъ описаніемъ его казни), по его собственному показанію, зачитывался бульварными уголовными романами и увлекался ихъ кровожадными героями (Moreau, Le monde des prisons; Aubry, La contagion du meurtre). Очень плохи эти романы, но они во всякомъ случаѣ оказались достаточно сильными, чтобы заразить Тропмана. — Много лѣтъ тому назадъ я читалъ въ «Новомъ Времени» рождественскую сказку г. Вагнера (Кота Мурлыки). Не помню ни названія сказки, ни большинства ея чрезвычайно тщательно разработанныхъ подробностей, но полученное отъ нея впечатлѣніе врѣзалось неизгладимо. Помнится, какая-то еврейка необычайной красоты и огромнаго богатства, въ видахъ посрамленія или даже искорененія христіанства, должна родить сына отъ какого-то русскаго князя. При этомъ какое-то особенное значеніе имѣли родословныя древа дѣйствующихъ лицъ: выходило какъ-то, что по различнымъ вычисленіямъ и пророчествамъ мудрецовъ сліяніе кровей, текущихъ въ жилахъ князя и еврейки, должно дать плодъ, грозный для христіанства. Чары красоты еврейки, развертываемыя ею въ одуряющей роскошной обстановкѣ, начинаютъ овладѣвать княземъ. Но въ послѣднюю минуту еврейка требуетъ, чтобы князь снялъ съ своей шеи крестъ (тоже какой-то особенный) и наступилъ на него ногой. Передъ этимъ требованіемъ князь съ ужасомъ отступаетъ, и все предпріятіе еврейки рушится, потому что зачатіе таинственнаго ребенка должно произойти именно въ опредѣленную минуту (помнится, когда бьетъ полночь), иначе будетъ поздно. Еврейка разражается проклятіями... Не знаю, какое впечатлѣніе произвела бы на меня эта сказка теперь, но тогда я былъ пораженъ. Въ художественномъ смыслѣ сказка превосходна (или казалась мнѣ такою тогда); тщательная разработка деталей, гармонія частей, чувство мѣры, не смотря на фантастичность фабулы и восточную роскошь красокъ, постепенность, съ которою развертывается дѣйствіе,—какъ-то льстиво, но цѣпко захватывали душу и навязывали ей художественное наслажденіе, хотя я сознавалъ отвратительность тенденціи сказки. Я увѣренъ (или былъ тогда увѣренъ), что сказка эта, талантливо, «проникновенно» прочитанная вслухъ передъ толпой простого народа, и въ особенности въ рождественскую ночь, способна была бы вызвать крикъ: «бей жидовъ!» и соотвѣтственные поступки.

Читателю можетъ показаться, что два послѣдніе примѣра про-

тиворѣчатъ вышесказанному о предѣлахъ заразы или внушенія въ искусствѣ. «Искусство начинается тогда, когда человѣкъ, съ цѣлью передать другимъ людямъ испытанное имъ чувство, снова вызываетъ его въ себѣ и извѣстными внѣшними знаками выражаетъ его». Искусство выражаетъ не непосредственныя чувства, а отраженныя, и всякое хорошее произведеніе искусства даетъ иллюзію, возможно полную по условіямъ данной отрасли искусства, но все-таки иллюзію. И мы это знаемъ. Поэтому-то мы, при всемъ сочувствіи къ ужасному положенію Дездемоны, не заступаемся за нее, и тѣмъ паче не раскланиваемся передъ превосходно написаннымъ портретомъ нашего знакомаго и т. п. Если, однако, этимъ объясняется двойственное чувство художественнаго наслажденія и вмѣстѣ страданія при видѣ горестныхъ или ужасныхъ положеній воспроизводимыхъ искусствомъ, то вышеупомянутый Эннекенъ идетъ уже слишкомъ далеко въ своемъ разграниченіи реальныхъ и художественныхъ впечатлѣній. Послѣднія, по его мнѣнію, потому пріятны даже при непріятныхъ или тяжелыхъ зрѣлищахъ, что даютъ лишь слабое, легкое возбужденіе, не причиняющее настоящаго страданія и не вызывающее никакого дѣйствія, никакого поступка съ нашей стороны. Это не совсѣмъ такъ. Мы не вмѣшиваемся въ непосредственно происходящее передъ нами дѣйствіе (да и то, какъ мы видѣли, съ очень нервными или наивными людьми это бываетъ), но чувства, внушенныя намъ искусствомъ, могутъ разрѣшаться извѣстнаго рода дѣйствіями, поступками, совершаемыми подъ давленіемъ этихъ чувствъ. Это мы и видимъ въ біографіи Тропмана, въ извѣстной эпидеміи самоубійства, вызванной Гетевскимъ Вертеромъ, въ цѣломъ рядѣ явленій русской жизни, когда мы стремились копировать Печорина или потомъ Базарова, наконецъ, и въ гипотетическомъ случаѣ — чтеніи вслухъ предъ толпой простого народа сказки г. Вагнера. Эннекенъ долженъ лучше всякаго другого понимать его. Установивъ въ началѣ книги приведенное различіе между реальными и художественными эстетическими впечатлѣніями, подчеркнувъ, что «эстетическое волненіе есть бездѣйственная форма обыкновеннаго волненія» (L'émotion esthetique est une forme inactive de l'émotion ordinaire, 31), Эннекенъ, приближаясь къ концу своего изслѣдованія, вноситъ слѣдующую «поправку»: «Волненіе, вызываемое произведеніемъ искусства, не разрѣшается непосредственно дѣйствіемъ и этимъ отличается отъ сильныхъ реальныхъ волненій. Но, имѣя въ самомъ себѣ цѣль и не производя немедленно практическихъ слѣдствій, оно съ теченіемъ времени вызываетъ таковыя, и очень важныя» (203). За развитіемъ этой мысли, которая послѣ сказаннаго и безъ того понятна, мы слѣ-

дить не будемъ, а обратимся къ нѣкоторымъ другимъ сторонамъ эстетической теоріи Эннекена.

Основная мысль Эннекена состоитъ въ томъ, что, подобно гр. Толстому (вѣрнѣе было бы сказать, что гр. Толстой дѣлаетъ это подобно Эннекену), онъ видитъ въ искусствѣ средство зараженія читателя, зрителя, слушателя — внушенія (suggestion) имъ извѣстныхъ чувствъ. Но онъ понимаетъ, что достиженіе этой цѣли искусствомъ немыслимо безъ элемента художественнаго наслажденія. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи рѣшающимъ моментомъ является вкусъ. Въ искусствѣ,—говоритъ онъ,—нѣтъ критерія, который позволялъ бы расцѣнивать произведенія, одинаково волнующія, одинаково совершенныя въ смыслѣ экспрессіи. Но «книги, статуи, картины, музыкальныя произведенія существуютъ не одни въ пустомъ мірѣ. Если вѣрно, что образы и чувства, внушаемые этими произведеніями, оставляютъ слѣдъ въ душѣ человѣка, нравственныя качества котораго не безразличны для ему подобныхъ; если вѣрно, что эти образы и чувства вліяютъ на природу и силу души, — съ общественной точки зрѣнія нельзя признать всѣ произведенія искусства равнозначительными для блага даннаго общества или, беря предметъ шире, человѣчества» (207—8; затѣмъ слѣдуетъ ссылка на Vorschule der Aesthetik Фехнера).

Спрашивается, каковы, такъ сказать, количественные предѣлы зараженія чувствами, вложенными художникомъ въ свое произведеніе? Сотни тысячъ людей читаютъ французскіе уголовные бульварные романы и любуются соотвѣтственными театральными спектаклями, но не все же это Тропманы, хотя онъ, конечно, и не одинъ, и быть можетъ у очень многихъ изъ этихъ читателей и зрителей шевелятся звѣрскіе инстинкты, не разрѣшающіеся дѣйствіемъ. Эстетическіе вкусы этихъ людей удовлетворяются грубыми, на болѣе тонкій вкусъ прямо безобразными формами бульварныхъ романовъ и драмъ; но, кромѣ того, въ наслѣдственныхъ или благопріобрѣтенныхъ по извѣстнымъ условіямъ жизни душевныхъ свойствахъ этихъ людей должно быть нѣчто предрасполагающее къ воспринятію извѣстныхъ чувствъ. Это нѣчто можетъ всю жизнь оставаться въ потенціальномъ состояніи, не обнаруживаясь внѣшнимъ образомъ, но можетъ, такъ сказать, обласканное художественнымъ наслажденіемъ, вспыхнуть цѣлымъ пожаромъ. Въ нашемъ второмъ примѣрѣ, гипотетическомъ, дѣло яснѣе. Здѣсь мы имѣемъ группу людей, наивныхъ и грубыхъ, воспитанныхъ въ извѣстныхъ предразсудкахъ и антипатіяхъ, каковыми и подготовлена бурная вспышка съ кулачной расправой. Людей, иначе обставленныхъ всѣми условіями жизни, сказка г. Вагнера не заразитъ.

Эннекенъ и настаиваетъ на томъ, что у художника и его поклонниковъ, почитателей (admirateurs), то есть людей, которыхъ онъ заражаетъ своими произведеніями, должна быть нѣкоторая общая почва. Художникъ, совершенно чуждый какъ эстетическимъ вкусамъ, такъ и чувствамъ и наклонностямъ извѣстной группы людей, не произведетъ на нее никакого впечатлѣнія, хотя бы въ другой общественной средѣ волновалъ зрителей, слушателей, читателей до глубины души. Художникъ есть самъ продуктъ извѣстной среды, изъ чего однако не слѣдуетъ, чтобы его роль была совершенно пассивна. Напротивъ, художникъ властно привлекаетъ къ себѣ тѣ «массы», которыя способны заразиться его творчествомъ, воспринять тѣ чувства, которыя онъ внушаетъ. Художникъ часто самъ создаетъ «среду» своихъ почитателей, внушая имъ свои чувства.

Въ концѣ книги Эннекенъ дѣлаетъ набросокъ исторической теоріи, въ силу которой исторія есть взаимодѣйствіе выдающихся личностей—героевъ, вождей и массъ. Онъ горячо протестуетъ противъ столь же «ложнаго», какъ и «легко воспринимаемаго» положенія, «отдѣляющаго одинъ отъ другого оба элемента, которыми совершается каждое историческое событіе, — вождей и массы, — и дающаго перевѣсъ послѣднему надъ первымъ» (189). Насъ не интересуетъ здѣсь историческая теорія Эннекена, да и у него она является какъ бы придаткомъ къ эстетической теоріи. Она служитъ ему лишь для поясненія послѣдней путемъ параллели между историческими «героями» и художниками, съ одной стороны, толпою, «массами» и почитателями художника—съ другой. Было бы однако очень рискованно придавать титулъ героя всякому художнику, хотя бы и имѣющему большій или меньшій кругъ почитателей. По крайней мѣрѣ, надо въ этомъ разобраться и условиться. Можно, пожалуй, уподобить историческому герою, властно ведущему толпу за собой, всякаго талантливаго художника,—живописца, поэта, актера, музыканта, пѣвца, внушающаго зрителямъ, слушателямъ и читателямъ извѣстныя чувства и въ этомъ смыслѣ властвующаго надъ ними. Но можно требовать отъ героя въ искусствѣ и большаго,— такой яркой оригинальности, которая вызвала бы не только почитателей, проникающихся его образами и картинами, но еще «толпу» въ другомъ смыслѣ, — многочисленныхъ подражателей, иногда высоко талантливыхъ, которые въ свою очередь чаруютъ слушателей, читателей, зрителей. Такими героями, напримѣръ, въ русской литературѣ были Пушкинъ и Гоголь.

Приближеніе весны въ Петербургѣ ежегодно бываетъ отмѣчено какимъ-то пароксизмомъ художественныхъ наслажденій. Еще не успѣваютъ закрыться двери театровъ, какъ уже начинаются художественныя выставки, число которыхъ ростетъ съ каждымъ годомъ, потомъ концерты, еще концерты, еще выставки. И всѣ концерты и выставочные залы полнымъ полны, да и внѣ ихъ, на улицѣ, дома, въ гостяхъ, въ газетахъ вы сталкиваетесь съ отголосками пережитыхъ художественныхъ впечатлѣній: идутъ разговоры о собственномъ нашемъ г. Фигнерѣ и чужестранныхъ знаменитыхъ концертантахъ, объ англійской выставкѣ, финляндской, передвижной, академической. Что это значитъ? Дѣйствительно ли мы, петербуржцы, такъ жаждемъ художественныхъ наслажденій въ смыслѣ переживанія чужой жизни? Спустимся немножко съ этихъ высотъ чистой теоріи и посмотримъ на нѣкоторыя осложненія того интереса къ искусству, который мы только что въ минувшій сезонъ обнаружили.

Я не былъ на выставкѣ картинъ англійскихъ художниковъ, но вотъ что читаемъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» объ эффектѣ, произведенномъ этой выставкой въ Москвѣ. Выставка «пользуется очень большимъ успѣхомъ у публики. За недѣлю ея пребыванія въ Москвѣ администрація выставки получила входной платы 2,616 р. Посѣтителей за это время перебывало до 4,000 человѣкъ. Картинъ продано пока всего пять на сумму 12,000 руб., что съ пріобрѣтенными въ Петербургѣ картинами составитъ болѣе 80 нумеровъ. Въ настоящее время большинство выдающихся полотенъ уже распродано. Выставка особенно усердно посѣщается по вечерамъ, отъ 7-ми до 11-ти часовъ, когда играетъ цыганскій оркестръ І. Риго, красиво и съ огнемъ исполняющій преимущественно Штраусовскій репертуаръ. Въ эти часы залы совершенно переполнены, что значительно затрудняетъ осмотръ выставленныхъ произведеній. Много мѣшаетъ также электрическое освѣщеніе, благодаря которому значительно мѣняется колоритъ масляныхъ картинъ и совершенно пропадаютъ акварели. Не совсѣмъ удачно освѣщены и нѣкоторыя картины въ верхнихъ рядахъ».

Вдумайтесь въ эту замѣтку. Сравнительно недавно народился новый видъ искусства или, по крайней мѣрѣ, новое сочетаніе старыхъ художественныхъ элементовъ,—мелодекламація. Мнѣ не удавалось присутствовать при хорошемъ исполненіи, но я могу себѣ представить, что этотъ родъ искусства способенъ производить сильное и цѣльное впечатлѣніе, если, разумѣется, кромѣ хорошаго исполненія, текстъ читаемаго произведенія и сопровождающая его музыка совпадаютъ въ тонѣ; потому что если, напримѣръ, разсказъ Горбунова будетъ сопровождаться музыкальнымъ мотивомъ, напоми-

нающимъ похоронный маршъ, такъ ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Быть можетъ, возможны сочетанія музыки и съ живописью. Но когда на выставкѣ картинъ съ разнообразнѣйшими сюжетами играетъ цыганскій оркестръ Риго, то чѣмъ красивѣе и чѣмъ съ большимъ огнемъ онъ исполняетъ Штраусовскій репертуаръ, то тѣмъ нелѣпѣе долженъ оказаться результатъ выставки. Хорошо исполненный вальсъ Штрауса очень пріятно послушать. Но, заразившись бьющимъ изъ этого вальса весельемъ, какъ могу я заразиться, какъ могу я тутъ же воспринять вложенное художникомъ въ пейзажъ настроеніе тишины, грусти, одиночества? И наоборотъ: проникнувшись настроеніемъ кающейся Магдалины, какъ могу я слушать вальсъ? Скажутъ, можетъ быть, что вѣдь и на выставкѣ имѣются картины на разнообразные сюжеты: веселый жанръ рядомъ съ тихимъ пейзажемъ, трагической сценой, портретомъ, nature morte. Это такъ. Но вѣдь я могу сосредоточить свое вниманіе на любой изъ этихъ картинъ въ теченіе любого времени, тогда какъ звуки вальса сопровождаютъ меня неотступно и не могутъ не раздваивать впечатлѣніе. А между тѣмъ вотъ «залы переполнены» именно въ тѣ часы, когда играетъ цыганскій оркестръ и когда, вдобавокъ, благодаря электрическому освѣщенію «значительно мѣняется колоритъ масляныхъ картинъ и совершенно пропадаютъ акварели». Ясно, что публика—не говорю, конечно, вся—толпится на выставкѣ не затѣмъ, чтобы проникаться настроеніями художниковъ и переживать изображенную ими жизнь; не ради художественнаго наслажденія, а если и ради художественнаго, то самаго низменнаго сорта: «насытить кристалъ очей» красивыми пятнами и линіями, благо это не мѣшаетъ въ то же время насыщать и органъ слуха красивыми звуками. И это, можетъ быть, еще наивысшій мотивъ для многихъ: сами по себѣ картины, безъ вальса, *надо* смотрѣть, потому что такова мода, потому что всѣ смотрятъ, потому что нельзя же хлопать ушами въ салонѣ, когда говорятъ о такой-то картинѣ или такой-то статуѣ.

Ну, а художники? Изъ того, что публика смотритъ на картины, по безсмертному выраженію Гоголя, «ковыряя въ носу», не слѣдуетъ, что эти картины не суть произведенія искусства. Онѣ только слабо исполняютъ свою функцію или, можетъ быть, совсѣмъ не исполняютъ ея, какъ, такъ называемые, рудиментарные, зачаточные органы. Причина такого положенія вещей можетъ лежать и въ публикѣ, и въ художникахъ, и въ обоихъ вмѣстѣ. Художники и публика не находятъ другъ друга. Явленіе,—параллельное тому, которое выражено въ знаменитой горькой фразѣ Щедрина: «писатели пописываютъ, читатели почитываютъ». Публика даже съ чрезвычайною охотою смотритъ картины, но эти обзоры выставокъ составляютъ

для нея просто развлеченіе, подогрѣтое модой, а не то средство общенія съ душою художника, объ которомъ говорятъ Эннекенъ и гр. Толстой. Картины, повидимому, и покупаются въ значительномъ числѣ, но не смотрятъ ли на нихъ покупатели просто какъ на украшеніе своихъ кабинетовъ, гостиныхъ, столовыхъ?

Пойдемте на выставку «русскихъ и финляндскихъ художниковъ». Я долженъ предупредить читателя, что отнюдь не беру на себя роли эстетическаго судьи. Подобно всѣмъ смертнымъ, я не лишенъ чувства красоты, но не съумѣю объяснить, почему то-то мнѣ кажется красивымъ, а то-то—некрасивымъ, или даже вообще почему одно мнѣ нравится, а другое не нравится. Техническихъ знаній, нужныхъ для полной оцѣнки произведеній живописи, какъ живописи, я не имѣю. Но думаю, что ихъ не имѣетъ и подавляющее большинство посѣтителей выставки. Я—одинъ изъ этого большинства, только памятующій вышесказанное о задачахъ и предѣлахъ искусства.

Итакъ, мы на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Вотъ три номера, выставленныхъ г. Боткинымъ. Въ каталогѣ выставки они записаны такъ:

47. Три женскихъ силуэта. Опытъ декоративнаго мотива въ желтыхъ тонахъ. 1200 р.
48. Женскій силуэтъ } могутъ служить проектомъ для вышивки шерстью по 500 р.
49. Женскій силуэтъ }

Уже сама эта запись свидѣтельствуетъ, что художникъ преслѣдовалъ цѣли украшенія квартиры, а не искусства въ смыслѣ передачи зрителямъ извѣстнаго настроенія, внушенія имъ извѣстныхъ чувствъ. Конечно, и предметъ украшенія можетъ наводить на тѣ или другія чувства, хотя, напримѣръ, подушку, вышитую шерстью по проекту г. Боткина, всего естественнѣе подложить себѣ подъ бокъ или подъ голову, лежа на диванѣ. Но дѣло въ томъ, что и въ душѣ художника вы ничего не усмотрите, кромѣ желанія написать три (а можетъ быть и болѣе) картины «въ желтыхъ тонахъ». На желтомъ фонѣ три нагія женщины въ разныхъ позахъ, желтаго же, но болѣе блѣднаго цвѣта, среди какихъ-то желтыхъ же, только очень темныхъ растеній.

Мѣстомъ жительства г. Боткина показанъ въ каталогѣ Парижъ, и можно бы было думать, что женская нагота, le nu, играющая такую выдающуюся роль въ произведеніяхъ французскихъ живописцевъ, увлекла и нашего художника. Но и женская нагота, повидимому, сравнительно мало занимала его. На всѣхъ трехъ его

картинахъ мы имѣемъ именно «силуэты», лишенные рельефа, а кромѣ того натура ослабляется и равномѣрностью желтаго цвѣта. Такъ написаны «три силуэта», потомъ одинъ силуэтъ и еще одинъ силуэтъ. Передъ однимъ изъ этихъ одиночныхъ силуэтовъ я долго стоялъ въ недоумѣніи: что это такое? какъ будто и женщина, а какъ будто и чортъ знаетъ что. На желтомъ фонѣ желтая нагая женщина цвѣтомъ поблѣднѣе среди желтыхъ растеній цвѣтомъ потемнѣе. Но волосы женщины художникъ написалъ тѣмъ же темно-желтымъ цвѣтомъ, что и растенія, и закрылъ ими спереди лицо и грудь женщины, такъ что волосы смѣшиваются съ листьями растеній, и вы долго не можете понять, что же значитъ эта нижняя часть женскаго тѣла, обрывающаяся кверху какимъ-то темно-желтымъ неправильной формы пятномъ. Все это вмѣстѣ составляетъ такой странный капризъ художника, который едва ли во многихъ возбудитъ пріятныя эстетическія впечатлѣнія, не говоря уже о болѣе широкихъ задачахъ искусства.

Желтыя голыя женщины г. Боткина стоятъ особнякомъ на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Я хочу сказать, что ни сплошь желтыхъ, ни сплошь синихъ и проч. картинъ на ней больше нѣтъ. Но столь же, повидимому, необъяснимыхъ художественныхъ капризовъ очень много. До такой степени много, что, насмотрѣвшись на эти чудныя (не чудныя, читатель) картины, вы съ особеннымъ удовольствіемъ останавливаетесь не только на картинѣ г. Эдельфельда «Похороны ребенка», но и на гораздо болѣе слабой «Улицѣ въ Москвѣ въ XVII в.» г. Рябушкина. Если я сопоставляю эти двѣ картины, то вовсе не для сравненія ихъ между собою и вообще не для того, чтобы объ нихъ распространяться. На всякой другой выставкѣ онѣ вовсе не такъ бы бросались въ глаза: обыкновенныя житейскія сцены, обыкновенные люди, обыкновенными пріемами и обыкновенными красками написанные. Но на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ — «тамъ чудеса, тамъ лѣшій бродитъ, русалка на вѣтвяхъ сидитъ». Разумѣю не только сюжеты, а и изображаемые предметы, и пріемы изображенія, и краски. Безсмыслица здѣсь споритъ съ безобразіемъ.

Скажутъ, это новые пути въ искусствѣ. Прежде, чѣмъ поближе посмотрѣть на нихъ, позвольте мнѣ разсказать два анекдота. Но къ одному изъ нихъ мнѣ хочется сдѣлать еще приступъ.

Только что умеръ И. И. Шишкинъ, «лѣсной царь», какъ его называли, работы котораго есть и на нынѣшней передвижной выставкѣ. Но на ней есть, кромѣ того, и превосходный портретъ Шишкина, работы г. Ярошенко. Глядя на него, въ особенности подъ впечатлѣніемъ смерти Шишкина, невольно вспоминается другой, старый, тоже превосходный портретъ покойнаго пейзажиста,

работы Крамского. Тамъ вы видите могучаго, полнаго силъ человѣка, стоящаго, опершись на палку, въ полѣ. При немъ ящикъ съ красками и зонтикъ, и по спокойной позѣ, по спокойной вдумчивости глазъ, устремленныхъ вдаль,—надо думать, на лѣсъ, который онъ сейчасъ будетъ писать, — вы чувствуете, что это полный хозяинъ этого лѣса и своего дѣла. Тутъ, на портретѣ г. Ярошенко,— то же красивое, но уже блѣдное, усталое лицо, обрамленное сѣдыми волосами и длинной сѣдой бородой; Шишкинъ сидитъ въ креслѣ, устало наклонивъ голову и опершись на колѣна руками, держащими палитру, кисти, муштабель....

Однажды мнѣ пришлось быть въ обществѣ, въ которомъ было нѣсколько художниковъ, въ томъ числѣ Шишкинъ. Это было давно, когда въ нашей музыкѣ прокладывались какіе-то новые пути, и разговоръ зашелъ, между прочимъ, о новой оперѣ. Совершенно незнакомый съ этой оперой, да и о новыхъ путяхъ зная лишь по наслышкѣ, такъ какъ они тогда гремѣли, — я чувствовалъ однако фальшь, неискренность въ чрезмѣрно восторженныхъ отзывахъ нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ: чуялось что-то подогрѣтое, а не настоящее горячее. Шишкинъ рѣзко выразилъ свое несогласіе съ этими похвалами. «Да вы сколько разъ видѣли эту оперу?»— спросили его.—«Какъ сколько? одинъ».—Ну вотъ то-то и есть, а ее надо прослушать двадцать разъ, вотъ какъ я».—«Двадцать разъ?!— негодующе воскликнулъ Шишкинъ,—да будь я не Иванъ Иванычъ, а Болванъ Болванычъ, если и во второй разъ пойду слушать эту ерунду!»—Можетъ быть, Шишкинъ былъ не правъ въ своей оцѣнкѣ оперы, а правы были восторженные хвалители. Но Шишкинъ былъ искрененъ, а хвалители—что чувствовалось - подогрѣвали себя въ угоду моднымъ «новымъ путямъ». Если не ошибаюсь, эти пути теперь брошены и во всякомъ случаѣ болѣе не гремятъ...

Второй анекдотъ я слышалъ отъ другихъ. При одномъ талантливомъ художникѣ, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и остроумный человѣкъ, зашла рѣчь о новыхъ путяхъ въ искусствѣ, выражающихся въ стремленіи возродить наивную живопись старыхъ мастеровъ. По комнатѣ ползалъ ребенокъ, у котораго рубашенка задралась совсѣмъ кверху, и онъ былъ почти совсѣмъ голенькій. Остроумный художникъ сказалъ, что всякому овощу свое время, что и наивность была въ свое время хороша, когда соотвѣтствовала всему тогдашнему складу мыслей, чувствъ, вѣрованій. «Вотъ вѣдь, — прибавилъ онъ, указывая на ползающаго ребенка, — какъ мила эта наивность, ну, а если бы мы всѣ такъ, задравши рубахи. забѣгали, то это была бы просто гадость».

Оба эти анекдота вспомнились мнѣ по поводу выставки русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Здѣсь представлены новые пути, и

многіе этими новыми путями восторгаются, но восторги эти кажутся мнѣ неискренними (многіе, впрочемъ, чуть что не отплевываются), а новые пути, вообще говоря, состоятъ именно въ той наивности, которая, задравъ рубаху, самодовольно прогуливается. Я не хочу этимъ сказать, что на этой выставкѣ царитъ неприличіе въ нравственномъ смыслѣ. Напротивъ, въ этомъ отношеніи ни за что не зацѣпится самое строгое пуританское чувство. Мы видѣли, что голыя желтыя женщины г. Боткина по возможности не похожи на голыхъ женщинъ. А затѣмъ, не говоря уже о какихъ-нибудь скабрезныхъ сюжетахъ, «le nu», самое скромное, можно сказать совсѣмъ отсутствуетъ на выставкѣ. Сидитъ, правда, на акварели г. Энкеля «Поэма», голый человѣкъ съ необыкновенно глупой физіономіей на берегу какого-то прудка и держитъ въ рукахъ лиру, а къ нему подплываютъ черные лебеди; но его нагота чрезвычайно похожа на трико. Тотъ же г. Энкель выставилъ картину «Адамъ и Ева». Натурой художнику служили благообразный безбородый, а можетъ быть тщательно выбритый и во всякомъ случаѣ коротко остриженный финнъ и хорошенькая, лукаво улыбающаяся чухоночка, и г. Энкель былъ вѣренъ натурѣ; но почему это Адамъ и Ева, а не просто благообразный финнъ и хорошенькая чухоночка—неизвѣстно. Можно бы было думать, что это аллегорія или символъ. Повидимому, взятъ моментъ соблазна Евою Адама, хотя съ рѣшительностью этого сказать нельзя въ виду нѣсколько тупой неопредѣленности выраженія лица Адама. Въ такомъ случаѣ художникъ хотѣлъ сказать, что вотъ, дескать, это вѣчная исторія, повторяющаяся и въ Финляндіи. Однако, Адамъ и Ева изображены безъ одежды, чего, какъ говоритъ мужикъ въ «Плодахъ просвѣщенія» гр. Толстого, «клеймáтъ не позволяетъ» дѣлать на нашемъ сѣверѣ. Но любопытно, что объ отсутствіи одежды на Адамѣ и Евѣ свидѣтельствуетъ только одна рука и верхняя часть груди Адама. Картина срѣзана внизу такъ, что туловища Адама не видать, а у Евы, которая ростомъ пониже, видна даже только одна голова.

Итакъ, припоминая анекдоты о ребенкѣ съ задранной рубашенкой, я вовсе не имѣлъ въ виду указать на какую-нибудь нескромность гг. русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Это надо понимать въ томъ смыслѣ, что то, что приличествуетъ дѣтскому возрасту, не годится для великовозрастныхъ. О прокладывающихъ новые пути въ живописи можно часто услышать, что они не гонятся за правдою въ смыслѣ воспроизведенія дѣйствительности, какъ она есть; для нихъ важно настроеніе, овладѣвающее художникомъ и передаваемое имъ зрителю. Казалось бы, чего же лучше? Точной копіей съ дѣйствительности даннаго момента произведеніе искусства никогда не можетъ, да и не должно быть. Художникъ вноситъ въ него нѣчто

свое,—свое пониманіе и настроеніе. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы реальная дѣйствительность была извращаема и намѣренно уродуема. Посмотрите на эти деревья въ большинствѣ пейзажей на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Такъ рисуютъ дѣти и вообще неумѣлые или бездарные люди, но рисуютъ отъ чистаго сердца, прилагая всѣ старанія приблизиться къ природѣ, а здѣсь вы видите намѣреніе изобразить нѣчто ни съ чѣмъ несообразное. Конечно, притворяться, что не умѣешь рисовать, когда въ самомъ дѣлѣ не умѣешь,—очень легко, а потому людямъ бездарнымъ на этихъ новыхъ путяхъ, что называется, лафа. Это мы и въ поэзіи видимъ. Риѳма, ритмъ, правда, смыслъ,—чтобъ сочетать все это, нужно особенное дарованіе, которое не стѣснялось бы этими условіями, а, напротивъ, черпало бы изъ нихъ силу для воздѣйствія на читателя. Ну, а если ничего этого не нужно на новыхъ путяхъ, такъ не нужно и поэтическаго таланта. Но вѣдь не все же бездарности фигурируютъ на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ. Напротивъ, тутъ навѣрное есть талантливые люди, и тѣмъ прискорбнѣе видѣть, какъ они себя уродуютъ въ угоду модной художественной тенденціи. Тенденція эта въ общемъ отрицательнаго характера: реакція противъ реализма. Не вполнѣ, но въ значительной степени эта тенденція характеризуется стихотвореніемъ г-жи Гиппіусъ:

Стремлюсь къ тому, чего я не знаю,
Не знаю...
И это желанье не знаю откуда
Пришло, откуда.
. . . . . .
О, пусть будетъ то, чего не бываетъ,
Никогда не бываетъ.
. . . . . .
Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ,
Чего нѣтъ на свѣтѣ.

Эта тенденція, какъ имѣющая свои глубокіе корни въ условіяхъ современной общественной жизни, заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Но не слѣдуетъ преувеличивать ея значенія. Оно очень ослабляется тѣмъ обстоятельствомъ, что движеніе становится моднымъ и потому неискреннимъ: людямъ кажется, что *поза* человѣка, которому нужно то, «чего нѣтъ на свѣтѣ» и «чего не бываетъ, никогда не бываетъ», очень красива, и они охотно принимаютъ эту позу, не испытывая въ дѣйствительности соотвѣтственныхъ чувствъ. И нужна смѣлость Шишкина, чтобы въ извѣстныхъ кругахъ сказать: «Будь я не Иванъ Ивановичъ, а Болванъ Болвановичъ, если пойду еще разъ смотрѣть эту ерунду!» Какъ бы то ни было однако, а мы видимъ цѣлый

рядъ художественныхъ произведеній, въ которыхъ искренно или не искренно отражается тяготѣніе къ тому, чего не бываетъ, никогда не бываетъ. Къ этой общей цѣли художники подходятъ съ разныхъ сторонъ: то изображаютъ событія, какихъ не бываетъ, то пишутъ деревья, какихъ нѣтъ на свѣтѣ, то пускаютъ въ ходъ краски, не соотвѣтствующія дѣйствительности, то комбинируютъ реальныя черты съ невозможными. Спрашивается, какое же «настроеніе» внушается всѣмъ этимъ зрителю?

На выставкѣ, о которой идетъ рѣчь, есть нѣсколько картинъ г. Эдельфельда. По правдѣ сказать, этому талантливому художнику какъ будто и не мѣсто въ такой компаніи: слишкомъ онъ для нихъ простъ и ясенъ, слишкомъ приверженъ къ тому, что и есть, и что бываетъ. И, напримѣръ, его упомянутая уже картина «Похороны ребенка» вызываетъ вполнѣ опредѣленное настроеніе грусти. Но вотъ его же картина «Магдалина». Стоитъ Христосъ въ бѣлой одеждѣ, съ выраженіемъ кротости на лицѣ, какъ его обыкновенно пишутъ, только выраженіе это не ярко, можетъ быть потому, что Христосъ стоитъ въ профиль. Словомъ, Христосъ традиціонный, ничѣмъ не выдѣляющійся изъ безчисленныхъ изображеній Спасителя. Передъ нимъ на колѣняхъ, простирая къ нему руки и съ полными слезъ глазами стоитъ Магдалина. Скорбь грызущей совѣсти, можетъ быть уже облегченная этими слезами и надеждой на прощеніе, передана очень сильно. А такъ какъ г. Эдельфельдъ, къ счастію, не щеголяетъ ни намѣренною неправильностью рисунка, ни нелѣпостью красокъ, ни другими подобными вздорами, мѣшающими зрителю войти въ данное положеніе, пережить преображенную жизнь, то между зрителемъ и художникомъ, и зрителемъ и кающеюся Магдалиною возникаетъ то осложненное художественнымъ наслажденіемъ общеніе, которое составляетъ конечную задачу искусства. Одна бѣда: эта прекрасно написанная Магдалина, въ противоположность Христу, вполнѣ современна. Это—современная типичная чухонка въ кофточкѣ и современномъ костюмѣ вообще. Зачѣмъ это? Конечно, и современная финская, какъ и всякая другая грѣшница можетъ испытывать чувства скорби и покаянія и надежды искупленія совершенно такъ же, какъ Магдалина, и точно такъ же выражать ихъ. Но одно изъ двухъ: или Магдалина должна быть современна Христу, а не намъ, или Христосъ долженъ ей явиться въ видѣніи, въ мечтѣ, пожалуй въ видѣ художественнаго произведенія, скульптурнаго или живописнаго. Я знаю, что г. Эдельфельдъ не первый прибѣгаетъ къ этому сочетанію евангельскихъ чертъ съ современными,—у французовъ уже есть подобныя картины. Но это не мѣшаетъ быть этому новому пути въ живописи ложнымъ, по той простой причинѣ, что онъ разбиваетъ цѣльность

впечатлѣнія. Такъ и хочется разрѣзать картину г. Эдельфельда пополамъ.

Минуя картину г. Нестерова «Чудо», хотя она могла бы дать поводъ для интересныхъ соображеній о поддѣлкѣ подъ наивность, отмѣтимъ цѣлый рядъ иллюстрацій къ сказкамъ: эпизодъ изъ «Калевалы» г. Бломстеда, два эпизода изъ нея же г. Галена, рядъ иллюстрацій къ бретонскимъ сказкамъ г. Лансере, иллюстраціи къ сказкамъ «Царь Салтанъ» и «Русланъ и Людмила» г. Малютина. Здѣсь уже самымъ сюжетомъ художники наталкиваются на то, чего нѣтъ на свѣтѣ и чего не бываетъ. И надо отдать справедливость гг. художникамъ: они вполнѣ пользуются этимъ благопріятнымъ поводомъ. Оно какъ будто и законно въ этомъ случаѣ. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ эпизодовъ изъ «Калевалы», вдохновившихъ г. Галена: «Ужасная Лоухи обратилась въ страшнаго орла и, преслѣдуя славнаго Вейнемэйнена, похитителя сокровища Сампо, сѣла на мачту его ладьи. Подъ крыльями у нея сто ратниковъ, а на хвостѣ тысяча. Послѣ ужасной битвы Вейнемэйненъ обломалъ чудовищу крылья и ратники упали въ воду. Орелъ съ ужаснымъ шумомъ ухватился послѣднимъ оставшимся когтемъ за Сампо и столкнулъ его въ пучину моря». Соотвѣтственно этому и въ картинѣ столько чудовищнаго и безобразнаго, что даже смотрѣть скверно. Въ условіяхъ сказки художники находятъ какъ будто законный просторъ для якобы наивности сюжета, аляповатости формъ и красокъ, безобразія рисунка. Однако это лишь до извѣстной степени законно. Примитивное народное творчество, создавая всѣхъ этихъ «ужасныхъ Лоухи» съ тысячами ратниковъ на хвостѣ и т. п., совсѣмъ не было столь увѣрено, что такъ «не бываетъ», сколь увѣрены въ этомъ мы. Къ настроенію, даваемому наивной вѣрой въ возможность ужасныхъ Лоухи, для насъ нѣтъ возврата. Потому такъ и трудны поддѣлки подъ примитивное творчество, и трудность эта отнюдь не преодолѣвается механическимъ воспроизведеніемъ подробностей сказки и простымъ нагроможденіемъ ужасовъ на ужасы и безобразій на безобразія.

Но то сказка. А вотъ не угодно ли полюбоваться, напримѣръ, на «Августъ» г. Сомова. Ни цвѣтомъ, ни формами ни на что не похожій пейзажъ, среди котораго написано какое-то небольшое водное пространство,—не то лужа, не то прудокъ, а немного въ сторонѣ сидитъ человѣкъ, мужчина, вытянувъ ноги и выпрямивъ станъ, точно аршинъ проглотилъ; лицо его ровно ничего не выражаетъ, даже чувства неловкости его позы; на колѣняхъ у него лежитъ женщина, ничкомъ, вытянувшись вдоль его ногъ; ей тоже было бы очень неловко такъ лежать, если бы это была натура, а не картина. Почему это «Августъ»? и что это такое вообще? Уло-

вить настроеніе художника невозможно, кромѣ развѣ того, что ему хочется написать нѣчто такое, «чего не бываетъ», или по крайней мѣрѣ *какъ* не бываетъ. И зритель отходитъ отъ картины съ единственнымъ результатомъ: да, такъ не бываетъ... Можетъ быть эта пустынность тоскливо монотоннаго пейзажа, этотъ безжизненный прудокъ, эти неловкія позы двухъ людей, въ которыхъ тоже нѣтъ жизни,—можетъ быть все это должно внушать зрителю чувство тоски. Можетъ быть, но это тоска, отъ которой вы отворачиваетесь, къ сочувственному къ ней отношенію не ведетъ васъ художественное наслажденіе...

Уйдемте куда-нибудь съ этой выставки. Пойдемте на ея прямую противоположность,—передвижную. Здѣсь мы увидимъ только то, что есть, что бываетъ и именно какъ бываетъ. Когда-то это было тоже новое теченіе, долго подготовлявшееся условіями нашей жизни и, наконецъ, прорвавшееся съ шумомъ и блескомъ. Кто былъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ, тотъ помнитъ волненія, вызванныя первыми передвижными выставками: и «тузовые» восторги г. Стасова, и негодованіе другихъ критиковъ, и собственныя впечатлѣнія зрителей. Въ прошломъ году въ Москвѣ началъ выходить альбомъ передвижныхъ выставокъ за 25 лѣтъ. Къ сожалѣнію, у меня подъ руками только первый выпускъ этого изданія, а то стоило бы хоть слегка пройтись по этой четверти вѣка художественныхъ воспоминаній. Новизна состояла именно въ намѣреніи изображать дѣйствительность, какъ она есть, освободившись отъ условныхъ формъ академическаго искусства и отъ далекихъ отъ жизни темъ. Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и можно услышать мнѣніе, что передвижники отжили свой вѣкъ, при чемъ отчасти возрождаются и тѣ упреки, которые имъ дѣлались въ самомъ началѣ.

Было бы слишкомъ долго рыться въ старыхъ газетныхъ и журнальныхъ статьяхъ, но у меня записанъ въ высшей степени характерный отзывъ критика «Русскаго Вѣстника» о картинѣ г. Рѣпина «Бурлаки», которая, хотя появилась и не на передвижной выставкѣ, но вполнѣ соотвѣтствовала духу ея. Критикъ писалъ: «Бурлаки» сильно отзывались стихотвореніями г. Некрасова и явно били на гражданскій смыслъ. Но, помимо этого недостатка, картина отличалась самыми положительными достоинствами. Группа бурлаковъ выдѣлялась превосходнымъ пятномъ на огромномъ холстѣ... Громадный поволжскій пейзажъ, необыкновенно трудный по своей пустынности, служитъ превосходнымъ фономъ для этой сбившейся въ кучу толпы». Итакъ, «гражданскій смыслъ»—вотъ недостатокъ; «превосходное пятно на превосходномъ фонѣ» — вотъ достоинство. Это было написано въ 70-хъ годахъ, но и въ послѣднее время вы

могли услышать нѣчто подобное. Критики и зрители этого сорта требуютъ отъ картины превосходныхъ пятенъ на превосходномъ фонѣ. Превосходное, конечно, превосходно. Но, стараясь по возможности приблизиться къ этому техническому превосходству (въ общемъ никто не упрекнетъ ихъ въ небрежной работѣ), передвижники думали, что насытить кристалъ очей превосходными пятнами—еще не значитъ взять съ искусства все, что оно можетъ и должно дать; что эти превосходныя пятна должны служить проводниками для передачи настроенія художника зрителю, для внушенія ему извѣстныхъ чувствъ. Представители этого теченія дѣйствовали искренно и сознательно, тогда какъ критики, исповѣдывавшіе исключительный культъ превосходныхъ пятенъ, либо находились во власти недоразумѣнія, либо сознательно лгали. Въ сущности, они протестовали только противъ того, что они называли «*гражданскимъ* смысломъ», и если бы они встрѣтили въ картинѣ то, что они называли «патріотическимъ» настроеніемъ,—они бы ничего не имѣли противъ и находили бы вполнѣ законнымъ *такое* воздѣйствіе на зрителей при посредствѣ превосходныхъ пятенъ. Это и въ литературѣ было. «Русскій Вѣстникъ» и подобные ему органы громили тенденціозные романы во славу чистаго искусства и въ то же время восторгались тенденціознѣйшими романами Болеслава Маркевича. г. Авсѣенко и т. п. Подъ видомъ борьбы съ тенденціей за чистое искусство шла, въ сущности, борьба съ одной тенденціей за другую. Задачи искусства можно бы было съ этой точки зрѣнія совсѣмъ въ сторонѣ оставить и обмѣниваться рѣчами «о любви къ отечеству и народной гордости».

Такъ оно отчасти и было. Передвижники обличались въ томъ, что они выбираютъ для художественнаго воспроизведенія скорбныя, темныя стороны русской жизни и обходятъ свѣтлыя; въ томъ, далѣе, что они «провоняли искусство полушубкомъ» и тѣмъ заслонили отъ общества болѣе высокія, болѣе тонкія тревоги и радости такъ называемыхъ культурныхъ классовъ. Въ совокупности этихъ чертъ и состоитъ «инкриминируемый гражданскій смыслъ», а отсюда уже идетъ нить къ упреку въ ущербѣ, нанесенномъ красотѣ, какъ единственному предмету искусства. О недоразумѣніи или сознательной лжи, связаннымъ съ этимъ послѣднимъ пунктомъ обвиненія, я сейчасъ говорилъ. Прибавлю еще одно замѣчаніе: и въ тѣхъ случаяхъ, когда художникъ, повидимому, ничего, кромѣ красоты, не преслѣдуетъ, онъ все-таки желаетъ нѣчто внушить зрителю, а именно свой восторгъ передъ красотой—женскаго тѣла, пейзажа, изящнаго или богатаго наряда. Такъ что и здѣсь художникъ не избѣгаетъ общаго закона искусства. Нужно правду сказать, что произведеній этого характера мало бывало на передвижныхъ выставкахъ. Бывали

нарядные костюмы едва ли не исключительно ради ихъ нарядности, но ихъ было во всякомъ случаѣ мало, и не они давали тонъ выставкамъ. Голаго женскаго тѣла что-то и совсѣмъ не помню. Пейзажей было много (и съ каждымъ годомъ все больше), но за то же и красоты въ нихъ было много. Стоитъ только вспомнить имена Шишкина, Волкова, Дубовского, посмотрѣть ихъ пейзажи и на нынѣшней выставкѣ, да посравнить съ пейзажами на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ, чтобы понять, что такое настоящая красота. Надо, однако, замѣтить, что пейзажи, какъ я старался объяснить въ другомъ мѣстѣ, есть символъ и одно изъ условій одиночества. И кромѣ художественнаго наслажденія, чрезъ посредство его, пейзажъ внушаетъ зрителю спокойное, радостное, скорбное — смотря по обстоятельствамъ—чувство одиночества. Такъ называемой *чистой* красоты хорошо написанный пейзажъ не даетъ и не можетъ дать. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Вернемся къ упрекамъ въ «гражданскомъ смыслѣ».

Упреки эти частію совершенно нелѣпы; частію фактически невѣрны. Послушать ихъ, такъ пришлось бы признать, что изображеніе свѣтлыхъ сторонъ русской жизни лишено гражданскаго смысла или же представляетъ собою гражданское безсмысліе. Да оно дѣйствительно такъ и есть, если подъ любовью къ отечеству разумѣется исключительно восхваленіе его и устраняется скорбь о его бѣдахъ и язвахъ. А что касается «полушубка» и противопоставленія его такъ называемымъ культурнымъ классамъ, то развѣ этотъ полушубокъ идеализировался, напримѣръ, въ «Раздѣлѣ» г. Максимова, въ его же «Приходѣ колдуна на свадьбу» и проч., проч.,— всего не упомнишь. Да и если полушубокъ бросался въ глаза на передвижныхъ выставкахъ, такъ вовсе не потому, что имъ исчерпывалось ихъ содержаніе, а только потому, что до нихъ онъ не считался достойнымъ художественнаго произведенія. Во имя жизни и правды они ввели его, и въ этомъ, конечно, ихъ великая заслуга.

Говорятъ, что передвижники утратили свой raison d'être, какъ обособленная группа. Они внесли нѣчто въ русское искусство, и это нѣчто не составляетъ уже теперъ ихъ исключительной принадлежности; въ свою очередь и они у другихъ кое-чѣмъ позаимствовались, утратили яркость своей обособленности, и теперь ничто не мѣшало бы имъ слиться съ другими художественными учрежденіями и обществами. Указываютъ въ частности на то, что жанръ, составлявшій прежде центръ тяжести передвижныхъ выставокъ, на нынѣшней выставкѣ находится въ умаленіи, количественномъ и качественномъ, тогда какъ на академической выставкѣ, гдѣ онъ прежде почти отсутствовалъ, равно какъ на выставкѣ «С.-Петербургскаго

общества художниковъ» жанръ представленъ, если и не блестяще, то, по крайней мѣрѣ, обильно. Было бы интересно сравнить жанры этихъ двухъ выставокъ съ жанрами передвижниковъ, но у меня и безъ того остается слишкомъ мало времени и мѣста. Я остановлюсь лишь на тѣхъ элементахъ упомянутыхъ двухъ выставокъ, которыхъ нѣтъ на передвижной; нѣтъ, и, думается, не можетъ быть, или, по крайней мѣрѣ, появившись по какимъ-нибудь случайнымъ постороннимъ обстоятельствамъ, они шли бы въ разрѣзъ ея духу и производили бы впечатлѣніе диссонанса.

«Христіанская Дирцея въ циркѣ Нерона» г. Семирадскаго (на выставкѣ «С.-Петербургскаго общества художниковъ»). Это огромное полотно, составляющее «гвоздь» выставки, вызвало столько печатныхъ и устныхъ разговоровъ, что къ нему страшно приступиться. А пожалуй что и не страшно, потому что отзывы крайне противорѣчивы. Въ каталогѣ говорится слѣдующее:

Сюжетъ картины заимствованъ изъ сказаній Климента Римскаго и Гигина. Эпизодъ появленія на аренѣ цирка неукротимаго быка съ привязанной къ нему молодой христіанской дѣвушкой долженъ былъ напомнить собой такую же казнь, какой подвергалась миѳическая царица Дирцея по приговору пасынковъ ея, Амфіона и Цета. Привязанная къ быку веревками, перевитыми цвѣтами, а къ рогамъ волосами, дѣвушка казалась безжизненной отъ испытанныхъ ею ужаса, стыда и физическихъ страданій. Животное истекаетъ кровью, умерщвленное гладіаторами (bestiarii), назначенными для звѣриной травли. Зрѣлище окончено. Нерона снесли на арену въ раззолоченныхъ носилкахъ нумидійскіе невольники. Въ сопровожденіи своего любимца, префекта преторіанцевъ, жестокаго и развратнаго Тигелина и нѣсколькихъ приближенныхъ, Неронъ подошелъ къ своимъ жертвамъ, любуясь необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной имъ миѳологической группы.

Картина повѣшена такъ, что близко подойти къ ней нельзя, и я, по близорукости, не могъ разсмотрѣть выраженія лица мученицы. Пусть она дѣйствительно «кажется безжизненной отъ испытаннаго ею ужаса, стыда и физическихъ страданій». Но превосходно выписанная, со множествомъ «превосходныхъ пятенъ», картина и вся безжизненна. Не говоря о стоящихъ на вытяжку нумидійскихъ невольникахъ и другихъ стражникахъ съ ничего не выражающими тупыми лицами, «жестокій и развратный Тигелинъ» стоитъ опустя голову и въ полъ-оборота къ зрителю, а Неронъ... въ описаніи картины сказано, что онъ «любуется», но, признаюсь, я ничего не усмотрѣлъ на этомъ лицѣ. За то мнѣ кажется несомнѣннымъ, что самъ художникъ «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной имъ миѳологической группы». Самъ художникъ любуется тѣмъ, чѣмъ любовался Неронъ, тоже своего рода художникъ, но жестокій и безумный властитель, для

удовлетворенія своихъ эстетическихъ потребностей не задумавшійся надругаться надъ этой несчастной дѣвушкой. Неужели же есть что-нибудь родственное въ душахъ этого безумнаго звѣря и нашего художника? Картина г. Семирадскаго напомнила мнѣ бывшую на одной изъ недавнихъ академическихъ выставокъ картину г. Новооскольцева изъ временъ Ивана Грознаго. Въ домѣ опальнаго боярина хозяйничаютъ опричники. Центръ картины занимаетъ обнаженная дѣвушка, дочь боярина, надъ которой только что звѣрски надругались опричники. Отецъ боярышни сидитъ связанный, а опричники, увѣренные въ своей безнаказанности, тутъ же, въ присутствіи — не помню ужъ трупа или только «кажущейся безжизненной» дѣвушки, — весело пируютъ. Какой сюжетъ! Какая страшная, потрясающая тема, и какъ долженъ содрогаться зритель, прикованный, не смотря на свой ужасъ, къ картинѣ художественнымъ наслажденіемъ переживанія этого самаго ужаса!.. Но ничего подобнаго зритель не испытываетъ. «Сердце въ томъ не убѣдится, что не отъ сердца говорится». Г. Новооскольцевъ «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной имъ quasi-исторической сцены», какъ *могли бы* любоваться ими опричники (*могли бы*, потому что на картинѣ они даже не обращаютъ вниманія на дѣло рукъ своихъ). Что же, — возродилась въ г. Новооскольцевѣ душа звѣря опричника? Конечно, нѣтъ. Опричнику доставляла наслажденіе борьба, драка, разрушеніе, кровь, а г. Новооскольцевъ устроилъ въ разгромленной комнатѣ такой чистенькій, аккуратный безпорядокъ и вообще такъ убралъ и вымылъ всѣ слѣды борьбы, что для ужаса не остается никакого повода. Поклонники «чистой» красоты скажутъ, что въ этомъ-то и состоитъ достоинство картины. такъ какъ въ ней нѣтъ «гражданскаго смысла», а есть «красивыя («превосходныя»—въ данномъ случаѣ слишкомъ сильное слово) пятна». Но тогда не зачѣмъ выбирать подобные сюжеты,—мало ли другихъ поводовъ для изображенія красоты женскаго тѣла. У нѣкоторыхъ французскихъ художниковъ «клеймàтъ позволяетъ» разгуливать женщинамъ нагишомъ по лѣсу. Это безсмыслица, такъ «не бываетъ», но это не оскорбляетъ васъ въ такой мѣрѣ, какъ холодное и лживое трактованіе звѣрскаго преступленія. Оно холодно и лживо, ибо нельзя себѣ представить, чтобы дѣвушка на картинѣ г. Новооскольцева не сопротивлялась, чтобы ее просто раздѣли, не нанеся ей ни одной царапины, не обагривъ ея дѣвственнаго тѣла ни единой каплей крови, и не получивъ въ свою очередь никакого поврежденія своимъ лицамъ и костюмамъ: опричники такіе чистенькіе, точно сейчасъ ванну взяли, и костюмы на нихъ съ иголочки, ни одна пуговица въ свалкѣ не оборвалась... Вотъ почему картина холодна и лжива. И по той же причинѣ хо-

лодно и лживо произведеніе г. Семирадскаго. Г. Семирадскій, какъ и Неронъ, «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной имъ сцены». Но г. Семирадскій не Неронъ, и потому его Дирцея столь же цѣла и невредима, какъ боярышня г. Новооскольцева, и столь же мало на аренѣ цирка слѣдовъ безпорядка и борьбы. По этой же причинѣ и его Неронъ не выражаетъ на своемъ лицѣ того особаго жестокаго удовольствія, ради котораго онъ затѣялъ воспроизведенія миѳа о Дирцеѣ. Голыхъ женщинъ, самыхъ красивыхъ, Неронъ могъ имѣть сколько угодно и любоваться ими вволю, а въ данномъ случаѣ ему нужно было красивое тѣло въ особенной, кровавой обстановкѣ: ея нѣтъ на картинѣ, нѣтъ и отраженія ея на лицѣ Нерона...

Не смотря на выдающуюся талантливость г. Семирадскаго, его «Дирцея» была бы неумѣстна на передвижной выставкѣ, представляла бы собой диссонансъ на ней, какъ теперь, хотя и по другой причинѣ, представляетъ диссонансъ картина г. Нестерова «Благовѣщеніе». Евангельскія темы не разъ и прежде занимали передвижниковъ. Достаточно вспомнить «Христа въ пустынѣ» Крамского, рядъ картинъ Ге и проч. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ художники старались вложить *свое* настроеніе и *свое* пониманіе въ изображеніе того или другого евангельскаго эпизода. Это пониманіе могло быть ошибочнымъ, но это настроеніе было искренно, свое. Г. же Нестеровъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ старается выразить не свое, а чужое, примитивно наивное настроеніе. И глядя на его «Благовѣщеніе», я опять-таки вспомнилъ два вышеприведенные анекдота. А, впрочемъ, я слышалъ, какъ одинъ изящнѣйшій кавалерійскій офицеръ, остановившись передъ картиной г. Нестерова, обратился къ своей спутницѣ, тоже очень изящной и нарядной дамѣ, съ восклицаніемъ: «Ah, que c'est beau!..

Передвижная выставка уже не производитъ нынѣ того впечатлѣнія, какое производила когда-то. Частію потому, что кое-какія ея спеціальныя черты дѣйствительно до извѣстной степени перестали быть спеціальными и усвоены другими учрежденіями и обществами. Этимъ передвижники могутъ только гордиться. Но есть и другія, печальныя стороны дѣла. Знамя передвижныхъ выставокъ остается неприкосновеннымъ, но нѣкоторые сильные носители этого знамени покончили свое земное поприще, а «иные ему измѣнили» и — не скажу «продали кисти свои», но отошли въ сторону. А на смѣну имъ нарождается что-то мало большихъ силъ (такимъ казался, напримѣръ, г. Богдановъ-Бѣльскій, таковъ несомнѣнно есть г. Касаткинъ). На нынѣшней выставкѣ преобладающую роль играютъ пейзажи, между которыми есть истинно превосходные: не говоря уже о послѣднихъ произведеніяхъ Шишкина,

«Везувій» г. Ярошенко, «Осеннее утро» г. Мясоѣдова, «Передъ вечеромъ» г. Волкова, и въ особенности изумительный «Тихій вечеръ» г. Дубовского,—вотъ вѣдь тоже «желтые тона», вѣрнѣе: золотые, а посмотрите, что значитъ писать не модель для вышивки шерстью, а подлинное пережитое впечатлѣніе, воспроизведенное для внушенія его же зрителю... Однако, пейзажъ самъ по себѣ не есть что-нибудь характерное, какъ ради живописи, для передвижной выставки. Онъ лишь въ послѣдніе годы сталъ завоевывать себѣ относительно большее мѣсто, въ ущербъ жанру и исторической живописи. Тамъ—въ жанрѣ и исторической живописи — жизнь и жажда жизни, здѣсь — въ пейзажѣ — удаленіе отъ жизни и жажда покоя. Любопытно: г. Мясоѣдовъ, когда-то блестящій жанристъ, лишь изрѣдка обращавшійся къ пейзажу, на одной изъ предъидущихъ выставокъ далъ картину «Вдали отъ міра», — одинокій монахъ въ лѣсу или въ полѣ; а на нынѣшней выставкѣ г. Мясоѣдовъ уже исключительно пейзажистъ, ушелъ въ лѣсъ, въ поле, «вдаль отъ міра». Недостаетъ, чтобы неистощимый, кипящій жизнью г. В. Маковскій ушелъ «вдаль отъ міра»; его жанровъ на нынѣшней выставкѣ и меньше прежняго, и какъ-то они случайны, анекдотичны. Что это значитъ: личная усталость, или наша оскудѣлая жизнь не даетъ достаточнаго возбужденія?

Читатель пробѣжалъ не обзоръ четырехъ художественныхъ выставокъ. Я этой претензіи не имѣлъ и обошелъ многое, достойное въ разныхъ отношеніяхъ вниманія. Я не говорилъ объ огромномъ и вполнѣ безобразномъ «декоративномъ пано» г. Врубеля «Утро» на выставкѣ русскихъ и финляндскихъ художниковъ, о картинѣ г Рубо «Живой мостъ» (у академиковъ), представляющей разительный примѣръ несоотвѣтствія за сердце хватающаго сюжета съ холодностью исполненія; объ очень интересныхъ, хотя и загадочныхъ маленькихъ сепіяхъ г. Котарбинскаго и его же нисколько не интересной огромной «Оргіи» и проч., и проч. Я хотѣлъ лишь нѣсколькими примѣрами иллюстрировать вышеизложенныя теоретическія положенія о задачахъ и предѣлахъ искусства.

XII *)

Еще объ искусствѣ и гр. Толстомъ.—Справка о Некрасовѣ.

Въ прошлый разъ я выразилъ удивленіе, что гр. Толстой, говоря о различіи вкусовъ и понятій о красотѣ, не прибѣгъ къ своему обычному пріему quasi-математическаго подсчета: дескать, принявъ въ соображеніе все полутора-мильярдное населеніе земного шара, надо признать, что мы, такъ называемые образованные люди, ничтожная горсть, составляющая такую-то долю всего человѣчества, не имѣемъ права считать свои вкусы и понятія о красотѣ единственно вѣрными. Я поторопился удивляться. Въ только что появившемся окончаніи статьи гр. Толстого («Вопросы философіи и психологіи») мы находимъ этотъ пріемъ.

Гр. Толстой пишетъ:

«Мы такъ привыкли наивно считать не только кавказскую породу самой лучшей породой людей, но и англо-саксонскую расу, если мы англичане или американцы, и германскую, если мы нѣмцы, и славянскую, если мы русскіе, что мы, говоря о нашемъ искусствѣ, вполнѣ убѣждены, что наше искусство есть не только истинное, но и лучшее и единственное искусство. Но вѣдь наше искусство не только не есть единственное искусство, но даже не есть искусство всего христіанскаго человѣчества, а только искусство очень малаго отдѣла этой части человѣчества. Можно было говорить о народномъ—еврейскомъ, греческомъ, египетскомъ, и теперь можно говорить о китайскомъ, японскомъ, индійскомъ искусствѣ, общемъ всему народу. Такое общее всему народу искусство было въ Россіи до Петра и было въ европейскихъ обществахъ до XIII, XIV вѣковъ; но съ тѣхъ поръ, какъ люди высшихъ классовъ европейскаго общества, потерявъ вѣру въ церковное ученіе, не приняли истиннаго христіанства и остались безъ всякой вѣры,—нельзя уже говорить объ искусствѣ высшихъ классовъ христіанскихъ народовъ, подразумѣвая подъ этимъ все искусство. Съ тѣхъ поръ, какъ высшія сословія христіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, искусство высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа, и стало два искусства, искусство народное и искусство господское. И потому

*) Апрѣль 1898 г.

отвѣтъ на вопросъ о томъ, какимъ образомъ могло случиться то, чтобы человѣчество прожило извѣстный періодъ времени безъ настоящаго искусства, замѣняя его искусствомъ, служащимъ одному наслажденію, состоитъ въ томъ, что прожило безъ истиннаго искусства не все человѣчество и даже не значительная часть его, а только высшіе классы христіанскаго европейскаго общества, и то очень сравнительно короткій періодъ времени: отъ начала возрожденія и реформаціи до послѣдняго времени... Не только двѣ трети человѣческаго рода, всѣ народы Азіи, Африки живутъ и умираютъ, не зная этого единственнаго высшаго искусства, но, мало этого, въ нашемъ христіанскомъ обществѣ едва ли одна сотая всѣхъ людей пользуется тѣмъ искусствомъ, которое мы называемъ *всѣмъ* искусствомъ; остальные же 0,99 нашихъ же европейскихъ народовъ поколѣніями живутъ и умираютъ въ напряженной работѣ, никогда не вкусивъ этого искусства, которое при томъ таково, что, если бы они и могли воспользоваться имъ, то ничего не поняли бы изъ него» (стр. 17—19).

Вложенную въ эту цитату мысль гр. Толстой еще не разъ повторяетъ, развиваетъ, иллюстрируетъ примѣрами, а въ заключеніи статьи онъ сообщаетъ, что уже пятнадцать лѣтъ «не переставая думалъ объ этомъ предметѣ», то есть объ искусствѣ. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что каждая строка этого новаго произведенія нашего великаго художника, каждое отдѣльное положеніе, каждый иллюстрирующій примѣръ наилучше обставлены, какъ въ фактическомъ, такъ и въ логическомъ отношеніи. Къ сожалѣнію, это далеко не такъ въ дѣйствительности. Начать хоть бы съ этихъ «двухъ третей человѣческаго рода» или 0,99 европейцевъ. Что они доказываютъ? что они могутъ доказать въ данномъ случаѣ? Двѣ трети человѣческаго рода, всѣ народы Азіи, Африки живутъ и умираютъ не-христіанами, часто не имѣя ни малѣйшаго понятія о христіанствѣ или же относясь къ нему враждебно; это не мѣшаетъ, однако, гр. Толстому быть искренно вѣрующимъ христіаниномъ, а вѣдь и среди европейцевъ найдется не мало людей, понимающихъ христіанство не такъ, какъ понимаетъ его гр. Толстой. Въ дѣлѣ мнѣній ссылки на большое или малое количество согласно или несогласно мыслящихъ ровно ничего не доказываютъ, и даже одинъ человѣкъ вправѣ считать себя единственнымъ въ цѣломъ мірѣ обладателемъ истины, пока ему не докажутъ, что онъ заблуждается. Если современное искусство цивилизованныхъ людей стоитъ на ложномъ пути, то это надо доказать, а указаніе на азіатскіе и африканскіе народы и на 0,99 европейцевъ—не доказательство. Да и представляетъ свой статистическій аргументъ гр. Толстой очень запутанно. Въ самомъ дѣлѣ, «прожило безъ истиннаго искусства не все человѣчество и даже не значительная часть его, а только высшіе классы христіанскаго европейскаго общества, и то очень сравнительно короткій періодъ времени: отъ начала возрожденія и реформаціи до послѣдняго времени». Значитъ ли это, что то «истинное искусство», которое существо-

вало до возрожденія и реформаціи, было близко, дорого и понятно азіатскимъ и африканскимъ народамъ и всѣмъ ста сотымъ европейцевъ? Конечно, нѣтъ. Но—возразятъ, можетъ быть—искусство всѣхъ временъ и народовъ гр. Толстой противополагаетъ искусству указаннаго сравнительно малаго историческаго періода и ничтожной горсти человѣчества въ томъ смыслѣ, что только это послѣднее искусство «служитъ одному наслажденію». Именно въ этомъ смыслѣ оно и есть «господское искусство», тогда какъ искусство древне-еврейское, греческое, египетское, современное китайское, японское, индійское, русское до Петра, европейское до XIII, XIV вѣка, — все это искусства «народныя»; въ этомъ и состоитъ объединяющая ихъ черта, каковы бы ни были ихъ различія въ другихъ отношеніяхъ.

Гр. Толстой излагаетъ, какъ свои мысли, такъ и подтверждающіе или якобы подтверждающіе ихъ факты съ такою ошеломляющею увѣренностью, что объ искусствѣ японскомъ, индійскомъ, китайскомъ, египетскомъ, которыя онъ, вѣроятно, глубоко изучилъ, я не рѣшаюсь говорить, да и очень ужъ далеко отъ насъ все это. Другое дѣло русская исторія, которую мы все-таки всѣ немножко знаемъ, или, по крайней мѣрѣ, должны знать. Но надо остановиться еще на нѣкоторыхъ общихъ положеніяхъ гр. Толстого.

«Всегда во всякое время и во всякомъ человѣческомъ обществѣ есть общее всѣмъ людямъ этого общества религіозное сознаніе того, что хорошо и что дурно, и это религіозное сознаніе и опредѣляетъ достоинство чувствъ, передаваемыхъ искусствомъ. И потому у всѣхъ народовъ всегда искусство, передававшее чувства, вытекающія изъ общаго людямъ этого народа религіознаго сознанія, признавалось хорошимъ и поощрялось; искусство же, передававшее чувства, несогласныя съ этимъ религіознымъ сознаніемъ, признавалось дурнымъ и отрицалось; все же остальное огромное поле искусства, посредствомъ котораго люди общались между собою, не оцѣнивалось вовсе и отрицалось только тогда, когда оно было противно религіозному сознанію своего времени» (6—7).

Итакъ, основою для сужденія о художественныхъ произведеніяхъ «всегда», «во всѣ времена», «у всѣхъ» служило религіозное сознаніе. Есть, однако, «огромное поле искусства», независимое отъ религіознаго сознанія, для котораго никакого мѣрила не было и нѣтъ: оно «не оцѣнивалось вовсе». Что это значитъ? Кѣмъ не оцѣнивалось? Если, напримѣръ, русскіе люди поютъ пѣсню «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», не имѣющую никакого отношенія къ религіозному сознанію, то не свидѣтельствуетъ ли уже самый фактъ ея распространенности, что она «оцѣнивается»? и оцѣнивается именно на основаніи даваемаго ею наслажденія.

«Высшія сословія среднихъ вѣковъ по отношенію къ религіи очутились въ томъ же положеніи, въ которомъ находились образованные римляне передъ появленіемъ христіанства, т. е. не вѣрили болѣе въ то, во что вѣрилъ народъ; сами же не имѣли никакого вѣрованія, которое могли бы поставить на мѣсто отжившаго и потерявшаго для нихъ значеніе языческаго ученія. И вотъ среди этихъ-то людей стало выростать искусство, расцѣниваемое уже не по тому, насколько оно выражаетъ чувства, вытекающія изъ религіознаго сознанія людей, а только потому, насколько оно красиво; другими словами—насколько оно доставляетъ наслажденіе» (8—9).

Что искусство возрожденія противопоставляло средневѣковому аскетическому идеалу наслажденіе,—это вѣрно, но чтобы оно «расцѣнивалось» *только* по тому, насколько оно доставляетъ наслажденіе,—не вѣрно, ибо задача его состояла не только въ томъ, чтобы непосредственно давать наслажденіе, а и въ томъ, чтобы отстаивать права человѣка на наслажденіе и бороться съ противными теченіями и, слѣдовательно, внушать очень разнообразныя положительныя и отрицательныя чувства. А кромѣ того, вѣдь и тогда, какъ «всегда», «вездѣ», «у всѣхъ», существовало «огромное поле искусства», независимое отъ религіознаго сознанія и, по мнѣнію гр. Толстого, «неоцѣниваемое вовсе», а въ дѣйствительности, конечно, оцѣниваемое, и не иначе, какъ по степени даваемаго имъ наслажденія.

Съ этимъ гр. Толстой, пожалуй и согласился бы. Но дѣло въ томъ, что «для огромнаго большинства всего рабочаго народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизнѣ, чуждо ему еще и по самому содержанію, передавая чувства людей, удаленныхъ отъ свойственныхъ всему большому человѣчеству условій трудовой жизни. То, что составляетъ наслажденіе для человѣка богатыхъ классовъ, непонятно, какъ наслажденіе, для рабочаго человѣка и не вызываетъ въ немъ никакого чувства или вызываетъ чувства совершенно обратныя тѣмъ, которыя оно вызываетъ у человѣка празднаго и пресыщеннаго. Такъ, напр., чувства чести, патріотизма, влюбленія, составляющія главное содержаніе теперешняго искусства, вызываютъ въ человѣкѣ трудовомъ только недоумѣніе и презрѣніе или негодованіе» (21).

Эта тирада крайне интересна, какъ характерное для гр. Толстого загроможденіе вѣрной мысли совершенно произвольными положеніями и противорѣчіями. Гр. Толстой беретъ «человѣка богатыхъ классовъ» и «рабочаго человѣка» вообще, внѣ какихъ бы то ни было другихъ опредѣленій. Значитъ, взаимное непониманіе чужихъ наслажденій есть вездѣ, гдѣ существуютъ богатые классы и рабочіе люди. Существуютъ таковые, напримѣръ, и въ Китаѣ, кото-

рому гр. Толстой усваиваетъ, однако, «народное» искусство, то есть не расщепленное на собственно народное и «господское». А между тѣмъ мы знаемъ, что въ китайскихъ романахъ (есть французскіе, а можетъ быть и другіе переводы) «влюбленіе» играетъ роль ни чуть не меньшую, чѣмъ въ европейскомъ романѣ. Но Богъ съ ней, съ китайщиной, я не хотѣлъ объ ней говорить. Гораздо интереснѣе было бы узнать, почему гр. Толстой полагаетъ, что «чувства чести, патріотизма, влюбленія вызываютъ въ трудовомъ человѣкѣ (скажемъ русскомъ) только недоумѣніе и презрѣніе или негодованіе». Свое собственное міросозерцаніе сегодняшняго дня, міросозерцаніе совершенно исключительное, гр. Толстой съ изумительною и ничѣмъ не оправдываемою смѣлостію приписываетъ всѣмъ «трудовымъ людямъ». Слова «честь» и «патріотизмъ» допускаютъ очень различныя толкованія, и потому не будемъ лучше ихъ касаться. Напомню только одно старое сообщеніе самого гр. Толстого, еще изъ тѣхъ временъ, когда онъ не исключительно изъ себя мудрствовалъ, а имѣлъ уваженіе къ живой жизни, любилъ ее и любовно наблюдалъ. Это именно въ одной изъ старыхъ педагогическихъ статей сообщеніе о томъ, какъ крестьянскіе ребятишки, дѣти «трудовыхъ людей», а отчасти и сами уже трудовые люди восторгались разсказами о войнѣ 12-го года, въ особенности тѣмъ именно, что Кутузовъ наконецъ «окорачилъ» Наполеона. «Патріотизмъ» есть слово очень затасканное и многосмысленное. Гр. Толстой поднялся или считаетъ себя поднявшимся надъ всѣми видами патріотизма на высоту общечеловѣческихъ идеаловъ и потому закрываетъ глаза на разнообразныя, благородныя и узко злобныя проявленія патріотизма, которыхъ будто бы совсѣмъ нѣтъ среди «рабочихъ людей». Точно также обращается онъ и съ «честью», но опять-таки это слово допускаетъ различныя толкованія. Нельзя того же сказать о «влюбленіи»,—понятіи, казалось бы, слишкомъ ясномъ, опредѣленномъ и общечеловѣческомъ, чтобы его можно было перетолковывать вкривь и вкось. Гр. Толстой, конечно, давно пересталъ «влюбляться», да и самую любовь объявилъ чѣмъ-то «неестественнымъ». И вотъ это свое личное настроеніе, опредѣляемое частью возрастомъ, а частью надменнымъ презрѣніемъ къ жизни, онъ безъ всякихъ колебаній навязываетъ «народу», «рабочимъ людямъ». Русскій народъ (какъ и всякій другой) распѣваетъ множество пѣсенъ о любви; русскій народъ сочинилъ такія даже страшныя картины «влюбленія», какъ извѣстные «заговоры на любовь», напримѣръ: «какъ всякъ человѣкъ не можетъ жить безъ хлѣба безъ соли, безъ питья, безъ ѣжи, такъ бы не можно жить рабѣ Божіей (такой-то) безъ меня раба: сколь тошно жить рыбѣ на сухомъ берегу безъ воды студеныя, и сколь тошно младенцу

безъ матери, а матери безъ дитяти, столь бы тошно было рабѣ Божіей безъ меня раба» и т. д.; или: «Подите вы, семь вѣтровъ буйныхъ, соберите тоски тоскучія со вдовъ, сиротъ и маленькихъ ребятъ, со всего свѣта бѣлаго, понесите къ красной дѣвицѣ (такой-то) въ ретивое сердце; просѣките булатнымъ топоромъ ея ретивое сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую, въ печень, въ составы, чтобы красная дѣвица тосковала и горевала по такомъ-то» и т. д. А гр. Толстой хочетъ насъ увѣрить, что «чувство влюбленія вызываетъ въ народѣ только недоумѣніе или презрѣніе и негодованіе». И это одно изъ основаній, по которымъ народу непонятно наше искусство...

Но народъ вѣдь, по мнѣнію гр. Толстого, и вообще ищетъ въ искусствѣ не наслажденія, а исключительно чувствъ, внушаемыхъ религіознымъ сознаніемъ. Такъ оно есть теперь, такъ оно было и для всѣхъ русскихъ людей до Петра. Можно подумать, что это пишетъ какой-нибудь заѣзжій иностранецъ, никогда не слыхавшій ни одной веселой русской пѣсни, никогда не видавшій деревенскаго хоровода, въ которомъ сочетаются лирика, драма и балетъ. Что же касается до-Петровской Россіи, то о какомъ собственно религіозномъ сознаніи, какъ источникѣ искусства, идетъ рѣчь? Безъ сомнѣнія наша иконопись, церковное пѣніе, духовная поэзія, церковная архитектура тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ христіанскимъ религіознымъ сознаніемъ въ его византійской формѣ; но, не говоря уже о томъ, что всѣмъ этимъ не исчерпывается древне-русское искусство, извѣстно, что проповѣдникамъ христіанскаго идеала долго пришлось бороться съ остатками языческаго религіознаго сознанія. При этомъ книжники заходили, въ своихъ аскетическихъ требованіяхъ, далеко за предѣлы христіанскаго идеала. Владиміръ «Красное Солнышко» остался въ народной памяти не только, какъ просвѣтитель Россіи христіанствомъ, но и какъ человѣкъ, любившій жизнь, веселье, наслажденіе, искусство — поэзію, пѣніе, музыку. Въ былинахъ онъ, напримѣръ, такъ награждаетъ «скомороха»:

За твою игру за великую,
За утѣхи твои за нѣжныя
Безъ мѣрушки пей зелено вино,
Безъ расчету получай золоту казну.

Впослѣдствіи «игра великая» и «утѣхи нѣжныя» стали подвергаться гоненію, не менѣе стремительному, чѣмъ то, которому подвергаетъ ихъ нынѣ гр. Толстой, но болѣе властному. Народъ, какъ бы памятуя, что его первый пѣвецъ, поэтъ и музыкантъ, полумиѳическій Баянъ, былъ «Велесовъ внукъ», какъ его называетъ «Слово о полку Игоревѣ», не прочь былъ сочетать искусство съ остатками

языческихъ обрядовъ и вѣрованій, а книжники утверждали его въ той мысли, что все жизнерадостное, веселое, всякое наслажденіе въ искусствѣ есть нѣчто предосудительное и христіанству противное. Уже лѣтописецъ Несторъ полагаетъ, что «дьяволъ льститъ трубами и скомрахи, гусльми и русалья». Въ другомъ документѣ читаемъ: «Не подобаетъ христіанамъ игръ бѣсовскихъ играти, еже есть прыганье, гуденье, пѣсни мірскія и жертвы идольскія». Въ XVI вѣкѣ псковичи обличались въ такомъ времяпровожденіи въ ночь на Ивана Купалу: «Мало не весь градъ зміятетца (возмятется) и бубны, и сопѣла, и гудѣніемъ струннымъ, и всякими неподобными играми, сатанинскимъ плесканіемъ и плясаніемъ, и того ради двигнется и возстанетъ всяка непріязненнаго угодія, яко въ поруганіе и въ безчестіе рождеству Предтечеву и въ насмѣхъ и укоризну дни его. Стучатъ бубны и гласятъ сопѣлы и гудятъ струны; женамъ же и дѣвамъ плесканіе и плясаніе, главамъ ихъ покиваніе, устамъ ихъ непріязненъ кличъ и вопль всескверныя пѣсни бѣсовскія; хребтамъ ихъ вихляніе и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе». Въ Стоглавѣ говорится, что въ Троицкую субботу «по селамъ и по погостамъ сходятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся по гробамъ съ великимъ кричаніемъ и егда начнутъ играти скоморохи и гудцы и прегудницы, они же отъ плача преставше, начнутъ скакати и плясати и въ ладони бити и пѣсни сатанинскія пѣти». Въ XVII вѣкѣ прямо запрещаются «домры, сурны, гудки, гусли, хари и всякіе гудебные бѣсовскіе сосуды». Запрещаются, конечно, потому, что, по мнѣнію властей, были слишкомъ распространены. И такихъ свидѣтельствъ о до-Петровской Россіи можно бы было привести еще много.

Ясно, что народъ и до Петра, какъ и послѣ него, не только не отрицалъ наслажденія въ искусствѣ, а напротивъ, искалъ его, съ чѣмъ усердно, но тщетно боролись властные книжники во имя аскетическаго идеала. И гр. Толстой не можетъ сказать, что это грубое, конечно, но все-таки искусство, и при томъ народное искусство «не оцѣнивалось вовсе». Нѣтъ, очень оцѣнивалось, одною частью населенія—положительно, другою—рѣзко отрицательно. Могутъ возразить, что оно оцѣнивалось тѣми и другими не по тому, насколько оно доставляло наслажденіе, а по тому, насколько оно выражало чувства, вытекающія изъ религіознаго сознанія—языческаго съ одной стороны и христіанскаго съ другой. Здѣсь есть доля истины, но не слѣдуетъ вѣдь забывать и то признаваемое самимъ гр. Толстымъ «огромное поле искусства», независимое отъ религіознаго сознанія, которое будто бы «не оцѣнивалось вовсе». И во всякомъ случаѣ невѣрно, значитъ, то положеніе гр. Толстого, что «*всегда, во всякое время и во всякомъ человѣческомъ обществѣ*

есть *общее всѣмъ людямъ* этого общества религіозное сознаніе того, что хорошо и что дурно». До-Петровская Россія, на которую гр. Толстой указываетъ, какъ на одинъ изъ примѣровъ, подтверждающихъ это правило, являетъ собою напротивъ одинъ изъ рѣзкихъ случаевъ его опроверженія. Тутъ-то именно мы и видимъ борьбу двухъ религіозныхъ сознаній, языческаго и христіанскаго, и своеобразное отраженіе этой борьбы на судьбахъ искусства, которое отраженіе отнюдь не укладывается въ теоретическія рамки, придуманныя гр. Толстымъ.

Гр. Толстой много говоритъ о христіанскомъ смиреніи и кротости, объ уваженіи къ мнѣніямъ $^{9}/_{10}$ или $^{99}/_{100}$ или вообще очень большой дроби человѣчества. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ говоритъ о себѣ въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 105: «Представляя образцы искусства, которое я считаю лучшимъ, я не придаю особеннаго вѣса своему выбору, такъ какъ я, кромѣ того, что недостаточно свѣдущъ во всѣхъ родахъ искусства, принадлежу къ сословію людей съ извращеннымъ ложнымъ воспитаніемъ вкусомъ. И потому могу, по старымъ усвоеннымъ привычкамъ, ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатлѣніе, которое произвела на меня вещь въ моей молодости. Называю же я образцы произведеній того и другого рода (мы сейчасъ увидимъ, что разумѣетъ гр. Толстой подъ двумя родами *хорошаго* искусства) только для того, чтобы больше уяснить свою мысль, показать, какъ я при теперешнемъ своемъ взглядѣ понимаю достоинство искусства по содержанію. При томъ еще долженъ замѣтить, что свои художественныя произведенія я причисляю къ области дурного искусства, за исключеніемъ разсказа «Богъ правду видитъ», желающаго принадлежать къ первому роду, и «Кавказскаго плѣнника», принадлежащаго ко второму».

Приведя нѣсколько образчиковъ современной декадентской поэзіи, блистающей полной безсмысленностью, и признавая эту безсмысленность, гр. Толстой въ смиреніи своемъ не рѣшается, однако, осудить декадентское искусство: не имѣю, говоритъ, права. Нельзя, по его мнѣнію, «причислять произведенія этого искусства къ безвкусному безумію». «Такое отношеніе къ новому искусству совершенно неосновательно, потому что, во-первыхъ, это искусство все болѣе и болѣе распространяется и уже завоевало себѣ твердое мѣсто въ обществѣ,—такое же, какое завоевалъ себѣ романтизмъ въ 30-хъ годахъ; во-вторыхъ, и главное, потому, что если можно судить такъ о произведеніяхъ позднѣйшаго, такъ называемаго декадентскаго, искусства только потому, что мы ихъ не понимаемъ,

то вѣдь есть огромное количество людей—весь рабочій народъ, да и многіе изъ нерабочаго народа, которые точно также не понимаютъ тѣ произведенія искусства, которыя мы считаемъ прекрасными: стихи нашихъ любимыхъ художниковъ: Гете, Шиллера, Гюго, романы Диккенса, музыку Бетховена, Шопена, картины Рафаэля. Винчи и др.» (стр. 43—44).

Не смотря однако на всѣ эти аллюры смиренія и уваженія къ чужому мнѣнію, едва ли найдется много людей, которые могли бы соперничать съ гр. Толстымъ въ надменной самоувѣренности и нетерпимости. Самый деспотическій произволъ, безпощадный и жестокій, господствуетъ во всѣхъ его новѣйшихъ произведеніяхъ. Ему ничего не стоитъ любое явленіе жизни, какъ бы оно ни было значительно, изломать, изогнуть, совсѣмъ упразднить въ угоду своей капризной мысли. Ни логичность доказательства, ни фактическая достовѣрность для него не обязательны, и было бы гораздо лучше, если бы онъ открыто отказался отъ той и другой и излагалъ свои мысли и чувства въ видѣ афоризмовъ въ повелительномъ наклоненіи, лирическихъ стихотвореній и т. п. Искусство, имѣющее въ виду наслажденіе, «должно быть признано дурнымъ искусствомъ. которое не только не должно быть поощряемо, но должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо» (стр. 106),—такова, собственно, основная мысль гр. Толстого. И рѣшительность этого тона будитъ въ вашей памяти образъ Савонаролы, не остановившагося передъ публичнымъ всесожженіемъ предметовъ искусства,—картинъ, музыкальныхъ инструментовъ и проч.—Но у гр. Толсгого нѣтъ власти Савонаролы, а простымъ изліяніемъ своихъ личныхъ чувствъ. чувствъ человѣка, въ свое время взявшаго отъ жизни все, что можно взять, а затѣмъ отрекшагося отъ наслажденія,—онъ не довольствуется. И вотъ онъ мысленно совершаетъ насиліе надъ фактами исторической и современной дѣйствительности, обрекаетъ ее на своего рода всесожженіе. Онъ, повидимому, чрезвычайно демократически приглашаетъ насъ прислушаться къ голосу $^{9}/_{10}$ или $^{99}/_{100}$ человѣчества и смириться передъ этимъ многомилліоннымъ голосомъ. На самомъ же дѣлѣ это его личный голосъ и онъ, подобно Людовику XIV, утверждавшему, что l'état c'est moi, могъ бы сказать: $^{99}/_{100}$ человѣчества—это я. Если бы однако Людовикъ XIV не ограничился своимъ афоризмомъ, а вздумалъ поддерживать его логической и фактической аргументаціей, то, конечно, помимо прямой неправды, запутался бы еще и въ противорѣчіяхъ. Съ гр. Толстымъ это тѣмъ болѣе должно было случиться, что онъ не открыто заявилъ: человѣчество, за исключеніемъ ничтожной горсти, это я,—а, такъ сказать, тайно положилъ эту мысль въ основаніе своего разсужденія.

Естественное дѣло, что, при такомъ настроеніи гр. Толстого, онъ можетъ разрѣшить себѣ многое, что безусловно воспрещаетъ другимъ. Такъ, онъ рѣшительно возстаетъ противъ художественной критики. «Одинъ мой пріятель, говоритъ онъ, — выражая отношеніе критиковъ къ художникамъ, полушутя опредѣлилъ его такъ: критика—это глупые, разсуждающіе объ умныхъ. Опредѣленіе это какъ ни односторонне, неточно и грубо, все-таки заключаетъ долю правды и несравненно справедливѣе того, по которому критики будто бы объясняютъ художественныя произведенія... Если произведеніе хорошо какъ искусство, то, независимо отъ того, нравственно оно или безнравственно, чувство, выражаемое художникомъ, передается другимъ людямъ. Если оно передалось другимъ людямъ, то они испытываютъ его, и всѣ толкованія излишни. Если же произведеніе не заражаетъ людей, то никакія толкованія не сдѣлаютъ того, чтобы оно стало заразительно» (61). Далѣе идутъ разсужденія о томъ, что критика не только безполезна, но и вредна.

Опредѣленіе пріятеля гр. Толстого вполнѣ вѣрно... для тѣхъ случаевъ, когда критикуемый художникъ уменъ, а его критикъ глупъ. Это, конечно, бываетъ, но бываетъ и иначе, а если принять въ соображеніе тѣ наиболѣе интересные случаи, когда и художникъ, и его критикъ оба умны, то становится даже трудно понять, зачѣмъ гр. Толстой привелъ «одностороннее, грубое и неточное» опредѣленіе своего пріятеля. Или, можетъ быть, это надо понимать такъ, что самая задача критиковать художественное произведеніе есть глупость, при томъ вредная, въ которой могутъ иногда провиниться и умные люди? Въ такомъ случаѣ, въ число этихъ умныхъ людей надо занести и гр. Толстого, ибо статья его переполнена критическими сужденіями о художественныхъ произведеніяхъ. Правда, не всегда эти сужденія заслуживаютъ названія критическихъ. Напримѣръ, гр. Толстой недоволенъ критиками, восхвалявшими «грубыя, дикія, и часто безсмысленныя произведенія древнихъ грековъ: Софокла, Эврипида, Эсхила, въ особенности Аристофана или новыхъ—Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; въ живописи—всего Рафаэля, всего Микель-Анджело съ его нелѣпымъ «страшнымъ судомъ»; въ музыкѣ всего Баха и всего Бетховена съ его послѣднимъ періодомъ» (64). Конечно, противопоставить цѣлому сонму критиковъ слова: «грубо, дико, безсмысленно»—не значитъ впадать въ глупость критики; ибо отъ этой глупости требуются мотивы сужденія. Но гр. Толстой не всегда ограничивается такими лаконическими и немотивированными приговорами. Такъ, онъ весьма подробно критикуетъ оперы Вагнера, неоднократно «объясняетъ» художественныя достоинства библейскаго разсказа объ Іосифѣ, исторіи Сакія Муни и т. п., не говоря уже объ общихъ критическихъ за-

мѣчаніяхъ — о предѣлахъ и задачахъ искусства, объ истинномъ искусствѣ и поддѣлкахъ подъ него и т. д., и т. д. Да и вообще вся статья гр. Толстого есть не что иное, какъ иллюстрируемое примѣрами руководство къ художественной критикѣ. Но худо ли, хорошо ли это руководство, а пользоваться имъ никто не можетъ, подъ страхомъ попасть въ число глупыхъ людей, ибо quod licet Jovi, non licet bovi, что можетъ дозволить себѣ гр. Толстой, то непозволительно для остального человѣчества...

Очень жалѣть объ этомъ едва ли слѣдуетъ, ибо хотя нѣкоторыя критическія замѣчанія и наставленія гр. Толстого и заслуживаютъ вниманія, но въ общемъ (какъ это можно было предвидѣть уже и по первой части) статья его отличается чрезвычайною произвольностью и запутанностью.

Возвращается гр. Толстой и къ тому прекрасному общему опредѣленію искусства, которое я привелъ въ мартовской книжкѣ «Русскаго Богатства»,—на этотъ разъ съ новыми комментаріями. Онъ пишетъ: «заразительность есть несомнѣнный признакъ искусства, степень заразительности есть и *единственное* (курсивъ мой) мѣрило достоинства искусства. *Чѣмъ сильнѣе зараженіе, тѣмъ лучше искусство, какъ искусство, не говоря объ его содержаніи, т. е. независимо отъ достоинства тѣхъ чувствъ, которыя оно передаетъ* (курсивъ гр. Толстого). Искусство же дѣлается болѣе заразительно вслѣдствіе трехъ условій: 1) большей или меньшей особенности, оригинальности, новизны того чувства, которое передается; 2) вслѣдствіе большей или меньшей ясности передачи этого чувства, и 3) вслѣдствіе искренности художника, т. е. большей или меньшей силы, съ которой художникъ самъ испытываетъ чувство, которое передаетъ» (89). Изъ дальнѣйшаго толкованія перваго изъ этихъ трехъ пунктовъ оказывается, что «воспринимающій испытываетъ тѣмъ большее *наслажденіе* (мой курсивъ), чѣмъ особеннѣе, новѣе то состояніе души, въ которое онъ переносится, и потому тѣмъ охотнѣе и сильнѣе сливается съ нимъ». Правило это, очевидно, подлежитъ большимъ ограниченіямъ или не должно быть выражено въ столь безусловной формѣ. Очень особенное, совсѣмъ новое состояніе души едва ли способно съ легкостью передаваться. На этомъ вѣдь основано и то соображеніе гр. Толстого, въ силу котораго наше искусство, воплощающее слишкомъ исключительныя чувства, должно отскакивать отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ. Во всякомъ случаѣ, дальнѣйшимъ развитіемъ своей формулы искусства гр. Толстой приведенъ къ необходимости включить наслажденіе въ число условій заразительности художественнаго произведенія. И если бы онъ съ самаго начала, въ своей исходной точкѣ и открыто призналъ наслажденіе необходимымъ элементомъ искусства, а не противопоста-

влялъ ихъ одно другому, то избѣгнулъ бы многихъ запутанностей и противорѣчій. Implicite признаніе это заключается уже въ разсужденіяхъ гр. Толстого о рѣзкой разницѣ между наслажденіями высшихъ и низшихъ классовъ. Но такъ какъ оно заключается именно только implicite, то и не помогло автору свести концы съ концами. И торчатъ эти концы въ разныя стороны, такъ что не знаешь, за который изъ нихъ ухватиться, чтобы распутать весь клубокъ.

Мы только что видѣли, что степень заразительности есть *единственное* мѣрило достоинства искусства. Затѣмъ мы видѣли, что́ требуется отъ художника для достиженія этой заразительности (оригинальность, ясность, искренность). На этомъ основаніи узнаемъ, между прочимъ, слѣдующее: «Пушкинъ пишетъ свои мелкія стихотворенія, Евгенія Онѣгина, Цыганъ, свои повѣсти и это все разнаго достоинства произведенія, но все произведенія истиннаго искусства. Но вотъ онъ, подъ вліяніемъ ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишетъ Бориса Годунова, разсудочно-холодное произведеніе, и это произведеніе критики восхваляютъ и ставятъ въ образецъ, и являются подражанія подражаніямъ: Мининъ—Островскаго, Царь Борисъ—Толстого и др.» (стр. 63).

Почему критика, восхвалявшая и восхваляющая Шекспира, есть ложная критика? Почему «Борисъ Годуновъ» есть подражаніе Шекспиру? Почему это подражаніе предпринято подъ вліяніемъ критики, а не въ силу собственнаго, хотя бы и ложнаго, взгляда Пушкина? Почему «Борисъ Годуновъ» есть разсудочно-холодное произведеніе?—Съ этими вопросами нельзя обращаться къ гр. Толстому. Въ своемъ презрѣніи къ критикѣ, какъ къ совершенно глупому занятію, онъ не критикуетъ, а вѣщаетъ, изрекаетъ немотивированные, безапелляціонные приговоры, и sit pro ratione voluntas. Удовольствуемся положительнымъ приговоромъ,—тоже немотивированнымъ и безапелляціоннымъ: поэзія Пушкина, за исключеніемъ «Бориса Годунова» и можетъ быть еще чего-нибудь, есть «истинное искусство». Но вотъ, перевертываемъ нѣсколько страницъ и читаемъ: «Когда вышли 50 лѣтъ послѣ смерти Пушкина и одновременно распространились въ народѣ его дешевыя сочиненія, и ему поставили въ Москвѣ памятникъ, я получилъ больше десяти писемъ отъ крестьянъ съ вопросами о томъ, почему такъ возвеличили Пушкина? На-дняхъ еще заходилъ ко мнѣ изъ Саратова грамотный мѣщанинъ, очевидно сошедшій съ ума на этомъ вопросѣ и идущій въ Москву для того, чтобы обличить духовенство за то, что они содѣйствовали постановкѣ «манамента» господину Пушкину» (стр. 113). И гр. Толстой совершенно понимаетъ положеніе «такого человѣка изъ народа», какъ сошедшій съ ума грамотный мѣщанинъ

изъ Саратова. Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, заинтересовавшись Пушкинымъ, по случаю поставленія ему «манамента», этотъ человѣкъ узнаетъ, что Пушкинъ «не былъ богатырь или полководецъ, но былъ частный человѣкъ и писатель». Отсюда «онъ дѣлаетъ заключеніе, что Пушкинъ долженъ былъ быть святой человѣкъ и учитель добра, и торопится прочесть или услыхать его жизнь и сочиненія. Но каково же должно быть его недоумѣніе, когда онъ узнаетъ, что Пушкинъ былъ человѣкъ больше чѣмъ легкихъ нравовъ, что умеръ онъ на дуэли, т. е. при покушеніи на убійство другого человѣка, что вся заслуга его только въ томъ, что онъ писалъ стихи о любви, часто очень неприличные».—Все это сумасшедшій мѣщанинъ изъ Саратова и тотъ десятокъ крестьянъ, который письменно обращался къ гр. Толстому, узнали, конечно, не отъ него, ибо онъ-то знаетъ, что поэзія Пушкина (за исключеніемъ «Бориса Годунова») есть «истинное искусство»; а это въ устахъ гр. Толстого—большое, многозначительное слово...

Дѣло въ томъ, что заразительность есть единственное мѣрило достоинства искусства, какъ искусства, и это еще не рѣшаетъ вопроса о достоинствѣ тѣхъ чувствъ, которыя оно передаетъ. Поэтому «истинное», «хорошее» искусство, въ которое художникъ вложилъ и оригинальность, и ясность, и искренность, и которое обладаетъ высокой степенью заразительности, можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ дурнымъ искусствомъ по характеру внушаемыхъ имъ чувствъ. Но гр. Толстому не хочется принять этотъ естественно вытекающій изъ его точки зрѣнія выводъ. Длиннымъ рядомъ разсужденій, между которыми есть и очень цѣнныя, и,—да проститъ мнѣ великій художникъ,—совершенно вздорныя, онъ старается доказать, что не нравящееся ему искусство (тутъ и Шекспиръ, и какой-нибудь Маларме) не обладаетъ настоящею заразительностью. Другой столь же длинный рядъ разсужденій, который мы отчасти видѣли, ведетъ его къ заключенію, что «всегда, вездѣ, во всѣ времена, у всѣхъ народовъ» истинное искусство заражало чувствами, вытекающими изъ религіознаго сознанія. Нынѣ оно должно руководствоваться христіанскимъ религіознымъ сознаніемъ, такъ какъ только при этомъ условіи оно можетъ быть всенародно, всепонятно, всемірно. Однако читатель, уже готовый согласиться съ гр. Толстымъ, вдругъ съ изумленіемъ встрѣчаетъ въ числѣ всенародныхъ, всепонятныхъ, всемірныхъ произведеній японскую живопись (стр. 105) или Иліаду и Одиссею (47). Но вѣдь Японія не просвѣщена еще свѣтомъ христіанства и, стало быть, въ ея искусствѣ не можетъ отражаться христіанское религіозное сознаніе, равно какъ и въ Иліадѣ и Одиссеѣ: А между тѣмъ послѣднія, принадлежа, по словамъ гр. Толстого, къ «хорошему, высшему искусству», «передаютъ очень высо-

кія чувства, вполнѣ понятныя намъ теперь, образованнымъ и необразованнымъ». Какія же это «высокія чувства»? Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что Иліада и Одиссея переполнены мотивами «влюбленія, чести, патріотизма», которые гр. Толстой объявляетъ недостойными искусства, какъ исключительные и лишь ничтожной горсти людей понятные. Почему же они въ Иліадѣ и Одиссеѣ становятся всѣмъ понятными и высокими? Почему?! Да просто потому, что гр. Толстой такъ хочетъ.

Трудно, да, признаюсь, и скучно слѣдить за всѣми этими произвольными скачками и противорѣчивыми изворотами мысли. Перейдемъ поскорѣе къ окончательнымъ выводамъ, которые окажутся не такъ ужъ страшны и узки, какъ можно бы было ожидать.

Вполнѣ истинное искусство, то есть соединяющее въ себѣ и заразительность, и возвышенность передаваемыхъ имъ чувствъ, и приличествующее нашему времени, раздѣляется на два отдѣла: 1) искусство, передающее чувства, «вытекающія изъ религіознаго сознанія положенія человѣка въ мірѣ, по отношенію къ Богу и ближнему, искусство религіозное въ тѣсномъ смыслѣ этого слова»; 2) искусство, передающее чувства, которыя доступны всѣмъ людямъ всего міра — искусство житейское, всенародное» (стр. 100 и слѣд.). Этими двумя отдѣлами исчерпывается «хорошее» искусство нашего времени. Но каждый изъ нихъ дѣлится въ свою очередь на два подотдѣла: высшій и низшій. Высшее религіозное искусство «прямо и непосредственно передаетъ чувства, вытекающія изъ любви къ Богу и ближнему», низшее «передаетъ чувства отвращенія, негодованія, презрѣнія къ явленіямъ, противнымъ любви къ Богу и ближнему». Высшее «житейское» искусство «доступно и понятно людямъ всего міра всегда и вездѣ», — это «всемірное искусство»; низшее «доступно и понятно всѣмъ людямъ только одного мѣста и времени—всенародное искусство». Къ числу «житейскихъ» чувствъ, рекомендуемыхъ гр. Толстымъ для передачи при помощи искусства, онъ относитъ «чувства веселья, умиленія, бодрости, спокойствія и т. п.». А такъ какъ искусству разрѣшаются также и «чувства отвращенія, негодованія, презрѣнія», то получается довольно обширная скала чувствъ, изъ которыхъ иныя не имѣютъ никакого отношенія къ какому бы то ни было религіозному сознанію, иныя трудно согласимы съ строгопонятнымъ христіанскимъ сознаніемъ (Христосъ, вѣдь, училъ любить и прощать, а не отвращаться, негодовать и презирать), наконецъ, еще иные, напримѣръ, веселье, довольно трудно отгородить отъ наслажденія, которое гр. Толстой такъ старательно изгонялъ. Все это объединяется исключительно личнымъ вкусомъ гр. Толстого. И какъ бы въ подтвержденіе этого онъ безъ всякихъ мотивовъ указываетъ образцы «хорошаго» искус-

ства всѣхъ четырехъ подотдѣловъ: хороши, говоритъ, Misérables В. Гюго, хорошъ «почти» весь Диккенсъ, хороши жанры Кнауса, Вотье, хороша японская живопись. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ гр. Толстой, впрочемъ, обставляетъ свои приговоры доказательствами. Такъ онъ считаетъ однимъ изъ высшихъ образцовъ всемірнаго искусства разсказъ объ Іосифѣ прекрасномъ и въ частности эпизодъ съ женой Пентефрія, на томъ основаніи, что «все это чувства (т. е. надо думать, чувства и Іосифа, и жены Пентефрія) доступныя и русскому мужику и китайцу, и африканцу, и ребенку, и старому, и образованному, и необразованному» (103). Боюсь, что весьма многіе китайцы и африканцы совершенно не оцѣнятъ поведенія Іосифа, а ребенокъ, настоящій ребенокъ, ничего не пойметъ во всемъ эпизодѣ...

Таковъ трудъ гр. Толстого, который онъ, по его словамъ, обдумывалъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ. Его неясность, произвольность и противорѣчивость тѣмъ прискорбнѣе, что, во-первыхъ, онъ содержитъ въ себѣ нѣкоторыя отдѣльныя очень цѣнныя мысли, а во-вторыхъ, затрогиваетъ тему, имѣющую въ настоящее время острый практическій интересъ.

Въ настоящее время вполнѣ выяснилась потребность рабочаго люда въ широко поставленныхъ художественныхъ развлеченіяхъ, выяснилась и готовность интеллигенціи служить удовлетворенію этой потребности. Наши театры, музыка, пѣніе, поэзія на нашихъ глазахъ перестаютъ быть исключительнымъ достояніемъ высшихъ классовъ, и очевидно мы находимся лишь въ самомъ еще началѣ этого движенія. Спрашивается, какую же роль сыграетъ тутъ наше искусство? Гр. Толстой рѣшительно отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: никакой или же очень вредную; наше искусство слишкомъ мелко и извращенно, слишкомъ переполнено исключительными чувствами, слишкомъ служитъ наслажденію и совершенно непонятно рабочему люду; если же, — говоритъ онъ, — намъ удастся пріобщить народъ къ своему искусству, то это только и будетъ значить, что мы извратили народъ, уподобили его себѣ. Таковъ холодно-догматическій отвѣтъ на практическій вопросъ дня. Предъявляя его, гр. Толстой не справляется съ фактами, а гнетъ, ломаетъ и упраздняетъ ихъ въ угоду своего догмата. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что современное наше, какъ и европейское, искусство содержитъ въ себѣ много нелѣпаго и постыднаго и исключительнаго и лживаго. Но есть и иныя струи въ современномъ искусствѣ. И по истинѣ поразительна та холодная отвлеченность отъ жизни, съ которою гр. Толстой, напримѣръ, относя къ «хорошему» искусству дѣйствительно прекрасные жанры Кануса и Вотье и едва ли многимъ извѣстную японскую живопись, молча проходитъ мимо русскаго жанра,

не одинъ десятокъ лѣтъ существующаго и представляющаго образцы высокаго достоинства. Но самое поразительное то, что гр. Толстой даже, повидимому, не поинтересовался узнать, какъ же относится рабочій людъ къ тѣмъ довольно многочисленнымъ опытамъ пріобщенія народа къ нашему искусству, которые уже сдѣланы и дѣлаются. Допустимъ, что эти опыты должны оправдать пессимистическій взглядъ гр. Толстого и показать, что наше искусство или непонятно народу или развращаетъ его. Но вѣдь, казалось бы, для самого гр. Толстого должно быть любопытно фактически въ этомъ убѣдиться,—убѣдиться или разубѣдиться. Однако, гр. Толстой даже ни единымъ словомъ не обмолвился объ этихъ опытахъ. Да и зачѣмъ ему опыты и наблюденія, когда онъ и безъ того есть сосудъ, безусловную истину вмѣщающій...

Въ январьской книжкѣ «Русскаго Богатства» я перепечаталъ изъ «Степного Края» замѣтку г. Мельшина объ одномъ изъ предсмертныхъ стихотвореній Некрасова, собственноручный списокъ котораго былъ подаренъ студентамъ петербургскаго университета самимъ поэтомъ. Автографъ висѣлъ въ студенческой читальнѣ, но потомъ куда-то исчезъ. Оказалось, однако, что послѣднее невѣрно. Оказалось также, что память объ этомъ маленькомъ предсмертномъ подаркѣ поэта сохранилась у многихъ тогдашнихъ студентовъ, какъ и списки самого стихотворенія. Кто-то прислалъ такой списокъ г. Мельшину, который и напечаталъ его. По этому поводу я получилъ нѣсколько писемъ, подтверждающихъ вѣрность списка, а двое изъ корреспондентовъ сообщаютъ, кромѣ того, что студенческая депутація, поднесшая Некрасову, по случаю его тяжкой болѣзни. адресъ, получила отъ него въ подарокъ не одно, а два стихотворенія; оба корреспондента сообщаютъ совершенно тождественные списки обоихъ стихотвореній, изъ чего можно заключить, что ихъ дѣйствительно было два. Многимъ весь этотъ эпизодъ можетъ казаться слишкомъ незначительнымъ, чтобы стоило къ нему возвращаться. Но съ другой стороны, вотъ вѣдь двадцать лѣтъ хранятъ у себя люди списки съ стихотвореній и при первомъ представившемся случаѣ заявляютъ свою благодарную память поэту. Да и наконецъ, разъ зашелъ объ этомъ разговоръ, надо его кончить. И, конечно, не я одинъ поблагодарю профессора С. Ѳ. Ольденбурга за слѣдующее сообщеніе:

«Автографъ—пишетъ мнѣ уважаемый профессоръ—вмѣстѣ съ книгами студенческой читальни переданъ въ университетскую библіотеку, гдѣ онъ и хранится. Стихи, какъ увидите изъ сообщаемаго ниже списка, не посвящены студенческой депутаціи, а должны

были составить посвященіе читателямъ, предполагавшееся для сборника стихотвореній поэта подъ заглавіемъ «Въ черные дни». Оригиналъ написанъ на листѣ обыкновенной писчей бумаги, карандашомъ, въ двѣ строфы. Онъ помѣщенъ подъ стекломъ, туда же вложенъ билетикъ, на которомъ написано чернилами (не рукой Некрасова): «Автографъ Н А. Некрасова, подаренный имъ студентамъ С.-Петербургскаго университета».

Изъ сообщенной мнѣ проф. Ольденбургомъ точной копіи съ автографа дѣйствительно ясно видно, что это — черновикъ первой страницы предполагавшагося къ печати сборника стихотвореній подъ заглавіемъ: «Въ черные дни». Вотъ эта страница:

ВЪ ЧЕРНЫЕ ДНИ [1])
Новыя стихотворенія Н. А. Некрасова
(1874—1877 гг.).
Изданіе съ портретомъ автора
Типографія А. Кр. [2]).
1877

другая страница

Посвящаю моимъ друзьямъ-читателямъ [3])
Посвященіе.
Вамъ мой даръ любившимъ и цѣнившимъ
Вамъ ко мнѣ участье заявившимъ [4])
Въ черный годъ, простертый надо мной [5])
Посвящаю трудъ послѣдній мой!
Я примѣру русскаго народа
Вѣренъ: *«въ горѣ жить*
Некручинну быть». —
И больной работаю полгода,
Я трудомъ смягчаю свой недугъ:
Ты не будешь строгъ читатель-другъ!
Н. Некрасовъ.

Спб. 1 февраля 1877 года.

[1]) Подчеркнуто два раза. [2]) Зачеркнуто. [3]) Сбоку приписка «крупно» и слова «моимъ друзьямъ-читателямъ» подчеркнуты два раза. [4]) Вмѣсто «заявившимъ» стояло сперва, а потомъ зачеркнуто: «сохранившимъ». [5]) Сперва стояло, потомъ зачеркнуто: «до моей годины роковой».

Сборникъ «Въ черные дни» не состоялся и вмѣсто него вышелъ извѣстный сборникъ «Послѣднія пѣсни». Что касается другого стихотворенія («Смолкли честные, доблестно павшіе»), о которомъ мнѣ пишутъ двое изъ корреспондентовъ и которое, очевидно, тоже предназначалось для «Черныхъ дней», то подлинникъ его, надо думать, затерялся въ чьихъ-нибудь частныхъ рукахъ.

———

XIII *).

Бѣлинскій драматургъ.

Бѣлинскій драматургъ... Такая тема многимъ покажется странною, въ особенности въ день чествованія памяти великаго критика. Двѣ драмы Бѣлинскаго—«Дмитрій Калининъ» и «Пятидесятилѣтній дядюшка или странная болѣзнь»—представляютъ собою нѣчто очень слабое. Онѣ могутъ служить лишнимъ подтвержденіемъ той истины, что человѣкъ, обладающій тонкимъ пониманіемъ художественной правды и красоты, прямо жадный на ощущеніе этой правды и красоты, можетъ оказаться совершенно безсильнымъ самъ воплотить ихъ въ образы и картины.

Въ ранней молодости, собственно въ дѣтствѣ, въ гимназіи, Бѣлинскій писалъ стихи и, какъ онъ потомъ иронически выражался, «почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго». Но уже вскорѣ по поступленіи въ университетъ онъ такъ отвѣчалъ на предложеніе дать стихотвореніе для готовившагося къ печати альманаха: «Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ душѣ рождаются мысли высокія, благородныя,—хочу ихъ выразить стихами и не могу! Тщетно трудясь, бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и при всемъ томъ не имѣю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риѳма мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу». Такимъ образомъ въ это время Бѣлинскій отказывался только отъ стихотворства и лишь лѣтъ, примѣрно, черезъ десять убѣдился, что ему «не дается» художественное творчество вообще. Плодомъ его иллюзій въ этомъ направленіи и были двѣ упомянутыя

*) Читано въ публичномъ засѣданіи Союза писателей 10 мая 1898 г.

драмы, составляющія, не считая дѣтскихъ стиховъ, все его художественное наслѣдство.

Скудное наслѣдство!—скажутъ многіе Да такъ сказалъ бы и самъ Бѣлинскій. Въ предисловіи къ «Дмитрію Калинину» онъ называетъ это произведеніе «первымъ несвязнымъ лепетаніемъ младенца, первымъ, незрѣлымъ произведеніемъ пера неопытнаго, несмѣлаго». А когда въ 1839 г. вторая его драма, «Пятидесятилѣтній дядюшка», была поставлена на московской сценѣ, въ «Московскомъ Наблюдателѣ», конечно, съ вѣдома и согласія самого Бѣлинскаго. было сказано, между прочимъ, слѣдующее: «Пьеса имѣла большой успѣхъ и могла бы имѣть еще большій, если бы неопытность автора въ знаніи сцены и убійственная растянутость пьесы не повредили дѣлу. Содержаніе пьесы такъ просто, что и разсказать нечего; взято оно изъ помѣщичьяго быта; эффектовъ, по крайней мѣрѣ кровавыхъ, нѣтъ: конецъ самый «благополучный» — двѣ свадьбы вдругъ. Многія положенія очень интересны и изложены съ одушевленіемъ и увлекательностью; но тѣмъ не менѣе пьеса ни съ которой стороны не относится къ сферѣ искусства, какъ творчества».

Тѣмъ не менѣе, когда Союзъ писателей сдѣлалъ мнѣ честь предложеніемъ принять участіе въ чествованіи памяти Бѣлинскаго, я, послѣ недолгаго колебанія, остановился именно на его драмахъ. Художественной критикѣ нечего съ ними дѣлать, но въ нихъ ярче и сконцентрированнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, сказались нѣкоторыя коренныя черты «неистоваго Виссаріона». Слишкомъ извѣстны колебанія Бѣлинскаго во взглядахъ на явленія литературы и жизни. Но было въ немъ нѣчто и непоколебимое, пронесенное имъ отъ колыбели (литературной колыбели) до могилы. И это нѣчто вполнѣ отражается въ двухъ его драмахъ.

Приведенный отзывъ «Московскаго Наблюдателя» о «Пятидесятилѣтнемъ дядюшкѣ» не совсѣмъ вѣренъ въ томъ смыслѣ, что драма эта отнюдь не столь «проста» по содержанію и лишена эффектовъ. Правда, эффектовъ кровавыхъ, которыми изобилуетъ «Дмитрій Калининъ», въ ней дѣйствительно нѣтъ. Во всякомъ случаѣ обѣ драмы, при всемъ своемъ различіи, имѣютъ нѣчто общее прежде всего въ характерѣ центральныхъ фигуръ. И молодой Дмитрій Калининъ, и пятидесятилѣтній Николай Матвѣевичъ Горскій—пылкія натуры, стремительно реагирующія на всѣ впечатлѣнія, быстро мѣняющія свое настроеніе и ярко выражающія его громоносными рѣчами, рѣзкими жестами, безумными поступками. Оба они то и дѣло разражаются бурными монологами, то и дѣло «съ бѣшенствомъ вскакиваютъ», «рвутъ на себѣ волосы» и т. п., а Калининъ еще, кромѣ того, совершаетъ нѣсколько убійствъ. Эпиграфъ къ третьей картинѣ «Дмитрія Калинина» взятъ изъ Озерова и гласитъ:

Ахъ! не вини меня: вини мои ты чувства,
Которыхъ укрощать не знаю я искусства.
Вини сей огнь въ моей пылающей крови:
Чрезмѣренъ я во всемъ—и въ злобѣ и въ любви.

Словомъ, герои обѣихъ драмъ суть своего рода «неистовые Виссаріоны» по натурѣ, поставленные въ разныя условія и, благодаря отсутствію художественнаго дарованія въ авторѣ, преувеличенные и подчеркнутые, мѣстами даже до карикатурности. И хотя Калининъ есть убійца и кровосмѣситель (невольный), а Николай Матвѣевичъ Горскій безъ малаго вдвое старше своего автора, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что обоихъ ихъ Бѣлинскій писалъ съ самого себя.

Не только надѣлилъ онъ ихъ своею «неистовою» натурою, но и въ волнующія ихъ мысли и чувства вложилъ нѣчто свое коренное—задушевное. Дѣло, разумѣется, не въ тѣхъ или другихъ частностяхъ и подробностяхъ, а въ немногихъ основныхъ нотахъ.

Мы не коснемся біографическаго значенія обѣихъ драмъ,—ни того, какъ отразился на судьбѣ автора «Дмитрій Калининъ», ни того, что въ жизни Бѣлинскаго послужило толчкомъ для созданія «Пятидесятилѣтняго дядюшки». Не будемъ припоминать и весь сложный и запутанный ходъ развитія фабулъ обѣихъ драмъ. Для нашей цѣли достаточно нѣсколькихъ моментовъ.

У богатаго помѣщика Лѣсинскаго есть жена, двое сыновей, дочь Софья и пріемышъ Дмитрій Калининъ. Оффиціально этотъ пріемышъ есть сынъ умершаго крѣпостного лакея Лѣсинскаго, но на самомъ дѣлѣ онъ незаконный сынъ самого помѣщика, что, однако, открывается только въ самомъ концѣ драмы, послѣ смерти Лѣсинскаго. И для злобы и для любви Дмитрій находитъ обильную пищу въ домѣ Лѣсинскихъ. Онъ любитъ своего «благодѣтеля», который, частію въ виду исключительнаго положенія Дмитрія, а частію въ виду его высокихъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ, относится къ нему съ особенною нѣжностью; любитъ Софью, не подозрѣвая, что она его сестра и видя въ ней лишь блещущую красотой, умомъ и благородствомъ души дѣвушку; ненавидитъ жену и сыновей Лѣсинскаго. Эти грубые, пошлые, невѣжественные, жестокіе люди тиранятъ своихъ крѣпостныхъ и на каждомъ шагу, въ отсутствіи старика Лѣсинскаго, оскорбляютъ Дмитрія. Вотъ какъ онъ разсказываетъ объ этомъ своему пріятелю Сурскому: «Нерѣдко я втайнѣ плакалъ, но при нихъ всегда казался спокойнымъ, хотя сердце мое стѣснялось, хотя душа страдала. Я не хотѣлъ показать имъ, что ихъ обиды для меня чувствительны. Видя сіе, они еще болѣе раздражались и, наконецъ, изобрѣли новый способъ мученія: стали называть меня... рабомъ!.. (Стремительно схватываетъ ста-

канъ, наполненный виновъ, разомъ осушаетъ оный и со злобою опрокидываетъ на столъ). О, какое убійственное, какое ужасное дѣйствіе производило на мою душу это слово! Оно было для меня остріемъ кинжала, гибельнымъ жаломъ змѣи, которое, уязвляя мое сердце, пожирало его ядовитымъ огнемъ!» И. т. д., и т. д.

Мы можемъ не идти дальше. Мы дошли, если не до фактическаго, то до духовнаго центра драмы, до того магическаго слова, которое, неоднократно повторяясь въ драмѣ, всякій разъ дѣйствуетъ на Дмитрія, какъ ударъ хлыста, и смыслъ котораго составляетъ источникъ всѣхъ его злоключеній. Слово это—рабъ.

«Дмитрій Калининъ» представляетъ собою рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права. Не удивительно, что драма не могла появиться въ свое время, на рубежѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, въ печати,—но, нельзя не удивляться, нельзя не любоваться двадцатилѣтнимъ юношей авторомъ, который за тридцать лѣтъ до освобожденія крестьянъ кипѣлъ такимъ бурнымъ негодованіемъ противъ вѣковой неправды.

Дѣло не въ личной трагической судьбѣ Дмитрія Калинина, не въ ней одной, по крайней мѣрѣ. Юный авторъ проводитъ передъ нами рядъ картинъ возмутительнаго насилія и жестокости, и влагаетъ въ уста Дмитрія такой, напримѣръ, монологъ:

«Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право – однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота; вымѣнить на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердый Боже, отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: Твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?»

Иной скажетъ, что это напыщенная риторика, навѣянная Шиллеровскими «Разбойниками». Но не забудемъ, что это писано двадцатилѣтнимъ юношей и при томъ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ. И если форма выраженія здѣсь навѣяна, то не навѣяны мысли и чувства, вложенныя въ эту форму. Ихъ Бѣлинскій сохранилъ до конца дней своихъ. Въ знаменитомъ, можно сказать, уже предсмертномъ письмѣ къ Гоголю онъ писалъ:

«Вмѣсто того, чтобы учить во имя Христа и церкви варвара-

помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая ихъ «неумытыми рылами», вы написали бы ему, что его крестьяне—его братья о Христѣ, и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя по крайней мѣрѣ пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ ложномъ отношеніи къ ихъ положенію. А выраженіе: «ахъ ты, неумытое рыло!» Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе мужиковъ, которые и безъ того потому и не умываются, что, повѣривъ своимъ барамъ, себя не считаютъ за людей!... Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!»

Мы, здѣсь присутствующіе, собравшіеся почтить память Бѣлинскаго, такъ далеко ушли отъ крѣпостныхъ временъ и нравовъ, что склонны, можетъ быть, умалять значеніе терзаній и протестовъ благороднѣйшихъ изъ нашихъ духовныхъ предковъ. Что жъ, дескать,—было и быльемъ поросло!.. Не думаю, чтобы поросло быльемъ все, на что обрушивался Бѣлинскій хотя бы въ томъ же письмѣ къ Гоголю. Достаточно привести хоть слѣдующія строки: «Самые живые современные національные вопросы Россіи теперь уничтоженіе крѣпостного права и отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть»...

Но я долженъ быть краткокъ и не буду останавливаться дольше на взглядахъ Бѣлинскаго на рабство въ смыслѣ крѣпостного права. Для него слово «рабъ» имѣло гораздо болѣе широкое значеніе.

Извѣстна трогательная переписка Бѣлинскаго съ его невѣстой, впослѣдствіи женой, Марьей Васильевной Орловой. Здѣсь онъ все тотъ же «неистовый Виссаріонъ» «и въ злобѣ и въ любви». Между прочимъ, онъ звалъ невѣсту изъ Москвы въ Петербургъ, чтобы тамъ и обвѣнчаться, а она уклонялась отъ этого, ссылаясь на обычаи, приличія, родственныя отношенія и настаивала на томъ, чтобы свадьба состоялась въ Москвѣ. За это онъ ее назвалъ «esclave», полагая, очевидно, смягчить французскимъ словомъ мысль объ ея «рабствѣ». Это не мѣшаетъ ему тутъ же «неистовствовать»: «Всего хуже, всего ужаснѣе,—это покориться обычаямъ шутовскимъ и подлымъ, профанирующимъ святость отношеній, въ какія мы готовы вступить съ вами, обычаямъ, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натурѣ моей. У дядюшки обѣдъ! Будь прокляты всѣ обѣды, всѣ дядюшки и всѣ тетушки и всѣ чиновники съ ихъ гнусными обычаями». А когда она упорствуетъ и даже соглашается принять титулъ esclave, онъ пишетъ: «Причина этому votre esclavage

ваша московская боязнь того, что скажутъ о васъ люди, которыхъ вы въ душѣ презираете и не любите, но передъ мнѣніемъ которыхъ вы ползаете. Это стыдно и грѣхъ. Это преступленіе передъ Богомъ и совѣстью. Скажу болѣе: это низко и недостойно васъ». Среди трогательно нѣжныхъ изліяній въ любви, этотъ взрывъ негодованія производитъ особенно сильное впечатлѣніе.

Такими же взрывами негодованія по адресу именно этого рода esclavage переполнена драма «Дмитрій Калининъ». Тутъ совершенно независимо отъ крѣпостныхъ, юридически рабскихъ отношеній, мы имѣемъ еще рядъ бурныхъ протестовъ противъ рабства мысли и чувства И здѣсь лежитъ ключъ къ пониманію всего Бѣлинскаго. Вся его литературная дѣятельность, вся его обширная переписка, вся, наконецъ, жизнь его проникнуты этой борьбой съ рабствомъ во имя достоинства человѣческой личности.

Какъ далеко за предѣлы юридическаго рабства раздвигалъ онъ это ненавистное ему явленіе, видно изъ слѣдующаго.

Въ одномъ изъ писемъ къ Станкевичу онъ кается въ двухъ своихъ недостаткахъ,—въ самолюбіи и чувственности. Послѣдней онъ не придаетъ большого значенія, за то очень огорчается своимъ самолюбіемъ, собственно потому, что—пишетъ онъ—«оно овладѣло мною совершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ».—Великій покойникъ оклеветалъ себя. Но не въ этомъ дѣло. Съ его точки зрѣнія рабомъ является всякій, кто допустилъ овладѣть собою какой-нибудь одной сторонѣ своего существа, одной умственной складкѣ или одной страсти въ ущербъ полнотѣ жизни. Это не отрицаніе страсти—слишкомъ было бы это не къ лицу неистовому Виссаріону,—это отрицаніе узости, ограниченности, односторонности, односторонняго подавленія личности ея же собственными элементами. На борьбѣ личности съ ея собственными элементами и построена вторая драма Бѣлинскаго.

Съ 50-лѣтнимъ Горскимъ случилось несчастіе: онъ влюбился въ свою 20-лѣтнюю воспитанницу, которая преисполнена къ нему наилучшихъ почтительнѣйшихъ чувствъ, но любитъ его молодого племянника. Дѣло запутывается разными плохо мотивированными недоразумѣніями. «Неистовый», не смотря на свои пятьдесятъ лѣтъ. Горскій бурно переходитъ отъ стыда запоздалой страсти къ неутолимой жаждѣ счастія, отъ мученій ревности и отчаянія къ надеждѣ. Авторъ видимо сочувствуетъ «дядюшкѣ», и если вы всмотритесь въ особенности въ тѣ сцены, въ которыхъ дядюшка гнѣвается на самого себя, то увидите, что причина этого гнѣва есть дѣйствительная или кажущаяся готовность стать рабомъ то слѣпой страсти, то условнаго, не признаваемаго имъ самимъ нравственнаго долга.

Если Бѣлинскій такъ чутко относился къ рабству, такъ сказать, внутреннему, то тѣмъ паче ненавистно ему рабство, хотя бы и не юридическое, передъ внѣшними силами, — передъ обычаями, преданіями, предразсудками, передъ тѣмъ, «что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣвна», передъ общественнымъ мнѣніемъ. Мы уже это видѣли въ «Дмитріи Калининѣ» и въ перепискѣ съ невѣстой. Таковы же его отношенія къ авторитетамъ въ области мысли. Говоря объ одномъ петербургскомъ кружкѣ, онъ выразился такъ: «это не подданные, а холопы». Онъ никогда не отказывался воздать должную дань уваженія тому или другому авторитету и даже часто, по пылкости своей, пересаливалъ въ этомъ отношеніи, но никогда не былъ холопомъ, рабомъ. Повелительное значеніе изреченія «magister dixit» для него не существовало, его критическая мысль была всегда на сторожѣ и не разъ жестоко расправлялась съ недавними кумирами.

Въ жизни Бѣлинскаго былъ, какъ извѣстно, періодъ «примиренія съ дѣйствительностью», «съ гнусною россійскою дѣйствительностью», какъ онъ потомъ выражался. И тогда онъ писалъ, между прочимъ: «Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами». Но до какой степени онъ и въ это время былъ не рабъ, видно хотя бы изъ его страстной реплики Панаеву по поводу одной изъ «примирительныхъ» статей: «Я знаю, меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями. Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни думали... Да, это мои убѣжденія. Я не стыжусь, а горжусь ими... Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ! Мнѣ легче умереть съ голоду,—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день, — чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было или продать себя».

Дѣло не въ деньгахъ, разумѣется,—объ этомъ смѣшно и говорить; и не въ «кувырканьи передъ властями», — и это слишкомъ элементарно. Но есть двѣ силы, передъ которыми часто пасуютъ люди, не способные ни продаваться, «ни кувыркаться». Это, во-первыхъ, сила авторитета, это, во-вторыхъ, сила общественнаго мнѣнія. Бѣлинскій признавалъ обѣ эти силы но никогда не раболѣпствовалъ передъ ними—не бѣжалъ отъ труда и страданія оригинальной мысли и не заискивалъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. Когда онъ выстрадалъ — именно выстрадалъ свое примиреніе съ дѣйствительностію онъ не убоялся того, что его назовутъ «льстецомъ, подлецомъ» и т. д. «Что мнѣ дорожить мнѣніемъ и тол-

ками чортъ знаетъ кого?» говорилъ онъ Панаеву,—хотя совсѣмъ не «чортъ знаетъ кто» были люди, возмущенные «Бородинской годовщиной». А когда спала съ глазъ Бѣлинскаго завѣса и авторитетъ, способствовавшій «примиренію», Гегель, не выдержалъ новаго напора критики, — Бѣлинскій объявилъ: «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (то есть гегелевской Allgemeinheit)... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку...» И въ другомъ письмѣ: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусной дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Для меня теперь человѣческая личность выше исторіи, выше общества, выше человѣчества».

Въ этихъ страстныхъ словахъ Бѣлинскій нашелъ самого себя. Эта личность, не желающая быть рабомъ исторіи, общества, человѣчества, и есть самъ Бѣлинскій отъ перваго проблеска сознанія до послѣдняго дыханія, отъ «Дмитрія Калинина» до послѣдней написанной имъ строчки. Это его основной фонъ, на которомъ его нетерпѣливый умъ и безпокойное сердце рисовали, подъ вліяніемъ разныхъ условій, разные, подчасъ затемняющіе его узоры...

Боюсь, что, по краткости отведеннаго мнѣ времени, я не могъ достаточно характеризовать всю яркость этого основного фона всей жизни и дѣятельности Бѣлинскаго. Приведу еще одно мѣсто изъ его переписки: «Кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ, — а мнѣ тотъ и другой и третій равно несносны...»

Послѣднимъ шагомъ въ развитіи Бѣлинскаго была идея выработки соціальныхъ условій, способствующихъ не порабощенію личности, а ея расцвѣту.

Насколько я могу прозрѣвать въ даль грядущаго, — это идея вѣчная. И потому — вѣчное вѣчному — вѣчная память неистовому Виссаріону!

XIV.

Памяти Н. А. Ярошенко *).

25 іюня скончался Николай Александровичъ Ярошенко. Не знаю въ точности, сколько ему было лѣтъ (примѣрно около 50-ти), но скончался онъ во всякомъ случаѣ слишкомъ рано, полный силъ. Правда, онъ былъ давно боленъ (говорили о горловой чахоткѣ), но умеръ скоропостижно, и болѣзнь, если и подтачивала его сильный организмъ, то внѣшнимъ образомъ давала себя знать лишь однимъ чувствительнымъ неудобствомъ: въ послѣдніе годы у него сталъ пропадать голосъ, и это очень стѣсняло его въ обществѣ, а онъ былъ человѣкъ общественный по преимуществу. И вотъ, все кончено. Это большая потеря не только вообще для русскаго искусства и въ частности для товарищества передвижныхъ выставокъ, котораго свѣтлыхъ преданій онъ былъ наиболѣе энергическимъ хранителемъ. Съ его смертью всѣ знавшіе его теряютъ, по малой мѣрѣ, умнаго, остроумнаго, разносторонняго и высоко развитаго собесѣдника. Для многихъ онъ, конечно, имѣлъ несравненно большее значеніе. Въ особенности слѣдуетъ это сказать о молодыхъ, начинающихъ художникахъ, къ услугамъ которыхъ всегда были умъ, художественное чутье и опытность покойнаго.

Мы, писатели, должны въ особину помянуть Николая Александровича. Со многими изъ насъ онъ былъ близокъ. Смерть Гаршина, несчастіе, постигшее Гл. Ив. Успенскаго, болѣе мелкія бѣды, какъ и радости другихъ – вызывали его горячее участіе. И, напримѣръ, изданный по смерти Гаршина литературно-художественный сборникъ едва ли бы состоялся безъ энергическаго участія Ярошенка. Любилъ покойный и портреты литераторовъ писать. Портреты Кавелина, Плещеева, Салтыкова, Успенскаго, гр. Л. Толстого, В. С. Соловьева занимаютъ видное мѣсто въ ряду его произведеній. Послѣдняя его работа, еще неизвѣстная публикѣ, есть портретъ В. Г.

*) 1898 г., іюль.

Короленка. Писалъ онъ и мой портретъ, при чемъ мнѣ пришлось близко наблюдать нѣкоторыя подробности его отношенія къ своему дѣлу, о чемъ, впрочемъ, скажу ниже по другому поводу.

Въ пестрой сутолокѣ жизни судьба рѣдко сталкиваетъ насъ съ такими цѣльными, законченными и въ то же время, такъ сказать, многогранными натурами, какою былъ Ярошенко. Едва ли найдется сколько-нибудь значительная область жизни или мысли, которою онъ не интересовался бы въ большей или меньшей степени. И эта рѣдкая между художниками жадность на работу сознанія не мѣшала свободѣ его художественнаго творчества, въ которомъ неизбѣжно много безсознательнаго. Это былъ въ полномъ смыслѣ *мыслящій художникъ*, — подчеркиваю и существительное, и прилагательное, потому что было бы несправедливо подчеркнуть одно изъ нихъ. Боюсь быть непонятымъ: не геніальный художникъ былъ покойный, но въ предѣлахъ своихъ художественныхъ силъ, — конечно, очень большихъ,—онъ являетъ собою рѣдкій образецъ равновѣсія цѣлей и средствъ. Его иногда упрекали въ извѣстной тенденціозности и вообще въ перевѣсѣ мысли, задачи произведенія надъ исполненіемъ. Быть можетъ, это и вѣрно относительно первыхъ его картинъ («Литовскій замокъ», «Невскій проспектъ ночью»), нѣсколько аскетически сухихъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше отдѣлывался онъ отъ этой боязни заслонить роскошью красокъ и образовъ смыслъ картины, отъ этой скупости на художественныя средства для достиженія жизненной цѣли. И этотъ процессъ развитія очень характеренъ для Ярошенка: онъ расправлялъ крылья по мѣрѣ того, какъ они росли, и никто не можетъ сказать, какой силы достигъ бы онъ, если бы судьба подкосила его не въ 1898 г., а десятью, двадцатью годами позже. Одно можно сказать навѣрное: искусство, какъ ни дорого оно ему было, никогда не стало бы для него самодовлѣющею цѣлью. Не хуже кого бы то ни было чувствовалъ онъ красоту «красивыхъ пятенъ», эффектнаго освѣщенія и т. п., но пускалъ ихъ въ ходъ не ради ихъ самихъ, и это-то ставилось ему въ вину. Въ частности его упрекали въ томъ, что онъ выбиралъ преимущественно мрачные сюжеты и страдалъ тѣмъ, что у насъ иронически называется совсѣмъ не смѣшными словами: «гражданская скорбь». Упрекъ заѣзженный и уже потому нелѣпый, что бросающіе его обыкновенно ничего не имѣютъ противъ «гражданской радости». Но относительно Ярошенка упрекъ этотъ требуетъ и фактической поправки. Не говоря о такихъ отнюдь не мрачныхъ картинахъ, какъ «Спѣвка», или «На качеляхъ», стоитъ напомнить наиболѣе популярное произведеніе покойнаго—«Повсюду жизнь», гдѣ художникъ съумѣлъ уловить улыбки радости и умиленія на лицахъ пассажировъ арестантскаго вагона. Художественное произ-

веденіе всегда было для Ярошенка прежде всего правдивымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности въ ея типическихъ чертахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сужденіемъ объ этой дѣйствительности,—сужденіемъ, выраженнымъ образно, художественно и, слѣдовательно, доставляющимъ эстетическое наслажденіе, при посредствѣ котораго сужденіе художника должно передаваться зрителю. Сознательно стоя на этой точкѣ зрѣнія, уравновѣшивавшей элементы правды, эстетическіе и, если угодно, «гражданскіе», Ярошенко велъ неустанную борьбу сначала съ академической эстетикой, а затѣмъ и нахлынувшей въ послѣднее время декадентской волной. Борьбу эту онъ велъ, во-первыхъ, своимъ примѣромъ, непосредственными вкладами въ русское искусство; во-вторыхъ, дѣятельнымъ участіемъ въ товариществѣ передвижныхъ выставокъ, душою котораго онъ уже давно сталъ; въ-третьихъ, наконецъ, — устною пропагандою, для которой у него были всѣ данныя. Высоко образованный, глубоко убѣжденный, обладавшій при томъ своеобразно прекраснымъ даромъ слова, онъ сдѣлалъ для русскаго искусства гораздо больше, чѣмъ это можетъ казаться людямъ, не знавшимъ его лично. Въ большомъ и разнородномъ обществѣ онъ не былъ разговорчивъ, но въ кругу близкихъ знакомыхъ и товарищей по профессіи это былъ истинно блестящій собесѣдникъ.

Года два или три тому назадъ я провелъ лѣто въ Кисловодскѣ, въ одномъ домѣ съ Ярошенко, въ томъ самомъ домѣ, гдѣ онъ и умеръ. За все время моего пребыванія въ Кисловодскѣ гостепріимные хозяева едва ли хоть одинъ день оставались безъ посѣтителей, въ числѣ которыхъ было нѣсколько молодыхъ художниковъ. Разговоръ естественно часто заходилъ объ искусствѣ въ его общихъ задачахъ и въ его техникѣ, о различныхъ художественныхъ школахъ, о томъ или другомъ художникѣ, о той или другой картинѣ, объ этюдѣ, только что написанномъ однимъ изъ молодыхъ художниковъ, и т. п. И, слушая умныя, то спокойныя, но твердыя, «проникновенныя», то язвительно остроумныя рѣчи Ярошенка, я не разъ пожалѣлъ, что этотъ человѣкъ не владѣетъ перомъ или почему нибудь не хочетъ прибѣгать къ нему для изложенія своихъ мыслей.

Въ то лѣто Ярошенко много работалъ. Кромѣ этюдовъ, онъ писалъ «Стадо овецъ въ развалинахъ храма» и началъ «Искушеніе Іуды». И я видѣлъ, съ какою тщательностью работаетъ этотъ, будто бы пренебрегающій исполненіемъ человѣкъ. Развалины древняго храма были написаны раньше, съ натуры, во время странствованій въ кавказскихъ горахъ,—Ярошенко не разъ предпринималъ далекія и трудныя поѣздки въ горы. Теперь ему вздумалось загнать въ развалины на ночлегъ стадо овецъ. И вотъ какъ принялся за дѣло опытный, чего-чего не писавшій на своемъ вѣку

художникъ: онъ привелъ къ себѣ во дворъ съ базара десятка полтора овецъ, долго бился, располагая ихъ въ разныя группы, снялъ съ этихъ группъ нѣсколько фотографій, зарисовалъ ихъ себѣ въ альбомъ и только послѣ этого рѣшился вставить ихъ въ картину. Но гораздо больше занимало его «Искушеніе Іуды». Это былъ его первый и единственный опытъ разработки евангельскаго сюжета, и въ высшей степени характеренъ мотивъ, по которому онъ, какъ я имѣю основаніе думать, остановился на Іудѣ, этомъ вѣковѣчномъ символѣ измѣны и предательства. Когда я увидѣлъ первый маленькій набросокъ углемъ «Искушенія Іуды», меня поразило отсутствіе типическихъ еврейскихъ чертъ въ лицахъ фарисеевъ, соблазняющихъ Искаріота. Конечно, отъ этого эскиза, задачей котораго было лишь намѣтить общій планъ картины, нельзя было и ожидать деталей, но дѣло-то въ томъ, что намеки на детали какъ будто были и въ еле намѣченныхъ лицахъ нѣкоторыхъ изъ фарисеевъ-соблазнителей мелькало какъ будто что-то знакомое. Я выразилъ художнику свое недоумѣніе: «Это такъ, шутка,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь,—это вотъ такой-то, это такой-то». И онъ назвалъ нѣсколько художниковъ, выбывшихъ изъ товарищества передвижныхъ выставокъ по соображеніямъ, имѣвшимъ мало общаго съ искусствомъ... Само собою разумѣется, что въ картинѣ не осталось потомъ и слѣда этой «шутки». Ярошенко исключительно для себя «шутилъ», для собственнаго удовлетворенія, но эта шутка даетъ возможность заглянуть въ душу художника, въ скрытые отъ зрителя житейскіе потайники его творчества. Измѣна тому дѣлу, которое онъ считалъ святымъ, оскорбляла, возмущала его, и эти чувства настойчиво требовали для себя художественнаго выраженія. Но, разъ остановившись на образѣ Іуды, Ярошенко уже предоставилъ свободное теченіе творческому процессу, который привелъ его къ моменту, кажется, никѣмъ еще не эксплоатированному. Іуда много разъ вдохновлялъ художниковъ всѣхъ временъ и народовъ, при чемъ выбирался обыкновенно одинъ изъ двухъ моментовъ,—знаменитый предательскій поцѣлуй или же раскаяніе, приведшее Искаріота къ самоубійству. Ярошенко поступилъ иначе. Ни поцѣлуй, ни раскаяніе не входили въ составъ той измѣны, которая въ дѣйствительности натолкнула его на мысль объ Іудѣ, и его творчество направилось совсѣмъ въ другую сторону. Іуда былъ для него прежде всего чувственный и потому легко поддающійся соблазну, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нерѣшительный человѣкъ. А эти двѣ черты могли выступить съ особенною яркостью именно въ той обстановкѣ, какая дана въ картинѣ Ярошенка: фарисеи соблазняютъ Іуду доводами изъ писанія, соображеніями житейскими, деньгами. Первоначально въ картинѣ еще выглядывала изъ-за занавѣса женщина,

какъ орудіе соблазна, но затѣмъ Ярошенко почему-то (я не могъ добиться почему) уничтожилъ этотъ оригинальный намекъ. Такимъ образомъ, въ основѣ «Искушенія Іуды» несомнѣнно лежитъ тенденція съ характеромъ «гражданской скорби», но свободный процессъ творчества поднялъ ее до степени высокой художественной задачи. Къ сожалѣнію, въ картинѣ мало движенія, да и слишкомъ ужъ трудную задачу задалъ себѣ художникъ собственно лицомъ Іуды, на которомъ должна отражаться сложная душевная борьба.

Было бы крайне желательно, чтобы передвижники, такъ много обязанные покойному и такъ много потерявшіе съ его смертью, устроили выставку и издали альбомъ его произведеній. Его многолѣтняя и разнообразная художественная дѣятельность составляетъ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ исторіи русскаго искусства, и если умеръ Ярошенко, то не должна умирать память объ этомъ художникѣ-мыслителѣ, объ этомъ человѣкѣ, которому ничто человѣческое не было чуждо.

XV *).

О г. Максимѣ Горькомъ и его герояхъ.

Года три тому назадъ въ разныхъ журналахъ стали появляться разсказы, подписанные новымъ въ литературѣ именемъ: Максимъ Горькій. Они читались съ интересомъ, отъ нихъ вѣяло чѣмъ-то свѣжимъ, но частію потому, что многіе изъ нихъ печатались въ мало распространенныхъ изданіяхъ, частію вслѣдствіе разбросанности ихъ вообще, трудно было составить себѣ опредѣленное представленіе о литературной физіономіи новоявленнаго писателя. Могло даже возникать сомнѣніе,—обладаетъ ли еще онъ какою-нибудь опредѣленною физіономіей и не есть ли онъ одно изъ тѣхъ мимолетныхъ явленій, какихъ много въ современной литературѣ: появится новый авторъ, съ повѣстью или разсказомъ, представляющими извѣстный интересъ въ смыслѣ оригинальности замысла или художественности исполненія, какъ будто обѣщающими что-то и въ будущемъ, но затѣмъ очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороху на одинъ, на два разсказа. Всегда, разумѣется, были въ литературѣ подобныя мимолетныя явленія, но нынѣ что-то особенно много стало случайныхъ гостей; побесѣдовали они съ вами разъ, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались ихъ бесѣдой, и не дурно съ ними время провели, но затѣмъ они выбываютъ изъ круга вашихъ знакомыхъ, да такъ, что точно ихъ и на свѣтѣ никогда не было, и помянуть ихъ нечѣмъ. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не безъ гордости говорятъ, подобно Ипполиту Островскаго: «Коль скоро я пришелъ»... Но читатель съ грустью припоминаетъ реплику Ахова: «Коль скоро ты пришелъ, столь скоро ты и уйдешь»... Это одно изъ проявленій современнаго литературнаго, скажу больше,—современнаго житейскаго оскудѣнія вообще. Оскудѣнію этому есть вполнѣ уловимыя причины, говорить о которыхъ теперь трудно. Объ нихъ разскажетъ въ свое время исторія.

*) Сентябрь 1898 г.

Но каковы бы ни были причины, а печальный фактъ остается фактомъ, и не удивительно, если люди, любовно слѣдящіе за русской литературой, встрѣчаютъ заинтересовавшаго ихъ новаго автора съ нѣкоторымъ скептицизмомъ: можно ли разсчитывать на сколько-нибудь продолжительное общеніе съ нимъ? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся въ два-три пріема?

Скептицизмъ этотъ былъ естественъ и относительно г. Максима Горькаго. Не скажу, чтобы онъ былъ устраненъ и теперь, когда разсказы г. Горькаго, частію погребенные въ такихъ литературныхъ могилахъ, какъ «Сѣверный Вѣстникъ», да и вообще раскиданные, собраны и изданы отдѣльно. Но во всякомъ случаѣ два томика его разсказовъ представляютъ собою нѣчто вполнѣ опредѣленное, при томъ такое, что можетъ доставить и художественное наслажденіе, и пищу для размышленія, что можно не только съ удовольствіемъ читать, но и перечитывать, и что помянется исторіей литературы, хотя бы г. Максимъ Горькій уже ничего болѣе не написалъ.

Г. Горькій разрабатываетъ если не совсѣмъ новый, то очень мало извѣстный рудникъ,—міръ босяковъ, босой команды, золоторотцевъ. Въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, которыхъ, впрочемъ, было всего одинъ, два, да и обчелся, и которые занимались этимъ своеобразнымъ міромъ мимоходомъ и между прочимъ, онъ отдаетъ ему все свое вниманіе и весь свой недюжинный талантъ. Міръ — дѣйствительно въ высокой степени заслуживающій вниманія, какъ по своей, благодарной для художника, живописной яркости, такъ и по своему общественному значенію. Это—чандалы европейской цивилизаціи. Индійскіе чандалы живутъ внѣ кастоваго строя и состоятъ частію изъ плодовъ строго воспрещенныхъ mesalliance'овъ между представителями трехъ высшихъ кастъ, частію изъ потомковъ судръ, за преступленія или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ выбывшимъ изъ своей касты, частію, наконецъ, изъ покоренныхъ не-арійскихъ туземныхъ элементовъ. Наши чандалы,—то, что въ западной Европѣ называется Lumpenproletariat, а у насъ босяки, золоторотцы,—будучи такими же отверженными изъ отверженныхъ, такими же отбросами различныхъ общественныхъ слоевъ, имѣютъ, однако, совершенно иное происхожденіе. Не говоря уже о западной Европѣ, и у насъ въ Россіи не только нѣтъ кастоваго строя, но и сословныя перегородки постепенно сглаживаются и теряютъ свое значеніе. Сынъ дворянина и мѣщанки или крестьянина и дворянки можетъ, конечно, попасть въ ряды босяковъ, но не по рожденію, а по такому же стеченію обстоятельствъ, какое и чистокровнаго дворянина, какъ и чистокровнаго мужика, можетъ ввести въ эти ряды. Лишеніе правъ состоянія за преступ-

леніе тоже не обязательно ввергаетъ людей въ «золотыя роты». Наконецъ и о какой-нибудь національной особности босяковъ не можетъ быть рѣчи. И тѣмъ не менѣе они, подобно индійскимъ чандаламъ, стоятъ внѣ общественнаго строя, и даже наиболѣе демократическія европейскія партіи презрительно сторонятся отъ Lumpenproletariat'a. Онѣ имѣютъ на то свои резоны. Босяки отъ всѣхъ береговъ отстали, но ни къ которому не пристали, ни въ какіе регулярные кадры не устанавливаются, никакой партійной или классовой дисциплинѣ не поддаются. Правда, г. Горькій готовъ видѣть въ нихъ особый классъ. Это—говоритъ онъ—люди, «которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполнѣ достойны вниманія, какъ сильно алчущіе и жаждущіе, очень злые и далеко не глупые» (II, 26). Что босяки вполнѣ достойны вниманія, это несомнѣнно, и г. Горькій, показавшій намъ ихъ въ цѣломъ рядѣ картинъ и образовъ, можетъ по праву гордиться тѣмъ дѣломъ, которое онъ дѣлаетъ. Но не потому, однако, достойны вниманія босяки, что они «сильно алчутъ и жаждутъ, очень злы и далеко не глупы». Это признаки слишкомъ общіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и слишкомъ индивидуальные. Какъ и a priori можно было бы сказать, какъ и изъ разсказовъ г. Горькаго видно, есть между босяками и совсѣмъ не «очень злые», а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякіе есть. Достойны они вниманія, какъ общественное явленіе, при томъ все ростущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить «классъ»,—въ этомъ позволительно сомнѣваться, хотя бы на основаніи показаній самого г. Горькаго, съ которыми мы сейчасъ познакомимся.

Остановимся на одномъ изъ лучшихъ разсказовъ г. Максима Горькаго, озаглавленномъ по прозвищу героя «Челкашъ». Кстати же онъ стоитъ первымъ въ первомъ томѣ. Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ «Русскомъ Богатствѣ», но я считаю нужнымъ напомнить читателямъ нѣкоторыя его подробности, быть можетъ позабытыя, тѣмъ болѣе, что въ общей связи съ другими разсказами г. Горькаго «Челкашъ» получаетъ особенное значеніе.

Дѣло происходитъ въ большомъ приморскомъ южномъ городѣ въ родѣ Одессы или Севастополя. Разсказъ открывается описаніемъ мѣста дѣйствія. Г. Горькій любитъ подобныя описанія и большой мастеръ на нихъ. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но описаніе, которымъ начинается «Челкашъ», не принадлежа къ числу лучшихъ, имѣетъ за то нѣкоторое принципіальное значеніе, давая отправную точку для сужденія о многомъ изъ того, что занимаетъ г. Горькаго; и можетъ быть не случайно описаніе это попало на первыя же страницы перваго тома. Я приведу его цѣликомъ:

Потемнѣвшее отъ поднятой въ гавани пыли, голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотритъ въ зеленоватое море, точно сквозь тонкую сѣрую вуаль. Оно не можетъ отразиться въ водѣ, то и дѣло разсѣкаемой ударами веселъ, пароходныхъ винтовъ, глубокими, острыми килями турецкихъ фелюгъ и другихъ парусныхъ судовъ, бороздящихъ по всѣмъ направленіямъ тѣсную гавань, въ которой закованныя въ гранитъ свободныя волны моря, подавленныя громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, бьются и ропщутъ, вспѣненныя ударами, загрязненныя разнымъ хламомъ.

Звонъ якорныхъ цѣпей, грохотъ сцѣпленій у вагоновъ, подвозящихъ трузъ, металлическій вопль желѣзныхъ листовъ, откуда-то падающихъ на камень мостовой, глухой стукъ дерева. дребезжаніе извозчичьихъ телѣгъ, свистки пароходовъ, то пронзительно рѣзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ надсмотрщиковъ, — всѣ эти звуки сливаются въ оглушительную симфонію трудового дня и, нерѣшительно колыхаясь, стоятъ въ небѣ надъ гаванью, какъ бы боясь всплыть выше и исчезнуть въ немъ; а къ нимъ вздымаются съ земли все новыя и новыя волны: то глухія, рокочущія и сурово сотрясающія все кругомъ, то рѣзкія, гремящія, разрывающія уши и пыльный знойный воздухъ.

Гранитъ, желѣзо, мостовая гавани, суда и люди,—все дышетъ мощными звуками бѣшено страстнаго гимна Меркурію. Но голоса людей, еле слышные въ немъ, слабы и смѣшны. И сами люди, первоначально родившіе этотъ шумъ, смѣшны и жалки: ихъ фигурки, пыльныя, рваныя, юркія, согнутыя подъ тяжестью товаровъ, лежащихъ на ихъ спинахъ, подъ тяжестью заботы, толкающей ихъ то туда, то сюда, въ тучахъ пыли, въ морѣ зноя и звуковъ, такъ ничтожны и малы по сравненію съ окружающими ихъ желѣзными колоссами, грудами товаровъ, гремящими вагонами и всѣмъ, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило ихъ.

Стоя подъ парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистѣли, то шипѣли, то какъ-то глубоко вздыхали, и въ каждомъ рожденномъ ими звукѣ чудилась насмѣшливая нота ироническаго презрѣнія къ сѣрымъ, пыльнымъ фигуркамъ людей, ползавшихъ по ихъ палубамъ и наполнявшихъ ихъ глубокіе трюмы продуктами своего рабскаго труда. До слезъ смѣшны были длинныя вереницы грузчиковъ, таскавшихъ на себѣ тысячи пудовъ хлѣба и ссыпавшихъ его въ желѣзные животы судовъ для того, чтобы заработать нѣсколько фунтовъ того же хлѣба для своего желудка, къ несчастію людей, не желѣзнаго и чувствующаго боли голода. Рваные, потные, отупѣвшіе отъ усталости, шума и зноя люди и могучія, блестѣвшія на солнцѣ дородствомъ и безмятежностью машины, созданныя этими людьми; машины, которыя, въ концѣ концовъ, приводились въ движеніе все-таки не паромъ, а мускулами и кровью своихъ творцовъ... въ этомъ сопоставленіи была цѣлая поэма жестокой и холодной ироніи.

Шумъ подавлялъ, пыль, раздражая ноздри, слѣпила глаза, зной пекъ тѣло и изнурялъ его, и все кругомъ,—зданія, люди, мостовая,—казалось напряженнымъ, назрѣвшимъ, готовымъ прорваться, теряющимъ терпѣніе, готовымъ разразиться какой-то грандіозной катастрофой, взрывомъ, за которымъ въ освѣженномъ имъ воздухѣ будетъ дышаться свободно и легко, на землѣ воцарится тишина, а этотъ пыльный шумъ, оглушительный, раздражающій нервы, доводящій до тоскливаго бѣшенства, исчезнетъ, и въ городѣ, на морѣ, въ небѣ станетъ тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее, и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ.

Изъ этой цитаты видно, что г. Горькій не принадлежитъ къ числу тѣхъ оптимистовъ, которыхъ радуетъ промышленный прогрессъ, какъ таковой. Въ нарисованной имъ грандіозной и мрачной картинѣ есть только одинъ свѣтлый лучъ, да и то скорѣе намекъ на лучъ: «человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее, и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ». Это-то желаніе и это чувство г. Горькій и улавливаетъ въ своихъ босякахъ. Но не только къ промышленному прогрессу, а — въ связи ли съ нимъ или независимо отъ него — и къ другимъ сторонамъ цивилизаціи нашъ авторъ относится весьма скептически. Въ разсказѣ «Въ степи», между прочимъ, читаемъ: «Я хочу быть только правдивымъ, и не въ моихъ интересахъ быть грубымъ. Я знаю, что люди становятся все мягче душой въ наши высоко-культурные дни, и, даже когда берутъ за глотку своего ближняго съ явною цѣлью удушить его, такъ стараются сдѣлать это съ возможною любезностью и съ соблюденіемъ всѣхъ приличій, умѣстныхъ въ этомъ случаѣ. Опытъ собственной моей глотки заставляетъ меня отмѣтить этотъ прогрессъ нравовъ, и я съ пріятнымъ чувствомъ увѣренности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этомъ свѣтѣ. Въ частности этотъ замѣчательный процессъ вѣско подтверждается ежегоднымъ ростомъ тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости» (II, 327—328). И г. Горькій держитъ своихъ героевъ неизмѣнно по близости отъ тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, какъ намъ ее рисуетъ г. Максимъ Горькій: свободолюбіе съ одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще «порочность»—съ другой.

Гришка Челкашъ—«старый травленый волкъ, хорошо знакомый гаваньскому люду, какъ заядлый пьяница и ловкій, смѣлый воръ» (I, 3). Но просто пьяница и воръ не удостоился бы вниманія г. Горькаго,—мало ли ихъ! Пьяница и воръ можетъ вызывать къ себѣ презрѣніе, въ лучшемъ случаѣ сожалѣніе и другія подобныя сочетанія презрительно снисходительныхъ и брезгливыхъ чувствъ. Челкашъ не таковъ. «Пьяница и воръ»—это только одна сторона его души и жизни. Есть въ немъ еще многое другое, что не только не унижаетъ его, а даже создаетъ ему нѣкоторый поэтическій ореолъ и высоко поднимаетъ его надъ уровнемъ не только обыкновенныхъ пьяницъ и воровъ, но и многихъ честныхъ и трезвыхъ людей. Такъ, «онъ, воръ и циникъ, любилъ море; его кипучая, нервная натура, жадная на впечатлѣнія, никогда не пресыщалась созерцаніемъ этой темной широты, безкрайной и мощной» (19). Уже это показываетъ, что Челкашъ не о единомъ хлѣбѣ думаетъ, не о хлѣбѣ и водкѣ только. И не даромъ онъ такъ любитъ именно

море съ его широкимъ просторомъ: его душѣ особенно родственъ этотъ просторъ. Онъ смѣлъ, великодушенъ, преисполненъ чувства собственнаго достоинства, никому не позволитъ наступить ему на босую ногу, и тѣ грандіозныя сочетанія металла, дерева и пара, которыя г. Горькій изобразилъ въ началѣ разсказа, никоимъ образомъ не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Всѣ эти качества Челкаша развертываются передъ читателемъ въ одномъ эпизодѣ. Челкашъ затѣялъ рискованное предпріятіе,— комбинацію воровства съ продажей контрабанднаго товара, — съ которымъ ему одному не справиться. Но подъ рукой нѣтъ привычнаго къ такому дѣлу помощника, и Челкашъ беретъ къ себѣ въ товарищи случайно встрѣченнаго, прохожаго молодого мужика Гаврилу. Парень шелъ домой къ себѣ въ деревню съ косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсѣмъ понимая въ чемъ дѣло, согласился на предложеніе Челкаша. При исполненіи предпріятія онъ, добродушный и глуповатый деревенскій парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмѣшки, то гнѣвные окрики Челкаша, а затѣмъ произошла слѣдующая сцена при дѣлежѣ добычи. Операція принесла пятьсотъ сорокъ рублей, изъ которыхъ сорокъ Челкашъ отдѣлилъ Гаврилѣ, предполагая, повидимому, и еще прибавить. Но Гаврилу, при видѣ радужныхъ бумажекъ, обуяла жадность,—на эти огромныя для него деньги, «заработанныя» въ одну ночь, онъ у себя въ деревнѣ какъ бы устроился! а Челкашъ вѣдь ихъ просто пропьетъ! — И Гаврила униженнно страстно молитъ Челкаша отдать ему всю добычу. Молитъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто и отнять покушается, потому что неожиданнымъ движеніемъ валитъ Челкаша на землю.

«На, собака, жри!—гаркнулъ Челкашъ, дрожа отъ возбужденія, острой жалости и ненависти къ этому жадному рабу. И, бросивъ деньги, онъ почувствовалъ себя героемъ. Удальство свѣтилось въ его глазахъ». Гаврила сталъ столь же униженно благодарить. «Челкашъ слушалъ его визги, вопли, смотрѣлъ на его сіявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовалъ, что онъ, воръ и гуляка, оторванный отъ всего въ жизни, никогда не станетъ такимъ жаднымъ, низкимъ, не помнящимъ себя. Никогда не станетъ такимъ! И эта мысль и ощущеніе, наполняя его сознаніемъ своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынномъ морскомъ берегу». Но когда Гаврила, въ порывѣ восторга, признается, что онъ хотѣлъ убить Челкаша, тотъ рѣшается отобрать деньги. Происходитъ драка, Челкашъ, пораженный камнемъ въ затылокъ, падаетъ, Гаврила проситъ прощенія и проклинаетъ соблазнившія его деньги. Челкашъ, однако, презрительно заставляетъ

его взять добычу, оставляя себѣ лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таковъ босякъ Гришка Челкашъ. Въ сравненіи съ добродушнымъ, работящимъ и глуповатымъ мужикомъ Гаврилой онъ, воръ и пьяница, есть настоящій герой и рыцарь чести. Онъ, въ освѣщеніи г. Горькаго, имѣетъ полное право смотрѣть сверху внизъ на этого «жаднаго раба». И критики, недавно восторгавшіеся посредственнымъ разсказомъ г. Чехова собственно потому, что въ немъ «мужики» своимъ «деревенскимъ идіотизмомъ» выгодно оттѣняютъ фигуры трактирнаго лакея и горничной меблированныхъ комнатъ, уже за одно это униженіе мужика—такая теперь мода—высоко оцѣнятъ г. Максима Горькаго. Я тоже цѣню, какъ талантъ г. Горькаго, такъ и употребленіе, которое онъ изъ него дѣлаетъ, но по нѣсколько инымъ соображеніямъ.

Повидимому, глубокое презрѣніе къ мужику и къ деревенскому житью, презрѣніе, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришкѣ Челкашу, а вообще излюбленнымъ героямъ г. Горькаго. Такъ въ разсказѣ «Мальва» удалой золоторотецъ Сережка называетъ мужиковъ «землеѣдами тупорылыми» и «кротами таракановичами», а объ одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ отзывается такъ: «Мнѣ онъ не по душѣ... деревней отъ него воняетъ, а я запаха этого не терплю» (II, 109, 110—112). Сама Мальва презрительно говоритъ, что въ деревнѣ «какъ въ ямѣ—и темно, и тѣсно» (85). Сережка же такъ поясняетъ свою мысль въ другомъ мѣстѣ: «Я, видишь ты, всѣхъ мужиковъ не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, имъ и хлѣба даютъ и... все!.. У нихъ вонъ земство есть и оно все для нихъ дѣлаетъ... Хозяйство у нихъ, земля, скотъ... Я у земскаго доктора кучеромъ служилъ, насмотрѣлся на нихъ... потомъ бродяжилъ по землѣ много. Придешь, бывало, въ деревню, попросишь хлѣба — цапъ тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспортъ.. Бивали сколько разъ... То за конокрада примутъ... то просто такъ... Въ холодную сажали... Они ноютъ да притворяются, но жить могутъ, у нихъ есть зацѣпка—земля. А я что противъ нихъ?» (117). Въ «Бывшихъ людяхъ» ненавидитъ мужиковъ нѣкій Тяпа. «Каждый разъ, когда въ ночлежкѣ являлся какой-нибудь свѣжій экземпляръ человѣка, вытолкнутаго нуждой изъ деревни, Тяпа при видѣ его впадалъ въ тоскливое озлобленіе и безпокойство. Онъ преслѣдовалъ этого несчастнаго ѣдкими насмѣшками, съ злымъ хрипомъ выходившими изъ его горла: онъ натравливалъ на него какого-нибудь злющаго босяка, грозилъ, наконецъ, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшійся мужикъ исчезалъ изъ ночлежки и уже больше не являлся въ ней». Въ газетѣ Тяпа

читалъ «о томъ, что въ такой-то деревнѣ градомъ побило хлѣбъ, а въ другой—сгорѣло тридцать дворовъ, а въ третьей—баба отравила свою семью,—все, что принято писать о деревнѣ и что рисуетъ ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читалъ все это глухо и мычалъ, выражая этими звуками, быть можетъ, состраданіе, быть можетъ, удовольствіе» (II, 200, 201). Емельянъ Пиляй, «мѣщанинъ-голоштанникъ», какъ онъ самъ себя называетъ, грозитъ «дворянамъ отъ сохи» разными непріятностями. Онъ мечтаетъ открыть кабакъ и съ нѣкоторымъ даже сладострастіемъ представляетъ себѣ, какъ онъ будетъ грабить мужика: «Мужика бы этого, черноземнаго барина — ухъ ты!.. грабь! дери шкуру! выворачивай на изнанку. Придетъ опохмѣлиться — «Емельянъ Павлычъ, дай въ долгъ стаканчикъ!»—А? что?.. Въ долгъ?!. Не даемъ въ долгъ!—«Емельянъ Павлычъ, будь милосердъ!» — Изволь, буду: вези телѣгу, шкаликъ дамъ. Ха-ха-ха! Я бы его, чорта тугопузаго, пронзилъ!» (II, 276).

Такимъ образомъ босякъ, представитель городской культуры, является антагонистомъ деревенскаго мужика и, какъ ни низко стоитъ самъ онъ въ обществѣ, смотритъ на мужика сверху внизъ и имѣетъ, повидимому, для этого достаточныя основанія. Но прежде, чѣмъ дѣлать изъ этого какіе-нибудь выводы, прежде, чѣмъ радоваться или горевать, или искать подтвержденія той или другой излюбленной теоріи, посмотримъ, какъ относится босякъ къ представителямъ другихъ сословій или классовъ, напримѣръ, къ купцамъ.

Аристидъ Кувалда, одинъ изъ «бывшихъ людей» и нѣкоторымъ образомъ глава ихъ или, по крайней мѣрѣ, пристанодержатель, дѣлаетъ такое опредѣленіе: «Что есть купецъ? Разсмотримъ это нелѣпое и грубое явленіе. Прежде всего каждый купецъ — мужикъ. Онъ является изъ деревни и по истеченіи нѣкотораго времени дѣлается купцомъ. Для того, чтобы сдѣлаться купцомъ, нужно имѣть деньги. Откуда у мужика могутъ быть деньги? Какъ извѣстно, онѣ не являются отъ трудовъ праведныхъ. Значитъ, мужикъ такъ или иначе мошенничалъ. Значитъ, купецъ — мошенникъ-мужикъ... О, если бъ я писалъ въ газетахъ!.. о, я показалъ бы его въ настоящемъ видѣ, я бы показалъ, что онъ только животное, временно исполняющее должность человѣка. Я понимаю его! Онъ? Онъ грубъ, онъ глупъ, не имѣетъ вкуса къ жизни, не имѣетъ представленія объ отечествѣ и ничего выше пятака не знаетъ» (II, 207, 208).

Правда, Аристидъ Кувалда—отставной ротмистръ и дворянинъ, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть къ купцамъ есть нѣчто исключительное. Но его дворянское прошлое, какъ и прошлое другихъ его разношерстныхъ товарищей, давно быльемъ поросло. Онъ принадлежитъ къ числу «изгнанныхъ изъ жизни, рва-

ныхъ, пропитанныхъ водкой и злобой, ироніей и грязью» (211). Мало того, благодаря нѣкоторому образованію, недюжинному уму и ораторской способности, Аристидъ Кувалда, пользующійся въ своей средѣ огромнымъ авторитетомъ, можетъ логически выразить и болѣе или менѣе ясно формулировать бродящія въ душахъ золоторотцевъ инстинкты и чувства. Вотъ, напримѣръ, одна изъ бесѣдъ Аристида Кувалды съ братіей:

— Какъ бывшій человѣкъ (говоритъ Кувалда), я долженъ смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, вѣрно. Но чѣмъ же я и всѣ вы—чѣмъ же вооружимся мы, если отбросимъ эти чувства?

— Вотъ ты начинаешь говорить умно,—поощряетъ его учитель.

— Намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства... намъ нужно что-то такое новое, ибо и мы въ жизни новость...

— Несомнѣнно намъ нужно это,—говоритъ учитель.

— Зачѣмъ, — спрашиваетъ Конецъ, — не все ли равно, что говорить и думать? Намъ недолго жить... мнѣ сорокъ, тебѣ пятьдесятъ, моложе тридцати нѣтъ среди насъ. И даже въ двадцать долго не проживешь такой жизнью.

— И какая мы новость,—усмѣхается Объѣдокъ,—гольтепа всегда была.

— И она создала Римъ,—говоритъ учитель.

— Да, конечно, — ликуетъ ротмистръ, — Ромулъ и Ремъ, развѣ они не золоторотцы? И мы, придетъ нашъ часъ, создадимъ...

— Нарушеніе общественной тишины и спокойствія,— перебиваетъ Объѣдокъ. Онъ хохочетъ, довольный собой. (210).

Мы еще вспомнимъ нѣкоторыя подробности этой знаменательной бесѣды, а пока замѣтимъ, что среди «бывшихъ людей» есть всякіе—и мужики, и дворяне, и интеллигенція, и городскіе, и деревенскіе жители, и всѣмъ имъ «нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства, нужно что-то такое новое». И если Мальва находитъ, какъ мы видѣли, что въ деревнѣ, «какъ въ ямѣ,— и темно, и тѣсно» то вотъ, напримѣръ, босякъ Коноваловъ говоритъ автору: «Совсѣмъ напрасно ты, Максимъ, въ городахъ трешься. И что тебя къ нимъ тянетъ? Тухлая тамъ жизнь и тѣсная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человѣку надо». (II, 61). «Настроили люди городовъ, домовъ, собрались тамъ въ кучи, пакостятъ землю, задыхаются, тѣснятъ другъ друга... Хорошая жизнь!» И только послѣ убѣдительной реплики товарища, Коноваловъ съ сожалѣніемъ соглашается, что «для зимы города дѣйствительно нужны... тутъ ужъ ничего съ ними не подѣлаешь» (63). Въ деревнѣ, какъ въ ямѣ,— и темно и тѣсно. Но вотъ и городской рабочій, сапожникъ Орловъ говоритъ тѣми же словами: «Сижу въ ямѣ и шью» (I, 263), «сижу вотъ въ ямѣ и все работаю, и ничего у меня нѣтъ» (266); «хоть на чердакъ заберись, все же въ ямѣ будешь... не квартира яма... жизнь яма» (268). И въ итогѣ своей карьеры и своихъ раз-

мышленій о жизни Орловъ говоритъ: «Противно все — города, деревни, люди разныхъ калибровъ... тьфу!» (332).

Итакъ, герои г. Горькаго не къ одному мужику относятся презрительно и ненавистно, и деревня и городъ равно вызываютъ въ нихъ недобрыя и вообще отрицательныя чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же «Челкаша», то увидите, что къ презрѣнію, которое босякъ питаетъ къ Гаврилѣ, примѣшивается странное сочетаніе зависти и сочувствія. Одиннадцать лѣтъ тому назадъ Гришка Челкашъ самъ былъ деревенскимъ мужикомъ, и въ разговорѣ съ Гаврилой онъ «чувствовалъ себя обвѣяннымъ примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшаго съ собой до его слуха и ласковыя слова матери, и солидныя рѣчи исконнаго крестьянина-отца, много забытыхъ звуковъ и много сочнаго запаха матушки-земли, только-что оттаявшей, только-что вспаханной и только-что покрытой изумруднымъ шелкомъ озими... И онъ чувствовалъ себя сбитымъ, упавшимъ, жалкимъ и одинокимъ, вырваннымъ и выброшеннымъ навсегда изъ того порядка жизни, въ которомъ выработалась та кровь, что течетъ въ его жилахъ» (I, 34). Любопытно также, что нашъ авторъ колеблется въ опредѣленіи тѣхъ чувствъ, съ которыми другой ненавистникъ мужика, Тяпа, вычитываетъ въ газетѣ непріятныя извѣстія о деревнѣ: «быть можетъ состраданіе, быть можетъ удовольствіе». Тяпа даже посылаетъ одного изъ «бывшихъ людей» въ деревню: «шелъ бы ты въ деревню... просился бы тамъ въ учителя или въ писаря... и былъ бы сытъ, и провѣтрился бы. А то чего маешься?» (II, 206).

Изъ всего этого видно, что задача г. Горькаго лежитъ гдѣ-то въ сторонѣ отъ грубаго противопоставленія деревни и города. Его образы и картины разные читатели могутъ, разумѣется, истолковывать различно, смотря по степени своего пониманія, а можетъ быть и добросовѣстности. Одинъ можетъ подчеркнуть для себя,—а если онъ не просто читатель, а и критикъ, то и для другихъ, — одну сторону дѣла, другой другую. Эти одностороннія освѣщенія могутъ быть очень остроумны и представлять большой интересъ въ томъ или другомъ смыслѣ. Но любопытно знать и мнѣнія самого наблюдателя-автора, хотя для насъ вовсе не обязательно съ этими мнѣніями соглашаться. Но въ двухъ томахъ разсказовъ г. Горькаго есть, кажется, только одно мѣсто, гдѣ авторъ прямо отъ себя какъ будто сопоставляетъ деревню и городъ. А именно: «Быть можетъ порядочный человѣкъ культурнаго класса и выше такого же человѣка изъ мужиковъ, но всегда порочный человѣкъ изъ города неизмѣримо гаже и грязнѣе порочнаго человѣка деревни» (II, 199). Но и это мнѣніе, конечно интересное,—въ качествѣ итога очевидно тщательныхъ наблюденій,—очень далеко отъ огульнаго сопоставленія

мужика-земледѣльца и городского жителя вообще или, какъ у насъ недавно еще до тошноты часто повторяли, «деревенской и городской культуры». Г. Горькій сравниваетъ не вообще деревенскихъ и городскихъ жителей, а лишь опредѣляемыхъ извѣстными нравственными признаками—«порядочности» и «порочности», при чемъ относительно «порядочныхъ» выражается сомнительно: «быть можетъ». Да и вообще все это мимоходомъ брошенное замѣчаніе не имѣетъ большого значенія для основной темы г. Горькаго, разрабатываемой въ большинствѣ его разсказовъ. *Всѣ* его излюбленные герои «порочны», близки къ тюрьмамъ, кабакамъ и домамъ терпимости, всѣ,—какъ деревенскіе, такъ и городскіе. Если, напримѣръ, городскіе «бывшіе люди» «охотно, много и скверно говорили о женщинахъ», то, во-первыхъ, одинъ изъ ихъ же среды — «учитель»—сердился, «если очень ужъ пересаливали», а во-вторыхъ, и бывшій мужикъ Челкашъ—«циникъ». Если въ разсказѣ «Дѣло съ застежками» бывшій мужикъ Мишка, къ негодованію своего необузданнаго товарища Семки, способенъ растрогаться чтеніемъ, то и городской человѣкъ Коноваловъ ему въ этомъ отношеніи не уступитъ. Все это оттѣнки, подробности, хотя и подлежащія сложенію въ общія правила и вычитанію исключеній, но имѣющія мало значенія для главной темы г. Горькаго. Важно, что всѣ эти чандалы, отъ какого бы общественнаго слоя они ни откололись, будучи отверженцами изъ отверженцевъ и сами сознавая свою «порочность», считаютъ себя вправѣ свысока относиться ко всему окружающему и въ какихъ-то отношеніяхъ дѣйствительно имѣютъ это право.

Характеризуя только что упомянутаго Мишку («Дѣло съ застежками»), г. Горькій говоритъ, что онъ «типичнѣйшій мечтатель-мужикъ, излюбленный персонажъ писателей-народниковъ, такъ много говорившихъ о немъ и позабывшихъ разсказать, какъ онъ, этотъ типъ, вымираетъ, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателямъ, ни мало не нуждается въ нихъ и всегда предпочитаетъ здоровыя руки слабой головѣ» (II, 167). Кого бы ни разумѣлъ здѣсь почтенный авторъ подъ писателями-народниками, — вообще ли писателей, черпавшихъ свои темы изъ народнаго быта и съ особеннымъ интересомъ приглядывавшихся къ мужицкой жизни, или же народниковъ, такъ сказать, принципіальныхъ, идеализировавшихъ мужика и «устои» его жизни,— онъ во всякомъ случаѣ неправъ; фактически неправъ, утверждая, что писатели эти позабыли разсказать, какъ вымираетъ «мечтатель». Это было бы нетрудно доказать многочисленными примѣрами, но такая экскурсія въ сторону недавней исторіи нашей ли-

тературы слишкомъ отвлекла бы насъ отъ г. Горькаго, да и не нужна она для нашей цѣли. Г. Горькій не рѣшается заполнить указанный имъ якобы пробѣлъ. Онъ даетъ рядъ фигуръ, уже отвергнутыхъ «суровой жизнью», и все это «мечтатели»: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть можетъ, слишкомъ поэты и философы. И глядя на нихъ, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только въ «слабыхъ головахъ», предпочитая имъ «здоровыя руки». Тутъ еще не было бы ничего удивительнаго или вниманія достойнаго. Здоровыя руки, конечно, предпочтительнѣе слабой головы, какъ маленькій каменный домъ предпочтительнѣе большого чернаго таракана. Удивительно то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горькаго въ большинствѣ случаевъ совсѣмъ не слабыя головы (г. Горькій считаетъ даже возможнымъ, какъ мы видѣли, объединить ихъ общимъ признакомъ: «далеко не глупы»), и руки у большинства ихъ тоже здоровыя, а они все-таки отверженцы. Отчего же это такъ выходитъ?

Есть, впрочемъ, у г. Горькаго одинъ совершенно безрукій герой—Михаилъ Антонычъ въ разсказѣ «Тоска». Объ немъ узнаемъ отъ него самого, что онъ перепробовалъ множество профессій: былъ часовымъ дѣлъ мастеромъ, пѣвчимъ, смазчикомъ на желѣзной дорогѣ, приказчикомъ у лѣсоторговца, торговалъ роговыми издѣліями и, наконецъ, гдѣ-то на фабрикѣ въ пьяномъ видѣ попалъ въ приводный ремень, которымъ ему и оторвало обѣ руки. Тутъ мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, указаніе на причину, окончательно выбившую человѣка изъ строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печальнаго случая Михаилъ Антонычъ почему-то не могъ приспособиться ни къ одной изъ перепробованныхъ имъ профессій, да и въ приводный ремень попалъ пьяный, можетъ быть, конечно, и случайно, а можетъ быть и какъ привычный уже пьяница. Вообще г. Горькій чрезвычайно скупъ на разъясненіе тѣхъ условій, при которыхъ «суровая жизнь» вышвыриваетъ за бортъ его героевъ; и даже когда болѣе или менѣе подробно разсказываетъ ихъ біографію, то обрываетъ ее на самомъ интересномъ мѣстѣ. Вотъ, напримѣръ, Гришка Челкашъ. Онъ вспоминаетъ свое прошлое. «Онъ успѣлъ посмотрѣть себя ребенкомъ, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину съ добрыми сѣрыми глазами, отца рыжебородаго гиганта съ суровымъ лицомъ; видѣлъ себя женихомъ и видѣлъ жену, черноглазую Анфису, съ длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцемъ гвардейскимъ солдатомъ; снова отца, уже сѣдого и согнутаго работой, и мать, морщинистую, осѣвшую къ землѣ; посмотрѣлъ и картину встрѣчи его деревней, когда онъ возвратился со службы; видѣлъ и то, какъ гордился передъ всей деревней отецъ своимъ

Григорьемъ, усатымъ, здоровымъ солдатомъ, ловкимъ красавцемъ...» (I, 33, 34). Все это только вступленіе къ жизни босяка, но г. Горькій ставитъ многоточіе и затѣмъ ограничивается темнымъ намекомъ на какія-то «ошибки». Въ чемъ состояли эти ошибки, такъ и остается неизвѣстнымъ, но достовѣрно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровыя. Изъ біографіи удалого золоторотца Сережки (въ «Мальвѣ») только и извѣстно, что онъ мѣщанинъ города Углича и «вездѣ бывалъ, скрозь прошелъ всю землю». А если г. Горькій кое-гдѣ и намѣчаетъ исходный моментъ босячества, то довольствуется общими выраженіями въ родѣ того, что «нужда загнала» или «запилъ», — просто запилъ, да и все тутъ. Это слишкомъ неопредѣленно. Нужда то медленно и постепенно захватываетъ людей своими цѣпкими когтями, то настигаетъ ихъ внезапно, безъ предостереженій, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ подбираясь съ очень разныхъ сторонъ; а «запиваютъ» люди, кромѣ нужды, еще и по многимъ другимъ, разнообразнымъ, при томъ часто случайнымъ, не поддающимся обобщенію причинамъ. Попробуемъ обратиться за разъясненіемъ не къ г. Горькому, а къ самимъ его героямъ.

Я уже замѣтилъ, что большинство этихъ героевъ поэты и философы, поэты, по крайней мѣрѣ, въ душѣ и философы, по крайней мѣрѣ, по склонности осмысливать и обобщать явленія жизни. Г. Горькій утверждаетъ даже, что «каждый человѣкъ, боровшійся съ жизнью, побѣжденный ею и страдающій въ безжалостномъ плѣну ея грязи, болѣе философъ, чѣмъ самъ Шопенгауеръ, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется въ такую точную и образную форму, въ какую выльется мысль, непосредственно выдавленная страданіемъ» (II, 29). Г. Горькій не даромъ говоритъ не только о точной, а и объ образной формѣ и, надо думать, не случайно выбралъ именно Шопенгауера, этого мыслителя-художника, для сравненія съ своими героями. Его излюбленные персонажи, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ не удается точно формулировать свои мысли, выражаютъ ихъ картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно беретъ сомнѣніе,— возможно ли, правдиво ли это? Въ знаніи той среды, которую онъ описываетъ, г. Горькому никоимъ образомъ отказать нельзя; подлинная правда чувствуется какъ въ общей концепціи его произведеній, такъ и во множествѣ житейскихъ подробностей, которыхъ нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая рѣчи и размышленія его босяковъ, поневолѣ вспоминаешь его собственную оцѣнку босяцкихъ словесныхъ автобіографій, «въ которыхъ ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась съ самою наивною ложью» (II, 29). Конечно, «ложь» въ данномъ случаѣ слиш-

комъ грубое слово по отношенію къ столь почтенному писателю, но рѣчь идетъ не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткій и ко всѣмъ, кромѣ себя, снисходительный Коноваловъ, на вопросъ одного изъ товарищей босяковъ—«не вѣришь?»—отвѣчаетъ: «Нѣтъ, вѣрю... Какъ можно не вѣрить человѣку? Даже если видишь—вретъ онъ, вѣрь ему. Т. е. слушай и старайся понять, почему онъ вретъ? Иной разъ вранье-то лучше правды объясняетъ человѣка.. Да и какую мы всѣ про себя правду можемъ сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Вѣрно?»—«Вѣрно», соглашается разсказчикъ» (II, 30). Г. Горькій разсказываетъ про своихъ героевъ ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной изъ чертъ ихъ многоразличной «порочности», но вышеприведенное убѣжденіе въ ихъ превосходствѣ надъ Шопенгауеромъ заставляетъ его влагать въ ихъ головы мало вѣроятныя мысли, а въ ихъ уста—мало вѣроятныя рѣчи. Языкъ его босяковъ до крайности не характеренъ, напоминая собою превосходный языкъ самого автора, только намѣренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мѣрѣ отчасти, объ ихъ философіи. Вы понимаете, что старуха Изергиль можетъ выражаться, напримѣръ, такъ: «Однажды гроза грянула надъ лѣсомъ и зашептали деревья глухо и грозно; и стало въ лѣсу такъ темно, точно въ немъ собрались сразу всѣ ночи, сколько ихъ было на свѣтѣ съ той поры, какъ онъ родился» (II, 318). Эта цвѣтистая рѣчь, эти оригинально красивые поэтическіе образы, можетъ быть, и умѣстны въ устахъ старухи Изергиль въ виду ея восточнаго происхожденія. Безрукій Михаилъ Антонычъ философствуетъ въ такомъ родѣ: «О чемъ разсуждать, когда существуютъ законы и силы? И какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Вы понимаете? Очень просто. Значитъ, живи и не кобенься, а то тебя сейчасъ же разрушитъ въ прахъ сила, состоящая изъ собственныхъ твоихъ свойствъ и намѣреній и изъ движеній жизни! Это называется философія дѣйствительной жизни... Понятно?» (I, 123). Прочитавъ эти и многія другія рѣчи безрукаго, вы чувствуете нѣкоторую неловкость за автора, однако успокаиваетесь, когда узнаете, что безрукій «съ умнѣйшими людьми велъ по этимъ дѣламъ бесѣды—со студентами и со многими священнослужителями церкви» (его собственное показаніе), и что эти «законы и силы» суть «слова, которыя онъ произносилъ съ какимъ-то особеннымъ подчеркиваніемъ и пониженіемъ голоса, но значеніе которыхъ врядъ ли было ему понятно» (показаніе автора). Но если въ этихъ случаяхъ вы находите объясненіе въ экзотическомъ происхожденіи Изергили и въ томъ, что безрукій нахватался у

«умнѣйшихъ людей» словъ, которыхъ хорошенько не понимаетъ, то въ другихъ—и, къ сожалѣнію, многихъ – случаяхъ босяки г. Горькаго безмѣрно щеголяютъ красотою рѣчи и философскимъ пареніемъ безъ всякихъ оправданій... Мѣстами ихъ размышленія и разговоры звучатъ такой фальшью, что просто больно и обидно читать. Таковы, напримѣръ, очень лестныя для нашего брата—писателя, но дѣланные, слащавые разговоры о «Подлиповцахъ» Рѣшетникова и о «психологіи сочинителей» въ разсказѣ «Коноваловъ», да и многое другое еще. Образчиковъ приводить не буду, тѣмъ болѣе, что ниже, по другимъ поводамъ, придется вѣроятно цитировать кое что изъ подобныхъ непріятныхъ страницъ.

Если отрѣшимся, по возможности, отъ разныхъ ненужныхъ и фальшивыхъ украшеній и не будемъ требовать отъ босяковъ, чтобы они превосходили Шопенгауера точностью и образностью выраженія своихъ мыслей, то увидимъ слѣдующее. Босяки несчастны и иногда съ грустью вспоминаютъ свое прошлое, когда они такъ или иначе стояли въ общемъ строѣ жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они у г. Максима Горькаго какъ будто не столько вышвырнуты изъ этого строя какими-нибудь внѣшними, объективными условіями, сколько сами ушли изъ него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для нихъ удовлетворяемою бродячей жизнью. «Въ босяки бы лучше уйти, —говоритъ сапожникъ Орловъ,—тамъ хоть голодно, да свободно, иди куда хочешь! Шагай по всей землѣ!» (I, 266). «Люблю я, другъ, эту бродяжную жизнь,—разсуждаетъ отставной солдатъ въ разсказѣ «Въ степи». — Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства. . самъ ты своей жизни хозяинъ. Хоть голову себѣ откуси; никто тебѣ слова не можетъ сказать... Хорошо... Наголодался я за эти дни, назлился, а вотъ теперь лежу, смотрю въ небо... Звѣзды мигаютъ мнѣ, ровно говорятъ: ничего, Лакутинъ, ходи знай по землѣ и никому не поддавайся» (II, 336, 337). «Родился я, слышь, подъ заборомъ и помру подъ нимъ,—говоритъ Кузька Косякъ въ «Тоскѣ.»—Судьба такая. По сѣдые волосы вдоль да поперекъ шляться буду... А на одномъ мѣстѣ скучно мнѣ» (I, 87). Старый цыганъ Макаръ Чудра учитъ автора или лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ: «Ходи и смотри, насмотрѣлся, лягъ и умирай, вотъ и все!» Всякій человѣкъ, ведущій иной образъ жизни, есть, по мнѣнію Макара, «рабъ, какъ только родился, и во всю жизнь рабъ». «Иди, иди. и все тутъ,—продолжаетъ поучать Макаръ.— Долго не стой на одномъ мѣстѣ. чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобы не разлюбить ее... Похаживай да посматривай кругомъ себя, вотъ и тоска не возьметъ никогда» (I, 234,

235). Удалецъ Сережка излагаетъ такую программу жизни: «Ничего не будемъ дѣлать... гулять будемъ по землѣ» (II, 101), и героиня разсказа, Мальва, ставитъ Сережкѣ въ большое достоинство, что онъ «вездѣ бывалъ, скрозь прошелъ всю землю». Коноваловъ отказывается жениться по слѣдующимъ основаніямъ: «Первое дѣло у меня запой, во-вторыхъ, нѣтъ у меня никакого дому, въ третьихъ, я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить» (II, 35). Сказочный Ларра (имя это, по объясненію старухи Изергиль, значитъ «отверженный, выкинутый вонъ») «ходитъ, ходитъ повсюду... все ищетъ, ходитъ, ходитъ» (II, 300).

Я не скуплюсь на выписки изъ разсказовъ г. Горькаго, не только не смотря на ихъ однообразіе, а даже именно въ виду этого однообразія. Авторъ имѣетъ право требовать особеннаго вниманія къ такимъ многократно повторяющимся мотивамъ, очевидно играющимъ значительную роль въ кругѣ его наблюденій. Да и читатель, можетъ быть не замѣтившій или пропустившій ихъ безъ вниманія въ отдѣльныхъ разсказахъ г. Горькаго, когда они печатались въ журналахъ, теперь естественно подчеркиваетъ и суммируетъ ихъ для себя.

Что же говорятъ намъ только-что сдѣланныя выписки? Что это за новѣйшіе Агасферы, которымъ какою-то неумолимою внѣшнею или внутреннею силою дано предписаніе: ходи! ходи! ходи!? Агасферы не Агасферы, но невольно приходитъ въ голову, что это если не оттолосокъ кочевого быта, то прямое наслѣдіе или продолженіе нашей старой «вольницы», тѣхъ «гулящихъ» удальцовъ, не менѣе героевъ г. Горькаго прикосновенныхъ къ тюрьмамъ и кабакамъ, которые еще въ прошломъ столѣтіи слагались временами въ яркое и громкое общественное явленіе и которые, однако, никогда не считались и не могли считаться «классомъ». А вѣдь г. Горькій полагаетъ, что его героевъ «пора считать за классъ». А Аристидъ Кувалда, главный философъ этого якобы класса, утверждаетъ, что онъ составляетъ «новость въ жизни». Въ чемъ же новость? Г. Горькій, къ сожалѣнію, даетъ своими разсказами не особенно много матеріаловъ для отвѣта на этотъ вопросъ.

Ядовитый скептикъ Объѣдокъ возражаетъ Аристиду Кувалдѣ, что совсѣмъ они не новость, потому что «гольтепа всегда была». Всегда не всегда, но «гольтепа», движимая непосѣдливостью и удальствомъ и склонная къ «нарушенію общественной тишины и спокойствія», дѣйствительно не новость. Припоминая, однако, фигуры старорусской «гольтепы», «голи кабацкой» и всякой «вольницы», мы припоминаемъ и указанія исторіи не только на внутренніе психологическіе, субъективные моменты удальства и непосѣдливости, но и на внѣшнія обстоятельства, вызывавшія или со-

провождавшія эти мотивы. Гнетъ только еще слагавшагося государства, требовавшаго часто непосильныхъ жертвъ, всеобщая неурядица и безправіе, сосѣдство полудикихъ кочевниковъ, внезапнымъ налетомъ сметавшихъ цѣлыя населенія,—вотъ нѣкоторыя изъ условій, способствовавшихъ образованію общей «движущейся почвы», по выраженію историка, на которой выростала и вольница. А затѣмъ, когда государство, наконецъ, «прикрѣпило» населеніе, гнетъ крѣпостного права явился въ свою очередь стимуломъ для бѣгства съ насиженнаго мѣста и сопряженныхъ съ этимъ бѣгствомъ приключеній. Все это давно миновалось, и нынѣ должны быть на лицо совершенно иныя, дѣйствительно новыя внѣшнія условія, способствующія выработкѣ «гольтепы». Но г. Горькій намъ ихъ не показалъ, быть можетъ, «позабылъ объ нихъ разсказать». Относительно безъимянной голытьбы или «рядовыхъ босяковъ», какъ въ одномъ мѣстѣ выражается г. Горькій, еще можно найти нѣкоторыя, слишкомъ общія и неопредѣленныя указанія въ родѣ того, что «нужда загнала»; но, не говоря уже о томъ, что этого слишкомъ мало, мы и такихъ указаній не получаемъ относительно, такъ сказать, именованныхъ чиселъ его разсказовъ, относительно его главныхъ героевъ. Всѣ они какъ будто не отъ нужды бѣгутъ изъ разныхъ «ямъ», а, напротивъ, сами лѣзутъ на рожонъ нужды, хотя ищутъ, конечно, не ея, а воли,—«свободно ужъ очень». Они даже не столько отверженные, сколько отвергшіе. Къ нѣкоторымъ изъ нихъ можно бы было даже примѣнить лермонтовское обращеніе къ «тучкамъ»:

— ...вамъ наскучили нивы безплодныя...
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

Согласитесь, что это немножко слишкомъ красиво и поэтично для циниковъ, воровъ и пьяницъ. Но если въ самой глубинѣ явленія, занимающаго г. Горькаго, подъ толстымъ слоемъ грязи, и заключается нѣчто подобное, то не исключительно же только скуку наводили «нивы безплодныя», по крайней мѣрѣ, на тѣхъ, которые нѣкогда орошали эти нивы своимъ потомъ. А г. Горькій до такой степени скупъ насчетъ указаній этого рода, что даже «голодающіе» вслѣдствіе неурожаевъ мелькаютъ у него всего раза два на протяженіи всѣхъ разсказовъ, да и то гдѣ-то совсѣмъ вдали, не въ дѣйствіи, а въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ. Положимъ, что голодовки отъ неурожаевъ, какъ и другія стихійныя бѣдствія, не «новость» на Руси и, можетъ быть, поэтому, не удостоились вниманія нашего автора. Но вотъ грандіозно мрачная картина подавле-

нія человѣка его собственнымъ созданіемъ, которою начинается разсказъ «Челкашъ». Какъ бы ни увѣряли насъ нѣкоторые неосновательные люди, что мы чуть не сравнялись съ Англіей въ дѣлѣ промышленнаго прогресса, но вѣдь это они разсказываютъ «обманъ своего сердца», по выраженію пророка Іереміи. Означенная картина есть у насъ новость, не сегодняшняго или вчерашняго дня, конечно, но настолько новость, что связанныя съ нею явленія жизни мы вправѣ считать исторически новыми. И естественно было бы ожидать, чтобы г. Горькій, нарисовавъ свою грандіозную картину, связалъ съ нею судьбу своихъ героевъ. Ничего такого мы, однако, не получаемъ. А между тѣмъ пути воздѣйствія промышленнаго прогресса въ его современныхъ формахъ на образованіе Lumpenproletariat'а хорошо извѣстны. Прогрессъ этотъ «освобождаетъ» разныхъ Челкашей, Тяпъ и проч. отъ земли и отъ другихъ «путъ и узъ», сгоняетъ ихъ къ нѣсколькимъ центрамъ, изъ которыхъ, однако, періодически выталкиваетъ часть ихъ, иногда цѣлыми массами, на улицу въ качествѣ безработныхъ; а изъ послѣднихъ, подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ условій, главнымъ образомъ условій городской жизни, съ царящею въ ней сутолокой и необузданной конкурренціей, съ ея соблазнами, возбуждающими аппетитъ безъ возможности его удовлетворенія,—осѣдаютъ босяки. Со стороны этого-то процесса, оставленнаго, однако, г. Горькимъ безъ малѣйшей иллюстраціи, его персонажи представляютъ собою, дѣйствительно, новое явленіе. Къ нимъ примыкаютъ, съ одной стороны, деревенскіе люди, сорванные съ корня стихійными бѣдствіями, а съ другой—разные неудачники изъ болѣе высокихъ слоевъ общества, не приспособившіеся по какимъ бы то ни было причинамъ къ условіямъ жизни, въ которой родились или для которой готовились.

Но новъ не только, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ источниковъ происхожденія героевъ г. Горькаго. Нова въ значительной степени и ихъ психологія, что уже гораздо лучше раскрывается въ произведеніяхъ нашеге автора. Какъ ни неистово и буйно прожигала жизнь старая русская вольница и голь кабацкая, но уже одно то, что она слагалась временами въ цѣлыя шайки, даже въ огромныя полчища, то осѣдавшія гдѣ-нибудь на привольи въ далекихъ краяхъ и «кланявшіяся» московскому государю цѣлыми областями, то входившія въ составъ своеобразныхъ постоянныхъ обществъ, какова была Запорожская Сѣчь, то нарушавшія покой всего государства,—одно это свидѣтельствуетъ о ея способности къ организаціи и дисциплинѣ. Совсѣмъ иное представляютъ герои г. Горькаго.

Герои г. Горькаго крайніе индивидуалисты. Любопытно слѣдую-

щее замѣчаніе автора. Описывая постройку мола въ Ѳеодосіи, онъ разсказываетъ: «Въ Россіи голодали, и голодъ согналъ сюда представителей чуть не всѣхъ охваченныхъ несчастіемъ губерній. Они дѣлились на маленькія группы, стараясь держаться землякъ къ земляку, и только космополиты-босяки сразу выдѣлялись и своимъ независимымъ видомъ, и костюмами, и особымъ складомъ рѣчи изъ людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавщихъ съ нею связь, оторванныхъ отъ нея голодомъ и не забывшихъ о ней. Они были во всѣхъ группахъ: и среди вятичей, и среди хохловъ, всюду чувствуя себя на своемъ мѣстѣ» (II, 54). Это «всюду на своемъ мѣстѣ», надо, однако, понимать только въ отрицательномъ смыслѣ, въ томъ смыслѣ, что «нѣтъ у нихъ родины, нѣтъ имъ изгнанія». Пожалуй, и Сережка въ разсказѣ «Мальва», когда ему предсказали Сибирь, отвѣтилъ: «ухъ, страшно!» и «искренно расхохотался». Герои г. Горькаго вездѣ на своемъ мѣстѣ только потому, что нигдѣ у нихъ своего мѣста нѣтъ. «Нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго! Не нашелъ я себѣ мѣста!»—говоритъ Коноваловъ (II, 63). Люди эти порвали всѣ старыя общественныя связи и не нажили никакихъ новыхъ. Самыя пылкія ихъ мечты лишены какого бы то ни было общественнаго характера и пропитаны индивидуализмомъ. Тотъ же Коноваловъ такъ разсказываетъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него чтеніемъ «Робинзона»: «Интересно страхъ какъ! Очень мнѣ понравилась книга; такъ бы туда къ нему и поѣхалъ. Понимаешь, какая жизнь? Островъ, море, небо—ты одинъ себѣ живешь, и все у тебя есть и совершенно ты свободенъ! Тамъ еще дикій былъ. Ну, я бы дикаго утопилъ,—на кой чортъ онъ мнѣ нуженъ, а? Мнѣ и одному не скучно» (II, 58). Мальва мечтаетъ: «Иной разъ сѣла бы въ лодку и въ море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать (II, 116). Челкашъ, въ минуту душевнаго размягченія нахлынувшими на него деревенскими воспоминаніями, рисуетъ себѣ мужика какимъ-то своего рода тоже Робинзономъ, «королемъ на своей землѣ», «хозяиномъ самому себѣ», у котораго все свое—домъ, курица, яблоко. «Король вѣдь? такъ ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запамятовалъ объ обязанностяхъ» (I, 32). Челкашъ запамятовалъ не только объ обязанностяхъ, но и о людяхъ, при томъ не только о начальствѣ въ его административныхъ, военныхъ, финансовыхъ функціяхъ, но и о родственникахъ, сосѣдяхъ, товарищахъ; его мужикъ-«король» одинокъ какъ перстъ. «Я отверженъ,—говоритъ Аристидъ Кувалда,—значитъ, я свободенъ отъ всякихъ путъ и узъ. Значитъ, я могу наплевать на все!» (II, 234).

Всѣ общественныя отношенія, въ которыя вступаютъ герои

г. Горькаго, случайны и кратковременны. Работники они плохіе, не потому, чтобы были неспособны къ труду, а потому, что не считаютъ для себя обязательными какіе бы то ни было договоры (см. напр. «Дѣло съ застежками»), да и бродяжническій инстинктъ не даетъ засиживаться на одномъ мѣстѣ. Но не только съ «работодателями», а и съ своимъ братомъ они чрезвычайно легко порываютъ свои связи. Челкашъ, какъ мы видѣли, прихватываетъ себѣ въ товарищи перваго встрѣчнаго Гаврилу и тотчасъ по окончаніи операціи они расходятся въ разныя стороны, чтобы уже никогда въ жизни болѣе не встрѣчаться. Въ разсказѣ «Въ степи» «студентъ» тайно отъ двухъ своихъ товарищей грабитъ и убиваетъ встрѣчнаго путника и затѣмъ безслѣдно исчезаетъ. И если одинъ изъ покинутыхъ товарищей, «солдатъ», очень строго осуждаетъ этотъ поступокъ «студента», то не по существу.

Въ высшей степени характерны отношенія героевъ г. Горькаго къ женщинамъ. Но прежде, чѣмъ перейти къ нимъ, остановимся на мрачной, истинно страшной картинѣ времяпровожденія золоторотцевъ въ разсказѣ «Бывшіе люди». Тутъ изображено нѣкоторое, болѣе или менѣе постоянное гнѣздо босяцкое,—«ночлежка», въ которой изо дня въ день встрѣчаются другъ съ другомъ одни и тѣ же люди, связанные долгой привычкой, одинаковостію положенія и взаимнымъ пониманіемъ.

И вдругъ среди нихъ вспыхнула звѣрская злоба, пробуждалось ожесточеніе людей загнанныхъ, измученныхъ своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимаго врага, который всю жизнь ихъ превратилъ въ одну жестокую нелѣпость. Но этотъ врагъ былъ неуловимъ, ибо невидимъ. И тогда они били другъ друга, били жестоко, звѣрски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что могъ принять въ закладъ нетребовательный Вавиловъ. Такъ въ тупой злобѣ, въ тоскѣ, сжимавшей ихъ сердца, въ невѣдѣніи исхода изъ этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще болѣе суровыхъ дней зимы... Иногда... вдругъ отчаянное, удалое веселье вскипало въ трактирѣ: пѣли, плясали, хохотали и на нѣсколько часовъ становились похожими на безумныхъ... И потомъ опять входили въ тупое, равнодушное отчаяніе и сидѣли за столами трактира въ копоти лампъ, въ табачномъ дыму, угрюмые, оборванные, лѣниво переговариваясь другъ съ другомъ, слушая торжествующій вой вѣтра и думая о томъ, какъ бы напиться водки, напиться до безчувствія. И всѣ были глубоко противны каждому, и каждый таилъ въ себѣ безсмысленную злобу противъ всѣхъ» (II, 221—222).

Вотъ что таится въ центрахъ современной цивилизаціи, вотъ какъ живетъ нашъ Lumpenproletariat, тѣ современные европейскіе чандалы, которые откалываются отъ всѣхъ слоевъ общества вездѣ, гдѣ «гранитъ, желѣзо, мостовая, люди, — все дышетъ мощными звуками бѣшено страстнаго гимна Меркурію». Было время,— еще недавно, — что разные проницательные люди предсказывали

разгромъ европейской цивилизаціи ордами новыхъ, внутреннихъ варваровъ—рабочаго пролетаріата, которому, дескать, чужды всѣ высшія блага, достигнутыя вѣками прогресса. Можно съ увѣренностью сказать, что это пророчество, имѣвшее за себя нѣкоторую вѣроятность десятки лѣтъ тому назадъ, не сбудется. Европейскіе рабочіе, составляя общепризнанный классъ и правомѣрно участвуя въ общей жизни своихъ странъ, имѣютъ свою положительную задачу и примыкаютъ къ преемственной культурной работѣ, какъ бы ни отличался ихъ общественный идеалъ отъ идеаловъ другихъ классовъ. Но процессъ общественнаго дифференцированія не останавливается на выдѣленіи рабочаго пролетаріата и, не говоря о другихъ осложненіяхъ, въ центрахъ цивилизаціи копится Lumpenproletariat. Здѣсь уже мы не видимъ никакого общественнаго идеала, никакой сколько-нибудь прочной солидарности, все разсыпается на самодовлѣющіе, ничѣмъ не спаянные атомы, передъ которыми нѣтъ положительной, творческой задачи и которые, какъ говоритъ Объѣдокъ, могутъ «создать» только нарушеніе общественной тишины и спокойствія. «Особливые мы будемъ люди и ни въ какой порядокъ не включаемся», — философствуетъ Коноваловъ. Этимъ чандаламъ, конечно ничто изъ благъ цивилизаціи не можетъ быть дорого, и рѣшеніе Пушкинскаго Фауста — «все утопить» — было бы имъ вполнѣ понятно. Ихъ и посѣщаютъ подобныя мечты. Такъ Мальва, выразивъ желаніе убѣжать далеко въ море и никогда больше людей не видѣть, прибавляетъ: «А иной разъ такъ бы каждаго человѣка завертѣла, да и пустила волчкомъ вокругъ себя... Избила бы весь народъ. И потомъ бы себя страшною смертью». Такъ бывшій сапожникъ Орловъ скорбитъ, что онъ «никакого геройства не совершилъ». «А и по сю пору, — продолжаетъ онъ, — хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить... всѣхъ до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... и въ дребезги!» (I, 332). «Зло въ глазахъ этихъ людей имѣло много привлекательнаго», — замѣчаетъ г. Горькій отъ себя (II, 230). Это не значитъ, что то были все злые люди. Напротивъ, прямо злыхъ, кажется, и совсѣмъ нѣтъ въ коллекціи г. Горькаго, а многимъ изъ его персонажей свойственны черты добродушія и великодушія, и на добрыя дѣла они способны. Емельянъ Пиляй идетъ на убійство и грабежъ, а кончаетъ спасеніемъ дѣвушки (вслѣдъ за чѣмъ, впрочемъ, совершаетъ безсмысленнѣйшій уличный скандалъ). Коноваловъ, единственно ради добраго дѣла, извлекаетъ изъ дома терпимости проститутку (изъ чего, впрочемъ, въ концѣ концовъ ничего путнаго не выходитъ). Да и Мальва

вовсе не злая женщина. Но въ ожиданіи случая «избить весь народъ», она хотѣла бы хоть домъ поджечь, — «вотъ суматоха была бы!» (II, 117), а затѣмъ, сообща съ удалымъ Сережкой придумываетъ планъ (и приводитъ его въ исполненіе) стравить отца съ сыномъ, собственно потому, что «потѣшно будетъ». На лицѣ Сережки «не было замѣтно ни злобы, ничего, кромѣ добродушной и немножко озорной улыбки», когда онъ убѣждалъ Мальву: «Ты подумай... развѣ не пріятно смотрѣть, какъ изъ-за тебя люди ребра другъ другу ломаютъ? Изъ-за однихъ только твоихъ словъ?.. двинула ты языкомъ разъ, два и готово!.. Эхъ, ежели бы я красивой женщиной былъ! Такую бы я на семъ свѣтѣ заваруху завелъ!» (118). Словомъ, они готовы сдѣлать всякую пакость ближнему, и не со зла, а такъ, для утѣшенія своего *я*, надъ всѣмъ и всѣми возвышающимся. Это даже не индивидуалисты, а, выражаясь моднымъ, но по нынѣшнему времени, очевидно, нужнымъ терминомъ.— «эготисты». Орловъ заявляетъ своей женѣ Матренѣ, что ему жениться не слѣдовало бы, а лучше бы идти въ босяки. «Такъ иди,— говоритъ Матрена,—а меня отпусти на волю». Но Орловъ ее за эти слова прибилъ «безпощадно»... Одно дѣло самъ онъ и другое дѣло—его жена...

Но этотъ эпизодъ уже вводитъ насъ въ область отношеній героевъ г. Горькаго къ женщинамъ.

XVI *).

Еще о г. Максимѣ Горькомъ и его герояхъ.

Разсказы г. Максима Горькаго обратили на себя общее вниманіе. Объ нихъ говорятъ, пишутъ и, кажется, всѣ болѣе или менѣе признаютъ за авторомъ и дарованіе, и оригинальность темъ. Однако, «болѣе или менѣе», и если одни, напримѣръ, восторгаясь писаніями г. Горькаго вообще, подчеркиваютъ господствующій будто бы въ нихъ художественный тактъ, то другіе—и, надо признаться, съ гораздо большимъ правомъ— утверждаютъ, что именно художественнаго такта ему и не хватаетъ.

Интересенъ отзывъ литературнаго обозрѣвателя «Русскихъ Вѣдомостей», г. И—т. Отъ почтеннаго критика не укрылась часто впадающая въ фальшь идеализація г. Горькимъ его излюбленныхъ персонажей. Но мнѣ, кажется, что представленная критикомъ общая схема этой идеализаціи не совсѣмъ вѣрна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ,—коварна и зла». Такой же контрастъ между внѣшностью и внутреннимъ содержаніемъ представляютъ собою, по мнѣнію критика, и персонажи г. Горькаго, «только съ обратнымъ математическимъ знакомъ». Тамъ, гдѣ у Тамары стоитъ плюсъ, у босяковъ г. Горькаго—минусъ, и обратно. Внѣшній обликъ и, такъ сказать, внѣшняя сторона поведенія босяковъ — безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но за то коварство и злоба Тамары замѣнены у чандаловъ г. Горькаго «стремленіемъ къ добру, къ истинной нравственности, къ большей справедливости, къ заботѣ объ уничтоженіи зла». Въ этомъ-то контрастѣ à la Тамара на выворотъ и заключается главный интересъ дѣйствующихъ лицъ разсказовъ г. Горькаго. Чтобы вполнѣ понять мысль критика, надо обратить вниманіе на его сопоставленіе босяковъ г. Горькаго съ

---

*) Октьбря 1898 г.

героемъ драмы Жана Ришпена «Le chemineau». Герой этотъ есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, какихъ бы то ни было привязанностей къ мѣсту, домашнему очагу, однимъ и тѣмъ же впечатлѣніямъ. одной и той же страсти — ненавистны ему. Изъ всѣхъ сильныхъ чувствъ у него постоянно живетъ только одно — любовь къ передвиженіямъ, къ волѣ, «къ простору полей, большихъ дорогъ, безпредѣльныхъ пространствъ и постоянныхъ измѣненій». Не сила обстоятельствъ создала изъ него блуждающаго оборванца, сегодня отдающагося одному занятію, завтра остающагося безъ дѣла, полуголоднаго и безпріютнаго; но собственной волей онъ «взялъ свою судьбу» и сдѣлалъ изъ себя бродягу по принципу («Русскія Вѣдомости» № 170). Эту черту мы знаемъ и въ чандалахъ г. Горькаго; и имъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, не «силою обстоятельствъ», по крайней мѣрѣ, эти обстоятельства остаются въ туманѣ, — а какимъ-то внутреннимъ голосомъ предписано, какъ Агасферу: ходи, ходи, ходи! Но, судя по изложенію г. И—т. герой драмы Ришпена (мнѣ она, къ сожалѣнію, неизвѣстна) совершенно чуждъ другой сторонѣ ихъ быта и психологіи, — той сторонѣ, которая ставитъ ихъ въ тѣсное соприкосновеніе съ «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словамъ критика, «le chemineau—не загнанный бродяга, къ которому подозрительно относятся лица, вступающія съ нимъ въ сношеніе, не ницій, получающій подаяніе и злобою отвѣчающій на презрѣніе другихъ. Какъ истинный рыцарь, онъ благороденъ, смѣлъ и откровененъ; двери каждаго дома открыты для него, потому что его умъ, таланты, выдающіяся достоинства дѣлаютъ изъ него превосходнаго работника, общаго благодѣтеля, устранителя золъ и надежнаго покровителя слабыхъ». Не таковы, какъ мы видѣли, пьяные, циничные, всѣми презираемые герои г. Горькаго. Въ связи съ этимъ находится и другое различіе: le chemineau гуляетъ по бѣлому свѣту бодрый и жизнерадостный, а въ босякахъ г. Горькаго это настроеніе «замѣняется постояннымъ безпокойствомъ, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исходъ въ пьянствѣ». Въ концѣ концовъ, г. И—т., возвращаясь къ контрасту между безобразной внѣшностью и красивымъ внутреннимъ міромъ, говоритъ, что въ отношеніи этого внутренняго міра герои г. Горькаго распадаются на три разновидности: въ однихъ преобладаетъ исканіе истины и невозможность найти ее, въ другихъ — дѣятельное стремленіе къ водворенію справедливости на землѣ, въ третьихъ — разъѣдающій скептицизмъ. Все это вмѣстѣ взятое лишаетъ ихъ жизненности и правдивости, хотя и не въ такой мѣрѣ, въ какой лишенъ этихъ качествъ chemineau Ришпена. Таковъ окончательный выводъ г. И—т.

При всемъ остроуміи и соблазнительной законченности этой критики, я не могу съ нею вполнѣ согласиться. Герои г. Горькаго много философствуютъ, слишкомъ много, и въ этихъ ихъ философствованіяхъ, часто превращающихъ ихъ изъ живыхъ, отъ себя говорящихъ людей въ какіе-то фонографы, механически воспроизводящіе то, что въ нихъ вложено, — въ этихъ философствованіяхъ можно дѣйствительно иногда усмотрѣть намеки на указанныя три категоріи. Но большинство ихъ, да и общій ихъ характеръ никакъ въ эти категоріи не затиснешь. Да и самая противоположность между внѣшностью и внутреннимъ міромъ едва ли можетъ быть въ данномъ случаѣ установлена съ такою ясностью и опредѣленностью, какъ въ Лермонтовской Тамарѣ. Тамъ дѣло дѣйствительно ясно и просто: прекрасна тѣломъ, коварна и зла душой, и отсюда вытекаетъ все остальное, со включеніемъ эстетическаго эффекта. Въ данномъ случаѣ свѣтъ и тѣни, располагающіеся, по мнѣнію критика, просто въ обратномъ порядкѣ, на самомъ дѣлѣ гораздо сложнѣе. Прежде всего рѣчь здѣсь не о тѣлѣ идетъ и вообще не о наружности въ буквальномъ смыслѣ слова. Герои г. Горькаго не Квазимодо какіе-нибудь. Если, напримѣръ, Сережка довольно таки безобразенъ, то Коноваловъ чуть не красавецъ, и, читая описаніе его наружности, я невольно вспомнилъ фразу изъ какого-то французскаго романа: «онъ обнажилъ свою руку, мускулистую, какъ рука кузнеца, и бѣлую, какъ рука герцогини». Или Кузька Косякъ: «онъ стоялъ въ свободно сильной позѣ; изъ-подъ разстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжіе усы насмѣшливо пошевеливались, бѣлые частые зубы сверкали изъ-подъ усовъ, синіе, большіе глаза хитро прищурились» (I, 90). Это, конечно, не пара Тамарѣ, не «ангелъ небесный», но въ своемъ родѣ очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень цѣнитъ красоту. Она увѣрена даже, что «только красавцы могутъ хорошо пѣть» (II, 306) и что «красивые всегда смѣлы» (317). Безобразна внѣшняя обстановка босяковъ, но и то не совсѣмъ вѣрно, потому что г. Горькій часто помѣщаетъ ихъ на морѣ и въ степи и вмѣстѣ съ ними восторгается красотою открывающихся при этомъ горизонтовъ. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно какъ и лохмотья, въ которые облечены босяки вмѣсто «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но вѣдь иначе они и не были бы босяками. А во всемъ остальномъ слишкомъ трудно провести пограничную линію между внѣшностью и внутреннимъ міромъ. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости—безспорно внѣшность, но почему внѣшность то, что къ нимъ приводитъ и въ нихъ совершается? почему внѣшность—пьянство, цинизмъ, злоба, драки? Правда, изъ-за всего

этого у г. Горькаго часто выглядываетъ нѣчто иное, что приподнимаетъ босяковъ; но съ какой точки зрѣнія можно отнести ну хоть, напримѣръ, ограбленіе и убійство «студентомъ» прохожаго столяра («Въ степи»),—къ «исканію истины» или къ «стремленію водворить справедливость на землѣ» или къ «разъѣдающему скептицизму»? Дѣло въ томъ, что взгляды босяковъ г Горькаго на нравственность и справедливость не имѣютъ ничего общаго со взглядами, исповѣдуемыми огромнымъ большинствомъ современниковъ. Недаромъ Аристидъ Кувалда говоритъ, что онъ долженъ «смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли», воспитанныя прежнею жизнью, и что «намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоятъ на точкѣ «переоцѣнки всѣхъ цѣнностей» и jenseits von gut und böse, какъ сказалъ бы Ничше.

Столь обаятельная личность, какою Ришпенъ изобразилъ своего Chemineau, естественно притягиваетъ къ себѣ женскія сердца, и онъ не отказывается отъ радостей любви. Но, повинуясь инстинкту бродяги, онъ оставляетъ одну за другою осчастливленныхъ имъ женщинъ, хотя и «съ болью въ сердцѣ». Подъ старость, утомленный терніями жизни, онъ попадаетъ въ то мѣсто, гдѣ двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ онъ любилъ одну дѣвушку и былъ любимъ. Плодъ этой любви, до сихъ поръ не изжитой, сталъ уже взрослымъ парнемъ, и бродягу манитъ перспектива отдыха въ кругу семьи, у постояннаго очага. Но, послѣ нѣкотораго колебанія, онъ «съ рыданіями» уходитъ куда глаза глядятъ, и драма оканчивается словами: va, chemineau, chemine! Этимъ мелодраматическимъ концомъ, въ сущности просто комическимъ, подчеркивается присутствіе въ бродягѣ того внутренняго, почти мистически властнаго голоса, который обрекаетъ его на существованіе Агасфера.

Босяки г. Горькаго, хотя и не обладаютъ достоинствами Chemineau, но тоже очень счастливы въ любви. Правда, по показанію автора, они на эту тему много врутъ, хвастаютъ, и скверно хвастаютъ, но, напримѣръ, Коновалову онъ безусловно вѣритъ. А у того «ихъ», то есть женщинъ, «много было разныхъ». И оставлялъ онъ ихъ не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались съ той или другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а въ силу того же мистическаго внутренняго приказа, какой и Chemineau не давалъ усѣсться. Разница однако въ томъ, что герои г. Горькаго порываютъ узы любви безъ колебаній и безъ «sanglots». Самый чувствительный изъ нихъ, Коноваловъ, только впадаетъ при разставаніи въ нѣкоторую грусть и меланхолію, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко *ея* горя и слезъ, а самъ онъ ни мало не колеблется въ выборѣ между

домашнимъ очагомъ и бродяжничествомъ. Былъ у Коновалова романъ съ богатой купчихой Вѣрой Михайловной, прекраснѣйшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше такъ же хорошо, «кабы не планета моя»,—говоритъ Коноваловъ:—«все-таки ушелъ отъ нея — потому тоска! тянетъ меня куда-то». Въ другой разъ Коноваловъ, по той же чувствительности своего сердца, помогъ одной проституткѣ выбраться изъ публичнаго дома. Но когда дѣвушка поняла это въ такомъ смыслѣ, что онъ возьметъ ее жить съ нимъ «въ родѣ жены», то, при всемъ своемъ къ ней расположеніи, Коноваловъ даже испугался: «я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить». Но Коноваловъ все-таки хоть груститъ при разставаньи. А вотъ какъ утѣшаетъ свою возлюбленную Кузька-Косякъ, уходя—безъ какой-нибудь особенной надобности—на Кубань: «Э, Мотря! Многія меня ужъ любили, со всѣми я распрощался, и ничего себѣ—повыходили замужъ да позакисли въ работѣ! Встрѣтишь иной разъ, посмотришь—своимъ глазамъ вѣры нѣтъ! Да развѣ это онѣ—тѣ самыя, которыхъ я цѣловалъ да миловалъ? Ну-ну! Одна другой вѣдьмистѣй. Нѣтъ ужъ, Мотря, не мнѣ на роду писано жениться, да, дурашка, не мнѣ. Волю мою ни на какую жену, ни на какія хаты не смѣняю... На одномъ мѣстѣ скучно мнѣ». Случайно подслушавшій этотъ разговоръ хозяинъ Кузьмы, мельникъ Тихонъ Павловичъ,—объ которомъ у насъ еще будетъ рѣчь,—говоритъ ему, что нехорошо онъ съ дѣвками поступаетъ: «ежели, къ примѣру, ребенокъ? бывало вѣдь, а?»—«Чай, бывало; кто ихъ знаетъ»,—отвѣчаетъ Кузьма и на дальнѣйшія замѣчанія мельника о «грѣхѣ» возражаетъ: «Да вѣдь ребята-то, поди-ка, однимъ порядкомъ родятся, что отъ мужа, что отъ прохожаго». Мельникъ напоминаетъ о разницѣ въ данномъ случаѣ между положеніемъ мужчины и положеніемъ женщины, и Кузьма на это уже не даетъ прямого отвѣта, а «серьезно и сухо» говоритъ: «Коли покрѣпче подумать, такъ выходитъ, что какъ ни живи, все грѣшно! И такъ грѣшно, и вотъ этакъ грѣшно. Сказалъ — грѣшно, промолчалъ — грѣшно, сдѣлалъ грѣшно и не сдѣлалъ — грѣшно. Рази тутъ разберешь? Въ монастырь, что ли, идти? Чай, неохота».—Легкая, веселая твоя жизнь,—замѣчаетъ съ нѣкоторою смѣсью зависти и уваженія мельникъ...

Такую же легкую и веселую жизнь ведутъ и нѣкоторыя героини г. Горькаго. Старуха Изергиль разсказываетъ, «какъ она любила». Ей было пятнадцать лѣтъ, когда она сошлась съ какимъ-то черноусымъ «рыбакомъ съ Прута», но онъ ей скоро надоѣлъ и она ушла съ рыжимъ бродягой гуцуломъ; гуцула повѣсили (за что Изергиль сожгла хуторъ доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него въ гаремѣ, изъ котораго убѣжала съ сыномъ турка; затѣмъ слѣдовали полякъ, венгерецъ, опять полякъ, еще полякъ,

молдаванинъ... Мальва, героиня разсказа, озаглавленнаго ея именемъ, живетъ съ рыбакомъ Василіемъ, заигрываетъ и кокетничаетъ съ его сыномъ Яковомъ и, наконецъ, пересоривъ отца съ сыномъ, сходится съ удалымъ забулдыгой Сережкой, съ которымъ, судя по нѣкоторымъ признакамъ, и раньше была одно время близка...

Мальва—фигура чрезвычайно любопытная, и намъ тѣмъ болѣе надо на ней остановиться, что едва ли не во всѣхъ женщинахъ г. Горькаго есть, такъ или иначе, немножко Мальвы. Это тотъ самый женскій типъ, который мелькалъ передъ Достоевскимъ въ теченіе чуть не всей его жизни: сложный типъ, тоже находящійся jenseits von gut und böse, такъ какъ къ нему рѣшительно непримѣнимы обычныя понятія о добромъ и зломъ—одна изъ варьяцій на сочетаніе двухъ знаменитыхъ тезисовъ Достоевскаго: «человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ», «человѣкъ до страсти любитъ страданіе». Мужскія варьяціи на эту тему, какъ бы ни были онѣ исключительны и болѣзненны, часто поражаютъ у Достоевскаго своею яркостью и силой, но женскія—въ «Игрокѣ», въ «Идіотѣ», въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»—рѣшительно ему не удавались. Всѣ эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляютъ васъ въ какомъ-то недоумѣніи, хотя Достоевскій сводитъ иногда даже по двѣ представительницы этого загадочнаго типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая въ «Идіотѣ», Грушенька и Катерина Ивановна въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Вы только чувствуете, что у автора былъ какой-то сложный замыселъ, съ которымъ, однако, не справился его жестокій талантъ. И не даромъ наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островскаго, обходила молчаніемъ женщинъ Достоевскаго: это въ художественномъ смыслѣ наименѣе интересный пунктъ его мрачнаго творчества. Мальва г. Горькаго принадлежитъ къ этому же типу, но она яснѣе, понятнѣе загадочныхъ женщинъ Достоевскаго. Я, конечно, далекъ отъ мысли сравнивать изобразительную силу г. Горькаго съ мощью одного изъ истинно великихъ художниковъ, и дѣло здѣсь не въ силѣ г. Горькаго, а въ той грубой и сравнительно простой средѣ, въ которой выросла и живетъ его Мальва и благодаря которой ея психологія элементарнѣе, яснѣе, сохраняя, однако, тѣ же типическія черты, которыя тщетно старался уловить Достоевскій.

Одинъ русскій философъ раздѣлялъ женщинъ на «змѣистыхъ» и «коровистыхъ». Въ этой не лишенной остроумія юмористической классификаціи Мальвѣ нѣтъ мѣста (какъ, впрочемъ, и многимъ другимъ женскимъ типамъ). О сходствѣ съ коровой не можетъ быть и рѣчи: для этого Мальва слишкомъ жива, гибка и изворотлива, да и нѣтъ на ней той всегдашней печати материнства, которая

лежитъ на коровѣ. Со змѣей же мы привыкли соединять представленіе о чемъ-то красивомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣнно злобномъ. А Мальва вовсе не неизмѣнно злобная женщина, да и вообще въ ней нѣтъ ничего неизмѣннаго. Вся она состоитъ изъ переливовъ одного настроенія или чувства въ другое, часто противоположное, но быстро переходящее, при чемъ сама она не могла бы не только опредѣлить причины этихъ переливовъ, но даже указать ихъ границы, моменты перехода одного настроенія или чувства въ другое. И если нужно искать для нея зоологической параллели, которая бы выпуклѣе представила ея основныя черты, я сказалъ бы. что она, какъ и загадочныя героини Достоевскаго, напоминаетъ собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетаніемъ силы и мягкости (собственно Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героевъ г. Горькаго и въ людяхъ съ болѣе тонкими требованіями вызвала бы, конечно, совсѣмъ иныя чувства; но я говорю о типѣ, оставляя пока въ сторонѣ спеціально босяцкія черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность къ самозащитѣ иногда бѣгствомъ, но иногда открытымъ и упорнымъ сопротивленіемъ, переходящимъ и въ наступленіе; та же игривая ласковость и нѣжность, незамѣтно переливающаяся въ озлобленіе, съ которымъ кошка, играючи, придерживаетъ ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапаетъ и зубами грызетъ; ради этой смѣси ощущеній, она, какъ и кошка, сама вызываетъ извѣстную примѣсь жестокости, и даже до боли, къ ласкѣ...

Я вспоминаю, что Гейне поставилъ въ преддверіи своей «Книги пѣсенъ» женскаго сфинкса,—существо съ женской головой и грудью и съ львинымъ туловищемъ и львиными, то есть преувеличенными кошачьими когтями. И этотъ сфинксъ въ одно и то же время счастливитъ и мучитъ поэта, ласкаетъ и терзаетъ когтями:

Umschlang sie mich, meinen armen Leib
Mit den Löwentatzen zerfleischend.
Entzückende Marter und wonniges Weh,
Der Schmerz wie die Lust unermesslich!
Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,
Verwunden die Tatzen mich grässlich... *)

---

*) Въ переводѣ М. Л. Михайлова:

Вотъ замерла—и меня обняла,
Когти мнѣ въ тѣло вонзая.
Сладкая мука! блаженная боль!
Нѣга и скорбь безъ предѣла!
Райскимъ блаженствомъ поитъ поцѣлуй,
Когти терзаютъ мнѣ тѣло.

Читатель, который можетъ быть только что возмутился не только вышеприведеннымъ юмористическимъ раздѣленіемъ женщинъ на змѣистыхъ и коровистыхъ, но и моимъ уподобленіемъ извѣстнаго неловѣческаго типа кошкѣ, теперь, пожалуй подумаетъ: съ какой стати подниматься въ высоты Гейневской поэзіи по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишкомъ ли это много чести для нея? Можетъ ли она сама ощущать и въ другихъ возбуждать тѣ тонкіе оттѣнки сложныхъ душевныхъ движеній, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказалъ бы этого, если бы у насъ шла рѣчь о Грушенькѣ «Братьевъ Карамазовыхъ» или Настасьѣ Филипповнѣ «Идіота», а между тѣмъ фактически вѣдь это продажныя женщины, хотя имъ и доступны высшія колебанія и тяготѣнія. Но всякому своя слеза солона. Да и наконецъ, повторяю, не объ Мальвѣ собственно въ эту минуту и рѣчь. Несмотря на грязь, въ которой она купается, въ ней живутъ нѣкоторыя черты душевной жизни, которыми занимались люди высокаго ума и сильнаго художественнаго дарованія, но которыя доселѣ мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главнымъ образомъ къ неопредѣленности границъ между наслажденіемъ и страданіемъ, которыя мы привыкли рѣзко противопоставлять одно другому, вслѣдствіе чего вкладываемъ слишкомъ абсолютный смыслъ въ ходячее положеніе: человѣкъ ищетъ наслажденія и бѣжитъ страданія. Мрачный геній Достоевскаго стремился вывернуть этотъ афоризмъ на изнанку, придавая ему въ этомъ вывороченномъ видѣ столь же безусловный смыслъ. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами, и своимъ собственнымъ примѣромъ, характеромъ своего творчества, онъ далъ блестящія иллюстраціи той entzückende Marter и того wonniges Weh, той смѣси страданія и наслажденія, которая несомнѣнно существуетъ. Вопросъ это слишкомъ обширный и сложный, чтобы трактовать его въ замѣткахъ объ очеркахъ и разсказахъ г. Максима Горькаго, и мы подойдемъ теперь прямо къ Мальвѣ. Въ талантѣ г. Горькаго нѣтъ ни силы, ни жестокости, ни безстрашія Достоевскаго, но за то онъ вводитъ насъ въ среду, гдѣ не стѣсняются въ словахъ и жестахъ, поютъ откровенныя пѣсни, ругаются крѣпкими словами, походя дерутся и гдѣ поэтому извѣстныя душевныя движенія получаютъ осязательное, почти животное выраженіе.

Мальва живетъ съ рыбакомъ Василіемъ. Василій—пожилой мужикъ, покинувшій для заработковъ пять лѣтъ тому назадъ деревню, гдѣ у него остались жена и дѣти. Живетъ онъ съ Мальвой весело, но внезапно является къ нимъ его сынъ, Яковъ, взрослый уже парень, съ которымъ Мальва тотчасъ же начинаетъ

заигрывать. Дѣлаетъ она это, не только не стѣсняясь присутствіемъ своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговоръ кончается тѣмъ, что Василій ее жестоко бьетъ.

«Она, не ахнувъ, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ея зеленые глаза смотрѣли на него изъ-подъ рѣсницъ и горѣли холодной грозной ненавистью. Но онъ, отдуваясь отъ возбужденія и пріятно удовлетворенный исходомъ своей злобы, не видалъ ея взгляда, а когда съ торжествомъ и презрѣніемъ взглянулъ на нее,—она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ея полныя губы, потомъ вспыхнули глаза, на щекахъ ея явились ямки, и она засмѣялась». Затѣмъ Мальва ластится къ Василію, увѣряетъ его, что она довольна его побоями, а что дразнила его, — «такъ вѣдь это я нарочно... пытала тебя,– и, успокоительно усмѣхнувшись, она прижалась къ нему плечомъ. А онъ покосился въ сторону шалаша (гдѣ оставался сынъ) и обнялъ ее.—Эхъ ты... пытала! Чего пытать? Вотъ и допыталась.—Ничего, увѣренно сказала Мальва, щуря глаза. Я не сержусь... вѣдь любя побилъ? А я тебѣ за это заплачу... Она въ упоръ посмотрѣла на него, вздрогнула и, понизивъ голосъ, повторила: ахъ, какъ заплачу!»

Простодушный Василій видитъ въ этомъ обѣщаніи нѣчто для себя пріятное, но читатель можетъ догадываться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и дѣйствительно дѣлаетъ большую непріятность Василію: ссоритъ его съ сыномъ и доводитъ дѣло до того, что онъ уходитъ домой, въ деревню. Но планъ этотъ она задумываетъ уже позже, по совѣту забулдыги Сережки, а передъ тѣмъ у нея происходитъ съ этимъ Сережкой такой разговоръ. Она сообщила Сережкѣ, что ее прибилъ Василій; Сережка подивился,—какъ это она далась. «Кабы захотѣла, не далась бы,—возразила она съ сердцемъ.—Такъ что же ты?—Не захотѣла.—Крѣпко, значитъ, любишь сѣдого кота?—насмѣшливо сказалъ Сережка и обдалъ ее дымомъ своей папиросы.—Ну дѣла! а я было думалъ, что ты не изъ такихъ.—Никого я васъ не люблю,—снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой отъ дыма.—Врешь, поди-ка?—Для чего мнѣ врать?—спросила она, и по ея голосу Сережка понялъ, что врать ей, дѣйствительно, не для чего.—А ежели ты его не любишь, какъ же ты ему позволяешь бить тебя?—серьезно спросилъ онъ.—Да развѣ я знаю? Чего ты пристаешь?»

Герои г. Горькаго вообще много дерутся, часто и бабъ своихъ бьютъ. Самые умѣренные изъ нихъ въ этомъ отношеніи совѣтуютъ: «никогда не слѣдуетъ бить беременныхъ женщинъ по животу, по груди и бокамъ... бей по шеѣ или возьми веревку и по мягкимъ мѣстамъ» (II, 219). И бабы не всегда протестуютъ противъ этихъ

правилъ. Жена Орлова говоритъ мужу: «очень ужъ ты по животу и по бокамъ больно бьешь... хотя бы ногами-то не билъ» (I, 265). Бываетъ, однако, и такъ, что прекрасный полъ переходитъ въ наступленіе. Въ числѣ «бывшихъ людей» есть старикъ Симцовъ, необыкновенно счастливый на амурныя похожденія: онъ «всегда имѣлъ двухъ-трехъ любовницъ изъ проститутокъ, содержавшихъ его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Онѣ часто били его, но онъ относился къ этому стоически—сильно избить его онѣ почему-то не могли—можетъ быть, жалѣючи». (II, 235). Но кто бы кого ни билъ у г. Горькаго,—мужчина женщину или женщина мужчину,—а эти физическія упражненія и сопровождающія ихъ озлобленіе, обида, страданіе, боль такъ или иначе оказываются въ какой-то связи съ лаской, любовью, наслажденіемъ. И, читая описанія этихъ битвъ, поневолѣ вспомнишь героя «Записокъ изъ подполья» Достоевскаго и его изреченія: «Иная сама, чѣмъ больше любитъ, тѣмъ больше ссоры съ мужемъ завариваетъ: такъ вотъ, люблю, дескать, очень и изъ любви тебя мучаю, а ты чувствуй»... «Знаешь ли, что изъ любви нарочно человѣка мучить можно». Или: «Любовь-то и состоитъ въ добровольно-дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать». Оттого-то «Игрокъ» и Полина, какъ и многія другія пары Достоевскаго, никакъ не могутъ разобраться—любятъ они другъ друга или ненавидятъ, какъ не знаетъ и Мальва, любитъ она или ненавидитъ Василія. Но у Достоевскаго люди «тиранствуютъ» и «мучатъ» другъ друга утонченно, при помощи разныхъ кусательныхъ словъ, мучительнаго давленія на воображеніе и проч., а здѣсь, у г. Горькаго, просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мѣшаетъ проявленіямъ того же переплета наслажденія со страданіемъ, но даже особенно ярко подчеркиваетъ его. Не одна Мальва додразниваетъ мужа или любовника до драки, за которою слѣдуютъ нѣжныя ласки. Вотъ и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, возбуждая всю ея душу, и она, вмѣсто того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще болѣе подзадоривала его, улыбаясь ему въ лицо странными улыбками. Онъ бѣсился и билъ ее, безпощадно билъ». А потомъ, когда злоба, достаточно насыщенная, утихала въ немъ, и его брало раскаяніе, онъ пробовалъ заговаривать съ женой и допытываться, — зачѣмъ она его дразнила. «Она молчала, но она знала зачѣмъ, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидаютъ его ласки, страстныя и нѣжныя ласки примиренія. За это она готова была ежедневно платить болью въ избитыхъ бокахъ. И она плакала уже отъ одной только радости ожиданія, прежде чѣмъ мужъ успѣвалъ прикоснуться къ ней» (I, 267).

Сюда же относятся слѣдующіе, напримѣръ, случаи. Когда Коноваловъ объявилъ своей любовницѣ, Вѣрѣ Михайловнѣ, что онъ больше съ ней жить не можетъ, потому что его «тянетъ куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потомъ примирилась съ его рѣшеніемъ, а на прощанье—разсказываетъ Коноваловъ—«обнажила мнѣ руку по локоть, да какъ вцѣпится зубами въ мясо! Я чуть не заоралъ. Такъ цѣлый кусокъ и выхватила почти... недѣли три болѣла рука. Вотъ и сейчасъ знакъ цѣлъ» (II, 13). Старуха Изергиль разсказываетъ про одного изъ своихъ многочисленныхъ любовниковъ: «Былъ онъ такой печальный, ласковый иногда, а иногда, какъ звѣрь, ревѣлъ и дрался. Разъ ударилъ меня въ лицо. А я, какъ кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами въ щеку... Съ той поры у него на щекѣ стала ямка, и онъ любилъ, когда я цѣловала ее» (II, 304).

Старуха Изергиль называетъ свою жизнь «жадной жизнью» (II, 312). Буквально то же самое говоритъ въ разсказѣ «На плотахъ» одно изъ дѣйствующихъ лицъ про Марью: «жадна жить» (I, 63). Такъ же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горькаго. И у Челкаша «натура жадная на впечатлѣнія» (I, 19), и Кузька-Косякъ учитъ: «жить надо и такъ, и эдакъ,—во всю чтобы» (I, 88). И т. д. Этимъ объясняется многое. Этимъ прежде всего снимается мистическій покровъ съ внутренняго голоса, предписывающаго неустанное бродяжество. Въ условіяхъ жизни героевъ г. Горькаго вездѣ «тѣсно», вездѣ «яма», какъ они безпрестанно, даже нѣсколько надоѣдливо однообразно, повторяютъ. Является желаніе, если не расширить и углубить сферу впечатлѣній, то мѣнять ихъ въ пространствѣ, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственнаго возбужденія. Дается оно, конечно, пьянствомъ, но не однимъ пьянствомъ. Достойна вниманія отмѣтка г. Горькаго о чувствахъ избиваемой жены Орлова: «побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, *возбуждая всю ея душу*». Вся душа Матрены Орловой требуетъ работы, хотя бы и мучительной, лишь бы жить «во всю». Эта потребность всесторонней душевной дѣятельности, покупаемой цѣною примѣси страданія къ наслажденію, интересно иллюстрируется разсказомъ «Тоска». Это—«страничка изъ жизни одного мельника».

Мельникъ Тихонъ Павловичъ не босякъ какой-нибудь. Онъ богатъ, пользуется уваженіемъ и почетомъ и наслаждается «ощущеніемъ своей сытости и здоровья». Но вдругъ онъ съ чего-то загрустилъ: тоска обуяла, скука, совѣсть за разные кулацкіе успѣхи на-

чала угнетать. И Тихонъ Павловичъ сталъ вспоминать съ какого это времени на него нашло. Былъ онъ въ городѣ и наткнулся на похороны, въ которыхъ его поразила смѣсь бѣдности съ торжественностью: много вѣнковъ, много провожатыхъ. Оказалось, что хоронятъ писателя, и на могилѣ его одинъ изъ провожавшихъ сказалъ рѣчь, которая растревожила Тихона Павлыча. Ораторъ, воздавая хвалу почившему, говорилъ, что онъ былъ не понятъ при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламомъ повседневныхъ заботъ и привыкли жить безъ души» и т. д. Краснорѣчіе ли оратора, особенности ли обстановки похоронъ или еще что-нибудь повліяло, но съ этихъ поръ Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламомъ повседневныхъ заботъ душѣ». Затѣмъ Тихонъ Павлычъ нечаянно подслушалъ вышеприведенный разговоръ своего работника Кузьки-Косяка съ дѣвушкой Мотрей. и самъ имѣлъ съ Кузькой бесѣду, въ которой старался сохранять видъ «нравоучительный и чинный», но въ душѣ завидовалъ «легкой жизни» веселаго собесѣдника. Заговорилъ было Тихонъ Павлычъ съ женой на тему о душѣ, заваленной хламомъ; та посовѣтовала въ церковь что-нибудь пожертвовать, сироту въ домъ взять, за докторомъ послать, но все это не удовлетворяло мельника. Онъ рѣшилъ ѣхать въ сосѣднее село Ямки къ школьному учителю, который еще недавно обличилъ въ газетѣ одну его кулацкую каверзу. Кузька совѣтуетъ ему иное: «вы бы, хозяинъ, поѣхали до города, да и кутнули тамъ во всю; вотъ вамъ и помогло бы». Однако. мельникъ даже нѣсколько обижается этимъ совѣтомъ и ѣдетъ къ учителю. Но тотъ, больной и жолчный, не можетъ вникнуть въ состояніе души обличеннаго имъ кулака и понять его безсвязныя рѣчи. Мельникъ ѣдетъ въ городъ, безсознательно исполняя совѣтъ босяка Кузьки, и тамъ, въ городѣ, закучиваетъ. Всѣ подробности этой оргіи для насъ не интересны, но нѣкоторыя изъ нихъ надо припомнить.

Грязный трактиръ. Разные пьяные, пропащіе люди. Собираются пѣть, музыка есть—гармоника. И вотъ какъ одинъ изъ компаніи учитъ гармониста: «Нужно начинать съ грусти, чтобы привести душу въ порядокъ, заставить ее прислушаться... Она чувствительна къ грусти... Понимаете? Вотъ вы ей сейчасъ и закиньте удочку—«Лучинушкой», къ примѣру, или «Заходило солнце красное»—она и пріостановится, замретъ. А тутъ вы ее хватите съ разу «Чоботами» или «Во лузяхъ», да съ дробью, съ пламенемъ, съ плясомъ, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все въ дѣйствіе. Тутъ ужъ начнется прямо бѣшенство: чего-то хочется и ничего не надо! *Тоска и радость*—такъ все и заиграетъ радугой»...—Запѣли... Описаніе собственно этого пѣнія (I, 128—133)

принадлежитъ къ числу лучшихъ страницъ въ обоихъ томахъ разсказовъ г. Горькаго. Здѣсь нѣтъ и тѣни той фальши и тѣхъ досадныхъ нарушеній мѣры вещей, которыя слишкомъ часто оскорбляютъ и эстетическое чувство читателей, и ихъ требованіе правды. Изъ знакомыхъ мнѣ изображеній эффекта пѣнія съ этими страницами можно поставить рядомъ «Пѣвцовъ» Тургенева, и за г. Горькаго не стыдно будетъ отъ этого сравненія. И вы понимаете, что пьяный трактиръ дѣйствительно затихъ при звукахъ этой пѣсни и что мельникъ дѣйствительно «давно уже неподвижно сидѣлъ на стулѣ, низко свѣсивъ на грудь голову и жадно вслушиваясь въ звуки пѣсни. Они снова будили въ немъ тоску, но теперь къ ней примѣшивалось что-то ѣдко-сладкое, щекочущее сердце... Было что-то жгучее и щиплющее во всѣхъ этихъ ощущеніяхъ—оно было въ каждомъ изъ нихъ и, соединяясь, образовало въ душѣ мельника странную *сладкую боль*, точно большая, давившая его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его тамъ, внутри».

«Сладкая боль»!—вѣдь это буквально гейневскія entzückende Marter и wonniges Weh («сладкая мука, блаженная боль» въ переводѣ М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливитъ и мучитъ мельника, и это состояніе онъ старается выразить отрывистыми восклицаніями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!» «Душу мою пронзили! Будетъ—тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще въ жизни!» «Тронули вы мнѣ душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя—ахъ, какъ! Въ огонь бы полѣзъ».

Послѣ четырехъ дней безобразнаго кутежа Тихонъ Павловичъ возвращается домой мрачный, недовольный. Авторъ въ эту именно минуту покидаетъ его, не сообщая ничего о его дальнѣйшей судьбѣ, но можно догадываться, что, вернувшись домой, онъ вернулся и къ прежнему образу жизни, лишь изрѣдка вспоминая мгновенья мучительно-сладкихъ ощущеній, пережитыхъ имъ по рецепту босяка Кузьки...

Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горькаго добываютъ нужныя имъ полноту и разнообразіе впечатлѣній. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдѣльно отъ пьянства, хотя и соприкасаются съ нимъ, — Матрена Орлова не въ пьяномъ видѣ додразниваетъ своего мужа до взаимнаго озлобленія, въ которомъ находитъ, однако, источникъ нѣкоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этихъ людей, помимо его скотски-грубыхъ проявленій, можетъ получить то объясненіе, которое Тургеневъ влагаетъ въ уста Веретьеву въ «Затишьѣ»: «Посмотрите-ка вонъ на эту ласточку... Видите, какъ она смѣло распоряжается своимъ

маленькимъ тѣломъ, куда хочетъ, туда и броситъ! Вонъ взвилась, вонъ ударилась книзу, даже взвизгнула отъ радости, слышите? Такъ вотъ я для чего пью,—чтобы испытать тѣ самыя ощущенія, которыя испытываетъ эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается...»

Пойдемъ дальше. Чтобы «швырять себя куда хочешь и нестись куда вздумается» въ пьяномъ видѣ, то есть мысленно облетать міры фантазіи и дѣйствительности, требуется только водка. Но, чтобы реально шагать съ мѣста на мѣсто по всей землѣ, какъ этого хотятъ герои г. Горькаго, нужна свобода. Не свобода передвиженія только, засвидѣтельствованная законнымъ документомъ, подлежащими властями выданнымъ, а свобода отъ всякихъ постоянныхъ обязанностей, отъ всякихъ узъ, налагаемыхъ существующими общественными отношеніями, происхожденіемъ, принадлежностью къ извѣстной группѣ, законами, обычаями, предразсудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видимъ, что герои г. Горькаго всѣ отличаются свободолюбіемъ въ этомъ широчайшемъ, безграничномъ смыслѣ. Макаръ Чудра объявляетъ рабомъ всякаго, кто не бродитъ по землѣ, куда глаза глядятъ, а усаживается на мѣстѣ и такъ или иначе пускаетъ корни: такой человѣкъ «рабъ, какъ только родился и во всю жизнь рабъ». Для «жаднаго на впечатлѣнія» Челкаша Гаврила есть «жадный рабъ», и Челкашу обидно, что этотъ рабъ смѣетъ по своему «любить свободу, которой не знаетъ цѣны, и которая ему не нужна». Значитъ, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набравъ денегъ, зароется въ свою деревенскую «яму», а жадный Челкашъ сейчасъ же размѣняетъ эти деньги на острыя и разнообразныя впечатлѣнія сѣвера и юга, востока и запада. На всякаго рода границы, какъ географическія, такъ и моральныя, реальныя и идеальныя, эти отверженные или, вѣрнѣе, какъ я уже говорилъ, отвергнувшіе смотрятъ сверху внизъ, съ высоты своего «жаднаго жить» *я*, какъ на нѣчто, урѣзывающее это *я*, до непереносности. Правда, нѣкоторые изъ нихъ иногда съ грустью и даже съ умиленіемъ вспоминаютъ о своемъ прошломъ, когда они еще входили въ составъ того или другого опредѣленнаго общественнаго цѣлаго и сознательно или безсознательно подчинялись его распорядкамъ, но это настроеніе посѣщаетъ ихъ рѣдко и не надолго, и вернуться къ прошлому они все равно не хотятъ и не могутъ. Въ настоящемъ ихъ ничто не объединяетъ въ какое-нибудь прочное, постоянное цѣлое. «Народъ... онъ огромный, но я ему чужой и онъ мнѣ чужой... Вотъ въ чемъ трагедія моей жизни»—говоритъ «учитель» въ «Бывшихъ людяхъ» (II, 205). Образцы отношеній къ другимъ общественнымъ узамъ мы уже въ прошлый разъ видѣли и дальше опять встрѣтимъ. Для однихъ изъ этого

проистекаетъ трагедія, для другихъ комедія или даже водевиль, какъ для Кузьки Косяка, но это дѣло темперамента и суть отношеній отъ этого не измѣняется.

Иные изъ героевъ г. Горькаго временами какъ будто «грядущаго града взыскуютъ», но это только разговоры, одна словесность, при томъ нисколько для нихъ не характерная. Гораздо болѣе свойственные имъ идеалы и мечты сводятся, какъ мы видѣли, къ полному отчужденію отъ людей, полному отсутствію «града» въ смыслѣ какого бы то ни было общежитія, или къ совершенно особому виду отношеній, о которомъ сейчасъ поговоримъ подробнѣе, или же, наконецъ, къ планамъ всеобщаго разрушенія. Замѣчательно однообразіе, съ которымъ (какъ и многое другое) высказываютъ эти планы люди г. Горькаго, въ другихъ отношеніяхъ, казалось бы, очень различные. Такъ—мы видѣли,—Мальва «избила бы весь народъ, и потомъ себя страшною смертью». Такъ Орловъ мечтаетъ «отличиться на чемъ-нибудь», хотя бы даже «раздробить всю землю въ пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты и потомъ внизъ тормашками—и въ дребезги!» А вотъ еще Аристидъ Кувалда: «Мнѣ—говоритъ онъ,—было бы пріятно, если бъ земля вдругъ вспыхнула и сгорѣла или разорвалась бы въ дребезги. Лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ» (II, 234). Погибнуть, совершивъ нѣчто большое, огромное, грозное, не справляясь съ существующей моральной оцѣнкой или даже вопреки ей, — такова мечта.

Но, кромѣ житія на манеръ Робинзона (при чемъ и Пятницы не надо и его можно за ненадобностью убить) и плановъ всеобщаго разрушенія, у героевъ г. Горькаго есть и еще одна мечта, быть можетъ самая интересная. Они «жадны жить», для чего имъ нужна безграничная свобода и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы каждый изъ нихъ въ отдѣльности не хотѣлъ и другихъ подчинять. Напротивъ, въ подчиненіи и порабощеніи другихъ они находятъ особое наслажденіе. Челкашъ «наслаждался, чувствуя себя господиномъ другого»—Гаврилы. Онъ «наслаждался страхомъ парня и тѣмъ, что вотъ какой онъ, Челкашъ, грозный человѣкъ». Онъ «наслаждался своей силой, которой онъ поработилъ этого молодого, свѣжаго парня». Оттого-то и Орловъ мечтаетъ «встать выше всѣхъ людей» и сдѣлать имъ всѣмъ огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодѣяніемъ. И тотъ же Орловъ одно время былъ одолѣваемъ «жаждою безкорыстнаго подвига», — вотъ по какимъ мотивамъ: «Онъ чувствовалъ себя человѣкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдѣлать что-то такое, что обратило

бы на него вниманіе всѣхъ, всѣхъ поразило бы и заставило убѣдиться въ его правѣ на самочувствіе» (I, 303). Поневолѣ опять и опять вспомнишь Достоевскаго съ его Ставрогинымъ, который не зналъ разницы между величайшимъ подвигомъ самоотверженія и какимъ-нибудь звѣрскимъ дѣломъ, и съ его многочисленными иллюстраціями наслажденія властью, мучительствомъ, тиранствомъ. Жажда благороднаго подвига сказалась въ Орловѣ, когда онъ, вмѣстѣ съ Матреной, поступилъ на службу въ холерную больницу. Но и тамъ ему скоро показалось «тѣсно», и это мѣсто болѣзни, печали и воздыханія, поманившее его радостью любовнаго труда, оказалось «ямой». Въ кратковременный же періодъ увлеченія мечтой о подвигѣ онъ разсуждалъ, напримѣръ, такъ: «То есть, если бы эта холера да преобразилась въ человѣка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца, — сцѣпился бы я съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Крестъ надо мной въ полѣ и надпись: «Григорій Андреевъ Орловъ. Спасъ Россію отъ холеры». Больше ничего не надо». — Но когда ему показалось «тѣсно», онъ опять принялся за Матрену, постоянно переходя отъ страстныхъ ласкъ къ жестокой дракѣ. Однажды, напримѣръ, онъ было «поддался» женѣ,—покорно выслушалъ ея упреки и призналъ, что не хорошо дѣлаетъ, что дерется. Но на другой же день раскаялся въ этомъ душевномъ движеніи и «пришелъ съ опредѣленнымъ намѣреніемъ побѣдить жену. Вчера, во время столкновенія, она была сильнѣе его, онъ это чувствовалъ и это унижало его въ своихъ глазахъ. Непремѣнно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему; онъ не понималъ почему, но твердо зналъ—нужно».

Подобныя же черты читатель найдетъ и въ другихъ герояхъ и героиняхъ г. Горькаго. И, какъ бы проникаясь этимъ настроеніемъ своихъ созданій, самъ авторъ отъ себя кладетъ въ одномъ мѣстѣ слѣдующую психологическую резолюцію: «Какъ бы низко ни палъ человѣкъ, онъ никогда не откажетъ себѣ въ наслажденіи почувствовать себя сильнѣе, умнѣе, хотя бы даже сытѣе своего ближняго» (II, 211).

Я написалъ: «*какъ бы* проникаясь настроеніемъ своихъ созданій». Въ дѣйствительности можетъ быть совершенно наоборотъ: не авторъ, увлеченный самымъ процессомъ творчества, проникается настроеніемъ своихъ персонажей, а, напротивъ, авторъ творитъ людей по своему образу и подобію, вкладывая въ нихъ нѣчто свое задушевное. Во всякомъ случаѣ только что приведенная авторская резолюція показываетъ, что какъ бы мы тщательно ни всматривались въ босяковъ г. Горькаго, мы ихъ не поймемъ и въ частности

не оцѣнимъ степени ихъ подлинности, пока не приглядимся къ самому г. Горькому.

До сихъ поръ мы видѣли босяковъ, можетъ быть и подкрашенныхъ, но во всякомъ случаѣ реальныхъ. Но въ собраніи очерковъ и разсказовъ г. Горькаго есть и такіе, въ которыхъ изображаются босяки, такъ сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегоріи и символы босячества. Таковы въ первомъ томѣ «Пѣсня о соколѣ» и то, что Макаръ Чудра разсказываетъ про Лойка Зобара и Радду, а во второмъ—разсказъ «О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ любителѣ истины» и то, что старуха Изергиль разсказываетъ про Данка. Герои этихъ разсказовъ — существа фантастическія или полу-фантастическія — столь же вольнолюбивы и жадны жить, какъ и заправскіе босяки въ освѣщеніи г. Горькаго, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни,—міра тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости. Понятно, какой интересъ представляютъ эти отвлеченныя, фантастическія существа для уразумѣнія точки зрѣнія автора. Та скорбь и то отвращеніе, которыя онъ часто не можетъ сдержать при описаніи пьянства, грубости, цинизма, дракъ реальныхъ босяковъ, при этомъ естественно отпадаютъ и мы можемъ разсчитывать получить въ чистомъ видѣ то, что поднимаетъ отверженцевъ надъ общимъ уровнемъ, какъ въ ихъ собственныхъ глазахъ, такъ и въ глазахъ автора.

Начнемъ съ разсказа Макара Чудры про Лойка Зобара и Радду. Это разсказываетъ старый цыганъ о молодыхъ цыганѣ и цыганкѣ, и разсказъ его блещетъ роскошью восточныхъ красокъ, гиперболическихъ сравненій, сказочныхъ подробностей, но я долженъ признаться, что онъ производитъ на меня впечатлѣніе неудачной поддѣлки. Дѣло, впрочемъ, теперь не въ этомъ. Зобаръ — красавецъ писаный, при томъ смѣлъ, уменъ, силенъ, вдобавокъ поэтъ и играетъ на скрипкѣ такъ, что когда въ таборѣ, къ которому принадлежала Радда, въ первый разъ услыхали, еще издали, его музыку, то произошло слѣдующее: «Всѣмъ намъ,—разсказываетъ Чудра,—мы чуяли, отъ той музыки захотѣлось чего-то такого, послѣ чего и *жить ужъ не нужно было* или, коли жить, такъ *царями надъ всей землей*». Характерно уже это «или-или»: или ничто, небытіе, или вершина вершинъ. Но Макаръ Чудра можетъ испытывать это настроеніе во всей полнотѣ только въ минуты экстаза, вызваннаго чудодѣйственною музыкой. Другое дѣло Зобаръ. И Радда ему подъ пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смѣла. Естественное дѣло, что когда судьба сталкиваетъ молодого человѣка и молодую дѣвушку такихъ исключительныхъ и многоразличныхъ достоинствъ,—между ними возгорается любовь со всѣмъ радужнымъ

блескомъ страсти и нѣжности. Зобаръ и Радда дѣйствительно полюбили другъ друга, но, какъ и у реальныхъ босяковъ г. Горькаго, любовь ихъ до боли колюча,—даже до смерти. Радда - та же Мальва, только поднятая на нѣкоторую поэтическую высоту. Отношенія начинаются съ того, что Зобаръ, привыкшій «играть съ дѣвушками, какъ кречетъ съ утками», получаетъ отъ Радды жесткій и язвительный отпоръ. Она зло издѣвается надъ нимъ, но онъ или провидитъ подъ этимъ издѣвательствомъ нѣчто иное, или ужъ очень въ себѣ увѣренъ, а только, при всемъ честномъ народѣ, обращается къ ней съ такой рѣчью: «Много я вашей сестры видѣлъ, эге много! А ни одна не тронула моего сердца такъ, какъ ты. Эхъ, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, такъ то будетъ, и нѣтъ такого коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя въ жены передъ Богомъ, своей честью, твоимъ отцомъ и всѣми этими людьми. Но смотри, волѣ моей не перечь, я все-таки свободный человѣкъ и буду жить такъ, какъ я хочу!» И съ этими словами подошелъ къ Раддѣ, «стиснувъ зубы и сверкая глазами». Но Радда вмѣсто отвѣта свалила его на земь, ловко захлестнувъ ему за ногу ременное кнутовище, а сама смѣется. Зобаръ, пристыженный и огорченный, ушелъ въ степь и тамъ замеръ въ мрачномъ раздумьи. Черезъ нѣсколько времени къ нему подошла Радда. Онъ схватился было за ножъ, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей и затѣмъ объяснилась въ любви; однако, говоритъ, «волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а безъ тебя мнѣ не жить, какъ не жить и тебѣ безъ меня; такъ вотъ я хочу, чтобъ ты былъ моимъ и душой, и тѣломъ». «Все равно, какъ ты ни вертись, я тебя одолѣю»,—продолжаетъ она и требуетъ, чтобы онъ завтра же «покорился» и выразилъ эту покорность внѣшними знаками: публично, передъ всѣмъ таборомъ поклонился бы ей въ ноги и поцѣловалъ ей руку. Зобаръ на другой день является и держитъ передъ таборомъ рѣчь, въ которой объясняетъ, что Радда любитъ свою волю больше, чѣмъ его, а онъ, напротивъ, любитъ Радду больше, чѣмъ волю, и потому согласенъ на поставленныя ею условія, но—говоритъ—«остается попробовать, такое ли у Радды моей крѣпкое сердце, какимъ она мнѣ его показывала». Съ этими словами онъ вонзаетъ ножъ въ сердце Радды, и она умираетъ, «улыбаясь и говоря громко и внятно:—Прощай, богатырь Лойко Зобаръ! Я знала, что ты такъ сдѣлаешь». Выходитъ затѣмъ отецъ Радды и убиваетъ Зобара, но убиваетъ, такъ сказать, почтительно, какъ уплачиваютъ долгъ уважаемому кредитору.

Такова любовь въ тѣхъ фантастическихъ, такъ сказать, надземныхъ сферахъ, гдѣ герои г. Горькаго являются очищенными отъ всего, чѣмъ грязнитъ ихъ міръ кабаковъ, домовъ терпимости и тю-

ремъ. Пролита кровь, но не въ какой-нибудь пьяной дракѣ и не изъ корыстныхъ видовъ; г. Горькій такъ обставилъ дѣло, что кровь Радды проливается съ ея согласія и она умираетъ «улыбаясь» и воздавая хвалу убійцѣ, а ея отецъ и Зобаръ просто—одинъ отдаетъ, а другой получаетъ долгъ. Зобаръ и Радда жадны жить. Какъ въ королѣ Лирѣ «каждый вершокъ—король», такъ и въ нихъ каждый вершокъ жить хочетъ. Поэтому они хотятъ быть совершенно свободными, а любовь, они чувствуютъ, уже урѣзываетъ эту свободу: «смотрѣлъ я—говоритъ Зобаръ—этой ночью въ свое сердце и не нашелъ мѣста въ немъ старой вольной жизни моей». Если любовь съ ихъ точки зрѣнія и не совсѣмъ совпадаетъ съ опредѣленіемъ героя Достоевскаго («добровольно дарованное отъ любимаго предмета право надъ нимъ тиранствовать»), то во всякомъ случаѣ элементъ господства, преобладанія, власти играетъ въ ней существенную роль. А такъ какъ Зобаръ и Радда равноцѣнны, то задача покоренія оказывается невозможною, и они на этой невозможности погибаютъ. Но они не уклоняются отъ этой погибели и не жалѣютъ о ней.

Не жалѣетъ о своей погибели и соколъ въ «Пѣснѣ о соколѣ». Онъ расшибся, падая съ высоты на камень (а потомъ въ море), но на вопросъ ужа презрительно и гордо отвѣчаетъ: «Да, умираю!.. Я славно пожилъ... Я много прожилъ... Я храбро бился... И видѣлъ небо. Ты не увидишь его такъ близко... Эхъ, ты, бѣдняга!» Заинтересованный этими словами, ужъ въ мѣру своихъ силъ тоже попробовалъ было подняться къ небу, но «рожденный ползать—летать не можетъ», и ужъ разсуждаетъ: «Такъ вотъ въ чемъ прелесть полетовъ въ небо! Она—въ паденьи... Смѣшныя птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, онѣ стремятся высоко въ небо и ищутъ жизни въ пустынѣ знойной. Тамъ только пусто. Тамъ много свѣта, но нѣтъ тамъ пищи и нѣтъ опоры живому тѣлу». И т. д. Однако пѣсня или сказка («Пѣсня о соколѣ» есть будто бы народная крымско-татарская пѣсня-сказка) не согласна съ ужомъ и поетъ хвалу жадному жить, свободному соколу: «О, смѣлый соколъ! Ты, жившій въ небѣ, безкрайномъ небѣ, любимецъ солнца! О, смѣлый соколъ, нашедшій въ морѣ, безмѣрномъ морѣ, себѣ могилу! Пускай ты умеръ! Но въ пѣснѣ смѣлыхъ и сильныхъ духомъ всегда ты будешь призывомъ громкимъ къ свободѣ, къ свѣту!»

Чижъ («О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ-любителѣ истины»), чижъ—не соколъ. Онъ птица маленькая и слабокрылая. Однако у него хватило силы и смѣлости смутить на нѣкоторое время птицъ своей рощи пѣснями о свободѣ, просторѣ, призывами «впередъ». Но ученый дятелъ скоро отвратилъ отъ него общественное мнѣніе, доказавъ птицамъ, что путь, предлагаемый чижомъ, полонъ опас-

ностей и ни къ чему хорошему привести не можетъ. Бѣдный чижъ, оставленный всѣми, горько задумался: «Я солгалъ, да, я солгалъ, потому что мнѣ неизвѣстно, что тамъ за рощей, но вѣдь вѣрить и надѣяться такъ хорошо! Я же только и хотѣлъ пробудить вѣру и надежду—и вотъ почему я солгалъ... Онъ, дятелъ, можетъ быть и правъ, но на что нужна его правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяетъ высоко взлетать на небеса?» Чижъ предпринялъ ни больше, ни меньше, какъ возбудить въ птицахъ увѣренность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все побѣдить, чтобы оправдать самихъ себя въ своихъ глазахъ, чтобы имѣть право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее—это мы, а не слѣпая сила стихій». Онъ былъ тоже жаденъ жить, этотъ маленькій чижъ. Дятелъ же отстаивалъ противоположный тезисъ: «всѣ мы—не болѣе, какъ только крошечные факты, подтверждающіе грандіозный фактъ мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, какъ дѣти подчиняются матери». Чижъ былъ жаденъ жить, но слабъ и не съумѣлъ парировать аргументы дятла, и толпа отхлынула отъ него и оставила его въ мрачномъ одиночествѣ, а авторъ резюмируетъ всю исторію такъ: «Чижъ благороденъ, но не имѣетъ вѣры и поэтому нищъ духомъ; дятелъ благоразуменъ, но пошлъ, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они въ сущности черствы сердцемъ и мелки, мелки, позорно мелки»...

Черствы сердцемъ и мелки, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражилъ чижъ и утихомирилъ дятелъ. Старуха Изергиль разсказываетъ такую легенду.—Гдѣ-то, когда-то жили какіе-то люди. Нахлынуло на нихъ чужое племя и оттѣснило въ глухой, дремучій, болотистый лѣсъ. Плохо пришлось людямъ: назадъ идти нельзя,—тамъ сильные и злые враги, а впереди лѣсъ все дремучѣе, болота все непроходимѣе. Стали люди болѣть, умирать. «Уже хотѣли идти къ врагу и принести ему въ даръ себя и волю свою, и никто ужъ, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Но среди этой запуганной толпы былъ Данко. Изергиль особенно напираетъ на его красоту и смѣлость,—должно быть онъ былъ похожъ на Лойко Зобара. Данко взялся вести своихъ товарищей по несчастію. Не то, чтобы онъ зналъ какія-нибудь безопасныя или удобныя дороги; нѣтъ, единственно, на что онъ сослался, это то, что долженъ же быть у этого страшнаго лѣса гдѣ-нибудь конецъ, потому что вѣдь всему на свѣтѣ бываетъ конецъ. Но онъ заявилъ это съ такою увѣренностью, что въ сердцахъ слушателей заиграла надежда, и они пошли за Данко. Но лѣсъ становился все гуще, мрачнѣе, люди стали роптать и, наконецъ, даже грозить Данку смертью. Негодованіе и жалость къ

этимъ презрѣннымъ людямъ овладѣли Данкомъ, «и вотъ его сердце вспыхнуло яркимъ огнемъ желанія спасти ихъ и вывести на легкій путь... И вдругъ онъ разорвалъ руками себѣ грудь и вырвалъ изъ нея свое сердце и высоко поднялъ его надъ головой. Оно же пылало такъ ярко, какъ солнце, и ярче солнца, и весь лѣсъ замолчалъ, освѣщенный этимъ факеломъ великой любви къ людямъ, а тьма разлетѣлась отъ свѣта его и тамъ, глубоко въ лѣсу, дрожащая, пала въ гнилой зѣвъ болота». Руководимые этимъ факеломъ люди прошли сквозь лѣсъ въ степь, но тутъ Данко, «кинувъ радостный взоръ на развернувшуюся передъ нимъ свободную землю», умеръ. «Люди же, радостные и полные надеждъ, не замѣтили смерти его и не видали, что еще пылаетъ рядомъ съ трупомъ Данка его смѣлое сердце. Только одинъ осторожный человѣкъ замѣтилъ это и, боясь чего-то, наступилъ на гордое сердце ногой. И вотъ оно, разсыпавшись въ искры, угасло»...

Данко совершаетъ подвигъ самопожертвованія, при чемъ оказываетъ одинокимъ сначала впереди смущенной толпы, потомъ одинокимъ передъ разъяренной толпой, потомъ опять одинокимъ впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объясненію старухи Изергиль, значитъ «отверженный, выкинутый вонъ») тоже одинокъ въ толпѣ соплеменниковъ, но онъ не совершаетъ подвига самопожертвованія. Напротивъ... Ларра—сынъ орла и похищенной имъ женщины. Орелъ умеръ («когда онъ сталъ слабѣть, то поднялся въ послѣдній разъ высоко на небо и, сложивъ крылья, тяжело упалъ оттуда на острые уступы горъ»), его невольная жена вернулась къ своему племени съ 20-лѣтнимъ сыномъ, сильнымъ, гордымъ и смѣлымъ красавцемъ, опять-таки въ родѣ Зобара или Данка. Онъ сразу всталъ въ дурныя отношенія къ старѣйшинамъ племени, отказавшись имъ повиноваться и объявивъ, что «такихъ, какъ онъ, нѣтъ больше». Затѣмъ онъ подошелъ къ одной красивой дѣвушкѣ и обнялъ ее; она его оттолкнула, а онъ—«ударилъ ее и, когда она упала, всталъ ногой на ея грудь, всталъ такъ, что изъ ея устъ кровь брызнула къ небу и она вздохнула тяжко, извилась змѣей и умерла». Его связали и хотѣли казнить, но сначала попытались добиться, зачѣмъ онъ убилъ дѣвушку. Онъ отказался отвѣчать связанный, а когда его развязали, сказалъ слѣдующее: «Я, можетъ быть, самъ не вѣрно понимаю то, что случилось. Я убилъ ее потому, мнѣ кажется, что меня оттолкнула она; а мнѣ было нужно ее». Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что «онъ считаетъ себя первымъ на землѣ и что, кромѣ себя, онъ не видитъ ничего. Всѣмъ даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество онъ обрекалъ себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвиговъ, ни скота, ни жены, и онъ не хо-

тѣлъ ничего этого». И когда поняли это, то мудрѣйшій изъ старѣйшинъ племени придумалъ ему страшное наказаніе: «Наказаніе ему въ немъ самомъ! Пустите его, пусть онъ будетъ свободенъ. Вотъ его наказаніе». Юноша весело ушелъ и сталъ жить «свободный, какъ отецъ его; но его отецъ не былъ человѣкомъ, а этотъ былъ человѣкъ». Онъ былъ ловокъ, силенъ, хищенъ, жестокъ; онъ приходилъ время отъ времени къ людямъ и бралъ все, что ему нужно было. Въ него стрѣляли, но стрѣлы «не могли пронизать его тѣла, обвитаго невидимымъ человѣку покрываломъ высшей кары». Многіе, многіе годы жилъ онъ такъ, но наконецъ это ему надоѣло. «Нельзя всегда наслаждаться,—потеряешь цѣну наслажденію и захочется страдать». Онъ и пошелъ къ людямъ съ этою цѣлью, но они не тронули его, онъ покушался убить себя, но смерть не брала его. «Въ глазахъ его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всѣхъ людей міра. И такъ съ той поры остался онъ одинъ, свободный и ищущій смерти. И вотъ онъ ходитъ, ходитъ повсюду»...

Лойко Зобаръ, Радда, Соколъ, Чижъ, Данко, Ларра,—вотъ вся портретная галлерея идеальныхъ, очищенныхъ отъ грязи босяковъ г. Горькаго. Что это именно они,—преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч.,—въ этомъ едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видимъ въ нихъ ту же «жадность жить»; то же стремленіе къ ничѣмъ не ограниченной свободѣ; то же фатальное одиночество и отверженность, при чемъ не легко установить,—отверженные они или отвергнувшіе; ту же высокую самооцѣнку и желаніе первенствовать, покорять, находящія себѣ оправданіе въ выраженномъ или молчаливомъ признаніи окружающихъ; то же тяготѣніе къ чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чѣмъ должна послѣдовать гибель; ту же жажду наслажденія, соединенную съ готовностью какъ причинить страданія, такъ и принять его; ту же неуловимость границы между наслажденіемъ и страданіемъ.

Но это не трафареты, а варьянты, иногда, въ отдѣльныхъ чертахъ, даже слишкомъ близкіе между собою, иногда расходящіеся довольно далеко, но во всякомъ случаѣ, такъ сказать, вращающіеся около одной оси. Если, напримѣръ, Орловъ сегодня мечтаетъ о спасеніи Россіи отъ холеры цѣною собственной жизни, а завтра объ избіеніи «всѣхъ до единаго жидовъ» или даже о раздробленіи всей земли въ пыль,—то въ коллекціи очищенныхъ босяковъ подвигъ самопожертвованія предоставленъ Данку, а злодѣйскіе подвиги—Ларрѣ; но, не смотря на эту разницу, и тотъ и другой являются намъ въ нѣкоторомъ ореолѣ гордой силы и красоты. Если

Чижъ слабокрылъ и вообще слабъ самъ, то онъ все же зоветъ другихъ къ свободѣ, простору и, по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время покоряетъ сердца призывомъ птицъ къ великому дѣлу. Если Коноваловъ находитъ ненужнымъ присутствіе даже Пятницы на островѣ Робинзона, а Ларрѣ одиночество досталось въ видѣ страшной кары, то съ теченіемъ времени Коноваловъ, надо думать, пожалѣлъ бы, что убилъ «дикаго», хотя бы уже потому, что оказался бы въ «ямѣ»; а Мальвѣ, тоже мечтающей объ одиночествѣ, люди навѣрное понадобились бы, чтобы «вертѣть» ими. Съ другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовалъ боль и скорбь одиночества: онъ наслаждался имъ «не одинъ десятокъ длинныхъ годовъ», и вернулся онъ къ людямъ потому, что его потянуло къ страданію. Въ цѣломъ получается нѣчто смутное, загадочное, какъ бы еще только прорѣзывающееся и, повидимому, оправдывающее претензію Аристида Кувалды... мы новость въ исторіи, намъ нужны новыя воззрѣнія на жизнь...

Появленію такихъ ли, сякихъ ли «новыхъ людей», не въ видѣ одинокихъ ласточекъ, которыя весны не дѣлаютъ, а въ видѣ цѣлаго «класса», какъ это утверждаетъ относительно своихъ босяковъ г. Горькій, должно соотвѣтствовать извѣстное измѣненіе общественныхъ условій. Но послѣ всего сказаннаго, едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горькаго «класса» не составляютъ, какъ въ силу неопредѣленности ихъ положенія, такъ и въ особенности въ силу проникающаго все ихъ существо индивидуализма, исключающаго возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говоритъ противъ ихъ «новости». Но мы видѣли, что г. Горькій даже не коснулся тѣхъ внѣшнихъ, объективныхъ условій, которыя дѣйствительно только въ наше время создаютъ босяковъ; что, вслѣдствіе этого, его «новые» босяки по происхожденію ничѣмъ не отличаются отъ старыхъ гулящихъ людей и голи кабацкой и даже напоминаютъ собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ рядахъ героевъ г. Горькаго есть настоящіе кочевники, ничѣмъ собственно изъ нихъ рѣзко не выдѣляясь. Зобаръ, Радда, Данко, Ларра—существа фантастическія или, по крайней мѣрѣ, легендарныя; поэтому ихъ, пожалуй, и нельзя брать въ счетъ, хотя и то уже достойно вниманія, что эти созданія фантазіи помѣщены въ условія кочевого быта. Но Изергиль, Макаръ Чудра—цыгане, изъ тѣхъ, которые «шумною толпой по Бессарабіи кочуютъ», то есть настоящіе, живые кочевники, насколько они удержались въ условіяхъ современной европейской жизни. А между тѣмъ ихъ мысли, чувства, поступки въ общемъ совершенно тѣ же, что у Мальвы, Гришки, Кузьки-Косяка и проч. Значитъ, какая

же это «новость»? Это, напротивъ, нѣчто очень старое, давно пережитое исторіей, лишь кое-гдѣ сохранившееся въ урѣзанномъ видѣ и не имѣющее никакой связи со вступительной картиной разсказа «Челкашъ», гдѣ «гранитъ, желѣзо, дерево, мостовая гавани, суда и люди,—все дышетъ мощными звуками бѣшено-страстнаго гимна Меркурію».

Если, однако, «новость» героевъ г. Горькаго ни единою чертою не оправдана съ точки зрѣнія ихъ происхожденія, порождающаго ихъ историческаго процесса, то, какъ я уже говорилъ, въ ихъ психологіи есть нѣчто дѣйствительно новое. Но въ такомъ случаѣ можно ожидать, что въ психологію кочевниковъ—Изергили, Макара Чудры и ихъ отраженій въ мірѣ фантазіи и легенды, то есть Зобара, Ларры и проч.—авторъ ввелъ нѣкоторыя произвольныя, не соотвѣтствующія дѣйствительности черты. Такъ оно и есть.

Слово «чандалы», подвернувшееся мнѣ для обозначенія нашихъ босяковъ и европейскаго Lumpenproletariat'a, наводитъ на нѣкоторыя любопытныя сближенія. Существуетъ мнѣніе, что цыгане суть потомки индійскихъ чандаловъ, когда-то выселившихся или выселенныхъ изъ родины. Чандалы же индійскіе суть отверженцы разныхъ кастъ, цементированные національнымъ элементомъ туземнаго, до-арійскаго населенія и затѣмъ строгими постановленіями суровыхъ индусскихъ законовъ и обычаевъ. Дѣйствительно ли цыгане ихъ потомки, или нѣтъ, но они во всякомъ случаѣ представляютъ собою отверженное (или отвергнувшее) *племя*, распадающееся, какъ и всѣ кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбіе кочевого человѣка представляютъ собою нѣчто очень относительное: онъ съ трудомъ переноситъ ограниченія, налагаемыя условіями цивилизованной жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпко стиснутъ тѣми общественными единицами, въ составъ которыхъ входитъ. Объ цыганской вольной жизни мы имѣемъ совершенно фантастическія представленія, основанныя главнымъ образомъ на разныхъ «цыганскихъ романсахъ». Въ дѣйствительности, цыганъ и особенно цыганка находятся въ полной власти своего табора, что сохранилось даже въ тѣхъ цыганскихъ «хорахъ», которые даютъ намъ свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготятся этими узами, доколѣ остаются настоящими, типическими цыганами. Кочевникъ любитъ свободу, но совсѣмъ не такъ и не такую, какъ современный босякъ, и обратно—какой-нибудь Кузька-Косякъ или Сережка или Коноваловъ, при всей своей склонности къ бродяжеству, почувствовали бы себя очень плохо въ таборѣ, въ которомъ такъ хорошо уживается Макаръ Чудра, тоже исповѣдующій принципъ вѣчнаго бродяжества. Кочевникъ

бродяжитъ цѣлой ордой, таборомъ, стадомъ, съ которымъ связанъ самыми тѣсными узами, а Сережка и Кузька бродяжатъ въ одиночку и никакихъ узъ не знаютъ или не хотятъ знать. Въ этомъ и состоитъ ихъ «новость», но не только въ этомъ.

Слово «чандалы» наводитъ еще на одну справку. Выше были указаны нѣкоторыя точки соприкосновенія г. Горькаго съ Достоевскимъ. А въ 1894 г., излагая на этихъ же страницахъ съ нѣкоторою подробностію ученіе Фр. Ничше, я отмѣтилъ подобныя же точки соприкосновенія съ Достоевскимъ—несчастнаго нѣмецкаго мыслителя. Указывалъ я и на необыкновенное уваженіе, съ которымъ Ничше относился къ нашему художнику, знакомому ему, повидимому, только по «Запискамъ изъ мертваго дома». Въ одномъ изъ своихъ сочиненій («Götzen Dämmerung»), восторгаясь силою психологическаго анализа, съ которою Достоевскій проникаетъ въ душу обитателей Мертваго Дома, Ничше говоритъ о «чувствѣ чандала», чувствѣ «ненависти, мести и возстанія противъ всего существующаго», каковое чувство, дескать, живетъ въ душѣ каждаго сильнаго человѣка, не нашедшаго себѣ мѣста въ современномъ «покорномъ, посредственномъ, кастрированномъ обществѣ».

Думаю, что читатель не затруднится усмотрѣть это чувство въ герояхъ г. Горькаго. Но соблазнительная возможность сближенія съ идеями Ничше идетъ гораздо дальше.—Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освѣщеніе жизни г. Горькій заимствовалъ у Ничше,—онъ нигдѣ о немъ не упоминаетъ (хотя нашелъ же случай упомянуть, напримѣръ, о Шопенгауерѣ) и, можетъ быть, совсѣмъ не знакомъ съ нимъ. Но тѣмъ интереснѣе совпаденіе, свидѣтельствующее о томъ, что извѣстныя идеи носятся въ воздухѣ, не только кристализуясь въ видѣ все растущаго множества поклонниковъ Ничше въ Европѣ, но вотъ и у насъ прорѣзывающихся самостоятельно, не говоря о людяхъ, прямо заимствующихъ свой свѣтъ отъ Ничше. Во всякомъ случаѣ Ничше со всѣмъ своимъ нравственно-политическимъ ученіемъ не былъ бы чужимъ среди философствующихъ босяковъ г. Горькаго.

Начать съ того, что одиночество играетъ въ соображеніяхъ Ничше не меньшую роль, чѣмъ въ мечтахъ и въ жизни босяковъ г. Горькаго. Ничше слагаетъ настоящіе гимны одиночеству и даже предлагаетъ установить новую научную дисциплину: рядомъ съ наукой объ обществѣ, Gesellschaftslehre,—науку объ одиночествѣ, Einsamkeistslehre. Но одиночество не только драгоцѣнно и, какъ таковое, составляетъ законный предметъ мечтаній; оно неизбѣжно для всякаго сильнаго человѣка, такъ какъ любая общественная форма требуетъ отъ него уступокъ хоть какой-нибудь части его я,

а онъ на подобныя уступки согласиться, по самой своей природѣ, не можетъ *).

Но, кромѣ сильныхъ, существуютъ и слабые, охотно подчиняющіеся многоразличнымъ ограниченіямъ свободы, да и для сильныхъ Einsamkeitslehre не исключаетъ надобности въ Gesellschaftlehre,— не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ничше не знаетъ ничего лучшаго, какъ «погибнуть на великомъ и невозможномъ»; и не потому, чтобы одиночество доставляло страданія: Ничше готовъ принять страданіе, и высшее наслажденіе для него состоитъ въ борьбѣ со всѣми ея положительными и отрицательными шансами; но главнымъ образомъ потому, что въ сильныхъ живетъ Wille zur Macht, «воля къ власти», какъ у насъ буквально переводятъ. Эта жажда власти, могущества есть, по мнѣнію Ничше, главный двигатель исторіи и тѣсно связана съ однимъ изъ коренныхъ свойствъ человѣческой природы,—жестокостью: «видъ страданія доставляетъ удовольствіе, причиненіе страданія доставляетъ еще большее удовольствіе; таковъ жесткій, но старый и могущественный законъ» (Genealogie der Moral). Аскетическая практика самоистязанія въ ея свирѣпыхъ формахъ имѣетъ тотъ же источникъ: за отсутствіемъ или недосягаемостью другихъ, индійскій фанатикъ и т. п. терзаетъ свое собственное тѣло и при томъ наслаждается своимъ превосходствомъ надъ тѣми, кто не въ силахъ это дѣлать. Слабость, трусость, лицемѣріе часто заслоняютъ эти коренныя свойства человѣческой природы и въ настоящее время у цивилизованныхъ народовъ создали «мораль рабовъ» въ противоположность «морали господъ», которую нѣкогда исповѣдывали сильные, жизнерадостные, жестокіе, чувственные, властные люди,—«великолѣпныя, жаждущія побѣды и добычи животныя». То было время торжества красоты, силы, время здоровыхъ инстинктовъ, не изъѣденныхъ разсудочнымъ анализомъ и мертвящей рефлексіей **).

---

*) Когда Ларру спросили, зачѣмъ онъ убилъ дѣвушку (см. выше), онъ отвѣчалъ: «она оттолкнула меня, а мнѣ было нужно ее».—«Но вѣдь она не твоя?» сказали ему. — Развѣ вы пользуетесь только своимъ? Я вижу, что каждый человѣкъ имѣетъ своего только рѣчь, руки и ноги, а владѣетъ онъ животными, женщинами, землей и многимъ еще. — Ему сказали на это, что за все, что человѣкъ беретъ, онъ платитъ собой, — своимъ умомъ и силой, своей свободой и жизнью. А онъ отвѣчалъ, что онъ хочетъ сохранить себя цѣлымъ» (Горькій, II, 297—298).

**) Г. Горькій въ одномъ мѣстѣ раздумывается «о великомъ горящемъ сердцѣ Данка (а почему бы и не о Зобарѣ и Ларрѣ? Н. М.) и о человѣческой фантазіи, создавшей столько красивыхъ и сильныхъ легендъ, о старинѣ, въ которой были герои и подвиги, и о печальномъ времени, бѣдномъ сильными людьми и крупными событіями, богатомъ холоднымъ недовѣріемъ, смѣющимся надо всѣмъ, — жалкимъ временемъ мизерныхъ людей съ мертворожденными сердцами» (II, 322).

Нынѣ торжествуетъ «мораль рабовъ», въ основаніи которой лежитъ кротость, смиреніе, покорность, умѣренность и аккуратность, не воздѣйствіе на обстоятельства, а подчиненіе имъ. Но временами прокидываются экземпляры прирожденныхъ «господъ», которымъ принадлежитъ будущее. Они суть прообразы «сверхъ-человѣка», имѣющаго наслѣдовать землю. Въ настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшіе носители чувствъ мести и ненависти ко всему существующему, не уживающіеся въ тѣхъ, если угодно, «ямахъ», которыя имъ предлагаются существующими условіями, и населяющіе Мертвый Домъ Достоевскаго. Но этотъ исходъ не единственный, это только случай побѣды прирожденнаго «господина» рабскимъ обществомъ; возможенъ и противоположный исходъ, когда чандалъ, преступившій всѣ законы и всю мораль рабскаго общества, становится его дѣйствительнымъ господиномъ: таковъ былъ Наполеонъ. (Напомню, что и для Раскольникова въ «Преступленіи и наказаніи», считавшаго себя необыкновеннымъ изъ ряда вонъ выходящимъ человѣкомъ, имѣющимъ право «преступить», Наполеонъ былъ идеаломъ).

Я не думаю, конечно, излагать здѣсь всѣ взгляды Ничше и оставляю въ сторонѣ многое, очень многое, въ томъ числѣ подробности о «сверхъ-человѣкѣ», о проповѣди «любви къ дальнему» взамѣнъ «любви къ ближнему» и т. п. Все это не имѣетъ своей параллели въ произведеніяхъ г. Горькаго. Для насъ интересна здѣсь только психологія чандаловъ. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ея съ психологіей героевъ г. Горькаго. Кто, какъ не Ничшевскіе прирожденные господа этотъ Челкашъ въ противоположность рабу Гаврилѣ, Соколъ въ противоположность Ужу, Кузька-Косякъ въ противоположность мельнику, Данко въ противоположность всему табору, удалецъ Сережка въ противоположность разной деревенщинѣ, даже отчасти Чижъ въ противоположность Дятлу, или Макаръ Чудра, который учитъ автора: «Что-жъ, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успѣвъ даже могилы себѣ выковырять? Вѣ дома ему воля? Жизнь степная понятна? Говоръ морской волны веселитъ ему сердце? Эге! Онъ рабъ какъ только родился и во всю жизнь рабъ».

Отмѣчу нѣкоторыя любопытныя детали. Ничше рекомендовалъ (въ «Morgenröthe») всѣмъ, кому тѣсно въ Европѣ и кто, конечно, чувствуетъ себя «господиномъ», удаляться въ дикія мѣста и тамъ основывать новыя государства, становясь во главѣ ихъ. Ничше, какъ сообщаютъ его біографы, и самъ одно время мечталъ о подобной роли. Не напоминаетъ ли это читателю мысленное переселеніе Коновалова на островъ Робинзона? Хотя Коноваловъ устра-

нялъ оттуда даже Пятницу, но, какъ я уже говорилъ, по всей вѣроятности, скоро пожалѣлъ бы объ этомъ. По крайней мѣрѣ, Мальва мечтаетъ или жить далеко въ морѣ въ полномъ одиночествѣ и, слѣдовательно, никому не подчиняться, или «завертѣть бы каждаго человѣка, да и пустить волчкомъ вокругъ себя», то есть себѣ подчинить.

Мы видѣли, что босяки г. Горькаго не особенно мягко относятся къ своимъ дамамъ и бьютъ ихъ. А Ларра, осужденный на одиночество, приходилъ брать у своихъ соплеменниковъ силкомъ «скотъ, дѣвушекъ, все, что хотѣлъ». Значитъ, присутствіе женщинъ не нарушало его одиночества, женщина въ счетъ не идетъ. Для Ничше женщина «изящная и опасная игрушка», высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхъ-человѣка. А мудрая старушка совѣтуетъ Заратустрѣ: «если ты идешь къ женщинѣ, не забудь захватить кнутъ». Но, конечно, и мудрая старушка, и самъ Заратустра сдѣлали бы исключеніе, напримѣръ, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожей». столь же мало способна подчиниться Зобару, какъ и онъ ей.

Еще одно—и послѣднее—мелкое замѣчаніе, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читалъ статью Ничше «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben», тотъ можетъ принять разсказъ г. Горькаго о Чижѣ и Дятлѣ чуть не за художественный комментарій къ этой статьѣ...

Что изъ всего этого слѣдуетъ? Прежде всего то, что больной нѣмецкій мыслитель-художникъ, произведенія котораго переполнены странностями, противорѣчіями, произвольными положеніями и выводами, но тѣмъ не менѣе высокообразованный и высокодаровитый, а нѣкоторые утверждаютъ—даже геніальный, что этотъ мыслитель-художникъ можетъ занять мѣсто среди русскихъ Челкашей, Сережекъ, Кузекъ и прочихъ грубыхъ, пьяныхъ, преступныхъ, невѣжественныхъ героевъ г. Горькаго. Это не такъ странно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Съ одной стороны, самъ Ничше различаетъ чандаловъ—обитателей Мертваго Дома и чандаловъ — Наполеоновъ, при чемъ различіе это устанавливаетъ не по существу, а по случайностямъ судьбы тѣхъ и другихъ; съ другой стороны, и въ коллекціи г. Горькаго есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическимъ ореоломъ Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконецъ, мы имѣемъ еще промежуточное звено въ лицѣ многихъ героевъ Достоевскаго, каковы не только обитатели Мертваго Дома, приближающіеся къ Сережкамъ и Челкашамъ, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающіеся къ Зобарамъ, Ларрамъ, Наполеонамъ.

Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горькаго имѣлъ

вліяніе Ничше, и склоненъ, напротивъ, думать, что это именно совпаденіе, а не сознательное усвоеніе или безсознательное подражаніе. Вліяніе Достоевскаго можетъ быть достовѣрнѣе. Но во всякомъ случаѣ мы имѣемъ трехъ писателей, весьма различныхъ, повидимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по формѣ работы, но сосредоточившихъ свое вниманіе на однихъ и тѣхъ же явленіяхъ душевной жизни, весьма мало изученныхъ. И, повидимому, эти явленія становятся все ярче, замѣтнѣе, потому что вотъ, по крайней мѣрѣ, въ Европѣ они нашли себѣ теоретическое обоснованіе и апологію въ ученіи Ничше.

Надо, однако, замѣтить, что физіономія Ничше представляетъ собою нѣчто чрезвычайно сложное и противорѣчивое, въ виду чего въ Европѣ, несомнѣнно переживающей нынѣ нѣкоторый духовный кризисъ, имъ интересуются, желаютъ опереться на него или причислить его къ своимъ люди чрезвычайно различныхъ направленій. Не говорю о тѣхъ, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «послѣднее слово», и кого ни къ чему не обязываетъ это послѣднее слово, изъ котораго они, впрочемъ, и корысти никакой не извлекаютъ, а такъ себѣ, какъ перо на шляпѣ носятъ. Но вотъ, напримѣръ, нравственно распущенные люди, люди sans foi ni loi пожелали опереться на «имморализмъ» Ничше; и совершенно напрасно, потому что хотя онъ и самъ называлъ себя «имморалистомъ», но, въ сущности, онъ настоящій моралистъ, при томъ очень строгій, только его мораль рѣзко отличается отъ нынѣ общепризнанной. Въ Европѣ все растетъ разочарованіе въ общественныхъ формахъ, выработанныхъ ея исторіей, и не только реальныхъ, но и въ тѣхъ грядущихъ формахъ, которыя вырабатываются различными соціалистическими системами. Однимъ изъ плодовъ этого разочарованія является анархизмъ. Нѣкоторые изъ исповѣдующихъ анархизмъ и привѣтствовали Ничше. Они имѣли для этого нѣкоторое основаніе въ той части его ученія, которая безпощадно разрушаетъ всѣ, какъ реальныя, такъ и идеальныя общественныя формы, дескать, стѣсняющія и урѣзывающія личность, а также и еще кое въ чемъ. Но, узнавъ объ этомъ, Ничше вложилъ въ уста своему Заратустрѣ такія слова: «Есть люди, проповѣдующіе мое ученіе о жизни; и въ то же время это проповѣдники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смѣшивали съ этими проповѣдниками равенства». И дѣйствительно, трудно найти большаго ненавистника идеи равенства, чѣмъ Ничше. Его ученіе аристократическое durch und durch, какъ говорятъ нѣмцы. О рабочихъ онъ выражается такъ: «побралъ бы ихъ чортъ и статистика»; къ толпѣ, партіи, большинству, множеству, массамъ, народу онъ относится съ величайшимъ презрѣ-

ніемъ, не примыкая, однако, ни къ одному изъ существующихъ аристократическихъ теченій и, напротивъ, громя наличныя аристократіи рода и капитала. Однако, и въ этомъ отношеніи есть въ европейской литературѣ явленія, которыя можно поставить въ связь съ ученіемъ Ничше. Это, во-первыхъ, нѣкоторые отроги дарвинизма (какъ читатель могъ видѣть хотя бы изъ недавней нашей бесѣды о книгѣ «Von Darwin bis Nietzsche»). Это, во-вторыхъ, рядъ если не прямо аристократическихъ, то во всякомъ случаѣ анти-демократическихъ толкованій вопроса о «герояхъ и толпѣ» *). Наконецъ, и нѣкоторые декаденты не безъ основанія признаютъ Ничше своимъ, хотя должны бы это дѣлать съ большими оговорками.

Все это я говорю, какъ вообще въ виду растущаго у насъ интереса къ ученію Ничше **), такъ въ частности для убѣжденія читателя въ томъ, что усвоеніе той или другой стороны этого ученія, а тѣмъ болѣе совпаденіе съ одной изъ нихъ, отнюдь не обязательно ведетъ къ принятію всего Ничше. Въ данномъ случаѣ у насъ рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о нѣкоторыхъ темныхъ явленіяхъ душевной жизни, которыя въ нашей литературѣ разрабатывались Достоевскимъ совершенно самостоятельно и раньше Ничше; при чемъ общее міровоззрѣніе Достоевскаго рѣзко отличается отъ міровоззрѣнія Ничше и во многихъ отношеніяхъ даже прямо противоположно: если бы Ничше зналъ всего Достоевскаго, то, конечно, не отзывался бы объ немъ съ такою восторженностью, какъ теперь.

Что касается г. Максима Горькаго, то онъ еще слишкомъ молодъ (разумѣю, конечно, литературную молодость) и недостаточно опредѣлился, чтобы можно было судить, какъ объ его общемъ міровоззрѣніи, такъ и объ его дальнѣйшей литературной карьерѣ. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежатъ сомнѣнію. Но все это можетъ въ будущемъ и расцвѣсть пышнымъ цвѣткомъ, и если не изсякнуть, то затеряться въ погонѣ за психологическими тонкостями, въ своего рода психологической гастрономіи, презирающей здоровое и питательное и ищущей остраго

---

*) Вопросъ этотъ очень занимаетъ европейскую литературу. Не говоря объ извѣстныхъ и русскимъ читателямъ сочиненіяхъ Тарда, Сигеле, Лебона, то и дѣло появляются на эту тему новыя книги и журнальныя статьи.

**) Въ самое послѣднее время, кромѣ журнальныхъ статей, появились Алоизъ Риль и Г. Зиммель, «Фридрихъ Ничше» (очеркъ Риля появился и раньше, въ другомъ изданіи); Германъ Тюркъ, «Философія эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный переводъ отрывка изъ книги «Der geniale Mensch»); «Графъ Л. Н. Толстой и Фридрихъ Ничше. Очеркъ философско-нравственнаго ихъ міровоззрѣнія», проф. В. Г. Щеглова.

прянаго, рѣдкаго и исключительнаго. Конечно, и рѣдкое вполнѣ достойно нашего вниманія. тѣмъ болѣе, что оно часто оттѣняетъ собою и, слѣдовательно, уясняетъ общіе душевные процессы. Но психологическіе гастрономы,—къ числу которыхъ и Достоевскій принадлежалъ,—склонны, во-первыхъ, придавать исключительному слишкомъ общее значеніе, а, во-вторыхъ, искусственно и произвольно составлять разныя пикантныя комбинаціи.

«Декаденты—тонкіе люди. Тонкіе и острые, какъ иглы, они глубоко вонзаются въ неизвѣстное». Это говоритъ у г. Горькаго одинъ изъ героевъ разсказа «Ошибка» (II, 350). Я до сихъ поръ не касался этого страннаго разсказа, стоящаго особнякомъ въ двухъ томикахъ г. Горькаго, но ясно указывающаго, мнѣ кажется, на тѣ опасности, которыя грозятъ автору на его дальнѣйшемъ литературномъ пути. Декаденты (конечно, искренніе, потому что есть и просто ломающіеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонкимъ и острымъ игламъ, глубоко вонзающимся въ неизвѣстное, но въ дѣйствительности закутываютъ туманомъ и извращаютъ вычурностью часто даже вполнѣ извѣстное. И вотъ этотъ-то туманъ и эта вычурность вмѣсто искомой тончайшей правды грозятъ и г. Горькому. Онъ можетъ считать себя неотвѣтственнымъ за приведенную хвалу декадентамъ, потому что высказываетъ ее психически-больной Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Ярославцеву, такъ и другому дѣйствующему лицу, тоже психически-больному Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроенія, общія всѣмъ босякамъ г. Горькаго (хотя и Ярославцевъ, и Кравцовъ не босяки) и очевидно очень занимающія автора. Тутъ и «человѣкъ, къ жизни не причастный и отъ нея отторгнутый», и жажда подвига и афоризмъ: «жалость и жестокость! да вѣдь это два совершенно однородныя слова»; и желаніе «вывести вонъ изъ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые свѣтлые люди жизни», и предложеніе «выйти за границы жизни въ песчаныя необитаемыя пустыни», и т. д. Сомнѣваюсь, чтобы спеціалистъ психіатръ нашелъ картины болѣзни Ярославцева и Кравцова соотвѣтствующими дѣйствительности; думаю, что это совершенно произвольная психіатрія. А вмѣстѣ съ тѣмъ не выясняются и такъ занимающія г. Горькаго мысли и настроенія, потому что двое сумасшедшихъ, конечно, могутъ только запутать дѣло.

Остановимся хоть на одномъ пунктѣ. «Жалость и жестокость—два совершенно однородныя слова», и Ярославцеву «удивительно, какъ это до сей поры никто не замѣчалъ, что это синонимы по смыслу». Это одна изъ варьяцій на тему о границахъ наслажденія

и страданія. Но вотъ какъ иллюстрируетъ свой афоризмъ Ярославцевъ. Однажды въ деревнѣ онъ былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены: телка упала въ оврагъ и сломала себѣ переднія ноги; собралась толпа; она «стояла вокругъ телки и больше съ любопытствомъ, чѣмъ съ состраданіемъ, наблюдала за ея движеніями и слушала ея стоны»; подошелъ кузнецъ Матвѣй и, обругавъ «дурачьемъ» «любующихся» на страданія телки, ударилъ ее по головѣ желѣзной полосой и тѣмъ прекратилъ страданія. Ярославцевъ заключаетъ: «Вотъ онъ какъ жалѣлъ, этотъ Матвѣй! Можетъ быть онъ такъ же бы поступилъ и съ человѣкомъ безнадежно больнымъ. Морально это или не морально? Во всякомъ случаѣ это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слабъ и, значитъ, я хорошъ! Вотъ какъ!»—Я уже не говорю о полной безсмыслицѣ послѣднихъ словъ, тутъ даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмемъ самый фактъ, иллюстрирующій положеніе о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрѣлищемъ страданій телки, и тутъ можно подозрѣвать загадочную смѣсь жестокости и состраданія, но кузнецъ Матвѣй очевидно не годится для иллюстраціи тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняетъ страданіе или любуется на него, а кузнецъ обругалъ любующихся и прекратилъ страданіе. Нѣтъ, значитъ, никакого повода дѣлать изъ этого простого и яснаго факта что-то загадочное, таинственное, для проникновенія въ которое требуются тонкія и острыя иглы декадентства.

Интереснѣе изреченіе Ярославцева: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говоритъ психически больной человѣкъ, и слѣдовательно опять таки авторъ за эти слова не отвѣтственъ. Но то, что поднимаетъ надъ окружающими всѣхъ босяковъ г. Горькаго,—очищенныхъ и неочищенныхъ, реальныхъ и легендарныхъ или символическихъ,—есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится,—на величайшій ли подвигъ самоотверженія или на величайшее, даже фантастическое злодѣйство,—это вопросъ второй и даже, можетъ быть, безразличный: «это сильно, *прежде всего* сильно, и *потому* оно морально и хорошо». Такъ склонны смотрѣть всѣ босяки г. Горькаго, стирая общепризнанныя, по крайней мѣрѣ на словахъ, границы между добромъ и зломъ и требуя, устами философствующаго отставного ротмистра Аристида Кувалды, «новыхъ» критеріевъ морали. Смѣлость и откровенность, съ которыми отверженцы ставятъ и даже практически разрѣшаютъ этотъ вопросъ, импонируютъ окружающимъ, а босяковъ очищенныхъ, легендарныхъ даже окружаютъ блескомъ поэтическаго ореола. Очевидно, однако, что, признавъ вмѣстѣ съ ними

«прежде всего силу» верховнымъ критеріемъ морали, мы оказались бы во власти цѣлой сѣти недоразумѣній, изъ которыхъ остановимся на одномъ. Герои г. Горькаго «жадны жить», ищутъ «возбужденія *всей* души». Формы, въ которыхъ проявляется эта жадность, обусловливаются обстоятельствами времени и мѣста; если бы, напримѣръ, жизнь предлагала героямъ г. Горькаго не «ямы», а достаточное «возбужденіе всей души» на мѣстѣ, то имъ незачѣмъ было бы бродяжить. Какъ бы мы ни относились, однако, ко всѣмъ этимъ частностямъ, нельзя не остановиться на томъ, что изъ разнообразныхъ отношеній къ людямъ, какія могутъ «возбуждать душу», они выше всего ставятъ мотивы властнаго, повелительнаго воздѣйствія, которое способны доводить до жестокости и мучительства, и слѣдовательно роютъ другимъ возмутительнѣйшія «ямы»; а нѣтъ почему-нибудь поприща для такого воздѣйствія,—такъ и совсѣмъ не надо людей, можно и въ одиночку прожить, или же—смерть (вмѣстѣ со всѣмъ человѣчествомъ, какъ въ мечтахъ Кувалды и Орлова, или вмѣстѣ съ непокоряющимся субъектомъ, какъ въ случаѣ Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбужденія всей души», есть явленіе законное и желательное, дѣйствительно способное образовать собою психологическій фундаментъ высокой морали. Жалки люди, не знающіе этой жадности и соглашающіеся быть инструментами съ оборванными струнами: но если и признать, что Wille zur Macht, жажда власти, превосходства, есть необходимая струна человѣческой души, то все же она лишь одна изъ струнъ и при «возбужденіи *всей* души» ея звуки должны гармонически умѣряться иными звуками. Разъ мы это признаемъ, мы тотчасъ увидимъ несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидимъ и разницу между дѣйствіями Данка, съ одной стороны, и Ларры—съ другой, между мечтой Орлова спасти Россію отъ холеры и его же мечтой перебить всѣхъ жидовъ или раздробить землю въ пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шелъ впереди своихъ людей изъ лѣсу, освѣщая имъ путь своимъ горящимъ сердцемъ,—но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ сострадалъ этимъ людямъ, переживалъ ихъ жизнь; слѣдовательно, въ его душѣ звенѣла, по крайней мѣрѣ, одна лишняя струна по сравненію съ Ларрой, который оказался неспособнымъ переживать чужую жизнь и только желалъ «быть первымъ». Пусть честолюбіе было однимъ изъ мотивовъ Орлова, когда онъ хотѣлъ на смерть схватиться съ холерой, но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ переживалъ жизнь видѣнныхъ имъ въ холерной больницѣ страдальцевъ: слѣдовательно, его жизнь была въ этотъ моментъ полнѣе, богаче, чѣмъ тогда, когда онъ, именно отъ пустоты жизни, мечталъ объ избіеніи жидовъ и раздробленіи земли. Разница, кажется, достаточно ясная

для того, чтобы мы могли, именно съ точки зрѣнія «жадности жить», отвергнуть положеніе: «это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» въ «Бывшихъ людяхъ» не забылъ римской исторіи и знаетъ, что «гольтепа создала Римъ». Согласился ли бы онъ съ приведеннымъ положеніемъ, если бы его ему иллюстрировали такъ: Неронъ сжегъ Римъ, распиналъ и отдавалъ на съѣденіе звѣрямъ разную «гольтепу», не отказывая себѣ, впрочемъ, въ удовольствіи казнить и знатныхъ, и богатыхъ,—это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартакъ сплотилъ разную «гольтепу» и три года держалъ міродержавный Римъ въ страхѣ,—это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что по пристрастію къ «гольтепѣ», довольно, впрочемъ, въ его положеніи естественному, «учитель» нашелъ бы, что никакія декадентскія иглы, какъ бы онѣ ни были остры и тонки, не сошьютъ эти два явленія въ однородное цѣлое.

Мнѣ кажется, что г. Горькаго одолѣваетъ нѣкоторая не совсѣмъ для него самого ясная идея; именно одолѣваетъ, не смотря на свою неясность, а можетъ быть благодаря этой неясности. И только когда онъ отъ ея гнета такъ или иначе освободится,—совсѣмъ ли ее отброситъ или вполнѣ овладѣетъ ею,—мы получимъ возможность окончательно судить о размѣрахъ и значеніи пріобрѣтенія, сдѣланнаго въ его лицѣ нашей литературой. Какъ ни несомнѣнно его знакомство съ изображаемымъ имъ міромъ, но слишкомъ подозрительна эта частая повторяемость однихъ и тѣхъ же (очень, впрочемъ, интересныхъ) мотивовъ, даже однихъ и тѣхъ же выраженій, словъ; тѣмъ болѣе подозрительна, что эти мотивы и выраженія г. Горькій предоставляетъ и не босякамъ: существамъ фантастическимъ и аллегорическимъ, а также двумъ сумасшедшимъ. Это свидѣтельствуетъ, я думаю, что къ своимъ наблюденіямъ г. Горькій прибавляетъ кое-что, имъ не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не бѣда, но—да простится мнѣ грубоватое и можетъ быть не совсѣмъ удачное слово—г. Горькій еще не переварилъ того, что его такъ занимаетъ, не усвоилъ настолько, чтобы претворять въ образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается въ одно органическое цѣлое съ его наблюденіями, авторъ ее подсовываетъ своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Отсюда многія художественныя безтактности, о которыхъ я уже упоминалъ и распространяться о которыхъ мнѣ не хочется.

Къ сожалѣнію, г. Горькому грозитъ въ будущемъ нѣчто гораздо худшее, чѣмъ эти досадныя безтактности, а именно—«тонкія и острыя иглы декадентства», которыя въ дѣйствительности не только не тонки и не остры, а, напротивъ, очень грубы и тупы.

Но въ двухъ томикахъ г. Горькаго есть и совсѣмъ иного рода задатки. Босяки занимаютъ въ этихъ двухъ томикахъ столько мѣста и авторъ такими усиленными эффектами привлекаетъ къ нимъ вниманіе читателей, что неудивительно, если критика просто даже не замѣтила двухъ разсказовъ или очерковъ, не имѣющихъ къ босякамъ никакого отношенія, ни прямого, ни косвеннаго, ни реальнаго, ни аллегорическаго. Это, во-первыхъ, «Ярмарка въ Голтвѣ»,— маленькій очеркъ, написанный безъ претензій на какую-нибудь глубину или «проникновеніе», бездѣлка, но вся пропитанная какимъ-то мягкимъ, свѣтлымъ юморомъ, производящимъ тѣмъ большее впечатлѣніе, что этого элемента совсѣмъ нѣтъ въ другихъ произведеніяхъ г. Горькаго. Это, во-вторыхъ, разсказъ «Скуки ради», гораздо болѣе серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполненію. Самое чуткое ухо не услышитъ здѣсь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнетъ и не прибавитъ ни одного слова. И хотя тутъ нѣтъ ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и безъ авторскаго подсказыванія самъ скажетъ: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, въ которой «скуки ради» продѣлывается возмутительнѣйшее издѣвательство надъ людьми! Продѣлывается не злобно, а именно только скуки ради, какъ суррогатъ настоящей жизни. И сами эти жестокіе забавники, творящіе издѣвательство, но не вѣдающіе, что творятъ, вызываютъ, не смотря на свою отупѣлость, едва ли даже не больше сожалѣнія, чѣмъ ихъ жертвы; ибо и они, эти жестокіе забавники,— жертвы «ямы»... Разсказъ этотъ такъ цѣленъ и въ цѣльности своей хорошъ, что я не стану передавать его содержаніе или приводить отрывки изъ него,—и то и другое можетъ только ослабить впечатлѣніе.

Если къ этимъ двумъ задаткамъ, очень разной цѣны, но одинаково цѣльнымъ и законченнымъ, прибавить отдѣльныя страницы въ родѣ вышеупомянутой сцены пѣнія въ «Тоскѣ» и превосходные пейзажи, разсыпанные въ произведеніяхъ г. Горькаго, то станетъ ясно, что мы имѣемъ дѣло съ большой художественной силой. И неужели же этой силѣ суждено заглохнуть въ какой-нибудь нашей «ямѣ» или увѣровать въ тонкость и остроту декадентскихъ иголъ?

XVII *).

О шутахъ.

Читатель ошибется, если пойметъ слово «шуты» въ переносномъ смыслѣ и разсчитываетъ найти подъ этимъ заголовкомъ бесѣду о тѣхъ многочисленныхъ и несомнѣнныхъ шутахъ, которые, однако, и не подозрѣваютъ, что играютъ шутовскую роль, да и другихъ иной разъ вводятъ въ заблужденіе. Въ высокой степени интересно было бы перелистать съ этой точки зрѣнія кое-какія страницы нашей литературы и жизни, всмотрѣться въ нѣкоторыя серьезнѣйшія физіономіи, классическія позы, благороднѣйшіе или граціозные жесты, вслушаться въ патріотическія или иныя, патетическія, строго-научныя и т. п. рѣчи... У Тургенева въ разсказѣ «Лебедянь» мимоходомъ является «господинъ высокаго роста съ благороднѣйшей осанкой,—по всѣмъ признакамъ шулеръ», который «произноситъ въ галстухъ: че-о-экъ, э, трубку!» Если надменная рѣчь и благороднѣйшая осанка отлично уживаются съ шулерствомъ, то тѣмъ паче совмѣстимы онѣ съ шутовствомъ. Шулеръ все-таки знаетъ, что онъ шулеръ, а шутъ и не подозрѣваетъ, до какой степени пошлъ его благороднѣйшій паѳосъ, до какой степени нелѣпы его граціозные жесты, до какой степени глупы его ученыя рѣчи, и изъ какого сквернаго картона сдѣланъ мечъ, которымъ онъ размахиваетъ. Онъ, напротивъ, увѣренъ, что его устами говоритъ сама наука, житейская мудрость или политическая проницательность, что онъ—само изящество; онъ даже вѣритъ въ свое благородство, когда, бія себя въ грудь, дрожащимъ голосомъ «о честности высокой говоритъ» и «самъ плачетъ, и мы всѣ»... да, бываетъ, что и мы, хоть и не «всѣ, рыдаемъ», тогда какъ должны бы были заливаться смѣхомъ...

Какъ ни интересны эти носители картонныхъ мечей, бутафор-

*) Ноябрь 1898 г.

скаго благородства и верблюжьей граціозности, не они насъ будутъ занимать, а настоящіе шуты, презираемые, но иногда и могучіе люди, сознательно бравшіе на себя шутовскую роль; тѣ самые, которымъ посвящена книжка Газо, недавно вышедшая въ русскомъ переводѣ г-жи Федоровой подъ заглавіемъ «Шуты и скоморохи всѣхъ временъ и народовъ».

Книжка Газо въ оригиналѣ появилась слишкомъ полтора десятка лѣтъ тому назадъ и уже эксплуатировалась въ русской литературѣ, а именно въ статьѣ г. П. П. «Шуты и скоморохи въ древности и въ новѣйшее время», напечатанной въ «Историческомъ Вѣстникѣ» за 1888 годъ, въ которой были приняты въ соображеніе и нѣкоторые другіе источники. Что же касается перевода г-жи Федоровой, то я не сличалъ его съ французскимъ подлинникомъ страницу за страницей, но онъ, повидимому, можетъ служить образчикомъ нашего безцеремоннаго отношенія къ иностраннымъ писателямъ. Я ужъ не говорю о томъ, что г-жа Федорова превращаетъ Аполлинарія Сидонія въ «Сидонія Аполлинарскаго» (стр. 36), юрисконсульта въ «юриста-консула» (65) и т. п. Но въ переводѣ встрѣчаются ни чѣмъ не объяснимые пропуски. Напримѣръ, на стр. 39 читаемъ: «Шуты встрѣчались и при Карлѣ Великомъ, потому что еще въ то время была извѣстна шахматная игра, въ которой два шута сопровождаютъ короля. Подобный выводъ, конечно, очень остроуменъ, но кажется нѣсколько натянутымъ». Кого же собственно упрекаетъ Газо въ остроумномъ, но натянутомъ выводѣ? Самого себя? Дѣло въ томъ, что г-жа Федорова почему-то пропустила указаніе Газо на французскаго писателя прошлаго столѣтія, которому принадлежитъ «остроумный, но нѣсколько натянутый выводъ». Попадались мнѣ, при бѣгломъ пересмотрѣ, и другіе пропуски, въ которыхъ, однако, можетъ быть, и нельзя винить переводчицу. Но она не только сокращаетъ, а и распространяетъ подлинникъ. Распространено уже самое заглавіе книги, которое въ оригиналѣ состоитъ всего изъ одного слова: «Les bouffons». Это бы еще не бѣда, но переводчица распространяетъ и «предисловіе» и «заключеніе» автора, увеличивая и то, и другое примѣрно вдвое и даже абзацами не отдѣляя своихъ словъ отъ словъ Газо, такъ что неизвѣстно даже кому принадлежатъ эти предисловіе и заключеніе: французскому автору или русской переводчицѣ. Это ужъ совсѣмъ не хорошо. Газо не классическій какой-нибудь писатель, но все-таки нѣтъ резона ни навязывать ему мысли г-жи Федоровой, ни г-жѣ Федоровой присваивать его мысли себѣ. Нѣсколько страницъ, посвященныхъ въ книжкѣ Газо шутамъ въ Россіи, переводчица замѣнила особымъ дополненіемъ собственной работы. Это было бы очень хорошо, если бы г-жа Федорова отнеслась къ своему дѣлу

съ большимъ вниманіемъ и съ большею критикою. А то, напримѣръ, значительная часть ея «дополненія» занята извѣстными и переизвѣстными, но несомнѣнно выдуманными, подложными анекдотами о Балакиревѣ.

Сама по себѣ книжка Газо представляетъ собраніе фактовъ (главнымъ образомъ изъ французской жизни), освѣщенныхъ, однако, довольно скудною идеею. Для Газо шуты—веселые и другихъ веселящіе люди, и только. По его мнѣнію, «всѣ шуты, домашніе, придворные, юродивые, поняли, какъ и безсмертный авторъ «Пантагрюеля», что веселье необходимо нашему бѣдному человѣчеству, и старались распространять это веселье вокругъ себя. Это ихъ большая заслуга. Благодаря имъ, съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ (depuis que le monde existe), смѣхъ, который Бюффонъ считалъ отличительнымъ признакомъ человѣческаго рода, не переставалъ раздаваться на нашей планетѣ. Упрекнутъ ли насъ въ томъ, что мы видимъ въ этихъ людяхъ главнымъ образомъ весельчаковъ? Правда, нѣкоторые изъ нихъ, пользуясь своимъ положеніемъ и расположеніемъ къ нимъ государей, заставляли иногда послѣднихъ выслушивать истину, но надо признать, что въ роли реформаторовъ, искоренителей злоупотребленій, покровителей слабыхъ и притѣсняемыхъ шуты являлись чрезвычайно рѣдко». Существуетъ потребность въ смѣхѣ, весельи, и шуты удовлетворяютъ этой потребности. Они—весельчаки, rieurs, и въ этомъ заключается какъ причина, такъ и цѣль существованія шутовъ. Газо до такой степени увѣренъ въ этомъ исключительномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всемірномъ (depuis que le monde existe) значеніи шутовъ, что, отмѣтивъ фактъ упраздненія революціей 1789 г. придворныхъ и домашнихъ шутовъ наравнѣ съ другими учрежденіями стараго порядка,—продолжаетъ: «Но революція не могла истребить въ человѣческомъ сердцѣ потребность смѣха, жажду развлеченія отъ печалей жизни, составляющія какъ бы основаніе человѣческой природы и въ особенности французскаго характера. Поэтому у шутовъ были свои преемники»,—увеселявшіе ужины разныхъ muscadins, incroyables и прочей «золотой молодежи» временъ директоріи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, сообщая кое-какія свѣдѣнія о шутахъ кавказскихъ князей и африканскихъ царьковъ, Газо пишетъ: «Уровень современной цивилизаціи не мирится съ тѣми часто грубыми развлеченіями, которыхъ искали нѣкогда въ общеніи съ шутами и существами, обиженными природой, короли и знатные люди даже въ эпохи, признаваемыя наиболѣе утонченными. Кавказскіе и африканскіе шуты, представляющіе собою лишь тѣнь нашихъ придворныхъ шутовъ, исчезнутъ, какъ только нравственный уровень этихъ странъ поднимется».

Изъ этого видно, что идеи Газо, то освѣщеніе, которое онъ

бросаетъ на длинный рядъ историческихъ шутовъ, — не дорого стоятъ. Факты, имъ самимъ приводимые, свидѣтельствуютъ о томъ, что видѣть въ шутахъ только веселыхъ и веселящихъ людей— по малой мѣрѣ односторонне. Односторонность эта ни мало не пополняется намекомъ на роль «реформаторовъ, искоренителей злоупотребленій, покровителей слабыхъ и угнетенныхъ», роль, которой, вообще говоря, шуты были чужды. Дѣло совсѣмъ не въ этомъ.

Характеризуя французскаго короля Генриха III, одинъ изъ его современниковъ говоритъ: «Что такое былъ Генрихъ, можно судить по этому нечистому животному, по этому ужасному чудовищу Сибило (шутъ Генриха). Нѣтъ ничего презрѣннѣе этого пьяницы, развратника и ругателя, однако король шумно веселился, глядя, какъ онъ, вооруженный палкой, съ пѣной у рта, на подобіе бѣшеной собаки, рыча какъ волкъ, нападалъ на встрѣчныхъ, какъ во дворцѣ, такъ и въ общественныхъ мѣстахъ». Газо заподозрѣваетъ вѣрность этого показанія, собственно потому, что авторъ его былъ враждебенъ Генриху. Это, конечно, не резонное соображеніе, да и въ картинѣ, нарисованной Жаномъ Буше (такъ звали упомянутаго современника Генриха III), нѣтъ ничего невѣроятнаго. Подобную же картину увеселеній нашихъ бояръ рисуетъ, напримѣръ, устами Артамона Матвѣева Островскій въ пьесѣ «Комикъ XVII столѣтія»:

Не стыдъ ли намъ, не грѣхъ ли потѣшаться
Калѣчествомъ, убожествомъ людскимъ?
На дураковъ смѣемся; эко диво,
Что глупъ дуракъ! А развѣ то умнѣе:
Сберемъ шутовъ, сведемъ ихъ въ кучу, дразнимъ,
Какъ дикихъ псовъ, пока не раздерутся,
И тѣшимся руганьемъ срамословнымъ
И дракою кровавой. То-ль забавы
Бояръ, думцовъ, правителей земли!

Извѣстно, что и гораздо позже бояре, думцы и правители земли увеселяли себя подобными зрѣлищами, и еще въ «Горѣ отъ ума» старуха Хлестова хвастаетъ своей шутихой:

Курчавая! Горбомъ лопатки!
Сердитая! Всѣ кошачьи ухватки!
Да какъ черна! да какъ страшна!
Вѣдь создалъ же Господь такое племя!
Чортъ сущій!..

Факты этого рода общеизвѣстны, и незачѣмъ прибавлять ихъ здѣсь (ниже они намъ, можетъ быть, еще понадобятся), чтобы устранить скептицизмъ Газо: Генрихъ III могъ веселиться, глядя на неистовства Сибило, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы самъ Сибило былъ веселый человѣкъ...

Газо очень съузилъ свою задачу, не касаясь художественныхъ изображеній шутовъ. Онъ ограничивается бѣглымъ замѣчаніемъ, что Трибуле подлинный, историческій совсѣмъ не похожъ на Трибуле — героя драмы В. Гюго «Le roi s'amuse». Каждый писатель въ правѣ намѣчать предѣлы своей задачи и не выходить изъ этихъ предѣловъ. Но въ данномъ случаѣ нельзя не пожалѣть, что Газо оставилъ въ сторонѣ поэтическія воспроизведенія шутовъ. О жизни историческихъ шутовъ мы знаемъ и очень много, и очень мало. Мы имѣемъ, напримѣръ, точное описаніе «Ледяного дома» и вѣнчанія шута Голицына и шутихи Буженниновой, имѣемъ подробное описаніе свадьбы Петровскаго шута Тургенева, знаемъ о шутахъ множество анекдотовъ (не всегда, впрочемъ, достовѣрныхъ), какими полна книжка Газо. Въ цѣломъ, какъ историческій матеріалъ, это даже слишкомъ большой грузъ, но за этой анекдотической пестротой легко проглядѣть психологію шута, вслѣдствіе чего и возможенъ, напримѣръ, такой итогъ, какой мы видимъ у Газо: шуты суть веселящіе весельчаки. Художникъ возсоздаетъ изъ этой разсыпанной храмины цѣльный образъ. Это можетъ быть историкъ-художникъ, ни на шагъ не отступающій отъ фактическихъ данныхъ, но пополняющій ихъ пробѣлы своей творческой фантазіей, комбинирующей результаты его житейскихъ наблюденій вообще. Это можетъ быть и художникъ, не гоняющійся за историческою точностью, лишь бы онъ въ такомъ случаѣ не выдавалъ своихъ измышленій за фактически достовѣрныя, какъ выдаются за таковыя небывалые анекдоты о Балакиревѣ. Такія поэтическія созданія могутъ помочь уясненію извѣстныхъ явленій лучше, чѣмъ даже вполнѣ достовѣрные анекдоты, не говоря уже о недостовѣрныхъ.

Въ «Le roi s'amuse» Трибуле сравниваетъ себя съ наемнымъ убійцей Сальтабадилемъ:

> Nous sommes tous les deux à la même hauteur:
> Une langue acérée, une lame pointue;
> Je suis l'homme qui rit, il est l'homme qui tue.

То есть: «мы съ нимъ стоимъ другъ друга: язвительный языкъ, острый клинокъ; я — человѣкъ, который смѣется, онъ — человѣкъ, который убиваетъ». Пусть историческій шутъ Людовика XII и Франциска I никогда ничего подобнаго не говорилъ, но одна эта фраза возстановляетъ передъ нами цѣлый рядъ фактовъ, свидѣтельствующихъ, что смѣхъ и веселье совсѣмъ не одно и то же, что есть и смѣхъ язвительный, убивающій, слѣдовательно, не веселье возбуждающій, при томъ не изъ веселаго сердца истекающій, а изъ мести, негодованія, злобы. Надо замѣтить, что Гюго имѣлъ тѣмъ болѣе права свободно трактовать фигуру Трибуле, что исто-

рическія свѣдѣнія объ немъ крайне разнорѣчивы: одни рисуютъ его настоящимъ идіотомъ, другіе — въ высшей степени остроумнымъ и проницательнымъ человѣкомъ. Но что онъ жилъ въ какой-то атмосферѣ горя и мученій, объ этомъ говоритъ уже его прозвище. Звали его собственно Февріаль или Феріаль, а прозвище Трибуле происходитъ отъ исчезнувшаго глагола, отъ котораго въ современномъ французскомъ языкѣ осталось только существительное tribulation, что значитъ—скорбь, бѣда. И Газо думаетъ, что прозвище Трибуле по нынѣшнему надо переводить «souffre-douleur», горемыка.

Подчеркнутыя выше слова Трибуле: «l'homme qui rit» Гюго впослѣдствіи сдѣлалъ заглавіемъ одного изъ своихъ удивительнѣйшихъ произведеній, въ которомъ, можетъ быть, больше, чѣмъ гдѣнибудь отразились всѣ достоинства и всѣ слабости великаго французскаго поэта. Это, какъ извѣстно, исторія нѣкоего лорда Кленчарли, изуродованнаго въ дѣтствѣ, по приказанію короля, такъ, что его лицо имѣетъ видъ смѣющагося человѣка, каково бы ни было его настроеніе и какія бы трагическія положенія онъ ни переживалъ. Подъ именемъ Гвинплена онъ входитъ въ составъ бродячей труппы и увеселяетъ простонародную публику на площадяхъ и ярмаркахъ своей страшной гримасой какъ бы неудержимаго смѣха. Веселье вызываетъ онъ и въ палатѣ лордовъ, куда попадаетъ, когда открывается его происхожденіе, и гдѣ говоритъ пламенную рѣчь въ защиту униженныхъ и угнетенныхъ. Этотъ хохотъ палаты лордовъ при видѣ «человѣка, который смѣется» по неволѣ и по наружности, когда въ душѣ его кипитъ негодованіе и месть, принадлежитъ, не смотря на свойственную Гюго вычурность, къ числу поразительнѣйшихъ художественныхъ эффектовъ во всемірной литературѣ.

Я вспомнилъ Гвинплена по слѣдующему поводу. Газо оговаривается въ одномъ мѣстѣ, что онъ не касается исторіи театра. Однако, самый ходъ работы наводитъ его на нѣкоторыхъ актеровъ (преимущественно народныхъ театровъ), которые были «гораздо болѣе шутами, чѣмъ актерами». Въ числѣ такихъ славился въ свое время нѣкій Gros-Guillaume, называвшійся также La Fleur. Этотъ «Толстый Гильомъ» страдалъ какою-то болѣзнью, причинявшею ему страшныя мученія, но «каждое его появленіе на сцену вызывало веселость публики, принимавшей его вызванныя болью гримасы за шутовскія кривлянья» *). Вотъ подлинная житейская черта, кото-

*) Здѣсь будетъ кстати привести случай, разсказанный у Гримма. Къ знаменитому въ свое время врачу Шираку пришелъ больной. Выслушавъ его, врачъ, вмѣсто всякаго лѣкарства, далъ совѣтъ сходить въ итальянскую ко-

рую Гюго могъ сознательно или безсознательно положить въ основаніе своего Гвинплена, поднявъ ее, силою своей творческой фантазіи, до высшаго паѳоса и обставивъ ее сложной коллизіей историческихъ и вымышленныхъ фактовъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ эта подлинная житейская черта,—въ особенности въ связи со многимъ и многимъ другимъ, что мы еще увидимъ,—хорошо оттѣняетъ заключительныя слова книжки Газо (почему-то опущенныя въ русскомъ переводѣ): «черезъ ихъ (шутовъ) посредство смѣняющіяся поколѣнія людей передавали одно другому факелъ веселья; въ этомъ ихъ слава, и ея довольно съ нихъ».

Факелъ веселья!.. Можетъ быть... Но что руки, державшія этотъ факелъ, часто дрожали отъ физической боли или нравственной муки, отъ злобы или ужаса,—это уже не можетъ быть, а навѣрное...

Въ моей памяти сохранился изъ дѣтской жизни образъ одного шута, настоящаго, форменнаго, въ пестрой одеждѣ и съ бубенчиками (быть можетъ это былъ послѣдній форменный шутъ). Онъ былъ крѣпостной. Былъ ли онъ остроуменъ или забавенъ, я не могу судить. Помню только одинъ его отвѣтъ на вопросъ, который ему, кажется, часто задавался: «Сколько верстъ отъ Костромы до Нерехты?»—Шутъ говорилъ цифру.—«Ну, а отъ Нерехты до Костромы?»—Шутъ говорилъ совсѣмъ другую цифру и на новый вопросъ о причинѣ такой разницы съ ужимкой отвѣчалъ: «потому,—тутъ проселкомъ». Надъ шутомъ смѣялись, дразнили его, но я его боялся, онъ казался мнѣ хитрымъ и злымъ. Думаю, что таковъ онъ и былъ, но и злостью своею онъ долженъ былъ смѣшить. Другое воспоминаніе, гораздо болѣе позднее,—деревенская «дура», Любка, какъ ее называли въ селѣ, по просту сумасшедшая, какія и теперь часто по деревнямъ бродятъ. Есть мнѣніе, что простой народъ относится къ сумасшедшимъ, по крайней мѣрѣ, смирнымъ, свободно разгуливающимъ подъ именемъ «дурачковъ», «дуръ», «юродивыхъ», съ особеннымъ уваженіемъ. Я не помню особенныхъ знаковъ уваженія къ Любкѣ, но не помню также, чтобы кто-нибудь изъ старыхъ мужиковъ ее обижалъ или дразнилъ. Но для молодежи, и особенно для ребятишекъ, она была настоящей шутихой; они доводили ее до бѣшенства, выражавшагося тѣмъ, что она ругалась, бросалась камнями, дѣлала безсмысленно неприличные жесты, и все это еще болѣе веселило публику, пока кто-нибудь изъ старшихъ не заступался за несчастную. И эта несчастная, безобразная, грязная Любка стала матерью. Нашелся негодяй, совершившій надъ

медію и посмотрѣть на Арлекина, который, дескать, своей веселой игрой разгонитъ болѣзнь. «Господинъ докторъ,—отвѣчалъ больной,—я этотъ самый Арлекинъ и есть».

ней то же издѣвательство, какое Ѳедоръ Карамазовъ совершилъ надъ Лизаветой Смердящей...

Эти два образа всплыли въ моей памяти при чтеніи заключительныхъ строкъ книжки Газо о преемственно, изъ поколѣнія въ поколѣніе передаваемомъ шутами факелѣ веселья. Но въ самой книжкѣ содержится не мало фактовъ въ родѣ того, что такого-то шута такой-то властный человѣкъ обѣщался избить палкой, а такого-то и дѣйствительно прибилъ; и прибилъ иной разъ, по понятіямъ своего времени, вполнѣ заслуженно, за слишкомъ «язвительный языкъ», за ту langue acérée, которую Трибуле драмы Гюго сравниваетъ съ lame pointue. Слѣдовательно, исторія шутовъ представляетъ собою не идиллію какую-то, въ которой одни веселятъ, а другіе веселятся. Шуты навѣрное гораздо рѣже веселились сами, чѣмъ веселили другихъ, но и другихъ они не только веселили: ихъ боялись, ихъ ненавидѣли, ихъ въ особенности презирали. За что презирали?

На этотъ послѣдній вопросъ Гюго, говоря о положеніи Гвинплена, отвѣчаетъ, съ свойственною ему трудно переводимою вычурною лапидарностью и парадоксальностью, такъ:

«Человѣкомъ владѣетъ мысль отомстить за доставленное ему удовольствіе. Отсюда презрѣніе къ комедіанту.—Это существо очаровываетъ меня, развлекаетъ, поучаетъ, восхищаетъ, внушаетъ мнѣ идеалъ, доставляетъ мнѣ удовольствіе и пользу,—какимъ зломъ я могу ему отплатить? Униженіемъ. Презрѣніе, это пощечина на разстояніи. Дадимъ ему пощечину. Оно мнѣ нравится, значитъ оно низко. Оно мнѣ служитъ, поэтому я его ненавижу. Гдѣ взять камень, чтобы бросить въ него? Жрецъ, дай свой. Философъ, дай свой. Боссюэтъ, отлучи его отъ церкви. Руссо, оскорби его. Ораторъ, плюнь въ него камнями, которыми набитъ твой ротъ. Медвѣдь, брось въ него свой булыжникъ. Забросаемъ каменьями дерево, собьемъ плодъ и съѣдимъ его. Браво! и—долой! Декламировать стихи, это значитъ быть зачумленнымъ. Скуемъ скомороху цѣпи изъ его успѣха. Закончимъ его торжество свистками. Пусть онъ собираетъ толпу и остается одинокимъ. И такимъ-то образомъ богатые, такъ называемые высшіе классы изобрѣли для комедіанта аплодисментъ, какъ форму отчужденія.—Чернь не такъ жестока. Она не ненавидѣла Гвинплена. Она и не презирала его. Но послѣдній конопатчикъ послѣдняго экипажа на послѣднемъ суднѣ, стоящемъ въ послѣднемъ англійскомъ портѣ, считалъ себя неизмѣримо выше этого забавника «сволочи» и думалъ, что конопатчикъ настолько же выше паяца, насколько лордъ выше конопатчика».

Этотъ наборъ антитезъ и эффектныхъ словъ ничего, разумѣется,

не объясняетъ. Онъ даже не развиваетъ, а только на разные лады повторяетъ и словесно распространяетъ въ приложеніи къ актеру— основное положеніе: человѣкъ мститъ за доставленное ему удовольствіе. Это положеніе, можетъ быть, и защитимо до извѣстной степени: есть низкія души, для которыхъ чувство благодарности настолько непереносно тяжело, что онѣ злобно реагируютъ противъ его возникновенія; имъ кажется, что онѣ унижены сдѣланнымъ имъ добромъ (можетъ быть потому, что отплатить тѣмъ же онѣ не въ силахъ), и онѣ, при случаѣ, отплачиваютъ за это именно униженіе, а не за сдѣланное имъ добро. Отсюда многочисленныя житейскія драмы на тему о змѣѣ, отогрѣтой на груди. Едва ли, однако, эта черта годится для объясненія явленій, о которыхъ говоритъ Гюго. Змѣя, отогрѣтая на груди, выжидаетъ удобнаго случая, до времени затаивая въ себѣ злобу, и уже поэтому не можетъ смотрѣть на отогрѣвшаго ее такъ искренно и просто сверху внизъ, какъ смотритъ «конопатчикъ» на «скомороха» или «паяца». Въ этомъ послѣднемъ отношеніи мы имѣемъ нѣчто массовое, непосредственное и вмѣстѣ съ тѣмъ длящееся исторически, въ теченіе вѣковъ и поколѣній длящееся. Поэтому и корней его надо искать не въ случайныхъ комбинаціяхъ элементовъ индивидуальной души, а въ какомъ-то опредѣленномъ и, вѣроятно, очень далекомъ историческомъ прошломъ, которое уже утратило свой смыслъ, но, по пословицѣ le mort saisit le vif, держитъ въ своей власти людей помимо ихъ сознанія, какъ безсознательное «переживаніе», какъ нѣчто себя пережившее.

Приведенная шумиха словъ Гюго ничего не объясняетъ, но въ ней вѣрно указанъ фактъ какого-то двойственнаго отношенія къ шутамъ и актерамъ. Да простятъ мнѣ господа актеры это сопоставленіе, но я слѣдую за Гюго, который, трактуя о шутахъ, скоморохахъ, паяцахъ (histrion, saltimbanque), имѣетъ въ виду и тѣхъ, кто «очаровываетъ, поучаетъ, внушаетъ идеалъ». И онъ совершенно правъ. Мудрено говорить объ исторіи шутовъ, не касаясь исторіи театра (это и Газо не вполнѣ удалось). Во всякомъ случаѣ двойственное отношеніе публики знакомо и актерамъ. Не удивительно, если тетка комика Счастливцева, уѣздная лавочница, считаетъ племянника «душѣ своей погубителемъ», — она никогда не бывала въ театрѣ и никогда не пойдетъ туда, потому что знаетъ, что театръ есть вмѣстилище грѣха и зла. Но и трагикъ Несчастливцевъ (мимоходомъ сказать, свысока смотрящій на комиковъ, какъ на «шутовъ») испытываетъ на себѣ презрѣніе Гурмыжской, которая въ театрѣ бывала, и Милонова, который чтитъ «все высокое и прекрасное» и, конечно, не хуже Несчастливцева знаетъ, что «за одну слезу актера платятъ тысячи слезъ зрителей». Это

уже гораздо болѣе удивительно. А между тѣмъ чуть не сквозь всю исторію театра проходитъ эта смѣсь восторга, очарованія, съ одной стороны, и презрѣнія — съ другой, вѣнковъ лавровыхъ и терновыхъ. Въ новой исторіи это особенно сильно сказалось во Франціи.

Въ 1730 году умерла, какъ говорили отъ отравы, знаменитая актриса Адріенна Лекувреръ. Передъ смертью къ ней явился католическій священникъ съ предложеніемъ отречься отъ профессіи, ее прославившей. Она не согласилась и слѣдствіемъ этого былъ отказъ хоронить ее по христіанскому обряду, хотя она была христіанка и даже завѣщала своей приходской церкви извѣстную сумму: ея трупъ не позволили похоронить даже въ томъ особенномъ мѣстѣ кладбища, гдѣ погребали младенцевъ, умершихъ безъ крещенія. Этотъ случай произвелъ много шуму, главнымъ образомъ, однако, въ виду слишкомъ ужъ большой популярности Адріенны Лекувреръ, а также въ виду того, что въ дѣло вступился Вольтеръ. Но «царю мысли XVIII вѣка» еще не разъ и потомъ пришлось выступать на защиту элементарнѣйшихъ человѣческихъ правъ актеровъ со всею свойственною ему въ такихъ случаяхъ энергіею. И «царь мысли» такъ и не дожилъ до эмансипаціи дѣятелей театральной сцены. Актеры были лишены не только христіанскаго погребенія, но считались недостойными и таинствъ покаянія, причащенія, брака. Такъ какъ гражданскій бракъ тогда не существовалъ, то актеры были осуждены, если они не хотѣли отречься отъ своей профессіи, на безбрачіе или внѣ-брачное сожительство со всѣми его послѣдствіями, въ числѣ которыхъ особенно тягостно была незаконность дѣтей. Любопытно, что не всѣ актеры находились въ такомъ положеніи: итальянская труппа и оперные пѣвцы почему-то не были отягощены этими ограниченіями. За то les comédiens du roi, съ которыхъ именно требовалось отреченіе, съ другой стороны — по гражданскому закону, не смѣли оставлять свою профессію; администрація держала ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, и отрекшагося могла силою заставить вернуться на сцену и, слѣдовательно, вновь подвергнуться церковному отлученію. Актеръ не имѣлъ никакихъ гражданскихъ правъ, не могъ быть, напримѣръ, свидѣтелемъ въ судѣ. Нѣкоторыя корпораціи, какъ корпорація адвокатовъ, извергали изъ своей среды даже тѣхъ, кто женился на актрисѣ или на дочери актрисы. За провинности актеры наказывались строго, а для актрисъ было назначено особенно унизительное тюремное заключеніе: въ Сальпетріерѣ, въ просторѣчіи называвшейся l'Hôpital. Здѣсь содержались проститутки, женщины и дѣвушки, арестованныя по жалобѣ родителей или мужей и т. п., арестанткамъ брили головы, спали онѣ на соломѣ и т. д. Правда, эта мѣра наказанія примѣнялась къ актрисамъ рѣдко: но все-таки примѣнялась. Ужасно было

уже то, что, напримѣръ, такой звѣздѣ какъ Клеронъ, пользовавшейся особымъ покровительствомъ и дружбой Вольтера, случалось слышать вопли театральной публики: «à l'hôpital la Clairon!» Философскимъ выразителемъ этого презрительнаго отношенія къ актерамъ явился Руссо въ своей извѣстной Lettre sur les spectacles. Революція торжественно ввела актеровъ въ число полноправныхъ гражданъ; но, не говоря уже о томъ, что это далось не безъ борьбы, извѣстно, что формальное признаніе полноправности еще не ведетъ за собой, по крайней мѣрѣ, немедленно, соотвѣтственнаго измѣненія въ понятіяхъ, нравахъ и обычаяхъ. И актеры испытали это на себѣ.

Приведенную маленькую горсточку фактовъ я взялъ изъ книги Могра «Les comédiens hors la loi», въ которой читатель найдетъ ихъ гораздо больше. У него же найдемъ и оборотную, свѣтлую, пожалуй даже черезчуръ свѣтлую сторону медали. Могра съ недоумѣніемъ отмѣчаетъ, что время вящшаго притѣсненія театральныхъ артистовъ и презрѣнія къ нимъ было вмѣстѣ съ тѣмъ и временемъ вящшаго увлеченія театромъ, восторговъ передъ его дѣятелями, избалованности актеровъ и актрисъ. Представители высшаго свѣта и воспитанницы женскихъ монастырей, офицеры и аббаты и сами устраивали спектакли, и посѣщали настоящіе театры, и находились въ постоянномъ общеніи съ актерами и актрисами. Каждое маленькое событіе въ театральномъ мірѣ волновало весь Парижъ. Та самая Адріенна Лекувреръ, тѣлу которой было отказано въ христіанскомъ погребеніи, была при жизни предметомъ всеобщихъ восторговъ и поклоненія. Клеронъ, сидя въ тюрьмѣ (не въ Сальпетріерѣ, впрочемъ), была посѣщаема разными дюками и дюшессами въ такомъ количествѣ, что, по свидѣтельству современника, улица, на которую выходила тюрьма, была цѣлый день запружена каретами. Ей посвящено множество стихотворныхъ посланій, одъ, стансовъ; въ честь ея выбивались медали; ей была предоставлена честь вѣнчать лаврами Вольтера въ день его апоѳеоза въ 1772 г. Когда актеръ Моле заболѣлъ, публика въ театрѣ требовала извѣстій о его здоровьѣ, самъ король посылалъ справляться о ходѣ болѣзни, и когда узнали, что врачъ предписалъ больному хорошее вино, то въ нѣсколько дней было прислано двѣ тысячи бутылокъ; а когда тутъ же стало извѣстно, что у Моле 20.000 ливровъ долгу, то въ пользу его былъ данъ спектакль, и подписка на этотъ спектакль, — въ которой, между прочимъ, участвовали четыре епископа,—дала 24.000 ливровъ Какъ разъ во время болѣзни Моле заболѣла ученая обезьяна нѣкоего Николе, балаганнаго артиста, дававшаго свои представленія, конечно, не для дюковъ и дюшессъ. И посѣтители театра Николе точно также волновались, требовали

свѣдѣній о болѣзни обезьяны и составляли въ пользу ея или ея хозяина подписку.

Все это кружило головы актерамъ. Они позволяли себѣ по отношенію и къ публикѣ въ цѣломъ, и къ отдѣльнымъ лицамъ, въ томъ числѣ и къ драматическимъ писателямъ, неслыханныя дерзости. Но, въ свою очередь, они, даже на верху своей славы и популярности, должны были быть всегда готовы,—не говоря уже о тюрьмѣ,—выслушать тоже крайнюю дерзость или даже подвергнуться физическому насилію. Вотъ два случая. Чиновнику, явившемуся арестовать Клеронъ, она сказала: «Я подчиняюсь велѣніямъ короля, мое имущество, моя личность, моя жизнь—въ его распоряженіи, но моя честь остается незапятнанною, надъ нею и король не властенъ» «Вы правы, сударыня,—отвѣчалъ чиновникъ,—гдѣ ничего нѣтъ, тамъ король теряетъ свои права». Другой случай. Актеръ Клерваль, вообще пользовавшійся расположеніемъ дамъ, находился, между прочимъ, въ связи съ графиней Стенвилль. Связь эта получила огласку, и Клерваль обратился за совѣтомъ къ своему товарищу Калльо: «Стенвилль грозитъ дать мнѣ сто палокъ, если я буду продолжать ходить къ его женѣ, а она обѣщаетъ двѣсти, если я перестану ходить; какъ быть?» «Слушайся жены,—посовѣтовалъ другъ,—все-таки у тебя сто палокъ въ выигрышѣ будетъ».

Это возвращаетъ насъ къ презрительному или вообще отрицательному отношенію къ театру и его дѣятелямъ.

Существуетъ мнѣніе, что отношеніе это представляетъ собою остатокъ или переживаніе той борьбы, которую когда-то вынуждено было вести христіанство съ язычествомъ. До извѣстной степени это вѣрно, и не удивительно, если на этомъ мнѣнія сходятся и тотъ французскій вольнодумецъ XVIII вѣка, который писалъ Клеронъ: Soit toujours païenne et sublime, и тотъ московскій безъимянный изувѣръ, который въ концѣ XIX вѣка пишетъ: «Оправдываютъ игру въ театрѣ и называютъ ее полезною и нравоучительною или безвредною или, по меньшей мѣрѣ, меньшимъ зломъ въ сравненіи съ пьянствомъ и распутствомъ и съ этою цѣлью стараются заводить повсюду театральныя зрѣлища. Не обольщайтесь: театръ усыпляетъ христіанскую жизнь, сообщая жизни христіанъ характеръ жизни языческой... Театръ—школа міра сего и князя міра сего—діавола». («Уроки благодатной жизни. О свѣтской жизни». Москва 1896, изданіе 2-е, стр. 17). Если подобные взгляды могутъ высказываться въ странѣ, гдѣ давно уже существуютъ Императорскіе театры, содержимые на государственный счетъ; гдѣ и церковныя власти ничего противъ театра не имѣютъ; гдѣ есть такіе драматурги, какъ Гоголь, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Островскій; гдѣ успѣли сложиться славныя театральныя традиціи;—если, говорю, во

всеуслышаніе высказываются, при такихъ условіяхъ, взгляды въ родѣ вышеприведеннаго, то это свидѣтельствуетъ о крайней живучести предразсудка. А предразсудокъ есть, по превосходному выраженію Баратынскаго, «обломокъ древней правды», и нѣчто фактически вѣрное должно лежать въ его основаніи.

Потребность зрѣлищъ, какъ воспроизведенія интересныхъ почему-нибудь моментовъ жизни дѣйствительной, возможной и фантастической, есть исконная человѣческая потребность. Объ этомъ свидѣтельствуютъ военныя, свадебныя или любовныя, религіозныя игры, церемоніи и представленія, существующія и у низко стоящихъ народовъ. Этотъ первобытный театръ или, вѣрнѣе, эти элементы театра существовали и у языческихъ предковъ современнаго цивилизованнаго человѣчества, и естественно, что они враждебно столкнулись съ христіанствомъ. Не говоря уже о тѣхъ случаяхъ, когда христіанство распространялось силою меча, даже когда язычники вполнѣ искренно и добровольно отрекались отъ старыхъ вѣрованій, послѣднія, тѣсно переплетаясь со всѣми сторонами жизни, надолго оставляли свои слѣды въ нравахъ и обычаяхъ. Отсюда чрезвычайно сложная исторія взаимодѣйствія языческихъ и христіанскихъ началъ, ихъ взаимной борьбы и взаимныхъ уступокъ.

При столкновеніи двухъ религіозныхъ системъ возможны на первыхъ порахъ разные исходы. Кромѣ открытой борьбы, такъ сказать, по всему фронту или вражды скрытой, затаенной, возможно, во-первыхъ, «двоевѣріе». Такъ нѣкоторые наши язычники инородцы, наравнѣ съ своими богами, чтутъ Николая Чудотворца; такъ ирландцы, уже крещенные, еще долго поклонялись священнымъ деревьямъ; такъ одинъ датскій король, отправляясь въ походъ, далъ обѣты единовременно Іисусу Христу и богу Брагафуллу и т. п. Возможно простое слитіе, амальгамація элементовъ. Такъ славянскій языческій «скотій богъ» Волосъ или Велесъ пріурочился въ народномъ сознаніи къ св. Власію, которому молятся о сбереженіи домашняго скота; такъ Илью пророка народъ надѣляетъ атрибутами Перуна; такъ церковный ладонъ или святая вода употребляются при суевѣрныхъ обрядахъ несомнѣнно языческаго происхожденія и т. д. Я привожу первые попавшіеся примѣры, и читатель найдетъ ихъ гораздо больше и систематически подобранными у Сахарова, Афанасьева, Тихонравова и др. Тамъ же найдутся яркіе примѣры еще одного исхода: враждебные боги не отрицаются, какъ не существующіе, а признаются мощными, сверхъестественными, но злыми силами. Такъ арійскіе девы, первоначально добрыя божества, становятся у иранцевъ злыми; такъ Вельзевулъ въ Ветхомъ Завѣтѣ есть языческій богъ, а затѣмъ онъ

сталъ дьяволомъ; то же случилось съ германскимъ Одиномъ или Вуотаномъ и т. д. При этомъ и служители этого злого начала признаются не какими-нибудь лжецами или просто безумными людьми или невѣжественными, или больными, — какъ мы теперь признаемъ шамановъ и т. п.,—а людьми дѣйствительно сильными своимъ общеніемъ съ сверхъестественнымъ злымъ началомъ, кудесниками, колдунами, вѣдьмами и вѣдунами, «вѣщими» людьми

Наши масляничные и рождественскіе ряженые, наши березки въ Троицынъ день и т. п. суть прямые отголоски языческой старины, хотя связь ихъ съ ней давнымъ давно забыта. Современная церковь не борется съ ними въ виду ихъ безвредности. Но наши проповѣдники XI и слѣд. столѣтій жестоко преслѣдовали хотя бы то же святочное и масляничное ряженье, справедливо видя въ немъ остатокъ язычества, съ которымъ связь этого остатка чувствовалась тогда, конечно, несравненно живѣе теперешняго. Это было языческое и потому «бѣсовское дѣйство», «сатанинскія игры»: «бѣсовское и кумирское личатъ, косматые и иными бѣсовскими ухищреньями содѣянные образы надѣвающе». Такъ же преслѣдовались и другіе первобытные элементы театра, въ виду ихъ несомнѣнно языческаго происхожденія, а также въ виду того, что сопровождавшіе ихъ шумное веселье и разгулъ противорѣчили аскетическому идеалу. Это теченіе мысли приводило, слѣдовательно, къ уравненію: языческое=бѣсовскому=веселому=разгульному, развратному. Соотвѣтственно этому и дѣйствующія лица зародышей народной драмы или первобытнаго театра должны были быть людьми веселыми, разгульными, и имѣть сношенія съ нечистою силой былыхъ языческихъ божествъ. Такъ оно и было: эти люди и назывались «веселыми», «скоморохами», а вмѣстѣ съ тѣмъ считались и сами себя часто объявляли колдунами. Не даромъ Островскій въ пьесѣ «Не такъ живи, какъ хочется» дѣлаетъ изъ Еремки «скомороха» и колдуна. Еще шагъ, — и скоморохъ отождествлялся прямо съ дьяволомъ. У насъ, впрочемъ, это отразилось, кажется, только въ равнозначительности поговорокъ «чортъ съ нимъ», «иди къ чорту» и «шутъ съ нимъ» и «иди къ шуту». Въ западной Европѣ это отождествленіе получило, какъ увидимъ, гораздо болѣе яркое выраженіе.

Западное духовенство боролось съ языческими зрѣлищами и другимъ путемъ. Оно пыталось противопоставить имъ зрѣлища христіанскаго характера въ самыхъ храмахъ, сдѣлавъ при этомъ значительныя уступки язычеству. У насъ духовная драма появилась лишь въ XVII столѣтіи. Разницу между ею и западными мистеріями и послѣдствія этой разницы хорошо указываетъ Тихонравовъ («Начало русскаго театра»): «Мистерія, особенно позднѣй-

шаго времени, не могла похвалиться единствомъ и выдержанностью идеи; она не производила въ зрителяхъ цѣльнаго, опредѣленнаго настроенія: рядомъ съ событіями евангельской исторіи разыгрывались шутовскіе эпизоды изъ обыденной дѣйствительности, или же просто только что сыгранная сцена изъ жизни святого пародировалась самымъ циническимъ образомъ. Русская духовная драма XVII вѣка уклонялась отъ подобныхъ вставокъ. Она, можетъ быть, выигрывала черезъ это въ единствѣ и выдержанности идеи, но, сохраняя свой сурово-архаическій стиль, она стояла внѣ всякаго соприкосновенія съ животворными элементами народной жизни и поэзіи».

Достойно вниманія, какъ поступала наша духовная драма въ тѣхъ случаяхъ, когда ей приходилось прибѣгать къ инороднымъ элементамъ. Въ такъ называемомъ «пещномъ дѣйствѣ» изображалось вверженіе въ печь трехъ вавилонскихъ отроковъ (Ананія, Азаріи и Мисаила) и спасеніе ихъ ангеломъ. Представленіе давалось въ храмѣ. Роль слугъ Навуходоносора, то есть язычниковъ, ввергающихъ отроковъ въ печь, исполняли особые скоморохи, называвшіеся «халдеями». Это были «веселые» и разгульные люди получавшіе отъ патріарха за недѣлю до Рождества разрѣшеніе давать въ Москвѣ шутовскія представленія. Пользуясь этимъ, они производили всякія безчинства, и по окончаніи своей миссіи подвергались обряду очищенія. Веселое, безчинное и языческое и здѣсь, значитъ, сливались какъ бы въ одно понятіе. Въ Малороссіи, гдѣ были сильнѣе западныя вліянія, существовала и народная духовная драма, такъ называемая «вертепная». Здѣсь допускались уклоненія и вставки, невозможныя въ Москвѣ. Такъ, напримѣръ, въ пьесѣ, изображавшей поклоненіе волхвовъ, передъ появленіемъ на сценѣ Ирода исполнялись малороссійскіе танцы, выходилъ цыганъ съ медвѣдемъ и т. п.

На западѣ народное веселье со всѣмъ своимъ языческимъ отпечаткомъ прорывалось въ духовную драму съ гораздо большею силою и вторженіе это принимало иногда даже маловѣроятныя въ наше время формы. Ко времени распространенія христіанства западная Европа была уже знакома не съ зачатками театра, а съ разнообразными публичными зрѣлищами, вошедшими въ привычку, о чемъ свидѣтельствуетъ уже знаменитый крикъ: «хлѣба и зрѣлищъ!» Зрѣлища эти, часто кровавыя и безстыдныя, при томъ же посвященныя языческимъ божествамъ, естественно вызывали протесты со стороны представителей христіанской церкви, которые, однако, тщетно, боролись на этомъ полѣ съ язычествомъ. Впослѣдствіи духовенство измѣнило тактику. Оно само стало устраивать въ храмахъ и около храмовъ зрѣлища на библейскія и евангель-

скія темы, но потомъ должно было отказаться отъ этой иниціативы. Дѣло въ томъ, что въ средѣ самого католическаго духовенства, преимущественно низшаго, были люди, которымъ строгій и аскетическій идеалъ былъ не по плечу и въ которыхъ вдобавокъ еще не вымерли языческія преданія. Вслѣдствіе этого къ христіанскимъ праздникамъ пріурочивались переживанія языческихъ—сатурналій, луперкалій. Извѣстнѣе другихъ французскій праздникъ шутовъ, дураковъ, называвшійся также праздникомъ осла, праздникомъ невинныхъ и т. д. (fête des fous, de l'ane, des innocents). На этихъ дикихъ празднествахъ, длившихся нѣсколько дней подрядъ и окончательно уничтоженныхъ лишь въ 1547 году, совершались въ храмахъ невѣроятныя безобразія и кощунства: плясали, пѣли вакхическія пѣсни, играли въ карты и кости, жгли въ кадильницахъ изрѣзанныя старыя подошвы и проч. «Въ нашемъ вѣкѣ, часто упрекаемомъ въ непочтительности къ церкви,—говоритъ Роскофъ (Geschichte des Teufels),—то, что совершалось на этихъ увеселеніяхъ, возмутило бы всѣ слои общества». Своимъ чередомъ на улицахъ и площадяхъ забавляли народъ странствующіе фигляры, паяцы, шуты.

Въ Германіи не было ничего подобнаго праздникамъ шутовъ, но въ ея духовную драму разнузданно веселый элементъ проникалъ съ другой стороны. Такъ, напримѣръ, при изображеніи Страстей Господнихъ фигурировалъ площадной шарлатанъ лѣкарь (опять-таки скоморохъ и «вѣдунъ»), продававшій мазь для бальзамированія тѣла Христова и разсыпавшій при этомъ площадныя шутки и прибаутки. Все это, по справедливому замѣчанію Тихонравова, не могло, конечно, способствовать выдержанности духовной драмы, но давало выходъ народному наивному юмору.

Но самое интересное для насъ,—это появленіе на сценѣ чорта. Въ нашей русской, собственно духовной драмѣ дьяволъ и его мѣсто жительства—адъ никогда не являлись (см. объ этомъ у Тихонравова). Въ Европѣ же онъ долженъ былъ представлять собою злое начало, въ концѣ концовъ побѣждаемое и посрамляемое; но вмѣстѣ съ тѣмъ народный юморъ съ языческимъ еще отпечаткомъ нашелъ себѣ въ его лицѣ лазейку на театральную сцену. Дьяволу разрѣшалось всякое издѣвательство, шутовство, насмѣшки, площадныя выраженія, рѣзко чуждою нотою врывавшіяся въ общій строгій тонъ драмы, но въ зрителяхъ того времени возбуждавшія не негодованіе, а веселый смѣхъ. Дьяволъ исполнялъ роль шута. Если же, въ концѣ концовъ, онъ посрамлялся и всѣ его хитрости и злобности обрушивались на его же дьявольскую голову, то это лишь способствовало окончательной выработкѣ фигуры шута,—онъ же вѣдь и «дуракъ». Въ результатѣ шутъ и дьяволъ слились въ

одно лицо. «Дьяволъ и шутъ были въ западной драмѣ однимъ и тѣмъ же лицомъ,—говоритъ Тихонравовъ.—Нѣмецкій Hanswurst не иное что, какъ перерожденный дьяволъ старой мистеріи». «Изъ фигуры дьявола смѣхотворнаго,—говоритъ въ вышеупомянутой книгѣ Роскофъ (см. вообще главу «Der Teufel auf der Bühne»)—развился «дуракъ», шутъ, а изъ него нѣмецкій Гансвурстъ, такъ долго владѣвшій сценой».

Читатель видитъ, въ какой мѣрѣ и въ какомъ смыслѣ можно говорить о языческомъ характерѣ театра и о томъ, что театръ есть «школа міра сего и князя міра сего—дьявола». Вмѣстѣ съ тѣмъ разъясняются для насъ причины двойственнаго отношенія, если не къ театру и театральнымъ дѣятелямъ вообще, то, по крайней мѣрѣ, къ шутамъ, скоморохамъ и къ театру постольку, поскольку онъ изъ скоморошества развился. Въ массѣ обращенныхъ въ христіанство не могло сразу уничтожить языческаго человѣка, тѣмъ болѣе, когда суровые представители высокаго ученія преслѣдовали всякое веселье, со включеніемъ музыки и мірской пѣсни: это было не по плечу массѣ. И въ душѣ средняго человѣка естественно получилось раздвоеніе. Природныя склонности ума и сердца, унаслѣдованныя отъ длиннаго ряда предковъ, всосанныя съ молокомъ матери, воспитанныя всѣмъ строемъ жизни, тянули его къ землѣ и къ земнымъ наслажденіямъ въ той грубой формѣ, какая въ тѣ времена была доступна; а новое ученіе властно предписывало презирать эти наслажденія и бѣжать ихъ, какъ зла, какъ грѣха, какъ остатка язычества и исчадія ада. Шутъ, скоморохъ съ своими шутовскими «дѣйствами» сталъ поэтому какимъ-то желаннымъ отверженцемъ, презрѣннымъ или даже ненавистнымъ любимцемъ. Zwei Seelen wohnen in der Brust не одного Фауста. Это явленіе гораздо болѣе обыкновенное, чѣмъ мы привыкли думать, и дѣло не такъ стояло, что вообще одна часть населенія привѣчала скомороховъ, а другая—гнала и презирала. Это справедливо лишь до извѣстной степени. Конечно, были и эти рѣзко противоположныя крайности, но средній человѣкъ, разгульно веселясь со скоморохами одною стороною своей души,—другою ихъ презиралъ, какъ отраженіе своихъ собственныхъ страстей, признанныхъ порочными; просвѣтленный новымъ ученіемъ, онъ презиралъ въ нихъ самого себя, но разстаться съ ними не могъ. Иванъ Грозный, какъ иниціаторъ Стоглаваго собора,—если онъ дѣйствительно былъ его иниціаторомъ,—громилъ всякое «глумотворство» и «еллинское бѣсованіе», но это не мѣшало ему проводить время съ глумотворами, что временами перебивалось рѣзкими взрывами покаянія. Къ характеристикѣ скомороховъ, какъ людей презрѣнныхъ, отверженцевъ общества, надо еще прибавить особенности ихъ нравовъ и образа жизни. Шуты

боярскіе, великокняжескіе, царскіе, вообще придворные, какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, были собственно слуги, главная обязанность которыхъ была увеселять, но которые исполняли и другія служебныя обязанности и иногда пользовались особеннымъ довѣріемъ. Объ нихъ у насъ еще будетъ рѣчь. Что же касается бродячихъ скомороховъ, то, будучи, пожалуй, служителями «князя міра сего, они въ извѣстномъ смыслѣ были люди именно не отъ міра сего. Они не сѣютъ, не жнутъ, они люди бездомные или оставившіе свою осѣдлость и не брегущіе ею, люди случайнаго заработка и беззаботные: сегодня здѣсь, завтра тамъ, сегодня море разливанное, завтра ѣсть нечего, сегодня почетъ, завтра позоръ. Отсюда безпорядочность нравовъ и заслуженно недобрая слава. Но они же несутъ съ собой веселье, смѣхъ...

Поскольку Гансвурстъ съ братіей участвовали въ созданіи драмы, можно и на актеровъ вообще перенести вышеприведенное объясненіе двойственнаго отношенія публики. Но если *только* борьбою христіанства съ язычествомъ объяснять отрицательную сторону отношенія къ театру и его дѣятелямъ, то надо ожидать, что въ языческомъ мірѣ актеры пользовались полнымъ почетомъ. Мы, однако, этого не видимъ. То двойственное отношеніе къ театру и актерамъ, образцы котораго мы приводили изъ исторіи Франціи XVII, XVIII столѣтія, является точнымъ сколкомъ съ положенія дѣлъ въ языческомъ Римѣ. Начатковъ римскаго театра слѣдуетъ искать въ религіозныхъ торжествахъ, которыя были настоящими сценическими представленіями. Участіе въ этихъ представленіяхъ не клало ни малѣйшаго пятна на участниковъ; напротивъ, они пользовались всеобщимъ почетомъ, но это и были не актеры по профессіи, а жрецы и вѣрующіе. Но съ теченіемъ времени зрѣлища утратили постепенно свое исключительно религіозное значеніе, продолжая, однако, конечно, отражать въ себѣ языческій характеръ эпохи. Вмѣстѣ съ тѣмъ явились настоящіе актеры съ тѣмъ двойственнымъ къ нимъ отношеніемъ общества, которое мы видѣли и во Франціи, и которое Франція, очевидно, просто получила въ наслѣдство отъ Рима. Римскіе актеры стояли въ гражданскомъ отношеніи на одной линіи съ выгнанными со службы солдатами, уличными ворами и уличенными клеветниками. Они не могли занимать какую-нибудь почетную должность и подлежали тѣлесному наказанію; не только сыновья и дочери сенаторовъ, но и ихъ внуки и правнуки не могли вступать въ бракъ съ дочерьми и сыновьями актеровъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ актеры разнаго рода, равно какъ и гладіаторы, и возницы въ конскихъ ристалищахъ, были предме-

томъ восторговъ, нѣкоторые изъ нихъ достигали высокаго общественнаго положенія, имѣли огромный успѣхъ у женщинъ, были воспѣваемы поклонниками, вызывали въ обществѣ страстныя распри и занимали весь Римъ отъ верхняго края до нижняго своими успѣхами или неуспѣхами. Не только высшіе сановники, но сами императоры выступали на сцену, соперничая съ презрѣнными «гистріонами».

Все это слишкомъ извѣстно, и я приведу для иллюстраціи лишь одинъ характерный эпизодъ изъ Лѣтописи Тацита. По поводу какихъ-то безпорядковъ въ театрѣ—разсказываетъ суровый лѣтописецъ—«была рѣчь въ сенатѣ и высказывались мнѣнія, что преторамъ должно быть предоставлено право сѣчь розгами актеровъ. Народный трибунъ, Гатерій Агриппа, протестовалъ противъ этого, но встрѣтилъ порицаніе въ рѣчи Азинія Галла. Тиберій, который предоставилъ сенату эти призраки свободы, хранилъ при этомъ молчаніе. Однако, протестъ трибуна одержалъ верхъ на томъ основаніи, что божественный Августъ однажды высказалъ, что актеры не подлежатъ сѣченію розгами, и ему, Тиберію, не подобаетъ преступать его заявленіе. Было сдѣлано много постановленій относительно мѣры ихъ вознагражденія и противъ распутства ихъ поклонниковъ. Изъ нихъ наиболѣе замѣчательны слѣдующія: сенаторъ не долженъ входить въ дома пантомимовъ; когда они появляются въ публичномъ мѣстѣ, всадники не должны окружать ихъ или ухаживать за ними въ другомъ мѣстѣ, кромѣ театра; преторамъ предоставляется право наказывать ссылкой нескромное поведеніе зрителей».

Этотъ эпизодъ хорошо характеризуетъ обѣ стороны дѣла, и его одного достаточно, чтобы спросить себя: почему же и въ языческомъ Римѣ актеры были желанными отверженцами или презрѣнными любимцами? Лишь очень немногое изъ сказаннаго выше можетъ намъ помочь въ разрѣшеніи этой загадки. И въ Римѣ, какъ во всякомъ сложномъ и много жизненныхъ ступеней перешагнувшемъ обществѣ, были люди двойной совѣсти и двойной морали, горѣли страсти, которыхъ — по существу, по формѣ или по степени напряженности — стыдились сами ихъ носители. И если актеръ изображалъ именно эти страсти, то естественно, что на него переносилась та доля презрѣнія и стыда, которую зритель питалъ къ самому себѣ. Это мы уже видѣли, говоря о скоморохахъ, и понятна эпитафія, сочиненная самому себѣ однимъ знаменитымъ римскимъ мимомъ: «Я приводилъ въ трепетъ того, кого представлялъ; онъ видѣлъ во мнѣ своего двойника и нерѣдко женщины, которыхъ я изображалъ въ моей игрѣ (въ Римѣ женскія роли исполняли мужчины), краснѣли и приходили въ замѣшательство». Но этого, оче-

видно, мало для полнаго объясненія занимающаго насъ явленія; мало и того факта, что и въ Римѣ существовали бродячія труппы, своимъ образомъ жизни вызывавшія отрицательное къ себѣ отношеніе.

Дѣло объясняется очень просто, если вспомнить, что римскіе актеры разныхъ наименованій, также какъ и гладіаторы, и возницы конскихъ ристалищъ были въ большинствѣ или рабы, или военноплѣнные, или греки, азіаты, африканцы, вообще инородцы, пользовавшіеся презрѣніемъ римлянъ. Это фактъ общеизвѣстный, но обыкновенно говорятъ, что презираемую профессію римляне предоставляли презираемымъ общественнымъ элементамъ. Но такимъ образомъ презрѣнность самой профессіи остается безъ всякаго объясненія. Она, эта презрѣнность, какъ мы видѣли, совершенно понятна у христіанскихъ народовъ на тѣхъ ступеняхъ развитія, когда театръ былъ остаткомъ язычества и его дѣятели слугами дьявола. Но почему бы могла стать презрѣнною сама по себѣ профессія актера въ Римѣ? Въ Греціи актеры рекрутировались не изъ рабовъ, и профессія актеровъ пользовалась почетомъ. Такъ было и въ древнѣйшій періодъ римскаго театра, но затѣмъ эстетически бѣдный, но жадный до зрѣлищъ Римъ свалилъ актерскую профессію на рабовъ, военноплѣнныхъ и инородцевъ, и какъ только это произошло, такъ и профессія стала презрѣнною, а актеры — тѣми презрѣнными любимцами и желанными отверженцами, какими мы ихъ знаемъ. Такимъ образомъ, рабство, право принужденія и обязанность повиновенія, и національная надменность были тѣми источниками, изъ которыхъ, кромѣ вышеупомянутыхъ, изливалась волна презрѣнія на актеровъ. Само собою разумѣется, что и въ христіанскихъ странахъ эти моменты могли вливать свою каплю яду въ существованіе сценическихъ дѣятелей, на-ряду съ воспоминаніями о языческомъ происхожденіи театра. Такъ, иностранное происхожденіе организаторовъ «комидійнаго дѣйства» и «шпильманской хитрости» въ Москвѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и затѣмъ при Петрѣ, конечно, не способствовало развитію въ московскихъ людяхъ уваженія къ актерамъ, равно какъ и знаменитые въ прошломъ столѣтіи помѣщичьи театры, труппы которыхъ составлялись изъ крѣпостныхъ.

На этомъ мы покончимъ съ актерами, о которыхъ заговорили лишь, такъ сказать, по дорогѣ, и сосредоточимся на шутахъ.

Заглянувъ въ давно оставленную нами книжку Газо, читатель найдетъ тамъ относительно римскихъ придворныхъ шутовъ очень скудныя и бѣглыя указанія. Мы не погонимся за пополненіемъ

ихъ и остановимся только на одномъ эпизодѣ, въ высшей степени характерномъ и много освѣщающемъ.

Въ первое сицилійское возстаніе рабовъ (138 до Р. Х.) во главѣ возставшихъ былъ сиріецъ Эвнъ, принявшій титулъ царя и имя Антіоха. Малый продувной, онъ разными нехитрыми фокусами убѣдилъ своихъ товарищей по рабству, что имѣетъ сношенія съ богами и обладаетъ даромъ пророчества. Между прочимъ, онъ предсказывалъ, что будетъ царемъ. Не скрывалъ онъ этого пророчества и отъ своего господина, который обратилъ его въ шута: заставлялъ его при гостяхъ повторять свое пророчество, и гости забавлялись, задабривая его, какъ будущаго царя, угощеніями. Пророчество исполнилось. Эвнъ сталъ царемъ, хотя и самозваннымъ. Въ 132 г. его войско было разбито, самъ онъ укрылся въ пещерѣ, гдѣ его и взяли въ плѣнъ вмѣстѣ съ его поваромъ, баньщикомъ и—шутомъ... Случай этотъ интересенъ не только какъ свидѣтельство распространенности въ Римѣ обычая держать шутовъ, — въ этомъ отношеніи шуты, окружавшіе цѣлыми толпами какого-нибудь Суллу или Антонія, были бы пожалуй интереснѣе. Но художникъ могъ бы сдѣлать изъ судьбы Эвна канву для произведенія необычайной глубины и силы. Этотъ сирійскій рабъ, подготовляющій среди разноплеменныхъ товарищей возстаніе пророчествомъ о своемъ царствѣ, не отказывающійся отъ роли шута и усыпляющій при ея помощи бдительность господина; этотъ рабъ-шутъ, мечтающій о царствѣ и подавляющій въ себѣ бурю мстительныхъ чувствъ; наконецъ, этотъ рабъ-шутъ-царь, самъ заводящій себѣ шута,—какая это роскошная тема...

Но и вообще, если смотрѣть на шута не исключительно какъ на веселаго человѣка, увеселяющаго другихъ, то онъ становится высоко интереснымъ художественнымъ сюжетомъ. И художники не отказывались отъ этой темы. Пересмотримъ нѣкоторыя изъ произведеній, посвященныхъ ей цѣликомъ или отчасти, заранѣе, однако, разрѣшая себѣ и экскурсіи въ область дѣйствительности, если таковыя понадобятся.

Изъ міровыхъ писателей едва ли не больше всего шутовъ у Шекспира. Но эта одна изъ условностей тогдашней сцены и въ большинствѣ случаевъ Шекспировскіе шуты мало интересны. Исключеніе составляютъ Іорикъ и шутъ короля Лира. «Бѣдный Іорикъ» не является на сценѣ; есть только его черепъ, дающій поводъ для злобнаго воспоминанія могильщика о томъ, какъ шутъ вылилъ ему однажды на голову бутылку вина, и благодарныхъ воспоминаній Гамлета. «Это былъ человѣкъ съ безконечнымъ юморомъ и дивной фантазіей... Тысячу разъ носилъ онъ меня на плечахъ... Тутъ были уста, я цѣловалъ ихъ такъ часто,—вспоминаетъ Гамлетъ,

разсматривая черепъ:—Гдѣ теперь твои шутки, твои ужимки? Гдѣ пѣсни, молніи остротъ, отъ которыхъ всѣ пирующіе хохотали до упаду? Кто съостритъ теперь надъ твоей же костяной улыбкой?» Изъ этихъ немногихъ чертъ довольно ясно воспроизводится образъ Іорика: шутъ, можетъ быть, не всегда и не для всѣхъ пріятный своими грубыми выходками, но преданный своимъ господамъ, заразительно веселый и богатый тѣмъ безстрашіемъ юмора, которое дозволило бы ему даже надъ собственною «костяною улыбкою» посмѣяться, если бы это было возможно; при этомъ онъ не столько слуга, сколько другъ дома, который носитъ дѣтей на рукахъ и котораго дѣти цѣлуютъ. Эту преданность Шекспиръ доводитъ въ шутѣ короля Лира до высшей степени, подводя подъ комическую рѣчь шута, пеструю, какъ его костюмъ, однообразно трагическую подкладку горя и сочувствія.

Совсѣмъ иного рода шутомъ могъ бы быть великолѣпный Фальстафъ, но будетъ натяжкой, хотя и соблазнительной, освѣщать его съ этой точки зрѣнія. Гораздо меньшей натяжкой было бы притянуть къ сонму шутовъ всѣхъ Маскарилей, Сганарелей, Скапеновъ Мольера, Фигаро Бомарше и, осмѣлюсь прибавить,—Гетевскаго Мефистофеля. Но я ограничусь лишь нѣсколькими замѣчаніями. Въ числѣ всемірно извѣстныхъ шутовъ народныхъ театровъ видное мѣсто занимаетъ Арлекинъ. Онъ—итальянскаго происхожденія, онъ назывался также Zannio и былъ прямымъ продолженіемъ римскаго народнаго шута Zannio. Это былъ ловкій и хитрый рабъ, гораздо умнѣе своего господина, котораго онъ постоянно надувалъ. Въ этой наивной формѣ народъ находилъ удовлетвореніе своей демократической гордости и мстительному чувству. Ту же демократическую миссію воспринялъ отъ своего предка и Арлекинъ, болѣе или менѣе остроумно, болѣе или менѣе грубо высмѣивая, къ вящшему удовольствію нетребовательныхъ зрителей, представителей разныхъ классовъ общества Арлекинъ, утвердившійся послѣ Италіи въ особенности во Франціи, не разъ мѣнялъ свой обликъ, но, конечно, не былъ уже подобно римскому Санніо рабомъ. Онъ былъ слугой и не разъ посрамлялъ своего барина своимъ умственнымъ превосходствомъ, но—замѣчательная черта—не во вредъ ему лично: напротивъ, онъ именно своимъ изворотливымъ умомъ постоянно выручалъ его, отличался вообще преданностью и находилъ удовлетвореніе въ своемъ превосходствѣ, хотя и прикидывался простоватымъ дурачкомъ. Таковы же и слуги въ пьесахъ Мольера. Въ Фигаро этотъ типъ достигъ высшаго развитія. Безкорыстно преданный своимъ господамъ, графу, а потомъ и графинѣ Альмавива, Фигаро, оказываетъ имъ множество неоцѣненныхъ услугъ своимъ бойкимъ умомъ и острымъ языкомъ, но умѣетъ сочетать эту личную преданность съ враждой

ко всему приближающемуся къ концу старому порядку, во имя демократическихъ принциповъ. Что касается Мефистофеля, то вѣдь и онъ слуга, почти рабъ при жизни Фауста, и онъ умнѣе своего господина, и онъ шутъ, разсыпающійся въ злобныхъ остротахъ и парадоксахъ. И когда Фаустъ (пушкинскій) говоритъ: «мнѣ скучно, бѣсъ»,—Мефистофель обязанъ пріискивать ему развлеченія. Быть можетъ, въ Мефистофелѣ слились тѣ два теченія,--христіанское и языческое,—изъ которыхъ одно связало шута съ дьяволомъ, а другое съ рабомъ...

Обратимся къ Виктору Гюго, создавшему наиболѣе яркія фигуры шутовъ и наиболѣе интересныя для нихъ положенія. Ланжели изъ драмы «Маріонъ де Лормъ» отмѣтимъ только ради той характеристики его жизни, которую дѣлаетъ Людовикъ XIII:

Скажи, ну стоитъ ли на свѣтѣ жить
Лишь для того, чтобъ развлеченьемъ
Больному королю служить,
По приказанію то плакать, то смѣяться,
И словно куклою давать собой вертѣть,
Да именемъ шута позорнымъ называться
На старости-то лѣтъ? Не лучше-ль умереть?
(Переводъ Каншина).

Ланжели играетъ въ драмѣ лишь пассивную роль тайнаго и робкаго врага Ришелье. Не таковъ герой драмы Le roi s'amuse. Объ историческомъ Трибуле разсказываютъ, между прочимъ, что когда однажды, въ отвѣтъ на его дерзость, какой-то вельможа пообѣщалъ побить его палкой, онъ пожаловался королю. Францискъ его успокоилъ: «не бойся ничего; если кто-нибудь посмѣетъ такъ поступить съ тобой, то будетъ повѣшенъ спустя четверть часа». Шутъ возразилъ: «ахъ, кузенъ (такъ Трибуле называлъ Франциска), лучше бы его повѣсить четвертью часа раньше». Достовѣренъ этотъ анекдотъ или нѣтъ, но онъ хорошо рисуетъ одну сторону положенія придворнаго шута. Подъ покровомъ милости своего господина шутъ могъ безнаказанно разсыпать своей langue acérée оскорбленія направо и налѣво, сѣя вмѣстѣ съ тѣмъ сѣмена ненависти къ себѣ, ненависти тѣмъ болѣе напряженной, что она была безсильна и должна была выжидать благопріятнаго случая для мести или даже только для обнаруженія. Трибуле драмы Гюго пользуется этой безнаказанностью въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Онъ дерзко издѣвается надъ вельможами двора Франциска I, не останавливаясь передъ ядовитой и грубой насмѣшкой и надъ величавымъ горемъ де Сенъ-Валлье, и надъ ожидаемымъ позоромъ де Коссе. Спрашивается, изъ какого источника льется эта неутомимая злоба и ненависть?

Трибуле называетъ себя «un homme de peuple, un serf, un rustre.» Это черта типическая. За немногими исключеніями, когда въ шуты попадали люди болѣе или менѣе высокаго происхожденія, они выходили изъ низшихъ слоевъ общества. Кромѣ того, Трибуле физическій уродъ. И это опять типическая черта, объ чемъ подробнѣе будемъ говорить ниже. Затѣмъ шутъ могъ быть или человѣкомъ большого остроумія, тонкаго и проницательнаго ума, или же, напротивъ того, человѣкомъ прямо слабоумнымъ, глупыя выходки котораго забавляли именно своею глупостью. Гюго сдѣлалъ своего Трибуле умницей. Въ великолѣпномъ—слишкомъ, какъ это часто бываетъ у Гюго, великолѣпномъ—монологѣ второго акта Трибуле раскрываетъ передъ зрителями мрачныя глубины своей души. Въ первомъ актѣ онъ велъ себя, какъ «собака, спущенная на умирающаго льва», и оскорбленный отецъ Діаны Пуатье проклялъ его и его господина, Франциска. Это проклятіе не даетъ покою Трибуле. Онъ раздумывается о своей судьбѣ. «Природа и люди—говоритъ онъ—сдѣлали меня очень злымъ, очень жестокимъ и по истинѣ очень подлымъ». У него нѣтъ права, которое имѣетъ всякій нищій, рабъ, каторжникъ,—права не смѣяться, когда хочется плакать. «Полный отвращенія къ своему уродству, ревнивый ко всякой силѣ и всякой красотѣ, окруженный блескомъ, въ которомъ онъ становится еще темнѣе», онъ иногда, свирѣпый и одинокій (farouche et seul), хотѣлъ бы выплакать душу, но является его господинъ, молодой красавецъ, могущественный и жизнерадостный, и говоритъ, зѣвая: «шутъ, посмѣши меня!» Шутъ долженъ многое, возникающее въ его душѣ, подавлять въ зародышѣ и «заглушать звономъ бубенчиковъ умъ, который хочетъ мыслить». Никто не считаетъ его за человѣка, а женщины и за мужчину. Но за то какою же ненавистью онъ всѣмъ имъ платитъ! Онъ—«черный демонъ совѣтникъ господина», злой духъ, внушающій ему злыя мысли, оскорбительныя слова, жестокіе поступки. Его душа полна мести и оскорбленной гордости. Той преданности своему господину, которую мы видѣли въ Іорикѣ, шутѣ короля Лира, въ Арлекинѣ, затѣмъ въ мольеровскихъ слугахъ и Фигаро,—въ Трибуле нѣтъ и слѣда, онъ ненавидитъ и Франциска. Но и у этого несчастнаго чудовища есть свѣтлый и чистый уголокъ въ душѣ и въ жизни. Это—его дочь, дочь и воспоминаніе о ея матери, полюбившей его, всѣми презираемаго урода. И когда эта единственная свѣтлая точка его существованія оказывается оскверненною,—месть и гнѣвъ яростнымъ потокомъ прорываются наружу. На одну минуту онъ повѣрилъ было въ возможность размягчить сердца столь часто оскорбленныхъ имъ вельможъ двора Франциска, но, убѣдившись въ тщет-

ности этой надежды, «шутъ становится палачомъ», какъ говоритъ самъ Трибуле.

Трибуле—уродъ. Гвинпленъ, l'homme qui rit, человѣкъ, который смѣется,—еще болѣе уродъ, при томъ уродъ искусственный. У Атиллы былъ шутъ, описаніе наружности котораго сохранилось: это былъ кривоногій, безносый карликъ, заика и идіотъ; сохранилось и описаніе того веселья, которое возбуждалъ на пирахъ Атиллы этотъ жестокій капризъ природы. Но не только дикіе гунны забавлялись подобными ходячими нагроможденіями несчастія,—эта забава знакома и гораздо болѣе позднимъ временамъ, и гораздо болѣе цивилизованнымъ народамъ. И когда не хватало естественныхъ, прирожденныхъ уродовъ, ихъ фабриковали искусственно. Любопытно слѣдующее сопоставленіе греческаго писателя III вѣка, Лонгина: «Подобно тѣмъ ящикамъ, въ которые замыкаютъ пигмеевъ, въ просторѣчіи называемыхъ карликами, и которые не только задерживаютъ ихъ ростъ, но еще и уменьшаютъ ихъ, рабство есть родъ тюрьмы, въ которой душа уменьшается». (Заимствую эту цитату изъ книжки Эд. Гарнье. «Les nains et les géants»). Но дѣло не въ остроумномъ сопоставленіи фабрикаціи уродовъ съ одной стороны и рабства съ другой, а въ дѣйствительной связи этихъ двухъ явленій. И Гюго правъ, когда, начиная разсказъ о компрачикосахъ—фабрикантахъ уродовъ XVII вѣка, замѣчаетъ: «Для всеобъемлющаго взгляда исторіи компрачикосы связаны съ огромнымъ фактомъ рабства». Компрачикосы покупали и похищали дѣтей и дѣлали изъ нихъ людей, «законъ существованія которыхъ былъ чудовищно простъ: позволеніе страдать, приказаніе забавлять». Для производства этихъ существъ была выработана цѣлая наука, и Гюго приводитъ подлинный рецептъ, по которому былъ изуродованъ Гвинпленъ: «Bucca fissa usque ad aures, genzivis denudatis, nasoque murdridato, masca eris, et ridebis semper».

Et ridebis semper... Нужна была вся необузданная роскошь фантазіи Гюго, чтобы создать этотъ своего рода апоѳеозъ шута,—этого лорда по рожденію, проданнаго и изуродованнаго въ дѣтствѣ; этого великодушнаго и даровитаго человѣка, потѣшающаго толпу своимъ вѣчнымъ видимымъ смѣхомъ, когда въ душѣ его невидимо волнуются высокія и грозныя чувства; этого балаганнаго шута по неволѣ, вновь становящагося лордомъ и вызывающаго въ палатѣ лордовъ неистовый смѣхъ не содержаніемъ своей громовой рѣчи, а все тою же печатью отверженія на своемъ лицѣ: et semper ridebis...

Нѣтъ, не факелъ веселья передавали шуты изъ поколѣнія въ поколѣніе. Веселье, отъ нихъ исходящее, тонетъ въ морѣ необузданной жестокости съ одной стороны, сдержанной мести съ другой...

Въ нашей художественной литературѣ нѣтъ яркихъ изображе-

ній шутовъ. Есть шуты во многихъ историческихъ драмахъ и романахъ, но это фигуры, такъ сказать, аксессуарныя и блѣдныя по самому замыслу авторовъ. Я припоминаю лишь очень немного произведеній, въ которыхъ дѣло стоитъ или могло бы стоять иначе. Это, во-первыхъ, «Ледяной домъ» Лажечникова, гдѣ есть и извѣстныя родины козы шута Педрилло и еще болѣе извѣстная свадьба шута Кульковскаго-Голицына. Но занятый борьбою Волынскаго съ Бирономъ и любовной исторіей княжны Маріорицы, Лажечниковъ отодвинулъ шутовъ далеко отъ центра романа и касается ихъ лишь внѣшнимъ образомъ. Въ драмѣ г. Аверкіева «Слобода Неволя» скоморохъ Угаръ, по прозванью Бѣсъ, стоитъ, пожалуй, въ центрѣ, рядомъ и даже въ соперничествѣ съ самимъ Иваномъ Грознымъ, но все это произведеніе слишкомъ слабо, чтобы на немъ останавливаться.

Интереснѣе «Плодомасовскіе карлики» покойнаго Лѣскова, представляющіе собою нѣчто рѣзко отличное отъ всего, что мы до сихъ поръ видѣли. Напомню одинъ изъ разсказовъ карлика Николая Афанасьевича. Его барыня, Марѳа Андреевна Плодомасова, познакомилась съ генеральшей Вихіоровой, у которой была карлица, «чухоночка» Метта Ивановна, еще меньше его, плодомасовскаго карлика. Говорили, что она карлица «не натуральная, а свинцомъ будто опоенная». Какъ бы то ни было, но госпожа Плодомасова захотѣла купить у генеральши Вихіоровой Метту Ивановну, а та въ свою очередь хотѣла пріобрѣсти Николая Афанасьевича, и обѣ съ одинаковою цѣлью: женить уродцевъ и получить отъ нихъ такихъ же дѣтей. Но ни та, ни другая не хотѣла уступить, ссорились, расходились, опять сходились и забавлялись уродцами вмѣстѣ. Вотъ одна изъ забавъ. «Были у насъ—разсказываетъ Николай Афанасьевичъ—медвѣжьи платьица, изъ коричневой фланели, вродѣ чехловъ, сшиты. Всунутъ насъ, бывало, въ нихъ, будто руку въ перчатку, ничего, кромѣ глазъ, и не видно, а на макушечкахъ такія суконныя завязочки ушками подѣланы, треплются. Но въ этихъ платьицахъ насъ на улицу не посылали, потому тамъ собаки—разорвать могли, а велятъ, бывало, одѣться, когда обѣ госпожи за столомъ кофей кушаютъ, и чтобы во время ихъ кофею на коврѣ противъ ихъ стола бороться. Метта Ивановна пресильныя были, даромъ что женщина, но я, бывало, если имъ хорошенько подножку дамъ, онѣ сейчасъ и слетятъ, но только, впрочемъ, я это рѣдко дѣлалъ; я всегда Меттѣ Ивановнѣ больше поддавался, потому что мнѣ ихъ жаль было по ихъ женскому полу, да и генеральша сейчасъ, бывало, въ ихъ защиту, собачку болонку кличутъ, а та меня за голеняшки, а Марѳа Андреевна этого не снесутъ и разсердятся».

Все это и многое другое въ томъ же родѣ Николай Афанасьевичъ разсказываетъ съ умиленіемъ, какъ свѣтлое воспоминаніе. Въ немъ нѣтъ и тѣни того мстительнаго чувства, которое мы видѣли въ Трибуле и Гвинпленѣ; но и преданность его очень отличается отъ преданности шута короля Лира, не говоря уже о мольеровскихъ слугахъ или тѣмъ паче Фигаро. Тѣ умѣли постоять за себя своей langue acérée и своимъ изворотливымъ умомъ. Николай же Афанасьевичъ рабъ насквозь, рабъ непринужденный. Безспорно такіе типы были возможны въ доброе старое время. Но подозрительно, что ни у одного изъ слушателей воспоминаній плодомасовскаго карлика не прорывается ни у одного скорбнаго или негодующаго замѣчанія, хотя бы въ томъ скромномъ родѣ, что хорошо, дескать, что это быльемъ поросло. Нѣтъ, умиленіе разсказчика передается слушателямъ и по поводу женитьбы уродца для приплода такихъ же уродцевъ, и по поводу того, что собака хватала его «за голеняшки» и т. д. Они радуются тому, какъ это тепло, «наитеплѣйше» выходитъ у него разсказъ о претерпѣнныхъ имъ издѣвательствахъ, совершенно какъ бы то были добрыя дѣла, достойныя благодарной памяти. И авторъ, очевидно, стоитъ на той же идиллической точкѣ зрѣнія...

Есть у Лѣскова еще разсказъ «Скоморохъ Памфалонъ». Но это не самостоятельное произведеніе, а передѣлка старинной легенды, не художественное отраженіе жизни, а облеченная въ беллетристическую форму мораль: лучше быть скоморохомъ и забавлять гетеръ и пьяницъ шутовствомъ, но при этомъ имѣть доброе, отзывчивое сердце, чѣмъ удаляться въ пустыню отъ міра, хотя бы и съ возвышеннѣйшими цѣлями самосовершенствованія.

Скоморохъ Памфалонъ всегда веселъ, добръ и великодушенъ. Такой скоморохъ теоретически возможенъ, какъ возможенъ и уродецъ-шутъ, съ умиленіемъ вспоминающій о томъ, что его хотѣли женить для приплода и натравляли на его «голеняшки» собаку. Но Памфалонъ настолько все-таки рѣдкость, что на него одного во всемъ мірѣ было указано пустыннику Ермію, когда тотъ пожелалъ видѣть людей, «иже добре Богу угожаютъ и въ книгу жизни вѣчной вписаны». А что касается благодарности за искусанныя голеняшки, такъ, я думаю, никто не усомнится признать ее рѣдкимъ явленіемъ. Вообще говоря, атмосфера около шута и въ его собственной душѣ должна быть много сложнѣе и, по крайней мѣрѣ, не безъ мрачныхъ чертъ. А у насъ есть писатель, къ которому всегда слѣдуетъ обращаться, когда идетъ рѣчь о сложныхъ и мрачныхъ явленіяхъ душевной жизни. Это—Достоевскій. Вотъ кто нашелъ бы широкое поприще для своего жестокаго таланта въ вышеупомянутой исторіи шута-колдуна-раба Эвна, становящагося

царемъ Антіохомъ и заводящаго своего собственнаго шута. Вотъ кто и плодомасовскихъ карликовъ изобразилъ бы, можетъ быть, (однако, именно только можетъ быть, потому что тутъ могли замѣшаться сторонніе мотивы) не по-лѣсковски Но у Достоевскаго нѣтъ шутовъ... Да, форменныхъ, настоящихъ шутовъ, какъ Іорикъ, Трибуле, плодомасовскіе карлики и проч., у Достоевскаго нѣтъ. Но у него есть, напримѣръ, Ѳома Опискинъ («Село Степанчиково и его обитатели»).

Ѳома Ѳомичъ Опискинъ гдѣ-то служилъ, пробовалъ себя въ литературѣ, но ему ничто не удавалось и наконецъ онъ поступилъ къ нѣкоему генералу Крахоткину «въ качествѣ чтеца и мученика». Не было униженія, котораго бы онъ не перенесъ изъ-за куска генеральскаго хлѣба. Правда, впослѣдствіи, по смерти генерала, когда Ѳома сдѣлался вдругъ важнымъ и чрезвычайнымъ лицомъ, онъ не разъ увѣрялъ насъ всѣхъ, что, согласясь быть шутомъ, онъ великодушно пожертвовалъ собою дружбѣ... что если онъ, Ѳома, и изображалъ собою, по генеральскому востребованію, различныхъ звѣрей и иныя живыя картины, то единственно, чтобы развлечь и развеселить удрученнаго болѣзнями страдальца и друга. Но увѣренія и толкованія Ѳомы Ѳомича, въ этомъ случаѣ, подвергаются большому сомнѣнію». Во всякомъ случаѣ, съ перемѣною обстоятельствъ по смерти генерала Крахоткина, Ѳома Опискинъ «тотчасъ же почувствовалъ, что прошла его роль шута и что на безлюдьи и Ѳома можетъ быть дворяниномъ». «Наверсталъ таки онъ свое прошедшее! Низкая душа, выйдя изъ-подъ гнета, сама гнететъ. Ѳому угнетали—и онъ тотчасъ же ощутилъ потребность самъ угнетать; надъ нимъ ломались—и онъ самъ сталъ надъ другими ломаться, онъ былъ шутомъ и тотчасъ же ощутилъ потребность завести и своихъ шутовъ».

По поводу Ѳомы Опискина Достоевскій предается нѣкоторымъ общимъ размышленіямъ и спрашиваетъ: «Увѣрены ли вы, что тѣ, которые уже совершенно смирились и считаютъ себѣ за честь и счастіе быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями,—увѣрены ли вы, что они уже совершенно отказались отъ всякаго самолюбія? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственныя шипѣнія въ заднихъ углахъ у васъ же, гдѣ-нибудь подъ бокомъ, за вашимъ же столомъ? Кто знаетъ, можетъ быть въ нѣкоторыхъ изъ этихъ униженныхъ судьбою скитальцевъ, вашихъ шутовъ и юродивыхъ, самолюбіе не только не проходитъ отъ униженія, но даже еще болѣе раскаляется именно отъ этого же самаго униженія, отъ юродства и шутовства, отъ прихлебательства и вѣчно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знаетъ, можетъ быть, это безобразно выростающее самолюбіе есть только

ложное, первоначально-извращенное чувство собственнаго достоинства, оскорбленнаго въ первый разъ еще, можетъ, въ дѣтствѣ, гнетомъ, бѣдностью, грязью, оплеваннаго, можетъ быть, еще въ лицѣ родителей будущаго скитальца, на его же глазахъ?»

Въ томъ же «Селѣ Степанчиковѣ» фигурируютъ старикъ Ежевикинъ, играющій роль шута, по мнѣнію его дочери, ради нея; въ дѣйствительности же, «корчилъ онъ изъ себя шута просто изъ внутренней потребности, чтобы дать выходъ накопившейся злости. Потребность насмѣшки и *язычка* была у него въ крови. Онъ карикатурилъ, напримѣръ, изъ себя самаго подлаго, самаго низкопоклоннаго льстеца; но въ то же время ясно выказывалъ, что дѣлаетъ это только для виду; и чѣмъ унизительнѣе была его лесть, тѣмъ язвительнѣе и откровеннѣе проглядывала его насмѣшка»...

Но не пора ли кончить? Читатель можетъ быть уже давно думаетъ, что книжка Газо совсѣмъ не такова, чтобы стоила по поводу ея вести столь пространную бесѣду. Это вѣрно, но я льщу себя надеждой, что читатель пробѣжалъ не безъинтересную страницу изъ исторіи смѣха..

XVIII *).

Памяти Я. П. Полонскаго.

Въ 8-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1867 г. появилась статья Полонскаго «Прозаическіе цвѣты поэтическихъ сѣмянъ». Статья посвящена полемикѣ съ Писаревымъ, по поводу вышедшихъ тогда I, III и V томовъ сочиненій послѣдняго. Тогдашняя редакція «Отечественныхъ Записокъ» (Краевскаго) сочла нужнымъ сопроводить статью Полонскаго слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Редакція помѣщаетъ предлагаемую статью изъ уваженія къ желанію ея автора объясниться со своимъ критикомъ. Что же касается собственныхъ отношеній журнала къ тому же критику, то они должны быть хорошо извѣстны читателямъ изъ прежнихъ статей «Отеч. Записокъ». Редакціи понадобилось это примѣчаніе въ виду не только снисходительнаго, а мѣстами даже прямо почтительнаго отношенія поэта къ критику. Общій характеръ этого отношенія хорошо рисуется уже эпиграфомъ, который Полонскій взялъ для своей статьи изъ Бокля: «Честь и слава тѣмъ, кто, возражая противъ истины, предохраняютъ ее отъ усыпленья». Писаревъ «возражалъ противъ истины», то есть противъ того, что считалъ истиной Полонскій, но возражалъ, по мнѣнію поэта, такъ, что «предохранялъ истину отъ усыпленья». Поэтъ видѣлъ въ критикѣ умнаго, остроумнаго, даровитаго, искренняго, но чрезмѣрно увлекающагося юношу, самыми увлеченіями своими, однако, полезнаго,—потому что, писалъ Полонскій, «жизни еще много въ немъ, жаръ еще не простылъ и можетъ благотворно дѣйствовать на вялыхъ, сонныхъ моихъ соотечественниковъ». Съ другой стороны Полонскій отмѣчаетъ и то отсутствіе критики и то слѣпое преклоненіе передъ

---

*) Ноябрь 1898 г.

авторитетомъ, которыя такъ громилъ самъ Писаревъ, но которыми такъ страдали его поклонники. Къ этимъ слѣпымъ поклонникамъ Полонскій относится чрезвычайно презрительно. «Потерять ваше уваженіе для меня ничего не стоитъ,—писалъ онъ, обращаясь къ нимъ,—но я вовсе не желаю, прикинувшись существомъ безгласнымъ или пришибленнымъ, потерять уваженіе учителя», то есть Писарева. Изъ этого не слѣдуетъ однако, что въ статьѣ Полонскаго есть только любезности по адресу Писарева. Напротивъ, воздавая должное его уму, таланту и искренности, Полонскій горячо и рѣзко возстаетъ противъ его эстетическихъ воззрѣній. Онъ говоритъ при этомъ много вѣрнаго, но много и наивнаго. Мы не будемъ разбираться въ этомъ спорѣ. Для насъ важно, во-первыхъ, отмѣтить высокое безпристрастіе Полонскаго. Теперь не трудно отнестись къ Писареву безпристрастно, но въ 1867 г. онъ былъ для огромнаго большинства читающаго люда, или идолъ, которому можно только молиться, или не то извергъ естества, не то задорный мальчишка. Полонскій не поддался ни въ ту, ни въ другую сторону. Затѣмъ насъ интересуетъ та сторона статьи Полонскаго, которою оправдывается заглавіе: «Прозаическіе цвѣты поэтическихъ сѣмянъ». Полонскій старается не только доказать ошибочность взглядовъ Писарева на искусство вообще и на поэзію въ частности. Въ своемъ желаніи защитить отъ нападокъ Писарева поэзію и возвеличить ее, онъ утверждаетъ, что самъ Писаревъ—«*во многомъ* не что иное, какъ прозаическій расцвѣтъ поэтическихъ сѣмянъ, разбросанныхъ въ лирическихъ произведеніяхъ» разныхъ поэтовъ, въ томъ числѣ и тѣхъ, которыхъ критикъ называлъ «микроскопическими поэтиками». Я подчеркнулъ слова «во многомъ», дабы обратить вниманіе читателя на ограниченіе, которое самъ Полонскій кладетъ своему тезису. Тезисъ этотъ въ общемъ, теоретическомъ видѣ, конечно, защитимъ, даже безъ приводимаго Полонскимъ показанія самого Писарева, «что, читая Гейне, онъ дошелъ до желанія изучать естественныя науки». Нужны особливо уродливыя условія воспитанія (въ широкомъ смыслѣ этого слова), чтобы въ числѣ ихъ не оказалось большаго или меньшаго вліянія лирической поэзіи. Но отсюда еще очень далеко до вполнѣ опредѣленныхъ «прозаическихъ цвѣтовъ поэтическихъ сѣмянъ». Между тѣмъ Полонскій съ удивительною наивностью беретъ какое-нибудь положеніе Писарева и пріискиваетъ ему «поэтическое сѣмя» въ своихъ собственныхъ стихотвореніяхъ. Писаревъ — говоритъ онъ — врагъ всякихъ авторитетовъ и кумировъ, а я вотъ что писалъ уже давно, и, приведя свое стихотвореніе «Кумиръ», заключаетъ: «Эти шестнадцать строкъ—экстрактъ или краткая формула всего, что по этому поводу

говоритъ или думаетъ г. Писаревъ». Напомнивъ свое стихотвореніе: «И я сынъ времени», оканчивающееся словами:

И разбивай одни преданья,
Остатки формъ безъ содержанья,

Полонскій прибавляетъ: «Такимъ образомъ, если г. Писаревъ разбилъ перомъ своимъ хоть одну форму безъ содержанія, я не могу ему не сочувствовать и въ этомъ случаѣ: онъ какъ бы только исполнитель того, что ему завѣщено моимъ юношескимъ поэтическимъ вдохновеніемъ». Или вотъ такое ироническое замѣчаніе: «Совѣтуетъ ли посвященный въ тайны всѣхъ наукъ г. Писаревъ намъ, бѣднымъ поэтамъ (и мнѣ въ ихъ числѣ), *подумать да поучиться*, я потому только и принимаю съ низкимъ поклономъ совѣтъ его, что раньше, чѣмъ что-нибудь слышалъ о г. Писаревѣ, разумѣлъ справедливость этого наставленія и писалъ:

Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
Свѣточъ науки—и *только при немъ*
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ».

Нѣкоторыя изъ этихъ сопоставленій особенно наивны. Такъ, по поводу статьи Писарева «Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова», Полонскій пишетъ: «Г. Писаревъ не любитъ вялыхъ, *лишенныхъ крови*, не любитъ резонеровъ, предпочитающихъ самой жизни свои любимыя идейки и теоріи, но теперешніе молодые люди, занятые естественными науками, еще могутъ имѣть кой какое право не замѣтить или пренебречь чувствомъ дѣвушки. Въ мое время эти передовые молодые люди (прости Господи имъ великое прегрѣшеніе!) читали Гегеля, Канта и даже Шеллинга, и вотъ что подъ моимъ перомъ говоритъ влюбленная дѣвушка про одного такого жильца, поселившагося у нихъ въ домѣ:

А онъ сидитъ, да книги все читаетъ,
Какъ будто хуже я его несносныхъ книгъ!»

Къ сожалѣнію, Полонскій не указываетъ стихотворенія, изъ котораго взяты эти двѣ строки, а я его не помню. Но и двухъ строкъ достаточно, чтобы видѣть, какъ наивно понималъ вещи поэтъ, думая, что характеризующаяся этими двумя строками дѣвушка соотвѣтствуетъ Писаревскому идеалу женщины...

Я потому такъ долго остановился на этомъ забытомъ эпизодѣ изъ исторіи нашей литературы, что въ немъ хорошо отражаются двѣ выдающіяся черты не только поэтической, но и вообще духов-

ной личности только что скончавшагося поэта. Некрологи его были напечатаны во всѣхъ газетахъ, и я не вижу надобности воспроизводить ихъ на этихъ страницахъ. Не вижу надобности и знакомить читателей съ поэзіей Полонскаго во всѣхъ подробностяхъ. Въ 1896 г. вышло въ пяти томахъ собраніе его стихотвореній, изъ которыхъ первыя относятся къ 1845 году. Полвѣка пѣлъ Полонскій, и за эти полвѣка характеръ его музы, мечтательной и нѣсколько блѣдной, не подвергался значительнымъ колебаніямъ, не подвергался и большимъ разногласіямъ въ оцѣнкѣ критики. Талантъ не ровный и не первоклассный, но настоящій, истинно поэтическій,—съ этимъ всякій согласится. Некрологи прибавляютъ къ этому, что покойный былъ прекрасный, добрый человѣкъ. Я слишкомъ мало зналъ поэта лично, чтобы имѣть право непосредственно отъ себя присоединить похвальное слово къ этому общему мнѣнію. Но въ вышеприведенномъ эпизодѣ сказывается и для людей, никогда не видѣвшихъ Полонскаго, прекрасная черта его души, отразившаяся и въ его поэзіи.

Полонскій не былъ рожденъ вождемъ. человѣкомъ воздѣйствія на толпу, но онъ не былъ и человѣкомъ толпы. Слишкомъ пассивный и недостаточно оригинальный, чтобы вести за собой людей, онъ не былъ и настолько самостоятеленъ мыслью, чтобы не поддаваться преходящимъ вѣяніямъ. Тѣмъ ярче выступаетъ его рыцарски благородный характеръ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ противопоставлялъ свое личное чувство чувствамъ толпы, изъ кого бы она ни состояла—изъ враговъ или изъ друзей. Это мы и видимъ въ его полемикѣ съ Писаревымъ. (Повторяю, чтобы правильно судить объ этой полемикѣ, надо перенестись мыслью въ 1867 годъ, а не съ теперешней точки зрѣнія смотрѣть). И это не единичный случай. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе «О Н. А. Некрасовѣ»:

Я помню, былъ я съ нимъ знакомъ
Въ тѣ дни, когда, больной, онъ говорилъ съ трудомъ,
Когда, гражданству насъ уча,
Онъ словно вспыхивалъ и таялъ, какъ свѣча,
Когда любить его могли
Мы всѣ, лишенные даровъ и благъ земли...
Передъ дверями гроба онъ
Былъ бодръ, невозмутимъ,—былъ тѣмъ, чѣмъ сотворенъ:
Съ своимъ поникнувшимъ челомъ
Надъ риѳмой—онъ глядѣлъ бойцомъ, а не рабомъ.
И вѣрилъ я ему тогда,
Какъ вѣщему пѣвцу страданій и труда.
Теперь пускай кричитъ молва,
Что это были все слова,—слова,—слова,

Что онъ лишь тѣшился порой
Литературною игрою козырной,
Что съ юныхъ лѣтъ его грызетъ
То зависть жгучая, то ледяной расчетъ.
Предъ запоздалою молвой,
Какъ вы, я не склонюсь послушной головой;
Ей нипочемъ сказать уму:
За то, что ты свѣтилъ, иди скорѣй во тьму...
Молва и слава—два врага;
Молва мнѣ не судья, и я ей не слуга.

Чтобы оцѣнить это не совсѣмъ удачное по формѣ, но дышащее гордой силой стихотвореніе, надо опять таки принять въ соображеніе обстоятельства: тотъ литературный лагерь, изъ котораго даже доселѣ извергаются при случаѣ потоки грязи на Некрасова, всегда считалъ Полонскаго своимъ...

Еще ярче рыцарски благородный характеръ Полонскаго сказывается въ стихотвореніи «Литературный врагъ»:

Господа! я нынче все бранить готовъ.
Я не въ духѣ,—и не въ духѣ потому,
Что одинъ изъ самыхъ злыхъ моихъ враговъ
Изъ-за фразы осужденъ идти въ тюрьму.

Признаюсь вамъ, не изъ нѣжности пустой
Чуть не плачу я,—а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мнѣ, кипѣвшая къ нему.

Онъ язвилъ меня и въ прозѣ, и въ стихахъ;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ,
Нѣтъ!—мы были безкорыстные враги!

Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я сбирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но—тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.

Передъ этою защитой я—пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей
Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы.

Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,

Если ей грозитъ насилья острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера.

Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахалъ.

Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,
Если бъ узника, да вздумалъ уличать!
Поневолѣ онъ замолкъ передо мной,
И я долженъ поневолѣ замолчать.

Онъ страдаетъ оттого, что есть семья,
Я страдаю оттого, что слышу смѣхъ...
Но что значитъ гордость личная моя,
Если истина страдаетъ больше всѣхъ!

Нѣтъ борьбы, и—ничего не разберешь,
Мысли спутаны случайностью слѣпой,
Стала свѣтомъ недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.

Что же дѣлать? и кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра,
Не за счастье буду пить я,—буду пить
За свободу мнѣ враждебнаго пера!

Стихотвореніе это интересно и по формѣ. Рядомъ съ такими прекрасными, сильными стихами, какъ, напримѣръ, два послѣдніе куплета, мы встрѣчаемъ здѣсь странно неуклюжія и не поэтическія строки, въ родѣ «не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ» или «потому что я боецъ, а не нахалъ» или эти даже непонятныя— «онъ страдаетъ, оттого что есть семья, я страдаю оттого, что слышу смѣхъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ этихъ некрасивыхъ оборотовъ отдаетъ какою-то дѣтскою наивностью, которая и составляетъ вторую отличительную черту поэтической физіономіи Полонскаго.

И не только поэтической,—мы видѣли ее и въ его полемикѣ съ Писаревымъ. Но если въ данномъ случаѣ, въ стихотвореніи «Литературный врагъ», наивность совпадаетъ съ неуклюжестью и непоэтичностью, а наивность составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ духовной личности покойнаго поэта, то изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы въ его стихотвореніяхъ вообще не было поэзіи и красоты. Дѣло въ томъ, что есть наивность и наивность. Сама по себѣ наивность, конечно, не исключаетъ поэзіи, но есть наивность умѣстная и не умѣстная, точнѣе—наивность, подходящая къ данному лицу и не

подходящая. Наивность, проникающая «Кузнечика музыканта» не мѣшаетъ быть этой поэмѣ граціознымъ поэтическимъ созданіемъ, какъ не мѣшаетъ она красотѣ многочисленныхъ стихотвореній фантастическихъ или одушевляющихъ природу или, наконецъ, тѣхъ маленькихъ житейскихъ картинокъ, которыя пользуются поистинѣ всероссійскою извѣстностью («Въ одной знакомой улицѣ», «Мой костеръ въ туманѣ свѣтитъ», «За окномъ въ тѣни мелькаетъ», «Подойди ко мнѣ старушка», «На устахъ ея улыбка»). Совсѣмъ другое видимъ мы въ стихотвореніи «Литературный врагъ». Полонскій, конечно, не былъ «нахаломъ», но не былъ онъ и «бойцомъ». Онъ и самъ это понималъ и выразилъ, напримѣръ, въ прекрасномъ стихотвореніи «И. С. Аксакову». И когда онъ беретъ на себя совершенно несвойственную его благодушной и мечтательной натурѣ роль «бойца» и «безпощаднаго врага»,—наивность пробивается наружу некрасивыми, непоэтическими штрихами, портящими впечатлѣніе стихотворенія, навѣяннаго благороднымъ порывомъ. Мало того, благодаря этой наивности, изъ-подъ основной темы стихотворенія, темы, естественно вызывающей уваженіе къ поэту, выглядываютъ какъ будто какіе-то мелкіе счеты; совершенно также, какъ и въ полемикѣ съ Писаревымъ, проникнутой тономъ высокаго безпристрастія, благодаря наивности, проскальзываютъ ноты, напоминающія споръ о томъ, кто раньше сказалъ «э!».

У Полонскаго есть другое стихотвореніе, посвященное узнику, собственно узницѣ. Здѣсь Полонскій не принимаетъ позы «бойца» или мыслителя и вообще является только со стороны своего благороднаго, любящаго сердца. И стихотвореніе это безупречно и по формѣ, въ особенности, если сопоставить его съ «Литературнымъ врагомъ»:

Что мнѣ она?—не жена, не любовница
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея доля проклятая
Спать не даетъ мнѣ всю ночь?
Спать не даетъ, оттого что мнѣ грезится
Молодость въ душной тюрьмѣ:
Вижу я—своды, окно за рѣшеткою,
Койку въ сырой полутьмѣ...
Съ койки глядятъ лихорадочно-знойныя
Очи безъ мысли и слезъ,
Съ койки висятъ чуть не до полу темныя
Косы тяжелыхъ волосъ.
Не шевелятся ни губы, ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,

Слабо прижатыя къ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди.
Что мнѣ она!—не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея образъ страдальческій
Спать не даетъ мнѣ всю ночь!..

Какъ уже сказано, я не претендую на полную и подробную оцѣнку литературнаго наслѣдства Полонскаго. Но думаю, что если читатель пересмотритъ это наслѣдство съ точки зрѣнія указанныхъ двухъ чертъ,—рыцарскаго благородства и наивности,—то для него значительно выяснится образъ поэта, бездыханное тѣло котораго недавно провожали по петербургскимъ улицамъ и мы, писатели самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ, и представители высшей администраціи, и свѣтскія дамы, и учащаяся молодежь.

3 2044 024 325 037

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

4377714

STALL-STUDY

CHARGE

CANCELLED

WIDENER

SEP 1 1 1995

BOOK DUE

CANCELLED